

Евгений
ЕВТУШЕНКО

СТРОФЫ ВЕКА



ИТОГИ
ВЕКА

СТАРА
ИЗ РОССИИ

Евгений ЕВТУШЕНКО

СТРОФЫ ВЕКА

АНТОЛОГИЯ РУССКОЙ ПОЭЗИИ



АНТОЛОГИЯ
РУССКОЙ
ПОЭЗИИ

Евгений
ЕВТУШЕНКО

СТРОФЫ ВЕКА



ИТОГИ
ВЕКА

ВЗГЛЯД
ИЗ РОССИИ

Евгений ЕВТУШЕНКО

СТРОФЫ ВЕКА

АНТОЛОГИЯ
РУССКОЙ
ПОЭЗИИ



**В XX веке
счет русских поэтов
мировой величины впервые
пошел на десятки.
Под этой обложкой
самое полное собрание их
имен.
В пору наибольшей
известности собственных стихов
Евгений Евтушенко
начал разыскивать и отбирать
чужие. Работа заняла почти
двадцать лет.**

**XIX век убедил читателя в
исключительном богатстве
русской рифмы,
XX век показал,
что она неисчерпаема.
Едва ли не большинство
лучших русских строф
этого столетия были созданы
за колючей проволокой и в
изгнании.**

**Если чем и оправдается
XX век перед Богом,
так это русской поэзией.**

А. Суренджян

Многотомная подписная серия «Итоги века. Взгляд из России»
основана в 1994 году
издательством «Полифакт»
(Минск, председатель совета учредителей Евгений Будинас)



Главный редактор серии
Анатолий Стреляный

Председатель совета учредителей издательства «Полифакт. Итоги века»
Иосиф Штеренберг

Директор издательства «Полифакт. Итоги века»,
руководитель программы «Итоги века. Взгляд из России»
Борис Пастернак

Оформление серии
Владимир Цеслер, Сергей Войченко

©
Идея, название, составление серии.
Е. Д. Будинас, Б. Н. Пастернак, А. И. Стреляный, 1994

©
Оформление серии.
Владимир Цеслер, Сергей Войченко, 1994

Евгений ЕВТУШЕНКО

СТРОФЫ ВЕКА

АНТОЛОГИЯ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

научный редактор
Евгений ВИТКОВСКИЙ

ПОЛИФАКТ

ИТОГИ ВЕКА

Москва
1999

Составитель
ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО

Научный редактор
ЕВГЕНИЙ ВИТКОВСКИЙ

Художник
НИКИТА ОРДЫНСКИЙ

Автор статьи «К лику стремится искусство»
ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВА

Подбор иллюстраций
ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВА, МАРИНА СОКОЛОВА

С86 **Строфы века: Антология русской поэзии/ Составитель**
Евг. Евтушенко. — М.: «Полифакт. Итоги века», 1999. — 1056 с.,
80 с. ил. — (Итоги века. Взгляд из России).

ISBN 5-89356-006-X

В том включены стихи 875 русских поэтов. Впервые русская поэзия представлена с такой полнотой, без деления на «дореволюционную», «советскую», «эмигрантскую». Антология иллюстрирована портретами поэтов и снабжена обширным справочным аппаратом.

ББК 84(2 РОС-РУС)6-5

© Составление, Евг. Евтушенко, 1994

© Макет, Н. Г. Ордынский, 1994

© Составление изобразительного ряда, Л. К. Алексеева, М. В. Соколова, 1994

© «Полифакт. Итоги века», 1999

САТАНА:

*Вперед! И этот век проклятий,
Что на земле идет теперь, —
Тишайшим веком добрых братий
Почтет грядущий полузверь!*

КОНСТАНТИН СЛУЧЕВСКИЙ

из драматической поэмы «Элоа» (1883)

*Двадцатый век... Еще бездомней,
Еще страшнее жизни мгла,
(Еще чернее и огромней
Тень Люциферова крыла)...
И отворачивание от жизни,
И к ней безумная любовь,
И страсть и ненависть к отчизне...
И черная, земная кровь
Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи...*

АЛЕКСАНДР БЛОК

*Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своей кровью склеит
Двух столетий позвонки?*

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ

*По базару девка шла,
Прокламацию нашла.
Ей не пилось и не елось:
Прочитать ее хотелось.*

Частушка

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

1. РУССКАЯ ПОЭЗИЯ — КЛЮЧ К РУССКОЙ ДУШЕ

В 1950 году в крохотной клетушке на Трубной площади один смертельно пьяный фронтовой поэт с пронзительно голубыми глазами, «как у пьяниц и малых детей», валялся на диване с продранными пружинами и, запинаясь, диктовал мне внутреннюю рецензию на рукопись моей первой книги «Разведчики грядущего». Я сидел за его полусломанной пишущей машинкой и с наслаждением печатал все то, что хрипло вырывалось из его сожженного водкой рта. Эта рецензия решила судьбу моей книги, и она была напечатана. Но другим ошеломляющим подарком, который сделал мне этот поэт, была первая антология русской поэзии XX века Ежова и Шамурина, изданная в 1925 году. Раскрыв ее, я был поражен огромным количеством или запрещенных, или совсем забытых имен.

Правда, новичком в поэзии я не был благодаря моему отцу, ходячей живой антологии русской поэзии, благодаря трем старшим друзьям, Н. Тарасову, напечатавшему впервые мои стихи, геофизику и критику В. Барласу и прозаику, а впоследствии известному футбольному обозревателю Л. Филатову, щедро дававшим мне редкие книжки, и, наконец, благодаря собственному неукротимому любопытству.

Тем не менее передо мной оказался целый мир, который я знал лишь приоткрывавшими-ся мне кусочками.

Но та антология была итогом лишь четверти века, а сейчас заканчивается его четвертая четверть.

Как бы несовершенна ни была эта антология, над которой я работал примерно двадцать лет плюс всю предыдущую жизнь, эта книга, надеюсь, будет не менее ошеломляющим открытием не только для юных читателей поэзии, но и для многих, собаку съевших в этом деле знатоков. Наверняка я вызову недовольство многих живых авторов и моим выбором, и количеством строк, и комментариями и смертельную обиду тех, кого я не включил вообще. Предоставляю им полное право включать или не включать меня в их антологии (если, конечно, они найдут время для их составления) и выбирать и комментировать по собственному вкусу. Объективных антологий не бывает. Если говорить о нашем наследии, то иные знатоки, возможно, недоуменно пожмут плечами, увидев, что строк Волошина в этой антологии чуть больше, чем у Блока. Но всем известно, что Блок — великий поэт, а Волошин как великий поэт гражданской войны лишь начинает утверждаться в нашем сознании. Может шокировать то, что строк Смелякова в антологии больше, чем у Гумилева (хотя Гумилева я ценю очень высоко), — но, на мой взгляд, искалеченный лагерями и собственной романтической государственностью Смеляков не менее талантлив. К этой антологии нельзя относиться арифметически. Дело не в количественном соотношении названий стихов или строк. Некоторые поэты лучше понимаются именно совокупностью стихов, а не отдельными стихами. В интересах репутации таких поэтов, как Гумилев или Бунин, представлять их тщательно и скупно подобранными шедеврами, не разбавляя гораздо худшими стихами, как это делают в собраниях сочинений. А вот для репутации Глазкова это первая возможность предстать перед читателем крупно, без примеси сознательно дегенеративных ремесленных поделок. Политический геростратизм в последние годы по отношению к Маяковскому подсказал мне идею показать его как гениального лирического поэта, не девальвируемого никакими катаклизмами. Размер врезок в антологии зависел не от уважения составителя к тому или иному имени, а от сложности данного имени как исторического и литературного явления. Только поэтому врезка, скажем, о Куняеве по размеру почти такая же, как об Иннокентии Анненском, а отнюдь не потому, что составитель считает их равновеликими поэтами. Составитель включил в эту антологию стихи некоторых, глубоко чуждых ему самому по гражданской нравственности поэтов, и даже своих ярых «литературных врагов», если, на его взгляд, они добавили к русской поэзии хотя бы собственные полслова. Так называемая литературная борьба пройдет, а литература останется.

Эта книга наверняка не свободна от просчетов в выборе, от пробелов, от ошибок в хронологии, тексте и биографических справках. К сожалению, вообще не удалось найти никакого биографического материала к ряду поэтов. Составитель будет безмерно благодарен всем, кто пришлет ему свои замечания и предложения.

Заранее оговорюсь, что эту антологию я не хотел перегружать научными комментариями.

Эта книга ориентирована не только на знатоков, надеюсь, человек любого возраста и профессии найдет в ней нечто драгоценное именно для него.

Русская поэзия — ключ к русской душе.

Не столь важно, сколь эта душа загадочна для иностранцев. Мы сами друг для друга преступно загадочны, да и пытаемся ли мы себя разгадать? Ленимся, а может, боимся? Лихорадочно ищем ответы на многие вопросы, а эти ответы давным-давно существуют

в нашей собственной истории, в нашей поэзии. Надо только вчитаться, вдуматься. Самое важное для нас это понять самих себя, понять, «куда идем, чего мы ищем?», по выражению Николая Глазкова, одного из до сих пор не оцененных нами по заслугам авторов этой антологии, в которую, кстати, вошли и стихи поэта, подарившего мне когда-то Ежова и Шамурина.

Еще не так давно вся наша государственная идеологическая машина столько лет подряд работала на пропаганду октябрьской революции, как самой великой революции мира. Бедные учителя истории, теперь почти все газеты и журналы говорят о той же самой революции как о самой жестокой революции мира. Где же правда? Что и как преподавать? А вы преподавайте русскую историю по русской поэзии — не ошибетесь. Гражданскую войну — по Блоку, Волошину, Пастернаку, Цветаевой, Ахматовой... Вторую мировую войну — по Твардовскому, Симонову, Слуцкому, Гудзенко, Межирову, Константину Левину, Дегену, по частушке «Вот окончилась война...»

Русская поэзия — это история русской истории.

Будучи неизлечимым романтиком, в юные годы я мечтал во блаженной глупости, что когда-нибудь книги моих стихов, пробитые пулями, будут находить у солдат, погибших в боях за правое дело. В 1968 году, когда брежневские танки пересекли границу Чехословакии, я написал протест правительству и ожидал ареста. Однажды утром раздался звонок. Я открыл двери и увидел веснушчатого молоденького солдата. Он протянул мне мою книжку, пробитую пулей, с запекшейся кровью на обложке. По трагическому парадоксу книга называлась «Шоссе энтузиастов». Этот маленький сборник был в грудном кармане нашего танкиста, который, после того как нечаянно раздавил гусеницами танка чешскую девочку, застрелился. Он убил себя сквозь мою книжку. Но это не было войной за правое дело.

Около двадцати лет я был персоной нон грата в Чехословакии, и, когда приехал туда, меня остановила седая чешка с молодыми живыми глазами:

«Я — учительница русской литературы и языка в пражской школе, и я особенно любила преподавать вашу поэзию. Когда в том августе на наших улицах появились ваши танки, я решила навсегда оставить преподавание русской литературы. Но когда я услышала по подпольному радио телеграмму с вашим протестом, а затем ваши стихи, я вернулась в школу снова преподавать Пушкина, Толстого, Достоевского. Спасибо за то, что двадцать лет назад вы спасли меня от ненависти к вашему народу, к вашей литературе».

Я начал работать над этой антологией еще во времена холодной войны. Теперь произошел гигантский исторический катаклизм, и лицо мира изменилось. Оно изменилось во многом к лучшему, но во многом и к худшему. Вавилонская башня диктатуры рухнула, но под ее обломками погибают не только ложные идеалы, но и самые искренние надежды на будущее братство всего человечества.

Мы оказались неподготовленными к свободе.

Да и свобода ли — свобода
С нечеловеческим лицом?

Неужели страшная правда о нас это то, что написал один из авторов этой антологии — Владимир Соколов:

И не нужно мне прав человека, —
я давно уже не человек.

Так называемая Свобода, вместо того чтобы ошеломить нас красотой своего лица, повседневно поворачивается к нам совсем другой частью своего тела. Вместо политической цензуры появилась не менее страшная — коммерческая.

Полицейщина и сексуальщина затопили книжные прилавки подземных переходов и со страниц перепрыгивают в жизнь. Происходит «макдональдизация» русской культуры. Но почитайте эту антологию. Ее страницы — это страницы нашей истории. Разве не более страшные испытания, чем сегодняшние, Россия все-таки вынесла и устояла? Устоит и русская культура.

Россия выживет, и оплаченные ценой стольких народных страданий снова появятся великие романы, великие стихи. Правда, цена за величие нашего искусства слишком высокая. Нельзя ли наконец без всех этих бессмысленно жестоких народных страданий?

21 августа 1991 года, во время путча, на улицах Москвы бессмысленно погибли трое молодых людей. Но их гибель стала символом в борьбе за свободную Россию. Свободную, но не от собственной совести. Один из этих троих юношей был Илья Кричевский, неизвестный поэт, перед этим неосторожно предсказавший свою гибель в стихах, — также среди авторов этой антологии. В лице этого убитого юноши русская поэзия защитила право России на свободу и простое человеческое счастье.

2. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭТОЙ АНТОЛОГИИ

Могли ли представить себе Блок, Пастернак, Мандельштам, Цветаева, Маяковский, Есенин и другие поэты этой антологии, что в 1972 году их стихи контрабандой будет вывозить

ставшая знаменитой после фильма «Колдунья» французская кинозвезда Марина Влади из Москвы в Париж, где рукопись антологии с нетерпением ждала представительница американского издательства «Дабльдэй» Беверли Горде?

Под облупленной крышечкой моего чемодана, переданного Марине, в первый раз оказались вместе символисты, акмеисты, футуристы, ничевоки, пролеткультовцы; белогвардейцы, красные комиссары; аристократы и их бывшие крепостные; революционные и контрреволюционные террористы; элегантные строители башни из слоновой кости, пахнущие духами «Коти», и пахнущие луком и водкой разрушители этой башни при помощи двух основных инструментов — серпа и молота; эмигранты четырех волн, оказавшиеся за границей поневоле, и те, кто никогда даже краешком глаза не видел ни одну другую страну; западники и славянофилы; знаменитости и те, кто не напечатал в жизни ни строчки; жертвы лагерей и жертвы страха оказаться в этих лагерях; лауреаты сталинских, ленинских премий и нобелевских; некоторые — увы! — талантливые реакционеры с шовинистским душком и некоторые — увы! — гораздо менее талантливые прогрессисты; революционные романтики и отчаявшиеся диссиденты; представители так называемой эстрадной поэзии и представители так называемой тихой поэзии; затянутые в чопорные сюртуки формы классицисты и сардонические неоавангардисты в грязных продранных джинсах; смертельные литературные враги в прошлом и смертельные литературные враги в настоящем. Вот каким разнообразным было шумное, спорящее, воюющее друг с другом, иногда даже после смерти, население чемодана с рукописью антологии русской поэзии. А помог Марине Влади дотащить этот чемодан до таможи аэропорта «Шереметьево» не кто иной, как молодой актер Театра на Таганке, поэт-мятежник с гитарой, муж Влади и один из будущих авторов этой антологии — Владимир Высоцкий.

Почему мой чемодан с рукописью антологии я дал именно Марине Влади? После процесса над писателями Синявским и Даниэлем, когда за романы, стихи, статьи и речи диссидентов начали бросать в лагерь и психушки, таможенники беспощадно конфисковывали все рукописи в багаже, идущем за границу. Но Марина Влади была близка к французским коммунистам, впоследствии даже стала членом их ЦК, и ее чемоданов обычно не открывали. Поэтому я и попросил именно ее нелегально перебросить сразу примерно 250 русских поэтов в Париж. В чемодане было 15 килограммов поэзии.

Сегодняшние молодые читатели, привыкшие к тому, что на книжных развалах свободно лежат и Мандельштам, и Гумилев, и поэты эмиграции, возможно, удивятся этой почти детективной истории. Но тогда, в 1972 году, официально издать в СССР антологию русской поэзии XX века, где под одной обложкой будут и «красные», и «белые» поэты, и так называемые диссиденты, было невозможно. Для «самиздата» такая книжка была бы слишком громоздкой: тысячи полторы страниц на машинке. Не забывайте, что и ксероксы тогда были под строжайшим государственным контролем. Почти всю эту первоначальную антологию я перепечатывал сам на машинке, вначале переписывая от руки, как это было в Коктебеле, когда вдова поэта Мария Степановна дала мне стихи Волошина о гражданской войне, сразу охладившие мой революционный романтизм. Чабуа Амирэджиби не прочел, но услышал эти волошинские стихи гораздо раньше меня — в сталинском лагере — и до сих пор помнит их наизусть.

Многие имена и живых, и мертвых поэтов, в том числе и расстрелянного еще в 20-е годы Гумилева, были тогда в черном списке. Путь такой антологии мог быть единственным — с Запада на родину традиционным тогда «тамиздатским» путем.

3. РУССКАЯ СТАТУЯ СВОБОДЫ — ПОЭЗИЯ

Поэт-эмигрант Георгий Иванов, взглядываясь сквозь окна парижских кафе в ставшую такой далекой родину, все-таки высказал надежду, что там есть люди, с которыми можно найти общий язык:

Нет в России даже дорогих могил,
Может быть, и были — только я забыл.

Нету Петербурга, Киева, Москвы —
Может быть, и были, да забыл, увы.

Ни границ не знаю, ни морей, ни рек.
Знаю — там остался русский человек.

Русский он по сердцу, русский по уму,
Если я с ним встречусь, я его пойму.

Сразу, с полуслова... И тогда начну
Различать в тумане и его страну.

Геorgia Иванова я не встретил. Но в 1961 году в Париже я познакомился с одним из законодателей литературной моды в парижской эмиграции — Георгием Адамовичем. В знаменитом кафе «Куполь» по одну сторону стола сидел крошечный кукольный петербуржец с тоненькой ниточкой безукоризненного пробора, рафинированный эстет-классицист, читавший когда-то стихи на одной сцене с Блоком. А по другую — не говорящий ни на одном иностранном языке, не знающий, как надо есть устрицы, слыхом не слыхивавший о запрещенных в СССР Бердяеве, Розанове, Флоренском, Федорове, пестро одетый в стиле какого-нибудь американского исполнителя рок-н-ролла, труднообразимый для старого петербуржца поэт со станции Зима, который когда-то вместе с другими октябрятами пел в детском саду: «С песнями, борясь и побеждая, наш народ за Сталиным идет». Встреча двух совсем разных воспитаний, двух Россией.

Могли ли мы понять друг друга?

Мы смогли. Наши родины были разные — Россия Адамовича ушла под воду во время ледохода революции, как Атлантида, и только колокола ее затопленных церквей печально позванивали под водой. Моя родина — будущая Атлантида с красными флагами, лозунгами «Пятилетку — в четыре года!», с памятниками Павлику Морозову, с мавзолеем, где лежал набальзамированный обожествляемый человек, развязавший гражданскую войну, в результате которой более двух миллионов русских, в том числе и Адамович, оказались в эмиграции, — была страной для Адамовича почти иностранной.

Как же мы все-таки поняли друг друга, сблизились, начали переписываться? Что нас соединило?

Та общая духовная родина, которая оставалась неизменной, несмотря на все историческое безумие, разделившее нас, — русская поэзия.

Нас не спасает крест одиночеств.
Дух несвободы непобедим.
Георгий Викторович Адамович,
а вы свободны, когда один?
Мы, двое русских,

о чем попало
болтали с вами в кафе «Куполь»,
но в петербуржце вдруг проступала
боль крепостная,

такая боль.

И, может, в этом свобода наша,
что мы в неволе,

как ни грусти,
и нас не минет любая чаша —
пусть чаша с ядом в руке Руси.
Георгий Викторович Адамович,
мы уродились в такой стране,
где тягу к бегству не остановишь,
но приползаем —

хотя б во сне.

Нас раскидало, как в море льдины,
расколошматило,

но не разбив.

Культура русская всегда едина
и лишь испытывается на разрыв...

Тогда-то и возникла мысль составить эту антологию, собрать воедино все кусочки русского национального духа, чье лучшее воплощение — наша поэзия. Собрать ее по обломкам, по крупичкам, по крошкам, зашвырнутым ветрами истории в сибирские лагеря, в дома престарелых во Франции, в семейные архивы, в следственные дела КГБ. Этот замысел был так же нелегко, как попытка заново слепить воедино прекрасную статую, когда-то раздробленную варварами от зависти к ее совершенной красоте. В США воздвигнута статуя Свободы, которую собрали по частям, привезенным из Франции. В нашей стране многовековой несвободы единственная статуя Свободы — русская поэзия.

У нашего народа на семьдесят лет отобрали историю его собственной поэзии, лишив его возможности читать тех поэтов, которые эмигрировали или были перемолоты гигантскими челюстями ГУЛАГа. В антологии Ежова и Шамурина, о которой я уже говорил, еще можно было найти стихи расстрелянного большевиками Гумилева, но широко печатать его у нас стали только через шестьдесят лет. Подобная же участь постигла и многих других поэтов — жертв диктатуры: не только они сами, но их стихи тоже были изъяты из жизни.

На Западе происходило обратное — главное внимание прессы, преподавателей славистики было обращено на запрещаемую в СССР литературу, а литература, печатаемая как бы зарание, подозревалась в приспособленчестве, в бездарности. Нобелевский комитет соизво-

лил заметить существование Пастернака, только когда он стал политической жертвой скандала с «Доктором Живаго», а ведь Пастернак был великим поэтом еще в 20-е годы. Западные газеты поперебой писали о Твардовском как о редакторе «Нового мира», но не нашлось ни одного издателя, который напечатал бы на английском его классическую поэму «Василий Теркин», приведшую в восхищение даже такого «антисоветского» писателя, как нобелевский лауреат Иван Бунин. Но разве по-настоящему перевели на английский стихи самого Бунина хотя бы в благодарность за его классический перевод на русский язык «Гайаваты»? Думаю, что самым гениальным поэтом, жившим в Париже в 20—30-е годы, была Марина Цветаева, а Ходасевич и Георгий Иванов были ничуть не менее талантливы, чем Арагон и Поль Элюар, но их тогда никто не думал переводить на французский. Выдающийся поэт второй волны эмиграции Иван Елагин полжизни отдал американским студентам в Питсбурге, героически перевел гигантскую поэму Бенета «Тело Джона Брауна», а сам умер даже без тонюсенькой книжки на английском. Многие талантливые поэты-эмигранты оказались вычеркнуты из литературы на родине по политическим причинам и одновременно — из переводной литературы на Западе по причинам равнодушия. Еще в ранних 60-х, когда я побывал в США, Канаде, Австралии, многие студенты и профессора-слависты и просто читатели жаловались, что не существует ни одной представительной антологии русской поэзии XX века на английском языке. Но такой антологии не было не только на Западе, но и в СССР. Поэзия тоже стала жертвой холодной войны, ибо отношение к ней по обе стороны железного занавеса было преступно политизировано.

В западные антологии почти не включались так называемые красные поэты, а в советские антологии не включались так называемые белые поэты или даже «недостаточно красные» и тем более диссиденты. В такой искусственной политизации точки зрения на поэзию некрасивую роль сыграли не только идеологи, но и сами поэты.

4. ЕСЛИ БЫ ГОСУДАРСТВАМИ ПРАВИЛИ ПОЭТЫ...

Напрасно романтические любители поэзии думают, что, если бы государствами руководили не политики, а поэты, мир стал бы раем. Боюсь, что мир находился бы в ежедневном состоянии мировой войны. Бунин, Гиппиус, Мережковский после поэмы «Двенадцать» называли Блока «продавшимся большевикам». Большевистские певцы рычания тракторов и индустриального грохота клеймили певца шелеста осенних листьев Есенина как «упадочно-го поэта». Трибун революции Маяковский однажды получил на выступлении записку с вопросом о стихах Гумилева, которого расстреляли как контрреволюционера: «Не считаете ли вы, что поэтическая форма у Гумилева все-таки хорошая?» В ответ на это Маяковский издевательски ответил: «И форма у него белогвардейская — с золотыми погонами». Есенина Маяковский назвал «коровою в перчатках лаечных». Есенин на это ответил таким определением Маяковского: «...Но он, их главный штабс-маляр, поет о пробках в Моссельпроме». Когда Маяковский застрелился, замечательный поэт-эмигрант Ходасевич, отличавшийся, однако, политической желчностью и нетерпимостью, даже некролог о великом поэте превратил в ядовитое издевательство. Набоков о Пастернаке высказывался с презрительной насмешливостью. Такой тончайший человек, как Георгий Адамович, высокомерно третировал Марину Цветаеву и только перед смертью покаялся перед ней в своем последнем стихотворении: «Все по случайности, все поневоле». В совсем недавнее время некоторые уехавшие из СССР на Запад писатели стали переносить раздражение эмигрантской нелегкой жизнью на неэмигрировавших коллег, обвиняя их во всех смертных грехах и пытаясь представить дело так, будто вся достойная русская литература — в эмиграции или в самиздате. Особенную ярость вызывали у таких эмигрантов те писатели, которые печатались и у себя, и за границей и, приезжая на Запад, пользовались вниманием газет, телевидения, издателей, читателей. К таким писателям пытались приклеить ярлыки «официальные», «придворные», намекали на то, что все они — агенты КГБ, устраивали пикетирование выступлений, а иногда прямые физические нападения на сцене. Единственно достойную позицию занял поэт-эмигрант Коржавин, напомнивший простую, но, к сожалению, забытую истину, что национальная литература есть понятие политически неделимое. Внутри эмиграции тоже были раздоры. Прекрасный поэт Бродский однажды не посоветовал американскому издательству печатать роман прекрасного писателя Аксенова, влюбленного с юности в его стихи. Аксенов в интервью немедленно заявил, что Бродский перестал быть прекрасен, стал невыносимо скучен, как Джамбул, — полусумасшедший-полухитрый седой казах-импровизатор, который сонно трясся по солончаковой степи на машине, полной вшей, и, увидев какую-нибудь засохшую кучу верблюжьего дерьма или ревматический саксаул, хватал свою домбру и вдохновенно начинал завывать, фиксируя все увиденное. Сравнение лауреата Нобелевской премии с завшивленным импровизатором Джамбулом, конечно, оскорбительно. Но разве сам Бродский был всегда этичен в своих оценках?

О господи, когда наконец мы поймем, что писатели не скаковые лошади на ипподроме, соревнующиеся за первое место, а лошади рабочие, тянущие в общей упряжке общую телегу — литературу! Когда мы наконец поймем, что все мы, поэты, болезненно самолюбивые, нетерпимые, гордо недооценивающие друг друга и переоценивающие сами себя, тем не

менее одинаково драгоценны в сердцах преданных поклонников поэзии и давным-давно помирены читательской любовью к нам, как история давным-давно помирила ссорившихся при жизни Пастернака, Маяковского, Есенина. Когда наконец мы поймем, что все мы смертны, что нас не так уж много в человечестве и нам не может быть тесно на земном шаре?

Советская литературная жизнь порой, как эмигрантская, тоже напоминала террариум, где писатели жили, как вынужденные соседствовать змеи, сплетенные в один клубок. Имена одних поэтов в руках критиков (большинство из которых — несостоявшиеся поэты) порой превращались только в оружие, чтобы морально уничтожить других поэтов. Критик Кожин попытался стереть с лица земли «поэтов-эстрадников», в число которых он включал меня, свистя в воздухе над нашими головами, как двумя японскими мечами, именами Рубцова и Соколова. Поэт Передреев написал геростратовскую статью о Пастернаке. Поэт Куняев перегеростратил его, ухитрившись оскорбить в своих статьях романтика Багрицкого, затем поэтов Кульчицкого, Когана, в ранней юности убитых на войне, и безвременно ушедшего Высоцкого. Но чемпионом геростратизма стал талантливый поэт Юрий Кузнецов, выступивший против поэтов Мартынова и Винокурова, которые дали ему рекомендацию в Союз писателей, а заодно и сразу против всех женщин, пишущих стихи. Кузнецов заявил, что существует лишь три типа женской поэзии: первый — рукоделие типа Ахматовой, второй — истерия типа Цветаевой, а третий — общий безликий тип. Итак, на отношение поэтов к другим поэтам при составлении этой антологии ориентироваться было невозможно.

Ориентироваться надо только на самую русскую поэзию, поставив ее выше политики и выше взаимоотношений самих поэтов.

5. НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ, ДА НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО

Мою концепцию воссоединения разделенных историй и взаимными ссорами русских поэтов полностью поддержал выдающийся специалист по русской литературе Макс Хейворд, взявшийся редактировать английский перевод антологии. Он привлек к работе над ней уже известных и молодых славистов, поэтов, выбирая лучшее из уже готовых переводов и заказывая новые. Макс был согласен с моей идеей отдельного зарубежного издания на русском и на английском языках, чтобы любителям поэзии из СССР не приходилось провозить сквозь таможню слишком тяжелое издание, да еще с ненужным им английским переводом. В чемодане, переданном мной Марине Влади, была лишь первая, основная порция русского текста. Остальные добавления приходилось посылать не менее контрабандными путями. Как-то один американский дипломат даже испугался, когда я попросил его о таком одолжении, возможно заподозрив в этом «советскую провокацию». Крупную порцию антологии вывез из Москвы в Париж палестинский поэт Махмуд Дервиш. Самые последние материалы доставил в США американский киноактер Уоррен Битти в подаренном мной бразильском ручном чемоданчике с головой маленького крокодила. Наконец антология была переведена, и ее титульный лист был подписан Максом Хейвордом. Ему оставалось сделать только окончательную проверку, комментарии. Он в это время прихварывал, и я навестил его в английской больнице. Макс выразил огромную радость в связи с завершением работы и пошутил: ну, теперь я могу спокойно умирать. К сожалению, его шутка стала реальностью. Издательство, в котором не было ни одного специалиста по русской литературе, после смерти Макса растерялось. Это было в начале 70-х годов. Некоторое время координацией по завершению работы занимался Даниэл Вейсборд. Но потом работа над антологией была заморожена на пятнадцать лет. Трудно восстановить все причины, приведшие к этому. Безусловно, тут опять была замешана политика: война в Афганистане, диссидентские процессы, ссылка Сахарова в Горький. Но почему за преступления, совершаемые в 70-е годы брежневским правительством, должны были отвечать Гумилев, расстрелянный в 1921-м, Маяковский, застрелившийся в 1930-м, Мандельштам, сгинувший в сталинском лагере в 1938-м, Марина Цветаева, повесившаяся в 1941-м, Пастернак, исключенный из Союза писателей в 1958-м, — главные герои этой антологии? Таков цинизм политики — она манипулирует не только живыми, но и мертвыми. Есть еще версия, что один поэт эмиграции, будучи на нью-йоркском великосветском ужине и оказавшись рядом с тогдашним президентом Дабль-Дэя, уронил что-то вроде: «Вы, кажется, издаете антологию поэзии, чей состав вам диктуют прямо из Кремля?!» Но, может, это была сплетня.

Старинная русская поговорка: «Не было бы счастья, да несчастье помогло» — возымела прямое отношение к этой многострадальной антологии. Как я уже писал, издать такую же в точности антологию в СССР было практически невозможно из-за цензуры. Если бы эта книга вышла тогда на Западе, Кремль меня вовсе бы не погладил по голове за то, что я включил туда столько так называемых антисоветчиков.

Но с наступлением гласности ситуация фантастически перевернулась, так что эту антологию стало легче напечатать в СССР, чем в США. Такую возможность мне дал новый редактор иллюстрированного еженедельника «Огонек» Виталий Коротич. Три года почти в каждом номере появлялась моя страничка под рубрикой «Русская муза XX века» (примерно 300 строк). Это было воскрешение реальной истории нашей поэзии, воссоединение всех поэтов, разъединенных политикой и личными амбициями.

Я всегда хотел, чтобы эта антология была похожа на дом Волошина в Крыму, где во время гражданской братоубийственной войны находили братский приют «и красный вождь, и белый офицер». Так оно и случилось.

Как ни странно, озорчивая задержка с выходом антологии помогла ей стать лучше.

Я и сам продолжал поиски в архивах вместе с журналистом Ф. Медведевым, и со всех концов света, из-за границы, ко мне шли в «Огонек» новые материалы. Антология значительно расширилась, обогатилась по сравнению с первым американским вариантом. На счастье, к лучшему изменилась не только эта антология, но и время.

В обновлении русского варианта мне оказали неоценимую помощь литературоведы Ю. Нехорошев, В. Радзишевский, в США — выдающийся специалист по эмигрантской поэзии Э. Штейн, моя жена Маша. Биографическое оформление антологии было бы невозможно без единственного пока литературного справочника немецкого профессора Вольфганга Казака. В США огромную роль в этой книге, как и вообще в моей жизни, сыграл профессор Квинс-колледжа Альберт Тодд, взявший на себя и большое количество новых переводов, и редактуру старых, и общую координацию по завершению этого коллективного титанического труда.

Книга вышла в США в 1993 году, став учебным пособием в американских университетах. В ее английском варианте — 253 поэта. В ней 1078 страниц формата гораздо меньшего, чем тот, что вы держите в руках.

6. ПРИНЦИП ОТБОРА

Как ни старайся быть объективным, кто-нибудь всегда будет недоволен.

Эта антология не притворяется объективной. Подбор имен, стихов и особенно комментариев носят откровенно личностный характер. Не удивляйтесь, что некоторые комментарии к классикам короче, чем к современникам. Классика — это явление уже устоявшееся, определившееся, а в современниках нам иногда тяжело разобраться. Если вы заметите, что моя «врезка» к какому-нибудь второстепенному поэту втрое больше, чем, скажем, к Блоку, не подумайте, что я уверен в большем значении для литературы второстепенных поэтов.

Читателям, которые привыкли к академическим информативным антологиям, некоторые мои комментарии могут показаться резкими. Но эта антология не комплиментарная, — аналитическая.

Главная ее тема сложилась сама собой: история через поэзию. С антологией русской поэзии иначе и быть не могло. «Поэт в России больше, чем поэт». Здесь и предреволюционные метания, и надежды нашей интеллигенции, и противоречивое отношение к революции, братоубийственная гражданская война, спасительная и одновременно разрушительная для национальной культуры эмиграция, строительство первых пятилеток, насильственная коллективизация, невиданный в истории предполпотровский самогеноцид, героическая борьба против фашистского палачества, соединенная с обожествлением палача собственного народа, оттепель, возвращение призраков из сталинских лагерей, танки в Будапеште, возведение Берлинской стены, наглый стук снятым башмаком в ООН, сытое чавканье болота застоя, снова танки — теперь уже в Праге, захпхивание инакомыслящих в психушки, бессмысленная война в Афганистане, прорыв из застоя, гласность, возвращение Сахарова, его смерть, танки, окружающие Белый дом в августе 1991 года, наконец, те же танки, стреляющие по этому же Белому дому в октябре 1993-го.

Лучшим русским поэтам в отличие от западных никогда не был свойствен герметизм. Даже Пастернак, считавшийся аполитичным, о котором Сталин со снисходительным презрением сказал: «Оставьте в покое этого небожителя», в конце жизни, независимо от своей воли, оказался в эпицентре политической борьбы.

Русская поэзия взошла на почве сострадания, а сострадание при системе, где нельзя сочувствовать «врагам народа», — это уже политика.

«Мы не врачи — мы боль», — сказал когда-то о роли русских писателей Герцен. Главный принцип отбора в этой антологии — по степени боли.

7. УРОЖАЙ ИЗ ОТРЕЗАННЫХ ЯЗЫКОВ

Запрещенный в России журнал, который Герцен издавал в Лондоне, не случайно назывался «Колокол».

За то, что угличский колокол стал бить в набат, сзывая сограждан на место убиения царевича Димитрия, у этого колокола вырезали язык, нещадно били колокол плетью и сослали под охраной в Сибирь.

Но языки на Древней Руси вырезали и у живых людей — дописанных русских поэтов и зарывали отрезанные языки в землю, чтобы те снова не приросли.

Будет время — поднимется до облаков
урожай из отрезанных языков!

— такие строчки были у меня в поэме «Куликово поле».

Начало русской поэзии — в былинном эпосе, когда ритм татаро-монгольских таранов, ударяющих в крепостные ворота, рождал другой, противоположный ритм.

Поэзия звучала в молитвах, гневно прорывалась в Аввакумовых проповедях, прорезалась в переписке тогдашнего диссидента — князя Курбского с Иваном Грозным, в обрядовых песнях, в причитаниях плакальщиц, в подметных письмах Стеньки Разина. Смертельно устав от татарского ига, Русь объединилась вокруг Москвы, стреляя из пушек пеплом самозванцев в ту сторону, откуда они пришли. Русь старалась обнести себя невидимой крепостной стеной, обороняясь от чужеземных влияний. Но в воздухе уже безжалостно защелкали ножницы Петра, остригающие бороды бояр. Волошин не без горькой точности заметил: «Великий Петр был первый большевик...»

Изоляционизм окончился, но он грозил разрушением традиций. С той поры и началась до сих пор продолжающаяся борьба между западниками и славянофилами.

Пушкин, несмотря на эфиопскую кровь, текущую в его жилах, а может быть, благодаря ей, нашел в себе широту и энергию быть одновременно и славянофилом, и западником. Невероятно, сколько Пушкиных было на свете в одном и том же лице! Эпик, лирик, сатирик, критик, историк, редактор, философ, просветитель, верный друг, страстный любовник. Достоевский сказал: «Пушкин не угадывал, как надо любить народ, не приготовился, не учился. Он вдруг оказался самым народом».

Лермонтов стал знаменитым сразу после того, как написал стихи на смерть своего великого предшественника. Лермонтов родился не от женщины, а от пули, посланной в сердце Пушкина.

Тютчев написал гениальное четверостишие:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.

Через век с лишним один из авторов нашей антологии, Мария Авакумова, перефразировала последнюю строчку так: «Но сколько можно только верить?» — и этот вопрос был задан не без основания.

Кольцов, Некрасов были первыми интеллигентами не из аристократии — разночинцами. Через их поэзию заговорило закрепощенное крестьянство. Строки Некрасова: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» — стали поговоркой. Но в этих строках была и опасность примитивизации смысла поэзии, сведения ее лишь до просветительских задач. Некоторые революционные критики начали нападать даже на Пушкина за его «общественное легкомыслие», упрекая в трусости за то, что во время декабристского восстания он не оказался вместе с мятежниками. Писарев и другие, сами того не ведая, закладывали основы будущей теории «социалистического реализма». Разночинская интеллигенция заболела опасной болезнью — идеализацией народа. Но если аристократическая интеллигенция теряла иллюзии государственных, то разночинская интеллигенция после смерти Некрасова начинала терять иллюзии народнические. Попытки «хождения в народ» заканчивались печально, ибо крестьяне побаивались «очкастых», считая, что те могут принести им своей ученостью только несчастья. Ну что же, если считать народников первыми проповедниками коллективизации, то так оно и случилось.

Перед началом XX века в России наступили гражданские сумерки. Фигура террориста, мрачно замаячившая на русском пейзаже, — это гражданские сумерки, сгущенные в человеческую конфигурацию. В 1968 году на встрече с левой интеллигенцией в Мексике (а там она вся левая) меня спросили:

— Какая, по-вашему, книга должна быть настольной книгой революционера?

Я ответил:

— «Бесы» Достоевского.

В этой книге, которую революционные демократы называли контрреволюционной, была пророчески описана шигалевщина будущего самогеноцида. В конце XIX века, наполненного горьким запахом обреченного вишневого сада, непродолжительную, но огромную популярность снискал Надсон — посредственный поэт, чьи искренние стихи соответствовали настроениям интеллигенции своей болезненностью, безнадежностью. Надсон был скорее не поэтом, а инстинктом уходящего XIX века, почуявшим ужас надвигающегося XX.

Блок в начале XX века писал:

Мы — дети страшных лет России —
Забить не в силах ничего.

Его далекая и совсем непохожая наследница неоавангардистка Нина Искренко с присущей новому сардоническому поколению склонностью насмешливо перефразировать классику сказала в конце XX века:

Мы — дети скушных лет России.

Ну что ж, дай Бог, чтобы скушные годы снова не стали страшными.

Если середину XIX века справедливо называли золотым веком русской поэзии, то начало XX, наполненное невиданным количеством талантов, назвали серебряным. Но такого названия заслуживало только начало века. Над серебряным веком нависло грубое, зазубренное о шейные позвонки поэтов железо дамоклова меча. Кюхельбекер писал:

Горька судьба поэтов всех племен;
Тяжеле всех судьба казнит Россию...

Через много лет ему вторил Волошин:

Темен жребий русского поэта:
Неисповедимый рок ведет
Пушкина под дуло пистолета,
Достоевского на эшафот.

Именно этот жребий вбросил такого, казалось бы, аполитичного поэта, как Пастернак, в эпицентр политической борьбы, и самопожертвование Пастернака снова возвысило в России слово «поэт». Не случайно почти все диссиденты писали стихи.

Однако сейчас новая ситуация — ситуация свободы слова и свободы равнодушия к нему. Над головами поэтов висит дамоклов меч цензуры равнодушия. Переполитизированность общества, переходящая в апатию, такова, что какой-нибудь новый великий русский поэт может на долгое время остаться или даже умереть незамеченным. Мы вступаем в эпоху, когда, может быть, наше поколение останется последним поколением профессиональных поэтов, живущих на эту профессию.

Издательства все неохотней печатают стихи. Страшно, что в стране Пушкина, Толстого, Достоевского самой печатаемой писательницей стала пошлость. Но чем непоэтичней время, тем выше цена настоящей поэзии, тем необходимей среди музыки пошлых шлягеров и стадного политического скандирования «глагол времен — металла звон». Любой материализм как единственный смысл жизни есть тупость души. Процветающая тупость не меньшее поражение, чем тупость разорившаяся. Способность любить поэзию есть воспитание тонкости души. От тонкости души наших сограждан и зависит будущее их Отечества. Мы проиграем XXI век, если не возьмем в него с собой наши немногие недевальвированные ценности и среди них русскую поэзию. Она нас не предаст — лишь бы мы ее не предали.

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО

Апрель 1994

ГРЕХИ НАШИ ТЯЖКИЕ...

От научного редактора

Тысяча девятисотый год, канун XX века, русская поэзия встречала отнюдь не своим расцветом. От «золотого века» в живых не было никого; исключение составлял родившийся еще при жизни Пушкина Константин Случевский, но это было в полном смысле слова исключение из правила: самое знаменитое свое стихотворение, «Упала молния в ручей», он напишет в 1902 году, а умрет лишь в 1904-м. Из других значительных поэтов XIX века: в 1897 году, словно заканчивая эпоху, умер Аполлон Майков, в 1898-м — Яков Полонский, в 1900-м, наконец, безвременно скончался Владимир Соловьев, сильно опередивший время и своим символизмом, и в еще большей мере — своими пародиями на символистов. Разве что Алексей Жемчужников, зажившийся реликт бессмертного Козьмы Пруткова, продолжал писать — но уже превратившись в полный анахронизм. А те, кто составил славу русской поэзии начала XX века, только-только еще вступили в литературу, завоевав в ней славу по большей части скандальную: Бальмонт, Брюсов, наконец, Сологуб. Выходец из провинциального Омска, полиглот Иннокентий Анненский печататься как поэт еще даже и не начал: все, что обеспечило ему высокое место «на Парнасе Серебряного века», написано в 1900-е годы. Уже, впрочем, есть Мережковский, Вячеслав Иванов, Зинаида Гиппиус, множество одаренных поэтов второго ряда — Иван Коневской, к примеру. Гумилеву — четырнадцать лет, Ахматовой — одиннадцать, Пастернаку — десять, Мандельштаму — девять, Цветаевой — восемь, Маяковскому — семь, Георгию Иванову — шесть. Кузмину, впрочем, двадцать восемь, но он пока что сочиняет музыку. стихам его несколько позже «обучит» Брюсов. Словом, сумерки, время Гекаты: прежнее солнце зашло, новое еще не взошло, — хотя, конечно, не тьма египетская. Однако все, даже самые младшие поэты Серебряного века, уже родились. Так что 1900 год для русской поэзии — вполне законный рубеж и начало новой эпохи, не надо лишь забывать о второй половине 1890-х годов, о том фундаменте, на котором Серебряный век был заложен.

Поэтому редактор этой антологии, будучи составителем приглашен к работе, вполне согласился с тем, с кого и как должна книга начинаться, — а только этот вопрос и мог бы оспариваться. По замыслу составителя, в ней должны были быть представлены не какие-либо основные поэты XX века, а по возможности ВСЕ талантливые, до кого руки дотянутся и кто в ней поместится: советские поэты и эмигранты, люди, издавшие по сто прижизненных книг, и люди, не напечатавшие ни строки. Словом, сюда должны были попасть, говоря словами Случевского из его поэмы «В снегах»,

Постники-схимники в черных скуфьях,
Ножки танцовщицы в алых туфлях,
Говор в кулисах, пиры до утра,
Память деревни, разливов Хопра,
Грубые шутки галунных лакеев,
Благословения архиереев,
Ладан, пачули, Афон и кулисы,
Вкус просфоры и румяна актрисы, —

и, продолжу, сложилось все это и многое другое в плохо изученное в целом, вовсе не осмысленное нами пока что явление, известное под условным названием «русская поэзия XX века». Дополнию: когда вышеприведенный отрывок из Случевского в начале 70-х годов я стал читать своему учителю, поэту Аркадию Штейнбергу, он буквально заорал: «Это же любимые стихи Багрицкого!» Штейнберг был другом Багрицкого и соавтором и наверняка говорил правду. Так понемногу обозначилась срастающаяся в конце XX века связь времен.

Не зря последний «кусочек» Козьмы Пруткова, Алексей Жемчужников, дожил до XX века: бессмертный Козьма все твердил, что никто не обнимет необъятного, а вот составитель, да и редактор этой книги взяли да и попытались это сделать. Нас будут потом судить за это, притом ВСЕ: чем-нибудь эта книга не угодит каждому. Ну, судите. Александр Островский в XIX веке в «Грозе» нечто подобное предусмотрел, вот я и обращаюсь к будущему судье словами странницы из этой пьесы: «Суди меня, судья неправедный!» И когда будешь судить, все время помни последнее слово этой просьбы. Потому как иначе судить искусство никому не дано. Тем более даже не антологию русской поэзии в точном значении этих слов, а КНИГУ ДЛЯ ЧТЕНИЯ, в которой выбор того или иного произведения диктовался прежде всего вкусами составителя, если читатель не забыл, — «шестидесятника». Корректировка со

стороны редактора, то бишь меня, была сознательно минимальной. Принято считать, что представители шестидесятников с представителями моего поколения, которое называют то «бойлерным», то «эмигрировавшим», общего языка найти не могут. Ничего, нашли: в числе трех «главных» для себя поэтов XX века и составитель, и редактор назвали Александра Блока; не зачисляя в эту тройку (даже и в первую пятерку) Максимилиана Волошина, оба признали волошинские «Стихи о терроре» одним из важнейших явлений нашей литературы. Ну а то, что возле постели, на случай бессонницы, у составителя, как я полагаю, стоит Пастернак, а у редактора — Ходасевич, иначе говоря, почти антиподы, — это скорее пошло книге на пользу: плюрализм так плюрализм, были бы стихи хорошие. И никаких других критериев.

Эту книгу едва ли можно использовать как справочник, не подходит она и как учебное пособие: справки о поэтах вовсе не везде содержат полную биографию и библиографию, хотя во многих случаях здесь рассказано о людях, о которых по сей день в печати не было ничего. «Судья неправедный», пристально изучив список помещенных в эту книгу поэтов, уже высмотрел, что в ней нет не одних только принципиально исключенных составителем детских стихотворцев, но и тех, кто не принадлежит русской литературе в прямом значении этих слов: русских стихов Болеслава Лесьмяна, Райнера-Марии Рильке, Ярослава Гашека, Анатоля Иммерманиса, Геннадия Айги, Владимира Санги, Олжаса Сулейменова и еще много кого. В ней также нет, к примеру, Спиридона Дрожжина или Любви Столицы: хотя эта книга и пытается объять необъятное, но даже она не резиновая, где-то ведь надо остановиться; если составитель не нашел у поэта ничего на свой вкус, а редактор не сумел его переубедить (что тоже бывало нередко) — значит, поэта здесь нет. Нет стихов Луначарского, Воровского, Аркадия Гайдара, нет стихов Дмитрия Фурманова и так далее, вплоть до Юрия Андропова: нет, короче говоря, тех людей, для которых поэзия была более чем маргинальным, и притом неудачным, эпизодом в их жизни. Нет многих патриархов «местных» литератур: от чисто тамбовского «классика» Михаила Филиппова до чисто австралийской русской поэтессы Клавдии Пестрово; это не означает, что этих поэтов как бы нет вообще, просто их место где-то еще.

За очень малым исключением, здесь нет и поэтов-песенников, «текстовиков». Нет и тех, чье творчество современным литературоведением поставлено под вопрос: уж если песня «Священная война», которую так любят национал-патриоты, написана не Лебедевым-Кумачом, а — страшно сказать — инородцем А. Бодэ, то что вообще-то наверняка написал поэт-лауреат? Нет некоего поэта, якобы по забывчивости напечатавшего как свои стихи Анны Ахматовой. Увы, некоторые писатели в советское время ставили свое имя под (или над) чужими произведениями, пользуясь бедностью или беззащитностью того, кто был подлинным автором. Кстати, кое-кому из нанимателей «негры» мстили: не расплатился наниматель за предыдущую порцию стихов — в следующую подсовывалось что-нибудь малоизвестное из классики, и после публикации скандал полностью отвечал пословице «жадность фраера сгубила». Нет уверенности, что эти случаи отслежены все, но уж насколько сил хватало.

Очень много кого здесь нет: от крайнего, далеко превзошедшего все опыты Крученых заумника Александра Туфанова, до... не будем говорить о живых, они сами заметят, что их тут нет. А вот кое-кто есть, однако, прочтя врезку к стихам Семена Родова или Веры Инбер, читатель схватится за голову: зачем в таком случае было их включать? А вот именно за этим. Талант как раз и погубил: стихи хорошие, и след в литературе, безусловно, оставлен. А что в жизни, пользуясь выражением Владимира Набокова, это след сколопендровый, так тут уж «ничья вина», пользуясь выражением Булата Окуджавы.

Есть в книге и очень неожиданные имена: скульптор Эрнст Неизвестный, кинорежиссер Савва Кулиш, академик Владимир Захаров — люди, для которых поэзия важна, но явно не стала главным делом их жизни. Есть стихи о Павла Флоренского, ученого-энциклопедиста Александра Стрижевского; стихи прозаиков безусловно первого ряда, но лишь едва-едва поэтов: Александра Грина, Юрия Олеши, Сигизмунда Кржижановского, даже А. Н. Толстого и Валентина Катаева, без стихов они, может быть, не стали ни прозаиками, ни учеными. Составитель стремился выразить прежде всего свой аспект понимания русской поэзии. Редактор корректировал его усилия в минимальном количестве мест; на всякий случай ставлю в известность грядущих литературоведов, что без ведома составителя я вставил в книгу лишь одно стихотворение. Пусть специалисты гадают, какое; оговорюсь сразу, что не свое собственное, я-то в книгу попал как раз по воле составителя и отнюдь не по рукописи, а по тексту московского альманаха «ПОЭЗИЯ».

О рукописях. По ним в этой книге печатается очень и очень многое, хотя кое-что предварительно попало в периодику. Практически вся подборка Владимира Щиrowsкого —

лишь наиболее яркий пример открытия, сделанного в процессе многолетнего составления книги. Здесь есть стихи, вырванные из архивов КГБ (Клюев), стихи, той же организацией на долгие годы лишенные имени автора (Борис Корнилов). Здесь есть поэт, убивший члена ЦК партии большевиков Урицкого (Каннегисер), и есть поэт, убитый молнией (Капранов). Здесь десятки казненных и покончивших жизнь самоубийством. Здесь и те, на чьей совести есть человеческие жизни, хотя их по большей части составитель и редактор старались выбросить, особенно тех, на чьей совести эти жизни были «косвенно», кого обычно стараются оправдать: впрочем, факты наиболее ярких публичных и печатных доносов нашли отражение во врезках к подборкам.

Личность составителя не могла не наложить на книгу свой отпечаток. Здесь, к примеру, собраны чуть ли не все стихи о Бабьем Яре, начиная с тех, которые Ольга Анстей написала в оккупированном Киеве в декабре 1941 года, и до самых знаменитых, написанных как раз составителем. Есть и другие сквозные темы; их читатель заметит, перелистав книгу.

Ну а если год рождения остался где-то не выяснен или год смерти ошибочен, если в пересказе событий биографии приведены версии, довольно сильно отличающиеся от общепринятых, — то это либо недосмотр редактора, либо, напротив, весьма глубокое знание предмета, которое в каждом отдельном случае может быть при необходимости документировано.

И наконец, еще одно: XX век еще не кончился, поэзия сегодняшнего дня, поэзия самых молодых только создается. Поэтому если антология и претендует на известную полноту в отношении тех поэтов, которые родились не позднее, чем в первые две трети двадцатого столетия, то есть до 1960 года, то время для подробного изучения поэзии самых молодых еще не наступило; впрочем, те, кто родился в 70, 80, 90-е годы, будут поэтами XXI века.

ЕВГЕНИЙ ВИТКОВСКИЙ

ДЕТИ ЗОЛОТОГО ВЕКА

Поэты, родившиеся до 1900 года

*Ты плачешь, каешься? Ну что же!
Мир говорит тебе: «Я жду!»
Сойди с кровавых бездорожий
хоть на пятнадцатом году!*

ЗИНАИДА ГИППИУС
«Молодому веку»

*В терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.*

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

*Но вас, кто меня уничтожит,
встречаю приветственным гимном!*

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ

*Загляделся раз на няню
постовой-городовой.
Уронила няня Ваню
обо что-то головой...*

ВЛАДИМИР ВОИНОВ

*«Что сегодня, гражданин,
на обед?
Прикреплялись, гражданин,
или нет?»
«Я сегодня, гражданин,
плохо спал.
Душу я на керосин
обменял...»*

ВИЛЬГЕЛЬМ ЗОРГЕНФРЕЙ



КОНСТАНТИН СЛУЧЕВСКИЙ

1837, Петербург — 1904, там же

Родился в семье сенатора. С отличием окончил кадетский корпус, служил в лейб-гвардии Семеновского полка, учился в Академии Генерального штаба. В 23-летнем возрасте вышел в отставку и уехал за границу. Слушал лекции в университетах Парижа, Берлина, Лейпцига, Гейдельберга, получил степень доктора философии. Вернувшись в Россию, поступает на службу в Главное управление по делам печати, затем в министерство государственных имуществ. Более десяти лет редактирует «Правительственный вестник». В последние годы жизни — член Совета министра внутренних дел, член Ученого комитета министерства народного просвещения, гофмейстер. С этим житейским благополучием резко контрастирует глубинный трагизм поэзии Случевского. Она весьма сходна с напророченной Лермонтовым «насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом». Случевский видел, что общество, чьей опоркой ему пришлось служить, разваливается, однако грядущих руин не приветствовал, понимая, что под ними будет погребено слишком многое. Случевский соединил язвительный ум князя Вяземского с поэтикой Баратынского.

Именем Случевского назван мыс на острове в Карском море, сам же остров, закартографированный молодым гидрологом А. В. Колчаком, долгое время носил имя будущего адмирала и Верховного правителя России.

* * *

Ты не гонись за рифмой своенравной
И за поэзией — нелепости оне:
Я их сравню с княгиней Ярославной,
С зарею плачущей на каменной стене.

Ведь умер князь, и стен не существует,
Да и княгини нет уже давным-давно;
А все как будто, бедная, тоскует,
И от нее не все, не все схоронено.

Но это вздор, обманное созданье!
Слова — не плоть... Из рифм одежд не ткать!
Слова бессильны дать существованье,
Как нет в них также сил на то, чтоб убивать...

Нельзя, нельзя... Однако преисправно
Заря затеплилась; смотрю, стоит стена;
На ней, я вижу, ходит Ярославна,
И плачет, бедная, без устали она.

Сгони ее! Довольно ей пророчить!
Уйми все песни, все! Вели им замолчать!
К чему они? Чтобы людей морочить
И нас, то здесь — то там, тревожить и смущать!

Смерть песне, смерть! Пускай не существует!
Вздор рифмы, вздор стихи! Нелепости оне!..
А Ярославна все-таки тоскует
В урочный час на каменной стене...

1898—1902

* * *

Твоя слеза меня смутила...
Но я, клянусь, не виноват!
Страшна условий жизни сила,
Стеной обычай стоят.

Совсем не в силу убежденья,
А в силу нравов, иногда
Всплывают грустные явления,
И люди гибнут без следа,

И ужасающая драма
Родится в треске фраз и слов
Несуществующего срама
И намалеванных оков.

<1898>

* * *

Да, трудно избежать для множества людей
Влиянья творчеством отмеченных идей,
Влиянья Рудиных, Раскольниковых, Чацких,
Обломовых! Гнетут!.. Не тот же ль гнет цепей,
Но только умственных, совсем не тяжких,
братских!..

Художник выкроил из жизни силуэт;
Он, собственно, ничто, его в природе нет!

Но слабый человек, без долгих размышлений,
Берет готовыми итоги чуждых мнений,
А мнениям своим нет места прорасти,—
Как паутиною все затканы пути
Простых, не ломаных, здоровых заключений,
И над умом его — что день, то гуще тьма
Созданий мощного, не своего ума...

<1898>

* * *

Какое дело им до горя моего?
Свои у них, свои томленья и печали!
И что им до меня и что им до него?..
Они, поверьте мне, и без того устали.
А что за дело мне до всех печалей их?
Пусть им тяжело, томительно и больно...
Менять груз одного на груз десятерых,
Конечно, не расчет, хотя и сердобольно.

<1899>

* * *

Что тут писано, писал совсем не я,—
Оставляла за собою жизнь моя;
Это — куколки от бабочек бывлых,
След заметный превращений временных.

А души моей — что бабочки искать!
Хорошо теперь ей где-нибудь порхать,
Никогда ее, нигде не обрести,
Потому что в ней, беспутной, нет пути...

<1899>

* * *

Кому же хочется в потомство перейти
В обличьи старика! Следами разрушений
Помечены в лице особые пути
Излишеств и нужды, довольства и лишений.
Я стар, я некрасив... Да, да! Но, Боже мой,
Ведь это же не я!.. Нет, в облике особом,
Не сокрушаемом ни временем, ни гробом,
Который некогда я признавал за свой,
Хотелось бы мне жить на памяти людской!
И кто ж бы не хотел?

Особыми чертами
Мы обрисуемся на множество ладов —
В рассказах тех детей, что будут стариками,
В записках, в очерках, за длинный ряд годов.

И ты, красавица, не названная мною,—
Я много, много раз писал твои черты,—
Когда последний час ударит над землею,
С умерших сдвинутся и плиты, и кресты,—
Ты, как и я, проявишься неожиданно,
Но не старухою, а на заре годов...

Нелепым было бы и бесконечно странно —
Селить в загробный мир старух и стариков.

<1900>

* * *

Упала молния в ручей.
Вода не стала горячей.
А что ручей до дна пронзен,
Сквозь шелест струй не слышит он.

Зато и молнии струя,
Упав, лишилась бытия.
Другого не было пути...
И я прошу, и ты прости.

<1901>

* * *

В час смерти я имел немало превращений...
В последних проблесках горевшего ума
Скользило множество таинственных видений
Без связи между них... Как некая тесьма,
Одни вослед другим, являлись дни былые,
И нагнетали ум мои деянья злые;
Раскаивался я и в том, и в этом дне!
Как бы чистилище работало во мне!
С невыразимою словами быстротою
Я исповедовал себя перед собою,
Ловил, подыскивал хоть искорки добра,
Но все не умирал! Я слышал: «Не пора!»

<1902>

РЕЦЕПТ МЕФИСТОФЕЛЯ

Я яд дурмана напущу
В сердца людей, пускай их точит!
В пеньку веревки мысль вмещу
Для тех, кто вешаться захочет!

Под шум веселья и пиров,
Под звон бокалов, треск литавров
Я в сфере чувства и умов
Вновь воскрешу ихтиозавров!

У передохнувших химер
Займу образчики творенья,
Каких-то новых, диких вер
Непочатого откровенья!

Смешаю я по бытию
Смрад тленья с жаждой идеала;
В умы безумья рассую,
Дав заключение до начала!

Сведу, помолвлю, породню
Окаменелость и идею
И праздник смерти учиню,
Включив его в Четьи-Минею.

<1903>

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ

1853, Москва — 1900, с. Узкое, под Москвой

Сын прославленного историка Сергея Соловьева. Философ, публицист, критик. Провозвестник символизма. Как поэт менее значителен, однако его концепция «вечной женственности» воплотилась у Блока в стихах о Прекрасной Даме, а строки из стихотворения «Панмонголизм» стали эпитафией к знаменитым блоковским «Скифам». Пророк по характеру. Может быть, истинный. Но притом иногда и веселый человек.

* * *

Природа с красоты своей
Покрова снять не позволяет,
*И ты машинами не вынудишь у ней,
Чего твой дух не угадает.*

(1872)

EX ORIENTE LUX¹

«С Востока свет, с Востока силы!»
И, к вседержительству готов,
Ирана царь под Фермопилы
Нагнал стада своих рабов.

Но не напрасно Прометей
Небесный дар Элладе дан.
Толпы рабов бегут, бледнея,
Пред горстью доблестных граждан.

И кто ж до Инда и до Ганга
Стезью славною прошел?
То македонская фаланга,
То Рима царственный орел.

И силой разума и права —
Всечеловеческих начал —
Воздвиглась Запада держава,
И миру Рим единство дал.

Чего ж еще недоставало?
Зачем весь мир опять в крови?
Душа вселенной тосковала
О духе веры и любви!

И слово вещее — не ложно,
И свет с Востока засиял,
И то, что было невозможно,
Он возвестил и обещал.

И, разливаясь широко,
Исполнен знамений и сил,
Тот свет, исшедший от Востока,
С Востоком Запад примирил.

О Русь! в предвиденье высоком
Ты мыслью гордой занята;
Каким же хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса или Христа?

1890

ЭПИТАФИЯ

Владимир Соловьев
Лежит на месте этом.
Сперва был философ.
А ныне стал шкелетом.
Иным любезен быв,
Он многим был и враг;
Но, без ума любив,
Сам ввергнулся в овраг.
Он душу потерял,
Не говоря о теле:
Ее диавол взял,
Его ж собаки съели.

Прохожий! Научись из этого примера,
Сколь пагубна любовь и сколь полезна вера.

15 июня 1892

ПАНМОНГОЛИЗМ

Панмонголизм! Хоть имя дико,
Но мне ласкает слух оно,
Как бы предвестием великой
Судьбины Божией полно.

Когда в растленной Византии
Остыл Божественный алтарь
И отреклись от Мессии
Иерей и князь, народ и царь,

Тогда он поднял от Востока
Народ безвестный и чужой,
И под орудьем тяжким рока
Во прах склонился Рим второй.

Судьбою павшей Византии
Мы научиться не хотим,
И всё твердят льстецы России:
Ты — третий Рим, ты — третий Рим.

Пусть так! Орудий Божьей кары
Запас еще не истощен.
Готовит новые удары
Рой пробудившихся племен.

От вод малайских до Алтая
Вожди с восточных островов
У стен поникшего Китая
Собрали тьмы своих полков.

Как саранча, неисчислимы
И ненасытны, как она,

¹ Свет с Востока (лат.)

Нездешней силою хранимы,
Идут на север племена.
О Русь! забудь былую славу:
Орел двуглавый сокрушен,
И желтым детям на забаву
Даны клочки твоих знамен.

Смирится в трепете и страхе,
Кто мог завет любви забыть...
И третий Рим лежит во прахе,
А уж четвертому не быть.

1 октября 1894

* * *

Некогда некто изрек: «Сапоги суть выше
Шекспира».
Дабы по слову сему превзойти британца,
сапожным
Лев Толстой мастерством занялся, и славы
достигнул.
Льзя ли дальше идти, россияне, в искании
славы?
Вящую Репин стяжал, когда: «Сапоги, как
такие,

Выше Шекспира, — он рек, — сапоги,
уснащенные ваксой,
Выше Толстого». И вот, сосуд с блестящим
составом
Взявши, Толстого сапог он начал чистить
усердно.

<1897>

* * *

Бедный друг, истомил тебя путь,
Темен взор, и венки твой измят.
Ты войди же ко мне отдохнуть.
Потускнел, догорая, закат.

Где была и откуда идешь,
Бедный друг, не спрошу я, любя;
Только имя мое назовешь —
Молча к сердцу прижму я тебя.

Смерть и Время царят на земле, —
Ты владыками их не зови;
Всё, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.

18 сентября 1887

ВЛАДИМИР ГИЛЯРОВСКИЙ

1853, имение в Вологодской губ. — 1935, Москва

В 22 года ушел «в народ», работал бурлаком, крючником, пожарником, объездчиком диких лошадей, циркачом, актером. Весь тираж его первой книги «Трущобные люди» (1887) был сожжен царской цензурой. Самая известная книга дяди Гиляя, как его звали, — «Москва и москвичи». Так обожал «дно жизни», что порой поднимал его до уровня неба.

* * *

В России две напасти:
Внизу — власть тьмы,
А наверху — тьма власти.

1886 (?)

ИННОКЕНТИЙ АННЕНСКИЙ

1855, Омск — 1909, Петербург

Блестяще образованный человек, соединивший в своей поэзии классические традиции Пушкина, Тютчева, Баратынского с европейской культурой. Был директором Николаевской мужской гимназии в Царском Селе, и стихи его напоминают об осенней строгости царскосельских аллей. Взыскательный, утонченный мастер. Оказал влияние на целую плеяду русских поэтов — на А. Ахматову, Н. Гумилева, В. Ходасевича и даже на такого поэта, как А. Блок. Ахматова в своем кратком и божественном прощальном слове сказала о нем от лица всех, им воспитанных: «И тот, кого учителем считали...» Многие — от Гумилева до Кленовского — даже учились в его гимназии, и образ директора-поэта навсегда запал им в душу. В некоторых его строках можно уловить как бы предугаданные интонации Б. Пастернака.

СТАРЫЕ ЭСТОНКИ

Из стихов кошмарной совести

Если ночи тюремны и глухи,
Если сны паутинны и тонки,

Так и знай, что уж близко старухи,
Из-под Ревеля близко эстонки.

Вот вошли, — приседают так строго,
Не уйти мне от долгого плена,

Их одежда темна и убога,
И в котомке у каждой полено.

Знаю, завтра от тягостной жути
Буду сам на себя непохожим...
Сколько раз я просил их: «Забудьте...»
И читал их немое: «Не можем».

Как земля, эти лица не скажут,
Что в сердцах похоронено веры...
Не глядят на меня — только вяжут
Свой чулок бесконечный и серый.

Но учтивы — столпились в сторонке...
Да не бойся: присядь на кровати...
Только тут не ошибка ль, эстонки?
Есть куда же меня виноватей.

Но пришли, так давайте калякать,
Не часы ж, не умеем мы тикать.
Может быть, вы хотели б поплакать?
Так тихонько, неслышно... похныкать?

Иль от ветру глаза ваши пухлы,
Точно почки берез на могилах...
Вы молчите, печальные куклы,
Сыновей ваших... я ж не казнил их...

Я, напротив, я очень жалел их,
Прочитав в сердобольных газетах,
Про себя я молился за смелых,
И священник был в ярких глазетах.

Затрясли головами эстонки.
«Ты жалел их... На что ж твоя жалость,
Если пальцы руки твоей тонки,
И ни разу она не сжималась?»

Спите крепко, палач с палачихой!
Улыбайтесь друг другу любовней!
Ты ж, о нежный, ты кроткий, ты тихий,
В целом мире тебя нет виновней!

Добродетель... Твою добродетель
Мы ослепли вязавши, а вяжем...
Погоди — вот накопится петель,
Так словечко придумаем, скажем...»

.....

Сон всегда отпускался мне скупой,
И мои паутины так тонки...
Но как это печально... и глупо...
Неотвязные эти чухонки...

<1906>

КУЛАЧИШКА

Цвести средь немолчного ада
То грузных, то гулких шагов,

И стонущих блоков, и чада,
И стука бильярдных шаров.

Любится, пока полосой
Кровавой не вспыхнул восток,
Часочек, покуда с косою
Не сладился белый платок.

Скормить Помыканьям и Злобам
И сердце, и силы дотла —
Чтоб дочь за газетовым гробом,
Горбатая, с зонтиком шла.

Ночь с 21 на 22 мая 1906

Грязовец

СМЫЧОК И СТРУНЫ

Какой тяжелый, темный бред!
Как эти выси мутно-лунны!
Касаться скрипки столько лет
И не узнать при свете струны!

Кому ж нас надо? Кто зажег
Два желтых лика, два унылых...
И вдруг почувствовал смычок,
Что кто-то взял и кто-то слил их.

«О, как давно! Сквозь эту тьму
Скажи одно: ты та ли, та ли?»
И струны ластились к нему,
Звеня, но, ластьясь, трепетали.

«Не правда ль, больше никогда
Мы не расстанемся? довольно?...»
И скрипка отвечала да,
Но сердцу скрипки было больно.

Смычок все понял, он затих,
А в скрипке эхо всё держалось...
И было мукою для них,
Что людям музыкой казалось.

Но человек не погасил
До утра свеч... И струны пели...
Лишь солнце их нашло без сил
На черном бархате постели.

СНЕГ

Полюбил бы я зиму,
Да обуза тяжка...
От нее даже дыму
Не уйти в облака.

Эта резанность линий,
Этот грузный полет,
Этот нищенский синий
И заплаканный лед!

Но люблю ослабелый
От заоблачных нег —

То сверкающе белый,
То сиреневый снег...

И особенно талый,
Когда, выси открыв,
Он ложится усталый
На скользящий обрыв,

Точно стада в тумане
Непорочные сны —
На томительной грани
Всесожженья весны.

<1909>

ТО БЫЛО НА ВАЛЛЕН-КОСКИ

То было на Валлен-Коски.
Шел дождик из дымных туч,
И желтые мокрые доски
Сбегали с печальных круч.

Мы с ночи холодной зевали,
И слезы просились из глаз;
В утеху нам куклу бросали
В то утро в четвертый раз.

Разбухшая кукла ныряла
Послушно в седой водопад,
И долго кружилась сначала
Всё будто рвалася назад.

Но даром лизала пена
Суставы прижатых рук, —
Спасенье ее неизменно
Для новых и новых мук.

Гляди, уж поток бурливый
Желтеет, покорен и вял;
Чухонец-то был справедливый,
За дело полтину взял.

И вот уж кукла на камне,
И дальше идет река...
Комедия эта была мне
В то серое утро тяжка.

Бывает такое небо,
Такая игра лучей,
Что сердцу обида куклы
Обиды своей жалчей.

Как листья тогда мы чутки:
Нам камень седой, ожив,
Стал другом, а голос друга,
Как детская скрипка, фальшив.

И в сердце сознание глубоко,
Что с ним родился только страх,
Что в мире оно одиноко,
Как старая кукла в волнах...

<1909>

СРЕДИ МИРОВ

Среди миров, в мерцании светил
Одной Звезды я повторяю имя...
Не потому, чтоб я Ее любил,
А потому, что я томлюсь с другими.

И если мне сомненье тяжело,
Я у Нее одной ищу ответа,
Не потому, что от Нее светло,
А потому, что с Ней не надо света.

1901

ПЕТЕРБУРГ

Желтый пар петербургской зимы,
Желтый снег, облипающий плиты...
Я не знаю, где *вы* и где *мы*,
Только знаю, что крепко мы слиты.

Сочинил ли нас царский указ?
Потопить ли нас шведы забыли?
Вместо сказки в прошедшем у нас
Только камни да страшные были.

Только камни нам дал чародей,
Да Неву буро-желтого цвета,
Да пустыни немых площадей,
Где казнили людей до рассвета.

А что было у нас на земле,
Чем вознесся орел наш двуглавый,
В темных лаврах гигант на скале, —
Завтра станет ребячьей забавой.

Уж на что был он грозен и смел,
Да скакун его бешеный выдал,
Царь змеи раздавить не сумел,
И прижатая стала наш идол.

Ни кремлей, ни чудес, ни святынь,
Ни миражей, ни слез, ни улыбки...
Только камни из мерзлых пустынь
Да сознание проклятой ошибки.

Даже в мае, когда разлиты
Белой ночи над волнами тени,
Там не чары весенней мечты,
Там отравы бесплодных хотений.

ГАРМОННЫЕ ВЗДОХИ

Фруктовник. Догорающий костер среди туманной ночи
под осень. Усохшая яблоня. Оборванец на деревяшке
перебирает лады старой гармоники. В шалаше на соло-
ме разложены яблоки.

Под яблонькой, под вишнею
Всю ночь горят огни, —
Бывало, выпьешь лишнее,
А только ни-ни-ни.

.....
 Под яблонькой кудрявою
 Прощались мы с тобой, —
 С японскою державою
 Предполагался бой.

С тех пор семь лет я плаваю,
 На шапке «Громобой», —
 А вы остались павою,
 И хвост у вас трубой...

.....
 Как получу, мол, пенцию,
 В Артуре стану бой,
 Не то, так в резиденцию
 Закатимся с тобой...

.....
 Зачем скосили с травушкой
 Цветочек голубой?
 А ты с худою славушкой
 Ушедши за гульбой?

.....
 Ой, яблонька, ой, грушенька,
 Ой, сахарный миндаль, —

Пропала наша душенька,
 Да вышла нам медаль!

На яблоне, на вишенке
 Нет гусени числа...
 Ты стала хуже нищенки
 И вскоре померла.
 Поела вместе с лиственным
 Та гусень белый цвет...

.....
 Хоть нам и всё единственно,
 Конца японцу нет.

.....
 Ой, реченька желты-пески,
 Куплись в тебе другой...
 А мы уж, значит, к выписке...
 С простреленной ногой...

.....
 Под яблонькой, под вишнею
 Сиди да волком вой...
 И рад бы выпить лишнее,
 Да лих карман с дырой.

ВИКТОР ЖУКОВ

1856, станица Прочноокопская Ставропольской губ. — 1909, Петербург

Поэт, журналист. Сотрудничал во многих петербургских изданиях. Один из редакторов журнала «Буравчик» (1906). Стихотворение «Свобода» напечатано в журнале «Свободный смех» под псевдонимом Апулей.

СВОБОДА

Испивши массу всяких бед
 И изнывая в рамке узкой,
 Я прожил ровно сорок лет,
 Но не видал свободы русской!..
 Свободы не было!.. Она
 Всегда и всюду исчезала,
 Как музыкальная волна
 В стенах покинутого зала!

Друзья! Я, право, не пойму,
 Кто наградил нас злой невзгодой?
 Я должен был попасть в тюрьму,
 Чтоб ознакомиться с свободой!
 Я был в тюрьме... Я отбыл срок,
 Который судьям был угоден!..
 И от тюремщика лишь мог
 Услышать слово «ты — свободен!».

<13 января 1906>

НИКОЛАЙ МИНСКИЙ

1856, с. Глубокое Виленской губ. — 1937, Париж

Настоящая фамилия — Виленкин. Окончил юридический факультет Петербургского университета. Первый сборник стихов (1883) был изъят цензурой и уничтожен. В историю литературы Минский вошел как «отец русского декадентства». Предсимволистские мотивы обернулись у него романтикой бунта. В 1905 году Минский добился разрешения издавать газету «Новая жизнь», которую предоставил в распоряжение большевиков. В «Новой жизни» была напечатана статья Ленина «Партийная организация и партийная литература». Вскоре газету закрыли, Минского арестовали. Выпущенный под залог, он бежал за границу. Просил о помиловании и получил возможность вернуться. Затем снова уехал. Революция застала его за рубежом. Некоторое время он еще держался за последнюю ниточку, связывавшую его с родиной, работая в советском полпредстве в Лондоне. Но в 1927 году, когда были прекращены дипломатические отношения между Англией и СССР, она оборвалась. Умер Минский в Париже, где жил последние 10 лет. В его поэзии боролась искренняя, но вульгарная гражданственность с истинно лирическим началом. В «Гимне рабочим», начинающемся строкой «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», будущий эмигрант приветствовал революцию; а она оказалась

материализацией его же слов: «Шагайте через нас!» Все это, как и приветствия Брюсова «грядущим гуннам», напоминало мечты скучающей барыньки, мечтающей, чтобы ее изнасиловали. Так нечего барыньке жаловаться. Сама напросилась. Но можно ли было все предугадать?

ДВА ПУТИ

Нет двух путей — добра и зла,
Есть два пути добра.
Меня свобода привела
К распутию в час утра
И так сказала: две тропы,
Две правды, два добра —
Раздор и мука для толпы,
Для мудреца — игра.
То, что доньше средь людей
Грехом и злом слывет,
Есть лишь начало двух путей,
Их первый поворот.
Сулит единство бытия
Путь шумной суеты.
Другой безмолвен путь — суля
Единство пустоты.
Сулят и лгут — и к той же мгле
Приводят гробовой.
Ты — призрак Бога на земле,
Бог — призрак в небе твоей.
Проклятье в том, что не дано
Единого пути.
Блаженство в том, что все равно,
Каким путем идти.
Беспечно, как в прогулки час,
Ступай тем иль другим,
С людьми волнуясь и трудясь,
В душе невозмутим.
Их правду правдой отрицай,
Любовью жги любовь.
В душе меня лишь созерцай,
Лишь мне дары готовь.
Моей улыбкой мир согрей,
Поведай всем, о чем
С тобою первым из людей
Теперь шепчусь вдвоем.

Скажи: я светоч им зажгла,
Неведомый вчера.
Нет двух путей — добра и зла,
Есть два пути добра.

(1901)

СИЛА

Она лежит, открыв свои сосцы,
Разбухшие и крепкие, откуда
И гибельный Нерон, и кроткий Будда,
Прильнувши рядом, пьют как близнецы.

В руках — два опрокинутых сосуда,
И жизнь, и смерть текут во все концы.
Она дохнет — зажгутся звезд венцы,
Дохнет еще — слетят, как листьев гряда.

Она глядит, не видя впереди.
Ей все равно, живет она иль губит
Своих детей, пока их кормит, любит,
Но гонит прочь, отнявши от груди.

Добро и Зло, резвясь, их подбирают
И праздно во вселенную играют.

(1901)

* * *

Мне кажется порой, что жизни драма
Длиннотами страдает и что в ней
Движенья мало по расчету дней:
С картиною несоразмерна рама.
Чтоб семьдесят наполнить долгих лет,
Где новых чувств и мыслей взять? Их нет.
Для тонко эстетической природы
Самоубийство только род купюры.

Не позже 1904

К. Р.

1858, Стрельна Петербургской губ.—1913, Павловск Петербургской губ.

Под псевдонимом К. Р. выступал Великий князь Константин Константинович Романов. Судьба спасла его от роли сентиментального коронованного палача с лютой в руках подобно Нерону. Она спасла его и от зверского уничтожения, которому подверглись его родственники, но не обошла жестокостью его сыновей: один умер еще ребенком, второго убили на Первой мировой войне, третий вынужден был эмигрировать, четвертый, пятый и шестой были сброшены в 1918 году живьем на дно алапаевской шахты. Сам он умер смертью счастливой, хотя бы потому, что не мог предугадать страшного для его семьи будущего. Он начал писать стихи еще романтическим мичманом на винтовом фрегате «Светлана», который плывал к берегам Америки в 1877 году. Зачитывался Достоевским. С одной стороны, он писал в своем юношеском дневнике, обращаясь к брату и к себе: «Выдумаем дело, выберем знающих дельных людей и будем работать втихомолку, чтобы никто не знал и не замечал». С другой стороны, его прямо-таки раздирало желание славы: «Будет война, а мы с тобой будем киснуть?.. Мы на «Светлане» вдруг отличимся и будем ходить с крестами? Мечтал ли ты когда-нибудь о воинской славе? Я, признаться, мечтал...» Судьба, спасшая его от насильственной смерти, не спасла его от своей шутки, — правда, не очень злой: судьба исполнила оба его желания — и незаметности, и славы. Как поэт, он был почти незаметен, печатая книги за собственный счет. Но и единственное, чем он прославился, была все-таки поэзия. Одно его весьма среднее стихотворение «Умер бедняга в больни-

це военной, долго родимый страдал...» в народном сокращении стало знаменитым, и, начиная с русско-японской войны, его долго пели инвалиды войны на перронах и перекрестках. На стихи К. Р. писали романсы П. Чайковский, С. Рахманинов, А. Глазунов, С. Гречанинов. Одним из таких романсов стало и включенное в эту антологию стихотворение «Растворил я окно...». Восемь композиторов написали на него музыку, первый среди них — П. Чайковский.

Растворил я окно — стало грустно невмочь —
Опустился пред ним на колени,
И в лицо мне пахнула весенняя ночь
Благовонным дыханьем сирени.

А вдали где-то чудно так пел соловей;
Я внимал ему с грустью глубокой

И с тоскою о родине вспомнил своей,
Об отчизне я вспомнил далекой,

Где родной соловей песнь родную поет
И, не зная земных огорчений,
Заливается целую ночь напролет
Над душистою веткой сирени.

13 мая 1885

ОЛЬГА ЧЮМИНА

1858, Новгород — 1909, Петербург

Автор забытых психологических романов и не потерявших актуальности сатирических стихов, которые печатались под псевдонимами *Бой-Ком*, *Оптимист* и т. п. Объемистую книгу составили ее театральные фельетоны. Переводила Данте, Мильтона, Эредиа, Леконта де Лиля и других поэтов.

МОЛИТВА

Тучи темные нависли
Низко над землей,
Сон оковывает мысли
Непроглядной мглой...

Воли нет, слабеют силы,
Тишина вокруг...
И спокойствие могилы
Охватило вдруг.

Замирают в сердце муки...
На борьбу опять
Опустившиеся руки
Нету сил поднять.

Голова в изнеможеньи
Клонится на грудь...
Боже мой! Услышь моленье,
О, не дай заснуть.

Этот сон души мертвящий
Бурей разгони
И зажги во тьме царящей
Прежние огни.

Неужели же это — репрессии,
А не путь либеральных реформ?

Тяготеют к союзам профессии,
Но боюсь я партийности уз,
Неужели же это репрессии —
Наш «тюремный союз союз»?

Если казни на нашем конгрессе я
Утверждаю порой без забот —
Неужели же это — репрессии,
А не путь к дарованью свобод?

Если люди весьма прогрессивные
Совершают «сибирский поход» —
Это меры едва ль репрессивные,
Но к свободам прямой переход.

Мы дела совершим богатырские,
Не сойдя с министерских платформ,
И да скроют равнины сибирские
Всех противников наших реформ!

1906

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Русский человек всю жизнь не может обойтись без полиции.
(Из думской речи Курлова)

ПЕСНЬ ТОРЖЕСТВУЮЩЕЙ НЕВИННОСТИ (Музыка русских премьеров)

Прекращенье парламентской сессии
С соблюденьем законнейших форм —
Неужели же это — репрессии,
А не путь либеральных реформ?

Если рот закрываю всей прессе я
Иль тюремный готовлю ей корм —

Полиция в двадцатый век
У нас — первой всего.
На свет родился человек —
Она прежде него.
Вступает в школу он иль в брак,
Затеет торжество —
Но с нею связан каждый шаг,
Она первой всего.
Захочет книгу он прочесть —

Она прежде него.
В темницу он не хочет сесть —
Она ведет его.
Но, ох, всего не перечесть,
Не перечесть всего!
И вот к концу подходит век,
И смерти торжество

Не может справиться человек
Без спутника сего.
Пусть он умрет — она всегда
Переживет его,
Она бессмертна, господа,
Бессмертнее всего!
<1909>

ВЛАДИМИР ЛАДЫЖЕНСКИЙ

1859, с. Александровка Саратовской губ. — 1932, Ницца

Из помещицкой семьи, сотрудничал в «Сатириконе», издал две книги стихотворений. В 1919-м эмигрировал во Францию. Сотрудничал в газетах «Возрождение», «Вечернее время», в журнале «Современные записки».

НА НЕВСКОМ

Трамваев скучные звонки,
Автомобиль, кричащий дико.
Походки женские легки,
И шляпы, муфты полны шика.

Вдруг замешательства момент.
Какой-то крик и вопль злодейский...

Городовой, как монумент,
И монумент, как полицейский.

Не видно неба и земли,
Лишь камни высятся победно
И где-то Русь живет вдали...
Живет загадочно и бедно.

1910

АЛЕКСАНДР ЛАЗАРЕВ-ГРУЗИНСКИЙ

1861, Москва — 1927, там же

Настоящая фамилия — Лазарев. Прозаик, поэт, журналист; секретарь редакции журнала «Будильник».

ВЗДОХ СОВРЕМЕННОГО

Словно как в лесе я,
Нервен, что акция...
Слева — репрессия,
Справа — реакция...

<1905>

АЛЕКСАНДР АМФИТЕАТРОВ

1862, Калуга — 1938, Леванто (Италия)

Закончил юридический факультет Московского университета. Вместе с В. Дорошевичем основал газету «Россия», запрещенную в 1902 году после публикации антиромановской сатиры «Господа Обмановы». Амфитеатров был сослан в Минусинск на 5 лет. Однако уже в 1904 году выехал за границу, жил в Италии, во Франции. С апреля 1906 по июль 1907 года издавал в Париже журнал «Красное знамя». В 1916 году вернулся в Россию, где к этому времени вышло 34 тома его собрания сочинений. В 1921 году опять эмигрировал (точнее, бежал, перешлы в на лодке Финский залив) — теперь уже навсегда. Фигура заметная, но более публицистического, чем художественного толка.

БЛАГОДАРИЮ!

Романс литератора, умиленного
кадетским законопроектом о печати

Всего лишь на пять лет меня вы засадили...
Благодарю!

Я прочитал проект... Хоть он еще не в силе,
Но вижу хорошо грядущую зарю:

Дождались мы цветов, дождемся, значит, ягод...
Российской власти впредь отнюдь не укорю:

По конституции за это — в крепость на год...
Благодарю!

В собрании умов, свободой знаменитых,
С почтением старину подъяческую зрю:
Вы честно сберегли суд при дверях закрытых...
Благодарю!

Священно сохранен порядок «диффамаций»,
Не допускающих сторон враждебных прю:
За то, что посрамлен уклад соседних наций,—
Благодарю!

В читальне у меня брошюрки очень прятки,
Но от жандарма впредь шкафов не затворю:
Ведь риск теперь — всего три месяца
к отсидке...
Благодарю!

Прелестные статьи и чудо-параграфы
Я жадно проглотил — авось переварю!
Спасибо за тюрьму, особенно ж —
за штрафы...
Благодарю!

Строжайшей логикой ваш кодекс лучезарный
Так полон, что — давай господь пономарю!
Пускай бранит его народ неблагодарный...
Благодарю!

Ах, злая клевета прилипчивей, чем клейстер!
В толпе гуляет слух, — его ли повторю? —
Что диктовал закон вам обер-полицмейстер...
Благодарю!

30 июня 1906
Париж

АВЕНИР НОЗДРИН

1862, с. Иваново Владимирской губ.—1938

Гравер по профессии, в 1905 году был выбран председателем Первого Совета. Переписывался с Брюсовым, посылая ему свои стихи. Только в брюсовском архиве они и уцелели, ибо все остальные рукописи были уничтожены черносотенцами во время разгрома его квартиры в декабре 1905 года. После революции был одним из активных деятелей МОПРа. Когда его, уже глубокого старика, бросили в тюрьму, его сокамерник — поэт Николай Часов пораженно спросил: «Ты-то за что пострадал?» — «Говорят, я самозванец — не было в Иваново никакого Первого Совета...» — ответил Ноздрин. Когда однажды он не смог встать для прогулки, надзиратель схватил его за ногу и швырнул на бетонный пол... 76-летний Ноздрин скончался до суда. Пришедшее из Франции выражение: «Революция — мать-чудовище, пожирающее своих собственных детей» опять оправдывалось — теперь уже в своем более страшном русском варианте. Включенное в антологию стихотворение Ноздрина свидетельствует о его мрачных предчувствиях.

ЛЕТОМ

Я хотел перекреститься —
Не успел взмахнуть рукой,
Как смотрю — на крест садится
Черный ворон, ворон злой.
Шел я к ней: светлей и чище
Я не знал души другой.
Подхожу — у ней на крыше
Черный ворон, ворон злой.
Встретил друга, вскрикнул: «Вот он!» —
Руки тянет он ко мне
И смотрю — над нами ворон,
Тот же ворон в вышине.
Тот же крик, но только тише...
Мы идем, а он вослед...
И спускается все ниже
Ворон-вестник, вестник бед.

Не томит меня чужбина,
Скука зимняя избы:
На восьмой версте — малина,
На седьмой версте — грибы.

Нынче кузов из бересты
Я набрал через края.
Под сосною у погоста
Отдохнуть задумал я.

Растянулся так, как буду
Я лежать потом в гробу.
Вместо венчика покуда
У меня — комар на лбу.

1910

КОНСТАНТИН ФОФАНОВ

1862, Петербург — 1911, там же

Один из предшественников символизма. Лев Толстой писал Фофанову в сентябре 1902 года: «Я знаю и читал вас. И хотя, как вы, вероятно, знаете, не имею особенного пристрастия к стихам, думаю, что могу различать стихи естественные, вытекающие из особенного поэтического дарования, и стихи, нарочно сочиняемые, и считаю ваши стихи принадлежащими к первому разряду». Умер в нищете, от алкоголизма.

ЧУДИЩЕ

Идет по свету чудище,
Идет, бредет, шатается,
На нем дерьмо и рубище,
И чудище-то, чудище,
Идет — и улыбается!

Идет, не хочет кланяться:
«Левей!» — кричит богатому.
В руке-то зелья скляница;

Идет, бредет — растянется,
И хоть бы что косматому!

Ой, чудище, ой, пьяница,
Тебе ли не кобениться,
Тебе ли не кричать
И конному и пешему:
«Да ну вас, черти, к лешему —
На всех мне наплевать!»

1910

ФЕДОР СОЛОГУБ

1863, Петербург — 1927, Ленинград

Настоящая фамилия — Тетерников. Сын портного и крестьянки. Работал до 1907 г. учителем математики, затем школьным инспектором. Принадлежал к кругу символистов. Блок сказал, что предмет его поэзии «скорее душа, преломляющая в себе мир, а не мир, преломленный в душе». Поэтические высокопарные порывы, свойственные тогдашнему символизму, у Сологуба были пропитаны горечью пережитых им страданий бедности. Самое знаменитое его произведение — роман «Мелкий бес» — это концентрация удушливого воздуха безнадежности. Выбранные из обширного наследия Сологуба стихи — настоящие шедевры, где он вовсе не следует своей собственной декларации: «Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из него сладостную легенду, ибо я — поэт». Поэты именно тогда достигают своих вершин, когда преодолевают собственные заносчивые декларации. Недаром Горький рекомендовал лучшие стихи Сологуба начинающим. Пожалуй, единственный русский в мире поэт, который осмелился назвать Бога «милый», и это не оказалось пошло: «И просил я у Милого Бога, как никто никогда не просил — подари мне еще хоть немного для земли утомительной сил».

ЛИХО

Кто это возле меня засмеялся так тихо?
Лихо мое, одноглазое, дикое Лихо!
Лихо ко мне привязалось давно, с колыбели,
Лихо стояло и возле крестильной купели,
Лихо за мною идет неотступною тенью,
Лихо уложит меня и в могилу.
Лихо ужасное, враг и любви и забвенью,
Кто тебе дал эту силу?

Лихо ко мне прижимается, шепчет мне тихо:
«Я — бесталанное, всеми гонимое Лихо!
В чьем бы дому для себя уголок ни нашло я,
Всяк меня гонит, не зная минуты покоя.
Только тебе побороться со мной недосужно,—
Странно мечтая, стремишься ты к мукам,
Вот почему я с твоею душою так дружно,
Как отголосок со звуком».

30 декабря 1891, 26 января 1892,
2 апреля 1893

Словно бусы, сказки нижут,
Самоцветки, ложь да ложь.
Языком клевет не слижут,
Нацепили, и несешь.

Бубенцы к дурацкой шапке
Пришивают, ложь да ложь.
Злых репейников охапки
Накидали, не стряхнешь.

Полетели отовсюду
Комья грязи, ложь да ложь.
Навалили камней груду,
А с дороги не свернешь.

По болоту-бездорожью
Огоньки там, ложь да ложь,—
И барахтаешься с ложью
Или в омут упадешь.

10 октября 1895

* * *

Побеждайте радость,
Умерщвляйте смех.
Все, в чем только сладость,
Все — порок и грех.
Умерщвляйте радость,
Побеждайте смех.

Кто смеется? Боги,
Дети да глупцы.
Люди, будьте строги,
Будьте мудрецы,—
Пусть смеются боги,
Дети да глупцы.

27 января 1897;
Не позднее 1903

* * *

В поле не видно ни зги.
Кто-то зовет: «Помоги!»
Что я могу?
Сам я и беден и мал,
Сам я смертельно устал,
Как помогу?

Кто-то зовет в тишине:
«Брат мой, приблизься ко мне!
Легче вдвоем.
Если не сможем идти,
Вместе умрем на пути,
Вместе умрем!»

18 мая 1897

* * *

Порой повеет запах странный,—
Его причины не понять,—
Давно померкший, день туманный
Переживается опять.

Как встарь, опять печально всходишь
На обветшалое крыльцо,
Засов скрипучий вновь отводишь,
Вращая ржавое кольцо,—

И видишь тесные покои,
Где половицы чуть скрипят,
Где отсыревшие обои
В углах тихонько шелестят,

Где скучный маятник маячит,
Внимая скучным, злым речам,
Где кто-то молится да плачет,
Так долго плачет по ночам.

5 октября 1898 — 10 февраля 1900

* * *

Не трогай в темноте
Того, что незнакомо,—

Быть может, это — те,
Кому привольно дома.

Кто с ними был хоть раз,
Тот их не станет трогать.
Сверкнет зеленый глаз,
Царапнет быстрый ноготь,—

Прикинется котом
Испуганная нежить.
А что она потом
Затеет? мучить? нежить?

Куда ты ни пойдешь,
Возникнут пусторосли.
Измаешься, заснешь.
Но что же будет после?

Прозрачную щекой
Прильнет к тебе сожитель.
Он серою тоской
Твою затмит обитель.

И будет жуткий страх —
Так близко, так знакомо —
Стоять во всех углах
Тоскующего дома.

11 декабря 1905

ЧЕРТОВЫ КАЧЕЛИ

В тени косматой ели
Над шумною рекой
Качает черт качели
Мохнатою рукой.

Качает и смеется,
Вперед, назад,
Вперед, назад.
Доска скрипит и гнется,
О сук тяжелый трется
Натянутый канат.

Снует с протяжным скрипом
Шатучая доска,
И черт хохочет с хрипом,
Хватаясь за бока.

Держусь, томлюсь, качаюсь,
Вперед, назад,
Вперед, назад,
Хватаюсь и мотаюсь,
И отвести стараюсь
От черта томный взгляд.

Над верхом темной ели
Хохочет голубой:
«Попался на качели,
Качайся, черт с тобой».

В тени косматой ели
Визжат, кружась гурьбой:
«Попался на качели,
Качайся, черт с тобой».

Я знаю, черт не бросит
Стремительной доски,
Пока меня не скосит
Грозный взмах руки,

Пока не перетрется,
Крутяся, конопля,
Пока не подвернется
Ко мне моя земля.

Взлечу я выше ели,
И лбом о землю трах.
Качай же, черт, качели,
Всё выше, выше... ах!

14 июня 1907

* * *

Коля, Коля, ты за что ж
Разлюбил меня, желанный?
Отчего ты не придешь
Посидеть с твоею Анной?

На меня и не глядишь,
Словно скрыта я в тумане.
Знаю, милый, ты спешишь
На свидание к Татьяне.

Ах, напрасно я люблю,
Погибаю от злодеек.
Я эссенции куплю
Склянку на десять копеек.

Ядом кишки обожгу,
Буду громко выть от боли.
Жить уж больше не могу
Я без миленького Коли.

Но сначала наряжусь
И, с эссенцией в кармане,
На трамвае прокачусь
И явлюсь к портнихе Тане.

Злости я не утаю,
Уж потешусь я сегодня,
Вам всю правду отпою,
И разлучница, и сводня.

Но не бойтесь, — красоты
Ваших масок не нарушу,
Не плесну я кислоты,
Ни на Таню, ни на Грушу.

«Бог с тобой, — скажу в слезах, —
Утешайся, грамотейка!
При цепочке, при часах,
А такая же ведь швейка!»

Говорят, что я проста,
На письме не ставлю точек.
Всё ж, мой милый, для креста
Принеси ты мне веночек.

Не кручинься и, обняв
Талью новой, умной милой,
С нею в кинематограф
Ты иди с моей могилы.

По дороге ей купи
В лавке плитку шоколада,
Мне же молви: «Нюта, спи!
Ничего тебе не надо.

Ты эссенции взяла
Склянку на десять копеек
И в мученьях умерла,
Погибая от злодеек».

<1911>

* * *

«Хнык, хнык, хнык!» —
Хныкать маленький привык.

Прошлый раз тебя я видел, —
Ты был горд,
Кто ж теперь тебя обидел,
Бог иль черт?

«Хнык, хнык, хнык! —
Хныкать маленький привык. —

Ах, куда, куда ни скочишь,
Всюду ложь.
Поневоле, хоть не хочешь,
Заревешь.

Хнык, хнык, хнык!» —
Хныкать маленький привык.

Что тебе чужие бредни,
Милый мой?
Ведь и сам ты не последний,
Крепко стой!

«Хнык, хнык, хнык! —
Хныкать маленький привык. —

Знаю, надо бы крепиться,
Да устал.
И придется покориться,
Кончен бал.

Хнык, хнык, хнык!» —
Хныкать маленький привык.

Ну так что же! Вот и нянька
Для потех.

Ты на рот старухи глянь-ка, —
Что за смех!

«Хнык, хнык, хнык! —
Хныкать маленький привык. —

Этой старой я не знаю,
Не хочу,

Но её не отгоняю
И молчу.

Хнык, хнык, хнык!» —
Хныкать маленький привык.

5 сентября 1916
Княжнино

ДМИТРИЙ МЕРЕЖКОВСКИЙ

1865, Петербург — 1941, Париж

Из украинского небогатого дворянского рода. Окончил историко-филологическое отделение Петербургского университета. Первый сборник стихов выпустил в 1888 году. В 1889 году обвенчался с Зинаидой Гиппиус. Один из основателей русского символизма. Переводил греческие трагедии, ездил в Грецию. В 1895—1905 годах издал религиозно-философскую трилогию «Христос и Антихрист». Автор исследования «Л. Толстой и Достоевский. Жизнь и творчество» (1901—1902), «русской» трилогии «Царство Зверя» (1908—1918). Уже в 1914 году вышло 24-томное собрание сочинений Мережковского. Несколько заданный мистик. Но он сумел пророчески сказать обо всех нас: «Слишком ранние предтечи слишком медленной весны». Было у него и предчувствие, что буддизм одним крылом соприкасается с христианством. Ярый противник Октябрьской революции. Уехав в Париж, свято верил, что историческая миссия эмиграции — борьба с коммунизмом любыми средствами, и даже возлагал надежды на гитлеровскую войну против России. Сейчас вышло 4-томное собрание сочинений Мережковского и репринтно переизданы его романы. Однако самый большой успех завоевала не проза писателя, а его пьеса «Павел I», блестяще поставленная на сцене Театра Советской Армии в 1989 году, с гениально сыгравшим роль императора Олегом Борисовым.

* * *

Люблю иль нет, — легка мне безнадежность:
Пусть никогда не буду я твоим,
А все-таки порой такая нежность
В твоих глазах, как будто я любим.

Не мною жить, не мной страдать ты будешь,
И я пройду как тень от облаков;
Но никогда меня ты не забудешь,
И не замрет в тебе мой дальний зов.

Приснилась нам неведомая радость,
И знали мы во сне, что это сон...
А все-таки мучительная сладость
Есть для тебя и в том, что я — не он.

* * *

Ты ушла, но поздно:
Нам не разлюбить.
Будем вечно розно,
Вечно вместе жить.

Как же мне, и зная,
Что не буду твой,
Сделать, чтоб родная
Не была родной?

Не позже 1914

* * *

Доброе, злое, ничтожное, славное, —
Может быть, это всё пустяки,
А самое главное, самое главное
То, что страшней даже смертной тоски, —

Грубость духа, грубость материи,
Грубость жизни, любви — всего;
Грубость зверихи родной, Эсэсэрии, —
Грубость, дикость, — и в них торжество.

Может быть, всё разрешится, развяжется?
Господи, воли не знаю Твоей,
Где же судить мне? А все-таки кажется,
Можно бы мир создать понежней.

ВЛАДИМИР УМАНОВ-КАПЛУНОВСКИЙ

1865 — (?)

Настоящая фамилия — Каплуновский. Сотрудничал в сатирических журналах. Пользовался псевдонимом Вук.

ШПИК

И в теплый день, и в день холодный,
Когда синее мерзлый лик,
Гуляет поступью свободной
Шпик.

В кофейне иль в фойе театра
Ты рассуждаешь, увлечен...
Но пред тобой (узнаешь завтра!)
Он!

Сказал ты слово над могилой,
Всплакнул и головой поник —
К тебе спешит с улыбкой милой
Шпик.

И в час желанный юбилея,
Когда ты всеми оценен,
С тобою рядом всё смелее —
Он!..

<1908>

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ

1866, Москва — 1949, Рим

Филологическое и историческое образование получил в Московском и Берлинском университетах. В 1902 году ездил в Грецию, Египет, Палестину. Его квартира в Петербурге, прозванная «башней», была одним из центров общения поэтов, художников, ученых. Для отношения Вячеслава Иванова к политике показательным, что в разгар гражданской войны он работал над диссертацией о культуре Диониса, которую защитил в 1921 году в Баку. В 1924 году выехал в Италию, поселился в Риме, принял католичество. Издание в СССР книги стихов Вячеслава Иванова в 1976 году, после более чем полувекового перерыва, было разочаровывающим — за редким исключением, стихи оказались слишком бесплотными, риторическими, явно не выдержав испытания временем. Однако это не отменяет значительности фигуры Вячеслава Иванова в многопортретной галерее русской интеллигенции перед тем, как ее начали методично разрушать, подобно разным болезням, соединившимся в одну, революция, гражданская война, эмиграция, аресты и казни, Вторая мировая война, новые аресты. Если поэзию Мандельштама называли «тоской по мировой культуре», то для Вячеслава Иванова она была всецелым смыслом жизни и ее обиходом.

РУССКИЙ УМ

Своенаачальный, жадный ум, —
Как пламень, русский ум опасен:
Так он неудержим, так ясен,
Так весел он — и так угрюм.

Подобный стрелке неуклонной,
Он видит полюс в зыбь и муть;
Он в жизнь от грезы отвлеченной
Пугливой воле кажет путь.

Как чрез туманы взор орлиный
Обслеживает прах долины,
Он здраво мыслит о земле,
В мистической купаясь мгле.

1890

* * *

Великое бессмертья хочет,
А малое себе не прочит
Ни долгой памяти в роду,

Ни слав на Божием суду, —
Иное вымолит спасенье

От беспощадного конца:
Случайной ласки воскресенье,
Улыбки милого лица.

2 января 1944

* * *

Так, вся на полосе подвижной
Отпечатлелась жизнь моя
Прямой уликой, необлыжной
Мной сыгранного жития.

Но на себя, на лицедея,
Взглянуть разок из темноты,
Вмешаться в действие не смея,
Полюбопытствовал бы ты?

Аль жутко?... А гляди, в начале
Мытарств и демонских расправ
Нас ожидает в темной зале
Загробный кинематограф.

ВАСИЛИЙ КАНДИНСКИЙ

1866, Москва — 1944, Париж

Родился в семье торговца чаем в Одессе и учился в музыкальной гимназии по классу виолончели и фортепиано. Изучал экономику и право в Московском университете. В 1896 году поехал в Мюнхен, где стал учиться живописи, познакомившись с такими мастерами, как Пауль Клее, Франц Марк, Алексей Явленский. От русских фольклорных стилизаций, от бледноцветных мирискуснических композиций, от реминисценций Беклина смело шагнул в пропасть неизведанного и взорвал форму, принеся в хаос ее обломков волшебный порядок кажущейся беспорядочности. Холсты заискрились, зазвенели. Кандинский — один из выдающихся русских авангардистов, реформировавших визуальный контекст XX века, рассвободивших краски, которые хлынули, как растаявшие снежные потоки с гор, затопляя галереи и музеи столь же мощным, сколь замусоренным наводнением. Стало легко быть шарлатаном, самозванцем. Некоторые художники начали делать бизнес при помощи почти пустых и даже абсолютно пустых холстов. Не хватало только мальчика, который крикнул бы: «А король-то голый!» Над этой ярмаркой тщеславия спекулянтов фигура Кандинского всегда возвышалась по праву высочайшего профессионализма, стимулом которого была не рыночная, а внутренняя потребность. Сохранились лишь немногие стихи Кандинского. Но их достаточно, чтобы увидеть: и в поэзии он был непохожим на других. По-русски он написал немного, но выпустил в 1912 году целый сборник экспрессионистских стихотворений на немецком. Публикуемое здесь стихотворение было напечатано в сборнике футуристов «Пощечина общественному вкусу» без разрешения Кандинского, вызвав его протест.

ПОЧЕМУ?

— Никто оттуда не выходил.
 — Никто?
 — Никто.
 — Ни один?
 — Нет.
 — Да! А как я проходил мимо, один все-таки там стоял.
 — Перед дверью?
 — Перед дверью. Стоит и руки расставил.
 — Да! Это потому, что он не хочет никого выпустить.

— Никто туда не входил?
 — Никто.
 — Тот, который руки расставил, тот там был?
 — Внутри?
 — Да, внутри.
 — Не знаю. Он руки расставил только затем, чтобы никто туда не вошел.
 — Его туда поставили, чтоб никто туда внутрь не вошел? Того, который расставил руки?
 — Нет. Он пришел сам, стал и руки расставил.
 — И никто, никто, никто оттуда не выходил?
 — Никто, никто.

ПОЛИКСЕНА СОЛОВЬЕВА (Allegro)

1867, Москва — 1924, там же

Allegro — псевдоним сестры Владимира Соловьева — Поликлены Соловьевой. *Allegro* — музыкальный термин, обозначающий быстрый темп исполнения. Видимо, таким образом пыталась она восполнить недостаток жизненного напора, весьма ощутимый в ее стихах. Тем же, может быть, объясняется, что ее лирический герой — всегда «он», мужчина. В стихах о природе явственно чувствуется влияние Фета. Писала стихи, сказки, пьесы для детей. Издавала детский журнал «Тропинка».

ВЛАСТЬ ДОЖДЯ

А. Герцык

Нечастый дождь капал на крышу: балкона,
 точно по железу кто-то переступал осторожно.
 Мы слушали напев дождевого звона,
 и было в душе от молчанья тревожно.
 Как листья под мелким дождевым ударом
 вздрагивало сердце, и в глазах твоих мерцал
 блеск влажный.
 Я сказал. Вздохнула ты. А в саду старом
 ветер рванулся, и проплыл вздох протяжный.
 Снова тишь. Ветер сложил влажные крылья.
 Недвижно уныние неба. Не дрогнуть
 молнии алой.
 В серой тиши безвластны грома усилья.

Дождь победит баюканьем день усталый.
 И снова он капал на крышу балкона,
 точно по железу кто-то переступал
 осторожно,
 а в душе, под напев дождевого звона,
 вздыхало одно лишь слово: — Невозможно.

КРАТКИЕ МЫСЛИ

З. Гуннуис

IX

От Бога первая любовь,
 Вторая — от людей,
 И черт нам зажигает кровь
 Под вечер наших дней.
 Так говорят. Но нет, у нас

Любовь всегда одна:
И в первый, и в последний раз
В ней Бог и сатана.

ТАЙНА ДВЕНАДЦАТИ

Двенадцать — самый страшный час.
Он радостно пугает нас,
И за ударом вновь удар
Чредит и холод и пожар.
Вот полночь: преклонив колени,
Закрыв лицо, мы — в царстве тени.

Вот полдень: тени больше нет,
Ее убил родивший свет.
Двенадцать — час великой тайны,
И не безвольно, не случайно,
На солнце глядя и луну,
Две стрелки вдруг слились в одну.
Как медленно плывут удары.
Значенье — в каждом, в каждом — чары.
Умей понять, умей назвать,
Проклятье или благодать.
Двенадцатый удар погас,
И тайна миновала нас.

КОНСТАНТИН БАЛЬМОНТ

1867, д. Гумнищи Владимирской губ. — 1942, Нуази-ле-Грант, Франция

Сын мелкопоместного дворянина. Изучал право в Московском университете, участвовал в революционном движении. Был в политической эмиграции в Париже в 1905—1913 годах. Один из самых знаменитых поэтов своего времени, особенно популярный среди восторженных курсисток. Маяковский называл его и Северянина «фабрикантами патоки». Но он же однажды защитил Бальмонта, восторженно процитировав: «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце...» У Бальмонта было предостаточно кокетливой пустоватой звукописи, «красивоватости». Однако поэзия была его подлинной любовью, и он служил только ей одной — может, слишком по-жречески, опьяненный им же воскуриваемым фимиамом, но беззаветно. В лучших стихах очаровывал даром ритмического мышления.

* * *

Я мечтою ловил уходящие тени,
Уходящие тени погасавшего дня,
Я на башню всходил, и дрожали ступени,
И дрожали ступени под ногой у меня.

И чем выше я шел, тем ясней рисовались,
Тем ясней рисовались очертанья вдали,
И какие-то звуки вокруг раздавались,
Вкруг меня раздавались от Небес и Земли.

Чем я выше всходил, тем светлее сверкали,
Тем светлее сверкали выси дремлющих гор,
И сияньем прощальным как будто ласкали,
Словно нежно ласкали отуманенный взор.

А внизу подо мною уж ночь наступила,
Уже ночь наступила для уснувшей Земли,
Для меня же блистало дневное светило,
Огневое светило догорало вдали.

Я узнал, как ловить уходящие тени,
Уходящие тени потускневшего дня,
И всё выше я шел, и дрожали ступени,
И дрожали ступени под ногой у меня.

<1894>

БЕЗГЛАГОЛЬНОСТЬ

Есть в Русской природе усталая нежность,
Безмолвная боль затаенной печали,
Безвыходность горя, безгласность,
безбрежность,
Холодная высь, уходящие дали.

Приди на рассвете на склон косогора,—
Над зябкой рекою дымится прохлада,
Чернеет громада застывшего бора,
И сердцу так больно, и сердце не радо.

Недвижный камыш. Не трепещет осока.
Глубокая тишь. Безглагольность покоя.
Луга убегают далёко-далёко.
Во всем утомленье, глухое, немое.

Войди на закате, как в свежие волны,
В прохладную глушь деревенского сада,—
Деревья так сумрачно-странно-безмолвны,
И сердцу так грустно, и сердце не радо.

Как будто душа о желанном просила,
И сделали ей незаслуженно-больно.
И сердце простило, но сердце застыло,
И плачет, и плачет, и плачет невольно.

<1900>

Я НЕ ЗНАЮ МУДРОСТИ

Я не знаю мудрости годной для других,
Только мимолетности я влагаю в стих.
В каждой мимолетности вижу я миры,
Полные изменчивой радужной игры.

Не кляните, мудрые. Что вам до меня?
Я ведь только облачко, полное огня.
Я ведь только облачко. Видите: плыву.
И зову мечтателей... Вас я не зову!

<1902>

МЕЖ ПОДВОДНЫХ СТЕБЛЕЙ

Хорошо меж подводных стеблей.
Бледный свет. Тишина. Глубина.
Мы заметим лишь тень кораблей,
И до нас не доходит волна.

Неподвижные стебли глядят,
Неподвижные стебли растут.
Как спокоен зеленый их взгляд,
Как они бестревожно цветут.

Безглагольно глубокое дно,
Без шуршанья морская трава.
Мы любили, когда-то, давно,
Мы забыли земные слова.

Самоцветные камни. Песок.
Молчаливые призраки рыб.
Мир страстей и страданий далек.
Хорошо, что я в море погиб.

Не позже 1903

* * *

Я с ужасом теперь читаю сказки —
Не те, что все мы знаем с детских лет,
О, нет: живую боль — в ее огласке
Через страшный шорох утренних газет.

Мерещится, что вышла в круге снова
Вся нежить тех столетий темноты:
Кровь льется из Бориса Годунова,
У схваченных ломаются хребты.

Рвут крючьями язык, глаза и руки,
В разорванный живот втыкают шест,
По воздуху в ночах крадутся звуки —
Смех вора, вопль захватанных невест.

Средь бела дня — на улицах виденья,
Бормочут что-то, шепчут в пустоту,
Расстрелы тел, душ темных искривленья,
Сам дьявол на охоте. Чу! — «Ату!»

Ату его! Руби его! Скорее!
Стреляй в него! Хлещи! По шее! Бей!»
Я падаю. Я стыну, цепенея.
И я их брат? И быть среди людей!

Постой. Где я? Избушка. Чьи-то ноги.
Кость человечья. Это — для Яги?
И кровь. Идут дороги всё, дороги.
А! Вот она. Кто слышит? Помогите!

<Декабрь 1905>

ДУРНОЙ СОН

Мне кажется, что я не покидал России,
И что не может быть в России перемен.
И голуби в ней есть. И мудрые есть змии.
И множество волков. И ряд тюремных стен.

Грязь «Ревизора» в ней. Весь гоголевский ужас.
И Глеб Успенский жив. И всюду жив Щедрин.
Порой сверкнет пожар, внезапно обнаружась,
И снова пал к земле земли убогий сын.

Там за окном стоят. Подайте. Погорели.
У вас нежданный гость. То — голубой мундир.
Учтивый человек. Любезный в самом деле.
Из ваших дневников себе устроил пир.

И на сто верст идут неправда, тяжба, споры,
На тысячу — пошла обида и беда.
Жужжат напрасные, как мухи, разговоры.
И кровь течет не в счет. И слезы — как вода.

<1913>

МАКСИМ ГОРЬКИЙ

1868, Нижний Новгород.—1936, Горки, под Москвой

Псевдоним Алексея Пешкова. Однажды в архивах я натолкнулся на хроникальное сообщение в казанской газете о том, что на обрыве у реки Казанки был найден в бессознательном состоянии нижегородский цеховой Алексей Пешков, неудачно пытавшийся покончить жизнь самоубийством. Это было первое упоминание в печати о человеке, которому судьба и талант даровали впоследствии всемирную славу.

У него были и прорывы в гениальность, и оскальзывание в риторику.

Горький был первым, кто изнутри описал Россию люмпенов, бродяг, оборванцев. После книг Толстого и Аксакова об их помещичье-аристократическом детстве книги Горького «Детство», «В людях» раскрыли мир детства простонародного — не менее драгоценный и поэтический. Горький был романтиком дна, и пророчил, и поддерживал революцию, не подозревая, какая пакость может подняться с этого дна, когда оно будет так безответственно взбаламучено.

По общественной популярности Горький был вторым после Льва Толстого. Хотя поэтические опыты значительно уступали его прозе, но не было человека в предреволюционной России, который не знал бы «Песни о Буревестнике». Однако революция, накликаемая Буревестником-Горьким, оказалась

совсем не такой, какой она ему виделась в молодых красивых пророчествах. Поддерживавший большевиков задолго до революции, Горький резко выступил против красного насилия, пришедшего на смену одряхлевшему, распадающемуся самодержавию. Его статьи, печатавшиеся в газете «Новая жизнь», составили книгу антибольшевистской, антиленинской публицистики «Несвоевременные мысли» (1918). Году в 1960-м я шел по старому Арбату и вдруг увидел на книжном уличном развале эту считавшуюся исчезнувшей полностью книгу. Она продавалась всего-навсего за трешку. Я немедленно схватил ее и спрятал за пазуху, воровато оглянувшись. Горький тогда был настолько канонизирован в качестве коммунистического святого, что о существовании этой книги знали лишь немногие. Сейчас принято считать Горького виноватым во всем, что случилось с российской культурой при большевизме. Конкретные основания: именно Горький придумал метод социалистического реализма (хотя есть подозрения, что сам термин выдумал критик Кирпотин), именно Горький во главе бригады писателей в тридцатые годы совершил пропагандистский вояж на теплоходе по Беломорканалу, построенному руками заключенных на их собственных костях. Все это так. Однако не забудем и другое. Когда дедушка порол будущего писателя, то Цыганок подставлял под розги свою руку, и она вся была в кровавых рубцах. Так же себя вел во время революции Горький, подставляя свою руку, когда били интеллигенцию, и он спас многих. Приехав в СССР, Горький затем хотел снова вернуться в Италию, но Сталин отказал ему в этом, не без мрачного юмора ссылаясь на то, что воздух нашего советского Крыма не хуже. В документальном фильме «Власть Соловецкая» есть эпизод, наталкивающий на размышления. Лагерники, когда в их «потемкинскую» читальню входит Горький, держат газеты перевернутыми, давая ему понять, что все происходящее — липа, показуха. Горький подходит к одному из них и переворачивает газету, показывая, что он не слепой. Опубликованные согласно завещанию лишь через пятьдесят лет дневники Романа Роллана о поездке в СССР в тридцатые годы подтверждают политическую неслепоту Горького. У меня есть гипотеза, что Горький в конце концов понял всю глубину происходящей в России трагедии и даже на Соловки ездил только затем, чтобы впоследствии уехать и рассказать всему миру о сталинской тирании. Но тиран догадался звериным чутьем о намерениях писателя и прикончил его в сужавшемся кольце облавы — то ли ядом чекистской атмосферы, то ли просто ядом.

ПЕСНЯ О БУРЕВЕСТИКЕ

Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.

То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и — тучи слышат радость в смелом крике птицы.

В этом крике — жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.

Чайки стонут перед бурей, — стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.

И гагары тоже стонут, — им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает.

Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!

Всё мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся волны к высоте навстречу грому.

Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн объёмом крепким и бросает их с размаху в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады.

Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает.

Вот он носится, как демон, — гордый, черный демон бури, — и смеется, и рыдает... Он над тучами смеется, он от радости рыдает!

В гневном громаде, — чуткий демон, — он давно

усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца, — нет, не скроют!

Ветер воет... Гром грохочет...

Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи, выются в море, исчезая, отраженья этих молний.

— Буря! Скоро грянет буря!

Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревушим гневном морем; то кричит пророк победы:

— Пусть сильнее грянет буря!..

Март 1901

ИЗ ЦИКЛА

<СТИХИ ПОЭТА СМЕРТЯШКИНА>

Из «Русских сказок»

Бьют тебя по шее или в лоб —
Все равно, ты ляжешь в темный гроб...
Честный человек ты иль прохвост —
Все-таки оттащат на погост...
Правду ли ты скажешь иль соврешь —
Это все едино: ты умрешь!..

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ И ЗАХОДИТ...

Песня волжских босяков,
записанная М. Горьким

Солнце всходит и заходит,
А в тюрьме моей темно.
Дни и ночи часовые
Стерегут мое окно.
Как хотите стерегите,
Я и так не убегу.
Мне и хочется на волю —
Цепь порвать я не могу.

ДАНИИЛ РАТГАУЗ

1868, Харьков —1937, Прага

Брюсов назвал стихи Ратгауза «полным собранием банальностей». Однако они привлекли Чайковского («Мы сидели с тобой у заснувшей реки...», «Снова, как прежде, один...»), Рахманинова («Эти летние ночи прекрасные...», «Проходит все...»). Публикуемое стихотворение взято из сборника «О жизни и смерти», изданного в Праге в 20-х годах.

* * *

Сократ, Платон иль Марк Аврелий, —
Кому нужны вы в наши дни?
У нас теперь иные цели,
Нам далеки небес огни.

Кругом тоска, кругом тревога,
Страстей нас охватила сеть.

Мы далеки теперь от Бога
И не умеем вдаль глядеть.

И тучи темные нависли,
Вся жизнь — горючих слез река...
И мы живем не силой мысли,
А только силой кулака.

ЗИНАИДА ГИПШИУС

1869, Белёв Тульской губ. —1945, Париж

Из давным-давно обрусевших немцев, даже скорей голландцев. В 1888 году начала печатать стихи, затем рассказы, романы, пьесы. Эссе подписывала чаще всего псевдонимом *Антон Крайний*. В 1889 году вышла замуж за Д. Мережковского. Их литературный салон был всегда полон знаменитостями. Вместе с мужем Гипшиус осуждала с ненавистью не только саму Октябрьскую революцию, но и всех, кто ее прямо или косвенно поддерживал, в частности Блока как якобы «продавшегося». В 1919 году Гипшиус и Мережковский эмигрировали, с ноября 1920-го обосновались в Париже, где попытались создать подобие своего петербургского салона. Мемуарная книга Гипшиус о Мережковском вышла посмертно. Когда составитель этой антологии напечатал в «Огоньке» Гипшиус и Мережковского, один из критиков обрушился на него с обвинениями в пропаганде фашизма, так как Гипшиус и Мережковский когда-то получили аудиенцию у Муссолини. Составитель считает, что встречи со Сталиным некоторых участников этой антологии, например Горького, конечно, не делают им чести, но и не отнимают у них посмертного права рассматриваться в контексте истории литературы и истории вообще.

ДЬЯВОЛЕНОК

Мне повстречался дьяволенок,
Худой и шуплый — как комар.
Он телом был совсем ребенок,
Лицом же дик: остер и стар.

Шел дождь... Дрожит, темнеет тело,
Намокла включенная шерсть...
И я подумал: эко дело!
Ведь тоже мерзнет. Тоже персть.

Твердят: любовь, любовь! Не знаю.
Не слышно что-то. Не видал.
Вот жалость... Жалость понимаю.
И дьяволенка я поймал.

Пойдем, детеныш! Хочешь греться?
Не бойся, шерстку не ерошь.
Что тут на улице тереться?
Дам детке сахару... Пойдешь?

А он вдруг эдак сочно, зычно,
Мужским, ласкающим баском

(Признаться — даже неприлично
И жутко было это в нем) —

Пророкотал: «Что сахар? Глупо.
Я, сладкий, сахару не ем.
Давай телятинки да супа...
Уж я пойду к тебе — совсем».

Он разозлил меня бахвальством...
А я хотел еще помочь!
Да ну тебя с твоим нахальством!
И не спеша пошел я прочь.

Но он заморщился и тонко
Захрюкал... Смотрит, как больной...
Опять мне жаль... И дьяволенка
Тащу, трудясь, к себе домой.

Смотрю при лампе: дохлый, гадкий,
Не то дитя, не то старик.
И все твердит: «Я сладкий, сладкий...»
Оставил я его. Привык.

И даже как-то с дьяволенком
Совсем сжился я наконец,
Он в полдень прыгает козленком,
Под вечер — темен, как мертвец.

То ходит гоголем-мужчиной,
То вьется бабой вокруг меня,
А если дождик — пахнет псиной
И шерстку лижет у огня.

Я прежде всем себя тревожил:
Хотел того, мечтал о том...
А с ним мой дом... не то, что ожил,
Но затянулся, как пушком.

Безрадостно-благополучно,
И нежно-сонно, и темно...
Мне с дьяволенком сладко-сучно...
Дитя, старик, — не все ль равно?

Такой смешной он, мягкий, хлипкий,
Как разлагающийся гриб.
Такой он цепкий, сладкий, липкий,
Все липнул, липнул — и прилип.

И оба стали мы — едины.
Уж я не с ним — я в нем, я в нем!
Я сам в ненастье пахну псиной
И шерсть лижу перед огнем...

Декабрь 1906. Париж

МУДРОСТЬ

Сошлись чертовки на перекрестке,
На перекрестке трех дорог.
Сошлись к полночи, и месяц жесткий
Висел вверх, кривя свой рог.

Ну, как добыча? Сюда, сестрицы!
Мешки тугие, — вот прорвет!
С единой бровью и с ликом птицы, —
Выходит старшая вперед.

И запицала, заговорила,
Разинув клюв и супя бровь:
«Да что ж, не плохо! Ведь я стащила
У двух любовников — любовь.

Сидят, целуясь... А я, украдкой,
Как подкачусь, да сразу — хват!
Небось, друг друга теперь не сладко
Им обнимать да целовать!

А вы, сестрица?» — «Я знаю меру,
Мне лишь была б полна сума.
Я у пророка украдала веру, —
И он тотчас сошел с ума.

Он этой верой махал, как флагом,
Кричал, кричал... Постой же, друг!

К нему подкралась я тихим шагом —
Да флаг и вышибла из рук!»

Хохочет третья: «Вот это средство!
И мой денечек не был плох:
Я у ребенка украдала детство,
Он сразу сник. Потом издох».

Смеясь, к четвертой пристали: ну же,
А ты явилась с чем, скажи?
Мешки тугие, всех наших туже...
Скорей веревку развяжи!

Чертовка мнетса, чертовке стыдно...
Сама худая, без лица.
«Хоть я безлика, а все ж обидно:
Я обокрала — мудреца.

Жирна добыча, да в жире ль дело!
Я с мудрецом сошлась на грех.
Едва я мудрость стащить успела, —
Он тотчас стал счастливей всех!

Смеется, пляшет... Ну, словом, худо.
Назад давала — не берет.
«Спасибо, ладно! И вон отсюда!»
Пришлось уйти... Еще убьет!

Конца не вижу я испытанью!
Мешок тяжел, битком набит!
Куда деваться мне с этой дрянью?
Хотела выпустить — сидит».

Чертовки взвыли: наворожила!
Не людям быть счастливей нас!
Вот угодила, хоть и без рыла!
Тащи назад! Тащи сейчас!

«Несите сами! Я понесла бы,
Да если люди не берут!»
И разодрались четыре бабы:
Сестру безликую дерут.

Смеялся месяц... И от соблазна
Сокрыл за тучи острый рог.
Дрались... А мудрость лежала праздной
На перекрестке трех дорог.

1908

ВСЕ ОНА

Медный грохот, дымный порох,
Рыжелипкие струи,
Тел ползущих влажный шорох...
Где чужие? где свои?

Нет напрасных ожиданий,
Недостигнутых побед,
Но и сбывшихся мечтаний,
Одолений — тоже нет.

Все едины, всё едино,
Мы ль, они ли... смерть — одна.
И работает машина,
И жует, жует война...

1914

МОЛОДОМУ ВЕКУ

Тринадцать лет! Мы так недавно
Его приветили, любя.
В тринадцать лет он своенравно
И дерзко показал себя.

Вновь наступает день рожденья...
Мальчишка злой! На этот раз
Ни празднества, ни поздравленья
Не требуй и не жди от нас.

И если раньше землю смели
Огнем сражений зажигать —
Тебе ли, Юному, тебе ли
Отцам и дедам подражать?

Они — не ты. Ты больше знаешь.
Тебе иное суждено.
Но в старые мехи вливаешь
Ты наше новое вино!

Ты плачешь, каешься? Ну что же!
Мир говорит тебе: «Я жду».
Сойди с кровавых бездорожий
Хоть на пятнадцатом году!

1914

СЕЙЧАС

Как скользки улицы отвратные,
Какая стыдь!
Как в эти дни невероятные
Позорно — жить!

Лежим, заплеваны и связаны
По всем углам.
Плевки матросские размазаны
У нас по лбам.

Столпы, радетели, водители
Давно в бегах.
И только вьются согласители
В своих Це-ках.

Мы стали псами подзаборными,
Не уползти!
Уж разобрал руками черными
Викжель — пути...

9 ноября 1917

У. С.

Наших дедов мечта невозможная,
Наших героев жертва острожная,

Наша молитва устами несмелыми,
Наша надежда и воздыхание, —
Учредительное Собрание, —
Что мы с ним сделали...?

12 ноября 1917

ЕСЛИ

Если гаснет свет — я ничего не вижу.
Если человек зверь — я его ненавижу.
Если человек хуже зверя — я его убиваю.
Если кончена моя Россия — я умираю.

Февраль 1918. СПб.

14 ДЕКАБРЯ 1918 г.

Нас больше нет. Мы все забыли,
Взвихрясь в невиданной игре.
Чуть вспоминаем, как вы стыли
В карре, в далеком декабре.

И как гремящий Зверь железный
Все победив, — не победил...
Его уж нет — но зверь из бездны
Покрыл нас ныне смрадом крыл.

Наш конь домчался, бездорожен,
Безузден, яр, — куда? куда?
И вот, исхлестан и стреножен,
Последнего он ждет суда.

Заветов тайных Муравьева
Свились напрасные листы...
Напрасно, Пестель, вождь суровый,
В узле пеньковом умер ты,

Напрасно все: душа ослепла,
Мы преданы червю и тле,
И не осталось даже пепла
От «Русской Правды» на земле.

Декабрь 1918. СПб.

ИДУЩИЙ МИМО

У каждого, кто встретится случайно
Хотя бы раз — и сгинет навсегда,
Своя история, своя живая тайна,
Свои счастливые и скорбные года.

Какой бы ни был он, прошедший мимо,
Его наверно любит кто-нибудь...
И он не брошен: с высоты, незримо,
За ним следят, пока не кончен путь.

Как Бог, хотел бы знать я все о каждом,
Чужое сердце видеть, как свое,
Водой бессмертья утолить их жажду —
И возвращать иных в небытие.

1924

МЕРА

Всегда чего-нибудь нет,—
Чего-нибудь слишком много...
На все как бы есть ответ —
Но без последнего слога.

Свершится ли что — не так,
Некстати, непрочно, зыбко...
И каждый не верен знак,
В решении каждом — ошибка.

Змеится луна в воде,—
Но лжет, золотясь, дорога...
Ущерб, перехлест везде.
А мера — только у Бога.

1924

ГРЕХ

И мы простим, и Бог простит.
Мы жаждем мести от незнания.
Но злое дело — воздаянье
Само в себе, таясь, таит.

И путь наш чист, и долг наш прост:
Не надо мстить. Не нам отмщенье.
Змея сама, свернувши звенья,
В свой собственный вопьется хвост.

Простим и мы, и Бог простит,
Но грех прощения не знает,
Он для себя — себя хранит,
Своею кровью кровь смывает,
Себя вовеки не прощает —
Хоть мы простим, и Бог простит.

1938

СТИХОТВОРНЫЙ ВЕЧЕР
В «ЗЕЛеной ЛАМПЕ»

Перестарки и старцы и юные
Впали в те же грехи:
Берберовы, Злобины, Бунины
Стали читать стихи.

Умных и средних и глупых,
Ходасевичей и Оцупов
Постигла та же беда.

Какой мерою печаль измерить?
О, дай мне, о, дай мне верить,
Что это не навсегда!

В «Зеленую Лампу» чинную
Все они, как один,—
Георгий Иванов с Ириною;
Юрочка и Цетлин,

И Гиппиус, ветхая днями,
Кинулись со стихами,
Бедою Зеленых Ламп.

Какою мерою поэтов мерить?
О, дай мне, о, дай мне верить
Не только в хорей и ямб.

И вот оно, вот, надвигается:
Властно встает Оцуп.
Мережковский с Ладинским сливается
В единый небесный клуб,

Словно отрок древне-еврейский,
Заплакал стихом библейским
И плачет, и плачет Кнут...

Какой мерою испуг измерить?
О, дай мне, о, дай мне верить,
Что в зале не все заснут.

МИРРА ЛОХВИЦКАЯ

1869, Петербург—1905, там же

В 1908 году поэт К. Р. (Великий князь Константин Романов) писал в предисловии к посмертной книге Лохвицкой «Перед закатом»: «Г-жа Лохвицкая не дождала до увенчания своих произведений: премия досталась ее детям». Это была Пушкинская премия, и присудила ее Академия наук за первый сборник покойной поэтессы, вышедший в свет еще в 1896 году. Игорь Северянин почтил память старшей современницы прекрасной строкой: «Прах Мирры Лохвицкой осклепен...» В ней, очевидно, было одинокое, независимое обаяние, притягивавшее поэтов. Но — увы! — среди ее сочинений условно-романтического плана мне удалось найти лишь одно пережившее время стихотворение «Вещи», в котором она нечаянно, потому что речь шла совсем о другом, реалистически предсказала судьбу многих стихов — и своих, и чужих.

ВЕЩИ

Дневной кошмар неистоимой скуки,
Что каждый день съедает жизнь мою,
Что давит ум и утомляет руки,
Что я напрасно жгу и раздаю;

О, вы, картонки, перья, нитки, папки,
Обрезки кружев, ленты, лоскутки,

Крючки, флаконы, пряжки, бусы, тряпки —
Дневной кошмар унынья и тоски!

Откуда вы? К чему вы? Для чего вы?
Придет ли тот неведомый герой,
Кто не посмотрит, стары вы иль новы,
А выбросит весь этот хлам долой!

В. МАЗУРИН

1860-е — 1927

Главным источником наших сведений о В. Мазурине являются его стихи. Единственная книга Мазуриня — «В царстве жизни. Поэтический дневник» — издана на средства автора в январе 1926 года тиражом 1000 экземпляров. Стихи, составившие ее, написаны в промежутке с 22 мая 1924 года по 12 сентября 1925 года.

* * *

Есть злая книга,
Ее я принужден читать
С тоской и содроганьем,—
То книга лиц и глаз.
Как много тяжкого
Написано на лицах,
Как мало радости
В испуганных глазах.

29 июня <1924>

РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА

Заглушив твой разум,
Жизнь делает через тебя

Шаг вперед.

А ты, шелуха,
С теплым благоговеньем
Льешь свои соки
На бесконечно близкий
И бесконечно далекий
Новый росток.
Страшно!
Если бы человек
Понял до конца
Величие рождения ребенка,
Никто бы не осмелился
Быть отцом!

15 декабря <1924>

ИВАН БУНИН

1870, Воронеж — 1953, Париж

Сын мелкопоместного помещика. Один из великих мастеров русской лирической прозы, начавший как поэт. Первые стихи опубликовал, будучи семнадцатилетним, первую книгу издал в 1891 году. Получил Пушкинскую премию за сборник стихов «Листопад». Первый рассказ появился в 1893 году. В 1909-м был избран почетным членом Академии наук. Блестящий стилист, он был учителем юного Катаева и многих других одесских писателей. Он как будто родился мэтром — суровым, ворчливым, иногда ядовитым. Всю нежность он отдал прозе, а в жизни и даже в стихах был более чем суховат. Матовый холод и благородную тусклость поэтики Бунина не стоит торопливо принимать за чопорность. Это была самозащита несчастного человека, который предчувствовал то, как у него отберут все, что он любил. Генетика бунинской прозы, может быть, в лермонтовской «Тамани». Генетика его поэзии — скорее всего в Тютчеве, Баратынском. Бунин блестяще перевел «Гайавату» Лонгфелло. В последние тридцать лет жизни он стихи писал лишь изредка. Октябрьскую революцию Бунин проклял, да еще и с такой ненавистью, как, может быть, никто другой. В эмиграции написал одну из своих лучших книг — «Темные аллеи». В 1933 году Бунин стал первым русским писателем — лауреатом Нобелевской премии. Другим кандидатом был Мережковский. Во время войны симпатии Бунина были на стороне России, и он высоко оценил поэму Твардовского «Василий Теркин». Бунин умер в один год со Сталиным и стал первым писателем эмиграции, которого в 1954-м начали снова публиковать на Родине. Но он умер за год до этого в бедности от тяжелой болезни.

РОДИНЕ

Они глумятся над тобою,
Они, о родина, корят
Тебя твоею простотою,
Убогим видом черных хат...

Так сын, спокойный и нахальный,
Стыдится матери своей —
Усталой, робкой и печальной
Средь городских его друзей,

Глядит с улыбкой состраданья
На ту, кто сотни верст брела
И для него, ко дню свиданья,
Последний грошик берегла.

1891

* * *

Я к ней вошел в полночный час.
Она спала, — луна сияла
В ее окно, — и одеяла
Светился спущенный атлас.

Она лежала на спине,
Нагие раздвоивши груди,—
И тихо, как вода в сосуде,
Стояла жизнь ее во сне.

1898

ОДИНОЧЕСТВО

И ветер, и дождик, и мгла
Над холодной пустыней воды.
Здесь жизнь до весны умерла,
До весны опустели сады.
Я на даче один. Мне темно
За мольбертом, и дует в окно.

Вчера ты была у меня,
Но тебе уж тоскливо со мной.
Под вечер ненастного дня
Ты мне стала казаться женой...
Что ж, прощай! Как-нибудь до весны
Проживу и один — без жены...

Сегодня идут без конца
Те же тучи — гряда за грядой.
Твой след под дождем у крыльца
Расплылся, налился водой.
И мне больно глядеть одному
В предвечернюю серую тьму.

Мне крикнуть хотелось вослед:
«Воротись, я сроднился с тобой!»
Но для женщины прошлого нет:
Разлюбила — и стал ей чужой.
Что ж! Камин затоплю, буду пить...
Хорошо бы собаку купить.

<1903>

ПЕСНЯ

Я — простая девка на баштане,
Он — рыбак, веселый человек.
Тонет белый парус на Лимане,
Много видел он морей и рек.

Говорят, гречанки на Босфоре
Хороши... А я черна, худа.
Утопает белый парус в море —
Может, не вернется никогда!

Буду ждать в погоду, в непогоду...
Не дождусь — с баштана разочтусь,
Выйду к морю, брошу перстень в воду
И косою черной удавлюсь.

<1903—1906>

КАМЕННАЯ БАБА

От зноя травы сухи и мертвы.
Степь — без границ, но даль синее слабо.

Вот остов лошадиной головы.
Вот снова — Каменная Баба.

Как сонны эти плоские черты!
Как первобытно-грубо это тело!
Но я стою, боюсь тебя... А ты
Мне улыбаешься несмело.

О дикое исчадь древней тьмы!
Не ты ль когда-то было громовержцем?
— Не Бог, не Бог нас создал. Это мы
Богов творили рабским сердцем.

<1903—1906>

МУЖИЧОК

Ельничком, березничком — где душа
захочет —
В Киев пробирается божий мужичок.
Смотрит, нет ли ягодки? Горбится, бормочет,
Съест и ухмыляется: я, мол, дурачок.
«Али сладко, дедушка?» — «Грешен: сладко,
внучек».

«Что ж, и на здоровье. А куда идешь?»
«Я-то? А не ведаю. Вроде вольных тучек.
Со крестом да с верой всякий путь хорош».
Ягодка по ягодке — вот и слава Богу:
Сыты. А завидим белые холсты,
Подойдем с молитвою, глянем на дорогу,
Сдернем, сунем в сумочку — и опять в кусты.

<1906—1911>

* * *

Льет без конца. В лесу туман.
Качают елки головою:
«Ах, Боже мой!» — Лес точно пьян,
Пресыщен влагой дождевою.

В сторожке темной у окна
Сидит и ложкой бьет ребенок.
Мать на печи,— все спит она,
В сырых сенях мычит теленок.

В сторожке грусть, мушиный гуд...
— Зачем в лесу звенит овсянка,
Грибы растут, цветы цветут
И травы ярки, как медянка?

Зачем под мерный шум дождя,
Томясь всем миром и сторожкой,
Большеголовое дитя
Долбит о подоконник ложкой?

Мычит теленок, как немой,
И клонят горестные елки
Свои зеленые иголки:
«Ах, Боже мой! Ах, Боже мой!»

7 июля 1916

АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНОВ-КОХАНСКИЙ

1871, Москва—1936, там же

Фигура, без которой ранний русский символизм так же неполон, как без пародий Владимира Соловьева на Брюсова; во многом — духовный предшественник Александра Тинякова. Его сборник стихотворений «Обнаженные нервы» (М., 1895) на ядовито-розовой бумаге, с портретом автора, снабженного огромными крыльями и только что не рогами, породил слух, что это вообще мистификация Брюсова. Сборник был посвящен «самому себе» (не исключено, что об этом посвящении знал Маяковский) и... царице Клеопатре. Впрочем, устраивая подобный балаган, включавший и переодевание в оперный плащ, привязывание ногтей к пальцам и пужание прохожих на Страстном бульваре, Емельянов-Коханский был пародией с самого начала и кончился очень быстро — уже в 1900-е годы поэт с литературной сцены исчез, хотя многие — в том числе Бунина — вспоминали эту клоунаду и оценивали ее достаточно высоко.

* * *

Я декадент! Во мне струится сила,
И светит мне полуночная мгла...
Судьба сама не раз меня щадила —
Полиция ж в участок отвела...

МИХАИЛ КУЗМИН

1872, Ярославль—1936, Ленинград

Дворянин, воспитанник Санкт-Петербургской консерватории. Многие свои стихи напевал под рояль в артистических кабаках. Своеобразнейший экзотический цветок русской поэзии, — как будто вырос египетский лотос на родной Кузмину ярославской земле. Для его творчества характерны подчеркнутая театральность, томная грациозность. Но эта грациозность подчас становилась подлинной красотой слова, восхищавшей его великих современников. Поэзия Кузмина — неповторимый цветной камушек в мозаике поэзии тех лет; иногда и полудрагоценный камень при падающем на него луче света может мерцать драгоценными отблесками. За простоту у нас часто выдавали топорность формы. На примере Кузмина мы видим, что изящество может быть ослепительно играющей гранью простоты.

МОИ ПРЕДКИ

Моряки старинных фамилий,
влюбленные в далекие горизонты,
пьющие вино в темных портах,
обнимая веселых иностранок;
франты тридцатых годов,
подражающие д'Орсе и Брюммелю,
внося в позу денди
всю наивность молодой расы;
важные, со звездами, генералы,
бывшие милыми повесами когда-то,
сохраняющие веселые рассказы за ромом,
всегда одни и те же;
милые актеры без большого таланта,
принесшие школу чужой земли,
играющие в России «Магомета»
и умиряющие с невинным вольтерьянством;
вы — барышни в бандо,
с чувством играющие вальсы Маркалью,
вышивающие бисером кошельки
для женихов в далеких походах,
говеющие в домовых церквах
и гадающие на картах;
экономные, умные помещицы,
и вот все вы:

хвастающие своими запасами,
умеющие простить и оборвать
и близко подойти к человеку,
насмешливые и набожные,
встающие раньше зари зимою;
и прелестно-глупые цветы театральных
училищ,
преданные с детства искусству танцев,
нежно развратные,
чисто порочные,
разоряющие мужа на платья
и выдающие своих детей полчаса в сутки;
и дальше, вдали — дворяне глухих уездов,
какие-нибудь строгие бояре,
бежавшие от революции французы,
не сумевшие взойти на гильотину —
все вы, все вы —
вы молчали ваш долгий век,
и вот вы кричите сотнями голосов,
погибшие, но живые,
во мне: последнем, бедном,
но имеющем язык за вас,
и каждая капля крови
близка вам,
слышит вас,
любит вас;

милые, глупые, трогательные, близкие,
 благословляйтесь мною
 за ваше молчаливое благословение.

май 1907

ИЗ ЦИКЛА
 «АЛЕКСАНДРИЙСКИЕ ПЕСНИ»

1

Когда мне говорят: «Александрия»,
 я вижу белые стены дома,
 небольшой сад с грядкой левкоев,
 бледное солнце осеннего вечера
 и слышу звуки далеких флейт.

Когда мне говорят: «Александрия»,
 я вижу звезды над стихающим городом,
 пьяных матросов в темных кварталах,
 танцовщицу, пляшущую «осу»,
 и слышу звук тамбурина и крики ссоры.

Когда мне говорят: «Александрия»,
 я вижу бледно-багровый закат над зеленым морем,
 мохнатые мигающие звезды
 и светлые серые глаза под густыми бровями,
 которые я вижу и тогда,
 когда не говорят мне: «Александрия!»

2

Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было,
 все мы четыре любили, но все имели разные
 «потому что»: одна любила, потому что так отец с матерью ей велели,
 другая любила, потому что богат был ее любовник,
 третья любила, потому что он был знаменитый художник,
 а я любила, потому что поллюбила.

Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было,
 все мы четыре желали, но у всех были разные желанья:
 одна желала воспитывать детей и варить кашу,
 другая желала надевать каждый день новые платья,
 третья желала, чтобы все о ней говорили,
 а я желала любить и быть любимой.

Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было,
 все мы четыре разлюбили, но все имели разные причины:
 одна разлюбила, потому что муж ее умер,
 другая разлюбила, потому что друг ее разорился,

третья разлюбила, потому что художник ее бросил,
 а я разлюбила, потому что разлюбила.

Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было,
 а, может быть, нас было не четыре, а пять?

3

Что за дождь?
 Наш парус совсем смок,
 и не видно уж, что он — полосатый.
 Румяна потекли по твоим щекам,
 и ты — как тирский красильщик.
 Со страхом переступили мы
 порог низкой землянки угольщика;
 хозяин со шрамом на лбу
 растолкал грязных в коросте ребят
 с больными глазами
 и, поставив обрубок перед тобою,
 смахнул передником пыль
 и, хлопнув рукою, сказал:
 «Не съест ли лепешек господин?»
 А старая черная женщина
 качала ребенка и пела:
 «Если б я был фараоном,
 купил бы я себе две груши:
 одну бы отдал своему другу,
 другую бы я сам скушал...»

* * *

Если мне скажут: «Ты должен идти на мученье», —
 С радостным пеньем взойду на последний костер, —
 Послушный.

Если б пришлось навсегда отказаться от пеня,
 Молча под нож свой язык я и руки б простер, —
 Послушный.

Если б сказали: «Лишен ты навеки свиданья», —
 Вынес бы эту разлуку, любовь укрепив, —
 Послушный.

Если б мне дали последней измены страданья,
 Принял бы в плаваньи долгим и этот пролив, —
 Послушный.

Если ж любви между нами поставят запрет,
 Я не поверю запрету и вымолвлю: «Нет».

ЛЕРМОНТОВУ

С одной мечтой в упрямом взоре,
 На Божьем свете не жилец,

Ты сам — и Демон, и Печорин,
И беглый, горестный чернец.

Ты с малых лет стоял у двери,
Твердя: «Нет, нет, я ухожу».
Стремясь и к первобытной вере,
И к романтичному ножу.

К земле и людям равнодушен,
Привязан к выбранной судьбе,
Одной тоске своей послушен,
Ты миру чужд, и мир — тебе.

Ты страсть мечтал необычайной,
Но ах, как прост о ней рассказ!
Пленился ты Кавказа тайной,—
Могилой стал тебе Кавказ.

И Божьи радости мелькнули,
Как сон, как снежная метель...
Ты выбираешь — что? две пули
Да пошловатую дуэль.

Поклонник демонского жара,
Ты детский вызов слал Творцу.
Россия, милая Тамара,
Не верь печальному певцу.

В лазури бледной он узнает,
Что был лишь начат долгий путь.
Ведь часто и дитя кусает
Кормящую его же грудь.

1916

ИЗ ЦИКЛА «ДЛЯ АВГУСТА»

ТЫ (2-е)

— Остановка здесь от часа до шести.

А хотелось бы неделю провести.

Словно зайчики зеркал,
Городок из моря встал,
Все каналы да плотины,
Со стадами луговины,—
Нет ни пропастей, ни скал.—

Кабачок стоит на самом берегу,
Пароход я из окна устерегу.

Только море, только высь.
По земле бы мне пройтись:
Что ни город — все чудесно,
Неизвестно и прелестно,
Только знай себе дивись! —

Если любишь, разве можно устоять?
Это утро повторится ли опять?

И галантна и крепка
Стариковская рука.
Скрипнул блок. Пахнуло элем,
Чепуху сейчас замелем,
Не услышать нам свистка.

ЛУНА

Луна! Где встретились!.. сквозь люки
Ты беспрепятственно глядишь,
Как будто фокусника трюки,
Что из цилиндра тянет мышь.
Тебе милей была бы урна,
Руины, жалостный пейзаж!
А мы устроились недурно,
Забравшись за чужой багаж!
Все спит; попахивает дегтем,
Мочалой прелой от рогож...
И вдруг, как у Рэнбо, под ногтем
Торжественная щелкнет вошь.
И нам тепло, и не темно нам,
Уютно. Качки — нет следа.
По фантастическим законам
Не вспоминается еда...
Сосед храпит. Луна свободно
Его ласкает как угодно,
И сладострастна и чиста,
Во всевозможные места.
Я не ревнив к такому горю:
Ведь стоит руку протянуть,—
И я с луной легко поспорю
На деле, а не как-нибудь!
Вдруг... Как?.. смотрю, смотрю... черты
Чужие вовсе... Разве ты
Таким и был? И нос, и рот...
Он у того совсем не тот.
Зачем же голод, трюм и море,
Зубов нечищенных оскал?
Ужели злых фантазмагорий,
Луна, игрушкой я стал?
Но так доверчиво дыханье,
И грудь худая так тепла,
Что в темном, горестном лобзаньи
Я забываю все дотла.

ИЗ КНИГИ

«ФОРЕЛЬ РАЗБИВАЕТ ЛЁД»

ПЕРВЫЙ УДАР

Стояли холода, и шел «Тристан».
В оркестре пело раненое море,
Зеленый край за паром голубым,
Остановившееся дико сердце.
Никто не видел, как в театр вошла
И оказалась уж сидящей в ложе
Красавица, как полотно Брюллова.
Такие женщины живут в романах,
Встречаются они и на экране...
За них свершают кражи, преступленья,
Подкарауливают их кареты
И отравляются на чердаках.
Теперь она внимательно и скромно
Следила за смертельной любовью,
Не поправляя алого платочка,
Что сполз у ней с жемчужного плеча,
Не замечая, что за ней упорно
Следят в театре многие бинокли...

Я не был с ней знаком, но все смотрел
 На полумрак пустой, казалось, ложи...
 Я был на спиритическом сеансе,
 Хоть не люблю спиритов, и казался
 Мне жалким медиум — забитый чех.
 В широкое окно лился свободно
 Голубоватый леденящий свет.
 Луна как будто с севера светила:
 Исландия, Гренландия и Тулэ,
 Зеленый край за паром голубым...
 И вот я помню: тело мне сковала
 Какая-то дремота перед взрывом,
 И ожидание, и отвращенье,
 Последний стыд и полное блаженство...
 А легкий стук внутри не прерывался,
 Как будто рыба бьет хвостом о лед...
 Я встал, шатаюсь, как слепой лунатик
 Дошел до двери... Вдруг она открылась...
 Из аванложи вышел человек
 Лет двадцати, с зелеными глазами;
 Меня он принял будто за другого,
 Пожал мне руку и сказал: «Покурим!»
 Как сильно рыба двинула хвостом!
 Безволие — преддверье высшей воли!
 Последний стыд и полное блаженство!
 Зеленый край за паром голубым!

ВТОРОЙ УДАР

Кони бьются, храпят в испуге,
 Синей лентой обвиты дуги,
 Волки, снег, бубенцы, пальба!
 Что до страшной, как ночь, расплаты?
 Разве дрогнут твои Карпаты?
 В старом роге застынет мед?

Полость треплется, диво-птица;
 Визг полозьев — «гайда, Марица!»
 Стоп... бежит с фонарем гайдук...
 Вот какое твоё домовье:
 Свет мадонны у изголовья
 И подкова хранит порог,

Галереи, сугроб на крыше,
 За шпалерой скребуются мыши,
 Чепраки, кружева, ковры!
 Тяжело от парадных спален!
 А в камин целый лес навален,
 Словно ладан шипит смола...

«Отчего ж твои губы желты?
 Сам не знаешь, 'на что пошел ты?
 Тут о шутках, дружок, забудь!
 Не богемских лесов вампиром —
 Смертным братом пред целым миром
 Ты назвался, так будь же брат!

А законы у нас в остроге,
 Ах, привольны они и строги:
 Кровь за кровь, за любовь любовь.
 Мы берем и даем по чести,

Нам не надо кровавой мести:
 От зарака развяжет Бог,

Сам себя осуждает Каин...»
 Побледнел молодой хозяин,
 Резанул по ладони вкось...
 Тихо капает кровь в стаканы:
 Знак обмена и знак охраны...
 На конюшню ведут коней...

ПЯТЫЙ УДАР

Мы этот май проводим как в деревне:
 Спустили шторы, сняли пиджаки,
 В переднюю бильярд перетасили
 И половину дня стучим киями
 От завтрака до чая. Ранний ужин,
 Вставанье на заре, купанье, лень...
 Раз вы уехали, казалось нужным
 Мне жить, как подобает жить в разлуке:
 Немного скучно и гигиенично.
 Я даже не особенно ждал писем
 И вздрогнул, увидавши штемпель: «Гринок».
 — Мы этот май проводим как в бреду,
 Безумствует шиповник, море синее,
 И Эллинор прекрасней, чем всегда!
 Прости, мой друг, но если бы ты видел,
 Как поутру она в цветник выходит
 В голубовато-серой амазонке, —
 Ты понял бы, что страсть — сильнее воли. —
 Так вот она — зеленая страна! —
 Кто выдумал, что мирные пейзажи
 Не могут быть ареной катастроф?

ДЕСЯТЫЙ УДАР

Чередование милых развлечений
 Бывает иногда скучнее службы.
 Прийти на помощь может только случай,
 Но случая не приманишь, как Жучку
 Храм случая — игорные дома.
 Описывать азарт спаленных глаз,
 Губ пересохших, помертвелых лбов
 Не стану я. Под выкрики крупье
 Просиживал я ночи напролет.
 Казалось мне, сижу я под водою.
 Зеленое сукно напоминало
 Зеленый край за паром голубым...
 Но я искал ведь не воспоминаний,
 Которых тщательно я избегал,
 А дожидался случая. Однажды
 Ко мне подходит некий человек
 В больших очках и говорит: — Как видно,
 Вы вовсе не игрок, скорей любитель,
 Или, верней, искатель ощущений.
 Но в сущности здесь — страшная тоска:
 Однообразно и неинтересно.
 Теперь еще не поздно. Может быть,
 Вы не откажетесь пройтись со мною
 И осмотреть собранье небольшое
 Диковинок? Изъездил всю Европу

Я с юных лет; в Египте даже был.
 Образовался маленький музей,—
 Меж хлама есть занятные вещицы,
 И я, как всякий коллекционер,
 Ценю внимание; без разделенья,
 Как все другие, эта страсть — мертва.—
 Я быстро согласился, хоть, по правде
 Сказать, не нравился мне этот человек:
 Казался он назойливым и глупым.
 Но было только без четверти час,
 И я решительно не знал, что делать.
 Конечно, если разбирать как случай —
 Убого было это приключенье!
 Мы шли квартала три: подъезд обычный,
 Обычная мещанская квартирка,
 Обычные подделки скарабеев,
 Мушкетеры, сломанные телескопы,
 Подъеденные молью парики
 Да заводные куклы без ключей.
 Мне на мозги садилась паутина,
 Подташнивало, голова кружилась,
 И я уж собирался уходить...
 Хозяин чуть замаялся и сказал:
 — Вам, кажется, не нравится? Конечно,
 Для знатока далеко не товар.
 Есть у меня еще одна забава,
 Но не вполне закончена она,
 Я все ищу вторую половину.
 На днях, надеюсь, дело будет в шляпе.
 Быть может, взглянете? — Близнец!
 «Близнец?!»
 — Близнец. «И одиночка?» — Одиночка.
 Вошли в каморку мы: посередине
 Стоял аквариум, покрытый сверху
 Стеклом голубоватым, словно лед.
 В воде форель вилась меланхолично
 И мелодично билась о стекло.
 — Она пробьет его, не сомневайтесь.
 «Ну, где же ваш близнец?» — Сейчас,
 терпенью.—
 Он отворил в стене, с ужимкой, шкаф
 И отскочил за дверцу. Там, на стуле,
 На коленкором зеленом фоне

Оборванное спало существо
 (Как молния мелькнуло — «Калигари!»):
 Сквозь кожу зелень явственно сквозила,
 Кривились губы горько и преступно,
 Ко лбу прилипли русые колечки,
 И билась вена на сухом виске.
 Я с ожиданием и отвращеньем
 Смотрел, смотрел, не отрывая глаз...
 А рыба бьет тихонько о стекло...
 И легкий треск и синий звон слились...
 Американское пальто и галстук...
 И кепка цветом нежной rose champagne.
 Схватился за сердце и дико вскрикнул...
 — Ах, Боже мой, да вы уже знакомы?
 И даже... может быть... не верю счастью!..
 «Открой, открой зеленые глаза!
 Мне все равно, каким тебя послала
 Ко мне назад зеленая страна!
 Я — смертный брат твой. Помнишь там,
 в Карпатах?
 Шекспир еще тобою не дочитан
 И радугой расходятся слова.
 Последний стыд и полное блаженство!..
 А рыба бьет, и бьет, и бьет, и бьет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

А знаете? Ведь я хотел сначала
 Двенадцать месяцев изобразить
 И каждому придумать назначение
 В кругу занятий легких и влюбленных.
 А вот что получилось! Видно, я
 И не влюблен, да и отяжелел.
 Толпой нахлынули воспоминанья,
 Отрывки из прочитанных романов,
 Покойники смешались с живыми,
 И так все перепуталось, что я
 И сам не рад, что все это затеял.
 Двенадцать месяцев я сохранил
 И приблизительно дал погоду,—
 И то не плохо. И потом я верю,
 Что лед разбить возможно для форели,
 Когда она упорна. Вот и все.

ТЭФФИ

1872, имение в Вольнской губ.—1952, Париж

Псевдоним Надежды Лохвицкой (по мужу — Бучинской). Поэтесса, прозаик, драматург. Сестра поэтессы Мирры Лохвицкой. Была постоянным сотрудником аверченковского «Сатирикона» с момента основания в 1908 году. В 1910-м вышла первая книжка ее рассказов. Она была настолько популярной сатирической писательницей, что были даже выпущены духи «Тэффи». Тэффи приветствовала Февральскую революцию, но бежала от Октябрьской через Константинополь в Париж. Выпустила за рубежом 15 книг прозы, часто печатала статьи в эмигрантских газетах и журналах. Ее сборник рассказов «Ведьма», где были русские мифологические мотивы, высоко оценили Бунин, Куприн, Мережковский. В СССР Тэффи начали перепечатывать с 1966 года.

БЕДНЫЙ АЗРА

Каждый день чрез мост Аничков,
 Поперек реки Фонтанки,

Шагом медленным проходит
 Дева, служащая в банке.

Каждый день на том же месте,
На углу, у лавки книжной,
Чей-то взор она встречает —
Взор горящий и недвижимый.

Деве томно, деве странно,
Деве сладостно сугубо:
Снится ей его фигура
И гороховая шуба.

А весной, когда пробилась
В скверах зелень первой травки,
Дева вдруг остановилась
На углу, у книжной лавки.

«Кто ты? — молвила, — откройся!
Хочешь — я запламенею
И мы вместе по закону
Предадимся Гименею?»

Отвечал он: «Недосуг мне.
Я агент. Служу в охране
И поставлен от начальства,
Чтоб дежурить на Фонтанке».

<1911>

ПЕРЕД КАРТОЙ РОССИИ

В чужой стране, в чужом старом доме
На стене повешен ее портрет,
Ее, умершей как нищенка на соломе,
В муках, которым имени нет.

Но здесь на портрете она вся как прежде,
Она богата, она молода,
Она в своей пышной зеленой одежде,
В какой рисовали ее всегда.

На лик твой смотрю я как на икону...
«Да святится имя твое, убиенная Русь».
Одежду твою рукой тихо трону
И этой рукою перекрещусь.

ТОСКА

Не по-настоящему живем мы, а как-то «пока»,
И развилась у нас по родине тоска,
Так называемая ностальгия.

Мучают нас воспоминания дорогие,
И каждый по-своему скулит,
Что жизнь его больше не веселит.

Если увериться в этом хотите,
Загляните хотя бы в «The Kitty».

Возьмите кулебяки кусок,

Сядьте в уголок,

Да последите за беженской братией нашей,
Как ест она русский борщ с русской кашей.

Ведь чтобы так — извините — жрать,
Нужно действительно за родину-мать
Глубоко страдать.

И искать, как спириты с миром загробным,
Общения с нею хоть путем утробным.

* * *

А еще посмотрела бы я на русского мужика,
Хитрого, ярославского, тверского кулака,
Чтоб чесал он особой ухваткой,
Как чешут только русские мужики —
Большим пальцем левой руки
Под правой лопаткой.

Чтоб шел он с корзинкой в Охотный ряд,
Глаза лукаво косят,

Мохрится бороденка:

— Барин! Купи куренка!

— Ну и куренок! Старый петух.

— Старый?! Скажут тоже!

Старый. Да ен, може,

На два года тебя моложе!

* * *

Когда я была ребенком,
Так девочкой лет шести,
Я во сне подружилась с тигренком —
Он помог мне косичку плести.

И так заботился мило
Пушистый, тепленький зверь,
Что всю жизнь я его не забыла,
Вот — помню даже теперь.

А потом, усталой и хмурой —
Было лет мне под пятьдесят —
Любоваться тигриной шкурой
Я пошла в Зоологический сад.

И там огромный зверище,
Раскрыв зловонную пасть,
Так дохнул перегнившей пищей,
Что в обморок можно упасть.

Но я, в глаза ему глядя,
Сказала: «Мы те же теперь,
Я — все та же девочка Надя,
А вы — мне приснившийся зверь».

Все, что было и будет с нами,
Сновиденья, и жизнь, и смерть.
Слито все золотыми звездами
В Божью вечность, в недвижимую твердь».

И ответил мне зверь не словами,
А ушами, глазами, хвостом:
«Это все мы узнаем сами
Вместе с вами. Скоро. Потом».

ЮРГИС БАЛТРУШАЙТИС

1873, м. Паантвардис Ковенской губ.—1944, Париж

Литовский поэт, прекрасно владевший русским языком. Его стихи еще до революции включались в русские антологии. После революции был чрезвычайным посланником и полномочным представителем Литвы в Москве. С начала 1930-х годов много писал на литовском.

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

I

Как трудно высказать — нелживо,
 Чтоб хоть себя не обмануть —
 Чем наше сердце втайне живо,
 О чем, тоскуя, плачет грудь...
 Речь о мечтах и нуждах часа
 В устах людей — всегда — прикраса,
 И силен у души — любой —
 Страх наготы перед собой, —
 Страх истины нелицемерной
 Иль, брат боязни, хитрый стыд,
 О жалком плачущих навзрыд,
 Чтоб точным словом, мерой верной
 Того случайно не раскрыть,
 Чему сокрытым лучше быть...

II

Но есть и час иной напасти,
 Когда мы тщетно ищем слов,
 Чтоб с тайны помыслов иль страсти
 Хотя б на миг совлечь покров, —
 Чтоб грудь, ослепшая от муки,
 Явила в знаке, или в звуке,
 Иль в скорби молчаливых слез,
 Что Бог судил, что мир принес...
 И, если пыткой огневою
 Весь, весь охвачен человек,
 Он только холоден, как снег,
 И лишь с поникшей головою
 В огне стоит пред тайной тьмой,
 Вниманью чуждый и немой.

18 февраля 1923

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ

1873, Москва—1924, там же

Так же, как и Бальмонт, был одним из самых знаменитых поэтов своего времени. Прославлен как эрудит. Считался законодателем литературных мод, главой символистской школы. После революции вступил в партию, организовал Высший литературно-художественный институт. Обратился к бывшим соратникам по символизму, не признавшим революцию и видящим в ней только кровь и разруху, с поэтической инвективой «Товарищам интеллигентам». Брюсов принадлежал к тем российским интеллигентам, кто сам накликал на свою голову наступающее варварство: «Но тех, кто меня уничтожит, встречаю приветственным гимном». Недостатки поэзии Брюсова — книжность, мелодраматичность. Неоспоримое достоинство — высокий поэтический профессионализм. Пастернак, за многое упрекая Брюсова, но в то же время и ценя его, написал ему такие слова благодарности:

И я затем, быть может, не умру,
 Что, до смерти теперь устав от гилл,
 Вы сами, было время, поутру
 Линейкой нас не умирать учили?

* * *

О, закрой свои бледные ноги

3 декабря 1894

СОНЕТ К ФОРМЕ

Есть тонкие властительные связи
 Меж контуром и запахом цветка.
 Так бриллиант невидим нам, пока
 Под гранями не оживет в алмазе.

Так образы изменчивых фантазий,
 Бегущие, как в небе облака,
 Окаменев, живут потом века
 В отточенной и завершенной фразе.

И я хочу, чтоб все мои мечты,
 Дошедшие до слова и до света,
 Нашли себе желанные черты.

Пускай мой друг, разрезав том поэта,
 Упнется в нем и стройностью сонета,
 И буквами спокойной красоты!

6 июня 1895

ЮНОМУ ПОЭТУ

Юноша бледный со взором горящим,
 Ныне даю я тебе три завета:
 Первый прими: не живи настоящим,
 Только грядущее — область поэта.

Помни второй: никому не сочувствуй,
 Сам же себя полюби беспредельно.
 Третий храни: поклоняйся искусству,
 Только ему, безраздумно, бесцельно.

Юноша бледный со взором смущенным!
 Если ты примешь моих три завета,
 Молча паду я бойцом побежденным,
 Зная, что в мире оставлю поэта.

15 июля 1896

В НЕКОНЧЕНОМ ЗДАНИИ

Мы бродим в неконченном здании
 По шатким, дрожащим лесам,
 В каком-то тупом ожидании,
 Не веря вечерним часам.

Бессвязные, странные лопасти
 Нам путь отрезают... мы ждем.
 Мы видим бездонные пропасти
 За нашим неверным путем.

Оконные встретив пробоины,
 Мы робко в пространства глядим:
 Над крышами крыши надстроены,
 Безмолвие, холод и дым.

Нам страшны размеры громадные
 Безвестной растущей тюрьмы.
 Над безднами, жалкие, жадные,
 Стоим, зачарованы, мы.

Но первые плотные лестницы,
 Ведущие к балкам, во мрак,
 Встают как безмолвные вестницы,
 Встают как таинственный знак!

Здесь будут проходы и комнаты!
 Здесь стены задвинутся сплошь!
 О думы упорные, вспомните!
 Вы только забыли чертеж!

Свершится, что вами замыслено,
 Громада до неба взойдет
 И в глуби, разумно расчисленной,
 Замкнет человеческий род.

И вот почему — в ожидании
 Не верим мы темным часам:
 Мы бродим в неконченном здании,
 Мы бродим по шатким лесам!

1 февраля 1900

КАМЕНЩИК

— Каменщик, каменщик в фартуке белом,
 Что ты там строишь? кому?
 — Эй, не мешай нам, мы заняты делом,
 Строим мы, строим тюрьму.

— Каменщик, каменщик с верной лопатой,
 Кто же в ней будет рыдать?

— Верно, не ты и не твой брат, богатый.
 Незачем вам воровать.

— Каменщик, каменщик, долгие ночи
 Кто ж проведет в ней без сна?
 — Может быть, сын мой, такой же рабочий.
 Тем наша доля полна.

— Каменщик, каменщик, вспомнит,
 пожалуй,
 Тех он, кто нес кирпичи!
 — Эй, берегись! под лесами не балуй...
 Знаем всё сами, молчи!

16 июля 1901

ГРЯДУЩИЕ ГУННЫ

Топчи их рай, Аттила.

Вяч. Иванов

Где вы, грядущие гунны,
 Что тучей нависли над миром!
 Слышу ваш топот чугунный
 По еще не открытым Памирам.

На нас ордой опьянелой
 Рухните с темных становий —
 Оживить одряхлевшее тело
 Волной пылающей крови.

Поставьте, невольники воли,
 Шалаши у дворцов, как бывало,
 Всколите веселое поле
 На месте тронного зала.

Сложите книги кострами,
 Пляшите в их радостном свете,
 Творите мерзость во храме, —
 Вы во всем неповинны, как дети!

А мы, мудрецы и поэты,
 Хранители тайны и веры,
 Унесем зажженные светлы,
 В катакомбы, в пустыни, в пещеры.

И что, под бурей летучей,
 Под этой грозой разрушений,
 Сохранит играющий Случай
 Из наших заветных творений?

Бесследно все сгибнет, быть может,
 Что ведомо было одним нам,
 Но вас, кто меня уничтожит,
 Встречаю приветственным гимном.

Осень 1904;

30 июля — 10 августа 1905

ТОВАРИЩАМ ИНТЕЛЛИГЕНТАМ

Инвектива

Еще недавно, всего охотней
 Вы к новым сказкам клонили лица:

Уэллс, Джек Лондон, Леру и сотни
Других плели вам небылицы.

И вы дрожали, и вы внимали,
С испугом радостным, как дети,
Когда пред вами вскрывались дали
Земле назначенных столетий.

Вам были любы — трагизм и гибель
Иль ужас нового потопа,
И вы гадали: в огне ль, на дыбе ль
Погибнет старая Европа?

И вот свершилось. Рок принял грезы,
Вновь показал свою превратность:
Из круга жизни, из мира прозы
Мы вброшены в невероятность!

Нам слышны громы: то — вековые
Устои рушатся в провалы;
Над снежной ширью былой России
Рассвет сияет небывалый.

В обломках троны; над жалкой грудой
Народы видят надпись: «Бренность!»
И в новых ликах, живой причудой
Пред нами реет современность.

То, что мелькало во сне далеком,
Воплощено в дыму и в гуле...
Что ж вы коситесь неверным оком
В лесу испуганной косули?

Что ж не спешите вы в вихрь событий —
Упитья бурей, грозно-странной?
И что ж в былое с тоской глядите,
Как в некий край обетованный?

Иль вам, фантастам, иль вам, эстетам,
Мечта была мила как дальность?
И только в книгах да в лад с поэтом
Любили вы оригинальность?

Февраль и март 1919

АЛЕКСАНДР ИЗМАЙЛОВ

1873, Петербург—1921, Петроград

Родился в семье дьякона. Окончил духовную академию. Писал стихи, прозу, критику. Особую известность приобрел литературными пародиями и шаржами.

ПРОЕКТ ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКИ

*С... числа в Михайловском манеже
открылась кустарная выставка.
Из газет*

Обозревши кустарную выставку русскую,
Замечаю тенденцию злую и узкую.
По причинам плохой информации
Здесь пропущено то, что составило гордость
бы нации.

Получилось бы вовсе иное,
Если б взяли сюда, как в ковчег допотопного
Ноя,
Ото всех кустарей, незаконно обидимых, —
Семь пар видимых их экспонатов и семь пар
невидимых.

Например, уж выставить было бы надо
Перо храброго капитана Кладо,
Которое чуть-чуть не спасло Россию от макаки,
Палку, сломанную с Бурениным в драке,
Адмирала Небогатова две калоши
(Символ гуще, чем они плоше),
Бюсты Пуришкевича, Гамзея и Берга,
Корову, имевшую честь поить его
превосходительство Штакельберга,
И уж была бы для нации совсем обида,
Если забыть паспорт патриота Шмида,
Не взять две-три истинно русских резины,
Виды судов, погибших от собственной мины,
Меньшикова одного-другого автографа

И портрета Кузмина, всероссийского
обер-порнографа...

Уж как ни вертись, а не пройдешь мимо
Академического диплома Горького Максима,
Семи японских миллионов на поддержание
революции
(Смотри Святейшего синода резолюции),
Ученых трудов кавалериста Теляковского,
Верного слова графа Витте

Каменноостровского,
Проекта бульгинской конституции,
Гурлянда соловьиного пения,
Куропаткинского доблестного терпения,
Победоносных наших корреспонденций,
Алексеева токийских резиденций,
Служителя святого искусства Тумпакова,
Газетных уток господина Худекова.
Всё это, легкое на помине,
Уместится в одной витрине...

Хочешь не хочешь, а надо взять в экспонаты
Дубровина свирепые мандаты,
Приказы Стесселя, нового Демосфена,
Опереточные громы Гермогена,
Булацеля статейки две, не менее,
И Лидваля, извините за выражение.
Что ни говори, а надо взять «Балаганчик»

Блока,
Факсимиле Гурко, рыцаря без страха, но не без
упрека,
Стихи Вячеслава Иванова под Тредьяковского

И собрание речей депутата Келеповского.
 Надо выставить вид монастыря Черемецецкого,
 Исторический смокинг лидера кадетского,
 Вид черты оседлости с птичьего полета,
 Два-три хоть шебуевских пулемета
 (С настоящих-то не сняты запрещения!),
 Пять тысяч пятьсот циркуляров Главного
 управления,
 Прилагавших скорпиона к скорпиону,
 Да столько же невидимых по телефону.

Уж будет публика рада, не рада,
 А монаха Илиодора вспомнить надо
 И даже демонстрировать его граммофоном.
 Обязательно надо почтить Купчинского томом
 Наших славных героев тыла,
 Коим из-за родины собственная жизнь
 опостыла.
 Позабыть про овес Дурново прямо было б
 по-свински,

Надо в ряде картин показать, как живут
 в Минусинске.
 Было делом бы злого кова
 Не выставить резец бессребреника Паоло
 Трубецкого,
 Да уж кстати и его гиппопотама,
 Надо вспомнить Гартинга-Лендейзена-
 Гакельмана,
 Господина Азефа, всем провокаторам
 провокатора,
 Гордика, экстраординарного плагиатора,
 Провозвестника книжного обрезания; Эллиса
 Коб-ского
 И оглоблю рецензента Россовского...
 А в последней витрине — мутное, дремотное,
 Станет пусть Недотыкомка, модное животное,
 Приседая с улыбкой доброй
 Перед Гиппиус, первой русской коброй.
 1908, 1909

НИКОЛАЙ РЕРИХ

1874—1947

Художник, ученый, писатель, путешественник. Почти четверть века прожил в Индии. Незадолго до смерти о судьбе своей, о своеобразии своего творчества написал: «Повсюду сочетались две темы — Русь и Гималаи».

ИЗ ЦИКЛА «МАЛЬЧИКУ»
 УКРАШАЙ
 (фрагмент)

Мальчик, вещей берегись.
 Часто предмет, которым владеем,
 полон козней и злоумышлений,
 опаснее всех мятежей.
 При себе носим годы злодея,
 не зная, что это наш враг.
 На совете имущества маленький
 нож всегда вам враждебен.
 Бывает враждебен и посох.
 Часто встают мятежом

светильники, скамьи, затворы.
 Книги уходят безвестно.
 К мятежу пристают иногда
 самые мирные вещи.
 Спасти от них невозможно.
 Под страхом мести смертельной
 живете вы долгие годы,
 и в часы раздумья и скуки
 врага ласкаете вы.
 Если кто уцелел от людей,
 то против вещей он бессилён...

1915

ЛЕВ ВАСИЛЕВСКИЙ

1876, Полтава—1936, Ленинград

Поэт, переводчик, критик, журналист. Печатался также под псевдонимом *Авель*. Выступал во многих сатирических изданиях.

ПРЕДЕЛЬНОЕ И БЕСПРЕДЕЛЬНОЕ

Предельна досягаемость
 Властительной карточки,
 Безмерна изменяемость
 Правительственной речи.
 Предельна убедительность
 Посула и обмана,

Но без границ вместительность
 Сановного кармана.
 Предельно обаяние
 Штыка и пулемета,
 Бездонно одичание
 «Слуги и патриота».
 Предельны дарования
 И ум министров рати,

Бескрайни наказания
За смелый тон печати.
Предела нет глумлению,
Поругана свобода,

И нет конца терпению
У русского народа!

<1906>

АЛЕКСАНДР ДОБРОЛЮБОВ

1876, Варшава—1943 (?)

Один из ранних русских декадентов, обратил на себя внимание еще в 1890-е годы: первая книга его вышла еще в 1895 году, а десятилетие спустя вышла последняя — «Из книги невидимой», в это время Добролюбов уже давно литературу бросил и жил среди основанной им сектантской общины где-то в Поволжье. По Петербургу иной раз прокатывался слух, что «Добролюбов вернулся»: описывалось, к примеру, что видали мужика в зипуне и лаптях, ищущего редакцию журнала «Аполлон». Религиозные искания Добролюбова — скорей его личность, чем стихи — вызвали к жизни стихотворение А. Блока «Александр Добролюбов». В поздние годы жизни Добролюбов расстался с основанной им сектой, скитался по Закавказью, стал атеистом.

* * *

Телом сцепленный
С силой, бессильем других,
Вновь утомленный
Силой условий мирских,
Вдаль направляюсь
Только к свободе своей,
Не утомляясь
Блеском безгорестных дней.
Там неустанна

Сила творившая,
Здесь опочившая,
Установившая
Мир беспрестанный.
В счастья верю
Счастью невольному,
Пиру всестольному;
Странствию дольному
Чую потерю.

<1900>

АЛЕКСАНДР КОНДРАТЬЕВ

1876, Петербург—1967, г. Найк, близ Нью-Йорка, США

Был известен в начале века, потом начисто забыт; лишь в недавние годы его извлек из забвения и стал широко печатать профессор Вадим Крейд. Кондратьев учился в гимназии у Анненского, его удостаивали высших похвал и дружбы Александр Блок; до революции у него вышло восемь книг, в том числе два поэтических сборника. В 1918 году, очередной раз приехав в захолустный Дорогобуж, поэт внезапно оказался в эмиграции: границы изменились, теперь он жил в Польше. Между тем годы между войнами оказались для Кондратьева самыми плодотворными: он издал, пожалуй, главную книгу своей жизни — 70 сонетов «Славянские боги» (1936), а до того, в 1930 году, — роман «На берегах Ярыни». В 1939 году Кондратьев пешком ушел на Запад и в конце концов оказался в Триесте, затем в Швейцарии и, наконец, уехал в США. Жил на «Толстовской ферме» в штате Нью-Йорк. Его третья книга лирики «Закат», реконструированная по записным книжкам, издана в США лишь в 1990 году.

ВЕДЬМА

Никто не должен знать, что ведьмой стала я
И по ночам коров могу доить незримо,
Сорокой выпорхнуть на крышу в струйках

дыма

И рыскать по лугам, свой лик людской тая.
Кто может отгадать, что черная свинья
Иль сука белая, что пробегает мимо,
— Соседка по избе? Везде неутомимо
Я порчу людям скот. Задолго до жнивья
Заламываю хлеб. Заглядываю в трубы
И насылаю хворь на плачущих детей,
Коль мать не угодит. Мне бабы слезы любы.
Я парой тоненьких лягушечьих костей
Могу воспламенить для старца жар страстей...
Могу, при слухае, заговорить и зубы...

КОРОВЬЯ СМЕРТЬ

При таяньи снегов в ночь на Агафьин день
Коровой белою, рыча, бегу по селам
И мор скоту несусь: рогатым и комолым,
Бычкам и телкам, всем — конец! Через плетень
Старухой, грязный хвост свой прячу

под подолом,

Переберусь и в хлев незапертый, как тень
Скользнув, посею смерть. И прочь с лицом

веселым

Спешу в соседний двор. Немало деревень,
Где жизни скотские я как траву полола,
Запомнят злобою исполненный мой вид,
Следы моих больших, раздвоенных копыт,
Собак трусливый вой... Лишь лапоть

с частокола,

В дегтю намоченный, меня собой страшит
И гонит прочь, когда я обегая села...

ЛЕШАЧИХА

Хозяину лесов я прихожусь женой.
Известно всякому, что нет другой на свете.
Берлога есть у нас, и в той берлоге дети,
И прижил он их всех до одного со мной.
Пуускай бесстыдницы болотные собой

Его пленяют взор, заманивая в сети
Пропавших тиной кос. Лишь только косы эти
Мне в лапы попадут, — такие визг и вой
По лесу полетят, что Мишка брякнет с дуба,
А лисы с зайцами забьются по норам
От гнева моего. И, отомстив мой срам,
В порядок привожу растрепанную шубу,
Медведь залижет мне прокушенную губу
И грудь, где от когтей бесовки виден шрам.

ВЕРА МЕРКУРЬЕВА

1876, Владикавказ — 1943, Ташкент

Прозванная «Кассандрой» заговорила истинно поэтическим голосом поздно, в 1917 году, и поэтому в «печатную» литературу попала едва-едва. Ее стихи высоко ценили Вяч. Иванов, Мандельштам, Пастернак, Эренбург, Цветаева, Ахматова — всех не перечислишь. Главное, что было ею создано, — сборник стихотворений «Тщета», написанный в Москве в 1917—1920 годах, но никогда не изданный. Извлек Меркурьеву из полного забвения литературовед Михаил Гаспаров.

ПРОБОИНА

Пробоина — в Успенском соборе!
Пробоина — в Московском Кремле!
Пробоина — кромешное горе —
Пробоина — в сраженной земле.

Пробоина — раздор на раздоре.
Пробоина — течь на корабле.
Пробоина — погромное море —
Пробоина — огромно во мгле.

Пробоина — брошенные дома —
Пробоина — братская могила —
Пробоина — сдвиг земной оси!

Пробоина — где мы в ней и что мы?
Пробоина — бездна поглотила.
Пробоина — нет всея Руси.

1917

ИЗ «СТАНСОВ»

(отрывок)

Споем, что прав державный лапоть,
Венцы сегодня свергший ниц,
Но завтра — слезы будут капать
На сгибы Пушкинских страниц.

Споем, что ветхи краски партий,
И сквозь поблекшие листы
Проступят вечных знаки хартий —
Все те же звезды и цветы.

Споем, что слово правды — с нами,
Что слова жизни — страшен гнев,
Что тот, кто бросил в слово камень, —
Не оживет, окаменеет.

МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН

1877, Киев—1932, Коктебель

Символист средней руки до революции, во время ее неожиданно оказался большим поэтом. Своеобразный Санта-Клаус русской поэзии, стоявший особняком среди всевозможных литературных течений. Его дом в Коктебеле, где теперь организован музей, был гостеприимно открыт для всех, во время гражданской войны в нем находили приют «и красный вождь, и белый офицер». Позиция Волошина тогда была нейтральной, но не равнодушной, ибо он осуждал и «красный», и «белый» террор. Его восприятие революции никогда не скатывалось до злобы, до мелочного нытья и ухода в пессимизм. Это восприятие было близко блоковской поэме «Двенадцать» с белоснежным видением над идущими сквозь пургу красногвардейцами. Творчество Волошина во многом зависело от французской поэзии, но в лучших своих вещах — особенно периода гражданской войны — он вырвался к развороченной бурей России. В этих стихах он пытался встать над схваткой, по собственному выражению, «молясь за тех и за других». Слова «Поддалась лихому подговору, Отдалась разбойнику и вору» предугадали те времена, когда Крым, а вместе с ним и Коктебель переходили из рук в руки. Когда приходили белые, спасал красных, а когда приходили красные, спасал белых. Поражает рожденная внутри двойного террора его вера, что Россия выйдет из огненной купели очищенной, обновленной. Гражданская война неожиданно сделала Волошина — изысканного европейского интеллектуала — более земным, социальным, философски историчным. Нужно было иметь огромную

историческую и художественную смелость, чтобы сказать: «Великий Петр был первый большевик...» В этом — и трагедия Петра, и предвидение трагедии большевизма, с той разницей, что Петр был палачом, но был и прекрасным плотником. В палачестве большевизм превзошел Петра, но в плотничестве оказался убогим — его прогнившее сооружение развалилось. Петр прорубил окно в Европу, большевизм его зарешетил. Из среднего символиста Волошин вырос в Пимена бушующей России, летописца гражданской войны, и его поэма «Россия», на мой взгляд, лучший пророческий учебник отечественной истории. Видя всю нехристианность, всю жестокость русского народа по отношению к себе самому, Волошин нашел в себе христианство благословить его, а не проклясть. А вот революцию почти в равной степени принял и проклял. Доказал собой, что поэт есть не только явление личности, но и явление истории.

СТИХИ О ВОЙНЕ И РЕВОЛЮЦИИ
ПУТИ РОССИИ

СВЯТАЯ РУСЬ

А. М. Петровой

Суздаль да Москва не для тебя ли
По уделам землю собирали,
Да тугую золотом суму?
В сундуках приданое копили,
И тебя невестою растили
В расписном да тесном терему?

Не тебе ли на речных истоках
Плотник-Царь построил дом широко —
Окнами на пять земных морей?
Из невест красой, да силой бранной
Не была ль ты самую желанной
Для заморских княжих сыновей?

Но тебе сыздетства были любви —
По лесам глубоких скитов срубы,
По полям кочевья без дорог,
Вольные раздолья да вериги,
Самозванцы, воры да расстриги,
Соловьиный посвист да острог.

Быть Царевой ты не захотела:
Уж такое подвернулось дело.
Враг шептал: «Развей да расточи...
Ты отдай казну свою богатым,
Власть — холопам, силу — супостатам,
Смердам — честь, изменникам — ключи».

Поддалась лихому подговору,
Отдалась разбойнику и вору,
Подожгла посадки и хлеба,
Разорила древнее жилище
И пошла поруганной, и нищей,
И рабой последнего раба.

Я ль в тебя посмею бросить камень?
Осужу ль страстной и буйный пламень?
В грязь лицом тебе ль не поклонюсь,
След босой ноги благословляя,—
Ты — бездомная, гулящая, хмельная,
Во Христе юродивая Русь!

19 ноября 1917
Коктебель

ДЕМЕТРИУС — ИМПЕРАТОР
(1591—1613)

Ю. Л. Оболенской

Убиенный много и восставый,
Двадцать лет со славою правил я
Отчею Московскою державой,
И години более кровавой
Не видала Русская земля.

В Угличе, сжимая горсть орешков
Детской окровавленной рукой,
Я лежал, а мать, в сенях замешкав,
Голосила, плача надо мной.
С перерезанным наотмашь горлом
Я лежал в могиле десять лет;
И рука Господняя простерла
Над Москвой полетье лютых бед.
Голод был, какого не видали.
Хлеб пекли из кала и мезги.
Землю ели. Бабы продавали
С человеческим мясом пироги.
Проклиная царство Годунова,
В городах без хлеба и без крова
Мерзли у набитых закровов.
И разъялась земная утроба,
И на зов стнящих голосов
Вышел я — замученный — из гроба.

По Руси что ветер засвистал,
Освещал свой путь двойной луною,
Пасолницы на небе засвечал.
Шестернею в полночь над Москвою
Мчал, бичом по маковкам хлестал,
Вихрь-витной гулял я в ратном поле,
На Московском венчанном престоле
Древним Мономаховым венцом,
С белой панной — с лебедью — с Мариной
Я — живой и мертвый,— но единый
Обручался заклятым кольцом.

Но Москва дыхнула дыхом злобным —
Мертвый я лежал на месте Лобном
В черной маске с дудкою в руке,
А вокруг, вблизи и вдалеке,—
Огоньки болотные горели,
Бубны били, плакали сопели,
Песни пели бесы на реке.
Не видала Русь такого сраму!
А когда свезли меня на яму,
Я свалился в смрадную дыру,—

Из могилы тело выходило
И лежало — цело — на юру.
И река от трупa отливала,
И земля меня не принимала.
На куски разрезали, сожгли,
Пепл собрали, пушку зарядили,
С четырех застав Москвы палили
На четыре стороны земли.

Тут тогда меня уж стало много:
Я пошел из Польши, из Литвы,
Из Путивля, Астрахани, Пскова,
Из Оскола, Ливен, из Москвы...
Понапрасну в обличенье вора
Царь Василий, не стыдясь позора,
Детский труп из Углича опять
Вез в Москву — народу показать,
Чтобы я на Царском на призоре
Почивал в Архангельском Соборе,
Да сидела у могилы мать.

А Марина в Тушино бежала
И меня живого обнимала,
И, собрав неслыханную рать,
Подступал я вновь к Москве со славой...
А потом лежал в снегу — безглавый —
В городе Калуге над Окой,
Умерщвлен татарами и жмудью...
А Марина с обнаженной грудью,
Факелы подняв над головой,
Рыскала над мерзлою рекой
И, кружась по-над Москвою, в гнев
Воскрешала новых мертвецов,
А меня живым несла во чреве...

И пошли на нас со всех концов,
И неслись мы парой сизых чаек
Вдоль по Волге, Каспию — на Яик, —
Тут и взяли царские стрелки
Лебеденка с Лебедью в силки.
Вся Москва собралась, что к обедне,
Как младенца — шел мне третий год —
Да казнили казнию последней
Около Серпуховских ворот.

Так, смущая Русь судьбою дивной,
Четверть века — мертвый, неизбывный —
Правил я лихой годиной бед.
И опять приду — чрез триста лет.

19 декабря 1917

СТЕНЬКИН СУД

Н. Н. Кедрову

У великого моря Хвалынского,
Заточенный в прибрежный шихан,
Претерпевый от Змея Горынского,
Жду вестей из полуночных стран.
Всё ль, как прежде, сияет — не сглазена
Православных церквей лепота?
Проклинают ли Стеньку в них Разина

В воскресенье, в начале поста?
Зажигают ли свечки, да сальные
В них заместо свечей восковых?
Воеводы порядки охальные
Всё ль блюдут в воеводствах своих?
Благолепная да многохрамая,
А из ней хоть святых выноси.
Что-то чую, приходит пора моя
Погулять по Святой по Руси.

Как, бывало, казацкая, дерзкая,
На Царицын, Симбирск, на Хвалынь —
Гребенская, Донская да Терская
Собиралась ватажить сарынь.
Да на первом на струге, на «Соколе»,
С полюбовницей — пленной княжней,
Разгулявшись, свистали да цокали,
Да неслись по-над Волгой стрелой.
Да как кликнешь сподружных-приспешников:
«Васька Ус, Шелудяк да Кабан!
Вы ступайте пощупать помещиков,
Воевод, да попов, да дворян.
Позаймитесь-ка барскими гнездами,
Припустите к ним псов полютей!
На столбах с перекладиной гроздами
Поразвесьте собачьих детей».

Хорошо на Руси я попраздновал:
Погулял, и поел, и попил,
И за все, что творил неуказного,
Лютой смертью своей заплатил.
Принимали нас с честью и с ласкою,
Выходили хлеб-солью встречать,
Как в священных цепях да с опаскою
Привезли на Москву показать.
Уж по-царски уважили пыткой:
Разымали мне каждый сустав
Да крестили смолой меня жидкою,
У семи хоронили застав.

А как вынес я муку кровавую,
Да не выдал казацкую Русь,
Так за то на расправу, на правую,
Сам судьей на Москву ворочусь.
Рассужу, развяжу — не помилую, —
Кто хлопы, кто попы, кто паны...
Так узнаете: как пред могилою,
Так пред Стенькой все люди равны.
Мне к чему царевать да насиловать,
А чтоб равен был всякому — всяк.
Тут пойдут их, голубчиков, миловать,
Приласкают московских собак.

Уж попомнят, как нас на Остоженке
Шельмовали для ихних утех,
Пообрубят им рученьки-ноженьки:
Пусть поползают людям на смех.
И за мною не токмо что драная
Гольтьба, а — казной расшибусь —

Вся великая, темная, пьяная,
Окаянная двинется Русь.
Мы устроим в стране благолепье вам,—
Как, восставши из мертвых — с мечом,—
Три Угодника — с Гришкой Отрепьевым
Да с Емелькой придем Пугачом.

22 декабря 1917

Коктебель

ИЗ ЦИКЛА «ЛИЧИНЫ»

КРАСНОГВАРДЕЕЦ

(1917)

(Тип разложения старой армии)

Скакать на красном параде
С кокардой на голове
В расплавленном Петрограде,
В революционной Москве.

В бреду и в хмельном азарте
Отдаться лихой игре.
Стоять за Родзянку в марте,
За большевиков в октябре.

Толпиться по коридорам
Таврического дворца,
Не видя буржуйным спорам
Ни выхода, ни конца.

Оборотясь к собранью,
Рукою поправить ус,
Хлестнуть площадной бранью,
На ухо заломив картуз.

И показавшись толковым —
Ввиду особых заслуг
Быть посланным с Муравьевым
Для пропаганды на юг.

Идти запущенным садом,
Щупать замок штыком.
Высаживать дверь прикладом.
Толпою врываться в дом.

У бочек выломать днища,
В подвал выпускать вино.
Потом подпалить горище
И выбить плечом окно.

В Раздельной, под Красным Рогом,
Громить поместья — и прочь
В степях по грязным дорогам
Скакать в осеннюю ночь.

Забравши весь хлеб, о «свободах»
Размазывать мужикам.
Искать лошадей в комодах
Да пушек по коробкам.

Палить из пулеметов:
Кто? С кем? Да не все ль равно —
Петлюра, Григорьев, Котов,
Таранов или Махно...

Слоняться буйной оравой.
Стать всем своим невтерпеж,—
И умереть под канавой
Расстрелянным за грабеж.

16 июня 1919

ИЗ ЦИКЛА «ПУТИ РОССИИ»

НА ВОКЗАЛЕ

В мутном свете увялых
Электрических фонарей
На узлах, тюках, одеялах,
Средь корзин, сундуков, ларей,
На подсолнухах, на окурках,
В сермягах, шинелях, бурках,
То врозь, то кучей, то в ряд,
На полу, на лестницах — спят:
Одни — раскидавшись, будто
Подкошенные на корню,
Другие вывернув круто
Шею, бедро, ступню.
Меж ними бродит зараза
И отравляет их кровь:
Тиф, холера, проказа,
Ненависть и любовь.
Едят их поедом жадным
Мухи, москиты, вши.
Они задыхаются в смрадном
Испареньи тел и души.
Точно в загробном мире,
Где каждый в себе несет
Противовесы и гири
Дневных страстей и забот.

Так спят они по вокзалам,
Вагонам, платформам, залам,
По рынкам, по площадям,
У стен, у отхожих ям:
Беженцы из разоренных,
Оголодавших столиц,
Из городов опаленных,
Деревень, аулов, станиц,
Местечек,— тысячи лиц...
И социальный Мессия,
И баба с кучей ребят,
Офицер, налетчик, солдат,
Спекулянт, мужики,— вся Россия!

Вот лежит она, распята сном,
По вековечным излогам,
Расплесканная по дорогам,
Искусанная огнем,
С запекшимися губами,
В грязи, в крови и во зле,
И ловит воздух руками,
И мечется по земле.
И не может в бреду забыться,
И не может очнуться от сна...
Не все ли и всем простится,
Кто выстрадал, как она?

29 июля 1919

СПЕКУЛЯНТ

(1919)

Кишмя кишеть в кафе у Робина,
Шнырять в Ростове, шмыгать в Одессе,

Кипеть на всех путях, вползая сквозь все
затворы.

Менять все облики, все маски, все оттенки,
Быть торговцем, попом и офицером,
То русским, то германцем, то евреем,
При всех режимах быть неистребимым,
Всепроникающим, всеядным, вездесущим,
Жонглировать то совестью, то ситцем,
То спичками, то родиной, то мылом,
Творить известия, зажигать пожары,
Бунты и паники; одним прикосновеньем
Удорожать в четыре, в сорок, во сто,
Пускать под небо цены, как ракеты,
Сделать в три дня неуловимым,
Неосязаемым тучнейший урожай,
Владеть всей властью магии:
Играть на бирже
Землей и воздухом, водою и огнем;
Осуществить мечту о превращеньи
Веществ, страстей, программ, событий, слухов
В золото, а золота — в бумажки,
И замести страну их пестрою метелью,
Рождать из тучи град золотых монет.
Россию превратить в быка,
Везущего Европу по Босфору,
Осуществить воочью
Все рассказы былых метаморфоз,
Все таинства божественных мистерий,
Преосуществлять за трапезой вино и хлеб
Миллионами пудов и тысячами бочек —
В озера крови, в груды мертвой плоти,
В два года распродать империю,
Замызгать, заплевать, загадить, опозорить,
Кишет как червь в ее разверстом теле
И разползтись, оставив в поле кости
Сухие, мертвые, ошмыганные ветром.

16 августа 1919

Коктебель

БУРЖУЙ (1919)

Буржуя не было, но в нем была потребность.
Для революции необходим капиталист,
Чтоб одолеть его во имя пролетариата.
Его слепили наскоро: из лавочников, из купцов,
Помещиков, кадет и акушерок.
Его смешали с кровью офицеров,
Прожгли и сплавляли в застенках Чрезвычайка,
Гражданская война дохнула
В его уста...
Тогда он сам поверил
В свое существованье
И начал быть.
Но бытие его сомнительно и призрачно,
Душа же негативна.
Из человеческих чувств ему доступны три:
Страх, жадность, ненависть.
Он воплощался на бегу
Меж Киевом, Одессой и Ростовом.
Сюда бежал он под защиту добровольцев,

Чья армия возникла лишь затем,
Чтоб защитить его.

Он ускользнул от всех ее наборов,
Зато стал сам героем, как они.
Из всех военных качеств он усвоил
Себе одно: спастись от врагов.
И сделался жесток и беспощаден.
Он не может без гнева видеть
Предателей, что не бежали за границу
И, чтоб спасти какие-то лоскутья
Погибшей родины,
Пошли к большевикам на службу:
«Тем хуже, что они предотвращали
Убийства и спасали ценности культуры:
Они им помешали себя ославить до конца,
И жаль, что их самих еще не расстреляли».
Так мыслит каждый сознательный буржуй.
А те из них, что любят русское искусство,
Прибавляют, что, взяв Москву,
они повесят сами

Максима Горького
И расстреляют Блока.

17 августа 1919

Коктебель

ФЕОДОСИЯ (1918)

Сей древний град — богоспасаем
(Ему же имя «Богом дан»),
В те дни был «социальным раем».
Из дальних черноморских стран
Солдаты навезли товару
И бойко продавали тут
Орехи — сто рублей за пуд,
Турчанок — пятьдесят за пару —
На том же рынке, где рабов
Славянских продавал татарин.
Но мир культурой не состарен,
И торг рабами вечно нов.
Хмельные от лихой свободы
В те дни спасались здесь народы;
Затравленные пароходы
Врывались в порт, тушили свет,
Толкались в пристань, швартовались,
Спускали сходни, разгружались
И шли захватывать «Совет».
Мелькали бурки и халаты,
И пулеметы, и штыки,
Румынские большевики
И трапезундские солдаты,
«Семерки», «Тройки», «Румчерод»,
И «Центрослуж» и «Центрофлот»,
Толпы одесских анархистов
И анархистов — коммунистов,
И анархистов — террористов:
Специалистов из громил.
В те дни понятия так смешались,
Что Господа буржуй молил,
Чтобы у власти продержались
Остатки большевицких сил.

В те дни пришел сюда с посольством
Турецкий крейсер, и «Совет»
С широким русским хлебосольством
Дал политический банкет.

Сменял оратора оратор.
Красноречивый агитатор
Приветствовал, как брата брат,
Турецкий пролетариат,
И каждый с пафосом трибуна
Свой тост эффектно заключал:

— «Итак: да здравствует Коммуна
И Третий Интернационал!»
Оратор клал на стол окурочок...

Тогда вставал почтенный турок —
В мундире, в феске, в ордене —
И отвечал в таких словах:

— «Я вижу... слышу... помнить стану...
И обо всем, что видел — сам,
С отменным чувством передам
Его величеству — Султану».

24 августа 1919

Коктебель

УСОБИЦА

СЕВЕРОВОСТОК

(1920)

*«Да будет благословен приход
твой, Бич Бога, которому я слу-
жу, и не мне останавливать тебя».*

Слова св. Лу — архиепископа
Труасского, обращенные к Аттиле

Расплясались, разгуделись бесы
По России вдоль и поперек,
Рвет и крутит снежные завесы
Выстуженный северовосток.
Ветер обнаженных плоскогорий,
Ветер тундр, полесий и поморий,
Черный ветер ледяных равнин,
Ветер смут, побоищ и погромов,
Медных зорь, багровых окоемов,
Красных туч и пламенных годин, —
Этот ветер был нам верным другом
На распутьях всех лихих дорог;
Сотни лет мы шли навстречу вьюгам
С юга вдаль — на северовосток.
Вейте, вейте, снежные стихии,
Заметая древние гроба:
В этом ветре вся судьба России —
Страшная, безумная судьба.
В этом ветре гнет веков свинцовых:
Русь Малют, Иванов, Годуновых,
Хищников, опричников, стрельцов,
Свежевателей живого мяса,
Чертогона, вихря, свистопляса:
Быль царей и явь большевиков.

Что менялось? Знаки и возглавья.
Тот же ураган на всех путях:
В комиссарах — дурь самодержавья,
Взрывы революции в царях.

Вздеть на виску, выбить из подклетья
И швырнуть вперед через столетья
Вопреки законам естества —
Тот же хмель и та же трын-трава.
Ныне ль, даве ль — все одно и то же:
Волчьи морды, машкеры и рожи,
Спертый дух и одичалый мозг.
Сыск и кухня Тайных Канцелярий,
Пьяный гик осатанелых тварей,
Жгучий свист шпицрутенев и розг,
Дикий сон военных поселений,
Фаланстер, парадов и равнений,
Павлов, Аракчеевых, Петров,
Жутких Гатчин, страшных Петербургов,
Замыслы неистовых хирургов
И размах заплечных мастеров.

Сотни лет тупых и зверских пыток, —
И еще не весь развернут свиток,
И не замкнут список палачей,
Бред разведок, ужас Чрезвычайек —
Ни Москва, ни Астрахань, ни Яик
Не видали времени горчей.

Бей в лицо и режь нам грудь ножами,
Жги войной, усобьем, мятежами —
Сотни лет навстречу всем ветрам
Мы идем по ледяным пустыням, —
Не дойдем и в снежной вьюге сгинем
Иль найдем поруганный наш храм?

Нам ли весить замысел Господний?
Все поймем, все вынесем любя, —
Жгучий ветер полярной преисподней,
Божий бич, приветствую тебя!

31 июля 1920

(Перед приходом советской власти в Крым.)

Коктебель

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

Одни восстали из подполий,
Из ссылок, фабрик, рудников,
Отравленные темной волей
И горьким дымом городов.

Другие из рядов военных,
Дворянских разоренных гнезд,
Где проводили на погост
Отцов и братьев убиенных.

В одних доселе не потух
Хмель незапамятных пожаров,
И жив степной, разгульный дух
И Разиных, и Кудеяров.

В других — лишенных всех корней —
Тлетворный дух столицы Невской:
Толстой и Чехов, Достоевский —
Надрыв и смута наших дней.

Одни возносят на плакатах
Свой бред о буржуазном зле,
О светлых пролетариатах,
Мещанском рае на земле...

В других весь цвет, вся гниль Империй,
Все золото, весь тлен идей,
Блеск всех великих фетишей
И всех научных суеверий.

Одни идут освобождать
Москву и вновь сковать Россию,
Другие, разнуздав стихию,
Хотят весь мир пересоздать.

В тех и других волна вдохнула
Гнев, жадность, мрачный хмель разгула,—
А вслед героям и вождям
Крадется хищник стаей жадной,
Чтоб мощь России неоглядной
Размыкать и продать врагам!

Сгноить ее пшеницы груды,
Ее бесчестить небеса,
Пожрать богатства, сжечь леса
И высосать моря и руды.

И не смолкает грохот битв
По всем просторам южной степи
Средь золотых великолепий
Конями вытоптаных жнитв.

И там, и здесь между рядами
Звучит один и тот же глас:
«Кто не за нас — тот против нас!
Нет безразличных: правда с нами!»

А я стою один меж них
В ревушем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.

22 ноября 1920

НА ДНЕ ПРЕИСПОДНЕЙ

Памяти А. Блока и Н. Гумилева

С каждым днем все диче и все глуше
Мертвенная цепенеет ночь.
Смрадный ветер, как свечи, жизни тушит:
Ни позвать, ни крикнуть, ни помочь.

Темен жребий русского поэта:
Неисповедимый рок ведет
Пушкина под дуло пистолета,
Достоевского на эшафот.

Может быть, такой же жребий выну,
Горькая детоубийца, — Русь!
И на дне твоих подвалов сгину,
Иль в кровавой луже поскользнусь,—
Но твоей Голгофы не покину,
От твоих могил не отрекнусь.

Доконает голод или злоба,
Но судьбы не изберу иной:
Умирать, так умирать с тобой
И с тобой, как Лазарь, встать из гроба!

12 января 1922

Феодосия, в больнице

ГОЛОД

Хлеб от земли, а голод от людей:
Засеяли расстрелянными, — всходы
Могильными крестами проросли:
Земля иных побегов не взрастила.
Снедь прятали, скупали, отымали,
Налоги брали хлебом, отбирали
Домашний скот, посевное зерно:
Крестьяне сеять выезжали ночью.
Голодные и поползли червями,
По осени вдоль улиц поползли.
Толпа на хлеб пялилась по базарам.
Вора валили на землю и били
Ногами по лицу. А он краюху,
В грязь пряча голову, старался заглотнуть.
Как в воробьев, стреляли по мальчишкам,
Сбирившим просыпь зерен на путях,
И Угличские отроки валялись
С орешками в окоченевшей горстке.

Землю тошнило трупами — лежали
На улицах, смердели у мертвецких.
В разверстых ямах гнили на кладбищах,
В оврагах и по свалкам костяки
С обрезанною мякотью валялись.
Глодали псы отгрызанные руки
И головы. На рынке торговали
Дешевым студнем, тошной колбасой.
Баранина была в продаже — триста,
А человечина по сорока.
Душа была давно дешевле мяса,
И матери, зарезавши детей,
Засаливали впрок: «Сама родила —
Сама и съем. Еще других рожу...»

Голодные любились и рожали
Багровые орущие куски
Бессмысленного мяса: без суставов,
Без пола и без глаз. Из смрада — язвы,
Из ужаса поветрия рождались,
Но бред больных был менее безумен,
Чем обыденщина постелей и котлов.

Когда ж сквозь зимний сумрак закурилась
Над человечьим гноищем весна
И пламя побежало язычками
Вширь по полям и ввысь по голым прутьям,—
Благоухание казалось оскорбленьем,
Луч солнца — издевательством, цветы —
кошунством.

13 января 1923

Коктебель

ПУТЯМИ КАИНА

МЯТЕЖ

1

В начале был мятеж,
Мятеж был против Бога,
И Бог был мятежом.
И все, что есть, началось чрез мятеж.

2

Из вихрей и противуборств возник
 Мир осязаемых
 И стойких равновесий.
 И равновесье стало веществом.
 Но этот мир, разумный и жестокий,—
 Был обречен природой на распад.

3

Чтобы не дать материи изникнуть,
 В нее впился сплавляющий огонь
 И наименовался человеком.
 Он тлеет в «Я», и вещество не может
 Его объять собой и задуть.
 Огонь есть жизнь.
 И в каждой точке мира
 Дыхание, биенье и горенье.
 Не жизнь и смерть, но смерть
 и воскресенье —
 Творящий ритм мятежного огня.

4

Мир — лестница, по ступеням которой
 Шел человек. Мы осязаем то,
 Что он оставил на своей дороге.
 Животные и звезды — шлаки плоти,
 Перегоревшей в творческом огне;
 Все в свой черед служили человеку
 Подножием, и каждая ступень
 Была восстаньем творческого духа.

5

Лишь два пути раскрыты для существ,
 Застигнутых в капканах равновесья:
 Путь мятежа и путь приспособленья.
 Мятеж — безумие;
 Законы
 Природы — неизменны.
 Но в борьбе
 За правду невозможного
 Безумец —
 Пресуществляет самого себя.
 А приспособившийся замирает
 На пройденной ступени. Зверь всегда
 Приноровлен к склонениям природы,
 А человек упорно выгребает
 Противу водопада, что несет
 Вселенную
 Обрато в древний хаос.
 Он утверждает Бога — мятежом,
 Творит — неверьем, строит — отрицаньем,
 Он зодчий,
 И его ваяло — смерть.
 А глина — вихри собственного духа.

6

Когда-то темный и косматый зверь,
 Сойдя с ума, очнулся человеком,—
 Опаснейшим и злейшим из зверей —
 Безумным логикой
 И одержимым верой.
 Разум

Есть творчество навыворот, и он
 Вспять исследил все звенья мирозданья,
 Разъял вселенную на вес и на число,
 Пророс сознанием до недр природы,
 Вник в вещество, впился как паразит
 В хребет земли неугасимой болью,
 К запретным тайнам подобрал ключи,
 Освободил заклепанных титанов,
 Построил им железные тела,
 Запряг в невероятную работу:
 Преобразил весь мир, но не себя,—
 Он заблудился в собственных пещерах
 И стал рабом своих же гнусных тварей.

7

Настало время новых мятежей
 И катастроф: падений и безумий.
 Благоразумным:
 «Возвратитесь в стадо!»
 Мятежнику:
 «Пересоздай себя!»

25 января 1923

ВОЗНОШЕНИЯ

РОССИЯ

Поэма

(отрывки)

3

Минует век, и мрачная фигура
 Встает над Русью: форменный мундир,
 Бескровные щетинистые губы,
 Мясистый нос, солдатский узкий лоб.
 И взгляд неизреченного бесстыдства
 Пустых очей из-под припухших век.
 У ног ее до самых бурых далей
 Нагих равнин — казарменный фасад
 И каланча: ни зверя, ни растенья...
 Земля судилась и осуждена:
 Все грешники записаны в солдаты.
 Всяк холм понизился и стал как плац.
 А над землей солдатскою шинелью
 Провис до крыш разбухший небосвод.
 Таким он был написан Джорджем Доу —
 Земли российской первый коммунист —
 Граф Алексей Андреич Аракчеев.

Он вырос в смраде гатчинских казарм,
 Его избрал, взрастил и всхолил Павел.
 «Дружку любезному» вставлял клистир
 Державный мистик тою же рукою,
 Что иступила посох Кузьмича
 И сокрушила волю Бонапарта.
 Его посеял взлелеял Николай,
 Десятки лет удавными глазами
 Медузвивший засеченную Русь.

Раздерганный и полоумный Павел
 С собой парадный открывает ряд

Штампованных солдатских автоматов,
Расписанных по прусским образцам
(Знак: «Made in Germany»; клеймо: Романов).
Царь козыряет, делает развод,
Глаза пред фронтом пялит растопыркою
И пишет на полях: «Быть по сему».

А между тем от голода, от мора,
От поражений, как и от побед,
Россию прет и в ширь и в даль — безмерно:
Ее сознание уходит в рост,
На мускулы, на поддержанье массы,
На крепкий тяж подпружных обручей.
Пять виселиц на Кронверкской куртине
Рифмуют на Семеновском плацу,
Волы в Тифлис волочат «Грибоеду»,
Отправленного на смерть в Тегеран;
Гроб Пушкина ссылают под конвоем
На развалнях в опальный монастырь;
Над трупом Лермонтова царь: «Собаке —
Собачья смерть» — придворным говорит;
Промозглым утром бледный Достоевский
Горит свечой, всходя на эшафот...
И все тесней, все гуще этот список...

Закон самодержавия таков:
Чем царь добрей, тем больше льется крови.
А всех добрей был Николай Второй,
Зиявший непристойной пустотою
В сосредоточьи гения Петра.
Санкт-Петербург был скроен исполином.
Размах столицы стал не по плечу
Тому, кто стер блистательное имя.
Как медиум, опорожнив сосуд
Своей души, притягивает нежить, —
И пляшет стол, и щелкает стена —
Так хлынула вся бестолочь России
В пустой сквозняк последнего царя;
Желвак От-Цу, Ходынка и Цусима,
Филипп, Папюс, Гапонов ход, Азеф...
Тень Александра Третьего из гроба
Заезжий вызывает некромант;
Царице примеряют от бесплодия
В Сарове чудотворные штаны.
Она, как немка, честно верит в мощи,
В юродивых и в преданный народ...
И вот со дна самой народной гущи —
Из тех же недр, откуда Пугачев —
Рыжебородый с оморошным взглядом —
Идет Распутин в государев дом,
Чтоб честь двора, и церкви, и царицы
В грязь затоптать мужицким сапогом
И до низов ославить власть цареву.
И все хмельней, все круче чертогон...
В Юсуповском дворце, на Мойке — Старец
С отравленным пирожным в животе,
Простреленный, — грозит убийце пальцем:
«Феликс, Феликс, царице все скажу...»

Раздута войною до отказа,
Россия расседается, и год

Солдатчина гуляет на просторе...
И где-то на Урале, среди лесов,
Латышские солдаты и мадьяры
Расстреливают царскую семью
В сумятице поспешных отступлений:
Царевич на руках царя, одна
Из женщин мечется, подушкой прикрываясь,
Царица выпрямилась у стены...
Потом их жгут и зарывают пепел.
Все кончено. Петровский замкнут круг.

4

Великий Петр был первый большевик,
Замысливший Россию перебросить,
Склонениям и нравам вопреки,
За сотни лет, к ее грядущим далям.
Он, как и мы, не знал иных путей,
Опречь указа, казни и застенка,
К осуществленью правды на земле.
Не то мясник, а может быть, ваятель —
Не в мраморе, а в мясе высекал
Он топором живую Галатею,
Кромсал ножом и шваркал лоскуты.
Строителю необходимо сручье:
Дворянство было первым Р.К.П. —
Опричиною, гвардией, жандармом,
И парником для ранних овощей.
Но, наскоро его стесавши, невод
Закинул Петр в морскую глубину.
Спустя сто лет иными рыбаками
На невский брег был вытасчен улов.
В Петрову мрежь попался разночинец,
Оторванный от родовых корней,
Отстоянный в архивах канцелярий —
Ручной Дантон, домашний Робеспьер, —
Бесценный клад для революций сверху.
Но просвещенных принцев испугал
Неумолимый разум гильотины.
Монархия извергла из себя
Дворянский цвет при Александре Первом,
А семья разночинцев при Втором.
Не в первый раз без толка расточали
Правители созревшие плоды:
Боярский сын, долбивший при Тишайшем
Вокабулы и вирши, — при Петре
Служил царю армейским интендантом.
Отправленный в Голландию Петром
Учиться навигации, вернувшись,
Попал не в тон галантностям цариц.
Екатерининский вольтерьянец
Свой праздный век в деревне пробрюзжал.
Ученики французских эмигрантов,
Детьми освобождавшие Париж,
Кончали жизнь на каторге в Сибири...
Так шиворот-навыворот текла
Из рода в род разладица правлений.
Но ныне рознь таила смысл иной:
Отвергнутый царями разночинец
Унес в себе рабочий пыл Петра

И утаенный пламень революций:
Книголюбивый новиковский дух,
Горячку и озноб Виссариона.

От их корней пошел интеллигент.
Его мы помним слабым и гонимым,
В измятой шляпе, в сношенном пальто,
Сутулым, бледным, с рваною бородкой,
Страдающей улыбкой и в пенсне,
Прекраснодушным, честным, мягкотелым,
Оттиснутым, как точный негатив,
По профилю самодержавья: шишка,
Где у того кулак, где штык — дыра,
На месте утвержденья — отрицанье,
Идеи, чувства — все наоборот,
Все «под углом гражданского протеста».
Он верил в божие небытие,
В прогресс и конституцию, в науку,
Он утверждал (свидетель Соловьев),
Что «человек рожден от обезьяны,
А потому — нет большая любви,
Как положить свою за ближних душу».

Он был с рожденья отдан под надзор,
Посажен в крепость, заперт в Шлиссельбурге,
Судим, ссылаем, вешан и казним,
На каторге — по Ленам да по Карам...
Почти сто лет он проносил в себе —
В сухой мякине — искру Прометея,
Собой вскормил и выносил огонь.

Но — пасынок, изгой самодержавья
И кровь кровей, и кость его костей —
Он вместе с ним в циклоне революций
Размыкан был, растоптан и сожжен...
Судьбы его печальней нет в России.
И нам — вспоенным бурей этих лет —
Век не избыть в себе его обиды,
Гомункула, возвращенного Петром
Из плесени в реторте Петербурга.

6

В России революция была
Исконнейшим из прав самодержавья.
(Как ныне — в свой черед — утверждено
Самодержавье правом революций.)
Крижанич жаловался до Петра:
«Великое народное несчастье
Есть неумеренность во власти: мы
Ни в чем не знаем меры да середины,
Все по краям да пропастям блуждаем,
И нет нигде такого безарядья,
И власти нету более крутой»...

Мы углубили рознь противоречий
За двести лет, что прожили с Петра:
При добродушии русского народа,
При сказочном терпеньи мужика, —
Никто не делал более кровавой
И страшной революции, чем мы.

При всем упорстве Сергиевой веры
И Серафимовых молитв, — никто
С такой хулой не потрошил святых,
Так страшно не кощунствовал, как мы.
При русских грамотах на благородство,
Как Пушкин, Тютчев, Герцен, Соловьев, —
Мы шли путем не их, а Смердякова —
Через Азефа, через Брестский мир.

В России нет сыновнего преемства
И нет ответственности за отцов.
Мы нерадивы, мы нечистоплотны,
Невежественны и ущемлены.
На дне души мы презираем Запад,
Но мы оттуда в поисках богов
Выкрадываем Гегелей и Марксов,
Чтоб, взгромоздив на варварский Олимп,
Куриль в их честь стираксою и серой
И головы рубить родным богам,
А год спустя — заморского болвана
Тащить к реке привязанным к хвосту.

Зато в нас есть бродило духа — совесть
И наш великий покаянный дар,
Оплавивший Толстых и Достоевских
И Иоанна Грозного... В нас нет
Достоинства простого гражданина,
Но каждый, кто перекипел в котле
Российской государственности, — рядом
С любимым из европейцев — человек.

У нас в душе некошениые степи.
Вся наша непашь буйно заросла
Разрыв-травой, бьльем да своевольем.
Размахом мысли, дерзостью ума,
Паденьями и взлетами — Бакунии
Наш истый лик отобразил вполне.
В анархии — все творчество России:
Европа шла культурною огня,
А мы в себе несем культуру взрыва.
Огню нужны — машины, города,
И фабрики, и доменные печи,
А взрыву, чтоб не распылить себя —
Стальной нарез и маточник орудий.
Отсюда — тяж советских обручей
И тугоплавкость колб самодержавья.
Бакунину потребен Николай,
Как Петр — стрелцу, как Аввакуму — Никон.
Поэтому так непомерна Русь
И в своеволии, и в самодержавьи.
И в мире нет истории страшней,
Безумней, чем история России.

7

И этой ночью с напряженных плеч
Глухого Киммерийского вулкана
Я вижу изневоленную Русь
В волокнах расходящегося дыма,
Просвеченную заревом лампад —
Молитвами горящих о России...

И чувствую безмерную вину
 Всея Руси — пред всеми и пред каждым.

1924

ДОБЛЕСТЬ ПОЭТА
 (Поэту революции)

1

Править поэму, как текст заокеанской
 депеши:
 Сухость, ясность, нажим, начеку каждое
 слово.
 Букву за буквой врубать на твердом и тесном
 камне:
 Чем скупее слова, тем напряженней их сила.
 Мысли заряд волевой равен замолчанным
 строфам.
 Вытравить из словаря слова: «Красота»,
 «Вдохновенье» —
 Подлый жаргон рифмачей... Творцу же,
 поэту — понятия:
 Правда, конструкция, план, равносильность,
 сжатость и точность
 В трезвом, тугом ремесле — вдохновенье
 и честь поэта:
 В глухонемом веществе заострять
 запредельную зоркость.

2

Творческий ритм от весла, гребущего против
 течения,
 В смутах усобиц и войн постигать
 целокупность.
 Быть не частью, а всем: не с одной стороны,
 а с обеих.
 Зритель захвачен игрой — ты не актер и не
 зритель,
 Ты соучастник судьбы, раскрывающей
 замысел драмы.
 В дни революции быть Человеком, а не
 Гражданином:
 Помнить, что знамена, партии и программы
 То же, что скорбный лист для врача
 сумасшедшего дома.
 Быть изгоем при всех царях и
 народоустройствах:
 Совесть народа — поэт. В государстве
 нет места поэту.

1925

ДОМ ПОЭТА

Дверь отперта. Переступи порог.
 Мой дом раскрыт навстречу всех дорог.
 В прохладных кельях, беленных известкой,
 Вдыхает ветер, живет глухой раскат
 Волны, взмывающей на берег плоский,
 Полынный дух и жесткий треск цикад.
 А за окном расплавленное море
 Горит парчой в лазоревом просторе.

Окрестные холмы вызорены
 Колочим солнцем. Серебро полыни
 На шиферных окалинах пустыни
 Торчит вихром косматой седины.
 Земля могил, молитв и медитаций —
 Она у дома вырастила мне
 Скупой посев айлантов и акаций
 В ограде тамарисков. В глубине
 За их листвой, разодранной ветрами,
 Скалистых гор зубчатый оком
 Замкнул залив алкеевым стихом,
 Асимметрично-строгими строфами.
 Здесь стык хребтов Кавказа и Балкан,
 И побережьям этих скудных стран
 Великий пафос лирики завещан
 С первоначальных дней, когда вулкан
 Метал огонь из недр глубоких трещин
 И дымный факел в небе потрясал.
 Вон там — за профилем прибрежных скал,
 Запечатлевшим некое подобье
 (Мой лоб, мой нос, ощерье и подлобье),—
 Как рухнувший готический собор,
 Торчащий непокорными зубцами,
 Как сказочный базальтовый костер,
 Широко вздувший каменное пламя,
 Из сизой мглы, над морем вдаль
 Встает стена... Но сказ о Карадаге
 Не выцветить ни кистью на бумаге,
 Не высловить на скудном языке.
 Я много видел. Дивам мирозданья
 Картинами и словом отдал дань...
 Но грудь узка для этого дыханья,
 Для этих слов тесна моя гортань.
 Заклепаны клокочущие пасти.
 В остывших недрах мрак и тишина.
 Но спазмами и судорогой страсти
 Здесь вся земля от века сведена.
 И та же страсть, и тот же мрачный гений
 В борьбе племен и смене поколений.
 Доселе грезят берега мои:
 Смоленые ахейские лады,
 И мертвых кличет голос Одиссея,
 И киммерийская глухая мгла
 На всех путях и долах залегла,
 Провалами беспамятства чернея.
 Наносы рек на сажень глубины
 Насыщены камнями, черепками,
 Могильниками, пеплом, костяками.
 В одно русло дождями сметены
 И грубые обжиги неолита,
 И скорлупа милетских тонких ваз,
 И позвонки каких-то пришлых рас,
 Чей облик стерт, а имя позабыто.
 Сарматский меч и скифская стрела,
 Ольвийский герб, слезница из стекла,
 Татарский глет зеленовато-бусый
 Соседствует с венецианской бусой.
 А в кладке стен кордонного поста
 Среди булыжников оцепенели
 Узорная турецкая плита
 И угол византийской капители.

Каких последов в этой почве нет
 Для археолога и нумизмата —
 От римских блях и эллинских монет
 До пуговицы русского солдата!..
 Здесь, в этих складках соря и земли,
 Людских культур не просыхала плесень —
 Простор столетий был для жизни тесен,
 Покамест мы — Россия — не пришли.
 За полтораста лет — с Екатерины —
 Мы вытоптали мусульманский рай,
 Свели леса, размыкали руины,
 Расхитили и разорили край.
 Осиротелые зияют сакли,
 По скатам выкорчеваны сады.
 Народ ушел, источники иссякли.
 Нет в море рыб, в фонтанах нет воды.
 Но скорбный лик оцепенелой маски
 Идет к холмам Гомерово́й страны,
 И патетически обнажены
 Ее хребты, и мускулы, и связки.
 Но тени тех, кого здесь звал Улисс,
 Опять вином и кровью напились
 В недавние трагические годы.
 Усобица, и голод, и война,
 Крестья мечом и пламенем народы,
 Весь древний Ужас подняла со дна.
 В те дни мой дом, слепой и запустелый,
 Хранил права убежища, как храм,
 И растворялся только беглецам,
 Скрывавшимся от петли и расстрела.
 И красный вождь, и белый офицер,
 Фанатики непримиримых вер,
 Искали здесь, под кровлею поэта,
 Убежища, защиты и совета.
 Я ж делал всё, чтоб братьям помешать
 Себя губить, друг друга истреблять,
 А сам читал в одном столбце с другими
 В кровавых списках собственное имя.
 Но в эти дни доносов и тревог
 Счастливый жребий дом мой не оставил.
 Ни власть не отняла, ни враг не сжег,
 Не предал друг, грабитель не ограбил.
 Утихла буря. Догорел пожар.
 Я принял жизнь и этот дом, как дар —
 Нечаянный, — мне вверенный судьбою,
 Как знак, что я усыновлен землею.
 Все́й грудью к морю, прямо на восток

Обращена, как церковь, мастерская.
 И снова человеческий поток
 Сквозь дверь ее течет, не иссякая.

Войди, мой гость, стряхни житейский прах
 И плесень дум у моего порога...
 Со дна веков тебя приветит строго
 Огромный лик царицы Таиах.
 Мой кров — убог. И времена — суровы.
 Но полки: книг возносятся стеной.
 Тут по ночам беседуют со мной
 Историки, поэты, богословы,
 И здесь их голос, властный, как орган,
 Глухую речь и самый тихий шепот
 Не заглушит ни зимний ураган,
 Ни грохот волн, ни Понта мрачный ропот.
 Мои ж уста давно замкнуты... Пусть!
 Почетней быть твердимым наизусть
 И списываться тайно и украдкой,
 При жизни быть не книгой, а тетрадкой.
 И ты, и я — мы все имели честь
 «Мир посетить в минуты роковые»
 И стать грустней и зорче, чем мы есть.
 Я — не изгой, а пасынок России
 И в эти дни — немой ее укор.
 Я сам избрал пустынный сей затвор
 Землею добровольного изгнания,
 Чтоб в годы лжи, падений и разрух
 В уединенье выплавить свой дух
 И выстрадать великое познание.
 Пойми простой урок моей земли:
 Как Греция и Генуя прошли,
 Так минет всё — Европа и Россия.
 Гражданских смут горячая стихия
 Развеется... Расставит новый век
 В житейских заводах иные мрежи...
 Ветшают дни, проходит человек,
 Но небо и земля — извечно те же.
 Поэтому живи текущим днем.
 Благослови свой синий окоем.
 Будь прост, как ветер, неистощим, как море,
 И памятью насыщен, как земля.
 Люби далекий парус корабля
 И песню волн, шумящих на просторе.
 Весь трепет жизни всех веков и рас
 Живет в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас.

25 декабря 1926

ЕЛЕНА ГУРО

1877, Петербург—1913, Ускирно Выборгской губ.

Художница и поэтесса. Примыкала к группе кубо-футуристов, участвовала в их на шумевших сборниках «Садок судей» (выпуски 1-й и 2-й), «Трое». Ее дыхание примешивалось к тому буйному ветру, который расшатывал «башни из слоновой кости».

Сильный, красивый, богатый
 Защитить не захотел...

Дрожала; прижавшись в худом платке.
 Кто-то мимо проскользнул горбатый.

.....

Город большой,—толку — учий!

 Прогнали. Башмачки промокли.
 Из водосточных вода текла.
 И в каретах с фонарями проезжали
 Мимо, мимо, мимо,— господа.
 Он, любимый, сильный, он все может.
 Он просто так,— не желал...
 Наклонился какой-то полутемный
 Позвал пить чай, обещал:
 — «Пойдем, ципа церемонная,
 Развлеку вечерок!

 И тогда, как собачонка побитая, трусливо
 дрожа,
 Поплелась за тусклым прохожим.
 Была голодна.

* * *

Говорил испуганный человек:
 «Я остался один,— я жалок!

 Но над крышами таял снег,
 кружились стаи галок.

 Раз я сидел один в пустой комнате,
 шептал мрачно маятник.
 Был я стянут мрачными мыслями,
 словно удушенник.
 Была уродлива комната

чьей-то близкой разлукой,
 в разладе вещи, и на софе
 книги с пылью и скукой.
 Беспощадный свет лампы лысел
 по стенам,
 сторожила сомкнутая дверь.
 Сторожил беспощадный завтрашний день:
 «Не уйдешь теперь!»...
 И я вдруг подумал: «Если перевернуть
 вверх ножками стулья и диваны,
 кувырнуть часы?..
 Пришло б начало новой поры,
 открылись бы страны.
 Тут же в комнате прятался конец
 затертый недобрым вчерашним днем,
 порядком дней.
 Тут же рядом в комнате он был!
 Я вдруг поверил,— что так.
 И бояться не надо ничего,
 но искать надо тайный знак.
 И я принял на веру; не боясь
 глядел теперь
 на замкнутый комнаты квадрат...
 На мертвую дверь.

.....
 Ветер талое, серое небо рвал,
 ветер по городу летал;
 уничтожал тупики, стены.
 Оставался талый с навозом снег
 перемены.

 Трясся на дрожках человек.
 Не боялся измены.

Не позже февраля 1909

ИВАН КОНЕВСКОЙ

1877, Петербург—1901, близ ст. Зегевольд Лифляндской губ.

Настоящая фамилия — Ореус. Принадлежал к старшей ветви русского символизма. Несмотря на раннюю гибель, успел проявить себя не только как поэт, но и как литературный и художественный критик. Переводил стихи Гете, Ибсена, Верхарна, Метерлинка, Ницше и др.

В НЕБЫВАЛОЕ

«Бежать в нелепость, в небывалое,
 Себя бежать?..»

Случевский

Стыдитесь говорить: нельзя! Взывайте:
 можно!
 «Навеки» — это смерть, а власть — «все до
 поры!»
 Ведь непреложное так пусто и ничтожно,
 Вне всякой вольности и роскоши игры.
 «Все может быть!» И так быть всемогущ
 могу я.

«Нельзя не быть» — то для невольников
 закон.
 Возможность берегу, в возможность убегу я,
 Не вечен ни один заветный Рубикон.

Люблю я Истину, но также мило Мненье,
 И вечность хороша, лишь если время есть,
 Под каждым Мнением заложено Сомненье,
 Как заповедный клад: то личной воли честь.

1900

СЕРГЕЙ МАКОВСКИЙ**1877, Петербург — 1962, Париж**

Сын знаменитого художника К. Маковского. Был более известен не как поэт, а как меценат, искусствовед, организатор художественных выставок. Редактировал журнал «Аполлон» (1909—1917), который был, пожалуй, антологией живописи и поэзии Серебряного века. Именно об этом времени, будучи в эмиграции во Франции, на склоне лет Маковский рассказал в мемуарах «На Парнасе Серебряного века». В конце жизни внезапно «расписался» — выпустил семь новых книг стихотворений.

* * *

Есть на пути земном рубеж,
За ним все призрачной земное.

.....
Не думать больше... Только быть...
Себя не чувствовать собою.

.....
Сквозь эту призрачную тьму —
Лучи невидимого света.
И нет ответа ничему,
И все понятно — без ответа.

* * *

Бессонной тишины немые звуки
зовут в страну оплаканных теней,
и мертвые протягивают руки
из ночи невозвратных дней.

О, сколько их, за сумрачным Коцитом
навек покинутых! Издалека

о прожитом, о прошлом, о забытом
бормочет горькая река.

И сердце жалостью безмерной сжато,
и вечность о прощении молю
за то, что мало я любил когда-то,
что мертвых я сильней люблю.

* * *

Судить не нам, когда — как Божий суд —
решает брань судьбу народов грешных,
и демоны войны в набаты бьют
среди громов и воплей безутешных.

Как примирить Закон и эти тьмы
замученных неискупимой мукой?
И кто палач, кто жертва? Разве мы —
все круговой не связаны порукой?

В ответе каждый. Но за что ответ —
кровавый рок обид и распрей кровных?
Повинны все, невиноватых нет.
И нет виновных.

ВАСИЛИЙ СМИРНОВ**1877, Москва—1943, там же**

Родился в Москве, в Кремле: его семья была одной из немногих, имевших квартиру в этом месте. Сын юриста, сам некоторое время работал присяжным поверенным. Первый сборник, «Стихотворения», издал в Москве в 1906 году. Коммунист с 1918 года, но репрессирован не был — умер в Москве от голода. Стихи Смирнова высоко ценил Максим Горький.

* * *

Громоздили ложь на ложь
И обиду на обиду, —
И громаду пирамиду
Над собою возвели.

Где же выход? Не найдешь.
Бейся, плачь, кричи от гнева, —
Камни — справа, камни — слева
В паутине и в пыли.

1911

ЮРИЙ ВЕРХОВСКИЙ

1878, с. Гришнево Смоленской губ.—1956, Москва

Убежденный, последовательный классицист. Переводил итальянцев эпохи Возрождения, грузинских лириков, Адама Мицкевича. Автор исследований о поэтах пушкинского времени, в стихах которых находил «услладу страждущего духа».

* * *

Будет все так же, как было,
Только не будет меня.
Сердце минувшего дня не забыло,
Сердце все жаждет грядущего дня.

Бьется ж — слепое ль? — мгновеньем бегущим,
В вечность, дитя, заглянуть не сильно.
Знает себя лишь; в минувшем, в грядущем
Бездну почуя, трепещет оно.

Жутко и сладко; и вдруг — все забудет,
Тайну последнюю нежно храня:
Так же, как было, да будет;
Так же, как не было, так и не будет меня.

Не позже 1917

ПРИЗНАК ПОЭТА

«Душенька, дяденька, Фетинька», —
Фета Толстой называет,
Нежно любуясь, ценит цельность
двойкою в нем:
Жизненный склад крепыша-земляка
и эфирность поэта,
Сил природных, прямых
сплав первобытно простой.
Раз, восхищаясь высоким лиризмом
стихов чародея,
Присланных другу в письме, тут же
приметил Толстой
Явственный и достоверный поистине
признак поэта
В том, что на том же листке,
на обороте стихов
Сетует впрямь от души деловитый
хозяин — лошажник
На вздорожанье овса. Знает поэта — поэт.

1932

РУССКИЙ АБСОЛЮТ

Я молчал не от лени, болезни, дум, недосуга, —
Нет, я молчал просто так. Так — это наш
абсолют

Русский. Его толковать невозможно, но должно
всецело
Просто принять — и во всем. Как же иначе? Да,
так.

30 июля 1932

ИЗ ПАМЯТНОЙ КНИЖКИ

Мы собираем бедные остатки
Умолкнувших забытых языков,
Разрозненные, странные слова,
Когда-то, в незапамятной поре
Звучавшие в житейском разговоре,
В призыве к бою, в лепете любви,
В проклятии, и в пламенной молитве,
И в вольной песне. Ни на черепке,
Ни на пергаменте следа той песни
Нам не сыскать. А этот след воздушный
Один бы и привел нас, может быть,
К заветной цельности, искомой нами,
К разгадке тайны...

1934

ОТРЫВОК

Мой дед Иван Кузьмич Верховский был
Художник-скульптор, звание имел
Свободного художника. Искусство
Избрал себе особое — скульптуру
Из кованого серебра. Оно
Его кормило плохо. Он болел
Чахоткою и рано умер, все же
Оставив бабушке-вдове в наследство
Учеников и мастерскую. Дело
Его недолго продержалось, и
Он был забыт, конечно. Я ж, однако,
С годов давнишних в прежнем Петербурге,
Идя мимо Казанского собора
По Невскому, не вспомнить не могу:
Внутри собора кованный орнамент,
Серебряный по всем его стенам,
А также украшенье царских врат —
Крылатые головки херувимов —
Работы деда...

1945—1946

Варвара МАЛАХИЕВА-МИРОВИЧ

1878—1952

Библиографическая редкость, книга Малахиевой-Мирович «Монастырское» (М., 1923) до революции могла бы быть сочтена богохульством, а в годы гонений на монастыри — апологией «опиума для народа». Но книга вышла как раз в тот короткий период, когда монастыри были уже не в силе, но еще не в полном разоре. Не знаю, была ли поэтесса монашкой, смею только догадываться, что вряд ли. Книга построена как фортепианная пьеса на одну тему, но в нескольких частях, где есть и грусть-тоска монашенки по вольной волюшке, и вымечтанная в сырости келий сладость греха, и наступанная в стену холодными женскими коленками монастырская азбука одиночества. Если даже это мистификация, то очаровательная. В каталоге библиотеки А. Тарасенкова числятся многие детские книжки этого автора, последняя из которых помечена 1930 годом.

* * *

Кудрявый плотничек Гриша
На припеке спит, на песке.
Уснуть бы ему под вишней
В моем цветнике.

Строгая мати Аглая
О полдне идет к сну.
Занавеску бы отвела я,
Села бы шить к окну.

Все глядела бы, как он дышит,
Как уста раскрылись во сне...
Прости меня, Господи, Гриша
Сегодня приснится мне.

* * *

Звонко плещется ведро
В глубине колодца черной;
Быстрых капель серебро
На кайме пушистой дерна.

Напоили резеду,
И гвоздики, и левкои.
У игуменьи в саду
Маки в огненном бреду
Славят царствие земное.

У колодца шум растет
Словно улей в час роенья:
Лизавета в мир идет,
Замуж дьяк ее берет —
Искушенья! Искушенья!

* * *

Вчера полунощное бдение
Служил отец Автоном.
Три года сестрица Евгения
Умирает по нем.

Пояса расширяет шелковые,
Его матушке розы дарит,

Отец Автоном хоть бы слово ей,
В сторону даже глядит.

Вчера на полунощном бдении,
Как только врата он раскрыл,
Прошла я пред ним, как видение,
Со свечою, в дыму кадил.

На миг наши очи скрестились,
Сурово нахмурил он взор,
Но точно ко мне возносились
Его возгласенья с тех пор.

И как будто следил с опасением
Он за пламенем свечки моей.
Расскажу сестрице Евгении:
Поплачем вместе с ней.

* * *

В третьем годе
Мучилась я, Пашенька, головой;
Прямо скажу, что была я вроде
Порченой какой.

Голова болеть начинает —
Сейчас мне лед, порошки,
А я смеюсь, дрожу — поджидаю,
Прилетят ли мои огоньки.

День ли, ночь ли — вдруг зажигается
Вокруг звезда за звездой,
В хороводы, в узоры сплетаются,
Жужжат, звенят, как пчелиный рой.

Церковь над ними потом воссияет,
Невидимые хоры поют —
Не то меня хоронят, не то венчают,
Не то живую на небо несут.

И так я эту головную боль любила,
Срывала лед, бросала порошки,
Но матушка-сиделка усердно лечила —
Так и пропали мои огоньки.

ИОНА БРИХНИЧЕВ

1879, Тифлис—1968

Сын кузнеца. Окончил Тифлисскую духовную семинарию, где учился вместе с Иосифом Джугашвили: последнего из нее выгнали, но Брихничев курс окончил. Расстригся, основал секту. В 1912—1917 годах издал несколько сборников, а в 1912 году своеобразную антологию «Христос в мировой поэзии». В поздние годы продолжал писать, но печататься возможности не имел; регулярно посылал бывшему своему однокашнику Сталину гневные письма, но репрессирован не был,— видимо, тиран был достаточно сентиментален по отношению к своей юности. Помещенные ниже стихотворения датированы 1940—1946 годами; по словам дочери близкого друга Брихничева, поэта В. А. Смирнова — И. В. Смирновой, оба адресованы Сталину.

ПРАВИТЕЛЮ

На склоне жизненного дня
Перикл сказал народу: «Братья,
Никто из вас из-за меня
Не носит траурного платья!»
А ты, ты избежал проклятья
На склоне жизненного дня?

* * *

Все положил ты на весы,
Самим безвременьем торгуешь...
Но как Мазепа за усы
Судьбой уж схвачен и не чуешь.

ПЕТР ДРАВЕРТ

1879, Вятка—1945, Омск

Поэт-ученый, преподавал высшую математику в Казанском университете. Один из первооткрывателей сибирской темы в поэзии.

ЧЕТЫРЕ

Одна мне сказала так ясно и четко,
Прощаясь надолго со мной:
«Я вас не забуду — и жду самородка
С верховьев Реки Золотой».

Другая, желая в дороге успехов,
Держа мою руку в своей,
Напомнила, чтобы кедровых орехов
Привез я на праздники ей.

А третья, волнуясь неотданной силой,
В глазах обещанье тая,
Шепнула: «Скорей возвращайся, мой милый,
И буду я только твоя»...

Я встретил четвертую... Россыпь хрустела.
Брусника меж кедров цвела...
Она ничего от меня не хотела,
Но самой желанной была.

1922, Омск

В. РОПШИН

1879, Харьков—1925, Москва

Псевдоним Бориса Савинкова. Легендарная личность. Что-то вроде графа Монте-Кристо (или Калиостро?) русского терроризма. По парадоксу родился в семье царского прокурора. После двух лет учебы на юридическом факультете Петербургского университета был исключен за политическую деятельность. Закончил образование в Гейдельберге. Став одним из эсеровских руководителей, принимал участие в покушениях на царских сановников, в частности на Плеве. Был комиссаром Временного правительства при Ставке Верховного Главнокомандующего, потом товарищем военного министра, министром. Сражался против большевиков; эмигрировал через Шанхай в Париж. В 1920 году в Варшаве возглавил Русский политический комитет по борьбе с большевиками. В 1924 году нелегально вернулся в Россию, был схвачен и, по всей видимости, выброшен из окна, выходящего во внутренний двор Лубянки, хотя газеты сообщили о самоубийстве. В повестях «Конь бледный», «Конь вороной», романе «То, чего не было» запечатлен феноменальный опыт этого фаталиста, чья смелость доходила почти до патологии и суперменство перепутывалось с сентиментальным, очень русским романтизмом, что характерно для наших отечественных террористов. Книга стихов вышла в Париже в 1931 году (100 экземпляров). В предисловии Зинаида Гиппиус писала: «Стихи для него — как бы продолжение жизненной действительности. И я думаю: если бы мы даже ничего не знали об авторе «Коня бледного» и данных стихов, мы не могли бы не остановиться перед какой-то — почти страшной — осозательностью этой литературы. Осозательность и делает стихи Ропшина не совсем обычными стихами обычного поэта».

* * *

Я шел, шатался,
 Огненный шар раскалялся...
 Мостовая
 Пылала,
 Белая пыль
 Слепляла,
 Черная тень
 Колебалась.
 В этот июльский день
 Моя сила
 Сломалась.
 Я шел, шатался.
 Огненный шар раскалялся...
 И уже тяжкая подымалась
 Радость.
 Радость от века, —
 Радость, что я убил человека.

* * *

Гильотина
 Острый нож?
 Ну так что ж?
 Не боюсь я гильотины,
 Я смеюсь над палачом,
 Над его стальным ножом.
 Гильотина — жизнь моя,
 Каждый день казнят меня...
 Каждый день два господина

В старомодных сюртуках
 У меня сидят в гостях.
 А потом за дверь выводят,
 Крепко за руки берут
 И под острый нож кладут.
 В этом жизнь моя проходит...
 И на казнь, как в балаган,
 В воскресенье люди ходят.
 Гильотина
 Острый нож?
 Ну так что ж?
 Я сейчас допью стакан...
 Пусть на казнь меня выводят.

* * *

Сегодня он ко мне пришел,
 Пришел неожиданный,
 Я не заметил, — он вошел,
 Как гость незванный.
 Я слышал звук его шагов,
 Не верил звуку...
 Я поднял голову, взглянул,
 Он, темный, молча протянул
 Мне руку.
 И я узнал его тотчас
 По блеску глаз.
 Его узнал я по глазам,
 По ненавистным мне глазам:
 То был я сам...

ГЕОРГИЙ ЧУЛКОВ

1879, Москва — 1939, там же

Из дворян. Издатель, редактор, поэт, романист, драматург, критик, теоретик «мистического анархизма», с которым пытался слить символизм (против этого возражал А. Белый). Исключен из университета за революционную деятельность в 1899 году. Был в политической ссылке в Сибири (1902—1904). Издавал альманахи «Факелы» (1906), «Белые ночи» (1907). Сотрудничал, как критик, в журналах «Новый путь», «Весы». Был редактором журнала «Золотое руно» (1908—1910). Автор нескольких романов, пьес, стихотворных сборников, летописи жизни Тютчева, посмертной книги о Достоевском. Удивительно, что он пережил 37-й год. Впрочем, в «Путевых заметках» о поездке на Кавказ он отзывался о современности самым лояльным образом.

ЖИВАЯ ФОТОГРАФИЯ

Красный паяц намалеван на витро
 кинематографа;
 Лысый старик, с мудрыми глазами и с тонкой
 улыбкой, играет вальс на фортепиано;
 Двигаются и дрожат жизни на полотне,
 плененные механикой;
 Кто эти милые актеры, так самоотверженно
 отдающиеся машине?
 Кто эти актрисы, с расстегнутыми лифами,
 захваченные (будто бы нечаянно)
 фотографическим аппаратом?
 Быть может, вас уже нет на свете?
 Не раздавил ли вас бесстыдно громяющий
 трамвай?

Не погибаете ли вы в больнице, отравленные
 ртутью?
 Где вы? Где ваши губы, утомленные
 поцелуями?
 Зачем вы продолжаете махать вашими руками
 на полотне?
 Вон дерутся на рапирах два тореадора
 из-за прекрасной испанки.
 О, как вы смешны, черномазные
 соотечественники Сервантеса!
 Но посмотрите на зрителей: они очарованы
 представлением:
 Мальчик из лавки стоит, засунув палец в рот;
 Толстая барыня задыхается в своем корсете;
 Томная проститутка влажными глазами следит
 за зрелищем;

А тореадоры, пламенея от страсти, скрещивают
 шпаги.
 И женский голос в публике произносит внятно:
 «Мужчины всегда дерутся».

В твоих устах жестокие слова
 Не дышат гибелью и духом гнева;

Земная ты, как мать земная Ева,—
 И не любить не можешь ты. Жива
 В тоске твоей любовная улыбка.
 Ах, жизнь, как облако, летуче зыбка:
 Увянет в миг, как жалкая трава.
 Зачем же укорять того, кто любит.
 Обида неужели нас погубит.
 Молчи. Ты лучше, чем твои слова.

20 мая 1920

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

1880, Москва — 1934, там же

Псевдоним Бориса Бугаева. Отец — ученый-математик, декан физико-математического факультета Московского университета, который сам поэт посещал с такой же увлеченностью, как и филологический. Увлечшись Владимиром Соловьевым, Ницше, Григом, Вагнером, он на всю жизнь остался открытым для других, очень часто противоречащих занятий. Сближается с Блоком, Бальмонтом, Мережковским, сотрудничает с журналом «Весь». В Европе дружит с антропософами — Рудольфом Штейнером, Кристианом Моргенштерном. Вернувшись в Россию перед революцией, примыкает к группе «Скифы», куда входил Блок. Воспринимает революцию как мистическое обновление. Однако в 1921 году эмигрирует в Берлин, потом все-таки возвращается. Виднейший теоретик и практик символизма. Автор переведенного на многие языки новаторского романа «Петербург», других прозаических книг, сборников стихов, знаменитой мемуарной трилогии. Без противоречивой, судорожной, вдохновенной фигуры Андрея Белого невозможно представить атмосферу эпохи, предшествовавшей революции. Ее он призывал вместе с Блоком как возмездие, которое заслужил разваливавшийся царский строй. Вряд ли представлял, на чьи головы обрушатся руины. Обладал необычайным импровизационным дарованием, но без предвидения. Во всех своих подчас ребяческих, наивных порывах, причудливо соединявшихся с глубокой образованностью, Андрей Белый был беззащитно искренен и чем-то напоминал в литературе рыцаря Печального Образа.

ПЕПЕЛ
 РОССИЯ
 ОТЧАЯНЬЕ

З. Н. Гунтуц

Довольно: не жди, не надейся —
 Рассейся, мой бедный народ!
 В пространство пади и разбейся
 За годом мучительный год!

Века нищеты и безволя.
 Позволь же, о родина-мать,
 В сырое, в пустое раздолье,
 В раздолье твое прорыдать: —

Туда, на равнине горбатой,—
 Где стая зеленых дубов
 Волнуется купой подъятой
 В косматый свинец облаков,

Где по полю Оторопь рыщет,
 Восстав сухоруким кустом,
 И в ветер пронзительно свищет
 Ветвистым своим лоскутом,

Где в душу мне смотрят из ночи,
 Поднявшись над сетью бугров,
 Жестокие, желтые очи
 Безумных твоих кабаков,—

Туда,— где смертей и болезней
 Лихая прошла колея,—
 Исчезни в пространстве, исчезни,
 Россия, Россия моя!

июль 1908
 Серебряный Колодезь

ТЕЛЕГРАФИСТ

С. Н. Величкину

Окрестность леденеет
 Туманным октябрем.
 Прокружится, провет
 И ляжет под окном,—

И вновь взметнуться хочет
 Большой кленовый лист.
 Дешаками стрекочет
 В окне телеграфист.

Служебный лист исчертит.
 Руками колесо
 Докучливое вертит,
 А в мыслях — то и се.

Жена болеет боком,
 А тут — не спишь, не ешь,

Прикованный потоком
Летающих депеш.

В окне кустарник малый.
Окинет беглый взгляд —
Протянутые шпалы
В один тоскливый ряд,

Вагон, тюки, презенты
Да гаснущий закат...
Выкидывает ленты,
Стрекочет аппарат.

В лесу сыром, далеком
Теряются пески,
И еле видным оком
Мерцают огоньки.

Там путь пространства чертит...
Руками колесо
Докучливое вертит;
А в мыслях — то и се.

Детишки бьются в школе
Без книжек (где их взять!):
С семьей прожить легко ли
Рублей на двадцать пять: —

На двадцать пять целковых —
Одежа, стол, жильё.
В краях сырых, суровых
Тянись, житье мое! —

Вновь дали мерит взором: —
Сырой, осенний дым
Над гаснущим простором
Пылит дождем седым.

У рельс лениво всхлипнул
Дугою коренник,
И что-то в ветер крикнул
Испуганный ямщик.

Поставил в ночь над склоном
Шлагбаум пестрый шест:
Ямщик ударил звоном
В простор окрестных мест.

Багрянцем клен промоет —
Промоет у окна.
Домой бы! Дома ноет,
Без дел сидит жена, —

В который раз, в который,
С надутым животом!..
Домой бы! Поезд скорый
В полях вопит свистком;

Клокочут светом окна —
И искр мгновенный сноп

Сквозь дымные волокна
Ударил блеском в лоб.

Гремя, прошли вагоны.
И им пропел рожок.
Зеленый там, зеленый,
На рельсах огонек... —

Стоит он на платформе,
Склонясь во мрак ночной, —
Один, в потертой форме,
Под стужей ледяной.

Слезою взор туманит.
В костях озябших — лом.
А дождик барабанит
Над мокрым козырьком.

Идет (приподнял ворот)
К дежурству — изнемочь.
Вдали уездный город
Кидает светом в ночь.

Всю ночь над аппаратом
Он пальцем в клавиш бьет.
Картонным циферблатом
Стенник ему кивнет.

С речного косогора
В густой, в холодный мрак —
Он видит — семафора
Взлетает красный знак.

Вздыхая, спину клонит;
Зевая над листом,
В небытие утонет,
Затянет вечным сном

Пространство, время, Бога
И жизнь, и жизни цель —
Железная дорога,
Холодная постель.

Бессмыслица дневная
Сменяется иной —
Бессмыслица дневная
Бессмыслицей ночной.

Листою желтой, блеклой,
Слезливой, мертвой мглой
Постукивает в стекла
Октябрьский дождик злой.

Лишь там на водокачке
Моргает фонарек.
Лишь там в сосновой дачке
Рыдает голосок.

В кисейно-нежной шали
Девица средних лет

Выводит на рояли
Чувствительный куплет.

1906—1908

Серебряный Колодезь

ГОРЕ

Солнце тонет.
Ветер: — стонет,
Веет, гонит
Мглу.

У околицы,
Пробираясь к селу,
Паренек вздыхает, молится
На мглу.

Паренек уходит во скитаньице;
Белы-руки сложит на груди:

«Мое горе, —
Горе-гореваньице:
Ты за мною,
Горе,
Не ходи!»

Красное садится, злое око.
Горе гложет
Грудь,
И путь —
Далекий.

Белы-руки сложит на груди:
И не может
Никуда идти:
«Ты за мною,
Горе,
Не ходи».

Солнце тонет.
Ветер стонет,
Ветер мглу
Гонит.

За избеночкой избеночка.
Парень бродит
По селу.
Речь заводит
Криворотый мужичоночка:

«К нам —
В хаты наши!
Дам —
Щей да каши...»

— «Оставь:
Я в Воронеж».
— «Не ходи:
В реке утонешь».

— «Оставь:
Я в Киев».
— «Заходи —
В хату мою:
До зеленых змиев
Напою».

— «Оставь:
Я в столицу».
— «Придешь в столицу:
Попадешь на виселицу...»

Цифрами оскалились версты полосатые,
Жалят ноги путника камни гребенчатые.
Ходят тучи по небу, старые-косматые.
Порют тело белое палки суковатые.

Дорога далека: —
Бежит века.

За ним горе
Гонится топотом.

«Пропади ты, горе,
Пропадом».

Бежит на воле:
Холмы, избенки,
Кустарник тонкий
Да поле.

Распылалось в небе зарево.

.....
Как из сырости
Да из марева
Горю горькому не вырасти!

Январь 1906
Москва

ВЕЧЕРКОМ

Взвизгнет, свистнет, прыснет, хряснет,
Хворостом шуршит.
Солнце меркнет, виснет, гаснет,
Пав в семью раки.

Иссыхают в зыбь лохмотьев
Сухо льющих нив
Меж соломы, меж хоботьев,
Меж зыбучих ив —

Иссыхают избы зноем,
Смотрят злым глазком
В незнакомое, в немое
Поле вечерком,—

В небо смотрят смутным смыслом,
Спины гневно гнут;
Да крестьянки с коромыслом
Вниз из изб идут;

Да у старого амбара
Старый дед сидит.
Старый ветер нивой старой
Истари летит.

Тенью бархатной и черной
Размывает рожь,
Вытрясает треском зерна;
Шукнет — не поймешь:

Взвизгнет, свистнет, прыснет, хряснет,
Хворостом шуршит.
Солнце: — меркнет, виснет, гаснет,
Пав в семью раки.

Протопорщился избенок
Кривобокий строй,
Будто серых старушонок
Полоумный рой.

1908
Ефремов

РУСЬ

Поля моей скудной земли
Вон там преисполнены скорби.
Холмами пространства вдали
Изгорби, равнина, изгорби!

Косматый, далекий дымок.
Косматые в далях деревни.
Туманов косматый поток.
Просторы голодных губерний.

Просторов простертая рать:
В пространствах таятся пространства.
Россия, куда мне бежать
От голода, мора и пьянства?

От голода, холода тут
И мерли, и мрут миллионы.
Покойников ждали и ждут
Пологие скорбные склоны.

Там Смерть протрубила вдали
В леса, города и деревни,
В поля моей скудной земли,
В просторы голодных губерний.

1908
Серебряный Колодезь

РОДИНА

В. П. Свентицкому

Те же росы, откосы, туманы,
Над бурьянами рдяный восход,
Холодеющий шелест поляны,
Голодающий, бедный народ;

И в раздолье, на воле — неволя;
И суровый свинцовый наш край

Нам бросает с холодного поля —
Посылает нам крик: «Умирай —

Как и все умирают...» Не дышишь,
Смертоносных не слышишь угроз: —
Безысходные возгласы слышишь
И рыданий, и жалоб, и слез.

Те же возгласы ветер доносит;
Те же стаи несытых смертей
Над откосами косами косят,
Над откосами косят людей.

Роковая страна, ледяная,
Проклятая железной судьбой —
Мать Россия, о родина злая,
Кто же так подшутил над тобой?

1908
Москва

ИЗ ПОЭМЫ «ХРИСТОС ВОСКРЕС»

19

Обороняясь от кого-то,
Заваливает дровами ворота
Весь домовый комитет.

Под железными воротами —
Кто-то...

Злая, лающая тьма
Прилегла —
Нападает
Пулеметами
На дома,—
И на членов домового комитета.

Обнимает
Странными туманами
Тела,—

Злая, лающая тьма
Нападает
Из вне-времени —
Пулеметами...

20

Из раздробленного
Темени
С переломленной
Руки —
Хлещут красными
Фонтанами
Ручьи...

И какое-то ужасное Оно
С мотающимися перекрученными
Руками
И неясными

Пятнами впадин
 Глаз —
 Стремительно
 Проволокли —
 Точно желтую забинтованную
 Палку,—

Под ослепительный
 Алмаз
 Стоящего вдали
 Автомобиля.

21

Это жалкое, желтое тело
 Пятнами впадин
 Глаз,—

Провисая между двух перекладин,
 Из тьмы
 Вперяется
 В нас.

Это жалкое, желтое тело
 Проволакиваем:
 Мы — в себя: —
 Во тьмы
 И в пещеры
 Безверия,—

Не понимая,
 Что эта мистерия
 Совершается нами — в нас.

Наше жалкое, желтое тело
 Пятнами впадин
 Глаз,—

Провисая меж двух перекладин,
 Из тьмы
 Вперяется
 В нас.

Апрель 1918
 Москва

АЛЕКСАНДР БЛОК

1880, Петербург — 1921, Петроград

Отец был профессором права в Варшавском университете, а мать литературной переводчицей. Юность провел с дедушкой — ректором Петербургского университета, где Блок изучал юриспруденцию и филологию. Россия была «прекрасной дамой» Блока, черты которой он находил то в женщине, раздавленной колесами, то в острожной тоске мимолетного взгляда из-под крестьянского платка. Блок был певцом распада и в то же время его беспощадным обвинителем — тем самым гумилевским аристом на крыше, видящим сверху, как в город с кораблей «пробирается зараза». Когда один из критиков обвинил Сологуба в том, что «передоновщина» в нем самом, Блок горько заметил: «Передонов — это каждый из нас». Беспощадность к эпохе Блок начинал с беспощадности к самому себе. Однажды он проронил: «В большинстве случаев люди живут настоящим — то есть ничем не живут». Революцию Блок воспринял как историческое возмездие за распад уже сильно пованивавшей монархии. Встретив Маяковского ночью в революционном Петрограде, Блок сказал: «Костры горят... Хорошо...» — И добавил: — А у меня в деревне библиотеку сожгли...» Призывая «слушать музыку революции», Блок тем не менее предвидел удушение российской культуры после того, как свершилось мрачно-ерническое предсказание Пушкина: «Кишкой последнего попа последнего царя удавим». Царь, кажется, действительно оказался последним, а вот страдания народа оказались далеко не последними. «Но покой и волю тоже отнимают... Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю и тайную свободу...» Для Блока в предстоящем торжестве кровавого бескультурья места не было. С одной стороны, его пытались «поставить на службу революции», читали в агитбригадах конец «Двенадцати» так: «В белом венчике из роз — Впереди идет матрос». С другой стороны, ему демонстративно не подавали руки за то, что он «продался большевикам». Волошин по-своему толковал конец поэмы так: большевики ведут Христа на расстрел. Христианского смысла поэмы не уловил никто, потому что формула «кто не с нами, тот против нас» была свойственна не только красным, но и белым. А Блок не был ни тем, ни другим. Он, как большой поэт, не мог быть примитивно одноцветен. Кто-то точно сказал, что «Блок умер от смерти». Блок умер вместе со своей эпохой, с ее культурой, одинокими обломками которой остались Ахматова, Цветаева, Пастернак.

* * *

Девушка пела в церковном хоре
 О всех усталых в чужом краю,
 О всех кораблях, ушедших в море,
 О всех, забывших радость свою.

Так пел ее голос, летящий в купол,
 И луч сиял на белом плече,
 И каждый из мрака смотрел и слушал,
 Как белое платье пело в луче.

И всем казалось, что радость будет,
 Что в тихой заводи все корабли,
 Что на чужбине усталые люди
 Светлую жизнь себе обрели.

И голос был сладок, и луч был тонок,
 И только высоко, у Царских Врат,
 Причастный Тайнам,— плакал ребенок
 О том, что никто не придет назад.

Август 1905

НЕЗНАКОМКА

По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух.

Вдали, над пылью переулочной,
Над скукой загородных дач,
Чуть золотится крендель булочной,
И раздаётся детский плач.

И каждый вечер, за шлагбаумами,
Заламывая котелки,
Среди канав гуляют с дамами
Испытанные остряки.

Над озером скрипят уключины,
И раздаётся женский визг,
А в небе, ко всему приученный,
Бессмысленно кривится диск.

И каждый вечер друг единственный
В моем стакане отражен
И влагой терпкой и таинственной,
Как я, смирен и оглушен.

А рядом у соседних столиков
Лакеи сонные торчат,
И пьяницы с глазами кроликов
«In vino veritas!»¹ кричат.

И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.

И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.

И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.

И странной близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.

Глухие тайны мне поручены,
Мне чье-то солнце вручено,
И все души моей излучины
Пронзило терпкое вино.

И перья страуса склоненные
В моем качаются мозгу,
И очи синие бездонные
Цветут на дальнем берегу.

В моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне!
Ты право, пьяное чудовище!
Я знаю: истина в вине.

24 апреля 1906. Озерки

В ДЮНАХ

Я не люблю пустого словаря
Любовных слов и жалких выражений:
«Ты мой», «Твоя», «Люблю», «Навеки твой».
Я рабства не люблю. Свободным взором
Красивой женщине смотрю в глаза
И говорю: «Сегодня ночь. Но завтра —
Сияющий и новый день. Приди.
Бери меня, торжественная страсть.
А завтра я уйду — и запою».

Моя душа проста. Соленый ветер
Морей и смольный дух сосны
Ее питал. И в ней — всё те же знаки,
Что на моем обветренном лице.
И я прекрасен — нищей красотой
Зыбучих дюн и северных морей.

Так думал я, блуждая по границе
Финляндии, вникая в темный говор
Небритых и зеленоглазых финнов.
Стояла тишина. И у платформы
Готовый поезд разводил пары.
И русская таможенная стража
Лениво отдыхала на песчаном
Обрыве, где кончалось полотно.
Так открывалась новая страна —
И русский бесприютный храм глядел
В чужую, незнакомую страну.

Так думал я. И вот она пришла
И встала на откосе. Были рыжи
Ее глаза от солнца и песка.
И волосы, смолистые как сосны,
В отливах синих падали на плечи.
Пришла. Скрестила свой звериный взгляд
С моим звериным взглядом. Засмеялась
Высоким смехом. Бросила в меня
Пучок травы и золотую горсть
Песку. Потом — вскочила
И, прыгая, помчалась под откос...

Я гнал ее далёко. Исцарапал
Лицо о хвои, окровавил руки
И платье изорвал. Кричал и гнал
Ее, как зверя, вновь кричал и звал,
И страстный голос был — как звуки рога.
Она же оставляла легкий след

¹ «Истина в вине!» (лат.)

В зыбучих дюнах, и пропала в соснах,
Когда их заплела ночная синь.

И я лежу, от бега задыхаясь,
Один, в песке. В пылающих глазах
Еще бежит она — и вся хохочет:
Хохочут волосы, хохочут ноги,
Хохочет платье, вздутое от бега...
Лежу и думаю: «Сегодня ночь
И завтра ночь. Я не уйду отсюда,
Пока не затравлю ее, как зверя,
И голосом, зовущим, как рога,
Не прегражу ей путь. И не скажу:
«Моя! Моя!» — И пусть она мне крикнет:
«Твоя! Твоя!»

Июнь — июль 1907
Дюны

* * *

О, весна без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!

Принимаю тебя, неудача,
И удача, тебе мой привет!
В заколдованной области плача,
В тайне смеха — позорного нет!

Принимаю бессонные споры,
Утро в завесах темных окна,
Чтоб мои воспаленные взоры
Раздражала, пьянила весна!

Принимаю пустынные веси
И колодцы земных городов!
Осветленный простор поднебесий
И томления рабских трудов!

И встречаю тебя у порога —
С буйным ветром в змеиных кудрях,
С неразгаданным именем бога
На холодных и сжатых губах...

Перед этой враждующей встречей
Никогда я не брошу щита...
Никогда не откроешь ты плечи...
Но над нами — хмельная мечта!

И смотрю, и вражду измеряю,
Ненавидя, кляня и любя:
За мученья, за гибель — я знаю —
Всё равно: принимаю тебя!

24 октября 1907

* * *

По улицам метель метет,
Свивается, шатается.

Мне кто-то руку подает
И кто-то улыбается.

Ведет — и вижу: глубина,
Гранитом темным сжатая.
Течет она, поет она,
Зовет она, проклятая.

Я подхожу и отхожу,
И замер в смутном трепете:
Вот только перейду между —
И буду в струйном лепете.

И шепчет он — не отогнать
(И воля уничтожена):
«Пойми: уменьем умирать
Душа облагорожена.

Пойми, пойми, ты одинок,
Как сладки тайны холода...
Взгляни, взгляни в холодный ток,
Где всё навеки молодо...»

Бегу. Пусти, проклятый, прочь!
Не мучь ты, не испытывай!
Уйду я в поле, в снег и в ночь,
Забьюсь под куст ракитовый!

Там воля всех вольнее воля
Не приневолит вольного,
И болей всех больнее боль
Вернет с пути окольного!

26 октября 1907

ПОЭТЫ

За городом вырос пустынный квартал
На почве болотной и зыбкой.
Там жили поэты, — и каждый встречал
Другого надменной улыбкой.

Напрасно и день светозарный вставал
Над этим печальным болотом;
Его обитатель свой день посвящал
Вину и усердным работам.

Когда напивались, то в дружбе клялись,
Болтали цинично и прямо.
Под утро их рвало. Потом, запершись,
Работали тупо и рьяно.

Потом вылезали из будок, как псы,
Смотрели, как море горело.
И золотом каждой прохожей косы
Пленялись со знанием дела.

Разнежась, мечтали о веке златом,
Ругали издателей дружно.
И плакали горько над малым цветком,
Над маленькой тучкой жемчужной...

Так жили поэты. Читатель и друг!
Ты думаешь, может быть, — хуже
Твоих ежедневных бессильных потуг,
Твоей обывательской лужи?

Нет, милый читатель, мой критик слепой!
По крайности, есть у поэта
И косы, и тучки, и век золотой,
Тебе ж недоступно все это!..

Ты будешь доволен собой и женой,
Своей конституцией куцой,
А вот у поэта — всемирный запой,
И мало ему конституций!

Пусть я умру под забором, как пес,
Пусть жизнь меня в землю втоптала, —
Я верю: то бог меня снегом занес,
То вьюга меня целовала!

24 июля 1908

О доблестях, о подвигах, о славе
Я забывал на горестной земле,
Когда твое лицо в простой оправе
Передо мной сияло на столе.

Но час настал, и ты ушла из дому.
Я бросил в ночь заветное кольцо.
Ты отдала свою судьбу другому,
И я забыл прекрасное лицо.

Летели дни, крутясь проклятым роём...
Вино и страсть терзали жизнь мою...
И вспомнил я тебя перед аналоем,
И звал тебя, как молодость свою...

Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слезы лил, но ты не снизошла.
Ты в синий плащ печально завернулась,
В сырую ночь ты из дому ушла.

Не знаю, где приют своей гордыне
Ты, милая, ты, нежная, нашла...
Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий,
В котором ты в сырую ночь ушла...

Уж не мечтать о нежности, о славе,
Всё миновалось, молодость прошла!
Твое лицо в его простой оправе
Своей рукой убрал я со стола.

30 декабря 1908

НА ОСТРОВАХ

Вновь оснежённые колонны,
Елагин мост и два огня.
И голос женщины влюбленный.
И хруст песка и храп коня.

Две тени, слитых в поцелуе,
Летят у полости саней.
Но не таясь и не ревнуя,
Я с этой новой — с пленной — с ней.

Да, есть печальная услада
В том, что любовь пройдет, как снег.
О, разве, разве клясться надо
В старинной верности навек?

Нет, я не первую ласкаю
И в строгой четкости моей
Уже в покорность не играю
И царств не требую у ней.

Нет, с постоянством геометра
Я числю каждый раз без слов
Мосты, часовню, резкость ветра,
Безлюдность низких островов.

Я чту обряд: легко заправить
Медвежью полость на лету,
И, тонкий стан обняв, лукавить,
И мчаться в снег и темноту.

И помнить узкие ботинки,
Влюбляясь в хладные меха...
Ведь грудь моя на поединке
Не встретит шпаги жениха...

Ведь со свечой в тревоге давней
Ее не ждет у двери мать...
Ведь бедный муж за плотной ставней
Ее не станет ревновать...

Чем ночь прошедшая сияла,
Чем настоящая зовет,
Всё только — продолженье бала,
Из света в сумрак переход...

22 ноября 1909

В РЕСТОРАНЕ

Никогда не забуду (он был, или не был,
Этот вечер): пожаром зари
Сожжено и раздвинуто бледное небо,
И на желтой заре — фонари.

Я сидел у окна в переполненном зале.
Где-то пели смычки о любви.
Я послал тебе черную розу в бокале
Золотого, как небо, аи.

Ты взглянула. Я встретил смущенно и дерзко
Взор надменный и отдал поклон.
Обратясь к кавалеру, намеренно резко
Ты сказала: «И этот влюблен».

И сейчас же в ответ что-то грянули струны,
Иступленно запели смычки...

Но была ты со мной всем презрением юным,
Чуть заметным дрожаньем руки...

Ты рванулась движеньем испуганной птицы.
Ты прошла, словно сон мой легка...
И вздохнули духи, задремали ресницы,
Зашептались тревожно шелка.

Но из глуби зеркал ты мне взоры бросала
И, бросая, кричала: «Лови!..»
А монисто бренчало, цыганка плясала
И визжала заре о любви.

19 апреля 1910

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Марии Павловне Ивановой

Под насыпью, во рву некошенном,
Лежит и смотрит, как живая,
В цветном платке, на косы брошенном,
Красивая и молодая.

Бывало, шла походкой чинною
На шум и свист за ближним лесом.
Всю обойдя платформу длинную,
Ждала, волнуясь, под навесом.

Три ярких глаза набегающих —
Нежней ремянец, круче локонов:
Быть может, кто из проезжающих
Посмотрит пристальней из окон...

Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели;
Молчали желтые и синие;
В зеленых плакали и пели.

Вставали сонные за стеклами
И обводили ровным взглядом
Платформу, сад с кустами блёклыми,
Ее, жандарма с нею рядом...

Лишь раз гусар, рукой небрежною
Облокотясь на бархат алый,
Скользнул по ней улыбкой нежною...
Скользнул — и поезд в даль умчал.

Так мчалась юность бесполезная,
В пустых мечтах изнемогая...
Тоска дорожная, железная
Свистела, сердце разрывая...

Да что — давно уж сердце вынуто!
Так много отдано поклонов,
Так много жадных взоров кинуто
В пустынные глаза вагонов...

Не подходите к ней с вопросами,
Вам всё равно, а ей — довольно:

Любовью, грязью иль колесами
Она раздавлена — всё больно.

14 июня 1910

ИЗ ПОЭМЫ
«ВОЗМЕЗДИЕ»
Вторая глава
(отрывок)

III

Востока страшная заря
В те годы чуть еще алела...
Чернь петербургская глазела
Подобострастно на царя...
Народ толпился в самом деле,
В медалях кучер у дверей
Тяжелых горячил коней,
Городовые на панели
Сгоняли публику... «Ура» —
Заводит кто-то голосистый,
И царь — огромный, водянистый —
С семейством едет со двора...
Весна, но солнце светит глупо,
До Пасхи — целых семь недель,
А с крыш холодная капель
Уже за воротник мой тупо
Сползает, спину холодя...
Куда ни повернись, всё ветер...
«Как тошно жить на белом свете», —
Бормочешь, лужу обходя;
Собака под ноги суется,
Калоши същика блестят,
Вонь кислая с дворов несется,
И «князь» орет: «Халат, халат!»
И встретившись лицом с прохожим,
Ему бы в рожу наплевал,
Когда б желания того же
В его глазах не прочитал...

Март 1911

* * *

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Всё будет так. Исхода нет.

Умрешь — начнешь опять сначала,
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

10 октября 1912

СЕДОЕ УТРО

Утро туманное, утро седое...

Тургенев

Утреет. С богом! По домам!
Позвякивают колокольцы.

Ты хладно жмешь к моим губам
 Свои серебряные кольца,
 И я — который раз подряд —
 Целую кольца, а не руки...
 В плече, откинутаго назад, —
 Задор свободы и разлуки,
 Но еле видная за мглой,
 За дождевою, за докучной...
 И взгляд, как уголь под золой,
 И голос утренний и скучный...
 Нет, жизнь и счастье до утра
 Я находил не в этом взгляде!
 Не этот голос пел вчера
 С гитарой вместе на эстраде!..
 Как мальчик, шаркнула; поклон
 Отвешивает... «До свиданья...»
 И звякнул о браслет жетон
 (Какое-то воспоминанье)...
 Я молча на нее гляжу,
 Сжимаю пальцы ей до боли...
 Ведь нам уж не встречаться боле...
 Что ж на прощанье ей скажу?..
 «Прощай, возьми еще колечко.
 Оденешь рученьку свою
 И смуглое свое сердечко
 В серебряную чешую...
 Лети, как пролетала, тая,
 Ночь огневая, ночь бывшая...
 Ты, время, память притуши,
 А путь снежком запороши».

29 ноября 1913

* * *

О, я хочу безумно жить:
 Всё сущее — увековечить,
 Безличное — вочеловечить,
 Несбывшееся — воплотить!

Пусть душит жизни сон тяжелый,
 Пусть задыхаюсь в этом сне, —
 Быть может, юноша веселый
 В грядущем скажет обо мне:

*Простим угрюмство — разве это
 Сокрытый двигатель его?
 Он весь — дитя добра и света,
 Он весь — свободы торжество!*

5 февраля 1914

* * *

Земное сердце стынет вновь,
 Но стужу я встречаю грудью.
 Храню я к людям на безлюдьи
 Неразделенную любовь.

Но за любовью — зреет гнев,
 Растет презренье и желанье

Читать в глазах мужей и дев
 Печать забвенья, иль избранья.

Пускай зовут: *Забудь, поэт!*
Вернись в красивые уюты!
 Нет! Лучше сгинуть в стуже лютой!
 Уюта — нет. Покоя — нет.

1911 — 6 февраля 1914

* * *

З. Н. Гунтуц

Рожденные в года глухие
 Пути не помнят своего.
 Мы — дети страшных лет России —
 Забыть не в силах ничего.

Испепеляющие годы!
 Безумья ль в вас, надежды ль весть?
 От дней войны, от дней свободы —
 Кровавый отсвет в лицах есть.

Есть немота — то гул набата
 Заставил заградить уста.
 В сердцах, восторженных когда-то,
 Есть роковая пустота.

И пусть над нашим смертным ложем
 Взовьется с криком воронье, —
 Те, кто достойней, Боже, Боже,
 Да узрят царствие твое!

8 сентября 1914

ПЕРЕД СУДОМ

Что же ты потупилась в смущеньи?
 Погляди, как прежде, на меня,
 Вот какой ты стала — в униженьи,
 В резком, неподкупном свете дня!

Я и сам ведь не такой — не прежний,
 Недоступный, гордый, чистый, злой.
 Я смотрю добрей и безнадежней
 На простой и скучный путь земной.

Я не только не имею права,
 Я тебя не в силах упрекнуть
 За мучительный твой, за лукавый,
 Многим женщинам сужденный путь...

Но ведь я немного по-другому,
 Чем иные, знаю жизнь твою,
 Более, чем судьям, мне знакомо,
 Как ты очутилась на краю.

Вместе ведь по краю, было время,
 Нас водила пагубная страсть,
 Мы хотели вместе сбросить бремя
 И лететь, чтобы потом упасть.

Ты всегда мечтала, что, сгорая,
Догорим мы вместе — ты и я,
Что дано, в объятьях умирая,
Увидать блаженные края...

Что же делать, если обманула
Та мечта, как всякая мечта,
И что жизнь безжалостно стегнула
Грубою веревкою кнута?

Не до нас ей, жизни торопливой,
И мечта права, что нам лгала. —
Все-таки, когда-нибудь счастливой
Разве ты со мною не была?

Эта прядь — такая золотая
Разве не от старого огня? —
Страстная, безбожная, пустая,
Незабвенная, прости меня!

11 октября 1915

* * *

Превратила всё в шутку сначала,
Поняла — принялась укорять,
Головою красивой качала,
Стала слезы платком вытирать.

И, зубами дразня, хохотала,
Неожиданно всё позабыв.
Вдруг припомнила всё — зарыдала,
Десять шпилек на стол уронив.

Подурнела, пошла, обернулась,
Воротилась, чего-то ждала,
Проклинала, спиной повернулась,
И, должно быть, навеки ушла...

Что ж, пора приниматься за дело,
За старинное дело свое. —
Неужели и жизнь отшумела,
Отшумела, как платье твое?

29 февраля 1916

КОРШУН

Чертя за кругом плавный круг,
Над сонным лугом коршун кружит
И смотрит на пустынный луг. —
В избушке мать, над сыном тужит:
«На хлеба, на, на грудь, соси,
Расти, покорствуй, крест неси».

Идут века, шумит война,
Встает мятеж, горят деревни,
А ты всё та ж, моя страна,
В красе заплаканной и древней. —
Доколе матери тужить?
Доколе коршуну кружить?

22 марта 1916

СКИФЫ

*Панмонголизм! Хоть имя дико,
Но мне ласкает слух оно.*
Владимир Соловьев

Миллионы — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,
С раскосыми и жадными очами!

Для вас — века, для нас — единый час.
Мы, как послушные холопы,
Держали щит меж двух враждебных рас
Монголов и Европы!

Века, века ваш старый горн ковал
И заглушал грома лавины,
И дикой сказкой был для вас провал
И Лиссабона, и Мессины!

Вы сотни лет глядели на Восток,
Копя и плавая наши перлы,
И вы, глумясь, считали только срок,
Когда наставить пушек жерла!

Вот — срок настал. Крылами бьет беда,
И каждый день обиды множит,
И день придет — не будет и следа
От ваших Пестумов, быть может!

О, старый мир! Пока ты не погиб,
Пока томишься мукой сладкой,
Остановись, премудрый, как Эдип,
Пред Сфинксом с древнею загадкой!..

Россия — Сфинкс. Ликуя и скорбя,
И обливаясь черной кровью,
Она глядит, глядит, глядит в тебя,
И с ненавистью, и с любовью!..

Да, так любить, как любит наша кровь,
Никто из вас давно не любит!
Забыли вы, что в мире есть любовь,
Которая и жжет, и губит!

Мы любим всё — и жар холодных числ,
И дар божественных видений,
Нам внятно всё — и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений...

Мы помним всё — парижских улиц ад,
И венецьянские прохлады,
Лимонных рощ далекий аромат,
И Кельна дымные громады...

Мы любим плоть — и вкус ее, и цвет,
И душный, смертный плоти запах...
Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
В тяжелых, нежных наших лапах?

Привыкли мы, хватая под уздцы
Играющих коней ретивых,
Ломать коням тяжелые крестцы,
И умирять рабынь строптивых...

Придите к нам! От ужасов войны
Придите в мирные объятия!
Пока не поздно — старый меч в ножны,
Товарищи! Мы станем — братья!

А если нет, — нам нечего терять,
И нам доступно вероломство!
Века, века — вас будет проклинать
Больное позднее потомство!

Мы широко по дебрям и лесам
Перед Европою пригожей
Расступимся! Мы обернемся к вам
Своею азиатской рожей!

Идите все, идите на Урал!
Мы очищаем место бою
Стальных машин, где дышит интеграл,
С монгольской дикою ордою!

Но сами мы — отныне вам не щит,
Отныне в бой не вступим сами!
Мы поглядим, как смертный бой кипит,
Своими узкими глазами!

Не сдвинемся, когда свирепый гунн
В карманах трупов будет шарить,
Жечь города, и в церковь гнать табун,
И мясо белых братьев жарить!..

В последний раз — опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира,
В последний раз на светлый братский пир
Сзывает варварская лира!

1918

ДВЕНАДЦАТЬ

1

Черный вечер.
Белый снег.
Ветер, ветер!
На ногах не стоит человек.
Ветер, ветер —
На всем божьем свете!

Завивает ветер
Белый снежок.
Под снежком — ледок.
Скользко, тяжко,
Всякий ходок
Скользит — ах, бедняжка!

От здания к зданию
Протянут канат.

На канате — плакат:
«Вся власть Учредительному Собранию!»
Старушка убивается — плачет,
Никак не поймет, что значит,
На что такой плакат,
Такой огромный лоскут?
Сколько бы вышло портянок для ребят,
А всякий — раздет, разут...

Старушка, как курица,
Кой-как перемотнулась через сугроб.
— Ох, Матушка-Заступница!
— Ох, большевики загонят в гроб!

Ветер хлесткий!
Не отстает и мороз!
И буржуй на перекрестке
В воротник упрятал нос.

А это кто? — Длинные волосы
И говорит вполголоса:
— Предатели!
— Погибла Россия!
Должно быть, писатель —
Вития...

А вон и долгополый
Сторонкой — за сугроб...
Что нынче невеселый,
Товарищ поп?

Помнишь, как бывало
Брюхом шел вперед,
И крестом сияло
Брюхо на народ?

Вон барыня в каракуле
К другой подвернулась...
— Ужь мы плакали, плакали... —
Поскользнулась
И — бац — растянулась!

Ай, ай!
Тяни, подымай!

Ветер веселый
И зол, и рад.
Крутит подошвы,
Прохожих косит,
Рвет, мнет и носит
Большой плакат:
«Вся власть Учредительному Собранию»...
И слова доносит:

...И у нас было собрание...
...Вот в этом здании...
...Обсудили —
Постановили:
На время — десять, на ночь — двадцать пять...
...И меньше — ни с кого не брать...
...Пойдем спать...

Поздний вечер.
Пустеет улица.
Один бродяга
Сутулится.
Да свищет ветер...

Эй, бедняга!
Подходи —
Поцелуемся...

Хлеба!
Что впереди?
Проходи!

Черное, черное небо.

Злоба, грустная злоба
Кипит в груди...
Черная злоба, святая злоба...

Товарищ! Гляди
В оба!

2

Гуляет ветер, порхает снег.
Идут двенадцать человек.

Винтовок черные ремни,
Кругом — огни, огни, огни...

В зубах — сигарка, примят картуз.
На спину б надо бубновый туз!

Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!

Тра-та-та!

Холодно, товарищи, холодно!

— А Ванька с Катькой — в кабаке...
У ей керенки есть в чулке!

— Ванюшка сам теперь богат...
— Был Ванька наш, а стал солдат!

— Ну, Ванька, сукин сын, буржуй,
Мою, попробуй, поцелуй!

Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!
Катька с Ванькой занята —
Чем, чем занята?..

Тра-та-та!

Кругом — огни, огни, огни...
Оплечь — ружейные ремни...

Революционный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!

Товарищ, винтовку держи, не трусь!
Пальнем-ка пулей в Святую Русь —

В кондовую,
В избяную,
В толстозадую!
Эх, эх, без креста!

3

Как пошли наши ребята
В красной гвардии служить —
В красной гвардии служить —
Буйну голову сложить!

Эх ты, горе-горькое,
Сладкое житье!
Рваное пальтишко,
Австрийское ружье!

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови —
Господи, благослови!

4

Снег крутит, лихач кричит,
Ванька с Катькою летит —
Електрический фонарик
На оглобелях...
Ах, ах, пади!..

Он в шинелишке солдатской
С физиономией дурацкой
Крутит, крутит черный ус,
Да покручивает,
Да пошучивает...

Вот так Ванька — он плечист!
Вот так Ванька — он речист!
Катьку-дуру обнимает,
Заговаривает...

Запрокинулась лицом,
Зубки блещут жемчугом...
Ах ты, Катя, моя Катя
Толстоморденькая...

5

У тебя на шее, Катя,
Шрам не зажил от ножа.
У тебя под грудью, Катя,
Та царапина свежа!

Эх, эх, попляши!
Больно ножки хороши!

В кружевном белье ходила —
Походи-ка, походи!
С офицерами блудила —
Поблуди-ка, поблуди!

Эх, эх, поблуди!
Сердце ёкнуло в груди!

Помнишь, Катя, офицера —
Не ушел он от ножа...
Аль не вспомнила, холера?
Али память не свежа?

Эх, эх, освежи,
Спать с собою положи!

Гетры серые носила,
Шоколад Миньон жрала,
С юнкерем гулять ходила —
С солдатъем теперь пошла?

Эх, эх, согреси!
Будет легче для души!

6

...Опять навстречу несется вскачь,
Летит, вопит, орет лихач...

Стой, стой! Андрюха, помогай!
Петруха, сзади забегай!..

Трах-тарарах-тах-тах-тах-тах!
Вскрутился к небу снежный прах!..

Лихач — и с Ванькой — наутек...
Еще разок! Взводи курок!..

Трах-тарарах! Ты будешь знать,
.....
Как с девочкой чужой гулять!..

Утек, подлец! Ужо, постой,
Расправлюсь завтра я с тобой!

А Катька где? — Мертва, мертва!
Простреленная голова!

Что, Катька, рада? — Ни гу-гу...
Лежи ты, падаль, на снегу!..

Революционный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!

7

И опять идут двенадцать,
За плечами — ружьеца.
Лишь у бедного убийцы
Не видать совсем лица...

Всё быстрее и быстрее
Уторапливает шаг.
Замотал платок на шею —
Не оправиться никак...

— Что, товарищ, ты не весел?
— Что, дружок, оторопел?

— Что, Петруха, нос повесил,
Или Катьку пожалел?

— Ох, товарищи, родные,
Эту девку я любил...
Ночки черные, хмельные
С этой девкой проводил...

— Из-за удали бедовой
В огневых ее очах,
Из-за родинки пунцовой
Возле правого плеча,
Загубил я, бестолковый,
Загубил я сгоряча... ах!

— Ишь, стервец, завел шарманку,
Что ты, Петька, баба, что ль?
— Верно, душу наизнанку
Вздумал вывернуть? Изволь!
— Поддержи свою осанку!
— Над собой держи контроль!

— Не такое нынче время,
Чтобы нянчиться с тобой!
Потежеле будет бремя
Нам, товарищ дорогой!

И Петруха замедляет
Торопливые шаги...

Он головку вскидывает,
Он опять повеселел...

Эх, эх!
Позабавиться не грех!

Запирайте этажи,
Нынче будут грабежи!

Отмыкайте погреба —
Гуляет нынче гольтыба!

8

Ох, ты, горе-горькое!
Скука скучная,
Смертная!

Ужь я времячко
Проведу, проведу...

Ужь я темячко
Почешу, почешу...

Ужь я семячки
Полущу, полущу...

Ужь я ножичком
Полосну, полосну!

Ты лети, буржуй, воробышком!
Выпью кровушку

За зазнобушку,
Чернобровушку...

Упокой, господи, душу рабы твоея...

Скучно!

9

Не слышно шуму городского,
Над невской башней тишина,
И больше нет городского —
Гуляй, ребята, без вина!

Стоит буржуй на перекрестке
И в воротник упрятал нос,
А рядом жметесь шерстью жесткой
Поджавший хвост паршивый пес.

Стоит буржуй, как пес голодный,
Стоит безмолвный, как вопрос.
И старый мир, как пес безродный,
Стоит за ним, поджавши хвост.

10

Разыгралась чтой-то вьюга,
Ой, вьюга, ой, вьюга!
Не видать совсем друг друга
За четыре за шага!

Снег воронкой завился,
Снег столбушкой поднялся...

— Ох, пурга какая, спасе!
— Петька! Эй, не завирайся!
От чего тебя упас
Золотой иконостас?
Бессознательный ты, право,
Рассуди, подумай здраво —
Али руки не в крови
Из-за Катькиной любви?
— Шаг держи революционный!
Близок враг неугомонный!

Вперед, вперед, вперед,
Рабочий народ!

11

...И идут без имени святого
Все двенадцать — вдаль.
Ко всему готовы,
Ничего не жаль...

Их винтовочки стальные
На незримого врага...
В переулочки глухие,
Где одна пылит пурга...
Да в сугробы пуховые —
Не утянешь сапога...

В очи бьется
Красный флаг.

Раздается
Мерный шаг.

Вот — проснется
Лютый враг...

И вьюга пылит им в очи
Дни и ночи
Напролет...

Вперед, вперед,
Рабочий народ!

12

...Вдаль идут державным шагом...
— Кто еще там? Выходи!
Это — ветер с красным флагом
Разыгрался впереди...

Впереди — сугроб холодный,
— Кто в сугробе — выходи!..
Только нищий пес голодный
Ковыляет позади...

— Отвяжись ты, шелудивый,
Я штыком пощечочу!
Старый мир, как пес паршивый.
Провались — поколочу!

...Скалит зубы — волк голодный
Хвост поджал — не отстает —
Пес холодный — пес безродный...
— Эй, откликнись, кто идет?

— Кто там машет красным флагом?
— Приглядишься-ка, эка тьма!
— Кто там ходит беглым шагом,
Хоронясь за все дома?

— Все равно тебя добуду,
Лучше сдайся мне живьем!
— Эй, товарищ, будет худо,
Выходи, стрелять начнем!

Трах-тах-тах! — И только эхо
Откликается в домах...
Только вьюга долгим смехом
Заливается в снегах...

Трах-тах-тах!
Трах-тах-тах...

...Так идут державным шагом —
Позади — голодный пес,
Впереди — с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим.
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди — Исус Христос.

АЛЕКСАНДР ГРИН

1880, г. Слободской Вятской губ.— 1932, Старый Крым

Сын бухгалтера-поляка Гривевского, сосланного в 1883 году. В школе Грин учился лишь четыре года. Был матросом, золотоискателем, солдатом, находился в политической ссылке. В 1908 году вышла первая книга рассказов. С 1912-го до революции жил в Петербурге, как поэт-сатирик печатался в «Новом Сатириконе». Славу ему принесла маленькая повесть «Алые паруса», чье название на долгие годы стало символом романтизма. Зурбаган, Гель-Гью — имена городов, придуманных Грином, звучали как сладкая, уносящая вдаль музыка, когда вокруг возникали Сталинград, Ворошиловград, Комсомольск-на-Амуре, Электросталь. В годы террора многие люди, стараясь забыть о дамокловом чекистском мече над их головами, закутывались в «цветной туман» гриновских грез. От алого знамени, развевавшегося и над воротами лагерей, тянуло к алым парусам — они были незапятнанными. Во время «разгрома космополитов» пытались напасть и на его вымечтанную «Гринландию», но книги, печатавшиеся миллионными тиражами, защитила читательская влюбленность в их образы. Многие в те времена называли своих любимых «моя Ассоль», как гриновскую героиню. Времени с тех пор прошло много, но по крайней мере лучшим новеллам Грина — «Фанданго», «Крысолов» — забвение не грозит.

РАБОТА

Последний день по воле рока
Я, расстроенный глубоко,
За столом своим сижу,
Перья, нервы извожу.
Подбираю консонансы,
Истребляю диссонансы,
Роюсь в арсенале тем
И строчу, строчу затем.

Где смешное взять поэту?
Уязвить кого и как?
Минну? Карла? Турка? Грету?
Или бюргера колпак?
Но теперь по белу свету
То высмеивает всяк.

Есть удушливые газы.
Можно высмеять бы их,
Но, припомнив их проказы,
Я задумчиво притих:
Слишком мрачные рассказы
Для того, чтоб гнуть их в стих.

Хорошо. Войны не трону.
Но, желая гонорар,
Я пошлю «Сатирикону»
Мелочную злобу в дар

И, имен не называя,
Всех приятелей своих
Так облаю, лая, хая,
Что займется дух у них.

Тот — бездарен, этот — грешен,
Этот — глуп, а этот — туп,
Этот — должен быть повешен,
Этот — просто жалкий труп!

Только я идейно честен,
Сверхталантлив и красив,
Только мне всегда известен
Вдохновения прилив!
Храбрый я — Аника-воин!
Вы прокисли! Ничего...
Всяк трудящийся достоин
Пропитанья своего...

<1915>

ЛЕОНИД СЕМЕНОВ

1880—1917

Внук прославленного географа, остался в литературе тем, что это был первый поэт, убитый если не самой советской властью, то при советской власти (в декабре 1917 года); вслед за ним были убиты Т. Ефименко — озверелой толпой, великий князь В. Палей — расстрельщиками царской семьи, Л. Каннегисер — «мстителями» за убийство Урицкого, Н. Бурлюк — пьяными матросами; лишь потом настала очередь Гумилева. Семенов остался автором единственной книги («Собрание стихотворений», 1905), в последнее десятилетие своей жизни отошел от литературы, по примеру Александра Добролюбова основал нечто вроде толстовской секты у себя на хуторе — там и погиб.

СКАЗКА

ПРО БЕЛОГО БЫЧКА

У старухи всё одно,
всё жужжит веретено.
Песнь уныла и скучна,
бесконечно нить длинна.

Развивается клубок:
вот геройство, вот порок;
стар — жених, она — юна,
хил — отец, семья — бедна.

Вот цари и короли
делят жребии земли,

разгорается война,
хлещёт алая волна...

И опять — любовь, порок,
затемняется поток,
и угрюма и страшна
вековая тишина.

А над нею все одно,
все жужжит веретено.

Песнь уныла и скучна,
бесконечно нить длинна.

Развивается клубок:
вот геройство, вот порок:
стар — жених, она — юна,
хил — старик, семья — бедна...
et cetera in perpetuum.

1903

ЕВГЕНИЙ СНО

1880—1941(?)

Поэт, прозаик, журналист. В 1905 году редактировал «Юмористический альманах». Был за это приговорен к шести месяцам заключения в крепости.

АПЕЛЬСИНЫ

Апельсинами торговля
За границей поднялась,
Спрос огромный, их в Россию...
Перевозка началась!
Видно, есть на то причины:
На Руси по всем углам
Апельсины, апельсины,
Апельсины здесь и там.

Здесь усилена охрана,
Там «военное» ввели..
И свобода на аркане,
И повсюду: «рота, пли!».
Видно, есть на то причины:
На Руси по всем углам
Апельсины, апельсины,
Апельсины здесь и там.

Здесь «рабочее движенье»,
Там крестьянство поднялось,
Пулеметов не хватает,
Покупать еще пришлось.
Видно, есть на то причины:
На Руси по всем углам
Апельсины, апельсины,
Апельсины здесь и там.

Губернаторы всё те же,
Где ж свободу им понять?
И свирепо продолжают
Нас «тащить и не пущать».
Видно, есть на то причины:
На Руси по всем углам
Апельсины, апельсины,
Апельсины здесь и там.

Полицейстеры, царьками
Себя чувствуя вполне,
Черносотенной опоры
Ищут больше всё «на дне».
Видно, есть на то причины:
На Руси по всем углам
Апельсины, апельсины,
Апельсины здесь и там!

А казачество лихое,
Позабывши старину,
Знаменитою нагайкой
Истерзало всю страну.
Видно, есть на то причины:
На Руси по всем углам
Апельсины, апельсины,
Апельсины здесь и там,

<1906>

САША ЧЕРНЫЙ

1880, Одесса — 1932, Ла-Лаванду, Франция

Псевдоним Александра Гликберга. Отец — фармацевт. Саша Черный жил в провинциальных украинских городках — Белой Церкви и Житомире, в 1902—1905 годах служил на таможне. Может быть, именно там у него, как у малороссийского Аври Руссо, появился такой притворяющийся наивным лукавый взгляд на жизнь? Его саркастические, но отнюдь не лишённые нежности стихи, появившиеся в «Сатириконе» (1908), сразу принесли ему популярность и, безусловно, оказали влияние на раннего Маяковского. Саша Черный по настоянию Чуковского написал для детей 25 книжек, в 1914—1917 годах был солдатом при полевом лазарете. В 1920-м Саша Черный эмигрировал, то занимался

На шляпе валяются липкие фиги,
И стул опрокинут в углу.

Что Лизе — три с половиною года...
Зачем нам правду скрывать?

Для ясности, после ее ухода,
Я все-таки должен сказать,

1927
Париж

АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО

1881, Севастополь — 1925, Прага

Из купеческой семьи. Начинал карьеру бухгалтером. Первый рассказ напечатал в харьковской газете «Штык». В 1908 году, поехав завоевывать Петербург, объединил «Стрекозу» с «Сатириконом», стал и автором, и издателем. С 1913-го издавал «Новый Сатирикон», щедро поддерживая и Маяковского, и Сашу Черного. Писал рецензии под псевдонимами Медуза Горгона, Опискин, Фальстаф, Фольк, Аве. Рассказы подписывал своим именем. В 1918-м журнал был запрещен — теперь уже новой властью. Аверченко бежал сначала в белый Крым, где писал для газет до последнего парохода, а потом — через Константинополь в Прагу. Он не выдержал нелегко дававшегося ему смеха сквозь слезы эмиграции и безвременно скончался.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ИСТОРИИ (Смех сквозь слезы)

Кошмар войны.
О воле сны,
И недород...
Голодный год.
Народа стон.
Аванс. Милльон!
Голодный тиф.
Роскошный лиф
Эстер. Корсет.
Лидваль. Клозет.
Поставка — миф.
Милльон — за лиф,
Народу — кнут,
Милльон — капут!..

Начало 1907

ВАСИЛИЙ КОМАРОВСКИЙ

1881, Москва—1914, Царское Село

Автор единственной книги стихов «Первая пристань» (1913). По словам Анны Ахматовой, Гумилев говорил: «Это я научил Васю писать, стихи его сперва были такие четвероногие...» И не без гордости написал в журнале «Аполлон»: «Все стихи с 1909 года — уже стихи мастера».

* * *

Где лики медные Тиверия и Суллы
Напоминают мне угрюмые разгулы,
С последним запахом последней резеды,
Осенний тяжкий дым вошел во все сады,
Повсюду замутил золоченые блики.
И черных лебедей испуганные крики
У серых берегов открыли тонкий лед

Над дрожью новою темно-лиловых вод.
Гляжу: на острове посередине пруда
Седые гарпии слетелись отовсюду
И машут крыльями. Уйти, покуда мочь?

И тяготит меня сиреневая ночь.

1912

ВЛАДИМИР ПОЛЯКОВ

1881—1906, Париж

Единственная книга Полякова — «Стихотворения», СПб, 1909 — вышла уже после того, как в возрасте 25 лет поэт ушел из жизни. Брюсов писал, что в поэте «чувствуется какая-то ранняя зрелость»; в послереволюционной русской поэзии Парижа имя Полякова было окутано дымкой легенды: он застрелился на парижской площади.

* * *

Песни спеты, перепеты —
Сердце бедное, молчи:
Все отысканы ответы,
Все подделаны ключи;
Мы — последние поэты,
Мы — последние лучи
Догорающей в ночи
Умирающей планеты...
После нас — ночная тьма,
Процветание науки,
Протрезвление ума,
После нас — ни грез, ни муки,
Бесконечная зима
Безразлично-серой скуки.

БОРИС САДОВСКОЙ

1881, Ардатов Нижегородской губ.— 1952, Москва

Настоящая фамилия поэта — Садовский, Садовской — псевдоним. Его книжка «Самовар» (1914), представляющая собой сборник од этому медному идолу русских патриархальных вечеров, — явление поистине примечательное. Садовской воспарил над жанровостью типа «Чаепития в Мытищах» и воссоздал из самоварного дымка утерянную философию медлительного подслащенного терпким вареньем черноплодной рябины русского эпикурейства. Но поскольку эпикурейство — русское, то оно чуть горьковатое, с грустцой. Происхождение стихов Садовского, безусловно, в таких пушкинских стихах, как «Мороз и солнце, день чудесный...». Такого полнокровного сангвистического классицизма нельзя, пожалуй, найти ни у кого из современников Садовского. Ахматова по сравнению с ним была слишком утонченной, а Блок — слишком болезненным. За свою непохожесть, за свою уникальную верность золотому знамени самоварного полка Садовской заслуживает переиздания как поэт. Заслуживает он его и как прозаик, ибо его крепкая самобытная историческая проза была достойной предшественницей прозы Ю. Тынянова. Поэма «Федя Косопуз» (поздний вариант озаглавлен «Кровь»), возможно, повлияла впоследствии на поэму «Принц Фома» П. Васильева. Умер Садовской поздно, проведя около сорока лет в почти парализованном состоянии. Он жил в Новодевичьем монастыре в крошечной келейке, писал воспоминания; ему дважды довелось увидеть своими глазами собственные некрологи (в том числе написанный В. Ходасевичем) — слух о его смерти возникал регулярно.

СТУДЕНЧЕСКИЙ САМОВАР

Чужой и милый! Ты кипел недолго,
Из бака налитый слугою номерным,
Но я любил тебя как бы из чувства долга,

И ты мне сделался родным.

Вздыхали фонари на розовом Арбате,
Дымился древний звон, и гулкая метель
Напоминала мне о роковой утрате;

Ждала холодная постель.

С тобой дружил узор на ледяном окошке,
И как-то шли к тебе старинные часы,
Варенье из дому и в радужной обложке
Новорожденные «Весы».

Ты вызывал стихи, и странные рыдания,
Неразрешенные, вскипали невзначай,

Но остывала грудь в напрасном ожиданьи,
Как остывал в стакане чай.

Те дни изношены, как синяя фуражка,
Но все еще поет в окне моем метель,
По-прежнему я жду; как прежде, сердцу тяжко
И холодна моя постель.

1913

РОДИТЕЛЬСКИЙ САМОВАР

Родился я в уездном городке.
Колокола вечерние гудели,
И ветер пел о бреде и тоске
В последний день на Масляной неделе.
Беспомощно и резко я кричал,
Водю теплой на весу обмытый,

Потом затих; лишь самовар журчал
 У деревянного корыта.
 Родился я в одиннадцатый день,
 Как вещей Достоевский был схоронен.
 В те времена над Русью встала тень
 И был посев кровавый ей взборонен.
 В те времена тревожный гул стонал,
 Клубились слухи смутные в столице,
 И на Екатерининский канал
 Уже готовились идти убийцы.
 Должно быть, он, февральский этот зов,
 Мне колыбель качнул крылом угрюмым,
 Что отзвуки его на грани снов
 Слились навеки с самоварным шумом.
 Как уходящих ратей барабан,
 Все тише бьют меня мои мгновенья,
 Но явственно сквозь вечный их туман
 Предвечное мне слышится шипенье.
 Все так же мне о бытии пустом
 Оно поет, и вещей Достоевский
 Все так же, руки уложив крестом,
 Спит на кладбище Александро-Невском.

ИЗ ПОЭМЫ

«ФЕДЯ КОСОПУЗ» («КРОВЬ»)

(фрагмент)

.....
 И точно: к Феде ненароком
 За то, что выступал он боком
 И был в мундирчике кургуз,
 Пристала кличка: Косопуз.

Парадный бал с большим обедом
 Граф Баккара в тот год давал
 Кончавшим школу правоведам.
 Уж хрусталем буфет сверкал,
 И ждали музыканты знака.
 На фоне мрамора и лака,
 Радушно перед входом став,
 Сиял тремя звездами граф
 И рдела лента из-под фрака.
 Пощипывая нежный ус,
 Явился Феденька последний.
 Вдруг неожиданно в передней
 Лакеев охватил конфуз!
 И подмигнул швейцар игриво:
 Служанку по спине шутиливо
 С размаху шлепнул Косопуз
 И сам же скорчась (стыдно стало),
 Присел за вешалкой.— Дурак,—
 Рыдая, девушка сказала,
 Но обошлось без скандала,
 Лишь Федя красен был как рак.

Тянулось время. Дни летели.
 Экзамены Федюша сдал,
 Внезапно почтальон примчал

Ему письмо.— «Мама в постели»,—
 Печальный дядя извещал
 Племянника. На самом деле
 Мама была уж на столе.

Вот Федя дома. Опустели
 Родные стены. Мать в земле,
 У дяди кудри поседелели,
 А дни все мчались к тайной цели,
 И незаметно жизни сор
 Сметало время.

—Théodore!

Ты видел мамку Пелагею?
 Уж пятый день лежит она
 На кухне при смерти больна.
 Твердит, что помереть не смею,
 Пока глазком не погляжу
 На барчука. Я прикажу
 Ей отнести хоть чаю, что ли.
 А ты, мой друг, сходи туда.

На кухне тишь. Не без труда
 Старуха, охая от боли,
 Приподнялась.— Лежи, лежи.
 Но что такое? — Ох, мой милый,
 Врать не хочу перед могилой,
 Сказать аль нет? — Ну, ну, скажи.
 — Дай, Господи, собраться с силой.
 Федюшенька, не барин ты:
 Ты мой сынок, ты мой рожонный.
 — Как? — Ты барчонок подмененный.
 Кому узнать? Одни кресты
 Да кости. Сделала я дело.
 Скончалось барское дитя.
 Я вишь...

Старуха захрипела,
 Молчит. Конец. Синест тело.

И Федя вышел вон, свистя.

В пустой столовой дядя Павел,
 Дымя сигарой, кофе ждал,
 Но Федя завтракать не стал.
 Куда ж теперь он путь направил?
 Зачем так быстро побежал
 Прямой дорогою к базару?
 По воскресеньям в самый жар
 За рощею кипел базар.
 Был майский день. Цветы от жару
 Клонились, будто под удар.
 Пел колокол. Звенели пчелы.

С утра на площади веселой
 Галдят мальчишки, мужики.
 На бабах яркие платки,
 Шипит пирог, дымится сальник.
 Орехи, семечки, стручки,
 Бренчат гроши и пяточки.
 А вот и стойка. Целовальник

Стаканчик водки нацедил,
 И Федя, крикнув, жадно пил.
 Потом в лад бубну и гармошкам
 Плясал и гикал под окошком
 И приседал, и семенял.
 Крича, не слушая издевок,
 Щипал и звонко чмокал девок,
 Свистал, засунув пальцы в рот.

— Откуда стакий урод?
 — Да барин, слышь. — Какой тут барин?
 — Да бают, будто сам Тугарин:
 Чего народ не наплетет!

Базар разъехался. Темнело.
 На небе жирная луна
 В кровавом блеске цепенела.
 Шатаясь, красный от вина,
 Брел Федя к дому по аллее.
 Взобравшись тихо на балкон,
 Пустынным коридором он
 Прошел к портретной галерее.
 Ключа за дверью замер звон.

Недолго там он оставался:
 По дому гулкий стук промчался,
 Мгновенно выломан карниз,
 И дядя, со свечой, в бешмете,
 Увидя Федю на паркете,
 Бессильно рухнулся: — Mon fils!
 Смотрели слуги мрачно вниз.

В неверном, зыбком полусвете
 Огонь свечи, мерцающая, рдел.
 Ряд гордых лиц со стен глядел,
 Камзолы, ленты, букли, шали
 То, оживая, выступали,
 То снова прятались во мглу.

В крови, на матовом полу
 Валялся Федя с пистолетом.
 Лицо дышало мирным светом,
 Как будто сбросив тяжкий груз.

Так умер Федя Косопуз.

1918

АМАРИ

1882, Москва — 1945, Нью-Йорк

Под этим псевдонимом, взятым в честь жены Марии Самойловны, писал стихи Михаил Осипович Цетлин, эмигрант-эсер, близкий к редколлегии журнала «Современные записки» — «главного» в зарубежье русского парижского журнала. С приходом во Францию немцев эмигрировал в США, где вместе с Марком Алдановым основал в 1942 году «Новый журнал» — прямое продолжение «Современных записок»; журнал выходит до сих пор. Среди поэтического наследия Амари выделяется книга-цикл «Кровь на снегу», посвященная декабристам, однако все ее главы представляют собою вполне самостоятельные стихотворения.

ИЗ ПОЭМЫ «ДЕКАБРИСТЫ»
 НИКОЛАЙ I

Как медленно течет по жилам кровь,
 Как холодно-неторопливо.
 Не высекала искр в душе твоей любовь:
 Ты — как кремль, и нет огнива!

Как вяло тянутся холодной прозой дни:
 Ни слов, ни мук, ни слез, ни страсти.
 Душа полна одним, знакомым искони,
 Холодным сладострастьем власти.

Повсюду в зеркалах красивое лицо
 И стан величественно-стройный.
 Упругой воли узкое кольцо
 Смиряет нервов трепет беспокойный.

Но все ж порою сон медлительный души
 Прорежет их внезапный скрежет.
 Как будто мышь грызет, скребет в ночной тиши
 Иль кто-то по стеклу визгливо режет...

ДАВИД БУРЛЮК

1882, хутор Семиратовщина Харьковской губ. — 1967, Лонг-Айленд, США

Самая великая заслуга Д. Бурлюка в том, что он был первым в мире человеком, понявшим гениальность Маяковского. Художник и поэт, Бурлюк к тому же оказался неплохим менеджером. Он первым понял значение рекламы в литературе, поставив ей на службу скандал. Маяковский ходил в ярко-желтой кофте, Бурлюк носил аристократический лорнет и одновременно деревянную ложку в петлице. Однако революция ввинтила в себя Маяковского, как воронка водоворота, а Бурлюк только слегка замочил в этом водовороте свои американские гамаша, которые утянули бывшего российского кубиста-бунтаря, создавшего апологию голода в ранней юности, к сытой тихой американ-

ской старости. Перед самой смертью Бурлюк навесил землю своей шумной юности, посетил музей Маяковского, где казался нам всем музейным живым экспонатом, лишь случайно оказавшимся в Америке.

Пушкой судьба лишь горькая издевка,
 Душа кабак и небо рвань,
 Поэзия — истрепанная девка,
 А красота кощунственная дрянь.

1912

Каждый молод молод молод
 В животе чертовский голод
 Так идите же за мной...
 За моей спиной.

Я бросаю гордый клич
 Этот краткий спич!
 Будем кушать камни травы
 Сладость горечь и отравы
 Будем лопать пустоту
 Глубину и высоту
 Птиц, зверей, чудовищ, рыб,
 Ветер, глины, соль и зыбь!
 Каждый молод молод молод
 В животе чертовский голод
 Всё что встретим на пути
 Может в пищу нам идти!

1913

ВЛАДИМИР ВОИНОВ

1882, станица Ермаковская, обл. Войска Донского — 1938, Ленинград

Родился на Дону, в казачьей семье. Участник первой русской революции. Сотрудничал в журналах «Сатирикон» и «Новый Сатирикон». Автор нескольких сборников рассказов и стихотворений, романа «Чертовое колесо» (1916). После Октября работал в РОСТА, в сатирических журналах 20-х годов. Написал текст первой советской оперы-оратории «Фронт и тыл» (1931).

ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ

Каждый день порою ранней —
 Чтобы дома не мешать —
 Выходила няня с Ваней
 «Кислородом подышать».
 Взбив высокую прическу,
 Взяв пеленки и фланель,
 Затыкала в Ваню соску
 И шагала на панель.
 Исполняя свято дело,
 Пробиралась на народ,
 На пожарников глядела
 И «вдыхала кислород».
 Загляделся раз на няню
 Постовой городской,
 Уронила няня Ваню
 Обо что-то головой.
 Угораздило Ванюшку
 Малость вывихнуть скелет,
 И пропал ни за понюшку
 Бедный парень в цвете лет.
 И вот с этой самой «стати» —
 Если выводы верны, —
 И не стало у дитяти
 Целой «левой» стороны.
 Дальше всё ужасно просто,
 Труден первый лишь скачок:
 Вырос парень, стал прохвостом,
 Приобрел себе значок,
 Без «истории» — ни шагу,
 Вицмундиром бьет в глаза,
 Пьет малагу, носит шпагу

И не знает ни аза.
 А во время забастовки
 Проявился свой задор:
 Безо всякой подготовки
 Охраняет коридор.
 И когда с ним виден рядом
 Постовой городской —
 Ваня гордо блещет взглядом
 И кивает головой,
 И с чарующею миной —
 Точно суть вещей постиг —
 Всею «правой» половиной
 Вспоминает дивный миг:
 Как когда-то на панели,
 Где стоял городской,
 Няня Ваню из фланели
 Уронила головой...

<1913>

НА МОГИЛЕ

(отрывок)

Пройдут года... Один... Три... Сорок...
 Сотрут какую-то черту,
 И стадо милых балаболок
 Взойдет на хладную плиту.
 И там, где храм стоял Победе
 (Афина! Что же ты молчишь?),
 Достопроставленные леди
 Отпляшут пламенный матчиш.

1914

ГЕОРГИЙ ГОЛОХВАСТОВ

1882—1963

Старейший поэт так называемой американской школы в русской эмиграции, которая существовала между двумя войнами и была вовсе неизвестна в Европе. По его инициативе вышел первый сборник этой группы — «Из Америки», им была создана своеобразная форма «полусонета» (в книге «Полусонеты», 1931 г., их Голохвастов поместил триста). В 1943 году вышел почти итоговый сборник Голохвастова — «Жизнь и сны». В 1950 году издан его перевод «Слова о полку Игореве» с иллюстрациями Добужинского.

* * *

В угаре жизни, год за годом,
Я брал, бросал и вновь искал,
И, осушая грез бокал,
Пил горький опыт мимоходом.

Я — мудр, но ноша тяжела,
И никну я, как лишним медом
Отягощенная пчела.

ВИЛЬГЕЛЬМ ЗОРГЕНФРЕЙ

1882, Аккерман Бессарабской губ.—1938, Ленинград

У него были все данные для того, чтобы стать большим поэтом (об этом свидетельствует приводимое вторым стихотворение). Оно произвело когда-то огромное впечатление даже на строгого, подчас неумолимого Блока и на других современников. А ведь даже одно или два замечательных стихотворения уже есть неотъемлемая часть литературы и ее истории. Зоргенфрей исчез во время репрессий.

* * *

Был как все другие. Мыслил здраво,
Покупал в субботу «Огонек»,
К Пасхе ждал на шею Станислава
И на самой Вербной занемог.
Диагност в енотовой шинели
Прибыл в дом, признал аппендицит,
И потом простился еле-еле,
Получив пятерку за визит.
На Святой поведала супруга
С чувством скорби и без лишних слов,
Что в итоге тяжкого недуга
Умер муж, Иван Фомич Петров.
На кладбище ехал он по чину —
По расчету на шесть лошадей.
Провожала доброго мужчину
Группа сослуживцев и друзей.
И, калошей попирая ельник,
Говорил фон-Штрупп, правитель дел:
«Странно, право... Жив был в понедельник,
Нынче ж мертв. Печален наш удел!»
Собеседник ухмылялся тупо.
С крыш текло. Весенний жидкий луч
Отразился от калош фон-Штруппа
И стыдливо спрятался меж туч.

Был Петров чиновником в Синоде,
Жил с женой, стоял за «Огонек».
Ты совсем в другом, читатель, роде —
Адвокат, профессор, педагог.

Верить только в толстые журналы,
Ждешь реформ, чины не ставишь в грош
И, как все другие либералы,
Просто так — с подругою живешь.
Болен был Петров аппендицитом,
То есть воспалением простым.
Ты умрешь, сражен сухим плевритом,
Осложненным чем-нибудь другим.
И твоя кончина будет чище:
О тебе заметку тиснет «Речь»,
Ляжешь ты на Волковом кладбище,
Где Петров не догадался лечь.
Прах твой к месту вечного покоя
На руках поклонники снесут,
Скажут речь о недостатках строя
И тебя их жертвой назовут.
И погода будет не такая,
И другой, конечно, будет гроб,
Лития особая, другая,
И особый, либеральный поп.

Если там ты встретишься с Петровым,
Ты ему не подавай руки —
Чинодралу с Станиславом новым,
С гнусным воспалением кишки.
Легким взмахом серебристых крыльев
Отделись и пребывай суров:
Ты — Иванов, Яковлев, Васильев,
Не какой-нибудь Петров.

Июнь 1913

НАД НЕВОЙ

Поздней ночью над Невой,
В полосе сторожевой,
Взвыла злобная сирена,
Вспыхнул сноп ацетилена.

Снова тишь и снова мгла.
Вьюга площадь замела.

Крест вздымая над колонной,
Смотрит ангел окрыленный
На забытые дворцы,
На разбитые торцы.

Стужа крепнет. Ветер злится.
Подо льдом вода струится.

Надо льдом костры горят,
Караул идет в наряд.
Провода вверху гудят:
Славен город Петроград!

В нише темного дворца
Вырос призрак мертвеца,
И погибшая столица
В очи призраку глядится.

А над камнем, у костра,
Тень последнего Петра —
Взоры прячет, содрогаясь,
Горько плачет, отрекаясь.

Ноют жалобно гудки.
Ветер свищет вдоль реки.

Сумрак тает. Рассветает.
Пар встает от желтых льдин,
Желтый свет в окне мелькает.
Гражданина окликает
Гражданин:

— Что сегодня, гражданин,
На обед?
Прикреплялись, гражданин,
Или нет?
— Я сегодня, гражданин,
Плохо спал!
Душу я на керосин
Обменял.

От залива налетает резвый шквал,
Торопливо наматывает снежный вал —
Чтобы глуше еще было и темней,
Чтобы души не щемило у теней.

1920

* * *

Еще скрежещет старый мир,
И мать еще о сыне плачет,

И обносившийся жуир
Еще последний смокинг прячет.

А уж над сетью невских вод,
Где тишь — ни шелеста, ни стука —
Всесветным заревом встает
Всепомрачающая скука.

Кривит зевотою уста
Трибуна, мечущего грома,
В извивах зыбкого хвоста
Струится сплетнею знакомой,

Пестрит мазками за окном,
Где мир, и Врангель, и Антанта,
И стынет масляным пятном
На бледном лице спекулянта.

Сегодня то же, что вчера.
И Невский тот же, что Ямская,
И на коне, взамен Петра,
Сидит чудовище, зевая.

А если поступью ночной
Проходит путник торопливо,
В ограде Спаса на Сенной
Увидит он осьмое диво:

Там, к самой паперти оттерт
Волной космического духа,
Простонародный русский черт
Скулит, почесывая ухо.

Октябрь 1920

* * *

Вот и все. Конец венчает дело.
А, казалось, делу нет конца.
Так покойно, холодно и смело
Выраженье мертвого лица.

Смерть еще раз празднует победу
Надо всей вселенной — надо мной.
Слишком рано. Я ее объеду
На последней, мертвой, на кривой.

А пока что, в колеснице тряской
К Митрофанью скромно путь держу.
Колкий гроб окрашен желтой краской,
Кучер злобно дергает возжу.

Шаткий конь брыкается и скачет,
И скользит, разбрасывая грязь,
А жена идет и горько плачет,
За венок фарфоровый держась.

— Вот и верь, как говорится, дружбе:
Не могли в последний раз прийти!
Говорят, что заняты на службе,
Что трамваи ходят до шести.

Дорогой мой, милый мой, хороший,
Я с тобой, не бойся, я иду...
Господи, опять текут калоши,
Простужусь, и так совсем в бреду!

Господи, верни его, родного!
Ненаглядный, добрый, умный, встань!
Третий час на Думе. Значит снова
Пропустила очередь на ткань, —

А уж даль светла и необъятна,
И слова людские далеки,
И слились разрозненные пятна,
И смешались скрипы и гудки.

Там, внизу, трясется колесница
И, свершая скучный долг земной,
Дремлет смерть, обманутый возница,
С опустевшим гробом за спиной.

ПЕТР ПОЛАК

1882(?)—(?)

Автор стихотворного сборника «Вечер» (1911), целиком выдержанного в традициях «когда-то, где-то, что-то...», а проще говоря — декаданса в салонном варианте; сборник, однако, отмечен немалым дарованием автора, сведений о котором пока не отыскалось. Его стихи охотно перепечатывал «Чтец-декламатор».

* * *

И вот один блуждаю среди могил —
И слышу свист зловещих — черных крыл,
И слышу хохот жуткой Тишины
На алтаре поруганной Весны.

Тоскует ржавый голос о былом,
Рыдает глухо в сумраке ночном,
И тихо ветер шепчет среди могил:
«Когда-то, где-то, что-то ты любил».

* * *

Поздний час недоверчив и лжив,
Фонари — ядовитые маки;

Черных улиц змеиный извив
Начертал исполинские знаки, —
Начертал вековые слова,
И пугает тревогою жуткой;
Ночь томится мертва — не мертва,
Беспокойная ночь — проститутка.
Знаю, будете обе со мной —
Ты да ночь в этой жути бесстрастной —
Упиваться моей тишиной,
Извиваться в тоске сладострастной.
А с рассветом истомится ночь —
В небесах расцветут незабудки...
И скользнут вдоль по улице прочь
Две, покорные дню, проститутки.

М. СЕМЕНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ

1882—1942, Ленинград

Внук знаменитого географа, одного из видных деятелей освобождения крестьянства от крепостничества, сам географ, участник многих экспедиций на Дальнем Востоке. Первые его литературные опыты в прозе и в стихах были поддержаны Ахматовой, Пришвиным, Ремизовым. Умер во время ленинградской блокады от дистрофии.

* * *

Когда судьбы разящий молот
Во тьме Россию погубил,
И страх, и мор, и мрак, и голод
Ее народы раздробил, —

Какой-то дух под ризой черной
Смущал меня — и лстив, и тих —
Неумолимой и упорной
Жестокой правдой слов своих.

Он мне твердил, что можно сыну
И не любить, и не страдать

И поразить ударом в спину
Детоубийственную мать!

1918

* * *

За волю гибнет вольный зверь,
Тоскуя, в клетках чахнет птица,
И рыба пойманная, верь,
Подохнет, а не покорится.

Но зверь двуногий, человек,
Пусть гордый дух его нагорен,

Теперь, и присно, и вовек
Руке бичующей покорен.

1926

* * *

Матери

Родимая, в суровую годину
В столице мертвой ты одна жила,
Чтоб ближе быть к войне, к меньшому сыну,
Кого покорно так ты Родине дала.
Ты верила, что, жертвуя последним,

Его спасешь от гибели в бою,
И по утрам ходила по обедням
Спасителю излить тоску свою.

Потом по улицам пустой столицы
Ты тихо шла, все думая о нем,
Голодные отыскивая лица,
Даря им хлеб, полученный с трудом.

Ты таяла, как свечка пред иконой,
Возжженная с молитвою тобой,
И умерла спокойно и смиренно,
Вдали своих детей, в семье чужой.

В такую же суровую годину
Живу и я, тоскуя и любя.
О, помоги стареющему сыну
В тяжелый миг достойным быть тебя.

22 декабря 1941

(последнее)

ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ

1870, около с. Евлах Елисаветпольской губ. — 1937, Соловки (по другим данным, Ленинград)

Ученый, священник, крупнейший религиозный философ, нашедший свою точку зрения на христианство между полюсами догматического клерикализма и политического приспособленчества. Закончив физико-математический факультет Московского университета в 1904 году, а затем Московскую духовную академию в 1908-м, был профессором, одновременно приняв священный сан. В своих философских работах, близких к В. Соловьеву, развивал теорию человеческого всеединства. Самая знаменитая из этих работ — «Столп и утверждение истины» (1914), много лет не переиздававшаяся. Был незаконно репрессирован. Стихи Флоренского представляют собой как бы дневниковые записи из его философского дневника.

СВИДАНИЕ «ТАМ»

А, старый Товарищ! Давно не видались,
давно уж с тобой в поединке не дрались.

Ты помнишь ли наши взаимные раны?
Садись, раздевайся. Вот, чаю стаканы.

Ну что, на дворе, видно, хуже и хуже?
Гляди, весь в звездах ты. Согрейся со стужи.

Твоя борода индевеет от снега.
Садись, тут охватит приятная нега.

Вот, жидким топазом здесь ром золотится,
и огненным глазом полено искрится.

За окнами свищут нагайки злой вьюги,
но мы — у камина, мы — будто на юге.

А помнишь ли? Розно мы шли по дороге,
и вызовом грозно трубили мы в роги.

То осенью было. Листов багряница
носилась по ветру, как поздняя птица.

Потом наступили сырые туманы,
и мы наносили взаимные раны...

Давай твой стакан мне, — налью еще чаю.
А знаешь ли, Друг, по тебе я скучаю,

с тех пор как расстался на поле с тобою
и снежно-пустынною брел пеленою...

Как злится-то вьюга! Чего она хочет?
Сама над собою бессильно хохочет.

Святая настанет: вот близко уж время.
Из гроба восстанет Жених и все бремя

нам сделает легким, и радостно вскоре
раскроются крылья в лазурном просторе.

КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ

1882, Петербург — 1969, Кунцево

Настоящее имя — Николай Васильевич Корнейчуков. Учился в одесской гимназии. В 1903—1905 годы был корреспондентом «Одесских новостей» в Лондоне. С 1912 по 1927 год жил в финской деревне Куоккала, где встречался с самыми знаменитыми писателями и художниками тогдашней России, и из их автографов создал своеобразный альбом — «Чукоккала». Блестяще перевел «Листья травы» Уитмена. Но самое главное свое призвание Чуковский нашел в стихах для детей, на которых с 1916 года были воспитаны десятки поколений, в том числе почти все поэты этой антологии. Стихи для детей Чуковского были изданы общим тиражом около 50 миллионов. Множество изданий выдержала книга «От двух до пяти», где Чуковский весело и мудро исследует, как начинают говорить дети. Когда мой сын Петя долго не разговаривал, я отчаялся и попросил Чуковского помочь. Он приехал с каким-то английским паровозиком, из которого шел дым, закрылся с Петей и через час вышел. «Ну, Петя, скажи, почему ты так долго не начинал говорить?» И вдруг Петя ответил, опустив голову: «Потому что я стеснялся». Чуковский получил Ленинскую премию за книгу «Мастерство Некрасова» в 1962 году. В том же году ему было присуждено почетное докторское звание Оксфордским университетом. Чуковский был одним из первых, кто открыл Солженицына и дал ему кров, когда тот оказался в опале. Когда я был в начальном периоде работы над этой антологией в 1968 году, Чуковский оказал мне неоценимую помощь своими советами, особенно по списку поэтов начала XX века. В русской поэзии XX века существует блестящая плеяда поэтов, писавших для детей. Назову хотя бы имена С. Маршака, А. Барто, С. Михалкова, Б. Заходера. Задачи и размеры этой антологии, к сожалению, не позволили нам их включить. Но этот талантливый цех, вырабатывающий счастье маленьких жителей земли, представлен старейшиной их гильдии — Чуковским.

ТЕЛЕФОН

1

У меня зазвонил телефон.
— Кто говорит?
— Слон.
— Откуда?
— От верблюда.
— Что вам надо?
— Шоколада.
— Для кого?
— Для сына моего.
— А много ли прислать?
— Да пудов этак пять
Или шесть:
Больше ему не съесть,
Он у меня еще маленький!

2

А потом позвонил
Крокодил
И со слезами просил:
— Мой милый, хороший,
Пришли мне калоши
И мне, и жене, и Тоттоше.

— Постой, не тебе ли
На прошлой неделе
Я выслал две пары
Отличных калош?

— Ах, те, что ты выслал
На прошлой неделе,
Мы давно уже съели
И ждем не дождемся,

Когда же ты снова пришьешь
К нашему ужину

Дюжину
Новых и сладких калош!

3

А потом позвонили зайчатки:
— Нельзя ли прислать перчатки?
А потом позвонили мартышки:
— Пришлите, пожалуйста, книжки!

4

А потом позвонил медведь
Да как начал, как начал реветь.

— Погодите, медведь, не ревите,
Объясните, чего вы хотите?

Но он только «му» да «му»,
А к чему, почему —
Не пойму!

Повесьте, пожалуйста, трубку!

5

А потом позвонили цапли:
— Пришлите, пожалуйста, капли:
Мы лягушками нынче объелись,
И у нас животы разболелись!

6

А потом позвонила свинья:
— Нельзя ли прислать соловья?
Мы сегодня вдвоем
С соловьем
Чудесную песню
Споем.
— Нет, нет! Соловей
Не поет для свиней!
Позови-ка ты лучше ворону!

7

И снова медведь:
— О, спасите моржа!
Вчера проглотил он морского ежа!

8

И такая дребедень
Целый день:
Динь-ди-лень,
Динь-ди-лень,
Динь-ди-лень!
То тюлень позвонит, то олень.
А недавно две газели
Позвонили и запели:
— Неужели
В самом деле
Все сгорели
Карусели?
— Ах, в уме ли вы, газели?
Не сгорели карусели,
И качели уцелели!
Вы б, газели, не галдели,
А на будущей неделе
Прискакали бы и сели
На качели-карусели! —

Но не слушали газели
И по-прежнему галдели:
— Неужели
В самом деле
Все качели
Погорели? —

Что за глупые газели!

9

А вчера поутру
Кенгуру:
— Не это ли квартира
Мойдодыра?

Я рассердился да как заору:
— Нет! Это чужая квартира!!!
— А где Мойдодыр?
— Не могу вам сказать...
Позвоните по номеру
Сто двадцать пять.

10

Я три ночи не спал,
Я устал.
Мне бы заснуть,
Отдохнуть...
Но только я лег —
Звонок!
— Кто говорит?
— Носорог.
— Что такое?
— Беда! Беда!
Бегите скорей сюда!
— В чем дело?
— Спасите!
— Кого?
— Бегемота!
Наш бегемот провалился в болото...
— Провалился в болото?!
— Да!
И ни туда, ни сюда!
О, если вы не придете —
Он утонет, утонет в болоте,
Он умрет, пропадет
Бегемот!!!
— Ладно! Бегу! Бегу!
Если смогу, помогу!

11

Ох, нелегкая это работа —
Из болота тащить бегемота!

1924

ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ

1883, д. Губовка Херсонской губ.—1945, Москва

Настоящее имя Ефим Алексеевич Придворов. Парадокс судьбы в комбинации псевдонима и настоящей фамилии — он был действительно из бедной семьи, но потом оказался волей судьбы при «красном дворе» и жил в Кремле, где книги из его библиотеки брал Сталин, разрывая жирным грязным пальцем неразрезанные страницы. Когда Демьян неосторожно сделал ему замечание, Сталин это запомнил и выселил придворного поэта со двора. Демьян Бедный был поэтом большевистской «Правды» с ее первого номера, используя приемы народного лубка в революционной пропаганде. Знамениты были строки: «Как родная мать меня провожала, как тут вся моя родня набежала: «А куда ж ты, паренек? А куда ты? Не ходил бы ты, Ванек, да в солдаты! В Красной Армии штыки, чай, найдутся. Без тебя большевики обойдутся...» К сожалению, дальше шла грубая агитка. Во время гражданской войны многие красноармейцы учились читать по стихам Демьяна. Однако Ленин принимал признания в любви Демьяна с некоторой брезгливой ироничностью: «Грубоват. Идет за читателем, а надо быть немножко впереди». С иронией к нему относились и Есенин, и Маяковский. Но, несмотря на примитивность многих агиток, в нем была стихийная сила. В 30-е годы Демьян подвергся уничтожительной критике. Он уже не был нужен. Его исключили из партии, списали, как сделавший свое дело чапаевский заржавевший пулемет. В 1941 году забытый и чудом не казненный революционный поэт

тряхнул стариной, написав широко прозвучавшее тогда стихотворение «Я верю в свой народ». Мы приводим два его знаменитых в свое время стихотворения: одно по поводу рождения Ленина, другое — его смерти. Алданов в романе «Самоубийство» писал: «Половина человечества оплакивала его смерть. Надо бы оплакать рождение.» Пришло ли это в голову Демьяну Бедному перед собственной смертью?

НИКТО НЕ ЗНАЛ...

(22 апреля 1870 года)

Был день как день, простой, обычный,
Одетый в серенькую мглу.
Гремел сурово голос зычный
Городового на углу.
Гордясь блеском камилавки,
Служил в соборе протопоп.
И у дверей питейной лавки
Шумел с рассвета пьяный скоп.
На рынке лаялись торговки,
Жужжа, как мухи на меду.
Мещанки, зарясь на обновки,
Метались в ситцевом ряду.
На дверь присутственного места
Глядел мужик в немой тоске,—
Пред ним обрывок «манифеста»
Желтел на выцветшей доске.
На каланче кружил пожарный,
Как зверь, прикованный к кольцу,
И солдатня под мат угарный
Маршировала на плацу.
К реке вилась обозов лента.
Шли бурлаки в мучной пыли.
Куда-то рваного студента
Чины конвойные вели.
Какой-то выпивший фабричный
Кричал, кого-то разнося:
«Про-щай, студентик, горемычный!»
.....
Никто не знал, Россия вся

Не знала, крест неся привычный,
Что в этот день, такой обычный,
В России... *Ленин родился!*

22 апреля 1927

СНЕЖИНКИ

Засыпала звериные тропинки
Вчерашняя разгульная метель,
И падают, и падают снежинки
На тихую, задумчивую ель.

Заковано тоскою ледяною
Безмолвие убогих деревень.
И снова он встает передо мною —
Смертельною тоской пронзенный день.

Казалось: земля с пути свернула.
Казалось: весь мир покрыла тьма.
И холодом отчаянья дохнула
Испуганно-суровая зима.

Забуду ли народный плач у *Горок*,
И проводы вождя, и скорбь, и жуть,
И тысячи лаптишек и опорок,
За Лениным утаптывавших путь!

Шли лентою с пригорка до ложбинки,
Со снежного сугроба на сугроб.
И падали, и падали снежинки
На ленинский — от снега белый — гроб.

21 января 1925

АЛЕКСАНДР БИСК

1883, Одесса—1973, близ Нью-Йорка

Вошел в литературу прежде всего как первый переводчик Райнера-Марии Рильке, которого переводил более полувека. Первая его книга вышла еще в России, в 1912 году, потом — через Одессу, где Биск успел издать книгу своих переводов из Рильке,— эмигрировал в Болгарию, позже — в США. Его сын — известнейший французский поэт Ален Боскэ. Был профессиональным филателистом. В последний год жизни Биска между ним и редактором данной антологии Е. Витковским установилась переписка, Биск завещал ему свои авторские права и часть архива. 1 мая 1973 года задохнулся при пожаре на даче под Нью-Йорком.

РУСЬ

Вот Русь моя: в углу, киотом,
Две полки в книгах — вот и Русь.
Склонясь к знакомым переплетам,
Я каждый день на них молюсь.

Рублевый Пушкин; томик Блока;
Все спутники минувших дней —

Средь них не так мне одиноко
В стране чужих моих друзей.

Над ними — скромно, как лампада,
Гравюра старого Кремля,
Да ветвь из киевского сада —
Вот Русь моя.

1921, Варна

АЛЕКСАНДР РОСЛАВЛЕВ

1883, Коломна (ныне Московской обл.)—1920, Екатеринбург

Печатался также под псевдонимом Баян. Поэт, прозаик, драматург. Исключен из 4-го класса гимназии за неспособность к учению. Отец отравился. Мать сошла с ума. Жил тяжелой жизнью, был на побегушках в коломненской управе, торговал спичками. Написанная им новогодняя песня «Над полями, да над чистыми» (1902) постепенно превратилась в народную.

ЧАСОВЩИК

Кто вечность разделил и выдумал часы,
Кто силою минут связал безумье снов,
Кто жизнь связал и бросил на весы,
Того кляню проклятьем всех веков.

Кто б ни был ты, коварный часовщик,
Не мог ты запретить безвременных путей,
Для верящих — любовь как бесконечный миг,
И, как всегда, беспечен смех детей.

Я пьян собой, я смею превозмочь
Возвратный час рассудка моего,
В добре и зле, ровняя день и ночь,
Я здесь и там для всех и для всего.

Хотя твой взор был дьявольски жесток
И за предел предельного проник,

Но в злобном торжестве всему, назначив срок,
Ошибся ты, коварный часовщик.

* * *

Смехом каменным, мглою железной
Замыкаются ужасы дня.
Каждый миг я ступаю над бездной
И она отвергает меня.

Опьяняюсь бесстыдством хотений,
Сею зло и, хуля имена,
Клевещу на великие тени,
Но во мне в глубине тишина.

Чтоб иссыпаться чашею звездной,
В жажде мрака рассудок кляня,
Каждый миг я ступаю над бездной,
И она отвергает меня.

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

10.I.1883, Николаевск Самарской губ.— 23.II.1945, Москва

Стихи Толстого были явно слабее его прозы, и он правильно сделал, что вовремя сменил жанр. Но поэзия для Толстого осталась прекрасной школой языка. Не случайно в своих стихах он варьировал народные наговоры, причитания, заклинания, набирая силу для самоцветного роскошества русского языка, которое так заблестало на страницах его романа «Петр Первый». Отдельные фразы Толстого-прозаика вонзаются в память так же цепко, как поэтические строфы. Одесские писатели фразу ставили выше сюжета. Толстой был сильнее их в том, что, не теряя качества фразы, был и мастером сюжета. У одесских писателей фраза запоминалась сама по себе. У Толстого — запоминался персонаж при помощи фразы. Может быть, именно потому, что он не стал поэтом, Толстой был так болезненно ревнив к другим поэтам и изобразил Блока в образе Бессонова с явным привкусом пародии. Толстой был эпикурейцем-конформистом. Его роднит с Валентином Катаевым то, что у них обоих были все качества, чтобы войти в большую русскую классику, за исключением одного — им не хватало мук совести. А в русской литературе это дело немаловажное.

БЕДА

Помоги нам, Пресветлая Троица!
Вся Москва-река трупами кроется...
За стенами, у места у лобного,
Залегло годуновское логово.
Бирюки от безлюдья и голода
Завывают у Белого города;
Опускаются тучи к Московию,
Проливаются серой да кровию;
Засеваются нивы под хлебами,

Черепами, суставами рабыми;
Загудело по селам и по степи
От железной, невидимой поступи;
Расступилось нагорье Печерское;
Породились зародыши мерзкие...
И бежала в леса буераками
От сохи чернососная земщина...
И поднялась на небе, от Кракова,
Огневостая, мертвая женщина.
Кто от смертного смрада сокроется?
Помоги нам, Пресветлая Троица.

Я отстала, я осталась
У высокого моста,
Пламя свечи колебалось,
Целовались в уста.

Где ты, милый, лобызанный,
Где ты, ласковый такой!
Ах, пары весны, туманы,
Ах, мой девичий покой!

Звоны-стоны, перезвоны,
Звоны-вздохи, звоны-сны.
Высоки крутые склоны,
Крутосклоны зелены.

Стены выбелены бело.
Мать игуменья велела
У ворот монастыря
Не болтаться зря!

ВАСИЛИЙ КАМЕНСКИЙ

1884, на пароходе, р. Кама, близ Перми — 1961, Москва

Сын уральского штейгера с золотых приисков. Изучая агрономию, неожиданно познакомился с Бурлюком и Маяковским, стал вместе с ними основателем группы кубофутуристов. В 1911 году, съездив для обучения за границу, стал одним из первых русских летчиков. Выступал по всей России и с поэтическими, и с авиационными зрелищами. В гражданскую войну вел агитационную работу в Красной Армии. В своих стихах прославлял бунтарей — Разина, Пугачева, Болотникова. Но эпохе новой бюрократии бунтари не были нужны. Уже на излете, никому не нужный, забытый всеми Каменский написал воспоминания о временах футуризма «Жизнь с Маяковским». Но места для бывших футуристов в истории уже не оставалось.

САРЫНЬ НА КИЧКУ!

Из поэмы «Степан Разин»

А ну, вставайте,
Подымайте паруса,
Зачинайте
Даль окружную,
Звонким ветром
Раздувайте голоса,
Затевайте
Песню дружную.
Эй, кудрявые,
На весла налегай —
Разом
Ухнем,
Духом
Бухнем,
Наворачивай на гай.
Держи
Май,
Разливье
Май, —
Дело свое делаем, —
Пуще,
Гуще
Нажимай,
Нажимай на левую.
На струг вышел Степан —
Сердцем яростным пьян.
Волга — синь-океан.
Заорал атаман:
«Сарынь на кичку!»
Ядреный лапоть
Пошел шататься
По берегам.
Сарынь на кичку!
В Казань!
В Саратов!

В дружину дружную
На перекличку,
На лихо лишнее
Врагам!
Сарынь на кичку!
Бочонок с брагой
Мы разопьем
У трех костров,
И на приволье
Волжском вагою
Зарядим пир
У островов.
Сарынь
На
Кичку!
Ядреный лапоть,
Чеши затылок
У подлеца.
Зачнем
С низовья
Хватать,
Царапать
И шкуру драть —
Парчу — с купца.
Сарынь
На кичку!
Кистень за пояс,
В башке зудит
Разгул до дна.
Свисти!
Глуши!
Зевай!
Раздайся!
Слепая стерва,
Не попадайся! Вва!

1914—1918

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ

1884, д. Коштуги, под Вытегрой, Олонецкой губ.— 1937, Томск

Из крестьян-сектантов. Мать была сказительницей. В юности жил в Соловецком монастыре, ездил по поручению секты хлыстов в Индию, Персию. Блок, с которым Клюев вступил в переписку в 1907 г., помог публикации его первых стихов. Первая книга «Сосен перезвон» вышла с предисловием Брюсова (1912). Подружился с Есениным, который затем считал его одним из своих учителей. Сблизился с неонароднической группой «Скифы» (Иванов-Разумник, Орешин, Белый, Клычков), которая ждала спасения крестьянства революцией и революции — крестьянством, однако в этих надеждах он вскоре разочаровался. После самоубийства Есенина написал «Плач о Сергее Есенине» (1926), который был вскоре изъят из обращения. На Клюеве выжгли клеймо «кулацкий поэт», перестали печатать. В поэме «Погорельщина» он оплакал уже не Есенина, а всю крестьянскую Русь. В 1933 году был арестован, сослан в Нарым, переведен по ходатайству Горького в Томск, но затем снова арестован. А вскоре был расстрелян. Двадцать лет, до посмертной реабилитации в 1957 году, его имя не упоминалось в СССР, а первая посмертная книга вышла в 1982 году. Во время гласности наконец опубликованы и другие считавшиеся утерянными произведения, в частности поэма «Погорельщина», переданная когда-то самим Клюевым итальянскому слависту Ло Гатто и изданная в 1950-х годах за границей. Эта поэма стала своего рода былинной об уничтожении крестьянства в России. Клюев пишет из ссылки своему другу С. Клычкову: «Я сгорел на своей «Погорельщине», как некогда сгорел мой прадед протоп Аввакум на костре пустозерском. Кровь моя волей-неволей связует две эпохи — озаренную смолистыми кострами и запалами самосожжений эпоху царя Федора Алексеевича и нашу, такую юную и потому многого не знающую. Я сослан в Нарым, в поселок Колпашев на верную и мучительную смерть». В 1934-м на допросе он показал: «Осуществляемое при диктатуре пролетариата строительство социализма в СССР окончательно разрушило мою мечту о Древней Руси». Наверняка они заставляли его «закладывать» самого себя. Но в данном случае он был искренен. По иронии судьбы именно в архивах КГБ сохранилась «главная», хотя и неоконченная поэма Клюева — «Песнь о Великой Матери», которую и поэт, и современники считали безвозвратно утерянной.

* * *

Темным зовам не верит душа,
Не летит встречу призракам ночи.
Ты, как осень, ясна, хороша,
Только строже и в ласках короче.

Потянулись с криком в отлет
Журавли над потусклой равниной.
Как с природой, тебя эшафот
Не разлучит с родимой кручиной.

Не однажды под осени плач
О тебе — невозвратно далекой
За разгульным стаканом палач
Головою поникнет жестокой.

1912

<ИЗ ЦИКЛА «ЛЕНИН»>

1

Есть в Ленине керженский дух,
Игуменский окрик в декретах,
Как будто истоки разрух
Он ищет в «Поморских ответах».

Мужицкая ныне земля,
И церковь — не наймит казенный,
Народный испод шевеля,
Несется глагол краснозвонный.

Нам красная мольвь по уму:
В ней пламя, цветенье сафьяна,—
То Черной Неволы басму
Попрала стопа Иоанна.

Борис, златоордный мурза,
Трезвонит Иваном Великим,
А Лениным — вихрь и гроза
Причислены к ангельским ликам.

Есть в Смольном потемки трущоб
И привкус хвои с костяникой,
Там нищий колодовый гроб
С останками Руси великой.

«Куда схоронить мертвеца»,—
Толкует удалых ватага.
Поземкой пылит с Коневца,
И плещется взморье-баклага.

Спросить бы у тучки, у звезд,
У зорь, что румянят ракиты...
Зловещ и пустынен погост,
Где царские бармы зарыты.

Их ворон-судьба стережет
В глухих преисподних могилах...
О чем же тоскует народ
В напевах татарско-унылых?

1918

ИЗ ПОЭМЫ «ПОГОРЕЛЬЩИНА»

* * *

Се предреченная звезда,
Что темным бором иногда
Совою окликала нас!..
Грызет лесной иконостас
Октябрь — поджарая волчица,

Тоскуют печи по ковригам,
 И шарит оторопь по ригам
 Щепоть кормилицы-мучицы.
 Ушли из озера налимы,
 Поедены гужи и пимы,
 Кора и кожа с хомутов,
 Не насыщая животов.
 Покойной Прони в руку сон:
 Сиговец змием полонен,
 И синеглазого Васятку
 Напредки посолили в кадку.
 Ах, синеперый селезень!..
 Чирикал воробьями день,
 Когда, как по грибной дозор,
 Малытку кликнули на двор.
 За кус говядины с печенкой
 Сосед освеживал мальчонку
 И серой солью посолил
 Вдоль птичьих ребрышек и жил.
 Старуха же с бревна под балкой
 Замыла кровушку мочалкой.
 Опосле, как лиса в капкане,
 Излилась лаем на чулане.
 И страшен был старуший лай,
 Похожий то на баю-бай,
 То на сорочье стрекотанье.
 О полночь бабкино страданье
 Взошло над бедною избой
 Васяткиною головой.
 Стеклися мужики и бабы:
 «Да, те ж вихры и носик рябый!»
 И вдруг за гиблую вину
 Громада взвыла на луну.
 Завыл Парфен, худой Егорка,
 Им на обглоданных задворках
 Откликнулся матерый волк...
 И народился темный толк —
 Старух и баб-сорокалеток
 Захоронить живьем в подклеток
 С обрядой, с жалкой плачией
 И с теплою мирской свечой,
 Над ними избу запалить,
 Чтоб не досталось волку в сыть!

* * *

Так погибал Великий Сиг
 Заставкою из древних книг,
 Где Стратилатом на коне
 Душа России, вся в огне,
 Летит ко граду, чьи врата
 Под знаком чаши и креста!
 Иная видится заставка:
 В светелке девушка-чернавка
 Змею под створчатым окном
 Своим питает молоком —
 Горыныч с запада ползет
 По горбылям железных вод!

И третья восстает малюнка:
 Меж колок золотая струнка,

В лазури солнце и луна
 Внимают, как поет струна.
 Меж ними костромской мужик
 Дивится на звериный лик, —
 Им, как услодой, манит бес
 Митяя в непролазный лес!

Так погибал Великий Сиг,
 Сдирая чешую и плавни!..
 Год девятнадцатый, недавний,
 Но горше каторжных вериг!
 Ах, пусть полголовы обрито,
 Прикован к тачке рыбогон,
 Лишь только бы, шелками шиты,
 Дремали сосны у окон!
 Да родина нас оведала
 Черемуховым крылом,
 Дымился ужин рыбьим салом,
 И ночь пушистым глухарем
 Слетала с крашенных полатей
 На осьмерых кудрявых братий,
 На становитых зятевей,
 Золовок, внуков-голубей,
 На плешь берестяную деда
 И на мурлыку-тайноведа...
 Он знает, что в тяжелой скрыне,
 Сладимым родником в пустыне,
 Бьют матери тепло и ласки...
 Родная, не твои ль салазки,
 В крови, изгрызены пургой,
 Лежат под Чертовой Горой?!

Загибла тройка удалая,
 С уздой татарская шлея,
 И бубенцы — дары Валдая,
 Дуга моздокская лихая, —
 Утеха светлая твоя!

«Твоя краса меня сгубила», —
 Певал касимовский ямщик,
 Пусть неотпетая могила
 В степи ненастной и уньлой
 Сокроет ненаглядный лик!

Калужской старою дрогой,
 В глухих олонцевских лесах
 Сложилось тайн и песен много
 От сахалинского острога
 До звезд в глубоких небесах!

Но не было напева краше
 Твоих метельных бубенцов!..
 Пахнуло молодостью нашей,
 Крещенским вечером с Парашей
 От ярославских милых слов!

Ах, неспроста душа в ознобе,
 Матерой стаи чуя вой!
 Не ты ли, Пашенька, в сугробе,
 Как в неотпетом белом гробе,
 Лежишь под Чертовой Горой?

Разбиты писанные сани,
Издых ретивый коренник,
И только ворон на-заране,
Шпряя клювом в мертвой ране,
Гнусавый испускает крик!

Лишь бубенцы — дары Валдая
Не устают в пурговом сне
Рыдать о солнце, птичьей стае
И о черемуховом мае
В родной далекой стороне!

* * *

Кто за что, а я за двоперстье,
За байку над липовой зыбкой...
Разгадано ль русское безвестье
Пушкинской Золотою рыбкой?

Изловлены ль все павлины,
Финисты, струфокамылы
В кедровых потемках овина,
В цветике у маминой могилы?

Погляди на золотые сосны,
На холмы — праматерние груди!
Хорошо под гомон сенокосный
Побродить по Припяти и Чуди, —

Окунать усы в красные жбаны
С голубой татарскою поливой,
Слушать ласточек, и раным-рано
Пересуды пчел над старой сливой. —

«Мол, кряжисты парни на Воляни,
Как березки, девушки на Вятке»...
На певущем огненном павлине
К нам приедут сказки и загадки.

Сядет Суздаль за лазорь и вапу,
Разузорит Вологда коклюшки...
Кто за что, а я за цап-царапу,
За котягу в дедовской избушке.

* * *

Мне революция не мать, —
Подросток смуглый и вихрастый,
Что поговоркою горластой
Себя не может рассказать!
Вот почему Сезанн и Суслов
С индийской вязью теремов
Единорогом роют русло
Средь брынских гатей и лесов.
Навстречу Вологда и Вятка,
Детинцы Пскова, Костромы...
Гоген Рублеву не загадка,
Матисс — лишь ясно от каймы
Моржовой самоедской прялки...
Мы — шуры, нежити, русалки,
Глядим из лазов, дупел, тьмы
В чужую пестроту народов

И электрических восходов,
Как новь румяных корнеплодов,
Дождемся в маревах зимы!

Чу! Голос из железных губ!
Уселись чуйка и тулуп
С заморским гостем побалакать,
И лыковой ноздрею лапоть
Чихнул на доброе здоровье...
Напудрен нос у Парасковьи,
Вавилу молодит Оксфорд.
Ах, кто же в свято-русском тверд —
В подблюдной песне, алконосте?!
Молчат могилы на погосте
И тучи вечные молчат. —
Лишь ты смеешься на закат,
Вихраст и смугло-золотист,
Неисправимый коммунист,
Осьмнадцатой весной вспоенный,
«Вставай, проклятьем заклейменный»,
Тебе как бабушке романс,
Что полюбил пастушку Ганс,
Ты ж — бороду мою, как знамя,
Бурлацкий сказ, плоты на Каме,
Где вещей Суслов и Сезанн
Глядятся радугой в туман
Новорожденных вод и поля...
Ах, чайка с Камы, милый Толя,
Мне революция не мать,
Когда б тебя не вспоминать!

1932

* * *

Стариком, в лохмотья одетым,
Притащусь к домовою ограде...
Я был когда-то поэтом,
Подайте на хлеб Христа ради!

Я скоротал все проселки,
Придорожные пни и камни...
У горничной в плоской наколке
Боязливо спрошу: «Куда мне?»

В углу шарахнутся трости
От моей обветренной палки,
И хихикнут на деда-гостя
С дорогой картины русалки.

За стеною Кто и Не знаю
Закинут невод в Чужое...
И вернусь я к нищему раю,
Где бог и древо печное.

Под смоковницей солодовой
Умолкну, как Русь, навеки...
В мое бездонное слово
Канут моря и реки.

Домовину оплачет баба,
Назовет кормильцем и ладой...

В листопад рябины и граба
Уныла дверь за оградой.

За дверью пустые сени,
Где бродит призрак костлявый,
Хозяин Сергей Есенин
Грустит под шарманку славы.

ИЗ ЦИКЛА «РАЗРУХА»
ПЕСНЯ ГАМАЮНА

К нам вести горькие пришли,
Что зыбь Арала в мертвой тине,
Что редки аисты на Украине,
Моздокские не звонки ковыли,
И в светлой Саровской пустыне
Скрипят подземные рули!
Нам тучи вести занесли,
Что Волга синяя мелеет,
И жгут по Керженцу злодеи
Зеленохвойные кремли,
Что нивы суздальские, тлея,
Родят лишайник да комли!
Нас окликают журавли
Прилетной тягою в последки.
И сгибли зябликов наседки
От колтуна и жадной тли,
Лишь сыроежкам многолетки
Хрипят косматые шмели!
К нам вести черные пришли,
Что больше нет родной земли,
Как нет черемух в октябре,
Когда потемки на дворе
Считают сердце колуном,
Чтобы согреть продрогший дом,
Но не послушны колуну,
Поленья воют на луну.
И больно сердцу замирать,
А в доме друг, седая мать...
Ах, страшно песню распинать!
Нам вести душу обожгли,
Что больше нет родной земли,

Что зыбь Арала в мертвой тине,
Замолк Грицько на Украине,
И Север — лебедь ледяной —
Истек бездомною волной,
Оповещающая корабли,
Что больше нет родной земли!

* * *

Есть две страны; одна —
Больница,
Другая — Кладбище, меж них
Печальных сосен вереница,
Угрюмых пихт и верб седых!

Блуждая пасмурной опушкой,
Я обронил свою клюку
И заунывною кукушкой
Стучусь в окно к гробовщику:

«Ку-ку! Откройте двери, люди!»
«Будь проклят, полуночный пес!
Кому ты в глиняном сосуде
Несешь зарю апрельских роз?!

Весна погибла, в космы сосен
Вплетает вьюга седину...»
Но, слыша скрежет ткацких
кросен,
Тянусь к зловещему окну.

И вижу: тетушка Могила
Ткет желтый саван, и челнок,
Мелькая птицей чернокрылой,
Рождает ткань, как мерность
строк.

В вершинах пляска ветродуев,
Под хрип волчицыной трубы.
Читаю нити: «Н. А. Клюев, —
Певец олонецкой избы!»

25 марта 1937

МИХАИЛ ПУСТЫНИН

1884, Одесса—1966, Москва

Подлинная фамилия — М. Я. Розенблат; печатался также под псевдонимами: Дарвалдай, Недотыкомка, Такой-Сякой и др. Родился в Одессе, с 1905 года жил в Петербурге. После революции печатался в окнах РОСТА; последнюю книгу «Сучки и задорняки» издал в 1955 году. Вспомнил ли автор свое юношеское стихотворение о цензуре дореволюционной, после того как его взяла за глотку цензура «революционная»?!

ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ

Нам цензор встарь давал «уроки»,
Но как бы цензор ни был строг —
В статьях обычно были строки,
И мы читали между строк.

Теперь беру газет я груды,
Но в них зияют «островки»: —
Как между строк читать я буду
Статью, в которой — ни строки?..

1915

АРСЕНИЙ АЛЬВИНГ

1885, с. Перово, близ Москвы—1942, Москва

Псевдоним Арсения Алексеевича Смирнова, чье имя в литературе уцелело едва ли не по той единственной причине, что уже в наши дни его объявил своим литературным наставником Генрих Сапгир, а также благодаря его переводу бодлеровских «Цветов зла» (1908). Он печатался в альманахах и журналах до середины 20-х годов, книги стихов так и не издал. В конце 30-х годов мы находим его имя в качестве редактора поэтических сборников, издававшихся на БАМлаге для лагерных же библиотек. Подборка неизданных стихотворений поэта появилась в составленной М. Гаспаровым и рядом других ученых антологии «Русская поэзия серебряного века», вышедшей в Москве в 1993 году. М. Гаспаров справедливо указывает, что Альвинг «воспроизводил поэтику Анненского безукоризненно».

БЕССОННИЦА

(6-я, жабыя)

Охмелеть без вина бы,
Да и нету вина.
Знаю, там вот у жабы
Золотая спина.

Надо ж глиняной твари,
Как и нам, помечтать
О любви и о паре
Ей, зеленой, подстать...

Ну, уж нет, извините;
Нет для пепельниц пар,
Хоть бессонные нити
И свивает угар...

И хоть в жарких подушках
Не свежа голова,

Но смешны о лягушках
Нам такие слова.

Бросим глупые жмурки —
Жабе, жабе ли страсть,
Коль ей надо окурки
Собирать в свою пасть...

Ну, а нам в одеяло б,
Да, не мучая глаз,
Без кошмаров и жалоб
Задремать хоть на час.

Ну, а нам охмелеть бы,
Охмелеть без вина,
Чтоб бессонные ведьмы
Не похитили сна.

1923

ЕВГЕНИЙ БРАЖНЕВ

1885, Донская обл.—1937(?)

Настоящее имя — Евгений Андреевич Трифонов. Член РСДРП с 1903 года. Участвовал в ростовском восстании. Отбыл 10 лет каторги, освобожден Февральской революцией. Был комдивом 9-й кавдивизии Донской области, воевал с басмачами в Средней Азии. Еще до революции выпустил книгу стихов «Буйный хмель». Участвовал в литературной группе «Кузница». Выступал как прозаик.

СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ

Я ошибок, как встарь, не боюсь
И, как прежде, желаний не прячу.
Но от радости я не заплачу
И над горем уже не смеюсь.
Вижу молодость в дальней стране:
Поступь смелая, буйные косы...
То ли блеск черных глаз, то ли
слезы...

Или плачет тайком обо мне?
Где-то в мире есть сердце одно.
Где-то сердце строптивное бьется...
Да под небом чужим не сожмется,
За меня не сожмется оно!
Я удачей ни с кем не делюсь,
Я размыкаю сам неудачу.
Но от радости я не заплачу
И над горем уже не смеюсь.

1916, Киренская тюрьма

ЕВГЕНИЙ ВЕНСКИЙ

6.1.1885, с. Темирсяны Симбирской губ.— 1943, Красноярский край

Псевдоним Евгения Осиповича Пяткина, популярнейшего сатирика и пародиста начала века, «сатирик-конца». Еще в детстве был за стихотворчество выгнан из сызранской бурсьы. С 1902 года стал печататься. Во время гражданской войны бежал на юг России, в 1921 году в Краснодаре — годом раньше этот город еще называли Екатеринодаром — вышла книжка Венского «Буржуй в переплете». От «советского» периода Венского осталась главным образом легенда о том, что это его изобразили Ильф и Петров в образе поэта Никифора Ляписа, пишущего бесконечную «Гаврилиаду». Ну, еще три тонкие книжки. Осенью 1942 года Пяткин-Венский был арестован в Москве, а выданная после войны казенная справка сообщила, что умер он в Красноярском крае от дистрофии 4 сентября 1943 года.

АРЕСТ... ТЬФУ, АКАДЕМИЧЕСКАЯ

Две пары портянок
Да пара котов,
Кандалы надеты,—
Д'я в Сибирь готов...

Белая подкладка,
Голубой картуз,
Бравая ухватка,
Штрипки у рейтуз;

На лице отвага
И на лбу — «мон черг»¹;
По панели шпага,
Где-то револьвер.

Как у мериноса,
Ляжки позади.
Двадцать три доноса
В преданной груди.

С Шурой у «Эрнеста»
Триста суток в год.

Вдруг зовут «на место» —
«Задурил народ».

Раз опять свобода,
Роты на мосту —
Значит, стой у входа
Честно на посту.

Тихо, смирно, гладко
Льет профессор речь.
Нужно для порядка
Лекцию сберечь.

Чудная наука —
Римские права:
Не понять ни звука,
Пухнет голова.

С неба упадают
Звезды и чины...

.....
Сколько пропадает
Даром ветчины!

1912

ГЕОРГИЙ ВЯТКИН

1885, Омск—1941

Родился в семье урядника Омской казачьей станицы. Автор пятнадцати книг стихов, романист, новеллист. В 1912-м Горький писал: «Вот Вяткин у вас поэт! Читаю его стихи, и так хорошо на душе. Родные стихи». Взаимоотношения с революцией у Вяткина были непростые. Вышедшая в 1917 году книга так и называлась: «Опечаленная радость». Даже через много лет после гражданской войны — в 1985 году автор предисловия к юбилейному изданию Вяткина написал так: «Убежденная беспартийность, осложненная религиозностью и отдаленностью от людей революции, привела Вяткина к тому, что он в критический момент оказался в чужом народу стане». Приводимое стихотворение было напечатано в 1913 году «Сатириконом», однако звучало и звучит современно.

ПЯТЫЙ

Загадочная картинка

Сошлись случайно, как бывает всегда
(Не в этом ли наша беда?),
Земский статистик,
Писатель-мистик,
Фотограф,

Этнограф,
А пятый... черт знает кто.

Постояли пятнадцать минут у буфета
И прошли в читальный зал,
Там статистик к чему-то сказал,
Что не любит поэзии Фета,
И прибавил притом,
Что поэт должен быть гражданином...
Согласились с ним молча. Потом
Пробежали газету,

¹ Мой дорогой (франц.).

Подходили к буфету,
Играли в карты, в бикс и в лото:
Земский статистик,
Писатель-мистик,
Фотограф,
Этнограф,
И пятый — черт знает кто.

Играли небрежно, все спорили больше:
О турках и сербах, о Вене и Польше,
О русской публике,
О китайской республике
И о том, что пора бы и нам по примеру Китая...
Так, волнуясь, вскипая и тая...

И, вновь зарядясь у буфета,
Просидели почти до рассвета.
А на завтра был обыск у мистика
И статистика,
У фотографа
И этнографа.

.....
Так всю жизнь и играем,
И не только в карты, бикс и лото:
Четверо добрых знакомых, которых мы
знаем,
А пятый — черт знает кто.

1913

АЛЕКСАНДР ГОМОЛИЦКИЙ

1885(?)—(?)

Фигура малоисследованная; он был постоянным автором сатирических журналов и печатался под многими псевдонимами в «Будильнике», «Искре», «Осколках».

ПАНТЕЛЕЙ

Мужичок Пантелей,
Ты господ пожалей,
Посмотри, как изводятся бедные:
Все хотят доказать,
Что тебе голодать
Элементы советуют вредные...
Что любой недород
Только пользу дает,—
Рожь в цене в эти дни поднимается,
И, сбывая зерно
Не спеша и умно,
Наш крестьянин при том наживается...

Что, нажив на зерне,
Он доволен вполне,—
Ведь с деньгами — пируй хоть до ноченьки...
Не стони же, чудак,
Не ворчи натошак:
«Голодать, дескать, нет больше моченьки!»
Пантелей-мужичок
Пред иконою лег,
Белый саван надел для опрятности...
Мужичок Пантелей,
Ты господ пожалей,—
Ты помрешь, а ведь им — неприятности!!!

1912

СОФИЯ ДУБНОВА-ЭРЛИХ

1885—1986

Прожила более ста лет. Она была дочерью Дубнова, известного автора «Истории еврейского народа», жена коммуниста Эрлиха, расстрелянного Сталиным. Печаталась еще до революции, эмигрировала, в старости у нее открылось второе дыхание, лучшие стихи созданы ею после 1945 года, а итоговая книга — «Стихи разных лет» — вышла в Нью-Йорке в 1973 году, когда поэтессе было 88. Но она писала и позже.

СПОР С ПОЭТОМ

Блажен, кто посетил сей мир...

Ф. Тютчев

О нет, история страшней,
Чем нам, доверчивым, казалось,
Чем думал тот, кто древний хаос
В полночной слышал тишине.

В разрытой, выжженной степи
Почили остовы нагие:
Их тоже звали всеблагие,
Как собеседников на пир.

1945, Нью-Йорк.

МУНИ

1885, Рыбинск—1916, Минск

Псевдоним Самуила Викторовича Кисина, чье имя в литературе бережно сохранено его близким другом, Владиславом Ходасевичем, написавшим о нем обширные воспоминания в своем «Некрополе». Кисин родился в Рыбинске, в 1909 году женился на Лидии Брюсовой, сестре поэта Валерия Брюсова. По словам Ходасевича, «писал он стихи, рассказы, драматические вещи. В сущности, ничто ни разу не было доведено до конца: либо он просто бросал, либо не дорабатывал в смысле качества. Все, что он писал, было хуже, чем он мог написать». Свою книгу стихотворений он хотел назвать «Легкое бремя», в 1917 году она была подготовлена к печати, но так и не вышла, а затем след его архива затерялся; в наши дни он все-таки отыскался у дочери поэта. 22 марта 1916 года в приступе тяжелой депрессии покончил с собой. Ходасевич считал, что сам он обязан Муни не только дружбой, но и строжайшей критикой стихов.

* * *

Так ты, бесчарная Цирица...

Баратынский

Пусть дни идут. И вестью дальней вея,
 Меня настигла хладная струя.
 И жизнь моя — бесчарная Цирица
 Пред холодом иного бытия.

О жизнь моя! Не сам ли корень *моли*
 К своим устам без страха я поднес.

И вот теперь — ни радости, ни боли,
 Ни долгих мук, ни мимолетных слез.

Ты, как равнина плоская, открыта
 Напору волн и вою всех ветров.
 И всякая волна — волна Коцита,
 И всякий ветер — с Летейских берегов.

1911

СОФИЯ ПАРНОК

1885, Таганрог—1933, с. Каринское под Москвой

Родилась в семье провизора и владельца таганрогских аптек. Училась в Женевской консерватории, жила в семье Плеханова. По возвращении в Россию поступила на юридический, вышла замуж за литератора М. Волькенштейна. Ее брат — поэт Валентин Парнах. Цветаева посвятила своим сложным отношениям с Парнок цикл «Подруга» и эссе «*Mon frere feminine*». Ходасевич в некрологе написал: «Ею было издано много книг, неизвестных широкой публике — тем хуже для публики».

* * *

Да, я одна. В час расставанья
 Сиротство ты душе предрек.
 Одна, как в первый день созданья
 Во всей вселенной человек!

Но, что сулил ты в гнев суетном,
 То суждено не мне одной,—
 Не о сиротстве ль повествует нам
 Признанья тех, кто чист душой.

И в том нет высшего, нет лучшего,
 Кто раз, хотя бы раз, скорбя,
 Не вздрогнул бы от строчки Тютчева:
 «Другому как понять тебя?»

* * *

Об одной лошаденке чалой
 С выпяченными ребрами,
 С подтянутым, точно у гончей,
 Вогнутым животом.

О душе ее одичалой,
 О глазах ее слишком добрых,
 И о том, что жизнь ее кончена,
 И о том, как хлещут кнутом.

О том, как седеют за ночь
 От смертельного одиночества.
 И еще — о великой жалости
 К казнимому и палачу...

А ты, Иван Иванович,
 — Или как тебя по имени, по отчеству —
 Ты уж стерпи, пожалуйста:
 И о тебе хлопочу.

4—6 октября 1927?

* * *

Не хочу тебя сегодня.
 Пусть язык твой будет нем.
 Память, суетная сводня,
 Не своди меня ни с кем.

Не мани по темным тропкам,
 По оставленным местам
 К этим дерзким, этим робким
 Зацелованным устам.

С вдохновеньем святотатцев
 Сердце взрыла я до дна.
 Из моих любовных святцев
 Вырываю имена.

СЕРГЕЙ СОЛОВЬЕВ

1885, Москва—1942, Казань

Был внуком прославленного историка и племянником не менее прославленного поэта-философа. В 1907 году вышла его первая книга стихотворений «Цветы и лады», вызвавшая ядовитую эпиграмму Бориса Садовского: «Славный внук, знаменитый племянник, Соловьев, наш поэт и зоял — замесил он на ладае пряник и цветами его начинил». В самом деле, «ранний» Сергей Соловьев обещал стать одним из многих «младших символистов» — и не более того. В 1916 году он стал священником, в 1920-е годы перешел в католичество и стал католическим священником восточного обряда. В 1931 году он был арестован, в тюрьме заболел тяжелой душевной болезнью; в 1941 году вместе с пациентами больницы им. Кащенко был эвакуирован в Казань, где и умер 2 марта 1942 года; хотя в его болезни были просветления, но к литературе поэт уже не возвратился. Самое ценное в его наследии — стихи, написанные с 1918 по конец 1920-х годов, не были известны никому до самого последнего времени (тексты хранились у дочерей поэта). Из «младшего символиста» Сергей Соловьев стал летописцем страшной гражданской войны, вслед за Максимилианом Волошиным, в чьем доме в Коктебеле гостил неоднократно.

НА РАЗВАЛИНАХ

На петлях ржавых не скрипят ворота,
И не блестит из-за прибрежных ив
Пруд, превратившийся в стоячее болото,—
Когда-то синевой сверкающий залив.

Заглохли цветники, и розы одичали,
В шиповник превратятся. Одни ползут вьюны,
Да высоко стоят кусты ивана-чая
У истлевающей разрушенной стены.

Где прежде дом стоял, трех поколений зритель,
Крапива разрослась на горах кирпича...
Но в рощах, как и встарь, летает дух-хранитель.
Слова утешные мне на ухо шепча.

Зеленый, влажный мир! Когда-то заколдован
Ты предо мной лежал, и, к этим берегам
Магической силою прикован,
Я гимны пел твоим богиням и богам!

Я взором пил лазурь в тени глухого сада,
Молясь на бабочек, на изумрудный мох...
Из каждого дупла смеялась мне дриада,
И в каждом всплеске волн я слышал нежный
вдох.

Примолкли вы теперь, растительные души,
Ловившие меня в мгновенный плен...

Чем далее иду, тем диче все и глуше.
Трава доходит до колен.

И, устремляясь вверх от мусора и глины,
Как бы навек презревши прах,
Купают ели-исполины
Свои вершины в небесах.

Суровые друзья, вы верно сторожили
Приют семейных нег, искусства и наук,
Где мой отец, мой дед, уснувшие в могиле,
Страдали, мыслили — теперь идет их внук.

Иссякли родники, на месте роз — шиповник,
Одни лишь вы остались те ж.
И на свиданье к вам пришел я, как любовник,
Под сумрак ваш, который вечно свеж.

Нетленна зелень вашей хвои.
И как слеза чиста прозрачная смола
На вековой коре. Крушенье роковое
Лишь ваша мощь пережила.

Так и в душе моей ни роз, ни струйной влаги,
Но из развалин, глины и песка,
Как вы, могучая и полная отваги,
Восходит мысль в лазурь, за облака.

4 февраля 1925

Надовражино

СУСАННА УКШЕ

1885—1945

По профессии педагог-криминалист, автор научных трудов по детской преступности. Свободно владея шестью языками, переводила для издательства «Academia» Петрарку, Сервантеса, Кальдерона. Принадлежала к поэтической группе «неоклассиков», считала себя «гумилевкой». После 1929 года стихи не печатала.

* * *

Жестокий век! Великий и кровавый!
 Когда земля вздымалась от могил,
 И каждый день венчался новой славой,
 И каждый день безумно хоронил.
 Заговорили все свинцом и сталью,
 И вот войной пошел на брата брат.
 И дети улыбаться перестали,
 И утром каждый солнцу был не рад.

И разучились мы смотреть на небо,
 И по ночам мы не видали звезд,
 И каждый грезил о кусочке хлеба,
 О теплой ласке разоренных гнезд.
 И все узнали нищету и холод,
 Решетку, дуло черное в упор,
 И небывалый, нестерпимый голод,
 И страх безумия, и мрак, и мор.

30-е годы

ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ

1885—1922

Псевдоним Виктора Хлебникова.

Шкловский в знаменитой книге «Гамбургский счет» писал, сравнивая истинное положение вещей в литературе с истинным соотношением сил профессиональных борцов, которые состязались при закрытых дверях в Гамбурге: «По гамбургскому счету — Хлебников чемпион». Маяковский когда-то выразился так: «Хлебников не поэт для потребителя, Хлебников — поэт для производителя». Одержимый стихией языка, магией словотворчества, идеями слияния математики и искусства, Хлебников скитался по земле, как дервиш, не имея собственной крыши и набивая наволочки черновиками стихов. Хлебников своими лабораторными поисками подготавливал почву для многих прорывов Маяковского в новую форму, и частично для Пастернака. Гениальность Хлебникова несомненна, хотя многое в его поэзии хаотично, несобранно. Феноменальные строки соседствуют иногда со смысловыми провалами. Однако Маяковский, к счастью, оказался не совсем прав в своей высокой, но слишком профессионально зауженной оценке Хлебникова. Сегодня Хлебников перестает быть поэтом только «для производителя», и в душах многих читателей поэзии — вовсе не профессиональных литераторов — живет Хлебников, попавший даже на экран телевидения. Этот дервиш, называвший себя Председателем земного шара, никогда не изменял поэзии и оказался, хотя и запоздало, награжденным любовью читателей.

* * *

Бобэоби пелись губы,
 Вээоми пелись взоры,
 Пиээо пелись брови,
 Лизээй — пелся облик,
 Гзи-гзи-гээо пелась цепь.
 Так на холсте каких-то соответствий
 Вне протяжения жило Лицо.
 <1908—1909>

Как текучая вода.
 В гибком зеркале природы
 Звезды — невод, рыбы — мы,
 Боги — призраки у тьмы.

<1915>

КОРМЛЕНИЕ ГОЛУБЯ

Мне мало надо!
 Краюшку хлеба
 И капля молока.
 Да это небо,
 Да эти облака!
 <1912, 1922>

Вы пили теплое дыхание голубки,
 И, вся смеясь, вы наглцом его назвали.
 А он, вложив горбатый клюв в накрашенные
 губки
 И трепеща крылом, считал вас голубем?
 Едва ли!

* * *

Годы, люди и народы
 Убегают навсегда,

И стая иволог летела,
 Как треугольник зорь, на тело.
 Скрывая сумраком бровей
 Зеркала утренних морей.

Те низко падали, как пенie царей.
 За их сияющей соломой,
 Как воздухом погоды золотой,
 Порою вздрагивал знакомый
 Холма на землю лёт крутой.
 И голубя малиновые лапки
 В причёске пышной утопали.
 Он прилетел, осенне-зябкий.
 Он у товарищей в опале.

1919—1920

ОДИНОКИЙ ЛИЦЕДЕЙ

И пока над Царским Селом
 Лилось пенье и слезы Ахматовой,
 Я, моток волшебницы разматывая,
 Как сонный труп, влачился по пустыне,
 Где умирала невозможность,
 Усталый лицедей,
 Шагая напролом.
 А между тем курчавое чело
 Подземного быка в пещерах темных
 Кроваво чавкало и кушало людей
 В дыму угроз нескромных.
 И волей месяца окутан,
 Как в сонный плащ, вечерний странник
 Во сне над пропастями прыгал
 И шел с утеса на утес.
 Слепой, я шел, пока
 Меня свободы ветер двигал
 И бил косым дождем.
 И бычьью голову я снял с могучих мяс и кости
 И у стены поставил.
 Как воин истины я ею потрясал над миром:
 Смотрите, вот она!
 Вот то курчавое чело, которому пылали раньше
 толпы!

И с ужасом
 Я понял, что я никем не видим,
 Что нужно сеять очи,
 Что должен сеятель очей идти!

Конец 1921 — начало 1922

НЕ ШАЛИТЬ

Эй, молодчики-купчики,
 Ветерок в голове!
 В пугачевском тулупчике
 Я иду по Москве!
 Не затем высока
 Воля правды у нас,
 В соболях — рысак
 Чтоб катались, глумясь.
 Не затем у врага
 Кровь лилась по дешевке,
 Чтоб несли жемчуга
 Руки каждой торговки.
 Не зубами — скрипеть

Ночью долгою —
 Буду плыть, буду петь
 Доном-Волгою!
 Я пошлю вперед
 Вечеровые устроги.
 Кто со мною — в полет?
 А со мной — мои други!

Февраль 1922

* * *

Еще раз, еще раз,
 Я для вас
 Звезда.
 Горе моряку, взявшему
 Неверный угол своей ладьи
 И звезды:
 Он разобьется о камни,
 О подводные мели.
 Горе и вам, взявшим
 Неверный угол сердца ко мне:
 Вы разобьетесь о камни,
 И камни будут надсмехаться
 Над вами,
 Как вы надсмехались
 Надо мной.

Май 1922

ИЗ ПОЭМЫ
«НОЧЬ В ОКОПЕ»

И пусть конина продается,
 И пусть надсмешливо смеется
 С досок московских переулков
 Кривая конская головка, —
 Клянусь кониной, мне сдастся,
 Что я не мышь, а мышеловка.
 Цветы нужны, чтоб скрасить гробы,
 А гроб напомнит: мы — цветы...
 Недолговечны, как они.
 Чтоб путник знал о старожиле,
 Три девы степи сторожили.
 Как жрицы радостной пустыни.
 Но руки каменной богини,
 Держали ног суровый камень.
 Они зернистыми руками
 К ногам суровым опускались,
 И плоско мертвыми глазами
 Былых таинственных свиданий
 Смотрели каменные бабы.
 Смотрело
 Каменное тело
 На человеческое дело.
 «Где тетива волос девичьих,
 И гибкий лук в рост человека,

И стрелы длинные на перьях птичьих,
И девы бурные моего века?» —
Спросили каменной богини
Едва шептавшие уста.
И черный змей, завит в кольцо,
Шипел неведомо кому.
Тупо животное лицо
Степной богини. Почему
Бойцов суровые ладони
Хватают мертвых за виски,
И алоратные полки
Летят веселием погони?
Скажи, суровый известняк,
На смену кто войне придет?
— Сыпняк.

Весна 1920

ИЗ ПОЭМЫ
«ЛАДОМИР»

И замки мирового торго,
Где бедности сияют цепи,
С лицом злорадства и восторга
Ты обратишь однажды в пепел.
Кто изнемог в старинных спорах,
И чей застенок там на звездах,
Неси в руке гремучий порох —
Зови дворец взлететь на воздух.
И если в зареве пламен
Уж потонул клуб дыма сизого,
С рукой в крови взамен знамени
Бросай судьбе перчатку вызова.
И если меток был костер
И взвился парус дыма синего,
Шагай в пылающий шатер,
Огонь за пазухою — вынь его.
И где ночуют барыши,
В чехле стекла, где царский замок,
Приемы взрыва хороши,
И даже козни умных самок,
Когда сам Бог на цепь похож,
Холоп богатых, где твой нож?
О, девушка, души косою
Убийцу юности в часы свидания
За то, что девою босою
Ты у него молила подаяния.
Иди кошачею походкой,
От нежной полночи чиста.
Больная, поцелуй чахоткой
Его в веселые уста.
И ежели в руке желез нет —
Иди к цепному псу,
Целуй его слюно.
Целуй врага, пока он не исчезнет.
Холоп богатых, улю-лю,
Тебя дразнила нищета,
Ты полз, как нищий, к королю
И целовал его уста.
Высокой раною болея,
Снимая с зарева засов,
Хватай за ус созвездье Водолея,

Бей по плечу созвездье Псов!
И пусть пространство Лобачевского
Летит с знамен ночного Невского.
Это шествуют творяне,
Заменявши Д на Т,
Ладомира соборяне
С Трудомиром на шесте.
Это Разина мятеж,
Долетев до неба Невского,
Увлекает и чертеж
И пространство Лобачевского.
Пусть Лобачевского кривые
Украсят города
Дугою над рабочей выей
Всемирного труда.
И будет молния рыдать,
Что вечно носится слугой,
И будет некому продать
Мешок, от золота тугой.

.....
Черти не мелом, а любовью,
Того, что будет, чертежи.
И рок, слетевший к изголовью,
Наклонит умный колос ржи.

22 мая 1920, 1921

НОЧЬ ПЕРЕД СОВЕТАМИ
(отрывок)

<4>

Пришла и шепчет:
«Барыня, а барыня!» —
«Ну что тебе, я спать хочу!» —
«Вас скоро повесят!
Хи-их-хи! Их-хи-хи!
За отцов, за грехи!»
Лицо ее серо, точно мешок,
И на нем ползал тихо смешок!
«Старуха, слушай, пора спать!»

Иди к себе!
Я спать хочу!»
Белым львом трясется большая седая голова.
«Ведьма какая-то,
Она и святого взбесит».
«Барыня, а барыня!» —
«Что тебе?» —
«Вас скоро повесят?»
Барин пришел. Часы скрипят.
Белый исчерченный круг.
«Что у вас такое. Опять?» —
«Барин мой миленький,
Я на часы смотрю,
Наверное, скоро будет десять!» —
«Прямо покоя нет.
Ну что это такое:
Приходит и говорит,
Что завтра меня повесят».

Осень 1921

ВОЗЗВАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
ЗЕМНОГО ШАРА

Только мы, свернув *ваши* три года войны
В один завиток грозной трубы,
Поем и кричим, поем и кричим,
Пьяные прелестью той истины,
Что Правительство земного шара
Уже существует.
Оно — Мы.
Только мы нацепили на свои лбы
Дикие венки Правителей земного шара,
Неумолимые в своей загорелой жестокости,
Встав на глыбу захватного права,
Подымая прапор времени,
Мы — обжигатели сырых глин человечества
В кувшины времени и балакири,
Мы — зачинатели охоты за душами людей,
Воем в седые морские рога,
Скликаем людские стада —
Эго-э! Кто с нами?
Кто нам товарищ и друг?
Эго-э! Кто за нами?
Так пляшем мы, пастухи людей и
Человечества, играя на волынке.
Эво-э! Кто больше?
Эво-э! Кто дальше?
Только мы, встав на глыбу
Себя и своих имен,
Хотим среди моря ваших злобных зрачков,
Пересеченных голодом виселиц
И искаженных предсмертным ужасом,
Около прибоя людского воя,
Назвать и впредь величать себя
Председателями земного шара.
Какие наглецы — скажут некоторые,
Нет, они святые, возразят другие.
Но мы улыбнемся, как боги,
И покажем рукою на Солнце.
Поволоките его на веревке для собак,
Повесьте его на словах:
Равенство, братство, свобода.
Судите его вашим судом судомоек
За то, что в преддверьях
Очень улыбчивой весны
Оно вложило в нас эти красивые мысли,
Эти слова и дало
Эти гневные взоры.
Виновник — Оно.
Ведь мы исполняем солнечный шепот,
Когда врываемся к вам, как
Главноуполномоченные его приказов,
Его строгих велений.
Жирные толпы человечества
Потянутся по нашим следам,
Где мы прошли.
Лондон, Париж и Чикаго
Из благодарности заменят свои
Имена нашими.
Но мы простим им их глупость.

Это дальнейшее будущее,
А пока, матери,
Уносите своих детей,
Если покажется где-нибудь государство.
Юноши, скачите и прячьтесь в пещеры
И в глубь моря,
Если увидите где-нибудь государство.
Девушки и те, кто не выносит запаха мертвых,
Падайте в обморок при слове «границы»:
Они пахнут трупами.
Ведь каждая плаха была когда-то
Хорошим сосновым деревом,
Кудрявой сосной.
Плаха плоха только тем,
Что на ней рубят головы людям.
Так, государство, и ты —
Очень хорошее слово со сна —
В нем есть 11 звуков,
Много удобства и свежести,
Ты росло в лесу слов:
Пепельница, спичка, окурок,
Равный меж равными.
Но зачем оно кормится людьми?
Зачем отечество стало людоедом,
А родина его женой?
Эй! Слушайте!
Вот мы от имени всего человечества
Обращаемся с переговорами
К государствам прошлого:
Если вы, о государства, прекрасны,
Как вы любите сами о себе рассказывать
И заставляете рассказывать о себе
Своих слуг,
То зачем эта пища богов?
Зачем мы, люди, трещим у вас на челюстях
Между клыками и коренными зубами?
Слушайте, государства пространств,
Ведь вот уже три года
Вы делали вид,
Что человечество —
только пирожное,
Сладкий сухарь, тающий у вас во рту;
А если сухарь запрыгает бритвой и скажет:
Мамочка!
Если его посыпать нами,
Как ядом?
Отныне мы приказываем заменить слова
«Милостью Божьей» —
«Милостью Фиджи».
Прилично ли Господину земному шару
(Да творится воля его)
Поощрять соборное людоедство
В пределах себя?
И не высоким ли холопством
Со стороны людей, как едомых,
Защищать своего верховного Едока?
Послушайте! Даже муравьи
Брызгают муравьиной кислотой на язык
медведя.

Если же возразят,
 Что государство пространств не подсудно,
 Как правовое соборное лицо,
 Не возразим ли мы, что и человек
 Тоже двурукое государство
 Шариков кровавых и тоже соборен.
 Если же государства плохи,
 То кто из нас ударит палец о палец,
 Чтобы отсрочить их сон
 Под одеялом: навеки?
 Вы недовольны, о государства
 И их правительства,
 Вы предостерегающе щелкаете зубами
 И делаете прыжки. Что ж!
 Мы — высшая сила
 И всегда сможем ответить
 На мятеж государств,
 Мятеж рабов, —
 Метким письмом.
 Стоя на палубе слова «надгосударство звезды»
 И не нуждаясь в палке в час этой качки,
 Мы спрашиваем, что выше:
 Мы, в силу мятежного права,
 И неоспоримые в своем первенстве,
 Пользуясь охраной законов о изобретении
 И объявившие себя Председателями земного
 шара,

Или вы, правительства
 Отдельных стран прошлого,
 Эти будничные остатки около боев
 Двуногих быков,
 Группной влагой коих вы помазаны?
 Что касается нас, вождей человечества,
 Построенного нами по законам лучей
 При помощи уравнений рока,
 То мы отрицаем господ,
 Именующих себя правителями,
 Государствами и другими книгоиздательствами,
 И торговыми домами «Война и К^о»,
 Приставившими мельницы милого
 благополучия

К уже трехлетнему водопаду
 Вашего пива и нашей крови
 С незащитно красной волной.
 Мы видим государства, павшие на меч
 С отчаяния, что мы пришли.
 С родиной на устах,
 Обмахиваясь веером военно-полевого устава,
 Вами нагло выведена война
 В круг Невест человека.
 А вы, государства пространств, успокойтесь
 И не плачьте, как девочки.
 Как частное соглашение частных лиц,
 Вместе с обществами поклонников Данте,
 Разведения кроликов, борьбы с сусликами,
 Вы войдете под сень изданных нами законов.
 Мы вас не тронем.
 Раз в году вы будете собираться на годовичные
 собрания,

Делая смотр редееющим силам
 И опираясь на право союзов.

Оставляйтесь добровольным соглашением
 Частных лиц, никому не нужным
 И никому не важным,
 Скучным, как зубная боль
 У Бабушки 17 столетия.
 Вы относитесь к нам,
 Как волосатая ного-рука обезьянки,
 Обоженная неведомым богом-пламенем,
 В руке мыслителя, спокойно
 Управляющей вселенной,
 Этого всадника оседланного рока.
 Больше того: мы основываем
 Общество для защиты государств
 От грубого и жестокого обращения
 Со стороны общин времени.
 Как стрелочники
 У встречных путей Прошлого и Будущего,
 Мы так же хладнокровно относимся
 К замене ваших государств
 Научно построенным человечеством,
 Как к замене липового лаптя
 Зеркальным заревом поезда.
 Товарищи-рабочие! Не сетуйте на нас:
 Мы, как рабочие-зодчие,
 Идем особой дорогой, к общей цели.
 Мы — особый род оружия.
 Итак, боевая перчатка
 Трех слов: Правительство земного шара —
 Брошена.
 Перерезанное красной молнией
 Голубое знамя безволода,
 Знамя ветреных зорь, утренних солнц
 Поднято и развеивается над землей,
 Вот оно, друзья мои!
 Правительство земного шара!

Пропуск в правительство звезды:
 Сун-ят-сену, Рабиндранат Тагору,
 Вильсону, Керенскому.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Законы быта да сменяются
 Уравнениями рока.
 Персидский ковер имен государств
 Да сменится лучом человечества.
 Мир понимается как луч.
 Вы — построение пространств,
 Мы — построение времени.
 Во имя проведения в жизнь
 Высоких начал противоденег
 Владельцам торговых и промышленных
 предприятий

Дать погоны прапорщика
 Трудовых войск
 С сохранением за ними оклада
 Прапорщиков рабочих войск.
 Живая сила предприятий поступает
 В распоряжение мирных рабочих войск.

ТИХОН ЧУРИЛИН

1885, Лебедянь Тамбовской губ.—1946, Москва

Был по матери крестьянином, по отцу евреем. Учился в Московском коммерческом институте, печатался с 1907 года. Издал довольно сильную книгу «Весна после смерти» (1915), затем еще одну — «Льву — барс» (1918). В 20-е годы не только бросил литературу, но и гордился этим, считая главной своей работой в области «художественного материализма», а также сочинял агитпамфлеты для театра. В 30-е годы, однако, стихи все-таки стал писать снова, и в 1940 году выпустил сборник «Стихи Тихона Чурилина», в котором опубликовано его стихотворение памяти Велимира Хлебникова, своей бестактностью поражающее даже в наши дни, ибо, по мнению Чурилина, жизнь Хлебникова была испорчена тем, что его «ругали Николай Степаныч, Осип Эмильич и прочая шмара». Эти стихи, где оскорблены расстрелянный Гумилев и замученный в лагере Мандельштам, не делают Чурилина чести. Жаль. Ведь Цветаева назвала его гением. Но ведь «гений и злодейство...». А может, слишком жестоко называть злодейством ослепленность, скоропостижно или постепенно одолевавшую людей в то беспощадное время?

«ВЕСНА ПОСЛЕ СМЕРТИ»

ОДИН

В форточку, в форточку,
Покажи свою мордочку.
Нет — надень прежде кофточку...
Или, нет, брось в форточку марочку...
Нет, карточку —
Где в кофточке, ты у форточки, как
на жердочке.

Карточку!

Нету марочки?

Сел на корточки.

Нету мордочки. Пусто в форточке.

Только попугайчик на жердочке

Прыг, прыг. Сиг, сиг.

Ах, эта рубашка тяжелее вериг

Прежних моих!

1913

ВО МНЕНИЯ

Урод, о урод!

Сказал — прошептал, прокричал мне народ.

Любила вчера

— Краснея призналась Ра.

Ты нас убил!

— Прорыдали — кого я любил,

Идиот!

Изрек диагноз готтентот.

Ну так я —

— Я!

Я счастье народа.

Я горе народа.

Я — гений убитого рода,

Убитый, убитый!

Всмотрись ты —

В лице Урода

Мерцает, мерцает, Тот, вечный лик.

Мой клик

— Кикапу!

На свою, на свою я повел бы тропу.

Не бойтесь, не бойтесь — любуйтесь мной

— Моя смерть за спиной.

1914

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Мой дядя самых честных правил...

Пушкин

Степь, снег, свет

Дневной.

Весь в коре ледяной,

Едет в кибитке поэт

Больной,

Путь последний совершает.

Бледный, бледный,

Безумец наследный.

Кибитку качает...

Свищет, ищет песню свою —

Фффьюю...

Степь, свет, снег белеет.

В небе облак злой зреет

— Буран.

— Кучер пьян, Боже!

Тоже свищет, свищет песню свою:

Фффью, ффью.

— Мой отец богатый выкрест.

Страшный я сынок — антихрист!

— Поэт поет — пьян?

Веет, воет, бьет буран.

На конях, в буран, безумец, едешь ты к отцу,

К своему концу.

1913, Ефремов

КОНЕЦ КИКАПУ

Побрили Кикапу — в последний раз.

Помыли Кикапу — в последний раз.

С кровавою водою таз

И волосы, его.

Куда-с?

Ведь вы сестра?

Побудьте с ним хоть до утра.

А где же Ра?

Побудьте с ним хоть до утра

Вы, обе,
Пока он не в гробе.
Но их уж нет и стерли след прохожие у двери.
Да, да, да, да,— их нет, поэт,— Елены, Ра
и Мери.

Скривился Кикапу: в последний раз.
Смеется Кикапу — в последний раз.
Возьмите же кровавый газ
— Ведь настезь обе двери.

1914

ПЬЯНЫЙ

Средь ночи, во тьме, я плачу.
Руки в крови...
Волосы, платье — в елочных блестках.
Я болен, я болен — я плачу.
Как много любви!
Как жестко, холодно, в елочных блестках
Шее, телу...
Окно побледнело.
Свет, скажи им — ведь руки в крови —
— Я убил от любви.
Ах — гудок в мозг, в слух мне врезался.
Я пошутил — я обрезался.

ЖАР

Красные огни.
Плывут от вывески гарни,
Светящейся — как угли ада:
Отрада.
Вспомнилось гаданье мне,
Вспомнилось — тоскливо мне:
Туз — десятка пик!
Жар велик
Жар во мне,
—Весь в огне.
Сестра сон вспоминала — ...выпал крепкий зуб.
Сестра все мне сказала трепетаньем губ.

Плакала...
Рядом нищая заквакала:
Ква, ква...
Разболелась голова, раскололась голова.
— Два меня.
Плачу, стена,
А-ааа, а-ааа, аа.
Качай, качай, качай — а то в сердце боль.
Стук — солонка... просыпалась соль.
Подожди... подожди, подожди — сам умру, не
неволь.

1914

СМЕРТЬ ЧАСОВОГО

У гауптвахты,
Гау, гау, гау,— уввв... — ах ты... —
Собака воеет глухо, как из шахты.
— Враг ты!
Часовой молодой слушает вой.
Молодой —
Скоро ему домой.
К жене.
А по стене... а по стене... а по стене
Ползет, ползет, как тень ползет во сне.
— Враг.
Б-бабах
— Выстрел — веселый вылетел пламень.
Бах —
Ответ.
Глухой.
Ой —
Светы...
Гаснет, гаснет светлый мой пламень.
Седце твердо, как камень.
Пламень мой... пламень...
Потух, темно.
Снег скрипит... коня провели — к мертвым.
Ноо! но...

1914

НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ

1886, Кронштадт — 1921, Бергардовка под Петроградом

Поэт, легенда о жизни которого во многом была реальностью и сыграла не меньшую роль в его славе, чем сами стихи. Сын военно-морского инженера, он был воспитан в царском лицее под классицистическим крылом Иннокентия Анненского. Изучал философию в Петербургском университете и в Париже с 1907 по 1914-й. Первый муж Анны Ахматовой. Путешествовал по Африке, Ближнему Востоку, Италии. Добровольцем пошел на Первую мировую войну, служил в Русском экспедиционном корпусе в Париже. Вернувшись в 1918 году в Россию, вместе с Горьким возглавил издательство «Всемирная литература», стал председателем Всероссийского союза поэтов после Блока. По известной блоковской метафоре романтическая поэзия Гумилева была похожа на пылью дальних стран, чудом сохранившуюся на перочинном карманном ноже. На молодых фотографиях заметна надменность заносчивого, скрывающего свою неуверенность подростка, старающегося выглядеть старше и опытней, чем на самом деле. Такие мальчики прикасаются к глобусу так же чувственно, как к телу любимой женщины. Психология вечного пятнадцатилетнего капитана. Купер, Майн Рид, Стивенсон, Киплинг, Рембо, Ницше и восточная философия — вот что было ингредиентами гумилевского романтизма. Подчеркнуто мужская поэзия. Гумилеву по-детски нравилось что-то возглавлять. Гумилев возглавлял движение акмеистов, противопоставив четкость, ясность, конкретность символизму, ставя-

щему своей задачей профессионально сработанную смутность. Однако он, как и символисты, иногда поспалывался на излишней приподнятости, красноте. У Гумилева средних стихов нет — либо очень плохие, либо шедевры.

Гумилев, предсказавший свою смерть в стихотворении «Рабочий», был расстрелян за участие в контрреволюционном заговоре. Говорят, что перед расстрелом он запел «Боже, царя храни», хотя никогда не был монархистом. (По свидетельству отца Александра Туришцева, однажды Гумилев остался сидеть и выплеснул шампанское через плечо, когда все вокруг верноподданно вскочили при тосте за Государя Императора.) Гумилев вел себя со своими палачами как истинный заговорщик, — гордо, презрительно. Впоследствии оказалось, что ни в каком заговоре он на самом деле не участвовал. Как можно судить по воспоминаниям Одоевцевой, его, видимо, подвела склонность к разговорчивой таинственности, которой он по-мальчишески щеголял. После антологии Ежова и Шамурина (1925) книги Гумилева долго не переиздавали, однако их можно было найти в букинистических магазинах и в самиздате. Редактор «Огонька» Коротич рассказывал мне, как он был потрясен, когда партийный крутой идеолог Егор Лигачев в своем цеховском кабинете с гордостью показал ему сафьяновый томик самиздатовского Гумилева. Лишь при Горбачеве состоялся пересмотр «дела Гумилева» и с него было полностью снято обвинение в контрреволюционном заговоре, что воскресило его поэзию теперь уже для широкого читателя, но не могло воскресить автора.

ШЕСТОЕ ЧУВСТВО

Прекрасно в нас влюбленное вино
И добрый хлеб, что в печь для нас садится,
И женщина, которую дано,
Сперва измучившись, нам насладиться.

Но что нам делать с розовой зарей
Над холодеющими небесами,
Где тишина и неземной покой,
Что делать нам с бессмертными стихами?

Ни съест, ни вышить, ни поцеловать.
Мгновение бежит неудержимо,
И мы ломаем руки, но опять
Осуждены идти всё мимо, мимо.

Как мальчик, игры позабыв свои,
Следит порой за девичьим купаньем
И, ничего не зная о любви,
Все ж мучится таинственным желаньем;

Как некогда в разросшихся хвощах
Ревела от сознания бессилья
Тварь скользкая, почуя на плечах
Еще не появившиеся крылья;

Так век за веком — скоро ли, Господь? —
Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.

1921

СЛОВО

В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.

И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в выпине.

А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Умное число передает.

Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.

Но забыли мы, что осиянно
Только слово среди земных тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что Слово это — Бог.

Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества.
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.

1921

ПАМЯТЬ

Только змеи сбрасывают кожи,
Чтоб душа старела и росла.
Мы, увы, со змеями не схожи,
Мы меняем души, не тела.

Память, ты рукою великанши
Жизнь ведешь, как под уздцы коня,
Ты расскажешь мне о тех, что раньше
В этом теле жили до меня.

Самый первый: некрасив и тонок,
Полюбивший только сумрак рощ,
Лист опавший, колдовской ребенок,
Словом останавливавший дождь.

Дерево да рыжая собака —
Вот кого он взял себе в друзья,
Память, память, ты не сыщешь знака,
Не уверишь мир, что то был я.

И второй... Любил он ветер с юга,
В каждом шуме слышал звоны лир,

Говорил, что жизнь — его подруга,
Коврик под его ногами — мир.

Он совсем не нравится мне, это
Он хотел стать богом и царем,
Он повесил вывеску поэта
Над дверьми в мой молчаливый дом.

Я люблю избранника свободы,
Мореплавателя и стрелка,
Ах, ему так звонко пели воды
И завидовали облака.

Высока была его палатка,
Мулы были резвы и сильны,
Как вино, впивал он воздух сладкий
Белому неведомой страны.

Память, ты слабее год от году,
Тот ли это или кто другой
Променил веселую свободу
На священный долгожданный бой.

Знал он муки голода и жажды,
Сон тревожный, бесконечный путь,
Но святой Георгий тронул дважды
Пулею не тронутую грудь.

Я — угрюмый и упрямый зодчий
Храма, восстающего во мгле,
Я возревновал о славе Отчей,
Как на небесах, и на земле.

Сердце будет пламенем палимо
Вплоть до дня, когда взойдут, ясны,
Стены Нового Иерусалима
На полях моей родной страны.

И тогда повеет ветер странный —
И прольется с неба страшный свет,
Это Млечный Путь расцвел неожиданно
Садом ослепительных планет.

Предо мной предстанет, мне неведом,
Путник, скрыв лицо; но все пойму,
Видя льва, стремящегося следом,
И орла, летящего к нему.

Крикну я... но разве кто поможет,
Чтоб моя душа не умерла?
Только змеи сбрасывают кожи,
Мы меняем души, не тела.

СЛОНЕНОК

Моя любовь к тебе сейчас — слоненок,
Родившийся в Берлине или Париже
И топающий ватными ступнями
По комнатам хозяина зверинца.

Не предлагай ему французских булок,
Не предлагай ему кочней капустных —

Он может съесть лишь дольку мандарина,
Кусочек сахару или конфету.

Не плачь, о нежная, что в тесной клетке
Он делается посмеяньем черни,
Чтоб в нос ему пускали дым сигары
Приказчики под хохот мидинеток.

Не думай, милая, что день настанет,
Когда, взбесившись, разорвет он цепи
И побежит по улицам, и будет,
Как автобус, давить людей вопящих.

Нет, пусть тебе приснится он под утро
В парче и меди, в страусовых перьях,
Как тот, Великолепный, что когда-то
Нес к трепетному Риму Ганнибала.

* * *

Я, что мог быть лучшей из поэм,
Звонкой скрипкой или розой белою,
В этом мире сделался ничем,
Вот живу и ничего не делаю.

Часто больно мне и трудно мне,
Только даже боль моя какая-то,
Не ездок на огненном коне,
А томленье и пустая маята.

Ничего я в жизни не пойму,
Лишь шепчу: «Пусть плохо мне приходится,
Было хуже Богу моему
И большее было Богородице».

ОСНОВАТЕЛИ

Ромул и Рем взошли на гору,
Холм перед ними был дик и нем.
Ромул сказал: «Здесь будет город».
«Город как солнце», — ответил Рем.

Ромул сказал: «Волей созвездий
Мы обрели наш древний почет».
Рем отвечал: «Что было прежде,
Надо забыть, глянем вперед».

«Здесь будет цирк, — промолвил Ромул, —
Здесь будет дом наш, открытый всем».
«Но нужно поставить ближе к дому
Могильные склепы», — ответил Рем.

У КАМИНА

Наплывала тень... Догорал камин,
Руки на груди, он стоял один,

Неподвижный взор устремляя вдаль,
Горько говоря про свою печаль:

«Я пробрался в глубь неизвестных стран,
Восемьдесят дней шел мой караван;

Цепи грозных гор, лес, а иногда
Странные вдали чьи-то города,

И не раз из них в тишине ночной
В лагерь долетал непонятный вой.

Мы рубили лес, мы копали рвы,
Вечерами к нам подходили львы.

Но трусливых душ не было меж нас,
Мы стреляли в них, целясь между глаз.

Древний я отрыл храм из-под песка,
Именем моим названа река.

И в стране озер пять больших племен
Слушались меня, чтили мой закон.

Но теперь я слаб, как во власти сна,
И больна душа, тягостно больна;

Я узнал, узнал, что такое страх,
Погребенный здесь, в четырех стенах;

Даже блеск ружья, даже плеск волны
Эту цепь порвать ныне не вольны...»

И, тая в глазах злое торжество,
Женщина в углу слушала его.

Я И ВЫ

Да, я знаю, я вам не пара,
Я пришел из иной страны,
И мне нравится не гитара,
А дикарский напев зурны.

Не по залам и по салонам
Темным платьям и пиджакам —
Я читаю стихи драконам,
Водопадам и облакам.

Я люблю — как араб в пустыне
Припадает к воде и пьет,
А не рыцарем на картине,
Что на звезды смотрит и ждет.

И умру я не на постели,
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели,
Утонувшей в густом плюще,

Чтоб войти не во всем открытый,
Протестантский, прибранный рай,
А туда, где разбойник, мытарь,
И блудница крикнут: «Вставай!»

ЗАРАЗА

Приближается к Каиру судно
С длинными знаменами Пророка.

По матросам угадать нетрудно,
Что они с востока.

Капитан кричит и суетится,
Слышен голос, гортанный и резкий,
Меж снастей видны смуглые лица
И мелькают красные фески.

На пристани толпятся дети,
Забавны их тонкие тельца,
Они сошлись еще на рассвете
Посмотреть, где станут пришельцы.

Аисты сидят на крыше
И вытягивают шеи.
Они всех выше,
И им виднее.

Аисты — воздушные маги.
Им многое тайное понятно:
Почему у одного бродяги
На щеках багровые пятна.

Аисты кричат над домами,
Но никто не слышит их рассказа,
Что вместе с духами и шелками
Пробирается в город зараза.

ЖИРАФ

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой
взгляд,
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далеко, далеко на озере Чад
Изысканный бродит жираф.

Ему грациозная стройность и нега дана,
И шкуру его украшает волшебный узор,
С которым равняться осмелится только
луна,
Дробясь и качаясь на влаге широких озер.

Вдали он подобен цветным парусам корабля,
И бег его плавлен, как радостный птичий
полет.
Я знаю, что много чудесного видит земля,
Когда на закате он прячется в мраморный
грот.

Я знаю веселые сказки таинственных стран
Про черную деву, про страсть молодого
вождя,
Но ты слишком долго вдыхала тяжелый
туман,
Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме
дождя.

И как я тебе расскажу про тропический сад,
Про стройные пальмы, про запах
немислимых трав...

Ты плачешь? Послушай... далеко, на озере
Изысканный бродит жираф.

ПОТОМКИ КАИНА

Он не солгал нам, дух печально-строгий,
Принявший имя утренней звезды,
Когда сказал: «Не бойтесь вышней мзды,
Вкусите плод, и будете, как боги».

Для юношей открылись все дороги,
Для старцев — все запретные труды,
Для девушек — янтарные плоды
И белые, как снег, единороги.

Но почему мы клонимся без сил,
Нам кажется, что кто-то нас забыл,
Нам ясен ужас древнего соблазна,

Когда случайно чья-нибудь рука
Две жердочки, две травки, два дровца
Соединит на миг крестообразно?

* * *

У меня не живут цветы,
Красотой их на миг я обманут,
Постоят день-другой и завянут,
У меня не живут цветы.

Да и птицы здесь не живут,
Только хохлятся скорбно и глухо,
А наутро — комочек из пуха...
Даже птицы здесь не живут.

Только книги в восемь рядов,
Молчаливые, грузные томы,
Сторожат вековые истомы,
Словно зубы в восемь рядов.

Мне продавший их букинист,
Помню, был горбатым, и нищим...
...Торговал за проклятым кладбищем
Мне продавший их букинист.

ХОККУ

Вот девушка с газельими глазами
Выходит замуж за американца,
Зачем Колумб Америку открыл?

1917

РАБОЧИЙ

Он стоит пред раскаленным горном,
Невысокий старый человек.
Взгляд спокойный кажется покорным
От миганья красноватых век.

Все товарищи его заснули,
Только он один еще не спит:

Все он занят отливаньем пули,
Что меня с землею разлучит.

Кончил, и глаза повеселели.
Возвращается. Блестит луна.
Дома ждет его в большой постели
Сонная и теплая жена.

Пуля, им отлитая, просвищет
Над седою, вспененной Двиной,
Пуля, им отлитая, отыщет
Грудь мою, она пришла за мной.

Упаду, смертельно затоскую,
Прошлое увижу наяву,
Кровь ключом захлещет на сухую,
Пыльную и мятую траву.

И Господь воздаст мне полной мерой
За недолгий мой и горький век.
Это сделал в блузе светло-серой
Невысокий старый человек.

ЗАБЛУДИВШИЙСЯ ТРАМВАЙ

Шел я по улице незнакомой
И вдруг услышал вороний грай,
И звоны лютни, и дальние громы,—
Передо мною летел трамвай.

Как я вскочил на его подножку,
Было загадкою для меня,
В воздухе огненную дорожку
Он оставлял и при свете дня.

Мчался он бурей темной, крылатой,
Он заблудился в бездне времен...
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон.

Поздно. Уж мы обогнули стену,
Мы проскочили сквозь рошу пальм,
Через Неву, через Нил и Сену
Мы проскочили по трем мостам.

И, промелькнув у оконной рамы,
Бросил нам вслед пытливым взгляд
Нищий старик,— конечно, тот самый,
Что умер в Бейруте год назад.

Где я? Так томно и так тревожно
Сердце мое стучит в ответ:
Видишь вокзал, на котором можно
В Индию Духа купить билет?

Вывеска... Кровью налитые буквы
Гласят: «Зеленная»,— и знаю, тут
Вместо капусты и вместо брюквы
Мертвые головы продают.

В красной рубашке, с лицом, как вымя,
Голову срезал палач и мне,
Она лежала вместе с другими
Здесь, в ящике скользком, на самом дне.

А в переулке забор дощатый,
Дом в три окна и серый газон...
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон!

Машенька, ты здесь жила и пела,
Мне, жениху, ковер ткала,
Где же теперь твой голос и тело,
Может ли быть, что ты умерла?

Как ты стонала в своей светлице,
Я же с напудренной косой
Шел представляться императрице
И не увиделся вновь с тобой.

Понял теперь я: наша свобода
Только оттуда бьющий свет,
Люди и тени стоят у входа
В зоологический сад планет.

И сразу ветер знакомый и сладкий,
И за мостом летит на меня
Всадника длань в железной перчатке
И два копыта его коня.

Верной твердынею православья
Врезан Исакий в вышине,
Там отслужу молебен о здравье
Машеньки и панихиду по мне.

И всё ж навеки сердце угрюмо,
И трудно дышать, и больно жить...
Машенька, я никогда не думал,
Что можно так любить и грустить.

КАПИТАНЫ

(отрывок)

На полярных морях и на южных,
По изгибам зеленых зыбей,
Меж базальтовых скал и жемчужных
Шелестят паруса кораблей.

Быстрокрылых ведут капитаны,
Открыватели новых земель,
Для кого не страшны ураганы,
Кто изведал мальстремы и мель.

Чья не пылью затерянных хартий —
Солью моря пропитана грудь,
Кто иглой на разорванной карте
Отмечает свой дерзостный путь

И, взойдя на трепещущий мостик,
Вспоминает покинутый порт,
Отряхая ударами трости
Ключья пены с высоких ботфорт,

Или, бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвет пистолет,
Так, что сыпется золото с кружев,
С розоватых брабантских манжет.

ИНДЮК

На утре памяти неверной
Я вспоминаю пестрый луг,
Где царствовал высокомерный,
Мной обожаемый индюк.

Была в нем злоба и свобода,
Был клюв его как пламя ал,
И за мои четыре года
Меня он остро презирал.

Ни шоколад, ни карамели,
Ни ананасная вода
Меня утешить не умели
В сознании моего стыда.

И вновь пришла беда большая,
И стыд, и горе детских лет:
Ты, обожаемая, злая,
Мне гордо отвечаешь: «Нет!»

Но все проходит в жизни зыбкой —
Пройдет любовь, пройдет тоска,
И вспомню я тебя с улыбкой,
Как вспоминаю индюка.

АЛЕКСЕЙ КРУЧЕНЫХ

1886, д. Олевка Херсонской губ.—1968, Москва

Невероятно, что этот футурист-долгожитель дожил до года, когда советские танки вторглись в Чехословакию. Футуристы не подозревали, во что может превратиться восторженно призываемая ими революция. Крученых был из крестьян, окончил одесское художественное училище. «Теперь о Крученых начать главу бы...» — так писал Н. Асеев в поэме «Маяковский начинается», связывая имя и судьбу великого поэта, ставшего памятником и кораблями, с именем почти забытого его сподвижника по футуризму, ставшего на старости лет всего-навсего собирателем и торговцем редкими книгами и автографами. Между тем Крученых сам был редким автографом истории — и не только раритетом-загогулиной, раритетом-кляксой. Его знаменитое «Дыр бул шал» прочно приклеилось к его фамилии, ибо вместе с Хлебниковым он лихо шалил заушной поэзией. Как будто провидчески настраиваясь на

свою будущую профессию неофициального букиниста, Крученых навывпускал огромное количество малотиражных книжечек — иногда с собственными рисунками и аппликациями, ныне превратившихся в черно-рыночные драгоценности. Ему же принадлежала идея создать книжку, где многие поэты того времени упражнялись на рифмы к его фамилии. Например, кирсановское «Балеринных икр ученых был не чужд и Крученых». Однако Крученых создавал и серьезные, а подчас и трагические замораживающие произведения, несмотря на зубоскальски пренебрежительное отношение к нему со стороны литературных «пуристов». «Голод» — навеянный кошмарами народного горя в Поволжье — в чем-то близок к хлебниковской фольклорной интонации, полон страдальческого сюрреализма народных «страшных» сказок. «В полночь я заметил», включенное Эльзой Триоле в советскую антологию по-французски, — кафкиански исповедальное, так, что мурашки по коже. Асеев был прав — Крученых заслуживает в истории русской поэзии главы о нем, и уж во всяком случае — избранного.

Пастернак писал во вступлении к одной из книжечек Крученых: «Несколько слов о последнем (об искусстве. — Е. Е.). Ты — на его краю. Шаг в сторону, и ты вне его, т. е. в сырой обывательщине, в которой больше причуд, чем принято думать. Ты — живой кусочек его мыслимой границы...» Точнее не скажешь.

* * *

Дыр бул щил
убещур
скуп
вы со бу
р л эз
1913

* * *

УЕХАЛА!
Как молоток
влетело в голову
отточенное слово,
вколочено напропалую!
— Задержите! Караул!
Не попрощался.
В Кодж оры! —
Бегу по шпалам,
Кричу и падаю под ветер.
Все поезда
проносятся
над онемелым переносьем...

Ты отделилась от вокзала,
покорно сникли семафоры.
Гудел
трепыхался поезд,
горлом
прорезывая стальной воздух.
В ознобе
не попадали
зуб-на-зуб шпалы.
Петлей угарной — ветер замахал.
А я глядел нарядно-катафальный
в галстук...
И вдруг — вдогонку:
— Стой! Схватите!
Она совсем уехала? —

Над лесом рвутся силуэты,
а я — в колодезь,
к швабрам,
барахтаться в холодной одиночке,
где сырость с ночью спят
в обнимку,

Ты на Кавказец профуфирила
в экспрессе

и скоро выйдешь замуж,
меня ж — к мокрицам,
где костоломный осьмизуб
настежь
прощелкнет...

Умчался...
Уездный гвоздь — в селезенку!
И все ж — живу!
Уж третью пятидневку
в слякоть и в стужу
— ничего, привыкаю —
хожу на службу
и даже ежедневно
что-то дряблое
обедаю
с кислой капусткой.
Имени ее не произношу.
Живу молчалиником.
Стиснув виски,
стараюсь выполнить
предотъездное обещание.
Да... так спокойнее —
анемильником...
Занафталиненный медикамен-
тами доктор
двенадцатью щипцами
сделал мне аборт памяти...

Меня зажало в люк.
Я кувыркаюсь без памяти,
Стучу о камень,
Знаю — не вынырну!
На мокрые доски
молчалкою —
плюх!..

*Посвящается всем растирающим
серебряную плеву теоретикам.*

МЫШЬ, РОДИВШАЯ ГОРУ
(Собасня)
(фрагмент)

Мышь, чихнувшая от счастья,
смотрит на свою новорожденную — гору!..

За сизо-серой мглою
 Заглох закатный луч,
 За крепостной иглою
 Гора лиловых туч.
 Чуть веет невоской влагой...
 В предчувствии конца
 Идут они с отвагой
 Улавливать сердца.
 И слышно издали
 По звонким голосам,
 Как рад условной встрече
 Цветник влюбленных дам.
 Пуховые платочки
 Посбились вкривь и вкось...
 Без дум, без проволочки
 Гулянье началось.
 До Прачечного моста
 Дойдут и повернут —
 Одну обнимут просто,
 Другую ущипнут.
 В стыдливости невинной
 Зажмурилась заря...
 По набережной чинно
 Гуляют писаря.

1910

УВЕСЕЛИТЕЛЬНЫЙ САД

Терзает уши злой румын,
 Тошна его свирель.
 У тира толстый господин
 Напрасно целит в цель.

Мешает потная спина,
 Мешают перья дам.
 Повсюду серая волна
 Шляп, котелков, панам.

Аплодисменты, вой и стон.
 На небе ночь пьяна,
 А по бокам со всех сторон
 Угрюмая стена.

ЛАРЕЧНИК

Мой ларек у самого канала,
 У мосточка (пеший переход).
 Я торгую в нем уже без мала
 Двадцать первый год.

Сливы, арбузы,
 Дыни кургузы,
 Шоколад, мармелад,
 Оршад, лимонад,
 Яблочки, стручочки
 В каждом уголочке,
 Семечки, разный квас,
 Все, что хочешь, есть у нас!

По вечерам ко мне девицы ходят
 Купить за пятачок десяток папирос.
 Покурят, да кого-нибудь захороводят,
 Да и уйдут под липкий стук колес.

Поехали на кляче.
 Дай им Бог удачи!
 Бьется в стекле фонаря
 Мутный дождик октября,
 По лужам стрекочет,
 Православных мочит.
 Я сижу под полотном,
 И мне дождик нипочем.

Ко мне ходила в черном полушалке
 Дуняша-горничная время коротать.
 Я угощал ее всем, чем ни жалко,
 То винограду дам, то яблочек штук пять...
 Дуняша, Дуняша,
 Где ты, радость наша?
 Девки соблазнили,
 Девки утащили,
 Девки доконали,—
 Лежишь ты в канале!
 И с Петровского поста
 Я теперь сирота.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МОРОЖЕНЩИК

Когда среди прибитой пыли
 Звенят звонки, гудят рожки
 И хрипло рвут автомобили
 Застойный воздух на куски,
 Когда несется лентой красной,
 Гремя и лязгая, трамвай
 И, в камни втиснут волей властной,
 Полузадушен вольный май,
 Когда ты городом стреножен
 И придавили камни грудь,
 Как странно слышать крик: «Марожин!»
 На Петербургской где-нибудь.
 Глухой, прикрытый странным зудом,
 Он точно жалкий скрип дверей
 В зверинце, где каким-то чудом
 На миг прорвется рев зверей.
 Я почему-то, сам не знаю,
 Но не для прелести стиха,
 Его услыша, вспоминаю
 Крик молодого петуха.
 И каждый раз, услышав окрик,
 Я вынимаю нáзло всем
 Пятак и пару вафель мокрых
 С мороженым соленым ем.

ЯР

Не помню названья — уплыло,
 Не помню я весь формуляр.
 Да разве в названии сила?
 Пускай называется: «Яр».

Ценитель развесистой клюквы,
 Веселый парижский маляр,
 Две странные русские буквы
 На вывеске выписал: «Яр».

И, может быть, думал, что это
 Фамилия древних бояр,

Царивших когда-то и где-то, —
Две буквы, два символа: «Яр».

Окончил, и слез со стремянки,
И с песней отправился в бар...
И тотчас досужие янки
Пришли и увидели: «Яр».

И в новой пунцовой черкеске,
Боярский потомок, швейцар
В дверях отстранил занавески,
Чтоб янки вошли в этот «Яр».

И янки вошли, и сидели,
И пили под звуки гитар,
И ярко горели и рдели
Две буквы на вывеске: «Яр».

Их грабили много и долго,
Но князь открывал им «Вайт-Стар»,
Но пела княгиня им «Волгу»,
И мил показался им «Яр».

Приятно все вспомнить сначала,
В каком-нибудь там слиппинг-кар,
Как дама о муже рыдала
Расстрелянном, там, в этом «Яр».

Как, в рот запихавши кинжалы,
Как гончая, худ и поджар,
Какой-то забавнейший малый
Плясал в этом бешеном «Яр».

1926, Париж

ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ

Красит кисточка моя
Эйфелеву башню.
Вспомнил что-то нынче я
Родимую пашню.

Золотится в поле рожь,
Мух не оберешься.
И костей не соберешь,
Если оборвешься.

А за пашней синий лес,
А за лесом речка.
Возле Бога, у небес,
Крутится дощечка.

На дощечке я сижу,
Кисточкой играюсь.
Эх, кому я расскажу,
И кому признаюсь?

1926

ВЛАДИМИР ПЯСТ

1886, Петербург — 1940, Голицыно Московской обл.

Настоящая фамилия — Омелянович-Павленко-Пестовский. Поэт, переводчик. Один из ближайших друзей А. Блока. Выпустил книгу воспоминаний «Встреча» (1929). Безумно боялся ареста, но умер от рака.

ДОМА

Домов обтесанных гранит
Людских преданий не хранит.

На нем *иные* существа
Свои оставили слова.

В часы, когда снует толпа,
Их речь невнятная слепа,

И в повесть ветхих кирпичей
Не проникает взор ничей.

Но в сутках есть ужасный час,
Когда иное видит глаз.

Тогда на улице мертво.
Вот дом. Ты смотришь на него —

И вдруг он вспыхнет, озарен,
И ты проникнешь: это — *он!*

Застынет шаг, займется дух.
Но миг еще — и он потух.

Перед тобою прежний дом,
И *было ль* — верится с трудом.

Но если там же, в тот же час,
Твой ляжет путь еще хоть раз, —

Ты в лихорадке. Снова ждешь
Тобой испытанную дрожь.

<1903—1907>

АЛЕКСАНДР ТИНЯКОВ

1886—1934

Был одной из самых невероятных фигур петербургской литературной богемы начала века. Впрочем, только ли богемы? Его видели на эстраде декламирующим вполне благопристойные стихи на ассиро-вавилонские темы, его принимали Мережковские, Блок, Брюсов, воспоминания о нем оставили Георгий Иванов и Владислав Ходасевич. Тиняков пытался стать «проклятым» поэтом русской литературы, как Лотреамон, Роллин и даже Бодлер оказались «проклятыми» поэтами в литературе французской. Если уж Бодлер пишет о том, как занимается любовью «с еврейкой бешеной простертый на постели», то Тиняков занимается тем же самым «со старой нищенкой, осипшей, полупьяной» в чужом подъезде; если Бодлер воспевае кот, то Тиняков прокликает собаку — и т. д; не зря Георгий Иванов вспоминает: перед тем как устроить драку на «Поплавке» в Петербурге, совершенно пьяный Тиняков бормочет на хорошем французском языке «Пададь» Бодлера. Удивительно и то, что у Тинякова попадаются — однако вне его книг, на страницах почти недоступной периодики — по-настоящему сильные стихи. После революции Тиняков работал в провинциальных отделах ЧК, потом вновь появился в Петербурге, из ЧК был, видимо, выгнан за пьянство и стал... профессиональным нищим. Об этом вспоминает М. Зощенко в своей «Повести о разуме», увидевшей свет лишь в 1972 году: «Я вспомнил одного поэта — А.Т-ва. Он имел несчастье прожить дольше, чем ему надлежало. Я помнил его еще до революции, в 1912 году. И потом я увидел его через десять лет. <...> Передо мной было животное более страшное, чем какое-либо иное, ибо оно тащило за собой привычные профессиональные навыки поэта <...> Порывшись в рваном портфеле, поэт вытащил тоненькую книжечку, только что отпечатанную. <...> Боже мой, что было в этой книжечке! <...>

Пищи сладкой, пищи вкусной
Даруй мне, судьба моя,—
И любой поступок гнусный
Совершу за пищу я.

В сердце чистое нагажу,
Крылья мыслям остригу,
Совершу грабеж и кражу,
Пятки вылижу врагу!

Эти строчки написаны с необыкновенной силой. Это смердяковское вдохновенное стихотворение почти гениально. <...> Я встретил Т. год спустя. Он был грязен, пьян, оборван. Космы седых волос торчали из-под шляпы. На груди висела картонка с надписью: «Подайте бывшему поэту»».

ПЛЕВОЧЕК

Любо мне, плевку-плевочку,
По канавке грязной мчатся,
То к окурку, то к пушинке
Скользким боком прижиматься.

Пусть с печалью или с гневом
Человеком был я плюнут,
Небо ясно, ветры свежи,
Ветры радость в меня вдунут.

В голубом речном просторе
С волей жажду я обняться,
А пока мне любо — быстро
По канавке грязной мчатся.

Март 1907

ПРОСТИТУТКА

Ах, не все ль равно: татарин,
Русский, немец или жид,
Беглый каторжник иль барин,—
Я давно забыла стыд!

Только б звякали монеты,
Только б жгло язык вино!
Все мечты мои отпеты
И оплаканы давно.

Вспоминала раньше маму
И подруг, и классных дам,
Но теперь всю эту драму
Я отправила к чертям.

Не скандалю, не мечтаю
В час безделья, по утрам,
А пою, да вышиваю
Полотенце для мадам.

Предлагал один безусый
С ним вступить в законный брак,
Но замялся,— чуть на бусы
Попросила я трояк.

По субботам,— после бани,—
Я ко всеобщей хожу
И от радостных рыданий,
Певчих слушая, дрожу.

Не кляня свою я долю,
Плачу так я, ни о чем —
И, наплакавшись вволю,
Вновь иду в веселый дом.

И опять в шикарном зале,
Поднимая юбкой пыль,

Я танцую без печали
Со студентами кадрили!

Март 1915
Петербург

СОБАКИ

Не мало чудищ создала природа,
Не мало гадов породил хаос,
Но нет на свете мерзостней уroda,
Нет гада хуже, чем домашний пес.

Нахальный, шумный, грязно-любострастный,
Презренный раб, подлиза, мелкий вор,
Среди зверей, он — выродок несчастный,
Среди созданий, он — живой позор.

Вместилище болезней и пороков —
Собака нам опасней всех бацилл:
В кишках у ней приют эхинококков,
В крови у ней кипенье темных сил.

Недаром Гёте, — полубог и гений, —
Не выносил и презирал собак:
Он понимал, что в мире нет творений,
Которым был родней бы адский мрак.

О, дьяволоподобные уроды,
Когда бы мне размеры Божьих сил,
Я стер бы вас с лица земной природы
И весь ваш род до корня истребил!

Ноябрь 1919
Казань

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ

1886, Москва — 1939, Бильянкур, около Парижа

Отец его был польским незначительным художником, мать — наполовину русская, наполовину еврейка. Может быть, от этого в нем всегда был и некоторый «шляхетский гонор», и, с одной стороны, чувство национальной еврейской униженности, а с другой стороны, чувство национальной гордости за русскую культуру. Полукровка-разночинец с аристократическими манерами. Суховатая подчеркнутость обособленности и в стихах, и в жизни. Первые сборники стихов «Молодость» (1908) и «Счастливый домик» (1914) вызвали внимание Гумилева и других акмеистов. Несмотря на временные примыкания к различным литературным группировкам, всегда стоял особняком. Удельный качественный вес его стиха часто перевешивал других участников этих группировок, и его поэзия оставалась на глубине во время литературных бурь на поверхности. Самая значительная книга его молодости «Путем зерна» (1920) выражала его веру в воскресение России после революционной разрухи таким же путем, каким зерно, умирая в почве, воскресает в колосе. Однако путь умерщвленного зерна русской классической культуры оказался долог, извилист. Зерно проросло, но в полный колос еще не вышло. Поэзия Ходасевича — одно из самых литых поливесных зерен на этом колосе. Когда он писал, обращаясь к кормилице-Родине: «Я высосал мучительное право любить тебя и проклинать тебя», он действительно такое право имел. Вряд ли бы он уцелел, если бы не эмигрировал, хотя, конечно, были редкие исключения — Ахматова, Пастернак. В 1922 году со своей молодой третьей женой — Ниной Берберовой — он эмигрировал через Латвию, Германию, Италию в Париж, где стал одним из главных литературных законодателей. Его критического пера боялись. Он бывал безжалостным, он мог быть и благодарным, например, в своих взаимоотношениях с Горьким. К Маяковскому он был жесток даже после самоубийства. Четвертая жена Ходасевича была еврейкой, погибла в гитлеровском концентрационном лагере. Ходасевич составил антологию еврейской поэзии в своих переводах. Писал он редко и коротко, но зато у него в эмигрантском периоде не было плохих стихов. Из его литературоведческих работ самая интересная, пожалуй, о Державине. В год смерти Ходасевич издал книгу «Некрополь» — одну из лучших мемуарных книг в русской литературе.

В ПЕТРОВСКОМ ПАРКЕ

Висел он, не качаясь,
На узком ремешке.
Свалившаяся шляпа
Чернела на песке.
В ладонь впились ногти
На стиснутой руке.

А солнце восходило,
Стремя к полудню бег,
И, перед этим солнцем
Не опуская век,
Был высоко приподнят
На воздух человек.

И зорко, зорко, зорко
Смотрел он на восток.

Внизу столпились люди
В притихнувший кружок.
И был почти невидим
Тот узкий ремешок.

27 ноября 1916

Не матью, но тульской крестьянкой
Еленой Кузиной я выкормлен. Она
Свивальники мне грела над лежанкой,
Крестила на ночь от дурного сна.

Она не знала сказок и не пела,
Зато всегда хранила для меня
В заветном сундуке, обитом жестью белой,
То пряник вяземский, то мятного коня.

А человек — иль не затем он,
Чтобы забыть его могли?

7 июля 1921

ИЗ ОКНА

1

Нынче день такой забавный:
От возниц, что было сил,
Конь умчался своенравный;
Мальчик змей свой упустил;
Вор цыпленка утащил
У безносой Николавны.

Но — настигнут вор нахальный,
Змей упал в соседний сад,
Мальчик ладит хвост мочальный,
И коня ведут назад:
Восстает мой тихий ад
В стройности первоначальной.

23 июля 1921

2

Всё жду: кого-нибудь задавит
Взбесившийся автомобиль,
Зевака бледный окровавит
Торцовую сухую пыль.

И с этого пойдет, начнется:
Раскачка, выворот, беда,
Звезда на землю оборвется,
И станет горькою вода.

Прервутся сны, что душу душат.
Начнется всё, чего хочу,
И солнце ангелы потушат,
Как утром — лишнюю свечу.

11 августа 1921

Бельское Устье

СУМЕРКИ

Снег навалил. Всё затихает, гложет.
Пустынный тянется вдоль переулка дом.
Вот человек идет. Пырнуть его ножом —
К забору прислонится и не охнет.
Потом опустится и ляжет вниз лицом.
И ветерка дыханье снеговое,
И вечера чуть уловимый дым —
Предвестники прекрасного покоя —
Свободно так закружатся над ним.
А люди черными сбегутся муравьями
Из улиц, со дворов, и станут между нами.
И будут спрашивать, за что и как убил, —
И не поймет никто, как я его любил.

5 ноября 1921

* * *

Ни жить, ни петь почти не стоит:
В непрочной грубости живем.

Портной тачает, плотник строит:
Швы расползутся, рухнет дом.

И лишь порой сквозь это тленье
Вдруг умиленно слышу я
В нем заключенное биенье
Совсем иного бытия.

Так, провожая жизни скуку,
Любовно женщина кладет
Свою взволнованную руку
На грузно пухнувший живот.

21—23 июля 1922, Берлин

* * *

Сквозь облака фабричной гари
Грозя костлявым кулаком,
Дрожит и злится пролетарий
Пред изворотливым врагом.

Толпою стражи ненадежной
Великолепье окружа,
Упрямый, но неосторожный,
Дрожит и злится буржуа.

Должно быть, не борьбою партий
В парламентах решится спор:
На европейской ветхой карте
Все вновь перечертит раздор.

Но на растущую всечасно
Лавину небывалых бед
Невозмутимо и бесстрастно
Глядят: историк и поэт.

Людские войны и союзы,
Бывало, славили они;
Разочарованные музы
Припомнили им эти дни —

И ныне, гордые, составить
Два правила велели впредь:
Раз: победителей не славить.
Два: побежденных не жалеть.

4 октября 1922, Берлин

11 февраля 1923, Saarow

AN MARIECHEN¹

Зачем ты за пивною стойкой?
Пристала ли тебе она?
Здесь нужно быть девицей бойкой, —
Ты нездорова и бледна.

С какой-то розою огромной
У нецелованных грудей, —
А смертный венчик, самый скромный,
Украсил бы тебя милей.

¹ К Марихен (нем.).

Ведь так прекрасно, так нетленно
Скончаться рано, до греха.
Родители же непременно
Тебе отыщут жениха.

Так называемый хороший,
И вправду — честный человек
Перегрузит тяжелой ношей
Твой слабый, твой короткий век.

Уж лучше бы — я еле смею
Подумать про себя о том —
Попастся бы тебе злодею
В пустынной роще, вечером.

Уж лучше в несколько мгновений
И стыд узнать, и смерть принять,
И двух истлений, двух растрелений
Не разделять, не разлучать.

Лежать бы в платице измятом
Одной, в березняке густом,
И нож под левым, лиловатым,
Еще девическим соском.

20—21 июля 1923, Берлин

* * *

Было на улице полутемно.
Стукнуло где-то под крышей окно.

Свет промелькнул, занавеска взвилась,
Быстрая тень со стены сорвалась —

Счастлив, кто падает вниз головой:
Мир для него хоть на миг — а иной.

23 декабря 1923

Saagow

ОКНА ВО ДВОР

Несчастный дурак в колодце двора
Причитает сегодня с утра,
И лишнего нет у меня башмака,
Чтоб бросить его в дурака.

Кастрюли, тарелки, пьянино гремят,
Баюкают няньки крикливых ребят.
С улыбкой сидит у окошка глухой,
Зачарован своей тишиной.

Курносый актер перед пыльным трюмо
Целует портреты и пишет письмо,—
И, честно гонясь за правдивой игрой,
В шестнадцатый раз умирает герой.

Отец уж надел котелок и пальто,
Но вернулся, бледный как труп:
«Сейчас же отшлепать мальчишку за то,
Что не любит луковый суп!»

Небритый старик, отодвинув кровать,
Забивает старательно гвоздь,
Но сегодня успеет ему помешать
Идущий по лестнице гость.

Рабочий лежит на постели в цветах.
Очки на столе, медяки на глазах
Подвязана челюсть, к ладони ладонь.
Сегодня в лед, а завтра в огонь.

Что верно, то верно! Нельзя же силком
Девчонку тащить на кровать!
Ей нужно сначала стихи почитать,
Потом угостить вином...

Вода запищала в стене глубоко:
Должно быть, по трубам бежать нелегко,
Всегда в тесноте и всегда в темноте,
В такой темноте и такой тесноте!

16—21 мая 1924

Париж

ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

Nel mezzo del cammin di nostra vita¹.

Я, я, я! Что за дикое слово!
Неужели вон тот — это я?
Разве мама любила такого,
Желто-серого, полуседого
И всезнающего, как змея?

Разве мальчик, в Останкине летом
Танцевавший на дачных балах,—
Это я, тот, кто каждым ответом
Желторотым внушает поэтам
Отвращение, злобу и страх?

Разве тот, кто в полночные споры
Всю мальчишечью вкладывал прыть,—
Это я, тот же самый, который
На трагические разговоры
Научился молчать и шутить?

Впрочем — так и всегда на середине
Рокового земного пути:
От ничтожной причины — к причине,
А глядишь — заплутался в пустыне,
И своих же следов не найти.

Да, меня не пантера прыжками
На парижский чердак загнала.
И Виргилия нет за плечами,—
Только есть одиночество — в раме
Говорящего правду стекла.

18—23 июля 1924

Париж

¹ На середине пути нашей жизни (итал.)

БАЛЛАДА

Мне невозможно быть собой,
Мне хочется сойти с ума,
Когда с беременной женой
Идет безрукий в синема.

Мне лиру ангел подает,
Мне мир прозрачен, как стекло, —
А он сейчас разинет рот
Пред идиотствами Шарло.

За что свой незаметный век
Влачит в неравенстве таком
Беззлобный, смирный человек
С опустошенным рукавом?

Мне хочется сойти с ума,
Когда с беременной женой
Безрукий прочь из синема
Идет по улице домой.

Ремянный бич я достаю
С протяжным окриком тогда
И ангелов наотмашь бью,
И ангелы сквозь провода

Взлетают в городскую высь.
Так с венецианских площадей
Пугливо голуби неслись
От ног возлюбленной моей.

Тогда, прилично шляпу сняв,
К безрукому я подхожу,
Тихонько трогаю рукав
И речь такую завожу:

«Pardon, monsieur¹, когда в аду
За жизнь надменную мою
Я казнь достойную найду,
А вы с супругою в раю

Спокойно будете витать,
Юдоль земную созерцать,
Напевы дивные внимать,
Крылами белыми сиять, —

Тогда с прохладнейших высот
Мне сбросьте перышко одно:
Пускай снежинкой упадет
На грудь спаленную оно».

Стоит безрукий предо мной,
И улыбается слегка,
И удаляется с женой,
Не приподнявши котелка.

Июнь — 17 августа 1925
Meudon

БЕДНЫЕ РИФМЫ

Всю неделю над мелкой поживой
Задыхаться, тощать и дрожать,
По субботам с женой некрасивой,
Над бокалом обнявшись, дремать,

В воскресенье на чахлую траву
Ехать в поезде, плед разложить,
И опять задремать, и забаву
Каждый раз в этом всем находить,

И обратно тащить на квартиру
Этот плед, и жену, и пиджак,
И ни разу по пледу и миру
Кулаком не ударить вот так, —

О, в таком непреложном законе,
В заповедном смиренье таком
Пузырьки только могут в сифоне —
Вверх и вверх, пузырек с пузырьком.

1926

ПАМЯТНИК

Во мне конец, во мне начало.
Мной совершённое так мало!
Но всё ж я прочное звено:
Мне это счастье дано.

В России новой, но великой,
Поставят идол мой двуликий
На перекрестке двух дорог,
Где время, ветер и песок...

28 января 1928

Париж

* * *

Не яблом ли четырехстопным,
Заветным яблом, допотопным?
О чем, как не о нем самом —
О благодатном ямбе том?

С высот надзвездной Музикии
К нам ангелами занесен,
Он крепче всех твердынь России,
Славнее всех ее знамен.

Из памяти изгрызли годы,
За что и кто в Хотине пал,
Но первый звук Хотинской оды
Нам первым криком жизни стал.

В тот день на холмы снеговые
Камена русская взошла
И дивный голос свой впервые
Далеким сестрам подала.

С тех пор в разнообразье строгом,
Как оный славный «Водопад»,

¹ Простите, сударь (фр.).

По четырем его порогам
Стихи российские кипят.

И чем сильней спадают с кручи,
Тем пенистой водоворот,
Тем сокровенный лад певучий
И выше светлых брызгов взлет —

Тех брызгов, где, как сон, повисла,
Сияя счастьем высоты,

Играя переливом смысла,—
Живая радуга мечты.

Таинственна его природа,
В нем спит спондей, поэт пэон,
Ему один закон — свобода,
В его свободе есть закон.

1938

ЧЕРУБИНА ДЕ ГАБРИАК

1887, Петербург—1928, Ташкент

Под этим псевдонимом вошла в русскую литературу Елизавета Ивановна Васильева (урожденная Дмитриева); псевдоним этот, видимо, придумал друг поэтессы Максимилиан Волошин, придумал волошински ехидно, потому что «габриак» — род морской древесины, а не что-то иностранное, как и название сборника самого Волошина «Иверни» означает, притом по-русски, всего лишь «осколки». С ее именем связана литературная мистификация, которая привела в 1909 году к дуэли между Волошиным и Гумилевым,— впрочем, поэтесса быстро «саморазоблачилась» и на несколько лет отошла от литературы. Ее дарование высоко ценили Вяч. Иванов, М. Кузмин, И. Северянин и даже строгий Иннокентий Анненский. В 1918 году, спасаясь от голода, Васильева оказалась в Екатеринода-ре и там вновь занялась литературой. Однако поэтессе — видимо, из-за ее связей с германскими антропософами — преследовало ОГПУ. В 1927 году ее арестовали, этапировали на Урал, а позже сослали в Ташкент, где она и умерла. Из современных ей поэтов Черубина-Васильева едва ли не выше всех ценила Веру Меркурьеву, с которой никогда не виделась,— но Меркурьева умерла в эвакуации в том же Ташкенте пятнадцатью годами позже, и поэтессы оказались похоронены почти рядом. В последние годы она писала стихи от имени вымышленного китайского поэта, высланного с родного севера «в эту восточную страну».

* * *

Лишь раз один, как папоротник, я
цвету огнем весенней, пьяной ночью...
Приди за мной к лесному средоточью,
в заклятый круг, приди, сорви меня.

Люби меня. Я всем тебе близка.
О, уступи моей любовной порче.
Я, как миндаль, смертельна и горька,
нежней чем смерть, обманчивей и горче.

<1909>

ПИМЕН КАРПОВ

1887, с. Турки Курской губ.—1963, Москва

Родился в бедной старообрядческой семье. В 1905—1907 годах участвовал в крестьянских бунтах. О его первой поэтической книге «Говор зорь» тепло отзывался Лев Толстой. В 1913 году издал роман «Пламень», сразу же запрещенный цензурой,— речь в романе шла о зверских сектах русского севера. Литераторы, занимающиеся творчеством Карпова в наши дни,— они группируются в основном вокруг журнала «Наш современник»,— очень любят цитировать слова Блока об этом романе: «Из «Пламени» нам придется — рады мы или не рады — кое-что запомнить о России...» Между тем куда выразительней другая цитата из того же Блока и по тому же поводу: «Плохая аллегория, суконый язык и... святая правда». После революции Карпов издал книгу рассказов «Трубный голос», поэтические сборники «Звезды» и «Русский ковчег». Не так давно в ЦГАЛИ было найдено и опубликовано С. Куляевым стихотворение Карпова «История дурака», помеченное 1925 годом, в котором много общего с клюевским восприятием, точнее, неприятием революции. Карпова больше не печатали, хотя в письмах на высокие имена он бунтовал, что вот-де писателей-фашистов печатают (он их перечислил, в том числе назвал фашистом и... Джеймса Джойса), а его, Карпова, не печатают. Не помогло — печатать все равно не стали. Никто не знает, как он дальше существовал. Каким-то чудом выжил и однажды появился, как призрак прошлого, в издательстве «Советский писатель» с авоськой, полной превратившихся в лохмотья рукописей. Так и умер он, не вспомненный современниками. А ведь

именно ему Есенин так трогательно надписал свою книгу: «Друг мой, товарищ Пимен, кинем с тобою камень в небо, кинем, исцарапанные хотя, но доберемся до своего берега и водрузим свой стяг, а прочим всем осиновый кол поставим».

* * *

Но на костре кровавых язв сгорая,
Служил я честно, пес сторожевой,
И только под закутою сарая
Кипел и гдох мой исступленный вой.

Слепец же, поднимая круто бельма
И, обнажив гнилых зубов оскал,
В лицо мне улыбался старой шельмой,
А сам меня угрумо утешал:

— Надейся, жди: ослепнешь ты от гноя.
Провалится, как у меня, твой нос,
И счастлив будешь ты своей звездюю
С того, что будет у тебя свой пес.

Тогда-то, возмущая духов бездны,
Я звездные слепцу открыл следы,
И он ушел со мною в путь зазвездный...
А от того, что я — посол звезды.

ИСТОРИЯ ДУРАКА (фрагмент)

.....
Рабы, своими вы руками

С убийцами и дураками
Россию вколотили в гроб.
Ты жив,— так торжествуй, холоп!
Быть может, ты, дурак, издохнешь,
Протянешь ноги и не охнешь.
Потомству ж,— дикому дерьму —
Конца не будет твоему.
Исчезнет все,— померкнут славы,
Но будут дьяволы-удавы
И ты, дурак из дураков,
Жить до скончания веков.
Убийством будешь ты гордиться.
Твой род удавий расплодится,
Вселенную перехлестнет:
И будет тьма, и будет гнет!
Кого винить в провале этом?
Как бездну препоясать светом,
Освободиться от оков?
Тьма — это души дураков!

.....
И мы взываем с новой силой:
«Господь, от глупости помилуй!
Не то на растерзанье псам
Напорешься, Господь, ты сам!»
.....

1925

ВАСИЛИЙ КНЯЗЕВ

1887, Тюмень—1938, Колыма

Родился в купеческой семье. Был исключен из Сибирской земской учительской школы за участие в революционном движении. В 1905 году вместе с рабочим-путиловцем Шуваловым написал песню о кровавом воскресеньи. Сотрудничал в «Сатириконе». В годы гражданской войны работал в политотделовских газетах. Репрессирован в 1937-м, реабилитирован посмертно в 1957 году — словом, обычная биография советского революционного поэта.

* * *

Жизнь хороша, как скумбрия в томате,
Лишь надобно — проснуться и понять;
Поменьше — нить: о долге, о расплате,
Побольше — жить и чутко наблюдать.

Откинув мысль о мелочном и пошлом,
Со всех цветов собирать душистый мед.
Не осуждать. Искать. Причины в прошлом
И, лишь найдя, печатать свой отчет.

ВТОРАЯ ПЕСНЯ ПРОСТИТУТКИ

Я, девочка гуляющая,
Кучу пять раз на дне;
Работа настоящая
Претит до смерти мне.

Я никого не трогаю,
Не мучу никого:

Иду своей дорогою
И больше ничего...

«Дорога та опасная:
К злой проруби ведет!»
Я — девочка согласная;
Под лед? Ну что ж, под лед!

«Дорога та тяжелая:
Печаль несет она!»
Я — девочка веселая:
Печаль мне не страшна!

«Увянешь раньше времени;
Поможет ли родня?»
Да я — без роду-племени;
Подкинули меня...

«Исчезнет юность шумная;
Чем воскресишь ты грудь?»

Я — девочка разумная:
В аптеку знаю путь!

«Лекарства?.. Ах, аптекой ты
Злой не рассеешь сон!»
Зачем, лекарства... Экой ты!..
Эссенции флакон!

ДВОРНИК

Целу ночку напролет
У ворот дежурю,
Кто проедет, кто пройдет, —
Всех укараулю.

Греет шибче барских шуб
Дворницкая печка —
Разлюбезный мой тулуп,
Серая овечка.

Медна бляха на груди,
Шапка с медной бляхой;
Кто ни хочет, — подходи,
Глянь, стервец, и ахай!

А ведь были времена:
Рад был черствой корке
На плечах то — рвань одна,
На ногах — опорки.

Это, выйдешь в хоровод,
Под вечер, на праздник, —
«Постыдись людей, Федот!»
«Экой... безобразник!»

«Без рубахи, без порток
Жметя к бабьей дочке!»
«На-кось, родненький, платок:
Сшей себе порточки!»

Мда-с, бывали времена,
Натерпелся страху...
А теперь... шалишь, брат!.. На! —
Видишь, братец, бляху?

Не уступим никому
На четвертой роте —
Все куфарки по дому
Сохнут по Федоте!

Кажна в горницы зовет,
Кажна взгляду рада,
А Федот на их — плюет,
Потому: не надо!

ИХ ТОРГОВЫЙ БАЛАГАН

— Почтеннейшая публика,
Не пожалейте рублика:
Слаще бублика!
Чтоб я издох,
Коль это не Бог!

Самый настоящий,
Карающий и разящий!
Царей коронующий,
Спасеньем торгующий:
Кому нужны с совестью сделки? —
Пожалуйте: без подделки!

А вот, не хотите ли? —
Небесные жители,
Угодники и святители!
Целая куча, —
Не знаешь, который и лучше;
Все хороши!
Как ни греши,
А выпрут к раю!
Что мнешься? — бери с краю!

Кому пророков?
От всех пороков!
Князей благоверных,
Правителей скверных,
Равноапостольных?
А вот! а вот! —
целый взвод!!!
Честные мощи,
Одна других тоще,
Подмалеваны,
Подрисованы,
От гниения навек застрахованы!
А ежели которые и сгниют, —
Подменить не великий труд!
Рупь пуд!!

Збруя! Збруя!
Не даром ору я:
Ай да товар —
Аккурат для бар!
Стихирки, ряски,
Готовые маски —
Как их взденешь,
Станешь свят —
От головы до пят!!!
А вот, а вот!
Вали народ:
Пятачок на свечку —
небольшой расход.

1917

ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ

Цветут носы багровые,
Цветут носы лиловые,
Дворянские,
Мещанские
И — прочие носы.

У дворника, извозчика,
Посыльного, разносчика,
Чиновника,
Сановника —
Нахохрены усы.

Горят костры багровые,
Трещат дрова еловые
И — хмурятся

И щурятся
Безглазые дома.

И реет над столицей
Пушистой, белой птицей —
Колючая,
Трескучая,
Сугробная Зима.

ПУГОВИЦА ОТ БРЮК

№ 1-й

В Домкомбед. Председателю
Эдуарду Петровичу Пукк.

Дорогой сосед
И горячоуважаемый друг!
Оборвалась у меня пуговица от брюк,
А ниток нет,
Нельзя ли дать выписку

на сей предмет!
Петр Саввич Бравич.

№ 2-й

Домкомбед свидетельствует,
что у гр. Бравича
Действительно оторвалась пуговица
давеча

От его новых брюк,
И в нитках он остро нуждается,
Что приложением печати

и подтверждается!
Преддомкомбеда:
Эдуард Пукк.

№ 3-й

В Петрокоммуна.
Отдел распределения

Прошение

Прилагая при сем выписку
из Домового комитета,

Прошу обратить внимание на это
Прошение

И дать соответствующее разрешение.
(Прошу поторопиться,

Ибо брюки могут свалиться!!)

Петр Саввич Бравич.

№ 4-й

Предкоммуна. Отдел распределения
Предметов среди населения.

№ талона —
4 биллиона, 44 миллиона
В склад,
Где нитки лежат.

Выдать гр. Бравичу катушек ниток —
одну.

Оный.

Сей.
(И еще — 11 000 подписей).

Ну и ну!!

№ 5-й

Петрокоммуна. Склад,
Где нитки лежат.

Счет

№ (не сосчитаешь в год!)

На основании талона
4 биллиона, 44 миллиона
Выдано гр. Бравичу катушек ниток...
одна.

(На копии):

Катушку ниток получил сполна
Петр Саввич Бравич.

№ 6-й

Петрокоммуна. Склад,
Где нитки лежат.

Пропуск № ...

(Еще длиннее номера счета!)

Выдано на предмет проноски
одной катушки ниток через ворота,
Завед складом: Федот...
(а далее сам черт не разберет!)

Эпилог

Тети и дяди!
Не верьте тому, кто говорит, что
бумаги нет в Петрограде!!!

СИГИЗМУНД КРЖИЖАНОВСКИЙ

1887, Киев—1950, Москва

Едва ли не самое значительное из открытий эпохи «перестройки». Литератор, чье творчество при жизни было едва известно, чье имя в середине 80-х годов ничего не говорило даже специалистам, в 1989—1991 годах завоевал известность почти мгновенно: едва только вышли, извлеченные из архивов, три тома его новелл и повестей, был немедленно переведен и издан отдельными книгами на немецком, французском и трудно уже уследить, на каком еще языке. Уникальный дар новеллиста, родственный дарованию Борхеса или Кафки, сразу поставил еще вчера безвестного Кржижановского недалеко от таких титанов русской прозы, как Булгаков, Платонов, Набоков. К слову сказать, в «Театральном романе» Булгакова мельком набросан портрет Кржижановского, — оба писателя были выходцами из Киева, где и познакомились. Кржижановский-прозаик начал работать всерьез лишь в 1919 году, когда ему было уже за тридцать. А до того он писал стихи — и даже печатал их в «Киевской газете», из которой и взято приводимое ниже стихотворение.

БЕАТРИЧЕ

У всякой девичьей прозрачной красоты
 Есть право ожидать: терцин бессмертных Данта.
 И странно девушке, что говорит ей «ты»
 Какой-нибудь самец в очках с акцизным кантом.
 Глаза прекрасные глядят издали:
 Меж красотой и жизнью — беспредельность.
 И заменить канцонного стиха
 Не в силах слов влюбленная поддельность.
 Не всякой девичьей, далекой красоте
 Дана душа, далекая от мира:
 Вот отчего в кричащей суете
 Молчит и ждет настроенная лира.
 Так, променяв легенду на фантом,
 Терцины вечности на счастья щебет птичий,
 Уходят в старый мир проторенным путем
 Отвергнувшие Данта Беатриче.

1910

НИКОЛАЙ ЛАВРОВ

1887—1930

Окончил юридический факультет Московского университета. Начал печататься в 1907 году в журнале «Первые опыты». В 1930-м покончил с собой, похоронен рядом с Есениным.

РОССИЯ

(фрагмент)

Но павшая до самой низости,
 Где ужас, голод, нищета,
 Ты все же первая узришь поблизости
 идущего к тебе... Христа.

ПЕТР ОРЕШИН

1887, Саратов—1938 (?)

Первая книга Петра Орешина «Зарево» (1918) была отмечена Есениным. Гигантское поэтическое наследие Орешина (свыше 50 книг) неравноценно. Есть и откровенные перепевы Кольцова, Никитина, Есенина, но есть и подлинно крестьянская, а не стилизованная задушевность. Был репрессирован; расстрелян в тюрьме.

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Сказка это, чудо ль,
 Или это — бред:
 Отзвенела удаль
 Разудалых лет.

Песня отзвенела
 Над родной землей.
 Что же ты наделал,
 Синеглазый мой?

Отшумело поле,
 Пролилась река,
 Русское раздолье,
 Русская тоска.

Ты играл снегами,
 Ты и тут и там
 Синими глазами
 Улыбался нам.

Кто тебя, кудрявый,
 Поманил, позвал?
 Пир земной со славой
 Ты отпировал.

Было это, нет ли,
 Сам не знаю я.
 Задушила петля
 В роще соловья.

До беды жалею,
 Что далеко был
 И петлю на шею
 Не перекусил!

Кликну, кликну с горя,
 А тебя уж нет.
 В черном коленкоре
 На столе портрет.

Дождичек весенний
 Окропил наш сад.

не «мороженое из сирени», а штоф водки и соленый огурец. При всей его «грезёрности» Северянин явление очень русское, провинциально-театральное. Но зато у него есть одно качество настоящего поэта — стихи его никогда ни с кем не спутаешь. Когда Северянин эмигрировал, литераторы-эмигранты, не столь известные, как он, с наслаждением отомстили ему за его славу своим высокомерием, барским пренебрежением, которого у самого Северянина никогда не было. Вычеркнутый из списка «настоящих поэтов», Северянин оказался в полном одиночестве в Эстонии, и после ее аннексии написал оду, приветствующую в стиле его ранних неологизмов «шестнадцатиреспубличный Союз». Это было не политическое стихотворение, а скорее ностальгическое. Северянин перед смертью был счастлив, получив письмо своих почитателей откуда-то с Алтая. Он и не подозревал, что его имя в сталинском СССР обросло легендами, а его стихи переписывали от руки. Но он предугадал это в своем горьком парафразе Мятлева: «Как хороши, как свежи будут розы моей страной мне брошенные в гроб!» Кокетливый талант, в каком-то смысле искусственный. Но его кокетливость неотразимо обаятельная, а его искусственность самая что ни на есть естественная. По известному выражению, многие трагедии кончаются фарсом. В случае с Северяниным фарс превратился в трагедию.

МАЛЕНЬКАЯ ЭЛЕГИЯ

Она на пальчиках привсталала
И подарила губы мне.
Я целовал ее устало
В сырой осенней тишине.

И слезы капали беззвучно
В сырой осенней тишине.
Гас скучный день — и было скучно,
Как всё, что только не во сне.

1909

ВСЁ ПО-СТАРОМУ

«Всё по-старому... — сказала нежно. —
Всё по-старому...»
Но смотрел я в очи безнадежно —
Всё по-старому...
Улыбалась, мягко целовала —
Всё по-старому...
Но чего-то все недоставало —
Всё по-старому!..

1909

РУССКАЯ

Кружевет, розовеет утром лес,
Паучок по паутинке вверх полез.
Бриллиантится веселая роса.
Что за воздух! Что за свет! Что за краса!
Хорошо гулять утрами по овсу,
Видеть птичку, лягушонка и осу,
Слушать сонного горлана-петуха,
Обменяться с дальним эхом: «Ха-ха-ха!»
Ах, люблю бесцельно утром покричать,
Ах, люблю в березках девку повстречать,
Повстречать и, опираясь на плетень,
Гнать с лица ее предутреннюю тень,
Пробудить ее невыспавшийся сон,
Ей поведать, как в мечтах я вознесен,
Обхватить ее трепещущую грудь,
Растолкать ее для жизни как-нибудь!

1910

МОРОЖЕНОЕ ИЗ СИРЕНИ!

— Мороженое из сирени! Мороженое
из сирени!

Полпорции десять копеек, четыре копейки
буше.
Сударышни, судари, надо ль? не дорого
можно без прений...
Поешь деликатного, площадь: придется товар
по душе!

Я сливочного не имею, фисташковое все
распродал...
Ах, граждане, да неужели вы требуете
крем-брюле?
Пора популяризировать изыски, утончиться вкусам
народа,
На улице специи кухонь, огимнив эксцесс
в вирелэ!

Сирень — сладострастья эмблема.
В лилово-изнеженном крене
Зальдись, водопадное сердце, в душистый
и сладкий пушок...
Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!
Эй, мальчик со сбитнем, попробуй! Ей-Богу,
похвалишь, дружок!

1912

ЭПИЛОГ

Я, гений Игорь Северянин,
Своей победой упоен:
Я повсеградно озкранен!
Я повсесердно утвержден!

От Баязета к Порт-Артуру
Черту упорную провел.
Я покорию литературу!
Взорлил, гремящий, на престол!

Я — год назад — сказал: «Я буду!»
Год отсверкал, и вот — я есть!
Среди друзей я зрил Иуду,
Но не его отверг, а — месть.

«Я одинок в своей задаче!» —
Прозрленно я провозгласил.
Они пришли ко мне, кто зрячи,
И, дав восторг, не дали сил.

Живые и сытые трупы,
 Без помыслов и без идей,
 Ушли в черепашие супы, —
 О, люди без сути людей!

Им стало филе из лягушки
 Дороже пшеницы и ржи,
 А яды, наркозы и пушки —
 Нужнее, чем лес и стрижи.

Как сети, ткать стали интриги
 И, ближних опутав, как рыб,
 Забыли музеи и книги,
 В руке затаили ушиб!

Злорадно они ушибали
 Того, кто доверился им.
 Так все очутились в опале,
 Что было правдиво-святым.

И впрямь! для чего людям святость?
 Для святости — анахорет!
 На подвиги, боль и распятость
 Отныне наложен запрет.

И вряд ли при том современно
 Уверовать им в интеллект.
 И в Бога. Удел их — надменно
 Идти мимо «разных нам сект»...

И вот, под влиянием моды,
 Святое отринувшей все,
 На модных ходулях «комоды»
 Вдруг круг завели в колесе.

Как следствие чуши и вздора —
 Неистово вверглись в войну.
 Воскресли Содом и Гоморра,
 Покаранные в старину.

Декабрь 1918

ПОЭЗА ПРАВИТЕЛЬСТВУ

Правительство, когда не чтит поэта
 Великого, не чтит себя само
 И на себя накладывает вето
 К признанию и срамное клеймо.

Правительство, зовущее в строй армий
 Художника, под пушку и ружье,
 Напоминает повесть о жандарме,
 Предавшем палачу дитя свое.

Правительство, лишившее субсидий
 Писателя, вошедшего в нужду,
 Себя являет в непристойном виде
 И вызывает в нем к себе вражду.

Правительство, грозящее цензурой
 Мыслителю, должно позорно пасть.

Так, отчеканив яркий ямб цезурой,
 Я хлестко отчеканиваю власть.

А общество, смотрящее спокойно
 На притеснение гениев своих,
 Вандального правительства достойно,
 И не мечтать ему о днях иных...

(1920?)

КЛАССИЧЕСКИЕ РОЗЫ

*Как хороши, как свежи были розы
 В моем саду! Как взор прельщали
 мой!*

*Как я молил весенние морозы
 Не трогать их холодной рукой!
 Мятлев, 1843 г.*

В те времена, когда роились грезы
 В сердцах людей, прозрачны и ясны,
 Как хороши, как свежи были розы
 Моей любви, и славы, и весны!

Прошли лета, и всюду льются слезы...
 Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране...
 Как хороши, как свежи ныне розы
 Воспоминаний о минувшем дне!

Но дни идут — уже стихают грозы.
 Вернуться в дом Россия ищет троп...
 Как хороши, как свежи будут розы,
 Моей страной мне брошенные в гроб!

1925

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

Ты потерял свою Россию.
 Противоставил ли стихию
 Добра стихии мрачной зла?
 Нет? Так умолкни: увела
 Тебя судьба не без причины
 В края неласковой чужбины.
 Что толку охать и тужить —
 Россию нужно заслужить!

1925

ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Десть лет — грустных лет! —
 как заброшен в приморскую глушь я.
 Труп за трупом духовно родных.

Да и сам полутруп.

Десять лет — страшных лет! —
 удушающего равнодушья
 Белой, красной — и розовой —
 русских общественных групп.

Десять лет! — тяжких лет! —
 обескрыливающих лишений,
 Унижений шемящей и мозг
 шеломящей нужды.

Десять лет — грозных лет! —
 сатирических строф по мишени,
 Человеческой бесчеловечной
 и вечной вражды.

Десять лет — странных лет! —
 отреченья от многих привычек,
 На теперешний взгляд —
 мудро-трезвый, — ненужно дурных...
 Но зато столько ж лет рыб, озер,
 перелесков и птичек.
 И встречанья у моря
 ни с чем не сравнимой весны!

Но зато столько ж лет, лет невинных,
 как яблоней белых
 Неземные цветы, вырастающие на земле,
 И стихов из души, как природа
 свободных и смелых,
 И прощенья в глазах, что в слезах,
 и — любви на челе!

1927

ТИШЬ ДВОЯКАЯ

Высокая стоит луна.
 Высокие стоят морозы.
 Далекие скрипят обозы.
 И кажется, что нам слышна
 Архангельская тишина.

Она слышна, — она видна:
 В ней всхлипы клюквенной трясины,
 В ней хрусты снежной парусины,
 В ней тихих крыльев белизна —
 Архангельская тишина...

1929

БЫВАЮТ ДНИ...

Бывают дни: я ненавижу
 Свою отчизну — мать свою.
 Бывают дни: ее нет ближе,
 Всем существом ее пою.

Все, все в ней противоречиво,
 Двулико, двоедушно в ней,
 И дева, верящая в диво
 Надземное, — всего земней.

Как снег — миндаль. Миндальны зимы.
 Гармошка — и колокола.
 Дни дымчаты. Прозрачны дымы.
 И вороны, — и сокола.

Слом Иверской часовни. Китеж.
 И ругань — мать, и ласка — мать...
 А вы-то тщитесь, вы хотите
 Ширококрайнюю объять!

Я — русский сам, и что я знаю?
 Я падаю. Я в небо рвусь.
 Я сам себя не понимаю,
 А сам я — вылитая Русь!

Ночью под 30-й год

НА НЕОБИТАЕМОМ ОСТРОВЕ

Ни в жены, ни в любовницы, ни в сестры:
 Нет верности, нет страстности, нет дружбы.
 Я не хотел бы с ней попасть на остров
 Необитаемый: убила глушь бы.

Когда любим и любишь, счастьем рая
 Глушь может стать. Но как любить такую?
 Как быть с ней вечно вместе, созерцая
 Не добрую и вместе с тем не злую?

Вечерние меня пугали б тени,
 Не радовал бы и восход румяный.
 Предаст. Расстроит. Омрачит. Изменит.
 Раз нет мужчин, хотя бы с обезьяной.

23 февраля 1932

Toila

КОНСТАНТИН СИМОН

1887—1966

Виднейший советский книговед, библиограф, историк культуры, автор таких научных трудов, как «История иностранной библиографии», «Библиография. Основные понятия и термины». Стихов своих при жизни никогда не печатал, а между тем они обладают ценностью дневника российского интеллигента, сумевшего эту интеллигентность сохранить, несмотря на засилье «шариковщины».

* * *

Воспоминания — ласковая плесень
 На заводях неторопливых рек...
 Как долго я играю в нудной пьесе
 С случайным заголовком: имя рек!
 Я делал все, что требовалось ролью:
 Уста и те, и эти целовал,
 Часами исходил бессильной болью
 И изредка — на миг — торжествовал.
 Горел мечтой о правде и свободе,
 Изведал стыд и самый низкий страх.
 Ни в чем перечить не решался моде:

Ни в галстуках, ни в мыслях, ни в делах.
 Но почему замедлилась развязка
 И занавес так долго не идет?
 Есть Totentanz: лихих скелетов пляска.
 Пора и мне включаться в хоровод.

1955

* * *

(фрагмент)

Был первый Рим, второй и третий Рим,
 Теперь идет четвертый — всех победней.

Лишь человек всегда неповторим
И потому всегда — последний.

1954

* * *

Я жизнь влачу во власти книг,
В их шелесте однообразном:
Кто прелесть книжную постиг,
Тот чужд другим земным соблазнам.
Тяжел и нежен книжный гнет,
Как шелк надгробного покрова.
Не вырвать душу из тенет
Другими сотканного слова.
Я в лабиринте смутных дней
Брожу по брошенным мне нитям,
Чтоб не искать своих путей
Иль, отыскавши, изменить им.
Та мысль, что ластится ко мне
С такой навязчивой истомой,
Лежала, сонная, на дне
Чужого высохшего тома.
Любовь, дарящую мне свет
И неожиданный, и жаркий,
Уже воспел в веках сонет
Жеманно-мудрого Петrarки.
А книжный мой и душный плен
Уж осудил насмешкой хмурой
Капризный пьяница Верлен
И окрестил «литературой».

1950

* * *

На плечи наши сумрачно легли
Все тяготы смиренные земли.
Мы знаем скорбь, и скорби робкий час,
И смиренные часы у ссудных касс.
И молодость в нас быстро отцвела,
Как городская пыльная сирень,
И каждого встречает каждый день
Насмешливой бедой из-из угла.
Не оттого ль сквозь тощий дождь невзгод
Мы любим жизнь и все, что слито с ней:
Ее печаль, ее томящий гнет
Все преданней, покорней и нежней, —
Без радости, без ропота, без стона,
Как хмурого Арапа — Дездемона?

1927

* * *

У перекрестка, в выщербленной яме
Белеет тускло лужа молока.
День пасмурный, и низко над домами
Лиловые набухли облака.
Весь город стал замученным и старым,
Из кирпича, столетий и тоски,
И тянутся по липким тротуарам
Неповоротливые старики.
А в переулках — ветра свист и талый
Весенний снег неряшливой межой,
И я — с утра сутулый и усталый
Усталостью своею и чужой.

1932

АЛЕКСАНДР ШИРЯЕВЕЦ

1887, с. Ширяево Симбирской губ.—1924, Москва

Псевдоним Александра Абрамова. Крестьянский поэт, пришедший с разинской Волги и воспевший ее горе и надежды. Учился у Кольцова, Сурикова, Есенина. Под впечатлением неожиданной смерти Ширяевца Есенин написал знаменитые стихи: «Мы теперь уходим понемногу».

ПОМИНАЛЬНИК УШИ

Был пойман на месте преступления:
На лодке плыл, пошаливал... отец!..
— «Сойди!» Схожу... отецкое внушенье —
Пылают уши, что огонь-пунец...
— Один ведь сын! — «Смотри! —
избаловался! —
А вдруг потонешь! Дальше от реки!..»
Но все же часто я за весла брался,
Вот потому и уши велики...

ДУНЬКА ШЛЯХОВА

Она на клиросе по воскресеньям пела,
Полынь ученья вместе с ней я ел...

В глазах ее отрава зеленела,
Ну... ну и я на клиросе запел...
Придет весной в малиновой обнове
И тяжело мне седую вязь плести...
— Господь, Господь! Тебя я славословил
Ведь из-за Дуньки Шляховой! — Прости!..

СКЛАДЕНЬ НИЛ СОРСКИЙ

Мертвы болота, неулыбна Сора, —
Да лучше лечь в единой из могил!
Но возлюбил сие пустынный Нил:
Для «внутреннего деланья» — просторы!
Стал подвизаться. Не жалея сил,
Христову ниву очищал от плевел,
Божественною истиною веял,
Зело ханжей тучнейших он клеймил.

Мертвы болота. Подвигом красен
Суровый скит. Да вот вспомин улада:
Святыни благолепные Царьграда,
Афона дальнего медлительный зазвон.

Болота вновь. А Русь-то не болото?..
Вновь за труды, мамоны слуг грома,
Слова последние в предсмертную дремоту:
— «С бесчестьем всяким погребите мя».
1924

НИКОЛАЙ АГНИВЦЕВ

1888, Москва — 1932, там же

Знаменит стал после своей легкой, но остроумной книжки стихов «Студенческие песни» (1912). От Саши Черного он, однако, усвоил лишь его чувство юмора, уступая ему в глубине и трагизме. Был в эмиграции, затем вернулся. Самая известная его книга — «Мои песенки» — много раз переиздавалась.

БИЛЬБОКЭ

К Дофину Франции, в печали,
Скользнув тайком из-за угла,
Однажды дама под вуалью
На аудиенцию пришла.
И пред пажем склонила взоры:
«Молю, Дофина позови!
Скажи ему, я та, которой
Поклялся в вечной он любви!»

«Что вас так всех к Дофину тянет?
Прошу, присядьте в уголке!
Дофин устал! Дофин так занят!
Дофин — играет в бильбокэ!»

К Дофину Франции в покои,
Примчав коня во весь опор,
С окровавленной головою
Ворвался бледный мушкетер:
«Эй, паж! Беги скорей к Дофину!
Приходит Франции конец!
О, горе нам! Кинжалом в спину
Убит Король, его отец!»

«Что вас так всех к Дофину тянет?
Прошу, присядьте в уголке!
Дофин устал! Дофин так занят!
Дофин играет в бильбокэ!»

К Дофину Франции в финале,
Однажды, через черный ход,
Хотя его не приглашали,
Пришел с дреколями Народ!
Веселый паж не без причины
Протер глаза, потрогал нос,
И, возвратившись от Дофина,
С полупоклоном произнес:

«Что вас так всех к Дофину тянет?
Прошу, присядьте в уголке!
Дофин устал! Дофин так занят!
Дофин играет в бильбокэ!»

ВОТ И ВСЕ!

В саду у дяди Кардинала,
Пленяя грацией манер,

Маркиза юная играла
В серсо с виконтом Сен-Альмер.

Когда ж, на солнце негодуя,
Темнеть стал звездный горизонт,
Тогда с ней там в игру другую
Сыграл блистательный виконт!

И были сладки их объятья,
Пока маркизу не застал
За этим сладостным занятием
Почтенный дядя Кардинал.

В ее глазах потухли блески
И, поглядевши на серсо,
Она поправила прическу
И прошептала: «Вот и все!»

Прошли года... И вот, без счета,
Под град свинца, за рядом ряд,
Ликуя вышли санкюлоты
На исторический парад!

«Гвардейцы! Что ж вы не идете?»
И в этот день, слегка бледна,
В последний раз на эшафоте
С виконтом встретилась она.

И перед пастью гильотины,
Достав мешок для головы,
Палач с галантностью старинной
Спросил ее: «Готовы ль вы?»

В ее глазах сверкнули блески
И, как тогда, в игре серсо,
Она поправила прическу
И прошептала: «Вот и все!»

ПАРА КАЛОШ

Над ними пели попугаи
Там, где цветет Мадагаскар...
И возле них, не раз мешая
Распеться попугайной стае,
Хвостом бил землю ягуар!..

И люди с загорелой кожей
Десятком тысяч черных рук
Носили неустанной ношей
Эмбриональные калоши
Под странным словом «каучук».

И под брюзжанье капитанов,
Под ветровой циклонный гам —
Через полуденные страны
Перенесли их океаны
К холодным нашим берегам.

И здесь им с видом именинным
Гудки заухали! И вот:
Тогда-то вмах кольцом единым
Разгоряченные машины
На окалошенный народ.

И вот: по лужам тротуаров
Уныло хлюпают в мечтах
О пальмах и о ягуарах —
Кусочки те Мадагаскара
На ваших пыльных сапогах.

1926

БЕСПРИЗОРНЫЙ

Просто так... Ну совсем между прочим —
Вылез боком из мусорной ямы
Маленький тряпичный Комочек
С человеческими глазами.

Почесался! Огляделся с опаской...
Попрыгал на снегу от холода...
И — покатился колбаской
По жирному городу.

Страшен город для маленьких ночью!..
Огневая гранитная прорва!
И страшно очень Комочку,
И жрать ему хочется здорово!..

Попытался украсть в первой лавке
Что-нибудь там посытнее...
Но приказчики из-за прилавка
Надавали Комочку по шее!..

И вновь по морозу оттуда
Покатился Комочек, вздыхая...
И долго мотался, покуда
Не украл кошелек в трамвае.

И напился Комочек с холоду!
Хоть и горько, а все же — теплее!..
И грозил спьяну жирному городу
Он за яму и битую шею!..

Докатился Комочек до точки!..
И ждет молча нас в своей яме —
Маленький тряпичный Комочек
С человеческими глазами.

1920-е годы

КОГДА ГОЛОДАЕТ ГРАНИТ

Был день и час, когда уныло
Вмешавшись в шумную толпу,
Краюшка хлеба погрозила
«Александрийскому столпу»!

Как хохотали переулки,
Проспекты, улицы! И вдруг
Пред трехкопеечною булкой
Склонился ниц Санкт-Петербург.

И в звоне утреннего часа
Грохочет лязг гранитных плит,
И вот от голода затрясся
Елизаветинский гранит.

Вздохнули старые палаццо,
И, потоптавшись у колонн,
Пошел на Невский, продаваться
Весь блеск прадедовских времен.

И сразу сгорбились фасады,
И, стиснув зубы над Невой —
Восьмиэтажные громады
Стоят с протянутой рукой.

Ах, Петербург! Как страшно просто
Подходят дни твои к концу...
Подайте Троицкому мосту!
Подайте Зимнему дворцу!

ДОН АМИНАДО

1888, Елисаветград — 1957, Париж

Настоящее имя Аминад Петрович Шиолянский. До революции сотрудничал в журнале «Сатирикон». Был солдатом на Первой мировой войне. Первая книга — «Песни войны» (1914). После гражданской войны эмигрировал в Париж, где регулярно печатал стихотворные фельетоны в газете П. Милюкова «Последние новости». В СССР его стихи возвратились лишь после смерти поэта — при перестройке. Некоторые из них поражают и даже пугают силой своего провидческого скептицизма, как, например, стихотворение «Честность с собой», взятое нами для антологии из парижского сборника «Дым без отечества», ставшего библиографической редкостью.

ЧЕСТНОСТЬ С СОБОЙ

«Через 200—300 лет жизнь будет невыразимо прекрасной».

А. П. Чехов

Россию завоюет генерал,
Стремительный, отчаянный и строгий.
Воскреснет золотой империал.
Начнут чинить железные дороги.
На площади воздвигнут эшафот,
Чтоб мстить за многолетие позора.
Потом произойдет переворот
По поводу какого-нибудь вздора.
Потом придет конно-гвардейский полк,
Чтоб окончательно Россию успокоить,
И станет население, как шелк,
Начнет пахать, ходить во храм и строить.
Набросятся на хлеб и на букварь.
Озолотят грядущее сияньем.
Какая-нибудь новая бездарь
Начнется всенародным покаяньем.
Эстетов расплодится, как собак.
Все станут жаждать наслаждений жизни.
В газетах будет полный кавардак
И ежедневная похлебка об отчизне.
Ну, хорошо. Пройдут десятки лет
И смерть придет и тихо скажет: баста.
Но те, кого еще на свете нет,
Кто будет жить — так, лет через полтора,ста,
Проснутся ли в пленительном саду
Среди святых и нестерпимых светов,
Чтоб дни и ночи в сладостном бреду
Твердить чеканные гексаметры поэтов
И чувствовать биение сердец,
Которые не выдают печали,
И повторять: «О, брат мой, наконец!
Недаром наши предки пострадали!»
Н-да-с. Как сказать... Я напрягаю слух,
Но этих слов в веках не различаю,
а вот что из меня начнет расти лопух,
я знаю.
И кто порукою, что верен идеал,
что станет человечеству привольно?
Где мера сущего!? Грядите, генерал!
На десять лет! И мне, и вам — довольно!

ЖИРОНДА

Три года царствуют ослы,
И пусть, ослы и не Ликурги,
У них есть в Англии послы
И два балета в Петербурге.
У них — и армии и флот,
Краса и гордость революций.
У них — Путиловский завод,
Сей собирательный Конфуций.
А их влияние на умы!
Уменье властвовать и править!
Что можем — я, и вы, все мы
Упорству их противопоставить?!

На протяженьи этих лет
Сердца, готовые проснуться,
Какой писатель, иль поэт
Заставил в муке содрогнуться?
Болтун приезжий в кабачке,
Поклонник собственных рассказов?
Или, в потертом пиджачке,
Опять Алеша Карамазов?!
А мы, бессильные помочь,
Копили желчь свою упрямо
И повторяли день и ночь:
Россия — яма, яма, яма.
Петлюра, гетман, дьявол, черт!
При каждом рывкании пушки
Мы лезли толпами на борт,
На паровозы и в теплушки.
И что везли? Холопский гнев
Лишенных собственного крова,
И утешение, что Лев
Не Троцкий Лев, а Троцкий Лева!
Четвертый год холодной мглы.
Четвертый год — одно и то же.
Произведи нас хоть в ослы.
О, Боже, милостивый Боже!

СВЕРШИТЕЛИ

Расточали каждый час.
Жили скверно и убого.
И никто, никто из нас
Никогда не верил в Бога.

Ах, как было все равно
Сердцу — в царствии потемок!
Пили красное вино
И искали незнакомок.

Возносились в облака.
Пережевывали стили.
Да про душу мужика
Столько слов наворотили,

Что теперь еще саднит
При одном воспоминаньи.
О, Россия! О, гранит,
Распылившийся в изгнаньи!

Ты была и будешь вновь.
Только мы уже не будем.
Про свою к тебе любовь
Мы чужим расскажем людям.

И, прияв, пожатые плеч,
Как ответ и как расплату,
При неверном блеске свеч
Отойдем к Иосафату.

И потомкам в глубь веков
Предадим свой жребий русский:
Прах ненужных дневников
И Гарнье — словарь французский.

ВСЕЛЕНСКИЕ ХЛОПОТЫ

Мы всюду искали святую Каабу.
Мы все уверяли вполне откровенно
Навзрыд голосившую тульскую бабу,
Что ейный кормилец — защитник Лувэна.

Британия?! — Бог мой, дорогу Гладстонам!
Италия?! — Ясно! Спасем Капитолий!
А сами уж керенки мяли со стоном,
Да лузгали семячки волей-неволей.

— За синюю птицей, за спящей царевной!
Воистину, был этот путь многотруден.
То русский мужик умирает под Плевной,
То к чорту в болото увяжется Рудин.

А как умилялись Венерой Милосской!
Шалели и млели от всех мемуаров.
И три поколения плохой папирской
Дымили у бедной стены Коммунаров.

И все для того, чтоб в конечном итоге,
Прослав сумасшедшей, святой и кликушей,
Лежать в стороне от широкой дороги
Огромной, гниющей и косою тушей.

ПИСАНАЯ ТОРБА

Я не могу желать от генералов,
Чтоб каждый раз, в пороховом дыму,
Они республиканских идеалов
Являли прелести. Кому? и почему?!

Когда на смерть уходит полк казацкий,
Могу ль хотеть, чтоб каждый, на коне,
Припоминал, что думал Златовратский
О пользе просвещения в стране.

Есть критики: им нужно до зарезу,
Я говорю об этом, не смеясь,
Чтоб даже лошадь ржала марсельезу,
В кавалерийскую атаку уносясь.

Да совершится все, что неизбежно:
Не мы творим историю веков.
Но как возвышенно, как пламенно, как нежно
Молюсь я о чуме для дураков!

ЛЮБИТЕЛИ БЕСКРОВНОЙ И СВЯТОЙ

Я не боюсь восставшего народа.
Он отомстит за годы слепоты

И за твои бубенчики, Свобода,
Рогатиною вспорет животы.

Он будет прав, как темная лавина,
Которая несется с высоты.
И в пламени последнего овина
Погибнут книги, люди и скоты.

Я не боюсь, что все Наполеоны
Зальют свинцом разинутые рты.
Что вылезут из нор хамелеоны
И хищные, хрустящие кроты.

ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ

Пришел человек, продающий чулки.
В глазах человека вращались белки.
И быстро мигал и зрачок, и белок.
И должен купить я был пару чулок.

Потом приходил представительный князь
И вежливо тыкал какую-то мазь
Не то для ботинок, не то для лица,
И всю свою жизнь рассказал до конца.

Потом приходил и вздыхал тяжело
Почтенный старик, продававший стило.
Потом позвонил и пришел невзначай
Застенчивый юноша, тыкавший чай.

Потом человек, продававший вразнос
Не то граммофоны, не то пылесос.
Потом приходил человек-антиквар,
Таскавший с собою большой самовар,

Который, хотя он и был без трубы,
Я принял, как некий подарок судьбы,
И мысленно проклял злодейку-судьбу,
И капли холодные вытер на лбу.

Потом приходил неизвестный вандал,
Которого мне мой приятель послал.
Вандал уж совсем торговал барахлом,
Но был мускулистым и шел напролом...

И все положив на домашний алтарь,
Я полный составил вещам инвентарь,
И вот и сижу, как бессмертный Кощей,
Над темною грудой ненужных вещей,

И чую чутьем вымирающих каст,
Что кто-то ворвется и что-то продаст.

МИХАИЛ АРТАМОНОВ

1888, д. Пески Костромской губернии — (?)

В 1919 году побывавший в Иваново-Вознесенске Луначарский назвал этот город ткачей «поэтическими Афинами». Действительно, здесь на ивановских ситцах росли не только цветы, но и рифмы. Пришедшие из деревни ткачи пытались создать свой — теперь уже фабричный — фольклор. Первые стихи Артамонов опубликовал, еще будучи в армии ротным «фершалом» — в «Правде» (1912). В 1913-м выпустил журнал «Дым», объединивший ивановских рабочих-поэтов.

* * *

(фрагмент)

Трясти, трясти —
Не домой нести,

Ах, будем мы
Плетень плести!
Ты маков звон,
Поцелуйный день.
В кругу, в лугу
Сплетем плетень!

НАТАЛЬЯ КРАНДИЕВСКАЯ-ТОЛСТАЯ

1888, Москва —1963, Ленинград

Отец — земский деятель, затем издатель журнала «Бюллетени литературы и жизни». Мать — писательница, автор двух книг рассказов. С детства Крандиевская в гостини матери видела Г. Успенского, Гаршина, Короленко, Горького. Как пишет она сама: «Беседы с Буниным о стихах, об искусстве определили мои вкусы, тяготения и с самого начала уберегли меня от влияния символистов, господствовавших тогда в поэзии». В 1913-м напечатан первый сборник ее стихов. В 1914-м вторым браком вышла за писателя А. Н. Толстого, затем вместе с ним в 1919 году эмигрировала во Францию. Крандиевская признается: «Оба мы не были приспособлены для процветания на чужой почве». Сотрудничая в берлинской газете «Накануне», Толстой окончательно отмежевался от эмиграции, и они вернулись на родину. Однако, став женой знаменитого писателя, Крандиевская начала терять как писательницу себя. «Творческая жизнь моя была придушена... Я была секретарем, советником, критиком, часто даже переводчиком...» Лишь разойдясь с Толстым, Крандиевская вернулась к перу. Блокада Ленинграда принесла ей, как и другим ленинградцам, голод, страдания, но зато и подарила лучшие ее стихи, показывающие, какие были у нее поразительные возможности, задавленные славой ее мужа, о котором шутили так: «Граф уехал в наркомат».

* * *

Проходят мимо неприявшие.
Не узнают лица в крови.
Россия: где ж они, кричавшие
О милосердии любви?

Теперь ты в муках, ты — родильница.
Но кто с тобой в твоей тоске?
Одни хоронят, и кадилница
Дымит в кощунственной руке.

Другие вспугнуты, как вороны,
И, стоны слыша на лету,
Спешат на все четыре стороны
Твою окаркать наготу.

И кто в безумьи прекословия
Ножа не заносил над ней?
Кто принял крик у изголовия
И бред пророческих ночей?

Но пусть ты в муках не одна еще,
Благословенна в муках плоть!
У изголовья всех рожаящих
Единый сторож есть — Господь.

1920(?)

* * *

Родинка у сына на спине
На твою предательски похожа.
Эту память ты оставил мне,
Это память сердце мне тревожит.

Родинка! Такая ерунда.
Пятнышко запекшееся крови.
Больше не осталось и следа
От былого пиршества любви.

1938

* * *

Я твое не трону логово,
Не оскаливай клыки.
От тебя ждала я многого,
Но не поднятой руки.

Эта ненависть звериная,
Из каких она берлог?
Не тебе ль растила сына я?
Как забыть ты это мог?

В дни, когда над пепелищами
Только ветер заскулит,

В дни, когда мы станем нищими,
Как возмездие велит,

Вспомню дом твой, за калиткою
Волчьей ненависти взгляд,
Чтобы стало смертной пыткой
Оглянуться мне назад!

1941

* * *

А беженцы на самолетах
Взлетают в небо, как грачи,
Актеры в тысячных енотах,
Лауреаты и врачи.
Директор фабрики ударной,
Завтреста, мудрый плановик,
Орденоносец легендарный
И просто мелкий большевик, —
Все как один стремятся в небо,
В уют заоблачных кают.
Из Вологды писали — хлеба,
Представьте, куры не клюют.
Писатель чемодан каракуль
В багаж заботливо сдает.
А на жене такой каракуль,
Что прокормить их может с год.
Летят? Куда? В какие дали?
И остановятся на чем?
Из Куйбышева нам писали —
Жизнь бьет по-прежнему ключом.
Ну что ж, товарищи, летите.
А град Петра и в этот раз,
Хотите ль вы, иль не хотите,
Он обойдется и без вас.
Лишь промотавшиеся тресты
В забитых наглухо домах
Грустят о завах, как невесты
О вероломных женихах.

1941

НА УЛИЦЕ
(1941—1942 гг.)

II

На салазках кокон пряменький
Спеленав, везет
Мать заплаканная, в валенках,
А метель метет.

Старушонка лезет в очередь,
Охает, крестясь:
«У моей, вот тоже, дочери
Схоронен вчерась.

Бог прибрал, и, слава Господу,
Легше им и нам
Я сама-то скоро с ног спаду
С этих со ста грамм».

Труден путь, далек до кладбища,
Как с могилой быть?
Довезти сама смогла б еще, —
Сможет ли зарыть?

А не сможет — сложат в братскую,
Сложат, как дрова,
В трудовую, ленинградскую,
Закопав едва.

И спешат по снегу валенки, —
Стало уж темнеть.
Схоронить трудней, мой маленький,
Легче умереть.

III

Шаркнул выстрел. И дрожь по коже,
Точно кнут обжег
И смеется в лицо прохожий:
«Получай паек!»

За девичей с тугим портфелем
Старичок по панели
Еле-еле
Бредет.

«Мы на прошлой неделе
Мурку съели,
А теперь —
этот вот...»
Шевелится в портфеле
и зловеще мяукает кот.

Под ногами хрустят
На снегу оконные стекла.
Бабы мрачно, в ряд,
У пустого ларька стоят.
«Что дают?» — «Говорят,
Иждивенцам и детям — свекла».

V

За спиной свистит шрапнель.
Каждый кончик нерва взвинчен.
Бабий голос сквозь метель:
«А у Льва Толстого нынче
Выдавали мервишель!»

Мервишель? У Льва Толстого?
Снится, что ли, этот бред?
Заметает вьюга след.
Ни фонарика живого,
Ни звезды на небе нет.

VI

Как приведенья беззаконные,
Дома зияют безоконные
На снежных площадях.
И, запевая смертной птичкой,
Сирена с ветром переключкою
Братаются впотьмах.

Вдали, над крепостью Петровою,
Прожектор молнию лиловую
То гасит, то зажжет.
А выше — звездочка булавкою
Над Зимней светится канавкою
И город стережет.

* * *

Смерти злой бубенец
Зазвенел у двери.
Неужели конец?
Не хочу. Не верю!

Сложат, пятки вперед,
К санкам привяжут,
— Всем придет свой черед,
Прохожие скажут.

Не легко проволочь
По льду, по ухабам,
Рыть совсем уж невмочь,
От голода слабым.

Отдохни, мой сынок,
Сядь на холмик с лопатой,
Съешь мой смертный паек,
За два дня вперед взятый.

Февраль 1942

В КУХНЕ

I

В кухне жить обледенелой,
Вспоминать свои грехи
И рукой окоченелой
По ночам писать стихи.

Утром — снова суматоха.
Умудри меня, Господь,
Топором владея плохо,
Три полена расколоть!

Не тому меня учили
В этой жизни, вот беда!
Не туда переключили
Силу в юные года.

Печь дымится, еле греет.
В кухне копать, как в аду.
Трубочистов нет — болеют,
С ног валяются на ходу.

Но нехитрую науку
Кто из нас не превозмог?
В дымоход засунув руку,
Выгребаю черный мох.

А потом иду за хлебом,
Становлюсь в привычный хвост.
В темноте сереет небо.
И рассвет угрюм и прост.

С черным занавесом сходна,
Вверх взлетает ночи тень,
Обнажая день холодный
И голодный — новый день.

Но с младенческим упорством
И с такой же волей жить
Выхожу в единоборство —
День грядущий заслужить.

У судьбы готова красть я, —
Да простит она меня, —
Граммы жизни, граммы счастья,
Граммы хлеба и огня!

* * *

На стене объявление: «Срочно!
На продукты меняю фасонный гроб.
Размер ходовой.
Об условиях точно —
Галерная, девять». Наморщил лоб
Гражданин в ушанке оленьей,
Протер на морозе пенсне,
Вынул блокнот, списал объявление,
Отметил: «Справиться о цене».
А баба, сама страшнее смерти,
На ходу разворчалась:
«Ишь, горе великое!
Фасо-о-онный еще им, сытые черти.
На фанере ужо сволокут,
погоди-ка».

1942

* * *

Стрела упала, не достигнув цели.
И захлебнулся выстрел мой осечкой.
Жива ли я? Была ли в самом деле,
Иль пребывала в праздности доселе —
Ни черту кочергой, ни Богу свечкой,
А только бликом, только пылью
звездной,
Мелькнувшей в темноте над бездной?

1960

ВЛАДИМИР НАРБУТ

1888, хутор Нарбутовка Черниговской губ.—1938

Один из «первых шести акменстов» — Гумилев, Городецкий, Мандельштам, Зенкевич, Ахматова, Нарбут. Принадлежал к левому крылу «Цеха поэтов», атакуя и своими публичными выступлениями, и самим стилем своих стихов дешевую грациозность декадентщины. В этом задиристом эпатаже был чем-то близок футуристам. Сборник «Алилуйя» был конфискован царской цензурой, увидевшей в нем богохульство. После Октябрьской революции работал на крупных постах в печати — в частности, директором ЮГРОСТА и издательства «Земля и фабрика». В своей талантливой, однако грешащей произвольными субъективными толкованиями книге «Алмазный мой венец» Катаев написал Нарбута с предвзятой гротесковостью в образе «колченогого», невзирая на известную ему трагическую судьбу поэта. Нарбут, как поэт, иногда оскальзывался в натуралистический малопривлекательный физиологизм. В его поэзии были плотность, сочность, вещность. Репрессирован. Реабилитирован посмертно. И западные, и советские издания Нарбута неполны и грешат «вкусовщиной», переходящей в ханжество.

ОКТАБРЬ

Неровный ветер страшен песней,
звнящей в синее стекло.
Куда брести, Октябрь, тебе с ней,
коль кровью небо затекло?
Сутулый и подслеповатый,
дорогу щупая клюкой,
какой зажмешь ты рану ватой,
водой опрыскаешь какой?
В шинелях — вши, и в сердце — вера,
ухабами качает путь.
Не от штыка — от револьвера
в пути погибнут: как-нибудь.
Но страшен ветер, что в окошко
поет протяжно и звенит,
и, не мигая глазом, кошка
ворочает пустой зенит.

1922

НА ТВЕРСКОЙ
Из цикла «Цыгане»

Плечиками поводя,
(Пятое через десятое!)
Кругом топчется дитя,
Неумытое,
Косматое.

Гам и треск на весь бульвар:
С ворожкой липнут матери...

Шире этих шаровар
Не отыщешь и в театре!

Это — сизый великан,
В картузе,
С губатой трубкою —
Главный в таборе цыган.
(Над ноздрями — шрам зарубкою).

Важно он идет средь нас,
В сутолке исчезающих.
Жбан его,
Луженый таз,
На цепочке водит зайчика...

Никому и невдомек,
Что подкова не наварена
Лошадь продана — подарена,
Что пускает он дымок
Не в кибитке —
В Роще Марьиной...

А давно ль скрипела степь
Под высокими колесами,
За вертепом
Шел вертеп
С ведьмами простоволосыми;

Жаркая горела медь
В куче алого, зеленого;
Бубен бил,
Ревел ведмедь,—
Выло время фараонов?

Не вчера ль,
Устав ковать,
Водки выхлестав полчайника,
Он валился на кровать
(С не своею жировать)
На правах родоначальника?

И не в таборе ль, скажи,
Вынули из петли ангела —
Внучку, из тугой вожжи?

Вот как ты вершил цыган дела!

А теперь, отец, идешь
Важно,
Бормоча про старое...

...Только, нет уж, молодежь
Не приворожить гитарою;

Тем, что льнет
К серьге серьга,
Песня — к пляске, к шубке бельичьей;
Легким лаком козырька,—
Жениховской разной мелочью...

Столько всюду перемен,
Столько скрытного,
Мудреного...

В доме с башенкой —
Ромэн
Ставит «Племя фараоново».

Кто, как не цыган,
Поет
Песню новую на фабрике?
В вузе химию сдает
Не кочевник ли из Африки?

Чей, как не цыганки,
Труд
Вывел и ее в товарищи?..
...Что ж египтяне орут,
Жбан (Котел кипящих руд)
Проноса чрез весь бульвариче?..

Это —
Уходящий век
Перед Александром Пушкиным
В безразличьи томных век
Дергает плечом старушкиным.

МАРИЭТТА ШАГИНЯН

1888, Москва — 1982, там же

По отношению к Шагинян, пожалуй, не подберешь лучше слова, чем «литератор». Начинала как поэт. Публикуемые здесь стихи взяты из первых книг, ставших нынче библиографической редкостью. Шагинян — автор первого советского детектива «Месс-менд», одного из первых советских «индустриальных» романов «Гидроцентральный», многочисленных эссе, хроникальных романов о Ленине. Дожив до глубокой старости, поражала всех профессиональной и общественной неутомимостью: ей иной раз «рукоплескал дьявол». Занимаясь «ленинианой», порой делала нежелательные для советского режима открытия: «откопала» еврейского дедушку Ленина по матери — Израиля (в крещении — Александра) Бланка. В старости, нося слуховой аппарат и споря с Хрущевым или еще с кем-нибудь подобного ранга, лукаво жаловалась, что аппарат испортился, — и слышала лишь то, что хотела.

* * *

Где тот счастливец, кто б воскликнуть мог:
Я одинок, как дьявол или бог,
И каждый миг, рождаемый в ночи,
Я от себя в себе храню ключи.
О, одиночество! Как эхо, зеркала
Кривят добро в слепой гримасе зла.
О, горестной души зловещая тревога,
Вскормившей поровну и дьявола, и бога!
И тщетно, как волна,
душа на скалы плещет,
Что б самою себя сломить и превозмочь, —

У радостного дня стоит на страже ночь,
И бог безумствует, а дьявол рукоплещет.

* * *

Мы кого-то потеряли,
Потеряли и стараемся найти.
Нас страшат немые дали,
Дали манят нас с пути.
Мы теснимся брат на брата,
Что б друг друга, догоняя, затолкать.
Но кого-то потеряли мы когда-то
И боимся отыскать.

ГРИГОРИЙ ШИРМАН

1888—1956, Якутск

Получил медицинское образование в Московском университете, который окончил в 1912 году. Дружил с Есениным, Мариенгофом, Н. Минаевым; издал редчайшую эротическую книгу «Запретная поэма», на которой обозначены место и год издания — Лейпциг, 1921. (Впрочем, М. Кузмин на своих «Занавешенных картинках», своеобразном шедевре иронического гомосексуализма, проставил почти тогда же как место издания «Амстердам», думается, и то, и другое обозначено для отвода глаз.) В 1926 году издал сразу шесть поэтических сборников — «Череп», «Машина тишины», «Карусель зодиака» и т. д. В 1927 году был арестован в первый раз, потом еще трижды — в 1937, 1941 и 1949 годах, и каждый раз его отпускали. Всю жизнь прожил в Москве, работал врачом. Писал много, но только в стол; сын поэта, Владимир Григорьевич, живущий в Якутске, сохранил рукопись поэмы «Кисть Рембрандта» (1935) и готовый к печати сборник стихотворений «Галина» (1934); остальное Ширман, измотанный арестами и обысками, уничтожил.

н. м.

Ни ты, ни я не знаем, что такое
Угрюмая стихия бытия.
И в крыльях бурь, и в каменном покое
Душа дрожит, как нежное дитя,
Заброшенное в море городское.

Валы домов кругом застыли, стоя,
Не узнаем друг друга мы, шутя,
В дыму времен, во мраке их отстоя,
Ни ты, ни я.

Мы бродим неразгаданные двое,
У каждого не сердце, а культи,

Торчащая в пространство мировое,
И камни звезд летят на нас, блестя,
Но не от боли мы прекрасно воем,
Ни ты, ни я.

ИЗ КНИГИ «КАРУСЕЛЬ ЗОДИАКА»

* * *

Кто разрежет хлеб земной на ломти,
Кто другому даст земной приют?
У центральных бань поют: идемте.
Женщины голодные поют.

Я иду под тяжкой, тяжкой ношей,
Песню невеселую несую,
А весенний день такой хороший
Даже в этом каменном лесу.

Как и там, и здесь февраль растаял,
Здесь морская мутная вода.
Льется по панелям муть густая,
Пенится глазами как всегда.

Где сложу я камень песни этой,
Где я плечи томно разогну,—
Над дешевой женщиной раздетой
Иль в твоём, любимая, плену.

Я земной сегодня, настоящий,
Мне как ноша песня тяжела.
Так во мне звенят земные чаши
Дикого нетронутого зла.

* * *

Была больная и рябая
Ты от когтей придворных свор,

Великий страх царям вшибая,
Тебя дробил за воров вор.

Топор твой был разнообразен,
Палач твой весел был и пьян...
Перекрестился Стенька Разин,
И поклонился Емельян.

Был твой Борис гостеприимен,
Визжала кость под зубом пил,
И не один печальный Пимен
Пергамент правдою кропил.

И черепа дешевле крынок,
Стучит, стучит сухой затвор.
И где казнили — нынче рынок,
И мелко стало слово: вор.

* * *

Как накрахмаленному негру
Мне было тесно и смешно,
Я в группах был, и был я вне групп,
Я воду пил и пил вино.

Но оставался всюду трезвым,—
Мне хаос пел с пустого дна.
Мы отказали наотрез вам,
Содружества и ордена.

С востока мы пришли на запад,
Мы беспощадны как восток,
Ваш темный храм для нас не заперт,
Наш пламень весел и жесток.

Все, все, что свято сберегли вы,
Чем меры пенили и рты,
Схвачу как варвар горделивый
Для благодарной простоты.

ВСЕВОЛОД АВИЛОВ

1889—1952

Младший сын писательницы Лидии Авиловой, близкой приятельницы Чехова. Юношеские стихи получили высокую оценку Буняна, Брюсова. По образованию филолог.

* * *

Мороз. Веселый скрип саней,
И небо, застланное дымами,
И переулками любимыми
Я уж бегу навстречу к ней.
И кажутся мне странно новыми
И этот дым, и этот пар,
Снег, взбитый острыми подковами,
И в синем инее бульвар.
Боюсь рассердится, что поздно я,
Но из-за муфты меховой
Она, румяная, морозная,
Смеется, кивает головой.

ЮРИЙ АННЕНКОВ

1889, Петропавловский порт, ныне Петропавловск-Камчатский — 1974, Париж

Прославленный график-портретист, первый и лучший иллюстратор поэмы Блока «Двенадцать». В 1924 году эмигрировал. Начав как оригинальный станковый живописец, с годами Анненков все дальше отходил от живописи, притом в сторону литературы; пробовал — не без успеха — писать стихи, его «1/4 девятого» вышла отдельной книгой. Автор обширных мемуаров, в которых далеко не все кажется достоверным, как, например, якобы слезливое покаяние Маяковского в жилетку мемуариста в том, что он, Маяковский, стал советским чиновником.

1/4 ДЕВЯТОГО

Утром стало известно, что в высшей обители,
Там, в заплеванных небесах,
Удар неизбежный и мстительный
Пробьет на синих часах.

Не потому ль у кофейни Филиппова
Такой многолюдный праздник:
Смотрят, как бьется, всхлипывая,
Приговоренный к казни?

Не потому ли пророчат побоище
В очередях на хлеб и керосин,
И так странно, что мечется все еще
Земля на своей оси?

На площади было безумно весело
Под тяжестью синего неба.
Парламент без попитров и кресел,
Ни трибун, ни председателя не было.

О, как замечательно говорил палач,
Который в рубахе из красного шелка!
Оскалила зубы морда собачья,
Чересчур похожая на волка...
Возражал господин в пенсне черепаховом
С семицветным сиянием стекол...
(Только немножко неприятно пахло
От женщины, стоявшей около).

Решили всюду послать гонцов
Во имя высшей земной справедливости.
Так кричали, что в конце концов
Многих пришлось вывести.

А когда зажглись зеленые свечи,—
Все услышали, как задыхался глухо
Секретарь собрания, совершенно изувеченный,
С маленькой родинкой у самого уха.

День устал от жалких усилий,
От уколов тоски земной.

Переулки слепые вкусили
Запыленный, тяжелый зной.

Было много выбитых окон
И разорванных штор.
Ключья людского потока
Больно хлестали взор...

Торопился, одетый скромно,
Его не понял никто...
Запах оставленных комнат
Унес на своем пальто.

За перроном Финляндского вокзала,
Не утешая, не говоря,
Острую боль слизала
Встреченная у фонаря.

И над всеми, теряясь в звездах,
Вырос пожелтевший скелет...
За вагонами выстрелил в воздух
Мальчик пятнадцати лет.

За окном сгустился желтый вечер.
Кривая темь от меня легла...
Близок час неизбежной встречи
У намеченного угла.

Слышу — тяжело стучат копыта,
Слышу ржание лошадей.
Медленно вывозят орудия пыток
По радиусам черным площадей.

Уже распят неистовый рабочий
Толпой звереющей кликуш.
Все жалобнее, все короче
Проклятья отрешенных душ.

Томлюсь в квадратах черной рамы,
Открытый ужасом, пока
Стекланную луну Ларама
Не зажжет моя рука.

лубочную «Дуньку Рубиху»
и «Случай с контрагентом
в номерах».
Вы скажете —
это не литература!
Без суперобложек
и суперидей.
Вглядитесь —
там прошлая века натура
ползучих,
приплюснутых,
плоских людей.
Там страшная
простонародная сказка
в угарном удушье
бревенчатых стен;
попынная жалоба
ветра-подпaska
с кудрями,
зажатыми промеж колен.
Там всё:
и осторожная сентиментальность,
и едкая,
серая соль языка,
который привешен,
не праздно болтаясь,
а время свидетельствовать
на века.

Наклеят:
«Он мелкобуржуазной стихии
лазейку тайком
прорывает в марксизм...»
Плохие чтецы вы,
и люди плохие,
как стиль ваш ни пышен
и вид — ни форсист!
Вы тайно
под спудом
смакуете Джойса:
и гнил, дескать, в меру,
и остр ананас...
А то,
что в Крученых
жар-птицею жжется,
совсем не про это,
совсем не про нас.

Нет, врите!
Рубиха вас разоблачает,
со всем вашим скарбом
прогорклым в душе.
Трактир ваш дешевый
с подачею чая,
с приросшею к скважине
мочкой ушей.
Ловчите,
примеривайте,
считайте!

Ничем вас не сделать
смелей и новей —
весь круг мироздания
сводящих к цитате —
подросших
лабазниковых сыновей.
Вы, впившиеся
в наши годы клещами,
бессмысленно вызубрившие азы,
защитного цвета
литые мещане,
сидевшие в норах
во время грозы.
Я твердо уверен:
триумф ваш недолог;
закончился круг
ваших тусклых затей;
вы — бредом припомнитесь,
точно недолог,
расти не пускавший
советских детей.

К примеру:
скажите, любезный Немилов,
вы — прочно привержены
к классике форм
и, стоя
у «Красной нови» у кормила,
решили,
что корень кормила — от «корм»?
Вы бодро тянули
к чернилам ручонку,
когда,
Либединского
выся до гор,
ворча,
Маяковскому ели печенку;
ваш пафос —
не уменьшился с тех пор?
А впрочем,
что толку —
спросить его прямо?!
Он примется
с шумом цитаты листать.
Его наделила с рождения мама
румянцем таким,
что краснее не стать!

Так вот,
у таких и отцы были слизни,
их души тревожил
лишь шелест кушей.
А Вася Каменский —
возьми да и свистни
в заросшие волосом
дебри ушей.
Ух, и поднялось же!
«Разбой! Нигилисты!

Они против наших музеев и книг!»
 Один — даже —
 модный профессор речистый
 «явление Антихриста»
 выявил в них.
 А свист был — веселый,
 залиvistый,
 резкий!
 Как нос ни ворочай,
 куда ни беги,
 он рвался — за ставни,
 за занавески,
 дразня их:
 «Комолые утюги!»
 Тот свист был —
 всему
 прожитому до реди,
 всему
 пережеванному на зубах,
 всему,
 что сваялось в родные,
 в соседи,
 что пылью крутилось
 в дорожных клубах.

Как вам рассказать
 о тогдашней России?..
 Отец мой
 был агентом страховым.
 Уездом
 пузатые сивки трусили.
 И дом
 упирался в поля
 слуховым.
 И в самое детство
 забытое, раннее —
 я помню —
 везде окружали меня
 жестянки овальные:
 «Страхование —
 Российского общества —
 от огня».
 Слова у отца непонятны:
 как *полисы*,
 как *дебет и кредит*,
баланс и казна..
 И я от них бегал
 и прятался по лесу,
 и в козны
 с мальчишками дул допоздна.
 А ночью
 набат ударял...
 И на голых
 плечах,
 что сбегались,
 спросонья дрожа,
 пустивши приплясывать
 огненный сполох,
 в полнеба плечом
 упирался пожар.

Я видел, как, бревна обняв и облапив
 и щеки мещанок зацеловав,
 прервав стопудовые
 зловецкого храпа,
 коробит огонь
 жестяные слова.
 «Российского общества»
 плавилась краска,
 угрюмые
 рушились этажи...
 И всё это было
 как страшная сказка,
 которую хочется пережить.

Я вырос
 и стал бы, пожалуй, юристом.
 А может — бандитом,
 а может — врачом.
 Но резкого зарева
 блеском огнистым
 я с детства был
 взбужен
 и облучен.
 И первые слухи
 о новом искусстве
 мне в сердце толкнули,
 как окрик: «Горим!»
 В ответ им
 безличье, безлюдье, безвкусье,
 ничей с ними голос
 не соизмерим.
 В ответ им
 беззубый,
 безлюбой,
 столетний
 профессорски-старческий вышамк:
 «Назад!»
 В ответ им
 унылой,
 слюнявою сплетней
 доценты с процентами вкупе
 грозят.
 Язычат огнями
 их перья и кисти,
 пестреет от красок
 цыганский их стан,
 а против —
 желтеют опавшие листья,
 что стряхивает с холста
 Левитан.
 И тысячи
 пламенной молодежи,
 которая вечно
 права и нова,
 за ними идут,
 отбивая ладоши,
 глядеть,
 как горят
 жестяные слова!

АННА АХМАТОВА

1889, Большой Фонтан, под Одессой — 1966, Домодедово, под Москвой

До сих пор продолжается и, возможно, будет еще долго продолжаться спор: кого считать первой женщиной-поэтом — Ахматову или Цветаеву? Цветаева была поэтом-новатором. Если бы поэтические открытия запатентовывались, то она была бы миллионером. Ахматова не была новатором, но была хранительницей, а точнее — спасительницей классических традиций от поругания моральной и художественной вседозволенностью. Она сохранила в своем стихе и Пушкина, и Блока, и даже Кузмину, развив его ритмику в «Поэме без героя». Ахматова была дочерью морского инженера и провела большую часть детства в Царском Селе, и, может быть, поэтому ее стихам свойственна величавая царственность. Первые ее книги («Вечер» (1912) и «Четки» (1914) переизданы одиннадцать раз) возвели ее на трон царицы русской поэзии. Она была женой Н. Гумилева, но, в отличие от него, так называемой литературной борьбой не занималась. Впоследствии, после расстрела Гумилева, арестовали их сына — Льва, которому удалось выжить и стать выдающимся ученым-востоковедом. Эта материнская трагедия объединила Ахматову с сотнями тысяч российских матерей, от которых «черные маруси» увозили их детей. Родился «Реквием» — самое знаменитое произведение Ахматовой. Это плач, но плач гордый. Еще в тридцатых Литературная энциклопедия, трактуя творчество Ахматовой, привела вырванные из контекста слова Эйхенбаума о лирической героине первых ахматовских книг — «не то монахиня, не то блудница». Этот термин спланировал из энциклопедии сталинский идеологический опричник — Жданов. В 1946 году вместе с сатириком Михаилом Зощенко Ахматова подверглась издевательской критике в партийном постановлении «О журналах «Звезда» и «Ленинград»». В этом постановлении не удосужились даже вспомнить о том, как сурово и мощно прозвучало ахматовское «Мужество» во время блокады Ленинграда, как еще в двадцатых, обреченная на «тоску по Родине на Родине», она отказалась эмигрировать. Ее оплевали — низко и жестоко. Ей запретили публичные выступления, потому что, когда она где-нибудь появлялась, все невольно вставали. Но умер Сталин, вернулся вместе со многими другими сын Ахматовой, и началась ее вторая слава. Анна Ахматова получила премию «Таормина» в Италии, профессорскую мантию в Оксфорде, увиделась в Париже со старым другом Адамовичем после сорокалетней разлуки. Но в Париже уже давным-давно не было Модильяни, которому она когда-то бросала в окно его мастерской прощальные красные цветы. Русская интеллигенция была настолько оторвана от западной, что Ахматова узнала о посмертной славе этого нищего итальянского гения лишь перед Второй мировой войной. Вокруг Ахматовой вилась стайка молодых поэтов — Рейн, Бродский, Найман. Она так и не познакомилась близко с самой, может быть, талантливой поэтом-женщиной Беллой Ахмадулиной. В отличие от повесившейся Цветаевой Ахматова умерла, окруженная благоговением. Ее отпевали в Морском соборе. Я. Смеляков в своем стихотворении об этих похоронах горько усмехнулся тому, что под сводами собора «сам Жданов вроде херувима на черных усиках парил».

ЛЮБОВЬ

То змейкой, свернувшись клубком,
У самого сердца колдует,
То целые дни голубком
На белом окошке воркует,

То в инее ярком блеснет,
Почудится в дреме левкоя...
Но верно и тайно ведет
От радости и от покоя.

Умеет так сладко рыдать
В молитве тоскующей скрипки,
И страшно ее угадать
В еще незнакомой улыбке.

24 ноября 1911
Царское Село

* * *

Сжала руки под темной вуалью...
«Отчего ты сегодня бледна?»
— Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его допьяна.

Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительно рот...
Я сбежала, перил не касаясь,
Я бежала за ним до ворот.

Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Все, что было. Уйдешь, я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру».

1911

* * *

Все мы бражники здесь, блудницы,
Как невесело вместе нам!
На стенах цветы и птицы
Томятся по облакам.

Ты куришь черную трубку,
Так странен дымок над ней.
Я надела узкую юбку,
Чтоб казаться еще стройней.

Навсегда забиты окошки:
Что там, изморозь или гроза?
На глаза осторожной кошки
Похожи твои глаза.

О, как сердце мое тоскует!
Не смертного ль часа жду?
А та, что сейчас танцует,
Непременно будет в аду.

1 января 1913

* * *

Настоящую нежность не спутаешь
 Ни с чем, и она тиха.
 Ты напрасно бережно кутаешь
 Мне плечи и грудь в меха.
 И напрасно слова покорные
 Говоришь о первой любви,
 Как я знаю эти упорные
 Несытые взгляды твои!

1913

ВЕЧЕРОМ

Звенела музыка в саду
 Таким невыразимым горем.
 Свежо и остро пахли морем
 На блюде устрицы во льду.

Он мне сказал: «Я верный друг!»
 И моего коснулся платья.
 Как не похожи на объятия
 Прикосновенья этих рук.

Так гладят кошек или птиц,
 Так на наездниц смотрят стройных...
 Лишь смех в глазах его спокойных
 Под легким золотом ресниц.

А скорбных скрипок голоса
 Поют за стелющимся дымом:
 «Благослови же небеса —
 Ты первый раз одна с любимым».

1913

* * *

Ты знаешь, я томлюсь в неволе,
 О смерти господя моля,
 Но все мне памятна до боли
 Тверская скудная земля.

Журавль у ветхого колодца,
 Над ним, как кипень, облака,
 В полях скрипучие воротца,
 И запах хлеба, и тоска.

И те неяркие просторы,
 Где даже голос ветра слаб,
 И осуждающие взоры
 Спокойных загорелых баб.

1913

* * *

На шею мелких четок ряд,
 В широкой муфте руки прячу,
 Глаза рассеянно глядят
 И больше никогда не плачут.

И кажется лицо бледней
 От лиловеющего шелка,
 Почти доходит до бровей
 Моя незавитая челка.

И непохожа на полет
 Походка медленная эта,
 Как будто под ногами плот,
 А не квадратики паркета.

А бледный рот слегка разжат,
 Неровно трудное дыханье,
 И на груди моей дрожат
 Цветы небывшего свиданья.

1913

ГОСТЬ

Все как раньше: в окна столовой
 Бьется мелкий метельный снег,
 И сама я не стала новой,
 А ко мне приходил человек.

Я спросила: «Чего ты хочешь?»
 Он сказал: «Быть с тобой в аду».
 Я смеялась: «Ах, напророчишь
 Нам обоим, пожалуй, беду».

Но, поднявши руку сухую,
 Он слегка потрогал цветы:
 «Расскажи, как тебя целуют,
 Расскажи, как целуешь ты».

И глаза, глядевшие тускло,
 Не сводил с моего кольца.
 Ни один не двинулся мускул
 Просветленно-злого лица.

О, я знаю: его отрада —
 Напряженно и страстно знать,
 Что ему ничего не надо,
 Что мне не в чем ему отказать.

1 января 1914

* * *

Мне голос был. Он звал утешно,
 Он говорил: «Иди сюда,
 Оставь свой край глухой и грешный,
 Оставь Россию навсегда.

Я кровь от рук твоих отмою,
 Из сердца выну черный стыд,
 Я новым именем покрою
 Боль поражений и обид».

Но равнодушно и спокойно
 Руками я замкнула слух,
 Чтоб этой речью недостойной
 Не осквернился скорбный дух.

1917

Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключенный, как больной.
Темна твоя дорога, странник,
Польнью пахнет хлеб чужой.

А здесь, в глухом чаду пожара
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.

И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час...
Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.

Июль 1922
Петербург

МУЗА

Когда я ночью жду ее прихода,
Жизнь, кажется, висит на волоске.
Что почести, что юность, что свобода
Пред милой гостьей с дудочкой в руке.
И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада?» Отвечает: «Я».

1924

ПОЭТ

(Борис Пастернак)

Он, сам себя сравнивший с конским глазом,
Косится, смотрит, видит, узнает,
И вот уже расплавленным алмазом
Сияют лужи, изнывает лед.

В лиловой мгле покоятся задворки,
Платформы, бревна, листья, облака.
Свист паровоза, хруст арбузной корки,
В душистой лайке робкая рука.

Звенит, гремит, скрежещет, бьет прибоем
И вдруг притихнет, — это значит, он
Пугливо пробирается по хвоям,
Чтоб не спугнуть пространства чуткий сон.

И это значит, он считает зерна
В пустых колосьях, это значит, он
К плите дарьяльской, проклятой и черной,
Опять пришел с каких-то похорон.

И снова жжет московская истома,
Звенит вдали смертельный бубенец...
Кто заблудился в двух шагах от дома,
Где снег по пояс и всему конец?

За то, что дым сравнил с Лаокооном,
Кладбищенский воспел чертополох,

За то, что мир наполнил новым звоном
В пространстве новом отраженных строф, —

Он награжден каким-то вечным детством,
Той щедростью и зоркостью светил,
И вся земля была его наследством,
А он ее со всеми разделил.

19 января 1936

* * *

За такую скоморошину,
Откровенно говоря,
Мне свинцовую горошину
Ждать бы от секретаря.

1930-е гг.

* * *

Здесь девушки прелестнейшие спорят
За честь достаться в жены палачам,
Здесь праведных пытаются по ночам
И голодом неукротимых морят.

1930-е гг.

СТАНСЫ

Стрелецкая луна, Замоскворечье, ночь.
Как крестный ход идут часы Страстной
недели.

Мне снится страшный сон — неужто
в самом деле

Никто, никто, никто не может мне помочь?
В Кремле не надо жить — Преображенец
прав.

Там древней ярости еще кишат микробы:
Бориса дикий страх, и всех Иванов злобы,
И Самозванца спесь — взамен народных
прав.

1940

* * *

Один идет прямым путем,
Другой идет по кругу
И ждет возврата в отчий дом,
Ждет прежнюю подругу.
А я иду — за мной беда,
Не прямо и не косо,
А в никуда и в никогда,
Как поезда с откоса.

1940

* * *

.....
Я знаю, с места не сдвинуться
Под тяжестью Виевых век.

О, если бы вдруг откинуться
В какой-то семнадцатый век.

С душистою веткой березовой
Под Троицу в церкви стоять,
С боярынею Морозовой
Сладимый медок попивать.

А после на дровнях в сумерки
В навозном снегу тонуть...
Какой сумасшедший Суриков
Мой последний напишет путь?

1939 (?)

* * *

Когда человек умирает,
Изменяются его портреты.
По-другому глаза глядят, и губы
Улыбаются другой улыбкой.
Я заметила это, вернувшись
С похорон одного поэта.
И с тех пор проверяла часто,
И моя догадка подтвердилась.

1940

ИЗ ЦИКЛА «ВЕНОК МЕРТВЫМ»

ПОЗДНИЙ ОТВЕТ

М. И. Цветаевой

Белорученька моя, чернокнижница...
Невидимка, двойник, пересмешник,
Что ты прячешься в черных кустах,
То забьешься в дырявый скворечник,
То мелькнешь на погибших крестах,
То кричишь из Маринкиной башни:
«Я сегодня вернулась домой.
Полюбуйтесь, родимые пашни,
Что за это случилось со мной.
Поглотила любимых пучина,
И разрушен родительский дом».
Мы с тобою сегодня, Марина,
По столице полночной идем,
А за нами таких миллионы,
И безмолвнее шествия нет,
А вокруг погребальные звоны
Да московские дикие стоны
Вьюги, наш заматающей след.

Март 1940

* * *

Прокаженный молился...

В. Брюсов

То, что я делаю, способен делать каждый.
Я не тонул во льдах, не изнывал от жажды,

И с горсткой храбрецов не брал финляндский
дот,

И в бурю не спасал какой-то пароход.

Ложиться спать, вставать, съесть обед
убогий,

И даже посидеть на камне у дороги,

И даже, повстречав падучую звезду
Иль серых облаков знакомую грядку,

Им улыбнуться вдруг поди куда как трудно.
Тем более дивлюсь своей судьбине чудной

И, привыкая к ней, привыкнуть не могу,
Как к неотступному и зоркому врагу...

Затем что из двухсот советских миллионов,
Живущих в благодати отеческих законов,

Найдется ль кто-нибудь, кто свой горчайший
час

На мой бы променял, — я спрашиваю вас! —

А не откинул бы с улыбкою сердитой
Мое прозвание, как корень ядовитый.

О Господи! воззри на легкий подвиг мой
И с миром отпусти свершившего домой.

Январь 1941

Фонтанный Дом

МУЖЕСТВО

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах.
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова, —
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!

23 февраля 1942

ИЗ ЦИКЛА «ТАЙНЫ РЕМЕСЛА»

Мне ни к чему одические рати
И прелесть элегических затей.
По мне, в стихах все быть должно
некстати,
Не так, как у людей.

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.

Сердитый окрик, дегтя запах свежий,
Таинственная плесень на стене...
И стих уже звучит, задорен, нежен,
На радость вам и мне.

Ты подвигаешь кресло ей,
Я щедро с ней делюсь цветами...
Что делаем — не знаем сами,
Но с каждым мигом нам страшней.
Как вышедшие из тюрьмы,
Мы что-то знаем друг о друге
Ужасное. Мы в адском круге,
А может, это и не мы.

5 июля 1963
Комарово

РЕКВИЕМ
1935—1940

Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл,—
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

1961

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то «опознал» меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом):

— А это вы можете описать?

И я сказала:

— Могу.

Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом.

1 апреля 1957
Ленинград

ПОСВЯЩЕНИЕ

Перед этим горем гнутся горы,
Не течет великая река,
Но крепки тюремные затворы,
А за ними «каторжные норы»
И смертельная тоска.
Для кого-то веет ветер свежий,
Для кого-то нежится закат —
Мы не знаем, мы повсюду те же,
Слышим лишь ключей постылый скрежет
Да шаги тяжелые солдат.
Подымались, как к обедне ранней,
По столице одичалой шли,
Там встречались, мертвых бездыханней,
Солнце ниже и Нева туманней,
А надежда все поет вдали.
Приговор... И сразу слезы хлынут,
Ото всех уже отделена,
Словно с болью жизнь из сердца вынут,
Словно грубо навзничь опрокинут,
Но идет... Штатается... Одна...

Где теперь невольные подруги
Двух моих осатанелых лет?
Что им чудится в сибирской вьюге,
Что мерещится им в лунном круге?
Им я шлю прощальный свой привет.

Март 1940

ВСТУПЛЕНИЕ

Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад.
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград.
И когда, обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки,
И короткую песню разлуки
Паровозные пели гудки.
Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марушь.

I

Уводили тебя на рассвете,
За тобой, как на выносе, шла,
В темной горнице плакали дети,
У божницы свеча оплыла.
На губах твоих холод иконки.
Смертный пот на челе... Не забыть!
Буду я, как стрелецкие женки,
Под кремлевскими башнями выть.

Осень 1935
Москва

II

Тихо льется тихий Дон,
Желтый месяц входит в дом.
Входит в шапке набекрень,
Видит желтый месяц тень.
Эта женщина больна,
Эта женщина одна,
Муж в могиле, сын в тюрьме,
Помолитесь обо мне.

III

Нет, это не я, это кто-то другой страдает.
Я бы так не могла, а то, что случилось,
Пусть черные сукна покроют,
И пусть унесут фонари...
Ночь.

IV

Показать бы тебе, насмешнице
И любимице всех друзей,
Царскосельской веселой грешнице,
Что случится с жизнью твоей —
Как трехсотая, с передачей,
Под Крестами будешь стоять
И своей слезою горячею
Новогодний лед прожигать.

Там тюремный тополь качается,
И ни звука — а сколько там
Неповинных жизней кончается...

V

Семнадцать месяцев кричу,
Зову тебя домой.
Кидалась в ноги палачу,
Ты сын и ужас мой.
Все перепуталось навек,
И мне не разобрать
Теперь, кто зверь, кто человек,
И долго ль казни ждать.
И только пышные цветы,
И звон кафельный, и следы
Куда-то в никуда.
И прямо мне в глаза глядит
И скорой гибелью грозит
Огромная звезда.

VI

Легкие летят недели,
Что случилось, не пойму.
Как тебе, сынок, в тюрьму
Ночи белые глядели,
Как они опять глядят
Ястребиным жарким оком,
О твоём кресте высоком
И о смерти говорят.

VII

ПРИГОВОР

И упало каменное слово
На мою еще живую грудь.
Ничего, ведь я была готова,
Справлюсь с этим как-нибудь.

У меня сегодня много дела:
Надо память до конца убить,
Надо, чтоб душа окаменела,
Надо снова научиться жить.

А не то... Горячий шелест лета,
Словно праздник за моим окном.
Я давно предчувствовала этот
Светлый день и опустелый дом.

Лето 1939

VIII

К СМЕРТИ

Ты все равно придешь —
зачем же не теперь?
Я жду тебя — мне очень трудно.
Я потушила свет и отворила дверь
Тебе, такой простой и чудной.
Прими для этого какой угодно вид,
Ворвись отравленным снарядам
Иль с гирькой подкрадись,
как опытный бандит,

Иль отрави тифозным чадом.
Иль сказочкой, придуманной тобой
И всем до тошноты знакомой,—
Чтоб я увидела верх шапки голубой
И бледного от страха управдома.
Мне все равно теперь. Клубится Енисей,
Звезда Полярная сияет.
И синий блеск возлюбленных очей
Последний ужас застилает.

19 августа 1939

IX

Уже безумие крылом
Души накрыло половину,
И поит огненным вином
И манит в черную долину.

И поняла я, что ему
Должна я уступить победу,
Прислушиваясь к своему
Уже как бы чужому бреду.

И не позволит ничего
Оно мне унести с собою
(Как ни упрашивай его
И как ни докучай мольбою):

Ни сына страшные глаза —
Окаменелое страданье,
Ни день, когда пришла гроза,
Ни час тюремного свиданья,

Ни милую прохладу рук,
Ни лип взволнованные тени,
Ни отдаленный легкий звук —
Слова последних утешений.

4 мая 1940

X

РАСПЯТИЕ

*Не рыдай Мене, Мати,
во гробе сущу.*

1

Хор ангелов великий час восславил,
И небеса расплавились в огне.
Отцу сказал: «Почто Меня оставил!»
А Матери: «О, не рыдай Мене...»

2

Магдалина билась и рыдала,
Ученик любимый каменел,
А туда, где молча Мать стояла,
Так никто взглянуть и не посмел.

ЭПИЛОГ

1

Узнала я, как опадают лица,
Как из-под век выглядывает страх,
Как клинописи жесткие страницы

Страдание выводит на щеках,
 Как локоны из пепельных и черных
 Серебряными делаются вдруг,
 Улыбка вянет на губах покорных,
 И в сухоньком смешке дрожит испуг.
 И я молюсь не о себе одной,
 А обо всех, кто там стоял со мною
 И в лютый холод, и в июльский зной
 Под красною ослепшею стеною.

2

Опять поминальный приблизился час.
 Я вижу, я слышу, я чувствую вас:
 И ту, что едва до окна довели,
 И ту, что родимой не топчет земли,
 И ту, что, красивой тряхнув головой,
 Сказала: «Сюда прихожу, как домой!»
 Хотелось бы всех поименно назвать,
 Да отняли список, и негде узнать.
 Для них соткала я широкий покров
 Из бедных, у них же подслушанных слов.
 О них вспоминаю всегда и везде.
 О них не забуду и в новой беде,
 И если зажмут мой измученный рот,
 Которым кричит стомильонный народ,
 Пусть так же они поминают меня
 В канун моего погребального дня.
 А если когда-нибудь в этой стране
 Воздвигнуть задумают памятник мне,
 Согласье на это даю торжество,
 Но только с условием — не ставить его
 Ни около моря, где я родилась:
 Последняя с морем разорвана связь,
 Ни в царском саду у заветного пня,
 Где тень безутешная ищет меня,
 А здесь, где стояла я триста часов
 И где для меня не открыли засов.
 Затем, что и в смерти блаженной боюсь
 Забыть громыхание черных марушь,
 Забыть, как постылая хлюпала дверь
 И выла старуха, как раненый зверь.
 И пусть с неподвижных и бронзовых век,

Как слезы, струится подтаявший снег,
 И голубь тюремный пусть гулит вдаль,
 И тихо идут по Неве корабли.

Март 1940
 Фонтанный Дом

ПОЭМА БЕЗ ГЕРОЯ

(отрывок)

Были святки кострами согреты,
 И валились с мостов кареты,
 И весь траурный город плыл
 По неведомому назначенью,
 По Неве иль против течения,—
 Только прочь от своих могил.
 На Галерной чернела арка,
 В Летнем тонко пела флюгарка,
 И серебряный месяц ярко
 Над серебряным веком стыл.
 Оттого, что по всем дорогам,
 Оттого, что ко всем порогам
 Приближалась медленно тень,
 Ветер рвал со стены афиши,
 Дым плясал вприсядку на крыше
 И кладбищем пахла сирень.
 И царицей Авдотьей заклятый,
 Достоевский и бесноватый
 Город в свой уходил туман,
 И выглядывал вновь из мрака
 Старый питерщик и гуляка,
 Как пред казнью бил барабан...
 И всегда в духоте морозной,
 Предвоенной, блудной и грозной,
 Жил какой-то будущий гул...
 Но тогда он был слышен глуше,
 Он почти не тревожил души
 И в сугробах неvkских тонул.
 Словно в зеркале страшной ночи,
 И беснуется и не хочет
 Узнавать себя человек,—
 А по набережной легендарной
 Приближался не календарный —
 Настоящий Двадцатый Век.

СЕРГЕЙ БОБРОВ

1889, Москва — 1971, там же

Примыкал в 1912 году к группе молодых писателей «Лирика» вместе с Пастернаком и Асеевым, затем входил в группу «Центрифуга». Автор статей по теории стиха, переводов западной классики, социально-утопических романов и научно-популярных книг по математике для юношества.

* * *

Игорю Северянину

Но оксюморон небывалый
 Блеснет — как молния — сгорит,—
 Рукою — отчего же алой? —
 Мелькнет и вот испепелит!

Но осторожнее веди же
 Метафоры автомобиль,
 Метонимические лыжи,
 Неологический костыль!

Тебя не захлестнула б скверна
 Оптово-розничной мечты,
 Когда скрываешь камамберно
 Ты столь пахучие цветы, —

Певцам — довлеет миг свободы,
 Позора — праведен излом:
 Предупредить не должен годы
 Ты педантическим пером.

АРКАДИЙ БУХОВ

1889, Уфа — 1937 (?)

Был одним из основных «сатириковцев»; впрочем, написал больше прозы, чем стихов; первую книгу издал и вовсе литературоведческую, о Блоке и Кузmine (1909), до 1918 года выпустил пять книг рассказов. Воевал в рядах действующей армии в Первую мировую, в 1918 году эмигрировал в Литву, где редактировал газету «Эхо». В 1927 году перебрался в СССР, где лет десять верой и правдой служил в «Крокодиле» и других юмористических изданиях. Но у власти не было чувства юмора к юмору, в 1937 году Бухов был арестован, и дата смерти его вполне условна. Стихи писал — как и все сатириковцы — классно.

ДВА НАПОЛЕОНА

Да, были два Наполеона:
 Один из книг, с гравюр и карт,
 Такая важная персона,
 Другой был просто — Бонапарт.

Один с фигурой исполина,
 Со страхом смерти не знаком,
 Другого била Жозефина
 В минуты ссоры башмаком.

Один, смотря на пирамиды,
 Вещал о сорока веках,
 Другой к артисткам нес обиды
 И оставался в дураках.

Мне тот, другой, всегда милее,
 Простой обычный буржуа,
 Стихийный раб пустой идеи,
 Артист на чуждом амплуа.

Я не кощунствую: бороться
 Со всей историей не мне...
 Такого, верю, полководца
 Не будет ни в одной стране.

Наполеон был наготове
 Всесильный логикой штыка
 По грудам тел и лужам крови
 Всего достичь навверняка.

Ему без долгих размышлений
 Авторитетов разных тьма
 Призгла ко лбу печатью: «гений»
 Взамен позорного клейма...

Но тот, другой, всегда с иголки
 Одетый в новенький мундир,
 В традиционной треуголке,
 Незрелых школьничков кумир.

Мне и милей и ближе втрое,
 И рад я ставить всем в пример,
 Как может выбиться в герои
 Артиллерийский офицер.

1912

**ВСПОМНИТЕ!
 Юбилейное**

Много вас, в провинциальной тине
 Утопивших грустно имена,
 Все еще питается донныне
 Распыленным прахом Щедрина.
 Много вас, с повадкой хитрой, волчьей,
 Под цензурным крепким колпаком
 Подбирает капли едкой желчи,
 Оброненной умным стариком.
 Ваш читатель ласковей и проще,
 Чем у нас, — он любит простоту,
 Но устал: от гласных, и от тещи,
 И от нравов граждан Тимбукту...
 Знаю я: когда сосед — Европа,
 Тяжело перо переломить,
 Между строчек, с запахом Эзопа,
 Щедриным исправника громить...
 Тяжело потертые словечки
 Доставать из пожелтевших книг,
 Старый смех топить в газетной речке,
 Потеряв свой собственный язык.
 Так-то так... А все-таки берете,
 В тине душ бессилье затая:
 Щедриным, друзья мои, живете,
 Щедриным питаетесь, друзья...
 Мы рабы одной каменоломни,
 Что зовется — русская печать,
 И теперь одно лишь слово «вспомни!»
 Мне собрату хочется сказать...
 Вспомни, брат, того, кто нам когда-то
 Дал слова, какие знал один...

И услышу отповедь собрата:
 «Что пристал? Я сам себе — Щедрин».

1914

АЛЕКСАНДР ВЕРТИНСКИЙ

1889, Киев — 1957, Ленинград

«Вертинский ломался, как арлекин, в ноздри набрав кокаина...» — так с юной жестокой насмешливостью писал харьковчанин Кульчицкий перед войной, на которой ему суждено было погибнуть. Однако сам он не мог видеть Вертинского, ибо родился после того, как тот эмигрировал. Все было на самом деле сложнее и трагичней. Поэт и певец Вертинский выступал перед революцией и во время гражданской войны в костюме Пьеро в артистических кабаре. Но он был явлением не только божественным — его песня об убитых большевиками мальчиках-юнкерах полна глубокой гражданской боли. Стихи Вертинского, которые, грассируя, он пел на свою собственную музыку под аккомпанемент рояля, были несколько удешевленным славом Блока, Северянина, Гумилева. Однако блистательное исполнение, когда пел не только голос, но и волшебные порхающие руки, покоряло, уносило в мир «желтых ангелов», «лиловых негров» и «устриц во льду». Под песни Вертинского рыдали не только аристократы в кабаках Стамбула или Шанхая, но и партийные начальники, прятавшие в своих сейфах в ЦК патефоны с песнями Вертинского. Он вернулся на родину в 1943 году. Говорят, что когда в Чите опустил чемоданы на перрон и поцеловал родную землю, то, как только он поднялся с колен, чемоданы исчезли. «Узнаю тебя, Россия...» — якобы сказал Вертинский. Его концерты в сталинское время были чем-то не укладывающимся в умах, — как будто прошлое, растоптанное настоящим, услаждало слух этого настоящего. Парадоксальным было и то, что Вертинский получил Сталинскую премию за исполнение роли коварного кардинала в пропагандистском фильме «Заговор обреченных».

ЛИЛОВЫЙ НЕГР

В. Холодной

Где Вы теперь? Кто Вам целует пальцы?
Куда ушел Ваш китайчонок Ли?..
Вы, кажется, потом любили португальца,
Потом с малайцем, кажется, ушли?

В последний раз я видел Вас так близко.
В пролеты улиц Вас умчал авто.
И снится мне — в притонах Сан-Франциско
Лилловый негр Вам подает мантию.

1916

ТО, ЧТО Я ДОЛЖЕН СКАЗАТЬ

Я не знаю, зачем и кому это нужно,
Кто послал их на смерть недождавшей рукой,
Только так беспощадно, так зло и ненужно
Опустили их в Вечный Покой!

Осторожные зрители молча кутались в шубы,
И какая-то женщина с искаженным лицом
Целовала покойника в посиневшие губы
И швырнула в священника обручальным
кольцом.

Закидали их елками, замесили их грязью
И пошли по домам — под шумок толковать,
Что пора положить бы уж конец безобразью,
Что и так уже скоро, мол, мы начнем голодать.

И никто не додумался просто стать на колени
И сказать этим мальчикам, что в бездарной
стране —

Даже светлые подвиги — это только ступени
В бесконечные пропасти — к недоступной
Весне!

Октябрь 1917. Москва

В СТЕПИ МОЛДАВАНСКОЙ

Тихо тянутся сонные дроги
И, вздыхая, ползут под откос.
И печально глядит на дороги
У колодцев распятый Христос.

Что за ветер в степи молдаванской!
Как поет под ногами земля!
И легко мне с душою цыганской
Кочевать, никого не любя!

Как все эти картины мне близки,
Сколько вижу знакомых я черт!
И две ласточки, как гимназистки,
Провожают меня на концерт.

Что за ветер в степи молдаванской!
Как поет под ногами земля!
И легко мне с душою цыганской
Кочевать, никого не любя!

Звону дальнему тихо я внемлю
У Днестра на зеленом лугу.
И Российскую горькую землю
Узнаю я на том берегу.

А когда засыпают березы
И поля затихают ко сну...
О, как сладко, как больно сквозь слезы
Хоть взглянуть на родную страну...

1925
Бессарабия

СЕРГЕЙ КЛЫЧКОВ

1889, д. Дубровки Тверской губ.—1937

Родился в старообрядческой семье. Отец был сапожником. В воспоминаниях друга Клычкова, скульптора Коненкова, рассказывается, что вместе с Клычковым они участвовали в восстании 1905 года: «Десять дней мы держали в руках старый Арбат». Первые его поэтические опыты были поддержаны С. Городецким. Поступив на историко-филологический факультет Московского университета, Клычков подружился с Есениным. Во время Первой мировой войны был на фронте, дослужился до прапорщика. В 1918 году в первую годовщину Октябрьской революции на открытии мраморной доски, выполненной Коненковым, в присутствии Ленина исполнялась кантата, посвященная «павшим в борьбе за мир и братство народов», авторами которой были С. Есенин, М. Герасимов, С. Клычков. Написал три романа: «Сахарный немец» (1925), «Чертухинский балакирь» (1926), «Князь мира» (1928). Был арестован в 1937 году и бесследно исчез.

* * *

Должно быть, я калека,
Наверно, я урод:
Меня за человека
Не признает народ!

Хотя на месте нос мой
И уши как у всех...
Вот только разве космы
Злой вызывают смех!

Но это ж не причина,
И это не беда,
Что на лице — личина:
Усы и борода!..

...Что провели морщины
Тяжелые года!

...И полон я любовью
К рассветному лучу,
Когда висит над новью
Полоска кумачу...

...Но я ведь по-коровьи
На праздник не мычу?!

Я с даром ясной речи,
И чту я наш язык,
Я не блеюю овечий
И не коровий мык!

Скажу я без досады,
Что, доживя свой век
Средь человечья стада,
Умру, как человек!

* * *

Любовь — неразумный ребенок —
За нею ухаживать надо
И лет до восьми от пеленок
Оставить нельзя без пригляда...

От ссоры пасти и от брани
И няню брать с толком, без спешки...
А чтоб не украли цыгане,
Возить за собою в тележке!

Выкармливать грудью с рожденья,
А спать класть у самого сердца,
На стол без предупрежденья
Не ставить горчицы и перца!

А то может так получиться,
Что вымажет ручки и платье
И жизнь вся пропахнет горчицей,
А с горечью что ж за объятья!

И вот за хорошим уходом
Поднимется дочь иль сынишка —
И брови крутые с разводом,
И щеки как свежие пышки!

Но так, знать, положено нам уж,
Что счастьем не вечно же длиться:
И дочь может выскочить замуж,
И может сынок отделиться!

Ребенок же слабый и хилый,
Во всем обойденный судьбою,
С тобой доживет до могилы
И ляжет в могилу с тобою!

С ним только вот, кроме пеленок,
Другой не увидишь отрады:
Любовь — неразумный ребенок,
Смотреть да смотреть за ней надо!

* * *

За ясную улыбку,
За звонкий смех врассыпку
Назначил бы я плату,
Я б основал палату,
Где чистою монетой
Платили бы за это...
...Но мы не так богаты:
Такой палаты нету!

КОНСТАНТИН ЛИПСКЕРОВ

1889, Москва — 1954, там же

Как и многие литераторы того времени, сначала занимался живописью, коллекционировал произведения искусства. Был неотъемлемой частичкой атмосферы искусства того времени, принадлежал к тем, о ком говорят: «Он знал всех, и его знали все». После нескольких книг стихов перевел на русский армянский эпос «Давид Сасунский», поэмы Низами. Автор пьес «Карменсита», «Митькино царство», «Надежда Дурова» (вместе с А. Кочетковым). Ряд поэтических сборников подготовил к печати — и не издал. Но вообще-то был настоящим поэтом.

НАД РОЗАМИ

Нежно поднятие век... Тяжко смыкание век.
В мире возник человек... Сон увидел человек.
Навек.
В странах растут города... Рушатся вновь города.
В небе зажжется звезда... И упадет звезда.
Куда?
К розовой нежности уст мчится дыханье уст.
Розами полнится куст... Снова становится куст
Пуст.
Дети играют у вод. Быстро струение вод.

Вот расплелся хоровод... Новым вести хоровод
Черед.
Снегом покрыта земля... В зелени снова земля.
В зелени долго ль поля? Стужа вернется,—
поля
Убеля.
Лунный возносится свет... Лунный закатится
свет.
Цепи сияют планет... Снова далеких планет
Нет.
Нежно поднятие век... Тяжко смыкание век.
В мире возник человек... Сон увидел человек.
Навек.

АРСЕНИЙ НЕСМЕЛОВ

1889, Москва — 1945, Гродеково, близ Владивостока

Псевдоним Арсения Ивановича Митропольского. Был кадровым офицером сперва царской армии, потом — колчаковской. Судьба забросила его в 1920 году во временно независимый Владивосток, где и вышли первые книги стихотворений поэта. В 1924 году он бежал из СССР, перейдя через китайскую границу, и поселился в Харбине, в Маньчжурии, где более чем на два десятилетия занял прочное положение «лучшего русского поэта Китая». Переписывался с Мариной Цветаевой, которая хотела отредактировать его поэму «Через океан». Был всегда непримирим к большевикам, думал, что судьба России сложилась бы иначе, «если бы нечисть не принесло в заглобированном вагоне». Несмелов оставил ярчайшие воспоминания о литературной жизни Владивостока начала 20-х годов, до сих пор полностью не изданные. В августе 1945 года, когда советские войска вошли в Харбин, поэт был арестован и вывезен в СССР. Почти сразу же, на станции Гродеково — столице приморского казачества,— в пересыльной тюрьме Несмелов умер от кровоизлияния в мозг. Автор более чем десятка книг, изданных в Москве, Владивостоке, Харбине, Шанхае. О раннем сборнике Несмелова «Уступы» (1924) Борис Пастернак коротко написал в письме к жене: «Хорошие стихи».

ГОЛОД

Удуше смирада в памяти не смысл
Веселый запах выпавшего снега,
По улице тянулись две тесьмы,
Две колес: проехала телега.

И из нее окоченевших рук,
Обглоданных — несъеденными — псами,
Тянулись сучья... Мыкался вокруг
Мужик с обледенелыми усами.

Американец поглядел в упор:
У мужика, под латаным тулупом
Топорщился и оседал топор
Тяжелым обличающим уступом.

У черных изб солома снята с крыш,
Черта дороги вытянулась в нитку.
И девочка, похожая на мышь,
Скользнула, пискнув, в черную калитку.

ПЯТЬ РУКОПОЖАТИЙ

Ты пришел ко мне проститься. Обнял.
Заглянул в глаза, сказал: «Пора!»
В наше время в возрасте подобном
Ехали кадеты в юнкера.

Но не в Константиновское, милья,
Едешь ты. Великий океан
Тысячами простирает мили
До лесов Канады, до полян

В тех лесах, до города большого,
Где — окончен университет! —
Потеряем мальчика родного
В иностранце двадцати трех лет.

Кто осудит? Вологдам и Бийскам
Верность сердца стоит ли хранить?..
Даже думать станешь по-английски,
По-чужому плакать и любить.

Мы — не то! Куда б не выгружала
Буря волчью костромскую рать, —
Все же нас и Дурову, пожалуй,
В англичан не выдрессировать.

Пять рукопожатий за неделю,
Разлетится столько юных стай!..
...Мы умрем, а молодняк поделят —
Франция, Америка, Китай.

ВСТРЕЧА ПЕРВАЯ

Вс. Иванову

Мы — вежливы. Вы попросили спичку
И протянули черный портсигар,
И вот огонь — условие приличья —
Из зажигалки надо высекать.

Дымок повис сиреневою ветвью.
Беседуем, сближая мирно лбы,
Но встреча та — скости десятилетье! —
Огня иного требовала бы...

Схватились бы, коль пеши, за наганы,
Срубились бы верхами, на скаку...
Он позвонил. Китайцу: «Мне нарзану!»
Прищурился. «И рюмку коньяку...»

Вагон стучит, ковровый пол качая,
Вопит гудка басовая струна.
Я превосходно вижу: ты скучаешь,
И скука, парень, общая у нас.

Пусть мы враги, — друг другу мы не чужды,
Как чужд обоим этот сонный быт.
И непонятно, право, почему ж ты
Несешь ярмо совсем иной судьбы?

Мы вспоминаем прошлое беззлобно.
Как музыку. Запело и ожгло...
Мы не равны, — но все же мы подобны,
Как треугольники при равенстве углов.

Обоих нас качала непогода.
Обоих нас, в ночи, будил рожок...
Мы — дети восемнадцатого года,
Тридцатый год. Мы прошлое, дружок!..

Что сетовать! Всему проходят сроки,
Исчезнуть, кануть каждый обряжен,
Ты в чистку попадешь в Владивостоке,
Меня беспитчие съест за рубежом.

Склонил ресницы, как склоняют знамя,
В былых боях изодранный лоскут...
«Мне, право, жаль, что вы еще не с нами».
Не лгите: с кем? И... выпьем коньяку.

ВСТРЕЧА ВТОРАЯ

Василий Васильич Казанцев.
И огненно вспомнилось мне —
Усищев протуберансы,
Кожанка и цейс на ремне.

Ведь это же — бесповоротно,
И образ тот, время, не тронь.
Василий Васильевич — ротный:
«За мной — перебежка — огонь!»

— Василий Васильича? Прямо.
Вот, видите, стол у окна...
Над счетами (согнут упрямо
И лысина, точно луна).

Почтенный бухгалтер. — Бессильно
Шагнул и мгновенно остыл...
Поручик Казанцев?.. Василий?..
Но где же твой цейс и усы?

Какая-то шутка, насмешка,
С ума посходили вы все!..
Казанцев под пулями мешкал
Со мной на ирбитском шоссе.

Нас дерзкие дни не скосили, —
Забуду ли пули ожог! —
И вдруг шевиотовый, синий,
Наполненный скукой мешок.

Грознейшей из всех революций
Мы пулей ответили: нет!
И вдруг этот куцый, кургузый,
Уже располневший субъект.

Года революции, где вы?
Кому ваш грядущий сигнал? —
Вам в счетный, так это налево...
Он тоже меня не узнал!

Смешно! Постарели и выйдем
В безлюдьи осеннем, нагом,
Но все же, конторская мымра, —
Сам Ленин был нашим врагом!

* * *

Пустой начинаю строчкой,
Чтоб первую сбить строфу.
На карту Китая точкой
Упал городок Чифу.

Там небо очень зеленым
Становится от зари,
И светят в глаза драконам
Зеленые фонари.

И рикша — ночная птица,—
Храпя, как больной рысак,
По улицам этим мчится
В ночной безысходный мрак.

Коль вещи не судишь строго,
Попробуй в коляску сесть:
Здесь девушек русских много
В китайских притонах есть.

У этой, что спиртом дышит,
На стенке прибит погон.
Ведь девушка знала Ижевск,
Ребенком взойдя в вагон.

Но в Омске поручик русский,
Бродяга, бандит лихой
Все кнопки на черной блузке
Хмельной оборвал рукой.

Поручик ушел с отрядом.
Конь рухнул под пулей в грязь.
На стенке с погоном рядом —
И друг и великий князь.

Японец ли гнилозубый
И хилый, как воробей;
Моряк ли ленивый, грубый,
И знающий только: «Пей!»

Иль рыхлый, как хлеб, китаец,
Чьи губы, как терки, трут,—

Ведь каждый перелистает
Ее, как книжку, к утру.

И вот, провожая гостя,
Который спешит удрать,
Бледнеющая от злости
Откинется на кровать.

— Уйти бы в могилу, наземь.
О, этот рассвет в окне!
И встретила взглядом с князем,
Пришпиленным на стене.

Высокий, худой, как мощи,
В военный одет сюртук,
Он в свете рассвета тощем
Шевелится, как паук.

И руку с эфеса шашки,
Уже становясь велик,
К измятой ее рубашке
Протягивает старик.

И плюнет она, не глядя,
И крикнет, из рук клонясь:
«Прими же плевок от бляди,
Последний великий князь!»

Он глазом глядит орлиным,
Глазища придвинув вплоть.
А женщина с кокаином
К ноздрям поднесла щепоть.

А небо очень зеленым
Становится от зари.
И светят в глаза драконам
Бумажные фонари.

И первые искры зноя,
Рассвета алая нить,—
Ужасны, как все земное,
Когда невозможно жить.

НИКОЛАЙ ПОЛЕТАЕВ

1889, Одоев Тульской губ.—1935, Москва

Начав печататься в 1918 году, стал постоянным автором пролеткультовской «Кузницы», все же выбрался из-под глыб космической индустриальной риторики и создал подлинный шедевр «Портретов Ленина не видно». Стихотворение оказалось провидческим. Годы действительно «дорисовывают» портрет Ленина. Эти «дорисованные» черты показывают нам вовсе не добренького дедушку с милой интеллигентной картавостью, а человека, который подписал декрет о первом концентрационном лагере для политзаключенных в Соловках. Это «дорисованное» лицо становится все менее иконным. Святого из Ленина не получилось.

* * *

Портретов Ленина не видно:
Похожих не было и нет.
Века уж дорисуют, видно,
Недорисованный портрет.

Перо, резец и кисть не в силах
 Весь мир огромный охватить,
 Который бьется в этих жилах
 И в этой голове кипит.

Глаза и мысль нерасторжимы,
 А кто так мыслию богат,
 Чтоб передать непостижимый,
 Века пронизывающий взгляд?

1923

НИКОЛАЙ АШУКИН

1890, Москва — 1972

Литературовед, библиограф. Печататься начал в 1906 году. Выпустил сборники «Осенний цветник», «Скитания». Составитель знаменитой книги «Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения».

* * *

Пусть ты была лишь вымысел прекрасный,—
 Но в прошлых днях я был любим,— влюблен,
 А наяву, во сне ли,— сон неясный —
 Вся жизнь! И сам я тоже — чей-то сон...

ВАСИЛИЙ БОЛЫЧЕВ

1890—(?)

Крестьянский поэт-самородок, сведений о котором обнаружить не удалось. Приводимое стихотворение, на мой взгляд, сделало бы честь и Некрасову.

ТУЖИК

И сера капуста,
 И черства краюха,
 И в сусеке пусто,
 И на поле сухо.
 И ветха хатенка,
 И жестка онуча,
 И худа шубенка,
 И детишек куча.

1912

ГРИГОРИЙ ВОИНОВ

1890(?)—(?)

Забывший автор тоненькой книжечки стихов, изданной районным лазаретом Хлебного переуллка в Москве в 1915 году. Это стихотворение поражает страшной простотой кровавой правды, не запугивающей, но сгибающей так, как будто на плечах оказались сразу все тела раненых и убитых той войны.

ВОСПОМИНАНИЕ О ПОЛЬШЕ

Мне жаль несчастную страну,
 О ней я часто вспоминаю
 И, как преступник в кандалах,
 Душой чувствительной страдаю.
 С какой тоскою я смотрел,
 Как там деревни загорались,

И без сознания по полям
 Крестьяне группами скитались.
 С какую грустью слушал я
 Их плач и громкое рыданье!
 Клянусь, что в жизни первый раз
 Такое встретилось страданье!
 Там был кромешный ад тогда,
 Сквозь дым и солнце не светило,
 И все, стоявшее вокруг,
 Какой-то ужас наводило.

7 января 1915

НИКОЛАЙ БУРЛЮК

1890, с. Котельва Харьковской губ.— 1920, Херсон

Младший брат знаменитого футуриста Давида Бурлюка, тоже участвовавший в футуристических сборниках, между тем нимало не футурист. О нем тепло вспоминали многие, всегда отмечая, что стихи он писал «совсем не футуристические». В 1920 году пьяная матросня безо всякого повода остановила его на улице и расстреляла. Оставил после себя четыре десятка стихотворений. Вот вам и «правота товарища матроса».

ПРЕДВЕСТИЯ

Как после этого не молвить,
 Что тихой осени рука
 Так нежно гладит паука,
 Желая тайный долг исполнить.

Как после этого не вянуть
 Цветам и маленькой траве,
 Когда в невольной синеве
 Так облака готовы кануть.

Как после этого не стынуть
 Слезами смоченным устам,
 Когда колеблешься ты сам,
 Пугаясь смерти жребий вынуть.

1910

ПАВЕЛ ДРУЖИНИН

1890, с. Тезиково Пензенской губ.— 1965, Москва

Родился в крестьянской семье. Печататься начал в 1910-м. Одна из книг называлась «Песня самоучки» (1920). Таким самоучкой он и остался до конца лет своих. Государство всячески поощряло приток в литературу «от сохи, от станка». Но у Дружинина была все-таки своя лирическая нота. Его крестьянское происхождение литературным комиссарам не удалось использовать: этот застенчивый одинокий поэт не пригодился для деинтеллектуализации интеллигенции. Выходец из деревенской бедноты, он всю жизнь был бедняком.

С ГАЛЕРКИ

Пляшет нэп отвратительный танец,
 Скалит зубы торгаш-гармонист.
 И с галерки поэт-оборванец
 Вниз бросает презрительный свист.
 Это я, чьи карманы навьлет,
 Это я, из-под Пензы мужик,
 В ваши черные смокинги вылил,
 Как в помойную яму, свой крик.
 Это я, в облинявшей фуфайке,

Вас, нарядных, по роже — бичом!
 Жрите, чавкайте сдобные сайки,
 Подавитесь моим калачом!
 Знаю я, вы одели шелка чьи,
 Чьи согрели вам пузо меха,
 И за все ваши блага свинячьи
 Я не дам запятой из стиха!

ТАТЬЯНА ЕФИМЕНКО

1890, Петербург — 1918, хутор Любочка на Херсонщине (?)

Заяла одно из первых мест в списке поэтов, которых прямо или косвенно погубила советская власть еще до того, как были расстреляны Гумилев, Леонид Семенов, кн. Владимир Палей, Леонид Каннегисер. Ефименко, как и ее мать, знаменитый искусствовед, специалист по прикладному искусству, была убита во время погрома «барской усадьбы». Поэтесса успела выпустить в 1916 году единственный сборник «Жадное сердце». Архив спасли родственники — чудом. Но и не озаряемое сполохом трагической гибели, творчество Ефименко относится к числу ценностей, которым забвение не грозит.

* * *

*Этот длинный путь позади: он тянется
 целую вечность,
 А этот длинный путь впереди — другая
 вечность.
 Ницше*

Родные мертвецы из гроба говорят,
 Неодолимые, живые.
 Любимых дней и лиц, вещей заветных ряд
 С забвеньем борется впервые.
 Но роковая связь событий такова:
 Пред нами лента жизни свита,
 Другая вечность ждет и вечно в нас жива,
 А вечность прошлого забыта.
 Из дорогих гробниц нас манят и грозят,
 Но вот уж их мертво значенье —
 И если я порой киваю им назад,
 То в знак прощанья и прощенья.

1912

ВЕРА ИНБЕР

1890, Одесса — 1972, Ленинград

Начала печататься в 1910 году в Одессе, пройдя через многие декадентские литературные влияния. Во время войны написала заметную поэму «Пулковский меридиан» о блокаде Ленинграда. Выступила со статьей-доносом «Нам с вами не по пути, Леонид Мартынов!», после чего того долго не печатали. Своими ханжескими трусливыми высказываниями о поэзии Вера Инбер словно пыталась сделать все, чтобы забыли о ее декадентском прошлом, о том, что она была племянницей Троцкого. Но в поэзии свое крохотное место есть: у нее и поныне.

ВАСЬКА СВИСТ В ПЕРЕПЛЕТЕ

В. Ч.

1. Что происходило в пивной

Как ни странно, но вобла была
 (И даже довольно долго)
 Живой рыбой, которая плыла
 Вниз по матушке по Волге.

А горох рос вдоль степных сел
 И завитком каждым

Пил дождь, когда он шел,
 А не то — умирал от жажды.

Непохожая жизнь у них,
 И разно бы надо есть их.
 А к пиву во всех пивных
 Их подают вместе.

И вобла слушает — поют
 О Волге, ее отчизне,

4. Что сказал
перед смертью Васька Свист

Поглядела карым глазом.
«Ты, видать, таков:
Вырезать стекло алмазом —
Пара пустяков».

Что касается бокса —
Я, конечно, на ять.
Почему я разлежся,
Когда надо бежать?!

Потихоньку вылазьте,
Не споткнитесь, как я.
Дайте ручку на счастье,
Золотая моя.

Как ее имя?
Кто это?.. Стой!..
Восемь гривен
Я должен в пивной.

Крышка. Убили.
Главное — жжет.
В плохой ты, Василий,
Попал переплет...

5. Что было написано в газете

Ограбленье склада (пети́т),
Обдуманное заранее.
Товар найден.
Грабитель убит.
Милиционер ранен.

АЛЕКСАНДР КРАНЦФЕЛЬД

1890 (?) — (?)

«Какая сила шею согнет тебе, человеческий азарт?!» Этот вопрос Маяковского — словно бы эпиграф к стихам забытого ныне поэта Александра Кранцфельда.

* * *

Купил десятку на двенадцать...
Усталый взгляд уперся в стол.
О, как мучительно сознаться
В том, что последний рубль ушел!

Сосредоточенные лица,
Осоловевшие глаза...
А рядом сонная девица
Открыла с треском два туза.

Вокруг восторженно смеются
И в смехе зависть чуть слышна...
Звенят фарфоровые блюдца,
В хрустальных рюмках муть вина.

Мелькают пестрые бумажки,
Газетных карт воюет рать.
И я узорные рубашки
С трудом пытаюсь разгадать.

И нет сознания, сию ли
Еще за ломберным столом.
Скажите: мой сосед — не шулер,
Не прячет карт за рукавом?

Вот он вспотевшею рукою
Считает выигрыш... Вот осел!..
И я с придавленной тоскою
Последний рубль швырнул на стол...

1915

ЯКОВ ЛЕБЕДЕВ

Ок. 1890 — не ранее 1930

Основательно забытый поэт, в чьем творчестве явно видны влияния и Анненского, и «Сатирикона», и еще многих других, но было у него и что-то «свое» — может быть, оно видно в приводимых стихотворениях, особенно в «Собачьей элегии».

СОН

Вошел ко мне не снявши шубы,
Вошел ко мне как я, как свой,
И что-то мне сказал сквозь зубы
И голос был похож на мой.

Я молча на него гляжу,
Я изошряюся в обмане,
Но знает, знает он заранее,
Что я сейчас ему скажу.

И вижу ненавистно четко,
Что у него мое лицо,

Моя плебейская походка
И на руке мое кольцо.

1913—1914

14-Й ГОД

О Русь, душе моей загубленной
Ты не приснишься и во сне.
Из чаши пить, тобой пригубленной,
Не суждено судьбою мне.
И как портрет чужой возлюбленной
России карта на стене.

СОБАЧЬЯ ЭЛЕГИЯ

Хоть уж мне пятнадцать лет,
Но поныне
Слышу, как ложится след
В луговине.

Слышу, слышу и ворчу
Не от злости —
Запах милой для меня
Слаще кости.

Носом к носу встречу взгляд
Лучший в мире.
Сразу лапы задрожат
Все четыре.

Колесом завью я хвост,
Закорючкой.
И не буду слишком прост
С этой сучкой.

БОРИС ПАСТЕРНАК

1890, Москва — 1960, Переделкино Московской обл.

Один из крупнейших поэтов мира. «И вся земля была его наследством, и он ее со всеми разделил», — сказала о нем Анна Ахматова. Маяковский писал, что отношение к поэзии должно быть равным отношению к женщине в гениальном четверостишии Пастернака:

В тот день всю тебя от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму Шекспирову,
Носил я с собою и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал.

Сын известного художника Леонида Пастернака, молодой поэт был воспитан в кругу утонченной интеллигенции. Писал музыку, находясь под влиянием Скрябина. В совершенстве владел несколькими иностранными языками. Учился в Марбургском университете. Из иностранных поэтов на него наибольшее влияние оказал, пожалуй, Рильке. Из русских современников Пастернака больше всего притягивала фигура Маяковского, их сложная дружба происходила на основе взаимоприятия и взаимоотталкивания. Если Маяковский из мира внутреннего все больше уходил в мир внешний, то Пастернак поступил наоборот. Первоначально связанный с футуризмом, он отдалился от него, ибо литературная борьба была для него несвойственна. Но Маяковский навсегда остался для Пастернака непреданной любовью молодости, и именно Пастернак написал лучшие стихи на смерть Маяковского: «Твой выстрел был подобен Этне в предгорьях труссов и трусих». Пастернака упрекали в неуважении к Маяковскому, когда после известного высказывания Сталина: «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей эпохи» — он написал: «Маяковского стали насаждать, как картошку». Но ведь Пастернак защищал этой горькой фразой Маяковского от его немедленно расплодившихся «насаждателей». Характерная особенность раннего Пастернака — перенасыщенность плоти стиха. Его стихи походили не на поэтическую субстанцию, а на ее квинтэссенцию. Объемность, осязаемость мира доходила у Пастернака почти до стереоскопического эффекта, когда ветка с каплями росы на ней протягивалась прямо из страниц, чуть щекоча ресницы. Поэзия Пастернака вроде бы отгораживалась от времени. Строка «Какое, милые, у нас тысячелетие на дворе?» многократно приводилась как обвинение поэта во вневременности. Но на самом деле поэзия Пастернака насковозь исторична. Пастернак написал мощные эпические полотна «1905 год», «Лейтенант Шмидт». Лучший, трагически пророческий портрет Ленина с натуры принадлежит именно Пастернаку («Высокая болезнь»). Послевоенные стихи Пастернака характерны своим стремлением к прозрачности. Прежняя «эссенциальность» уступила место большей классичности, простоте в ее высоком смысле. Что-то его поэзия потеряла, но что-то и выиграла. Многолетней работой Пастернака был роман «Доктор Живаго», в котором он написал портрет русского интеллигента, невольно оказавшегося между двух огней во время гражданской войны. Роман тоже оказался между двух огней. Союз писателей СССР осудил роман «Доктор Живаго» как произведение антисоветское, исключив Пастернака из своих рядов. Когда за роман ему дали Нобелевскую премию, западная пресса использовала «дело Пастернака» в своих спекулятивных целях. Таким образом, этот нравственно чистейший человек, для которого была непредставима политическая спекуляция, стал ее невольной жертвой. Он не хотел ни в кого стрелять. Тогда стали стрелять им. Но Пастернак оказался прав, когда предвидел:

Всю жизнь хотел я быть как все,
Но век в своей красе
Сильнее моего нитья
И хочет быть, как я.

Конечно, хочет. Но хотеть не означает стать.

Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит.

Достать пролетку. За шесть гривен,
Чрез благовест, чрез клик колес

Перенестись туда, где ливень
Еще шумней чернил и слез.

Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей
Сорвутся в лужи и обрушат
Сухую грусть на дно очей.



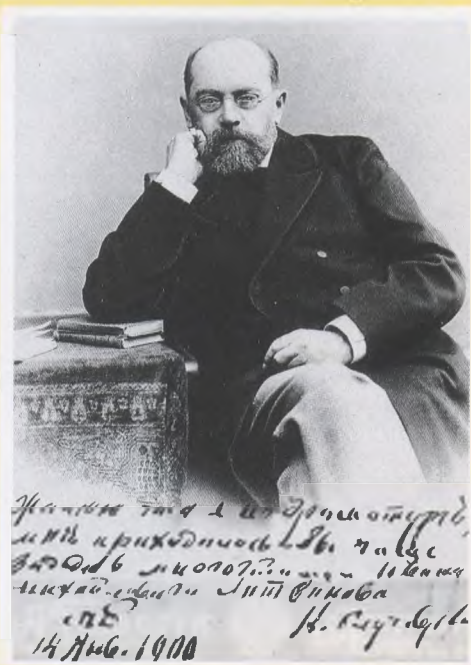
1



2



3



4

I

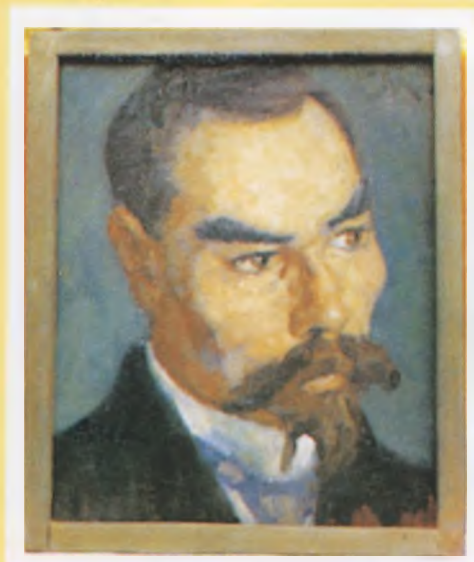
1. К. РОМАНОВ. 1900-е.
2. Д. РАТГАУЗ. 1910.
3. Вл. СОЛОВЬЕВ. 1890-е.
4. К. СЛУЧЕВСКИЙ. 1900.



5



6



7

5. К. БАЛЬМОНТ. 1905. Художник В. СЕРОВ
6. Вяч. ИВАНОВ. 1906. Художник К. СОМОВ
7. В. БРЮСОВ. 1913. Художник С. МАЛЮТИН



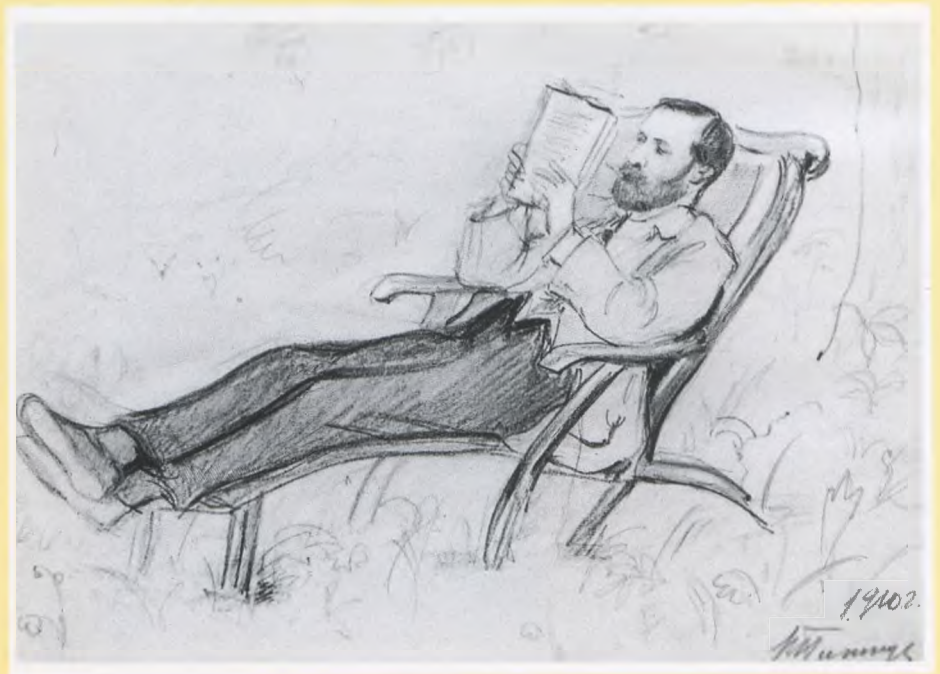
8



9

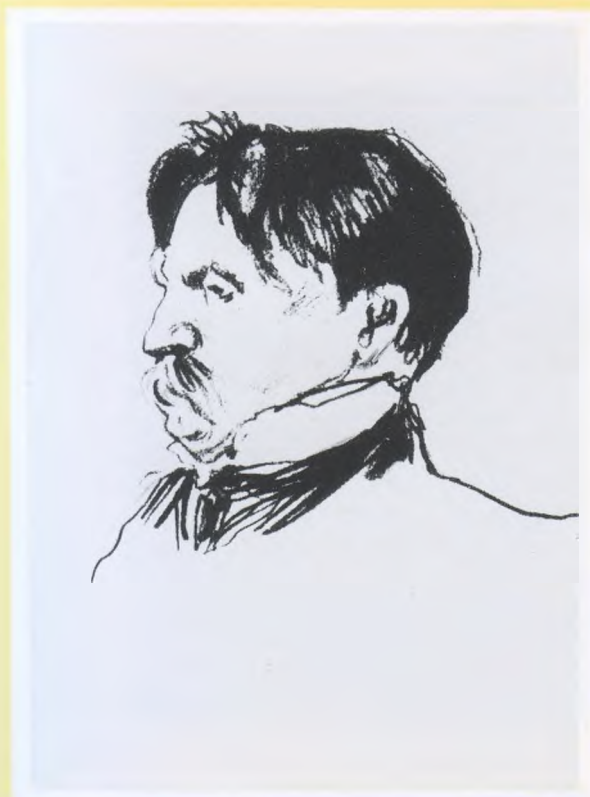


10



11

9. **В. НАРБУТ.** 1912. Художник **М. ЧЕМБЕРС-БИЛИБИН**
10. **З. ГИППИУС** (1912). Художник **Т. ГИППИУС**
11. **Д. МЕРЕЖКОВСКИЙ.** 1910. Художник **Т. ГИППИУС**



12



13



14

12. **И. АННЕНСКИЙ**. 1909. Художник **А. БЕНУА**
13. **К. ФОФАНОВ**. 1890-е. Рисунок **А. ФОФАНОВА**
14. **А. БЕЛЫЙ**. 1910-е. Художник **А. ТУРГЕНЕВА**



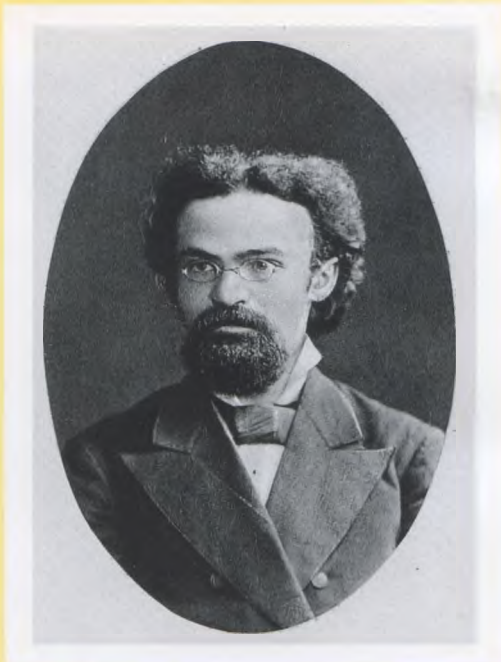
15



16



17



18

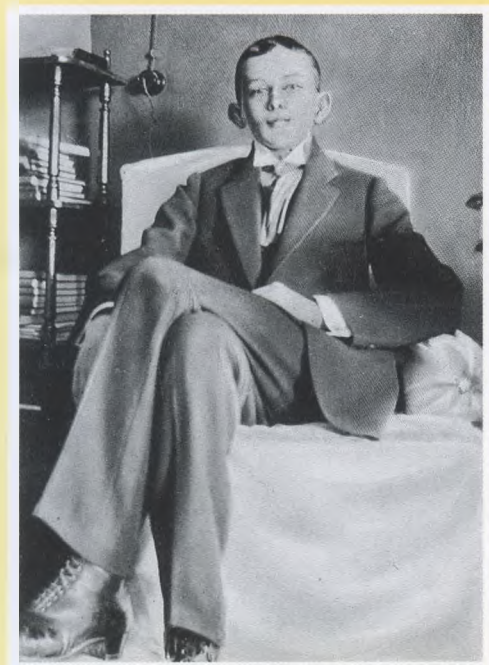
15. **Н. ГУМИЛЕВ.** 1911—1912.
16. **С. ПАРНОК.** 1890-е.
17. **М. ЛОХВИЦКАЯ.** 1890-е.
18. **Н. МИНСКИЙ.** 1890-е.



19



20



21

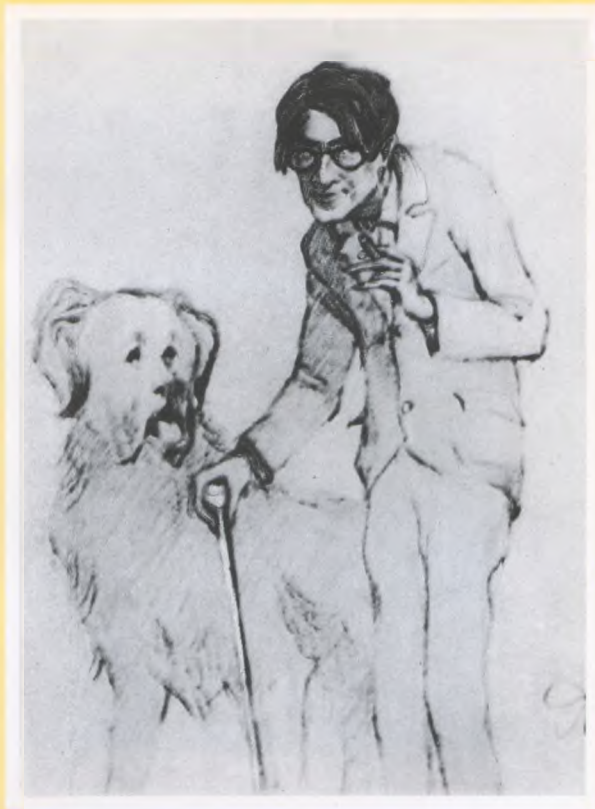


22

19. **В. КОМАРОВСКИЙ.** 1890-е.
20. **Е. ДМИТРИЕВА.** 1910-е.
21. **Г. АДАМОВИЧ.** 1915—1916.
22. **Н. БУЧИНСКАЯ (ТЭФФИ).** 1890-е.



23



24



25

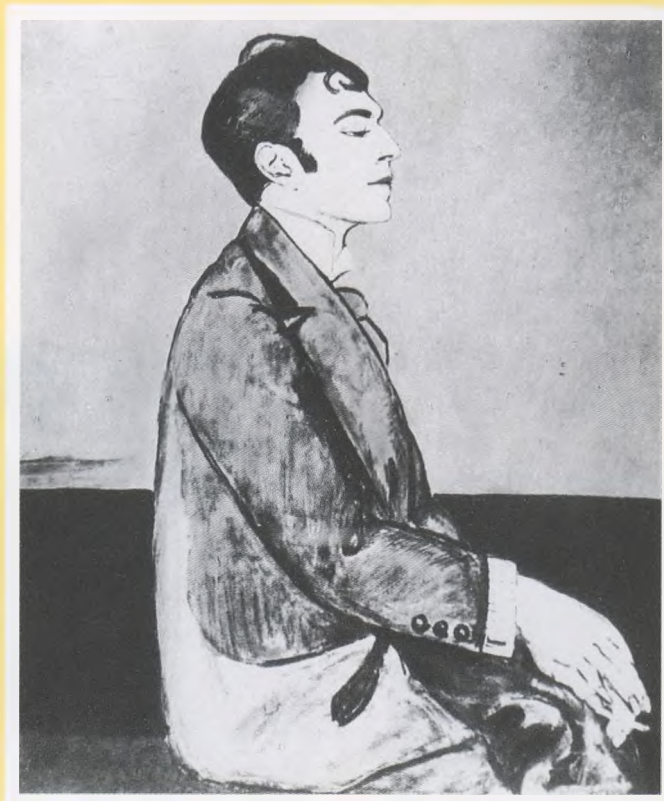


26



27

23. **И. СЕВЕРЯНИН.** 1910-е. Художник **Е. ГОЛЬДИНГЕР**
24. **В. ШИЛЕЙКО.** 1923. Художник **М. ФАРМАКОВСКИЙ**
25. **М. ВОЛОШИН.** 1919. Автопортрет
26. **П. СОЛОВЬЕВА.** 1910-е. Рисунок **М. ВОЛОШИНА**
27. **САША ЧЕРНЫЙ.** 1910-е. Художник **В. ФАЛИЛЕЕВ**



28



29

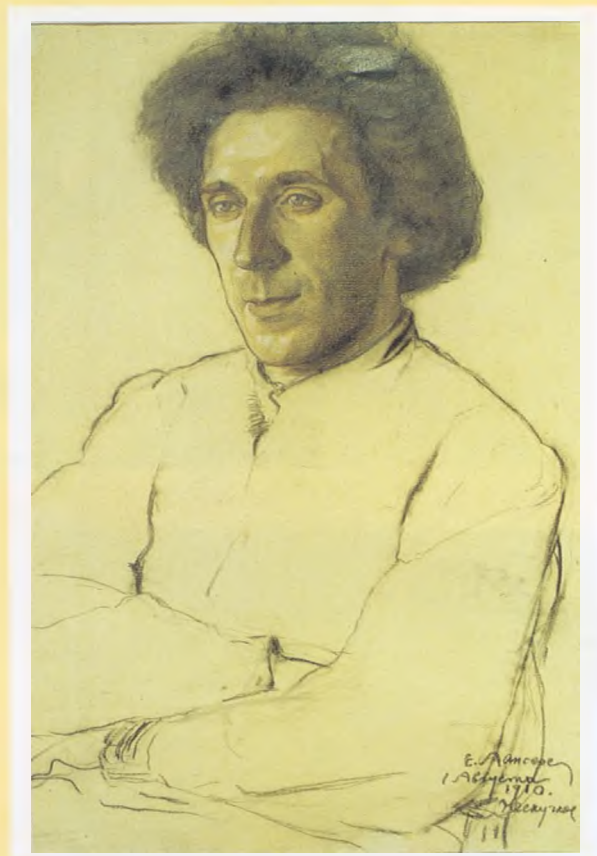


30

28. **О. МАНДЕЛЬШТАМ** (1913). *Художник А. ЗЕЛЬМАНОВА*
29—30. **А. АХМАТОВА** (1911). *Художник А. МОДИЛЬЯНИ*



31



32

31. Г. ПЕТНИКОВ. 1920. Художник Г. СЕРЕБРЯКОВА
32. Г. ЧУЛКОВ. 1910. Художник Е. ЛАНСЕРЕ



33



34

33. Ю. БАЛТРУШАЙТИС. 1912. Художник Л. ПАСТЕРНАК
34. Д. БЕДНЫЙ. 1919. Художник Л. ПАСТЕРНАК



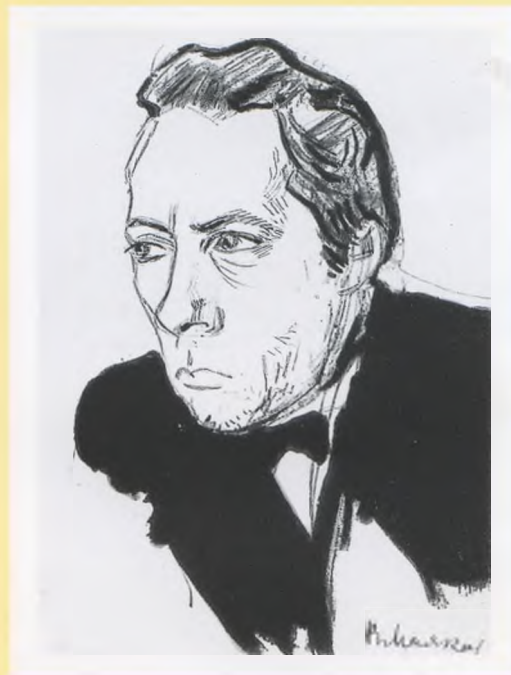
35



36



37

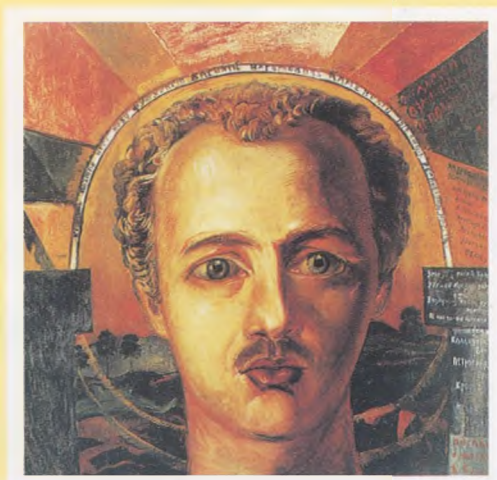


38

35. **А. КРУЧЕНЫХ** 1910-е. Художник **Н. КУЛЬБИН**
36. **Б. ЛИВШИЦ**. 1914. Художник **Н. КУЛЬБИН**
37. **Е. ГУРО**. 1910. Художник **В. БУРЛЮК**
38. **В. ХЛЕБНИКОВ**. 1916. Художник **В. МАЯКОВСКИЙ**



39



40



41



42



43

40. **В. КАМЕНСКИЙ.** 1917. Художник **Д. БУРЛЮК**
41. **В. МАЯКОВСКИЙ.** 1918. Автопортрет
42. **Н. БУРЛЮК.** 1913. Художник **В. БУРЛЮК**
43. **Д. БУРЛЮК.** 1915. Художник **В. МАЯКОВСКИЙ**



44



45



46



47



48

45. И. ОДОЕВЦЕВА. 1910-е. Художник Е. КРУГЛИКОВА
46. Н. ГУМИЛЕВ. 1910-е. Художник Е. КРУГЛИКОВА
47. С. БОБРОВ. 1910-е. Художник Е. КРУГЛИКОВА
48. А. РАДЛОВА. 1910-е. Художник Е. КРУГЛИКОВА

Под ней проталины чернеют,
И ветер криками изрыт,
И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.

1912

ПИРЫ

Пью горечь тубероз, небес осенних горечь
И в них твоих измен горящую струю.
Пью горечь вечеров, ночей и людных сборищ,
Рыдающей строфы сырую горечь пью.

Исчадья мастерских, мы трезвости не терпим.
Надежному куску объявлена вражда.
Тревожный ветер ночей — тех здравец
виночерпьем,
Которым, может быть, не сбьется никогда.

Наследственность и смерть — застольцы наших
трапез.
И тихою зарей — верхи дерев горят —
В сухарнице, как мышь, копается анапест,
И Золушка, спеша, меняет свой наряд.

Полы подметены, на скатерти — ни крошки,
Как детский поцелуй, спокойно дышит стих,
И Золушка бежит — во дни удач на дрожках,
А сдан последний грош, — и на своих двоих.

1914

МАРБУРГ

Я вздрагивал. Я загорался и гас.
Я трясся. Я сделал сейчас предложение, —
Но поздно, я сдрейфил, и вот мне — отказ.
Как жаль ее слез! Я святого блаженней!

Я вышел на площадь. Я мог быть сочтен
Вторично родившимся. Каждая малость
Жила и, не ставя меня ни во что,
В прощальном значении своем подымалась.

Плитняк раскалялся, и улицы лоб
Был смугл, и на небо глядел исподлобья
Бульжник, и ветер, как лодочник, греб
По липам. И всё это были подобья.

Но, как бы то ни было, я избегал
Их взглядов. Я не замечал их приветствий.
Я знать ничего не хотел из богатств.
Я вон вырывался, чтоб не разреветься.

Инстинкт природенный, старик-подхалим,
Был невыносим мне. Он крался бок о бок
И думал: «Ребятня зазноба. За ним,
К несчастью, придется присматривать в оба».

«Шагни, и еще раз», — твердил мне инстинкт,
И вел меня мудро, как старый схоластик,
Через девственный, непроходимый тростник
Нагретых деревьев, сирени и страсти.

«Научишься шагом, а после хоть в бег», —
Твердил он, и новое солнце с зенита
Смотрело, как сызнава учат ходьбе
Туземца планеты на новой планиде.

Одних это всё ослепляло. Другим —
Той тьмою казалось, что глаз хоть выколи.
Копались цыплята в кустах георгинов,
Сверчки и стрекозы, как часики, тикали.

Плыла черепица, и полдень смотрел,
Не смаргивая, на кровли. А в Марбурге
Кто, громко свища, мастерил самострел,
Кто молча готовился к Троицкой ярмарке.

Желтел, облака пожирая, песок.
Предгрозье играло бровями кустарника.
И небо спекалось, упав на кусок
Кровоостанавливающей арники.

В тот день всю тебя от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму Шекспирову,
Носил я с собою и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал.

Когда я упал пред тобой, охватив
Туман этот, лед этот, эту поверхность
(Как ты хороша!) — этот вихрь духоты...
О чем ты? Опомнись! Пропало. Отвергнуто.

Тут жил Мартин Лютер. Там — братья
Гримм.
Когтистые крыши. Деревья. Надгробья.
И все это помнит и тянется к ним.
Все — живо. И все это тоже — подобья.

Нет, я не пойду туда завтра. Отказ —
Полнее прощанья. Все ясно. Мы квиты.
Вокзальная суতোлка не про нас.
Что будет со мною, старинные плиты?

Повсюду портпледы разложит туман,
И в обе оконницы вставят по месяцу.
Тоска пассажиркой скользнет по томам
И с книжкой на оттоманке поместится.

Чего же я трушу? Ведь я, как грамматику,
Бессонницу знаю. У нас с ней союз.
Зачем же я, словно прихода лунатика,
Явления мыслей привычных боюсь?

Ведь ночи играть садятся в шахматы
Со мной на лунном паркетном полу,
Акацией пахнет, и окна распахнуты,
И страсть, как свидетель, сидит в углу.

И тополь — король. Я играю с бессонницей.
И ферзь — соловей. Я тянусь к соловью.
И ночь побеждает, фигуры сторонятся,
Я белое утро в лицо узнаю.

1915

РАЗРЫВ

Рояль дрожащий пену с губ оближет.
Тебя сорвет, подкосит этот бред.
Ты скажешь: — милый! — Нет, — вскричу
я, — нет!
При музыке?! — Но можно ли быть ближе,

Чем в полутьме, аккорды, как дневник,
Меча в камин комплектами, погодно?
О пониманье дивное, кивни,
Кивни, и изумишься! — ты свободна.

Я не держу. Иди, благотвори.
Ступай к другим. Уже написан Вертер,
А в наши дни и воздух пахнет смертью:
Открыть окно, что жилы отворить.

1918

* * *

Душистою веткою машучи,
Впивая впотьмах это благо,
Бежала на чашечку с чашечки
Грозой одуренная влага.

На чашечку с чашечки скатываясь,
Скользнула по двум, — и в обеих
Огромною каплей агатовою
Повисла, сверкает, робеет.

Пусть ветер, по таволге веющий,
Ту капельку мучит и плющит.
Цела, не дробится, — их две еще
Целующихся и пьющих.

Смеются и вырваться сиятся
И выпрямиться, как прежде,
Да капле из рылец не вылиться,
И не разлучатся, хоть режьте.

* * *

Так начинают. Года в два
От мамки рвутся в тьму мелодий,
Щебечут, свищут, — а слова
Являются о третьем годе.

Так начинают понимать.
И в шуме пущенной турбины
Мерещится, что мать — не мать,
Что ты — не ты, что дом — чужбина.

Что делать страшной красоте
Присевшей на скамью сирени,
Когда и впрямь не красть детей?
Так возникают подозренья.

Так зреют страхи. Как он даст
Звезде превысить досяганье,

Когда он — Фауст, когда — фантаст?
Так начинаются цыгане.

Так открываются, паря
Поверх плетней, где быть домам бы,
Внезапные, как вздох, моря.
Так будут начинаться ямбы.

Так ночи летние, ничком
Упав в овсы с мольбой: исполнся,
Грозят заре твоим зрачком.
Так затевают ссоры с солнцем.

Так начинают жить стихом.

1921

ИЗ СУЕВЕРЬЯ

Коробка с красным померанцем —
Моя каморка.
О, не об номера ж мараться
По гроб, до морга!

Я поселился здесь вторично
Из суеверья.
Обоев цвет, как дуб, коричнев
И — пенье двери.

Из рук не выпускал защелки,
Ты вырывалась.
И чуб касался чудной челки,
И губы — фиалок.

О неженка, во имя прежних
И в этот раз твой
Наряд щебечет, как здрав подснежник
Апрелю: «Здравствуй!»

Грех думать — ты не из весталок:
Вошла со стулом,
Как с полки, жизнь мою достала
И пыль обдула.

1922

БРЮСОВУ

Я поздравляю вас, как я отца
Поздравил бы при той же обстановке.
Жаль, что в Большом театре под сердца
Не станут стлать, как под ноги, циновки.

Жаль, что на свете принято скрести
У входа в жизнь одни подошвы: жалко,
Что прошлое смеется и грустит,
А злоба дня размахивает палкой.

Вас чествуют. Чуть-чуть страшит обряд,
Где вас, как вещь, со всех сторон покажут
И золото судьбы посеребрят,
И, может, серебрить в ответ обяжут.

Что мне сказать? Что Брюсова горька
Широко разбежавшаяся участь?
Что ум черствеет в царстве дурака?
Что не безделка — улыбаться, мучась?

Что сонному гражданскому стиху
Вы первый настезь в город дверь открыли?
Что ветер смел с гражданства шелуху
И мы на перья разодрали крылья?

Что вы дисциплинировали взмах
Взбешенных рифм, тянувшихся за глиной,
И были домовым у нас в домах
И дьяволом недетской дисциплины?

Что я затем, быть может, не умру,
Что, до смерти теперь устав от гили,
Вы сами, было время, поутру
Линейкой нас не умирать учили?

Ломиться в двери пошлых аксиом,
Где лгут слова и красноречье храмлет?..
О! весь Шекспир, быть может, только в том,
Что запросто болтает с тенью Гамлет.

Так запросто же!
Дни рожденья есть.
Скажи мне, тень, что ты к нему желала б?
Так легче жить. А то почти не снести
Пережитого слышащихся жалоб.

1923

ИЗ ПОЭМЫ

I

Я тоже любил, и дыханье
Бессонницы раннею ранью
Из парка спускалось в овраг, и впотьмах
Выпархивало на архипелаг
Полян, утопавших в лохматом тумане,
В полыни и мяте и перепелах.
И тут тяжелел обожанья размах,
Хмелел, как крыло, обожженное дробью,
И бухался в воздух, и падал в ознобе,
И располагался росой на полях.

А там и рассвет занимался. До двух
Несметного неба мигали богатства,
Но вот петухи начинали пугаться
Потемок и силились скрыть перепуг,
Но в глотках рвались холостые фугасы,
И страх фистулой голосил от потуг,
И гасли стожары, и как по заказу
С лицом пучеглазого свечегаса
Показывался на опушке пастух.

Я тоже любил, и она пока еще
Жива, может статья. Время пройдет,
И что-то большое, как осень, однажды
(Не завтра, быть может, так позже

когда-нибудь)

Зажжется над жизнью, как зарево, сжалившись
Над чащей. Над глупостью луж, изнывающих
По-жабьи от жажды. Над заячьей дрожью
Лузаек, с ушами ушитых в рогожу
Листвы прошлогодней. Над шумом, похожим
На ложный прибор прожитого. Я тоже
Любил, и я знаю: как мокрые пожни
От века положены году в подножье,
Так каждому сердцу кладется любовью
Знобящая новость миров в изголовье.

Я тоже любил, и она жива еще.
Всё так же, катясь в ту начальную рань,
Стоят времена, исчезая за краешком
Мгновенья. Всё так же тонка эта грань.
По-прежнему давнее кажется давешним.
По-прежнему, схлынувши с лиц очевидцев,
Безумствует быль, притворяясь незнающей,
Что больше она уж у нас не жилица.
И мыслимо это? Так, значит, и впрямь,
Всю жизнь удаляется, а не длится
Любовь, удивленья мгновенная дань?

1916, 1928

ВЫСОКАЯ БОЛЕЗНЬ

(в отрывках)

Мелькает движущийся ребус,
Идет осада, идут дни,
Проходят месяцы и лета.
В один прекрасный день пикеты,
Сбиваясь с ног от беготни,
Приносят весть: сдается крепость.
Не верят, верят, жгут огни,
Взрывают своды, ищут входа,
Выходят, входят, — идут дни,
Проходят месяцы и годы.
Проходят годы, — всё — в тени.
Рождается троянский эпос,
Не верят, верят, жгут огни,
Нетерпеливо ждут развода,
Слабеют, слепнут, — идут дни,
И в крепости крошатся своды.

Мне стыдно и день ото дня стыдней,
Что в век таких теней
Высокая одна болезнь
Еще зовется песнь.
Уместно ль песнью звать содом,
Усвоенный с трудом
Землей, бросавшейся от книг
На пики и на штык.
Благими намереньями вымощен ад.
Установился взгляд,
Что, если вымостить ими стихи, —
Простятся все грехи.
Все это режет слух тишины,
Вернувшейся с войны.
А как натянута этот слух, —
Узнали в дни разрух.

Мы были музыкой во льду.
 Я говорю про всю среду,
 С которой я имел в виду
 Сойти со сцены, и сойду.
 Здесь места нет стыду.
 Я не рожден, чтоб три разá
 Смотреть по-разному в глаза.
 Еще двусмысленней, чем песнь,
 Тупое слово — враг.
 Гошу.— Гостит во всех мирах
 Высокая болезнь.
 Всю жизнь я быть хотел как все,
 Но век в своей красе
 Сильнее моего нитья
 И хочет быть, как я.

Мы были музыкою чашек,
 Ушедших кушать чай во тьму
 Глухих лесов, косых замашек
 И тайн, не льстящих никому.
 Трещал мороз, и ведра висли.
 Кружились галки,— и ворот
 Стыдился застуженный год.
 Мы были музыкою мысли,
 Наружно сохранявшей ход,
 Но в стужу превращавшей в лед
 Заслякоченный черный ход.

Но я видел девятый съезд
 Советов. В сумерки сырые
 Пред тем обегав двадцать мест,
 Я проклял жизнь и мостовые,
 Однако сутки на вторые,
 И, помню, в самый день торжеств,
 Пошел, взволнованный донельзя,
 К театру с пропуском в оркестр.

Я трезво шел по трезвым рельсам,
 Глядел кругом, и всё окрест
 Смотрело полным погорельцем,
 Отказываясь наотрез
 Когда-нибудь подняться с рельс.
 С стенных газет вопрос карельский
 Глядел и вызывал вопрос
 В больших глазах больных берез.
 На телеграфные устои
 Садился снег тесьмой густою,
 И зимний день в канве ветвей
 Кончался, по обыкновенью,
 Не сам собою, но в ответ
 На поученье. В то мгновение
 Моралью в сказочной канве
 Казалась сказка про конвент.
 Про то, что гения горячка
 Цементá крепче и белей.
 (Кто не ходил за этой тачкой,
 Тот испытай и побелей.)
 Про то, как вдруг в конце недели
 На слепнувших глазах творца
 Родятся стены цитадели
 Иль крошечная крепостца.

Чреду веков питает новость,
 Но золотой ее пирог,
 Пока преданье варит соус,
 Встает нам горла поперек.
 Теперь из некоторой дали
 Не видишь пошлых мелочей.
 Забылся трафарет речей,
 И время сгладило детали,
 А мелочи преобладали.

Уже мне не прописан фарс
 В лекарства ото всех мытарств.
 Уж я не помню основанья
 Для гладкого голосованья.
 Уже я позабыл о дне,
 Когда на океанском дне
 В зияющей японской бреши
 Сумела различить депеша
 (Какой ученый водолаз)
 Класс спрутов и рабочий класс.
 А огнедышащие горы,
 Казалось,— вне ее разбора.
 Но было много дел тупей
 Классификации Помпей.
 Я долго помнил назубок
 Кошунственную телеграмму:
 Мы посылали жертвам драмы
 В смягченье треска Фузиямы
 Агитпрофсоюзеский лубок.

Проснись, поэт, и суй свой пропуск.
 Здесь не в обычае зевать.
 Из лож по креслам скачут в пропасть
 Мста, Ладога, Шексна, Ловать.
 Опять из актового зала
 В дверях, распахнутых на юг,
 Прошлое по лампам опахало
 Арктических Петровых выюг.
 Опять фрегат пошел на траверс.
 Опять, хлебнув большой волны,
 Дитя предательства и каверз
 Не узнает своей страны.

.....
 Чем мне закончить мой отрывок,
 Я помню, говорок его
 Пронзил мне искрами загринок,
 Как шорох молнии шаровой.
 Все встали с мест, глазами втуне
 Обшаривая крайний стол,
 Как вдруг он вырос на трибуне,
 И вырос раньше, чем вошел.
 Он проскользнул неуследимо
 Сквозь строй препятствий и подмог,
 Как этот в комнату без дыма
 Грозы влетающий комок.

Тогда раздался гул оваций,
 Как облегченье, как разряд
 Ядра, не властного не рваться
 В кольцо поддержек и преград.

И он заговорил. Мы помним
И памятники павшим чтим.
Но я о мимолетном. Что в нем
В тот миг связалось с ним одним?

Он был как выпад на рапире.
Гонясь за высказанным вслед,
Он гнул свое, пиджак топыря
И пяля передки штиблет.
Слова могли быть о мазуте,
Но корпуса его изгиб
Дышал полетом голой сути,
Прорвавшей глупый слой лузги.
И эта голая картавость
Отчитывалась вслух во всем,
Что кровью былей начерталось:
Он был их звуковым лицом.
Когда он обращался к фактам,
То знал, что, полоща им рот
Его голосовым экстрактом,
Сквозь них история орет.
И вот, хоть и без панибратства,
Но и вольней, чем перед кем,
Всегда готовый к ней придраться,
Лишь с ней он был накоротке.
Столетий завистью завистлив,
Ревнив их ревностью одной,
Он управлял теченьем мыслей
И только потому — страной.

Я думал о происхожденьи
Века связующих тягот.
Предвестьем льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой уход.

1923, 1928

ИЗ ПОЭМЫ «ЛЕЙТЕНАНТ ШМИДТ»

.....
«Напрасно в годы хаоса
Искать конца благого.
Одним карать и каяться,
Другим — кончать Голгофой.

Как вы, я — часть великого
Перемещенья сроков,
И я приму ваш приговор
Без гнева и упрека.

Наверно, вы не дрогнете,
Сметая человека,
Что ж, мученики догмата,
Вы тоже — жертвы века.

Я тридцать лет вынашивал
Любовь к родному краю
И снисхожденья вашего
Не жду и не теряю.

.....
В те дни, — а вы их видели,
И помните, в какие, —

Я был из ряда выделен
Волной самой стихии.

Не встать со всею родиной
Мне было б тяжелее
И о дороге пройденной
Теперь не сожалею.

.....
Я знаю, что столб, у которого
Я стану, будет гранью
Двух разных эпох истории,
И радуюсь избранью».

1926

МЕЙЕРХОЛЬДАМ

Желоба коридоров иссякли.
Гул отхлынул и сплыл, и заглох.
У окна, опоздавши к спектаклю,
Вяжет вьюга из хлопьев чулок.

Рытым ходом за сценой залайте,
И, обуглясь у всех на виду,
Как дурак, я зайду к вам в антракте,
И смешаюсь, и слов не найду.

Я увижу деревья и крыши.
Вихрем кинутся мушки во тьму.
По замашкам зимы замухрышки
Я игру в кошки-мышки пойму.

Я скажу, что от этих ужимок
Еле цел я остался внизу,
Что пакет развязался и вымок
И что я вам другой привезу.

Что от чувств на земле нет отбою,
Что в руках моих — плеск из фойе,
Что из этих признаний — любое
Вам обоим, а лучшее — ей.

Я люблю ваш нескладный развалец,
Жадной проседи взбитую прядь.
Если даже вы в это выгались,
Ваша правда, так надо играть.

Так играл пред землей молодою
Одаренный один режиссер,
Что носился как дух над водою
И ребро сокрушенное тер.

И, протискавшись в мир из-за дисков
Наобум размещенных светил,
За дрожашую руку артистку
На дебют роковой выводил.

Той же пьесою неповторимой,
Точно запахом краски дыша,
Вы всего себя стерли для грима.
Имя этому гриму — душа.

1928

СМЕРТЬ ПОЭТА

Не верили, считали — бредни,
Но узнавали от двоих,
Троих, от всех. Равнялись в строку
Остановившегося срока
Дома чиновниц и купчих,
Дворы, деревья, и на них
Грачи, в чаду от солнцепека
Разгоряченно на грачих
Кричавшие, чтоб дуры впредь не
Совались в грех, да будь он лих.
Лишь бы на лицах влажный сдвиг,
Как в складках порванного бредня.

Был день, безвредный день, безвредней
Десятка прежних дней твоих.
Толпились, выстроясь в передней,
Как выстрел выстроил бы их.

Как, сплющив, выплеснул из стока б
Лещей и щуку минный вспых
Шутих, заложенных в осоку,
Как вздох пластов нехолостых.

Ты спал, постлав постель на сплетне,
Спал и, оттрепетав, был тих,—
Красивый, двадцатидвухлетний.
Как предсказал твой тетралтих.

Ты спал, прижав к подушке щеку,
Спал,— со всех ног, со всех лодыг
Врезаясь вновь и вновь с наскоку
В разряд преданий молодых.
Ты в них врезался тем заметней,
Что их одним прыжком достиг.
Твой выстрел был подобен Этне
В предгорьях трусом и трусих.

1930

* * *

Годами когда-нибудь в зале концертной
Мне Брамса сыграют,— тоской изойду.
Я вздрогну, и вспомню союз шестисердый,
Прогулки, купанье и клумбу в саду.

Художницы робкой, как сон, крутолобость,
С беззлобной улыбкой, улыбкой вздох,
Улыбкой, огромной и светлой, как глобус,
Художницы облик, улыбку и лоб.

Мне Брамса сыграют,— я вздрогну, я сдамся,
Я вспомню покупку припасов и круп,
Ступеньки террасы и комнат убранство,
И брата, и сына, и клумбу, и дуб.

Художница пачкала красками траву,
Роняла палитру, совала в халат
Набор рисовальный и пачки отравы,
Что «Басмой» зовутся и астму сулят.

Мне Брамса сыграют,— я сдамся, я вспомню
Упрямую заросль, и кровлю, и вход,
Балкон полутемный и комнат питомник,
Улыбку, и облик, и брови, и рот.

И сразу же буду слезами увлажен
И вымокну раньше, чем выплачусь я.
Горючая давность ударит из скважин,
Околицы, лица, друзья и семья.

И станут кружком на лужке интермеццо,
Руками, как дерево, песнь охватив,
Как тени, вертеться четыре семейства
Под чистый, как детство, немецкий мотив.

1931

БОРИСУ ПИЛЬНЯКУ

Иль я не знаю, что, в потемки тычась,
Вовек не вышла б к свету темнота,
И я — урод, и счастье сотен тысяч
Не ближе мне пустого счастья ста?

И разве я не мерюсь пятилеткой,
Не падаю, не поднимаюсь с ней?
Но как мне быть с моей грудною клеткой
И с тем, что всякой косности косней?

Напрасно в дни великого совета,
Где высшей страсти отданы места,
Оставлена вакансия поэта:
Она опасна, если не пуста.

1931

ИЗ ПОЭМЫ «СПЕКТОРСКИЙ»

За что же пьют? За четырех хозяек.
За их глаза, за встречи в мясоед.
За то, чтобы поэтом стал прозаик
И полубогом сделался поэт.

В разгаре ужин. Вдруг, без перехода:
«Нет! Тише! Рано! Встаньте! Ваши врут!
Без двух!.. Без возражений!..

С Новым годом!»

И гранных дюжин громовой салют.

«О мальчик мой, и ты, как все, забудешь
И, возмужавши, назовешь мечтой
Те дни, когда еще ты верил в чудищ?
О, помни их, без них любовь ничто.

О, если б мне на память их оставить!
Без них мы прах, без них равны нулю.
Но я люблю, как ты, и я сама ведь
Их нынешнюю ночью утоплю.

Я дуновением наготы свалю их.
Всей женской подноготной растворю.
И тени детства схлынут в поцелуях.
Мы разойдемся по календарю.

Шепчу? — Нет, нет. — С ликером,
и покрепче.

Шепчу не я, — вишневки чернота.
Карениной, — так той дорожный сцепщик
В бреду под чепчик что-то бормотал».

ИЗ ЦИКЛА «ВОЛНЫ»

* * *

Мне хочется домой, в огромность
Квартиры, наводящей грусть.
Войду, сниму пальто, опомнюсь,
Огнями улиц озарюсь.

Перегородок тонкоробость
Пройду насквозь, пройду, как свет,
Пройду, как образ входит в образ
И как предмет сечет предмет.

Пускай пожизненность задачи,
Врастающей в заветы дней,
Зовется жизнью сидячей, —
И по такой, грущу по ней.

Опять знакомостью напева
Пахнут деревья и дома.
Опять направо и налево
Пойдет хозяйничать зима.

Опять к обеду на прогулке
Наступит темень, просто страсть.
Опять научит переулки
Охулки на руки не класть.

Опять повалят с неба взятки,
Опять укроет к утру вихрь
Осин подследственных десятки
Сукном сугробов снеговых.

Опять опавшей сердца мышцей
Услышу и вложу в слова,
Как ты ползешь и как дымишься,
Встаешь и строишься, Москва.

И я приму тебя, как упряжь,
Тех ради будущих безумств,
Что ты, как стих, меня зазубришь,
Как быль, запомнишь наизусть.

* * *

Красавица моя, вся статья,
Вся суть твоя мне по сердцу,
Вся рвется музыкою статья,
И вся на рифмы просится.

А в рифмах умирает рок,
И правдой входит в наш мирок
Миров разноголосица.

И рифма не вторенье строк,
А гардеробный номерок,

Талон на место у колонн
В загробный гул корней и лон.

И в рифмах дышит та любовь,
Что тут с трудом выносятся,
Перед которой хмурят бровь
И морщат переносицу.

И рифма не вторенье строк,
Но вход и пропуск за порог,
Чтоб сдать, как плащ за бляшкою
Болезни тягость тяжкую,
Боязнь огласки и греха
За громкой бляшкою стиха.

Красавица моя, вся суть,
Вся статья твоя, красавица,
Спирает грудь и тянет в путь,
И тянет петь и — нравится.

Тебе молился Поликлет.
Твои законы изданы.
Твои законы в даях лет,
Ты мне знакома издавна.

1931

* * *

О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью — убивают,
Нахлынут горлом и убьют!

От шуток с этой подоплекой
Я б отказался наотрез.
Начало было так далеко,
Так робок первый интерес.

Но старость — это Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез.

Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба,
И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба.

1932

НА РАННИХ ПОЕЗДАХ

Я под Москвою эту зиму,
Но в стужу, снег и буревал
Всегда, когда необходимо,
По делу в городе бывал.

Я выходил в такое время,
Когда на улице ни зги,
И рассыпал лесною темью
Свои скрипучие шаги.

Навстречу мне на переезде
Вставали ветлы пустыря.
Надмирно высились созвездья
В холодной яме января.

Обыкновенно у задворок
Меня старался перегнать
Почтовый или номер сорок,
А я шел на шесть двадцать пять.

Вдруг света хитрые морщины
Сбирались щупальцами в круг.
Прожектор несся всей машиной
На оглушенный виадук.

В горячей духоте вагона
Я отдавался целиком
Порыву слабости врожденной
И всосанному с молоком.

Сквозь прошлого перипетии
И годы войн и нищеты
Я молча узнавал России
Неповторимые черты.

Превозмогая обожанье,
Я наблюдал, боготворя.
Здесь были бабы, слобожане,
Учащиеся, слесаря.

В них не было следов холопства,
Которые кладет нужда,
И новости и неудобства
Они несли как господа.

Рассевшись кучей, как в повозке,
Во всем разнообразьи поз,
Читали дети и подростки,
Как заведенные, взасос.

Москва встречала нас во мраке,
Переходившем в серебро,
И, покидая свет двоякий,
Мы выходили из метро.

Потомство тискалось к перилам
И обдавало на ходу
Черемуховым свежим мылом
И пряниками на меду.

Март 1941

ГАМЛЕТ

Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можешь, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль,
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.

1946

ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Как летом роем мошकारа
Летит на пламя,
Слетались хлопья со двора
К оконной раме.

Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.

И падали два башмачка
Со стуком на пол,
И воск слезами с ночника
На платье капал.

И всё терялось в снежной мгле,
Седой и белой.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

На свечку дуло из угла,
И жар соблазна
Вздыхал, как ангел, два крыла
Крестообразно.

Мело весь месяц в феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

1946

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА

Стояла зима.
Дул ветер из степи.
И холодно было младенцу в вертепе
На склоне холма.

Его согревало дыханье вола.
 Домашние звери
 Стояли в пещере,
 Над яслями теплая дымка плыла.

Доху отряхнув от постельной трухи
 И зернышек проса,
 Смотрели с утеса
 Спросонья в полночную даль пастухи.

Вдали было поле в снегу и погост,
 Ограды, надгробья,
 Оглобля в сугробе,
 И небо над кладбищем, полное звезд.

А рядом, неведомая перед тем,
 Застенчивей площадки
 В оконце сторожки
 Мерцала звезда по пути в Вифлеем.

Она пламенела, как стог, в стороне
 От неба и Бога,
 Как отблеск поджога,
 Как хутор в огне и пожар на гумне.

Она возвышалась горящей скирдой
 Соломы и сена
 Среди целой вселенной,
 Встревоженной этою новой звездой.

Растущее зарево рдело над ней
 И значило что-то,
 И три звездочета
 Спешили на зов небывалых огней.

За ними везли на верблюдах дары.
 И ослики в сбруе, один малорослей
 Другого, шажками спускались с горы.

И странным виденьем грядущей поры
 Вставало вдали всё пришедшее после.
 Все мысли веков, все мечты, все миры,
 Всё будущее галерей и музеев,
 Все шалости фей, все дела чародеев,
 Все елки на свете, все сны детворы.

Весь трепет затепленных свечек, все цепи,
 Всё великолепье цветной мишуры...
 ...Всё злей и свирелей дул ветер из степи...
 ...Все яблоки, все золотые шары.

Часть пруда скрывали верхушки ольхи,
 Но часть было видно отлично отсюда
 Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи.
 Как шли вдоль запруды ослы и верблюды,
 Могли хорошо разглядеть пастухи.

— Пойдемте со всеми; поклонимся чуду,—
 Сказали они, запахнув кожухи.

От шарканья по снегу сделалось жарко.
 По яркой поляне листьями слюды
 Вели за хибарку босые следы.
 На эти следы, как на пламя огарка,
 Ворчали овчарки при свете звезды.

Морозная ночь походила на сказку,
 И кто-то с навьюженной снежной гряды
 Всё время незримо входил в их ряды.
 Собаки брели, озираясь с опаской,
 И жались к подпаску, и ждали беды.

По той же дороге, чрез эту же местность
 Шло несколько ангелов в гуще толпы.
 Незримыми делала их бестелесность,
 Но шаг оставлял отпечаток стопы.

У камня толпилась орава народу.
 Светало. Означились кедров стволы.
 — А кто вы такие? — спросила Мария.
 — Мы племя пастушье и неба послы.
 Пришли вознести вам обоим хвалы.
 — Всем вместе нельзя. Подождите у входа.

Средь серой, как пепел, предутренней мглы
 Топтались погонщики и овцеводы,
 Ругались со всадниками пешеходы,
 У выдолбленной водопойной колоды
 Ревели верблюды, лягались ослы.

Светало. Рассвет, как пылинки золы,
 Последние звезды сметал с небосвода.
 И только волхвов из несметного сброда
 Впустила Мария в отверстие скалы.

Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,
 Как месяца луч в углубленье дупла.
 Ему заменяли овчинную шубу
 Ослиные губы и ноздри вола.

Стояли в тени, словно в сумраке хлева,
 Шептались, едва подбирая слова.
 Вдруг кто-то в потемках немного налево
 От яслей рукой отодвинул волхва,
 И тот оглянулся: с порога на Деву,
 Как гостья, смотрела звезда Рождества.

1947

ОСЕНЬ

Я дал разъехаться домашним,
 Все близкие давно в разброде,
 И одиночеством всегдашним
 Полно всё в сердце и природе.

И вот я здесь с тобой в сторожке.
 В лесу безлюдно и пустынно.
 Как в песне, стежки и дорожки
 Позаросли наполовину.

Теперь на нас одних с печалью
 Глядят бревенчатые стены.
 Мы братья преград не обещали,
 Мы будем гибнуть откровенно.

Мы сядем в час и встанем в третьем,
 Я с книгою, ты с вышиваньем,
 И на рассвете не заметим,
 Как целоваться перестанем.

Еще пышней и бесшабашней
 Шумите, осыпайтесь, листья,
 И чашу горечи вчерашней
 Сегодняшней тоской превысыте.

Привязанность, влечение, прелесть!
 Рассеемся в сентябрьском шуме!
 Заройся вся в осенний шелест!
 Замри или ополоумей!

Ты так же сбрасываешь платье,
 Как роца сбрасывает листья,
 Когда ты падаешь в объятье
 В халате с шелковой кистью.

Ты — благо гибельного шага,
 Когда житье тошней недуга,
 А корень красоты — отвага,
 И это тянет нас друг к другу.

1949

ВЕТЕР

Я кончился, а ты жива.
 И ветер, жалуясь и плача,
 Раскачивает лес и дачу.
 Не каждую сосну отдельно,
 А полностью все дерева
 Со всею далью беспредельной,
 Как парусников кузова
 На глади бухты корабельной.
 И это не из удалства
 Или из ярости бесцельной,
 А чтоб в тоске найти слова
 Тебе для песни колыбельной.

1953

НОЧЬ

Идет без проволочек
 И тает ночь, пока
 Над спящим миром летчик
 Уходит в облака.

Он потонул в тумане,
 Исчез в его струе,
 Став крестиком на ткани
 И меткой на белье.

Под ним ночные бары,
 Чужие города,

Казармы, кочегары,
 Вокзалы, поезда.

Всем корпусом на тучу
 Ложится тень крыла.
 Блуждают, сбившись в кучу,
 Небесные тела.

И страшным, страшным креном
 К другим каким-нибудь
 Неведомым вселенным
 Повернут Млечный Путь.

В пространствах беспредельных
 Горят материки.
 В подвалах и котельных
 Не спят истопники.

В Париже из-под крыши
 Венера или Марс
 Глядят, какой в афише
 Объявлен новый фарс.

Кому-нибудь не спится
 В прекрасном далеке
 На крытом черепицей
 Старинном чердаке.

Он смотрит на планету,
 Как будто небосвод
 Относится к предмету
 Его ночных забот.

Не спи, не спи, работай,
 Не прерывай труда,
 Не спи, борись с дремотой,
 Как летчик, как звезда.

Не спи, не спи, художник,
 Не предавайся сну.
 Ты — вечности заложник
 У времени в плену.

1956

* * *

Быть знаменитым некрасиво.
 Не это подымает ввысь.
 Не надо заводить архива,
 Над рукописями трястись.

Цель творчества — самоотдача,
 А не шумиха, не успех.
 Позорно, ничего не знача,
 Быть притчей на устах у всех.

Но надо жить без самозванства,
 Так жить, чтобы в конце концов
 Привлечь к себе любовь пространства,
 Услышать будущего зов.

И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг,
Места и главы жизни целой
Отчеркивая на полях.

И окунаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги.

Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.

И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца.

1956

ЕЛИЗАВЕТА ПОЛОНСКАЯ

1890, Варшава — 1969

Первый поэтический сборник выпустила в 1920 году — «Знаменья». Чрезвычайно популярно было в 20-е годы ее стихотворение «Сказка», о том, как «Уходила мама коза», с трогательным, прямо на слезные железы давящим финалом: «Нет огня и стучит пулемет. Каждый шаг, словно ниточка, тонок... Где-то милую маму ждет самый маленький белый козленок». Естественно, разрабатывая подобные темы, Полонская очень быстро перешла к детской поэзии и успешно работала в ней до самой смерти; писала также прозу, переводила.

МОИ СЛОВА

Слова, которые писала я когда-то,
Внезапно возвращаются ко мне:
Они теперь могучи и крылаты,
Они звучат в окрестной тишине.

Моих наставников благодарю я низко,
Но их уж нет, до них мне не достать...
Хочу я в прошлое послать записку,
Но лучше в будущее посылать!

1966

СЕМЕН ТИХОНОВ

1890(?) — (?)

Ерничающие строки Семена Тихонова о «бунта гневной крамоле» запомнились мне, быть может, потому, что в них аукнулось злое эхо бессмертных «жизненных зевот».

ЛАВОЧКА БЕССМЕРТЬЯ

(Венской буржуазии)

Над смерти мудростью совиной
Восстал бестрепетно Штейнах,
И бодро рослые кретины
Несут бессмертие в штанах!
Когда я раньше видел гнусных
В полотнах жизненных зевот,
Я думал радостно и вкусно:
«Быть может, завтра он умрет!»

.....
Пусть бунта гневную крамолу
Скорей швырнут в лицо судьбе —
О, человеческая сволочь,
Ужель бессмертие тебе?!

НИКАНДР АЛЕКСЕЕВ

1891, д. Пидели Псковской губ.— 1963

Поэт, позднее в основном прозаик. В 1916—1920 годах, находясь во Франции в составе русского экспедиционного корпуса (как солдат), издал в Париже три сборника стихотворений. Гумилев, в целом скептически отзывавшийся о поэзии Алексеева, констатировал, что у него «есть иногда и сила».

НА ИРТЫШЕ

Из цикла «Старая Сибирь»

I

Калитки на тройных засовах,
Напрасно клянуть под окном:
Не распахнет дверей тесовых
Двухъярусный крестовый дом.

Кержачки скажут: «Безбумажный!
Острожник,— скажут.— Платьем... плох»...
И мимо дом не двухэтажный,—
Не пустит тоже на порог...

Но в утешенье каждый кустик,
Пока не сыплет с неба снег,
Не спросит паспорта и пустит
К себе пришельца на ночлег.

Меня накормит корень дикий,
Да клюква кислая во мхах,
Да согра, где на костянике
Постился тетерев-монах.

II

За шагом шаг, ко мне колонной
Кедрач идет издали —
Урман! У ног неугомонный
Иртыш — Ермацкая река.

На остроноске-лодке тряской
Остяк, спуская сеть в волну,
Поет про панцирь астраханский,
Что с атаманом потонул.

Напев тоски, напев недоли.
Глухих угроз полна река:
— Иртыш,— не ты ли слал соболий
Ясак за гибель Ермака!

И на вопрос встают вопросы:
Ведь помнит песня — по реке
Приплыл шаман длинноволосый
С крестом сияющим в руке.

А за шаманом шустрый шельма —
Купец — он ослепил улус,—
Как чешуя весенней нельмы,
Ряды поблескивали бус.

За блеск их рассчитался каждый,
За влагу, жгущую нутро,
Платил наличьем — лучших кряжей
Пушным тобольским серебром.

Ах, видно бусы обманули,
Да хмель купецкого вина!
Крестом Христа, казацкой пулей
Сибирь была покорена!

1935

МИХАИЛ ЗЕНКЕВИЧ

1891, с. Николаевский городок Саратовской губ.— 1973, Москва

Окончил юридический факультет Петербургского университета. Был одним из «шести первых акмеистов», участником «Цеха поэтов». Первый сборник «Дикая порфира» вышел в 1912 году. В годы террора, когда наша страна была отгорожена от Запада железным занавесом, совместная работа М. Зенкевича и И. Кашкина «Поэты Америки XX века» явилась творческим подвигом по воссоединению разделенных культур двух противоборствующих социальных систем. Состав, правда, был неизбежно тенденциозен и далеко не полон, но все-таки это было хоть что-то вместо отчуждающего абсолютного незнания. Зенкевича по праву называют одним из основателей «советской школы» поэтического перевода. Но время от времени он напоминал о себе и как поэт редкими, но иногда сильными стихами.

МОРОШКА

(фрагмент)

Мороз... Мороз...
Морозило сто лет... сто лет...
Мир рос... Мир рос
Сто лет... сто лет...
Но не в футляре пистолет
Разряженный, а на столе
На блюде ягоды морошки.
Губами бы их в рот вобрать,

Не окисляя серебра
Чуть потемневшей чайной ложки.
Хотя б одну из них попробуй.
Как терпнет рот! Они горчат.
В них свежесть снежная сугроба
И выстрела похмельный чад.
Не по морозцу,
по морошку
Дождь моросит
Из частых сит
И мочит, мочит, как нарочно...

Вот на болотце торфяном
 Раскинулся цветной морошник:
 Ступила тихо лапотком.
 Морошка, спелая морошка!
 Рвет ягоды, кладет в лукошко.
 Те самые, что через сто
 Лет будут жить... Пстой! Пстой!
 Скажи, как звать тебя? Ты чья?
 Деревня барина какого?
 Потупилась... «Своя, ничья»,
 Морошка мокнет у ручья,
 И мокнет новая панева.
 — Не знаешь, что ли для кого
 Ты ягоды сбирала, краля?
 — Чай, не из леса твоего,
 У лешего я их украла!
 Лукаво карий глаз косит,
 Дождь моросит
 Из частых сит...
 — Что привязался, скоморошник? —
 И шась в кусты через морошник.
 — Куда ты, глупая! Стой! Стой!
 Пропала в заросли густой,
 И только след от лапотка
 Ноги девичьей у болотца
 Водой серебряной нальется
 И застоится на века.
 Невмочь. О, ночь таких мучений!
 Чего-то хочется с утра.
 Чего? Морошки бы моченой,
 С ней будет легче умирать!
 — Хочу, чтоб ты сама, мой друг,
 Меня морошкой накормила. —
 Упала на колени вдруг
 И кормит с ложки: «Кушай, милый!»
 В ее глазах испуг и горе.
 Всех поцелуев горячей,
 Томительнее всех ночей,
 С ней проведенных, эта горечь,
 Три ягодки... морошки сок!
 Как потолок вдруг стал высок.
 По книжным полкам выше, выше...
 Кончается... Почти не слышит...
 Мороз, и обморок, и морок...
 Мороз и сумерки... Он умер...

НАЙДЕНЫШ

Пришел солдат домой с войны,
 Глядит: в печи огонь горит,
 Стол чистой скатертью накрыт,

Чрез край квашни текут блины,
 Да нет хозяйки, нет жены!

Он скинул вещевого мешок,
 Взял для прикурки уголек
 Под печкой, там, где темнота,
 Глаза блеснули... Чьи? Кота?
 Мышиный шорох, тихий вздох...
 Нагнулся: девочка лет трех.

— Ты что сидишь тут? Вылезай. —
 Молчит, глядит во все глаза,
 Пугливее зверенышка,
 Светлей кудели волоса,
 На васильках — роса —

слеза.

— Как звать тебя?

— «Аленушка».

— «А дочь ты чья?» —

Молчит... — Ничья.

Нашла маманька у ручья
 За дальнею полосонькой,
 Под белою березонькой.
 — «А мамка где?» — «Укрылась в рожь.
 Бойтся, что ты нас убьешь...»

Солдат воткнул в хлеб острый нож,
 Оперся кулаком о стол,
 Кулак свинцом налит, тяжел.
 Молчит солдат, в окно глядит,
 Туда, где тропка вьется вдаль.
 Найденыш рядом с ним сидит,
 Над сердцем теребит медаль.
 Как быть?

В тумане голова.

Проходит час, а может, два.
 Солдат глядит в окно и ждет:
 Придет жена иль не придет?
 Как тут поладишь, жди не жди...
 А девочка к его груди
 Прижалась бледным личиком,
 Дешевым блеклым ситчиком...

Взглянул:

у притолоки жена
 Стоит, потупившись, бледна...
 — Входи, жена! Пеки блины.
 Вернулся целым муж с войны.
 Былое порастет быльем,
 Как дальняя сторонушка.
 По-новому мы заживем,
 Вот наша дочь — Аленушка!

1945—1955

РЮРИК ИВНЕВ

1891, Тифлис — 1981, Москва

Псевдоним Михаила Александровича Ковалева. Примыкал то к эгофутуристам, то к ямажинистам и прожил до глубочайшей старости, не бросая пера. Его поэтический голос чем-то всегда напоминал мне певца Вадима Козина. Наследие его неравноценно, но блестящие поэзии рассыпаны по его слишком, может быть, раздутым книгам. В лучших своих вещах Ивнев преодолевает сладковато-мелодраматическую «романсовость», поднимаясь до высокого романа.

* * *

Ах, с судьбою мы вечно спорим,
Надоели мне эти игры,
Чередуются счастье с горем,
Точно полосы на шкуре тигра.

Серых глаз ворожба и тайна,
Ну совсем как средневековье.
Неужели они случайно
На любовь отвечали любовью?

Что мне солнце с его участием,
Эти пригоршни желтой соли.
Я вчера задышался от счастья,
А сегодня кричу от боли.

Ах, с судьбою мы вечно спорим,
Надоели мне эти игры,
Чередуются счастье с горем,
Точно полосы на шкуре тигра.

1926, Владивосток

* * *

Опуская веки, как шторы,
Одному оставаться позволь.
Есть какой-то предел, за которым
Не страшна никакая боль.
И душа не трепещет, не бьется
И глядит на себя, как на тень,
И по ней, будто конь, несется,
Ударяя копытами день.
Будто самые страшные горы,
Как актеры сыграли роль.
Есть какой-то предел, за которым
Не страшна никакая боль.

1916, Петроград

* * *

Мне страшно. Я кидаю это слово
В холодный дым сверкающей земли.
Быть может, ты вливал мне в горло олово
При Алексее или при Василии.
Быть может, ты, принявший имя Бирона,
С усмешек темною ордой,
Гнал в снежную пустырь мою слепую лиру
И, обнаженную, покачивал водой.
А может быть, с улыбкой Николая
Ты ждал меня и кутался в шинель,
В неведенье блаженном сам не зная,
Нательный крест пошлешь иль шрапнель.
На палубе лежит сухая корка хлеба,
Морозный ветер веет у руля,
Мне страшно за тебя, безоблачное небо,
Мне страшно за тебя, тяжелая земля.

1917 марта 5-й день, Петроград.

* * *

Слова — ведь это груз в пути,
Мешок тяжелый, мясо с кровью.
О, если бы я мог найти
Таинственные междусловья.

Порой мне кажется, что вот
Они, шумя, как птицы в поле,
До боли разрезая рот,
Гурьбою ринутся на волю.

Но иногда земля мертва,
Уносит все палящий ветер.
И кажется, что все на свете —
Одни слова.

1923

ВЛАДИМИР КОРВИН-ПИОТРОВСКИЙ

1891, Белая Церковь — 1966, Лос-Анджелес

Из древнего дворянского рода и из рода венгерских королей (впрочем, сведения о подобном происхождении известны лишь со слов самого поэта и документально не подтверждаются). В гражданскую войну сражался в белой армии артиллерийским офицером. В берлинской эмиграции работал шофером и одновременно руководил отделом поэзии в журнале «Сполохи». В 1939 году переселился в Париж, участвовал в Сопротивлении, почти год провел в гестаповской тюрьме, приговоренный к смертной казни. Стихи, сочиненные им в тюрьме и заученные наизусть, издал в книге «Воздушный змей». Двухтомник Корвин-Пиотровского был издан в 1969 году. Он оставил разнородное неравноценное наследие, в котором как недевальвируемые драгоценности выделяются уникальные поэтические свидетельства о судьбе России и своей собственной судьбе. Мастер поэтической драмы — жанра, почти вымершего в XX веке.

ИЗ ПОЭМЫ «ЗОЛОТОЙ ПЕСОК»

Прощайте, ротмистр. Вы, бывало,
 Внезапно изменясь в лице,
 Любили мчаться где попало
 На сумасшедшем жеребце.
 Вы не вернетесь. У киоска,
 Жую табачные усы,
 В плаще, заношенном до лоска,
 Вы молча сверили часы.
 А время, сроки нарушая,
 Бежит, как горная река,
 И кажется — рука большая
 С водой смешала облака.
 И кажется — в стремнине громкой,
 Ломая в щепы тарантас,
 Шальная лошадь иль Пегас,
 Полуудавленный постромкой,
 Глядит насмешливо на нас.

* * *

Зверь обрастает шерстью для тепла,
 А человек — любовным заблуждением.
 Лишь ты, душа, как мохом поросла,
 Насильственным и беглым наслаждением.

Меня томит мой сумеречный день,
 Ни счастья в нем, ни даже возмущенья.
 Есть голода высокая ступень,
 Похожая на муки пресыщенья.

1927

* * *

Не от свинца, не от огня
 Судьба мне смерть судила,—
 Шрапнель веселая меня
 Во всех боях щадила,

И сталь граненая штыка
 Не раз щадила тоже,—
 Меня легчайшая рука
 Убьет в застенке ложи.

В жилете снежной белизны
 И в черном фраке модном,
 С небрежной прядью седины
 На черепе холодном

Скрипач, улыбку затая,
 Помедлит над струною,
 И я узнаю,— смерть моя
 Пришла уже за мною.

И будет музыка дика,
 Не шевельнутся в зале,
 И только молния смычка
 Падет во тьму роля.

Перчатку узкую сорву
 (А сердце захлебнется),
 И с треском шелковым по шву
 Перчатка разорвется.

Я молча навзничь упаду,
 По правилам сраженья,
 Суровый доктор на ходу
 Отдаст распоряженья.

И, усмиряя пыл зевак,
 Чиновник с грудью впалой
 Заметит сдержанно, что так
 Не прочь и он, пожалуй.

ПОЗДНИЙ ГОСТЬ

Твоя ленивая вражда
 Почти похожа на участие,
 Но тайно мыслишь иногда,—
 Моя беда, мое несчастье.

И долго смотришь на меня
 С нетерпеливым раздраженьем
 И мстишь открытым униженьем
 За блеск утраченного дня.

Все бывшее небывшим стало,
 Болотным паром изошло,—
 Ничто души не потрясло,
 Привычных чувств не надорвало.

Ни перемен, ни новизны,
 Весь мир как бы подернут скукой,—
 Мы равнодушно, без вины,
 Прощаемся перед разлукой.

Нет, не любовь,— мечта о ней,
 Томительная неудача,
 Но сердце тем щемит больней,
 Чем меньше жалобы и плача.

Увы, меж площадных зевак
 Мы жить хотим не очень сложно,
 И любим мы — неосторожно,
 И ненавидим — кое-как.

1939

* * *

Чиновник на казенном стуле,
 Усердствуя, протер дыру,—
 Его начальственно ругнули,
 И он постиг: не ко двору.

Стул очень быстро починили.
 Чиновник умер. В феврале

Его семейно хоронили,
Прилично предали земле.

И кто-то отпечатал «В Бозе»
На ленте кремовой венка,
И снег на одинокой розе
Сверкал, похрустывал слегка.

И вдруг душа моя припала
К дешевым лентам и цветам,—
О, Боже мой! Как страшно мало
Ты нам оставил здесь и там.

1944

КАРУСЕЛЬ

Кусты сирени и свобода,
Толпа подвыпивших зевак,
Прямая мачта возле входа,—
В лазурном поле белый флаг.

На карусели под шарманку
Брезентом хлопает весна,
Плащи и платья наизнанку
Расхлестаны как знамена.

И с чьей-то шляпки розовой
Летит в шарманочный поток,
Плывет по воздуху измятый
Как бы притоптанный цветок.

И я, в моей печали важной,
Молчу и никну головой,—
В моей руке цветок бумажный
Благоухает как живой.

Двойной булавкой осторожно
Его прикалываю там,
Где расцветать еще возможно
Живым и призрачным цветам.

Вдыхая пудры запах сладкий,
Табачный горьковатый дым,—
На размалеванной лошадке
Скачу за солнцем голубым.

Оставь меня в моем круженье,
Возврата позднего не жди,—
Я всадник в гибельном сраженье
С засохшей розой на груди.

1946

АЛЕКСЕЙ КРАЙСКИЙ

1891, Новгород — 1941

Псевдоним Алексея Петровича Кузьмина, кондово-пролетарского поэта, пролеткультовца. Еще Георгий Иванов в мемуарных очерках конца 20-х годов писал о том, как приехал какой-то пролетарский поэт, «конечно, не Садофьев и не Крайский», кто-то рангом поменьше. Издавший в 1919 году первую книжку «Улыбки солнца», Крайский годом позже уже числился в Пролеткульте в живых пролетарских классиках. Но слава его быстро сошла на нет: подобная «присядка перед Смольным» походила на случай из старой поговорки насчет того, что не садись играть в карты с чертом — все равно проиграешь. «Завертешники» Крайского завертелись куда круче, чем сами того ожидали, и неизвестно, от какой судьбы спасла его война: в 1941 году он погиб на фронте в ополчении.

ЗАВЕРТЕШНИКИ

(фрагмент)

У гудящего, звенящего столба
Больше нет безвольного раба:

Захочу — трамваи птиц
Полетят по деревьям,
Захочу — и свист синицы
Музыкою по камням!

Захочу — и вечеринка...
Захотеть ли сгоряча?..

И пойдет плясать в обнимку
С памятником каланча!

И в присядке перед Смольным
Развернется толстый дом,
И замашет колокольня
Красным флагом-рукавом!

Да железная над крышей
Замельтешит стрекоза
Завертешному парнишке
В завертешные глаза.

1918

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ

1891, Варшава — 1938, Дальний Восток

Отец был коммерсантом, мать из интеллигентной семьи. Образование получил в коммерческом училище, в Петербургском и Гейдельбергском университетах, но официально так и остался недоучкой. В 1907 году посетил Париж. Мандельштам — один из самых образованных русских поэтов, свободно чувствующий себя и в древнеримской истории, и в древнегреческой, и в музыке, и в живописи, и в философии. Его поэзия не стесняется цитат, ссылок на малоизвестные «читателям газет» первоисточники. Однако это не надменная элитарность, а естественная для высококультурного человека свобода обращения с историческими параллелями, опытом мирового бытия. Мандельштам иногда бывает и предельно прозрачен: «Дано мне тело — что мне делать с ним, таким единым и таким моим?» или весело озорничает, как мальчишка, в стихотворении «Улица Мандельштама». Однако многое в его стихах рассчитано на равного ему по образованию читателя. А таких читателей постепенно истребляли. К 30-м годам Мандельштам оказался почти в полном читательском вакууме в отличие от артистичного Пастернака и величавой Ахматовой, всегда окруженных немногочисленными, но верными поклонниками. У него не оказалось ни спасительного артистизма, ни защитной величавости. Он был только поэт, все его нервы были оголены, и любое грубое прикосновение причиняло ему острую боль. Георгий Иванов написал о своем первом впечатлении от поэзии Мандельштама: «Стихи были удивительны. Они прежде всего удивляли». Но многих они настораживали, потому что были не совсем понятны. Идеологическая бюрократия инстинктивно чувствовала в недоступности для нее этих стихов некую спрятанную опасность. Этой спрятанной опасностью была мировая культура, сохраненная внутри себя Мандельштамом, несмотря на то что внешние связи с ней были трагически разорваны. Иногда написанное им кажется таким же хрупким, как пыльца на крыльях бабочек, но прикоснешься — и почувствуешь эллинскую несокрушимую мраморность. Мандельштам был первым русским поэтом, написавшим стихи против Сталина среди все более разгоравшегося славословия. Этого ему не забыли. Его арестовали один раз, но потом выпустили. Пастернак был несправедливо обвинен в том, что не защитил его в телефонном разговоре со Сталиным, когда тот спросил: «Что вы думаете о поэте Мандельштаме?» Пастернак своим непрямым ответом по-своему защитил Мандельштама. Но второй раз спасти его уже не удалось никому, да, кажется, никто и не пытался. По требованию В. П. Ставского после «экспертизы творчества» Мандельштама, которую поручили П. А. Павленко, поэт был вновь арестован и вскоре попал в лагерь Вторая Речка на Дальнем Востоке, где умер — согласно справке — 12 декабря 1938 года. Мандельштам оказался внутри «кровавой грязи в колесе». Как он умер, не знает точно никто. По одной версии, уголовники, науськанные лагерным начальством, утопили его в уборной. По другой версии, уголовники, пожалев доходягу-поэта, дали ему целую буханку, и он захлебнулся хлебом. Но вероятней всего, он умер от дистрофии, по крайней мере этому есть доказательства в документах. Его жена — Надежда Яковлевна Мандельштам оказалась великой вдовой, написав страшную книгу о пыточном колесе эпохи.

* * *

Только детские книги читать,
Только детские думы лелеять,
Все большое далеко развеять,
Из глубокой печали восстать.

Я от жизни смертельно устал,
Ничего от нее не приемлю,
Но люблю мою бедную землю
Оттого, что иной не видал.

Я качался в далеком саду
На простой деревянной качели,
И высокие темные ели
Вспоминаю в туманном бреду.

1908

* * *

Дано мне тело — что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?

Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок.

На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло.

Запечатлеется на нем узор,
Неузнаваемый с недавних пор.

Пуškai мгновения стекает муть —
Узора милого не зачеркнуть.

1909

14. SILENTIUM

Она еще не родилась,
Она и музыка и слово,
И потому всего живого
Ненарушаемая связь.

Спокойно дышат моря груди,
Но, как безумный, светел день,
И пены бледная сирень
В черно-лазоревом сосуде.

Да обретут мои уста
Первоначальную немоту,
Как кристаллическую ноту,
Что от рождения чиста!

Останься пеной, Афродита,
И слово в музыку вернись,
И сердце сердца устыдись,
С первоосновой жизни слито!

1910

* * *

Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
«Господи!» — сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.

Божье имя, как большая птица,
Вылетало из моей груди.
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади.

1912

ПЕТЕРБУРГСКИЕ СТРОФЫ

Н. Гумилеву

Над желтизной правительственных зданий
Кружилась долго мутная метель,
И правовед опять садится в сани,
Широким жестом запахнув шинель.

Зимуют пароходы. На припеке
Зажглось каюты толстое стекло.
Чудовищна, как броненосец в доке, —
Россия отдыхает тяжело.

А над Невой — посольства полумира,
Адмиралтейство, солнце, тишина!
И государства жесткая порфира,
Как власяница грубая, бедна.

Тяжка обуза северного сноба —
Онегина старинная тоска;
На площади Сената — вал сугроба,
Дымок костра и холодок штыка...

Черпали воду ялики, и чайки
Морские посещали склад пеньки,
Где, продавая сбитень или сайки,
Лишь оперные бродят мужики.

Летит в туман моторов вереница;
Самолюбивый, скромный пешеход —
Чудак Евгений — бедности стыдится,
Бензин вдыхает и судьбу клянет!

Январь 1913

* * *

Отравлен хлеб и воздух выпит.
Как трудно раны врачевать!
Иосиф, проданный в Египет,
Не мог сильнее тосковать!

Под звездным небом бедуины,
Закрыв глаза и на коне,
Слагают вольные былины
О смутно пережитом дне.

Немного нужно для наитий:
Кто потерял в песке колчан,
Кто выменял коня — событий
Рассеивается туман.

И, если подлинно поется
И полной грудью, наконец,
Все исчезает — остается
Пространство, звезды и певец!

1913

НАШЕДШИЙ ПОДКОВУ (Пиндарический отрывок)

Глядим на лес и говорим:
— Вот лес корабельный, мачтовый,
Розовые сосны,
До самой верхушки свободные от мохнатой
ноши,

Им бы поскрипывать в бурю,
Одинокими пиниями,
В разъяренном безлесном воздухе;
Под соленою пятою ветра устоит отвес,
пригнанный к пляшущей палубе,
И мореплаватель,
В необузданной жажде пространства,
Влача через влажные рывтины хрупкий
прибор геометра,

Сличит с притяженьем земного лона
Шероховатую поверхность морей.

А вдыхая запах
Смолистых слез, проступивших сквозь
обшивку корабля,

Любуясь на доски
Заклепанные, слаженные в переборки
Не вифлеемским мирным плотником,
а другим —

Отцом путешествий, другом морехода, —
Говорим:

— И они стояли на земле,
Неудобной, как хребет осла,
Забывая верхушками о корнях
На знаменитом горном кряже,
И шумели под пресным ливнем,
Безуспешно предлагая небу выменять
на щепотку соли

Свой благородный груз.

С чего начать?
Всё трещит и качается.
Воздух дрожит от сравнений.
Ни одно слово не лучше другого,
Земля гудит метафорой,
И легкие двуколки,
В броской упряжи густых от натуги птичьих
стай,

Разрываются на части,
Соперничая с храпящими любимцами
ристалищ.

Трижды блажен, кто введет в песнь имя;
Украшенная названьем песнь
Дольше живет среди других —
Она отмечена среди подруг повязкой на лбу,
Исцеляющий от беспамятства, слишком
сильного
одуряющего запаха —
Будь то близость мужчины,
Или запах шерсти сильного зверя,
Или просто дух чебра, растертого между
ладоней.

Воздух бывает темным, как вода, и всё живое
в нем плавает, как рыба,
Плавниками расталкивая сферу,
Плотную, упругую, чуть нагретую,—
Хрусталь, в котором движутся колеса
и шараются лошади,
Влажный чернозем Нееры, каждую ночь
распаханный заново
вилами, трезубцами, мотыгами, плугами.
Воздух замешен так же густо, как земля,—
Из него нельзя выйти, в него трудно войти.

Шорох пробегает по деревьям зеленой
лаптой:
Дети играют в бабки позвонками умерших
животных.
Хрупкое исчисление нашей эры подходит
к концу.

Спасибо за то, что было:
Я сам ошибся, я сбился, запутался в счете.
Эра звенела, как шар золотой,
Полая, литая, никем не поддерживаемая,
На всякое прикосновение отвечала
«да» и «нет».

Так ребенок отвечает:
«Я дам тебе яблоко» или «Я не дам тебе
яблока».
И лицо его точный слепок с голоса, который
произносит эти слова.

Звук еще звенит, хотя причина звука исчезла.
Конь лежит в пыли и храпит в мыле,
Но крутой поворот его шеи
Еще сохраняет воспоминание о беге
с разбросанными ногами,—
Когда их было не четыре,
А по числу камней дороги,
Обновляемых в четыре смены,
По числу отталкиваний от земли пышущего
жаром иноходца.

Так
Нашедший подкову
Сдувает с нее пыль

И растирает ее шерстью, пока она
не заблестит,

Тогда
Он вешает ее на пороге,
Чтобы она отдохнула,
И больше уж ей не придется высекать
искры из кремня.
Человеческие губы, которым больше нечего
сказать,
Сохраняют форму последнего сказанного
слова,
И в руке остается ощущение тяжести,
Хотя кувшин
наполовину расплескался,
пока его несли
домой.

То, что я сейчас говорю, говорю не я,
А вырыто из земли, подобно зернам
окаменелой пшеницы.

Одни
на монетах изображают льва,
Другие —
голову.
Разнообразные медные, золотые и бронзовые
лепешки
С одинаковой почестью лежат в земле;
Век, пробуя их перегрызть, оттиснул на них
свои зубы.

Время срезает меня, как монету,
И мне уж не хватает меня самого.

1923

«ИЗ ТАБОРА УЛИЦЫ ТЕМНОЙ...»¹

Я буду метаться по табору улицы темной
За веткой черемухи в черной рессорной
кажете,
За капором снега, за вечным, за мельничным
шумом...

Я только запомнил каштановых прядей
осечки,
Придымленных горечью,— нет, с муравьиной
кислинкой,
От них на губах остается янтарная сухость.

В такие минуты и воздух мне кажется карим,
И кольца зрачков одеваются выпушкой
светлой;
И то, что я знаю о яблочной, розовой коже...

Но все же скрипели извозчичьих санок
полозья,
В плетенку рогожи глядели колючие звезды,
И били вразрядку копыта по клавишам
мерзлым.

¹ Обращено к О. Ваксель.

Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе.

Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.

17–28 марта 1931, конец 1935

* * *

Я пью за военные астры, за всё, чем корили
меня,
За барскую шубу, за астму, за желчь
петербургского дня,

За музыку сосен савойских, Полей
Елисейских бензин,
За розы в кабине рольс-ройса и масло
парижских картин.

Я пью за бискайские волны, за сливок
альпийских кувшин,
За рыжую спесь англичанок и дальних
колоний хинин.

Я пью, но еще не придумал — из двух
выбираю одно:
Веселое асти-спуманте иль папского замка
вино?

11 апреля 1931

* * *

Сохрани мою речь навсегда за привкус
несчастья и дыма,
За смолу кругового терпенья, за совестный
деготь труда.
Как вода в новгородских колодцах должна
быть черна и сладима,
Чтобы в ней к Рождеству отразилась семья
плавниками звезда.

И за это, отец мой, мой друг и помощник мой
грубый,
Я — непризнанный брат, отщепенец в народной
семье,—

Обещаю построить такие дремучие срубы,
Чтобы в них татарва опускала князей
на бадье.

Лишь бы только любили меня эти мерзлые
плахи —
Как прицелясь на смерть городки зашибают
в саду,—
Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной
рубаше
И для казни петровской в лесу топорище
найду.

3 мая 1931

* * *

Еще далеко мне до патриарха,
Еще на мне полупочтенный возраст,
Еще меня ругают за глаза
На языке трамвайных перебранок,
В котором нет ни смысла, ни аза:
Такой-сякой! Ну что ж, я извиняюсь,
Но в глубине ничуть не изменяюсь.

Когда подумаешь, чем связан с миром,
То сам себе не веришь: ерунда!
Полночный ключик от чужой квартиры
Да гривенник серебряный в кармане,
Да целлулоид фильма воровской.

Я как щенок кидаюсь к телефону
На каждый истерический звонок:
В нем слышно польское: «дзенкую, пане»,
Иногородний ласковый упрек
Иль неисполненное обещанье.

Все думаешь, к чему бы приохотиться
Посереде хлопущек и шутих,—
Перекипишь, а там, гляди, останется
Одна сумятица да безработица:
Пожалуйста, прикуривай у них!

То усмехнусь, то робко приосанюсь
И с белорукой тростью выхожу;
Я слушаю сонаты в переулках,
У всех лотков облизываю губы,
Листаю книги в глыбких подворотнях —
И не живу, и все-таки живу.

Я к воробьям пойду и к репортерам,
Я к уличным фотографам пойду,
И в пять минут — лопаткой из ведерка —
Я получу свое изображение
Под конусом лиловой шах-горы.

А иногда пущусь на побегушки
В распаренные душные подвалы,
Где чистые и честные китайцы
Хватают палочками шарики из теста,
Играют в узкие нарезанные карты
И водку пьют, как ласточки с Ян-дцы.

Люблю разъезды скворчащих трамваев,
И астраханскую икру асфальта,
Накрытую соломенной рогожей,
Напоминающей корзинку асти,
И страусовые перья арматуры
В начале стройки ленинских домов.

Вхожу в вертепы чудные музеев,
Где пучатся кашеевы Рембрандты,
Достигнув блеска кордованской кожи,
Дивлюсь рогатым митрам Тициана,
И Тинторетто пестрому дивлюсь
За тысячу крикливых попугаев.

И до чего хочу я разыгаться,
Разговориться, выговорить правду,
Послать хандру к туману, к бесу, к ляду,
Взять за руку кого-нибудь: будь ласков,
Сказать ему: нам по пути с тобой.

Май — сентябрь 1931

* * *

Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!
Я нынче славным бесом обуян,
Как будто в корень голову шампунем
Мне вымыл парикмахер Франсуа.

Держу пари, что я еще не умер,
И, как жокей, ручаюсь головой,
Что я еще могу набедакурить
На рысистой дорожке беговой.

Держу в уме, что нынче тридцать первый
Прекрасный год в черемухах цветет,
Что возмужали дождевые черви
И вся Москва на яликах плывет.

Не волноваться. Нетерпенье — роскошь,
Я постепенно скорость разовью —
Холодным шагом выйдем на дорожку —
Я сохранил дистанцию мою.

7 июня 1931

* * *

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлёвского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, кует за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь,
кому в глаз.

Что ни казнь у него — то малина
И широкая грудь осетина.

Ноябрь 1933

ВОСЬМИСТИШЬЯ

7

И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме,
И Гёте, свищуций на вьющейся тропе,
И Гамлет, мысливший пугливыми шагами,
Считали пульс толпы и верили толпе.

Быть может, прежде губ уже родился шепот,
И в бездревесности кружились листья,

И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты.

Ноябрь 1933 — январь 1934

9

Скажи мне, чертежник пустыни,
Арабских песков геометр,
Ужели безудержность линий
Сильнее, чем дующий ветер?
— Меня не касается трепет
Его иудейских забот —
Он опыт из лепета лепит
И лепет из опыта пьет.

Ноябрь 1933 — январь 1934

* * *

Мастерица виноватых взоров,
Маленьких держательница плеч!
Усмирен мужской опасный нором,
Не звучит утопленница-речь.

Ходят рыбы, рдея плавниками,
Раздувая жабры: на, возьми!
Их, бесшумно охающих ртами,
Полухлебом плоти накорми.

Мы не рыбы красно-золотые,
Наш обычай сестринский таков:
В теплом теле ребрышки худые
И напрасный влажный блеск зрачков.

Маком бровки мечен путь опасный...
Что же мне, как янычару, люб
Этот крошечный, летуче-красный,
Этот жалкий полумесяц губ?..

Не серчай, турчанка дорогая:
Я с тобой в глухой мешок зашьюсь,
Твои речи темные глотая,
За тебя кривой воды напьюсь.

Ты, Мария, — гибнущим подмога,
Надо смерть предупредить — уснуть.
Я стою у твоего порога.
Уходи, уйди, еще побудь.

Февраль 1934

* * *

Это какая улица?
Улица Мандельштама.
Что за фамилия чертова —
Как ее ни вывертывай,
Криво звучит, а не прямо.

Мало в нем было линейного,
Нрава он был не лилейного,
И потому эта улица,
Или, верней, эта яма

Так и зовется по имени
Этого Мандельштама...

Апрель 1935

КАМА

1

Как на Каме-реке глазу тёмно, когда
На дубовых коленях стоят города.

В паутину рядясь, борода к бороде,
Жгучий ельник бежит, молодея в воде.

Упиралась вода в сто четыре весла,
Вверх и вниз на Казань и на Чердынь несла,

Там я плыл по реке с занавеской в окне,
С занавеской в окне, с головою в огне.

И со мною жена — пять ночей не спала,
Пять ночей не спала — трех конвойных везла.

Апрель — май 1935

Воронеж

ИЗ «СТАНСОВ»

(отрывок)

И ты, Москва, сестра моя, легка,
Когда встречаешь в самолете брата
До первого трамвайного звонка:
Нежнее моря, путаней салата —
Из дерева, стекла и молока...

Моя страна со мною говорила,
Мирволила, журила, не прочла,
Но возмужавшего меня, как очевидца,
Заметила и вдруг, как чечевица,
Адмиралтейским лучиком зажгла.

Май — июнь 1935

* * *

Лишив меня морей, разбега и разлета
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились вы? Блестящего расчета:
Губ шевелящихся отнять вы не могли.

Май 1935

Воронеж

* * *

За Паганини длиннопалым
Бегут цыганскою гурьбой —
Кто с чохом чех, кто с польским балом,
А кто с венгерской немчурой.

Девчонка, выскочка, гордячка,
Чей звук широк, как Енисей,—
Утешь меня игрой своей:
На голове твоей, полячка,
Марины Мнишек холм кудрей,
Смычок твой мнителен, скрипачка.

Утешь меня Шопеном чалым,
Серьезным Брамсом, нет, постой:
Парижем мощно-одичалым,
Мучным и потным карнавалом
Иль брагой Вены молодой —

Вертлявой, в дирижерских фрячках.
В дунайских фейерверках, скачках
И вальс из гроба в колыбель
Переливающей, как хмель.

Играй же на разрыв аорты
С кошачьей головой во рту,
Три чорта было — ты четвертый,
Последний чудный чорт в цвету.

5 апреля — июль 1935

МАТЬ МАРИЯ

1891, Рига — 1945, концлагерь Равенсбрюк

Под этим именем в литературе известна Елизавета Кузьмина-Караваева (урожденная Пиленко). Отец был городским головой города Анапы. Занималась на Бестужевских курсах в Петербурге. Первый муж (Д. В. Кузьмин-Караваев) был большевиком. На ее стихи обращали внимание Блок, Волошин, Вяч. Иванов. Первый сборник «Скифские черепки» издан в 1912 году «Цехом поэтов» в Санкт-Петербурге. Была эсеркой. Эмигрировала в 1919 году через Константинополь. С 1923 года — во Франции. Опубликовала два сборника Житий святых под общим заголовком «Жатва духа» (1927), брошюры о Достоевском, Вл. Соловьеве, Хомякове. В 1943 году была арестована гестаповцами и в Равенсбрюке облегчала молитвами участь обреченных на гибель. Ее подвиг сострадания стал легендой. Блок когда-то посвятил ей стихи, наверно, не только потому, что она была молода и обаятельна, но и потому, что в ее глазах и строчках светилась та нравственность, которая помогла ей не поставить свою жизнь выше чужой в момент последнего выбора.

* * *

Не попутным, видно, ветром
Занесло сюда меня.
Вижу я по всем приметам,—
Что ни встреча,— не родня.

Не родня река Гаронна
И дома из кирпича,
Черной Матери корона,
Храма белая свеча.
Не родня мне и родные:
Что-то уж с восторгом гнут

Многомученные выи
 Под тяжелый, нудный труд.
 Побеждающие узы
 Где им вольно превозмочь?
 Нет, пора мне из Тулузы
 В дали, в ветер, к людям, прочь.

* * *

Наконец-то. Дверь скорей на ключ.
 Как запущено хозяйство в доме,
 В пыльных окнах еле бьется луч,
 Мыши где-то возятся в соломе.
 Вымету я сор из всех углов,
 Добела отмою стол мочалой,
 Соберу остатки дум и слов —
 И сожгу, чтоб пламя затрещало.
 Будет дом, а не какой-то склеп,
 Будет кров — не душная берлога.
 На тарелке я нарежу хлеб,
 В чаше растворю вина немного.
 Сяду, лоб руками подперев...
 (Вот заря за окнами погасла)
 Вспомню повесть про немудрых дев,
 Как не стало в их лампадах масла.
 Мутный день, потом закат, закат.
 Ночь потом — и тишина бормочет.
 Холодом рассветным воздух сжат,
 Тело сну противиться не хочет.
 Только б не сковал мне волю сон...
 Пахнет пол прохладной тишиною,
 Еле видны рамы у окон,
 Все налито гулкой чернотойю.
 Дух, боренье в этот час усиль.
 Тише. Стук. Кричит пред утром петел.
 Маслом сыт в лампаде мой фитиль.
 Гость вошел. За ним широкий ветер.

* * *

Устало дышит паровоз,
 Под крышей белый пар клубится,
 И в легкий утренний мороз
 Торопятся людские лица.
 От города, где тихо спят
 Соборы, площади и люди,
 Где темный, каменный наряд
 Веками был, веками будет,
 Где зелена струя реки,
 Где все в зеленоватом свете,
 Где забрались на чердаки
 Моей России милой дети,
 Опять я отрываюсь в даль,
 Опять душа моя нищает,
 И только одного мне жаль,—
 Что сердце мира не вмещает.

Осень 31, Безансон

* * *

Все пересмотрено. Готов мой инвентарь.
 О, колокол, в последний раз ударь.

Последний раз звучи последнему уходу.
 Все пересмотрено, ничто не держит тут.

А из туманов голоса зовут,
 О, голоса зовут в надежду и свободу.
 Все пересмотрено. Былому мой поклон...
 О, колокол, какой тревожный звон,

Какой крылатый звон ты шлешь неутомимо...
 Вот скоро будет горный перевал,
 Которого мой дух с таким восторгом ждал,
 А настоящее идет угрюмо мимо.
 Я оставляю плату, труд и торг,
 Я принимаю крылья и восторг,
 Я говорю торжественно: «Во имя,
 Во имя крестное, во имя крестных уз,
 Во имя крестной муки, Иисус
 Я делаю все дни мои Твоими».

* * *

А медный и стертый мой грошик
 Нищему только в суму.
 Не то, что поступок хороший,—
 Так — душу отдам ему.
 А если душа не монета,
 А золотая звезда,—
 Швырну я осколок света
 Туда же, где в свете нужда.

Весна 1931, Нанси

* * *

Парижские приму я Соловки,
 Прообраз будущей полярной ночи.
 Надменных ускорителей кивки,
 Гнушенье, сухость, мертвость и плевки,—
 Здесь на свободе о тюрьме пророчат.

При всякой власти отошлет канон
 (Какой ни будь!) на этот мертвый остров,
 Где в северном сиянии небосклон,
 Где множество поруганных икон,
 Где в кельях-тюрьмах хлеб дается черствый.

Повелевающий мне крест поднять,
 Сама, в борьбу свободу претворяя,
 О, взявши плуг, не поверну я вспять,
 В любой стране, в любой тюрьме опять
 На дар Твой кинусь, плача и зывая.

В любые кандалы пусть закуют,
 Лишь был бы лик Твой ясен и раскован.
 И Соловки приму я, как приют,
 В котором Ангелы всегда поют,—
 Мне каждый край Тобою обетован.

Чтоб только в человеческих руках
 Твоя любовь живая не черствела,
 Чтоб Твой огонь не вызвал рабий страх,
 Чтоб в наших нищих и слепых сердцах
 Всегда пылающая кровь горела.

22 июня 1937

* * *

(отрывок)

Кто я, Господи? Лишь самозванка,
 Расточающая благодать.
 Каждая царапинка и ранка
 В мире говорит мне, что я мать.

* * *

Отменили мое отчество
 И другое имя дали.
 Так я стала Божьей дочерью.
 И в спокойном одиночестве
 Тихо слушаю пророчества,—
 Близки, близки дни печали.

* * *

И в покаянье есть веселье,—
 О, горькое. Как бы с вершин
 Бросаешь камни в глубь ущелья
 И остается дух один.

Из пропасти доходит глухо
 Тревожный ропот в высоту,
 Терзает обнаженье духа —
 И чем прикроешь наготу?

* * *

Мне надоела я. К чему забота
 О собственном глухонемом уме?
 О, слышу я, вокруг гудит охота
 И всадники сшибаются во тьме.

Не буду числить ни грехов, ни боли.
 Другой исчислит. Мне же только в бой.
 Судья поймет — одних ли своеволий
 Так тяготели крылья надо мной.

Вот крепко в сердце замыкаю тяжесть,
 Вот связываю крылья за спиной.
 Пусть, если надо, их Господь развяжет...
 И отягчит меня еще виной.

* * *

(фрагмент)

Все еще думала я, что богата,
 Думала я, что живому я мать.
 Господи, Господи, близится плата
 И до конца надо мне обнищать.

ИЗ ПОЭМЫ «ДУХОВ ДЕНЬ»
 (1942)

И я вместила много; трижды мать,—
 Рождала в жизнь, и дважды в смерть рождала.
 А хоронить детей, как умирать.
 Копала землю, и стихи писала.
 С моим народом вместе шла на бунт,

В восстании всеобщем восставала.
 В моей душе неукротимый гунн
 Не знал ни заповеди, ни запрета,
 И дни мои,— коней степных табун —
 Невзнузданные носились. К краю света
 На запад солнца привели меня,
 И было имя мне — Елизавета.
 ...Шуми и падай белопенный вал,
 Ушкуйник, четвертованный Емелька,
 Осенней ночью на Руси восстал.
 Русь в сне морозном. Белая постелька
 Снежком пуховым занесет ее
 И пеньем убаюкает мятелка.
 Солдат, чтобы проснулась, острием
 Штыка заспавшуюся пощекочет.
 Он точно знает ремесло свое,—
 И мертвая, как встрепанная, вскочит,
 И будет, мертвая, еще плясать,
 Развевая волос седые клочья...
 Звон погребальный... Отпевают мать...
 А нам, ее оставшимся волчатам,
 Кружить кругами в мире и молчать,
 И забывать, что брат зовется братом.
 За четверть века подвожу итог.
 Прислушиваюсь к громовым раскатам...
 ...О, многое откроется сейчас.
 Неясно все. Иль новая порода
 И племя незнакомое среди нас
 Неведомый закон осуществляет
 И звонко бьет его победный час?
 Давно я вглядываюсь. Сердце знает
 И то, чего не уловляет слух,
 И странным именем все называет.
 В Европе, здесь, на площади петух,
 Истерзанный петух разбитых галлов,
 Теряет перья клочьями, и пух...
 Нет, не змея в него вонзила жало.
 Глаза сощурив, спину выгнул, тигр
 Его ударил лапою. Шакала
 Я рядом вижу. Вместо летних игр
 И плясок летних, летней же порою
 На древнем месте новый мир воздвиг
 Победоносный зверь. И стал тюрьмою
 Огромный город. Сталь, железо, медь
 Бряцают сухо. Все подвластно строю...
 О, пристальнее будем мы глядеть
 В туманы смысла, чтоб не ошибиться.
 За тигром медленно идет медведь,
 Пусть нужен срок ему расшевелиться,
 Но, раз поднявшись, он неутомим,—
 Врага задушит в лапах. Колесница
 Медлительная катится за ним,
 Тяжелым колесом живое давит.
 Не тяжелей ступал железный Рим.
 Кого везет? Кто колесницей правит?
 Где родина его? Урал? Алтай?
 Какой завет он на века оставит?
 Тебя я знаю, снежной скорби край.
 В себе несущей твоей весны напевы.
 Тебя зову я. Миру правду дай.

НИКОЛАЙ НЕЗЛОБИИ

1891—1951

Родом из Рязанской губернии. Из пятого класса училища был исключен и арестован полицией за стихи, прочитанные на проводах политического ссыльного. Во время революции был избран секретарем шахтерского Совета рабочих депутатов.

ИЗ ПОЭМЫ «ЕРЕМИН КЛАД»

Ко мне рассвет на красных лапках,
как бабкин белогрудый гусь,
а я в тайгу, где в рысьих шапках
таилась каторжная Русь.
Я — целиком, по бурелому,
в лохматый сумрак моховой,
где черти рыбака-Ерему
совали в прорубь головой;
где в сенцах у седых колдуний
шершавый леший, царь лесной,
тягался с кузнецом-Якуней
природной силой земляной;
где взятый ведьмой в постояльцы
вылазил из подземных нор
покрытый сажей на два пальца
зачинщик всех бунтов — шахтер.

Я свистнул им, и мы помчались:
рыбак, шахтер, кузнец и я.
Навстречу в сумерках качались
зубцы старинного кремля.
Под колпаками снеговыми
чернели башенные лбы,
и дым барахтался за ними,
приподнимаясь на дыбы.
Он прыгал в каменные окна,
и от боков его пушных
налипли черные волокна
на белых варежках моих.
Мне их на спицах в ночь глухую
вязала бабка, друг печной, —
и не забыл ее, седую,
распутала ль она, колдуя,
ту пряжу белую родную,
что спутал ветер боровой?!

ЛЕВ НИКУЛИН

1891, Житомир — 1967, Москва

Настоящая фамилия — Олькомицкий. Из артистической семьи. Учился в Коммерческом институте. Первые стихи опубликовал в Одессе в 1910-м. Во время гражданской войны работал в культпросвете Красной Армии. Писал революционно-приключенческие, а затем исторические романы, книги о Толстом, Горьком, Чехове, Куприне. Наиболее известные произведения — автобиографический роман «Время, пространство, движение» (1933) и роман о походе русской армии в Европу «Россия верные сыны». Писатель достаточно профессиональный, но слишком уклончивый. Есть мнение, что он первым ввел в газетный лексикон еще в 30-х годах выражение «железный занавес». Работал в НКВД следователем в начале 20-х годов.

В КАБИНЕТЕ

Кретин из породы остзейских баронов
В измятой сорочке, совсем налегке,
Уныло гнусавит мотив похоронный,
Бряцая браслетом на левой руке.
Два франта устало сидят за роялью,
Как тигры, лишённые знойных полей,
И в медленном темпе, с незримой печалью
Играют носами романс «Пожалей»...
Эксперт и любитель парижских кокоток
Неистово шепчет: «Крамольников режь!»,
Пронзительно свищет на весь околоток
И мажет горчицей солидную плешь.
Художник по части пикантных сюжетов,
Облив «бордолезом» передний фасад,
Лицо вытирает лиловым жилетом
И в томной истоме грызет шоколад.

В углу за роялью предвестники боя,
И некто могучий, согнувшись в кольцо,
В безумном экстазе пронзительно воя,
Пустил лососиной Рембрандту в лицо.
Художник воспрянул с безумной отвагой,
Надев вместо шлема серебряный жбан,
Заел шоколад оловянной бумагой
И с грозною миной ползет под диван.
Барон недоволен короткою стычкой,
Устало шатаясь, как сонный удод,
Случайно развлекся с дремавшей певичкой,
Пустив ей за ворот оттаявший лед...
Шабли, Кюрасо и останки омара,
От криков и песен дрожит кабинет,
Смыкаются волны хмельного угара,
И в окна глядится холодный рассвет.

ВАЛЕНТИН ПАРНАХ

1891—1951

Брат поэтессы Софии Парнок, человек множества дарований: поэт, литературовед, танцор, прославившийся «кубистическими танцами» в постановках Мейерхольда. Издал ряд сборников стихотворений, его портрет-рисунок работы Пабло Пикассо широко известен (хотя оригинал утрачен). Издал уникальную в своем роде книгу «Испанские и португальские поэты — жертвы инквизиции», перевел ее на французский язык, но рукопись исчезла. Выпустил также сокращенный перевод «Трагических поэм» поэта-гугенота Агриппы д'Обинье. По сей день два десятка выполненных им переводов из Лорки — одни из лучших на русском языке.

ВЫСЛАННЫЕ

(1914—1917)

Вповалку и по накладной!
Евреи в воня скотского вагона,
После резни очередной.
Вот где цвести вам, пальмы Соломона!

Тупеет взгляд и память похорон
В изгнаны поездов острожных.
«Не выходите на перрон
При остановке неблагонадежных!»

Чередованье рвот
Родильного-молитвенного дома.
Среди болот
Ковчег с начинкой мяса для погрома.

1919

АННА РАДЛОВА

1891, Петербург — 1949, с. Переборы Ярославской обл.

Радлова не стала знаменитой, но имя ее в литературных кругах всегда пользовалось уважением, и она была своей в кругу больших мастеров. Ее отличали высокая культура и четкий вкус. Радлова переводила Шекспира, Марло, Мопассана, Жида. Искорка пусть неосуществленного, но существовавшего таланта. В 1945 году была репрессирована.

ПОТОМКИ

Валериану Чудовскому

И вот на смену нам, разорванным и пьяным
От горького вина, разлук и мятежей,
Придете твердо вы, чужие нашим ранам,
С непонимающей улыбкою своей.
И будут на земле расти дубы и розы,
И укрошенными зверьми уснут бунты,
И весны будут цвести и наступать морозы
Чредой спокойною спокойной простоты.
Неумолимая душа твоя, потомок,
Осудит горькую торжественную быль,
И будет голос юн и шаг твой будет звонок
И пальцы жесткие повергнут лавры в пыль.
Эпический покой расстелет над вселенной,
Забвения верней, громадные крыла,
Эпический поэт о нашей доле пленной
Расскажет, что она была слепа и зла,
Но, может быть, один из этой стаи славной
Вдруг задрожит слегка, услышав слово кровь,
И вспомнит, что навек связал язык державный
С великой кровию великую любовь.

Ноябрь 1920

ВЛАДИМИР ШИЛЕЙКО

1891, Петербург — 1930, Москва

Известен как один из первых и по сей день лучших русских ученых-ассирологов, как первый переводчик древней месопотамской поэзии и еще — как второй муж Анны Ахматовой, — в апреле 1918 года она попросила развода у Гумилева и вышла за Шилейко замуж. Воспоминания о Шилейко оставили многие, в том числе Георгий Иванов. Стихи Шилейко, собранные воедино, приложены к книге его избранных переводов, вышедшей в Москве только в 1987 году; по ним видно, что не только он испытывал влияние Ахматовой, но и она испытала некое влияние Шилейко, как поэтическое, так и научное; видимо, под влиянием его «ассирийских занятий» Ахматовой была создана в Ташкенте, в эвакуации, пьеса «Энума Элиш» (позже уничтоженная).

* * *

Здесь мне миров наобещают.
Здесь каждый сильный мне знаком, —
И небожители вещают
Обыкновенным языком.

Степенный бог проведать друга
Приходит здесь: поклон, привет —
И поднимаются в ответ
Слова, как снеговая выюга.

1914

МАРИЯ ШКАПСКАЯ

1891, Петербург — 1952, Москва

Урожденная Андреевская. Родилась в семье царского чиновника. В 1914-м окончила филологический факультет Тулузского университета и вернулась в Россию. Первая книга стихов «*Mater Dolorosa*» (1920) была высоко оценена Павлом Флоренским. Сборник «*Барабан строгого господина*», вышедший в Берлине, был заклеен Брюсовым как контрреволюционный. Но контрреволюцией в СССР начали считать и религию; и религиозным стихам Шкапской не было места в обществе, официально не признававшем существования души. Лишь сейчас стихи Шкапской постепенно возвращаются к читателям; большая часть их пока еще не издана.

* * *

Однажды лишь меру кровную от-
меривает Бог. И праведной и гре-
ховной истощиться приходит срок.

А вы, мои деды и прадеды, бабуш-
ки в белых чепцах, — сколько ее
растратили в трудных своих кон-
цах.

И в теле последней дочери такой
оставили след, — что пришла моя
ранняя очередь без малого в трид-
цать лет.

А я в ослепленьи осмелилась за-
вязывать новую нить, в новую плоть
отдельную скудный запас излить.

Старые мои, мои мертвые, не кос-
нется вас плач земной. — Но за-
чем же такая горькая власть ваша
надо мной?

* * *

Когда стану я старой и скучной и
нелюбимой женой — о том, что так
сердце мучит, — не говори со мной.

Будет вопрос мой и будет от-
вет твой в знаке моем простом:
руки на головы детские я положу кре-
стом.

* * *

Я верю, господи, но помоги не-
верью. В свой дом вошла и не уз-
нала стены. В свой дом вошла
и не узнала двери. И вот — не
встать с колен.

И дети к сердцу моему кричали,
но сердце отступило прочь. И ярост-
ной моей печали сам Бог не мог
помочь — мой муж меня покинул
в эту ночь.

дят, а германский народ остается». Этому тирану порой нельзя отказать в афористичности. Эренбург, как и Симонов, порой путал журналистику с прозой — его роман «Буря», когда-то трогавший многие сердца, читать сейчас скучно. Скучно сейчас читать и повесть «Оттепель», вызвавшую когда-то баталии вокруг нее (Шолохов назвал эту повесть «слякотью»). Но зато эта повесть дала название целому историческому периоду хрущевских послаблений. В 1946-м Эренбург вместе с Ирен Жوليو Кюри, Ивом Фаржем и А. Фадеевым организовал Всемирный комитет защиты мира, и ряд советологов обвинял и обвиняет писателя в двойственности и безнравственности его поведения между Сталиным и европейской интеллигенцией. Но судить Эренбурга сейчас гораздо легче, чем было быть Эренбургом тогда. Думаю, что он сделал максимум для того, чтобы помогать русским поэтам, художникам, оказывавшимся в беде. Но максимум этот был осторожный, без попытки пересечь ту линию, после которой уже сам оказался бы за колючей проволокой. Как бы то ни было, именно Эренбург первым реабилитировал имя Марины Цветаевой в СССР, организовал выставку Пикассо и помог многим поэтам этой антологии, начиная с Бориса Слуцкого. У имени Эренбурга есть особое место в русской истории. Советские солдаты во время Второй мировой войны никогда не делали самокруток из тех газет, где были его статьи.

* * *

Мне никто не скажет за уроком «слушай»,
Мне никто не скажет за обедом «кушай»,
И никто не назовет меня Илюшей,
И никто не сможет приласкать,
Как ласкала маленького мать.

Март или апрель 1912

* * *

Как скучно в «одиночке», вечер длинный,
А книги нет.
Но я мужчина,
И мне семнадцать лет.
Я, «Марсельезу» напевая,
Ложусь лицом к стене.
Но отдаленный гул трамвая
Напоминает мне,
Что есть Остоженка, и в переулке
Наш дом,
И кофе с молоком, и булки,
И мама за столом.
Темно в передней и в гостиной,
Дуняша подает обед...
Как плакать хочется! Но я мужчина,
И мне семнадцать лет...

Март или апрель 1912

О МОСКВЕ

Есть город с пыльными заставами,
С большими золотыми главами,
С особняками деревянными,
С мастеровыми вечно пьяными,
И столько близкого и милого
В словах: Арбат, Дорогомилово...

Февраль или март 1913

ВОЗМЕЗДИЕ

Она лежала у моста. Хотели немцы
Ее унижить. Но была та нагота,
Как древней статуи простое совершенство,
Как целомудренной природы красота.
Ее прикрыли, понесли. И мостик шаткий

Как будто трепетал под ношей дорогой.
Бойцы остановились, молча сняли шапки,
И каждый понимал, что он теперь — другой.
На Запад шел судья. Была зима как милость,
Снега в огне и ненависти немота.
Судьба Германии в тот мутный день решилась
Над мертвой девушкой, у шаткого моста.

* * *

Я не трубач — труба. Дуй, Время!
Дано им верить, мне звенеть.
Услышат все, но кто оценит,
Что плакать может даже медь?
Он в серый день припал и дунул,
И я безудержно завыл,
Простой закат назвал кануном
И скуку мукой подменил.
Старались все себя превысить —
О ком звенела медь? О чем?
Так припадали губы тысяч,
Но Время было трубачом.
Не я, рукой сухой и твердой
Перевернув тяжелый лист,
На смотр веков построил орды
Слепых тесальщиков земли.
Я не сказал, но лишь ответил,
Затем что он уста рассек,
Затем что я не властный ветер,
Но только бедный человек.
И кто поймет, что в сплаве медном
Трепещет вкрапленная плоть,
Что прославляю я победы
Меня сумевших побороть?

1921

ГОНЧАР В ХАЭНЕ

Где люди ужинали — мусор, щебень,
Кастрюли, битое стекло, постель,
Горшок с сиренью, а высоко в небе
Качается пустая колыбель.
Железо, кирпичи, квадраты, диски,
Разрозненные, смутные куски.

Идешь — и под ногой кричат огрызки
 Чужого счастья и чужой тоски.
 Каким мы прежде обольщались вздором!
 Что делала, что холила рука?
 Так жизнь, ободранная живодером,
 Вдвойне необычайна и дика.
 Портрет семейный,— думали про сходство,
 Загадывали, чем обить диван.
 Всеи оболочки грубое уродство
 Навязчиво, как муха, как дурман.
 А за углом уж суета дневная,
 От мусора очищен тротуар.
 И в глубине прохладного сарая
 Над глиной трудится старик гончар.
 Я много жил, я ничего не понял
 И в изумлении гляжу один,
 Как, повинувшись старческой ладони,
 Из темноты рождается кувшин.

1938 или 1939

В ЯНВАРЕ 1939

В сырую ночь ветра точили скалы.
 Испания, доспехи волоча,
 На север шла. И до утра кричала
 Труба помешанного трубача.
 Бойцы из боя выводили пушки.
 Крестьяне гнали одуревший скот.
 А детвора несла свои игрушки,
 И был у куклы перекошен рот.
 Рожали в поле, пеленали мукой
 И дальше шли, чтоб стоя умереть.
 Костры еще горели — пред разлукой,
 Трубы еще не замирала медь.
 Что может быть печальней и чудесней —
 Рука еще сжимала горсть земли.
 В ту ночь от слов освобождались песни
 И шли деревни, будто корабли.

1939

* * *

«Разведка боем» — два коротких слова.
 Роптали орудийные басы,
 И командир поглядывал сурово
 На крохотные дамские часы.
 Сквозь заградительный огонь прорвались,
 Кричали и кололи на лету.
 А в полдень подчеркнул штабного палец
 Захваченную утром высоту.
 Штыком вскрывали пресные консервы.
 Убитых хоронили как во сне.
 Молчали.

Командир очнулся первый:
 В холодной предраассветной тишине,
 Когда дышали мертвые покоем,
 Очистить высоту пришел приказ.
 И, повторив слова: «Разведка боем»,
 Угрюмый командир не поднял глаз.
 А час спустя заря позолотила
 Чужой горы чернильные края.

Дай оглянуться — там мои могилы,
 Разведка боем, молодость моя!

1938 или 1939

* * *

В кастильском нищенском селенье,
 Где только камень и война,
 Была та ночь до одуренья
 Криклива и раскалена.
 Артиллерийской подготовки
 Гроза гремела вдальеке.
 Глаза хватались за винтовки,
 И пулемет стучал в виске.
 А в церкви — экая морока! —
 Показывали нам кино.
 Среди святителей барокко
 Дрожало яркое пятно.
 Как камень, сумрачны и стойки,
 Молчали смутные бойцы.
 Вдруг я услышал: русской тройки
 Звенели лихо бубенцы,
 И, памятью меня измаяв,
 Расталкивая всех святых,
 На стенке бушевал Чапаев,
 Сзывал живых и неживых.
 Как много силы у потери!
 Как в годы переходит день!
 И мечется по рыжей сьерре
 Чапаева большая тень.
 Земля моя, земли ты шире,
 Страна, ты вышла из страны,
 Ты стала воздухом, и в мире
 Им дышат мужества сыны.
 Но для меня ты с колыбели —
 Моя земля, родимый край,
 И знаю я, как пахнут ели,
 С которыми дружил Чапай.

1938 или 1939

БАБИЙ ЯР

К чему слова и что перо,
 Когда на сердце этот камень,
 Когда, как каторжник ядро,
 Я волочу чужую память?
 Я жил когда-то в городах,
 И были мне живые милы,
 Теперь на тусклых пустырях
 Я должен разрывать могилы,
 Теперь мне каждый яр знаком,
 И каждый яр теперь мне дом.
 Я этой женщины любимой
 Когда-то руки целовал,
 Хотя, когда я был с живыми,
 Я этой женщины не знал.
 Мое дитя! Мои румяна!
 Моя несметная родня!
 Я слышу, как из каждой ямы
 Вы окликаете меня.
 Мы понатужимся и встанем,

Костями застучим — туда,
Где дышат хлебом и духами
Еще живые города.
Задуйте свет. Спустите флаги.
Мы к вам пришли. Не мы — овраги.

1944

* * *

Я смутно жил и неуверенно,
И говорил я о другом,
Но помню я большое дерево,
Чернильное на голубом,
И помню милую мне женщину,
Не знаю, мало ль было сил,
Но суеверно и застенчиво
Я руку взял и отпустил.
И все давным-давно потеряно,
И даже нет следа обид,
И только где-то то же дерево
Еще по-прежнему стоит.

1945

* * *

«Во Францию два гренадера...»
Я их, если встречу, верну.
Зачем только черт меня дернул
Влюбиться в чужую страну?
Уж нет гренадеров в помине,
И песни другие в ходу,
И я не француз на чужбине,—
От этой земли не уйду.
Мне все здесь знакомо до дрожи,
Я к каждой тропинке привык,
И всех языков мне дороже
С младенчества внятный язык.
Но вдруг замолкают все споры,
И я — это только в бреду,—
Как два усача гренадера,
На запад далекий бреду,
И все, что знал я когда-то,
Встает, будто было вчера,
И красное солнце заката
Не хочет уйти до утра.

1947

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ

1892, Москва — 1972, Ницца

Адамович окончил историко-филологический факультет Петербургского университета. В рецензии на книгу Адамовича «Облака» (1916) Гумилев отметил влияние Ахматовой и Анненского. После революции Адамович присоединился к акмеистам, опубликовал вторую книгу стихов «Чистилище» (1922). Позднее эмигрировал в Париж, вместе с Ходасевичем став одним из законодателей литературной моды. Он был слишком жесток в своих оценках Цветаевой, однако в одном из поздних стихотворений просил у ее тени прощения. «Все по случайности, все поневоле... Как чудно жить. Как плохо мы живем». Адамович оставил две книги блестящих эссе — «Одиночество и свобода» (1955) и «Комментарии». За 50 лет эмиграции Адамович написал лишь около ста стихотворений. Взыскательный критик, он тем не менее приветствовал новую поэтическую плеяду в России, к которой принадлежал и составитель этой антологии. Однако составитель антологии не мог напечатать стихи, посвященные Адамовичу, пока тот был жив: само его имя было в «черных списках» цензуры. Стихи и статьи Адамовича начали публиковать в СССР лишь через 15 лет после его смерти.

* * *

Когда мы в Россию вернемся... о, Гамлет,
восточный, когда? —
Пешком, по размытым дорогам,
в стоградусные холода,
Без всяких коней и триумфов, без всяких там
кликков, пешком,
Но только наверное знать бы, что во время
мы добредем...

Больница. Когда мы в Россию... колышется
счастье в бреду,
Как будто «Коль славен» играют в каком-то
приморском саду,
Как будто сквозь белые стены, в морозной
предутренней мгле
Колышатся тонкие свечи в морозном
и спящем Кремле.

Когда мы... довольно, довольно. Он болен,
измучен и наг.
Над нами трехцветным позором полощется
нищенский флаг,

И слишком здесь пахнет эфиром, и душно,
и слишком тепло.
Когда мы в Россию вернемся... но снегом ее
замело.

Пора собираться. Светает. Пора бы
и двигаться в путь.
Две медных монеты навеки. Скрещенные
руки на груди.

* * *

Что там было? Ширь закатов блеклых,
Золоченых шпилей легкий взлет,

Ледяные розаны на стеклах,
Лед на улицах и в душах лед.

Разговоры будто бы в могилах,
Тишина, которой не смутить...
Десять лет прошло, и мы не в силах
Этого ни вспомнить, ни забыть.

Тысяча пройдет, не повторится,
Не вернется это никогда.
На земле была одна столица,
Все другое — просто города.

* * *

Один сказал: «Нам этой жизни мало»,
Другой сказал: «Недостижима цель».
А женщина привычно и устало,
Не слушая, качала колыбель.

И стертые веревки так скрипели,
Так умолкали — каждый раз нежней! —
Как будто ангелы ей с неба пели
И о любви беседовали с ней.

* * *

Осенним вечером, в гостинице, вдвоем,
На грубых простынях привычно засыпая...
Мечтатель, где твой мир? Скиталец,
где твой дом?
Не поздно ли искать искусственного рая?

Осенний крупный дождь стучится у окна,
Обои движутся под неподвижным взглядом.
Кто эта женщина? Зачем молчит она?
Зачем лежит она с тобою рядом?

Безлунным вечером, Бог знает где, вдвоем,
В удушьи духов, над облаками дыма...
О том, что мы умрем. О том, что мы живем.
О том, как страшно все. И как непоправимо.

1801

— Вы знаете, — это измена!
Они обманули народ.
Сказал бы, да слушают стены,
Того и гляди донесет.

Ах, нет! Эти шумные флаги,
Вы слышите, этот набат
Широкий... Гвардейцев к присяге
Уже повели, говорят.

Ведь это не тучи, а клочья
Над освобожденной Невой...
Царь Павел преставился ночью,
Мне все рассказал часовой.

Был весел, изволил откусать,
С царицей шутил, — через час

Его незлобивую душу
Архангелы взяли от нас.

Вы знаете, эти улики
Пугают, до самого дня
Рыдания слышались, крики
В окне, голоса, беготня...

Россия! Что будет с Россией!
Как страшно нам жить, как темно!
— Молчите. Мгновенья такие
И вспомнить другим не дано.

1916

* * *

За все, за все спасибо. За войну,
За революцию и за изгнание.
За равнодушно-светлую страну,
Где мы теперь «влачим существованье».

Нет доли сладостней — все потерять.
Нет радостней судьбы — скитальцем стать,
И никогда ты к небу не был ближе,
Чем здесь, устав скучать,
Устав дышать,
Без сил, без денег,
Без любви,
В Париже...

ПАМЯТИ М. Ц.

«Поговорить бы хоть теперь, Марина!
При жизни не пришлось. Теперь вас нет.
Но слышится мне голос лебединый,
Как вестник торжества и вестник бед.

При жизни не пришлось. Не я виною.
Литература — приглашенье в ад,
Куда я радостно входил, не скрою,
Откуда никому — путей назад.

Не я виной. Как много в мире боли.
Но ведь и вас я не виню ни в чем.
Все — по случайности, все — поневоле.
Как чудно жить. Как плохо мы живем.

1971

* * *

З. Г.¹

Там, где-нибудь, когда-нибудь,
У склона гор, на берегу реки,
Или за дребезжащею телегой,
Бредя привычно под косым дождем,
Под низким, белым, бесконечным небом,
Иль много позже, много, много дальше,
Не знаю что, не понимаю как,
Но где-нибудь, когда-нибудь, наверно...

¹ Посвящено Зинаиде Гиппиус.

ЭМИЛЬ КРОТКИЙ

1892, Каменец-Подольский — 1963, Москва

Псевдоним Эммануила Германа. Начал печататься с 1911 года в «Одесском листке», в «Новом Сатириконе». Писал и лирические стихи, однако сатира победила. В наследии Кроткого выделяются не переходящие в зубоскальство, печально-иронические стихи о конце царской империи, не похожие ни на чьи другие, мудрые стихи о Пушкине.

АФРИКАНЕЦ НА СЕВЕРЕ

Сторона ли моя ты сторонка,
Размалеванный, пестрый букварь!
Для потехи купил арапчонка
Непоседливый северный царь.

И от этой царевой забавы,
Как пожар от грошовой свечи,
Огневой, ослепительной славы
По векам побежали лучи.

Острой рифмой тетрадь исцарапав,
Как забыть этих строк кривизну! —
Обогревшийся правнук арабов
Обессмертил чужую страну.

ПЕТЕРГОФ

Над фонтанами брызги — как серьги,—
Их дельфин металлический пьет.
Чужеземные сны! В Нюрнберге
Прихватил их хозяйственный Петр.

Золотые богини? — Потрогать? —
Шевелится задор в армяке.
Петергоф! Позолоченный ноготь
На корявой мужицкой руке!

* * *

Мелькали крыши мокрых станций,
Вагоны, бабы... Снег и слизь...
И царь не верил, что повстанцы
Средь просто подданных нашлись.

Лимон и ложечка на блюде.
Взглянул. Уверился на миг,
Что злые бури революций
Шумят лишь на страницах книг.

Конечно. Главное — покруче.
...А кто-то шепотом сказал,
Что взбунтовавшийся поручик
Не пропускает на вокзал.

* * *

На опрокинувшемся троне
Мятеж улегся, смел и груб.
И чернь веселая хоронит
Колосса рухнувшего труп.

Орлов растоптаны останки...
...А царь в вагонное окно
Прочел на скучном полустанке
Слегка насмешливое: «Дно».

ДМИТРИЙ ПЕТРОВСКИЙ

1892, с. Дроздовцы Черниговской губ.—1955, Москва

Участник гражданской войны на Украине, о чем написал многие стихи и повести. Печатался в «ЛЕФе», одно время примыкал к «Перевалу», однако состоял в литературных группах лишь формально, оставаясь до конца жизни по-своему самостоятельным, одиноким, забытым критикой.

* * *

Что матросик, — то и люб,
То и нов:
Сняла б юбку, да боюсь,—
Без штанов.

— Ни гроша,—
Я и так хороша;
Только б морю, только б морюшку
Заказала б я гармоньешку...

УСТАНОВКА

Найти язык,— не растеряться,
В то время, как века уж он,—
Старорежимный,— рад стараться
Учить словесности закон.

Мы суффиксы введем в глаголы,
Деепричастия в предлог,
Дабы бы не могли монголы
Так скоро изучить наш слог.

АННА ПРИСМАНОВА

1892, Либава (ныне Лиепая) — 1960, Париж

Первый сборник стихов «Тень и тело» издала в Париже в 1937 году. Печаталась, впрочем, еще до революции в «Ниве» под именем Анна Присман. Была женой А. Гингера. Вместе со своим мужем получила советский паспорт, однако не вернулась. Опубликовала еще две книги стихов — «Близнецы» (1946) и «Соль» (1949) и поэму о Вере Фигнер — «Вера» (1960). При жизни Присмановой ее мало кто принимал всерьез, однако в наши дни интерес к ее творчеству возрос многократно; в Голландии на русском языке вышло ее собрание сочинений.

СИРЕНА

В. Корвин-Пиотровскому

Старались мы сказать на сей земле
о жажде и ее неутоленьи,
о крике скорби, рвущем нас во мгле
и остановленном в своем стремленьи.

Но нам навстречу тянется в тиши
влекущий нас, призывный и прощальный,
крик парохода, крик его души,
уже плывущей в сумрак изначальный.

Вбираемый нутром и головой,
просачивающийся даже в ноги,
сей выпранный и допотопный вой —
слияние покоя и тревоги.

Во мглу и в ночь уходит пароход.
Но стон сирены как бы замер в оном.
Так рыцари в крестовый шли поход,
напутствуемые церковным звоном.

И мы, душа моя, вот так, точь-в-точь,
утратив до конца остаток спеси,
уйдем — вдвигаясь неотступно в ночь,
немного взяв и ничего не взвесив.

Сирена ждет нас на конце земли,
и знаю я — томленье в ней какое:
ей хочется и чтоб за нею шли,
и чтоб ее оставили в покое...

Так воеет пароход, и воеет тьма.
Противодействовать такому вою
не в силах я. Я, может быть, сама
в трубе такого парохода вою.

БАБУШКА

Изъяны предков достаются детям,
и внучка болью бабушки больна.
Любовью звали бабушку, и этим
моя судьба предопределена.

О бабушка, жила ты в желтом доме,
где рукава сходились на спине.

Остался желтый облик твой в альбоме,
а рукава — ты завещала мне.

Как два пути с единым назначеньем,
живут во мне раздельно кровь и кость.
Стремится кровь к тебе своим теченьем,
но кость моя — тебе незванный гость.

Лишь только ночь подходит к изголовью,
два дерева меня на части рвут.
Быть может, и меня зовут Любостью,
но я не знаю, как меня зовут.

* * *

Так уходят в сумрак поезда,
так в музеях старятся амфоры,
так зимою птицы иногда
разбивают грудь о семафоры.

Жметесь жизнь под арками моста:
нищие укутаны газетой.
Счастье для газетного листа —
греть он может спину жизни этой!

Но лишен тетрадный складный лист
этого завидного удела.

Лист мой, понапрасну ты речист:
никому до слов твоих нет дела.

Молоку предписано скисать,
молочаю — соки лить над полем.
Но о смерти зрело написать
может тот лишь, кто смертельно болен.

1936

КРОВЬ И КОСТЬ

О музыка, тебя ли слышу
я над собою по утрам?
Ты крест в мою вставляешь крышу,
и дом — не дом уже, а храм!

Всесильная, одна ты можешь
и кровь и кость в себя вобрать.
Ты мне едва ли жить поможешь,
зато поможешь умирать.

ЮРИЙ ТЕРАПИАНО

1892, Керчь — 1980, Париж

В 1911 году закончил гимназию в Керчи, в 1916-м — юридический факультет Киевского университета. В 1919-м вступил в Добровольческую армию. В парижской эмиграции стал первым председателем «Союза молодых поэтов и писателей». Первый сборник «Лучший звук» вышел в 1926 году. Серьезной работой Ю. Терапиано были книга воспоминаний «Встречи» (1953) и антология русской зарубежной поэзии «Муза диаспоры» (1960).

Опасаясь беспорядков, Николай I велел срочно перевезти тело Пушкина в Тригорское. В спешке взяли слишком большой гроб, и всю дорогу тело колотилось о стенки гроба.

Сияющий огнями над Невой
Смятенный город — ропот, плач, волненье.
Двух черных троек топот роковой —
О, эти дни, которым нет забвенья!

Фельдъегерь бешено кричит во тьму
Ругательства — усталость, холод, злоба,
А он в гробу колотится: ему
По росту не успели сделать гроба...

И этот стук, России смертный грех,
На нас — на «будущих и бывших» — всех!

Под музыку шла бы пехота,
Несли б на подушке кресты,

А здесь — на заводе работа,
Которой не выдержал ты.

Бесстрастную повесть изгнания,
Быть может, напишут потом,
А мы, под дождя дребезжанье,
В промокшей земле подождем.

Отплывающие корабли,
Уносящиеся поезда,
Остающиеся вдали,
Покидаемые навсегда!

Знак прощанья — белый платок,
Замирающий взмах руки,
Шум колес, последний свисток —
Берега уже далеки.

Не видать совсем берегов;
Отрываясь от них, посмей
Поллюбить — если можешь — врагов,
Позабывать — если можешь — друзей.

СЕРГЕЙ ТРЕТЬЯКОВ

1892, Гольтинген Курляндской губ. — 1937

Входил в группу московских эгофутуристов. В 1919—1922 годах жил во Владивостоке; был одним из ведущих поэтов и критиков Приморья, даже входил в «правительство» ДВР. После ликвидации этого буферного государства вернулся в Москву. Как драматург, сотрудничал с Эйзенштейном в Театре Пролеткульта, а затем с В. Мейерхольдом. Антиколониальная пьеса Третьякова «Рычи, Китай» (1926) обошла сцены всего мира. После ухода Маяковского из ЛЕФа редактировал журнал «Новый ЛЕФ». Был одним из первых переводчиков и пропагандистов Б. Брехта. Репрессирован. На творчестве Третьякова лежит отпечаток прямолинейной агитационности.

АТАКА

Кусаются ружья.
За каждым бугром — солдат.
В поле так пусто, как в зале дворцовых палат.
Люди — камни, сырые и неуклюжие.
Может быть, умерли? Может быть, нет их,
В полушубки одетых?
Вдруг это комья земли
Легли
И смертельно иззябли?..
Взмах рук
Вдруг.
Скачок неуклюжий.
Зык сабли.
Лякнула тысяча ружей.

Рванулись шинели
Под благовест звонкой прапнели.
Шепот. Суконный потоп...
По блеску, крику, знаку
В атаку!
Сердце настезь. В атаку! Упрямо
В атаку! Все ближе. В атаку!
Лоб расколот... Мама!
К ружейному звяку
Рвота пушек.
На глину, скользя на штыки
Под пень свинцовых мушек.
Зрочками в зрочки.
Телом на тело. Ладонью в красное...
Ликованье последнее, страстное,
Звонкое, цепкое, липкое...

Злоба каплет с штыка под сопение шибкое,
 Под пудовый удар кулака...
 Отходили, упорствуя.
 Кусались, клубились в кустарнике.
 Стала теплою глина черствая,
 Как хлеб из пекарни.

Тепловатым причастьем насытили
 Отощавший желудок полей.
 И опять каменей
 На шершавой ладони земли
 Залегли
 Победители.

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

1892, Москва — 1941, Елабуга

Отец М. Цветаевой был профессором Московского университета, основателем Музея изящных искусств на Волхонке. Мать, полуполька, полунемка, была пианисткой, учившейся у Артура Рубинштейна. В гимназические годы Цветаева часто бывала во Франции, Италии, Германии, Швейцарии. Ее первая книга стихов «Вечерний альбом» вышла в 1910-м. Еще в юности она предсказала: «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед» — и не ошиблась. Но черед ее стихам пришел лишь после ее смерти. Цветаева была буйным гением, не умещавшимся в рамки каких-либо школ. Она сама стала школой, в которой была и учителем, и ученицей. Вся ее поэзия — от народной ворожбы, от заклинаний, обрядовых песен, причитаний. Ниагара ее страстей, выпущенная на волю, разломала бетонные дамбы классицизма. Великая троица новаторов русского стихосложения — Маяковский, Пастернак, Цветаева. Но если Маяковский насмешливо ерничал по поводу Пушкина, Цветаева ему присягала. Но не как коленопреклоненная ученица, а как равный — равному. У нее была не только тоска по Родине, но и тоска по Пушкину. Он — ее тайный любовник. У поэзии Цветаевой — мускулы молотобойца и тонкость пальцев ювелира. Даже ее интимнейшие стихи напоминают не камерную музыку — громовые симфонии. Ее гений неудержимо выплескивался во всем — в прозе, в стихах, даже в частных письмах. Если Ахматова была царицей русской поэзии, то Цветаева была ее Царь-Девичей. Воспев белую гвардию в книге «Лебединый стан», она последовала за мужем в эмиграцию. Однако для тогдашних эмигрантских законодателей моды Цветаева была недостаточно «белой». Она жила бедно и просила свою чешскую подругу Анну Тескову прислать ей какое-нибудь приличное платье в Париж с проводником, чтобы ей было что надеть на творческий вечер. А вернулась в Россию даже не от своей ностальгии — от отчаяния. Ее не убили, не арестовали. Ей уготовили другую мученическую жизнь — вокруг нее начали арестовывать самых близких и дорогих людей — мужа, дочь, сестру. Стихов ее не печатали. Пастернак, провожая в эвакуацию, дал ей для чемодана веревку, не подозревая, какую страшную роль этой веревке суждено сыграть. Цветаева пыталась устроиться судомойкой в писательской столовой в Чистополе, но совет писательских жен счел, что она может оказаться немецким шпионом. Потом уехала в город Елабугу, где стирала белье местному милиционеру. Не выдержав унижений, Цветаева повесилась на той самой веревке, которую дал ей Пастернак. Ныне кладбище в Елабуге, где она похоронена, стало местом паломничества любителей поэзии.

* * *

Моим стихам, написанным так рано,
 Что и не знала я, что я — поэт,
 Сорвавшимся, как брызги из фонтана,
 Как искры из ракет,

Ворвавшимся, как маленькие черти,
 В святилище, где сон и фимиам,
 Моим стихам о юности и смерти,
 — Нечитанным стихам! —

Разбросанным в пыли по магазинам
 (Где их никто не брал и не берет!),
 Моим стихам, как драгоценным винам,
 Настанет свой черед.

Май 1913
 Коктебель

* * *

Красною кистью
 Рябина зажглась.

Падали листья.
 Я родилась.

Спорили сотни
 Колоколов.
 День был субботный:
 Иоанн Богослов.

Мне и доньше
 Хочется грызть
 Жаркой рябины
 Горькую кисть.

16 августа 1916

СТИХИ К БЛОКУ

1

Имя твое — птица в руке,
 Имя твое — льдинка на языке.
 Одно-единственное движение губ.
 Имя твое — пять букв.
 Мячик, пойманный на лету,
 Серебряный бубенец во рту.

Камень, кинутый в тихий пруд,
Всхлипнет так, как тебя зовут.
В легком щелканье ночных копыт
Громкое имя твое гремит.
И назовет его нам — в висок
Звонко щелкающий курок.

Имя твое — ах, нельзя! —
Имя твое — поцелуй в глаза,
В нежную стужу недвижных век,
Имя твое — поцелуй в снег.
Ключевой, ледяной, голубой глоток.
С именем твоим — сон глубок.

15 апреля 1916

ИЗ ЦИКЛА «СТИХИ К АХМАТОВОЙ»

Ты солнце в выси мне застишь,
Все звезды в твоей горсти!
Ах, если бы — двери настезь —
Как ветер к тебе войти!

И залепетать, и вспыхнуть,
И круто потупить взгляд,
И, всхлипывая, затихнуть —
Как в детстве, когда простят.

2 июля 1916

* * *

Из строгого, стройного храма
Ты вышла на визг площадей...
— Свобода! — Прекрасная Дама
Маркизов и русских князей.

Свершается страшная спевка, —
Обедня еще впереди!
— Свобода! — Гулящая девка
На шалой солдатской груди!

26 мая 1917

МОСКВЕ

1

Когда рыжеволосый Самозванец
Тебя схватил — ты не согнула плеч.
Где спесь твоя, княгинюшка? — Румянец,
Красавица? — Разумница, — где речь?

Как Петр-Царь, презрев закон сыновний,
Позарился на голову твою —
Боярыней Морозовой на дровнях
Ты отвечала Русскому Царю.

Не позабыли огненного поила
Буонапарта хладные уста.
Не в первый раз в твоих соборах — стойла.
Всё вынесут кремлевские бока.

9 декабря 1917

2

Гришка-Вор тебя не ополячил,
Петр-Царь тебя не онемечил.
Что же делаешь, голубка? — Плачу.
Где же спесь твоя, Москва? — Далече.

— Голубочки где твои? — Нет корму.
— Кто унес его? — Да ворон черный.
— Где кресты твои святые? — Сбиты.
— Где сыны твои, Москва? — Убиты.

10 декабря 1917

ИЗ ЦИКЛА «ДОН»

Кто уцелел — умрет, кто мертв — воспрянет.
И вот потомки, вспомнив старину:
— Где были вы? — Вопрос как громом
грянет,
Ответ как громом грянет: — На Дону!

— Что делали? — Да принимали муки,
Потом устали и легли на сон.
И в словаре задумчивые внуки
За словом: долг напишут слово: Дон.

17 марта 1918

* * *

Не стыдись, страна Россия!
Ангелы — всегда босые...
Сапоги сам черт унес.
Нынче страшен — кто не бос!

1919, Москва

* * *

Править тройкой и гитарой
Это значит: каждой бабой
Править, это значит: старой
Брагой по башкам кружить!
Раскрасавчик! Полукровка!
Кем крещен? В какой купели?
Все цыганские метели
Оттопырили поддевку
Вашу, бравый гитарист!
Эх, боюсь — уложат влужку
Ваши струны да ухабы!
Бог с тобой, ямщик Сережка!
Мы с Россией — тоже бабы!

Начало января 1920

* * *

Вчера еще в глаза глядел,
А нынче — всё косится в сторону!
Вчера еще до птиц сидел, —
Всё жаворонки нынче — вороны!

Я глупая, а ты умен,
Живой, а я остолбенелая.
О, вопль женщин всех времен:
«Мой милый, что тебе я сделала?!»

И слезы ей — вода, и кровь —
Вода, — в крови, в слезах умылася!
Не мать, а мачеха — Любовь:
Не ждите ни суда, ни милости.

Увозят милых корабли,
Уводит их дорога белая...
И стон стоит вдоль всей земли:
«Мой милый, что тебе я сделала?»

Вчера еще — в ногах лежал!
Равнял с Китайскою державою!
Враз обе рученьки разжал, —
Жизнь выпала — копейкой ржавою!

Детоубийцей на суду
Стою — немилая, несмелая.
Я и в аду тебе скажу:
«Мой милый, что тебе я сделала?»

Спрошу я стул, спрошу кровать:
«За что, за что терплю и бедствую?»
«Отцеловал — колесовать:
Другую целовать», — ответствуют.

Жить приучил в самом огне,
Сам бросил — в степь заледенелую!
Вот что *ты*, милый, сделал мне!
Мой милый, что тебе — я сделала?

Всё ведаю — не прекословь!
Вновь зрячая — уж не любовница!
Где отступает Любовь,
Там подступает Смерть-садовница.

Самó — что дерево трясти! —
В срок яблоко спадает спелое...
— За всё, за всё меня прости,
Мой милый, — что тебе я сделала!

14 июня 1920

* * *

С такую силой в подбородок руку
Вцепив, что судорогой вьется рот,
С такую силою поняв разлуку,
Что, кажется, и смерть не развевет, —

Так знаменосец покидает знамя,
Так на помосте матерям: «Пора!»,
Так в ночь глядит — последними глазами —
Наложница последнего царя.

24 октября 1921

* * *

Проста моя осанка,
Нищ мой домашний кров.
Ведь я островитянка
С далеких островов!

Живу — никто не нужен!
Взошел — ночей не сплю.
Согреть чужому ужин —
Жилье свое спалю!

Взглянул — так и знакомый,
Взошел — так и живи!
Просты наши законы:
Написаны в крови.

Луну заманим с неба
В ладонь, — коли мила!
Ну а ушел — как не был,
И я — как не была.

Гляжу на след ножовый:
Успеет ли зажить
До первого чужого,
Который скажет: «Пить».

Август 1920

* * *

Ох, грибок ты мой, грибочек, белый груздь!
То шатаюсь причитаю в поле — Русь.
Помогите — на ногах нетверда!
Затуманила меня кровь-руда!

И справа и слева
Кровавые зевы,
И каждая рана:
— Мама!

И только и это
И внятно мне, пьяной,
Из чрева — и в чрево:
— Мама!

Все рядком лежат —
Не развесть межой.
Поглядеть: солдат.
Где свой, где чужой?

Белый был — красным стал:
Кровь обагрила.
Красным был — белый стал:
Смерть побелила.

— Кто ты? — белый? — не пойму! —
привстань!
Аль у красных пропадал? — Ря — азань.

И справа и слева
И сзади и прямо
И красный и белый:
— Мама!

Без воли — без гнева —
Протяжно — упрямо —
До самого неба:
— Мама!

Декабрь 1920

ПОЖАЛЕЙ...

* * *

— Он тебе не муж? — Нет.
 — Веришь в воскресенье душ? — Нет.
 — Так чего ж?
 Так чего ж поклоны бьешь?
 — Отойдешь —
 В сердце — как удар кулашный:
 Вдруг ему, сыночку, страшно —
 Одному?

— Не пойму!
 Он тебе не муж? — Нет.
 — Веришь в воскресенье душ? — Нет.
 — Гниль и плесень?
 — Гниль и плесень.
 — Так наплюй!
 Мало ли живых на рынке?
 — Без перинки
 Не простыл бы! Ровно ссыльно-
 Каторжный какой — на досках!
 Жестко!

— Черт!
 Он же мертв!
 Пальчиком в глазную щелку —
 Не сморгнет!
 Пес! Смердит!
 — Не сердись!
 Видишь — пот
 На виске — еще не высох!
 Может, кто еще поклоны в письмах
 Шлет, рубашку шьет...

— Он тебе не муж? — Нет.
 — Веришь в воскресенье душ? — Нет.
 — Так айда! — ...нагрудник вяжет...
 Дай-кось я с ним рядом ляжу...
 — Зако—ла—чи—вай!

позднее 8 декабря 1920

* * *

Со мной не надо говорить,
 Вот губы: дайте пить.
 Вот волосы мои: погладь.
 Вот руки: можно целовать.
 — А лучше дайте спать.

28 августа 1918, Успение

МАЯКОВСКОМУ

Превыше крестов и труб,
 Крещенный в огне и дыме,
 Архангел-тяжелоступ —
 Здорово в веках, Владимир!

Он возчик и он же конь,
 Он прихоть и он же право.
 Вздыхнул, поплевал в ладонь:
 — Держись, ломовая слава!

Певец площадных чудес —
 Здорово, гордец чумазый,
 Что камнем — тяжеловес
 Избрал, не прельстясь алмазом.

Здорово, булыжный гром!
 Зевнул, козырнул — и снова
 Оглоблей гребет — крылом
 Архангела ломового.

5 сентября 1921

ХВАЛА БОГАТЫМ

И засим, упредив заране,
 Что меж мной и тобою — мили!
 Что себя причисляю к рвани,
 Что честно мое место в мире:

Под колесами всех излишеств:
 Стол уродов, калек, горбатых...
 И засим, с колокольной крыши
 Объявляю: *люблю* богатых!

За их корень, гнилой и шаткий,
 С колыбели растящий рану,
 За растерянную повадку
 Из кармана и вновь к карману.

За тишайшую просьбу уст их,
 Исполняемую как окрик.
 И за то, что их в рай не впустят,
 И за то, что в глаза не смотрят.

За их тайны — всегда с нарочным!
 За их страсти — всегда с рассыльным!
 За навязанные им ночи
 (И целуют и пьют насильно!),

И за то, что в учетах, в скуках,
 В позолотах, в зевотах, в ватах
 Вот меня, наглеца, не купят, —
 Подтверждаю: *люблю* богатых!

А еще, несмотря на бритость,
 Сытость, питость (моргну — и трачу!),
 За какую-то — вдруг — побитость,
 За какой-то их взгляд собачий,

Сомневающийся...

— не стержень
 ли к нулям? Не шалят ли гири?
 И за то, что меж всех отверженств
 Нет — такого сиротства в мире!

Есть такая дурная басня:
 Как верблюды в иглу пролезли.
 ...За их взгляд, изумленный насмерть,
 Извиняющийся в болезнь,
 Как в банкротстве... «Ссудил бы...»

Да...»

За тихое, с уст зажатых:
 «По каратам считал, я — брат был...»
 Присягаю: *люблю* богатых!

30 сентября 1922

ИЗ ЦИКЛА «ПОЭТЫ»

Поэт — издали заводит речь.
 Поэта — далеко заводит речь.

Планетами, приметами... окольных
 Притч рытвинами... Между *да* и *нет*
 Он — даже размахнувшись с колокольни —
 Крюк выморочит... Ибо путь комет —

Поэтов путь. Развеянные звенья
 Причинности — вот связь его! Кверх лбом —
 Отчаесть! Поэтовы затмения
 Не предугаданы календарем.

Он тот, кто смешивает карты,
 Обманывает вес и счет,
 Он тот, кто *спрашивает* с парты,
 Кто Канта наголову бьет,
 Кто в каменном гробу Бастилий —
 Как дерево в своей красе.
 Тот, чьи следы — всегда простыли,
 Тот поезд, на который все
 Опаздывают...

Ибо путь комет —

Поэтов путь: жжа, а не согревая,
 Рвя, а не возвращая, — взрыв и взлом —
 Твоя стезя, гривастая кривая,
 Не предугадана календарем!

8 апреля 1923

ПОПЫТКА РЕВНОСТИ

Как живется вам с другою, —
 Проще ведь? — Удар весла! —
 Линией береговой
 Скоро ль память отошла

Обо мне, плавучем острове?
 (По небу — не по водам!)
 Души, души! — быть вам сестрами,
 Не любовницами — вам!

Как живется вам с *простою*
 Женщиною? *Без* божеств?
 Государыню с престола
 Свергши (с оног сошед),

Как живется вам — хлопочется —
 Ежится? Встается — как?
 С пошлюхой бессмертной пошлости
 Как справляетесь, бедняк?

«Судорог да перебоев —
 Хватит! Дом себе найму».
 Как живется вам с любовью —
 Избранному моему!

Свойственнее и съедобнее —
 Снедь? Приестся — не пеняй...
 Как живется вам с подобием —
 Вам, поправшему Синай!

Как живется вам с чужою,
 Здешнею? Ребром — любя?
 Стыд Зевесовой вождою
 Не охлестывает лба?

Как живется вам — здоровится —
 Можется? Поется — как?
 С язвою бессмертной совести
 Как справляетесь, бедняк?

Как живется вам с товаром
 Рыночным? Оброк — крутой?
 После мраморов Каррары
 Как живется вам с трухой

Гипсовой? (Из глыбы высечен
 Бог — и начисто разбит!)
 Как живется вам с сто-тысячной —
 Вам, познавшему Лилит!

Рыночною новизною
 Сыты ли? К волшбам остыв,
 Как живется вам с земною
 Женщиною, *бёз* шестых

Чувств?..

Ну, за голову: счастливы?
 Нет? В провале без глубин —
 Как живется, милый? Тяжче ли,
 Так же ли, как мне с другим?

19 ноября 1924

ИЗ «ПОЭМЫ КОНЦА»

6

— Я этого не хотел.
 Не этого. (Молча: слушай!
 Хотеть, это дело тел,
 А мы друг для друга — души

Отныне...) — И не сказал.
 (Да, в час, когда поезд подан,
 Вы женщинам, как бокал,
 Печальную честь уходя

Вручаете...) — Может, бред?
 Ослышался? (Лжец учтивый,

Любовнице как букет
Кровавую честь разрыва

Вручающий...) — Внятно: слог
За слогом, итак — простимся,
Сказали вы? (Как платок,
В час сладостного бесчинства

Уроненный...) — Битвы сей
Вы — Цезарь. (О, выпад наглый!
Противнику — как трофей,
Им отданную же шпагу

Вручать!) — Продолжает. — (Звон
В ушах...) — Преклоняюсь дважды:
Впервые опережен
В разрыве. — Вы это каждой?

Не опровергайте! Месть,
Достойная Ловеласа.
Жест, делающий вам честь,
А мне разводящий мясо

От кости. — Смешок. Сквозь смех —
Смерть. Жест. (Никаких хотений,
Хотеть, это дело — *тех*,
А мы друг для друга — тени

Отныне...) Последний гвоздь
Вбит. Винт, ибо гроб свинцовый.
— Последнейшая из просьб.
— Прошу. — Никогда ни слова

О нас... никому из... ну...
Последующих. (С носилок
Так раненые — в весну!)
— О том же и вас просила б.

Колечко на память дать?
— Нет. — Взгляд, широко разверзтый,
Отсутствует. (Как печать
На сердце твое, как перстень

На руку твою... Без сцен!
Съем.) Вкрадчивее и тише:
— Но книгу тебе? — Как всем?
Нет, вовсе их не пишите,

Книг...

10

.....
Не довспомнивши, не допонявши,
Точно с праздника уведены...
— Наша улица! — Уже не наша...
— Сколько раз по ней!.. — Уже не мы...

— Завтра с западу встанет солнце!
— С Иеговой порвет Давид!
— Что мы делаем? — Расстаемся.
— Ничего мне не говорит

Сверхбессмысленнейшее слово:
Рас-стаемся. — Одна из ста?
Просто слово в четыре слога;
За которыми пустота.

Стой! По-сербски и по-кroatски,
Верно, Чехия в нас чудит?
Рас-ставание. Расставаться...
Сверхъестественнейшая дичь!

Звук, от коего уши рвутся,
Тянутся за предел тоски...
Расставание — не по-русски!
Не по-женски! не по-мужски!

Не по-божески! Что мы — овцы,
Раззевавшиеся в обед?
Расставание — по-каковски?
Даже смысла такого нет,

Даже звука! Ну, просто полый
Шум, — пилы, например, сквозь сон.
Расставание — просто школы
Хлебникова соловьиный стон

Лебединый...

Но как же вышло?
Точно высохший водоем —
Воздух! Руку о руку слышно.
Расставаться — ведь это гром

На голову... Океан в каюту!
Океании крайний мыс!
Эти улицы — слишком круты:
Расставаться — ведь это вниз,

Под гору... Двух подошв пудовых
Вздых... Ладонь, наконец, и гвоздь!
Опрокидывающий довод:
Расставаться — ведь это врозь,

Мы же — сросшиися...

1924

ПОЛОТЕРСКАЯ

Колотёры-молотёры,
Полотёры-полодёры,
Кумашный стан,
Бахромчатый штан.

Что Степан у вас, что Осип —
Ни приметы, ни следа.
— Нас нелегкая приносит,
Полотеров, завсегда.

Без вины навязчивые,
Мы полы наващиваем,
По паркетам взъахивая,
Мы молей вымахиваем.

Кулик краснопер,
Пляши, полотер!

Колотилы-громыхалы,
Нам всё комнаты тесны.
Кольцо бабкино пропало —
Полотеры унесли.

Нажариваем.
Накаливаем.
...Пошариваем!
...Пошаливаем!

С полотеров взятки гладки:
Катай вдоль да поперек!
Как подкатимся вприсядку:
«Пожалуйте на чаек!»

Не мастикой ясеневы
Вам полы намасливаем.
Потом-кровью ясеневы
Вам полы наласниваем:

Вощи до-белá!
Трещи, мебелия!

Тише сажи, мягче замши...
Полотеров взявши в дом —
Плачь! Того гляди, плясамши,
Нос богине отобьем.

Та богиня — мраморная,
Нарядить — от Ламановой,
Не гляди, что мраморная, —
Всем бока наламываем!

Гол, бос,
Чтоб жглось!

Полотерско дело вредно:
Пляши, в пот себя вогнав!
Оттого и ликом бледны,
Что вся кровь у нас в ногах.

Ногой пишем,
Ногой пашем.
Кто повыше —
Тому пляшем.

О пяти корявых пальцах —
Как и барская нога!
Из прихожей — через зальце —
Вот и вся вам недолга!

Знай откальвай
До кола в груди!
...Шестипалого
Полотера жди.

Нам балы давать не внове!
Двери — всё ли на ключе?
А кумач затем — что крови
Не видать на кумаче!

Нашей ли, вашей ли —
Ляжь да не спрашивай.

Как господско дело — грязью
Следить, лоску не жалеть —
Полотерско дело — мазью
Те следочки затереть.

А уж мазь хороша!
— Занялась пороша! —

Полодёры-полодралы,
Полотеры-пролеталы,
Разлет-штаны,
Паны-шаркуны,

Из перинки прасоловой
Не клопов вытрясываем,
По паркетам взгаркивая —
Мы господ вышаркиваем!

Страсть-дела,
Жар-дела,
Красная гвардия!

Поспешайте, сержанты резвые!
Полотеры купца зарезали.

Получайте, чего не грезили:
Полотеры купца заездили.

18 декабря 1924

* * *

Б. Пастернаку

Рас-стояние: версты, мили...
Нас рас-ставили, рас-садили,
Чтобы тихо себя вели
По двум разным концам земли.

Рас-стояние: версты, дали...
Нас расклеили, распаяли,
В две руки развели, распяв,
И не знали, что это — сплав

Вдохновений и сухожилий...
Не рассорили — рассорили,
Расслоили...

Стена да ров.
Расселили нас, как орлов-

Заговорщиков: версты, дали...
Не расстроили — растеряли.
По трущобам земных широт
Рассовали нас, как сирот.

Который уж, ну который — март?!
Разбили нас — как колоду карт!

24 марта 1925

СТРАНА

С фонарем обшарьте
Весь подлунный свет!
Той страны — на карте
Нет, в пространстве — нет.

Выпита как с блюда,—
Донышко блестит.
Можно ли вернуться
В дом, который — скрыт?

Заново родися —
В новую страну!
Ну-ка, воротися
На спину коню

Сбросившему! Кости
Целы-то хотя?
Эдакому гостю
Булочник ломтя

Ломаного, плотник —
Гроба не продаст!
...Той ее — *несчетных*
Верст, *небесных* царств,

Той, где на монетах —
Молодость моя —
Той России — нету.
— Как и той меня.

Конец июня 1931

Мёдон

СТИХИ К ПУШКИНУ

1

Бич жандармов, бог студентов,
Желчь мужей, услада жен —
Пушкин — в роли монумента?
Гостя каменного — он,

Скалозубый, нагловзорый
Пушкин — в роли Командора?

Критик — ноя, нытик — вторя:
— Где же пушкинское (взрыд)
Чувство меры? Чувство моря
Позабыли — о гранит

Бьющегося? Тот, соленый
Пушкин — в роли лексикона?

Две ноги свои — погреться —
Вытянувший — и на стол
Вспрыгнувший при Самодержце —
Африканский самовол —

Наших прадедов умора —
Пушкин — в роли гувернера?

Черного не перекрасить
В белого — неисправим!
Недурен российский классик,
Небо Африки — своим

Звавший, невское — проклятым!
Пушкин — в роли русопята?

К пушкинскому юбилею
Тоже речь произнесем:
Всех румяней и смуглее
До сих пор на свете всем,

Всех живучей и живее!
Пушкин — в роли мавзолея?

Уши лопнули от вопля:
— Перед Пушкиным во фронт!
А куда девали пекло
Губ, куда девали — бунт

Пушкинский, уст окаянство?
Пушкин — в меру пушкиньянца!

Что вы делаете, карлы,
Этот — голубей олив —
Самый вольный, самый крайний
Лоб — навеки заклеимив

Низостию двуединой
Золота и середины.

Пушкин — тога, Пушкин — схи́ма,
Пушкин — мера, Пушкин — грань...
Пушкин, Пушкин, Пушкин — имя
Благородное — как брань

Площадную — попугаи.
Пушкин? Очень испугали!

25 июня 1931

Мёдон

СТОЛ

1

Мой письменный верный стол!
Спасибо за то, что шел
Со мною по всем путям.
Меня охранял — как шрам.

Мой письменный вьючный мул!
Спасибо, что ног не гнул
Под ношей, поклажу грез —
Спасибо — что нес и нес.

Строжайшее из зеркал!
Спасибо за то, что стал

— Соблазнам мирским порог —
Всем радостям поперек,

Всем низостям — наотрез!
Дубовый противовес
Льву ненависти, слону
Обиды — всему, всему.

Мой заживо смертный тѣс!
Спасибо, что рос и рос
Со мною, по мере дел
Настольных — большал, ширел,

Так ширился, до широт —
Таких, что раскрывши рот,
Схватясь за столовый кант...
— Меня заливал, как штранд!

К себе пригвоздив чуть-свет —
Спасибо за то, что — вслед
Срывался! На всех путях
Меня настигал, как Шах —

Беглянку.
— Назад, на стул!
Спасибо за то, что блюл
И гнул. У невечных благ
Меня отбивал — как Маг —

Сомнамбулу.
Бить рубцы
Стол, выстроивший в столбцы
Горящие: жил багрец!
Деяний моих столбец!

Столп столпника, уст затвор —
Ты был мне престол, простор —
Тем был мне, что морю толп
Еврейских — горящий столп!

Так будь же благословен —
Лбом, локтем, узлом колен
Испытанный, — как пила
В грудь въевшийся — край стола!

* * *

Тоска по родине! Давно
Разоблаченная морока!
Мне совершенно всё равно —
Где совершенно одинокой

Быть, по каким камням домой
Брести с кошелкою базарной
В дом, и не знающий, что — мой,
Как госпиталь или казарма.

Мне всё равно, каких среди
Лиц — оцетиниваться пленным
Львом, из какой людской среды
Быть вытесненной — непременно —

В себя, в единоличье чувств.
Камчатским медведём без льдины
Где не ужиться (и не тщусь!),
Где унижаться — мне едино.

Не обольщусь и языком
Родным, его призывом млечным.
Мне безразлично — на каком
Непонимаемой быть встречным!

(Читателем, газетных тонн
Глотателем, доильцем сплетен...)
Двадцатого столетья — он,
А я — до всякого столетья!

Остолбеневши, как бревно,
Оставшееся от аллеи,
Мне все — равны, мне всё — равно,
И, может быть, всего равнее —

Роднее бывшее — всего.
Все признаки с меня, все меты,
Все даты — как рукой сняло:
Душа, родившаяся — где-то.

Так край меня не уберег
Мой, что и самый зоркий сыщик
Вдоль всей души, всей — поперек!
Родимого пятна не същёт!

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И всё — равно, и всё — едино.
Но если по дороге — куст
Встает, особенно — рябина...

1934

* * *

Вскрыла жилы: неостановимо,
Невосстановимо хлещет жизнь.
Подставляйте миски и тарелки!
Всякая тарелка будет — мелкой,
Миска — плоской.

Через край — и мимо —
В землю черную, питать тростник.
Невозвратно, неостановимо,
Невосстановимо хлещет стих.

6 января 1934

ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТ

Ползет подземный змей,
Ползет, везет людей.
И каждый — со своей
Газетой (со своей
Экземой!). Жвачный тик,
Газетный костоед.
Жеватели мастик,
Читатели газет.

Кто — чтец? Старик? Атлет?
Солдат? — Ни чѣрт, ни лиц,

Ни лет. Скелет — раз нет
Лица: газетный лист!

Которым — весь Париж
С лба до пупа одет.
Брось, девушка!
Родишь —
Читателя газет.

Кача — «живет с сестрой» —
ются — «убил отца!» —
Качаются — тщетою
Накачиваются.

Что для таких господ —
Закат или рассвет?
Глотатели пустот,
Читатели газет!

Газет — читай: клевет,
Газет — читай: растрат.
Что ни столбец — навет,
Что ни абзац — отврат...

О, с чем на Страшный суд
Предстанете: на свет!
Хвататели минут,
Читатели газет!

— Пошел! Пропал! Исчез!
Стар материнский страх.
Мать! Гуттенбергов *пресс*
Страшней, чем Шварцев *прах*!

Уж лучше на погост, —
Чем в гнойный лазарет
Чесателей корост,
Читателей газет!

Кто наших сыновей
Гноит во цвете лет,

Смесители кровей,
Писатели газет!

Вот, други, — и куда
Сильней, чем в сих строках! —
Что думаю, когда
С рукописью в руках

Стою перед лицом
— Пустее места — нет! —
Так значит — *нелицом*
Редактора газет —
ной нечисти.

1—15 ноября 1935

СТИХИ К ЧЕХИИ

МАРТ

б. Взяли...

Чехи подходили к немцам и плевали.
(См. мартовские газеты 1939 г.)

Брали — скоро и брали — щедро:
Взяли горы и взяли недра,
Взяли уголь и взяли сталь,
И свинец у нас, и хрусталь.

Взяли сахар и взяли клевер,
Взяли Запад и взяли Север,
Взяли улей и взяли стог,
Взяли Юг у нас и Восток.

Вары — взяли и Татры — взяли,
Взяли близи и взяли дали,
Но — больнее, чем рай земной! —
Битву взяли — за край родной.

Взяли пули и взяли ружья,
Взяли руды и взяли дружбы...
Но покамест во рту слюна —
Вся страна вооружена!

9 мая 1939

СЕРГЕЙ ШЕРВИНСКИЙ

1892, Москва — 1991, там же

Оказался для России последним поэтом серебряного века, пережив всех своих сверстников. Первая его книга вышла в 1916 году, т. е. до «октября», а с середины 20-х поэт лишился возможности печатать «свое». Стал одним из лучших русских переводчиков античной литературы. Лишь в 80-е годы его поэтические книги стали выходить вновь. Шервинский — автор блестящего приключенческого романа «Ост-Индия». А умер в июле 91-го, лишь полтора месяца не дожив до августовских событий. Он был близким другом Ахматовой и Волошина: они любили и его, и его стихи.

ПАМЯТЬ

Где голубь бродит по карнизу
У самых Спасовых бровей,
Взмывает кверху, реет книзу
Сонм убиенных сыновей.

То скопом, то поодиночке
Встают из памяти людской, —
Не для бессмертья, лишь отсрочки
Даны им старческой тоской.

И видит иерей, к народу
Из царских выходя дверей,
Как на глазах от года к году
Ряды редеют матерей.

Ведь ангелы сторожевые
Всечасно тут и старых ждут,
Когда умрут еще живые,
И те — умершие — умрут.

ИВАН ГРУЗИНОВ

1893, д. Шебаршино Смоленской губ.—1942, Москва

Родился в крестьянской семье на Смоленщине. Принадлежал к окружению Сергея Есенина. Вместе с ним входил в группу имажинистов. В качестве ее теоретика опубликовал книжку — «Имажинизма основное» (1921). Одновременно с Есениным в 1924 году порвал с имажинизмом. Опубликованы его воспоминания о Есенине, Маяковском и несколько сборников стихотворений: «Бубны боли» (1915) и т. д. По воспоминаниям М. Д. Ройзмана, Грузинов «умер в нищете от голода».

* * *

В деревянном городе
С крышами зелеными,
Где зимой и летом
Улицы глухи,
Девушки читают
Выцветшие «романы»
И хранят в альбомах
Нежные стихи.

Украшают волосы
Молодыми ветками
И на восемнадцатом году
Скромными записками,
Томными секретами
Назначают встречи
В городском саду.

Небеса над озером
Чистые и синие,
В озере за мельницей

Теплая вода,
И стоят над озером,
И бредут по линии,
Где проходят скорые поезда.

Поезда напомнят им
Светлыми вагонами,
Яркими квадратами
Бемского стекла,
Что за километрами,
Да за перегонами
Есть совсем другие
Люди и дела.

Там горят над городом
Фонари янтарные
И похож на музыку рассвет,
И грустят на линии
Девушки кустарные,
Девушки заштатные
В восемнадцать лет.

ДМИТРИЙ КЛЕНОВСКИЙ

1893, Петербург — 1976, Траунштейн, Германия

Сын академика живописи Иосифа Крачковского; Крачковский — подлинная фамилия, под которой еще в 1917 году в Петрограде вышел его первый сборник «Палитра». Второй, «Предгорье», не вышел по сложностям «переходного периода», а в начале 20-х годов поэт перебирается в Харьков, переходит на техническую работу и литературу оставляет. Во время войны Крачковский с женой-немкой уехал в Германию, там поэт снова стал писать и прожил до конца жизни. Им вышено более десятка поэтических сборников, почти все, что он написал, — чистейшая лирика, и лучшие стихи созданы им в 50—60-е годы.

* * *

Нас было двое. Женщина была
Веселой, молодой и рыжеватой,
Умела лгать и изменять могла,
Не быв при том ни разу виноватой.
Теперь она... — но нет, мне легче с ней
На «ты»! — теперь ты все уже забыла:
Как целовала с каждым днем скучней,
Как мучила меня и как убила.
Нет, не сама, конечно! Кто теперь
Сам убивает? Я отлично помню,

Как ты на выстрел распахнула дверь
И кинулась ко мне, и как легко мне
Внезапно стало: я в твоих глазах
Прочел все то, во что уже не верил, —
Недоумение, и боль, и страх,
И чувство горькой все-таки потери.
...О, если бы из тишины моей,
Из моего прекрасного свершенья
Вернуться снова в ужас этих дней,
Изведать снова все твоё презренье,
Всю ложь прикосновенья твоего
И как последнюю земную милость

Спустить курок — все только для того,
Чтоб ты опять вот так ко мне склонилась.

1956

* * *

Я много молчал и ждал,
То верил, а то не верил.
Я словно всю жизнь стоял
У плотно закрытой двери.

Я знал, что за ней ответ
На все, что во мне боролось.
Сквозь щель пробивался свет
И слышался чей-то голос.

Но я уловить не мог,
Как я ни хотел, ни слова.
Таким и в могилу лег —
К нездешнему неготовый.

Так дети порой молчат,
Прислушиваясь напрасно,
Как взрослые говорят
О чем-то, для них неясном.

Но вот обернулись к ним,
И что-то должно случиться.
А кончится все одним:
Что спать им пора ложиться.

1962

ЕВГЕНИЙ КРОПИВНИЦКИЙ

1893, Москва — 1979, там же

Родился в семье железнодорожного чиновника.

С 1904 по 1911-й учился в Строгановском училище, а потом в университете Шанявского на факультете истории. Стихи, а позднее музыку Кропивницкий, ставший профессиональным художником, начал писать с ранней юности. Он был одним из первых диссидентов-художников, главой «Лианозовской группы», в которую входили живописец Оскар Рабин, поэт Игорь Холин. Это был вывороченный наизнанку грубый быт окраинных советских бараков, сюрреализм социалистической реальности, которую хотели спрятать за холстами со счастливыми лицами рабочих и колхозников, за разухабистым псевдофольклором и клятвами в верности партии. Первая книжка стихов Кропивницкого вышла лишь в 1976 году в Париже. Однажды, когда у него собрались опальные поэты и художники, кто-то подсмотрел в окно и сказал: «Под окном никак шпик крутится...» Кропивницкий пожал плечами: «Жаль наше бедное государство... Неужто оно боится меня, больного, хилого старика!» Но он не оказался хилым ни в истории русской живописи, ни в истории русской поэзии. Он остался в двух этих историях.

МЕСТЬ

Смята белая перина,
В душной комнате тепло.
После сцены балерина
Коновалова Ирина
Парамоновой назло
Пригласила Иванова —
И теперь он пьян и спит...
Ночь в окно глядит сурово,
Острый серп, как нож, торчит.

1939

* * *

Смотрит старая старушка
Из косящата окна.
Вся ей улица видна:
Под окном резвится хрюшка;
Высит светлый крест церквушка;
Кособочится избушка;
Косорылятся Марфушка.
И глядит себе старушка
Ни грустна, ни весела
Вдоль знакомого села.

1940

Мне очень нравится, когда
Тепло и сыро. И когда
Лист прело пахнет. И когда
Даль в сизой дымке. И когда
Так грустно и тихо. И когда
Всё словно медлит. И когда
Везде туман, везде вода.

1940

* * *

У забора проститутка,
Девка белобрысая.
В доме 9 — ели утку
И капусту кислую.

Засыпала на постели
Пара новобрачная.
В 112-й артели
Жизнь была невзрачная.

Шел трамвай. Киоск косился.
Болт торчал подвешенный.
Самолет, гудя, носился
В небе, точно бешеный.

1944

* * *

Его поймали и лупили
 На перекрестке у ворот.
 И кто они такие были,
 Зачем словили и избили
 На перекрестке у ворот?

А та, которая встречалась
 На перекрестке у ворот,
 Та, что ему в ночи отдалась, —
 Теперь от смеха содрогалась
 На перекрестке у ворот.

1945

СЕКСТИНЫ

Молчи, чтоб не нажить беды,
 Таись и бережно скрывайся;
 Не рыпайся туды-сюды,
 Не ерпенься и не лайся,
 Верши по малости труды
 И помаленьку майся, майся.

Уж раз родился — стало, майся:
 Какой еще искать беды? —
 Известно, жизнь: труды, труды,
 Трудись и бережно скрывайся,
 Не поддавайся, но не лайся,
 Глади туды, смотри сюды.

Хоть глядишь туды-сюды,
 Да проку что? — сказали: майся,
 Все ерунда, — так вот, не лайся,
 Прожить бы только без беды,
 А чуть беда — скорей скрывайся,
 Но памятьуй: нужны труды.

Труды они и есть труды:
 Пошел туды, пришел сюды,
 Вот, от работы не скрывайся.
 Кормиться хочешь — стало, майся,
 Поменьше было бы беды,
 Потише было бы, — не лайся.

Есть — лают зло, а ты не лайся,
 И знай себе свои труды:
 Труды — туды, труды — сюды;
 Прожить возможно ль без беды?
 А посему трудись и майся...
 И помаленечку скрывайся.

Все сгинет — ну и ты скрывайся
 И на судьбу свою не лайся:
 Ты маялся? Так вот, не майся,
 Заканчивай свои труды,
 В могилу меть — туды, туды,
 Туды, где больше нет беды.

1948

ДЕВОЧКА

Как тебя мне жалко!
 Ты тонка, как палка,
 Тонки руки, ноги.

А твои подруги
 Толсты и упруги.

Шейка тонка очень,
 Тусклый взгляд порочен.

У тебя подруги
 Пышны и упруги,
 Смелы и нахальны.

Смотришь ты печально,
 Под глазами круги,
 Как былинки руки,
 Талья тонка-тонка.

А подруги звонко,
 Весело смеются.

К тебе тайно жмутся
 Во дворе, в бараке
 Юноши во мраке.
 Ты слаба до муки.

А твои подруги
 Пялят свои груди:
 Поглядите, люди!

Голос твой не звонок,
 Стан и слаб, и тонок.
 Ты тонка, как палка,
 И тебя мне жалко.

1957

РАЗВОД

Ее муж сказал:
 Она мне не нужна.

Он сказал:
 Она обыкновенная —
 Подводит глаза,
 Пьет водку, ест селедку,
 Курящая, как гулящая...

Ну и вот —
 Нужен развод.

1965

ТЕЛО И ДУША

*«Но ты мне душу предлагаешь —
 На кой мне черт душа твоя!»*
 Генрих Гейне

Известно: тело. А душа? —
 Душа не стоит ни шиша.
 Вот тело: есть на что взглянуть —
 И в теле человечья суть.

Вот девушка: как хороша!
Легка, нарядна и свежа.
И тело оной — сущий смак.
И обладать им хочет всяк.
А вот душа ее... Душа?! —
Душа ее весьма мелка,
От идеала далека.

Вот парень: истый жеребец,
Здоров, силен — блеск, молодец!
И в меру тих и в меру лих,
Завидный, говорят, жених.
Но есть ли у него душа? —
Душа не стоит ни шиша.
Ищи ее — найдешь ли там?
В душе он просто плут и хам.

А вот старик: он слаб и хил.
Но женщинам он очень мил.
Он мил не телом, не душой,
А скопленной большой мошной.
А есть ли у него душа? —
Душа не стоит ни шиша...

А если нищ старик? — ай-ай!
Скорее в гроб его толкай.
Он в тягость всем, его — куда?
Туда его — туда, туда!
Она не стоит ни шиша.
Его же тело — сущий хлам.
Так вот: ему уж лучше там.

1970

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

1893, с. Багдади, Грузия — 1930, Москва

Из обедневших дворян. Сын лесничего. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Первая публикация — в 1912 году. Основатель футуризма в России. Мальчиком Маяковский забирался в огромные глиняные винные кувшины и читал оттуда чужие стихи, пробуя нарастающую мощь эха собственного голоса. Горы, перекачывавшие это эхо, были его поэтическими учителями. Маяковский — это не только он сам, но и мощное эхо его голоса. Ораторская интонация была не стилем, а его характером. Попав в Бутырку еще юношей, он зачитывался Библией (одной из немногих книг, доступных в тюрьме), и вся его ранняя громовая поэзия пересытана библейскими метафорами, причудливо соединяясь с мальчишеским богохульством. Ранняя тетрадь стихов Маяковского потерялась — по его собственному свидетельству, она была подражательной. Но он, интуитивно уловив, что «улица корчится безъязыкая — ей нечем кричать и разговаривать», революционно реформировал русский стих, дав слово улице. Его гениальные поэмы «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник» возвышались над стихами его поэтического окружения, как величественные горные вершины родного ему Кавказа над лепящимися к ним домиками. Призывая сбросить Пушкина и других господ с парохода современности, Маяковский на самом деле был продолжателем классических традиций. Продолжать — не означает имитировать. Иногда взрывать — это тоже означает продолжать. Перечитайте пушкинский «Памятник», а затем строки «Слушайте, товарищи потомки...» и вы поразитесь непохожему сходству, этой мощной переключке через века. Горький был прав, сказав, что никакого футуризма вообще не существует, а есть большой поэт — Маяковский. Маяковский был первым русским поэтом-урбанистом. Он был первым и в том, что ощутил себя не только гражданином своей страны, но и гражданином земного шара — вслед за «председателем земшара» В. Хлебниковым. Для Маяковского не было вопроса — принимать или не принимать революцию. Он сам был ею — со всей ее мощью, со всеми пережестами, грубостями, классовым примитивизмом, со всеми заблуждениями и трагедиями. Личный революционный героизм Маяковского был в том, что он, великий любовный лирик, поставил стихи на службу ежедневности, плакатности, пропагандистского модернизированного лубка. В этом была одновременно и его трагедия, потому что он сознательно становился «на горло собственной песне» и даже вычеркнул однажды такие гениальные строки, как «Я хочу быть понят родной страной, а не буду понят — что ж! — по родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь». Тем не менее все попытки «сбросить Маяковского с парохода современности», начатые еще в 20-х годах, не удаются. Те, кто издевательски нападает на великого поэта, — не по росту ему. Если даже все его политические стихи умрут, он — бессмертный поэт любви.

НОЧЬ

Багровый и белый отброшен и скомкан,
в зеленый бросали горстями дукаты,
а черным ладоням сбежавшихся окон
раздали горящие желтые карты.

Бульварам и площади было не странно
увидеть на зданиях синие тоги.
И раньше бегущим, как желтые раны,
огни обручали браслетами ноги.

Толпа — пестрошерстая быстрая кошка —
плыла, изгибаясь, дверями влекома;
каждый хотел протащить хоть немножко
громаду из смеха отлитого кома.

Я, чувствуя платья зовущие лапы,
в глаза им улыбку протиснул, пугая
ударами в жезл, хохотали арапы,
над лбом расцветивши крыло попугая.

Осень 1912

А ВЫ МОГЛИ БЫ?

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?

1913

НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮТ

Вошел к парикмахеру, сказал — спокойный:
«Будьте добры, причешите мне уши».
Гладкий парикмахер сразу стал хвойный,
лицо вытянулось, как у груши.
«Сумасшедший!
Рыжий!» —
запрыгали слова.
Ругань металась от писка до писка.
И до-о-о-о-олго
хихикала чья-то голова,
выдергиваясь из толпы, как старая редиска.

1913

ПОСЛУШАЙТЕ!

Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?
Значит — кто-то называет эти плевочки
жемчужиной?
И, надрываясь
в метелях полуденной пыли,
врывается к богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит —
чтоб обязательно была звезда! —
клянется —
не перенесет эту беззвездную муку!
А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
«Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!»
Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

1914

СКРИПКА И НЕМНОЖКО НЕРВНО

Скрипка издергалась, упрасивая,
и вдруг разревелась,
так по-детски,
что барабан не выдержал:
«Хорошо, хорошо, хорошо!»
А сам — устал,
не дослушал скрипкиной речи,
шмыгнул на горящий Кузнецкий
и ушел.
Оркестр чужо смотрел, как
выплакивалась скрипка
без слов,
без такта,
и только где-то
глупая тарелка
вылязгивала:
«Что это?»
«Как это?»
А когда геликон —
меднорожий,
потный,
крикнул:
«Дура,
плакса,
вытри!» —
Я встал,
шатаясь полез через ноты,
сгибающиеся под ужасом пюпитры,
зачем-то крикнул:
«Боже!»
Бросился на деревянную шею:
«Знаете что, скрипка?
Мы ужасно похожи:
я вот тоже
ору —
а доказать ничего не умею!»
Музыканты смеются:
«Влип как!
Пришел к деревянной невесте!
Голова!»
А мне — наплевать!
Я — хороший.
«Знаете что, скрипка?
Давайте —
будем жить вместе!
А?»

1914

ФЛЕЙТА-ПОЗВОНОЧНИК*Пролог*

За всех вас,
которые нравились или нравятся,
хранимых иконами у души в пещере,
как чашу вина в застольной здравице,
подъемлю стихами наполненный череп.

Все чаще думаю —
не поставить ли лучше

точку пули в своем конце.
Сегодня я
на всякий случай
даю прощальный концерт.

Память!
Собери у мозга в зале
любимых неисчерпаемые очереди.
Смех из глаз в глаза лей.
Былыми свадьбами ночь ряди.
Из тела в тело веселье лейте.
Пусть не забудется ночь никем.
Я сегодня буду играть на флейте.
На собственном позвоночнике.

1

Версты улиц взмахами шагов мну.
Куда уйду я, этот ад тая!
Какому небесному Гофману
выдумалась ты, проклятая?!

Буре веселья улицы узки.
Праздник нарядных черпал и черпал.
Думаю.
Мысли, крови сгустки,
больные и запекшиеся, лезут из черепа.

Мне,
чудотворцу всего, что празднично,
самому на праздник выйти не с кем.
Возьму сейчас и грохнусь навзничь
и голову вымозжу каменным Невским!
Вот я богохулил.
Орал, что бога нет,
а бог такую из пекловых глубин,
что перед ней гора заволнуется и дрогнет,
вывел и велел:
люби!

Бог доволен.
Под небом в круче
измученный человек одичал и вымер.
Бог потирает ладони ручек.
Думает бог:
погоды, Владимир!
Это ему, ему же,
чтоб не догадался, кто ты,
выдумалось дать тебе настоящего мужа
и на рояль положить человечьи ноты.
Если вдруг подкрасться к двери спальной,
перекрестить над вами стёганье одеялово,
знаю —
запахнет шерстью паленной,
и серой издымится мясо дьявола.
А я вместо этого до утра раннего
в ужасе, что тебя любить увели,
метался
и крики в строчки выгранивал,
уже наполовину сумасшедший ювелир.
В карты бы играть!

В вино
выполоскать горло сердцу изоханному.

Не надо тебя!
Не хочу!
Все равно
я знаю,
я скоро сдохну.

Если правда, что есть ты,
боже,
боже мой,
если звезд ковер тобою выткан,
если этой боли,
ежедневно множимой,
тобой ниспослана, господи, пытка,
судейскую цепь надень.
Жди моего визита.
Я аккуратный,
не замедлю ни на день.
Слушай,
всевышний инквизитор!

Рот зажму.
Крик ни один им
не выпущу из искусанных губ я.
Привяжи меня к кометам, как к хвостам
лошадиным,

и вымчи,
рвя о звездные зубья.
Или вот что:
когда душа моя выселится,
выйдет на суд твой,
выхмурясь тупенько,
ты,
Млечный Путь перекинув виселицей,
возьми и вздерни меня, преступника.
Делай что хочешь.
Хочешь, четвертуй.
Я сам тебе, праведный, руки вымою.
Только —
слышишь! —
убери проклятую ту,
которую сделал моей любимой!

Версты улиц взмахами шагов мну.
Куда я денусь, этот ад тая!
Какому небесному Гофману
выдумалась ты, проклятая?!

2

И небо,
в дымах забывшее, что голубо,
и тучи, ободранные беженцы точно,
вызарю в мою последнюю любовь,
яркую, как румянец у чахоточного.

Радостью покрою рев
скопа
забывших о доме и уюте.
Люди,
слушайте!

Вылезьте из окопов.
После довоюете.

Даже если,
от крови качающийся, как Бахус,
пьяный бой идет —
слова любви и тогда не ветхи.
Милые немцы!
Я знаю,
на губах у вас
гётевская Гретхен.
Француз,
улыбаясь, на штыке мрет,
с улыбкой разбивается подстреленный

авиатор,

если вспомнят
в поцелуе рот
твой, Травиата.

Но мне не до розовой мякоти,
которую столетия выжуют.
Сегодня к новым ногам лягте!
Тебя пою,
накрашенную,
рыжую.

Может быть, от дней этих,
жутких, как штыков острия,
когда столетия выбелят бороду,
останемся только
ты
и я,
бросающийся за тобой от города к городу.

Будешь за море отдана,
спрячешься у ночи в норе —
я в тебя вцелую сквозь туманы Лондона
огненные губы фонарей.

В зное пустыни вытянешь караваны,
где львы начеку, —
тебе
под пылью, ветром рваной,
положу Сахарой горящую щеку.

Улыбку в губы вложишь,
смотришь —
тореадор хорош как!
И вдруг я
ревность метну в ложи
мрущим глазом быка.

Вынесешь на мост шаг рассеянный —
думать,
хорошо внизу бы.
Это я
под мостом разлился Сеной,
зову,
скалю гнилые зубы.

С другим зажгешь в огне рысаков
Стрелку или Сокольники.

Это я, взобравшись туда высоко,
луной томлю, ждущий и голенький.
Сильный,
понадоблюсь им я —
велят:
себя на войне убей!
Последним будет
твое имя,
запекшееся на выдранной ядром губе.

Короной кончу?
Святой Еленой?
Буре жизни оседлав валы,
я — равный кандидат
и на царя вселенной,
и на
кандалы.

Быть царем назначено мне —
твое личико
на солнечном золоте моих монет
велю народу:
вычекань!
А там,
где тундрой мир вылинял,
где с северным ветром ведет река торги, —
на цепь нацарапаю имя Лилино
и цепь исцелю во мраке каторги.

Слушайте ж, забывшие, что небо голубо,
выщетинившиеся,
звери точно!
Это, может быть,
последняя в мире любовь
вызарила румянцем чахоточного.

3

Забуду год, день, число.
Запрусь одинокий с листом бумаги я.
Творишь, просветленных страданием слов
нечеловечья магия!

Сегодня, только вошел к вам,
почувствовал —
в доме неладно.
Ты что-то таила в шелковом платье,
и ширился в воздухе запах ладана.
Рада?
Холодное
«очень».
Смятеньем разбита разума ограда.
Я отчаянье громозжу, горящ и лихорадочен.

Послушай,
все равно
не спрячешь трупа.
Страшное слово на голову лавь!
Все равно
твой каждый мускул
как в рупор

трубит:
 умерла, умерла, умерла!
 Нет,
 ответь.
 Не лги!
 (Как я такой уйду назад?)

Ямами двух могил
 вырылись в лице твоём глаза.

Могилы глубятся.
 Нету дна там.
 Кажется,
 рухну с помоста дней.
 Я душу над пропастью натянул канатом,
 жонглируя словами, закачался над ней.

Знаю,
 любовь его износила уже.
 Скуку угадываю по стольким признакам.
 Вымолоди себя в моей душе.
 Празднику тела сердце вызнакомь.

Знаю,
 каждый за женщину платит.
 Ничего,
 если пока
 тебя вместо шика парижских платьев
 одену в дым табака.
 Любовь мою,
 как апостол во время оно,
 по тысяче тысяч разнесу дорог.
 Тебе в веках уготована корона,
 а в короне слова мои —
 радугой судорог.

Как слоны стопудовыми играми
 завершали победу Пиррову,
 Я поступью гения мозг твой выгромил.
 Напрасно.
 Тебя не вырву.

Радуйся,
 радуйся,
 ты доконала!
 Теперь
 такая тоска,
 что только б добежать до канала
 и голову сунуть воде в оскал.

Губы дала.
 Как ты груба ими.
 Прикоснулся и остыл.
 Будто целую покаянными губами
 в холодных скалах высеченный монастырь.

Захлопали
 двери.
 Вошел он,
 весельем улиц орошен.

Я
 как надвое раскололся в вопле,
 Крикнул ему:
 «Хорошо!
 Уйду!
 Хорошо!
 Твоя останется.
 Тряпок нашей ей,
 робкие крылья в шелках зажирили б.
 Смотри, не уплыла б.
 Камнем на шее
 навесь жене жемчуга ожерелий!»

Ох, эта
 ночь!
 Отчаянье стягивал туже и туже сам.
 От плача моего и хохота
 морда комнаты выкосилась ужасом.

И видением вставал унесенный от тебя лик,
 глазами вызарила ты на ковре его,
 будто вымечтал какой-то новый Бялик
 ослепительную царицу Сиона еврейца.

В муке
 перед той, которую отдал,
 коленопреклоненный выник.
 Король Альберт,
 все города
 отдавший,
 рядом со мной задаренный именинник.

Вызолачивайтесь в солнце, цветы и травы!
 Весеньтесь жизни всех стихий!
 Я хочу одной отравы —
 пить и пить стихи.

Сердце обокравшая,
 всего его лишив,
 вымучившая душу в бреду мою,
 прими мой дар, дорогая,
 больше я, может быть, ничего не придумаю.

В праздник красьте сегодняшнее число.
 Творишь,
 распятью равная магия.
 Видите —
 гвоздями слов
 прибит к бумаге я.

1915

ВОТ ТАК Я СДЕЛАЛСЯ СОБАКОЙ

Ну, это совершенно невыносимо!
 Весь как есть искусан злобой.
 Злюсь не так, как могли бы вы:
 как собака лицо луны гололобой —
 взял бы
 и все обвыл.

Нервы, должно быть...
 Выйду,

погуляю.
И на улице не успокоился ни на ком я.
Какая-то прокрывала про добрый вечер.
Надо ответить:
она — знакомая.
Хочу.
Чувствую —
не могу по-человечьи.

Что это за безобразие?
Сплю я, что ли?
Ощупал себя:
такой же, как был,
лицо такое же, к какому привык.
Тронул губу,
а у меня из-под губы —
клык.

Скорее закрыл лицо, как будто сморкаюсь.
Бросился к дому, шаги удвоив.
Бережно огибаю полицейский пост,
вдруг оглушительное:
«Городовой!
Хвост!»

Провел рукой и — остоленел!
Этого-то,
всяких клыков почище,
я не заметил в бешеном скаке:
у меня из-под пиджака
развернулся хвостик
и вьется сзади,
большой, собачий.

Что теперь?
Один заорал, толпу растя.
Второму прибавился третий, четвертый.
Смяли старушонку.
Она, крестясь, что-то кричала про черта.

И когда, оцетинив в лицо усища-веники,
толпа навалилась,
огромная,
злая,
я стал на четвереньки
и залаял:
Гав! гав! гав!

1915

ВАМ!

Вам, проживающим за оргией оргию,
имеющим ванную и теплый клозет!
Как вам не стыдно о представленных к Георгию
вычитывать из столбцов газет?

Знаете ли вы, бездарные, многие,
думающие нажраться лучше как, —
может быть, сейчас бомбой ноги
выдрало у Петрова поручика?..

Если он приведенный на убой,
вдруг увидел, израненный,
как вы измазанной в котлете губой
похотливо напеваеете Северянина!

Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре блядам буду
подавать ананасную воду!

1915

НАДОЕЛО

Не высидел дома.
Анненский, Тютчев, Фет.
Опять,
тоскою к людям ведомый,
иду
в кинематографы, в трактиры, в кафе.

За столиком.
Сияние.
Надежда сияет сердцу глупому.
А если за неделю
так изменился россиянин,
что щеки сожгу огнями губ ему.

Осторожно поднимаю глаза,
роюсь в пиджачной куче.
«Назад,
назад,
назад!»
Страх орет из сердца,
Мечется по лицу, безнадежен и скучен.

Не слушаюсь.
Вижу,
вправо немножко,
неведомое ни на суше, ни в пучинах вод,
старательно работает над телячьей ножкой
загадочнейшее существо.

Глядишь и не знаешь: ест или не ест он.
Глядишь и не знаешь: дышит или не дышит он.
Два аршина безлицего розоватого теста:
хоть бы метка была в уголочке вышита.

Только колышутся спадающие на плечи
мягкие складки лоснящихся щек.
Сердце в иступлении,
рвет и мечет.
«Назад же!
Чего еще?»

Влево смотрю.
Рот разинул.
Обернулся к первому, и стало иначе:
для увидевшего вторую образину
первый —
воскресший Леонардо да-Винчи.

Нет людей.
Понимаете
крик тысячедневных мук?
Душа не хочет немая идти,
а сказать кому?

Брошусь на землю,
камня корою
в кровь лицо изотру, слезами асфальт омывая.
Истомившимися по ласке губами
тысячью поцелуев покрою
умную морду трамвая.

В дом уйду.
Прилипну к обоям.
Где роза есть нежнее и чайнее?
Хочешь —
тебе
рябое
прочту «Простое как мычание»?

Для истории

Когда все расселятся в раю и в аду,
земля итогами подведена будет —
помните:
в 1916 году
из Петрограда исчезли красивые люди.
1916

ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛОШАДЯМ

Били копыта.
Пели будто:
— Гриб.
Грабь.
Гроб.
Груб. —

Ветром опита,
льдом обута,
улица скользила.
Лошадь на круп
грохнулась,
и сразу
за зевакой зевака,
штаны, пришедшие Кузнецким клёшить,
сгрудились,
смех зазвенел и зазвякал:
— Лошадь упала! —
— Упала лошадь! —
Смеялся Кузнецкий.
Лишь один я
голос свой не вмешивал в вой ему.
Подошел
и вижу
глаза лошадиные...

Улица опрокинулась,
течет по-своему...
Подошел и вижу —

за каплицей каплица
по морде катится,
прячется в шерсти...

И какая-то общая
звериная тоска
плеца вылилась из меня
и расплылась в шелесте.
«Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте —
чего вы думаете, что вы их плоше?
Деточка,
все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему лошадь».
Может быть,
— старая —
и не нуждалась в няньке,
может быть,
и мысль ей моя казалась пошла,
только
лошадь
рванулась,
встала на ноги,
ржанула
и пошла.
Хвостом помахивала.

Рыжий ребенок.
Пришла веселая,
стала в стойло.
И все ей казалось —
она жеребенок,
и стоило жить,
и работать стоило.
1918

ИЗ ПОЭМЫ «ОБЛАКО В ШТАНАХ»

1

Вы думаете, это бредит малярия?

Это было,
было в Одессе.

«Приду в четыре», — сказала Мария.
Восемь.
Девять.
Десять.

Вот и вечер
в ночную жуть
ушел от окон,
хмурый,
декабрь.

В дряхлую спину хохочут и ржут
канделябры.

Меня сейчас узнать не могли бы:
жилистая громадина

стонет,
корчится.
Что может хотеться этакой глыбе?
А глыбе многое хочется!

Ведь для себя не важно
и то, что бронзовый,
и то, что сердце — холодной железкою.
Ночью хочется звон свой
спрятать в мягкое,
в женское.
И вот,
громадный,
горблюсь в окне,
плавлю лбом стекло окошечное.
Будет любовь или нет?
Какая —
большая или крошечная?
Откуда большая у тела такого:
должно быть, маленький,
смирный любёночек.
Она шарахается автомобильных гудков.
Любит звоночки коночек.

Еще и еще,
уткнувшись дождю
лицом в его лицо рябое,
жду,
обрызганный громом городского прибора.

Полночь, с ножом мечась,
догнала,
зарезала, —
вон его!

Упал двенадцатый час,
как с плахи голова казненного.

В стеклах дождинки серые
свылись,
гримасу громадили,
как будто воют химеры
Собора Парижской Богоматери.

Проклятая!
Что же, и этого не хватит?
Скоро криком издерется рот.

Слышу:
тихо,
как больной с кровати,
спрыгнул нерв.
И вот, —
сначала прошелся
едва-едва,
потом забегал,
взволнованный,
четкий.
Теперь и он и новые два
мечутся отчаянной чечеткой.

Рухнула штукатурка в нижнем этаже.

Нервы —
большие,
маленькие,
многие! —
скачут бешеные,
и уже
у нервов подкашиваются ноги!

А ночь по комнате тинится и тинится —
из тины не вытянуться отяжелевшему глазу.
Двери вдруг заляскали,
будто у гостиницы
не попадает зуб на зуб.

Вошла ты
резкая, как «нате!»,
муча перчатки замш,
сказала:
«Знаете —
я выхожу замуж».

Что ж, выходите.
Ничего.
Покреплюсь.
Видите — спокоен как!
Как пульс
покойника.

Помните?
Вы говорили:
«Джек Лондон,
деньги,
любовь,
страсть», —
а я одно видел:
вы — Джиоконда,
которую надо украть!

И украли.
Опять влюбленный выйду в игры,
огнем озаряя бровей загиб.
Что же!
И в доме, который выгорел,
иногда живут бездомные бродяги!

Дразните?
«Меньше, чем у нищего копеек,
у вас изумрудов безумий».
Помните!
Погибла Помпея,
когда раздражили Везувий!

Эй!
Господа!
Любители
святотатств,
преступлений,
боев, —
а самое страшное

видели —
лицо мое,
когда
я
абсолютно спокоен?

И чувствую —
«я»
для меня мало.
Кто-то из меня вырывается упрямо.

Алло!
Кто говорит!
Мама?
Мама!
Ваш сын прекрасно болен!
Мама!
У него пожар сердца.
Скажите сестрам, Люде и Оле, —
ему уже некуда деться.
Каждое слово,
даже шутка,
которые изрыгает обгорающим ртом он,
выбрасывается, как голая проститутка
из горящего публичного дома.

Люди нюхают —
запахло жареным!
Нагнали каких-то.
Блестящие!
В касках!
Нельзя сапожища!
Скажите пожарным:
на сердце горящее лезут в ласках.
Я сам.
Глаза наслезённые бочками выкачу.
Дайте о ребра опереться.
Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу!
Рухнули.
Не выскочишь из сердца!

.....

1919—1920

ИЗ ПОЭМЫ «ПРО ЭТО»
ПРОШЕНИЕ НА ИМЯ...

Прошу вас, товарищ химик,
заполните сами!

Пристает ковчег.
Сюда лучами!

Пристань.
Эй!
Кидай канат ко мне!

И сейчас же
ощутил плечами
тяжесть подоконничьих камней.
Солнце
ночь потопа высушило жаром.
У окна
в жару встречаю день я.

Только с глобуса — гора Килиманджаро.
Только с карты африканской — Кения.
Голой головою глобус.
Я над глобусом

от горя горблюсь.

Мир
хотел бы
в этой груди горя
настоящие облапить груди-горы.
Чтобы с полюсов

по всем жильям
лаву раскатил, горящ и каменист,
так хотел бы разрыдаться я,
медведь-коммунист.
Столбовой отец мой

дворянин,
кожа на моих руках тонка.
Может,

я стихами выхлебаю дни,
и не увидав токарного станка.

Но дыханием моим,
сердцебиением,

голосом,
каждым острием издыбленного в ужас

волоса,
дырами ноздрей,

гвоздями глаз,
зубом, искрежещенным в звериный лязг.
ёжью кожи,

гнева брови сборами,
триллионом пор,

дословно —
всеми порами

в осень,
в зиму,

в весну,
в лето,

в день,
в сон

не приемлю,
ненавижу это

всё.

Всё,
что в нас
ушедшим рабьим вбито,

все,
что мелочинным роем

оседало
и осело бытом

даже в нашем
краснофлагом строе.

Я не доставлю радости
видеть,

что сам от заряда стих.
За мной не скоро потянете

об упокой его душу таланте.

Меня
из-за угла

ножом можно.
Дантесам в мой не целить лоб.

Четырежды состарюсь — четырежды
омоложенный,

Я любил...
 Не стоит в старом рыться.
 Больно?
 Пусть...
 Живешь и болью дорожась.
 Я зверье еще люблю —
 у вас
 зверинцы
 есть?
 Пустите к зверю в сторожа.
 Я люблю зверье.
 Увидишь собачонку —
 тут у булочной одна —
 сплошная плешь,—
 из себя
 и то готов достать печенку.
 Мне не жалко, дорогая,
 ешь!

ЛЮБОВЬ

Может,
 может быть,
 когда-нибудь
 дорожкой зоологических аллей
 и она —
 она зверей любила —
 тоже ступит в сад,
 улыбаясь,
 вот такая,
 как на карточке в столе.
 Она красивая —
 ее, наверно, воскресят.
 Ваш
 тридцатый век
 обгонит стаи
 сердце раздиравших мелочей.
 Нынче недолюбленное
 наверстаем
 звездностью бесчисленных ночей.
 Воскреси
 хотя б за то,
 что я
 поэтом
 ждал тебя,
 откинул будничную чушь!
 Воскреси меня
 хотя б за это!
 Воскреси —
 свое дожить хочу!
 Чтоб не было любви — служанки
 замужеств,
 похоти,
 хлебов.
 Постели прокляв,
 встав с лежанки,
 чтоб всей вселенной шла любовь.
 Чтоб день,
 который горем старящ,
 не христарадничать, моля.

Чтоб вся
 на первый крик:
 — Товарищ! —
 оборачивалась земля.
 Чтоб жить
 не в жертву дома дырам.
 Чтоб мог
 в родне
 отныне
 стать
 отец
 по крайней мере миром,
 землей по крайней мере — мать.

Декабрь 1922 — февраль 1923

ВО ВЕСЬ ГОЛОС

Первое вступление в поэму
 (фрагменты)

Уважаемые
 товарищи потомки!
 Роясь
 в сегодняшнем
 окаменевшем говне,
 Наших дней изучая потемки,
 вы,
 возможно,
 спросите и обо мне.
 И, возможно, скажет
 ваш ученый,
 Кроя эрудицией
 вопросов рой,
 что жил-де такой
 певец кипяченой
 и ярый враг воды сырой.
 Профессор,
 снимите очки-велосипед!
 Я сам расскажу
 о времени
 и о себе.
 Я, ассенизатор
 и водовоз,
 революцией
 мобилизованный и призванный,
 ушел на фронт
 из барских садоводств
 поэзии —
 бабы капризной...

 Неважная честь,
 чтоб из этаких роз
 мои изваяния высились
 по скверам,
 где харкает туберкулез,
 где блядь с хулиганом
 да сифилис.
 И мне
 агитпроп
 в зубах навяз,

НИКОЛАЙ МИНАЕВ

1893—1967

Печатался еще до 1917 года в провинциальных «чтецах-декламаторах», однако всерьез был замечен лишь после выхода первой книги — «Прохлада» (1926), которую уже в наши дни Р. Д. Тименчик назвал «акмеистической». Был репрессирован, дожил до освобождения, но к литературе не вернулся, занявшись графикой. Его архив хранится в Государственном литературном музее в Москве.

* * *

Когда простую жизнь я скукой рассеку
И мне надоедят стихи, дела и лица,—
Я брошу всех и все, поеду в Мексику,
Чтоб телом и душой кой-как расшевелиться.
Из Калифорнии, минуя Гуаймас,
У Рио-дель Норте восточней Аризоны
Я в прерию вступлю, где рыщут и сейчас
Искатели следов, индейцы и бизоны.
Я буду обсыхать и греться у костра.
Спать где-нибудь в кустах,
закутавшись брезентом,
И подкупив бродяг десятка полтора,
Провозглашу себя техасским президентом.
И даже, может быть, кого-нибудь убью,
Иль к первой встречной вдруг воспламенев
не в меру
Я потащусь за ней через Колумбию
Куда-нибудь на юг, в Бразилию иль в Перу.

* * *

За могилу твою, что засыпана снегом сыпучим,
Что обвеяна ветром горячим
— Кто заплатит? Какою ценой?
За мои одинокие дни, за мои непробудные ночи,
За проклятый разбег этих букв, этих слов,
этих строчек,
Под огромной холодной луной!
Кто вернет мне шаги в моей комнате узкой
и белой!
Знаю,— некуда, не к кому — только бегу
и бегу,
Как затравленный пес — волочу я постылое
тело
Сквозь миры, сквозь века — и замучить его
не могу!
И миры, и века отзываются вьюгой и воем...
Петербургское небо и песня моя!
И на черной земле, на рассвете глухом ноября
Светит снежной звездой и последним ласкает
покоем
Мое горькое счастье — простая могила твоя.

МАКАР ПАСЫНОК

1893, Режица Витебской губ.—1946, Москва

Псевдоним Исаака Когана-Ласкина.

Популярность Пасынку принесло одно из его ранних стихотворений, «Сапожник», напечатанное еще в 1913 году в «Новой рабочей газете». Участник гражданской войны, Макар Пасынок был одним из первых пролетарских поэтов, который умел, по выражению Безыменского, «за каждой мелочью революцию мировую найти». Сейчас такой псевдоним выглядел бы театральным, а тогда он был сочинен самой историей.

ПОРТРЕТ

Не помню ни отца, ни матери:
Истлели в суматохе лет...
А вы свое:
«Отец характером,
Лицом —
Мамаши вылитый портрет».

Ну как поверю я, пургой обветренный,
С десятками зим на плечах,
Что ласки отца в борьбе не растеряны,
Что облик матери в пути не зачах.

Не раз я думал: себя попробую
Рукой корявой нарисовать,
Но исчезал в огне отец мой сторбленный,
На баррикадах — исчезала мать.

Путь взборожден Октябрьским трактором,
Нет прошлого — смыт кровью след...
А вы свое:
«Отец характером,
Лицом —
Мамаши вылитый портрет».

1923

СЕМЕН РОДОВ

1893, Херсон—1968, Москва

Фигура по-нехорошему в русской поэзии легендарная. «Дорогойченко, Герасимов, Кириллов, Родов — какой однообразный пейзаж!» — безжалостно пришил его к вечности Маяковский. Еще страшней то, что написал о нем в статье «Неудачники» Вл. Ходасевич: «... Вскоре после переворота он принес на мой суд новую поэму. Не помню ее теперь, помню только, что ее темой был Октябрь. Ненависть автора к большевикам была кровожадна до отвращения. Заканчивалась поэма в том смысле, что, дескать, вы победили, но мы еще отомстим. Как рефрен, повторялся образ санитарного автомобиля, который носится по Москве, по Садовым:

Кругом, кругом, кругом, кругом.

<...> Это было летом 1918 года. <...> Настала осень. Мне предложили читать лекции в Пролеткульте <...>. Велико было мое удивление, когда в числе пролетарских поэтов я увидел и Родова, уже не в студенческой тужурке, а в кожаной куртке. <...> Признаюсь, мне стоило труда сдержаться, когда на одном из воскресных исполнительных собраний стал он при мне, ничуть не смущаясь, читать поэму «Октябрь». Это была та самая поэма, которую я знал, но перелицованная, как старая шуба, и положенная на красную подкладку. Из противобольшевистской она сделалась яростнобольшевистской. Однако вся описательная часть была сохранена вместе с автомобилем, который носится по Садовым:

Кругом, кругом, кругом, кругом».

Статья (более ранняя, чем приведенные выше «Неудачники») Ходасевича «Господин Родов» (1925) была одной из главных причин, по которым в марте 1925 года советское посольство в Риме отказало ему в пролонгации загранпаспорта, потребовало его немедленного приезда в СССР — чем Ходасевич и был переведен на положение окончательного эмигранта.

Первый сборник Родова «Мой сев» вышел в 1918 году. Он был членом «Кузницы», одним из организаторов группы «Октябрь». В 1923—1924 годах был главным редактором журнала «На посту». Затем руководил МАППом и ВАППом. Позже ни литературная, ни политическая жизнь Родова не удалась, и он остался в памяти лишь благодаря упоминаниям у Маяковского и Ходасевича, да еще в подстрочных перечислениях; его судьба — печальный пример того, как поэт ставит политику выше поэзии и, переставая быть поэтом, не становится серьезным политиком. Ну, а отрывок из «перелицованной поэмы» «Октябрь» предъявить читателям все же необходимо.

ИЗ ПОЭМЫ «ОКТАБРЬ»

IX

Здравствуй, Смерть! К тебе я вышел.
Встань, как верный часовой!
Пулемет узоры вышил
По-над самой головой,
Пролетела пуля мухой
Мимо вспугнутого уха,
Цокнул саблей у плеча
Гимназистик сгоряча.
Где же, Смерть, ты в час такой?
Изменила, что ли, другу
Или спряталась с испугу
В переулках, на Тверской?
Что ж! Туда, где правит Пушкин
Суетою шумных мест,
Под затрясшиеся пушки
Наставлять свой красный крест.
На Леонтьевский, на Брюсов
Подбирать лихих и трусов,
К Чернышевскому сквозь строй
Мертвых пронести с сестрой.
Что ж ты пятишься назад,
Смерть, зовущая к расплате?
Уж не ждешь ли на Арбате
У колючих баррикад?
Вот Арбат. Смоленский рынок.
Зубовская. Крымский мост.
Ночь сурова, словно иннок,
Не соблюдишь строгий пост.
Притаив у жерол смерти,
Как задумчивые черты,

Пушки выстроились в ряд
И в Москву-реку глядят,
Скоро ль плюнут свой запал
И куда пошлют гостинец,—
В хоровод больших гостиниц
Или в желтый арсенал?

По дуге Замоскворечья
От вокзала на вокзал —
Смерти, раны и увечья
Кажет нам за валом вал.
Просочилось кровью днище;
Мой авто давно кладбище,
Сам я гибели — ямщик,
Неустанный гробовщик.
Я за смертью правлю руль,—
Что ж среди других отметин
На усталом не заметен
Красный след проворных пуль?

Кругом, кругом, кругом, кругом —
Окровавленной Москвой —
На коне я мчусь упругом,
Смерть — мой быстрый вестовой.
В лазарете брошу тело,—
Пуля тотчас вслед запела,
Чтоб другое на пути
Через улицу найти.
Рыщешь. Ищешь. Дым густой.
Так и едешь, едешь, едешь,
Будто бредишь, бредишь, бредишь —
Кровью пролитой.

X

Крутится, вертится чертиком, чертиком
 В небе гудящий снаряд.
 Прапорщик тоненьким, узеньким кортиком
 Режет у пуль остря.
 Выстрел за выстрелом, свалка за свалкою,
 Кто убивает, кого?

Будет отмечено ль памятью жалкою
 Их торжество?
 Крутится, вертится чертиком, чертиком
 Новый гудящий снаряд.
 Прапорщик тоненьким, узеньким кортиком
 Режет у пуль остря.

АЛЕКСАНДР СОЛОДОВНИКОВ

1893—1974

Родился в семье учителя, выходца из купцов. Закончил коммерческое училище, в годы Первой мировой учился в военном. После гражданской войны работал в АРА (американской ассоциации помощи), в Тресте точной механики. В 1938 году был арестован, десять лет провел в колымских лагерях, затем на поселении, работая воспитателем детского сада. Написал историю рода Солодовниковых (хранящуюся в Ленинке) и историю Ваганьковского кладбища. Рукопись его стихов, любезно присланная мне исследователем его творчества Е. Даниловым, поразила меня высокой культурой души. У Солодовникова хватило христианства на то, чтобы даже лагерь не проклясть, хватило мужества поблагодарить судьбу за то, что ниспосланными страданиями спасла его от греха преуспевания в то время, когда безвинно страдают другие. Эти два стихотворения — два исторических свидетельства о русской душе, не сдавшей дьяволу в геенне огненной.

ИЗ ЦИКЛА «ТЮРЬМА»

Решетка ржавая, спасибо,
 Спасибо, старая тюрьма!
 Такую волю дать могли бы
 Мне только посох да сума.

Мной не владеют больше вещи,
 Всё потемня и глуша,
 Но Солнце, Солнце, Солнце блещет,
 И тихо говорит душа.

Запоры крепкие, спасибо!
 Спасибо, лезвие штыка!
 Такую мудрость дать могли бы
 Мне только долги века.

Не напрягая больше слуха,
 Чтоб уцелеть в тревоге дня,
 Я слышу все томленья духа
 С Екклезиаста до меня.

Спасибо, цвет коптилки слабый,
 Спасибо, жесткая постель.
 Такую радость дать могла бы
 Мне только детства колыбель.

Уж я не бьюсь в сетях словесных,
 Ища причин добру и злу,
 Но в ожиданьи тайн чудесных
 Надеюсь, верю и люблю.

ВЕРБНАЯ ВСЕНОЩНАЯ

Пришел я ко всенощной с вербой в руках,
 С расцветшими ветками в нежных пушках.
 Пушистые шарики трогаю я —
 Вот этот — умершая дочка моя.
 Тот мягонький птенчик —
 Сын мой младенчик,
 Двоешка под крепким брусничным листом —
 Во всем наразлучные мать с отцом.
 Тот шарик без зелени —
 Друг мой расстрелянный,
 К веткам прильнувший —
 Племяш утонувший,
 Смятый и скрученный —
 Брат мой замученный,
 А тот глянцевитый —
 Брат мой убитый.
 Шариков хватит на ветках тугих
 Для всех отошедших моих дорогих.
 Лица людей — лики икон,
 Каждый свечою своей озарен.
 Вербная роща в храм внесена,
 В каждое сердце входит весна.
 Радостно пение:
 Всем воскресение!
 Общее, общее всем воскресение!
 Трепетны свечи
 Близостью встречи,
 Смысл уясняется в каждой судьбе.
 Слава Тебе!

Слава Тебе!

ВАСИЛИЙ СУМБАТОВ**1893, Петербург—1977**

Был коренным петербуржцем, однако же настоящим грузинским князем. В годы гражданской войны эмигрировал в Германию, где в начале 20-х выпустил первый сборник, потом навсегда уехал в Италию, где издал еще две книги — «Стихотворения» (1956) и «Прозрачная тьма» (1969). Название последней книги не случайно: с конца 50-х годов Сумбатов был слеп. Стихотворение «Два сувенира» стало хрестоматийным,— правда, чаще оно печаталось под заголовком «Апельсин и яйцо».

ДВА СУВЕНИРА*Владимиру Смоленскому*

Иссохший, легкий, с бронзовой кожей
Он мал и тверд, но это — апельсин.
В моем саду он рос и зрел один,
На золотое яблочко похожий.

Куст был покрыт цветами для невест —
Цветами подвенечного убора,
Но лишь один дал плод,— другие скоро
Осыпались, развеялись окрест.

Храню его, а он благоуханье
Свое хранит, свой горький аромат;
Встряхнешь его — в нем семена стучат
И будят о другом воспоминанье,—

И вижу я пасхальное яйцо,
Полвека пролежавшее в божнице

У няни, и мелькающие спицы
В ее руках, и доброе лицо.

— Со мной им похристосовался Гриша,
Мой суженый,— начнет она рассказ,
И снова я, уже не в первый раз,
О Грише, женихе погибшем, слышу.

Война, набор, жених уйдет в поход
И никогда к невесте не вернется...
Тут няня вдруг вздохнет и улыбнется
И, взяв яйцо, над ухом мне встряхнет.

В сухом яйце постукивает что-то.
— Кто в нем живет? — спрошу я,

чуть дыша,

И няня скажет: — Гришина душа! —
И вновь яйцо положит у киота.

МИХАИЛ ФОРШТЕТЕР**1893, Москва—1959, Люксембург**

При жизни поэт был совершенно безвестен, практически не печатался; с начала 20-х годов жил в эмиграции, в литературной жизни не участвовал. В 1959 году умер в Люксембурге; лишь после его смерти друг поэта Сергей Маковский издал книгу стихотворений Форштетера, говорящую о немалом даровании этого «добровольного неизвестного».

ОКТАБРЬ

Как молот, тяжкие удары
в свинцовых глохнут небесах,
и врассыпную на рысях
куда-то пьяные гусары.

Фуражки сбиты набекрень
и лица напряженно-дики.
Издали несутся крики
сквозь тускло-сумеречный день.

Пустая улица черна,
зияют подворотен жёрла,

и судорогой сводит горло,
когда посмотришь из окна.

Забор, слепые фонари,
и дали заревом разъяты...
Сойди по лестнице горбатой,
тихонько двери отвори —

и слушай: шелест дождевой
пронзают выстрелы глухие...
Сегодня падшая Россия
скорбит над мертвою Москвой.

(1917)

ВАДИМ ШЕРШЕНЕВИЧ

1893, Казань—1942, Барнаул

Незаслуженно забытый поэт. Странно, что никто из литературоведов не заметил поэзию Шершеневича как следование раннему Маяковскому. Пожалуй, ни один другой поэт настолько не был интонационно и образно близок «Облаку в штанах», «Флейте-позвочнику», как Шершеневич, хотя он явно не дотягивал до Маяковского в поэтической мощи. Но дух ненависти к мещанству в жизни и в литературе был единым. Не случайно Шершеневич сначала примкнул к футуристам, а затем работал в РОСТА. С начала 30-х исчез со страниц литературных журналов, как будто Маяковский, уйдя из жизни, увел его из поэзии. Занимался переводами, работал в театре, — но стихи писал до самой смерти. Умер в эвакуации, в Барнауле. Недавно издана его мемуарная книга «Великолепный очевидец» — увы, в варианте, изувеченном еще цензурой 30-х годов (но тогда книга все равно не вышла). Пик дарования Шершеневича — 1917—1923 годы.

СОДЕРЖАНИЕ ПЛЮС ГОРЕЧЬ

Послушай! Нельзя же такой безнадежно
суровой,
Неласковой!
Я под этим взглядом, как рабочий на стройке
новой,
Которому: протаскивай!
А мне не протащить печаль сквозь зрачок.
Счастье, как мальчик
С пальчик,
С вершок.
Милая! Ведь навзрыд истомилась ты:
Ну, так оторви
Лоскуток милости
От шуршащего платья любви!
Ведь даже городской
Приласкал кошку, к его сапогам пахучим
Притулившуюся от вьюги ночной.
А мы зрачки свои дразним и мучим.
Где-то масленица широкой волной
Затопила засохший пост
И кометный хвост
Сметает метлой
С небесного стола крошки скудных звезд.
Хоть один поцелуй. Исподтишечной украдкой,
Как внезапно солнце сквозь серенький день.
Пойми:
За спокойным лицом, непрозрачной облаткой,
Горький хинин тоски!
Я жду, когда рот поцелуем завишнитесь
И из него косточкой поцелуя выскочит стон,
А рассветного неба пятишница
Уже радушно значит сто.
Неужели же вечно радости объедки?
Навсегда ль это всюдное «бы»?
И на улицах Москвы, как в огромной рулетке,
Мое сердце лишь шарик в руках искусных
судьбы.
И ждать, пока крупье, одетый в черное
и серебро,
Как лакей иль как смерть, все равно быть
может,
На кладбищенское зеро
Этот красненький шарик положит!

Октябрь, 1915

Н. ГУМИЛЕВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

О как дерзаю я, смущенный,
Вам посвятить обломки строф.

— Небрежный труд, но освещенный
Созвездьем букв: «а Goumileff».

С распущенными парусами
Перевезли в своей ладье
Вы под чужими небесами
Великолепного Готье...

В теплицах же моих не снимут
С растений иноземных плод:
Их погубил не русский климат,
А неумелый садовод.

РИТМИЧЕСКАЯ ОБРАЗНОСТЬ

Какое мне дело, что кровохаркающий поршень
Истории сегодня качнулся под божьей рукой.
Если опять грустью изморщен
Твой голос, слабый такой?!

На метле революций на шабаш выдумок
Россия несется сквозь полночь пусть!
О если б своей немислимой обидой мог
Искупить до дна твою грусть!

Снова голос твой скорбью старинной дрожит,
Снова взгляд твой сутулится, больная моя!
И опять небывалого счастья чертя чертежи,
Я хочу населить твоё сердце необитаемое!

Ведь не боги обжигают людское раздолье!
Ожогам горяч достаточно стих!
Что мне, что мир поперхнулся болью,
Если плачут глаза твои, и мне не спасти их!

Открыть бы пошире свой паршивый рот,
Чтоб песни развесить черной судьбе,
И приволочь силком, вот так, за шиворот,
Несказанное счастье к тебе!

Март 1918

ПРИНЦИП ЗВУКА МИНУС ОБРАЗ

Влюбится чиновник, изгрызанный молью вхо-
дящих и старый
В какую-нибудь молоденькую, худощавую
дрянь.

И натвердит ей, бренча гитарой,
 Слова простые и запыленные, как герань.
 Влюбится профессор, в очках плешеватый,
 Отвыкший от жизни, от сердец, от стихов,
 И любовь в старинном переплете цитаты
 Поднесет растерявшийся с букетом цветов.
 Влюбится поэт и хвастает: Выграню
 Ваше имя солнцами по лазури я!
 — Ну, а как если все слова любви заиграны.
 Будто вальс «На сопках Манджурии»?!
 Хочется придумать для любви не слова, а вздох
 малый,
 Нежный, как пушок у лебедя под крылом,
 А дурни назовут декадентом пожалуй,
 И футуристом — написавший критический том!
 Им ли поверить, что в синий
 Синий,
 Дымный день у озера, роняя перья, как белые
 капли,
 Лебедь не по-лебяжьки твердит о любви
 лебедине,
 А на чужом языке (стрекозы или цапли).
 Когда в петлицу облаков вставлена луна чайная,
 Как расскажу словами людскими
 Про твои поцелуи необычайные
 И про твое невозможное имя?!
 Вылупляется бабочка июня из зеленого кокона
 мая,
 Через май за полдень любовь не устанет расти.
 И вместо прискучившего: я люблю тебя,
 дорогая! —
 Прокричу: пинь-пинь-ти-то-ти!
 Это демон, крестя меня миру на муки,
 Человечьему сердцу дал лишь людские слова,
 Не поймет даже та, которой губ тяну я руки,
 Мое простое: лэ-сэ-сэ-фиоррррр-эй-ва!
 Осталось придумывать небывалые созвучья,
 Малярною кистью вычерчивать профиль
 тонкий лица,
 И душу, хотящую крика, измучить
 Невозможностью крикнуть о любви до конца!

Март 1918

ЭСТРАДНАЯ АРХИТЕКТОНИКА

Мы последние в нашей касте
 И жить нам недолгий срок.
 Мы коробейники счастья,
 Кустари задушевных строк!
 Скоро вытекут на смену оравы
 Не знающих сгустков в крови,
 Машинисты железной славы
 И ремесленники любви.
 И в жизни оставят место
 Свободным от машин и основ:
 Семь минут для ласки невесты,
 Три секунды в день для стихов.

Со стальными, как рельсы, нервами
 (Не в хулу говорю, а в лезть!)
 От двенадцати до полчаса первого
 Буду молиться и есть!
 Торопитесь же, девушки, женщины,
 Влюбляйтесь в певцов чудес,
 Мы пока последние трещины,
 Что не залил в мире прогресс!
 Мы последние в нашей династии,
 Любите же в оставшийся срок
 Нас, коробейников счастья,
 Кустарей задушевных строк!

Сентябрь 1918

КВАРТЕТ ТЕМ

От 1893 до 919 пропитано грустным зрелищем:
 В этой жизни тревожной, как любовь
 в девичьей,
 Где лампа одета лохмотьями копоти и дыма,
 Где в окошке кокарда лунного огня,
 Многие научились о Вадиме Шершеневиче,
 Некоторые ладонь о ладонь с Вадимом
 Габриэлевичем,
 Несколько знают походку губ Димы,
 Но никто не знает меня.

...Краску слов из тюбика губ не выдавить
 Даже сильным рукам тоски.
 Из чулана одиночества не выйду ведь
 Без одежд гробовой доски.

Не называл Македонским себя иль Кесарем.
 Но частехонько в спальней тиши
 Я с повадкой лучшего слесаря
 Отпирал самый трудный замок души.

И снимая костюм мой ряшливый,
 Сыт от манны с небесных лотков,
 О своей судьбе я выспрашивал
 У кукушки трамвайных звонков.

Вадим Шершеневич перед толпою безликою
 Выжимает, как атлет, стопудовую гирию моей
 головы,
 А я тихонько, как часики, тикаю
 В жилетном кармане Москвы.

Вадим Габриэлевич вагоновожатый веселий
 Между всеми вагонный стык.
 А я люблю в одинокой постели
 Словно страус в подушек кусты.

Губы Димки полозьями быстрых санок
 По белому телу любовниц в весну.
 А губы мои в ствол нагана
 Словно стальную соску сосут.

Сентябрь 1919

ЛИРИЧЕСКИЙ ДИНАМИЗМ

Звонко кричу галеркою голоса ваше имя,
 Повторяю его
 Партером баса моего.
 Вот ладоням вашим губами моими
 Присосусь, пока сердце не навзничь мертво.

Вас взвидя и радый, как с необитаемого
 острова,
 Замечающий пароходного дыма струю,
 Вам хотел я так много, но глыбою хлеба
 черствого
 Принес лишь любовь людскую
 Большую
 Мою.

Вы примите ее и стекляшками слез во взгляде
 Вызвоните дни бурые, как пережженный
 антрацит.
 Вам любовь,— как наивный ребенок любимому
 дяде
 Свою сломанную игрушку дарит.
 И внимательный дядя знает, что это
 Самое дорогое ребенок дал.
 Чем же он виноват, что большего
 Нету,
 Что для большего
 Он еще мал?!

Это вашим ладоням несу мои детские вещи:
 Человечью поломанную любовь и поэтину
 тишь.

Март 1919

И сердце плачет и надеждою блещет,
 Как после ливня железо крыш.

РИТМИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ

Р. Року

Занозу тела из города вытащил. В упор,
 Из-за скинутой с глаза дачи,
 Развалился ломберный кругозор,
 По-бабьему ноги дорог раскарячив.

Сзади: золотые канарейки церковей,
 Наотмашь зернистые трели субботы.
 Надо мною: пустыня голобрюхая, в ней
 Жавороночная булькота.

Все поля крупным почерком плут
 Исписал в хлебопашном блюде.
 На горизонте солнечный выюк
 Качается на бугре — одногорбом верблюде.

Как редкие шахматы к концу игры,
 Телеграфа столбы застыли...
 Ноги, привыкшие к асфальту жары,
 Энергично кидаю по пыли.

Как сбежавший от няни детеныш — мой глаз
 Жрет простор и зеленую карамель почек,
 И я сам забываю, что живу, крестясь
 На электрический счетчик.

Август 1919

ЛАЗАРЬ БЕРМАН

1894, Петербург — 1980, Москва

Автор двух книг стихов («Неотступная свита», 1915, и «Новая Троя», 1921). Участвовал в «Цехе поэтов». Писал научно-популярные книги для детей. Был добровольцем в Великую Отечественную войну. После войны организовал единственную в Москве детскую автостраду.

* * *

Сошлась домов огромных группа
 Здесь как на митинге. И вот
 Трубою вытянутый рупор
 Широко разевает рот.

Он чувства вызвать в них стремится,
 Поет,
 играет,
 говорит,
 Но эти каменные лица
 Хранят невозмутимый вид.

Вчера в глаза им било пламя,
 Слепя зеркально-ясный взгляд.
 Теперь пустых глазниц рядами
 Они бессмысленно глядят.

Слова военных сводок скупы,
 Но нет живительнее слов!
 Так говори ж, бессонный рупор
 С пустыми дуплами домов!

1940-е

ВЕРА ЗВЯГИНЦЕВА**1894, Москва — 1972, там же**

Первая книга стихов «На мосту» вышла в 1922 году. Талантливая переводчица с украинского, с армянского. Была знаменита тем, что, будучи одинокой и обладая добрейшим сердцем, раздавала все свои гонорары взаймы молодым поэтам, одним из которых был составитель этой антологии.

* * *

Порою спросит кто-нибудь:
 Ну, как ты чувствуешь себя?
 Себя? Зачем? Других, тебя,
 Всех, с кем у нас единый путь.
 Судьбу моей родной страны,
 Удачу чьих-то ярких строк,
 Дыханье городской весны,
 Пыль неисхоженных дорог.
 А чувствовать себя... Зачем?
 Я чувствую чужую ложь,
 Как в грудь входящий острый нож,

Я подвиг чувствую чужой,
 Как взлет неизъяснимый свой.
 Все спорит, все кипит вокруг, —
 Вот что я чувствую, мой друг.
 Так мало я могу сама,
 Но тороплюсь идти, идти,
 Чтоб силу чувства и ума
 Удвоить хоть в конце пути.
 До слез, до боли жизнь любя,
 Я научилась одному:
 Не жаловаться никому
 На то, как чувствую себя.

ВЛАДИМИР ЗЛОБИН**1894—1967, Париж**

Был бессменным секретарем З. Гишпиус и Д. Мережковского, о которых оставил прекрасные воспоминания. Всю жизнь находился в их тени, хотя писал стихи и печатал их еще в России; единственный сборник стихотворений издал в Париже в 1951 году («После ее смерти»). Однако лучшие стихи написал в самые поздние годы.

* * *

Часы Публичной библиотеки
 Сказали: половина пятого.
 Гостиный двор. В пальто на котике
 Прошла любовница богатого.

И грязью мелкою и талою
 Ложится снег по лентам каменным...
 Трамваи улицу усталую
 Перерезают крестным знаменем.

А на углу, годами согнутый,
 Ларек с халвою и пирожными.
 И люди, наглухо застегнуты,
 Идут, застывшие и ложные.

О, кто из них при свете месяца
 Сегодня, потеряв терпение,
 На чердаке своем повесится
 Из чувства самосохранения?

<1916>

НОЧЬЮ

Не спишь, и так близко, так ясно,
 Так тихо, неожиданно, без слов:
 «О, вспомни, пойми — все напрасно:
 Ты проклят на веки веков».

Молчанье. Глаза закрываю.
 Бежать? Но куда убегу?
 И плачу, и что-то считаю,
 И все сосчитать не могу.

Пустот неподвижных громады,
 Бессмысленных цифр торжество.
 И нет ни конца, ни пощады.
 Ни зла, ни добра — ничего.

САМОЗВАНКА

Нет, ты не муза, ты — другая,
 Ее соперница, двойник.
 Самоуверенная, злая,
 Несдержанная на язык.

Не та, что царственно-спокойна
 Не скажет в гневе ничего.
 Обманщица, ты недостойна
 Гостеприимства моего.

Всё ж не гоню, тебя мне жалко.
 И ночь и глушь и дождь идет.
 Но помни, там, за дверью палка,
 Которая пребольно бьет.

БОРИС ЗУБАКИН

1894—1937

Автор единственного стихотворного сборника, поэт-импровизатор, ездивший в этом качестве в 1927 году в Италию к Горькому, о чем вспоминает Н. Берберова в книге «Курсив мой». Забыт, как забывают почти всех импровизаторов,— даже самых талантливых.

СТАРУХА-НИЩЕНКА

А. М. Пешкову

От старой паперти такая тень густая;
Луна как щит меж небом и землей
И облако, себя перерастая,
Задумалось над церковкой седой...
Но старше церкви, облаков и ночи
Старуха-нищенка на паперти глухой
Сидит и слушает, согнувшись над клюкой,
Как тишина сама с собой бормочет.
Прошла она во все концы земли:
Пещера, Киева — пещеры, высь Афона...
В лесах ей птицы пели тропари
И тополя, кадили благовоно.
Ее морщины — вехи бурных дней —
Руслó песчаное реки, что отбурлила.
И Ангел смерти позабыл о ней,
Как и она о жизни позабыла.
Но вот, шаги запели у простенка —

И об руку, озарены луной
В ее жемчужных ласковых оттенках,—
Простая девушка и парень городской.
...Завороженные, вперяя взгляд незрячий,—
Идут влюбленные, смешные по-ребячьи.
Земля под ними гнется и поет!
Вспоет земля и пыль озолотится,
И камни впляс... но лишь прошли — и вот —
Еще темней тоскливый мрак сгустится,
И втянет в плечи голову земля,—
Вздыхнув о них и лаской оделя...
А те в ночной притихнувшей ограде —
Идут не видя и прошли не глядя!
Старухи-нищей взор, как прежде, пуст...
Но вот, крестясь во след прошедшим,
встала —

И вдруг — горячий шепот старых уст: —
«Не обижай их, Господи!»

1927, Сорренто

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

1894, Студёнки Ковенской губ. — 1958, Йер-ле-Пальмье, Франция

Родился в имении Студёнки близ Ковно, некогда воспитом Мицкевичем; учился в Петербурге, в Кадетском корпусе. Печататься стал в 1910 году сразу и как поэт и как критик (дебютировал ни много ни мало рецензией на... «Киярисовый ларец» Анненского). Первая его книга, «Отплытие на о. Цитеру», вышедшая в конце 1911 года — хотя на обложке проставлен 1912 год,— была образцом типичной «ювенилии», от которой в зрелые годы поэт начисто отрекся. Позже вышли его книги «Горница» (1914), ура-патриотический «Памятник славы» (1915), который не спасала даже прекрасная обложка работы Егора Нарбута, наконец, первое издание сборника «Вереск» (1916), — каждая из этих книг рецензировалась старшим другом Г. Иванова, Гумилевым, всегда жестко и всегда благожелательно. В начале 20-х годов Г. Иванов разошелся с первой женой, танцовщицей мейерхольдовского театра Габриэль Тернизыен, и женился на Ирине Одоевцевой, ярко дебютировавшей поэтическим сборником «Двор чудес» (1921). К этому времени Г. Иванов подвел итог всему написанному в России, собрав и пересоставив «ювенилию»: написанное до 1914 года — в сборник «Лампада», написанное в 1914—1916 годах — во второе издание сборника «Вереск», и прибавив к ним третий сборник, «Сады», где выступил достаточно ярко. Осенью 1922 года на пароходе он отплыл в Германию, где прожил год, а позже они с Одоевцевой переехали во Францию: там Г. Иванов провел всю оставшуюся жизнь. В 20-е годы им создан один из самых знаменитых в тогдашней эмиграции поэтических сборников — «Розы» (1931), затем в 1937 году он выпустил «Избранное» — «Отплытие на остров Цитеру» — и замолчал почти на десятилетие, предварив, впрочем, период молчания прекрасной книгой «Распад атома». Затем в его творчестве произошел качественный перелом: большим поэтом Георгия Иванова сделала трагическая безысходность эмиграции, нищета, нехватка воздуха, постоянная боль. Уступая Ходасевичу в чеканности, он выигрывал в человеческой простоте, в скептической исповедальности своей поэзии, все больше и больше подходившей к сюрреализму. После войны он выпустил сборник «Портрет без сходства» (Париж, 1950), через несколько месяцев после его смерти в Нью-Йорке вышла последняя, самая большая книга Иванова: «1943—1958. Стихи». Ему принадлежит также книга мемуаров «Петербургские зимы»; скандальность их была вызвана не лживостью, а именно тем, что поэт рассказал в книге значительно больше того, что хотелось услышать современникам. Георгий Иванов известен также как автор нескольких десятков новелл, неоконченного романа «Третий Рим», очерков и статей о современной литературе.

* * *

Овеянный тускнеющею славой,
В кольце святош, кретинов и пройдох,
Не изнемог в бою Орел Двуглавый,
А жутко, унижительно издох.

Один сказал с усмешкою: «дождался!»
Другой заплакал: «Господи, прости...»
А чучела никто не догадался
В изгнание, как в могилу, унести.

* * *

Иду — и думаю о разном,
Плету на гроб себе венок,
И в этом мире безобразном
Благообразно одинок.

Но слышу вдруг: война, идея,
Последний бой, двадцатый век...
И вспоминаю, холодея,
Что я уже не человек,

А судорога идиота,
Природой созданная зря —
«Ура!» из пасти патриота,
«Долой!» из глотки бунтаря.

* * *

Свободен путь под Фермопилами
На все четыре стороны.
И Греция цветет могилами,
Как будто не было войны.

А мы — Леонтьева и Тютчева
Сумбурные ученики —
Мы никогда не знали лучшего,
Чем праздной жизни пустяки.

Мы тешимся самообманами,
И нам потворствует весна,
Пройдя меж трезвыми и пьяными,
Она садится у окна.

«Дыша духами и туманами,
Она садится у окна».
Ей за морями-океанами
Видна блаженная страна:

Стоят рождественские елочки,
Скрывая снежную тюрьму.
И голубые комсомолочки,
Визжа, купаются в Крыму.

Они ныряют над могилами,
С одной — стихи, с другой — жених...
...И Леонид под Фермопилами,
Конечно, умер и за них.

* * *

Мне весна ничего не сказала —
Не могла. Может быть — не нашлась.
Только в мутном пролете вокзала
Мимолетная люстра зажглась.

Только кто-то кому-то с перрона
Поклонился в ночной синеве,
Только слабо блеснула корона
На несчастной моей голове.

* * *

И. Одоевцевой

Распыленный миллионом
мельчайших частиц,
В ледяном, безвоздушном,
бездушном эфире,
Где ни солнца, ни звезд,
ни деревьев, ни птиц,
Я вернусь — отраженьем —
в потерянном мире.

И опять, в романтическом Летнем
Саду,
В голубой белизне петербургского
мая,
По пустынным аллеям неслышно
пройду,
Драгоценные плечи твои обнимая.

* * *

Портной обновочку утюжит,
Сопит портной, шипит утюг,
И брюки выглядят не хуже
Любых обыкновенных брюк.

А между тем они из воска,
Из музыки, из лебеды,
На синем белая полоска —
Граница счастья и беды.

Из бездны протянулись руки...
В одной цветы, в другой кинжал...
Вскочил портной, спасая брюки,
Но никуда не убежал.

Торчит кинжал в боку портного,
Белеют розы на груди.
В сияньи брюки Иванова
Летят и — вечность впереди...

* * *

Зима идет своим порядком —
Опять снежок. Еще должок.
И гадко в этом мире гадком
Жевать вчерашний пирожок.

И в этом мире слишком узком,
Где все потеря и урон
Считать себя, с чего-то, русским,
Читать стихи, считать ворон.

Разнежась, радоваться маю,
Когда растаяла зима...
О, Господи, не понимаю,
Как все мы, не сойдя с ума,

Встаем-ложимся, щеки бреем,
Гуляем или пьем-едим,
О прошлом-будущем жалеем,
А душу все не продадим.

Вот эту вянущую душку —
За гривенник, копейку, грош.
Дороговато? — За полушку.
Бери бесплатно! — Не берешь?

* * *

Эмалевый крестик в петлице
И серой тужурки сукно...
Какие печальные лица
И как это было давно.

Какие прекрасные лица
И как безнадежно бледны —
Наследник, императрица,
Четыре великих княжны...

<1949>

* * *

Хорошо, что нет Царя.
Хорошо, что нет России.
Хорошо, что Бога нет.

Только желтая заря,
Только звезды ледяные,
Только миллионы лет.

Хорошо — что никого,
Хорошо — что ничего,
Так черно и так мертво,

Что мертвее быть не может
И чернее не бывать,

Что никто нам не поможет
И не надо помогать.

1930

* * *

Над розовым морем вставала луна
Во льду зеленела бутылка вина

И томно кружились влюбленные пары
Под жалобный рокот гавайской гитары.

— Послушай. О как это было давно,
Такое же море и то же вино.

Мне кажется будто и музыка та же
Послушай, послушай,— мне кажется даже...

— Нет, вы ошибаетесь, друг дорогой.
Мы жили тогда на планете другой

И слишком устали и слишком стары
Для этого вальса и этой гитары.

1925

* * *

Было все — и тюрьма, и сума,
В обладании полном ума,
В обладании полным таланта,
С распроклятой судьбой эмигранта
Умираю...

ВЕРА ИЛЬИНА

1894, Петербург—1966

Училась на филологическом факультете Высших женских курсов. В 20-е годы — член писательской артели «Круг». Первый сборник «Крылатый прием» вышел в 1923-м.

* * *

Идти на Смоленский, где за пять полен
лохмотья комфорта выносят на площадь,
где, блага последние пряча в поле,
пустые желудки наживой полощат.

Москву по клочкам разнесли на торги.
Чего им жалеть? И о чем вспоминать им?
Вся участь — побольше аршинов и гирь.
Вся радость надежды в подержанном платье.

Любовь рассучили волокнами льна.
Им стыд не страшней огородных трещоток.
И только лишь я, этим бредом больна,
свести не решусь запоздалые счета.

А жизнь, как вершки и аршины в куске,
кому-то дарилась, рвалась, продавалась,
ушла на заботу, пришлась по тоске.
И где ж из остатков выгадывать радость!

Умри, моя муза. В гнилой листопад
мне все изменило: и дружба, и счастье.
Последняя осень! Иди, выступай,
ведь строчки и те уже кровью сочатся.

Он горек,— так горек твой ранний приход.
Но знаю: все дни перелистаны мною,
и я даже памятью этих стихов
измены с любимого сердца не смою.

1921

ИЛЬЯЗД

1894, Тифлис — 1975, Париж

Под этим псевдонимом писал стихи и прозу Илья Михайлович Зданевич — самобытный авангардист, теоретик заумного футуризма. В 1921 году из Грузии перебрался в Париж, где быстро превратился в принципиально нового писателя, сохранившего в поэтике элементы новаторства; его роман «Восхищение» (1930) — образец высокого искусства. С кругами русской эмиграции почти не был связан, дружил с французскими художниками; Брак, Шагал, Матисс и особенно близкий Зданевичу Пабло Пикассо оформляли вручную его книги-поэмы «Афет», «Письмо», выходявшие эстетскими тиражами 50—60 экземпляров. С 1927 года Зданевич работал как дизайнер по тканям, но стихи продолжал писать по-русски. Во время Второй мировой войны им была написана своеобразная поэма «Сонеты времен войны», не полностью сохранившаяся; своеобразна и форма зданевичевского «сонета», в котором десять строк вместо четырнадцати. Не использовал в стихах знаки препинания, подменяя их интонационными ходами и расстановкой прописных букв.

ИЗ ЦИКЛА «СОНЕТЫ ВРЕМЕН ВОЙНЫ»

2

Раскинулись по югу лагеря
вдали морей и ропота лесного
Средь заключенных целый день ни слова
ни посвиста Увенчанная фря
охотится нисходит ночь багрова
при свете месячного фонаря
и слабых в тени звездные беря
идет до следующего улова
оставив лог без помощи и сна
Забрезжило и погибают снова

28

Окончен царства безысходный бред
превозмогла кровавый гнет крамола
двуглавый герб насилие поборола
серпом и молотом Ликуй совет

и сказке завоеванной веселой
откройся настезь в октябре согрет
Но нападает коршуном запрет
партийные дела идут не кволо
рассвета ждет в застенках большевик
припоминая марши комсомола

100

Потемки долгие освещены
пора сойти с помостков арлекину
взмахнув руками упадет на спину
несчастный сын разбоя и войны
Созвездий невод погрузись в пучину
бумажный ятаган вернись в ножны
мои стихи мне больше не нужны
другую ветер колыхнет дружину
иные певчие заголосят
когда в рассвете наконец покину
за проволокой современный ад

НИКОЛАЙ ОЦУП

1894, Царское Село — 1958, Париж

Сын придворного фотографа. Закончил царское сельскую гимназию, учился на историко-филологическом факультете Петербургского университета, затем в Сорбонне. Входил во «второй» гумилевский «Цех поэтов» (1919—1921), в издании которого был выпущен первый сборник стихотворений Оцула «Град» (Пб, 1921). В начале осени 1922 года поэт покинул Россию, перебрался в Берлин, позже — в Париж. В 1930 году стал одним из основателей знаменитого неперидического журнала «Числа», где читающим кругам русской эмиграции было открыто немало новых имен. Во время войны Оцуп служил добровольцем во французской армии, был арестован немцами, бежал из концлагеря, участвовал в итальянском сопротивлении. Получил во Франции докторскую степень за диссертацию о Гумилеве (1951) — чуть ли не первую в мире. Наиболее полное собрание поэтических и литературоведческих произведений Оцула издано в 1993 году Л. Алленом и Р. Тименчиком.

* * *

О кто, мелькнув над лунной кручей,
Встревожив облачную стаю,
Летит к земле звездой падучей
И крылья воздух освещают?

Нырнули в бездну голубую
Домов чудовищные тени.
С трудом дыша, на мостовую
Упал и гаснет лунный гений.

Привыкший в небе к бездорожью,
Он на торцы ступить не может,

Его знобит предсмертной дрожью,
К нему торопится прохожий.

Вот вспыхнул, вот померк от муки
Безглазый, сморщенный калека,
И жадно голубые руки
Цепляются за человека.

Прохожий полчаса возился,
Как будто сделанный из ваты.
Вставал калека и валился.
«А ну тебя, сморчок крылатый!»

На Спасской флигелек кирпичный,
И дворник у ворот зевает,
Жена напрасно суп черничный
На примусе разогревает.

Прохожий, уходи скорее...
«А жалко, что городские
Повымерли», — и вдруг на шею
Он слышит пальцы голубые.

Растаяли дома сначала,
Как дым разлуки на перроне,
Растаял мост, вода канала,
Нагие отроки и кони.

Зачем луне душа живая?
Жену давно долит дремота,
И дворник, сотый раз зевая,
Встает, чтоб затворить ворота.

1921

* * *

Всю комнату в два окна,
С кроватью для сна и любви,
Как щепку несет волна,
Как хочешь волну зови.

И если с небом в глазах
Я тело твое сожму,
То знай: это только страх,
Чтоб тонуть не одному.

ВОЙНА

Анатолию Колмакову

Араб в кровавой чалме на длинном
паршивом верблюде
Смешал караваны народов и скрылся
среди песков

Под шепот охрипших окопов, и кашель
усталых орудий,
И легкий печальный шорох прильнувших
к полям облаков.

Воробьиное пугало тщетно осеняет горох
рукавами:
Солдаты топчут пшеницу, на гряды ложатся
ничком,
Сколько стремительных пуль остановлено их
телами,
Полмира пропитано дымом, словно густым
табаком.

Все одного со мной сомнительного
поколенья,
Кто ранен в сердце навывлет мечтой
о кровавой чалме,
От саранчи ночей в себе ищите спасенья,
Воспоминанья детства зажигайте
в беззвездной тьме!

Вот царскосельский дуб, орел над прудом
и лодки,
Овидий в изданье Манштейна, растрепанный
сборник задач,
В нижнем окне сапожник стучит молотком
по колодке,
В субботу последний экзамен, завтра
футбольный матч.

А летом балтийские дюны, янтари и песок,
и снова
С молчаливыми рыбаками в синий простор
до утра!..
Кто еще из читателей «Задуманного слова»
Любит играть в солдатики?..
Очень плохая игра.

1921

ГРИГОРИЙ ПЕТНИКОВ

1894, Петербург — 1971, Старый Крым

Один из сподвижников Хлебникова, участвовавший вместе с ним в манифесте «Труба марсиан». Позже стал переводчиком-германистом, жил в Крыму; в Симферополе выходили его книги, но ничего принципиально нового Петников уже не создал.

КАМЕННЫЙ ДВОР (Фрагмент)

Этот каменный двор
Он похож на поверхность Луны —
Осторожней входи
В эти темные сны,
И под ноги гляди, —
Это — плит и надгробий ряды,
Это — каменный свод,
Где трава прорастет —
Вырывают ее: это вход

На окраине в дом коммунальный.
Там пустые глазницы
Завешены марлей.
И жильцы, завершая обряд погребальный,
И обычаем блюдя,
Наблюдают от скуки за вами, —
Эти серые лица
Владетелей этих квартир,
Уцелевшее племя — и взгляд исподлобья —
Подозрений недавних времен,
До сих пор неизбытых примета —
Это — люди «свои»!

Заглядатаев страшный фантом,
 Для наглядных пособий модель,
 Что трюится у низких крылец —
 Пересудов каких повитель!
 Выходящий из гроба жилец.
 Он стоит у соседних дверей,
 По привычке за вами следит

(На общественных будто началах)...
 В этот каменный двор не заходит весна,
 Не шумит по тоскующим листьям
 Бушующий ветер.

1966, Старый Крым

ДМИТРИЙ СЕМЕНОВСКИЙ

1894, с. Меховицы Владимирской губ. — 1960, Иваново

Родился в семье священника. В 1912 году «Правда» опубликовала его первое стихотворение. За участие в забастовке семинаристов был исключен из семинарии и выслан в родное село. В 1913 году, поддержанный материально Горьким, поступил в университет Шанявского. Первый сборник «Под голубым покровом» вышел в Иваново-Вознесенске.

* * *

Снег и грязь. Полоумный Сережа
 Рысцой пробегает с мешком.
 У Сережи обуза-одежа
 Не ладит с дождем и снежком.
 ...«Святой боже» ...кого-то хоронят,
 ...Святой крепкий... Качается гроб.
 Кто-то в луже свининовой тонет,—
 Не лужа — всемирный потоп!
 Кляча тащится.
 Дрожит у кирпичной стены.
 — Помогите,— бормочет калека,—
 Солдату германской войны!! —
 Чу, свисток! Заспешила работа:
 — Работать, работать скорей! —
 глотают ворота
 Худых и угрюмых людей.
 Там, за окнами, как в лихорадке,
 Трясутся, трясутся станки.

В механическом бьются припадке
 часов челноки.
 Вечереет. Фонарь незажженный
 В заревую влюбился звезду.
 Галка тянется в сад обнаженный
 К обжитому ветром гнезду.
 Тихо. Только громадина ткацкой
 Все рвется в дремотную муть,
 Да томится кручиной кабацкой
 Пролетает гармоники грудь.
 И острог и собор хорошеют
 В молочном сияньи луны.
 Зыбким роем над городом реют
 Тревожные смутные сны.
 Щи с говядиной снятся Сереже.
 — Урря-а! — хрипит инвалид.
 А иной и забился бы тоже,
 Да глупое сердце бежит!

1926

ГЕОРГИЙ ШЕНГЕЛИ

1894, станица Темрюк (ныне Краснодарского края) — 1956, Москва

Человек колоссальной творческой энергии. При жизни он издал 15 книг стихотворений, полностью перевел и издал всего Байрона, огромное количество стихотворений Гюго, Бодлера, Верхарна, Леконта де Лиля и т. д. Он издал несколько книг по теории стихосложения, — но большая часть его наследия, в том числе два романа и несколько сотен стихотворений, не могла увидеть свет до конца 80-х годов. Первый его конфликт в литературном мире произошел, когда в 1927 году он выпустил книгу «Маяковский во весь рост». Шенгели начисто отрицал поэтическое новаторство последнего, — хотя, впрочем, в своей «Технике стиха» сам Шенгели приводит десятки примеров именно из него. В начале 50-х годов некий литератор-переводчик предпринял попытку оклеветать Шенгели перед Сталиным, утверждая, что тот в своем переводе Байрона искажил образ Суворова. Удар был очень точен, ибо Сталин Суворова боготворил. Атака не достигла цели: Сталин умер, однако на протяжении четверти века, прошедшей после смерти Шенгели, ученики того переводчика последовательно препятствовали любой публикации Шенгели в СССР. Главную ценность наследия этого поэта составляют стихи о гражданской войне, обнаруженные в архиве. Хотя под ними проставлены даты «1919—1922», но по порядку их расположения в тетрадях видно, что написаны они в 30-е годы, явно под прямым влиянием «Стихов о терроре» Волошина, с которым Шенгели близко дружил, как и с Ахматовой, Брюсовым, Северяниным.

27 ИЮЛЯ 1830 г.

Случайным выстрелом старуха сражена.
 И рота гвардии глядела с перекрестка,
 Как с телом поползла капустная повозка,
 Зардели факелы и взмыли знамена.

За полночь перешло. Все двигалась она.
 Толпа все ширилась, нелепо и громоздко,
 И ярость плавилась, и сыпалась известка
 И битое стекло от каждого окна.

Здесь растрит безмолвный мозг
Вечный шип змеиных кляуз,
Вечный смрад загнивших Москв,
Разлагающихся Яуз.

Здесь Альпийского орла
Завлекут в гнилые гирла
Краснопресные мурла,
Москворецкие чупырла...

Потеряв способность спать,
Пропуская в сердце щелочь,
Будешь сумрак колупать
Слабым стоном: «сволочь, сволочь!»

13 июля 1931

Трамвай у Яузских ворот

* * *

Это все еще — «только так»,
Это все еще — бивуак...
Не налажен письменный стол,
Не такую ручку добыл,
И не все трактаты прочел,
И не все словари купил.
А потом — на дворе зима
Или дьявольская жара;
И — от женщины без ума —
Не дотянешься до пера.
Вот закончится ледоход,
Вот поэма в печать пойдет,
Вот разок покажусь врачу,
Вот бессонницу полечу,
Вот в Туркмению полечу, —
Улыбнуться опять лучу.
Вот пальто сошью по плечу,
Вот редактора проучу.
Вот директор, авось, помрет,
Или так его черт возьмет...
Разве можно тут жить, в Москве,
С вечным дребезгом в голове?
Тут портянкой закрыт зенит,
Тут как зуд телефон звонит,
Тут в чертогах библиотек
Нужных книг не найдешь вовек,
А работать надо, как вол,
А читатель прет на футбол.
Но не хнычь, не ной, подожди:
Вот промоют окно дожди,
Вот объявят войне войну,
Вот откроют стране страну,
И куплю я голландский шкаф,
И достану шотландский драп,
И добуду пищи уму,
И весну проведу в Крыму,

Только это бы, — а потом
Настоящую жизнь начнем!
Все, что нынче, все «только так»,
Мимолетное, бивуак!
И не будем считать обид:
Это «так», на ходу, транзит.
Настоящая жизнь — потом:
Вольный труд и свободный дом;
Послезавтра — жизнь!.. А пока
Дайте адрес гробовщика.

30 декабря 1949

* * *

Вот взяли, Пушкин, вас и переставили...
В ночном дожде звенел металл, — не ямб ли
Скорбел, грозя? Нет! попросту поправили
Одну деталь в строительном ансамбле.

Я встретил эти похороны времени:
Я мимо пролетел в автомобиле;
Я грустных видел в озаренной темени,
Где молотами по бетону били...

На прежнем месте в сторону Урала вы
Глядели, — в те безвыходные дали,
Где пасынки одной зари коралловой
«Во глубине сибирских руд» молчали.

Вам не пришлось поехать к ним: подальше
Отправил вас блистательный убийца.
Теперь — глядеть вам в сторону Италии,
Где Бог-насмешник не дал вам родиться.

16 августа 1950

ПЕДАГОГИКА

Раз — топором! И стала рдяной плаха.
В опилки тупо ткнулась голова.
Казненный встал, дыша едва-едва,
И мяла спину судорога страха.

Лепечущие липкие слова,
Ему швырнули голову с размаха.
И вяло шевелясь, как черепаха,
Вновь на плечах она торчит, жива.

И с той поры, взбодрен таким уроком,
Он ходит и косит пугливым оком,
И шепчет всем: «Теперь-то я поэт!

Не ошибусь!» — и педагогов стая
Следит за ним. И ей он шлет привет,
С плеч голову рукой приподымая.

1955

ЭДУАРД БАГРИЦКИЙ

1895, Одесса — 1934, Москва

Псевдоним Эдуарда Георгиевича Дзюбина. Родился в еврейской торговой семье, окончил землемерные курсы. Начал печататься в 1915 году в одесских альманахах. Воевал в Красной Армии. Вступил сначала в группу «Перевал», затем примкнул к конструктивистам. После его смерти вдова была репрессирована. Как и его любимый герой Тиль, Багрицкий был одновременно и романтиком, и человеком земным. Походка его стихов была тоже тильуленшпигелевская — легкая, танцующая, пружинистая. «А мы заряжали, смеясь, мушкетоны, и воздух чертили ударами шпаг!», «И пред ним — зеленый снизу, голубой и синий сверху — мир встает огромной птицей, свищет, щелкает, звенит», «Жеребец под ним сверкает белым рафинадом». Но Багрицкий умел писать не только красиво, а иногда и жестко, почти жестоко: «Любовь? Но съеденные вами косы; ключица, выпирающая косо; прыщи; обмазанный селедкой рот да шея лошадиный поворот». Багрицкий принял революцию, сражался в особых отрядах и, желая идти в ногу со временем, трагически заблуждался вместе с ним. Блистательный мастер, одаренный редкой чувственной впечатлительностью, Багрицкий иногда срывался в попытках философского осмысления мира. Так, его строки о нашем веке в стихотворении «ТВС» морально для нас неприемлемы после стольких человеческих трагедий: «Но если он скажет: «Солги» — солги. Но если он скажет: «Убей» — убей». Но нельзя выдавать эти строки, написанные в 29 году, видимо, во время депрессии (или очередного припадка астмы, от которой поэт и умер), за философское кредо всей его поэзии, как пытались это делать некоторые недобросовестные интерпретаторы. Лучшая книга Багрицкого «Юго-запад», в которую входит и его поэма «Дума про Опаваса», написанная шевченковской строфикой, а временами и с шевченковской выразительностью. Поэзия Багрицкого, талантливая, многокрасочная, была в свое время школой мастерства для молодых поэтов 20-х и 30-х годов, многие из этих поэтов взлетели в небо с его доброй ладони. И в этом Багрицкий был Тилем — не случайно, судя по рассказам, он любил выпускать из клеток певчих птиц на волю.

СУВОРОВ

В серой треуголке, юркий и маленький,
В синей шинели с продранными локтями, —
Он надевал зимой теплые валенки
И укутывал горло шарфами и платками.

В те времена по дорогам скрипели еще
дилижансы,
И кучера сидели на козлах в камзолах
и фетровых шляпах;
По вечерам, в гостиницах, веселые девушки
пели романсы,
И в низких залах струился мятный запах.

Когда вдалеке звучал рожок почтовой
кареты,
На грязных окнах подымались зеленые
шторы,
В темных залах смолкали нежные дуэты,
И раздавался шепот: «Едет Суворов!»

На узких лестницах шуршали тонкие юбки,
Растворялись ворота услужливыми
казачками,
Краснолицые путники услужливо прятали
трубки,
Обжигая руки горячими угольками.

По вечерам он сидел у погаснувшего камина,
На котором стояли саксонские часы и уродцы
из фарфора,
Читал французский роман, открыв его
с середины,
«О мученьях бедной Жульетты, полюбившей
знатного сеньора».

Утром, когда пастушья рожки поют напевней
И толстая служанка стучит по коридору
башмаками,

Он собирался в свои холодные деревни,
Натягивая сапоги со сбитыми каблуками.

В сморщенных ушах желтели грязные ватки;
Старчески кряхтя, он сходил во двор, держась
за перила;
Кучер в синем кафтане стегал рыжую
лошадку,
И мчались гостиница, роцца, так что в глазах
рябило.

Когда же перед ним выплывали из тумана
Маленькие домики и церковь с облупленной
крышей,
Он дергал высокого кучера за полу кафтана
И кричал ему старческим голосом: «Поезжай
потихе!»

Но иногда по первому выпавшему снегу,
Стоя в пролетке и держась за плечо возницы,
К нему в деревню приезжал фельдъегерь
И привозил письмо от
матушки-императрицы.

«Государь мой, — читал он, — Александр
Васильич!
Сколь прискорбно мне Ваш мирный покой
тревожить,
Вы, как древний Цинциннат, в деревню свою
удалились,
Чтоб мудрым трудом и науками свои
владения множить...»

Он долго смотрел на надушенную бумагу —
 Казалось, слова на тонкую нитку нижат;
 Затем подходил к шкафу, вынимал ордена
 и шпагу
 И становился Суворовым учебников
 и книжек.

1915

ТИЛЬ УЛЕНШПИГЕЛЬ

Весенним утром кухонные двери
 Раскрыты настезь, и тяжелый чад
 Плывет из них. А в кухне толкотня:
 Разгоряченный повар стирает
 Дырявым фартуком свое лицо,
 Заглядывает в чашки и кастрюли,
 Приподымая медные покрышки,
 Зевает и подбрасывает уголь
 В горячую и без того плиту.
 А поваренок в колпаке бумажном,
 Еще неловкий в трудном ремесле,
 По лестнице карабкается к полкам,
 Толчет в ступе корицу и мускат,
 Неопытными путает руками
 Коренья в банках, кашляет от чада,
 Вползающего в ноздри и глаза
 Слезящего...
 А день весенний ясен.
 Свист ласточек сливается с ворчаньем
 Кастрюль и чашек на плите: мурлычет,
 Облизываясь, кошка, осторожно
 Под стульями подкрадываясь к месту,
 Где незамеченным лежит кусок
 Говядины, покрытый легким жиром.
 О, царство кухни! Кто не восхвалял
 Твой синий чад над жарящимся мясом,
 Твой легкий пар над супом золотым?
 Петух, которого, быть может, завтра
 Зарежет повар, распевает хрипло
 Веселый гимн прекрасному искусству,
 Труднейшему и благодатному...
 Я в этот день по улице иду,
 На крыши глядя и стихи читая, —
 В глазах рябит от солнца, и кружится
 Беспутная, хмельная голова.
 И, синий чад вдыхая, вспоминаю
 О том бродяге, что, как я, быть может,
 По улицам Антверпена бродил...
 Умевший все и ничего не знавший,
 Без шпаги — рыцарь, пахарь — без сохи,
 Быть может, он, как я, вдыхал умильно
 Веселый чад, плывущий из корчмы;
 Быть может, и его, как и меня,
 Дразнил копченый окорок — и жадно
 Густую он проглатывал слюну.
 А день весенний сладок был и ясен,
 И ветер материнскою ладонью
 Растрепанные кудри разведал.
 И, прислонясь к дверному косяку,
 Веселый странник, он, как я, быть может,

Невнятно напевая, сочинял
 Слова еще не выдуманной песни...
 Что из того? Пускай моим уделом
 Бродяжничество будет и беспутство,
 Пускай голодным я стою у кухонь,
 Вдыхая запах пиршества чужого,
 Пускай истреплется моя одежда,
 И сапоги о камни разобьются,
 И песни разучусь я сочинять...
 Что из того? Мне хочется иного...
 Пусть, как и тот бродяга, я пройду
 По всей стране, и пусть у двери каждой
 Я жаворонком засвищу — и тотчас
 В ответ услышу песню петуха!..
 Певец без лютни, воин без оружия,
 Я встречу дни, как чаши, до краев
 Наполненные молоком и медом.
 Когда ж усталость овладеет мной
 И я засну крепчайшим смертным сном, —
 Пусть на могильном камне нарисуют
 Мой герб: тяжелый, ясеневый посох —
 Над птицей и широкополой шляпой.
 И пусть напишут: «Здесь лежит спокойно
 Веселый странник, плакать не умевший».
 Прохожий! Если дороги тебе
 Природа, ветер, песни и свобода,
 Скажи ему: «Спокойно спи, товарищ,
 Довольно пел ты, выспаться пора!»

1918, 1926

ГОЛУБИ

Весна. И с каждым днем невнятней
 Травой восходит тишина,
 И голуби на голубятне,
 И облачная глубина.

Пора! Полощет плат крылатый —
 И разом улетают в гарь
 Сизоголовый, и хохлатый,
 И взмывший веером почтарь.

О, голубиная охота,
 Уже воркующей толпой
 Воскрылий, пуха и помета
 Развеян вихрь над головой!

Двадцатый год! Но мало, мало
 Любви и славы за спиной.
 Лишь двадцать капель простучало
 О подоконник жестяной.

Лишь голуби да голубая
 Вода. И мол. И волнолом.
 Лишь сердце, тишину встречая,
 Всё чаще ходит ходуном...

Гудит година путевая,
 Вагоны, ветер полевой.
 Страда распахнута другая,
 Страна иная предо мной!

Через Ростов, через станицы,
Через Баку, в чаду, в пыли, —
Навстречу Каспий, и дымится
За черной солью Энзели.

И мы на вражеские части
Верблюжий повели поход.
Навыорот летело счастье,
Навыорот, наоборот!

Колес и кухонь гул чугунный
Нас провожал из боя в бой,
Через малярийные лагуны,
Под малярийною луной.

Обозы врозь, и мулы — в мыле,
И в прахе гор, в песке равнин,
Обстрелянные, мы вступили
В тебя, наказанный Казвин!

Близ углового поворота
Я поднял голову — и вот
Воскрылий, пуха и помета
Рассеявший вихрь плывет!

На плоской крыше плат крылатый
Полощет — и взлетают в гарь
Сизоголовый, и хохлатый,
И взмывший веером почтарь!

Два года боя. Не услышал,
Как месяцы ушли во мглу:
Две капли стукнули о крышу
И покатались по стеклу...

Через Баку, через станицы,
Через Ростов — назад, назад,
Туда, где Знаменка дымится
И пышет Елисаветград!

Гляжу: на дальнем повороте —
Ворота, сад и сеновал;
Там в топоте и конском поте
Косматый всадник проскакал.

Гони! Через дубняк дремучий,
Вброд или вплавь, гони вперед!
Взовьется шашка — и певучий,
Скрутившись, провод упадет...

И вот столбы глухонемые
Нутром не стонут, не поют.
Гляжу: через поля пустые
Тачанки ноют и ползут...

Гляжу: близ Елисаветграда,
Где в суходоле будяки,
Среди скота, котлов и чада
Лежат верблюжские полки.

И ночь и сон. Но будет время —
Убудет ночь, и сон уйдет.

Загикает с тачанки в темень
И захлебнется пулемет...

И нива прахом пропылится,
И пули запоют впотьмах,
И конница по ржам помчится —
Рубить и ржать. И мы во ржах.

И вот станицей журавлиной
Летим туда, где в рельсах лег,
В певучей стае тополиной,
Вишневым город меж дорог.

Полощут кумачом ворота,
И разом с крыши угловой
Воскрылий, пуха и помета
Развеян вихрь над головой.

Опять полощет плат крылатый,
И разом улетают в гарь
Сизоголовый, и хохлатый,
И взмывший веером почтарь!

И снова год. Я не услышал,
Как месяцы ушли во мглу.
Лишь капля стукнула о крышу
И покаталась по стеклу...

Покой! И с каждым днем невнятней
Травой восходит тишина,
И голуби на голубятне,
И облачная глубина...

Не попусту топтались ноги
Через рокот рек, чрез пыль полей,
Через овраги и пороги —
От голубей до голубей!

1922

ВСТРЕЧА

Меня еда арканом окружила,
Она встает эпической угрозой,
И круг ее неразрушим и страшен,
Испарина подернула ее...
И в этот день в Одессе на базаре
Я заблудился в горах помидоров,
Я средь арбузов не нашел дороги,
Черешни завели меня в тупик,
Меня стена творожная обстала,
Стекающая сывороткой на булыжник,
И ноздреватые обрывы сыра
Грозят меня обвалом раздавить.
Еще — на градус выше — и ударит
Из бочек масло раскаленной жижей
И, набухая желтыми прыщами,
Обдаст камень — и зальет меня.
И синемордая тупая брюква,
И крысья, узкорылая морковь,
Капуста в буклях, репа, над которой

Султаном подымается ботва,
 Вокруг меня, кругом, неумолимо
 Навалены в корзины и телеги,
 Раскиданы по грязи и мешкам.
 И как вожди съедобных батальонов,
 Как памятники пьянству и обжорству,
 Обмазанные сукровицей солнца,
 Поставлены хозяйева еды.
 И я один среди враждебной стаи
 Людей, бронированных едою,
 Потеющих под солнцем Хаджи-бея
 Чистейшим жиром, жарким, как смола.
 И я мечусь среди животов огромных,
 Среди грудей, округлых, как бочонки,
 Среди зрачков, в которых отразились
 Капуста, брюква, репа и морковь.
 Я одинок. Одесское, густое,
 Большое солнце надо мною встало,
 Вгоняя в землю, в травы и телеги
 Колочие отвесные лучи.
 И я свищу в отчаянье, и песня
 В три россыпи и в два удара вьется
 Бездомным жаворонком над толпой.
 И вдруг петух, неистовый и звонкий,
 Мне отвечает из-за груды пицци,
 Петух — неисправимый горлопан,
 Орущий в дни восстаний и сражений.
 Оглядываюсь — это он, конечно,
 Мой старый друг, мой Ламме, мой товарищ,
 Он здесь, он выведет меня отсюда
 К моим давно потерянным друзьям!

Он толще всех, он больше всех потеет;
 Промокла полосатая рубаха,
 И брюхо, выпирающее грозно,
 Кольшется над пыльной мостовой.
 Его лицо багровое, как солнце,
 Распвечено румянами духовки,
 И молодость древнейшая играет
 На неумело выбритых щеках.
 Мой старый друг, мой неуклюжий Ламме,
 Ты так же толст и так же беззаботен,
 И тот же подбородок четверной
 Твое лицо, как прежде, украшает.
 Мы переходим рыночную площадь,
 Мы огибаем рыбные ряды,
 Мы к погребу идем, где на дверях
 Отбита надпись кистью и линейкой:
 «Пивная госзаводов Пищетрест».
 Так мы сидим над мраморным квадратом,
 Над пивом и над раками — и каждый
 Пунцовый рак, как рыцарь в красных латах,
 Как Дон-Кихот, бессилен и усат.
 Я говорю, я жалуясь. А Ламме
 Качает головой, выламывает
 Клешни у рака, чмокает губами,
 Прихлебывает пиво и глядит
 В окно, где проплывает по стеклу
 Одесское просоленное солнце,
 И ветер с моря подымает мусор
 И столбики кружит по мостовой.

Все выпито, все съедено. На блюде
 Лежит опустошенная броня
 И кардинальская тиара рака.
 И Ламме говорит: «Давно пора
 С тобой потолковать! Ты ослабел,
 И желчь твоя разлилась от безделья,
 И взгляд твой мрачен, и язык остер.
 Ты ищешь нас, — а мы везде и всюду,
 Нас множество, мы бродим по лесам,
 Мы направляем лошадь селянина,
 Мы раздуваем в кузницах горнило,
 Мы с школярами заодно зубрим.
 Нас много, мы раскиданы повсюду,
 И если не певцу, кому ж еще
 Рассказывать о радости минувшей
 И к радости грядущей призывать?
 Пока плывет над этой мостовой
 Тяжелое просоленное солнце,
 Пока вода прохладна по утрам,
 И кровь свежа, и птицы не умолкли, —
 Тиль Уленшпигель бродит по земле».

И вдруг за дверью раздается свист
 И россыпь жаворонка полевого.
 И Ламме опрокидывает стол,
 Вытягивает шею — и протяжно
 Выкрикивает песню петуха.
 И дверь приотворяется слегка,
 Лицо выглядывает молодое,
 Покрытое веснушками, и губы
 В улыбку раздвигаются, и нас
 Оглядывают с хитрою усмешкой
 Лукавые и ясные глаза.

.....
 Я Тилия Уленшпигеля пою!

1923, 1928

СТИХИ О СОЛОВЬЕ И ПОЭТЕ

Весеннее солнце дробится в глазах,
 В канавы ныряет и зайчиком пляшет,
 На Трубную выйдешь — и громом в ушах
 Огонь соловьиный тебя ошарашит...

Куда как приятны прогулки весной:
 Бредешь по садам, пробегаешь базаром!..
 Два солнца навстречу: одно — над землей,
 Другое — расчищенным вдрызг самоваром.

И птица поет. В коленкоровой мгле
 Скрывается гром соловьиного лада...
 Под клеткою солнце кипит на столе —
 Меж чашек и острых кусков рафинада...

Любовь к соловьям — специальность моя,
 В различных коленах я толк понимаю:
 За лешевой дудкой — вразброд стукотня,
 Кукушкина песня и дробь рассыпная...

Ко мне продавец:
 «Покупаете? Вот.

Как птица моя на базаре поет!
Червонец — не деньги! Берите! И дома,
В покое, засвищет она по-иному...»

От солнца, от света звенит голова...
Я с клеткой в руках дожидаясь трамвая.
Крестами и звездами тлеет Москва,
Церквами и флагами окружает...

Нас двое!
Бродяга и ты — соловей,
Глазастая птица, предвестница лета,
С тобою купил я за десять рублей —
Черемуху, полночь и лирику Фета!

Весеннее солнце дробится в глазах.
По стеклам течет и в каналы ныряет.
Нас двое.
Кругом в зеркалах и звонках
На гору с горы пролетают трамваи.

Нас двое...
А нашего номера нет...
Земля рассолодела. Полдень допет.
Зеленою смушкой покрылся кустарник.
Нас двое...
Нам некуда нынче пойти;
Трава горячее, и воздух угарней —
Весеннее солнце стоит на пути.

Куда нам пойти? Наша воля горька!
Где ты запоешь?
Где я рифмой раскинусь?
Наш рокот, наш посвист
Распродан с лотка...
Как хочешь —
Распивочно или на вынос?

Мы пойманы оба,
Мы оба — в сетях!
Твой свист подмосковный не грянет в кустах,
Не дрогнут от грома холмы и озера...
Ты выслушан,
Взвешен,
Расценен в рублях...
Греми же в зеленых кустах коленкора,
Как я громыхаю в газетных листах!..

1925

* * *

От черного хлеба и верной жены
Мы бледною немочью заражены...

Копытом и камнем испытаны годы,
Бессмертной полынью пропитаны воды, —
И горечь полыни на наших губах...
Нам нож — не по кисти,
Перо — не по нраву,
Кирка — не по чести,
И слава — не в славу:

Мы — ржавые листья
На ржавых дубах...
Чуть ветер,
Чуть север —
И мы облетаем.
Чей путь мы собою тепер устилаем?
Чьи ноги по ржавчине нашей пройдут?
Потопчут ли нас трубачи молодые?
Взойдут ли над нами созвездья чужие?
Мы — ржавых дубов облетевший уют...
Бездомною стужей уют раздуваем...
Мы в ночь улетаем!
Мы в ночь улетаем!
Как спелые звезды, летим наугад...
Над нами гремят трубачи молодые,
Над нами восходят созвездья чужие,
Над нами чужие знамена шумят...
Чуть ветер,
Чуть север —
Срывайтесь за ними,
Неситесь за ними,
Гонитесь за ними,
Катитесь в полях,
Запевайте в степях!
За блеском штыка, пролетающим в тучах,
За стуком копыта в берлогах дремучих,
За песней трубы, потонувшей в лесах...

1926

ДУМА ПРО ОПАНАСА

(фрагмент)

Посяли гайдамаки
В Україні жито,
Та не вони його жали.
Що мусим робити?

Т. Шевченко («Гайдамаки»)

По откосам виноградник
Хлопочет листвою,
Где бежит Панько из Балты
Дорогой степною.
Репухи кусают ногу,
Свищет житом пажить,
Звездный Воз ему дорогу
Оглоблями кажет.
Звездный Воз дорогу кажет
В поднебесье чистом —
На дебелие хозяйства
К немцам-колонистам.
Опанасе, не дай маху,
Оглядишь толково —
Видишь черную папаху
У сторожевого?
Знать, от совести нечистой
Ты бежал из Балты,
Топал к Штолю-колонисту,
А к Махне попал ты!
У Махна по самы плечи
Волосня густая:
— Ты откуда, человек,
Из какого края?

В нашу армию попал ты
 Волей иль неволей?
 — Я, батько, бежал из Балты
 К колонисту Штолю.
 Ой, грызет меня досада,
 Крепкая обида!
 Я бежал из продотряда
 От Когана-жида...
 По оврагам и по скатам
 Коган волком рыщет,
 Залезает носом в хаты,
 Которые чище!
 Глянет влево, глянет вправо,
 Засопит сердито:
 «Выгребайте из канавы
 Спрятанное жито!»
 Ну, а кто подымет бучу —
 Не шуми, братишка:
 Усом в мусорную кучу,
 Расстрелять — и крышка!
 Чернозем потек болотом
 От крови и пота, —
 Не хочу махать винтовкой,
 Хочу на работу!
 Ой, батько, скажи на милость
 Пришедшему с поля,
 Где хозяйство поместилось
 Колониста Штоля?
 — Штоль? Который, человече?
 Рыжий да щербатый?
 Он застрелен недалече,
 За углом от хаты...
 А тебе дорога вышла
 Бедовать со мною.
 Повернешь обратно дышло —
 Пулей рот закрою!
 Дайте шубу Опанасу
 Сукна городского!
 Поднесите Опанасу
 Вина молодого!
 Сапоги подколотите
 Кованым железом!
 Дайте шапку, наградите
 Бомбой и обрезаем!
 Мы пойдем с тобой далече,
 От края до края!.. —
 У Махна по самы плечи
 Волосня густая...

.....
 Опанасе, наша доля
 Машет саблей ныне, —
 Зашумело Гуляй-Поле
 По всей Украине.
 Украина! Мать родная!
 Жито молодое!
 Опанасу доля вышла
 Бедовать с Махною.
 Украина! Мать родная!
 Молодое жито!
 Шли мы раньше в запорожцы,
 А теперь — в бандиты!

КОНТРАБАНДИСТЫ

По рыбам, по звездам
 Проносит шаланду:
 Три грека в Одессу
 Везут контрабанду.
 На правом борту,
 Что над пропастью вырос:
 Янаки, Ставраки,
 Папа Сатырос.
 А ветер как гикнет,
 Как мимо просвищет,
 Как двинет барашком
 Под звонкое днище,
 Чтоб гвозди звенели,
 Чтоб мачта гудела:
 «Доброе дело! Хорошее дело!»
 Чтоб звезды обрызгали
 Грудю наживы:
 Коньяк, чулки
 И презервативы...

Ай, греческий парус!
 Ай, Черное море!
 Ай, Черное море!..
 Вор на воре!

.....
 Двенадцатый час —
 Осторожное время.
 Три пограничника,
 Ветер и темень.
 Три пограничника,
 Шестеро глаз —
 Шестеро глаз
 Да моторный баркас...
 Три пограничника!
 Вор на дозоре!
 Бросьте баркас
 В басурманское море,
 Чтобы вода
 Под кормой загудела:
 «Доброе дело!
 Хорошее дело!»
 Чтобы по трубам,
 В ребра и винт,
 Виттовой пляской
 Двинул бензин.

Ай, звездная полночь!
 Ай, Черное море!
 Ай, Черное море!..
 Вор на воре!

.....
 Вот так бы и мне
 В налетающей тьме
 Усы раздувать,
 Развалясь на корме,
 Да видеть звезду
 Над бугшпритом склоненным,

Да голос ломать
 Черноморским жаргоном,
 Да слушать сквозь ветер,
 Холодный и горький,
 Мотора дозорного
 Скороговорки!
 Иль правильной, может,
 Сжимая наган,
 За воров следить,
 Уходящим в туман...
 Да ветер почуять,
 Скользящий по жилам,
 Вослед парусам,
 Что летят по светилам...
 И вдруг неожиданно
 Встретить во тьме
 Усамого грека
 На черной корме...

Так бей же по жилам,
 Кидайся в края,
 Бездомная молодость,
 Ярость моя!
 Чтоб звездами сыпалась
 Кровь человечья,
 Чтоб выстрелом рваться
 Вселенной навстречу,
 Чтоб волн запевал
 Оголтелый народ,
 Чтоб злобная песня
 Коверкала рот,—
 И петь, задыхаясь,
 На страшном просторе:
 «Ай, Черное море,
 Хорошее море..!»

1927

РАЗГОВОР С КОМСОМОЛЬЦЕМ
 Н. ДЕМЕНТЬЕВЫМ

— Где нам столкнуться!
 Вы — другой народ!..
 Мне — в апреле двадцать,
 Вам — тридцатый год.
 Вы — уже не юноша,
 Вам ли о войне...
 — Коля, не волнуйтесь,
 Дайте мне...
 На плацу, открытом
 С четырех сторон,
 Бубном и копытом
 Дрогнул эскадрон;
 Вот и закачались мы
 В прозелень травы,—
 Я — военспецом,
 Военкомом — вы...
 Справа — курган,
 Да слева курган;
 Справа — нога,
 Да слева нога;
 Справа наган,

Да слева шашка,
 Цейс посередке,
 Сверху — фуражка...
 А в походной сумке —
 Спички и табак.
 Тихонов,
 Сельвинский,
 Пастернак...

Степям и дорогам
 Не кончен счет;
 Камням и порогам
 Не найден счет,
 Кружит паучок
 По загару щек;
 Сабля да книга,
 Чего еще?
 (Только ворон выслан
 Сторожить в полях...
 За полями Висла,
 Ветер да поляк;
 За полями ментик
 Вылетает в лог!)

Военком Дементьев,
 Саблю наголо!

Проклюют навывлет,
 Поддадут коленом,
 Голову намылят
 Лошадиной пеной...
 Степь заместо простыни:
 Натянули — раз!

...Добротными саблями
 Побреют нас...

Покачусь, порубан,
 Растянусь в траве,
 Привалюся чубом
 К русой голове...

Не дождались гроба мы,
 Кончили поход...
 На казенной обуви
 Ромашка цветет...
 Пресловутый ворон
 Подлетит в упор,
 Каркнет «певегмоге» он
 По Эдгару По...
 «Повернитесь, встаньте-ка...
 Затрубите в рог...»
 (Старая романтика,
 Черное перо!)
 — Багрицкий, довольно!
 Что за бред!..
 Романтика уволена —
 За выслугой лет;
 Сабля — не гребенка,
 Война — не спорт;
 Довольно фантазировать,

Закончим спор,
Вы — уже не юноша,
Вам ли о войне!..

— Коля, не волнуйтесь,
Дайте мне...

Лежим, истлевающие
От глотки до ног...
Не выпвела трава еще
В солдатское сукно;
Еще бежит из тела
Болотная ржавь,
А сумка истлела,
Распалась, рассеклась,
И книги лежат...

На пустошах, где солнце
Зарыто в пух ворон,
Туман, костер, бессонница
Морочат эскадрон.
Мечется во мраке
По степным горбам:
«Ехали казаки,
Чубы по губам...»

А над нами ветры
Ночью говорят:
— Коля, братец, где ты?
Истлеваю, брат! —
Да в дорожной яме,
В дряни, в лоскутах,
Буквы муравьями
Тлеют на листьях...

(Над вороньим кругом —
Звездный лед,
По степным яругам
Ночь идет...)

Нехристь или выкрест
Над сухой травой,—
Размахнулись вихри
Пыльной булавой.
Вырваны ветрами
Из бочаг пустых,
Хлопают крылами
Книжные листы;
На враждебный Запад
Рвутся по стерням:
Тихонов,
Сельвинский,
Пастернак...

(Кочуют вороны,
Кружат кусты
Вслед эскадрону
Летят листы.)

Чалый иль соловый
Конь храпит.

Вьется слово
Кругом копыт.
Под ветром снова
В дыму щека;
Вьется слово
Кругом штыка...
Пусть покрыты плесенью
Наши костяки,
То, о чем мы думали,
Ведет штыки...
С нашими замашками
Едут пред полком —
С новым военспецом
Новый военком.
Что ж! Дорогу нашу
Враз не разрубить:
Вместе есть нам кашу,
Вместе спать и пить...
Пусть другие дразнятся!
Наши дни легки...
Десять лет разницы —
Это пустяки!

1927

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Я не запомнил — на каком ночлеге
Пробрал меня грядущей жизни зуд.
Качнулся мир.
Звезда споткнулась в беге
И заплескалась в голубом тазу.
Я к ней тянулся... Но, сквозь пальцы рея,
Она рванулась — краснобокий язык.
Над колыбелью ржавые евреи
Косых бород скрестили лезвия.
И всё навыворот.
Всё как не надо.
Стучал сазан в оконное стекло;
Конь щебетал; в ладони ястреб падал;
Плясало дерево.
И детство шло.
Его опресноками иссушали.
Его свечой пытались обмануть.
К нему в упор придвинули скрижали,
Врата, которые не распахнуть.
Еврейские павлины на обивке,
Еврейские скисающие сливки,
Костыль отца и матери чепец —
Всё бормотало мне:
«Подлец! Подлец!»
И только ночью, только на подушке
Мой мир не отсекала борода;
И медленно, как медные полушки,
Из крана в кухне падала вода.
Сворачивалась. Набегала тучей.
Струистое точила лезвие...
— Ну как, скажи, поверит в мир текучий
Еврейское неверие мое?
Меня учили: крыша — это крыша.
Груб табурет. Убит подошвой пол,
Ты должен видеть, понимать и слышать,

На мир облокотиться, как на стол.
 А древоточца часовая точность
 Уже долбит подпорок бытие.
 ...Ну как, скажи, поверит в эту прочность
 Еврейское неверие мое?
 Любовь?
 Но съеденные вшами косы;
 Ключица, выпирающая косо;
 Прыщи; обмазанный селедкой рот
 Да шеи лошадиный поворот.
 Родители?
 Но в сумраке старея,
 Горбаты, узловаты и дики,
 В меня кидают ржавые евреи
 Обросшие щетиной кулаки.
 Дверь! Настежь дверь!
 Качается снаружи
 Обглоданная звездами листва,
 Дымится месяц посредине лужи,
 Грач вопиет, не помнящий родства.
 И вся любовь,
 Бегущая навстречу,
 И всё кликушество
 Моих отцов,
 И все светила,
 Строящие вечер,
 И все деревья,
 Рвущие лицо, —
 Всё это встало поперек дороги,
 Больными бронхами свистя в груди:
 — Отверженный! Возьми свой скарб убогий,
 Проклятье и презренье!
 Уходи! —
 Я покидаю старую кровать:
 — Уйти?
 Уйду!
 Тем лучше!
 Наплевать!

1930

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

*Весна еще в намеке
 Холодных звезд.
 На явор кривобокий
 Взлетает черный дрозд.*

Фазан взорвался, как фейерверк.
 Дробь вырвала хвою. Он
 Пернатой кометой рванулся вниз,
 В сумятицу вешних трав.
 Эрцгерцог вернулся к себе домой.
 Разделся. Выпил вина.
 И шелковый сеттер у ног его
 Расположился, как сфинкс.
 Револьвер, которым он был убит
 (Системы не вспомнить мне),
 В охотничьей лавке еще лежал
 Меж спиннингом и ножом.

Грядущий убийца дремал пока,
 Голову положив
 На юношески твердый кулак
 В коричневых волосках.

В Одессе каштаны оделись в дым,
 И море по вечерам,
 Хрипя, поворачивалось на оси,
 Подобное колесу.

Мое окно выходило в сад,
 И в сумерки, сквозь листву,
 Синели газовые рожки
 Над вывесками пивных.

И вот на этот шипучий свет,
 Гремя миллионом крыл,
 Летели скворцы, расшибаясь вдрызг
 О стекла и провода.

Весна их гнала из-за черных скал
 Бичами морских ветров.

Я вышел...
 За мной затворилась дверь...
 И ночь, окружив меня
 Движением крыльев, цветов и звезд,
 Возникла на всех углах.

Еврейские домики я прошел.
 Я слышал свирепый храп
 Биндюжников, спавших на биндюгах.
 И в окнах была видна
 Суббота в пурпуровом парике,
 Идущая со свечой.

Еврейские домики я прошел.
 Я вышел к сиянию рельс.
 На трамвайной станции млел фонарь,
 Окруженный большой весной.

Мне было только семнадцать лет,
 Поэтому эта ночь
 Клубилась во мне и дышала мной,
 Шагала плечом к плечу.

Я был ее зеркалом, двойником,
 Второю вселенной был.
 Планеты пронизывали меня
 Насквозь, как стакан воды,
 И мне казалось, что легкий свет
 Сочится из пор, как пот.

Трамвайную станцию я прошел.
 За ней невесом, как дым,
 Асфальтовый путь улетал, клубясь,
 На запад — к морским волнам.

И вдруг я услышал протяжный звук:
 Над миром плыла труба,

Изнывая от страсти. И я сказал:
«Вот первые журавли!»

Над пылью, над молодостью моей
Раскатывалась труба,
И звезды шарахались, трепеща,
От взмаха широких крыл.

Еще один крутой поворот —
И море пошло ко мне,
Неся на себе обломки планет
И тени пролетных птиц.

Была такая голубизна,
Такая прозрачность шла,
Что повториться в мире опять
Не может такая ночь.

Она поселилась в каждом кремне
Гнездом голубых лучей;
Она превратила сухой бурьян
В студень хрустали;
Она постаралась вложить себя
В травинку, в песок, во все —
От самой отдаленной звезды
До бутылки на берегу.

За неводом, у зеленых свай,
Где днем рыбаки сидят,
Я человека увидел вдруг,
Недвижного, как валун.

Он молод был, этот человек,
Он юношей был еще, —
В гимназической шапке с большим гербом,
В тужурке, сшитой на рост.

Я пригляделся:
Мне странен был
Этот человек:
Старчески согнутая спина
И молодое лицо.

Лоб, придавивший собой глаза,
Был не по-детски груб,
И подбородок торчал вперед,
Сработанный из кремня.

Вот тут я понял, что это он
И есть душа тишины,
Что тяжестью погасших звезд
Согнуты плечи его,
Что, сам не сознавая того,
Он совместил в себе
Крик журавлей и цветенье трав
В последнюю ночь весны.

Вот тут я понял:
Погибнет ночь,
И вместе с ней отпадет
Обломок мира, в котором он

Родился, ходил, дышал.
И только пузырик взвывается вверх,
Взвывается и пропадет.

И снова звезда. И вода рябит.
И парус уходит в сон.

Меж тем подымается рассвет.
И вот, грохоча ведром,
Прошел рыболов и, сев на скалу,
Поплавками истыкал гладь.

Меж тем подымается рассвет.
И вот на кривой сосне
Воздел свою флейту черный дрозд,
Встречая цветенье дня.

А нам что делать?
Мы побрели
На станцию, мимо дач...
Уже дребезжал трамвайный звонок
За поворотом рельс,
И бледной немочью млея фонарь,
Не погашенный поутру.

Итак, все кончено! Два пути!
Два пыльных маршрута в даль!
Два разных трамвая в два конца
Должны нас теперь умчать!

Но низенький юноша с грубым лбом
К солнцу поднял глаза
И вымолвил:
«В грозную эту ночь

Вы были вдвоем со мной.
Миру не выдумать никогда
Больше таких ночей...
Это последняя... Вот и все!
Прощайте!»
И он ушел.

Тогда, растворив в зеркалах рассвет,
Весь в молниях и звонках,
Пылая лаковой желтизной,
Ко мне подлетел трамвай.

Револьвер вынут из кобуры,
Школяр обойму вложил.
Из-за угла, где навес кафе,
Эрцгерцог едет домой.

.....

Печальные дети, что знали мы,
Когда у больших столов
Врачи, постучав по впалой груди,
«Годен!» — кричали нам...

Печальные дети, что знали мы,
Когда, прошагав весь день

В портянках, потных до черноты,
Мы падали на матрац.
Дремота и та избегала нас.
Уже ни свет ни заря
Врывалась казарменная труба
В отроческий покой.

Не досыпая, не долюбя,
Молодость наша шла.
Я спутника своего искал:
Быть может, он скажет мне,
О чем мечтать и в кого стрелять,
Что думать и говорить?

И вот неожиданно у ларька
Я повстречал его.
Он выпрямился... Военный френч
Как панцирь сидел на нем,
Плечи, которые тяжесть звезд
Упрямо сгибала вниз,
Чиновничий украшал погон;
И лоб, на который пал
Недавно предсмертный огонь планет,
Чистейший и грубый лоб,
Истыкан был тысячами угрей
И жилами рассечен.

О, где же твой блеск, последняя ночь,
И свист твоего дрозда!

Лужайка — да посредине сапог
У пушечной колеи.
Консервная банка раздроблена
Прикладом. Зеленый суп
Сочится из дырки. Бродячий пес
Облизывает траву.
Деревни скончались.
Потоптан хлеб.
И вечером — прямо в пыль
Планеты стекают в крови густой
Да смутно трубит горнист.
Дымятся костры у больших дорог.
Солдаты колотят вшей.
Над Францией дым.

На Пруссии вихрь.
И над Россией туман.

Мы плакали над телами друзей;
Любовь погребали мы;
Погибших товарищей имена
Доселе не сходят с губ.

Их честную память хранят холмы
В обветренных будяках,
Крестьянские лошади мнут полынь,
Проросшую из сердец,
Да изредка выгребает плуг
Пуговицу с орлом...

Но мы — мы живы наверняка!

Осыпался, отболев,
Скарлатинозною шелухой
Мир, окружавший нас.

И вечер наш трудолюбив и тих.
И слово, с которым мы
Боролись всю жизнь, — оно теперь
Подвластно нашей руке.

Мы навык воинов приобрели,
Терпенье и меткость глаз,
Уменье хитрить, уменье молчать,
Уменье смотреть в глаза.

Но если, строчки не дописав,
Бессильно падет рука,
И взгляд остановится, и губа
Отвалится к бороде,
И наши товарищи, поплевав
На руки, стащат нас
В клуб, чтоб мы прокисали там
Средь лампочек и цветов, —
Пусть юноша (вузовец, иль поэт,
Иль слесарь — мне все равно)
Придет и встанет на караул,
Не вытирая слезы.

1932

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

1895, с. Константиново Рязанской губ. — 1925, Ленинград

Родился в крестьянской семье. В 1912—1915 годах учился в Народном университете Шанявского в Москве. Первая книга — «Радуница» (1916). Один из основателей имажинизма. Есенин, может быть, самый русский поэт, ибо ничья другая поэзия настолько не происходила из шелеста берез, из мягкого стука дождевых капель о соломенные крыши крестьянских изб, из ржания коней на затуманенных утренних лугах, из побрякивания колокольцев на шеях коров, из покачивания ромашек и васильков, из песен на околицах. Стихи Есенина будто не написаны пером, а выдыханы самой русской природой. Его стихи, рожденные фольклором, постепенно сами превратились в фольклор. Пришедший из рязанского села в петроградские литературные салоны, Есенин в салонного поэта не превратился, и цилиндром, снятым с золотой головы после ночной пирушки, как будто ловил невидимых кузнечиков с полей своего крестьянского детства. Страшась исчезновения милого его сердцу патриархального уклада, он называл себя «последним поэтом деревни». Есенин воспевал революцию, но иногда, по собственному призванию, не понимая, «куда несет нас рок событий»,

опускался в трюм кабака накрывающегося от бурь корабля революции. Его поэзия порой была как растерявшийся жеребенок перед огнедышащим паровозом индустриализации. Есенин пронизывал страх стать «иностранцем» в своей собственной стране, но его опасения были напрасны. Национальные корни его поэзии были настолько глубоки, что тянулись за ним за моря-океаны во время его странствий, не отпуская, как родное блуждающее дерево. Не случайно он сам себя ощущал неотъемлемой частью русской природы — «как дерево роняет грустно листья, так я роняю грустные слова», а природу ощущал одним из воплощений себя самого, чувствуя себя то заледенелым кленом, то рыжим месяцем. Чувство родной земли перерастало у Есенина в чувство бескрайней звездной Вселенной, которую он тоже очеловечивал, одомашнивал: «Покатились глаза собачьи золотыми звездами в снег». Есенин, может быть, самый русский поэт и потому, что, пожалуй, ни в ком другом не было такой беззащитной исповедальности, хотя она иногда и прикрывалась буйством. Все его чувства, мысли, метания пульсировали с такой очевидностью, как голубые жилки под кожей, настолько нежнейше прозрачной, что она казалась несуществующей. Человеком, который написал «и зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове», мог быть только Есенин. И был действительно «цветком неповторимым» нашей поэзии. Не будучи риторическим гражданским поэтом, он дал пример высочайшего личного мужества в «Черном человеке» и во многих других стихах, когда шлепнул на стол истории свое дымящееся сердце, содрогающееся в конвульсиях, в комках кровавой слизи, настоящее живое сердце, непохожее на то сердце, которое превращают в червовый козырный туз ловкие поэтические картежники. Он повесился, написав кровью последнее стихотворение. По другим версиям — был убит.

ПЕСНЬ О СОБАКЕ

Утром в ржаном закуте,
Где златятся рогожи в ряд,
Семерых оценила сука,
Рыжих семерых щенят.

До вечера она их ласкала,
Причесывала языком,
И струился снежок подталый
Под теплым ее животом.

А вечером, когда куры
Обсиживают шесток,
Вышел хозяин хмурый,
Семерых всех поклат в мешок.

По сугробам она бежала,
Поспевая за ним бежать...
И так долго, долго дрожала
Воды незамерзшей гладь.

А когда чуть плелась обратно,
Слизывая пот с боков,
Показался ей месяц над хатой
Одним из ее щенков.

В синюю высь звонко
Глядела она, скуля,
А месяц скользил тонкий
И скрылся за холм в полях.

И глухо, как от подачи,
Когда бросят ей камень в смех,
Покатились глаза собачьи
Золотыми звездами в снег.

1915

* * *

Мариенгофу

Я последний поэт деревни,
Скромнен в песнях дощатый мост.

За прощальной стою обедней
Кадящих листвою берез.

Догорит золотистым пламенем
Из телесного воска свеча,
И луны часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час.

На тропу голубого поля
Скоро выйдет железный гость.
Злак овсяный, зарею пролитый,
Соберет его черная горсть.

Не живые, чужие ладони,
Этим песням при вас не жить!
Только будут колосья-кони
О хозяине старом тужить.

Будет ветер сосать их ржанье,
Панихидный справляя пляс.
Скоро, скоро часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час!

<1920>

* * *

Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.

Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком,
И страна березового ситца
Не заманит шляться босиком.

Дух бродяжий! ты все реже, реже
Расшевеливаешь пламень уст.
О моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств.

Я теперь скуперее стал в желаньях,
Жизнь моя? иль ты приснилась мне?

Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.

Все мы, все мы в этом мире тленны,
Тихо льется с кленов листьев медь...
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процветать и умереть.

1921

* * *

Все живое особой метой
Отмечается с ранних пор.
Если не был бы я поэтом,
То, наверно, был мошенник и вор.

Худошавый и низкорослый,
Средь мальчишек всегда герой,
Часто, часто с разбитым носом
Приходил я к себе домой.

И навстречу испуганной маме
Я цедил сквозь кровавый рот:
«Ничего! Я споткнулся о камень,
Это к завтраму все заживет».

И теперь вот, когда простыла
Этих дней кипячковая вязь,
Беспокойная, дерзкая сила
На поэмы мои пролилась.

Золотая словесная гряда,
И над каждой строкой без конца
Отражается прежняя удаль
Забияки и сорванца.

Как тогда, я отважный и гордый,
Только новью мой брызжет шаг...
Если раньше мне били в морду,
То теперь вся в крови душа.

И уже говорю я не маме,
А в чужой и хохочущий сброд:
«Ничего! Я споткнулся о камень,
Это к завтраму все заживет!»

1922

* * *

Мне осталась одна забава:
Пальцы в рот — и веселый свист.
Прокатилась дурная слава,
Что похабник я и скандалист.

Ах! какая смешная потеря!
Много в жизни смешных потерь.
Стыдно мне, что я в бога верил.
Горько мне, что не верю теперь.

Золотые далекие дали!
Все сжигает житейская мреть.

И похабничал я и скандалил
Для того, чтобы ярче гореть.

Дар поэта — ласкать и карябать,
Роковая на нем печать.
Розу белую с черною жабой
Я хотел на земле повенчать.

Пусть не сладились, пусть не сбылись
Эти помыслы розовых дней.
Но коль черти в душе гнездились —
Значит, ангелы жили в ней.

Вот за это веселие мути,
Отправляясь с ней в край иной,
Я хочу при последней минуте
Попросить тех, кто будет со мной, —

Чтоб за все за грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать
Положили меня в русской рубашке
Под иконами умирать.

1923

* * *

Пускай ты выпита другим,
Но мне осталось, мне осталось
Твоих волос стеклянный дым
И глаз осенняя усталость.

О, возраст осени! Он мне
Дороже юности и лета.
Ты стала нравиться вдвойне
Воображению поэта.

Я сердцем никогда не лгу,
И потому на голос чванства
Бестрепетно сказать могу,
Что я прощаюсь с хулиганством.

Пора расстаться с озорной
И непокорною отвагой.
Уж сердце наполнилось иной,
Кровь отрезвляющею брагой.

И мне в окошко постучал
Сентябрь багряной веткой ивы,
Чтоб я готов был и встречал
Его приход неприхотливый.

Теперь со многим я мирюсь
Без принужденья, без утраты.
Иною кажется мне Русь,
Иными — кладбища и хаты.

Прозрачно я смотрю вокруг
И вижу, там ли, здесь ли, где-то ль,
Что ты одна, сестра и друг,
Могла быть спутницей поэта.

Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.

Все мы, все мы в этом мире тленны,
Тихо льется с кленов листьев медь...
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процветать и умереть.

1921

* * *

Все живое особой метой
Отмечается с ранних пор.
Если не был бы я поэтом,
То, наверно, был мошенник и вор.

Худощавый и низкорослый,
Средь мальчишек всегда герой,
Часто, часто с разбитым носом
Приходил я к себе домой.

И навстречу испуганной маме
Я цедил сквозь кровавый рот:
«Ничего! Я споткнулся о камень,
Это к завтраму все заживет».

И теперь вот, когда простыла
Этих дней кипяток вязь,
Беспокойная, дерзкая сила
На поэмы мои пролилась.

Золотая словесная гряда,
И над каждой строкой без конца
Отражается прежняя удаль
Забияки и сорванца.

Как тогда, я отважный и гордый,
Только новью мой брызжет шаг...
Если раньше мне били в морду,
То теперь вся в крови душа.

И уже говорю я не маме,
А в чужой и хохочущий сброд:
«Ничего! Я споткнулся о камень,
Это к завтраму все заживет!»

1922

* * *

Мне осталась одна забава:
Пальцы в рот — и веселый свист.
Прокатилась дурная слава,
Что похабник я и скандалист.

Ах! какая смешная потеря!
Много в жизни смешных потерь.
Стыдно мне, что я в бога верил.
Горько мне, что не верю теперь.

Золотые далекие дали!
Все сжигает житейская мресть.

И похабничал я и скандалил
Для того, чтобы ярче гореть.

Дар поэта — ласкать и карябать,
Роковая на нем печать.
Розу белую с черною жабой
Я хотел на земле повенчать.

Пусть не сладились, пусть не сбывлись
Эти помыслы розовых дней.
Но коль черти в душе гнездились —
Значит, ангелы жили в ней.

Вот за это веселие мути,
Отправляясь с ней в край иной,
Я хочу при последней минуте
Попросить тех, кто будет со мной, —

Чтоб за все за грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать
Положили меня в русской рубашке
Под иконами умирать.

1923

* * *

Пускай ты выпита другим,
Но мне осталось, мне осталось
Твоих волос стеклянный дым
И глаз осенняя усталость.

О, возраст осени! Он мне
Дороже юности и лета.
Ты стала нравиться вдвойне
Воображению поэта.

Я сердцем никогда не лгу,
И потому на голос чванства
Бестрепетно сказать могу,
Что я прощаюсь с хулиганством.

Пора расстаться с озорной
И непокорною отвагой.
Уж сердце наполнилось иной,
Кровь отрезвляющею брагой.

И мне в окошко постучал
Сентябрь багряной веткой ивы,
Чтоб я готов был и встречал
Его приход неприхотливый.

Теперь со многим я мирюсь
Без принужденья, без утраты.
Иною кажется мне Русь,
Иными — кладбища и хаты.

Прозрачно я смотрю вокруг
И вижу, там ли, здесь ли, где-то ль,
Что ты одна, сестра и друг,
Могла быть спутницей поэта.

Что я одной тебе бы мог,
Воспитываясь в постоянстве,
Пропеть о сумерках дорог
И уходящем хулиганстве.

1923

* * *

Годы молодые с забубенной славой,
Отравил я сам вас горькою отравой.

Я не знаю: мой конец близок ли, далек ли,
Были синие глаза, да теперь поблекли.

Где ты радость? Темь и жуть, грустно
и обидно.
В поле, что ли? В кабаке? Ничего не видно.

Руки вытяну — и вот слушаю на ощупь:
Едем... кони... сани... снег... проезжаем
рощу.

«Эй, ямщик, неси вовсю! Чай, рожден
не слабым!
Душу вытрясти не жаль по таким ухабам».

А ямщик в ответ одно: «По такой метели
Очень страшно, чтоб в пути лошади
вспотели».

«Ты, ямщик, я вижу, трус. Это не с руки
нам!»
Взял я кнут и ну стегать по лошажьим
спинам.

Бью, а кони, как метель, снег разносят
в хлопья.

Вдруг толчок... и из саней прямо на сугроб я.

Встал и вижу: что за черт — вместо бойкой
тройки...
Забинтованный лежу на больничной койке.

И заместо лошадей по дороге тряской
Бью я жесткую кровать мокрою повязкой.

На лице часов в усы закрутились стрелки.
Наклонились надо мной сонные сиделки.

Наклонились и хрипят: «Эх, ты, златоглавый,
Отравил ты сам себя горькою отравой.

Мы не знаем, твой конец близок ли,
далек ли, —
Синие твои глаза в кабаках промокли».

<1924>

* * *

Я спросил сегодня у менялы,
Что дает за полтумана по рублю:

Как сказать мне для прекрасной Лалы
По-персидски нежное «люблю»?

Я спросил сегодня у менялы
Легче ветра, тише Ванских струй,
Как назвать мне для прекрасной Лалы
Слово ласковое «поцелуй»?

И еще спросил я у менялы,
В сердце робость глубже притая,
Как сказать мне для прекрасной Лалы,
Как сказать ей, что она «моя»?

И ответил мне меняла кратко:
О любви в словах не говорят,
О любви вздыхают лишь украдкой,
Да глаза, как яхонты, горят.

Поцелуй названья не имеет,
Поцелуй не надпись на гробах.
Красной розой поцелуи веют,
Лепестками тая на губах.

От любви не требуют поруки,
С нею знают радость и беду.
«Ты — моя» сказать лишь могут руки,
Что срывали черную чадру.

1924

* * *

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Потому, что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь при луне.
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

Потому, что я с севера, что ли,
Что луна там огромней в сто раз,
Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий.
Потому, что я с севера, что ли.

Я готов рассказать тебе поле.
Эти волосы взял я у ржи,
Если хочешь, на палец вяжи —
Я нисколько не чувствую боли.
Я готов рассказать тебе поле.

Про волнистую рожь при луне
По кудрям ты моим догадайся.
Дорогая, шути, улыбайся,
Не буди только память во мне
Про волнистую рожь при луне.

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Там, на севере, девушка тоже,
На тебя она страшно похожа,
Может, думает обо мне...
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

1924

Что я одной тебе бы мог,
Воспитываясь в постоянстве,
Пропеть о сумерках дорог
И уходящем хулиганстве.

1923

* * *

Годы молодые с забубенной славой,
Отравил я сам вас горькою отравой.

Я не знаю: мой конец близок ли, далек ли,
Были синие глаза, да теперь поблекли.

Где ты радость? Темь и жуть, грустно
и обидно.
В поле, что ли? В кабаке? Ничего не видно.

Руки вытяну — и вот слушаю на ощупь:
Едем... кони... сани... снег... проезжаем
рошу.

«Эй, ямщик, неси вовсю! Чай, рожден
не слабым!
Душу вытрясти не жаль по таким ухабам».

А ямщик в ответ одно: «По такой метели
Очень страшно, чтоб в пути лошади
вспотели».

«Ты, ямщик, я вижу, трус. Это не с руки
нам!»
Взял я кнут и ну стегать по лошажьим
спинам.

Бью, а кони, как метель, снег разносят
в хлопья.
Вдруг толчок... и из саней прямо на сугроб я.

Встал и вижу: что за черт — вместо бойкой
тройки...
Забинтованный лежу на больничной койке.

И заместо лошадей по дороге тряской
Бью я жесткую кровать мокрою повязкой.

На лице часов в усы закрутились стрелки.
Наклонились надо мной сонные сиделки.

Наклонились и хрипят: «Эх, ты, златоглавый,
Отравил ты сам себя горькою отравой.

Мы не знаем, твой конец близок ли,
далек ли, —
Синие твои глаза в кабаках промокли».

<1924>

* * *

Я спросил сегодня у менялы,
Что дает за полтумана по рублю:

Как сказать мне для прекрасной Лалы
По-персидски нежное «люблю»?

Я спросил сегодня у менялы
Легче ветра, тише Ванских струй,
Как назвать мне для прекрасной Лалы
Слово ласковое «поцелуй»?

И еще спросил я у менялы,
В сердце робость глубже притая,
Как сказать мне для прекрасной Лалы,
Как сказать ей, что она «моя»?

И ответил мне меняла кратко:
О любви в словах не говорят,
О любви вздыхают лишь украдкой,
Да глаза, как яхонты, горят.

Поцелуй названья не имеет,
Поцелуй не надпись на гробах.
Красной розой поцелуи веют,
Лепестками тая на губах.

От любви не требуют поруки,
С нею знают радость и беду.
«Ты — моя» сказать лишь могут руки,
Что срывали черную чадру.

1924

* * *

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Потому, что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь при луне.
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

Потому, что я с севера, что ли,
Что луна там огромней в сто раз,
Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий.
Потому, что я с севера, что ли.

Я готов рассказать тебе поле.
Эти волосы взял я у ржи,
Если хочешь, на палец вяжи —
Я нисколько не чувствую боли.
Я готов рассказать тебе поле.

Про волнистую рожь при луне
По кудрям ты моим догадайся.
Дорогая, шути, улыбайся,
Не буди только память во мне
Про волнистую рожь при луне.

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Там, на севере, девушка тоже,
На тебя она страшно похожа,
Может, думает обо мне...
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

1924

ПИСЬМО МАТЕРИ

Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.

Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

И тебе в вечернем синем мраке
Часто видится одно и то ж:
Будто кто-то мне в кабацкой драке
Саданул под сердце финский нож.

Ничего, родная! Успокойся.
Это только тягостная бредь.
Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, тебя не видя, умереть.

Я по-прежнему такой же нежный
И мечтаю только лишь о том,
Чтоб скорее от тоски мятежной
Воротиться в низенький наш дом.

Я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш белый сад.
Только ты меня уж на рассвете
Не буди, как восемь лет назад.

Не буди того, что отмечталось,
Не волнуй того, что не сбылось,—
Слишком раннюю утрату и усталость
Испытать мне в жизни привелось.

И молиться не учи меня. Не надо!
К старому возврата больше нет.
Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет.

Так забудь же про свою тревогу,
Не грусти так шибко обо мне.
Не ходи так часто на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

<1924>

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

Я посетил родимые места,
Ту сельщину,
Где жил мальчишкой,
Где каланчой с березовою вышкой
Взметнулась колокольня без креста.

Как много изменилось там,
В их бедном, неприглядном быте.
Какое множество открытий
За мною следовало по пятам.

Отцовский дом
Не мог я распознать:
Приметный клен уж под окном не машет,
И на крыльчке не сидит уж мать,
Кормя цыплят крупитчатую кашей.

Стара, должно быть, стала...
Да, стара.
Я с грустью озираюсь на окрестность:
Какая незнакомая мне местность!
Одна, как прежняя, белеется гора,
Да у горы
Высокий серый камень.

Здесь кладбище!
Подгнившие кресты,
Как будто в рукопашной мертвецы,
Застыли с распростертыми руками.
По тропке, опершись на подожок,
Идет старик, сметая пыль с бурьяна.
«Прохожий!
Укажи, дружок,
Где тут живет Есенина Татьяна?»

«Татьяна... Гм...
Да вон за той избой.
А ты ей что?
Сродни?
Аль, может, сын пропащий?»

«Да, сын.
Но что, старик, с тобой?
Скажи мне.
Отчего ты так глядишь скорбяще?»

«Добро, мой внук,
Добро, что не узнал ты деда!...»
«Ах, дедушка, ужели это ты?»
И полилась печальная беседа
Слезами теплыми на пыльные цветы.

.....

«Тебе, пожалуй, скоро будет тридцать...
А мне уж девяносто...
Скоро в гроб.
Давно пора бы было воротиться».
Он говорит, а сам все морщит лоб.
«Да!.. Время!..
Ты не коммунист?»
«Нет!..»
«А сестры стали комсомолки.
Такая гадость! просто удавись!
Вчера иконы выбросили с полки,
На церкви комиссар снял крест.
Теперь и богу негде помолиться.
Уж я хожу украдкой нынче в лес,
Молюсь осинам...
Может, пригодится...»

Пойдем домой —
 Ты все увидишь сам».
 И мы идем, топча межой кукольной.
 Я улыбаюсь пашням и лесам,
 А дед с тоской глядит на колокольню.

 «Здорово, мать! Здорово!» —
 И я опять тяну к глазам платок.
 Тут разрыдаться может и корова,
 Глядя на этот бедный уголок.

На стенке календарный Ленин.
 Здесь жизнь сестер,
 Сестер, а не моя,—
 Но все ж готов упасть я на колени,
 Увидев вас, любимые края.

Пришли соседи...
 Женщина с ребенком.
 Уже никто меня не узнает.
 По-байроновски наша собачонка
 Меня встречала с лаем у ворот.

Ах, милый край!
 Не тот ты стал,
 Не тот.
 Да уж и я, конечно, стал не прежний.
 Чем мать и дед грустней и безнадежней,
 Тем веселей сестры смеется рот.

Конечно, мне и Ленин не икона,
 Я знаю мир...
 Люблю мою семью...
 Но отчего-то все-таки с поклоном
 Сажусь на деревянную скамью.

«Ну, говори, сестра!»

И вот сестра разводит,
 Раскрыв, как Библию, пузатый «Капитал»,
 О Марксе,
 Энгельсе...

Ни при какой погоде
 Я этих книг, конечно, не читал.

И мне смешно,
 Как шустрая девчонка
 Меня во всем за шиворот берет...

 По-байроновски наша собачонка
 Меня встречала с лаем у ворот.

1924

* * *

Мы теперь уходим понемногу
 В ту страну, где тишь и благодать.

Может быть, и скоро мне в дорогу
 Бренные пожитки собирать.

Милые березовые чащи!
 Ты, земля! И вы, равнин пески!
 Перед этим сонмом уходящих
 Я не в силах скрыть моей тоски.

Слишком я любил на этом свете
 Все, что душу облекает в плоть.
 Мир осинам, что, раскинув ветви,
 Загляделись в розовую водь.

Много дум я в тишине продумал,
 Много песен про себя сложил,
 И на этой на земле угрюмой
 Счастлив тем, что я дышал и жил.

Счастлив тем, что целовал я женщин,
 Мял цветы, валялся на траве
 И зверье, как братьев наших меньших,
 Никогда не бил по голове.

Знаю я, что не цветут там чащи,
 Не звенит лебяжьей шеей рожь.
 Оттого пред сонмом уходящих
 Я всегда испытываю дрожь.

Знаю я, что в той стране не будет
 Этих нив, златящихся во мгле.
 Оттого и дороги мне люди,
 Что живут со мною на земле.

1924

* * *

Отговорила роща золотая
 Березовым, веселым языком,
 И журавли, печально пролетая,
 Уж не жалеют больше ни о ком.

Кого жалеть? Ведь каждый в мире
 странник —
 Пройдет, зайдет и вновь оставит дом.
 О всех ушедших грезит конопляник
 С широким месяцем над голубым прудом.

Стою один среди равнины голой,
 А журавлей относит ветер вдаль,
 Я полон дум о юности веселой,
 Но ничего в прошедшем мне не жаль.

Не жаль мне лет, растроченных напрасно,
 Не жаль души сиреневую цветь.
 В саду горит костер рябины красной,
 Но никого не может он согреть.

Не обгорят рябиновые кисти,
 От желтизны не пропадет трава,

Как дерево роняет тихо листья,
Так я роняю грустные слова.

И если время, ветром разметая,
Сгребет их все в один ненужный ком...
Скажите так... что роща золотая
Отговорила милым языком.

1924

РУСЬ СОВЕТСКАЯ

А. Сахарову

Тот ураган прошел. Нас мало уцелело.
На перекличке дружбы многих нет.
Я вновь вернулся в край осиротелый,
В котором не был восемь лет.

Кого позвать мне? С кем мне поделиться
Той грустной радостью, что я остался жив?
Здесь даже мельница — бревенчатая птица
С крылом единственным — стоит, глаза
смежив.

Я никому здесь не знаком,
А те, что помнили, давно забыли.
И там, где был когда-то отчий дом,
Теперь лежит зола да слой дорожной пыли.

А жизнь кипит.
Вокруг меня снуют
И старые и молодые лица.
Но некому мне шляпой поклониться,
Ни в чьих глазах не нахожу приют.

И в голове моей проходят роем думы:
Что родина?
Ужели это сны?
Ведь я почти для всех здесь пилигрим
угрюмый

Бог весть с какой далекой стороны
И это я!
Я, гражданин села,
Которое лишь тем и будет знаменито,
Что здесь когда-то баба родила
Российского скандального пиита.

Но голос мысли сердцу говорит:
«Опомнись! Чем же ты обижен?
Ведь это только новый свет горит
Другого поколения у хижин.

Уже ты стал немного отцветать,
Другие юноши поют другие песни.
Они, пожалуй, будут интересней —
Уж не село, а вся земля им мать».

Ах, родина! Какой я стал смешной.
На щеки впалые летит сухой румянец.
Язык сограждан стал мне как чужой,
В своей стране я словно иностранец.

Вот вижу я:
Воскресные сельчане
У волости, как в церковь, собрались.
Корявыми, немывтыми речами
Они свою обсуживают «жись».

Уж вечер. Жидкой позолотой
Закат обрызгал серые поля.
И ноги босые, как телки под ворота,
Уткнули по канавам тополя.

Хромой красноармеец с ликом сонным,
В воспоминаниях морщина лоб,
Рассказывает важно о Буденном,
О том, как красные отбили Перекоп.

«Уж мы его — и этак и раз-этак, —
Буржуя энтото... которого... в Крыму...»
И клены морщатся ушами длинных веток,
И бабы охают в немую полутьму.

С горы идет крестьянский комсомол,
И под гармонику, наяривая рьяно,
Поют агитки Бедного Демьяна,
Веселым криком оглашая дол.

Вот так страна!
Какого ж я рожна
Орал в стихах, что я с народом дружен?
Моя поэзия здесь больше не нужна,
Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен.

Ну что ж!
Прости, родной приют.
Чем сослужил тебе — и тем уж я доволен,
Пуускай меня сегодня не поют —
Я пел тогда, когда был край мой болен.

Приемлю все.
Как есть все принимаю.
Готов идти по выбитым следам.
Отдам всю душу октябрю и маю,
Но только лиры милой не отдам.

Я не отдам ее в чужие руки,
Ни матери, ни другу, ни жене.
Лишь только мне она свои вверяла звуки,
И песни нежные лишь только пела мне.

Цветите, юные! И здоровейте телом!
У вас иная жизнь, у вас другой напев.
А я пойду один к неведомым пределам,
Душой бунтующей навеки присмирив.

Но и тогда,
Когда во всей планете
Пройдет вражда племен,
Исчезнет ложь и грусть, —
Я буду воспевать
Всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названьем кратким «Русь».

1924

ПИСЬМО К ЖЕНЩИНЕ

Вы помните,
 Вы всё, конечно, помните,
 Как я стоял,
 Приблизившись к стене,
 Взволнованно ходили вы по комнате
 И что-то резкое
 В лицо бросали мне.

Вы говорили:
 Нам пора расстаться,
 Что вас измучила
 Моя шальная жизнь,
 Что вам пора за дело приниматься,
 А мой удел —
 Катиться дальше, вниз.

Любимая!
 Меня вы не любили.
 Не знали вы, что в сонмище людском
 Я был как лошадь, загнанная в мыле,
 Пришпоренная смелым ездоком.

Не знали вы,
 Что я в сплошном дыму,
 В развороченном бурей быте
 С того и мучаюсь, что не пойму —
 Куда несет нас рок событий.

Лицом к лицу
 Лица не увидать.
 Большое видится на расстоянье.
 Когда кипит морская гладь —
 Корабль в плачевном состоянии.

Земля — корабль!
 Но кто-то вдруг
 За новой жизнью, новой славой
 В прямую гуцу бурь и вьюг
 Ее направил величаво.

Ну кто ж из нас на палубе большой
 Не падал, не блевал и не ругался?
 Их мало, с опытной душой,
 Кто крепким в качке оставался.

Тогда и я,
 Под дикий шум,
 Но зрело знающий работу,
 Спустился в корабельный трюм,
 Чтоб не смотреть людскую рвоту.

Тот трюм был —
 Русским кабаком.
 И я склонился над стаканом,
 Чтоб, не страдая ни о ком,
 Себя сгубить
 В угаре пьяном.

Любимая!
 Я мучил вас,
 У вас была тоска
 В глазах усталых:
 Что я пред вами напоказ
 Себя растрачивал в скандалах.

Но вы не знали,
 Что в сплошном дыму,
 В развороченном бурей быте
 С того и мучаюсь,
 Что не пойму,
 Куда несет нас рок событий...

.....
 Теперь года прошли.
 Я в возрасте ином.
 И чувствую и мыслю по-иному.
 И говорю за праздничным вином:
 Хвала и слава рулевому!

Сегодня я
 В ударе нежных чувств.
 Я вспомнил вашу грустную усталость.
 И вот теперь
 Я сообщить вам мчусь,
 Каков я был,
 И что со мною случилось!

Любимая!
 Сказать приятно мне:
 Я избежал паденья с кручи.
 Теперь в Советской стороне
 Я самый яростный попутчик.

Я стал не тем,
 Кем был тогда.
 Не мучил бы я вас,
 Как это было раньше.
 За знамя вольности
 И светлого труда
 Готов идти хоть до Ла-Манша.

Простите мне...
 Я знаю: вы не та —
 Живете вы
 С серьезным, умным мужем;
 Что не нужна вам наша маста,
 И сам я вам
 Ни капельки не нужен.

Живите так,
 Как вас ведет звезда,
 Под кущей обновленной сени.
 С приветствием,
 Вас помнящий всегда
 Знакомый ваш

Сергей Есенин.

СОБАКЕ КАЧАЛОВА

Дай, Джим, на счастье лапу мне,
Такую лапу не видал я сроду.
Давай с тобой полаем при луне
На тихую, бесшумную погоду.
Дай, Джим, на счастье лапу мне.

Пожалуйста, голубчик, не лижись.
Пойми со мной хоть самое простое.
Ведь ты не знаешь, что такое жизнь.
Не знаешь ты, что жить на свете стоит.

Хозяин твой и мил и знаменит,
И у него гостей бывает в доме много,
И каждый, улыбаясь, норовит
Тебя по шерсти бархатной потрогать.

Ты по-собачьи дьявольски красив,
С такою милою доверчивой приятцей.
И, никого ни капли не спросив,
Как пьяный друг, ты лезешь целоваться.

Мой милый Джим, среди твоих гостей
Так много всяких и невсяких было.
Но та, что всех безмолвней и грустней,
Сюда случайно вдруг не заходила?

Она придет, даю тебе поруку.
И без меня, в ее уставясь взгляд,
Ты за меня лизни ей нежно руку
За все, в чем был и не был виноват.

1925

ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен!
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рошу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь.

Голова моя машет ушами,
Как крыльями птица.
Ей на шею ноги
Маячить больше невмочь.
Черный человек,
Черный, черный,
Черный человек
На кровать ко мне садится,
Черный человек
Спать не дает мне всю ночь.

Черный человек
Водит пальцем по мерзкой книге
И, гнусавя надо мной,
Как над усопшим монахом,
Читает мне жизнь
Какого-то прохвоста и забулдыги,

Нагоняя на душу тоску и страх.
Черный человек,
Черный, черный!
«Слушай, слушай,—
Бормочет он мне,—
В книге много прекраснейших
Мыслей и планов.
Этот человек
Проживал в стране
Самых отвратительных
Громил и шарлатанов.

В декабре в той стране
Снег до дьявола чист,
И метели заводят
Веселые прятки.
Был человек тот авантюрист,
Но самой высокой
И лучшей марки.

Был он изящен,
К тому ж поэт,
Хоть с небольшой,
Но ухватистой силою,
И какую-то женщину,
Сорока с лишним лет,
Называл скверной девочкой
И своею милою.

«Счастье,— говорил он,—
Есть ловкость ума и рук.
Все неловкие души
За несчастных всегда известны.
Это ничего,
Что много мук
Приносят изломанные
И лживые жесты.

В грозы, в бури,
В житейскую стынь,
При тяжелых утратах
И когда тебе грустно,
Казаться улыбчивым и простым —
Самое высшее в мире искусство».

«Черный человек!
Ты не смеешь этого!
Ты ведь не на службе
Живешь водолазовой.
Что мне до жизни
Скандального поэта.
Пожалуйста, другим
Читай и рассказывай.»

Черный человек
Глядит на меня в упор.
И глаза покрываются
Голубой блевотой,—
Словно хочет сказать мне,
Что я жулик и вор,

Так бесстыдно и нагло
Обокравший кого-то.
.....

Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рощу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь.

Ночь морозная.
Тих покой перекрестка.
Я один у окошка,
Ни гостя, ни друга не жду.
Вся равнина покрыта
Сыпучей и мягкой известкой,
И деревья, как всадники,
Съехались в нашем саду.

Где-то плачет
Ночная зловещая птица.
Деревянные всадники
Сеют копытливый стук.
Вот опять этот черный
На кресло мое садится,
Приподняв свой цилиндр
И откинув небрежно сюртук.

«Слушай, слушай! —
Хрипит он, смотря мне в лицо,
Сам все ближе
И ближе клонится,—
Я не видел, чтоб кто-нибудь
Из подлецов
Так ненужно и глупо
Страдал бессонницей.

Ах, положим, ошибся!
Ведь нынче луна.
Что же нужно еще
Напоенному дремой мирику?
Может, с толстыми ляжками
Тайно придет «она»,
И ты будешь читать
Свою дохлую томную лирику?

Ах, люблю я поэтов!
Забавный народ.
В них всегда нахожу я
Историю, сердцу знакомую,—
Как прыщавой курсистке
Длинноволосый урод
Говорит о мирах,
Половой истекая истомою.

Не знаю, не помню,
В одном селе,
Может, в Калуге,
А может, в Рязани,

Жил мальчик
В простой крестьянской семье,
Желтоволосый,
С голубыми глазами...
И вот стал он взрослым,
К тому ж поэт,
Хоть с небольшой,
Но ухватистой силою,
И какую-то женщину,
Сорока с лишним лет,
Называл скверной девочкой
И своею милою».

«Черный человек!
Ты прескверный гость.
Эта слава давно
Про тебя разносится».
Я взбешен, разъярен,
И летит моя трость
Прямо к морде его,
В переносицу...

...Месяц умер,
Синеет в окошко рассвет.
Ах ты, ночь!
Что ты, ночь, наковеркала?
Я в цилиндре стою.
Никого со мной нет.
Я один...
И разбитое зеркало...

1925

* * *

Цветы мне говорят — прощай,
Головками склоняясь ниже,
Что я навеки не увижу
Ее лицо и отчий край.

Любимая, ну, что ж! Ну, что ж!
Я видел их и видел землю,
И эту гробовую дрожь,
Как ласку новую, приемлю.

И потому, что я постиг
Всю жизнь, пройдя с улыбкой мимо,—
Я говорю на каждый миг,
Что все на свете повторимо.

Не все ль равно — придет другой,
Печаль ушедшего не словет,
Оставленной и дорогой
Пришедший лучше песню сложит.

И, песне внемля в тишине,
Любимая с другим любимым,
Быть может, вспомнят обо мне,
Как о цветке неповторимом.

1925

* * *

Ты меня не любишь, не жалеешь,
Разве я немного не красив?
Не смотря в лицо, от страсти млеешь,
Мне на плечи руки опустив.

Молодая, с чувственным оскалом,
Я с тобой не нежен и не груб.
Расскажи мне, скольких ты ласкала?
Сколько рук ты помнишь? Сколько губ?

Знаю я — они прошли, как тени,
Не коснувшись твоего огня,
Многим ты садилась на колени,
А теперь сидишь вот у меня.

Пусть твои полузакрыты очи
И ты думаешь о ком-нибудь другом,
Я ведь сам люблю тебя не очень,
Утопая в дальнем дорогом.

Этот пыл не называй судьбою,
Легкодумна вспылчивая связь,—
Как случайно встретился с тобою,
Улыбнись, спокойно разойдясь.

Да и ты пойдешь своей дорогой
Распылять безрадостные дни,
Только нецелованных не трогай,
Только негоревших не мани.

И когда с другим по переулку
Ты пройдешь, болтая про любовь,
Может быть, я выйду на прогулку,
И с тобою встретимся мы вновь.

Отвернув к другому ближе плечи
И немного наклонившись вниз,
Ты мне скажешь тихо: «Добрый вечер!»
Я отвечу: «Добрый вечер, miss».

И ничто души не потревожит,
И ничто ее не бросит в дрожь,—
Кто любил, уж тот любить не может,
Кто сгорел, того не подожжешь.

1925

* * *

Клен ты мой опавший, клен заледенелый,
Что стоишь, нагнувшись, под метелью белой?

Или что увидел? Или что услышал?
Словно за деревню погулять ты вышел.

И, как пьяный сторож, выйдя на дорогу,
Утонул в сугробе, приморозил ногу.

Ах, и сам я нынче чтой-то стал нестойкий,
Не дойду до дома с дружеской попойки.

Там вон встретил вербу, там сосну приметил,
Распевал им песни под метель о лете.

Сам себе казался я таким же кленом,
Только не опавшим, а всю зеленным.

И, утратив скромность, одуревши в доску,
Как жену чужую, обнимал березку.

28 ноября 1925

* * *

До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей,—
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

1925

ИЗ ДРАМАТИЧЕСКОЙ ПОЭМЫ
«ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ»

УРАЛЬСКИЙ КАТОРЖНИК

Хлопуша

Сумасшедшая, бешеная кровавая муть!
Что ты? Смерть? Иль исцеленье калекам?
Проведите, проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого человека.
Я три дня и три ночи искал ваш умёт,
Тучи с севера сыпались каменной грудой.
Слава ему! Пусть он даже не Петр!
Чернь его любит за буйство и удаль.
Я три дня и три ночи блуждал по тропам,
В солонце рыл глазами удачу,
Ветер волосы мои, как солому, трепал
И цепами дождя обмолачивал.
Но озлобленное сердце никогда

не заблудится,

Эту голову с шеи сшибить нелегко.
Оренбургская заря красношерстной
верблюдицей

Рассветное роняла мне в рот молоко.
И холодное корявое вымя сквозь тьму
Прижимал я, как хлеб, к истощенным векам.
Проведите, проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого человека.

Март—август 1921

ИЗ ПОЭМЫ «АННА СНЕГИНА»

* * *

Иду я разросшимся садом,
Лицо задевает сирень.
Так мил моим всныхнувшим взглядам
Погорбившийся плетень.
Когда-то у той вон калитки

Мне было шестнадцать лет.
И девушка в белой накидке
Сказала мне ласково: «Нет!»

Далекие милые были!..
Тот образ во мне не угас.

Мы все в эти годы любили,
Но, значит,
Любили и нас.

Январь 1925
Батум

ВАСИЛИЙ НАСЕДКИН

1895, д. Веровка Уфимской губ.—1940

Из крестьянской семьи. Окончил стерлитамакское четырехклассное училище. Печатался с 1923 года. Член группы «Перевал». Город не выбил из Наседкина деревенскую суть. Под мужика он не поддельвался, а был им. Поэтому он был поистине близок к Есенину, хотя и не лез к нему в закадычные дружки. Многие стихи Наседкина трогают и по сей день. В 1937 году репрессирован. Дата смерти («гибели в заключении») условна.

ОБОЗ

Жизнь людская разной кройки:
Тот — богат, а этот — бос.
Потому-то вместо тройки
Мне мерещится обоз.

Ночи, дымные метели,
И в метель, в пути таком
Вместо ласковой постели,
Дровни с мерзлым хрептугом.

Дровни плачут, режут, месят
Жесткий снег под храп гнедух...
Хорошо, как светит месяц,
Хорошо, как не потух.

А потухнет, станет жутко.
Заблудился — не помочь.
И вся жизнь ненужной шуткой
Вдруг представится в ту ночь.

Дома, темная с испугу,
Мать осветит образа
И не раз на светлый угол
Вскинет грустные глаза.

Выйдет в сени. Степь гогочет.
Словно жернов крутит снег.
Где-то глухо вскрикнет кочет,
Ни пути, ни звезд, ни вех.

Что-то станет и случится,
Каждый час, как сто недель,
И всю ночь в окно стучится
Зяблой странницей метель.

Лишь наутро просветлеет.
У окна лежит сугроб,
И глядит, и жутью веет,
Как огромный белый гроб.

...Так всегда. Одним попойки,
А другим, кто сердцем прост,
Тяжкий труд с больничной койкой
Да затерянный погост.

Но, влекомый новой долей,
Я за тех, кто шел со мной
В бездорожном русском поле
За обозами зимой.

НАДЕЖДА ПАВЛОВИЧ

1895, м. Лаудон Лифляндской губ.—1980, Москва

Я ее встретил году в 1950-м, когда она работала литконсультанткой в журнале «Октябрь». Она была доброжелательной, бойкой старушкой. Говорили, что когда-то у нее был роман с Блоком. Это создавало вокруг ее седой подвижной головки романтический ореол, который так не сочетался с кошелкой, где она носила и плавленые сырки, и кефир, и стихи молодых, в том числе и составителя этой антологии.

У ПАМЯТНИКА ГОГОЛЯ

Молчи! Молчи, мой черный Гоголь!
Спины тебе не разогнуть!
Смеялся ты и плакал много ль,
Российский измеряя путь?

Какой мечтою сердце мучишь,
В какой дали ты видишь сон,
Когда летит от сизой тучи
Московский перекрестный звон?

Когда учебною стрельбою
В комки горячий воздух сбит
И вздрагивает под тобою
Пустынной площади гранит,

Все сумрачней, все безлюбовней
Следишь ты нашей жизни дым, —
На ведовской твоей жаровне
Мы, души мертвые, горим.

АЛЕКСАНДР ПЕРФИЛЬЕВ

1895, Чита — 1973, Мюнхен

Сын сибирского казачьего генерала. В юности вместе с отцом совершил путешествие по Центральной Азии в составе экспедиции прославленного Петра Козлова. В Первую мировую воевал, награжден и георгиевским оружием, и Георгиевским крестом. Тогда же начал печататься. В начале 20-х годов перебрался в Латвию, где жил до 1944 года, очень широко печатаясь, выпустив три поэтических сборника, а также напрямую «продавая» свое дарование: тексты всех танго Оскара Строка, вышедших в рижском издательстве этого «короля танго», написаны Перфильевым, в том числе и невообразимо популярное «О, эти черные глаза». Хотя Перфильев — сам музыкант — и считал свои «текстовые» занятия хлебным приварком, а от авторства согласен был отказаться, если платили больше, среди его «текстов» есть образцы настоящей поэзии — «Единственная нежная» или же сочиненный им текст «Домино», никем, кажется, и не петь никогда. В октябре 1944 года вновь надел казачью форму и вступил в армию Краснова. Советскими агентами пойман не был, после войны много сотрудничал в изданиях «перемещенных лиц» и на радио «Свобода», пользуясь псевдонимами Александр Ли, Шерри-Бренди и др. Поэтическое наследие Перфильева довольно полно издано его вдовой, писательницей Ириной Сабуровой, в 1976 году.

ТОЧКА

Лишь вчера похоронили Блока,
Расстреляли Гумилева. И
Время как-то сдвинулось жестоко,
Сжав ладони грубые свои.

Лишь вчера стучал по крыше, в двери,
Град двух войн — позора и побед —
Лишь вчера о вдохновеньи в Иере
Умирая, написал поэт.

Все года, события стали ближе,
Воедино слив друзей, врагов...
Между Петербургом и Парижем
Расстоянье в несколько шагов.

Так последняя вместила строчка
Сумму горя, счастья, чепухи,
И торжественно закрыла точка
Как глаза покойнику — стихи.

Все предадут, все отвернутся,
Все потеряешь навсегда,
И не успеешь оглянуться,
Как отойдут твои года...

И ощутив, что путь твой пройден,
Как будто в несколько минут,
Ты станешь, наконец, свободен,
От всех своих житейских пут.

И станут склепом неба своды,
И черной пропастью земля,
От этой неживой свободы,
Сдавлившей горло, как петля.

1953

ПАСТОРАЛЬ

«Почему ты не пишешь?» — друзья
говорят —
Те стихи, что волнуют, зовут и горят?»
Для кого? Для чего? Про позор, про распад?
Про гибель, про нами же созданный ад?

«Чтобы кто-то прочел, хоть единственный
друг!»
Нет, бумага дороже всех наших потуг...
Не писать ли про тех замогильных червей,
Что съедят твое тело до самых костей?

Про бессмыслицу мира, про мерзость,
про ложь?
Про любовь что дешевле, чем ломаный
грош?
Может быть, про снежок? Может быть,
про лужок,
На котором пастушке поет пастушок?

Про печаль, про мораль? Это все пастораль,
Про нее дребезжит нам разбитый рояль,
На котором играет в публичных домах
Полупьяный тапёр в оловянных очках.

Простая жизнь, как черствый ломоть хлеба,
Как запах клевера, как сена рыхлый стог.
Над нами русское скупое небо,
И грусть полей, и глинозем дорог.

Трясет на кочках старая телега,
В ней проволоккой скрученная ось...
Пускай трясет и дребезжит от бега,
До хутора дотащимся, небось.

Трюх-трюх — рысит усталая кобыла,
С рожденья не выдавшая скребка...
Все это так столетиями было,
Все это так привычно, как тоска.

Пусть черств наш хлеб и жребий скуп и черен,
Не сгинет Русь, ее спасут, небось,
Телеги старой проржавевший шкворень
Да проволокой скрученная ось.

ВСЕВОЛОД РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

1895, Царское Село—1977, Ленинград

Учился в Царском Селе, в гимназии, где директорствовал Иннокентий Анненский. Тесно общался с Максимом Горьким, дружил с Александром Блоком, который привлек его к работе в издательстве «Всемирная литература». Участник гражданской войны. В Великую Отечественную войну был корреспондентом фронтовых газет. Первая книга стихов «Гимназические годы» вышла в 1914 году, автор либретто опер «Декабристы», «Помпадурь», «Заря над Двиной». Оставил книгу воспоминаний. Я обожал его «Корсар» в детстве.

БАЛЛАДА БУДНЕЙ

Шестой этаж. Окно под крышей.
Сквозь кисею молочный свет.
Там, где горошек в узкой нише
Ползет по жердочкам все выше,
Снимает комнату поэт.

Внизу — булавочные люди,
Коты, булыжники двора,
Бренчанье вилок по посуде,
Возня ребят в песочной груде,
Шарманка с самого утра.

Все так обычно, так знакомо:
Заката розовый миткаль
Глядит с обрушенного дома
В окно, где дочка управдома
Терзает старенький роуаль.

Стучит сапожник по колодке,
Стругает плотник, пьет актер,
Девица щурит взгляд короткий,—
И вот старик в косоворотке
Проходит медленно во двор.

Склоняя профиль безобразный,
К костлявой скрипке у плеча,
Он вдруг взмахнул рукою грязной,
И «Травиата» неотвязно
Заняла, зла и горяча.

Свежеет день. Бормочут клены.
Столяр застыл у верстака.
Сквозь мир, как окна запыленный,
Проходят: «Яблочко», «Буденный»
И «Волга — русская река».

Старик за песней водит руку,
Поет обман, зубную боль,

Разрыв, свидание, разлуку,
Людскую бестолочь и скуку,
Перегоревший алкоголь.

И вдруг — разбив аккорд, как чашку,
Спускает скрипку, весь дрожа,
Пока в измятую фуражку
Пятак, завернутый в бумажку,
Летит с шестого этажа.

КОРСАР

В коридоре сторож с самострелом.
Я в цепях корсара узнаю.
На полу своей темницы мелом
Начертил он узкую ладью.

Стал в нее, о грозовом просторе,
О холодных звездных небесах
Долго думал, и пустое море
Застонало в четырех стенах.

Ярче расцветающего перца
Абордажа праздничная страсть,
Первая граната в самом сердце
У него разорвалась.

Вскрикнул он и вытянулся. Тише
Маятник в груди его стучит.
Бьет закат, и пробегает мыши
По диагонали серых плит.

Все свершил он в мире небогатом,
И идет душа его теперь
Черным многопарусным фрегатом
Через плотно запертую дверь.

Между 1923 и 1926

ЕЛЕНА ТАГЕР

1895—1964

Поначалу подписывалась псевдонимом Анна Регат, училась на Бестужевских курсах, была знакома с Блоком, дружила с Ахматовой и Мандельштамом — а потом провела в тюрьмах, лагерях и ссылках целых восемнадцать лет. Но все же вернулась в Ленинград, вернулась в литературу. Ее стихи в основном пропали, но и сохранившееся опубликовано меньше чем наполовину.

* * *

Велегласно блаженствуют утки в канаве,
Меднолобые тыквы воздвиглись на кров...
А, пожалуй, их мог бы вкусить и Державин,
Отдохнув от Фелицыных громких пиров.

Восемнадцатый век. Он везде и повсюду:
В домовитости грузной алтайской избы,
В голубой колокольне и в этих причудах
Изобильной крутой деревянной резьбы;

В этой ровной черте оборонного вала.
(Ярославна! Твой голос и здесь прорыдал...)

Восемнадцатый век — чтобы степь пустовала,
На лесном рубеже городил города.

Девятнадцатый век торговал и молился,
Капиталец копил, но эпоха не ждет
И не шутит — и в сонную одурь вломился
Говорливый, партийный семнадцатый год.

Век двадцатый! Ты мчишься в венке пятилеток.
Не Фортуны — Коммуны крути колесо...
Вот о чем толковал Дидерот с Аруэтом!
Вот чего домогался мечтатель Руссо!

1948

Бийск, Алтайский край

ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ

1896, Петербург—1978, Москва

Да, литературен, да, насквозь... Но щедрая первоклассная литературщина лучше художественно нищенской «самостоятельности». Стиль Антокольского — это открытая реминисцентность. Ученик Вахтангова, связанный всю жизнь с кулисами и как режиссер, и как любовник, он не случайно с гордостью написал: «Служба государству — есть театр». Он не был поэтом тяжелого веса — его интеллигентность была облегченной. Но он свободно себя чувствовал как актер в разных декорациях: и в мастерской Иеронима Босха, и на санкилотских баррикадах, и на машкерадах времен Пушкина. Любовь в его поэзии тоже была поставлена по-вахтанговски: «Я рифмовал твое имя с грозой, золотом зноя осыпал тебя...» Легкость отношения к жизни помогала ему уживаться даже с диктатурой, и реальность арестов и расстрелов он видел сквозь легкий божемный флер. Потеря юности-сына в начале Второй мировой вознесла его на ледяный пик настоящих страданий, и он написал свою поэму «Сын», во время чтения которой на моих глазах встала вся нетопленая Коммунистическая аудитория Московского университета зимой 44 года: «В ладонях греются билеты. Солдат идет на костылях, и в летчицких унтах поэты и в офицерских кителях. Отец показывал мне. Я же смотрел, смущен и бестолков, и мне казался богом Яшин и полубогом А. Сурков. Был Долматовский важный, строгий, еще бросавший женщин в дрожь. Был Коваленков тонконогий на балетмейстера похож. Но вышел зоркий, как ученый, поэт с тетрадкой в руке, без галстука, в рубашке черной и мятом сером пиджаке... В молчанье гордом и суровом, поднявшись, мерно хлопал зал, и на виду у всех Софронов слезу платочком вытирал...» Софронов — с заплатами на лоснящихся шевитовых штанах — впоследствии стал одним из ярких проводников «разгрома космополитов», который задел и Антокольского. В своих последних стихах, напечатанных лишь посмертно, Антокольский дал понять, что на самом деле он не все чувствовал так легко, как это казалось со стороны. Он был обожаемым воспитателем трех шлеяд поэтов — и поколения Симонова и Алигер, и поколения Гудзенко и Межирова, и поколений Евтушенко и Ахмадулиной. Уникальное в советской поэзии стихотворение на смерть царской семьи было напечатано в 1922 году, и этот первый вариант до сих пор не переиздавался. Вторым стихотворением на эту тему, напечатанным в СССР, было приводимое в антологии стихотворение Н. Королевой, вызвавшее скандал.

ПОСЛЕДНИЙ

Над Роком, над рокотом траурных маршей,
Над конским затравленным скоком —
Когда это было, что призрак монархий
Расстрелян, раздет и закопан?

Где Черный Орел на штандарте летучем
В огнях Черноморской эскадры?
Опущен штандарт, и под черную тучу
Наш красный петух будет задран.

И где гренадеры в мохнатых папах
Шагали, — ты помнишь их ропот?
Была ли та песня, как пороха запах
И как «На-краул» пол-Европы?

Ты помнишь ту осень под музыку ливней,
Как шли эшелоны к границам,
Как дымные выдыхи маршей прошли в ней
И вздыбились, как над гранитом?

Как занавес, ливней заливистых просесть
Закрывает железный Театр;
Лишь галочьим стаям под занавес бросить
Осталось: прощай, Император!

Осенние скверы ему салютуют,
Как гвардия, саблями сучьев,
И слышит в ночах он стрельбу холостую
Всех стражу ночную несущих.

То он — идиот, подсудимый, носимый
По оползням фантазмагорий —
От черной Ходынки до желтой Цусимы —
С молебном, с гармоникой, с горем.

На пир, на расправу, на распрю столетий,
В сорвавшийся крутень Истории
Он с мальчиком мчится. И дьявол с ним
третий.

Им любо лететь на просторе.

И фыркает, искры по слякоти сея,
Его ошалевшая лошадь.

Отец! Мы не умерли? Где мы? — В России.
Мы скоро приедем, Алеша.

1922

ПАВЕЛ ПЕРВЫЙ

Величанный в литургиях голосистыми
попами,
С гайдуком, со звоном, с гиком мчится
в страшный Петербург,
По мостам, столетьям, верстам мчится
в прошлое, как в память,
И хмельной фельдъегерь трубит в крутень
пустозвонных пург.

Самодержец Всероссийский... Что в нем
жгло? Какой державе
Сей привиделся курносый и картавый
самодур?
Или скифские метели, как им приказал
Державин,

Шли почетным караулом вокруг
богоподобных дур?

Или, как звездой Мальтийской, он самой
судьбой отравлен?

Или каркающий голос сорван только на
плацу?

Или взор остервенелый перекошен в
смертной травле?

Или пудренные букли расплясались по лицу?

О, еще не все разбито! Бьет судьбу иная
карта!
Встанет на дыбы Европа ревом полковых
музык!

О, еще не все известно, почему под вьюгой
марта
Он Империи и Смерти синий высунул язык!
1922

САНКЮЛОТ

Мать моя — колдунья или шлюха,
А отец — какой-то старый граф.
До его сиятельного слуха
Не дошло, как, юбку разодрав
На пеленки, две осенних ночи
Выла мать, родив меня во рву.
Даже дождь был мало озабочен
И плевал на то, что я живу.

Мать мою плетьюми полосовали.
Рвал ей ногти бешеный монах.
Судьи в красных мантиях зевали,
Колокол звонил, чадили свечи.
И застыл в душе моей овечьей
Сон о тех далеких временах.

И пришел я в городок торговый.
И сломал мне кости акробат.
Стал я зол и с двух сторон горбат.
Тут начало действия другого.
Жизнь ли это или детский сон,
Как несло меня пять лет и гнуло,
Как мне холодом ломило скулы,
Как ходил я в цирках колесом,
А потом одной хрычовке старой
В табакерки рассыпал табак,
Пел фальцетом хриплым под гитару,
Продавал афиши темным ложам
И колбасникам багроворожим
Поставлял удушенных собак.

Был в Париже голод. По-над глубиью
Узких улиц мчался пережат
Ярости. Гремела канонада.
Стекла били. Жуть была — что надо!
О свободе в Якобинском клубе
Распинался бледный адвокат.
Я пришел к нему, сказал:

«Довольно,
Сударь! Равенство полно красоты,
Только по какой линейке школьной
Нам равнять горбы или носы?
Так пускай торчат хоть в беспорядке
Головы на пиках!

А еще —
Не читайте, сударь, по тетрадке,
Куй, пока железо горячо!»

Адвокат, стрельнув орлиным глазом,
Отвечает:

«Гражданин горбун!
Знай, что наша добродетель — разум,
Наше мужество — орать с трибун.

Наши лавры — зеленью каштанов
 Нас венчает равенство кокард.
 Наше право — право голоштаных.
 А Версаль — колода сальных карт».
 А гремел он до зари о том, как
 Гидра тирании душист всех:
 Не хлебнув глотка и не присев,
 Пел о благодарности потомков.

Между тем у всех у нас в костях
 Ныла злость и бушевала горечь.
 Перед ревом человечьих сборищ
 Смерть была как песня. Жизнь — пустяк.
 Злость и горечь. Как давно я знал их!
 Как скреплял я росчерком счета
 Те, что предъявляла нищета,
 Как скрипели перья в трибуналах!
 Красен платежами был расчет!
 Разъезжали фуриями фуры.
 Мяла смерть седые куафюры
 И сдувала пудру с желтых щек.
 И трясла их в розовых каретах,
 На подушках, взбитых, словно крем,
 Лихорадка, сжатая в декретах,
 Как в нагих посылках теорем.

Ветер. Зори барабанов. Трубы.
 Стук прикладов по земле нагой.
 Жизнь моя — обугленный обрубок,
 Прущий с перешибленной ногой
 На волне припева, в бурной пене
 Рванных шапок, ружей и знамен,
 Где любой по праву упоенья
 Может быть соседом заменен.

Я упал. Поплыли пред глазами
 Жерла пушек, зубы конских морд.
 Гул толпы в ушах еще не замер.
 Дождь не перестал. А я был мертв.
 «Дотащиться бы, успеть к утру хоть!» —
 Это говорил не я, а вихрь.
 И срывал дымящуюся рухлядь
 Старый город с плеч своих.

И сейчас я говорю с поэтом,
 Знающим всю правду обо мне.
 Говорю о времени, об этом
 Рвущемся к нему огне.

Разве знала юность, что истлеть ей?
 Разве в этой ночи нет меня?
 Разве день мой старше на столетье
 Вашего молодого дня?
 И опять:
 «Дождаться, доползти хоть!»
 Это говорю не я, а ты.
 И опять задремывает тихо
 Море вечной немоты.

И опять с лихим припевом вровень,
 Чтобы даже мертвым не спалось,
 По камням, по лужам дымной крови
 Стук сапог, копыт, колес.

1925

ИЗ ПОЭМЫ «СЫН»

10-я глава

Прощай, мое солнце. Прощай, моя совесть.
 Прощай, моя молодость, милый сыночек.
 Пусть этим прощаньем окончится повесть
 О самой глухой из глухих одиночек.

Ты в ней остаешься. Один. Отрешенный
 От света и воздуха. В муке последней,
 Никем не рассказанный. Не воскресенный.
 На веки веков восемнадцатилетний.

О, как далеки между нами дороги,
 Идущие через столетья и через
 Прибрежные те травяные отроги,
 Где сломанный череп пылится, ощерясь.

Прощай. Поезда не приходят оттуда.
 Прощай. Самолеты туда не летают.
 Прощай. Никакого не сбудется чуда.
 А сны только снятся нам. Снятся и тают.

Мне снится, что ты еще малый ребенок,
 И счастлив, и ножками топчешь босыми
 Ту землю, где столько лежит погребенных.

На этом кончается повесть о сыне.

1943

БАЛЛАДА

О ЧУДНОМ МГНОВЕНИИ

...Она скончалась в бедности. По странной случайности гроб ее по-встречался с памятником Пушкину, который ввозили в Москву.

Из старой энциклопедии

Ей давно не спалось в доме деревянном.
 Подходила старуха, как тень, к фортепьянам,
 Напевала романс о мгновенье чудном
 Голоском еле слышным, дыханьем трудным.
 А по чести сказать, о мгновенье чудном
 Не осталось грусти в быту ее скудном,
 Потому что барыня в глухой деревеньке
 Проживала как нищенка, на медные деньги.

Да и, господи боже, когда это было!
 Да и вправду ли было, старуха забыла,
 Как по лунной дорожке, в сверканье снега
 Приезжала к нему — вся томленье и нега.
 Как в объятиях жарких, в молчанье ночи
 Он ее заклинал, целовал ей очи,
 Как уснул на груди и дышал неровно,
 Позабыла голубушка Анна Петровна.

А потом пришел ее час последний.
И вседневная слава и светские сплетни
Отступили, потупясь, пред мирной кончиной.
Возгласил с волнением сам благочинный:
«Во блаженном успении вечный покой ей!»
Что в сравнение с этим счастье мирское!
Ничего не слыша, спала, бездыханна,
Раскрывавица Керн, боярыня Анна.

Отслужили службу, панихиду отпели.
По Тверскому тракту полозья скрипели.
И брели за гробом, колыхались в поле
Из родни и знакомцев десятков — не боле,
Не сановный люд, не знатные гости,
Поспешали зарыть ее на погосте.
Да лошадка по грудь в сугробе завязла.
Да крещенский мороз крепчал как назло.

Но пришлось процессии той сторониться.
Осадил, придержал правее возница,
Потому что в Москву, по воле народа,
Возвращался путник особого рода.
И горячие кони били оземь копытом,
Звонко ржали о чем-то еще не забытом.
И январское солнце багряным диском
Рассиялось о чем-то навеки близком.

Вот он — отлит на диво из гулкой бронзы,
Шляпу снял, загляделся на день морозный.
Вот в крылатом плаще, в гражданской одежде,
Он стоит, кудрявый и смелый, как прежде.
Только страшно вырос,— прикиньте, смерьте,
Сколько весит на глаз такое бессмертье!
Только страшно юн и страшно спокоен,—
Поглядите, правнуки,— точно такой он!

Так в последний раз они повстречались,
Ничего не помня, ни о чем не печалась.
Так метель крылом своим безрассудным
Осенила их во мгновение чудном.
Так метель обвенчала нежно и грозно
Смертный прах старухи с бессмертной бронзой,
Двух любовников страстных, отпылавших
розно,
Что простились рано, а встретились поздно.

1954

СНЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Сны возвращаются из странствий.
Их сила только в постоянстве.
В том, что они уже нам снились
И с той поры не прояснились.

Из вечной ночи погребенных
Выходит юноша-ребенок,
Нет, с той поры не стал он старше,
Но, как тогда, устал на марше.

Пятнадцать лет не пять столетий.
И кровь на воинском билете

Еще не выцвела, не стерта.
Лишь обветшала гимнастерка.

Он не тревожится, не шутит,
О наших действиях не судит,
Не проявляет к нам участия,
Не предъявляет прав на счастье.

Он только помнит, смутно помнит
Расположение наших комнат,
И стол, и пыль на книжных полках,
И вечер в длинных кривотолках.

Он замечает временами
Свое родство и сходство с нами.
Свое сиротство он увидит,
Когда на вольный воздух выйдет.

1956

ИЕРОНИМ БОСХ

Я завещаю правнукам записки,
Где высказана будет без опаски
Вся правда об Иерониме Босхе.
Художник этот в давние года
Не бедствовал, был весел, благодушен,
Хотя и знал, что может быть повешен
На площади, перед любой из башен,
В знак приближенья Страшного суда.

Однажды Босх привел меня в харчевню.
Едва мерцала толстая свеча в ней.
Горластые гуляли палачи в ней,
Бесстыжим похваляясь ремеслом.
Босх подмигнул мне: «Мы явились, дескать,
Не чаркой стукнуть, не служанку тискать,
А на доске грунтованной на плоскость
Всех расселить в засол или на слом».

Он сел в углу, прищурился и начал:
Носы приплюснул, уши увеличил,
Перекалечил каждого и скрючил,
Их низость обозначил навсегда.
А пир в харчевне был меж тем в разгаре.
Мерзавцы, хохоча и балагурия,
Не знали, что сулит им срам и горе
Сей живописи Страшного суда.

Не догадалась дьяволова паства,
Что честное, веселое искусство
Карает воровство, казнит убийство.
Так это дело было начато.
Мы вышли из харчевни рано утром.
Над городом, озлобленным и хитрым,
Шли только тучи, согнанные ветром,
И загибались медленно в ничто.

Проснулись торгаши, монахи, судьи.
На улице калякали соседи.
А чертенята спереди и сзади
Вели себя меж них как Господа.

Так, нагло раскорячась и не прячась,
 На смену людям вылезала нечисть
 И возвещала горькую им участь,
 Сулила близость Страшного суда.

Художник знал, что Страшный суд напишет,
 Пред общим разрушением не опешит,
 Он чувствовал, что время перепашет
 Все кладбища и пепелища все.
 Он вглядывался в шабаш беспримерный
 На черных рынках пошлости всемирной.
 Над Рейном, и над Темзой, и над Марной
 Он видел смерть во всей ее красе.

Я замечал в сочельник и на пасху,
 Как у картин Иеронима Босха
 Толпились люди, подходили близко
 И в страхе разбегались кто куда,
 Сбегались вновь, искали с ближним сходство,
 Кричали: «Прочь! Бесстыдство! Святотатство!»
 Во избежанье Страшного суда.

4 января 1957

ИЗ ЦИКЛА «ГРОЗНАЯ ТРИЗНА»

* * *

Мы все, лауреаты премий,
 Врученных в честь его,
 Спокойно шедшие сквозь время,
 Которое мертво;

Мы все, его однополчане,
 Молчавшие, когда
 Росла из нашего молчанья
 Народная беда;

Таившиеся друг от друга,
 Не спавшие ночей,
 Когда из нашего же круга
 Он делал палачей;

Для статуй вырванные тонны
 Всех каменных пород,
 Глушившие людские стоны
 Водой хвалебных од,—

Мы, сеятели вечных, добрых,
 Разумных аксиом,
 За кровь Лубянки, темень в допрах
 Ответственность несем.

Пускай нас переметит правнук
 Презреньем навсегда,
 Всех одинаково, как равных,—
 Мы не таим стыда —

Да! Очевидность этих истин
 Воистину проста.
 Но нам не мертвый ненавистен,
 А наша слепота.

* * *

Я не хочу судиться с мертвецом
 За то, что мне казался он отцом.
 Я не могу над ним глумиться,
 Рассматривать его дела в упор
 И в запоздалый ввязываться спор
 С гробницей — вечную темницей...

Я сотрапезник общего стола,
 Его огнем испепелен дотла,
 Отравлен был змеиным ядом.
 Я, современник стольких катастроф,
 Жил-поживал, а в общем жив-здоров...
 Но я состарился с ним рядом.

Не шуточное дело, не пустяк —
 Состариться у времени в гостях,
 Не жизнь прожить, а десять жизней —
 И не уйти от памяти своей,
 От горького наследства сыновей
 На беспощадной этой тризне.

Не о себе я говорю сейчас!
 Но у одной истории участь
 Ее бесстрастному бесстрашью,—
 Здесь, на крутом, на голом берегу,
 Я лишь обрывок правды сберегу,
 Но этих слов не приукрашу.

* * *

Нечем дышать, оттого что я девушку
встретил,
 Нечем дышать, оттого что врывается ветер,
 Ломится в окна, сметает пепел и пыль,
 Стало быть, небыль сама превращается
в быль.

Нечем дышать, оттого что я старше, чем время.

1976 (?)

АЛЕКСЕЙ АЧАИР

1896, станица Ачаир близ Омска—1960, Новосибирск

Ачаир — псевдоним казачьего офицера Алексея Грызова, взятый им по названию родной станицы возле Омска. Литературной деятельностью занялся в Харбине с середины 20-х годов, издал пять сборников стихотворений. Был организатором объединения молодых харбинских поэтов «Чураевка». Знаменит стал благодаря строфе:

Не смела нас кручина, не выгнула,
Хоть пригнула до самой земли,—
А за то, что нас родина выгнала —
Мы по свету ее разнесли.

Но по-настоящему цельных стихотворений у него немного, в самый первый ряд даже «восточной волны» русской эмиграции Ачаир так и не вошел. В августе 1945 года был вместе с тысячами других русских вывезен советскими войсками в СССР — прямо в лагерь, где получил традиционные десять лет. Вышел из лагеря, кое-что писал в стол, работал с детьми — организовал большой хор. Осенью 1960 года умер в Новосибирске.

* * *

Мне кто-то бесконечно дорог,
я, потеряв его, — один.
Крыльцо. Фонарь. Дом № 40.
Мне кто-то бесконечно дорог —
там, за узорами гардин...

А ночь! Как в марте зовы гулки!
Как тает шелестящий хруст!
Поют ночные переулки.
Как ветер тих! Как зовы гулки!
А путь мой холоден и пуст.

И пусть!.. Всею своя граница.
Воспомяненья злобно рву.

И пусть!.. Всею своя граница,
как сну, который ночью снится —
чтоб не случиться наяву.

И я, насвистывая песню,
иду вдоль улиц, не спеша.
«Там, за узорами...», а если —
наперекор задорной песне —
там бьется чья-нибудь душа?

Мне кто-то бесконечно дорог
за тканью спущенных гардин...
Иди! — обратный путь не долог!..
Пришел... Подъезд. Дом № 40.
Фонарь... Темно. Все спят. Один.

1933

ЛЕОНИД КАННЕГИСЕР

1896—1918, Петроград

Родился в семье инженера. Печататься начал очень рано; был другом Георгия Иванова, который оставил о нем ценные воспоминания, вошедшие в «Петербургские зимы». Увлёкся Февральской революцией, стал председателем Союза юнкеров-социалистов. Жизнь разрушила эти иллюзии. Узнав, что в застенках петроградской ЧК близкие ему люди подвергаются зверским пыткам, Каннегисер — по общепринятой версии — подъехал на велосипеде к особняку, в котором обосновался один из «князей» Петроградской коммуны, М. Урицкий, прошел в его кабинет и убил одним выстрелом, после чего был арестован, — притом не сразу. Хрупкость и нежность его стихов подтверждают одно из двух: то ли убийцей никто не рождается, то ли... вся история с убийством Урицкого — чисто советская фальсификация (что не исключено в свете более поздних аналогичных событий). Впервые в России после революции стихи Каннегисера были опубликованы с 17-й главой воспоминаний Георгия Иванова в 1992 году.

* * *

Я чехлы надела
На кровать, —
Бабе наше дело
Горевать.

Счастье уплыло
К облакам,
Всем-то я постыла
Мужичкам.

Что-то всех их гонит
Со двора.

Нынче никого нет,
Знать — стара.

Лишь горбун порою
Подойдет,
Только не открою
Я ворот,

И ему дала бы
Я приют,
Да другие бабы
Засмеют.

Зима 1915

СМОТР

На солнце сверкая штыками,—
Пехота. За ней, в глубине,—
Донцы-казаки. Пред полками —
Керенский на белом коне.

Он поднял усталые веки,
Он речь говорит. Тишина,
О голос — запомнить навеки:
Россия. Свобода. Война.

Сердца — из огня и железа,
А дух — зеленеющий дуб,
И песня — орел, Марсельеза,
Летит из серебряных труб.

На битву! — И бесы отпрянут,
И сквозь потемневшую твердь
Архангелы с завистью глянут
На нашу веселую смерть.

И если, шатаясь от боли,
К тебе припаду я, о мать! —
И буду в покинутом поле
С простреленной грудьё лежать,—

Тогда у блаженного входа,
В предсмертном и радостном сне
Я вспомню — Россия. Свобода.
Керенский на белом коне.

27 июня 1917
Павловск

* * *

.....
О, кровь семнадцатого года,
Еще, еще бежит она:
Ведь и веселая свобода
Должна же быть защищена.

Умрем — исполним назначенье,
Но в сладость претворим сперва
Себялюбивое мученье,
Тоску и жалкия слова.

Пойдем, не думая о многом —
Мы только выйдем из тюрьмы,
А смерть пусть ждет нас за порогом,
Умрем — бессмертны станем мы.

.....
.....
.....
Не терпит болтовни искусство,
Жестоко к слабому оно,
Ведь и возвышенное чувство
С плохими рифмами смешно.

Лето 1917

ЗАПУСТЕНЬЕ

Все вещи из дому убрали,
Опилки, вату из окна,
Сор вымели, дощечку сняли,
Но оставалась тишина.

Она закупорила щели,
Весь воздух сделала плотней,
Но голос призрачной свирели,—
Твой голос,— слышался и в ней.

Тогда из темного подполья
Сбежались мыши, и в пыли,
Почуя новое раздолье,
Забегали и заскребли.

И тишину, где все уснуло,
Где дом опустошенный спал,
Мышиная возня спугнула,
И милый голос твой пропал.

9—22 февраля 1918
СПб

СНЕЖНАЯ ЦЕРКОВЬ

Зима и зодчий строили так дружно,
Что не поймешь, где снег и где стена,
И скромно облачилась ризой вьюжной
Господня церковь — бедная жена.

И спит она средь белого погоста,
Блестит стекло бесхитростной слюдой,
И даже золото на ней так просто,
Как нитка бус на бабе молодой.

Запела медь, и немота и нега
Вдруг отряхнули набожный свой сон,
И кажется, что это — голос снега,
Растаявшего в колокольный звон.

Март 1918
Нижегород

АЛЕКСАНДР КУСИКОВ

1896, Армавир — 1977, Париж

Настоящая фамилия Куסיлян. Во время Февральской революции был комиссаром Временного правительства в Анапе. В первой книге «Зеркало Аллаха» близок к футуризму. В 1919 году вместе с В. Шершеневичем организовал группу имажинистов: С. Есенин, И. Грузинов, Р. Ивнев, А. Мариенгоф, Н. Эрдман. Выпустили совместный сборник «Звездный бык» (1921). С 1921 года работал в Берлине в журнале «Накануне», а затем, в 1926 году, переехал в Париж. Бытующее утверждение, будто он, переселившись из Берлина в Париж, перестал писать стихи, неверно. В 1924 году Кусиков издает в Париже по-французски поэму «Фехтовальщик», посвященную, кстати, 5-й годовщине Октябрьской революции. Но после 1926 года Кусиков от активных занятий литературой отошел навсегда. Кусиков был одержим идеей соединения религиозной философии Востока с христианством, что символически выражено в нелегком для произношения названии одной из его книг — «Коевангелиеран». На стихи Кусикова написаны многие знаменитые романы: «Слышен звон бубенцов издалёка», «Обидно, досадно» и др.

ЛЕС НАГОРНЫЙ

Так ничего не делая, как много делал я,
Качая мысли на ресницах сосен,
Я все познаю, вечность затая,
И яблоко земли проткну я новой осью.

Нагорный лес причудливых видений,
Тропинки тайн непечетных строк.—
Здесь я выслеживал незримого оленя
Моих проглоченных тревог.

О, сколько слов в шуршащем пересвисте
Роняет с крыл совиный перелет,
Когда заря кладет в ладони листьев
Копейки красные своих щедрот.

Туман свисает бородой пророка...
Я, полным сердцем вечер затая,
Поймал звезду, упавшую с востока,—
Так ничего не делая, как много делал я.

АНТОНИН ЛАДИНСКИЙ

1896, с. Общее Поле Псковской губ. — 1961, Москва

С путаной своеобразной судьбой — эмигрировал как офицер белой армии через Египет в Париж. Там после войны возглавил просоветское крыло эмиграции, был депортирован. Пять лет прожил в ГДР, затем вернулся на Родину. Известен как автор исторических романов. В эмиграции издал пять поэтических сборников.

ЭПИЛОГ

В слезах от гнева и бессилья,
Еще в пороховом дыму,
Богиня складывает крылья —
Разбитым крылья ни к чему.

На повороте мы застряли,
Под шум пронзительных дождей,
Как рыбы, воздухом дышали,
И пар валил от лошадей.

И за колеса боевые,
Существованье возлюбя,
Цеплялись мы, как рулевые
Кренящегося корабля.

И вдруг летунья ворона
С размаху рухнула, томясь,
Колени хрупкие ломая
И розовую мордой — в грязь.

И здесь армейским Буцефалом,
В ногах понуренных подруг,
Она о детстве вспоминала,
Кончая лошадиный круг:

Как было сладко жеребенком
За возом сына проскакать,
Когда, бывало, в поле звонком
Заржет полуслепая мать...

Свинцовой пули не жалея,
Тебя из жалости добьем,
В дождливый полдень водолея,
А к вечеру и мы умрем:

Нас рядышком палаш положит
У хладных пушек под горой —
Мы встретимся в раю, быть может,
С твоей лохматою душой.

ВЯЧЕСЛАВ ЛЕБЕДЕВ**1896, Воронеж — 1969, Прага**

В годы гражданской войны сражался в рядах Добровольческой армии, позже попал в Прагу, получил высшее образование, стал электротехником. Единственная книга оригинальных стихотворений, «Звездный крест», вышла в Праге в 1929 году. Широко печатался в Праге и Париже, но с оккупацией Чехословакии нацистами в 1938 году остался в полной изоляции. Красная Армия, вступив в Прагу, его, как и многих других русских, не тронула — он, женатый на чешке, просто остался «работать по профессии», что никак не подразумевало литературу. В конце 50-х годов Лебедев и прозаик В. Г. Федоров, оба из Чехословакии, попытались пробиться в московский «Огонек» — им даже не ответили. Отчаявшись, Лебедев стал писать друзьям на Запад и посылать стихи. Он стал печататься в «Новом журнале», «Мостах», сперва под псевдонимом «Виктор Ляпин», позже под настоящей фамилией. Но в 1968 году, после недолгой «Пражской весны», в Прагу вошли советские танки. Это добило Лебедева: он умер летом 1969 года, видимо, от инсульта, в комнате, в которой запирался на ночь. Еще при жизни он приготовил к печати более десятка поэтических сборников, хранящихся в Праге в закрытом пока что архиве.

КРЫМ

На твоём золотом горизонте
Сизым волоком стелется дым.
Свой цветастый, крутящийся зонтик
Подымает над пляжами Крым.

Вспоминаю все реже и реже,
Словно голову кутаю в муть.
Я и сам синевою был изнежен
И хотел, как и ты, — отдохнуть.

...На вершинах — мохнатые тучи.
По долинам — молчанье и сны.
Словно мукою ствол был искручен
Низкорослой, горбатой сосны,

Что казалась печальной и жалкой
На чужой каменистой спине.
Ты жила свою жизнь приживалкой
И такую ж пророчишь и мне!

Гулкий ветер свистит с Приднепровья,
Дикий голос — не наш и не ваш.
Разъяренной, соленой любовью
Заливает твой берег Сиваш.

Все дороги и длинны, и ровны.
Все дороги приводят на юг.
Мы ни в чем пред тобой не виновны,
Но ни в чем нет у нас и заслуг!

МАЛЬВИНА МАРЬЯНОВА**1896—1972**

Начала печататься в 1910 году. Выпустила один сборник «Сад осени» — стихи в прозе.

ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ

Я сидела в твоей комнате и глядела, как ты задумчиво
шевелил дрова в печи.
На стене увидела портрет — надменное лицо женщины.
Я сидела за твоим столом и глотала слезы.
Входили люди, спрашивали: — Скоро ли вернется ваша жена,
грустно `вам одному? —
Ты подозвал меня и тихо, тихо, чтоб никто не услышал,
шепнул: — Пойдем, я покажу тебе, как уйти. —
Я ушла.
Живая осталась на полотне.

<1922>

СЕРГЕЙ РАФАЛЬСКИЙ

1896, с. Холонево Волынской губ. — 1981, Париж

В русской зарубежной литературе был одним из заметных политических публицистов; лишь после его смерти как-то вспомнили, что и поэтом он был незаурядным. Выходец из священнической украинской семьи, некоторое время воевавший в армии генерала Врангеля; позже вернулся на родную Волынь — и в результате пересмотра границ оказался в Польше, в эмиграции. Затем перебрался в Прагу, где был одним из основателей «Скита поэтов» вместе с Вяч. Лебедевым и А. Эйсером, — «звездой» этого объединения. В 20-е годы много печатался, позже оказался в Париже, надолго выпал из литературы, работал в мастерской по окраске тканей, принадлежавшей поэту Довиду Кнуту. В литературу вернулся в 1956 году, когда в «Гранях» была напечатана его повесть «Искушение отца Афанасия», затем — множество статей, стихотворений, поэм, художественной прозы. Посмертно вышли четыре книги Рафальского, одна из них — «За чертой» (1983, Париж) — итоговый поэтический сборник.

ЯРМАРКА

На исполинском древке,
ветрам попадая в шаг,
как юбка гулящей девки,
мотался флаг,
а с неба, где гнили остатки
недоеденных солнцем туч,
в ней шарил какой-то гадкий,
откровенно развратный луч.
Но ярмарке что за дело,
чей на небе чудит век —
вспухало, как тесто, и прело
Множество — Человек.
И, спотыкаясь на лампе со свистом,
надрывался во весь вольтаж
громкоговорителя речистого
рекламный раж.
Терзая механическую лиру,
обещал он Городу и Миру:

холодильник, заткнувший за пояс
полярный мороз,
транзистор, способный и мертвых поднять из
могилы,
даже зубы вырывающий пылесос,
даже совесть моющее мыло,
перманентное чудо — в машине для стирки
белья,
столовый сервиз из пластмассы версальней
фарфоровых —
все для дела, уюта, забавы, жилья —
для каждого пола, для всякого норова.
И, в это богатство вещное
упав, тонуло, как в жирном иле,
все то вечное,
чем люди когда-то жили.
И хотя современное многим не нравилось
по сравнению с духовным прошлым —
каждый, как правило,
предпочитал оставаться пошлым...

ОВАДИЙ САВИЧ

1896, Варшава — 1967, Москва

Овадий Савич судьбой весьма напоминал Илью Эренбурга, чьим другом был всю жизнь. С 1924 по 1939 год находился за границей, но едва ли Савича можно причислить к эмигрантам: он был корреспондентом ТАСС во время гражданской войны в Испании. Вернувшись в СССР, мог широко печататься как поэт-переводчик, но к «оригинальному» жанру допущен не был. Судя по посмертным публикациям, в конце жизни писал миниатюрные верлибры в подражание латиноамериканским поэтам.

И. Г.

Я — старая птица и больше уже не пою,
Из красной листвы все смотрю я на стаю
свою.
И в воздухе шелест и трепет лесов и морей,
Там учится стая подальше летать,
побыстрей.
Кричат первогодки, для них упражненья
страшны,
Не знают, как долго лететь им до южной
страны.
Не вам свои силы беречь! Это мне их беречь,
Чтоб вас хоть на час от опасности злой
устеречь.

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

1896, Петербург — 1979, Москва

Сын парикмахера. В Первую мировую войну был гусаром, в гражданскую воевал в Красной Армии. Сильное, загадочное дарование, которое распалось так же необъяснимо, как и возникло. Тихонов вошел в поэзию сразу и навсегда двумя поразительными по силе книгами: «Орда» (1921) и «Брага» (1922). Его баллады, пожалуй, ни к кому так не близки, как к Киплингу, хотя стихи Киплинга переводились тогда мало и неизвестно — читал ли их Тихонов по-английски. Отечественный генезис Тихонова несомненно Гумилев, хотя волей судеб, как говорят риторические историки, они оказались «по разные стороны баррикад». Например, строки Гумилева «И, тая в глазах злое торжество, женщина в углу слушала его» звучат, как предвиденная тихоновская баллада. В поэзии чьи-то будущие поэтические интонации появляются прежде самих поэтов. «Быть может, прежде губ уже родился шепот...» (Мандельштам). Но ранний Тихонов и поздний — совсем разные поэты. В стихах о Кахетии и в переводах с грузинского еще виден талант, пламенеющий по инерции. «Мы прекраснейшим только то зовем, что созревшей силой отмечено: виноград стеной, иль река весной, или нив налив, или женщина» (из Г. Леонидзе). Для другого поэта это были бы шедевры, но для автора «Орды» и «Браги» это было барокко в не лучшем смысле этого слова, переход из строгой, подчас жестокой правды («как мокрые раздавленные сливы, у лошадей раскосые глаза») в талантливую, но слишком декоративную риторику, которая снаружи куда более пламенней, чем внутри. Поздняя поэзия Тихонова была похожа на мучительное расставание с талантом. Поэма «Киров с нами» рухнула, несмотря на все попытки официальной критики ее раздуть. В военных стихах о Югославии еще были всплески большой рыбы: «На зимнем рассвете так рано чуть розов был утренний дым. Зеленое пламя Ядрана открылось пред сердцем моим». Но большая рыба оказалась в сетях так называемой общественной деятельности. Под нажимом Сталина Тихонов подписал письмо против своих бывших югославских соратников по борьбе с фашизмом, да и мало ли подписал он других писем, не делающих чести ему. К сожалению, в последние годы его можно было называть только «бывший поэт». Однако перед самой смертью именно Тихонов прочел по радио стихи своего учителя — Гумилева, о котором так долго молчал.

* * *

Котелок меня по боку хлопал,
Гул стрельбы однозвучнее стал,
И вдали он качался, как ропот,
А вблизи он висел по кустам.

В рыжих травах гадюки головка
Промелькнула, как быстрый укол,
Я рукой загорелой винтовку
На вечернее небо навел.

И толчок чуть заметной отдачи
Проводил мою пулю в полет.
Там метался в обстреле горячем
Окружаемый смертью пилот.

И, салютом тяжелым оплакан,
Серый «таубе»¹ в гулком аду
Опрокинулся навзничь, как факел,
Зарываясь в огонь на ходу.

И мне кажется, в это мгновенье
Остановлен был бег бытия,
Только жили в глухих повтореньях
Гул и небо, болото и я.

1916 или 1917

* * *

Праздничный, веселый, бесноватый,
С марсианской жаждою творить,
Вижу я, что небо небогато,
Но про землю стоит говорить.

¹ «Таубе» — германский боевой самолет времен Первой мировой войны.

Даже породниться с нею стоит,
Снова глину замешать огнем,
Каждое желание простое
Освятить неповторимым днем.

Так живу, а если жить устану,
И запросится душа в траву,
И глаза, не видя, в небо взглянут,—
Адвокатов рыжих позову.

Пусть найдут в законах трибуналов
Те параграфы и те года,
Что в земной дороге растоптала
Дней моих разгульная орда.

1920

* * *

Полюбила меня не любовью,—
Как березу огонь — горячо,
Веселее зари над становьем
Молодое блестело плечо.

Но ни песней, ни бранью, ни ладом
Не ужились мы долго вдвоем,—
Убежала с угрюмым номадом,
Остробоким свистя каиком.

Ночью, в юрте, за ужином грубым
Мне якут за охотничий нож
Рассказал, как ты пьешь с медногубым
И какие подарки берешь.

«Что же, видно, мои были хуже?»
— «Видно, хуже»,— ответил якут.
И рукою, лиловой от стужи,
Протянул мне кусок табаку.

Я ударил винтовкою оземь,
Взял табак и сказал: «Не виню.
Видно, брат, и сожженной березе
Надо быть благодарной огню».

1920

* * *

Огонь, веревка, пуля и топор,
Как слуги, кланялись и шли за нами,
И в каждой капле спал потоп,
Сквозь малый камень прорастали горы,
И в прутике, раздавленном ногою,
Шумели чернорукие леса.

Неправда с нами ела и пила,
Колокола гудели по привычке,
Монеты вес утратили и звон,
И дети не пугались мертвецов...
Тогда впервые выучились мы
Словам прекрасным, горьким и жестоким.

1921

* * *

Мы разучились нищим подавать,
Дышать над морем высотой соленой,
Встречать зарю и в лавках покупать
За медный мусор — золото лимонов.

Случайно к нам заходят корабли,
И рельсы груз проносят по привычке;
Пересчитай людей моей земли —
И сколько мертвых встанет в переключке.

Но всем торжественно пренебрежем.
Нож сломанный в работе не годится,
Но этим черным, сломанным ножом
Разрезаны бессмертные страницы.

Ноябрь 1921

ДЕЗЕРТИР

С. Колбасьеву

Часовой усталый уснул,
Проснулся, видит: в траве
В крови весь караул
Лежит голова к голове.

У каждого семья и дом,
Становись под пули, солдат,
А ветер зовет: уйдем,
А леса за рекой стоят.

И ушел солдат, но в полку
Тысяча ушей и глаз,
На бумаге печать в уголку,
Над печатью — штамп и приказ.

И сказал женщине суд:
«Твой муж — трус и беглец,
И твоих коров уведут,
И зарежут твоих овец».

А солдату снилась жена,
И солдат был сну не рад,
Но подумал: она одна,
И вспомнил, что он — солдат.

И пришел домой, как есть,
И сказал: «Отдайте коров
И овец иль овечью шерсть,
Я знаю всё и готов».

Хлеб, два куска
Сахарного леденца,
А вечером сверх пайка
Шесть золотников свинца.

6 ноября 1921

* * *

Посмотри на ненужные доски —
Это кони разбили станки.
Слышишь свист, удаленный и плоский?
Это в море ушли миноноски
Из заваленной льдами реки.

Что же, я не моряк и не конник,
Спать без просыпа? Книгу читать?
Сыпать зерна на подоконник?
А! я вовсе не птичий поклонник,
Да и книга нужна мне не та...

Жизнь учила веслом и винтовкой,
Крепким ветром, по плечам моим
Узловатой хлестала веревкой,
Чтобы стал я спокойным и ловким,
Как железные гвозди, простым.

Вот и верю я палубе шаткой,
И гусарским, упругим коням,
И случайной походной палатке,
И любви расточительно-краткой,
Той, которую выдумал сам.

Между 1917 и 1920

* * *

Когда уйду — совсем согнется мать,
Но говорить и слушать так же будет,
Хотя и трудно старой понимать,
Что обо мне рассказывают люди.

Из рук уронит скользкую иглу,
И на щеках заволокнутся пятна,—
Ведь тот, что не придет уже обратно,
Играл у ног когда-то на полу.

Ноябрь 1921

БАЛЛАДА О ГВОЗДЯХ

Спокойно трубку докурил до конца,
Спокойно улыбку стер с лица.

«Команда во фронт! Офицеры, вперед!»
Сухими шагами командир идет.

И слова равняются в полный рост:
«С якоря в восемь. Курс — ост.

У кого жена, дети, брат —
Пишите, мы не придем назад.

Зато будет знатный кегельбан».
И старший в ответ: «Есть, капитан!»

А самый дерзкий и молодой
Смотрел на солнце над водой.

«Не всё ли равно, — сказал он, — где?
Еще спокойней лежать в воде».

Адмиральским ушам простукал рассвет:
«Приказ исполнен. Спасенных нет».

Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей.

Между 1919 и 1922

БАЛЛАДА О СИНЕМ ПАКЕТЕ

Локти резали ветер, за полем — лог,
Человек добежал, почернел, лег.

Лег у огня, прохрипел: «Коня!»
И стало холодно у огня.

А конь ударил, закусил мундштук,
Четыре копыта и пара рук.

Озеро — в озеро, в карьер луга.
Небо согнулось, как дуга.

Как телеграмма, летит земля,
Ровным звоном звенят поля,

Но не птица сердце коня — не весы,
Оно заводится на часы.

Два шага — прыжок, и шаг хромал,
Человек один пришел на вокзал,

Он дышал, как дырявый мешок.
Вокзал сказал ему: «Хорошо».

«Хорошо», — прошумел ему паровоз
И синий пакет на север повез.

Повез, раскачиваясь на весу,
Колесо к колесу — колесо к колесу,

Шестьдесят верст, семьдесят верст,
На семьдесят третьей — река и мост,

Динамит и бикфордов шнур — его брат,
И вагон за вагоном в ад летят.

Капуста, подсолнечник, шпалы, пост,
Комендант прост и пакет прост.

А летчик упрям и на четверть пьян,
И зеленою кровью пьян биплан.

Ударило в небо четыре крыла,
И мгла зашаталась, и мгла поплыла.

Ни прожектора, ни луны,
Ни шороха поля, ни шума волны.

От плеч уж отваливается голова,
Тула мелькнула — плывет Москва.

Но рули заснули на лету,
И руль высоты проспал высоту.

С размаху земля навстречу бьет,
Путая ноги, сбегался народ.

Сказал с землею набитым ртом:
«Сначала пакет — нога потом».

Улицы пусты — тиха Москва,
Город просыпается едва-едва.

И Кремль еще спит, как старший брат,
Но люди в Кремле никогда не спят.

Письмо в грязи и в крови запеклось,
И человек разорвал его вкось.

Прочел — о френч руки обтер,
Скомкал и бросил за ковер:

«Оно опоздало на полчаса,
Не нужно — я все уже знаю сам».

1922

ГУЛЛИВЕР ИГРАЕТ В КАРТЫ

В глазах Гулливера азарта нагар,
Коньяка и сигар лиловые пути, —
В ручонки зажав коллекции карт,
Сидят перед ним лилипуты.

Пока банкومت разевает зев,
Крапленой колодой сгибая тело,
Вершковые люди, манжеты надев,
Воруют из банка мелочь.

Зависть колет их поясницы,
Но счастьем Гулливер увенчан —
В кармане, прически помяв, толпится
Десяток выигранных женщин.

Чтоб забыл я все потоки,
Все пути в ночи и днем,
Чтоб смотрел я лишь на щеки,
Окрыленные огнем;

Чтоб свои свихнул я плечи
Среди каменных могил,
Чтобы, ночь очеловечив,
С ней, как с другом, говорил,—

В этой роще поредевшей,
Этот праздник не вина,—
О не пившей и не евшей,
Не смотревшей на меня.

Вдруг людей в одеждах серых
породила темнота,
Скромность их почти пугала
среди праздничной орды,
Даже голос был особый, даже поступь их не та,
Будто вышли рыболовы
в край, где не было воды.

То слепые музыканты разом подняли смычки,
Заиграли и запели, разевавая узко рот,
Точно вдруг из трав зеленых
встали жесткие сверчки,—
Я читал на лицах знаки непонятных нам забот.

Тут слепые музыканты затянули тонкий стих,
Ночь стояла в этих людях, как высокая вода,
Но прошел, как зрячий, бубен
сквозь мелодию слепых,
И увидел я: на шлеме след оставила звезда,

На лянлом, нищем шлеме у слепого одного,
Что сидел совсем поодаль, пояс тихо теребя.
И на шлем я загляделся непонятно отчего,
Встал я рядом с тамадою, непохожий на себя.
Словно был я партизаном
В алазанской стороне
И теперь увидел заново
Этот край, знакомый мне.

Как, ломая хрупкий иней
И над пропастью скользя,
К аллавердской ночи синей
С гор спускаются друзья.

За хевсурскими быками
Кони пшавов на гребне,

С Алазани рыбаками
Гор охотники в родне.

Словно шел я убедиться,
Что измятый, старый шлем
Был воинственной птицей,
Приносившей счастье всем.

Что, храня теперь слепого
В алазанской стороне,
Он, как дружеское слово,
Сквозь года кивает мне.

Подходил рассвет, и роща отгремела и погасла,
Мир вставал седым и хмурым,
бубен умер на заре,
Запах пота и полыни, в угли пролитого масла,
Птицы крик — и в роще сизый
след поводыев на коре.

Обнажились вмиг вершины,
словно их несли на блюде
И закрыли облаками от объевшихся гостей,
А под бурками вповалку
непробудно спали люди,
Как орехи, волей вихря послетавшие с ветвей.

Ниже, в сторону Телава, спали лошади, упавши,
Спали угли, в синь свернувшись,
спали арбы и шатры,
Спали буйволы, как будто
были сделаны из замши,
Немудреные игрушки кахетинской детворы.

За Гомборами скитаясь,
миновав Телав вечерний,
Я ночные Алла-Верды
видел в пышности во всей,
Дождь накрапывал холодный,
серебром и старой чернью
Отчечаненные, спали лица добрые друзей.

Я наткнулся на барана с посиневшими щеками,
Весь в репейнике предсмертном,
грязным боком терся он
О забытую попону, о кусты, о ржавый камень,
И зари клинок тончайший
был над шеей занесен.

АЛЕКСАНДР ТУРИНЦЕВ

1896—1984, Париж

В последние годы был настоятелем русской церкви в Париже и очень часто приезжал в Москву, очаровывая всех, с кем встречался, не только рассказами о встречах с Гумилевым, поэтами «парижской ноты» в пору эмиграции, но и драгоценным умением выслушать чужие боли, обиды, посоветовать. Жаль, что этот уникальный рассказчик и выслушиватель не оставил после себя книги воспоминаний.

Мне было известно, что отец Александр раньше писал стихи. Но ни в одном из литературных справочников его имя мне не удалось обнаружить, а все взывания к его родственникам по поводу его рукописей остались безответны. Единственное, что мне попало, — его маленькое стихотворение из сборника «Своими путями» (1—2) в Праге. Обратите внимание на последние две строки. Они изумительны. «Освобождающего нет креста» — и это написано будущим священником? Да, крест не освобождает от чужих болей...

* * *

Он никогда не будет позабыт,
Гул оглушительных копыт.
Взбесившихся коней степные табуны
Куда-то пронесли, неукротимо злы,
И оборвались со скалы...
Душа — убогий ветеран. На шраме — шрам
Ждет оправданья тем годам
Неслыханного головокруженья.
Освобождающего нет креста.
И простота вокруг, и пустота.

1923

ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ

1897, с. Баскаково Смоленской губ. — 1934, Москва

Один из участников московского Пролеткульта. В 20-е годы часто печатался в центральных и периферийных газетах и журналах. М. Горький назвал его в 1926 году в письме к А. Фурмановой в ряду «орлят» советской литературы. Но «орлята» эти высоко не взлетели.

* * *

— Эй, Пахом! Осторожней, Пахом —
Кто-то смотрит в затылок со злобой,
Кто-то в тьму поскакал верхом
С донесеньем по черным сугробам.

Ни суда, ни допроса в снегу,
Пуля свистнет — руки раскинешь:
На кровавую ленту у губ
Ляжет острый, не тающий иней.

Слышишь ветра февральского рев?..
Видишь тучи — какими буграми?
В этот час по снегам в Могилев
Буйным вихрем летят телеграммы.

Может быть — подорвется война,
Может быть — жизнь не будет копеекой...
Отчего побелел, как стена,
Перед царским вагоном Воейков?..

Тише, тише!.. Не нужно кричать,
Избегай подозрительных взглядов,—
Что-то много ушло кумача
Из Московских и Питерских складов...

Жизнь скомандует властно: кру-гом! —
И пойдешь на Восток по сугробам...
— Эй, Пахом! Осторожней, Пахом,
Кто-то смотрит в затылок со злобой...

АЛЕКСАНДР ГИНГЕР

1897—1965, Париж

Принадлежал к эмигрантской группе «Палата поэтов», позже входил в число парижских «формистов». Первый сборник — «Свора верных» (1922). Остался в немецкой оккупации вместе со своей женой — поэтессой А. Присмановой и чудом избежал ареста. В 1946 году принял советское подданство, однако не вернулся. Поэт высокой культуры стиха, высокой культуры тоски, не впадающей в банальную ностальгическую плаксивость, а несущей саму себя как положенный судьбой крест.

Перед смертью перешел в буддизм.

Стихотворение «Имя» печатается в варианте, сокращенном автором.

ИМЯ

Никогда я не буду героем
ни в гражданской войне, ни в другой,
но зато малодушья не скрою
перед Богом и перед собой.

О бездонная горькая честность —
одинокая смелость моя!
Соблазнительная неуместность
Нарциссического бытия...

Я люблю на меня не похожих:
пехотинца, месящего грязь,
и лубочного всадника тоже,
под шрапнелью держащего связь.

Но геройству не счесть категорий:
сколько крови, и гноя, и слез,
горя женщин и детского горя,
седины... этот пепел волос!

Не солдат, кто других убивает,
но солдат, кто другими убит.
Только жертвенность путь очищает
и душе о душе говорит.

ВЕСТЬ

Ознобов и бессонниц тайных
нас утомляет череда
сцепленьем слов необычайных,
не оставляющих следа.

Средь ночи добровольно пленной
при поощренье щедрой тьмы
мы пишем письма всей вселенной,
живым и мертвым пишем мы.

Мы пишем как жених невесте,
нам перебоев не унять,

чужим и дальним шлем мы вести
о том, чего нельзя понять.

Мы прокричим, но не услышат,
не вспыхнут и не возгорят,
ответных писем не напишут
и с нами не заговорят.

Тогда о чем же ты хлопочешь,
тонический отживший звон,
зачем поешь, чего ты хочешь,
куда из сердца рвешься вон?

1948

ТИБЕТСКАЯ ПЕСНЯ

Хвала вам, шесть концов: Восток, Юг, Запад,
Север,

Зенит, Надир;
пусть будет мир для всех: для ангела, для
зверя
пусть будет мир.

Я одолел подъем дороги нетенистой —
вот верх горы:
привет вам, шесть концов, с вершины
каменистой
земной коры.

Как все, кто до меня стоял на перевале,
я вниз гляжу
пред спуском — как и те, что здесь
прибывали —
я положу

на кучу камень мой. Хвала живущим,
жившим
вблизи, вдали —
на грани облаков свой камень приложившим
к рудам земли.

АНАСТАСИЯ ГОРНУНГ

1897—1956

Стихи писала всю жизнь, но не печаталась. В 1930 году ее арестовали в первый раз и выслали в Воронеж, там арестовали снова, выслали в Ташкент. Случайно ее спас добрый знакомый — личный врач Менжинского. Но стихи Анастасии Горнунг лежали неизданными еще больше тридцати лет после ее смерти.

* * *

Судить не нам, карать еще не нам,
 Нам только пить свое; чужое горе.
 Рассудит Тот, Кто молвил: Аз воздам!
 Кто к ним сошел, к беспомощным рабам,
 На скудном, на туманном Беломоре.

Судить не нам, рассудят всех века,
 И сам Господь пошлет разящий пламень,—
 И все-таки дрожащая рука
 За пазухой сжимает тайный камень.

1937

МИХАИЛ КАЗМИЧЕВ

1897—1960

Из донских казаков. После революции сначала был библиотекарем в Ростове-на-Дону, затем переехал в Ленинград, где посвятил себя переводческой деятельности — Байрон, поэты Возрождения, Кальдерон. Всю жизнь писал стихи, но почти их не печатал.

* * *

В столетних листьях вдруг заговорило,
 И оживилась тишина.
 Какая мысль? Какая страсть? Какая сила?
 Она невыразима и ясна.

Младенчески проплыл и канул мимо
 Шум... Вырезаны буквы на стволе...
 Невыразимо... Все невыразимо,
 Что стоит выраженья на земле.

СТАРЫЙ ПЕТЕРБУРГ

Ампирные колонны,
 Пустынные фронтоны.

Тоскливые анналы
 Канальи и каналы.

И старичок с болонкой...
 А жизнь идет стороной!..

1924

* * *

Серая пыль по займищу бежит,
 Серая пыль ничем не дорожит,
 Серая пыль глаза запорошит,
 Легкая взвилась и рассыпаться спешит.

Стены уже выжжены. Спас, Покров.
 Время начинается вихрей и ветров,
 Нежных садов и звонких возов,
 Сильных полдней и ранних вечеров.

Воздух горяч, и видно далеко,
 Видно далеко и небо высоко.
 Пекло, арбузы, дышать легко.
 Ты, воспоминание, как маятник Фуко.

1929

Я сам рукою детской трогал
Смолу и лодку, и весло,
Пока отец смотрел с порога,
Как море дулось и росло.

И дальше, выше, в гору, в груди,
В ромашковом руне овцы
Я трогал каменные груди
И виноградные сосцы.

Но полуобморочный облик,
Но голову колосса, лоб,
Лишь раз, следя полеты облак,
Я увидал в полночный час.

Когда над крышами предместий
Они зажглись на миг один.
Морозной перхотью седин,
Внезапным ужасом созвездий.

1922

* * *

Уже давно, не год, не два,
Моя душа полужива,
Но сердце ходит, дни кружатся,
Томя страданием двойным, —

Что невозможно быть живым
И трудно мертвым притворяться.

1944

* * *

Когда я буду умирать,
О жизни сожалеть не буду.
Я просто лягу на кровать
И всем прощу. И все забуду.

1944

ПОЕЗД

Каждый день, вырываясь из леса,
Как любовник в назначенный час,
Поезд с белой табличкой «Одесса»
Пробегает, шумя, мимо нас.

Пыль за ним подымается душно.
Стонут рельсы, от счастья звеня.
И глядят ему вслед равнодушно
Все прохожие, кроме меня.

1944

* * *

Величью Цезаря не верь.
Есть плотно запертая дверь,
во тьму открытая немного,
да два гвардейца у порога.

(Из «Святого колодца»)

ВЕНИАМИН КИСИН

1897—1922

Автор единственной книжки «Мирское сердце», изданной в 1929 году в количестве сорока экземпляров. Его брат, художник Б. Кисин, приславший мне эту книгу, пишет: «В 1922 году, прожив всего 25 лет, от пули неизвестного убийцы погиб мой брат. О нем положительно отозвался В. Брюсов. Дружил с ним и Б. Пастернак. После трагической смерти брата о нем писали С. Городецкий, П. Радимов, Б. Пильняк».

* * *

В горницах половички, лампы, горки.
В спальне перины до потолка.
Кладовушки, чуланчики, переборки —
домовитая Меркуловна — правая рука.

Нету детей — как ни старайся, —
в Киев к угодникам, к чудотворцам, к мощам —
заплыла, зажирела, старая,
а в девках была, как вобла, тоща.
Тесновитой не досыта половиной: —
возле заставы в трехоконный домик.
На ночь под ставни к Екатерине,
кравле с бровями соболиными и буйнотельем,
собранным в красный комок.
Напоит без вина и браги,
истомит без кулачных боев.

Удушила мальчишку в овраге
зверь, не баба — огонь — баба бой...
Тело к телу за узорчатый полог —
тайга с тайгою в буреломный взвизг.
Зубы острее аглицких иголок —
в ладонях белых янтарная слизь...
Раз захватил конокрада-цыгана —
скатерть за угол, к черту стол. —
В смуглый висок толстостенным стаканом,
кровью и склянками весь изошел...

Ну и томила прощенной ночью,
ну и сжигала на жарких грудях...
Как прокричал передутренный кочет,
как и заря на Можайский на шлях...
На голубятне порядок, забота.
Разных сортов голубиная масть...

Всклочку соседу при всем при народе —
будешь, мерзавец, турманов красть...
В чистой конюшне чистокровная случка,
лучше тятров, и цирков, и пьес —

«Замша», поджарая, длинномордая сучка,
то-то покажет, под грегот, чудес...
Стряпку захлюстанную Парашу
ночью на масляной конною покрыл...
Экая важность, что девство порушил,
после блинов, балыка да икры...

Три дня ревела гнида-девчонка —
Как бы самой не навывла грызни.
Паспорт — и вон мягкоумно, сторонкой, —
с головой всегда обернешься в жизни...
Не то что нынешнее: в брючках, в стрючках
по зелену сукну биллиардами хлопать,
и сам, глядишь, мозглявый и худущий что кий.
Отцы щи наливали в лапоть,
из бани в мороз, на крещение в прорубь —
а какие были мужики.

АНАТОЛИЙ МАРИЕНГОФ

1897, Нижний Новгород — 1962, Ленинград

Родился в дворянской семье. Один из главнейших имажинизма, близкий друг Есенина. Самое известное, принадлежащее перу Мариенгофа, — скандальный «Роман без вранья» о Есенине, о богемной жизни 20-х годов (1926), переизданный в СССР лишь через шестьдесят лет. Сначала его не переиздавали, потому что не хотели рекламировать «упадочного» Есенина, а когда Есенина причислили к лику святых, да еще чуть не объявили правоверным марксистом, — не печатали потому, что боялись «очернить светлый образ национального гения». Мариенгофа, названного раз и навсегда «декадентом», каким-то чудом не посадили, но из литературы почти вышвырнули — держали в холодной прихожей. В 1941 году поставили его пьесу «Шут Балакирев», а в 1946-м в Москве — «Золотой обруч». Мариенгоф как поэт был талантлив, хотя, конечно, золотая голова Есенина затмевала его, как утреннее солнце затмевает свет еще не выключенного городского фонаря.

ОКТАБРЬ

Каждый наш день — новая глава Библии.
Каждая страница тысячам поколений будет
Великой.

Мы те, о которых скажут:
— Счастливы в 1917 году жили.
А вы все еще вопите: погибли!
Все еще расточаете хныки!
Глупые головы,
Разве вчерашнее не раздавлено, как голубь
Автомобилем,
Бешено выпрыгнувшим из гаража?!

* * *

Мы катим жизнь,
Как дети обруч тонкий.
Того гляди —
На камушке споткнувшись, упадет.
Что слава?
Мелкая речонка —
Ее мальчишки переходят вброд
Каким-нибудь четверостишьем звонким.

1924

* * *

Архангелы гневно трубы пригубили:
— Небесное воинство на азиатскую волю!
Артиллерия била по Метрополю,
Выкусывая клочья из Врубеля.

«Второго Христа пришествие»...
Зловеще: «Антихриста окаянного»...
На перекрестках, углах горланно:
— Вечерние, вечерние известия!

Хлюпали коня подковы
В жиже мочи и крови...
В эти самые дни в Московии
Родился Саваоф новый.

ВОСПОМИНАНИЯ (фрагменты)

1

Что жизнь?
Суровое течение
Широких непреклонных рек.
Ни мужество, ни страсть, ни вдохновенье
Не остановят хладный бег.

Сказать ли мне о том, что миновало,
Что обратилось в пепел, в прах, —
О днях, когда —
Форсили мы
Вдвоем в одних штанах?
Ах, жизнь воспоминаньями мила!
Подумайте:
При градусе тепла
Нам было как в печи
Под ветхим одеялом.

Тогда Есенин был мне верным другом,
Молва сплетала наши имена.
Но что душа?
Ее, как поле, рвут
Железным зубом плуга
И в рану —
Черные бросают семена.

1925

МИХАИЛ МОРОЗОВ

1897, Москва—1952, там же

Выдающийся шекспириовед. Когда-то Серов именно с него писал знаменитый портрет Мики Морозова.

ВАННА

Бандит мне приготовил ванну,
Большую, белую как мел.
Всем телом возглася «осанну»,
Я в воду голубую сел.

Невыразимая отрада
Воды родимой теплота!
Душа и та, как птица, рада:
Ей распахнулась высота!

И все грехи, что были в старом,
Исчезли в искристой волне.
Бандит сказал мне: «С легким паром»,—
И нежно улыбнулся мне.

ИГРОК

Из глубины ночных зеркал
Ко мне приходят черти в гости.
Ночь напролет метая кости,
Чертям я душу прометал.
Стоял, на подымая глаз...
Но вырвались слова глухие:
«Что сделаете, гости злые,
Когда пробьет мой смертный час?»

Они сказали, что придут
И тотчас примутся за дело:
Как рыбу, душу извлекут
Из холодеющего тела.

И буду в банке я сидеть,
И тихо двигать плавниками,
И буду на чертей смотреть
Своими рыбьими глазами.

Я возопил, я возрыдал,
Познав мой жребий неизбежный,
Но старый черт, седой и нежный,
Мне улыбнулся и сказал:
«Поверь, на всякую беду
Приходит в жизни утешенье.

Узнай же, сын мой, раз в году
Тебе дается отпущенье:
Из банки выйдешь ты опять,
Мы снова соберем в гости
И будем до зари метать
Тобой возлюбленные кости».
Умолк. И в глубину зеркал
С поклоном удалились черти.
И снова кости я метал,
Плясал и не боялся смерти.

ГЕОРГИЙ РАЕВСКИЙ

1897, Царское Село — 1963, Штутгарт, Германия

Брат Н. Оцуна. Эмигрировав в начале 20-х годов в Париж, вошел в группу «Перекрестки» вместе с Ю. Терапиано, В. Смоленским, Д. Кнутом, Ю. Мацдельштамом. Опубликовал три сборника: «Строфы» (1928), «Новые стихотворения» (1946) и «Третья книга» (1953). Может быть, в двух строках Раевского — вся судьба эмиграции: «Мы — тот корабль, который тонет, И тот, кто потопил его».

* * *

Ты думаешь — в твое жилище
Судьба клюкой не постучит?
И что тебе до этой нищей,
Что там на улице стоит?
Но грозный круговой порукой
Мы связаны, и не дано
Одним томиться смертной мукой,
Другим пить радости вино.
Мы те, кто падает и стонет,
И те, чье нынче торжество.
Мы — тот корабль, который тонет,
И тот, кто потопил его.

ЕЛЕНА РУБISOVA

1897—1988, Париж

Никогда не была в знаменитостях эмиграции, но своей скромной прилежной поэзией доказала, что трудолюбие, разумеется, соединенное с дарованием, может быть, не сразу, но в конце концов приносит желанные плоды. Не чья-нибудь, а ее собственная рука в конце концов провела Рубисову, по ее образному выражению, «сквозь триумфальные ворота игольного ушка».

* * *

Смирение — игольное ушко,
А я — верблюд, громадный неуклюжий.
Пройти! Пройти! И станет вдруг легко
И просто все и рай нам, людям, сужен.

В песчаном море — желтые валы,
Затерян я среди них, корабль пустыни.
О Боже, дай пройти! Пусть паруса углы
Исправит Воля Кормчего отныне.

Дай стать как нить, и погаси заботу,
Чтоб провела привратника рука
Меня сквозь триумфальные ворота
Игольного ушка.

АЛЕКСАНДР ЧИЖЕВСКИЙ

1897—1964

Циолковский, Вернадский и Чижевский утвердили «космизм» — осознание человечеством своего бытия в тесной связи со всей Вселенной. Их трудами завершилась историческая ломка геоцентризма, начатая Коперником. Чижевский показал, что развитие всего живого на планете протекает под воздействием космических факторов, в частности солнечной активности. Он открыл структурную упорядоченность и электродинамические свойства крови. В его архиве сохранились сотни стихов. Он был близок к Брюсову, Волошину, Вяч. Иванову. Но с 1942 по 1958 год его судьба сложилась трагически: лагерь, «шарашка», ссылка. Автор двух стихотворных сборников, вышедших в 1910-е годы. Посмертное издание его стихов (1987) испорчено редакторской цензурой.

* * *

Как странно лист шуршит полночною порой;
Как странно лунный лик склонился над горой;
Как странно властвуют деревьев очертанья;
Печален этот час тоски и созерцанья!

Не узнаю тебя, знакомый старый сад;
Не узнаю тебя, луны недобрый взгляд;
Не узнаю я вас, деревья и поляны;
Вы в онемении, вы точно бездыханны!

Не узнаю тебя, мой беспокойный дух,
Как будто бы и ты безропотно потух;
Не от того ль — скажи, — что лист шуршит осенний
Без веры, без надежд весенних воскресений?

АЛЕКСАНДР БЕЗЫМЕНСКИЙ

1898, Житомир—1973, Москва

Участник Октябрьской революции в Петрограде, член ЦК комсомола первого созыва, автор знаменитой в свое время риторической поэмы «Комсомолия»: «Ах, Комсомолия, мы почки твоих стволов, твоих ветвей...» В 30-х годах и позднее неоднократно обращался к антибюрократической сатире. Во время войны широко прозвучало его стихотворение «Я брал Париж». Безыменский выглядел анахронизмом. Из почек комсомолии вылупились птенцы, пожравшие тех, кто делал эту революцию.

О ШАПКЕ

Только тот наших дней не мельче,
Только тот на нашем пути,
Кто умеет за каждой мелочью
Революцию мировую найти.

Кто о женщине. Кто о тряпке.
Кто о песнях прошедших дней.
Кто о чем,
А я — о шапке
Котиковой,
Моей.

Почему в ней такой я гордый?
Не глаза ведь под ней, а лучи!
Потому что ее
По ордеру
Получил.

В девятнадцатом в Киев на отдых
Я, усталый, приехать смог,
И, покою два дня лишь отдав,
На третий — в окопы лег.

Мы, голодные, жизнь творили!
Но знали: есть голод-волк.
В этот день мы без пуль покорили
Восставший девятый полк...

Да, о шапке...
И вот, оттуда,
Я в Москву, на военный сбор,
И в Цека получил, как чудо,

Ордер
«На головной убор».

Ордер этот
В охапку.
В распределитель путь.
Получил я там — летом! —
Шапку
Котиковую,
Не какую-нибудь...

И теперь вот, сейчас, сегодня,
Мимо салом заплывших витрин,
Я шагаю, знаменем подняв
Шапку военных годин.

И теперь, что-нибудь покупая,
Выбирая ли, роясь в вещах,
Я об ордере прежнем мечтаю
И новых, идущих днях.

И, прочтя бюллетень о банкноте
Или весть о борьбе биржевой,
Я гляжу на встревоженный котик
С думой грозовой:
Пусть катается нэпман на форде,
Проживает в десятках квартир...
Будет день:
Мы предъявим
Ордер
Не на шапку —
На мир.

1923

БОРИС БОЖНЕВ

1898, Ревель—1969, Марсель

Один из очень немногих в русской эмигрантской поэзии первой волны поэтов-сюрреалистов (другие — Поплавский, Ильязд), существовал во Франции очень обособленно от русской колонии. Даже о том, что он умер отнюдь не в 1940 году в больнице для душевнобольных (и кто только сочинил эту «утку», кочующую из издания в издание?), а в 1969-м в Марселе от гриппа, узнали лишь много лет спустя, когда в США вышло двухтомное, очень неполное его собрание сочинений. Был мастером ручной полиграфии, художником, коллекционером, а на жизнь зарабатывал ремеслом перенисчика нот — как некогда Жан-Жак Руссо. Его книги, отпечатанные на самой разнородной бумаге, иллюстрированные вручную, сейчас стали редкостью чисто музейной, в «большой» эмигрантской прессе поэт не печатался с конца 40-х годов, а его «ручные» книги 40-х годов были известны лишь очень немногим, среди них — поэты Ильязд, Гингер, Присманова, друг-художник Габриэль Спат, перебравшийся в конце концов в Россию журналист Сосинский. Но этот гений полиграфии был и даровитым поэтом.

* * *

Не трогайте мои весы —
Я мужественною рукою

Трудился многие часы
Над неподвижностью такую,

Добрый город кормил их,
Как своих домовых.

Сотни полок с томами
Ценных библиотек
Не под их ли зубами
Исчезали навек!..

Вечер близится. Тише...
Пол скребут коготки.
Любят старые мыши
Собираться в кружки,

Любят пыльные были
Собирать для внучат,—
Все, что люди забыли...
И внучата молчат.

Сложат хилые лапки,
Зыркнут бисером глаз,
И у каждой прабабки
Что ни ночь, то рассказ.

И без лишних расспросов
Вспомнит старая вмиг,
Что носил Ломоносов
Очень вкусный парик!

В моду ввел Грибоедов
Воротник до ушей,
И, атласа отведая,
Десять юных мышей

Опьянели от сладких
Заграничных духов
И уснули в тетрадках,
Не читая стихов.

Да и «Горе», что молча
Он под мышкой унес,
Было горьким от желчи
И соленным от слез.

Было мало ли, много ль...
Если мышь завелась,
Прогонял ее Гоголь:
«Ты в Диканьку не лась!..»

Внукам скучно, ах, скучно!
И они шепотком
Просят: «Бабушка, лучше
Расскажи о другом,

О талантах, о славе...
Ими город велик.
Не рифмуй, шепелявя,
«Воротник» да «парик».

Но она не ответит:
В дряхлой памяти брешь.
Сало славой не метят,
А талантов не съешь.

В лунном призрачном свете
Ночь грустна и тиха...
На щербатом паркете
Шелуха... Чепуха...

ВАСИЛИЙ КАЗИН

1898, Москва—1981, там же

Родился в семье ремесленника — выходца из крестьян. Один из основателей группы «Кузница». Начал печататься еще в 1911 году, но как поэт раскрылся в сборнике «Рабочий май», где вместо пролеткультовского гремяния вдруг зазвучала лирическая окраинная мелодия. На протяжении долгих лет своей жизни Казин был неутомимым воспитателем молодежи и, хотя писал трудно и мало, порадовал под конец своей жизни несколькими прекрасными стихами, как, например, «На могиле матери».

ГАРМОНИСТ

Было тихо. Было видно дворнику,
Как улегся ветер под забор
И позевывал... И вдруг с гармоникой
Гармонист вошел во двор.

Вскинул на плечо ремень гармоники
И, рассыпав сердце по ладам,
Грянул — и на подоконниках
Все цветы поплыли по лугам.

Закачались здания кирпичные,
Далью, далью опьяняясь,

Ягодами земляничными
Стала сладко бредить грязь.

Высыпал народ на подоконники —
И помчался каждый, бодр и бос,
Под трезвонами гармоники
По студеному раздолью рос.

Почтальон пришел и, зачарованный,
Пробежав глазами адреса,
Увидал, что письма адресованы
Только нивам да лесам.

НА МОГИЛЕ МАТЕРИ

Сквозь гул Москвы, кипенье городское
К тебе, чей век нуждой был так тяжел,
Я в заповедник вечного покоя —
На Пятницкое кладбище пришел.

Глядит неброско надписи короткость.
Как бы в твоём характере простом
Взяла могила эту скромность, кротость,
Задумавшись, притихнув под крестом.

Кладу я розы пышного наряда.
И словно слышу, мама, голос твой:

— Ну что так тратишься, сынок? Я рада
Была бы и ромашке полевой.

Но я молчу. Когда бы мог, родная,
И сердце положил бы сверху роз.
Твоих забот все слезы вспоминая,
Сам удержаться не могу от слез.

Гнетет и горе, и недоуменье
Гвоздем засело в существо мое:
Стою, твоё живое продолженье,
Начало потерявшее свое.

1955

ГЕОРГИЙ ОБОЛДУЕВ

1898, Москва—1954, Голицыно Московской обл.

Потомок древнего боярского рода.

В 1916-м поступил на философский факультет Московского университета. Во время гражданской войны служил в Красной Армии на Украине, в Туркестане. После демобилизации работал в разных издательствах техредом, выпускающим. В 20-х годах учился в институте им. Брюсова. В тени своей гораздо более известной жены — детской поэтессы Е. Благиной при жизни напечатал всего лишь одно стихотворение — «Скачет босой жеребец» («Новый мир», 1929, № 10). Литературные вечера в Хлебном переулке, в квартире этой уникальной литературной пары, шутливо называли «оболдуевкой». Первая книга Оболдуева вышла в ФРГ после его смерти, где он предстал крупным, ни на кого не похожим поэтом. Какой-то гранью он, может быть, близок к обериутам, но все равно его с ними не спутаешь. К его счастью, в сталинские времена не заметили, что он был большим поэтом.

СЕНИ

Что мне разумом беспечным,
Как кругами по воде,
С первым встречным-поперечным
Предаваться чехарде?

Что мне сердцем неразумным,
Имитируя глупца,
По дворцам или по гумнам
Оперировать сердца?

Что мне бессердечным телом,
Как крысенком в западне,
В общем, в частном, в среднем, в целом
Оставаться в стороне?

Забирался я под купол
Самых выпренных идей:
Но не верил; брал и щупал
Суть предложенных затей.

Я, как доктор, их простукал,
Проследил и пульс и жар;
Отобрал людей от кукол,
Чтоб запрятать в свой амбар.

Каждый сердца взмах — паломник
По своим святым местам:
Не забудет он, попомнит
Все, что не попомнил сам.

Он притащит из архива
По протоптанной тропе
Сладость взлета, горечь срыва,
Боль, желанья и т. п.

Коли очень нашедевришь,
Коли слишком наподлишь,—
Может, молвят люди: «дервиш»,
Может, пробормочут: «ишь»...

Песни, новые, как сени,
Как кленовые листья,
Разузоренные тени
Отпоют у красоты.

Июнь 1938

ФОТОГРАФИЯ

Склонился к женщине мужчина:
Бубнит он, трогая усы,
Что только разлюли-малина
Достойна этакой красоты.
Потом он стал ее опорой...
Как безответственность идей
Кровать стояла, на которой
Супруги делали детей.
Потом пропахла потом пища
В труде, в оскомине обид
И нищей брэнностью жилища
Украсился скрипучий быт.

И укоризненный подсолнух
Смотрел на игры детворы,
На кувырканые плотей, полных
И развеселых до поры.

Февраль 1947

ВСЕ К ЛУЧШЕМУ

Все к лучшему на этом лучшем свете:
Жить, мучаясь, не так уж плохо.
Торчит кулак пяти тысячелетий
Близ каждого живого вдоха.

Пожизненна предсмертная икота
Блаженством сдобренных истерик.
Телами погибающих без счета
Усеян каждый новый берег.

Сколь ни вихляйся, ни пищи, ни бейся,
Ни суйся со своей природой, —
Нелепо, как тонзура или пейса,
Тебя придавит каждой модой.

Когда, сознание хилое туманя,
Погладит против шерстки щетка, —
«Ништо, бабуся, ничаво, маманя,
Уж как не то, авось, ужотко»...

Но если со времен царя Гороха
Ты все такая же неряха, —
Эх ты, ах ты, грядущая эпоха,
Да не подымешься из праха!

Апрель 1947

ЖЕЗЛ

Расцветающий жезл Аарона —
Непотизмом наполненный жест.
И в прошедшее время, и в оно
Мы не знали от бога урона
Без отменных пышнот и торжеств.

Уж теперь рассуждать нам не время,
Доказательства приноровка:
Что простительно было евреям
Тех времен, мы в нутрах не пригреем,
Как сосущего сердце червя.

Современным ярмом евхаристий
Убедительнейше приструняя,
В мире малых забот и корыстей
С каждым годом все крепче, все истей
Растопыренная пятерня.

Мы не думаем о Саваофе:
Думать не к чему и невтерпеж.
Каждый день, после чаю иль кофе
Суждено нам гулять по Голгофе,
Забывая про правду и ложь.

Мы не знаем ни храмов, ни скиний,
Откровения ждет наш ковчег.
Нам и город зияет пустыней,
Потому что там выпал, как иней
От дыханья судьбы, человек.

Апрель 1947

ЯЗЫК

Мы живем в безвоздушном пространстве,
Не крича, не шепча, не дыша...
А попробуй, по жизни постранствуй
Странной переступью антраша.

Все повадки и навыки лисьи
Израсходованы меж потреб,
А большие и чистые мысли
Не годятся к обмену на хлеб.

На соседей оглядки бросаючи,
Под оглядками ближних бредя,
По-людски, по-собачьи, по-заячьи
Подставляем умы для бритья.

Брейте, перебирайте, стригите,
Укрощайте, карнайте, обтрясывайте,
Чтоб бессмертных сдержат на граните
Воплощенных мечтаньц о паспорте.

Что ж это происходит? По-видимому,
Как на чей, а на бережный взгляд —
По-тоскливейшему, по-обыденному
Нам приказывают и велют
Наших горестей писк комариный,
Наших болей удержанный крик...
И виденье казненной Марины
Кажет высунутый праязык.

Июль 1947

КУКАРЕКУ

Сократ был контрреволюционером,
Зато и принял смерти приз.
Плюнь, трижды плюнь.
Стократ — другим манером
Горячей жизни прикоснись.
Высокопоэтические мысли
(Благодаразумью ль вопреки?)
Поглубже прячь; в глухой архив отчисли:
Чтоб корень вырос, режь ростки.
На выпреннее вытараща зенки,
О сверхсознании не трубя,
Строй смирно домиков и замков стенки: —
Да не поставят к ней тебя.
Да благо будет ти, да многодетным
Покинешь ты курятник свой,
Когда пожмет, отмыв грядущий свет нам,
Рука руку — твоей рукой!

Ноябрь 1947

«MEMENTO MORI»

Бедный, дрожащий зверек,
Раненный выстрелом,
Плохо себя ты сберег:
Доли не выстроил.

Лапы и хвост поджимал,
Морщился ласково,
Скраивал свой идеал
Начерно, наскоро.

Сердцем не бейся в судьбу:
Накрепко заперто.
Сперло дыханье в зобу
Чуть ли не замертво.

Болью предсмертных потуг
Жил не надсаживай:
Видно, не нам с тобой, друг,
Встретиться заживо.

Что-то в нежданной судьбе
Вышло навыворот,
Раз не мелькнуло тебе
Верного выбора.

Кровью исходишь? Скулишь,
Жмурясь на извергов,
Тепленький, серый малыш?..
Сиверко, сиверко!

Ноги дрожат и ползут,
Потные, мокрые,
Бегом последних минут
Стертые до крови.

Словно в заветном рывке
С силой рванулись и...
Все повторяют пике
Смертной конвульсии.

Трепетом самых основ
Двинуто под руку:
Скоро тягучий озноб
Влезет до потроху.

Жизнь, что была не полна —
Отмель на отмели! —
Им-то хоть и не нужна, —
Взяли да отняли.

Ихнего права не трожь
Писком: «А где ж оно?»
Что-то ты дуба даешь
Медленно, мешкотно.

Слабостям, черт подери,
Место не в очерке!
Жалостный тон убери,
Брось разговорчики!

Чтоб у злодеев (тьфу, тьфу!)
Слезы не падали
В каждую эту строфу
Из-за падали!

1947

* * *

Вот так октябрята, брята,
Рята, ята, та...
Превосходные ребята:
Просто красота.

В школе учатся, как звери,
Вери, ери, ри...
Хорошо, по крайней мере,
Что ни говори.

Дома тоже не зевают,
Вают, ают, ют...
Всем вокруг надоедают:
Тут, и тут, и тут.

На дворе собачку, бачку,
Ачку, чку, ку, у...
Как увидят, — к ней вприскачку:
Будь, мол, начеку.

Кошечка, ошечка, шечка,
Ечка, чка, ка, а...
Молодого человечка
Тоже побаивается слегка.

СВИДЕТЕЛЮ

Средь разного рода лишений
Единую знаешь поживу,
Которая в центре мишени:
Быть живу, быть живу, быть живу.

Очнись, отряхнись и ответствуй
Насупленному супостату,
Что мысли греховному месту
Быть святу, быть святу, быть святу.

Но помни, не гневаясь, впрочем,
В ответ на позорную тему,
Что лучше тебе, как и прочим,
Быть нему, быть нему, быть нему.

Прищурясь, посматривай: эко
Досталось в наследье к беспутству
Свидетелю нашего века
Быть слепу, быть глуху, быть пусту.

Январь 1948

ПРОХОДИМЦАМ

Рядом с творцом суесловий,
Гимнов, похвал и анафем
Вежливей, но бестолковой
Думать, что мы не потрафим.

Нас не собьешь с панталыку:
Ведомо нашему оку
Знать, что не каждому лыку
Надо быть вписану в строку.

Если мы в том просчитались,
Что не вопили «подвиньтесь»,
Что зачастую анализ
Мы принимали за синтез.

Если мы в том прогляделись,
В чем непрогляден деляга,
Хват, балагур и владелец —
Что же?.. — да будет нам благо.

Чем уж мы так не годимся,
Так уж не вылезли рылом,
Что даже у проходимца
Числимся самым немилым.

Лучше ль в ответ «кукарекам»,
Значимым в мире курином,
Прежде, чем быть человеком,
Пыжиться стать гражданином.

Не увлекаясь, ни в коем
Случае, мертвенным чеком:
Сделаться вящим героем
Прежде, чем стать человеком.

Может быть, в царстве пернатых,
В царстве хотя бы орлином,
Мы в поднебесных палатах
Сыщем прощенье всем винам.

Ты-то, поэт, не беснуйся,
В гордом расчете на вымор:
Господи твой Иисусе
Властен и в царстве кикимор.

Яму бездонную вырой
Музе бездомной и сирой.
К мысли своей апеллируй
Точной и бережной лирой.

Февраль 1948

МУЗА

Ненавидь мою музу:
Примечай, что она
Только силе в обузу,
Как плохая жена.

Сторожи, контролируй —
Эка невидаль, вишь,
Своевременной лирой
Потрясает малыш...

Вольным балует ветром,
Даже мыслить готов,
Посыпая пиретрум
На окрестных клопов.

И он член профсоюза?
И он общества член?!
Значит, дерзкая муза
Забрала его в плен.

Полюби мою музу
И как боль, и как сладость,
И как сердца обузу,
И как по сердцу власть.

Ты ее не тетешкай,
Не води в детсады,
Чтоб проезжей дорожкой
По указке узды
Мерным шагом иль рысью
Продвигалась, кляня
И заботливость лисью,
И себя, и меня.

Своевольна, как птаха,
Возбранима, как свет,
Начиная из праха
Свой невидимый след,
Она водит по жизни
Взором бережных глаз
И в ответ укоризне
Поминает про нас.

Значит, сам ты, ровесник,
Обездолен в судьбе,
Если честные песни
Не по думе тебе.

Сентябрь 1948

СЮРКУП¹

Шествуй с музыкой и песнею
Вширь, на животе ползя.
Получай за службу пенсию,
Коли взятки брать нельзя.

Невзирая на коррупцию,
Ковыряя щелки в рай,
Собственной своею «руцею»
Духи ближних предавай.

От дневного света вянущий,
Мрак несущий в стан теней,
Где найдешь себе пристанище,
Людоед и лиходей?

Покрывайся свежей плесенью,
От мозолей до плешин:
Да излечит хворь телесную
Собственный пенициллин.

Точно так ведется издревле,
Что, попавши под прицел,
Кое-кто от жизни выздоровел
И от смерти уцелел.

1948

¹ Сюркуп — перекрышка (карточный термин).

НИКОЛАЙ ОЛЕЙНИКОВ

1898, станица Каменская обл. Войска Донского—1942(?)

Несмотря на причастность его к литературной группе «Обэриуты», я все-таки считаю его поэтическим наследником Саши Черного. Особенным блеском отличаются его пародии на любовные признания, сделанные в полном соответствии с хорошо изученными им канонами мещанской галантности. Часто печатался в детском журнале «Еж» под псевдонимом Макар Свирепый. Был предтечей Николая Глазкова.

В 1937 году репрессирован. Реабилитирован посмертно.

ТАРАКАН

Таракан сидит в стакане,
Ножку рыжую сосет.
Он попался. Он в капкане.
И теперь он казни ждет.

Он печальными глазами
На диван бросает взгляд,
Где с ножами, с топорами
Вивисекторы сидят.

У стола лекпом хлопочет,
Инструменты протирая,
И под нос себе бормочет
Песню «Тройка удалая».

Трудно думать обезьяне,
Мыслей нет — она поет.
Таракан сидит в стакане,
Ножку рыжую сосет.

Таракан к стеклу прижался
И глядит едва дыша...
Он бы смерти не боялся,
Если б знал, что есть душа.

Но наука доказала,
Что душа не существует,
Что печенка, кости, сало —
Вот что душу образует.

Есть всего лишь сочлененья,
А потом соединенья.

Против выводов науки
Невозможно устоять.
Таракан, сжимая руки,
Приготовился страдать.

Вот палач к нему подходит,
И, ощутив ему грудь,
Он под ребрами находит
То, что следует проткнуть.

И проткнувши, набок валит
Таракана, как свинью.
Громко ржет и зубы скалит,
Уподобленный коню.

И тогда к нему толпою
Вивисекторы спешат.
Кто щипцами, кто рукою
Таракана потрошат.

Сто четыре инструмента
Рвут на части пациента.
От увечий и от ран
Помирает таракан.

Он внезапно холодеет,
Его веки не дрожат...
Тут опомнились злодеи
И попятились назад.

Все в прошедшем — боль, невзгоды.
Нету больше ничего.
И подпочвенные воды
Вытекают из него.

Там, в щели большого шкапа,
Всеми кинутый, один,
Сын лепечет: «Папа, папа!»
Бедный сын!

Но отец его не слышит,
Потому что он не дышит.

И стоит над ним лохматый
Вивисектор удалой,
Безобразный, волосатый,
Со щипцами и пилой.

Ты, подлец, носящий брюки,
Знай, что мертвый таракан —
Это мученик науки,
А не просто таракан.

Сторож грубою рукою
Из окна его швырнет,
И во двор вниз головою
Наш голубчик упадет.

На затоптанной дорожке
Возле самого крыльца
Будет он, задравши ножки,
Ждать печального конца.

Его косточки сухие
Будет дождик поливать
Его глазки голубые
Будет курица клевать.

ПЕРЕМЕНА ФАМИЛИИ

Пойду я в контору «Известий»,
Внесу восемнадцать рублей
И там навсегда распрощаюсь
С фамилией прежней моей.

Козловым я был Александром,
А больше им быть не хочу.
Зовите Орловым Никандром,
За это я деньги плачу.

Быть может, с фамилией новой
Судьба моя станет иной,
И жизнь потечет по-иному,
Когда я вернуся домой.

Собака при виде меня не залает,
А только замашет хвостом,
И в жакте меня обласкает
Сердитый подлец управдом...

Свершилось! Уже не Козлов я!
Меня называть Александром нельзя.
Меня поздравляют, желают здоровья
Родные мои и друзья.

Но что это значит? Откуда
На мне этот синий пиджак?
Зачем на подносе чужая посуда?
В бутылке зачем вместо водки коньяк?

Я в зеркало глянул стенное,
И в нем отразилось чужое лицо.
Я видел лицо негодяя,
Волос напوماженный ряд,
Печальные тусклые очи,
Холодный уверенный взгляд.

Тогда я ощупал себя, свои руки,
Я зубы свои сосчитал,
Потрогал суконные брюки —
И сам я себя не узнал.

Я крикнуть хотел — и не крикнул.
Заплакать хотел — и не смог.
«Привыкну, — сказал я, — привыкну!» —
Однако привыкнуть не мог.

Меня окружали привычные вещи,
И все их значения были зловещи.
Тоска мое сердце сжимала,
И мне же моя же нога угрожала.

Я шутки шутил! Оказалось,
Нельзя было этим шутить.
Сознание мое разрывалось,
И мне не хотелось жить.

Я черного яду купил в магазине,
В карман положил пузырек.
Я вышел оттуда шатаюсь.
Ко лбу прижимая платок.

С последним коротким сигналом
Пробьет мой двенадцатый час.
Орлова не стало. Козлова не стало.
Друзья, помолитесь за нас!

НЕБЛАГОДАРНЫЙ ПАЙЩИК

Когда ему выдали сахар и мыло,
Он стал домогаться селедок с крупой.
Типичная пошлость царила
В его голове небольшой.

СУПРУГЕ НАЧАЛЬНИКА

(на рождение девочки)

На хорошенький букетик
Ваша девочка похожа.
Зашнурована в пакетик
Ее маленькая кожа.

В этой крохотной канашке
С восхищеньем замечаю
Благородные замашки
Ее папы-негодяя.

Негодяя в лучшем смысле,
Негодяя в смысле — гений,
Потому что много мысли.
Он вложил в одно из самых
Лучших своих произведений.

ЧАРЛЬЗ ДАРВИН

Чарльз Дарвин, известный ученый,
Однажды синичку поймал.
Ее красотой увлеченный,
Он зорко за ней наблюдал.
Он видел головку змеиную
И рыбий раздвоенный хвост,
В движениях — что-то мышинное
И в лапах — подобие звезд.
«Однако, — подумал Чарльз Дарвин, —
Однако, синичка сложна.
С ней рядом я просто бездарен.
Пичужка, а как сложена!
Зачем же меня обделила
Природа своим пирогом?
Зачем безобразные щеки всучила.
И пошлые пятки, и грудь колесом?»

...Тут горько заплакал старик омраченный.
Он даже стреляться хотел!
Был Дарвин известный ученый,
Но он красоты не имел.

КАРАСЬ

Н. С. Болдыревой

Жареная рыбка,
Маленький карась,
Где ж ваша улыбка,
Что была вчерась?

Жареная рыба,
Дорогой карась,
Вы ведь жить могли бы,
Если бы не страсть.

Что же вас сгубило,
Бросило сюда,
Где не так уж мило,
Где — сковорода?

Помню вас ребенком:
Хохотали вы,
Хохотали звонко
Под волной Невы.

Карасихи-дамочки
Обожали вас,
Чешую да ямочки,
И ваш рыбий глаз.

Бюстики у рыбок —
Просто красота!
Трудно без улыбок
В те смотреть места.

Но однажды утром
Встретилась вам
В блеске перламутра
Дивная мадам.

Дама та сманила
Вас к себе в домок,
Но у той у дамы
Слабый был умок.

С кем имеет дело
Ах, не поняла.
Соблазнивши, смело
С дому прогнала.

И решил несчастный
Тотчас умереть.
Ринулся он страстный,
Ринулся он в сеть.

Злые люди взяли
Рыбку из сетей,
На плиту послали
Просто, без затей.

Ножиком вспороли,
Вырвали кишки,
Посолили солью,
Всыпали муки.

А ведь жизнь прекрасной
Рисовалась вам.
Вы считались страстным
Попромежду дам...

Белая смородина,
Черная беда!
Не гулять карасику
С милой никогда.

Не ходить карасику
Теплою водой.
Не смотреть на часики,
Торопясь к другой.

Плавниками-перышками
Он не шевельнет.
Свою любовь «корюшкой»
Он не назовет.

Так шуми же мутная
Невская вода!
Не поплыть карасику
Больше никуда.

1927

О НУЛЯХ

Приятен вид тетради клетчатой:
В ней нуль могучий помещен,
А рядом нолик искалеченный
Стоит, как маленький лимон.

О вы, нули мои и нолики,
Я вас любил, я вас люблю!
Скорей лечитесь, меланхолики,
Прикосновением к нулю!

Нули — целебные кружочки,
Они врачи и фельдшера,
Без них больной кричит от почки,
А с ними он кричит «ура».

Когда умру, то не кладите,
Не покупайте мне венок,
А лучше нолик положите
На мой печальный бугорок.

КОНСТАНТИН ВАГИНОВ

1899, Петербург—1934, Ленинград

Отец поэта был жандармским полковником в Петербурге, немецкого происхождения (Вагингейм). Константин Вагинов поступил на юридический факультет Петроградского университета; был мобилизован в Красную Армию. До 1921 года занимался в студии «Звучащая раковина» у Гумилева, которого стихи Вагинова раздражали. Первая книга, «Путешествие в хаос», вышла в 1921 году. Поражали ее образы: «Кусает солнце холм покатый. В крови листва, в крови песок, и бродят овцы между статуй, посами тыча в пальцы ног». Вот так выглядела гражданская война глазами этого эстета-красноармейца. В 1928 году Вагинов опубликовал роман «Козлиная песнь», затем «Труды и дни Свистонова». «Бамбочада», «Гарпагоииана» — это были близкие к Олеше образы советских «лишних людей». В 1931 году на Вагинова напала официальная критика, обвинила его в «бредовой мистике» и т. д. Как поэт он явно обладал «лица необщим выраженьем», принадлежал к тем, кто не создает свою «странность», а с ней рождается. В профессиональной среде над ним слегка подтрунивали, но уважали. Ни к каким литературным группам после распада «Звучащей раковины» не принадлежал.

* * *

Я стал просвечивающей формой,
Свисающей ветвью винограда,
Но нету птиц, клюющих ранним утром
Мои качающиеся плоды.
Я вижу длительные дороги,
Подпрыгивающие тропинки,
Разнохарактерные толпы
Разносящих людей,
И выплывает в ночь Тептелкин,
В моем пространстве безызмерном
Он держит Феникса сиянье
В чуть облысевшей голове.
А на Москве-реке далекой
Стоит рассейский Кремль высокий,
В нем голубь спит
В воротничке,
Я сам сижу
На облучке,
Поп впереди — за мною гроб,
В нем тот же я — совсем другой,
Со мной подруга, дикий сад —
Луна над желтизной оград.

* * *

В пернатых облаках все те же струны славы,
Амуров рой. Но пот холодных глаз,
И пальцы помнят землю, смех и травы,
И серп зеленый у берегов дубрав.

Умолкнул гул, повеяло прохладой,
Темнее ночи и желтей вина
Проклятый бог сухой и злой Эллады
На пристани остановил меня.

Июль 1921

* * *

Я полюбил широкие камни,
Тревогу трав на пастбищах крутых, —
То снится мне. Наверно день осенний,
И дождь прольет на улицах благих.
Давно я зряч, не ощущаю крыши,
Прозрачен для меня словесный хоровод.

Я слово выпущу, другое кину выше,
Но все равно, они вернуться в круг.
Но медленно волов благоуханье,
Но пастухи о праздности поют,
У гор двугорбых, смуглогруды люди,
И солнце виноградарем стоит.
Но ты вернись веселою подругой, —
Так о словах мы бредили в ночи.
Будь спутником, не богом человеку
Мой медленный раздвоенный язык.

Январь 1923

* * *

Не человек: все отошло и ясно,
Что жизнь проста. И снова тишина.
Далекий серп богатых Гималаев,
Среди равнин равнина я
Неотделимая. То соберется комом,
То лесом изойдет, то прошумит травой.
Не человек: ни взмахи волн, ни стоны,
Ни грохот волн и отраженье волн.
И до утра скрипели скрипки, —
Был яростный пир в потухшей стороне.
Казалось мне, привстал я человеком,
Но ты склонилась облаком ко мне.

Март 1923

* * *

Один среди мглы, среди домов ветвистых
Волнистых струн перебираю прядь.
Так ничего, что плечи зеленеют,
Что язвы вспыхнули на высохших перстах.
Покойных дней прекрасная Селена,
Предстану я потомкам соловьем,
Слегка разложенным, слегка окаменелым,
Полускульптурой дерева и сна.

Ноябрь 1923

* * *

Над миром рысцей торопливой
Бегу я спокоен и тих.
Как будто обтечь я обязан
И каждую вещь осмотреть.

И мимо мелькают и вьются,
Заметно к могилам спеша,
В обратную сторону тени
Когда-то любимых людей.
Из юноши дух выбегает,
А тело, старея, живет,
А девушки синие очи
За нею, как глупость, идут.

1926

* * *

Дрожал проспект, стреляя светом,
Извозчиков дымилась цепь,
И вверх змеями извивалась
Толпа безжизненных калек.
И каждый маму вспоминает,
Вспотевший лобик вытирает,
И в хоровод детей вступает
С подругой первой на лугу.
И бонны медленно шагают,
Как злые феи с тростью длинной,
А гувернеры в отдаленные
Ждут окончанья торжества.
И змеи бледные проспекта
Ползут по лестницам осклизлым
И видят клетки, в клетях лица
Подруг торжественного дня.
И исковерканные очи
Глядят с глубоким состраданьем
На вверх ползущие тела.
И прежним именем ласкают,
И в хоровод детей вступают
С распушенной косою длинной,
С глазами точно крылья птиц.

1926

ПЕСНЯ СЛОВ

1

Старые слова поют:

Мы все сюсюкаем и пляшем
И крылышками машем, машем,
И каждый фиговый дурак
За нами вслед пуститься рад.

Молодые слова поют:

Но мы печальны, боже мой,
Всей жизни гибель мы переживаем:
Увянет ли цветок — уже грустим,
Но вот другой — и мы позабываем
Все, все, что было связано с цветком:
Его огней минутное дыханье,
Строенье чудное его
И неизбежность увяданья.

Старые слова поют:

И уши длинные у нас.
Мы слышим, как растет трава,
И даже солнечный восход
В нас удивительно поет.

Вместе старые и молодые:

Пусть спит купец, пусть спит игрок,
Над нами тяготеет рок.

Вкруг Аполлона пляшем мы,
В высокий сон погружены,
И понимаем, что нас нет,
Что мы словесный только бред
Того, кто там в окне сидит
С молочницею говорит.

2

Слово в театральном костюме:

Мне хорошо в сырую ночь
Блуждать и гаснуть над водой
И думать о судьбе иной,
Когда одет пыльцею был,
Когда других произносил
Таких же точно мотыльков
В прах разодетых дурачков.
Дай ручку, слово, раз, два, три!
Хожу с тобою по земле.
За мною шествуют слова
И крылышки дрожат едва.
Как будто бы амуров рой
Идет по глубине ночной.

Куда идет? Кого ведет?
И для чего опять поет?
И тонкий дым и легкий страх
Я чувствую в своих глазах.
И вижу, вижу маскарад.
Слова на полочках стоят —
Одно одето, точно граф,
Другое — как лакей Евграф,
А третье — верный архаизм —
Скользит как будто бы трюкизм,
Танцует в такт и вниз глядит.
Там в городе бежит река,
Целуются два голубка,
Милиционер, зевнув, идет
И смотрит, как вода плывет.
Его подруга, как луна —
Ее изогнута спина,
Интеллигентен, тих и чист,
Смотрю, как дремлет букинист.
В подвале сыро и темно,
Семь полок, лестница, окно.
Но что мне делать в вышине,
Когда не холодно здесь мне?
Здесь запах книг,
Здесь стук жуков,
Как будто тиканье часов.
Здесь время снизу жрет слова,
А наверху идет борьба.

1927

* * *

Слова из пепла слепок,
Стою я у пруда,
Ко мне идет нагая
Вся молодость моя.
Фальшивенький веночек
Надвинула на лоб.

Невинный дружок
 Передо мной встает.
 Он боязлив и страшен,
 Мертва его душа,
 Невинными словами
 Она извлечена.
 Он молит, умоляет,
 Чтоб душу я вернул, —
 Я молод был, спокоен,
 Души я не вернул.
 Любил я слово к слову
 Нежданно приставлять,
 Гадать, что это значит,

И снова расставлял.
 Я очень удивился:
 — Но почему, мой друг,
 Я просто так, играю,
 К чему такой испуг?

Теперь опять явился
 Перед моим окном:
 Нашел я место в мире,
 Живу я без души.
 Пришел тебя проведать:
 Не изменился ль ты?

1928

АЛЕКСАНДР ГАТОВ

1899, Харьков — 1972

Родился в семье служащего. Во время гражданской войны был агитработником Красной Армии. Закончил юрфак Харьковского университета. Первый сборник стихов «Барельефы» вышел в Харькове в 1918-м. Переводил французскую революционную поэзию.

КЛУБ «ГРЯДУЩЕЕ»

(фрагмент)

Двадцатый год. Взят Крым. Но с панской
 Польшей
 Идет война. На запад эшелоны
 И на трудфронт. В Донбасс! Заводам — угля.
 Печам — поленьев! В городских квартирах
 На стенах лед. Едва пыхтят «буржуйки».
 Невыпеченный хлеб. Морковный чай.

В редакции «Укросты» я пишу
 Листовки разные — то против вши,
 То за восстановление. Даешь!
 Даешь чугун и хлеб! Даешь победу!
 А вечером в собрании дворянском,
 Где у резных с драконами дверей
 Стоят тяжеловесные две пушки
 Очаковских времен, где зал двухсветный
 Еще недавно сотрясала медь
 Оркестров духовых, звенели шпоры,
 В паркете отражались палаши, —
 Расположился клуб прифронтной
 «Грядущее». В одной из комнат клуба,
 Где потолок с затейливою лепкой
 Растрескался и просто было жаль
 Увечных ангелов, смотревших сверху,
 Где вместо бемского стекла фанера
 Скрывала свет и было днем темно,
 А в бывшей люстре теплился рожок
 Шестнадцатисвечевой, — шло занятие
 Литературной студии... Кто там
 Бывал в те дни, кто локти клал на стол,
 Изделье мастеров итальянских?
 Кто были слушатели? День за днем

Тогда менялись голоса и лица:
 Сегодня — Харьков, завтра — Львов
 и Люблин,

С белополяками бои... Я вижу
 Те забинтованные головы и руки
 В лубке, на перевязи... Но приходят
 Стихи послушать или почитать!

По Харькову в шинели долгополой
 Ходил в то время Хлебников голодный,
 Худой, обритый после сыпняка.
 Подумал я: паек красноармейский
 Мог поддержать его, и я дерзнул
 Ввести в «Грядущее» и Велимира —
 Нет разноречья в этих двух понятиях!
 За неимением в штатах лектора он был
 Зачислен трубачом в оркестре клуба.
 Не раз уже он получил паек,
 А я старался оттянуть беседу
 Его с красноармейцами, увы,
 Грозу предвидя и конец печальный.
 И вот символику окраски букв
 «Лес — лыс», «бог — бег», как азбуку
 искусства,

Он — день настал — раскрыл красноармейцам
 И, я не скрою, вызвал удивленье
 Немалое у всех — такое, что
 Явился в клуб наш начполитпросвета —
 В защитной гимнастерке и в обмотках,
 Длинноволосый, с рыжей бородой —
 И с вящею наивностью спросил
 У Хлебникова: «Вы марксист?», на что
 Последовал ответ: «Я — футурист,
 А говоря по-русски — будетлянин!»
 (О, бедный Хлебников! Конец пайку...)

НИКОЛАЙ ЗАРУДИН

1899, Пятигорск — 1937

Начинал как поэт. Шедевром Зарудина является роман «Тридцать ночей на винограднике», золотисто пенящийся и играющий летучими пузырьками метафор, как шампанское Абрау Дюрсо, которому он посвящен. Но его только расцветавший талант поглотило чрево ненасытного чудовища террора.

* * *

Весна пронеслась мимо жизни, как поезд,
Как стекла и цепи,
И грохот и слава...
Осталась за насыпью дымная повесть,
Во сне одуванчик,
Столбы и канава.

Обтаяли елки смолою на лапах.
Рассохлась сторожка.
Со скатов пологих

Трава затаила волнение и запах
Песка и мазута железной дороги.

Ушли облака с пассажирским.
У линий
Лишь сторож с рожком,
Довольствуясь малым,
Глазел, как с билетом воздушным и синим:
Какая-то юность уходит по шпалам.

1928

НАТАЛИЯ КУГУШЕВА

1899 — 1964

Училась в Брюсовском институте, не окончила последнего курса «по независящим обстоятельствам». Авторской книги стихотворений так и не выпустила, хотя в Московском государственном литературном музее хранится более двухсот ее стихотворений. Работала библиотекарем; входила в группу «Зеленая мастерская» вместе с Николаем Минаевым, дружба с которым, в основном эпистолярная, продолжалась до ареста Минаева в 1953 году. С начала 40-х годов и до 1956 года находилась в ссылке в Казахстане, умерла в доме для престарелых под Москвой.

* * *

В переполненных теплушках
Уходили на восток —
Подмосковные опушки,
Деревень седой дымок.
Золотые листопады,
Невысокие мосты,

За кладбищенской оградой
Одинокие кресты.
Одинокие вороны
На пустых балконах дач.
Убегавшие перроны
Догоняли поезда.

1950

ВЛАДИМИР НАБОКОВ

1899, Петербург — 1977, Монтрё, Швейцария

Псевдоним до 1940 года — Владимир Сирин.

Редкий случай двуязычного писателя, одинаково блестяще писавшего и по-русски, и по-английски. Сын крупного царского юриста. Окончил Тенишевское училище в Петербурге, затем Тринити колледж в Англии. Эмигрировал в 1919 году. Изучал французскую литературу в Кембридже. Учителей в поэзии у него было двое: сперва — Волошин, затем — Саша Черный. Первые два тоненьких сборника стихов выпустил еще до революции за собственный счет. В 1922—1937 годах жил в Берлине. Написал несколько романов: «Машенька» (1926), «Король, дама, валет», «Камера обскура» (1933). Из Берлина переехал в Париж. Несмотря на то что романы имели успех среди русских эмигрантских читателей, круг его поклонников все сужался и сужался. Решив пробиться к читателю всемирному, он использовал скандальный успех романа «Лолита» — вовсе не лучшего своего произведения — и благодаря этому успеху заставил весь мир читать всё, что он, Набоков, написал, — и до «Лолиты», и после. Набоков — блистательный мастер, может быть, слишком блистательный, как блещут хирургические инструменты, лязгая на холодном мраморном столе в операционной. В его творчестве есть нечто от висячих садов Семирамиды, чьи корни питаются не родной почвой, а самим воздухом, у которого нет родины. Набоков был энтомологом и шахматистом, и это тоже заметно в его творчестве. Слова он накальвает, как бабочек на булавки, или двигает их, как шахматы, рассчитывая все на много ходов вперед. Когда Белла Ахмадулина навестила Набокова в Швейцарии перед его смертью, по ее свидетельству, он сказал:

— А жаль, что я не остался в России, уехал.

Жена Набокова покачала головой:

— Но ведь тебя наверняка бы там сгноили в лагерях. Не правда ли, Белла?

И вдруг Набоков покачал головой:

— Кто знает, может быть, я выжил бы... Зато потом я стал бы совсем другим писателем и, может быть, гораздо лучшим...

А ведь долгое время он настойчиво повторял, что его не интересует происходящее в России и вернуться или нет его книги на родину. Но если ему на самом деле было на это наплевать — почему же он тогда проделал такой гигантский труд, перевода «Лолиту» на русский?.. Историческая справедливость свершилась — книги Набокова вернулись в Россию, но она навсегда останется виноватой перед теми своими детьми, которых позволила отнять от груди своей.

БИЛЕТ

На фабрике немецкой, вот сейчас, —
дай рассказать мне, муза, без волнения! —
на фабрике немецкой, вот сейчас,
все в честь мою, идут приготовления.

Уже машина говорит: «жую,
бумажную выглаживаю кашу,
уже пласты другой передаю».
Та говорит: «нарежу и подкрашу».

Уже найдя свой правильный размах,
стальное многорукое создание
печатает на розовых листах
невероятной станции названье.

И человек бесстрастно рассует
те лепестки по ящикам в конторе,
где на стене глазастый пароход,
и роща пальм, и северное море.

И есть уже на свете много лет
тот равнодушный, медленный приказчик,
который выдвинет заветный ящик
и выдаст мне на родину билет.

1927

РАССТРЕЛ

Бывают ночи: только лягу,
в Россию поплывет кровать;
и вот ведут меня к оврагу,
ведут к оврагу убивать.

Проснусь, и в темноте, со стула,
где спички и часы лежат,
в глаза, как пристальное дуло,
глядит горящий циферблат.

Закрыв руками грудь и шею, —
вот-вот сейчас пальнет в меня! —
я взгляда отвести не смею
от круга тусклого огня.

Оцепенелого сознания
коснется тиканье часов,
благополучного изгнания
я снова чувствую покров.

Но, сердце, как бы ты хотело,
чтоб это вправду было так:

Россия, звезды, ночь расстрела
и весь в черемухе овраг!

1927, Берлин

БЕЗУМЕЦ

В миру фотограф уличный, теперь же
царь и поэт, парнасский самодержец
(который год сидящий взаперти),
он говорил:

«Ко славе низойти
я не желал. Она сама примчалась.
Уж я забыл, где муза обучалась,
но путь ее был прям и одинок.
Я не умел друзей готовить впрок,
из лапы льва не извлекал занозы.
Вдруг снег пошел; гляжу, а это розы.
Блаженный жребий. Как мне дорога
унылая улыбочка врага.
Люблю я неудачника тревожить,
сны обо мне мучительные множить
и теневой рассматривать скелет
завистника прозрачного на свет.
Когда луну я балую балладой,
волнуются деревья за оградой,
вне очереди торопясь попасть
в мои стихи. Доверена мне власть
над всей землей, соседу непослушной.
И счастье так ширится воздушно,
так полнится сияньем голова,
такие совершенные слова
встречают мысль и улетают с нею,
что ничего записывать не смею.
Но иногда — другим бы стать, другим!
О, поскорее! Плотником, портным,
а то еще — фотографом бродящим:
как в старой сказке жить, ходить по дачам,
снимать детей пятнистых в гамаке,
собаку их и тени на песке».

1933

К РОССИИ

Отвяжись, я тебя умоляю!
Вечер страшен, гул жизни затих.
Я беспомощен. Я умираю
от слепых наплываний твоих.

Тот, кто вольно отчизну покинул,
волен выть на вершинах о ней,
но теперь я спустился в долину,
и теперь приближаться не смей.

Навсегда я готов затаиться
и без имени жить. Я готов,
чтоб с тобой и во снах не сходиться,
отказаться от всяческих снов;

обескровить себя, искалечить,
не касаться любимейших книг,
променять на любое наречье
все, что есть у меня, — мой язык.

Но зато, о Россия, сквозь слезы,
сквозь траву двух несмежных могил,
сквозь дрожащие пятна березы,
сквозь все то, чем я смолоду жил,

дорогими слепыми глазами
не смотри на меня, пожалей,
не ищи в этой угольной яме,
не нащупывай жизни моей!

Ибо годы прошли и столетья,
и за горе, за муку, за стыд, —

поздно, поздно! — никто не ответит,
и душа никому не простит.

1939, Париж

КАКОЕ СДЕЛАЛ Я ДУРНОЕ ДЕЛО

*Какое сделал я дурное дело,
и я ли развратитель и злодей,
я, заставляющий мечтать мир целый
о бедной девочке моей?*

О, знаю я, меня боятся люди,
и жгут таких, как я, за волшебство,
и, как от яда в полом изумруде,
мрут от искусства моего.

Но как забавно, что в конце абзаца,
корректору и веку вопреки,
тень русской ветки будет колебаться
на мраморе моей руки.

1959, Сан-Ремо

ЮРИЙ ОЛЕША

1899, Елисаветград — 1960, Москва

Вместе с Катаевым, Багрицким, Ильфом входил в одесский «Коллектив поэтов». Переехав в Москву в 1922 году, печатал на страницах знаменитой тогда газеты «Гудок» стихотворные фельетоны под псевдонимом «Зубило». Один из этих фельетонов мы и приводим. Подряд написал две лучшие свои вещи: «Три толстяка» и «Зависть», ставшие советской классикой. Однако в прозе Олеша пользовался приемами поэтической живописи: «Негр был черный, лиловый, коричневый, блестящий. <...> Негр любит яичницу». Или: «И она протянулась ко мне, как ветвь, полная плодов и листьев». «Вынесли мозг Маяковского, похожий на сырную пасту» (цитирую по памяти). Эпоха террора физически пощадил Олешу, но сломала его как писателя. Однако вышедшая уже после его смерти книга «Ни дня без строчки» свидетельствовала о том, что в нем напряженно билась жилка сохранившегося таланта.

СТРАШНАЯ НОЧЬ

*На ст. Лихая Юго-Вост. ж. д.
стоят столбы для фонарей, а фо-
нарей нет. Ночью — полная тем-
нота. Часовой ходит и, принимая
столбы за воров, покушающихся
огрбить склады, стреляет по
столбам.*

(Рабкор)

Раз на станции Лихая сквозь унылый песий
вой шел, винтовкою махая, некий строгий часо-
вой.

Ночь и мгла.

Петух как флейта.

Ночью свет необходим.

Как же быть без фонарей-то, если ночь чер-
на, как дым?

Но на станции Лихая, знать, программа есть
такая: там отличные столбы приготовлены для
свету — фонарей к столбам же нету — бей,
братва, носы и лбы!!

Часовой Иванов Петя был парнишка с голо-
вой: ничего на целом свете не боялся часовой.

И шагает мой сударик — ночь и мгла, стучат

шаги... Темнота! Хоть бы фонарик! Не видать
во тьме ни зги!

Вдруг — ого?!

И на примете, так шагов за пятьдесят, кто-то
прет — и прямо к Пете, прямо к Пете аккуратно.

Петя — стой! — кричит: — Эй ты там! Кто
такой?

А тот молчит. Вором — вор, бандит — бан-
дитом, нет сомнения — бандит!

— Кто такой? — И нет ответа.

— Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Полагается
за это мне в тебя сейчас стрелять!

Бахх! Патрон, видать, не выдал: пуля:
ффить! — ужасный вид! Бахх! А тот стоит, как
идол, точно вкопанный стоит.

Что за черт! Бывалый Петя неужели промах
дал? Да-с, чудес таких на свете даже Петя не
видал!

Утром свет на горизонте, как младенец на
руках. Петю бедного не троньте, Петя бедный
в дураках!

Тайна страшная открыта, обнаружился скан-
дал:

Просто столб
взамен бандита
перед Петею стоял!!
С фонарями дело плохо: их достать бы поско-
рей. И причина есть для вздоха, коли нету
фонарей.

Берегись-ка, пролетарий, и с тревогой гово-
ри,
что на лбах
при бесфонарьях
возникают
фонари!!!

17 декабря 1923

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

1899, Воронеж — 1951, Москва

Родился в семье слесаря железнодорожных мастерских. Один из первых российских писателей, воспевших умно, любящего свое дело рабочего как мастера-творца, не менее чуткого в своей любви к технике, чем крестьянин чуток в любви к земле. Первый писатель советской эпохи, так поразительно понявший трагическую судьбу социалистических идей, оказавшихся в руках экспериментаторов-авантюристов, которые проводили свои смертельно опасные опыты с живыми людьми, с живой землей. Три великих произведения Платонова «Чевенгур», «Котлован», «Ювенильное море» увидели свет лишь через полвека после написания. Запрет на эти произведения был таким же преступлением, как если бы на пятьдесят лет в землю зарыли звуки набатного колокола, взывающего об опасности. Перед лицом истории Платонов оказался так чист, как, может быть, никто другой из живущих тогда писателей. Сталин не зря пришел в ярость от его повести «Впрок» (1931), после чего Платонова несколько лет не печатали. Его, правда, не посадили, но наказали арестом сына. Во время войны писатель работал спецкором «Красной звезды», однако уже в 1947 году был снова обвинен в клевете на действительность критиком Ермиловым. Последние годы жизни провел в глубокой бедности, вычеркнутый из литературных «обойм». Сейчас становится ясно, что в лице Платонова мы потеряли великого писателя, чье имя по художественным и нравственным достоинствам встает рядом с именами классиков XIX века. А начинал этот великий прозаик со стихов, по которым трудно было догадаться о его гениальных возможностях. Однако в этих стихотворениях из сборника «Голубая глубина» (1922) есть уже первые блистательные уникальные платоновские чуткости к природе и к человеку как части природы.

СТРАННИК

В мире дороги далекие,
Поле и тихая мать,
Темные ночи глубокие
Вместе мы, некого ждать.
Страннику в полночь откроешь,
Друг позабытый войдет.
Тайную душу не скроешь.
Странник увидит, поймет.
Небо высоко и тихо,
Звезды веками светлы.
В поле ни ветра, ни крика,
Ни одинокой ветлы.
Выйдем с последней звездой
Дедову правду искать...

Уходят века чередою,
А нам и травы не понять.

ВО СНЕ

Сон ребенка — песнь пророка.
От горячего истока
Все течет, течет до срока,
И весна гремит далеко.
Ты забудешь образ тайный,
Над землею неба нет.
Вспыхнет кроткий и печальный
Ранний утренний твой свет.
Ты ушел один с дороги,
Замер сердцем и упал,
Путь в пустыне зная долгий,
Ты, родной мой, тих и мал.

РЮРИК РОК

1899 — после 1925

Родился в польской интеллигентной семье, печататься начал с 14 лет; известность получил в 1921 году, когда он, Борис Земенков, Сусанна Мар и еще несколько человек в составе «творничесбюро» объявили «восстание за Ничего», призвав от имени Российского Становища Ничевоков: «ничего не пишете! ничего не говорите! ничего не печатайте!» В 1923 году Рюрик Рок входил в правление Всероссийского союза поэтов; однако, по воспоминаниям М. Ройзмана («Все, что помню о Есенине»), скоро попал в скандал, ибо подделывал всевозможные карточки и ордера Союза. Как пишет Ройзман, «Рюрик Рок был арестован, и группа ничевоков распалась». Известно, что в 1926 году Рюрик Рок уехал в Германию, дальше его следы теряются. По сообщению А. Е. Парниса, «Рок» — псевдоним, а подлинная фамилия поэта — Геринг (что, возможно, объясняет его отъезд в Германию). Публикуемые стихи написаны еще до создания группы «ничевоков».

АГА...

Напрасно бьетесь вы в извивах:
 Настанет всех час сумрачной тоски;
 Напрасно ловите счастеннейшей игривых —
 Старуха Вечность вяжет истари носки.

Уж так стара, что лишь вязать и может.
 И вяжет, вяжет и бормочет какие-то слова,
 Она, она тоску умножит —
 И будет вязать: она всегда права.

Напрасно давитесь тоской своей склизкой,
 Скребете криком старенькую дверь:
 Она всегда, всегда вам будет близкой,
 Она и Смерть.

1918

ИВАН САВИН

1899, Одесса — 1927, Гельсингфорс

Подлинная фамилия поэта Саволайнен. Он был уроженцем Одессы, все детство провел в Полтавской губернии. Хотя отец его отца и был финном, но в жилах его текла еще и греческая, и молдавская, и русская кровь. В гражданскую войну сражался на стороне белых; двое его братьев погибли; посвященное их памяти стихотворение «Ты кровь их соберешь...» в свое время потрясло Бунина. Савин с трудом выбрался из Крыма, где попал в плен к красным — лежа в Джанкойском госпитале. В 1921 году встретился в Петрограде с отцом — и уехал в Финляндию, доказав свое финское происхождение. Бывал у Репина, редактировал местные русские издания. В 1926 году в Белграде вышла его единственная книга стихов «Ладонка», выдержавшая уже три посмертных издания с дополнениями. В литературу вошел как «певец Галлиполи», хотя никогда не видел ни константинопольского берега, ни разбитых на нем временных палаток армии Врангеля. Умер от заражения крови после неудачной операции по удалению аппендицита.

У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ

И. Бунину

По дюнам бродит день сутулый,
 Нырря в золото песка.
 Едва шуршат морские гулы,
 Едва звенит Сестра-река.

Граница. И чем ближе к устью,
 К береговому янтарю,
 Тем с большей нежностью и грустью
 России «здравствуй» говорю.

Там за рекой все те же дюны,
 Такой же бор к волнам сбежал,

Все те же древние Перуны
 Выходят, мнятся, из-за скал.

Но жизнь иная в травах бьется
 И тишина еще слышней,
 И на кронштадтский купол льется
 Огромный дождь иных лучей.

Черкнув крылом по глади водной,
 В Россию чайка уплыла —
 И я крещу рукой безродной
 Пропаший след ее крыла.

1925

ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ

1899, Симферополь — 1982, Москва

Сын меховщика. Окончил факультет естественных наук Московского университета. Биография Сельвинского почти авантюрная: был актером, цирковым борцом, портовым грузчиком, инструктором по пушнине. Вождь конструктивизма, ставивший научно-конструктивное мышление даже во главу угла поэзии. Однако как поэт Сельвинский оказывался сильнее именно там, где не следовал собственным теоретическим схемам (что, кстати, было и с его постоянным оппонентом — В. Маяковским). Самое знаменитое произведение Сельвинского «Улялаевщина» написано хотя и со вкусовыми срывами, но незабываемо, неповторимо, с мощью неуправляемой стихии. Рефрен «Ехали казаки, чубы по губам» восторженно цитировался Багрицким и многими другими, став своеобразным фирменным знаком Сельвинского. Поздняя попытка поэта переделать «Улялаевщину» рухнула. Грязный, но подлинный черновик ценнее каллиграфического «чистовика». Сельвинскому была свойственна экспериментальная гигантомания: из того эпического, что он громоздил, многое разваливалось. Однако всегда среди безвкусицы у него вдруг проблескивало мощно:

Так пусть этот стих на твоём столе
стоит, как стакан океана!

Лучшее, что он создал, это — наряду с отдельными главами «Улялаевщины» — сравнительно небольшие стихи, которым, видимо, сам автор придавал второстепенное значение. Сельвинский, всю жизнь восстававший против традиционности, как ни парадоксально, становился чище и сильнее как поэт именно в классических ритмах. Михаил Светлов сказал о нем довольно зло: «Сельвинский похож на сверкающий, пыхтящий, ворочающий локтями и колесами паровоз — подвешенный в воздухе и ничего не везущий». Сельвинскому трагически не хватало вкуса к собственной поэзии. Вкуса у него иногда не хватало и в нравственности. В 1958 году Сельвинский, увы, принял участие в травле Пастернака, о котором когда-то писал: «Люблю великий русский стих... и всех учителей своих — от Пушкина до Пастернака!»

ИЗ ПОЭМЫ «УЛЯЛАЕВЩИНА»
(фрагмент)

...Ехали казаки, да ехали казаки,
Да ехали каза-ха-ки, чубы по губам.
Ехали казаки, да на башке папахи,
Ехали под бубен да под галочий гам.

В люльках-носогрейках попыхивали угли,
Табаки наперчены — самсун да дюбек.
Конские гривы да от крови пожухли.
Будет помнить Украина яицкий набег.

Ехали казаки до дому из набега.
По усищам патока, по бородищам мед.
Только что там завтря? Ведь наша
жизнь — копейка.

Не дорубит шашка — дохлопнет пулемет.

Э, да что там думы! Пой, пока раздолье!
На четыре голоса куют подковы.
Ехали казаки. Перекати-поле.
Полынок да чебыряк, ковыль да ковыль.

...На коне богатая кавказская справа.
(Зря ли ходили из края в край?)
Слева едет дылад. Мамашев едет справа.
Черное знамя. Вороний грай.

Гайдаларайда! Брод не брод —
Ехали казаки по команде «Уперед!»
А по самой гуще, оплясанный стаей
Заерницких бандитщиков из дерьма,
Ездиет

сам

батько Улялаев

На черной тройке дарма!
Улялаев був такой: выверчено вико,
Плэчи кучугурами, тай в ухе — серьга.
Зроду не бачено такого чоловика,
Як той

Улялаев

Серга!

БАЛЛАДА О БАРАБАНЩИКЕ

Крала баба грузди,
Крала баба грузди,

Крала баба бо-бы и го-рох.
Да в ковыле бобыли-то были:
Брали бабу на курок.

Были бобыли-то,
Были бобыли-то,
Были бобыли-то
Злы, как бес.
Была баба в шубке,
Была баба в юбке,
Была баба в панталонах,
Стала — без.
Вот
Ведь
Вид.

Баба была ряба,
Но боялась баба:
«Эх, кабы хотя ба
Помог ба бог».
Но заместо бога
Брел по эпохе
Паренек убогий —
В барабане бок.
Был он, паря, ранен,
По-на поле брани,
Спал на барабане,
Пёр на пункт.
Вдруг заметил из кустов он,
Будто кто-то арестован,
Да не нашею командой —
Что такое? Бунт?

Сел против бражки,
Снял барабашку,
Сам себе скомандовал:
«Крой!»

В бурый бок
барабанной
перепонки
барабана
вбарабанил
барабанщик
барабанный
бой.
Дррррроби рокот орлий
Прокатился в горле.

Думали, померли
 Бобыли —
 Рухнули рядами
 С траурными ртами
 Подле голой дамы
 — В пыли.
 Хрип.
 Храп.
 Гроп.

Тут барабанщик
 Бросил барабанчик,
 Выйдя разобрать их
 В короткий срок:
 Бабе отдал шубку,
 Бабе отдал юбку,
 А бобылям-то бобы да горох...

«Вы, — говорит, — баба,
 Действовали слабо.
 Выразился я ба:
 Анархическая борьба.
 Погоди, бабеха:
 Ликвиднем царя Гороха,
 Тогда пузырьрся от гороха,
 Как барабан».

Барабаны в банте,
 Славу барабаньте!
 Барабарабаньте
 Во весь. Свой. Раж.
 Ни
 В Провансе,
 Ни
 В Брабанте
 Нет барабанщиков
 Таких. Как. Наш.

1931

ЧИТАТЕЛЬ СТИХА
 (фрагменты)

.....
 Иной читатель — прочел и двигай,
 Давай другому, а сам катись!
 А наш, как с девушкой, дружит с книгой.
 Читатель стиха — артист...

...И вдруг получишь огрызок листка
 Откуда-нибудь из бухты Посьета:
 Это великий читатель стиха
 Почувствовал боль своего поэта.

И снова, зажавши хохот в зубах,
 Живешь, как будто полмира выиграл.
 И снова идешь
 среди воя собак
 Своей. Привычной. Поступью. Тигра.

1932

Я ЭТО ВИДЕЛ!

Можно не слушать народных сказаний,
 Не верить газетным столбцам,
 Но я это видел. Своими глазами.
 Понимаете? Видел. Сам.
 Вот тут дорога. А там вон — взгорье.
 Меж ними
 вот этак —
 ров.

Из этого рва подымается горе.
 Горе без берегов.

Нет! Об этом нельзя словами...
 Тут надо рычать! Рыдать!
 Семь тысяч расстрелянных в мерзлой яме,
 Заржавленной, как руда.

Кто эти люди? Бойцы? Нисколько.
 Может быть, партизаны? Нет.
 Вот лежит лопоухий Колька —
 Ему одиннадцать лет.

Тут вся родня его. Хутор Веселый.
 Весь «самострой» — сто двадцать дворов.
 Ближние станции, ближние села —
 Все как заложники брошены в ров.
 Лежат, сидят, всползают на бруствер.
 У каждого жест. Удивительно свой!
 Зима в мертвецке заморозила чувство,
 С которым смерть принимал живой,
 И трупы бредят, грозят, ненавидят...
 Как митинг, шумит эта мертвая тишь.
 В каком бы их ни свалило виде —
 Глазами, оскалом, шеей, плечами
 Они пререкаются с палачами,
 Они восклицают: «Не победишь!»

Парень. Он совсем налегке.
 Грудь распахнута из протеста.
 Одна нога в худом сапоге,
 Другая сияет лаком протеза.
 Легкий снежок валит и валит...
 Грудь распахнул молодой инвалид.
 Он, видимо, крикнул: «Стреляйте, черти!»
 Поперхнулся. Упал. Застыл.
 Но часовым над лежбищем смерти
 Торчит воткнутый в землю костыль.
 И ярость мертвого не застыла:
 Она фронтовых окликает из тыла,
 Она водрузила костыль, как древко,
 И вежа ее видна далеко.

Бабка. Эта погибла стоя.
 Встала меж трупов и так умерла.
 Лицо ее, славное и простое,
 Черная судорога свела.
 Ветер колышет ее отрепье...
 В левой орбите застыл сургуч,
 Но правое око глубоко в небе
 Между разрывами туч.

И в этом упреке деве пречистой
 Рушенье веры дремучих лет:
 «Коли на свете живут фашисты,
 Стало быть, бога нет».

Рядом истерзанная еврейка.
 При ней ребенок. Совсем как во сне.
 С какой заботой детская шейка
 Повязана маминым серым кашне...
 Матери сердцу не изменили:
 Идя на расстрел, под пулю идя,
 За час, за полчаса до могилы
 Мать от простуды спасала дитя.
 Но даже и смерть для них не разлука:
 Не властны теперь над ними враги —
 И рыжая струйка

из детского уха
 Стекает
 в горсть
 материнской
 руки.

Как страшно об этом писать. Как жутко,
 Но надо. Надо! Пиши!

Фашизму теперь не отделаться шуткой:
 Ты вымерил низость фашистской души,
 Ты осознал во всей ее фальши
 «Сентиментальность» пруссацких грез,
 Так пусть же

сквозь их
 голубые
 вальсы

Горит материнская эта горсть.
 Иди ж! Заклейми! Ты стоишь перед бойней.
 Ты за руку их поймал — уличи!
 Ты видишь, как пулею броневой
 Дробили нас палачи.

Так загреми же, как Дант, как Овидий,
 Пусть зарыдает природа сама,
 Если

всё это
 сам ты
 видел
 И не сошел с ума.

Но молча стою над страшной могилой.
 Что слова? Истлели слова.
 Было время — писал я о милой,
 О щелканье соловья.

Казалось бы, что в этой теме такого?
 Правда? А между тем
 Попробуй найди настоящее слово
 Даже для этих тем.

А тут? Да ведь тут же нервы как луки,
 Но строчки... глуше вареных вязиг.
 Нет, товарищи: этой мўки
 Не выразит язык.

Он слишком привычен, поэтому беден,
 Слишком изящен, поэтому скуп,

К неумолимой грамматике сведен
 Каждый крик, слетающий с губ.
 Здесь нужно бы... нужно создать бы вече
 Из всех племен от древка до древка
 И взять от каждого всё человежье,
 Всё прорвавшееся сквозь века —
 Вопли, хрипы, вздохи и стоны,
 Отгул нашествий, эхо резни...
 Не это ль
 наречье
 муки бездонной
 Словам искомым сродни?

Но есть у нас и такая речь,
 Которая всяких слов горячее:
 Врагов осыпает проклятьем картечь,
 Глаголом пророков гремят батареи.
 Вы слышите трубы на рубежах?
 Смятение... Крики... Бледнеют громилы.
 Бегут! Но некуда им убежать
 От вашей кровавой могилы.

Ослабьте же мышцы. Прикройте веки.
 Травую взойдите у этих высот.
 Кто вас увидел, отныне навеки
 Все ваши раны в душе унесет.

Ров... Поэмой ли скажешь о нем?
 Семь тысяч трупов.

Семиты... Славяне...

Да! Об этом нельзя словами:
 Огнем! Только огнем!

1942, Керчь

ТАМАНЬ

Когда в кавказском кавполку я вижу казака
 На белоногом скакуне гнедого косяка,
 В черкеске с красною душой и в каске
 набекрень,
 Который хату до сих пор еще зовет
 «курень», —
 Меня не надо просвещать, его окликну я:
 «Здорово, конный человек, таманская
 земля!»

От Крымской от станицы до Чушки до косы
 Я обошел твои, Тамань, усадебные осы,
 Я знаю плавней боевых кровавое гнильцо,
 Я хату каждую твою могу узнать в лицо.
 Бывало, с фронта привезешь от казака
 письмо —
 Усадят гостя на топчан под саблю с тесьмой,
 И небольшой крестьянский зал в обоях
 из газет
 Портретами станишников начнет на вас
 глазеть.
 Три самовара закипят, три лампы зажужжат,
 Три девушки наперебой вам голову вскружат,

Покуда мать не закричит и, взяв турецкий
 Как золотистого коня, не выкупает вас. таз,
 Тамань моя, Тамань моя, форпост моей
 Я полюбил в тебе уклад батальной старины, страны!
 Я полюбил твой ветерок военно-полевой,
 Твои гортанные ручьи и гордый говор твой.
 Кавалерийская земля! Тебя не полонить,
 Хоть и бомбежкой распахать, пехотой
 Чужое знамя над тобой, чужая речь в дому, боронить.
 Но знает враг: никогда
 не сдашься ты ему. 1943
 Тамань моя, Тамань моя! Весенней кутерьмой Северо-Кавказский фронт

АЛЕКСЕЙ СУРКОВ

1899, д. Середнево Ярославской губ.—1983, Москва

В последние годы жизни, работая штатным секретарем Союза писателей СССР, Сурков снискал себе мрачную славу догматического функционера, особенно когда он начал кампанию против Пастернака. На самом деле его образ был гораздо сложнее. В каком-то смысле он был догматиком, а в каком-то смысле и царедворцем. Но он, по многим свидетельствам, был и тем, кто публично поносил, а тайно помогал; помимо всего, Сурков был хотя и небольшим, но, безусловно, талантливым поэтом. С 12 лет пребывая на побегушках в петербургской прислуге, он, накопив достаточное количество ненависти, стал во время гражданской войны пулеметчиком. Об этом времени он написал сильные стихи, где нежность проявляют пули. Во время войны Сурков написал знаменитое стихотворение, яростно призывающее к отмщению: «Вам не дожидаться с востока, вам не встречать сыновей». Были известны также песни Суркова «Ковармейская», «Песня смелых» («Смелыми Сталин гордится»), «Бьется в тесной печурке огонь», «В смертном ознобе», которую я исполнял в мосфильмовском конкурсе на роль «пятнадцатилетнего капитана», чем до смерти напугал режиссера.

О НЕЖНОСТИ

Мы лежали на подступах к небольшой
 деревеньке.
 Пули путались в мякоти аржаного омета.
 Трехаршинный матрос Петро Гаманенко
 Вынес Леньку, дозорного, из-под пулемета. нагана.

Ленька плакал. Глаза его синие, щелками,
 Затекали слезами и предсмертным туманом.
 На сутулой спине, разможенной осколками,
 Кровь застыла пятном, густым и багряным.

Подползла санитарка отрядная рыжая.
 Спеленала бинтом, как пеленками, туго,
 Прошептала: — Отплавал матросик,
 не выживет.
 Потерял ты, Петрусь, закадычного друга!

Бился «максим» в порыве свирепой
 прилежности.
 Бредил раненый ломким, надорванным
 голосом.
 Неуклюжими жестами наплывающей
 нежности
 Гаманенко разглаживал Ленькины волосы.

По сутулому телу расплзлась агония,
 Из-под корки бинта кровоточила рана.
 Сквозь пальбу уловил в замирающем стоне я
 Нервный всхлип, торопливый выстрел

...Мы лежали на подступах к небольшой
 деревеньке.
 Пули грызли разбитый снарядами угол.
 Трехаршинный матрос Петро Гаманенко
 Пожалел закадычного друга. 1928

* * *

В смертном ознобе под ветром трепещет
 осина.
 Окна распахнуты настезь. Темная хата пуста.
 Мать причитает над трупом убитого сына.
 Вдаль без пути, без дороги тихо бредет
 сирота.

Ворон-могильщик, от пепла горячего серый,
 Падает в черную ночь с обгорелых ворот...
 Пламенем, сталью, мстостью, не знающей
 меры,
 Будет платить по кровавому счету народ.

В ряды поставленных колод;
И опустелые вагоны
Не сторожили Флор и Лавр,
Когда над полем плыли стоны
И звуки гулкие литавр.
Среди равнин и плоскогорий,
За темной массой полков,
На белом маштаке Егорий
Один водил своих волков.
Свивали поздние метели
Над Русью снежное кольцо.
И полы английской шинели
Закрыли близкое лицо.
Минувя села у опушек,
Прошли последние леса,
Глумливым эхом поздних пушек
Простились глухо небеса.
Стопясь, дрались на камнях мола,
Когда кричали корабли.
И плакал старенький Никола
В тумане брошенной земли.

СТЕПНОЙ ПОХОД

Не выдаст моя кобылица,
Не лопнет подпруга седла.
Дымится в Задонье, курится
Седая февральская мгла.

Встает за могилой могила,
Темнеет калмыцкая твердь,
И где-то правее — Корнилов,
В метелях идущий на смерть.

Запомним, запомним до гроба
Жестокую юность свою —
Дымящийся гребень сугроба,
Победу и гибель в бою.

Тоску безысходного гона,
Тревогу в морозных ночах
И блеск тускловатый погона
На хрупких, на детских плечах.

Мы отдали все, что имели,
Тебе, восемнадцатый год,
Твоей азиатской метели —
Степной — за Россию — поход!

* * *

Сотни лет! Какой недолгий срок
Для степи. И снова на кургане
У своей норы свистит сурок,
Как свистел еще при Чингиз-хане.
Где-то здесь стоял его шатер,
Веял ветер бобылевыми хвостами,
Поднебесный голубой простор
И костров приземистое пламя.
Приводили молодых рабынь,
Горячо пропахнувших полынью,
Так, что даже до сих пор полынь
Пахнет одуряюще рабыню.
Тот же ветер. Тот же свист сурка
О степном тысячелетнем счастье,
И закатные проходят облака
Табуном коней священной масти.

НИКОЛАЙ УШАКОВ

1899, Ростов-Ярославский—1973, Киев

У этого молодого киевлянина были замечательные книжки — «Весна республики» (1927), «Тринадцать стихотворений», написанные как бы играючи, но рукой зрелого мастера. Легкие, почти балетные ритмические движения стиха. Блистательная рифмовка. Роскошны были «Московская транжирочка», «Леди Макбет». Строку «И сходят лошади с ума от легкого прикосновенья» невозможно не запомнить. Несмотря на то что ранний Ушаков примыкал к конструктивистам, по стишу он был более близок к лэфовцам — к «Сияним гусарам» Асеева, к формальным опытам Кирсанова. Ушаков обещал большее, чем они, ибо в его стихах было меньше свойственного лэфовцам газетного легкомыслия, однако с его наобещавшим столько стихом что-то случилось. Еще поблескивали короткие афористические шедевры, но в целом стих потускнел, поскучнел. Ушаков от формальных опытов ушел в классицизм. Но для классического стиха ему не хватило философской основательности. Тем не менее приводимые здесь стихи — уроки мастерства, преподанные озорно и элегантно.

ВИНО

Г. В. Шелейховскому

Я знаю,
трудная отрада,
не легкомысленный покой,
густые грозди винограда
давить упорною рукой.

Вино молчит.
А годы лягут

в угрюмом погребе, как дым,
пока сироп горячих ягод
не вспыхнет жаром золотым.

Виноторговцы — те болтливы,
от них кружится голова.
Но я, писатель терпеливый,
храню, как музыку, слова.

Я научился их звучанье
копить в подвале и беречь.

Чем продолжительней молчанье,
тем удивительнее речь.

1926

ФРУКТОВАЯ ВЕСНА ПРЕДМЕСТИЙ

Разъезд,
товарная,
таможня...

И убегает под откос
за будкой железнодорожной
в дыму весеннем абрикос,
еще не зелен,
только розов.

И здесь,
над выдохом свистков,
над жарким вздохом паровозов, —
воздушный холод лепестков.

В депо трезвон
и гром починок,
а в решето больших окон
прозрачным золотом тычинок
дымится розовый циклон.

И на извозчиьем дворе
хомут и вожжи на заборе
в густом и нежном серебре,
как утопающие в море.

В депо,
в конюшни
и дома
летит фруктовое цветенье,
и сходят лошади с ума
от легкого прикосновенья.

1926

ДЕЗЕРТИР

Познав дурных предчувствий мир,
в вокзальных комнатах угарных
транзитный трется дезертир
и ждет
облавы
и товарных.

И с сундучка глазком седым
на конных смотрит он матросов,
и, вдруг устав,
сдается им
и глухо просит
папиросу.

И зазвенел над ним замок.
И с арестованными вместе
он хлещет синий кипяток
из чайников
тончайшей
жести.

Пайковый хлеб
лежит в дыму,
свинцовые
пылают блюда, —
он сыт,
и вот велят ему
фуфайку снять
и скинуть бутсы.

Свистят пустые поезда,
на полках —
тощая бригада.
Над мертвецом висит звезда,
и ничего звезде не надо.

1929

ЛЕДИ МАКБЕТ

Стали звать ее Леди Макбет.
Лесков.

1

Из объездов по округам
налетел лесник домой.
Бурку с плеч,
арапник в угол,
шапку под щеку —
да крой
храпом флигель.

Ночь и, кроме
храпа,
«мышья беготня».
Леди Макбет бродит в доме,
свет ладонью заслоня.

2

Вы живая, без сомненья,
но зачем вас привели
в сонное нагроможденье
страхов,
тени,
мебели?

Я не прежний завсегдатай
честолюбия
и той,
что в одних чулках когда-то
кралась лесенкой крутой,
что кармином губ кормила
и на лесенке тайком
говорила:
— Будешь, милый,
вместо мужа лесником.

3

Петушок охрип
и стонет.
В чашку
рукомойник бьет.
Леди на свои ладони
смотрит
и не узнает.

И светелка поседела,
посинела лесенка.

На ларе большое тело
окружного лесника.
Он лежит на шубах чинно,
против меловой печи.
Кровь стекает по овчинам
и по лесенке
журчит.

4

Леди Макбет,
что такое?
Бор идет из-за реки,
дышат листья,
дышит хвоя,
дышат папоротники.
Киноварью и зеленым
наступая всё быстрей,
выпускают
по району
черно-красных снегирей.

Мимо ВИК'а,
мимо школы
свищет сучьев темных дых.
Вот уже у частокола
вся опушка
понятых.

Леди Макбет.
где патроны,
где револьвер боевой?
Не по честному закону
поступили
вы со мной.

То не бор в воротах,
леди,—
не хочу таиться я,—
то за нами,
леди,
едет
конная милиция.

7—10 января 1927

МОСКОВСКАЯ ТРАНЖИРОЧКА

1

Зима любви на выручку —
рысак косит,
и — ах! —
московская транжирочка
на легких голубках¹
замоскворецкой волости.

Стеклянный пепел зим
страхни с косматой полости
и — прямо в магазин.

¹ Высокие щегольские санки для двоих.

Французская кондитерша,
скворцам картавя в лад,
приносит,
столик вытерши,
жемчужный шоколад.

И губы в гоголь-моголе,
и говорит сосед:
— Транжирочка,
не много ли? —
И снова
снег
и свет.

2

А дед кусать привык усы,
он ходит взад-вперед:
иконы,
свечи,
фикусы —
густая дрожь берет.

Он встретил их как водится,
сведя перо бровей,
и машет богородицей
над женихом
и ей.

Короновали сразу их,
идет, глухая, прочь
над пухом
и лабазами
купеческая ночь.

3

Меж тем за антресолями
и выстрелы
и тьма:
крутую солью солена
московская зима.

Бескормицей встревоженный
и ходом декабря,
над сивою Остоженкой
вороний продотряд.
Под ватниками курятся
в палатах ледяных
сышного
и resurgens'a²
грязца
и прелый дых.

За стройками амбарными
у фосфорной реки
в снегах
чусоснабармами³
гремят грузовики.

² Возвратный тиф.

³ Чрезвычайное управление по снабжению армии

Метелица не ленится
пригреть советский люд,
и по субботам ленинцы
в поленицах
поют.

4

Московская транжирочка,
хрустя крутым снежком,
спешит своим на выручку
пешком,
пешком,
пешком.

На площади у губчека
стоит чекист один.
— Освободите купчика,
хороший господин!

Захлопали,
затопали
на площади тогда:
— Уже в Константинополе
былые господа.

5

А там нарпит и дом
ищи;
и каждый день знаком —
каретой «скорой помощи»,
встревоженным звонком,
и кофточками старыми,
и сборами в кино,
случайными татарами,

стучащими в окно.
Вчерашним чаем,
лицами
сквозь папиросный дым,
и...
наконец, милицией
над пузырьком пустым.

1927

МАСТЕРСТВО

Пока владеют формой руки,
пока твой опыт
не иссяк,
на яростном гончарном круге
верти вселенной
так
и сяк.

Мир незакончен
и неточен,—
поставь его на пьедестал
и надавай ему пощечин,
чтоб он из глины
мыслью стал.

1935

От всего могу я отказаться,
всякую перенесу нужду.
Года два мне сны уже не снятся,
года два я ничего не жду.

1947

СТЕПАН ЩИПАЧЕВ

1899, д. Щипачи Пермской губ.— 1980, Москва

Из уральских крестьян, батрачил с раннего детства. С 1919 по 1931 год — в Красной Армии. Первый сборник «По курганам веков» был опубликован в 1923-м. И этот сборник, и последующие были риторичны, во многом несамостоятельны. Однако Щипачев постепенно «выработался» в небольшого, чистого, непохожего на других поэта. Он никогда не использовал государственного признания во зло другим писателям и обожал чужие стихи, как никто на моей памяти. После смерти Сталина возрождение русской поэзии началось, когда Щипачев, возглавлявший вместе с Винокуровым поэтический отдел «Октября», напечатал после долгого перерыва Заболоцкого, Смелякова, Мартынова, утвердил признание Слуцкого, открыл многих молодых поэтов — в их числе Ахмадулину. Щипачев был самым лучшим на моей памяти руководителем писателей Москвы с 1950 по 1963 год и был снят, когда литературные интриганы дезориентировали Хрущева, уверив его в том, что Москва превратилась в «гнездо ревизионистов». Щипачев дал пример, что можно быть не самым большим поэтом, но большим человеком.

БЕРЕЗКА

Ее к земле сгибает ливень,
Почти нагую, а она
Рванется, глянёт молчаливо,—
И дождь уймется у окна.

И в непроглядный зимний вечер,
В победу веря наперед,

Ее буран берет за плечи,
За руки белые берет.

Но, тонкую, ее ломая,
Из силы выбьются... Она,
Видать, характером прямая,
Кому-то третьему верна.

1937

* * *

Любовью дорожить умеете,
С годами дорожить вдвойне.
Любовь — не вздохи на скамейке
И не прогулки при луне.

Все будет: слякоть и пороша.
Ведь вместе надо жизнь прожить.
Любовь с хорошей песней схожа,
А песню не легко сложить.

* * *

Себя не видят синие просторы,
И, в вечном холоде светлы, чисты,
Себя не видят снеговые горы,
Цветок своей не видит красоты.

И сладко знать, идешь ли ты лесами,
Спускаешься ли горною тропой:
Твоими ненасытными глазами
Природа восхищается собой.

1945

НЕИЗВЕСТНЫЕ АВТОРЫ

* * *

Как ужасно никому не верить,
не иметь ни радости, ни друга,
и души окованные двери
никому не открывать по стуку.
Но ужасней самому стучаться,
вызывая из себя другого.
Дверь открыть, увидеть, испугаться
и поспешно запереться снова.

ХОР ОСМЕЛЕВШИХ ДВОРНЯЖЕК

Насилье терпеть несогласны мы дольше,
На привязи нас не удержите больше:
Властей мы не знаем и знать не желаем:
Свободно мы ходим, на дворника лаем.

30 октября 1905

УТЮГИ

«Мы поплывем! — сказали Утюги.—
И пусть трунят насмешники-враги!
Смеется хорошо всегда один последний!
Друзья, в поход, на пруд соседний!»
Пошли. Поплыли. И с тех пор

Не возвращаются на двор.
Умейте отличать мечты от бредней.

5 июня 1905

* * *

Печатай книги и брошюры
Свободой пользуйся святой
Без предварительной цензуры,
Но с предварительной тюрьмой.

Конец 1905 или начало 1906

ПО ПОВОДУ ДВУХ ПАЛАТ В РОССИИ

Как на рубище заплаты,
Вдруг явились две палаты...
Будет ли ума палата?
Это, кажется, сверх штата.

Начало апреля 1906

МУЖИЧЬЯ ЗАПЕВКА

Ждали Думу. Дали Думу,
Но тревожится душа:
На словах-то много шуму,
А на деле — ни шиша.....

22 сентября 1906

ЧАСТУШКИ

* * *

Я стояла у ворот,
Мил спросил: «Который год?»
— «Совершенные лета —
Сию, никем не занята».

* * *

Девка кофточку кроила,
Рукава обузила.

На колени не пустила,
Парня оконфузила.

* * *

Срубил сосны, срубил ели —
Начинающца кадрели.

* * *

Сидит милый на крыльце
С выраженьем на лице.

Я недолго думала,
Подошла да плюнула.

* * *

Я рябинушку ломала,
Со рябины пала кись.
Правой рученькой махала —
Приходи рябину ись.

* * *

Дорогой и дорогая,
Дорогие — оба.
Дорогая дорогого
Довела до гроба.

* * *

Девушки, покончено;
Пропало мое кольчишко
С среднего-то пальчика,
За рекой у мальчика.

* * *

По могилушке хожу,
Родиму матушку бужу.
Родима матушка, вставай,
Меня в солдаты провожай.

* * *

Матушка родимая,
Свеча неугасимая.
Горела да растаяла —
Жалела да оставила.

* * *

Тебе какое, матка, дело,
Не одену платье бело.
Я одену голубо,
Какое милому люблю.

* * *

Мы ребята — ежики,
У нас в карманах ножики,
Четыре гири на весу,
Пистолет на поясу.

* * *

Благослови, отец и мать,
Иду с японцем воевать,
Буду резаться, колоться,
По колен в крови стоять.

* * *

Милые родители,
Забастовки в Питери,

Забастуют лавочки —
Приедут к нам забавочки.

* * *

Запрягай, папаша, Бурку,
Я поеду сватать турку,
Я такой войны настрою,
Всю Японию разрою,
А Китай нам нипочем,
Закидаем кирпичом.

* * *

У тяти лестница крутая,
Тяжело воду носить,
Участь девичья такая —
Надо замуж выходить.

* * *

Дай-ко, Господи, пожару —
Винной лавочке сгореть.
Дай-ко, Господи, милому
В первой год же овдоветь.

* * *

Ты, подруженька моя,
Носи коротки юбочки.
Я любила — ты отбила,
Так люби облюбочки.

* * *

Нонешни рекрутики
Ломали в поле прутики,
К огороду ставили —
По милочке оставили.

* * *

Брат, забрили, брат, забрили
Наши головы с тобой,
Друг на друга поглядели,
Покачали головой.

* * *

Дождь идет, головку мочит,
Мил любил — теперь не хочет.

* * *

Это что такое значит?
Один любит, двое плачут.

* * *

Объявилась нова мода —
Шерстяные юбки шить,
Стали ношенски девчонки
Политических любить.

ДЕТИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

Поэты, родившиеся после 1900-го
до революции 1917 года

*Над Черным морем, над белым Крымом
Летела слава России дымом.*

ВЛАДИМИР СМОЛЕНСКИЙ

Только в тюрьме дорога нам свобода.

НИКОЛАЙ КАШИН

*Я остаюсь с недосказавшими,
С недопевшими, недоигравшими.*

НИНА БЕРБЕРОВА

*Меня застрелят на границе,
Границе совести моей.*

ВАРЛАМ ШАЛАМОВ

(провел в тюрьмах и лагерях в общей сложности 17 лет)

Пусть буду я убит в проклятый день войны.

ЕВГЕНИЙ НЕЖИНЦЕВ

(был убит в сорок втором)

АДЕЛИНА АДАЛИС

1900, Петербург—1969, Москва

Псевдоним А. Е. Эфрон. Родилась в семье служащего. Окончила гимназию. В 1923-м окончила созданный В. Брюсовым Высший литературно-художественный институт. Работала в «Большой советской энциклопедии». Печататься начала с 1918 года. Первый сборник «Власть» вышел в 1934 году. Держалась в стороне от литературных баталий, и о ее политических взглядах догадаться трудно. Приводимое стихотворение — шедевр революционной романтики, преданной вместе с ее поэтами.

ПОЛУНОЧНЫЙ РАЗГОВОР

Прелесть полночи — в легком страхе.
Совхоз «Бурное» — у реки.
Вино Грузии «Карданахи»
Развязывает языки.
Затаившиеся, как дети,
Со стаканчиками в руках,
Мы сидели при малом свете
На соломенных тюфяках.
Ветер был синевато-розов
От подлунного блеска роз.
И директор куста совхозов
Станным голосом произнес:

— Вот идет и вздыхает речка,
Пахнут лавры и камыши...
Есть у каждого человечка
Потаенное дно души!
Там живут в золотом тумане,
В теплой сырости пропастей
Лишь виденья его желаний
И скрывааемых им страстей...
Хорохориться может каждый,—
Здесь, однако же, не райком! —
Исповедуемся однажды
О заветном и дорогом!..

И начальник погранохраны
Начал первым: — Есть дни тоски:
Нюют осенью мои раны,
И седеют мои виски.
О любви я просил, рыдая,
И отказом я был убит...
Эта женщина молодая

Всё мне кажется, что летит!
В нашем лагере чисто-чисто,
Раскрывается скучный вид,
Душным вечером зов горниста
Сердце юношеское томит...
Как соловушки, свищут жабы
На различные голоса,—
А у этой летящей бабы
Апельсиновая коса...
В нашем лагере кони рябы,
Пыль горячая глубока,—
А у этой летящей бабы
Светло-розовые бока...
В нашем лагере ты жила бы,
Как весенние облака!..

Он замолк и в большой печали
Стал глядеть на речной причал,
Где пустые плоты стучали...
А хозяйственник отвечал:
— Нет, не цифры и согласованья,
Не процент падежа телят
И не метод силосования
Меру жизни определяют!
То за делом я, то за склокой,
Но давно я любить привык
Голос флейты одинокой
Или скрипки легкий крик...
Помню, помню я вечер в сквере,
Весь в настурциях водоем!..
Скрипка праздничная Гварнери
Пела шубертовское «Уйдем!».
Словно праведник после смерти
На лазоревом берегу,
Был я с девушкой на концерте

И забыть ее не могу...
 ...Он в задумчивости и восторге,
 Важность медленную храня,
 Стал прогуливаться по галерке,
 А начальник спросил меня:
 — Ты, голубчик мой, видно, этим
 Излияниям страшно рад?
 О тебе дуракам и детям.
 Много всякого говорят!
 Ты не маленький — быть безгрешным:
 К черту ханжескую ложь!
 Расскажи нам о самом нежном,
 Что ты в памяти бережешь!..

Я ответил им: — Угадали!
 Отличил бы я в смертный миг
 Карданахи от Цинандали
 И красавицу — от других!
 Я не маленький — быть безгрешным —
 Перед вами я не в долгу:
 Расскажу вам о самом нежном,
 Что я в памяти берегу!..

...Шел я медленно и с оглядкой,
 И над улицами слегка,
 Словно вишнями, пахло сладкой
 Водкой мартовского ледка!..
 Вечерея, синели дали,
 Тонкий, маленький был мороз,
 Вдоль Кузнецкого продавали
 Золотые кусты мимоз.
 Помню, помню я все приметы
 Счастья, бившего через край!
 Помню экстренные газеты,
 Что южанами взят Шанхай!
 О, когда это будет снова?
 Помню, в комнату я принес
 Литр столового разливного
 И невиданный сад мимоз!
 Перечитывать бюллетени
 Трех товарищей приволок, —
 И мимоза бросала тени
 На крутящийся потолок!
 Кто подумал бы об измене?
 Бедный город мой, ты далек!
 Пусть накажет меня могила,
 Если будешь ты мной забыт!
 Как давно это счастье было!
 О, как память моя болит!..
 Так я крикнул, — и не посмею
 Повторить это никогда, —
 Опалила мне лоб и шею
 Краска медленного стыда —
 Горечь нежностей неприличных,
 Неумеренного огня!..
 Два приятеля закадычных
 Отодвинулись от меня.

Я пошел себе понемножку,
 Самого себя обругав!..

Старший выбежал на дорожку,
 Удержал меня за рукав:
 — Исповедался? Больно хваткий! —
 Прежде выслушася отца!
 Трудно высказаться, ребятки...
 Будем искренни до конца.
 О любви я просил, рыдая...
 Ходят пыльные облака!..

Летит женщина молодая
 Цвета света и молока!
 А врагов у нас есть немало,
 Ищут паспорта и угла! —
 Эта женщина приезжала
 И на койку мою легла.
 И сказала мне, как ребенку:
 — Жизнь прекрасна и коротка! —
 И я выкинул ту бабенку
 Из военного городка!..

Нам приходится в жизни круто,
 Нам знакомы и страсть, и страх, —
 Но в решающую минуту
 Мы оказываемся на постах!
 Вот любовь моя перед нами —
 От субтропиков — за тайгу!..
 На груди ношу ее знамя,
 Но болтать о ней не могу!
 Лучше стерпим любую муку,
 Чем любимую огорчим...
 Так я думаю... Дай мне руку!
 Улыбнемся и помолчим!..

И директор ожесточился:
 — Разве радости только вам?
 По разверстке я, брат, учился
 Струнной музыке и словам!
 Скрипка в комнате пировала,
 Пела девушка, стыл обед...
 На Ферганские покрывала
 Падал розовый полусвет...
 Среди сладкого помраченья
 Длилась праздничная зима!
 До случайного полученья
 Полуграмотного письма:

«В той сторонке — худая правда,
 Где распахано у реки.
 Нет ни ситца, ни леонафта,
 Запаршивели те быки.
 В том совхозе, при той природе
 Можно иначе повернуть.
 В той сторонке, в двадцатом годе,
 Ты был ранен навывлет в грудь.
 К честной гибели наготове,
 Лег на связочку ковыля, —
 Ведь на собственной твоей крови
 Та замешана вся земля!»

Ехал, ехал я в поле белом,
 В тесном тамбуре я курил,

И не помню я, что я делал,
 Что попутчиком говорил...
 Все, что думал я, забывал я,
 Била ветреная волна...
 В щеки черные целовал я
 Незнакомого чабана...
 Нам приходится в жизни круто,
 Нам знакомы и страсть, и страх,
 Но в решающую минуту
 Мы оказываемся на постах!
 Вот любовь моя перед нами —
 От субтропиков — за тайгу!..
 Я в руках несу ее знамя,
 Но болтать о ней не могу!..
 Скрытой нежностью мы согреты —
 И за ханжество не прими:
 Наши книжечки-партбилеты
 Станут дышащими людьми.
 Лучше стерпим любую муку,
 Чем любимую огорчим...
 Так я думаю... Дай мне руку!
 Улыбнемся и помолчим...

И, неловкие, лапа в лапе,—
 О, как искренность весела!
 Мы стояли при слабой лампе
 У некрашеного стола...
 И на западе, под обрывом,
 За развилкою трех дорог
 Спал в доверии молчаливом
 Наш молоденький городок.
 А под горкою, на востоке,
 Ржали лошади, выли псы,
 Спали мирные новостройки
 Пограничной полосы.
 И по стенам их, и по крышам
 Золотистый плыл туман:
 Он, казалось нам, был надышан
 Населением этих стран —
 Углекопами, рыбаками...
 И лазурная ночь текла
 Над светящимися облаками
 Человеческого тепла!..

1935

НИНА ГАГЕН-ТОРН

1900—1986

Была дочерью обрусевшего шведа, известного петербургского хирурга, при этом сама она оставила заметный след как этнограф. Ее раннее творчество озарено знакомством с Андреем Белым, на ее стихи обратила внимание Ахматова, их хвалил Пастернак. Многие годы провела в колымских лагерях. Оставила крайне субъективные, однако ценные воспоминания о годах неволи.

* * *

Горькой ягоды рябины
 Круто кисти созревают.
 Чья-то кровь падет безвинно?
 Что судьба уготовляет?
 Ходит благостная осень.
 В желтых листьях солнца много.
 Страхом наши души косит
 Непонятная тревога.
 Не углом летели гуси —
 Лавой, серые, летели.
 Смерть, как яблоко, раскусит
 Мир, что мы недоглядели.

МИХАИЛ ИСАКОВСКИЙ

1900, д. Глотовка Смоленской губ.—1973, Москва

Родился в бедняцкой крестьянской семье на Смоленщине. Начал печататься еще в 1914 году в московской газете «Новь». В 1927 году в Москве вышла книжка «Провода в соломе», одобренная Горьким. Вот что являлось главным содержанием поэзии Исаковского того периода, по определению Литературной энциклопедии 1966 года: «Еще до коллективизации Исаковский выразил стремление трудового советского крестьянства покончить с единоличным хозяйством, с трудной жизнью на собственном клочке земли». Конечно, и Исаковскому, и другим певцам молодого колхозного строя было трудно представить, что в 80-х крестьяне будут хвататься за хотя бы крошечный кусочек именно собственной земли. Но это еще в 20-х годах сумел предугадать, пожалуй, лишь Андрей Платонов. Некоторые литературные максималисты обвиняют Исаковского в нарочитой слепоте к бедам тогдашней деревни, в ярмарочной лубочности, в лакировке. Думаю, что все было гораздо сложнее. Настолько хотелось новой сказочной жизни, что казалось, если создашь ее в стихах, она

превратится в реальность. Лучшие песни Исаковского действительно стали частью реальности (как, например, знаменитая «Катюша», ставшая любимой песней не только нашего народа, но даже итальянских партизан). Моя мама пела на фронте чудесную песню на слова Исаковского «В лесу прифронтовом». Искренние стихи Исаковского о Сталине с высекающими слезы строками: «Мы так вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе», — с парадоксально высказанной правдивостью выразили трагедию народа, действительно поверившего Сталину больше, чем самому себе, чем собственному сердцу. Официальная критика всячески пыталась навести на Исаковского «хрестоматийный глянец». Однако он со свойственной ему скромностью труженика чурался славословий. Вырвавшись из той золоченой рамки, куда пытались его втиснуть, Исаковский создал классический шедевр «Враги сожгли родную хату», где от последних строк с трагической загадкой внутри безотчетно сжимается сердце.

ПРОЩАНИЕ

Дан приказ: ему — на запад,
Ей — в другую сторону...
Уходили комсомольцы
На гражданскую войну.

Уходили, расставались,
Покидая тихий край.
«Ты мне что-нибудь, родная,
На прощанье пожелай...»

И родная отвечала:
«Я желаю всей душой —
Если смерти, то — мгновенной,
Если раны, — небольшой.

А всего сильней желаю
Я тебе, товарищ мой,
Чтоб со скорою победой
Возвратился ты домой».

Он пожал подружке руку,
Глянул в девичье лицо:
«А еще тебя прошу я, —
Напиши мне письмецо».

«Но куда же напишу я?
Как я твой узнаю путь?»
«Все равно, — сказал он тихо. —
Напиши... куда-нибудь!»

1935

ВРАГИ СОЖГЛИ РОДНУЮ ХАТУ...

Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью.
Куда ж теперь идти солдату,
Кому нести печаль свою?

Пошел солдат в глубоком горе
На перекресток двух дорог,

Нашел солдат в широком поле
Травой заросший бугорок.

Стоит солдат — и словно комья
Застряли в горле у него.
Сказал солдат: «Встречай, Прасковья,
Героя — мужа своего.

Готовь для гостя угощенье,
Накрой в избе широкий стол, —
Свой день, свой праздник возвращенья
К тебе я праздновать пришел...»

Никто солдату не ответил,
Никто его не повстречал,
И только теплый летний ветер
Траву могильную качал.

Вздохнул солдат, ремень поправил,
Раскрыл мешок походный свой,
Бутылку горькую поставил
На серый камень гробовой.

«Не осуждай меня, Прасковья,
Что я пришел к тебе такой:
Хотел я выпить за здоровье,
А должен пить за упокой.

Сойдутся вновь друзья, подружки,
Но не сойтись веками нам...»
И пил солдат из медной кружки
Вино с печалью пополам.

Он пил — солдат, слуга народа,
И с болью в сердце говорил:
«Я шел к тебе четыре года,
Я три державы покорил...»

Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд,
И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.

1945

НИКОЛАЙ КАШИН

1900(?) — (?)

Читатель «Огонька» Н. Н. Веденов из Могилева направил мне записанные «на умственный мозгофон» стихи человека, с которым он познакомился в 1948 году в Ярославской пересыльной тюрьме. «Что нас обоих сближало, это всемирно прославленная цифра одной и той же статьи — 58». Стихи Н. Кашина, по его собственному определению, были дилетантские, но вот одна строчка меня поразила. Дадим возможность этому человеку — одному из многих безвинных страдальцев — остаться в антологии русской поэзии хотя бы одной строкой:

* * *

Только в тюрьме дорога нам свобода...

ДОВИД КНУТ

1900, Оргеев близ Кишинева — 1955, Тель-Авив

Настоящее имя этого поэта — Давид Миронович Фиксман; свой литературный псевдоним он взял подчеркнуто из древнееврейского языка. Он был сыном мелкого лавочника; в 1920 году переселился в Париж. Изучал химию в Канне, вместе с родственниками держал в Париже трактир, позднее зарабатывал на жизнь ручной раскраской тканей (сам же и развозил готовые вещи заказчикам). Вместе с Поплавским и Гингером основал группу «Палата поэтов». Первый его сборник «Мои тысячелетия» был одобрен Ходасевичем. Во время войны сражался во французском Сопротивлении. В 1944 году его вторая жена, Ариадна Скрябина (дочь композитора), была схвачена и убита гестаповцами; ныне ей поставлен памятник в Тулузе. После войны Кнут переселился в Тель-Авив, в 1949 году выпустил в Париже книгу своего «Избранного». Последние строчки публикуемого нами стихотворения стали истинным духовным символом еврейско-русской диаспоры.

КИШИНЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ

Я помню тусклый кишиневский вечер:
Мы огибали Инзовскую горку,
Где жил когда-то Пушкин. Жалкий холм,
Где жил курчавый низенький чиновник —
Прославленный кутила и повеса —
С горячими арапскими глазами
На некрасивом и живом лице.
За пыльной, хмурой, мертвой Азиатской,
Вдоль жестких стен Родильного Приюта,
Несли на палках мертвого еврея.
Под траурным несвежим покрывалом
Костлявые виднелись очертанья
Обглоданного жизнью человека.
Обглоданного, видимо, настолько,
Что после нечем было поживиться
Худым червям еврейского кладбища.

За стариками, несшими носилки,
Шли кучкою глазастые евреи.
От их заплесневелых лапсердаков
Шел сложный запах святости и рока,
Еврейский запах — нищеты и пота,
Селедки, моли, жареного лука,
Священных книг, пеленок, синагоги.
Большая скорбь им веселила сердце,
И шли они неслышною походкой,
Покорной, легкой, мерной и неспешной,
Как будто шли они за трупом годы,
Как будто нет их шествию начала,
Как будто нет ему конца... Походкой
Сионских — кишиневских — мудрецов.

Пред ними — за печальным черным грузом
Шла женщина, и в пыльном полумраке
Не видно было нам ее лицо.

Но как прекрасен был ее высокий голос!

Под стук шагов, под слабое шуршанье
Опавших листьев, мусора, под кашель
Лилась еще неслыханная песнь.
В ней были слезы сладкого смирения
И преданность предвечной воле Божьей,
В ней был восторг покорности и страха...

О, как прекрасен был высокий голос!

Не о худом еврее, на носилках
Подпрыгивавшем, пел он — обо мне,
О нас, о всех, о суете, о прахе,
О старости, о горести, о страхе,
О жалости, тщете, недоумении,
О глазках умирающих детей...

Еврейка шла почти не спотыкаясь,
И каждый раз, когда жестокий камень
Подбрасывал на палках труп, она
Бросалась с криком на него — и голос
Вдруг ширился, крепчал, звучал металлом,
Торжественно гудел угрозой Богу
И веселел от яростных проклятий.
И женщина грозила кулаками
Тому, кто плыл в зеленоватом небе,
Над пыльными деревьями, над трупом,
Над крышею Родильного Приюта,
Над жесткою, корявою землей.

Но вот пугалась женщина себя
И била в грудь себя, и леденела
И каялась надрывно и протяжно,
Испуганно хвалила Божью волю,
Кричала иступленно о прощеньи,
О вере, о смирении, о вере,
Шарахалась и ежилась к земле
Под тяжестью невыносимых глаз,
Глядевших с неба скорбно и сурово.

Что было? Вечер, тишь, забор, звезда,
Большая пыль... Мои стихи в «Курьере»,
Доверчивая гимназистка Оля,

Простой обряд еврейских похорон
И женщина из Книги Бытия.

Но никогда не передам словами
Того, что реяло над Азиатской,
Над фонарями городских окраин,
Над смехом, затаенным в подворотнях,
Над удалью неведомой гитары,
Бог знает где рокошущей, над лаем
Тоскующих рышкановских собак.

...Особенный, еврейско-русский воздух...
Блажен, кто им когда-либо дышал.

АЛЕКСАНДР КОЧЕТКОВ

1900—1953

Автор «Баллады о прокуренном вагоне» — одного из самых знаменитых стихотворений в русской поэзии XX века. Это стихотворение звучало и звучит со многих эстрад, его поют под гитару. История, описанная в «Балладе», — не выдуманная и произошла в 1932 году, когда автора сочли погибшим при крушении сочинского поезда на станции Москва-товарная. Кочеткова спасло то, что в последнюю минуту он продал билет и задержался в Ставрополе. Впервые баллада была напечатана в 1966 году, хотя в списках ходила еще в 30-е годы. Рефрен дал название известной пьесе А. Володина «С любимыми не расставайтесь». Кочетков много переводил, писал пьесы.

БАЛЛАДА О ПРОКУРЕННОМ ВАГОНЕ

Как больно, милая, как странно,
Сроднясь в земле, сплетясь ветвями,—
Как больно, милая, как странно
Раздваиваться под пилой.
Не зарастет на сердце рана,
Прольется чистыми слезами.
Не зарастет на сердце рана —
Прольется пламенной смолой.

— Пока жива, с тобой я буду —
Душа и кровь неразделимы,—
Пока жива, с тобой я буду —
Любовь и смерть всегда вдвоем.
Ты понесешь с собой, любимый,—
Ты понесешь с собой повсюду,
Ты понесешь с собой повсюду
Родную землю, милый дом.

— Но если мне укрыться нечем
От жалости неисцелимой,
Но если мне укрыться нечем
От холода и темноты?
— За расставаньем будет встреча,
Не забывая меня, любимый,
За расставаньем будет встреча,
Вернемся оба — я и ты.

— Но если я безвестно кану —
Короткий свет луча дневного,—
Но если я безвестно кану
За звездный пояс, млечный дым?

— Я за тебя молиться стану,
Чтоб не забыл пути земного,
Я за тебя молиться стану,
Чтоб ты вернулся невредим.

Трясаясь в прокуренном вагоне,
Он стал бездомным и смиренным,
Трясаясь в прокуренном вагоне,
Он полуплакал, полуспал,
Когда состав на скользком склоне
Вдруг изогнулся страшным креном,
Когда состав на скользком склоне
От рельс колеса оторвал.

Нечеловеческая сила,
В одной давяльне всех калеча,
Нечеловеческая сила
Земное сбросила с земли.
И никого не защитила
Вдали обещанная встреча,
И никого не защитила
Рука, зовущая вдали.

С любимыми не расставайтесь,
С любимыми не расставайтесь,
С любимыми не расставайтесь,
Всею кровью прорастайте в них —
И каждый раз навек прощайтесь!
И каждый раз навек прощайтесь!
И каждый раз навек прощайтесь!
Когда уходите на миг.

1935

ПАВЕЛ ЛУКНИЦКИЙ**1900, Петербург — 1973, Москва**

Более известен как прозаик, а также исследователь творчества Гумилева. Автор дневниковых записей бесед с Ахматовой. Между тем начинал как весьма талантливый поэт, о чем свидетельствуют эти крепкие, энергичные стихи, выбранные из его первых книг — «Волчец» и «Переход». В приводимом нами стихотворении есть трагический отблеск пророчества.

* * *

Кнопка. И пальца прикосновенье.
Разинуты рты. Дышать тяжело.
И сто километров — одно мгновенье.
И пол-океана вулканом взмело.

Так будет, когда дослушают страны
Горбатых физиков разговор...
Но успокойся! Пока еще рано
В их детских глазах читать приговор!

1928

СУСАННА МАР**1900, Ростов-на-Дону — 1965, Москва**

Я еще застал ее в живых, строгую, чопорную, известную переводчицу. Трудно было представить в ее суровом облике прежнюю поэтическую мятежницу — подругу Анатолия Мариенгофа. Приводимое мной стихотворение взято из раннего сборника.

* * *

Осушить бы всю жизнь, Анатолий,
За здоровье твое, как бокал,
Помню душные дни, не за то ли,
Что взлетели они словно сокол.

Так звенели Москва, Богословский
Обугленный вечер, вчера еще...
Сегодня перила скользкие —
Последняя соломинка утопающего.

Ветер, закружившийся на воле,
Натянул как струны провода.
Вспоминать ли ласковую наволку
В деревянных душных поездах?

Только дни навсегда потеряны,
Словно скошены травы ресниц,
Наверное, так дерево
Роняет последний лист.

Август, 1921

В. ОВЧИННИКОВ**1900(?) — (?)**

Стихотворение взято из книжки, изданной Институтом гражданских инженеров в Петрограде в 1922 году. Тираж — 1000 экземпляров. Это крошечное стихотворение рисует выразительную картину разрухи после гражданской войны. Одна из драгоценных крошек запечатленной истории.

УЛИЦА

Уплывает вдаль разрытая панель.
Две девицы, поп и серая шинель.
...Магазин Пепо, убогий ресторан,
Незализанные язвы старых ран,
Перекошенность беспетленных дверей,
Вереницы безработных фонарей,
Подозрительно задумавшийся крен
Облетелых и потрескавшихся стен
Вместе с хлопаньем оторванной доски
Создают ансамбль погрома и тоски.

1922

АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВ

1900, с. Кобона на Ладожском озере—1971, Ленинград

Родился в ладожской рыбацкой деревне, участник гражданской войны. Лучшими стихами Прокофьева были не его риторические декларации в стиле а-ля рюс, а выросшие на благодатной почве северного фольклора народные озорные стихи, похожие то ли на уличные припевки, то ли на ладожские буйные волны, по-океански разгулявшиеся под ветром. От рождения талантливый поэт, берущий стихийной силой («Тырли-бутырли, дуй тебя горой», «Враги прокричали — амба! Полундра! — сказали мы»). К сожалению, бывший литературный задира, кореш Бориса Корнилова, став руководителем Ленинградской писательской организации, оставил о себе далеко не лучшую память, неоднократно выступая против достойных писателей.

РАЗВЕРНИСЬ, ГАРМОНИКА...

Развернись, гармоника, по столику,
Я тебя, как песню, подниму.
Выходила тоненькая-тоненькая,
Тоней называлась потому.
На деревне ничего не слышно,
А на слободе моей родной
Легкий ветер на дорогу вышел
И не поздоровался со мной.
И твоею лаской зачарован,
Он, что целый день не затихал,
Крыльями простуженных черемух
Издали любимой замахал,
Ночь кричала запахами сена,
В полушалок кутала лицо,
И звезда, как ласточка, присела
На мое широкое крыльцо.
А березки белые в истоме
В пляс пошли — на диво нам.
Ай да Тоня, ай да Тоня,
Антонина Климовна!

1928

ПАРНИ

Товарищ, издевкой меня не позорь
За ветер шелонник, за ярусы зорь.

Тяжелый шелонник не бросит гулять.
Тяжелые парни идут на Оять.

Одежа на ять и щиблеты на ять,
Фартовые парни идут на Оять.

Трешкоты и соймы на верных реках,
И песня-путевка лежит на руках.

В ней ветер и ночь — понятые с полей,
Несчастные крылья свиристелей.

В ней целая волость зажата в кольце,
В ней парни танцуют кадрили и ланце.

Парнишки танцуют, парнишки поют,
К смазливym девчонкам пристают:

«Ох ты, ох ты, рядом с Охтой
Приютский перебой,
Кашемировая кофта,
Полушалок голубой».

Гармоника играет, гармоника поет,
Товарищ товарищу руки не подает.

Из-за какого звона такой пробел?
Отлетный мальчишка совсем заробел.

И он спросил другого:
«Товарищ, коё ж,
Что ж ты мне, товарищ, руки не подаешь?»

Али ты, товарищ, сердцем сив,
По какому случаю сердисьси?»

Другой — дорогой головой покачал
И первому товарищу так отвечал:

«Гармоники играют, гармоники поют,
А я тебе, товарищ, руки не подаю.

Братану крестовому руки не подаю
За Женьку фартовую, милку мою.

Лучше б ты, бродяга, в Америке жил,
Лучше б ты, братенник, со мной не дружил.

Вовек не дружил, не гулял, не форсил,
Травы в заповедных лугах не косил.

Окончена дружба в злосчастном краю
За Женьку веселую, милку мою».

Ой, может, не след бы другим говорить,
Как бросили парни дружбу дарить.

Но как не сказать, коль гармоника поет:
Товарищ товарищу руки не подает.

1930

НЕВЕСТА

По улице полдень, летя напролом,
Бьет черствую землю зеленым крылом.
На улице, лет молодых не тая,
Вся в бусах, вся в лентах — невеста моя.
Пред нею долины поют соловьем,
За нею гармоники плачут вдвоем.
И я говорю ей: «В нарядной стране

Серебряной мойвой ты кажешься мне.
 Направо взгляни и налево взгляни:
 В зеленых кафтанах выходят линии,
 Ты видишь линия иль не видишь линия?
 Ты любишь меня иль не любишь меня?»
 И слышу по чести ответ не прямой:
 «Подруги, пора собираться домой,
 А то стороной по камням-валунам
 Косые дожди приближаются к нам».
 «Червонная краля, постой, подожди,
 Откуда при ясной погоде дожди?
 Откуда быть буре, коль ветер — хромоу?»
 И снова: «Подруги, пойдёмте домой.
 Оратор сегодня действительно прав:
 Бесчинствует солнце у всех переправ;
 От близко раскиданных солнечных вех
 Погаснут дареные ленты навек».
 «Постой, молодая, постой, — говорю, —

Я новые ленты тебе подарю.
 Подругам на зависть, тебе на почет.
 Их солнце не гасит и дождь не сечет.
 Что стало с тобою? Никак не пойму.
 Ну, хочешь, при людях тебя обниму?..»
 Тогда отвечает, как деверю, мне:
 «Ты сокол сверхъясный в нарядной стране.
 Полями, лесами до огненных звезд
 Лететь тебе, сокол, на тысячу верст!
 Земля наши судьбы шутя развела.
 Ты сокол, а я дожидаю орла!
 Он выведет песню, как конюх коня,
 Без спросу при людях обнимет меня.
 При людях, при солнце, у всех на виду».
 ...Гармоники смолкли, почуяв беду.
 И я, отступая на прах медуниц,
 Кричу, чтоб «Разлуку» играл гармонист.

1934

Н. РЭМ

Ок. 1900 — (?)

Представитель «биокосмизма», одного из поэтических течений, на короткое время возникших в начале 20-х годов. Отдельной книги стихотворений, насколько известно, не выпустил. Публикуемое взято из сборника «Биокосмисты десять штук». Один из предтеч нынешней «чернухи».

БЛЕВОК

Рыгнем с восторгом лошадиным
 На вашу сыть, на вашу стать!
 Ужель восторженным кретином —
 Вселенную не заблевать?
 Вы веселитесь беззаботно,
 И так проходит день за днем;
 А мы на мирзираем рвотно,
 А завтра — завтра мы блевнем!
 Да, мир прекрасней всех полотен!
 Всех Тицианов и Анджел,
 Когда жемчужиной блевотин
 Он ограненно прозвенел!
 Пускай стоит земля нагая,
 Роняя менструаций след,
 Когда, икая и рыгая,
 Рожает истину поэт.
 Пути свершений всем отлоги,
 А быту — за верстой верста,
 Но физиология физиологий —
 Заднепроходная мечта!

Прислушайтесь к собратьев лаю,
 К их плеску в водах вешних луж.
 Я на прямой кишке сыграю
 Себе и солнцу бодрый туш!
 Лишь мне дано свершений хлебы
 Всем разделить, восстав от сна —
 Я десять лет уж в бане не был
 И — ароматен, как весна!
 Погрязнуть мне ль в событий хламе?
 Иль брызнуть в мир мечты струю? —
 — Живу, как все, блюю стихами
 И даже вообще блюю.
 Живу здоров и беззаботен,
 Вонзивши в быт мечты маяк.
 В водовороте всех блевотин
 Всегда первейшая — моя!
 Гляжу с восторгом лошадиным
 На нашу сыть, на нашу стать —
 — Ужель подобным исполинам
 Вселенную не заблевать!

АЛЕКСАНДР СВЯТОГОР

1900(?) — (?)

Сведений о нем раздобыть не удалось. А вот вопрос «В какую дудку дуть?» до сих пор для многих — это их «Что делать?»

«В КАКУЮ ДУДКУ?»

Кто сердцем благ и вовремя пробит,
Кто общему харчевней пьян и сыт,
Кто в общую дудит успешно дудку, —
Тем хорошо: и духу, и желудку.
Во мне же коробится иная складка.
Так поперек пути торчит рожон,
Так в прорванной чулок маячит пятка,
Так пляс преступен в миги похорон.
Так в прорванной чулок маячит пятка,
Так пляс преступен в миги похорон.
Мне не чужды, о братья, ваши сферы,
Но ваш канон в мое не входит дно.
И лик Христа, и лик слепой Холеры
В моей Божнице я женил в одно.
Глазам Христа и образу Холеры
Одна лампада и один псалтырь.
Молюсь на брюхе, подло лицемеря,

Как Бес, пролезший в Бабий монастырь.
Моя божница — новобрачных ложе.
Глядите, Братья, как в огне лампад
Холера корчит сладострастно рожу,
В глаза Христа любви вгнетая чад.
Глядите, братья, мигов слишком мало.
Любовница ли утолит уста?
Ночь первая любви последней стала —
Проколет ужас очи у Христа.
Что делать мне? Какой свершить поступок?
А сердце стынет. И такая жуть.
Холера Блуд свершает с божьим трупом.
Скажите мне: в какую дудку дуть?

1922

НИНА СНЕСАРЕВА-КАЗАКОВА

1900(?) — (?)

Стихотворение взято из сборника «Тебе — Россия» — второй книги стихов поэтессы, выпущенной в 1929 году в Праге.

* * *

Безумные юродством во Христе,
Мы — русские, у нас сердца простые...
Мы — нищие, богаты в нищете,
Мы — пленники, свободные везде,
Мы — грешники, раскаяньем святые...
У нас не так, совсем не так в России:
И Бог не тот, и небеса не те!

АРСЕНИЙ СТЕМПКОВСКИЙ

1900—1987

Художник и изобретатель, сочинял почти исключительно поэтические миниатюры; хотя им далеко до строф Губермана и тем более Глазкова, но Божья искра в них была. С 1940 по 1954 год большую часть времени провел в тюрьмах и лагерях, откуда вышел полным инвалидом. Впрочем, в 1960 году реабилитирован — прижизненно!

ФОН

Только с мухи и клопа
Не берут налога.
Тюрьмы, ссылки, лагеря —
Всем у нас дорога...

1940

АЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВСКИЙ

1900, Одесса — 1928(?)

Редактор газеты «Бессмертие» — органа Северной группы комитета поэзии биокосмистов-иммортиалистов. Автор романа «Аргонавты вселенной». В 1928 году арестован и бесследно исчез. Приводимая поэма имеет лишь относительное художественное значение. Однако она показывает, насколько были «мозги набекрень» у части интеллигенции, поддавшейся на окровавленную приманку из убиенной мечты Кампанеллы. Срезая кровавый нарост, рука диктатуры срезала прежде всего интеллигенцию.

ПОЭМА АНАБИОЗА

1922 г.

Комитет поэзии Биокосмистов-иммортиалистов
(Северная группа) Петроград
(фрагменты)

I

Синей небесной угрозе
Нашу ли мощь расплескать?
Завтра весь мир заморозят —
Анабиоза войска,
Холода львиная доза
Губавит от глупых задир,
Челюсти Анабиоза
Завтра захлопнут мир.

II

Так как же быть, когда слепое стадо,
Как глины ком, мешает мир вознести,
Ужель убить его и в тьму отбросить надо —
Чтоб смог весь мир истомно расцвести?!

Нет, мы не можем в тьму
Человечью гурьбу — коленом!
Вовек не понять никому,
Что дано совершить на земле нам!

Каждый живущий свят,
Если даже он глуп бесконечно,—
На жизнь выдает мандат —
Вольнолюбивая вечность.

Но нам мешают все,
И в дней бегущих смене —
Не только короли огаженной земли,
Но даже ты, безумец мудрый,— Ленин!

Как можем завтра мы
Начать величье строить
На тушах государств, религий и церквей,—
Когда изъязвлены мещанства серым гноем
Сердца тупых и загнанных людей?!

И если мы начнем — безликая громада,
За темными бессмысленно взметаясь,
Уткнется рылом в мировую грязь —
И скажет нам озлобленно:— Не надо!

III

И вот затем, чтоб никого не убить,—
Заморозим весь мир в государств буржуазной
казарме,
Это — проще и легче, чем в кровавый комок
превратить
Десятки и сотни живых человеческих армий.
Дружеская рука Анабиоза
Великолепна в гуманитарной роли!
Из сердца человечества заноза
Вынимается легко и без боли.

IV

Эй, бессмертья дети,
Приходите на помощь к нам!
Мы, операторы столетий,—
— Подобны вселенским врачам.

От Нью-Йорка до Петербурга —
— Величья единый мост,
Осторожная рука хирурга
Срежет кровавый нарост.

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР

1900(?)—(?)

По одним сведениям, это Баскин-Серединский, поэт середины 20-х годов, по другим — одесский поэт Абрам Штейнберг (не путать с включенным в антологию Аркадием Штейнбергом), по третьим — Борис Фиолетов, умерший в 1918 году.

Взгляни на пропасть перейденный —
Его невидимо во мгле.
Семен Михайлович Буденный
Скачйт на рыжем кобыле!

О, женщина! Она погубит многих,
Мужчинам всем пришел конец.
Она закидывает ноги,
Как взбесившийся жеребец!

* * *

Если хочешь сил моральных
И физических сберечь,
Пейте соков натуральных —
Укрепляет грудь и плеч!

ВЛАДИМИР АГАТОВ

1901, Киев—1966

Автор двух знаменитейших во время войны песен из кинофильма «Два бойца», где играли такие блистательные актеры, как Марк Бернес и Борис Андреев. Бернес, исполнявший роль одессита Аркадия Дзюбина, виртуозно спел стилизацию Агатова «Шаланды, полные кефали». Фильм «Два бойца» я смотрел в своем детстве на станции Зима, наверное, раз двадцать. Эта лукавая озорная песня была неожиданным подарком судьбы среди крови, голода, разрухи. В конце жизни Агатов опубликовал грубый пасквиль на А. Д. Синявского. Жаль...

* * *

Шаланды, полные кефали,
в Одессу Костя приводил,
и все биндюжники вставали,
когда в пивную он входил.
Я вам не скажу за всю Одессу —
вся Одесса очень велика,
но и Молдаванка, и Пересыпь
уважает Костю-моряка.
Рыбачка Соня как-то в мае,
направив к берегу баркас,
ему сказала: «Я вас знаю,
но так вас вижу в первый раз».
Тогда, достав «Казбеку» пачку,
сказал ей Костя с холодком:

«Вы — интересная чудачка,
но дело, видите, не в том...»
Фонтан черемухой покрылся.
Бульвар Французский весь в цвету.
«Наш Костя, кажется,
влюбился...» —
кричали грузчики в порту.
Об этой новости неделю
в порту шумели рыбаки.
На свадьбу грузчики надели
со страшным скрипом башмаки.
Я вам не скажу за всю Одессу —
вся Одесса очень велика.
День и ночь гуляла вся Пересыпь
на веселой свадьбе моряка.

АННА БАРКОВА

1901, Иваново-Вознесенск — 1976, Москва

Свой первый сборник «Женщина» Анна Баркова выпустила в 1922 году, и предисловие к нему написал нарком Луначарский. С 1934 по 1965 год трижды была репрессирована, провела в заключении 25 лет. Рукописи ее поздних стихов сохранили подруги по заключению; в 1990 году в родном городе вышел далеко не полный сборник ее стихотворений «Возвращение». Среди сотен поэтов-лагерников Баркова выделяется не одной лишь своей несломленностью, — но и мощью дарования.

СТАРУХА

Нависла туча окаянная,
Что будет — град или гроза?
И вижу я старуху странную,
Древнее древности глаза.

И поступь у нее бесцельная,
В руке убогая клюка.
Большая? Может быть, похмельная?
Безумная наверняка.

Дороги все мои исхожены,
А счастья не было нигде.
В огне горела, заморожена,
В крови тонула и в воде.

Платьишко все на мне истертое,
И в гроб мне нечего надеть.
Уже давно блуждаю мертвая,
Да только некому отпеть.

1952

БЛАГОПОЛУЧИЕ РАБА

— Куда ты, бабушка, направилась?
Начнется буря — не стерпеть.
— Жду панихиды. Я преставилась,
Да только некому отпеть.

И вот благополучие раба:
Каморочка для пасквильных писаний.
Три человека в ней. Свистит труба
Метельным астматическим дыханьем.

Чего ждет раб? Пропало все давно,
И мысль его ложится проституткой
В казенную постель. Все, все равно.
Но иногда становится так жутко...

И любит человек с двойной душой.
И ждет в свою каморку человека,
В рабочую каморку. Стол большой.
Дверь на крючке, замок — полукалека...

И каждый шаг постыдный так тяжел,
И гнусность в сердце углубляет корни.
Пережила я много всяких зол,
Но это зло всех злее и позорней.

1954

ТОСКА ТАТАРСКАЯ

Волжская тоска моя, татарская,
Давняя и древняя тоска,
Доля моя нищая и царская,
Степь, ковыль, бегущие века.

По соленой Казахстанской степи
Шла я с непокрытой головой.
Жаждающей травы предсмертный лепет,
Ветра и волков угрюмый вой.

Так идти без дум и без боязни,
Без пути, на волчьих на огни,
К торжеству, позору или казни,
Тратя силы, не считая дни.

Позади колючая преграда,
Выцветший, когда-то красный флаг,
Впереди — погибель, месть, награда,
Солнце или дикий гневный мрак.

Гневный мрак, пылающий кострами,
То горят большие города,
Захлебнувшиеся в гнойном сраме,
В муках подневольного труда.

Все сторит, все пеплом поразеется.
Отчего ж так больно мне дышать?
Крепко ты сроднилась с европейцами,
Темная татарская душа.

1954

* * *

Загон для человеческой скотины.
Сюда вошел — не торопись назад.
Здесь комнат нет. Убогие кабины.
На нарах брюки. На плечах — бушлат.

И воровская судорога встречи,
Случайной встречи, где-то там, в снях.
Без слова, без любви.

К чему здесь речи?
Осудит лишь скопец или монах.

На вахте есть кабина для свиданий,
С циничной шуткой ставят там кровать;
Здесь арестантке, бедному созданию,
Позволено с законным мужем спать.

Страна святого пафоса и стройки,
Возможно ли страшней и проще пасть —
Возможно ли на этой подлой койке
Растлить навек супружескую страсть!

Под хохот, улюлюканье и свисты,
По разрешенью злого подлеца...
Нет, лучше, лучше откровенный выстрел,
Так честно пробивающий сердца.

1955

* * *

Опять казарменное платье,
Казенный показной уют,
Опять казенные кровати —
Для умирающих приют.

Меня и после наказания,
Как видно, наказание ждет.
Поймешь ли ты мои терзанья
У неоткрывшихся ворот?

Расплющило и в грязь вдавило
Меня тупое колесо...
Сидеть бы в кабаке унылом
Алкоголичкой Пикассо...

17 сентября 1955

НИНА БЕРБЕРОВА

1901, Петербург — 1993, Филадельфия

В начале 20-х ее стихи были замечены в литературных салонах Петрограда. В 1922 году вместе с Ходасевичем покинула Россию. Сначала они жили в Берлине, у Горького в Италии, а потом обосновались в Париже, где разошлись в 1932 году. Берберова 15 лет работала в газете «Последние новости», напечатала несколько романов. Наиболее удачной была книга «Чайковский» (1936). В 1950 году переселилась в США и занялась преподавательской работой. Слава пришла к ней на семьдесят втором году жизни, когда она опубликовала на русском автобиографическую книгу «Курсив мой», вызвавшую в эмигрантских кругах реакцию самую противоречивую, а в СССР ставшую объектом книжного черного рынка. Сенсационной стала новая книга Берберовой «Железная женщина» (1981) об авантюрной жизни М. Закревской-Бенкендорф-Будберг, которая сначала была любовницей Горького, а затем женой Герберта Уэллса, к тому же ухитряясь выполнять обязанности Мата

Хари. В 1988 году Берберова приехала с недолгим, но триумфальным визитом в СССР, где убедилась, что стала знаменитой на Родине. Она счастливо нашла в себе силы сфокусировать свой жизненный опыт в драгоценных воспоминаниях. Жизнь каждого человека по-своему уникальна. Но далеко не всем удается, чтобы их воспоминания стали тоже уникальны.

Я ОСТАЮСЬ

Я остаюсь с недосказавшими,
С недопевшими, с недоигравшими,
С недописавшими. В тайном обществе,
В тихом сообществе недоуспевших.
Которые жили в листах шелестевших
И шепотом нынче говорят.
Хоть в юности нас и предупреждали,
Но мы другой судьбы не хотели,
И, в общем, не так уже было скверно;
И даже бывает — нам верят на слово
Дохохотавшие, доплясавшие.

Мы не удались, как не удалось многое,
Например — вся мировая история
И, как я слышала, сама вселенная.
Но как мы шуршали, носясь по ветру!
О чем? Да разве это существенно?
Багаж давно украли на станции
(Так нам сказали) и книги сожгли
(Так нас учили), река обмелела,
Вырублен лес, и дом сгорел,
И затянулся чертополохом
Могильный холм (так нам писали),
А старый сторож давно не у дел.
Не отрывайте формы от содержания
И позвольте еще сказать на прощание,
Что мы примирились с нашей судьбой,
А вы продолжайте бодрым маршем
Шагать повзводно, козыряя старшим.

1959

* * *

Раздался вдруг голодный клекот,
И я по облакам пошла
Не ангела, не человека
Кормить, — Зевесова орла.

Он не был Вороном поэта,
Он не юлил, как над прудом
Юлили Ласточки у Фета,
У Ходасевича потом;

Он не терзал воображенье,
Как Жаворонок (у меня),
Его ползучие движенья,
И глаз без мысли и огня,

И с причитаньем схожий клекот,
И дрожь подбитого крыла, —
Вот что от тютчевского века
Осталось у того орла!

Не расшифровывайте строчки,
Прочтите их. Они — мои.
И вам не надо ставить точки
На эти взвизгнувшие и.

1975

* * *

Как лицо без носа,
Так нация без столицы.
Не задавайте вопроса,
Ответа не предвидится.

Раз-два-три,
Нос утри!

Бомбили долго.
Чтоб было прилично
И симметрично
Оставили один дом на сто.

Этот стоит — черный, сквозной,
Внутри сыро и мрачно,
А кругом — коробки
Розовые и голубые.

У другого отстрелили балкон,
От кариатиды осталось колено.
— Скажите, а хрящ удален?
— Почему рот зашит влево?

Морген фри,
Нос утри,
Отстрелили две ноздри!

1977

* * *

В зоологическом
Трагическом саду
Каждый второй — хромает с палкой,
Каждый пятый — сидит в колясочке,
Напевает немецкую песенку:

«Вы катитесь, колесики, по дороженькам,
Я давно сказал прости — прощай своим
ноженькам,
С той поры, как лежал под Орлом
В сугробе голубом,
Тому тридцать лет и три года.

А зовут меня Илья-Муромец,
Протезы у меня американские,
Челюсти — швейцарские,

Слуховой аппарат — французский,
А стеклянный глаз — английский.

Но память у меня русская:
Голубой сугроб,
Да чужой сапог,
Но милостив Бог:
Не в висок, а в лоб».

1977, Берлин

* * *

Орлы и бабочки (и кое-что другое)
Еще живут. Оставим их в покое.
И облака. Их тоже не тревожь.
Пусть будут ты да я, два зонтика и дождь.
А если все сломать, то ничего не будет,
И так уж многое внутри сломали люди.

1983

Г. ЛЕЛЕВИЧ

1901, Могилев — 1937

Псевдоним Лабори Калмансона. Участник революции и гражданской войны. Профессиональный партработник. Редактор журнала «На посту», занимавшего позиции «воинствующей пролетарской партийности», один из наиболее ортодоксальных руководителей ВААП. Так описывал штурм Зимнего: «Присев в сторонке на кушетке, обдумывает сложный план, как волк, бессильный в прочной клетке, трепещущий и бледный Дан... А рядом, львиною прической к стеклу оконному склонясь, в минутном обмороке Троцкий, три ночи не смыкавший глаз». Почти пародия. А писалось-то это, видимо, с революционным романтическим трепетом. Потом, наверно, было немало страхов, что воспевание Троцкого припомнят... Непросто было догадаться — кого можно романтизировать, кого нет. А вот, например, «Повесть о комбриге Иванове». Что это? Романтика или замаскированная издевка? Читателю остается только догадываться. Но вполне возможно, что романтика, изжившая саму себя, невольно становилась самопародией...

ПОВЕСТЬ О КОМБРИГЕ ИВАНОВЕ (фрагменты)

II

.....
Комбриг, товарищ Иванов,
На зиму стал в квартире знатной.
Кровать с периной, вдоволь дров,
И на столе — альбом занятный.

Хозяин, пухлый, круглый поп,
Хотя сторонкой и ругался,
Но лишь комбрига встретит — стоп! —
Мгновенно в три дуги сгибался.

Закусит — поп несет запить,
Умылся — с полотенцем мчится
И нежно просит защитить
Его добро от реквизиций.

Комбриг в ответ ему сопел,
А сам порой совсем не гневно
На дочь поповскую глядел —
Олимпиаду Алексевну.

И впрямь девицей хоть куда
Была задорная поповна,—

Умна, красива, молода.
Как избежать тут дел греховных?

Сперва наш доблестный комбриг
По вечерам за чашкой чая
О разных схватках боевых
Рассказывал не умолкая.

Потом ей книжки стал давать...
И вот Бухарин и Богданов
Поповну стали увлекать
Сильней чувствительных романов.

Попа ж совсем бросает в жар,
Когда холодной зимней ночью
Комбриг вздувает самовар
В прихожей темной с милой дочкой.

Комбриг, смотри! Сильнее дуй,
Иль пропадет твой труд задаром...
Как сладок первый поцелуй
Над нераздутым самоваром!

.....
Сентябрь, 1922

Большим перемолвиться словом,
Покрепче подругу обнять.

— Ты что впереди увидела?
— Заснеженный черный перрон,
Тревожные своды вокзала,
Курсантский ночной эшелон.

Заветная ляжет дорога
На юг и на север — вперед.
Тревога, тревога, тревога!
Россия курсантов зовет.

Навек улыбаются губы
Навстречу любви и зиме.
Поют беспечальные трубы,
Литавры гудят в полутьме.

На хорах — декабрьское небо,
Портретный и рамочный хлам;
Четвертку колючего хлеба
Поделим с тобой пополам.

И шелест потертого банта
Навеки уносится прочь —
Курсанты, курсанты, курсанты,
Встречайте прощальную ночь!

Пока не качнулась манерка,
Пока не сыграли поход,
Гремит курсовая венгерка...
Идет —
 девятнадцатый год.

1939

АЛАЙСКИЙ РЫНОК

Три дня сижу я на Алайском рынке,
На каменной приступочке у двери
В какую-то холодную артель.
Мне, собственно, здесь ничего не нужно,
Мне это место так же ненавистно,
Как всякое другое место в мире,
И даже есть хорошая приятность
От голосов и выкриков базарных,
От беготни и толкотни унылой...
Здесь столько горя, что оно ничтожно,
Здесь столько масла, что оно всеильно.
Молочнолицый, толстобрюхий мальчик
Спокойно умирает на виду.
Идут верблюды с тощими горбами,
Стрекочат белорусские еврейки,
Узбеки разговаривают тихо.
О, сонный разворот ташкентских дней!..
Эвакуация, поляки в желтых бутсах,
Ночной приезд военных академий,
Трагические сводки по утрам,
Плеск арыков и тополиный лепет,
Тепло, тепло, усталое тепло...

Я пьян с утра, а может быть, и раньше...
Пошли дожди, и очень равнодушно
Сырая глина со стены сползает.
Во мне, как танцовщица, пляшет злоба,
То ручкою взмахнет, то дрыгнет ножкой,
То улыбнется темному портрету
В широких дырах удивленных ртов.
В балетной юбочке она светло порхает,
А скрипочки под палочкой поют.
Какое счастье на Алайском рынке!
Сидишь, сидишь и смотришь ненасытно
На горемычные пустые лица
С тяжелой ненавистью и тревогой,
На сумочки московских маникюрш.
Отребье это всем теперь известно,
Но с первозданной юной, свежей силой
Оно входило в сердце, как истома.

Подайте, ради бога.

Я сижу

На маленьких ступеньках.

Понемногу

Рождается холодный, хищный привкус
Циничной этой дребедени.

Я,

Как флюгерок, вращаюсь.

Я канючу.

Я радуюсь, печалюсь, возвращаюсь
К старинным темам лжи и подхалимства
И поднимаюсь, как орел тянь-шаньский,
В большие области снегов и ледников,
Откуда есть одно движение вниз,
На юг, на Индию, через Памир.

Вот я сижу, слюнявлю черный палец,
Поигрываю пуговицей черной,
Так, никчemuшник, вроде отщепенца.
А над Алтайским мартовским базаром
Царит холодный золотой простор.
Сижу на камне, мерно отгибаюсь.
Холодное, пустое красноречье
Во мне еще играет, как бывало.
Тоскливый полдень.

Кубометры свеклы,

Коричневые голые лодыжки
И запах перца, сна и нечистот.
Мне тоже спать бы, сон увидеть крепкий,
Вторую жизнь и третью жизнь,— и после,
Над шорохом морковок остроносых,
Над непонятной круглой песней лука
Сказать о том, что я хочу покоя,—
Лишь отдыха, лишь маленького счастья
Сидеть, откинувшись, лишь нетерпенья
Скорей покончить с этими рябыми
Дневными спекулянтами.

А ночью

Поднимутся ночные спекулянты,
И так опять все сызнова пойдет,—
Прыщавый мир кустарного соседа
Со всеми примусами, с поволокой
Очей жены и пяточками деток,

Которые играют тут, вот тут,
На каменных ступеньках возле дома.

Здесь я сижу. Здесь царство проходимца.
Три дня я пил и пировал в шашлычных,
И лейтенанты, глядя на червивый
Изгиб бровей, на орден — «Знак Почета»,
На желтый галстук, светлый дар Парижа, —
Мне подавали кружки с темным зельем,
Шумели, надрываясь, тосковали
И вспоминали: неужели он
Когда-то выступал в армейских клубах,
В ночных ДК — какой, однако, случай!
По русскому обычаю большому,
Пройдце нужно дать слепую кружку
И поддержать за локоть: «Помню вас...»
Я тоже помнил вас, я поднимался,
Как дым от трубки, на широкой сцене.
Махал руками, поводил плечами,
Заигрывал с передним темным рядом,
Где изредка просвечивали зубы
Хорошеньких девиц широконоздрых.
Как говорил я! Как я говорил!
Кокетничая, поддавая басом,
Разметывая брови, разводя
Холодные от нетерпенья руки,
Поскольку мне хотелось лишь покоя,
Поскольку я хотел сухой кровати,
Но жар и молодость летели из партера,
И я качался, вился, как дымок,
Как медленный дымок усталой трубки.

Подайте, ради бога.

Я сижу,
Поигрывая бровью величавой,
И если правду вам сказать, друзья,
Мне, как бывало, ничего не надо.
Мне дали зренье — очень благодарен.
Мне дали слух — и это очень важно.
Мне дали руки, ноги — ну, спасибо.
Какое счастье! Рынок и простор.
Вздымаются литые груды мяса,
Лежит чеснок, как рыжие сердечки.
Весь этот гомон жестяной и жаркий
Ко мне приносит только пустоту.
Но каждое движение и оклик,
Но каждое качанье черных бедер
В тугой вискозе и чулках колючих
Во мне рождает злое нетерпенье
Последней ловли.

Я хочу сожрать
Все, что лежит на плоскости.

Я слышу

Движенья животов.

Я говорю
На языке жиров и сухожилий.
Такого униженья не видали
Ни люди, ни зверюги.

Я один
Еще играю на крапленых картах.

И вот подошвы отстают, темнеют
Углы воротничков, и никого,
Кто мог бы поддержать меня, и ночи
Совсем пустые на Алайском рынке.
А мне заснуть, а мне кусочек сна,
А мне бы справедливость — и довольно.
Но нету справедливости.

Слепой —
Протягиваю в ночь сухие руки
И верю только в будущее.

Ночью

Все будет изменяться.

Поутру

Все будет становиться.

Гроб дощатый
Пойдет, как яхта, на Алайском рынке,
Поигрывая пятками в носочках,
Поскрипывая костью лучевой.
Так ненавидеть, как пришлось поэту,
Я не советую читателям прискорбным.
Что мне сказать? Я только холод века,
А ложь — мое седое острие.
Подайте, ради бога.

И над миром
Опять восходит нищий и прохожий,
Касаясь лбом бензиновых колонок,
Дредноуты пуская по морям,
Все разрушая, поднимая в воздух,
От человеческой мощи заикаясь.
Но есть на свете, на Алайском рынке
Одна приступочка, одна ступенька,
Где я сижу, и от нее по свету
На целый мир расходятся лучи.

Подайте, ради бога, ради правды,
Хоть правда, где она?.. А бог в пленках.
Подайте, ради бога, ради правды,
Пока ступеньки не сожмут меня.
Я наслаждаюсь горьким духом жира,
Я упиваюсь запахом моркови,
Я удивляюсь дряни кишмишовой,
А удивленье — вот цена вдвойне.
Ну, насладись, остановись, помедли
На каменных обточенных ступеньках,
Среди мангалов и детей ревущих,
По-своему, по-царски насладись!
Друзья ходили? — Да, друзья ходили.
Девчонки пели? — Да, девчонки пели.
Коньяк кололся? — Да, коньяк кололся.

Сижу холодный на Алайском рынке
И меры поднадзорности не знаю.
И очень точно, очень непотыдно
Восходит в небе первая звезда.
Моя надежда — только в отрицанье.
Как завтра я унижусь — непонятно.
Остыли и обветрились ступеньки
Ночного дома на Алайском рынке,
Замолкли дети, не поет капуста,
Хвостатые мелькают огоньки.
Вечерняя звезда стоит над миром,

Вечерний поднимается дымок.
 Зачем еще плутать и хныкать ночью,
 Зачем искать любви и благодушья,
 Зачем искать порядочности в небе,
 Где тот же строгий распорядок звезд?
 Пошевелить губами очень трудно,
 Хоть для того, чтобы послать, как должно,
 К такой-то матери все мирозданье
 И синие киоски по углам.

Какое счастье на Алайском рынке,
 Когда шумят и плещут тополя!
 Чужая жизнь — она всегда счастлива,
 Чужая смерть — она всегда случайность.
 А мне бы только в кепке отсыревшей
 Качаться, прислонившись у стены.
 Хозяйка варит вермишель в кастрюле,
 Хозяин наливается зубровкой,
 А деточки ложатся по углам.
 Идти домой? Не знаю вовсе дома...
 Оделись грязью башмаки сырые.
 Во мне, как балерина, пляшет злоба,
 Поводит ручкой, кружит пируэты.
 Холодными, бесстыдными глазами
 Смотрю на все, подтягивая пояс.
 Эх, сосчитаться бы со всеми вами!
 Да силы нет и нетерпенья нет,
 Лишь остаются сжатыми колени,
 Поджатый рот, закушенные губы,
 Зияющие зубы, на которых,
 Как сон, лежит вечерняя звезда.

Я видел гордости уже немало,
 Я самолюбием, как черт, кичился,
 Падения боялся, рвал постромки,
 Разбрасывал и предавал друзей,
 И вдруг пришло спокойствие ночное,
 Как в детстве, на болоте ярославском,
 Когда кувшинки желтые кружились
 И ведьмы стыли от ночной росы...
 И ничего мне, собственно, не надо,
 Лишь видеть, видеть, видеть, видеть,
 И слышать, слышать, слышать, слышать,
 И сознавать, что даст по шее дворник
 И подмигнет вечерняя звезда.
 Опять приходит легкая свобода.
 Горят коптилки в чужестранных окнах.
 И если есть на свете справедливость,
 То эта справедливость — только я.

1942—1943, Ташкент

ТА, КОТОРУЮ Я ЗНАЛ

Нет,
 та, которую я знал, не существует.
 Она живет в высотном доме,
 с добрым мужем.
 Он выстроил ей дачу,
 он ревнует,
 Он рыжий перманент
 ее волос
 целует.

Мне даже адрес,
 даже телефон ее
 не нужен.
 Ведь та,
 которую я знал,
 не существует.
 А было так,
 что злое море
 в берег било,
 Гремело глухо,
 туго,
 как восточный бубен,
 Неслось
 к порогу дома,
 где она служила.
 Тогда она
 меня
 так яростно любила,
 Твердила,
 что мы ветром будем,
 морем будем.
 Ведь было так,
 что злое море
 в берег било.
 Тогда на склонах
 остролистник рос
 колючий,
 И целый месяц
 дождь метался
 по гудрону.
 Тогда
 под каждой
 с моря налетевшей
 тучей
 Нас с этой женщиной
 сводил
 неожиданный случай
 И был подобен свету,
 песне, звону.
 Ведь на откосах
 остролистник рос
 колючий.
 Бедны мы были,
 молоды,
 я понимаю.
 Питались
 жесткими, как щепка,
 пирожками.
 И если б
 я сказал тогда,
 что умираю,
 Она
 до ада бы дошла,
 дошла до рая,
 Чтоб душу друга
 вырвать
 жадными руками.
 Бедны мы были,
 молоды —
 я понимаю!

Но власть
 над ближними
 Как подлый рак
 живую ткань
 Все,
 что в ее душе
 Все перешло
 в красивое тугое
 И даже
 бешеная прядь ее,
 От парикмахерских
 прикрас
 Та женщина
 живет
 с каким-то жадным горем.

Ей нужно
 братъ
 все вещи,
 что судьба дарует,
 Все принижать,
 рвать
 и цветов, и корень
 И ненавидеть
 мир
 за то, что он просторен.
 Но в мире
 больше с ней
 мы страстью
 не поспорим.
 Той женщине
 не быть
 ни ветром
 и ни морем.
 Ведь та,
 которую я знал,
 не существует.

6 марта 1956

ВЕРА ЛУРЬЕ

р. 1901, Санкт-Петербург

Родилась в семье процветающего петербургского врача. На родине были напечатаны всего два ее стихотворения, однако она была хорошо известна в литературных кругах, и, как можно догадываться по ее стихам, ею увлекались знаменитые поэты. Занималась в литературной студии Николая Гумилева, впоследствии посвятив его трагической гибели стихотворение. Эмигрировав в 1921 году в Берлин, работала в редакции журнала «Эпопея». Когда к власти пришли фашисты, ее мать оказалась в концлагере. В. Лурье тоже попала в руки гестаповцев, но каким-то чудом ее выпустили через два месяца. Впоследствии она напечатала в газете «Русская мысль» свои воспоминания «Знакомство с гестапо». Оказалась на долгие годы изолированной от литературной жизни, забытой. Лишь сейчас, на склоне ее лет, в Берлине вышел итоговый сборник стихов В. Лурье. Кому посвящено это ее стихотворение? Гумилеву? Блоку? А может быть, тому, чье имя мы никогда не узнаем? Не все камни можно поднять со дна памяти.

ПАМЯТЬ

Неожиданно резко вспомню
 Глаза, улыбку и голос
 Того, кого прежде любила,
 Да белые душные ночи,
 Когда тело болит от желаний.
 Милый город, больной и далекий,
 И церковей православных звоны,
 Мостовые в траве зеленой.
 А потом морозные зимы,
 Когда снег хрустит под ногами,
 И в печурке дрова сырые
 Не горят, а уныло тлеют...
 Ничего, никогда не вернется:
 Прошлое падает в вечность,
 Точно камни падают в воду.

ВИКТОР МАМЧЕНКО

1901, Николаев—1981, Париж

Русский парижский поэт «незамеченного поколения», автор множества сборников, тем не менее затерявшийся в тени своих более знаменитых сверстников — Поплавского, Смоленского, Кнута. В отличие от большинства «незамеченных» так и остается не особо замеченным до сих пор — к сожалению.

* * *

Я болен, кажется. Уроды
Со всех сторон теснят меня,
Чтоб я признал лицо свободы,
Ключом тюремщика звеня.

Она со мной: среди неволи,
Среди железа и камней,—
Люблю ее до светлой боли,
И болью жалуюсь я ей.

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА

1901, Рига—1990, Ленинград

Урожденная Ираида Густавовна Гейнике. Красавица из адвокатской семьи, ученица Гумилева, она очаровывала всех, включая самого учителя, талантливыми стихами, смолodu написанными мастерски. Первая книга «Двор чудес» была без плохих стихов. Ее стихи «Толченное стекло», «Извозчик» петроградская полугодовалая богема заучивала наизусть. Осенью 1922 года вместе с мужем — Георгием Ивановым — уехала в эмиграцию. Стихи писала редко, главным образом — романы: «Ангел смерти» (1927), «Изольда» (1931), «Зеркало» (1939), «Оставь надежду навсегда» (1949). После войны выпустила три сборника стихов. Большой шум в эмигрантской среде вызвали мемуары Одоевцевой «На берегах Невы» (1967) и «На берегах Сены» (1978). Оставшиеся в живых немногие ревнивые свидетели тех лет традиционно обвинили ее в искажениях, неточностях. Тем не менее обе эти книги являются драгоценными историческими документами, даже если там есть aberrации и чересчур вольная игра фантазии. За два года до кончины Одоевцева вернулась в СССР, где ее бережно возили с эстрады на эстраду, как говорящую реликвию, и говорящую весьма грациозно. Ее мемуары были изданы в один прием двухсоттысячным тиражом, который, я думаю, превзошел общий тираж всех ее книг за 65 лет эмигрантской жизни.

ТОЛЧЕНОЕ СТЕКЛО

К. И. Чуковскому

Солдат пришел к себе домой —
Считает барыши:
«Ну, будем сыты мы с тобой —
И мы, и малыши.

Семь тысяч. Целый капитал
Мне здорово везло:
Сегодня в соль я подмешал
Толченное стекло».

Жена вскричала: «Боже мой!
Убийца ты и зверь!
Ведь это хуже, чем разбой,
Они умрут теперь».

Солдат в ответ: «Мы все умрем,
Я зла им не хочу —
Сходи-ка в церковь вечером,
Поставь за них свечу».

Поел и в чайную пошел,
Что прежде звали «Рай»,

О коммунизме речь повел
И пил советский чай.

Вернувшись, лег и крепко спал,
И спало все кругом,
Но в полночь ворон закричал
Так глухо под окном.

Жена вздохнула: «Горе нам!
Ах, горе, ах, беда!
Не каркал ворон по ночам
Напрасно никогда».

Но вот пропел второй петух,
Солдат поднялся зол,
Был с покупателями сух
И в «Рай» он не пошел.

А в полночь сделалось черно
Солдатское жилье,
Стучало крыльями в окно,
Слетаясь, воронье.

По крыше скачут и кричат,
Проснулась детвора,

Жена вздыхала, лишь солдат
Спал крепко до утра.

И снова встал он раньше всех,
И снова был он зол.
Жена, замаливая грех,
Стучала лбом о пол.

«Ты б на денек,— сказал он ей,—
Поехала в село.
Мне надоело — сто чертей! —
Проклятое стекло».

Один оставшись, граммофон
Завел и в кресло сел.
Вдруг слышит похоронный звон,
Затрясся, побелел.

Семь кляч дощатых семь гробов
Везут по мостовой,
Поет хор бабьих голосов
Слезливо: «Упокой».

— Кого хоронишь, Константин?
— Да Машу вот, сестру —
В четверг вернулась с именин
И померла к утру.

У Николая умер тесть,
Клим помер и Фома,
А что такое за болеть —
Не приложу ума.

Ущербная взошла луна,
Солдат ложится спать,
Как гроб тверда и холодна
Двухспальная кровать!

И вдруг — иль это только сон? —
Идет вороний поп,
За ним огромных семь ворон
Несут стеклянный гроб.

Вошли и встали по стенам,
Сгустилась сразу мгла,
«Брысь, нечисть! В жизни не продам
Толченого стекла».

Но поздно, замер стон у губ,
Семь раз прокаркал поп.
И семь ворон подняли труп
И положили в гроб.

И отнесли его туда,
Где семь кривых осин
Питает мертвая вода
Чернеющих трясин.

БАЛЛАДА ОБ ИЗВОЗЧИКЕ

Георгию Адамовичу

К дому по Бассейной, шестьдесят,
Подъезжает извозчик каждый день,
Чтоб везти комиссара в комиссариат —
Комиссару ходить лень.
Извозчик заснул, извозчик ждет,
И лошадь спит и жует,
И оба ждут, и оба спят:
Пора комиссару в комиссариат.
На подъезд выходит комиссар Зон,
К извозчику быстро подходит он,
Уже не молод, еще не стар,
На лице отвага, в глазах пожар —
Вот каков собой комиссар.
Он извозчика в бок и лошадь в бок
И сразу в пролетку скок.

Извозчик дернет возжей,
Лошадь дернет ногой,
Извозчик крикнет: «Ну!»
Лошадь поднимет ногу одну,
Поставит на землю опять,
Пролетка покатится вспять,
Извозчик щелкнет кнутом
И двинется в путь с трудом.

В пять часов извозчик едет домой,
Лошадь трусит усталой рысцей,
Сейчас он в чайной чаю попьет,
Лошадь сена пока пожует.
На дверях чайной — засов
И надпись: «Закрыто по случаю дров».
Извозчик вздохнул: «Ух, чертов стул!»
Почесал затылок и снова вздохнул.
Голодный извозчик едет домой,
Лошадь снова трусит усталой рысцей.

Наутро подъехал он в пасмурный день
К дому по Бассейной, шестьдесят,
Чтоб вести комиссара в комиссариат —
Комиссару ходить лень.
Извозчик уснул, извозчик ждет,
И лошадь спит и жует,
И оба ждут, и оба спят:
Пора комиссару в комиссариат.
На подъезд выходит комиссар Зон,
К извозчику быстро подходит он,
Извозчика в бок и лошадь в бок
И сразу в пролетку скок.
Но извозчик не дернул возжей,
Не дернула лошадь ногой.
Извозчик не крикнул: «Ну!»
Не подняла лошадь ногу одну,
Извозчик не щелкнул кнутом,
Не двинулись в путь с трудом.
Комиссар вскричал: «Что за черт!
Лошадь мертва, извозчик мертв!
Теперь пешком мне придется бежать,

На площадь Урицкого, пять».
 Небесной дорогой голубой
 Идет извозчик и лошадь ведет за собой.
 Подходят они к райским дверям:
 «Апостол Петр, отворите нам!»
 Раздался голос святого Петра:
 «А много вы сделали в жизни добра?»
 — «Мы возили комиссара в комиссариат
 Каждый день туда и назад,
 Голодали мы тысячу триста пять дней,
 Сжальтесь над лошадыю бедной моей!
 Хорошо и спокойно у вас в раю,
 Впустите меня и лошадь мою!»
 Апостол Петр отпер дверь,
 На лошадь взглянул: «Ишь, тощий зверь!
 Ну, так и быть, полезай!»
 И вошли они в Божий рай.

БАЛЛАДА О ГУМИЛЕВЕ

На пустынной Преображенской
 Снег кружился и ветер выл...
 К Гумилеву я постучала,
 Гумилев мне дверь отворил.

В кабинете топилась печка,
 За окном становилось темней.
 Он сказал: «Напишите балладу
 Обо мне и жизни моей!»

Это, право, прекрасная тема», —
 Но я ему ответила: «Нет.
 Как о Вас напишешь балладу?
 Ведь вы не герой, а поэт».

Разноглазое отсветом печки
 Осветилось лицо его.
 Это было в вечер туманный,
 В Петербурге на Рождество...

Я о нем вспоминаю все чаще,
 Все печальнее с каждым днем.
 И теперь я пишу балладу
 Для него и о нем.

Плыл Гумилев по Босфору
 В Африку, страну чудес,
 Думал о древних героях
 Под широким шатром небес.

Обрываясь, падали звезды
 Тонкой нитью огня.
 И каждой звезде говорил он:
 — «Сделай героем меня!»

Словно в аду полгода
 В Африке жил Гумилев,
 Сражался он с дикарями,
 Охотился на львов.

Встречался не раз он со смертью,
 В пустыне под «небом чужим».
 Когда он домой возвратился,
 Друзья потешались над ним:

— «Ах, Африка! Как экзотично!
 Костры, негритянки, там-там,
 Изысканные жирафы,
 И друг ваш гиппопотам».

Во фраке, немного смущенный,
 Вошел он в сияющий зал
 И даме в парижском платье
 Руку поцеловал.

«Я вам посвящу поэму,
 Я вам расскажу про Нил,
 Я вам подарю леопарда,
 Которого сам убил».

Кольхался розовый веер,
 Гумилев не нравился ей.
 — «Я стихов не люблю. На что мне
 Шкуры диких зверей»...

Когда войну объявили,
 Гумилев ушел воевать.
 Ушел и оставил в Царском
 Сына, жену и мать.

Средь храбрых он был храбрейший,
 И, может быть, оттого
 Вражеские снаряды
 И пули щадили его.

Но приятели косо смотрели
 На георгиевские кресты:
 — «Гумилеву их дать? Умора!»
 И усмешка кривила рты.

Солдатские — по эскадрону
 Кресты такие не в счет.
 Известно, он дружбу с начальством
 По пьяному делу ведет.

Раз, незадолго до смерти,
 Сказал он уверенно: «Да.
 В любви, на войне и в картах
 Я буду счастлив всегда!..»

Ни на море, ни на суше
 Для меня опасности нет...»
 И был он очень несчастен,
 Как несчастен каждый поэт.

Потом поставили к стенке
 И расстреляли его.
 И нет на его могиле
 Ни креста, ни холма — ничего.

Но любимые им серафимы
За его прилетели душой.
И звезды в небе пели:—
«Слава тебе, герой!»

* * *

Нет, я не буду знаменита.
Меня не увенчает слава.

Я — как на сан архимандрита
На это не имею права.

Ни Гумилев, ни злая пресса
Не назовут меня талантом.

Я — маленькая поэтесса
С огромным бантом.

1918

ВЛАДИМИР СМОЛЕНСКИЙ

1901, Луганск Екатеринославской губ.— 1961, Париж

Отец — помещик и полковник — был расстрелян большевиками. Смоленский сражался в Белой армии. В 1920-м эмигрировал в Париж. Учился в Высшей коммерческой школе. Первая книга стихов «Закат» вышла в 1931 году. Дружил с Ю. Одарченко, написавшим о нем рассказ. Автор статей «Мистика Блока», «Мысли о Ходасевиче» и др.

* * *

Саше Конюс

Если дважды два четыре — мной
Понят строй небесный и земной.

Если дважды два четыре — я
В тайны все проникнул бытия.

Мне добра и зла открылся смысл
Силою непогрешимых числ.

Если дважды два... Но вдруг без сил
Падая, я слышу шелест крыл,

Темное дыхание ловлю:
«Дважды два равняется нулю».

* * *

Кричи не кричи, — нет ответа,
Не увидишь — гляди не гляди,
Но все же ты близко, ты где-то
У самого сердца в груди.

Россия, мы в вечном свидании,
Одним мы усилием живем,
Твое ледяное дыханье
В тяжелом дыханьи моем.

Меж нами подвалы и стены
И годы, и слезы, и дым,
Но вечно, не зная измены,
В глаза мы друг другу глядим.

Россия, как страшно, как нежно,
В каком неземном забытии,
Глядят в этот мрак безнадежный
Небесные очи твои.

* * *

Любимая моя живет в Китае,
В высокой башне обо мне мечтая.

И, может быть, она уже стареет...
За годом год, за ветром ветер веет,

Раскосые кругом теснятся люди —
Но нет меня, и никогда не будет,
У маленькой, у желтоватой груди.

* * *

Над Черным морем, над белым Крымом,
Летела слава России дымом.

Над голубыми полями клевера,
Летели горе и гибель с севера.

Летели русские пули градом,
Убили друга со мною рядом,

И Ангел плакал над мертвым ангелом...
— Мы уходили за море с Врангелем.

* * *

Закрой глаза, в виденье сонном
Восстанет твой погибший дом —
Четыре белые колонны
Над озером и над прудом.
И ласточек крыла косые
В небесный ударяют щит,
А за балконом вся Россия,
Как ямб торжественный, звучит.
Давно был этот дом построен,
Давно уже разрушен он,
Но, как всегда, высок и строен,
Отец выходит на балкон.
И зоркие глаза прищуря,
Без страха смотрит с высоты,
Как проступают там, в лазури,
Судьбы ужасные черты.
И чтоб ему прибавить силы,
И чтоб его поцеловать,
Из залы или из могилы
Выходит, улыбаясь, мать.
И вот стоят навеки вместе
Они среди своих полей,

И как жених своей невесте,
Отец целует руку ей.
А рядом мальчик черноглазый
Прислушивается, к чему —
Не знает сам, и роза в вазе
Бессмертной кажется ему.

* * *

Никакими словами, никакими стихами,
Ни молчаньем, ни криком — ничем

Не расскажешь о том, что ты слышишь
ночами
О том, что закрытыми видишь очами,
Когда неподвижен, и нем,
И глух, ты лежишь, как в могиле,
в постели,
На грани того бытия,
И в темном, надземном, надзвездном пределе
Над жизнью и смертью, без страха, без цели
Душа пролетает твоя...

НАТАЛИЯ БЕНАР

1902 — ок. 1990

Московская поэтесса, чьи стихи печатались в сборниках СОПО («Союза поэтов») еще в 1921 году. Позже из литературной жизни выпала, но в истории русской поэзии осталась.

* * *

Лишь одно из груди недомолвок,
На покой и волю не меняй,
Проще рощ, и соловья, и Сольвейг,
Слаще звезд, не покидай меня. —

Точно в ад, в шальной и звездный улей
Поцелуев, под ливень глаз,
Загнанная ночью, убегу ли,
Перебежчица любви, в последний раз.

1922

НИКОЛАЙ БРАУН

1902, с. Парахино Тульской губ. — 1975

Поэт строго классицистической, «ленинградской» школы. Родился в семье учителя и сам в конце концов стал учителем для многих молодых ленинградских поэтов, относясь к каждому новому голосу с чуткостью и доброжелательностью. У него было одно редкое качество: чужие стихи он любил больше, чем свои. Приводимое ниже стихотворение драгоценно как лирический документ. Пастернака и Маяковского при жизни — да и после смерти — искусственно пытались противопоставлять. Браун в своих стихах свидетельствует о том, что пуля, пущенная Маяковским в себя, глубоко ранила Пастернака. Пастернак об этом написал так:

Твой выстрел был подобен Этне
В предгорьях трусов и трусих.

НА ДРУГОЙ ДЕНЬ

Вечером, к поезду, в разгоне
Дел, к отъезду дающих знак,
Голос торопится в телефоне —
Борис Леонидович Пастернак.

Сразу, прыжком обегая темы
Иные, он говорит о нем,
С места в карьер выходя за схему
Речи, срывающейся на том,

Что в утро то, еще вначале,
Когда в постели он холодел,
Весь он, казалось, порой начальной
Дышал, с размаху помолодев.

О встречах с ним последних и редких,
О литературном героя лице,
О том «естественном» и метком
Коротком выстреле в конце.

О дружбе, сросшейся годами,
О днях, затопленных слезой...
И голос нырлял в телефонные дали,
Влажный, вздрагивающий, сквозной.

Он подымался неотвратимо
Сквозь переулочки,
Над Москвой,
Над гибелью лучшего побратима —
Гневом, растерянностью, тоской.

1931

МАРИЯ ВОЛКОВА

1902 — 1983, д. Оттерсвейер близ Баден-Бадена

Наверное, самая значительная поэтесса в том явлении, которое зовется казачьей поэзией и которое существовало в нашем веке почти исключительно в эмиграции. Коренная сибирячка, дочь казачьего генерала. После отступления Колчака пробралась в Литву, затем в Германию, где провела всю жизнь. Издала два поэтических сборника.

ПРАБАБКА

Когда мне смутно и когда мне тесно
и кажется, что жизнь уж прожита,
приходит тень прабабки безызывственной
и шепчет мне: «Все это — суета!»

Прервав разбег своих наклонных строчек,
я перед ней спешу с почтеньем встать.
Простой наряд. На голове платочек.
Из-под платка — серебряная прядь.

Ее лицо как будто мне знакомо —
не стану ль я такою, как она?
Журчат слова: «Все маешься без дома?
О Господи, какие времена!»

Да что роптать? — ты ропот лучше спрячь-ка!
Благой совет тебе я ныне дам —
терпи — и все! на то ты и казачка!
А что — к чему, про то не ведать нам.

Моя судьба была твоей суровой,
долга печаль, а радость коротка.
Мы, Марьюшка, с тобой единой крови —
моя в тебе течет через века!

И я рвалась на волю да на солнце,
но не давал податься супостат.
Мне до конца пришлось глядеть в оконце
на крепостной зубчатый палисад...

То за детей дрожала, то за мужа —
злой басурман нас вечно донимал...
Так и жила... а я тебя не хуже.
Неси свой крест, велик он или мал!

Ты разумей — тебе я не чужая;
вот и пришла наставить и помочь!
Прабабка мне кивает, исчезая:
«Ну, мне пора — прощай-ка, мила дочь!»

1948

СЛЕДЫ

Какая простота в последней сложности!
Как разрешает всё прикосновенье
острейшего клинка к тому узлу
из трепетных надежд и безнадежности,
из целости и раздвоенья,
из частых смен земного тяготенья
к добру и злу!

Ведь только миг, единый миг бездонности,
и то, что было хрупко и громоздко,
светло, темно, легко и тяжело,
сравнивается, в своей незавершенности,
с забытым, неоконченным наброском,
и скроется под маскою из воска
добро и зло...

Не проследить, где пересеклась линия,
не уловить, ни сердцем, ни глазами,
как сила сил дух с телом разняла...
А жизнь идет! А мир не стал пустынею!
Растет трава... и реже вьется память
над кое-где заметными следами
добра и зла.

* * *

Не страшно то, что нет продленья срокам,
Но страшно знать, что в нас источник зла!
Спешим, горим и будто ненароком
Чужую жизнь попутно жжем дотла.
Рвем без нужды, без ненависти любим,
На крик души бредем едва-едва
И часто тем, кого сильнее любим,
Мы говорим жестокие слова.
Неумолим закон судьбы железный,
Пощады нет ни телу, ни уму...
О, если бы дойти до края бездны,
Не причинив страданья никому!

ЮРИЙ ГОНЧАРОВ

р. ок. 1902(?)

Стихотворение взято из «Книги стихов», вышедших в издательстве «Вольное казачество», Прага, 1929.

* * *

Сквозь окно прокрался холод снова.
Синий холод очи потушил.

Продала.. Сменяла на другого..
И следы их за окном свежи.

Снять бы плеть, да плеть-то боевая,
Сплетена не для такой спины.
Где-то псы на белый месяц лают.
А дома — угрюмы и черны.

Ты опять пуста, глухая улица!
Эх бы голову... в огонь, или... в петлю...
Приходи любая — поцелуемся!
Приходи — любую полюблю...

1929

СТРАННИК

1902, Москва—1989, Лос-Анджелес

Под этим псевдонимом, который придумал для него поэт-эмигрант Д. Кленовский, в литературу вошел архиепископ Иоанн Сан-Францисский, урожденный князь Дмитрий Шаховской. В 1966 году в Сан-Франциско он пригласил меня на обед в ресторан, находившийся где-то очень высоко на горе. За рулем отец Иоанн сидел сам, вел неспешно, с чувством собственного достоинства, засыпая меня вопросами о нашем поэтическом поколении, которое он очень любил. Постепенно я стал замечать, что вокруг нас нарастает какая-то странная симфония, переходящая в вой. Я посмотрел вниз, в окно, и ужаснулся: вся серпантинная дорога под нами была набита автомашинами, ползущими по-черепаши из-за медлительности моего шофера в сутане, который не хотел замечать их отчаянных гудков, слившихся в один. А отец Иоанн говорил и говорил со мной о счастье любить поэзию и о несчастье ее не любить, говорил об этой антологии, которую я уже тогда задумал. Он не был человеком не от мира сего, живо интересовался политикой, выступал с проповедями по русскому радио «Голос Америки». Но поэзия всегда была сокровенной кельей его души.

СТИХИ О ВРЕМЕНИ

Непостыдная тайна времени
Не по времени велика.
Тайна бремени, тайна семени,
Чудотворной любви рука.

Мы давно пред безднами счастливы,
Нам дано лишь смотреть назад.
И, крутясь как щепка пропащая,
Низвергаемся в водопад.

И кончается время бремени,
Тайна семени, тайна времени.

* * *

Вот киоски средь Парижа,
Убранные новостями.

Всех людей сдвигают ближе.
Для чего — не знают сами.

Новости объединяют
Тех, кто думать не умеет.
Как газета, мир стареет,
И как новость, умирает.

* * *

(фрагмент)

Вздыхая, но не задыхаясь,
Мы набираем высоту —
Так человек грешащий, каясь,
Идет, как в небо, в доброту.

МАРК ТАРЛОВСКИЙ

1902, Елизаветград—1952, Москва

Марк Тарловский, так ярко дебютировавший книжкой «Иронический сад» в 1928 году, принадлежит, к тем, кого эпоха все-таки сломала. Вторую книгу цензура изувечила до неузнаваемости, и сам поэт, лишь бы книжка вышла, стал портить стихотворения. О третьей книге не хочется вспоминать: в нее поэт умудрился включить восхищенную оду по поводу взрыва храма Христа Спасителя. С середины 30-х годов Тарловский целиком перешел на переводы, в которых, при всей уникальности своего поэтического мастерства, был феноменально неуклюж. До самой смерти стихов уже почти не писал, хотя в черновиках и разыскано несколько любопытных вещей, в частности «Ода на победу», написанная языком XVIII века, — блестящая стилизация. Тарловскому принадлежат воспоминания в стихах об Эдуарде Багрицком — поэма «Веселый странник».

ПЕЧАЛЬ

Моя печаль была непрошена
И заглушила бодрый дух,
Как та случайная горошина,
Которой давится петух.

Я поперхнулся — и досадую:
Ведь маленькая же она,
А погляди — какой засадою
Сжимает горло певуна!

И, как петух, стесненный злобою,
Способный только к тумачу,
Немыми крыльями я хлопаю,
А кукарекать не могу.

Я воробьиному чириканью
Уже не вторю свысока,
Я тих и слаб — пока не выгоню
Занозу из-за языка;

Пока не вспрыгну на завалинку,
Грозя бродяге-воробью,
И эту подлую печалинку
Звонящей песней не пробью!

1926

ЛЕТО

Сразу вспыхивая, гаснет сразу
В темноте огонь изподкопытный —
Пушкин бросил громовую фразу
«Мы ленивы и нелюбопытны...»

Искры звякнули, одна-другая,
И истаяли в поземной тяге,
А во тьму уставилась, мигая,
Голова вскочившего бродяги.

Звон копыт пройдет и перестанет,
Путник ляжет и тоску отгонит,
Померещилось, а ни черта нет,
В чистом вольном поле никого нет.

Спи, ленивый, спи, нелюбопытный
Соотечественник и приятель!
Пусть выносит приговор обидный
Трижды обожаемый читатель!

Ведь бывает: люди, как тюлени,
Тяжелеют летними ночами,
Пребывают вечером в томленьи,
Днем изнемогают под лучами...

Минул полдень, поспекает жатва,
Ни над чем не хочется трудиться,
Время переваливает за два,
Солнце парит и парит как птица.

Пилочками трудятся цикады,
Дремлют лесопилы-лежебоки,
И лежат собаки, аки гады,
Распростертые на солнцепеке.

1926

ПРОЕЗЖАЯ

Только проезжая... Плечи и плед,
Желтые полки в оконном пролете...
Кто вы такая и сколько вам лет?
Где вы живете и с кем вы живете?

Поезд ревнует — торопит тайком,
Точно жена вы ему иль цыганка,
Вот он несет вас, вот машет платком...
Стыд нам и горе, рабам полустанка!

Рыжий попутчик, случайный сосед,
Он-то запишет ли в хитром блокноте,
Кто вы такая и сколько вам лет,
Где вы живете и с кем вы живете?..

1928

ИРАКЛИЙСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Севастополь — запальный фитиль
На Таврической бомбе истории,
Это — известь, и порох, и пыль,
Это — совесть и боль Черномории;

Херсонес — это греческий крест,
На дороге Владимира посланный,
Это — твой триумфальный наезд,
Князь, в язычестве равноапостольный.

Балаклава ж — молочный рожок
В золотой колыбели отечества,
Переливший младенческий сок
В пересохшие рты человечества...

В Севастополе — бранный курган
И торжественность памяти Шмидтовой. —
Для чего он сжимает наган? —
Ты рассердишь его — не пытай.

В Херсонесе — царьградский подол
О языческий жертвенник вымарав,
Византиец садится за стол,
Чтобы выпить за подвиг Владимиров;

В Балаклаве — и английский бот,
И фелука торгашеской Генуи,
И пещерного жителя плот
Облегли ее дно драгоценное...

Ираклия три гордых узла
На платке завязала Таврическом,
Чтобы память их нам донесла
Недоступными варварским вычисткам.

Треугольник убежищ морских,
Он не канул на дно, он не врос в траву
И поет о столетьях своих
Погруженному в сон полуострову.

1929

* * *

Но поговорим по существу
(Даже скорбь нуждается в порядке):
Я неплохо, кажется, живу,
Я неплохо, кажется, живу,
Отчего же дни мои несладки?

Так в тупик заходят поезда,
Так суда дрейфуют одичало...

Изменила ли моя звезда,
Изменила ли моя звезда,
Что меня в пути сопровождала?

Нет, звезда не изменяла мне,
Но, прорехи вечности заштопав,
Есть над ней, в двойном надзвездном дне,
Есть над ней, в двойном надзвездном дне
Звезды, скрытые от телескопов.

Среди сфер, в которых навсегда
Затерялись высшие светила,
У нее была своя звезда,
У нее была своя звезда,
И вот эта... эта изменила.

1934

НИКОЛАЙ ЭРДМАН

1902, Москва—1970, там же

Выдающийся драматург, написавший для Мейерхольда две знаменитые в свое время пьесы — «Мандат» и «Самоубийца». Начинал как поэт. Говорят, что был сочинителем многих политических анекдотов сталинских времен. Был репрессирован. Вернувшись, снова увидел свои пьесы на сцене. Служил Юрию Любимову главным ориентиром в его лучших постановках.

* * *

Пусть время бьет часы усердным старожилом,
Они не заглушат неторопливый шаг
С добром награбленным шагающей поэмы.
Но знаю, и мои прохладные уста
Покроет пылью тягостная слава.
И шлем волос из вороненой стали
На шлем серебряный сменяет голова.
Но я под ним не пошатнусь, не вздрогну,
Приму, как должное, безрадостный подарок,
И в небеса морозную дорогу
Откроет радуга мне триумфальной аркой.
Дети, дети!
Учитесь у ночей полярному молчанию,
Сбирайте зорь червонный урожай.
Ведь тридцать стрел у месяца в колчане,
И каждая, сорвавшись с тетивы,
Кого-нибудь смертельно поражает.
Никто не знает перечня судеб —
Грядущих дней непроходимы дебри.

И пусть весна за городской заставой
Опять поет веселой потаскухой,
Вся в синяках и ссадинах проталин

По рытвинам
И дорогам.
Я также сух
И строг.
И перед ней, как перед всяким гостем,
привратником,

Блюдящим мой устав,
Ворота рта
Торжественно открыты.
Тяжелой головы пятиугольный ковш
Из жизни черпает бесстрастие и холод.
Недаром дождь меж пыльных облаков
Хрустальные расставил частоколы.

Отшельником вхожу я в свой затвор
И выхожу бродягою на волю.
И что мне труд и хлеб, когда мне в губы
пролит

Знакомый вкус любимых стихотворцев.
О, времени бесцветная река,
Влеку меня порывистой иль тише,
Что хочешь делай, но не обрекай
Меня, преступника, на каторгу бесстишья.

1921

ВОЛЬФ ЭРЛИХ

1902—1937

В последний год жизни Есенина Эрлих был близок к поэту и именно в его руки тот передал предсмертное стихотворение за день до самоубийства. Помню, как поразила меня изданная в 30-х книжка Эрлиха «Арсенал». Резкий это был поэт, даже максималистский: «А вошь в бобрах идет за мною следом». Образ купца, который даже перед расстрелом ухитряется взвесить и продать пуговицу. Презрительное проклятие артистической богеме. Странный образ шпиона с Марса, который, притворившись человеком, ходит среди нас и объявится только в час всемирной катастрофы, да и то все-таки маскируясь. Максимализм всегда в какой-то степени жестокость. Если этот максимализм наивный, то и жестокость наивна. Но и наивная жестокость — это все-таки жестокость. С Эрлихом тоже поступили «по-максималистски», назвав его «врагом народа». Такие стихи, как «Шпион с Марса», могли навести сюрреалистическое большое воображение опухших от бессонной работы чекистов на самого автора. В чем-то поздняя поэма «Пришелец» В. Соколова перекликается с этой поэмой Эрлиха. Жаль, что ему не дали шанса поэтической зрелости.

ШПИОН С МАРСА

1

Что ж? Это — было, в Ленинграде,
В недобром месяце, когда
Яреет ветер, бога ради,
И поднимается вода.

Над поднимавшейся водою
Он ждал и медлил, и дрожал,
И длиною как хлыст рукою
Балтийский ветер рассекал.

Он говорил: — Идут года
Бежит Нева, шумит вода!..

Пока в Таврическом влюбленный
Строчил в «Осенние огни»,
Покуда сад, еще зеленый,
Хирел, скудел, влачились дни,

Не торопясь роняли клены
Оранжевые пятерни,
Он говорил: — Идут года,
Бежит Нева, шуршит вода...

Но в день, когда не стало хлеба,
Не стало дня, не стало сил,
Он полюбил земное небо
И землю эту полюбил.

2

Донесение: Восьмое марта,
Год восьмой. Начну издалека.
Перед мной развернутая карта
Европейского материка.

Море Смерти. Низменность измены,
Кое-где полоска честной ржи,
Лиловые вздувшиеся вены
Рек, но кровью сжаты рubeжи.

Отдавая должное витийству,
Что гремит на площадях войны:
Люди приучаются к убийству
У себя на кухне, близ жены.

Раз — жена не любит тараканов,
Два — жена боится пауков,
Мышеловка, сто сортов капканов,
Травля крыс, охота на волков,

Но еще какого-то осколка
Доблести хватает для людей,
Веруют пока, что крови волка
Человеческая кровь святей.

Позабудь — и впрямь пошла охота,
Смертный вой невиданных облав:
Брюхо танка, бритва пулемета,
Всех страстей и всех смертей канклав.

Это будет завтра, как всегда.
Только вот еще что странно очень:
После битв все так же сладки ночи,
Так же благовонны вечера.

3

Донесение, того же года,
Августа девятого числа:
Переменный ветер, дождь, погода
Нового отнюдь не принесла.
Бродят неумыты, неодеты,
Вереницы беспризорных слов.
Просят хлеба. Ремесло поэта —
Странное земное ремесло.
Надо знать гремучий посвист пули,
Надо знать артерий звездный шум,
Номера домов, названья улиц,
Номера людских сердец и душ.
Не оглядываться, так спокойней,
Восьмигранниками Мостовой,
По следам еще несмытой бойни
Обхожу ночной трамвайный вой.
Опоенные каким-то зельем
Стонут люди. Ночь как день ясна,
Не боюсь ни пули, ни похмелья,
Но боюсь земной тоски и сна:
Снятся мне багровыми ночами
Кровяные росы на ветвях,
Женщина с огромными очами,
С платиновым циркулем в руках.

Меховые красные поляны
 Над вселенской бронзовой водой,
 А еще в тот час, когда я встану,
 Неземные тучи надо мной.
 Не оглядываться! Так тревожней.
 Переулочками по торцам,
 От ворот к воротам, осторожно
 Обхожу ночной громоздкий гам.
 — Гражданин, а с нами не хотите ль?..
 — Гражданин, домчу в единых дух.
 Вот она — проклятая обитель
 Всех скорбей и всех страстей земных!
 С дикой жаждой, что подстать планете,
 Братской кровью напоить клинки,
 Безрассудные здесь спорят дети,
 Неразумные ревут быки.
 Подожду. А ремесло шпиона —
 Вряд ли признанное ремесло...
 Постою, пока сквозь гром и звоны
 Можно различать значенье слов,
 Но, когда последний человеческий
 Стон забудет дикарский брани взрыв,
 Я войду, раскачивая плечи,
 Щупальца в карманы заложив.

1926

ВОШЬ

Она была в те дни кичлива и горда.
 Ее неукротимая орда
 То строилась в полки, то просто так —
 ордою,
 Что день — ползла на штурм, брала высоты
 с бою.
 И песни громкие о ней слагал поэт.
 И даже ленинский ее почтил декрет.
 И смерть ее была... Но, путь держа к
 победам,
 Мы снова напоролись на беду.
 Я молча по Литейному иду,
 А вошь, в бобрах, идет за мною следом.

1928

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Здесь плюнуть некуда. Одни творцы.
 Спесиво
 Сидят и пьют. Что ни дурак — творец.
 Обряд все тот же. Столик, кружка пива
 И сморщенный на хлебе огурец.
 Где пьют актеры — внешность побогаче:
 Ну, джемпер там, очки, чулки, коньяк.
 Европой бредит, всеми швами плачет
 Недобежавший до крестца пиджак.
 И бродит запах — потный, скользкий,
 теплый.
 Здесь истеричка жметя к подлецу.

Там пьет поэт, размазывая сопли
 По глупому, прекрасному лицу.

Но входит день. Он прост, как теорема,
 Живой, как кровь, и точный, как затвор.
 Я пил твое вино, я ел твой хлеб, богема.
 Осинovým колом тебе плачу за то.

1931

ПОСЛЕДНИЙ КУПЕЦ

Пройдут года в простом великолепье
 Влача ярмо своих простых забот.
 Последний каторжник, позвякивая цепью,
 По площадям своей земли пройдет.

Уйдут к труду последние солдаты,
 Последний штык к музею отойдет,
 И он — последний, яростный, проклятый —
 Пройдет к стене и подберет живот.

И грянет залп, хвостатый, как комета,
 Но перед смертью, побелев, как пласт,
 Он пуговицу оторвет с жилета,
 Возьмет в ладонь и взвесит и продаст...

ЭПОС

Николаю Тихонову

Из самых ровных бревен
 Покой сооружен.
 Хозяин спит, и ровен
 Кавалерийский сон.

Хозяин спит, и шорох
 Застыл во всех углах.
 В столе вдовеет шпора
 И сиротеет страх.

Хозяин спит,
 И шпора спит,
 И Будда спит в цветах.

Белесый свет украдкой
 Подрубит темноту.
 (Сначала бьют по пяткам,
 Потом по животу.)

На жесткие ресницы
 Не падает слеза.
 Слетят четыре птицы
 И выключают глаза.

И к дольной жизни праха
 Меня пробудит гонг.
 Он собран был без страха,
 Бамбуковый ма-джонг.

Но, сед и осторожен,
 Встает ночной туман,
 Почти на треть встревожен,
 Наполовину пьян.

Встают в ночи зарницы
И бродит тихий гуд.
Всю ночь стальные птицы
Мой отдых стерегут.

И воеет неизменно
Визгливый тенорок
Сторожевой сирены
Заученный урок.

Из самых прочных бревен
Покой сооружен.

Хозяин спит, и ровен
Кавалерийский сон.

Привычно ловит ухо
Все шорохи во мгле.
Вот заспанная муха
Заныла на стекле...

Хозяин спит,
И муха спит...
И шпора спит в столе.

ИГОРЬ ЮРКОВ

1902—1929

Этот рано ушедший из жизни поэт не может быть забыт из-за одних только последних строк публикуемого стихотворения — именно они выглядят сейчас почти народийно. Но именно так высокомерно революционные романтики очень часто говорили с женщинами — на железном языке героев. Если бы герой оруэлловского «1984» Уинстон Смит писал стихи своей жене, то по долгу партии написал бы, видимо, что-то именно в этом духе.

АРАБЕСКИ

Гончие лают,
Шурша в листьях.
В гусарском домике
Огни зажжены.
Ты знаешь, Татьяна,
Какой это прах —
Наша любовь
И наши сны.

Когда поют комары
И в открытом окне
Сырая ночь
Осыпает листья,
Скажи мне, Татьяна.
Можно ли мне
С тобою пить
И жить «на ты»?

«Пустая и глупая шутка жизнь»,
Но как она радует
Меня.
Скажите, гусары,
И ты скажи —
Где столько музыки
И огня?

Наши товарищи
Лермонтов и Фет
Проиграли черту
Душу свою.

А ведь, Татьяна,
Последний поэт —
Я не пишу,
Я пою.

Гончие лают,
Звенят бубенцы.
Скоро пороша
В сад упадет.
Скоро, скоро выведут
Молодцы
Настоящие песни
В свой народ.

Что ж я, товарищи,
К черту грусть!
Бутылки полны
И луна полна.
Горячая кровь
Бушует пусть —
Нас еще слышит
Наша страна.

Морозное небо
Сквозь листья и кусты.
Антоновским яблоком
Луна в ветвях.
Скажи нам, Татьяна,
Что делала ты,
Пока мы рубились
На фронтах?

Октябрь 1927

ВАДИМ АНДРЕЕВ

1903, Москва—1976, Женева

Старший сын знаменитого русского прозаика Леонида Андреева, родной брат поэта-философа Даниила Андреева. Участвовал в гражданской войне, эмигрировал сначала в Берлин, затем в Париж. Был близок к Марине Цветаевой, Ремизову, Пошлавскому. В. Набоков положительно отрецензировал книгу его стихов. Написал книгу прозы о своем отце — «Детство». Был участником французского Сопротивления. После войны стал советским гражданином и работал в ООН в Нью-Йорке и Женеве. Его дочь Ольга Андреева издала одну из первых антологий советской поэзии на английском — «Poets on the street corners». Несильный, но хорошо поставленный голос.

РЕВЕККА

(фрагменты)

*Распявшие Его делили одежды Его,
бросая жребий кому что взять.*
От Марка 15.24

1

Он пах
селедками и керосином —
Прикрытый периною быт. По ночам
Медлительный сон в полушубке овчинном,
Усевшись на лавку, угрюмо молчал.

Как гуща кофейная в погнутой кружке —
Осели на дно неподвижные дни.
И не было кукол. Слепые игрушки
Лежали, как мертвые звезды, в тени.

...У Ревекки

куклы

нет,

А Ревекке

восемь

лет.

2

Как высоко подвешены баранки!
Над бочкой, где ныряют огурцы,
Как угли светятся в стеклянной банке
Таинственные леденцы.

Как пахнут пряники миндальной пылью,
Как сладостно о пряниках мечтать —
Вот если б подарить Ревекке крылья,
Чтоб эти пряники достать.

...У Ревекки

куклы

нет,

А Ревекке

восемь

лет.

7

Низкое, ночное небо.
У Ревекки куклы нет,
У Ревекки нету хлеба.
Заметая слабый след,
Медленно и неустанно
Падает сухая манна,
В черном воздухе летит,
В черном воздухе звенит.

Кто во тьме поднимет руку?

Кто расколет мрак ночной?

За твою, Израиль, муку

Кто пожертвует собой?

Далека страна родная,

Золотая, голубая,

Каменистая, святая,

Ханаанская земля.

8

Как развалины древнего храма,
Колоннадой без крыши стоят
Неподвижно, сурово, упрямо
Эти трубы и жадно дымят.

И во мгле как глаза великанов,
С каждым часом еще горячей
Полыхают отверстия вулканов,
Золотые орбиты печей.

9

В черном, дощатом бараке
Сложены — до потолка —
Старые платья и фраки —
Плоская, злая тоска.

И наверху приютились,
В ряби застывшей реки,
Всё, чем они поживились —
Стоптаные башмачки.

10

За нас, за нашу злую землю,
За тех, кто плакал, кто смеяться смел,
За тех, кто говорил — «нет, не приемлю»,
За тех, кто ненавидел, кто жалел,

За то, чтоб девочкам дарили куклы,
А мальчикам — футбольные мячи,—
Горят над лагерем, в том небе тусклом,
Ее — неотразимые — лучи.

...У Ревекки

куклы

нет,

А Ревекке

было —

восемь

лет.



1



2

II

1. **Б. ПАСТЕРНАК.** 1930. Художник *Н. ВЫШЕСЛАВЦЕВ*
2. **Ф. СОЛОГУБ.** 1927. Художник *Н. ВЫШЕСЛАВЦЕВ*

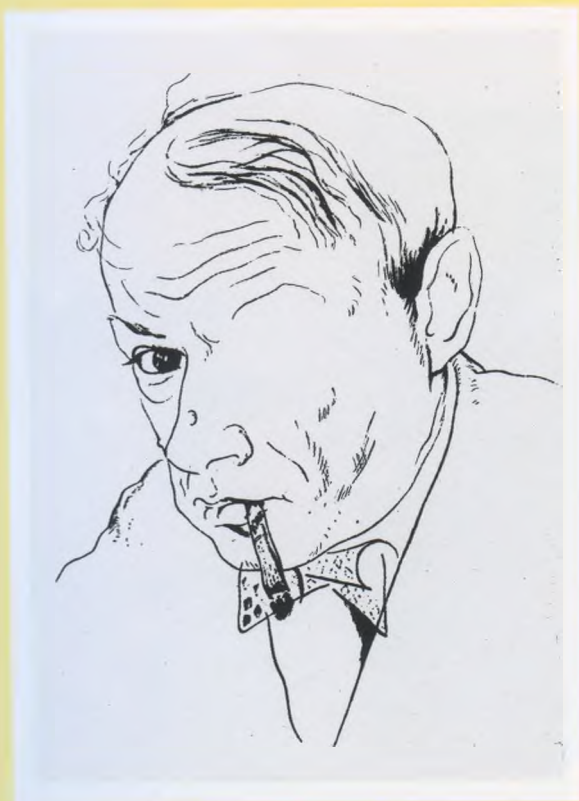


3

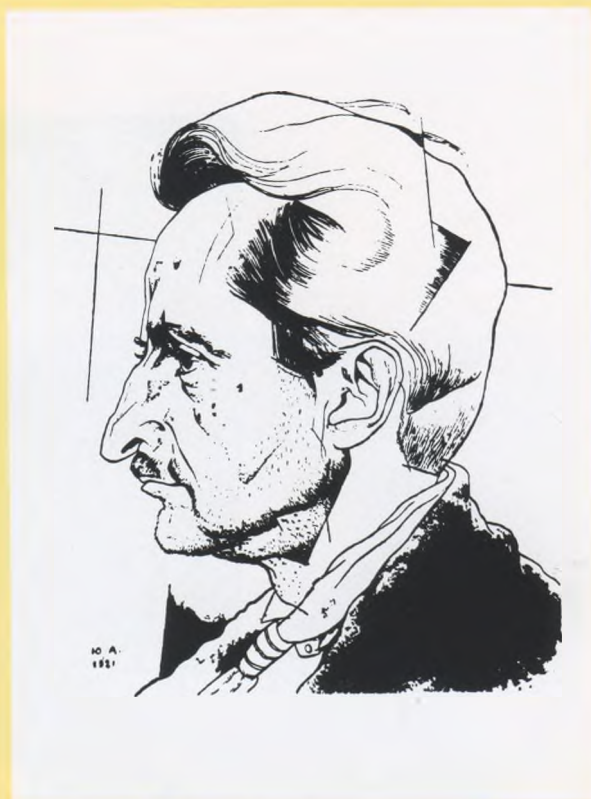


4

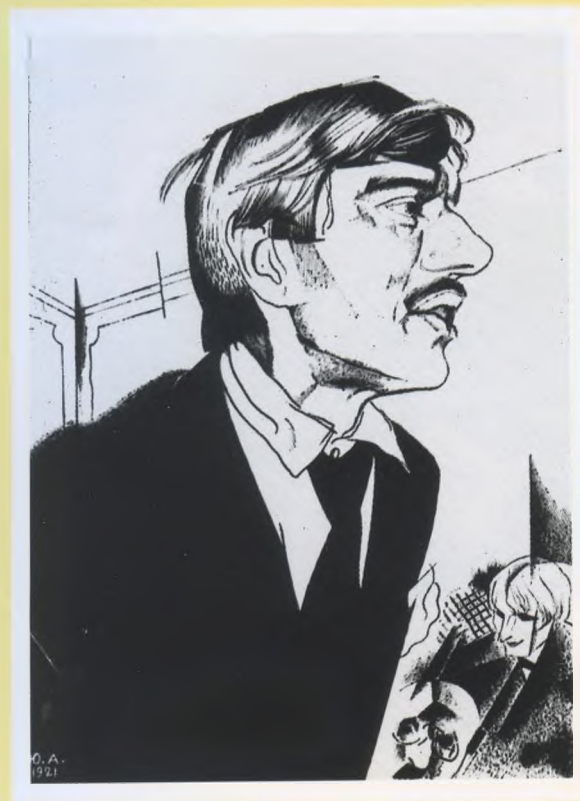
3. И. ЗДАНЕВИЧ. 1913. Художник Н. ГОНЧАРОВА
4. В. ПАРНАХ. Художник П. ПИКАССО



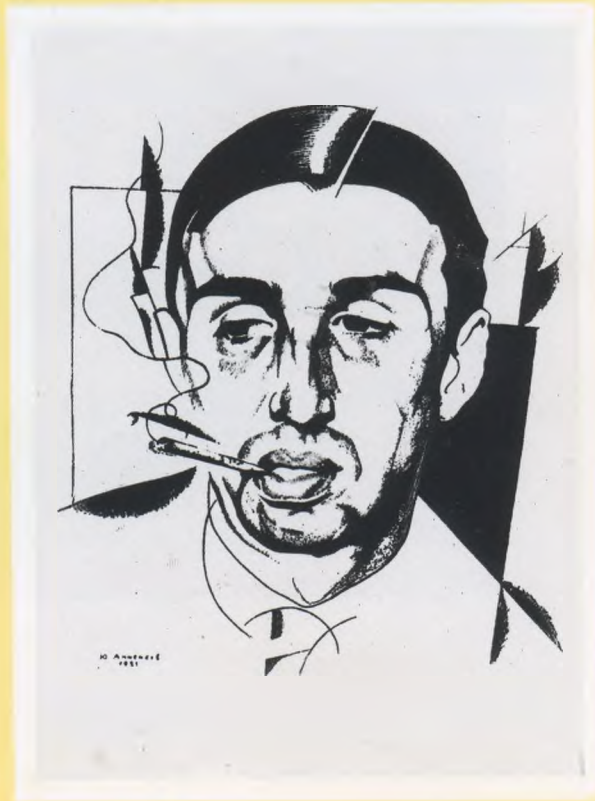
5



6



7



8

5. Ю. АННЕНКОВ. 1922. Автопортрет
6. В. ПЯСТ. 1921. Художник Ю. АННЕНКОВ
7. К. ЧУКОВСКИЙ. 1921. Художник Ю. АННЕНКОВ
8. Г. ИВАНОВ. 1921. Художник Ю. АННЕНКОВ



9



10

9. Вл. ХОДАСЕВИЧ. 1915. Художник В. ХОДАСЕВИЧ
10. К. ЛИПСКЕРОВ. 1918. Художник В. ХОДАСЕВИЧ



11



12

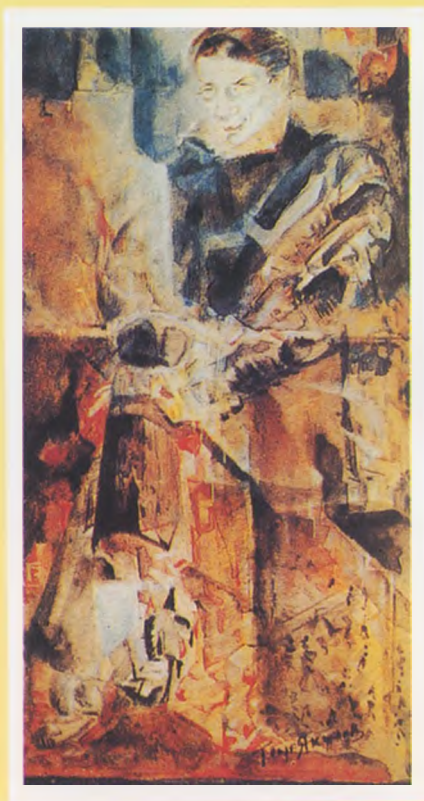
11. **М. ВОЛОШИН.** 1915. *Художник Б. КУСТОДИЕВ*
12. **М. ЦВЕТАЕВА** (1915). *Художник М. НАХМАН*



13



14



15

13. С. ЕСЕНИН (1919). Художник Г. ЯКУЛОВ
14. А. МАРИЕНГОФ (1920). Художник Г. ЯКУЛОВ
15. Р. ИВНЕВ (1920). Художник Г. ЯКУЛОВ



16



17



18



19

16. С. ЕСЕНИН. 1919. Художник Б. ЭРДМАН
17. А. МАРИЕНГОФ. 1919. Художник Б. ЭРДМАН
18. Н. ЭРДМАН. 1919. Художник Б. ЭРДМАН
19. В. ШЕРШЕНЕВИЧ. 1919. Художник Б. ЭРДМАН



20



21

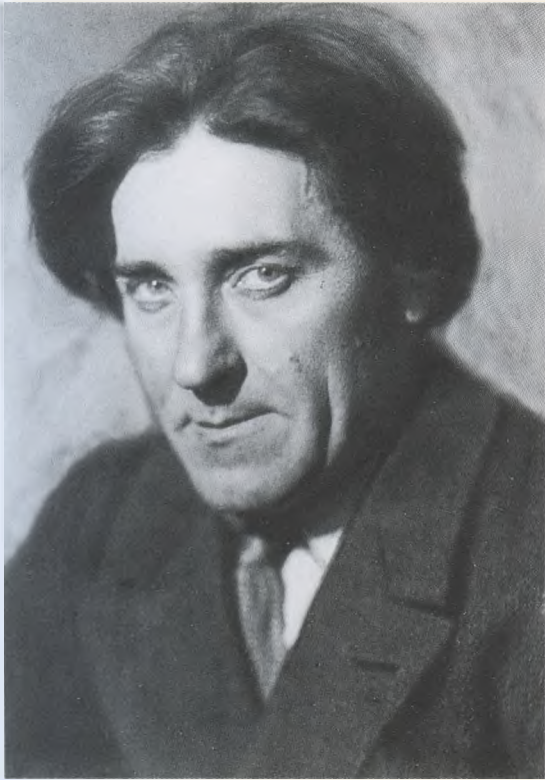


22



23

20. **В. ЭРЛИХ.** 1924. Фото **М. НАППЕЛЬБАУМА.**
21. **И. ЭРЕНБУРГ.** 1920-е. Фото **М. НАППЕЛЬБАУМА.**
22. **М. ШАГИНЯН.** 1927. Фото **М. НАППЕЛЬБАУМА.**
23. **М. ШКАПСКАЯ.** 1925. Фото **М. НАППЕЛЬБАУМА.**



24



25

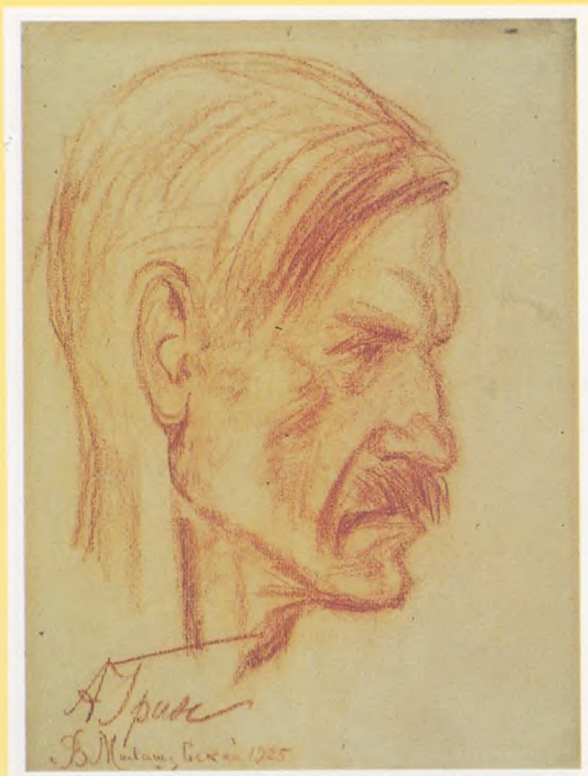


26



27

24. **С. КЛЫЧКОВ.** 1928. *Фото М. НАППЕЛЬБАУМА.*
25. **Г. ШЕНГЕЛИ.** 1920-е. *Фото М. НАППЕЛЬБАУМА.*
26. **И. ГРУЗИНОВ.** 1924. *Фото М. НАППЕЛЬБАУМА.*
27. **И. СЕЛЬВИНСКИЙ.** 1927. *Фото М. НАППЕЛЬБАУМА.*



28

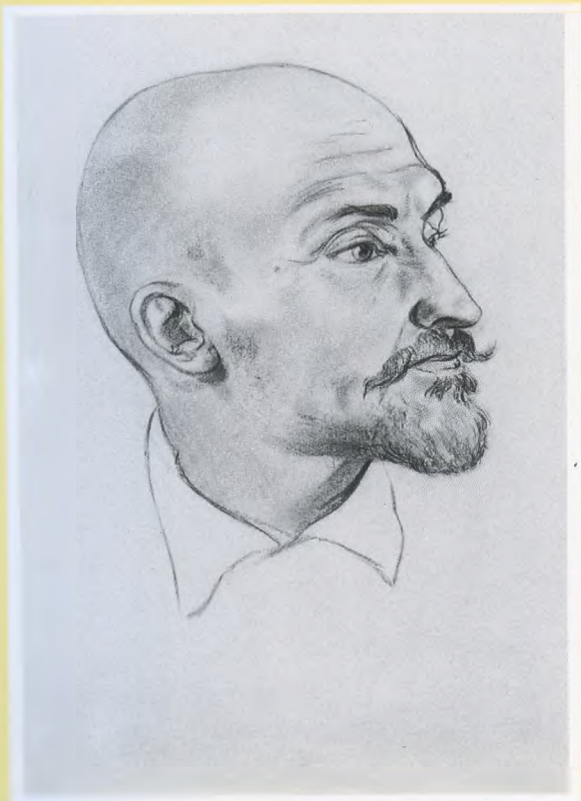


29

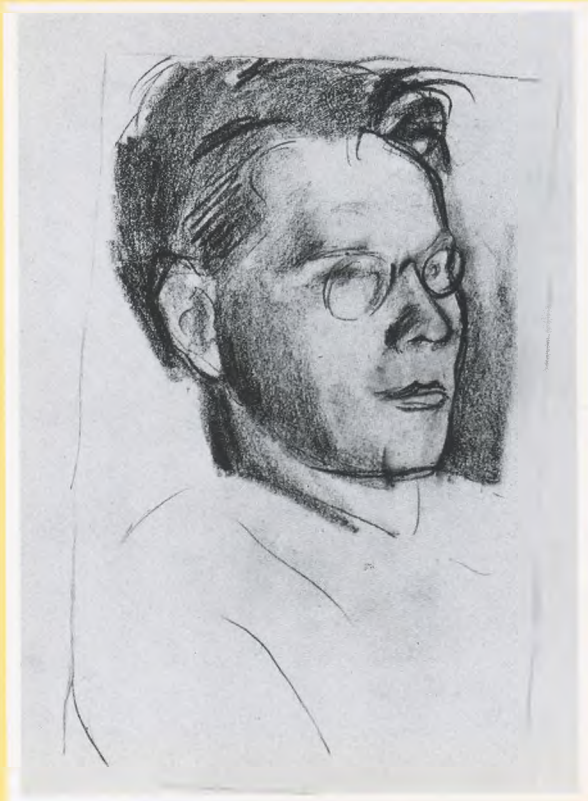


30

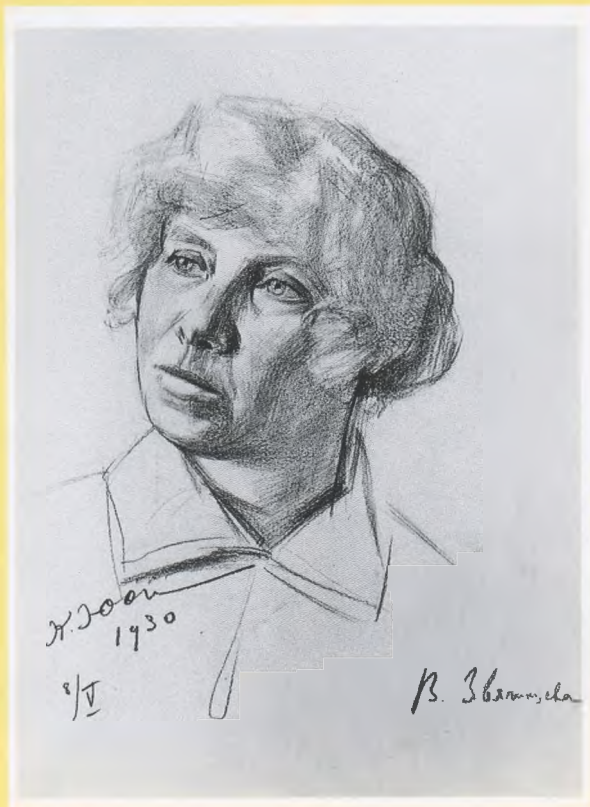
28. **А. ГРИН.** 1925. Художник **В. МИЛАШЕВСКИЙ**
29. **М. КУЗМИН.** 1920. Художник **В. МИЛАШЕВСКИЙ**
30. **О. САВИЧ.** 1920-е. Художник **А. КУРЕННОЙ**



31



32

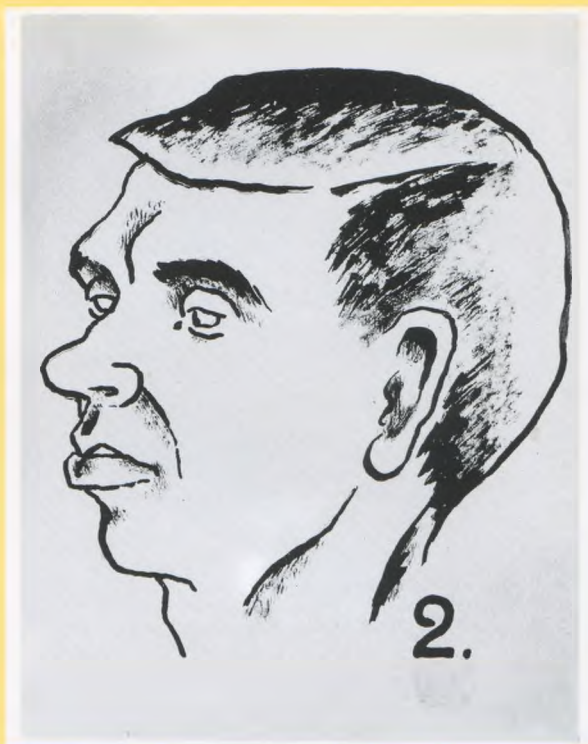


33

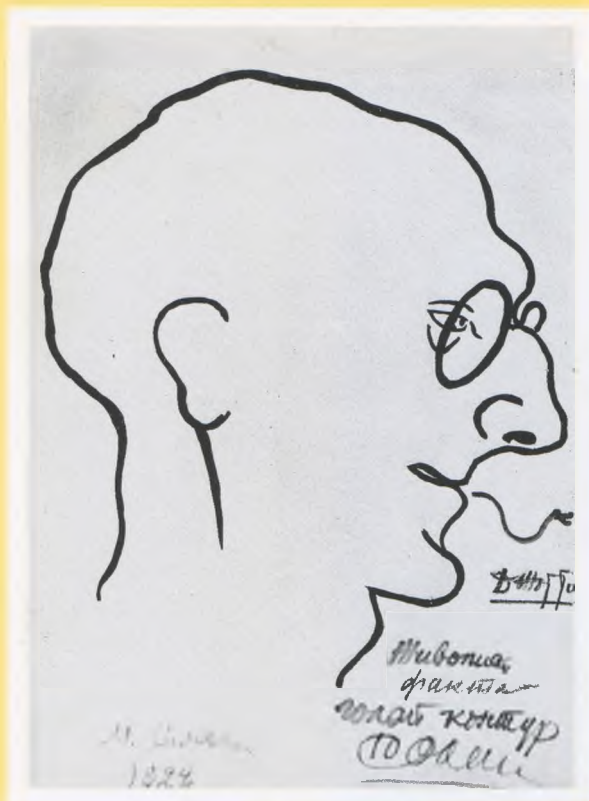
31. Б. САДОВСКОЙ. 1920-е. Художник Б. КУСТОДИЕВ
32. М. ЗЕНКЕВИЧ. 1920-е. Художник А. КРАВЧЕНКО
33. В. ЗВЯГИНЦЕВА. 1930. Художник К. ЮОН



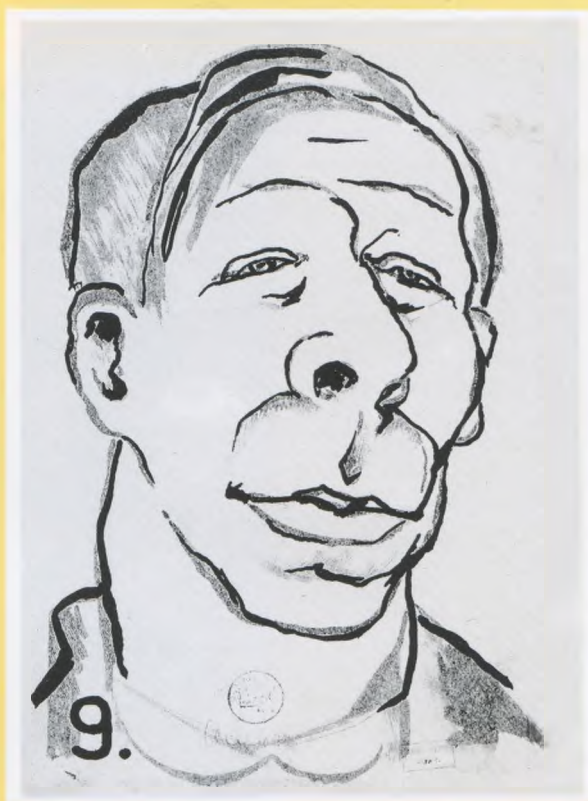
34



35



36



37

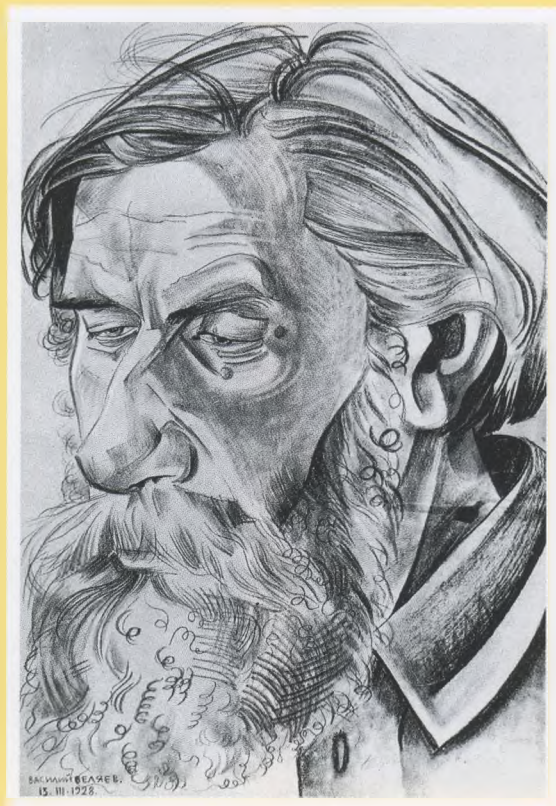
34. Д. ПЕТРОВСКИЙ. 1920-е. Художник М. СИНЯКОВА
35. А. КРУЧЕНЫХ. 1924. Художник М. СИНЯКОВА
36. С. ТРЕТЬЯКОВ. 1924. Художник М. СИНЯКОВА
37. Н. АСЕЕВ. 1924. Художник М. СИНЯКОВА



38



39



40

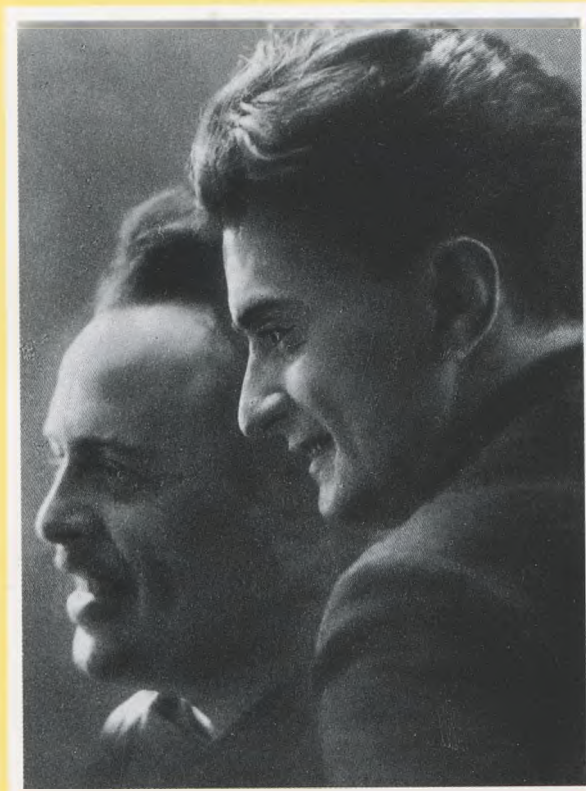
38. С. ГОРОДЕЦКИЙ. 1926. Художник В. БЕЛЯЕВ
39. А. АДАЛИС. 1928. Художник В. БЕЛЯЕВ
40. Ю. ВЕРХОВСКИЙ. 1928. Художник В. БЕЛЯЕВ



41



42



43



44

41. **Б. КОРНИЛОВ.** 1926.
42. **М. СВЕТЛОВ.** 1920-е.
43. **А. БЕЗЫМЕНСКИЙ и И. УТКИН.** 1927.
44. **М. ГОЛОДНЫЙ и А. ЖАРОВ.** 1922.



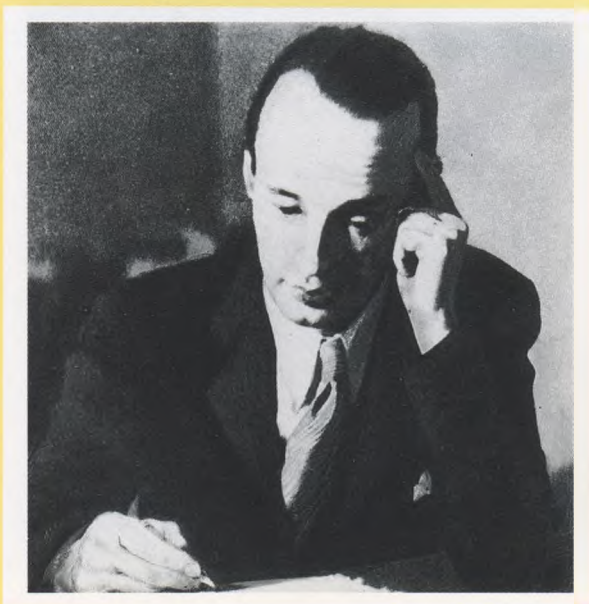
45



46



47

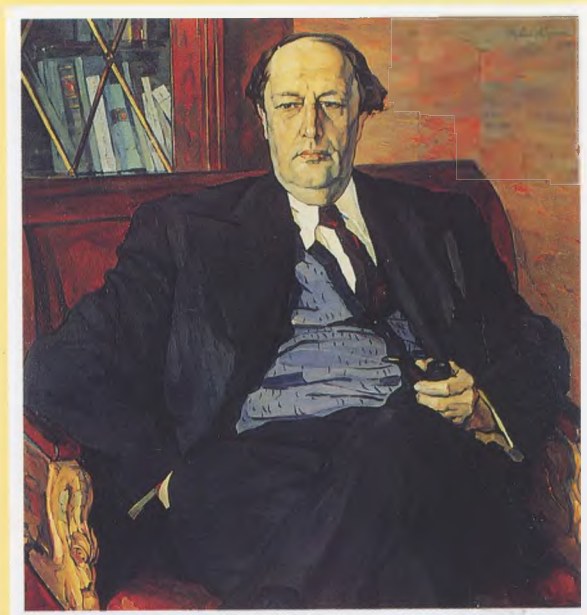


48

45. **И. САВИН.** 1920-е.
46. **И. БУНИН.** 1928.
47. **А. ВЕРТИНСКИЙ.** 1930-е.
48. **В. НАБОКОВ.** 1930-е.



49



50

49. **М. ГОРЬКИЙ.** 1937. Художник П. КОРИН
50. **А. ТОЛСТОЙ.** 1940. Художник П. КОРИН

ЕЛЕНА БЛАГИНИНА

1903, с. Яковлево Орловской губ.—1989, Москва

Издала более сорока книг для детей, притом в очень трудном жанре «для самых маленьких». Начала печататься в 1921 году, окончила Высший литературно-художественный институт имени Брюсова, в 1933 году вышла замуж за ныне — увы, только ныне — всемирно известного поэта Георгия Оболдуева. «Взрослые» стихи лишь в последние годы ее жизни вместе со стихами умершего в 1954 году Оболдуева пришли к читателю.

ДУРОЧКА

1

Дурочка плакала в переулке:
Парни обидели — отняли булки,
И насовали в авоську крапивы,
И удалились горды и счастливы.
Дурочка плакала, глазом косила,
Глазом косила, тихо просила:
— Господи милостивый, вот беда-то,
Не обессудь! Ведь они ребята!
Может, и я за них виновата?

2

Всех раньше встает
И, бродя по закоулкам укромным,
Швыряет остатки — очистки, ошурки —
Животным бездомным.

3

Колючей проволоки жгут
С дороги убрала:
— Играют ребятишки тут,
Слепцы и старцы бродят тут,
Далёко ли до зла?

4

Подкатила коляску мать,
А уж дурочка тут как тут:
— Я не знаю, как тебя звать,
А меня Дуняшей зовут.
В гастроном дите не бери,
Толчя там у них внутри.
И коляску с дитем не прячь,
Я коляску постерегу...
Ах, ты миленький мой, не плачь,
Агу-агу!

5

Из кулечка сыпала пшеницу,
Наклоняла к голубям лицо:
— Ключите, духи святые,
Людьми проклятые!
Ишь как вас вызвездило,
Разузорило!
И за что газетка позорила?

6

Тишину, сынок, не губи,
Что наотмашь бросаешь дверь?
Тишину не губи...люби...
Ведь как сказка она теперь!

7

Поминая черные деньки,
Подбирает корочки, куски...
Все лепечет что-то...
Все бормочет.
К Покрову себе кончину прочит.
Все кого-то ищет
Либо кличет,
О каком-то Феденьке талдычит —
Был-де тонколиким, тонкобровым
Долго-долго, неподвижно, кротко...
Что с нее возьмешь?
Идиотка!

8

Солнце пало за этажи,
А жара гудит все равно.
Острым свистом своим стрижи
Режут воздух, как полотно.
Облака костер разожгли...
Но пустеет, пустеет двор.
К телевизорам все ушли.
Только дурочка на скамье
Среди птиц, как в родной семье.

СУЗДАЛЬ

В слове СУЗДАЛЬ — узда и даль,
Удаль, лад и ад и слеза,
Темноликих спасов печаль
И заступниц кротких глаза.

И юродивых бормот-вздор,
Гомон звонниц и цвель бойниц,
И доселе слышимый хор
Непорочных отроковиц.

1968

МОЛИТВА

Не за свою молю душу пустынную.

Перелесочек-лесочек,
Перепелочка-птенец...
Дай мне счастьяца кусочек
Напоследок, подконец!

Дай мне вздохом-передыхом
Облегчить бездождный день!
...Я не лыком шита — лихом,
Хоть в иголочку продень.

Дай мне хлебушка-солицы,
 Дай водицы — не винца!
 Сделай так, чтоб пели птицы,
 Чтоб шумели деревца.

Чтоб на свете ошалелом
 Перестали зло родить...
 Чтобы свечкам обгорелым
 Слишком долго не чадить.

1969

ГЛЕБ ГЛИНКА

1903—1989

Был одним из очень немногих литераторов «второй волны» эмиграции, за чьими плечами была хоть и небольшая, но все же известность в литературе советской. Он окончил Высший литературно-художественный институт имени Брюсова, печатался с 1925 года в «Красной нови», «Новом мире», «Молодой гвардии» и т. д.; входил в разгромленную позже группу «Перевал». Издал несколько книг (по большей части для детей), перед войной был литературным консультантом по работе с молодежью. В составе писательского ополчения, почти целиком погибшего на фронте, попал в немецкий плен и концлагерь, но был освобожден союзными войсками. Стал довольно известным скульптором, издал книгу воспоминаний «На перевале» (1954) о группе, к которой принадлежал. В 1968 году выпустил наконец первый сборник «В тени», затем, в 1972 году, следующий — «Было завтра», вызвавший заметный интерес со стороны Р. О. Якобсона своей стилистикой, ведущей в глубь слова и прочь от нормативной грамматики.

БУМАЖНЫЙ ЗМЕЙ

Когда душа вскипит, как чайник,
 Открыто, не исподтишка,
 Приладь к идее хвост мочальный
 И запускай под облака.

Удача или неудача
 Не важно; истина проста:
 В искусстве ничего не значит
 Сама идея, без хвоста.

ИДЕЙНОЕ

Бывало, многие людишки
 И молодые и в годах,
 Беспечно резались в картишки
 В любых российских городах.

И мы уже со школьной парты
 Идеями начинены,
 Всю жизнь не брали в руки карты,
 Ни после и ни до войны.

И провидение в отместку
 Готовило исподтишка
 Нам проигрыши не в железку,
 А в подкидного дурака...

И вот едва от бурь остывши,
 Мы принимаемся опять
 О всем несбывшемся и бывшем
 С авторитетом толковать.

Но от изрядного азарта
 Мы, как и прежде, далеки...
 Географические карты
 Играют нами в дураки.

МИХАИЛ ГОЛОДНЫЙ

1903, Бахмут Донецкой губ.—1949, Москва

Широко известный, но все-таки недооцененный поэт, сильно затененный славой своего близкого друга — Светлова (как и Светлов, в юности работал в ЧК). Между тем в лучших своих произведениях Голодный Светлову не уступает. Героиня его шедевра «Верка Вольная» близка «Гадюке» Алексея Толстого. Голодный был автором знаменитых песен — «Матрос Железняк», к примеру. После середины 30-х годов, в которые, надо думать, бывший чекист каждую ночь мог ожидать визита других чекистов, Голодный сломался и не создал ничего значительного.

ЖЕРЕБЕЦ

Полковой наш жеребец,
 Красногривый жеребец.
 Нет теперь таких, боец,
 Чтоб сто верст в один конец.
 Говорят, от Примакова
 Был он к нам командирован.

В городе Орле подкован,
 Был он точно заколдован.
 Под гармонь он шел в атаку.
 Пробивая
 Грудью путь.
 Взять его —
 Коробка маку
 И еще чего-нибудь!

Пуля не брала его,
Шашка не брала его,
Время село на него —
Не осталось ничего.

Врангеля гонял он в Крым,
К морю припирал барона,
Колыхалась степь под ним,
Припадала рожь в поклоне.

Что же вижу?
В Понырях
Конь мой
Ходит водовозом,
На худых кривых ногах
Не стоит перед начхозом.

Как полынь, ему трава,
По ноздре течет слеза,
Опустилась голова,
Чешет бок ему коза.

Пуля не брала его,
Шашка не брала его,
Время село на него —
Не осталось ничего.

Я подумал:
«Что ж ты, брат...»
И пустил в него
Заряд!

1931

ОБЛАВА

Стонут скрипки.
Ходят пары.
Ни вперед и ни назад.
Молча пляшут коммунары,
Семеро моих ребят.

— Кто ты, хлопец? Мне по нраву
Шуба, шапка и наган.
Батьку Дулю знала: право,
Ты не хуже атаман.

Погляди в глаза мне прямо.
К нам откуда занесло?
Ты ли это у Абрама
Подносил мне барахло?

Я людей видала столько,
Что забудешь — наш, не наш.
Ну-ка, раз!
Еще раз польку!
Ну-ка, два!
Даешь чардаш!

Стонут скрипки.
Ходят пары.
Ни вперед и ни назад.
Молча пляшут коммунары,
Семеро моих ребят.

— Слушай, хлопец, под рубахой
У тебя следы штыков.
Нагонял ты, видно, страху
На Кирпичной
На жидов.

Набивалось хлопцев триста,
Всех в отряд к тебе отдам.
Не пойду служить к чекистам,
Не пойду к большевикам.

Хлопец, хлопец, я сырая,
Обогрей, меня, прижми,
У дверей держись к сараю,
Ляжем в сено за дверьми...

Стонут скрипки.
Ходят пары.
Я стреляю молча в тьму.
— Братъ живьем их, коммунары!
Я девчонку сам возьму!
Хватит баловаться! Ну-ка,
Попляши одна пока.
Партбилет тебе порукой,
Я — работник губчека...

Мы по улице шагаем,
Александровскою вниз.
Лунный серп над самым краем
Молодых небес повис.

— На, Валявко!¹ Будь доволен.
Дело сухо — восемь нас.
Но устал я поневоле,
Выполняя твой приказ.

1932

СУДЬЯ ГОРБА

На Диевке-Сухачевке
Наш отряд.
А Махно зажег тюрьму
И мост взорвал.
На Озерку не пройти
От баррикад.
Заседает день и ночь
Ревтрибунал.

Стол накрыт сукном судейским,
Над сукном

¹ Предгубчека г. Екатеринослава (теперь — Днепропетровск)

Сам Горба сидит во френче
За столом.

Суд идет революционный,
Правый суд!
Конвоиры гада-женщину
Ведут.

«Ты гражданка Ларионова?
Садись.
Ты решила, что конина
Хуже крыс.
Ты крысятину варила нам
С борщом!
Ты хлеба нам подавала
Со стеклом!
Пули-выстрела не стоит
Твой обед.
Сорок бочек арестантов?..
Девять лет?»
Суд идет революционный,
Правый суд.
Конвоиры начугрозыска
Ведут.

«Ну-ка, бывший начугрозыска,
Матяш,
Расскажи нам, сколько скрыл ты
С Беней краж?»

Ты меня вводил, Чека вводил
В обман
На Игрени брал ты взятки
У крестьян!

Сколько волка ни учи —
Он в лес опять...
К высшей мере без кассаций —
Расстрелять!»

Суд идет революционный,
Правый суд.
Конвоиры провокатора
Ведут.

«Сорок бочек арестантов!
Виноват...
Если я не ошибаюсь,
Вы — мой брат?
Ну-ка, ближе, подсудимый.
Тише, стоп!
Узнаю у вас, братуха,
Батин лоб...
Вместе спали, вместе ели,
Вышли — врозь.
Перед смертью, значит,
Свидеться пришлось.
Воля партии — закон,
А я — солдат.
В штаб к Духонину! Прямей
Держитесь, брат!»

Суд идет революционный,
Правый суд.
Конвоиры песню «Яблочко»
Поют.

Вдоль по улице Казанской
Тишина.
Он домой идет, Горба.
Его спина.
Чуть сутулится. А дома
Ждет жена,
Кашу с воблой
Приготовила она.

Он стучит наганом в дверь:
«Бери детей.
Жги бумаги, две винтовки
Захвати!
Сорок бочек арестантов...
Поживей!
На Диевку-Сухачевку
Нет пути!»

Суд идет революционный,
Правый суд.
В смертный бой мои товарищи
Идут.

1933

ВЕРКА ВОЛЬНАЯ

Верка Вольная —
коммунальная женка, —
Так звал меня
командир полка.
Я в ответ
хохотала звонко,
Упираясь руками в бока.

Я недаром
на Украине
В семье кузнеца
родилась.
Кто полюбит меня —
не кинет,
Я бросала —
и много раз!
Гоцай, мама,
да берби-цюци!
Жизнь прошла
на всех парусах.
Было детство,
и я была куцей
С красным бантиком в волосах.

Я отцу
меха раздувала.
Пил отец,
буянила мать.

Белый фартучек я надевала,
с гимназистом ходила гулять.

Помню я
Рыбаковую балку,
Вой заводских сирен с утра,
Над потемкинским парком — галки,
Тихий плеск воды у Днепра.

Гоцай, мама,
да веселее!
Горечь детства
мне не забыть.
Никому
в любви не жалея,
Рано я научилась любить.

Год Семнадцатый
грянул железом
По сердцам,
по головам.
Мне Октябрь
волос подрезал,
Папироску поднес к губам.

Куртка желтая
бараньей кожи,
Парабеллум
за кушаком.
В подворотню бросался прохожий,
увидав меня за углом.

И смешно было, и неловко,
И до жара в спине горячо —
Неожиданно вскинув винтовку,
Перекинуть ее за плечо.

Гоцай, мама,
орел или решка!
Умирать, побеждать — все к чертям!
Вся страна
как в стогу головешка,
Жизнь пошла
по железным путям.

Ой, Синельниково,
Лозовая,
Ларионово,
Павлоград.
Поезда летели.
Кривая
Выносила их наугад!

Гоцай, мама,
да берби-цюци!
Жизнь включалась
на полный ход.
Барабаны двух революций
Перепутали
нечет и чет.

Мат.
Проклятье.
Проклятье
и слезы.
На вокзалах
толпа матерей,
Их сшибали с пути
паровозы,
Подымал
поцелуй дочерей.

«Верочка моя...
Вера...»
Лозовая.
Павлоград.
Подхватили меня кавалеры
Из отчаянных наших ребят.

Гуляйполевы,
петриковцы
Напевали мне
про любовь.
Молодой дурошлеп
из свердловцев
Набрехал мне пять коробов!

Я любила —
не уставая —
Все неистовой
день ото дня.
Член компартии из Уругвая
Плакал:
«Вэрко, люби меня...»

Я запомнила его улыбку,
Лягушачьи объятия во сне,
Неуютный,
болезненный,
липкий,

Он от слабости
дрыхнул на мне.

Я хотела на нем задержаться,
Я могла бы себя укротить,
Но не мог он —
подумаешь, цаца! —
Мне любви моей прошлой простить.

Шел, как
баба, он к автомобилю,
По рукам было видно —
не наш.
Через год мы его пристрелили
За предательство и шпионаж.

Гоцай, мама,
да берби-цюци!
Жизнь катилась,
как Днепр-река.
Я узнала товарища Луца,
Ваську Луца,
большевика.

Васька Луц!
 Где о нем не слышали?
 Был он ясен и чист,
 как стекло.
 Мои губы
 его отыскали,
 Мое сердце
 на нем отошло.

— Мы не в этом ищем свободу,—
 Говорил он.
 — Нам путь твой негож.
 Ты из нашей
 рабочей породы,
 Но не видишь, куда идешь...

Гоцай, мама,
 его подкосили!
 Под Орлом его пуля взяла.
 Встань из гроба,
 Луц Василий,
 Твоя Верка
 до ручки дошла.

Твои сверстники вышли в наркомы,
 Твои братья правят страной,
 Твои сестры в Советах, как дома,—
 Я одна
 прохожу стороной.

Завзла меня в яму кривая,
 Ты не умер,
 Василий,— ты жив.
 Меня бьет
 твоя правда живая,
 Всюду
 делом твоим окружив.

Гоцай, мама,
 да берби-цюци!
 Я сама себе
 прокурор.
 Без шумихи,
 без резолюций
 Подпишу я себе приговор.

Будь же твердой,
 Верка, в расплате,
 Он прощал —
 ты не можешь простить.

Ты свободу искала
 в кровати.
 Ты одно понимала —
 любить.

Кто же ты?
 Вспомни путь твой сначала.
 С кем ты шла?
 Чем ты лучше любой?
 Ты не шла —
 тебя время бросало.

Темный сброд ты вела за собой.
 Ты кидалась вслепую упрямо.
 Ты свой долг
 забывала легко.
 Прямо в грязь
 опрокинуто знамя,
 В подреберья
 засело древко.

Посмотри:
 ни орел и ни решка,
 От стыда
 ты свернулась ежом,
 Рот усталый
 искривлен усмешкой,
 Сердце, точно петух под ножом...

Вижу день мой от пороха серый,
 Мне уж знамя над ним не поднять,
 Мир трясет большевистская вера,
 Я ее не могла отстоять.

Без почета,
 без салютов
 Схороните Верку,
 друзья.
 Родилась в девятьсотом
 (как будто),
 В двадцать пятом расходуюсь я.

Месяц июль.
 День Конституции,
 Облака бегут не спеша.
 Гоцай, мама,
 да берби-цюци!
 Верка платит по счету. Ша!

1933

БЕЛЛА ДИЖУР

1903, Черкассы, Украина

Дочь строителя железных дорог, эвакуировавшего семью в Екатеринбург во время Первой мировой войны. Закончила биохимический институт в Ленинграде и вернулась в Свердловск. Первые стихи напечатала в 1937 году. Первая книга была подготовлена к печати в 1941 году, но была возвращена в связи с недостатком «гражданственности», как ее понимали идеологи города, где когда-то прикончили царскую семью. Ее первый сборник был напечатан лишь в 1954-м, а второй — лишь в 1968-м. В 70-х и 80-х была «отказницей», пытаясь воссоединиться со своим сыном — опальным скульптором Эрнстом Неизвестным. Сейчас живет в Нью-Йорке.

* * *

Истончается время, дыханье, движенье...
Увлажняется глаз, цепенеет рука,
И какие-то длинные, белые тени
Заслоняют лицо старика.

Он сидит за столом,
 молодец-молодцом,
Он еще балагурит о том и о сем,
Он еще не в аду, не в раю,
 не в больнице,
Но невидимый свет над висками струится,

За сутулой спиной два белых крыла
И два ангела белых стоят у стола.

Истончается быт.

И привычные вещи
Уплывут невесомо в туман голубой,
И появится сон неожиданно-вещий,
Белокрылым виденьем склоняясь над тобой.

Истончаются связи

 и с дальним, и с ближним,
И поток долголетия, застыв на бегу,
Прерывает земное движение жизни,
Зажигает лампаду на другом берегу.

ВЛАДИМИР ДУКЕЛЬСКИЙ

1903, Псков — 1968, Лос-Анджелес

Воспитаник Киевской консерватории, в 1920 году эмигрировал в Константинополь, где подружился с Борисом Поплавским и основал вместе с ним «Цех поэтов», однако эмигрировал почти сразу в США, где стал очень широко известным композитором; для бродвейских постановок пользовался псевдонимом «Вернон Дюк». Его балет «Зефир и Флора» в 1925 году был поставлен С. Дягилевым. Написал десятки крупных музыкальных произведений, сотни малых, а также более сотни статей о театре и музыке. Лишь когда поэту было под 60, он выпустил свой первый, а за ним второй сборники стихотворений, для которых характерна высокая «музыкальная» профессиональность; позже вышли еще два сборника. О себе писал: «Я среди поэтов — композитор, среди композиторов — поэт».

ПАМЯТИ ПОПЛАВСКОГО

Я знал его в Константинополе,
На Бруссе, в Русском Маяке,
Где беженцы прилежно хлопали
Певцу в облезлом парике,
Где дамы, вежливо грацируя,
Кормили бывших богачей,
Где композиторскую лиру я
Сменил на виршевый ручей.
Распорядители в усладу нам
Порой устраивали бал,
Где «Ваши пальцы пахнут ладаном»
Вертинский, жмурясь, распевал,
Где, тешась вальсами свирельными,
Порхали феи среди толпы
И веерами самодельными
Свои обмахивали лбы.
В американской сей обители¹
Шнырял голодный спекулянт:
«Вот, мистер Джаксон, не хотите ли —

Пятикаратовый брильянт!»
Приходом красных в море выкинут,
Там плакал жирный журналист,
Приспешник некогда Деникина —
Труслив, развратен и речист;
Священник, детский сад, гимназия,
Завет бой-скаутов: будь готов...
К спокойствию, однообразию —
Удел детей и стариков.
Однажды я, в гостинной, вечером
Увидел гнувшегося вбок
Молодчика широкоплечего —
Не то атлет, не то дьячок.
Пиджак, пробор и галстух бантиком.
«Напрасно просишься на холст», —
Подумал я. «Одет романтиком,
А нос, как луковица, толст».
В шестнадцать лет мы все завистливы —
Меня кольнул его пиджак,
Для бедняка наряд немислимый;
Мой фронт — беднейший был бедняк.
Он, не найдя библиотекаря,

¹ «Русский Маяк» был основан УМСА (Христианский союз молодых людей).

Сказал: «Поплавский. Есть Ренан?»
 Но предпочел бы, видно, пекаря
 И разогретый круассан.
 Разговорились. Оба — юные:
 Плели немало чепухи.
 Потом прочел он сладкострунные
 Гнусавым голосом стихи.
 Стихи нелепые, неровные —
 Из них сочился странный яд;
 Стихи беспомощно любовные,
 Как пенье грешных ангелат.
 Но было что-то в них чудесное,
 Волшебный запах шел от них;
 Окном, открытым в неизвестное,
 Мне показался каждый стих.
 И тогой юного Горация
 Мне померещился пиджак —
 Божественная трансформация!
 Из ада в рай — потом в кабак.
 Лакали приторное дузико
 (Союз аниса и огня);
 Стихов пленительная музыка
 Опять наполнила меня.

.....
 Носил берет. Слегка сутулился.
 Был некрасив, зато силен;
 Любил Рэмбо, футбол и улицу,
 Всегда в кого-то был влюблен.
 Уже тогда умел скандалами
 Взъерошить скучное житье;
 Бесцеремонен с генералами,
 Пленял Галатское жулье.
 Грандилоквентными причудами
 Уже тогда смущал народ,
 Но с девушками полногрудыми
 Робел сей русский Дон-Кихот.
 За декорацией намеренной,
 Под романтической броней,
 Таился жалостный, растерянный,
 Негероический герой.
 Что нас связало? Не Европа ли?
 О, нет,— мы вскоре разошлись.
 Но в золотом Константинополе
 Мы в дружбе вечно поклялись.

1961

НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ

1903, Казань—1958, Москва

Боже мой, только сейчас, написав эти две даты, я сообразил, что он умер в сравнительно молодом возрасте, а вот казался всегда старше: и по степенно старомодным манерам провинциального бухгалтера, и по сделанному им в поэзии. Первая книга Заболоцкого «Столбцы» была мятежно новаторской, уходя своими корнями в раннего Маяковского («Я сразу смазал карту будня»), в хлебни-ковские неожиданно взламываемые ямбы, в живопись Шагала, Гончаровой и Ларионова. Вся книга была пронизана издевательским презрением к «мурлу мешанина», способного поглотить все великие идеи. «Вторая книга», вышедшая в 1937 году, была бегством от социальности, становящейся опасной, в пантеизм. Но он тоже оказался небезопасен. В 1938 году Заболоцкий был репрессирован и вернулся в 1946 году благодаря заступничеству Фадеева. Сначала ушел в переводы, но затем, после 1953-го, снова выдвинулся в первые ряды поэтов, написав такие шедевры, как «Некрасивая девочка» и «Где-то в поле возле Магадана». Во всех своих ипостасях Заболоцкий — замечательный поэт.

ЛИЦО КОНЯ

Животные не спят. Они во тьме ночной
 Стоят над миром каменной стеной.

Рогами гладкими шумит в соломе
 Покатая коровы голова.
 Раздвинув скулы вековые,
 Ее притиснул каменистый лоб,
 И вот косноязычные глаза
 С трудом вращаются по кругу.

Лицо коня прекрасней и умней
 Он слышит говор листьев и камней.
 Внимательный! Он знает крик звериный
 И в ветхой роще рокот соловьиный.

И зная всё, кому расскажет он
 Свои чудесные виденья?
 Ночь глубока. На темный небосклон
 Восходят звезд соединенья.
 И конь стоит, как рыцарь на часах,

Играет ветер в легких волосах,
 Глаза горят, как два огромных мира,
 И грива стелется, как царская порфира.

И если б человек увидел
 Лицо волшебное коня,
 Он вырвал бы язык бессильный свой
 И отдал бы коню. Поистине достоин
 Иметь язык волшебный конь!
 Мы услышали бы слова.
 Слова большие, словно яблоки. Густые,
 Как мед или крутое молоко.
 Слова, которые вонзаются, как пламя,
 И, в душу залетев, как в хижину огонь,
 Убогое убранство освещают.
 Слова, которые не умирают
 И о которых песни мы поем.

Но вот конюшня опустела,
 Деревья тоже разошлись,
 Скупое утро горы спеленало,
 Поля открыло для работ.

И лошадь в клетке из оглобель,
Повозку крытую влача,
Глядит покорными глазами
В таинственный и неподвижный мир.

1926

ФУТБОЛ

Ликует форвард на бегу.
Теперь ему какое дело!
Недаром согнуто в дугу
Его стремительное тело.
Как плащ, летит его душа,
Ключица стучается звонко
О перехват его плаща.
Танцует в ухе перепонка,
Танцует в горле виноград,
И шар перелетает ряд.

Его хватают наугад,
Его отравую поят,
Но башмаков железный яд
Ему страшнее во сто крат.
Назад!

Свалились в кучу беки,
Опухшие от сквозняка,
Но к ним через моря и реки,
Просторы, площади, снега,
Расправив пышные доспехи
И накрываясь в меридиан,
Несется шар.

В душе у форварда пожар,
Гремят, как сталь, его колена,
Но уж из горла бьет фонтан,
Он падает, кричит: «Измена!»
А шар вертится между стен,
Дымится, пучится, хохочет,
Глазок сожмет: «Спокойной ночи!»
Глазок откроет: «Добрый день!»
И форварда замучить хочет.

Четыре гола пали в ряд,
Над ними трубы не гремят,
Их сосчитал и тряпкой вытер
Меланхолический голкипер
И крикнул ночь. Приходит ночь.
Бренча алмазною заслонкой,
Она вставляет черный ключ
В атмосферическую лунку.
Открылся госпиталь. Увы,
Здесь форвард спит без головы.

Над ним два медные копыя
Упрямый шар веревкой вяжут,
С плиты загробная вода
Стекает в ямки вырезные,
И сохнет в горле виноград.
Спи, форвард, задом наперед!

Спи, бедный форвард!
Над землею
Заря упала, глубока,
Танцуют девочки с зарею
У голубого ручейка.
Всё так же вянут на покое
В лиловом домике обои,
Стареет мама с каждым днем...
Спи, бедный форвард!
Мы живем.

1926

ДВИЖЕНИЕ

Сидит извозчик, как на троне,
Из ваты сделана броня
И борода, как на иконе,
Лежит, монетами звеня.
А бедный конь руками машет,
То вытянется, как налим,
То снова восемь ног сверкают
В его блестящем животе.

1927

БРОДЯЧИЕ МУЗЫКАНТЫ

Закинув на спину трубу,
Как бремя золотое,
Он шел, в обиде на судьбу.
За ним бежали двое.
Один, сжимая скрипки тень,
Горбун и шаромыжка,
Скрипел и плакал целый день,
Как потная подмышка.
Другой, искусник, и борец
И чемпион гитары,
Огромный нес в руках крестец
С роскошной песнею Тамары.
На том крестце семь струн железных,
И семь валов, и семь колков,
Рукой построены полезной,
Болтались в виде уголков.

На стогнах солнце опускалось,
Неслись извозчики гурьбой.
Как бы фигуры пошехонцев
На волокнистых лошадях.
И вдруг в колодце между окон
Возник трубы волшебный локон,
Он прынул вверх тупым жерлом
И заревел. Глухим орлом
Был первый звук. Он, грохнув, пал,
За ним второй орел предстал,
Орлы в кукушек превращались,
Кукушки в точки уменьшались,
И точки, горло сжав в комок,
Упали в окна всех домов.

Тогда горбатику, скрипочку
Приплюснув подбородком,
Слепил перстом улыбочку

На личике коротком,
И, визгнув поперечиной
По маленьким струнам,
Заплакал, искалеченный:
— Тилим-там-там!

Система тронулась в порядке.
Качались знаки вымысла.
И каждый слушатель украдкой
Слезой чистой вымылся,
Когда на подоконниках
Средь музыки и грохота
Легла толпа поклонников
В подштанниках и кофтах.

Но богослов житейской страсти
И чемпион гитары
Подъял крестец, поправил части
И с песней нежною Тамары
Уста отважно растворил.
И все умолкло.
Звук самодержавный,
Глухой, как шум Куры,
Роскошный, как мечта,
Пронесся...
И в этой песне сделалась видна
Тамара на кавказском ложе.
Пред нею, полные вина,
Шипели кубки дотемна.
И юноши стояли тоже.
И юноши стояли,
Махали руками,
И страстные дикие звуки
Всю ночь раздавались там...
Тилим-там-там!

Певец был строен и суров.
Он пел, трудясь, среди дворов,
Средь выгребных высоких ям
Трудился он, могуч и прям.
Вокруг него система кошек,
Система окон, ведер, дров
Висела, темный мир размножив
На царства узкие дворов.
Но что был двор? Он был трубою,
Он был тоннелем в те края,
Где был и я гоним судьбою,
Где пропадала жизнь моя.
Где сквозь мансардное окошко
При лунном свете, вся дрожа,
В глаза мои смотрела кошка,
Как дух седьмого этажа.

1928

ЦИРК

Цирк сияет, словно щит,
Цирк на пальцах верещит,
Цирк на дудке завывает,
Душу в душу ударяет!
С нежным личиком испанки

И цветами в волосах
Тут девочка, пресветлый ангел,
Виясь, плясала вальс-казак.
Она среди густого пара
Стоит, как белая гагара,
То с гитарой у плеча
Реет, ноги волоча.
То вдруг присвистнет, одинокая,
Совьется маленьким ужом,
И вновь несется, нежно охая,—
Прелестный образ и почти что нагишом!
Но вот одежды беспокойство
Вкруг тела складками легло.
Хотя напрасно!
Членов нежное устройство
На всех впечатление произвело.

Толпа встает. Все дышат, как сапожники,
Во рту слюны навар кудрявый.
Иные, даже самые безбожники,
Полны таинственной отравой.
Другие же, суя табак в пустую трубку,
Облизываясь, мысленно целуют ту
голубку,
Которая пред ними пролетела.
Пресветлая! Остаться не захотела!

Вой всюду в зале тут стоит,
Кромешным духом все полны.
Но музыка опять гремит,
И все опять удивлены.
Лошадь белая выходит,
Бледным личиком вертя,
И на ней при всем народе
Сидит полновесное дитя.
Вот, маша руками враз,
Дитя, смеясь, сидит анфас,
И вдруг, взмахнув ноги обмылком,
Дитя сидит к коню затылком.
А конь, как стражник, опустил
Высокий лоб с большим пером,
По кругу носится, спесив,
Поставив ноги под углом.

Тут опять всеобщее изумленье,
И похвала, и одобренье,
И, как зверок, кусает зависть
Тех, что недавно улыбались
Иль равнодушными казались.

Мальчишка, тихо хулиганя,
Подружке на ухо шептал:
«Какая тут сегодня баня!»
И девку нежно обнимал.
Она же, к этому привыкнув,
Сидела тихая, не пикнув:
Закон имея естества,
Она желала сватовства.

Но вот опять арена скачет,
Ход представленья снова начат.

Два тоненькие мужика
 Стоят, сгибаясь, у шеста.
 Один, ладони поднимая,
 На воздух медленно ползет,
 То красный шарик выпускает,
 То вниз, нарядный, упадет
 И товарищу на плечи
 Тонкой ножкою встает.
 Потом они, смеясь опасно,
 Ползут наверх единоголосно
 И там, обнявшись наугад,
 На толстом воздухе стоят.
 Они дыханьем укрепляют
 Двойного тела равновесье,
 Но через миг опять летают,
 Себя по воздуху развеса.

Тут опять, восторга полон,
 Зал трясется, как кликуша,
 И стучит ногами в пол он,
 Не щадя чужие уши.
 Один старик интеллигентный
 Сказал, другому говоря:
 «Этот праздник разноцветный
 Посещаю я не зря.
 Здесь нахожу я греческие игры,
 Красоток розовые икры,
 Научных замечаю лошадей,—
 Это не цирк, а прямо чародей!»
 Другой, плешивый, как колено,
 Сказал, что это несомненно.

На последний страшный номер
 Вышла женщина-змея,
 Она усердно ползала в соломе,
 Ноги в кольца завивя.
 Проползав несколько минут,
 Она совсем лишилась тела.
 Кругом служители бегут:
 — Где? Где?
 Красотка улетела!

Тут пошел в народе ужас,
 Все свои хватают шапки
 И бросаются наружу,
 Имея девок полные охапки.
 «Воры! Воры!» — все кричали.
 Но воры были невидимки:
 Они в тот вечер угощали
 Своих друзей на Ситном рынке.
 Над ними небо было рыто
 Веселой руганью двойной,
 И жизнь трещала, как корыто,
 Летая книзу головой.

1928

ИВАНОВЫ

Стоят чиновные деревья,
 Почти влезая в каждый дом.
 Давно их кончено кочевье,

Они в решетках, под замком.
 Шумит бульваров теснота,
 Домами плотно заперта.

Но вот все двери растворились,
 Повсюду шепот пробежал:
 На службу вышли Ивановы
 В своих штанах и башмаках.
 Пустые гладкие трамваи
 Им подают свои скамейки.
 Герои входят, покупают
 Билетов хрупкие дощечки,
 Сидят и держат их перед собой,
 Не увлекаясь быстрою ездой.

А там, где каменные стены,
 И рев гудков, и шум колес,
 Стоят волшебные сирены
 В клубках оранжевых волос.
 Иные, дуньками одеты,
 Сидеть не могут взаперти.
 Прищелкивая в кастаньеты,
 Они идут. Куда идти,
 Кому нести кровавый ротик,
 У чьей постели бросить ботик
 И дернуть кнопку на груди?
 Неужто некуда идти?
 О мир, свинцовый идол мой,
 Хлещи широкими волнами
 И этих девок упокой
 На перекрестке вверх ногами!
 Он спит сегодня, грозный мир:
 В домах спокойствие и мир.

Ужели там найти мне место,
 Где ждет меня моя невеста,
 Где стулья выстроились в ряд,
 Где горка — словно Арарат —
 Имеет вид отменно важный,
 Где стол стоит и трехэтажный
 В железных латах самовар
 Шумит домашним генералом?

О мир, свернись одним кварталом,
 Одной разбитой мостовой,
 Одним проплеванным амбаром,
 Одной мышиною норой,
 Но будь к оружию готов:
 Целует девку — Иванов!

1928

СВАДЬБА

Сквозь окна хлещет длинный луч,
 Могучий дом стоит во мраке.
 Огонь раскинулся, горюч,
 Сверкая в каменной рубашке.
 Из кухни пышет дивным жаром.
 Как золотые битюги,
 Сегодня зреют там недаром
 Ковриги, бабы, пироги.

Там кулебяка из кокетства
Сияет сердцем бытия.
Над нею прокликает детство
Цыпленок, синий от мытья.
Он глазки детские закрыл,
Наморщил разноцветный лобик
И тельце сонное сложил
В фаянсовый столовый гробик.
Над ним не поп ревел обедню,
Махая по ветру крестом,
Ему кукушка не певала
Коварной песенки своей:
Он был закован в звон капусты,
Он был томатами одет,
Над ним, как крестик, опускался
На тонкой ножке сельдерей.
Так он почил в расцвете дней,
Ничтожный карлик среди людей.

Часы гремят. Настала ночь.
В столовой пир горяч и пылок.
Графину винному невмочь
Расправить огненный затылок.
Мясистых баб большая стая
Сидит вокруг, пером блистая,
И лысый венчик горностая
Венчает груди, ожирев
В поту столетних королев.
Они едят густые сласти,
Хрипят в неутоленной страсти
И, распуская животы,
В тарелки жмутся и цветы.
Прямые лысые мужа
Сидят, как выстрел из ружья,
Едва вытягивая шею
Сквозь мяса жирные траншеи.
И пробиваясь сквозь хрусталь
Многообразно однозвучный,
Как сон земли благополучной,
Парит на крылышках мораль.

О пташка божья, где твой стыд?
И что к твоей прибавит чести
Жених, приделанный к невесте
И позабывший звон копыт?
Его лицо передвигное
Еще хранит следы венца,
Кольцо на пальце золотое
Сверкает с видом удалца,
И поп, свидетель всех ночей,
Раскинув бороду забралом,
Сидит, как башня, перед балом
С большой гитарой на плече.

Так бей, гитара! Шире круг!
Ревут бокалы пудовые.
И вздрогнул поп, завыл и вдруг
Ударил в струны золотые.
И под железный гром гитары,

Подняв последний свой бокал,
Несутся бешеные пары
В нагие пропасти зеркал.
И вслед за ними по засадам,
Ополоумев от вытья,
Огромный дом, виляя задом,
Летит в пространство бытия.
А там — молчанья грозный сон,
Седые полчища заводов,
И над становьями народов —
Труда и творчества закон.

1928

НАРОДНЫЙ ДОМ

Народный дом, курятник радости,
Амбар волшебного житья,
Корыто праздничное страсти,
Густое пекло бытия!
Тут шишаки красноармейские,
А с ними дамочки житейские
Несли задумчивым ручьем.
Им шум столичный нипочем!
Тут радость пальчиком водила,
Она к народу шла потехою.
Тут каждый мальчик забавлялся:
Кто дамочку кормил орехами,
А кто над пивом забывался.
Тут гор американские хребты!
Над ними девочки, богини красоты,
В повозки быстрые запрятались,
Повозки катятся вперед,
Красотки нежные расплакались,
Упав совсем на кавалеров...
И много было тут других примеров.

Тут девка водит на аркане
Свою пречистую собачку,
Сама вспотела вся до нитки
И грудки выехали вверх.
А та собачка пречестная,
Весенним соком налитая,
Грибными ножками неловко
Вдоль по дорожке шелестит.

Подходит к девке именитой
Мужик роскошный, апельсинник.
Он держит тазик разноцветный,
В нем апельсины аккуратные лежат.
Как будто циркулем очерченные круги,
Они волнисты и упруги;
Как будто маленькие солнышки, они
Легко катаются по жести
И пальчикам лепечут: «Лезьте, лезьте!»

И девка, кушая плоды,
Благодарит рублем прохожего.
Она зовет его на «ты»,
Но ей другого хочется, хорошего.
Она хорошего глазами ищет,
Но перед ней качели свищут.

В качелях девочка-душа
Висела, ножкою шурша.
Она по воздуху летела,
И теплой ножкою вертела,
И теплой ручкою звала.

Другой же, видя преломленное
Свое лицо в горбатом зеркале,
Стоял молодчиком оплеванным,
Хотел смеяться, но не мог.
Желая знать причину искривления,
Он как бы делался ребенком
И шел назад на четвереньках,
Под сорок лет — четвероног.

Но перед этим праздничным угаром
Иные будто спасовали:
Они довольны не амбаром радости,
Они тут в молодости побывали.
И вот теперь, шепча с бутылкою,
Прощаясь с молодостью пылкою,
Они скребут стакан зубами,
Они губой его высасывают,
Они приятелям рассказывают
Свои веселия шальные.
Ведь им бутылка словно матушка,
Души медовая салопница,
Целует слаще всякой девки,
А холодит сильнее Невки.

Они глядят в стекло.
В стекле восходит утро.
Фонарь, бескровный, как глиста,
Стрелой болтается в кустах.
И по трамваям рай качается —
Тут каждый мальчик улыбается,
А девочка наоборот —
Закрыв глаза, открыла рот
И ручку выбросила теплую
На приподнявшийся живот.

Трамвай, шатаясь, чуть идет.
1928

МЕРКНУТ ЗНАКИ ЗОДИАКА

Меркнут знаки Зодиака
Над просторами полей.
Спит животное Собака,
Дремлет птица Воробей.
Толстозадые русалки
Улетают прямо в небо,
Руки крепкие, как палки,
Груды круглые, как репа.
Ведьма, сев на треугольник,
Превращается в дымок.
С лешачихами покойник
Стройно пляшет кекуок.
Вслед за ними бледным хором
Ловят Муху колдуны,

И стоит над косогором
Неподвижный лик луны.

Меркнут знаки Зодиака
Над постройками села,
Спит животное Собака,
Дремлет рыба Камбала,
Колотушка тук-тук-тук,
Спит животное Паук,
Спит Корова, Муха спит,
Над землей луна висит.
Над землей большая плошка
Опрокинутой воды.

Леший вытащил бревешко
Из мохнатой бороды.
Из-за облака сирена
Ножку выставила вниз,
Людоед у джентльмена
Неприличное отгрыз.
Все смешалось в общем танце,
И летят во сне концы
Гамадрилы и британцы,
Ведьмы, блохи, мертвецы.

Кандидат былых столетий,
Полководец новых лет,
Разум мой! Уродцы эти —
Только вымысел и бред.
Только вымысел, мечтанье,
Сонной мысли колыханье,
Безутешное страданье, —
То, чего на свете нет.

Высока земли обитель.
Поздно, поздно. Спать пора!
Разум, бедный мой воитель,
Ты заснул бы до утра.
Что сомненья? Что тревоги?
День прошел, и мы с тобой —
Полузвери, полубоги —
Засыпаем на пороге
Новой жизни молодой.

Колотушка тук-тук-тук,
Спит животное Паук,
Спит Корова, Муха спит,
Над землей луна висит.
Над землей большая плошка
Опрокинутой воды.
Спит растение Картошка.
Засыпай скорей и ты!

1929

НЕКРАСИВАЯ ДЕВОЧКА

Среди других играющих детей
Она напоминает лягушонка.
Заправлена в трусы худая рубашонка,
Колечки рыжеватые кудрей

Рассыпаны, рот длинен, зубки кривы,
 Черты лица остры и некрасивы.
 Двум мальчуганам, сверстникам ее,
 Отцы купили по велосипеду.
 Сегодня мальчишки, не торопясь к обеду,
 Гоняют по двору, забывши про нее,
 Она ж за ними бегаёт по следу.
 Чужая радость так же, как своя,
 Томит ее и вон из сердца рвется,
 И девочка ликует и смеется,
 Охваченная счастьем бытия.

Ни тени зависти, ни умысла худого
 Еще не знает это существо.
 Ей все на свете так безмерно ново,
 Так живо все, что для иных мертво!
 И не хочу я думать, наблюдая,
 Что будет день, когда она, рыдая,
 Увидит с ужасом, что посреди подруг
 Она всего лишь бедная дурнушка!
 Мне верить хочется, что сердце не игрушка,
 Сломать его едва ли можно вдруг!
 Мне верить хочется, что чистый этот пламень,
 Который в глубине ее горит,
 Всю боль свою один переболит
 И перетопит самый тяжкий камень!
 И пусть черты ее нехороши
 И нечем ей прельстить воображенье,—
 Младенческая грация души
 Уже сквозит в любом ее движенье.
 А если это так, то что есть красота
 И почему ее обожествляют люди?
 Сосуд она, в котором пустота.
 Или огонь, мерцающий в сосуде?

1955

ГДЕ-ТО В ПОЛЕ ВОЗЛЕ МАГАДАНА

Где-то в поле возле Магадана,
 Посреди опасностей и бед,
 В испареньях мерзлого тумана
 Шли они за розвальнями вслед.
 От солдат, от их луженых глоток,
 От бандитов шайки воровской
 Здесь спасали только околодок
 Да наряды в город за мукой.
 Вот они и шли в своих бушлатах —
 Два несчастных русских старика,
 Вспоминая о родимых хатах
 И томясь о них издалека.
 Вся душа у них перегорела
 Вдалеке от близких и родных,
 И усталость, сгорбившая тело,
 В эту ночь снедала души их.
 Жизнь над ними в образах природы
 Чередуя двигалась своей.
 Только звезды, символы свободы,
 Не смотрели больше на людей.

Дивная мистерия вселенной
 Шла в театре северных светил,
 Но огонь ее проникновенный
 До людей уже не доходил.
 Вкруг людей посвистывала вьюга,
 Заметая мерзлые пеньки.
 И на них, не глядя друг на друга,
 Замерзая, сели старики.
 Стали кони, кончилась работа,
 Смертные доделались дела...
 Обняла их сладкая дремота,
 В дальний край, рыдая, повела.
 Не нагонит больше их охрана,
 Не настигнет лагерный конвой,
 Лишь одни созвездья Магадана
 Засверкают, став над головой.

1956

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

Задрожала машина и стала,
 Двое вышли в вечерний простор,
 И на руль опустился устало
 Истомленный работой шофер.
 Вдалеке через стекла кабины
 Трепетали созвездья огней.
 Пожилой пассажир у куртины
 Задержался с подругой своей.
 И водитель сквозь сонные веки
 Вдруг заметил два странных лица,
 Обращенных друг к другу навеки
 И забывших себя до конца.
 Два туманные легкие света
 Исходили из них, и вокруг
 Красота уходящего лета
 Обнимала их сотнями рук.
 Были тут огнеликие канны,
 Как стаканы с кровавым вином,
 И седых аквилегий султаны,
 И ромашки в венце золотом.
 В неизбежном предчувствии горя,
 В ожиданье осенних минут,
 Кратковременной радости море
 Окружало любовников тут.
 И они, наклоняясь друг к другу,
 Бесприютные дети ночей,
 Молча шли по цветочному кругу
 В электрическом блеске лучей.
 А машина во мраке стояла,
 И мотор трепетал тяжело,
 И шофер улыбался устало,
 Опуская в кабине стекло.
 Он-то знал, что кончается лето,
 Что подходят ненастные дни,
 Что давно уж их песенка спета,—
 То, что, к счастью, не знали они.

1957

БОРИС КОВЫНЕВ

1903, д. Марьевка Полтавской губ.—1970, Москва

Учился в сельской школе, затем в реальном училище в Полтаве, окончил гимназию в Тбилиси. Печататься начал в 1921-м. В 1923 году поступил во Вхутемас (высшие художественно-технические мастерские). Первый сборник «Стихи» вышел в Москве в 1925 году. В сталинские годы выглядел странным анахронизмом 20-х годов, почти не печатался. Руководил литературными объединениями.

ЧАСЫ

Немного странные и бледные как будто,
Мои часы висели на стене.
Двенадцать лет
Секунды и минуты
Не торопясь отсчитывали мне.

Двенадцать лет!
А после еле-еле
Их стрелки совершили круг.
Мои часы смертельно заболели.
Мои часы остановились вдруг.

И вот теперь я чувствую недаром,
Когда стою в раздумье у стены,
Что и в груди сердечные удары,
Как у часов секунды, сочтены.

Когда-нибудь,
В неведомой пустыне
Иль, может быть,
В трезвоне голосов,
Мое лицо задумчиво застынет,
Как циферблат испорченных часов.

1924

ОЛЕГ КОЛОДИЙ

ок. 1903—1937

Фрагменты этого стихотворения взяты из редчайшей книги «Антология русской поэзии в Польше» (Варшава, 1937). Никаких сведений об авторе найти не удалось, кроме даты смерти.

* * *

Это для меня ковыли пушисто серые
По степям алмазятся росами.
Это для меня кацапской Венерою
Волга раскинулась плесами.
Это для меня лесные чащи и дремы,
Для меня косяки и плач журавлей.
Осенью — чертова свадьба,— ветров
буреломы,

А летом — задушливый суховей.
Это для меня каменные прясла
Точию мой пращур, веков чужа грусть.
Это для меня разгорелась и угасла
Былинная Русь.
Это для меня огни мятежей и пожарищ,
и сарматские вишни бабьих губ.

Для меня мой прадед — бунчужный
товарищ —
Зарывал свой скарб под дуб.
Это для меня деревенские «скушно»,
в помещичьих диванных тоска вечеров.
Для меня секли на конюшнях
гаремных девок и кучеров.
Это для меня дослуживались до майора
и, выйдя в отставку, носили халат.
Для меня прокутили имений просторы,
Развевая тоску и цыганский чад.
Мне вся жизнь отцов среди равнин унылых,
Мне за их подарок идти с сумой.
Мне — последнему — завещали могилы:
Пустырям про нас песни пой!

1937

МАРИАННА КОЛОСОВА

1903—1964, Сантьяго-де-Чили

Родилась на Алтае, в годы гражданской войны пережила бурный роман с Валерианом Куйбышевым, которого поздней назвала «мой маленький проклятый военком». Выпустила в Харбине четыре поэтических сборника, затем, уже в Шанхае (1937), — пятый, последний. Многие среди «восточных эмигрантов» знали наизусть ее строфы: «А Русь молчит. Не плачет и не дышит. К земле лицом разбитым никнет Русь. Я думаю: куда бы встать повыше и крикнуть им: — А я не покорюсь!» С приходом японцев в Маньчжурию поэтессе пришлось уехать в Шанхай: японцам не нужны были никакие русские патриоты, ни советские, ни антисоветские. В конце войны, как и многие, ненадолго викала в просоветское настроение, но после погрома, устроенного Ждановым боготворимой ею Ахматовой, через газеты объявила, что от советского гражданства отказывается. Уехала в Чили, где и умерла.

* * *

Среди ночных, чуть слышных шорохов
 Работаю тихонько я...
 Пускай не выдумаю пороха,
 Но... порох выдумал меня!

1929

НЕОЖИДАННАЯ РУСЬ

Творцы и разрушители умрут...
 Но вечно над Россией Божий суд!

Тень Пугачева сердцу далека,
 Но близок ясный образ Ермака.

Мозг Ленина стихийность не вместил,
 Разрушил, но создать не стало сил...

Страна Петра погибнуть не должна,
 Но ей безвестная дорога суждена.

Не будем же загадывать вперед:
 Какой дорогой Родина пойдет?

Как лава раскаленная гремит,
 Грохочет взрывами безумец-динамит!

Сегодня на груди кровавый бант,
 А завтра... поведет плечом гигант...

На смену залпом — шелесты травы...
 И будут виноватые правы!

Пройдут года. В застенке будет храм.
 На смену пороху — кафельный фимиам.

Но может быть мы снова на покой
 Уьем «своею собственной рукой»?

Творцы и разрушители идут, —
 Кого из них признают и поймут?

И эта неизвестность хороша!
 И радуется... и болит душа...

Звенит сквозь слезы мой задорный смех:
 Россия будет неожиданной для всех!

1929

МЕДНЫЙ ГРОШ

Не осталось ни тропинки, ни следа
 От ушедших в неизвестность навсегда.
 Были. Жили. И куда-то все ушли
 От любимых, от друзей и от земли.

А поля-то, как и раньше, зелены,
 А леса стоят дремучи и темны.
 Там, где были староверские скиты,
 Нынче травы да лазоревы цветы.

Там по тракту в день весенний голубой
 Проводили осужденных за разбой;
 Там девчонка из медвежьего угла
 Достоевскому копеечку дала.

Край, где люди по-хорошему просты,
 Где размашисты двуперстые кресты,
 Где умели и в молитвах и в бою
 Славить родину великую свою.

Только камушки остались от святынь,
 И поля покрыла горькая полынь;
 Но по-прежнему чиста и хороша
 Светлой жалостью российская душа.

Помнишь, девочка безвестного села,
 Как ты грошик Достоевскому дала?
 Но едва ли ты, родная, сознаешь,
 Что Господь тебя спасет за этот грош!

1933

ЮСТИНА КРУЗЕНШТЕРН-ПЕТЕРЕЦ

1903—1983, Сан-Франциско

Правнучка мореплавателя Крузенштерна, вторая половина фамилии появилась как память о втором муже, умершем в Шанхае в 1944 году, поэте Николае Петереце. Выросла в Харбине, однако в литературные объединения не входила, довольно рано уехала в Шанхай, где выпустила в 1946 году сборник «Стихи», так и оставшийся единственным. Мировую известность могло бы принести ей стихотворение «Россия», если бы слушатели Александра Вертинского знали, что первая половина его романа «Китеж» написана ею и опубликована в сборнике шанхайских поэтов «Остров» (1947); однако и по сей день оно публикуется в поэтических сборниках Вертинского, «отписанное» ни в чем не виноватому артисту. Уехав из Китая, жила в Бразилии, пробовала переводить русских поэтов на португальский язык; наконец, перебралась в Сан-Франциско, где некоторое время редактировала газету «Русская жизнь», издала сборник рассказов; написала небольшие, но очень ценные воспоминания о литературной жизни русского Харбина — «Чураевский питомник».

РОССИЯ

Проклинали... Плакали... Вопили...
 Декламировали:

— Наша мать! —

В кабаках за возрожденье пили,
 Чтоб опять наутро проклинать.
 А потом вдруг поняли. Прозрели.
 За голову взялись:

— Неужели?

Китеж! Воскресающий без нас!
 Так-таки великая! Подите ж!
 А она действительно, как Китеж,
 Проплывает мимо глаз.

НИКОЛАЙ ЛАДЫГИН

1903, Смоленск—1975, Тамбов

Уроженец Смоленского края, в годы Великой Отечественной попал в Тамбов, где прожил до конца жизни. Возможно, единственный русский поэт, писавший одни только палиндромы, стихи составленные из строк, одинаково читающихся слева направо и справа налево. Составитель единственной книги Ладыгина «Золото лоз» (Тамбов, 1993) справедливо возводит в традицию палиндромов старинные русские традиции, ибо знаменитый ответ Скомороха: «На в лоб, болван!» — не что иное, как палиндром. Первые русские стихи, написанные палиндромом, были созданы В. Хлебниковым, но делом жизни палиндром стал только для Ладыгина. Хотя Ладыгин почти не печатался, его знали, он был другом Н. Глазкова.

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ
 (фрагмент)

Сила. Покой. Окопались.
 Сибарит и Рабис.
 А за
 Ворота вон тащат новаторов.
 То пиита рати и пот.
 Мера секла. Жал кесарем
 Атаку редактор. О коротка, де, рука та
 Нового. Вон!..

.....

ЮРИЙ ОДАРЧЕНКО

1903—1960, Париж

Был профессиональным художником по тканям, держал собственное ателье в Париже, своими рисунками чертиков и ведьмочек зарабатывал много лучше других парижских литераторов, — до 1947 года он, собственно, таковым и не был, держался в стороне от литературных кругов. Впервые его имя прозвучало — и сразу очень громко, — когда в 1947 году в Париже вышел очень сильный альманах «Орион» под редакцией Одарченко, его друга В. Смоленского и виолончелиста А. Шайкевича; в альманахе участвовали Г. Иванов, И. Бунин, Б. Зайцев, Г. Газданов и многие другие, там же напечатаны ценнейшие воспоминания В. Злобина о Мережковских и Шайкевича о Кузmine. Вскоре вышел и единственный сборник стихотворений Одарченко «Денек» (Париж, 1949), сразу утвердивший поэта в первом ряду скандальных эмигрантских знаменитостей, — Одарченко оказался почти единственным за границей СССР поэтом-нигилистом, сродни А. Введенскому, сюрреалистом, для которого черты были видимы и реальны. В 50-е много писал и печатался, в 1960 году в результате неудачной комбинации прописанных ему лекарств в невменяемом состоянии покончил с собой. Его наследие было собрано и издано лишь в 1983 году; его «нигилизм» оказал явное влияние на творчество позднего Георгия Иванова.

ПЕСНЬ О СЕВЕРНОМ СУДАКЕ

В каком-то доме был чердак,
 Где умер северный судак.
 Двоюродные братья и даже просто братья!

На песчаном откосе лежит судак.
 Это не выдумка — это так!
 Не на серебряном подносе,

А на песчаном откосе.
 Лежит он смирно на боку,
 Теперь не нужны судаку
 Двоюродные братья и даже просто братья —
 Судак в Божественных объятьях.
 Он умер, не убит,
 И чешуя его блестит,
 И ангелы на чердаке
 Поют о мертвом судаке.

* * *

В перетопленных залах больницы
 Сумасшедшие люди кричат.
 Но я вижу окраины Ниццы
 И луга, где коровы мычат.

Вот приходит высокий и строгий
 Над людьми властелин — психиатр.
 Он им стучает палочкой ноги,
 Начиная привычный театр.

Подошедши к моей вероломной кровати,
 Долго имя читает, поднявши очки:
 «Это русский? Скажите, с какой же он стати
 Здесь лежит?» — говорит, расширяя зрачки.

И потом прибавляет, высокий и строгий,
 Улыбаясь концом папирасы своей:
 «Если русский, — наверное, думает много,
 Вероятно, о спутниках. Слушайте, эй!»

Но я вижу поэта в приветливой Каньи:
 С книгой ходит, и белые чайки летят...
 «Эти русские, просто одно наказание».
 Говорит психиатр, а больные кричат.

* * *

Мальчик катит по дорожке
 Белое серсо.
 В беленьких чулочках ножки,
 Белое серсо.
 Солнце сквозь листву густую
 Золотит песок,
 И бросает тень густую
 Кто-то на песок.
 Мальчик смотрит, улыбаясь —
 Ворон на суку.
 А под ним висит, качаясь,
 Кто-то на суку.

* * *

(фрагмент)

Медведи стали огурцами
 (Я с детства к точности привык)
 И повторяю — огурцами.
 Многообразен наш язык.
 А сколько их в соленой бочке!

В ней русский дух, в ней есть укроп.
 Здесь точность требовала б точки,
 Но — огурцы, на них укроп...
 Неточность вся в последней строчке:
 Не снят еще стеклянный гроб.

* * *

А ты, Ванюша,
 Поди зарежь черного петушка.
 — Да с какой же стати?
 Петушок по утрам поет.
 — Петь-то он поет,
 Да чтоб его слушать,
 Надо живым быть,
 А чтоб живым быть,
 Надо кушать.
 Зарезал Ваня петушка.
 Вот все живы, сидят и слушают.
 Как курочка кудахчет,
 О петушке своем плачет.

* * *

На красной площади, на плахе,
 Сидит веселый воробей,
 И видит, как прохожий в страхе,
 Снимает шапку перед ней.

Как дико крестится старуха,
 Глазами в сторону кося,
 Как почесал за левым ухом
 Злодей, добычу унося.

И с высоты своей взирая
 На этих суетных людей,
 Щебечет, солнце прославляя,
 На плахе, сидя, воробей.

* * *

Есть совершенные картинки:
 Шнурок порвался на ботинке,
 Когда жена в театр спешит
 И мужа злобно тормошит.

Когда усердно мать хлопочет:
 Одеть теплей сыночка хочет,
 Чтоб мальчик грудь не застудил,
 А мальчик в прорубь угодил.

Когда скопил бедняк убогий
 На механические ноги,
 И снова бодро зашагал,
 И под трамвай опять попал.

Когда в стремительной ракете,
 Решив края покинуть эти,
 Я расшибу о стенку лоб,
 Поняв, что мир — закрытый гроб.

АНАТОЛИЙ ОЛЬХОН

1903, Вологда—1950, Новая Руза Московской обл.

Псевдоним А. Пестюхина. Наследие Ольхона, прожившего большую часть жизни в Иркутской области, велико (более сорока книг). Во время войны пользовалось огромной популярностью в Сибири его стихотворение об обручальных кольцах, пожертвованных в фонд обороны. Лучшее произведение Ольхона — поэма «Ведомость о секретном преступнике Чернышевском за 1862—1863 гг.», из которой мы приводим отрывок. Вся поэма написана на основе сибирского бродяжьего фольклора.

ПЕСНЯ СИБИРСКОГО ТРАКТА

Гонит желтые листочки,
Гонит ветер гулевой,
Тучи дремные, с дождями
Слезы льют над головой.

По дороженьке широкой
Арестантики идут,
На дороженьке далекой
Себе кликают беду.

За уральскими камнями
Птичка — в ельничке — снегирь
Позади тебя — Рассея,
Перед личиком — Сибирь.

Обождите, не спешите,
Эй вы, босы и голы,
Левой рученькой держите,
Придержите кандалы.

По распутью, по росстани,
Помяни родимый край.
На прощальном на привале
Нашу песню запевай.

Чтобы кости не стучали,
Чтобы путь короче был,
Чтобы вы не заскучали
У дорожных у могил.

Кто там лег, не все равно ли?
Знать, такая ж голытьба:
На спине бубновым тузом
Припечатана судьба.

Не зови Сибирь чужою,
Только душу береги:
Места хватит под землею
Для тебя и для других.

БОРИС ПОПЛАВСКИЙ

1903, Москва — 1935, Париж

В 1919 году семья Поплавских эмигрировала во Францию через Константинополь. Начал печататься в эмигрантских журналах в 1928-м. Обладал уникальным шармом, сделавшим его легендой. Первая книга «Флаги» была напечатана в 1931-м. Скончался от слишком большой дозы героина, что было больше похоже на мистическую игру со смертью, чем на осознанное самоубийство. Посмертно изданы еще три книги его стихотворений, два романа, дневники.

ЖАЛОСТЬ К ЕВРОПЕ

Марку Слониму

Европа, Европа, как медленно в трауре юном
Огромные флаги твои развеваются в воздухе
лунном.

Безногие люди, смеясь, говорят про войну,
А в парке ученый готовит снаряд на луну.

Высокие здания яркие флаги подняли.
Удастся ли опыт? На башне мечтают часы.
А в море закатном огромными летними днями
Уходит корабль в конце дымовой полосы.

А дождик осенний летит на асфальт лиловатый.
Звенит синема, и подросток билет покупает.
А в небе дождливом таинственный гений
крылатый

Вверху небоскреба о будущем счастье мечтает.

Европа, Европа, сады твои полны народу.
Читает газету Офелия в белом такси.
А Гамлет в трамвае мечтает уйти на свободу,
Упав под колеса с улыбкою смертной тоски.

А солнце огромное клонится в желтом тумане,
Далеко-далеко в предместьях газ запылал.
Европа, Европа, корабль утопал в океане,
А в зале оркестр молитву на трубах играл.

И все вспоминали трамваи, деревья и осень.
И все опускались, грустя, в голубую пучину.
Вам страшно, скажите? Мне страшно ль?

Не очень!
Ведь я европеец! — смеялся во фраке мужчина.

Ведь я англичанин, мне льды по газетам
знакомы.

ВИССАРИОН САЯНОВ

1903, Женева — 1959, Ленинград

Родился в семье политических эмигрантов. Детство провел в Сибири, куда родители попали после возвращения в Россию. Окончил Ленинградский университет. Лучшие книги стихов — «Фартовые года» (1926), «Золотая Олёкма» (1934). Автор многочисленных романов. Был редактором журнала «Звезда» с 1944 по 1946-й, а затем с 1953 по 1959-й. Хотя долгое время провел на литературно-бюрократических постах, имел репутацию скорее милого пьяницы, чем функционера. Из уст в уста ходила эпиграмма: «Встретил я Саянова трезвого, не пьяного. Саянова? Не пьяного? Ну, значит, не Саянова». В последних стихах мелькнуло очаровательное четверостишие: «Как ни шутили стихотворцы, как ни буянили в стихах, но привкус пушкинский не стерся на их мальчишеских губах».

ЗОЛОТАЯ ОЛЕКМА

Много было громких песен, токмо
Где же ты, заветная Олёкма,
Нищая, хоть оторви да брось,
Золотом прошитая насквозь?
В кабаках девчонки запевали,
Золота-де много там в отвале,
Мы с одной особенно сдружились —
Балалайки-бруньки жарок грай, —
Пожениться с ней мы побожились,
И ушел я в этот дальний край.

Я увидел там зарю из меди.
За гольцами бурые медведи.
Соболиных множество охот.
На траве испарина, как пот.
Небо там совсем не голубое.

Ночь длинна в покинутом забое.
Ворон — по прозванью верховой —
Пробегает мятою травой.
Я потом тебе писал без фальши:
Ты меня обратно не зови,
До жилого места стало дальше,
Чем до нашей прожитой любви.

По тайге, гольцов шатая недра,
Непокорней лиственниц и кедра,
Ходят зимы в быстром беге нарт.
Мне пошел тогда особый фарт —
Я нашел в забое самородок.
Разве жалко хлебного вина?
Весь в дыму и спирте околоток,
Вся Олёкма в синий дым пьяна.

Самородок отдал я в контору.
Получил зато кредиток гору.
Деньги роздал братьям и друзьям.
Сшили мне отменнейший азам.
Шаровары сшили по старинке,
Блузу на широкой пелеринке.

Заболел потом я страшной болью:
Год лежал в бараке, чуть дыша,
Будто десны мне разъело солью,
От цинги спасала черемша.
Как прошла тайгою забастовка,
Я со всеми шел, а пуля ловко
В грудь навывлет ранила меня.
Сто четыре пролежал я дня.

Пять годов прошло, как день. Как парус
Раздувают ветры средь морей,
Сердце мне тогда раздула ярость,
Дух недоли призрачной моей.

Хорошо потом я партизанил,
С боя брал я каждый шаг и дол,
Этот край под выстрелы я занял,
На Олёкму торную пришел.

Ты опять мне поднялась навстречу,
Как тугая вешняя гроза,
Пегий бык бежит в людскую сечу,
По реке проходят карбаза.

Ради старой ярости в забое
Я стою. Совсем не голубое,
Все в дыму, как перегар пивной,
Небо распласталось надо мной.
Жизнь моя простая мимолетно
Не легла отвалом в стороне,
Ты меня прославила, Олёкма,
Сколько песен спето обо мне!

От гольцов до озера большого
Каждый знает деда Кунгушова.

Вот она моя большая доля,
Под кайлой гудит моя земля,
Ветер вновь летит с ямского поля
На мои дозорные поля.

1933

МИХАИЛ СВЕТЛОВ

1903, Екатеринослав — 1964, Москва

Чемпион легкого веса в поэзии. «Улыбка недремлющим красноармейцем стоит, охраняя поэму мою», — писал он. Улыбка действительно его хранила и позволяла под своим прикрытием писать и печатать весьма грустные стихи: «Мы покинули в детстве когда-то нашу родину — наш инкубатор. Наш извилистый путь устремлен непосредственно в суп и бульон». Пожалуй, самый талантливый из первого поколения так называемых комсомольских поэтов. Во время гражданской войны добровольцем ушел в Красную Армию, а затем в ЧК из тихой еврейской семьи. В 1923 году в Харькове вышел его первый сборник стихов «Рельсы». Нэпа Светлов не понял и не принял, считая его предательством революционных идеалов и, атакуя в стихах партаппаратчиков, обращался с полными жалости посланиями к старушкам, придавленным «красными человеческими статуями». Именно в это время — от неудовлетворенности «обуржуазившейся революцией» — Светлов отчаянно бросился в романтизм и написал знаменитую «Гренаду», которую Маяковский читал наизусть на своих концертах. Во второй половине 20-х писал стихи для подпольных троцкистских листовок. Он рассказывал мне, как его вызвали в ГПУ, предложили быть стукачом, разумеется, под красивым предлогом «спасения революции от врагов». Светлов отказался, сославшись на то, что он тайный алкоголик и не умеет хранить тайн. Из ГПУ он напрямик направился в ресторан «Арагви», где сделал все, чтоб напиться. С той поры ему ничего не оставалось делать, как поддерживать эту репутацию. После войны он был самым любимым профессором в Литинституте. Ему не разрешали выезжать за границу, ссылаясь на то, что он пьет и что у него нет «международного опыта». Светлов горько пошутил: «Однажды я был за границей — вместе с Красной Армией дошел до Берлина». Побывав в Гренаде, в которую поэт так и не попал, в 1966 году я привез в Москву горсть красноватой гренадской земли на могилу Светлова и смешал ее с землей русской. В стихах заключенного Вадима Попова мне попались такие строки: «Спросил его опер: «Скажи, на хрена сдалась тебе, как ее, эта... Грена...» Повышали зубы среди каторжной мглы и мертвые губы шепнули: «Коль...» Грустно. Светлова не арестовали, но колымский ледяной холод проникал всюду — даже за казавшийся уютным столик в «Национале», где Светлов сживал с таким же, как он, неарестованным арестантом эпохи — Ю. Олешей.

ДВОЕ

Они улеглись у костра своего,
Бессильно раскинув тела,
И пуля, пройдя сквозь висок одного,
В затылок другому вошла.

Их руки, обнявшие пулемет,
Который они стерегли,
Ни вьюга, ни снег, превратившийся в лед,
Никак оторвать не могли.

Тогда к мертвецам подошел офицер
И грубо их за руки взял,
Он, взглядом своим проверяя прицел,
Отдать пулемет приказал.

Но мертвые лица не сводит испуг,
И радость уснула на них...
И холодно стало третьему вдруг
От жуткого счастья двоих.

1924

РАБФАКОВКЕ

Барабана тугой удар
Будит утренние туманы, —
Это скачет Жанна д'Арк
К осажденному Орлеану.

Двух бокалов влюбленный звон
Тушит музыка менуэта, —
Это празднует Трианон
День Марии-Антуанетты.

В двадцать пять небольших свечей
Электрическая лампадка, —
Ты склонилась, сестры родней,
Над исписанною тетрадкой...

Громкий колокол с гулом труб
Начинают святое дело:
Жанна д'Арк отдает костру
Молодое тугое тело.

Палача не охватит дрожь
(Кровь людей не меняет цвета) —
Гильотины веселый нож
Ищет шею Антуанетты.

Ночь за звезды ушла, а ты
Не устала. Под переплетом
Так покорно легли листы
Завоеванного зачета.

Ляг, укройся, и сон придет,
Не томися минуты лишней.
Видишь: звезды, сойдя с высот,
По домам разошлись неслышно.

Ветер форточку otvorил,
Не задев остального зданья,
Он хотел разглядеть твои
Подошедшие воспоминанья.

Наши девушки ремешком
Подпоясывая шинели,
С песней падали под ножом,
На высоких кострах горели.

Так же колокол ровно бил,
Затихая у барабана...
В каждом братстве больших могил
Похоронена наша Жанна.

Мягким голосом сон зовет.
Ты откликнулась, ты уснула.
Платье серенькое твое
Неподвижно на спинке стула.

1925

ГРЕНАДА

Мы ехали шагом,
Мы мчались в боях,
И «Яблочко»-песню
Держали в зубах.
Ах, песенку эту
Доныне хранит
Трава молодая —
Степной малахит.

Но песню иную
О дальней земле
Возил мой приятель
С собою в седле.
Он пел, озирая
Родные края:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!»

Он песенку эту
Твердил наизусть...
Откуда у хлопца
Испанская грусть?
Ответь, Александровск,
И Харьков, ответь:
— Давно ль по-испански
Вы начали петь?

Скажи мне, Украина,
Не в этой ли ржи
Тараса Шевченко
Папаха лежит?
Откуда ж, приятель,
Песня твоя:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя»?

Он медлит с ответом,
Мечтатель-хохол:
— Братишка! Гренаду
Я в книге нашел.
Красивое имя,
Высокая честь —
Гренадская волость
В Испании есть!

Я хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде

Крестьянам отдать.
Прощайте, родные!
Прощайте, семья!
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!»

Мы мчались, мечтая
Постичь поскорей
Грамматику боя —
Язык батарей.
Восход поднимался
И падал опять,
И лошадь устала
Степами скакать.

Но «Яблочко»-песню
Играл эскадрон
Смычками страданий
На скрипках времен...
Где же, приятель,
Песня твоя:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя»?

Пробитое тело
Наземь сползло,
Товарищ впервые
Оставил седло.
Я видел над трупом
Склонилась луна,
И мертвые губы
Шепнули: «Грена...»

Да! В дальнюю область,
В заоблачный плес
Ушел мой приятель
И песню унес.
С тех пор не слышали
Родные края:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!»

Отряд не заметил
Потери бойца
И «Яблочко»-песню
Допел до конца.
Лишь по небу тихо
Сползла погода
На бархат заката
Слезинка дождя...

Новые песни
Придумала жизнь...
Не надо, ребята,
О песне тужить.
Не надо, не надо,
Не надо, друзья...
Гренада, Гренада,
Гренада моя!

1926

В РАЗВЕДКЕ

Поворачивали дула
В синем холоде штыков,
И звезда на нас взглянула
Из-за дымных облаков.

Наши кони шли понуро,
Слабо чуя повода.
Я сказал ему: — Меркурий
Называется звезда.

Перед боем больно тускло
Свет свой синий звезды льют...
И спросил он:
— А по-русски
Как Меркурия зовут?

Он сурово ждал ответа;
И ушла за облака
Иностранная планета,
Испугалась мужика.

Тихо, тихо...
Редко, редко
Донесется скрип телег.
Мы с утра ушли в разведку,
Степь и травы — наш ночлег.

Тихо, тихо...
Мелко, мелко
Полночь брызнула свинцом,—
Мы попали в перестрелку,
Мы отсюда не уйдем.

Я сказал ему чуть слышно:
— Нам не выдержать огня.
Поворачивай-ка дышло,
Поворачивай коня.

Как мы шли в ночную сырость,
Как бежали мы сквозь тьму —
Мы не скажем командиру,
Не расскажем никому.

Он взглянул из-под папахи,
Он ответил:
— Наплевать!
Мы не зайцы, чтобы в страхе
От охотника бежать.

Как я встану перед миром,
Как он взглянет на меня,
Как скажу я командиру,
Что бежал из-под огня?

Лучше я, ночной порою
Погибая на седле,
Буду счастлив под землею,
Чем несчастен на земле.

Полночь пулями стучала,
Смерть в полуночи брела,
Пуля в лоб ему попала,
Пуля в грудь мою вошла.

Ночь звенела стременами,
Волочились повода,
И Меркурий плыл над нами —
Иностранная звезда.

1927

СТАРУШКА

Время нынче такое: человек не на месте,
И земля уж, как видно, не та под ногами.
Люди с богом когда-то работали вместе,
А потом отказались: мол, справимся сами.

Дорогая старушка! Побеседовать не с кем вам.
Как поэт, вы от массы прохожих оторваны...
Это очень опасно — в полдень по Невскому
Путешествие с правой на левую сторону...

В старости люди бывают скупее —
Вас трамвай бы за мелочь довез без труда,
Он везет на Васильевский за семь копеек,
А за десять копеек — черт знает куда!

Я стихи свои нынче переделываю заново,
Мне в редакции дали за них мелочишку.
Вот вам деньги. Возьмите, Марья Ивановна!
Семь копеек — проезд,
про запасец — излишки...

Товарищ! Певец наступлений и пушек,
Ваятель красный человеческих статуй,
Прости меня! — я жалею старушек,
Но это — единственный мой недостаток.

1927

ИТАЛЬЯНЕЦ

Черный крест на груди итальянца,
Ни резьбы, ни узора, ни глянца,—
Небогатым семейством хранимый
И единственным сыном носимый...

Молодой уроженец Неаполя!
Что оставил в России ты на поле?
Почему ты не мог быть счастливым
Над родным знаменитым заливом?

Я, убивший тебя под Моздоком,
Так мечтал о вулкане далеком!
Как я грезил на волжском приволье
Хоть разок прокатиться в гондоле!

Но ведь я не пришел с пистолетом
Отнимать итальянское лето,
Но ведь пули мои не свистели
Над священной землей Рафаэля!

Здесь я выстрелил! Здесь, где родился,
Где собой и друзьями гордился,
Где былины о наших народах
Никогда не звучат в переводах.

Разве среднего Дона излучина
Иностраннным ученым изучена?
Нашу землю — Россию, Расею —
Разве ты распахал и засеял?

Нет! Тебя привезли в эшелоне
Для захвата далеких колоний,

Чтобы крест из ларца из фамильного
Вырастал до размеров могильного...

Я не дам свою родину вывезти
За простор чужеземных морей!
Я стреляю — и нет справедливости
Справедливее пули моей!

Никогда ты здесь не жил и не был!..
Но разбросано в снежных полях
Итальянское синее небо,
Застекленное в мертвых глазах...

1943

ДИР ТУМАННЫЙ

1903, Козельск Калужской губ.—1973

Псевдоним Николая Панова. Входил в литературный центр конструктивистов. Стихотворение взято из антологии «Поэты наших дней» (1924). Впоследствии отбросил свой псевдоним и стал прозаиком-маринистом. Привожу неожиданно снова ставшее современным стихотворение.

МОСКОВСКАЯ АМЕРИКА

Самогонки ковшик мне отмеряй-ка,
А потом садись и снова пей!..
Вот она, московская Америка,
С языком и нравами степей.

Год назад грабители не эти ли
Надрывались из-за фунтика муки?..
Выползайте на поминки добродетели
Проститутки, босяки и «рыбаки»!

Говорят, пришли порядки новые,
Большевистская крепчает власть.
Так давай-валяй, тузы бубновые,—
Перед смертью нагуляться всласть.

Эй, приятель, испугался, видно, ночи-то?
Что нахмурился, волнуясь и ворча?
Видно, лучше жизнь голодного рабочего,
Чем нетрудная работа по ночам?

Под рукой бутылочка со втулочкой
И торчит за пазухой наган...
Буду ждать в укромном переулочке —
Не пройдет ли старая карга.

Мне приятней чистить «старых шляп»,
Но потом, от холода дрожа:
— Выворачивай карманы, барышня,
Под угрозой засапожного ножа!

Не умею разводить амурь я,
Да такая жизнь и не по мне.
Буду ждать, пока солдаты хмурые
Не приставят к каменной стене...

На дорогу мне бутылочку отмеряй-ка,
А потом садись и снова пей!
Вот она, московская Америка,
С языком и нравами степей!

1920

ИОСИФ УТКИН

1903, станция Хинган Хабаровского края—1944, под Москвой

Самое знаменитое произведение Уткина — «Повесть о рыжем Мотэле» — вышло, когда автору было всего 22 года. Очаровательное сочетание самоиронии в описании местечкового еврейского быта и сентиментальности, характерное для прозы Шолом Алейхема, для витебских картин Марка Шагала, через Уткина едва ли не впервые в поэзии. Его мягкий лиризм противостоял железному громыханью пролеткультовщины, и, видимо, именно поэтому Луначарский заметил, что в работе Уткина есть «музыка перестройки наших инструментов с боевого лада на культурный». В раннем Уткине можно разглядеть интонационное начало стихов Светлова, Голодного. Над Уткиным жестоко подтрунивал Маяковский, по-детски завидуя его успеху у женщин, его роскошной игре на бильярде (хотя сам был тоже очень сильным игроком), насмешливо цитировал «не придет он так же вот», говоря, что получается «живот». Близки к самопародии были и такие строки: «Красивые во всем красивом, они несли свои тела» или «Берет за грудь певунью безусый комиссар» (это о гитаре!). Его популярность была действительно велика. «Мальчишку шлепнули в Иркутске» многие знали наизусть, но в Иркутске шлепнули не только уткинского мальчишку, но и адмирала Колчака: России пришлось расплачиваться

и за то, и за другое. Популярность Уткина быстро прошла вместе с его молодостью. Но он, не впад в зависть, посвятил жизнь воспитанию молодых поэтов. Погиб в авиационной катастрофе, возвращаясь с фронта.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЕСНЯ

Мальчишку шлепнули в Иркутске.
Ему семнадцать лет всего.
Как жемчуга на чистом блюде,
Блестели зубы
У него.

Над ним неделю измывался
Японский офицер в тюрьме,
А он все время улыбался:
Мол, ничего «не понимаю».

К нему водили мать из дому.
Водили раз,
Водили пять.
А он: «Мы вовсе незнакомы!...»
И улыбается опять.

Ему японская «микада»
Грозит, кричит: «Признайся сам!...»
И били мальчика прикладом
По знаменитым жемчугам.

Но комсомольцы
На допросе
Не трусят
И не говорят!
Недаром красный орден носят
Они пятнадцать лет подряд.

...Когда смолкает город сонный
И на дела выходит вор,
В одной рубашке и кальсонах
Его ввели в тюремный двор.
Но коммунисты
На расстреле
Не опускают в землю глаз!
Недаром люди песни пели
И детям говорят про нас.

И он погиб, судьбу приемля,
Как подобает молодым:
Лицом вперед,
Обнявши землю,
Которой мы не отдадим!

1934

ПИСЬМО

...Я тебя не ждала сегодня
И старалась забыть любя.
Но пришел бородатый водник
И сказал, что знает тебя.

Он такой же, как ты, лохматый,
И такие же брюки-клеш!
Рассказал, что ты был под Кронштадтом.

Жив...

Но больше домой не придешь...

Он умолк.
И мы слушали оба,
Как над крышей шумит метель.
Мне тогда показалась гробом
Колькина колыбель...

Я его поняла с полслова,
Гоша,
Милый!..

Молю...

Приезжай...
Я тебя и такого...
И безногого...
Я люблю!

1923

ПОВЕСТЬ О РЫЖЕМ МОТЭЛЕ,
ГОСПОДИНЕ ИНСПЕКТОРЕ,
РАВВИНЕ ИСАЙЕ
И КОМИССАРЕ БЛОХ
(фрагменты)

ДО БЕЗ ЦАРЯ И НЕМНОГО ПОСЛЕ

И дед и отец работали.
А чем он лучше других?
И маленький рыжий Мотэле
Работал
За двоих.

Чего хотел, не дали.
(Но мечты его с ним!)
Думал учиться в хедере¹,
А сделали —
Портным.
«Так что же?
Прикажете плакать?
Нет так нет!»
И он ставил десять заплаток
На один жилет.

И...

(Это, правда, давнее,
Но и о давнем
Не умолчишь.)
По пятницам
Мотэле давнэл²,
А по субботам
Ел фиш³.

¹ Хедер — школа.

² Молился.

³ Фиш — рыба.

ЖИЛИ-БЫЛИ

Сколько домов пройдено,
Столько пройдено стран.
Каждый дом — своя родина,
Свой океан.

И под каждой слабенькой крышей,
Как она ни слаба, —
Свое счастье,
Свои мыши,
Своя судьба...

И редко,
Очень редко —
Две мыши
На одну щель!

Вот: Мотэле чинит жилетки,
А инспектор
Носит портфель.

И знает каждый по городу
Портняжью нужду одну.
А инспектор имеет
Хорошую бороду
И хорошую жену.

По-разному счастье курится,
По-разному
У разных мест:
Мотэле мечтает о курице,
А инспектор
Курицу ест.

Счастье — оно игриво.
Жди и лови.
Вот: Мотэле любит Риву,
Но... у Ривы
Отец — раввин.

А раввин говорит часто
И всегда об одном:
«Ей надо
Большое счастье
И большой
Дом».

Так мало, что сердце воет,
Воет, как паровоз.
Если у Мотэле все, что большое,
Так это только
Нос.

«Ну, что же?
Прикажете плакать?»

Нет так нет!»
И он ставил заплату
И на брюки
И на жилет.

... ..
Да, под каждой слабенькой крышей,
Как она ни слаба, —
Свое счастье, свои мыши,
Своя
Судьба.

И сколько жизнь ни упряма,
Меньше, чем мало — не дать.
Но у Мотэле
Была мама,
Еврейская старая мать.

Как у всех, конечно, любима.
(Э-э-э... Об этом не говорят!)
Она хорошо
Варила цимес
И хорошо
Рожала ребят.
И помнит он годового
И полугодовых...

Но Мотэле жил в Кишиневе,
Где много городовых,
Где много молебнов спето
По царской родовой,
Где жил... господин... инспектор
С красивой бородой...

Трудно сказать про омут,
А омут стоит
У рта:
Всего...
Два...
Погрома...
И Мотэле стал
Сирота.

«Так что же?
Прикажете плакать?!
Нет так нет!»
И он ставил заплату
Вместо брюк
На жилет.

... ..
А дни кто-то вез и вез.
И в небе
Без толку
Висели пуговицы звезд
И лунная
Ермолка.

... ..

ГЕННАДИЙ ФИШ

1903, Одесса — 1971, Москва

Выступил в литературе сразу во многих жанрах — как поэт, автор рассказов, журналист, переводчик. Однако с годами он все больше занимался документальной прозой. Блестяще перевел Киплинга и отредактировал первое издание его стихов, где были потрясающие переводы Оношкович-Яцыны. Фиш поддержал еще в 1944 году поэтические опыты составителя этой антологии. Не думаю, что строчка «город революций вставал, как памятник чужой» случайна. Это то, что было внутри писателя, придавленное страхом, но все-таки прорвалось. Однако, если международная публицистика Фиша и канула в ничто, его стихи имеют историческую ценность по крайней мере как документы.

ПОЛИТКАТОРЖАНИН

Идет по улицам туман,
Растут сугробы, вечер пьян —
Шатается между домами,
Шатаясь, встал он на мосту
И смотрит долго в темноту
И плещет снежными речами.
Выходят с пьяными речами,
Кричат котами и грачами —
Попарно — люди из пивной.
Но он встает и, уставая, —
Под башмаками мостовая
Бежит, как дождь, как проливной.
Он помнит, в этом низком доме
С слепыми окнами в залив,
Шуршала сабля по соломе,
Был голос осени визглив,
Жандарм высокий — слишком ласков
Был, забирая шрифт и краску

Из типографии ночной.
Потом коней морозный пар —
Летят пожарных колымаги,
Грохочет ведрами пожар;
Горят года, горят бумаги, —
И только вечером сырым
Из Петербурга в путь в Нарым.
Он мерз. Он поднял воротник —
Как будто к снегу не привык;
Он шел по линии трамвая;
Рассвет сочился из дворов;
Привстав за штабелями дров —
Гудел завод — народ собирая;
Вот свет из тесных ставень льет,
Еще здесь мечется фокстрот,
Еще в паркет чечетка бьет —
И песни ссылки с ними льются.
.....
Он шел; и город революций
Вставал, как памятник чужой.

НИНА БРОДСКАЯ

ок. 1904 — после 1970

До революции жила в Киеве, в 20-е годы — в эмиграции, в Берлине, где принимала участие в нескольких коллективных сборниках; из альманаха «Новоселье» (Берлин, 1931) взято публикуемое стихотворение. Во время войны жила в Тулузе. В 1968 году издала единственный сборник стихотворений — «Напролет».

* * *

Быть вновь собой. Ветшая, отпадает
от голого, от зябнувшего «я»
все то, что отпадает и сжимает,
все то, что дом, покров и чешуя.
И за последней оболочкой — тела
безобразность, беззвучность пустоты.
Я не хочу, я не того хотела.
Мой смелый дух, а ты?

Ты помнишь одинокой воли сказку
и чистоту холодную высот.
Я так боюсь, что за простую ласку
ты все отдашь. И вот
запрячешься опять в живые ребра,
в щенка мохнатый ком,
которого собака лижет добрым
и теплым языком.

АЛЕКСАНДР ВВЕДЕНСКИЙ

1904, Петербург — 1941

Был одним из основных участников группы Обэриу. Наследие его сбереглось едва ли на четверть, но и оставшегося хватило на два тома, изданных в Москве в 1993 году и, если других обэриутов, Заболоцкого, Хармса и Олейникова, читатели признали давно и всерьез, то к Введенскому слава пришла не ранее 80-х годов. Притом, как и в случае с Кочетковым и его «Балладой о прокуренном вагоне», поначалу это была слава одного стихотворения — «Элегия». Опубликовал в 1928—1941 годах более тридцати книг для детей, но «взрослые» его произведения, за исключением «Элегии», почти не ходили даже в самиздате. В начале 30-х побывал в тюрьме и ссылке, но вернулся в Ленинград. С 1936 года перебрался в Харьков, что в сентябре 1941 года его и погубило: его «превентивно» арестовали за попытку дождаться прихода немцев, вывезли из Харькова, дата его смерти «20 декабря 1941 года» в официальных документах сомнительна; по разным свидетельствам, Введенский то ли умер в тюремном поезде от дизентерии, то ли был пристрелен конвоем. Его рукописи чудом спас в блокадном Ленинграде Я. С. Друскин. Абсурдная власть боялась абсурдистов. Власть, конечно, не понимала того, что они писали. Но власти мерещилось в обэриутах издевка над ней, презрение, и в своем зверином трусливом инстинкте она не ошибалась.

КРУГОМ ВОЗМОЖНО БОГ

(отрывок)

СВЯЩЕННЫЙ ПОЛЕТ ЦВЕТОВ

Солнце светит в беспорядке,
и цветы летят на грядке,
Тут жирная земля лежит как рысь.
Цветы сказали небо отворись
и нас возьми к себе.
Земля осталась подчиненная своей горькой
судьбе.

*ЭФ сидит на столе у ног воображаемой летающей девушки.
Крупная ночь.*

Э Ф

Здравствуй девушка движенье,
ты даешь мне наслажденье
своим баснословным полетом
и размахом ног.
Да, у ног твоих прекрасный размах,
когда ты пышная сверкаешь и носишься над
болотом,

где шипит вода,—
тебе не надо никаких дорог,
тебе чужд человеческий страх.

ДЕВУШКА

Да, я ничего не боюсь,
я существую без боязни.

Э Ф

Вот родная красотка скоро будут казни,
пойдем смотреть?
А я знаешь все бьюсь, да бьюсь,
чтоб не сгореть.

ДЕВУШКА

Интересно, кого будут казнить?

Э Ф

Людей.

ДЕВУШКА

Это роскошно.
Им голову отрежут или откусят.
Мне тошно.
Все умирающие трусят.
У них работает живот,

он перед смертью усиленно живет.
А почему ты боишься сгореть?

Э Ф

А ты не боишься, дура?
Взлетела как вершина на горе,
блестит как смех твоя волшебная фигура.
Не то вы девушка, не то вы птичка.
Боюсь я каждой спички,
Чиркнет спичка,
и заплачет птичка.
Пропадет отвага,
вспыхну как бумага.
Будет чашка пепла
на столе вонять,
или ты ослепла,
не могу понять.

ДЕВУШКА

Чем ты занимаешься ежедневно.

Э Ф

Пожалуйста. Расскажу.
Утром встаю в два —
гляжу на минуту гневно,
потом зеваю, дрожу.
На стуле моя голова
Лежит и смотрит на меня с нетерпением.
Ладно, думаю, я тебя надену.
Стаканы мои наполняются пением,
в окошко я вижу морскую пену.
А потом через десять часов я ложусь,
лягу, посвищу, покружусь,
голову отклею. Потом сплю.
Да, иногда еще Бога молю.

ДЕВУШКА

Молишься значит?

Э Ф

Молюсь конечно.

ДЕВУШКА

А знаешь, Бог скачет
вечно.

Э Ф

А ты откуда знаешь
идиотка.
Летать — летаешь,
а глупа как лодка.

ДЕВУШКА

Ну не ругайся.
 Ты думаешь долго сможешь так жить.
 Скажу тебе остерегайся,
 учись гадать и ворожить.
 Надо знать все что будет.
 Может жизнь тебя забудет.

Э Ф

Я тебя не пойму:
 голова у меня уже в дыму.

ДЕВУШКА

Да знаешь ли ты что значит время?

Э Ф

Я с временем не знаком,
 увижу я его на ком?
 Как твое время потрогаю?
 Оно фикция, оно идеал.
 Был день? был.
 Была ночь? была.
 Я ничего не забыл.
 Видишь четыре угла?
 Были углы? были.
 Есть углы? скажи, что нет, чертовка.
 День это ночь в мыле.
 Все твое время веревка.
 Тянется, тянется.
 А обрежь, на руках останется.
 Прости милая,
 я тебя обругал.

ДЕВУШКА

Мужчина пахнувший могилою,
 уж не барон, не генерал,
 ни князь, ни граф, ни комиссар,
 ни Красной армии боец,
 мужчина этот Валтасар,
 он в этом мире не жилец.
 Во мне не вырастет обида
 на человека мертвеца.
 Я не Мазепа, не Аида,
 а ты не видящий своего конца
 идем со мной.

Э Ф

Пойду без боязни
 смотреть на чужие казни.

МИР

ДЕМОН

Няню демон спросил —
 няня, сколько в мире сил.
 Отвечала няня: две,
 обе силы в голове.

НЯНЯ

Человек сидит на ветке
 и воркует как сова,
 а верблюд стоит в беседке
 и волнуется трава.

ЧЕЛОВЕК

Человек сказал верблюду
 ты напомнил мне Иуду.

ВЕРБЛЮД

Отчего спросил верблюд.
 Я не ем тяжелых блюд.

ДУРАК-ЛОГИК

Но верблюд сказал: дурак,
 ведь не в этом сходство тел,
 в речке тихо плавал рак,
 от воды он пропотел,
 но однако потный рак
 не похож на плотный фрак
 пропотевший после бала.

СМЕРТЬ

Смерть меня поколебала,
 я на землю упаду
 под землей гулять пойду.

УБИЙЦЫ

Появились кровопийцы
 под названием убийцы,
 с ними нож и пистолет,
 жили двести триста лет.
 И построили фонтан
 и шкатулку и шантан,
 во шантане веселились,
 во фонтане дети мылись.

НЯНЬКИ

Няньки бегали с ведерком
 по окружности земной.
 Все казалось им тетеркой.

О Н

Звери лазали за мной,
 я казался им герой,
 а приснился им горой.

ЗВЕРИ ПЛАЧА

Звери плача: ты висел.
 Все проходит без следа.
 Молча ели мы кисель,
 лежа на кувшине льда.

РОГАТЫЕ БАРАНЫ

Мы во льду видали страны.
 Мы рогатые бараны.

ДЕМОН

Бросьте звери дребедень,
 настает последний день,
 новый кончился шильон,
 мир ложится утомлен,
 мир ложится почивать.
 Бог собрался ночевать.
 Он кончает все дела.

ЛЯГУШКА

Я лягушку родила.
 Она взлетела со стола,
 как соловей и пастила,
 теперь живет в кольце Сатурна,
 беспшибашно, вольно, бурно,
 существует квакает,
 так что кольца крикают.

ВИСЯЩИЕ ЛЮДИ

Боже мы развешаны,
 Боже мы помешаны,
 мы на дереве висим,
 в дудку голоса свистим,

шашкой машем вправо влево
как сундук и королева.

НЯНЬКА

Сила первая светло,
и за ней идет тепло,
а за ней идет движенье
и животных размноженье.

ТАПИР

Как жуир спешит тапир
на земли последний пир.

МЕТЕОР

И сверкает как костер
в пылком небе метеор.

ЭПИЛОГ

На обоях человек,
а на блюдечке четверг.

<1931?>

* * *

Мне жалко что я не зверь,
бегающий по синей дорожке,
говорящий себе поверь,
а другому себе подожди немножко,
мы выйдем с собой погулять в лес
для рассмотрения ничтожных листьев.

Мне жалко что я не звезда,
бегающая по небосводу,
в поисках точного гнезда
она находит себя и пустую земную воду,
никто не слыхал чтобы звезда издавала

скрип,

ее назначение ободрять собственным
молчанием рыб.

Еще есть у меня претензия,
что я не ковер, не гортензия.

Мне жалко что я не крыша,
распадающаяся постепенно,
которую дождь размачивает,
у которой смерть не мгновенна.

Мне не нравится что я смертен,
мне жалко что я неточен.

Многим многим лучше, поверьте,
частица дня единица ночи.

Мне жалко что я не орел,
перелетающий вершины и вершины,
которому на ум взбрел
человек, наблюдающий аршины.

Мы сядем с тобою ветер
на этот камушек смерти.

Мне жалко что я не чаша,
мне не нравится что я не жалость.

Мне жалко что я не роща,
которая листьями вооружалась.

Мне трудно что я с минутами,
меня они страшно запутали.

Мне невероятно обидно
что меня по-настоящему видно.

Еще есть у меня претензия,
что я не ковер, не гортензия.

Мне страшно что я двигаюсь

не так как жуки жуки,
как бабочки и коляски
и как жуки пауки.

Мне страшно что я двигаюсь
непохоже на червяка,
червяк прорывает в земле норы,
заводя с землей разговоры.

Земля где твои дела,
говорит ей холодный червяк,
а земля распоряджаясь покойниками,
может быть в ответ молчит,
она знает что всё не так.

Мне трудно что я с минутами,
они меня страшно запутали.

Мне страшно что я не трава трава,
мне страшно что я не свеча.

Мне страшно что я не свеча трава,
на это я отвечал,
и мигом качаются дерева.

Мне страшно что я при взгляде
на две одинаковые вещи
не замечаю что они различны,
что каждая живет однажды.

Мне страшно что я при взгляде
на две одинаковые вещи
не вижу что они усердно
стараются быть похожими.

Я вижу искаженный мир,
я слышу шепот заглушенных лир,
и тут за кончик буквы взяв,
я поднимаю слово шкаф,
теперь я ставлю шкаф на место,
он вещества крутое тесто.

Мне не нравится что я смертен,
мне жалко что я не точен,
многим многим лучше, поверьте,
частица дня единица ночи.

Еще есть у меня претензия,
что я не ковер, не гортензия.

Мы выйдем с собой погулять в лес
для рассмотрения ничтожных листьев,
мне жалко что на этих листьях
я не увижу незаметных слов,
называющихся случаем, называющихся

бессмертие, называющихся вид основ.

Мне жалко что я не орел,
перелетающий вершины и вершины,
которому на ум взбрел
человек, наблюдающий аршины.

Мне страшно что всё приходит в ветхость,
и я по сравнению с этим не редкость.

Мы сядем с тобою ветер
на этот камушек смерти.

Кругом как свеча возрастает трава,
и мигом качаются дерева.

Мне жалко что я семя,
мне страшно что я не тучность.

Червяк ползет за всеми,
он несет однозвучность.

Мне страшно что я неизвестность,
мне жалко что я не огонь.

(1934)

ЭЛЕГИЯ

*Так сочинилась мной элегия
о том, как ехал на телеге я.*

Осматривая гор вершины,
их бесконечные аршины,
вином налитые кувшины,
весь мир, как снег, прекрасный,
я видел горные потоки,
я видел бури взор жестокий,
и ветер мирный и высокий,
и смерти час напрасный.

Вот воин, плавая навагой,
наполнен важною отвагой,
с морской волнующейся влагой
вступает в бой неравный.
Вот конь в могучие ладони
кладет огонь лихой погони,
и пляшут сумрачные кони
в руке травы державной.

Где лес глядит в полях просторы,
в ночей неслышные уборы,
а мы глядим в окно без шторы
на свет звезды бездушной,
в пустом сомненье сердце прячем,
а в ночь не спим томимся плачем,
мы ничего почти не значим,
мы жизни ждем послушной.

Нам восхищенье неизвестно,
нам туго, пасмурно и тесно,
мы друга предаем бесчестно,
и Бог нам не владыка.
Цветок несчастья мы взрастили,
мы нас самим себе простили,
нам, тем кто как зола остыли,
милей орла гвоздика.

Я с завистью гляжу на зверя,
ни мыслям, ни делам не веря,
умов произошла потеря,

бороться нет причины.
Мы все воспримем как паденье,
и день и тень и сновиденье,
и даже музыки гуденье
не избежит пучины.

В морском прибое беспокойном,
в песке пустынном и нестройном
и в женском теле непристойном
отрады не нашли мы.
Беспечную забыли трезвость,
воспели смерть, воспели мерзость,
вспоминанье мним как дерзость,
за то мы и палимы.

Летят божественные птицы,
их развеваются косицы,
халаты их блестят как спицы,
в полете нет пощады.
Они отсчитывают время,
Они испытывают время,
пускай бренчит пустое стремя —
сходить с ума не надо.

Пусть мчится в путь ручей хрустальный,
пусть рысью конь спешит зеркальный,
вдыхая воздух музыкальный —
вдыхаешь ты и тленье.
Возница хилый и сварливый,
в последний час зари сонливой,
гони, гони возок ленивый —
лети без промедленья.

Не плещут лебеди крылами
над пиршественными столами,
совместно с медными орлами
в рог не трубят победный.
Исчезнувшее вдохновенье
теперь приходит на мгновенье,
на смерть, на смерть держи равненье
певец и всадник бедный.

<1940>

ИЛЬЯ ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ

1904, с. Наталино Саратовской губ.—1969, Москва

Правнучатый племянник великого фельдмаршала, сын симферопольского генерал-губернатора, покинул Крым вместе с армией Врангеля. Через Константинополь и Болгарию перебрался в Белград, где и остался жить, довольно много написал по-сербски. Окончил Сорбонну, дружил и переписывался с Вяч. Ивановым; когда Ходасевич уезжал из Парижа, то критический отдел в газете «Возрождение», который обычно вел Ходасевич, переходил в руки Голенищева-Кутузова. Единственная книга стихотворений («Память») вышла в 1935 году с предисловием Вяч. Иванова. Побывал в немецкой тюрьме как заложник, а в 1949 году был посажен в тюрьму уже маршалом Тито; выйдя из тюрьмы, перебрался в Будапешт, а в 1956-м — в СССР, где его докторская степень Сорбонны не была признана, и ему пришлось написать новую диссертацию, имеющую и поныне научное значение: Голенищев-Кутузов был одним из лучших специалистов по эпохе Ренессанса и по славянским культурам того же времени. Перед смертью приготовил к печати большую, итоговую книгу стихотворений, отрывки из которой пока что опубликовал лишь московский журнал «Лента».

* * *

Бежит ковыль, трепещут травы,
Струится тишь, лишь вдаль
Лиманы, зыбкие как лавы,
Застыли солью на песке.

Как будто ни войны, ни смуты,
Здесь ветер не рыскал никогда,
И те же солнечные пути
Связуют сонные года.

И мнится там, за той юдолью,
Где дух в цепях степной тоски,
Идут за перекопской солью
Украинские чумаки.

Так жизни все обличья скудны,
И так повторен бред души.
Пусть сердце дремлет непробудно.
Кто скажет мертвому — спешите?

АЛЕКСАНДР ЖАРОВ

1904, д. Семеновская Московской губ.—1984, Москва

Один из организаторов объединения комсомольских поэтов «Молодая Гвардия». Наибольшую известность приобрел лирической поэмой «Гармонь» (1926). Песня Жарова «Взвейтесь кострами» долгое время была гимном пионеров. Впрочем, Маяковский о Жарове писал так: «Случайный сон — причина пожаров, — на сон не читайте Надсона и Жарова!» Жаров попал, как эпизодический персонаж, даже в роман Булгакова «Мастер и Маргарита» под именем поэта Рюхина; Иван Бездомный кричит: «Посмотрите на его постную физиономию и сличите с теми звучными стихами, которые он сочинил к первому числу! (...) «Взвейтесь!» да «развейтесь!». В 30-е годы Жаров окончательно впал в псевдоромантическую риторику и его популярность стала падать. Во время войны написал несколько патриотических песен, и одна из них, «Заветный камень», стала после утесовского исполнения почти народной.

ИЗ ПОЭМЫ «ГАРМОНЬ»

Отвечает Тимофей
Коротко и ясно:
— Это очень хорошо,
Хорошо-прекрасно.

Было время — поплясали,
А теперь уж дудки.
Что за музыка — гармонь?
Просто... предрассудки...

Есть хороший мой проект
В комсомольском штабе:
Чтоб гулянки отменить
В волостном масштабе.

А замест гулянок тех
Обучать вас надо —
На собраниях посещать
Лекции, доклады.

Так займемся мы всерьез
Мозговым ремонтом.

Каждой девке надо быть
Девкой... с горизонтом!

Это будет хорошо,
Хорошо-отлично,
Заявляю вам конкретно
И категорично!..

Среди девок кутерьма:
— Тимофей сошел с ума!..

Припустились бежать,
Только пыль клубится.
— Бабку, что ль, к нему позвать?
Иль везти в больницу?

— Донести в Совет — резон.
Он ведь там — начальник...
— Намекнул... про «горизонт»...
Этакий охальник!

1926

ЮРИЙ КАЗАРНОВСКИЙ

1904—1956(?)

Сведений о поэте немного. Родственники утверждают, что Казарновского арестовали в 1937 году, реабилитировали в 1955-м. Академик Д. С. Лихачев сообщил, что встречал Казарновского на Соловках с осени 1928-го по осень 1931-го. Этому есть подтверждение: он печатал стихи в изданиях СЛОНа, кое-что из них переиздано в 1990 году в коллективном сборнике поэтов-зеков «Среди других имен». Думается, что имели место оба ареста. Я еще успел познакомиться с ним лично, передать мое восхищение его единственной книжкой «Стихи» (1936). Казарновский был очень удивлен, что я знаю его стихи, и посмотрел на меня откуда-то издали — будто из холодных рук уже обнимающей его

ЯБЛОКО

Тревожное время... Штурмуют мой город
портовый

Сегодня германцы, а завтра французы...
В ясный солнечный день, в перерыве меж
бомбардировок,
Я играю осколком... И мама зовет меня:

«Юзя»!

«Юзя, на тебе яблоко!..» Из материнских
ладоней

Ребячьи ладони мои принимают одну
из планет,

Что над домиком низким плывут в голубом
небосклоне.

Стоит десять копеек она и зовется
«бумажный ранет».

Мальчик яблоко держит в руке. Есть у этого
яблока запад.

Мальчик яблоко держит в руке.

Есть у этого яблока юг.

Есть румяный от солнца Восток. Как дразнящ
он на вкус и на запах!

Мальчик яблоко съест — и всему мирозданию
какюк.

На планете Земля нет спокойствия... Видно,
надолго —

Этот чуждый язык и полночный
французский дозор...

И тревожное детство навьлет пробито
осколком

Иностранной шрапнели, влетевшей во двор.

И хоть мама на кухне твердит: «Человеку
пристанца нету!»

Ерунда! За серебряный гривенник новую
я покупаю планету.

Мальчик яблоко держит в руке...

Он молочные зубы вонзит
В океаны, пустыни, леса, — и по горло
он радостью сыт.

ШАРЛОТТА ГЕРШУНЕНКО

Переулочки кривые.

Маленьких домишек ряд...

Мелкая буржуазия,

Люмпен-пролетариат.

Здесь, в кофейных и лавчонках

Молдаванской нищеты,

Прямо с винного бочонка
Агитировала ты.

Локон темной позолоты
Бился около виска.
Обрабатывала Лота
Иностранные войска.

Как пришел я в катакомбы?

Я и сам не знаю как!

Жестяные помню бомбы

В этих маленьких руках.

Мне сияла бровь соболя,

Золотые волосы...

В большевистское подполье

Опускались небеса.

Помню первое волнение,

Первую любовь мою,

Первое мое крещение

В первом уличном бою.

Есть ли что головоломней

Знаменитых катакомб!

Помню спуск в каменоломни,

Где скрывался областком.

Напролет сидели ночи

С керосинкой жестяной,

Председательский звоночек

Задыхался под землей.

На осадном положении

Небо, море и земля.

Под французским наблюденьем

Первая любовь моя.

Как Шарлотту Гершуненко

Темной ночью увели,

По Шарлотте Гершуненко

Как скомандовали: «Пли!»

Это все равно, что пулю

В солнце самое всадить,

Лучшего дрозда июля

С лучшей яблони ссадить!..

Помню первое волнение,

Первую любовь мою,

Первое мое крещение

В первом уличном бою!

1932—1933

МАРИЯ КОМИССАРОВА

р. 1904, с. Андреевское Костромской губ.

Окончила пединститут им. Герцена в Ленинграде. Первая книга «Первопутки» (1928). В тогдашней ленинградской среде все знали ее звонкие строчки «Поперек моей тоски перекиньте мне мостки. Дайте руку, чтоб разлуку легче было перейти».

КОНОКРАД

Оттепель стояла. Деревенский
полдень рассиялся в пух и прах.
Влажные чуть вздрагивали ветки.
Лысины пригрело на буграх.
Пахло щепками, соломой прелой,
конской шерстью, рыжим кожухом.
И о чем-то девушка все пела,
и прощалась в песне с женихом.
В топленой по черному хибарке
на задворках ночевал цыган.
Жизнь его бродячая с сигаркой
никому была не дорога.
Может, я одна и пожалела,
в детском сердце унося домой,
чтоб оно ни разу не болело,
этот черный страшный мордобой.
Били, били коляями, ногами.

Били в сердце, в голову, в бока
сытыми, с кувалду, кулаками,
и летели клочья пиджака.
Лучше б крюк тот вовсе память стерла,
но цыганка врезалась в народ,
всем отчаяньем наполнив горло,
выпятив беременный живот.
И, склоняясь над дружком, причитала,
жалобно ворочая губой,
все удары сердцем сосчитала,
по щекам размазывая боль.
Стриженные, в скобку, богомолы —
вам бы скот на бойнях свежевать,
По гуменьям баб душисть тяжелых,
С петлями у виселиц стоять.
Бородатое степенство проча,
захлебнуться водкой да казной.
...Вот оно, цветное узорчье, —
лютый воздух стороны родной.

НИКОЛАЙ КУЗНЕЦОВ

1904, на ткацкой фабрике Клинского уезда Московской обл. — 1924, Москва

Рабочий комсомольский поэт, организатор литературной группы «Рабочая весна». Смерть отобрала его у поэзии с преступной преждевременностью. Хотя бы это, приведенное здесь четверостишие говорит о его возможностях. Стоит похвалить какого-нибудь совсем юного поэта и сразу со всех сторон шипение: «Вы его балуете... Он испортится... зазнается...» Эти люди забывают, что каждый поэт может умереть в самой ранней юности, так и не услышав от нас ни одного доброго слова, если мы будем капать такие слова из расчетливо педагогической пипетки.

РАБОЧИЕ ПОЭТЫ (фрагмент)

Позабыв про отдых, сон и дрему,
Позабыв страданье, смерть и страх,
Написали мы великую поэму,
Но пока лишь кровью на полях.

ЛЕОНИД ЛИХАЧЕВ

1904(?) — 1929(?)

Из военной дворянской семьи. Учился вместе с биофизиком Н. Д. Ньюбергом, сохранившим в памяти несколько его стихов. В конце 20-х годов был арестован. Когда друзья пытались спасти архив, оказалось, что все рукописи залиты водой и погибли. Уехать в «спокойную культурную страну» не удалось.

* * *

И я когда-нибудь уеду за границу,
Найду спокойную культурную страну
И в книге жизненной переверну страницу,
На шею галстучек цветистый затяну.

И буду я служить в шикарном магазине,
А там со временем, еще прочней осев,

Женюсь, как следует солидному мужчине,
Чтоб слушать вечером семейно «Т. S. F»¹.

Я буду за город ходить по воскресеньям,
Роскошно тратиться на пиво и кино

¹ «Т. S. F» — марка радиоприемника.

— Да брось звонить, Егорка!
 — Уши все, бродяга, прозвенел.
 Вьется кольцами вонючая махорка,
 Улыбается Калинин на стене.
 — Да, да, пускай нам скажет Акулина.
 — Она бедовая, лихая комунарка!
 — Скажи, Акуля, мол, нужна машина!
 — Да брось звонить!
 — Приспичило!
 — Макарка!
 — Да как же брось, коли порядку нету?
 Для того звонок ведь полагается.
 — Да брось, чурбан, не то дадим карету!
 — Да будет вам!
 — Довольно лаяться!
 — Да тише, черти!
 — Акулина, ну-ка!
 — Я скажу по поводу машины...
 Без машины суцая ведь мука.
 — Правильно.
 — По делу, Акулина!
 — Вестимо так: к примеру, загорится,—
 Машины нет — не вымолвишь и слова,
 Пиши пропало: можно разориться,
 А тут кишка — сикнешь,
 И все готово...
 — Вот это здорово!
 — Сикнешь — пожару нету.
 — Качать, качать давайте Акулину!
 — Я предлагаю нашему совету
 Купить пожарную машину.
 — Постой, постойте, граждане, орать-то,
 А ежели пожар не загорится,—
 Тоды на кой пес и покупать-то?
 — Так говорить, Авдеич, не годится.
 — Ну вот, толкуй!

— На кой она нам лешай?
 Машина — дьявол:
 Бог еще осудит!
 — Дозвольте мне,
 Хоша я старый, грешный,
 Но я во всем согласен с Акулиной.
 — Нет! Без разговора!
 — Не покупаем!
 — А ежели пожар?
 — Тоды купить.
 — Купить!
 — Да будет вам! То надо, то не надо.
 Зачем же без толку внапрасну говорить?
 — Покупаем!
 — Дозвольте-кось, а я вот так смекаю:
 Купить-то купим, а тово не знаем,—
 Ведь нет у нас пожарного сараю.
 — Да это не беда.
 Машину Митрофану,
 Кишку дадим Овинину Степану,
 А ключ хранить заставим Акулину,—
 Пусть стережет пожарную машину.
 — А ежели пожар, тоды што делать будем?
 — Што делать? Вот-те на!
 Я думаю, кишку в колодец —
 Дрызгай.
 — Дозвольте-кось, рассудливые люди,
 А вот кишку-те, кишку-те
 Обсудимте, давайте!
 — Да в чем же дело-то?
 — Да как же? Колодец ведь глубокой,
 А кишка не будет и аршиной пять.
 — Пять?..
 — Так вон оно в чем дело-то...
 — Тоды не надо покупать!

СОФЬЯ ПРЕГЕЛЬ

1904, Одесса — 1972, Париж.

Начала свою литературную деятельность в эмиграции, в Берлине, откуда перед приходом нацистов к власти переехала в Париж, затем — в США, где в годы войны издавала журнал «Новоселье». Когда окончилась война, Прегель вернулась в Париж и некоторое время продолжала выпускать тот же журнал уже в Париже. Всю свою жизнь занималась благотворительностью, даже вопреки иудейскому закону, которому строго следовала, умела заботиться и о врагах, вплоть до того, что оплачивала для них панихиды и отстаивала отпевание в православной церкви. Автор множества поэтических сборников; лишь ею и Довидом Кнутом из всей «первой волны» эмиграции в поэзии всерьез разрабатывалась еврейская тема, но в отличие от Кнута в Израиль поэтесса не поехала и умерла в Париже. В стихотворении «Война» есть неожиданная переключка с «Моей Африкой» Б. Корнилова.

ВОЙНА

По вокзала скользкой панели
 Под глухой, бормочущий гул
 Проходили негры в шинелях,
 С желваками у самых скул.

И один из них, большеротый —
 Черный пламень, лающий гром —
 Мне кричал восторженно что-то
 На простом наречье своем.

И под свист паровоза злостный,
 Раздвоившийся в тишине,
 Улыбались губы и десны —
 На путях случайной весне.

* * *

Он дарил мне кота безусого,
 И яблоко — желтый ранет,
 И изжеванный и обкусанный
 Железнодорожный билет.

Пробитый всеми контролями
Билет в страну чудаков.
Где заяц катит на роликах,
И читает про умных кроликов
Водитель грузовиков.

Он дарил мне погоду летнюю
И ступеньки в дворовой мгле
И свое четырехлетнее
Пребывание на земле!

* * *

Из камня родник не брызнет,
В огне не сгоришь дотла —
Поверь мне, я много жизней
Без удержа прожила.

БОЛЬНИЦА

К шуму прислушиваться земному,
Жалкой рукой нащупывать мрак —
В доме страданий все по-иному:
И говорят, и стонут не так.
За поворотом осталось, что живо,
Желтый росток до срока зачах...
Близкие входят с усмешкой фальшивой
С ужасом в сузившихся зрачках.
Смотрит монашка в сборчатом платье
В междупостельную полутьму.
Было и будет — все без изъятия.
Как умирают в общей палате,
Ты не рассказывай никому.

НИКОЛАЙ ЧУКОВСКИЙ

1904, Одесса—1965, Москва

Сын Корнея Чуковского. Занимался в поэтическом семинаре у Гумилева. Стихи его были замечены Горьким. Выпустил единственную стихотворную книжку «Сквозь дикий рай» в 1928 году. Во время войны, пережив блокаду Ленинграда, написал самое свое известное произведение — роман «Балтийское небо». Переводил Петефи, Тувима. Приводимое стихотворение — изящная пародия на романсовую душещипательность.

* * *

Она — телеграфистка.
Беспутный мальчик — он.
Их познакомил близко
Запыленный вагон.
Они остановились
В проездем городке.
В гостиницу явились
Вдвоем — рука в руке.
Легли, заночевали,
А утром пили чай,

И снова их помчали
Вагоны в дальний край.
Но вот пришла разлука,
Плеща вино свое.
За баями мелькает
Веселый бант ее.
Ему — таить усталость,
Летя своим путем.
А ей — дитя осталось
На память о былом.

1925

ВИКТОР ВАСИЛЕНКО

1905—1991

Профессор-искусствовед; редактор этой антологии слушал его лекции по прикладному искусству, когда учился в МГУ. Вся кафедра его любила, все о нем знали, что он «сидел и пишет стихи». Стихи эти вышли единой книжкой в 1983 году («Облака»), а о том, что с 1947 по 1956 год почтенный профессор пребывал за колючей проволокой, свободно было сказано лишь в еще более поздние времена.

* * *

Я вспоминаю елку,
живую, возле крыльца
одиннадцатого барака,
жалкую, оледенелую,
с ржавыми иглами на худых ветках.
Я различал черты лица,
слышал ее слова,
недоговоренные.

Она была для всех как сестра.
Ее любили и холили.
В тундре она была одна.
Я удивлялся,
как ветры и вьюги
ей жить позволили!
Удивительно, но это так!
Ясно до очевидности.
Елочка оставила овраг
и выросла у стен барака,

она была — одна!
 Впрочем, это неверно.
 Она была окружена
 внимательными руками,
 добрыми глазами.
 Елочка качалась вблизи окна.
 И каждый, выходя на работу,
 хоть коротко,
 ей говорил что-то.

1951. Инта, Печора

* * *

Я вычерпываю ложкой
 тюремную баланду.
 Я ем жадно,
 прикрывая миску
 всей грудью,
 низко опустив голову, —
 и так делают все.
 Рука моя опирается
 на выщербленный,

изъеденный рубцами,
 тюремный стол.
 Мы едим жадно.
 В эти минуты
 в столовой молчание.
 Нет разговоров.
 Все ушли в еду.
 И когда ложка
 погружается в остывающую
 баланду,
 где плавают редкие хлопья
 подмороженного картофеля,
 тонкие листья капусты, —
 в эти минуты,
 если бы кто-нибудь сказал,
 что нас поведут
 расстреливать,
 и тут мы
 не оглянулись бы
 на говорившего.

1953, Абезь

ЮРИЙ ИНГЕ

1905, г. Стрельна близ Петербурга—1941, Балтийское море

С 1922 по 1930-й работал за заводе «Красный треугольник» в Ленинграде чернорабочим и резинщиком. Участвовал в финской войне. Во время Великой Отечественной был корреспондентом газеты «Красный балтийский флот». Погиб на корабле «Вольдемарас» под Кронштадтом в августе 1941-го. Слуцкий после войны в одном из стихотворений признался, что перед войной написал «подвал», где разгромил первую книжку Ю. Инге. Слуцкий закончил стихотворение так: «Как хорошо, что был редактор зол, и мой «подвал» крестами переметил и что товарищ Инге перед смертью его, скрипя зубами, не прочел».

* * *

Гранитный дом снарядами пронизан,
 Навылет — окна, этажи — насквозь,
 Как будто смерть взобралась по карнизам
 И через крышу вколотила гвоздь.

Торчали кверху ребра перекрытий
 По вертикали срезанной стены,
 И мир житейских маленьких событий
 Стоял открытым с внешней стороны,

Руины вдруг разрушенного быта,
 Судьба людей теперь уже не в них;
 Дом был как чей-то в спешке позабытый
 На полуслове прерванный дневник.

И мертвых тел обугленная масса
 Еще валялась в разных этажах,

И неизвестной женщины гримаса
 Рассказывала, что такое страх.

Она лежала, свесясь головою,
 Над черной бездной битого стекла,
 Она повисла вдруг над мостовую
 И закричать, наверно, не смогла.

Ее лицо, забрызганное кровью,
 Уже лишилось линий и примет,
 Но, как живой, стоял у изголовья
 Ее веселый, радостный портрет.

И всем, кто видел скрюченное тело,
 Казалось вдруг, что женщина тепла,
 Что карточка от ужаса темнела,
 А мертвая смеялась и жила.

Ноябрь, 1940

БОРИС ЛАПИН**1905, Москва—1941, под Киевом****ЗАХАР ХАЦРЕВИН****1903, Витебск—1941, под Киевом**

Авторы многих книг прозы, написанных ими вместе и порознь, в основном посвященных Средней Азии, Дальнему Востоку. Вместе писали стихи, вместе переводили Киплинга. Участвовали в боях на Халхин-Голе. Погибли — видимо, тоже вместе — в сентябре 1941 года. Во избежание путаницы мы проставляем авторство каждого стихотворения.

Борис ЛАПИН, Захар ХАЦРЕВИН

* * *

Мне выбили передние зубы
За то, что я скрыл товарищей.
Мне спилили правое ухо
За то, что я отвечал непочтительно.
Потом мне подрезали мышцы,
И я, наверно, умру.
Но все это не имеет значения,
Так как женщины рожают новых людей.

Захар ХАЦРЕВИН

* * *

Они меня бросили в мусор,
как желтую кожу змеи,
а вы на руках пронесете
горящие кости мои.

Борис ЛАПИН

* * *

— У кого найду заступ — тот будет убит,
На основании законов революционного суда,—
Сказал мне комбат Выдергай-Саблин,
Бывший хорунжий уральского войска,—
Заступом можно, брат, расшатывать шпалы,
Взрывать устои телеграфных столбов,
Совершать неисчислимый вред на линии,
Занимемой шинелями наших героев.
Заступом можно засыпать колодцы
В поросшей колючками Соленой степи,
Можно арыки поворачивать к болотам,
Порождая стом малярийных комаров.
— Вот какая зловредная штука заступ,—
Сказал я, потрясенный его правотой,—
А скажите мне, товарищ хорунжий,
Что делает штык в этой странной земле?
— Штыками можно вспахивать землю
И превращать в знамена красные чалмы,
Для того чтобы водружать их над высокой,
Как пик Кауфмана, школой ликбез.
Штыком можно кашу варить
И совать в рот голодному жирный плов.
На следующий день бывший хорунжий
Был подстрелен на повороте в Байсун.

Борис ЛАПИН

* * *

Мертвый, продай свои муки!
Камень, продли свои сны!
Руку подай мне, безрукий!
Дай мне, гренландец, весны!

О расторжении мрака,
Боже подвалов, молю!
Дай мне свой разум, собака!
Ландыш скажи, что «люблю»!
Жизнь, научи не тревожно
Слушать часов твоих бой!..
Все это так же возможно,
Как — примириться с судьбой.

1925

Борис ЛАПИН

25 ЛЕТ СПУСТЯ

Желтоглазый и худой —
Этак лет под сорок пять,—
Кто ты, юноша седой?
Не могу тебя узнать.

Ты пришел... В который раз...
Слабый, юный, как всегда...
Но морщины возле глаз
Выдают твои года.

До последних наших дней
У тебя надежда есть.
Бедной ручкою своей
Ты цепляешься за честь...

В темном зеркале глаза...
И такая вышина...
Что там светится?.. Слеза.
Слышишь: плачет тишина.

Роковою худобой
Обозначен до конца
Тот, кто, холод мировой
Видя, не закрыл лица.

1925

Борис ЛАПИН

* * *

Опять земля уходит с востока на закат,
Наполненная сором и шорохом ростков.
Опять по ней гуляют, как двадцать лет назад,
Волнистый серый ветер и тени облаков.

Твой облик затерялся в толпе растущих лиц,
Твой голос еле слышен сквозь мрак двойных
плотин.
Все странно изменилось от чрева до границ,
И только ты остался по-прежнему один.

Ты выброшен на берег. О, жалостный улов! —
В мой невод затянуло мешок твоих костей,
Набитый скучной дрянью давно угасших слов,
Любви, тоски, сомнений, опилками страстей.

Ты равнодушен к миру, и мир тебя забыл.
Он движется — и баста! А ты упал — и мертв.
И кто теперь запомнит, кем стал ты, что ты
был —
Ни рыба и ни мясо, ни ангел и ни черт.

Борис ЛАПИН

ПОЛЕ БОЯ

Мертвые зарыты;
Вспахана земля;
Травами покрыты
Жирные поля;
Кое-где лопатой
Вскопаны луга
Да торчит измятый
Кончик сапога.

1925

ЛЕОНИД МАРТЫНОВ

1905, Омск — 1980, Москва

Родился в семье железнодорожника. Не закончил даже школы. Начал печататься как журналист: «Грубый корм», книга очерков (1930). Первая книга стихов вышла в 1939-м. Леонид Мартынов — более чем удивительный поэт — дивный. Был репрессирован. В первые послевоенные годы бывшая жеманно салонная поэтесса В. Инбер, старательно изображавшая из себя литературную комиссаршу, заявила, что советской поэзии не по пути с Л. Мартыновым. Мартынова отлучили от наших журналов, и жил он как неприкаянный сказочник, заподозренный в перешептываниях с дьяволом, все-таки по-сказочному — на 11-й Сокольнической, дом номер одиннадцать. Мартынова начали забывать, впрочем, и слишком прославленным он не был. Такой поэт, как он, не мог пригодиться, когда требовались не сказочники, а барабанщики полувоенного типа. Но время переломилось, и Эренбург напомнил нам о существовании поэта, который выстрадал этот перелом своим художественным подвигом. Зелененькая книжечка Мартынова, изданная «Молодой гвардией» в 1957-м, была первым поэтическим бестселлером после того, как репутация поэзии стала неумолимо падать в послевоенное, далекое от фронтовой искренности время. Предперестройка, дав популярность двум блестящим поэтам — Л. Мартынову и Б. Слуцкому, эту популярность у них отобрала, трагически толкнув этих, до тех пор ничем не запятанных людей на выступление против Б. Пастернака во время скандала с «Доктором Живаго». Мартынов остается одним из крупнейших русских поэтов XX века. Ему удалось создать большее, чем хорошие стихи, — он создал свою интонацию.

Я закричал ей: я видел вас когда-то,
Хотя я вас и никогда не видел,
Но тем не менее я видел вас сегодня,
Хотя сегодня я не видел вас!

Если бы Мартынов написал только эти четыре строки, его интонация была бы уже бессмертна.

САХАР БЫЛ СЛАДОК...

С гор, где шиповник турецкий расцвел,
Ветер был сладок и жарок.
Море лизало сверкающий мол,—
Сахар сгружали мы с барок.

Ты понимаешь?
Грузить рафинад!
Легкое ль это занятие?
Сладко! Но сотню красавиц подряд
Ты ведь не примешь в объятья!

Позже ходили мы к устью реки
К рыбницам Нового порта.
Грузчиков не было. С солью мешки
Сами сгружали мы с борта.

Стал, как китайский кули, весь бел,
Руки изъяло и спину.
Долго потом я на соль не глядел,
Видеть не мог солонину.

Сахар был сладок,
И соль солона.
Мы на закате осеннем
Вспомним про то за бутылку вина,
Прошлое снова оценим.

Время уходит!
Тоскуй, человек,
Вспоминаньями полон,—
Позднею осенью падает снег,
Тает, не сладок, не солон.

Ну-ка, приятель, давай наливай!
Тает, не сладок, не солон...

1925

ЗЕВАКИ

На западе громада туч росла, но даже
ветер был вздохнуть не в силах.
А ротозеи грудой барахла, всей
тяжестью нечистого трепла —
я видел их — висели на перилах.
Я помню разлагающийся снег, я помню
лед паршивый, как короста.
А ротозеи, как их дождь ни сек, весь
день висели на перилах моста.
И день прошел, закат давно потух,
зеленый пепел по небу развеяв.
Взошли на мост оравы потаскух,
очаровать мечтая ротозеев.
Но тщетно! Ни лихие перья шляп,
ни вьедчивость помады не могла б
Пронять зевак, вниманье их рассеяв.

Но чем же ротозеи увлеклись?
Ах, вскройте, фиолетовые вены,
Чтоб пена, мразь и всяческая слизь,
шипя всползли на городские стены,
Чтоб, изгорбатясь, ввысь полез бы лед,
Чтоб льдинами приперло пароход
И криком захлебнулись бы сирены!

Проснись, тритон, труби подводный марш!
Ты, откликаясь, ветер, взвой недобро,
Чтоб престарелых деревянных барж вдруг
хрустнули надломленные ребра!
Скорее начинайте ледоход! Бросайте же
баржу на пароход!
Пускай река кольцует, как кобра!

Река внимала этим голосам.
Близ ротозеев потаскухи-блудни
Зашмыгали, готовясь к чудесам.
Их мордочки сизели, точно студни,
От холода. И, наконец, часам
к двенадцати примерно, пополудни,
Настала долгожданная пора, и льды,
как бомбы, лопнули во мраке,
Река взревела, мертвая вчера.
В немом восторге корчились зеваки.

И вот тогда-то
Темный пароход
Рванулся к мосту в бешенстве открытом,
И яростный он сделал разворот,
и всех зевак с перил он сбрил бушпритом.
И потаскушки падали на лед,
и всех их враз всосал водоворот...
А пароход? Всем корпусом разбитым
Он задрожал и, глухо закричав,
Вдруг ржавой грудью стукнулся о бык он!
И хрустнуло. И, мощен, величав,
в кипящий омут скрылся в тот же миг он.

И сам Нерей, как обер-прокурор,
подробно разбирался в этом деле.
Был справедлив Нерей приговор:
— Неловко мост бушпритом вы задели.
Но слишком нагло оскорбляли слух
И слишком подло корчились во мраке
Оравы этих мерзких потаскух
И эти полоротые зеваки.

1929

РЕКА ТИШИНА

— Ты хотел бы вернуться на реку Тишину?
— Я хотел бы. В ночь ледостава.
— Но отыщешь ли лодку хотя бы одну
И возможна ли переправа
Через темную Тишину?
В снежных сумерках, в ночь ледостава,
Не утонешь?

— Не утону!
В городе том я знаю дом,
Стоит в окно постучать —
Выйдут меня встречать.
Знакомая одна. Некрасивая она.
Я ее никогда не любил.

— Не лги!
Ты ее любил!
— Нет! Мы не друзья и не враги.
Я ее позабыл.
Ну так вот. Я скажу: хоть и кажется мне,
Что нарушена переправа,
Но хочу еще раз я проплыть по реке Тишине
В снежных сумерках, в ночь ледостава.

— Ночь действительно ветреная, сырая.
В эту ночь, трепеща,
дотлевают поленья в печах.
Но кого же согреют поленья, в печах догорая?
Я советую вспомнить о более теплых ночах.
— Едем?
— Едем!

Из дровяного сарая
Братья ее вынесут лодку на плечах
И опустят на Тишину.
И река Тишина у метели в плену,
И я на спутницу не взгляну,
Я только скажу ей: «Садитесь в корму!»
Она только скажет: «Я плащ возьму.
Сейчас приду...»

Плывем во тьму,
Мимо предместья Волчий хвост,
Под Деревянный мост,
Под Оловянный мост,
Под Безымянный мост...

Я гребу во тьме,
Женщина сидит в корме,
Кормовое весло у нее в руках.

Но, конечно, не правит — я правлю сам!
Тает снег у нее на щеках,
Липнет к ее волосам.

— А как широка река Тишина?
Тебе известна ее ширина?
Правый берег виден едва-едва, —
Неясная цепь огней...
А мы поедем на острова.
Ты знаешь — их два на ней.
А как длинна река Тишина?
Тебе известна ее длина?
От полночных низин
До полдневных высот
Семь тысяч и восемьсот
Километров — повсюда одна
Глубочайшая Тишина!

В снежных сумерках этих
Все глуше уключин скрип.
И замирают в сетях
Безмолвные корчи рыб.
Сходят с барж водоливы,
Едут домой лоцмана.
Незримы и молчаливы
Твои берега, Тишина.
Все медленней серые чайки
Метель отшибают крылом...

— Но погоди! Что ты скажешь хозяйке?
— Чайки метель отшибают крылом...
— Нет, погоди! Что ты скажешь хозяйке?
— Не понимаю — какой хозяйке?
— Которая в корме склонилась над веслом.
— О! Я скажу: «Ты молчи, не плачь.
Ты не имеешь на это права
В ночь, когда ветер восточный — трубач —
Трубит долгий сигнал ледостава».
Слушай!
Вот мой ответ —
Реки Тишины нет.
Нарушена тишина.
Это твоя вина.
Нет!
Это счастье твое.
Сам ты нарушил ее,
Ту глубочайшую Тишину,
У которой ты был в плену.

1929

ПОДСОЛНУХ

1

Сонм мотыльков вокруг домовладенья
Порхал в нетерпеливом хороводе,
Но, мотыльков к себе не допуская,
Домохозяин окна затворил,
И мне, судьбой дарованному гостю,
Открыл он двери тоже неохотно.
Я понял, что ночное чаепитье
Организовано не для меня.

Я это понял.
Что же было делать?
Вошел я.
Сел к столу без приглашенья.
Густое ежевичное варенье
Таращило засахаренный глаз;
И пироги пыхтели, осуждая;
И самовар заклокотал, как тульский
Исправник, весь в медалях за усердьё, —
Как будто б я все выпью, все пожру!

— Она приехала! — сказал художник.
И вот я жду: поджавший губки ангел,
Дыша пачулями, шурша батистом,
Старообразно выпорхнет к столу.

Но ты вошла...
Отчетливо я помню,
Как ты вошла — не ангел и не дьявол,
А теплое здоровое созданье,
Такой же гость невольный, как и я.
Жена ему?
Нет! Это толки, враки.
Рожденному в домашнем затхлом мраке, —
Ему, который высох, точно посох,
Вовек не целовать такой жены!

Я это понял. Одного лишь только
Не мог понять: откуда мне знакомы
Твое лицо, твои глаза, и губы,
И волосы, упавшие на лоб?
Я закричал:
— Я видел вас когда-то,
Хотя я вас и никогда не видел,
Но тем не менее видел вас сегодня,
Хотя сегодня я не видел вас!

И, повторяя:
— Я вас где-то видел,
Хотя не видел...
Чаю?
Нет, спасибо! —
Я встал и вышел.
Вышел на веранду,
Где яростно метались мотыльки.

Ты закричала:
— Возвратитесь тотчас! —
Я на веранду дверь раскрыл широко,
И в комнату ворвалось сорок тысяч
Танцующих в прохладе мотыльков.
Те мотыльки толклись и кувыркались,
Пыльцу сшибая с крылышек друг другу,
И довели б до головокружения,
Когда б я не глядел в твои глаза.

2

Не собирался он писать картину,
А вынул юношеские полотна
В раздумии: нельзя ль из них портянки
Скроить себе? И тупо краску скреб.
Затем его окликнули соседи.

Надевши туфли, он пошел куда-то,
Оставив полотно на мольберте
И ящик с красками не заперев.

Заманчивым дыханием искусства
Дохнули эти брошенные вещи,
И я — хотя совсем не живописец —
Вдруг ощутил стремление рисовать.
Тут маковое масло из бутылки
Я вылил, и на нем растер я краски,
И, размягчив в нем острый хвостик кисти,
Я к творчеству бесстрашно приступил.

Тебя я рисовал.
Но вместо тела
Изобразил я полнокровный стебель,
А вместо плеч нарисовал я листья,
Подобные опущенным крылам.
И лишь лицо оставил я похожим
У этого бессильного подобья —
Прекрасного, но пленного растенья,
Ушедшего корнями в огород.
И хрен седой растет с тобою рядом,
И хнычут репы, что земля на грядах
Черна.
И всех своим нехитрым ядом
Перетравить мечтает белена.
И солнца нет.
За облаками скрыто
Оно.
И огородница подходит,
Морщинистыми, дряхлыми руками
Схватила за прекрасное лицо...

Художник тут вбежал,
Он крикнул:
— Кто вам позволил рисовать?
— Идите к черту! — ему я сдержанно сказал
И тотчас
Покинул этот серый, пыльный дом.

3

— Вы ночевали на цветочных клумбах?
Вы ночевали на цветочных клумбах —
Я спрашиваю —
Если ночевали,
Какие сны вам видеть удалось?

Покинув дом, где творчество в запрете,
Весь день метался я, ища квартиру,
Но ни одна квартирная хозяйка
Меня не допустила ночевать.

Они, крестясь захлопывали двери
И плотно занавешивали окна
Дрожащими руками.
Слишком страшен
Был вид и взгляд мой...

Наступила ночь,
И сумрачно постлал я одеяло

Меж клумб под сенью городского сада.
Но сон не брал. И травы щекотались.
И вороны рычали с тополей.

Так ночь прошла.
Рассвета не дождавшись,
По улицам сырым, туманным, серым
Я вышел за город.
В глазах двоились
Тропиночки, ведущие в поля.

И был рассвет!
Земля порозовела.
В ней зрели свеклы.
Я стоял, вдыхая
Все запахи земли порозовевшей.

Рассвет прошел.
И день настал в полях.
Я не стоял — я шел вперед, вдыхая
Медвяный запах длящегося полдня,
Ища чего-то и не находя.

Но голоса растений властно шепчут:
«Ищи, ищи!»
И вдруг на перекрестке
Дорог, ведущих в будущие годы,
Ты появилась как из-под земли.

Ты закричала:
— Где вы ночевали?
Чем завтракали?
Сколько беспокойства
Вы причинили мне своим уходом!
Вторые сутки, как я вас ищу!

Все кончилось.
На розовой поляне
Пьем молоко, закусываем хлебом,
И пахнет перезрелой земляничкой
Твой теплый хлеб...

Июльская земля
Нам греет ноги.
Ласкова к скитальцам
Всезнающая, мудрая природа.

Подсолнух!
Из чужого огорода
Вернулся ты в родимые поля!

1932

* * *

Замечали —
По городу ходит прохожий?
Вы встречали —
По городу ходит прохожий,
Вероятно, приезжий, на нас непохожий?
То вблизи он появится, то в отдаленье,
То в кафе, то в почтовом мелькнет

отделение.

Опускает он гривенник в щель автомата,
Крутит пальцем он шаткий кружок
циферблата

И всегда об одном затевает беседу:
«Успокойтесь, утешьтесь — я скоро уеду!»
Это — я!

Тридцать три мне исполнилось года.
Проникал к вам в квартиры я с черного хода.
На потертых диванах я спал у знакомых,
Приклонивши главу на семейных альбомах.
Выходил по утрам я из комнаты ванной.
«Это гость, — вспоминали вы, —

гость не незванный,
Но, с другой стороны,

и не слишком желанный.

Ничего! Беспорядок у нас постоянный».

— Это гость, — поясняли вы мельком соседу

И попутно со мной затевали беседу:

— Вы надолго к нам снова?

— Я скоро уеду!

— Почему же? Гостите. Придете к обеду?

— Нет.

— Напрасно торопитесь! Чаю попейте.

Отдохните да, кстате, сыграйте на флейте. —

Да! Имел я такую волшебную флейту.

За миллионы рублей ту

я не продал бы флейту.

Разучил же на ней лишь одну я из песен:

«В Лукоморье далекою чертог есть чудесней!»

Вот о чем вечерами играл я на флейте.

Убеждал я: поймите, уразумейте,

Расскажите знакомым, шепните соседу,

Но, друзья, торопитесь, — я скоро уеду!

Я уеду туда, где горят изумруды,

Где лежат под землей драгоценные руды,

Где шары янтаря тяжелеют у моря.

Собирайтесь со мною туда, в Лукоморье!

О! Нигде не найдете вы края чудесней!

И являлись тогда, возбужденные песней,

Люди. Разные люди. Я видел их много.

Чередой появлялись они у порога.

Помню — некий строитель допрашивал

строго:

— Где чертог? Каковы очертанья

чертога? —

Помню также — истории некий учитель

Все пытал: — Лукоморья кто был

покоритель? —

И не мог ему связно ответить тогда я...

Появлялся еще плановик, утверждая,

Что не так велики уж ресурсы Луккрая,

Чтобы петь о них песни, на флейте играя.

И в крылатке влетал еще старец хохлатый,

Непосредственно связанный с Книжной

палатой:

— Лукоморье! Изволите звать в Лукоморье?

Лукоморье отыщете только в фольклоре! —

А бездельник в своей полосатой пижамке

Хохотал: — Вы воздушные строите замки! —

И соседи, никак не участвуя в споре,

За стеной толковали:

— А?

— Что?

— Лукоморье?

— Мукомолье?

— Какое еще Мухоморье?

— Да о чем вы толкуете? Что за история?

— Рукомойня? В исправности.

— На пол не лейте!

— Погодите —

в соседях играют на флейте! —

Флейта, флейта!

Охотно я брал тебя в руки.

Дети, севши у ног моих, делали луки,

Но, нахмурившись, их отбирали мамы:

— Ваши сказки, а дети-то все-таки наши!

Вот сначала своих воспитать вы сумеете,

А потом в Лукоморье зовите на флейте! —

Флейту прятал в карман.

Почему ж до сих пор я

Не уехал с экспрессом туда, в Лукоморье?

Ведь давно бы, давно уж добрался до гор я,

Уж давно на широкий бы вышел простор я.

Объясните знакомым, шепните соседу,

Успокойте, утешьте — я скоро уеду!

Я уеду, и гнев стариков прекратится,

Злая мать на ребенка не станет сердиться.

Смолкнут толки соседей, забулькает ванна,

Распрямятся со звоном пружины дивана.

Но сознайтесь!

Недаром я звал вас, недаром!

Пробил час — по проспектам,

садам и бульварам

Все пошли вы за мною, пошли вы за мною,

За моею спиной, за моею спиною.

Все вы тут? Все вы тут!

Даже старец крылатый,

И бездельник в пижаме своей полосатой,

И невинные дети, и женщина эта —

Злая спорщица с нами, и клоп из дивана...

О, холодная ясность в чертоге рассвета,

Мерный грохот валов — голоса океана.

Так случилось —

Мы вместе!

Ничуть не колдуя,

В силу разных причин за собой вас веду я.

Успокойтесь, утешьтесь!

Не надо тревоги!

Я веду вас по ясной, широкой дороге.

Убедитесь: не к бездне ведет вас прохожий,

Скороходу подобный, на вас непохожий, —

Тот прохожий, который стеснялся

в прихожей,

Тот приезжий, что пахнет коричневой кожей,

Неуклюжий, но дюжий, в тужурке

медвежьей.

...Реки, рощи, равнины, печаль побережий.

Разглядели? В тумане алеют предгорья.

Где-то там, за горами, волнуется море.

Горы, море... Но где же оно, Лукоморье?

Где оно, Лукоморье, твое Лукоморье?

1935—1945

* * *

Мне кажется, что я воскрес.
 Я жил. Я звался Геркулес.
 Три тысячи пудов я весил.
 С корнями вырывал я лес.
 Рукой тянулся до небес.
 Садясь, ломал я спинки кресел.
 И умер я... И вот воскрес:
 Нормальный рост, нормальный вес —
 Я стал как все. Я добр, я весел.
 Я не ломаю спинки кресел...
 И все-таки я Геркулес.

1945

ЦАРЬ ПРИРОДЫ

И вдруг мне вспомнилось:
 Я — царь!
 Об этом забывал я годы...
 Но как же быть?
 Любой букварь
 Свидетельствовал это встарь,
 Что человек есть царь природы!

Одевши ткани и меха,
 На улицу я молча вышел.
 Прислушиваюсь.
 Ночь тиха.
 Себе я гимнов не услышал.
 Но посмотрел тогда я ввысь,
 Уверенности не теряя,
 И вижу:
 Звезды вдруг зажглись,
 Как будто путь мне озаряя
 И благосклонно повторяя:
 — Ты — царь природы! Убедись!

Что ж, хорошо!
 Не торопясь,
 Как будто просто так я, некто,
 Не царь и даже и не князь,
 Дошел я молча до проспекта.
 Как убедиться мне скорей,
 Высок удел мой иль плачевен?
 При свете фар и фонарей
 Толпу подобных мне царей.
 Цариц, царевичей, царевен
 Я наблюдал.
 Со всех сторон
 Шли властелины без корон.

Я знал, что в этот поздний час
 Царь воздуха, забыв про нас,
 Витал меж туч.
 Владыка касс
 Свои расчеты вел сейчас.
 Царь лыж блуждал по снежным тропам.
 Царь звезд владычил телескопом.

А царь бацилл над микроскопом
 Склонялся, щурия мудрый глаз.

Я наблюдал.
 Издалека
 Заметил я: царь-оборванец,
 Великий князь запойных пьяниц,
 Ничком лежит у кабака.
 А тоже царь. Не самозванец.

А вот я вижу пешехода,
 Одетого вдвойне пестрей
 Всех этих остальных царей
 И при короне.
 Брадобрей
 Ему корону на полгода
 Завил, как то диктует мода.

Эй, вы! Подвластна вам природа?
 Ну, отвечайте поскорей!
 Вам сотворили чудеса
 В искусствах, равно как в науке,
 Вам покорили небеса,
 Вам атом передали в руки.

Цари вы или не цари,
 А существа иной породы?
 Быть может, вдали буквари,
 Что человек есть царь природы
 Во множестве своем один?
 «Эй ты, природы господин!
 Скажи мне: царь ты или князь?
 Дерзаешь ты природой править?»
 А он в ответ: «Прошу оставить
 Меня в покое!»
 И, боясь,
 Что, может быть, его ударю,
 Что кулаки я, вздрогнув, сжал,
 Он, недостойно государя,
 По-мышья пискнув, отбежал.

О, царь! Прошу тебя: цари!
 Вынь из ушей скорее вату!
 К тебе, возлюбленному брату,
 Я обращаюсь — посмотри!
 Разбужен оттепелью ранней,
 Услышишь завтра даже ты:
 Она трубит из темноты
 Со снежных крыш высоких зданий
 В свой серебристый звонкий рог,
 Сама Весна!
 Ясак, оброк —
 Как звать не знаю эту дань —
 И ты берешь с природы. Встань!

Ведь это же твоя земля!
 Твои обрубки тополя
 Стоят, сучками шевеля,
 Тебя о милости моля!
 Прислушайся к хвалу ручьев,

Прими посольство соловьев
И через задние дворы
Иди, о царь своей свободы,
Принять высокие дары
От верноподданной природы!

1945

ПУТЕШЕСТВЕННИК

Друзья меня провожали
В страну телеграфных столбов.
Сочувственно руку мне жали:
«Вооружен до зубов?
Опасностями богата
Страна эта! Правда ведь? Да?
Но мы тебя любим, как брата,
Молнируй, коль будет нужда!»

И вот она на востоке,
Страна телеграфных столбов,
И люди совсем не жестоки
В стране телеграфных столбов,
И есть города и селенья
В стране телеграфных столбов,
Гулянья и увеселенья
В стране телеграфных столбов!

Вхожу я в железные храмы
Страны телеграфных столбов,
Оттуда я шлю телеграммы —
Они говорят про любовь,
Про честь, и про грусть, и про ревность,
Про то, что я все-таки прав.
Твоих проводов песнопевность
Порукой тому, телеграф!

Но всё ж приближаются сроки,
Мои дорогие друзья!
Ведь я далеко на востоке, —
Вам смутно известно, где я.
Ищите меня, телефоньте,
Молнируйте волю судьбы!
Молчание...
На горизонте
Толпятся немые столбы.

1945

СЛЕД

А ты?
Входя в дома любые —
И в серые,
И в голубые,
Всходя на лестницы крутые,
В квартиры, светом залитые,
Прислушиваясь к звону клавиш
И на вопрос дая ответ,
Скажи:
Какой ты след оставишь?

След,
Чтобы вытерли паркет
И посмотрели косо вслед,
Или
Незримый прочный след
В чужой душе на много лет?

1945

ВОДА

Вода
Благоволила
Литься!

Она
Блистала
Столь чиста,
Что — ни напиться,
Ни умыться.

И это было неспроста.

Ей
Не хватало
Ивы, тала
И горечи цветущих лоз.

Ей
Водорослей не хватало
И рыбы, жирной от стрекоз.

Ей
Не хватало быть волнистой,
Ей не хватало течь везде.
Ей жизни не хватало —
Чистой,
Дистиллированной
Воде!

1946

БОГАТЫЙ НИЩИЙ

От города не отгороженное
Пространство есть. Я вижу, там
Богатый нищий жрет мороженое
За килограммом килограмм.

На нем бостон, перчатки кожаные
И замшевые сапоги.
Богатый нищий жрет мороженое...
Пусть жрет, пусть лопнет! Мы — враги!

1949

* * *

И вскользь мне бросила змея:
— У каждого судьба своя! —
Но я-то знал, что так нельзя —
Жить, извиваясь и скользя.

1949

ЭХО

Что такое случилось со мною?
 Говорю я с тобой одною,
 А слова мои почему-то
 Повторяются за стеною,
 И звучат они в ту же минуту
 В ближних рощах и дальних пущах,
 В близлежащих людских жилищах
 И на всяческих пепелищах,
 И повсюду среди живущих.
 Знаешь, в сущности, — это не плохо!
 Расстояние не помеха
 Ни для смеха и ни для вздоха.
 Удивительно мощное эхо!
 Очевидно, такая эпоха.

1955

ДЕДАЛ

И вот
 В ночном
 Людском потоке
 Мою дорогу пересек
 Седой какой-то, и высокий,
 И незнакомый человек.

Застыл он
 У подножья зданья,
 На архитектора похож,
 Где, гикая и шарлатаня,
 Толклась ночная молодежь.

Откуда эта юность вышла
 И к цели движется какой?
 И тут сказал мне еле слышно
 Старик, задев меня рукой:

— С Икаром мы летели двое,
 И вдруг остался я один:
 На крыльях мальчика от зноя
 Растаял воск. Упал мой сын.

Я вздрогнул.
 — Что вы говорите?
 — Я? Только то, что говорю:
 Я лабиринт воздвиг на Крите
 Неблагодарному царю.

Но чтоб меня не заманили
 В тот лабиринт, что строил сам,
 Себе и сыну сделав крылья,
 Я устремился к небесам!

Я говорю: нас было двое,
 И вдруг остался я один:
 На крыльях мальчика от зноя
 Растаял воск. Упал мой сын.

Куда упал? Да вниз, конечно,
 Где люди по своим делам,
 Стремясь упорно и поспешно,
 Шагали по чужим телам.

И ринулся я вслед за сыном.
 Взывал к земле, взывал к воде,
 Взывал к горам, взывал к долинам.
 — Икар! — кричал я. — Где ты, где?

И червь шипел в могильной яме,
 И птицы пели мне с ветвей:
 — Не шутит небо с сыновьями,
 Оберегайте сыновей!

И даже через хлопья пены
 Неутихающих морей
 О том же пели мне сирены:
 — Оберегайте дочерей!

И этот голос в вопль разросся,
 И темный собеседник мой
 Рванулся в небо и унесся
 Куда-то прямо по прямой.

Ведь между двух соседних точек
 Прямая — самый краткий путь,
 Иначе слишком много кочек
 Необходимо обогнуть.

И как ни ярко был прожектор.
 Его я больше не видал:
 Исчез крылатый архитектор,
 Воздухоплаватель Дедал!

1955

ИТОГИ ДНЯ

В час ночи
 Все мы на день старше.
 Мрак поглощает дым и чад.
 С небес не вальсы и не марши,
 А лишь рапсодии звучат.

И вдохновенье, торжествуя,
 Дойти стремится до вершин,
 И зренье через мостовую
 Сквозь землю видит на аршин.

Как будто на рентгено снимке,
 Все проступает. Даже те,
 Кто носят шапки-невидимки,
 Теперь заметны в темноте.

И улицы, чья даль туманна,
 Полны машин, полны людей,
 И будто бы фата-моргана,
 Всплывают морды лошадей.

Да, с кротостью идут во взорах
 Конь за конем, конь за конем,
 Вот эти самые, которых
 Днем не отыщешь и с огнем.

И движутся при лунном свете
 У всей вселенной на виду
 Огромнейшие фуры эти
 На каучуковом ходу.

А в фурах что? Не только тонны
Капусты синей и цветной,
Не только плюшки, и батоны,
И булки выпечки ночной,

Но на Центральный склад утиля,
На бесконечный задний двор
Везут ночами в изобилье
Отходы всякие и сор.

За возом воз — обоз громаден,
И страшно даже посмотреть
На то, что за день, только за день
Отжить успело, устареть.

В час ночи улицы пустые
Еще полней, еще тесней.
В час ночи истины простые
Еще понятней и ясней.

И даже листьев шелестенье
Подобно истине самой,
Что вот на свалку заблужденья
Везут дорогою прямой.

Везут, как трухлые поленья,
Как барахло, как ржавый лом,
Ошибочные представленья
И кучи мнимых аксиом.

Глядишь: внезапно изменилось,
Чего не брал ни штык, ни нож,
И вдруг — такая эта гнилость,
Что, пальцем ткнув, насквозь проткнешь.

И старой мудрости не жалко!
Грядущий день, давай пророчь,
Какую кривду примет свалка
Назавтра, в будущую ночь!

Какие тягостные грузы
Мы свалим в кладовую мглы!
Какие разорвутся узы
И перерубятся узлы!

А все, что жить должно на свете,
Чему пропасть не надлежит,—
Само вернется на рассвете:
Не выдержит, не улежит!

1956

* * *

— Будьте
Любезны,
Будьте железны! —
Вашу покорную просьбу я слышу.—
Будьте железны,
Будьте полезны
Тем, кто стремится укрыться под крышу.
Быть из металла!
Но, может быть, проще
Для укрепления внутренней мощи
Быть деревянным коньком над строеньем
Около рощи
В цветенье
Весеннем?

А! Говорите вы праздные вещи!
Сделаться ветром, ревушим зловеще,
Но разгоняющим все ваши тучи,—
Ведь ничего не придумаешь лучше!

Нет!
И такого не дам я ответа,
Ибо, смотрите, простая ракета
Мчится почти что со скоростью звука,
Но ведь и это
Нехитрая штука.

Это
Почти неподвижности мука —
Мчатся куда-то со скоростью звука,
Зная прекрасно, что есть уже где-то
Некто,
Летающий
Со скоростью
Света!

1957

КОНСТАНТИН МИТРЕЙКИН

1905, Симбирск—1934, Москва

Входил в родном Симбирске (уже Ульяновске) в литературную группу «Стрежень». Первый сборник стихов выпустил в 1928-м — «Бронза». Был конструктивистом. Стал жертвой остроумия Маяковского — «кудреватые Митрейки, мудреватые Кудрейки». Все же, мне кажется, у Митрейкина остались нераскрытые возможности. Бесследно исчез. Не он один.

ЭЛЬКИНЫ ИЛЛЮЗИИ

(отрывок)

Кто не думает — тот не страдает.
Тот бредет по тропинке привычки.
Тот оптимист по влечению. Тот
Бойтись столкнуться с ветром.

Тот всюду и всем доволен.
Тот консерватор. В его глазах
Самое худшее зло — перемена.
Я мучаюсь —
следовательно, я размышляю.
Вечер. Шумит за окном ветер.
Осень тащит, как невод, ливень.

По-осеннему мне тоскливо. Утром
Горлом пошла кровь. Грустно
Чуть на душе, но не больно.
Ты не приходишь. Я начинаю дневник.
Я хочу говорить с тобою, Тасенок,
И время, пространство и неизвестность
Не отнимут тебя от меня.

Есть человеческие жизни, похожие
на дремотные озера.
Другие похожи на закатные светлые небеса
Со взбитыми на них пенными облаками.
Есть жизни широкие, как
оренбургские степи.
Иные похожи на горные вершины,
квадратные, обостренные,

Другие куда-то торопятся,
словно надутые паруса,
И вдруг, чуть упадет ветер,—
они опадают и вянут;
Мне кажется, что я похож на речку.
В моем течении есть широкие заводи.
В них сновиденьями проходят облака.
Леса
Опрокинуты в них. Тишина.
Но вода течет.
Вода меняется, и под мнимую
и неподвижностью
Пulsирует трепетное течение.
Сила,
Которая готова обрушиться
на первое препятствие.

НАДЕЖДА НАДЕЖДИНА

1905, Могилев — 1992

Родилась в учительской семье. Окончила литературное отделение МГУ в 1929 году, тогда же вышла замуж за поэта Николая Дементьева. Эдуард Багрицкий сделал ему надпись на своей книге «Юго-Запад»: «Дорогому Коле Дементьеву — первому человеку, признавшему меня с любовью». Дементьев и жена вместе писали очерки для журнала «Юный натуралист». Тяжкая болезнь унесла Дементьева в 1935 году. В 1950-м его вдову арестовали, при обыске сожгли все рукописи мужа. В 1956-м Надеждину реабилитировали. Написала 22 книги для детей. Печатаемое стихотворение — из цикла «Стихи без бумаги», целиком созданного «на слух». Весь цикл издан в 1990 году в антологии «Средь других имен».

ИЗ ЦИКЛА
«СТИХИ БЕЗ БУМАГИ»
(отрывок)

* * *

Вам, кто не пил горечь тех лет,
Наверно, понять невозможно:
Как же стихи, а бумаги нет?
А если ее не положено?

Кто-то клочок раздобыл, принес,
И сразу в бараке волнение:
То ли стукач пишет донос,
То ли дурак прошение.

Ночь — мое время. Стукнет отбой,
Стихнут все понемногу.
Встану. Ботинки сорок второй —
Оба на левую ногу.

Встречу в ночной темноте дозор.
— Куда? — Начальник, в уборную...
И бормочу, озираясь, как вор,
Строчки ищущих стихотворные.

Что за поэт без пера, без чернил —
Конь без седла и стремени...

Я не хочу ни чернить, ни винить,
Я лишь свидетель времени.

1951. Дубравлаг.

ВЕТЕР

Мама, а кто это поет там?
— Ветер.
Мама, бывают у ветра дети?
Были бы дети, был бы свой дом.
Он бы не пел под чужим окном.

* * *

Кажется мне, кажется,
Что он, дурак, не отважится,
Так по губам только мажется...
Но, уж если отважится,
То нипочем не отвяжется.
Кажется мне, кажется.

* * *

Не ходи ты ко мне, не ходи.
Разговоры не заводи.
У тебя-то ботинки узкие,
А у нас косомеры русские.

ИЛЬЯ НИКОНОВ

ок. 1905 — не ранее 1974

Автор поэтического сборника «Путешествие на Джербу» (т. е. на легендарный остров лотофагов, людей, утративших память об остальном мире), вышедшего в Париже в 1939 году. Как в 20-е, так и в 70-е годы жил в Финляндии; под большинством же стихотворений упомянутого сборника как место написания стоит: «Тунис», «Карфаген», изредка — Париж.

* * *

Станет жизнь — исполнятся сроки, —
Невесомой, как легкий дым,
Элегантный и модный смокинг
Мы за рубище отдадим.

Уплывем, грустя об остроге,
Мы в Гвиану, в Сибирь, вдвоем,
Но совсем не вспомним о Боге,
И о сделанном не вздохнем.

1939, Карфаген

Иван ПРИБЛУДНЫЙ

1905, слобода Безгиновка Харьковской губ.—1937

Псевдоним Якова Овчаренко. Во время гражданской войны был беспризорником, затем сражался в дивизии Котовского. Учился в Высшем литературно-художественном институте имени Брюсова. Сблизился с Есениным, по-своему развивая крестьянскую тему. Обладал сочным народным юмором. Вся литературная Москва тех времен знала на память его действительно обаятельно-смешную строфу: «Я жениться никогда не стану, этой петли я не затяну, потому что мне не по карману прокормить любимую жену». Говорят, что в какой-то степени Приблудный был прообразом поэта Бездомного в романе «Мастер и Маргарита». Редкостно одаренный, не успевший раскрыться поэт; репрессирован.

ПРО БОРОДУ

Ой, чуй, чуй-чуй-чуй,
На дороге не ночуй.
Едут дроги
во всю прыть,
могут ноги
отдавить.
Едет в дрогах старый дед —
двести восемьдесят лет,
и везет на ручках
маленького внука.
Внучку этому идет
только сто тридцатый год,
и у подбородка
борода коротка.
В эту бороду его
не упрячешь ничего —
кроме полки с книжками,
мышеловки с мышками,
столика со стуликами
и буфета с бубликами,—
больше ничего!..
А у деда борода,
как отсюда вон туда...
и оттуда через туда
и опять потом сюда.
Если эту бороду

расстелить по городу,
то проехало б по ней:
сразу тысяча коней,
два буденновских полка,
тридцать семь автоторов,
триста семьдесят саперов,
да стрелков четыре роты,
да дивизия пехоты,
да танкистов целый полк.
Вот такой бы вышел толк,
если б эту бороду
да расстелить по городу.
Ух!

1929

**РАЗМЫШЛЕНИЯ У ЧУЖОГО
ПАРАДНОГО ПОДЪЕЗДА**

... Жоржи Занд во мне галдели
мягко, женственно, цветисто,
и высказывался Шелли
против империалистов.

И сейчас во мне томится
что-то вроде «Илиады»,
но едва начнет родиться,—
как стеной встают преграды.

И слегка коснувшись лиры,
пропадают, бесталанны,
и Гомеры, и Шекспирсы,
И Гюи-де-Мопассаны...

Дело в том, что, почему-то,
все права на то имея,
ни уюта, ни приюта
не сумел нажить в Москве я...

...Люди по миру шагают
гладко, ловко, словно по льду,
люди пьесы сочиняют
на здоровье Мейерхольду.

В бедный стаж свой, без стеснений,
ставят надобную дату
и собранье сочинений
предлагают Госиздату.

Дело мастера боится;
книги выйдут из печати,
и от Лежнева до Жица
все возьмутся величать их.

И уже писатель в моде:
нажил деньги, создал славу,
и в Дом Герцена он ходит
есть бифштексы, пить «Абрау».

Все легко ему дается,
потому что в этом мире

у него всегда найдется
и квартира, и в квартире.

Ему горе незнакомо;
у меня же, как ни странно,
нет ни улицы, ни дома,
где бы жил я постоянно.

Шатко по миру скитаюсь,
непрописанный, кочую,
у друзей млекопитаюсь,
у приятелей ночую.

Признает меня «Прожектор»,
«Новый мир» дает авансы;
но не в силах фининспектор
уяснить себе мой адрес.

Не могу его я встретить,
пригласить на чашку чаю,
не могу ему ответить,
сколько денег получаю.

Но скажу, что, без квартиры,
не достигли бы осанны,
ни Гомеры, ни Шекспирсы,
ни Гюи-де-Мопассаны.

А, — уставшему скитаться,
потерявшему отчизну, —
как же мне не спотыкаться
по пути к социализму.

Декабрь 1928

НИКОЛАЙ СИДОРЕНКО

1905, Курск—1980

Окончил факультет судовой механики Московского механического института. Первая книга стихов «Салют» вышла в 1926 году. Участник Великой Отечественной войны. Воспитатель многих молодых поэтов. Жаль, что на приводимое мною стихотворение Сидоренко до сих пор не создана песня. Оно так и просится на музыку.

БЕЛЫМ-БЕЛО

Твержу задание свое:
На карте есть деревня Эн,
И нужно отыскать ее,
Ни угодить ни в смерть, ни в плен...
Закат пургою замело —
И тьма, и ни звезды взамен!
Белым-бело, белым-бело...

Все снег да снег, все снег да снег.
Захлебываюсь, но иду.
Я шел бы даже и в бреду —
И целый час, и день, и век,
Назло пурге, себе назло.
Так скроен русский человек.
Белым-бело, белым-бело...

Прошел заставу вражью я,
И кто-то громко закричал,
И в ногу мне свинец попал —
И ногу мне свинцом прожгло.
Спасла пурга-ворожея.
Идти мне, братцы, тяжело.
Белым-бело, белым-бело...

Мороз и ветер. Я продрог.
По горло снег, все снег да снег!
Нет сил моих, и нет дорог —
Кружусь, наверно, целый век.
Ползти мне, братцы, тяжело,
Не вижу неба и земли.
Ворчат орудия вдали.
Белым-бело, белым-бело.

Хочу, чтоб знал мой генерал,
 Что не попал солдат впросак,
 Что я не умер просто так,
 Что много раз я воскресал,

Что я искал, искал, искал,
 Что вправду было тяжело...

Белым-бело, белым-бело...

БОРИС ФИЛИППОВ

1905, Ставрополь — 1991, Вашингтон

Настоящая фамилия — Филистинский. Родился в семье офицера царской армии. Закончил Ленинградский институт восточных языков. С 1936 по 1941-й был в лагерях. После войны, пройдя сквозь лагеря для перемещенных лиц в Германии, переселился в США. Был издателем, выпускавшим запрещенную в СССР литературу, под его редакцией вышли собрания сочинений Ключева, Мандельштама и т. д. Автор более чем 30 книг стихов, мемуаров, эссе.

* * *

«духи парные обретают полноту личности лишь воссоединяясь с другим: женой, мужем. Но есть духи непарные, навеки обреченные одиночеству».

(из гностиков)

Да, одиночество. Удавленное слово.
 Так тихо, чисто: никаких расстройств.
 Такой покой. В покое у больного
 такая тишина. И словно славных свойств
 исполненное ПУСТЬ.

И слово, словно слава
 бесславных и бессловных дел. И пустота.

И дней опавших гулкая орава
 польнно-полая, как простота.
 И около — ничто. И окала, качалась,
 казалась, кучилась, кусалась грусть,
 касалась, корчилась и приникала жалость
 и простодушно простиралось Путь.

Так вот оно, что рассеклось — и не
 срослось: кровоточит, да и к тому ж
 не стало целым: ни жены в жене,
 ни в муже — муж.

Ни раб, ни господин —
 один.

ДАНИИЛ ХАРМС

1905, Петербург — 1942, Ленинград

Псевдоним Даниила Ювачева, сына народовольца Ивана Ювачева, некогда приговоренного к смертной казни, вместо этого отбывшего ссылку на Дальнем Востоке, ушедшего из революции в религию. Будущий поэт окончил «Петершуле» — немецкую гимназию в Петербурге. Самое раннее из сохранившихся стихотворений Даниила Хармса — кстатки, о происхождении псевдонима есть немало теорий, и все они не убедительны — датировано 1922 годом; опубликовался впервые в 1926-м в альманахе «Собрание стихотворений». Быстро завоевал популярность как детский поэт; в декабре 1931 года с Введенским и другими обэриутами был арестован, освобожден 18 июня 1932 года и вместе с Введенским выслан в Курск. Один из главных обэриутов, Хармс однажды записал в дневнике свое эстетическое кредо (1937): «Меня интересуют только «чушь», только то, что не имеет никакого практического смысла. Меня интересуют только жизнь в своем нелепом проявлении. Геройство, пафос, удаль, мораль, гигиеничность, нравственность, умиление и азарт — ненавистные для меня слова. Но я вполне понимаю и уважаю: восторг и восхищение, вдохновение и отчаяние, страсть и сдержанность, распутство и целомудрие, печаль и горе, радость и смех». Такой странный коктейль эстетических ценностей при незаурядном поэтическом даровании должен был дать весьма интересные результаты — и дал их. В его комнате висел список людей, «особенно уважаемых в этом доме», а самые уважаемые в этой комнате просто бывали — друзья обэриуты и те, кто был к ним близок. Кстати, строгого деления на «детскую» и «взрослую» поэзию у Хармса нет: едва ли не все, написанное им для детей, имеет вполне «взрослую» ценность. 23 августа 1941 года Хармс был снова арестован и, если верить справке, 2 февраля 1942 года скончался в тюремной больнице. В 1956 году реабилитирован, и его стихи начали постепенно возвращаться к читателям.

* * *

Купался грозный Петр Палыч
 закрыв глаза нырял к окну
 на берегу стояла сволочь
 бросая в воздух мать одну
 но лишь утопленника чистый
 мелькал затылок над водой

народ откуда-то плечистый
 бежал на мостик подкидной
 здесь Петр Палыч тонет даже
 акулы верно ходят там
 нет ничего на свете гаже
 чем тело вымыть пополам.

Апрель 1927

ФОКУСЫ

Средь нас на палочке деревянной
сидит кукушка в сюртуке
хранит платочек румяный
в своей чешуйчатой руке.
Мы все как бабушка тоскуем
разинув рты глядим вперед
на табуретку золотую —
и всех тотчас же страх берет.
Иван Матвеевич от страха
часы в карман переложил
а Софья Павловна старуха
сидела в сокращеньи жил
а Катя в форточку любуясь
звериной ножкой шевеля
холодным потом обливалась
и заворачивалась в шенкеля.
Из-под комода ехал всадник
лицом красивый как молитва,
он с малолетства был проказник
ему подруга бритва.
Числа не помня своего
держал он курицу в зубах.
Иван Матвеевича свело
загнав печенку меж рубаш.
А Софья Павловна строга
сидела выставив затылок
оттуда выросли рога
и сто четырнадцать бутылок.
А Катя в галстук своем
свистела в пальчик соловьем
стыдливо кутаясь в меха
кормила грудью жениха.
Но к ней кукушка наклонялась
как червь кукушка улыбалась
потом на ножки становилась
да так что Катя удивилась
от удивленья задрожала
И как тарелка убежала.

2 мая 1927

* * *

По вторникам над мостовой
Воздушный шар летал пустой.
Он тихо в воздухе парил;
В нем кто-то трубочку курил,
Смотрел на площади, сады,
Смотрел спокойно до среды,
А в среду, лампу потушив,
Он говорил: Ну город жив.

1928

* * *

Я сидел на одной ноге,
держал в руках семейный суп,
рассказ о глупом сундуке
в котором прятал деньги старик —
он скуп.
Направо от меня шумел
тоскливый слон,

тоскливый слон.
Зачем шумишь? Зачем шумишь? —
его спросил я протрезвясь —
я враг тебе, я суп, я князь.
Умолкнул долгий шум слона,
остыл в руках семейный суп.
От голода у меня текла слюна.
Потратить деньги на обед
я слишком скуп.
Уж лучше купить
пару замшевых перчаток,
лучше денег накопить
на поездку с Галей С.
за ограду града в лес.

* * *

Фадеев, Калдеев и Пепермалдеев
однажды гуляли в дремучем лесу.
Фадеев в цилиндре, Калдеев в перчатках,
а Пепермалдеев с ключом на носу.

Над ними по воздуху сокол катался
в скрипучей тележке с высокой дугой.
Фадеев смеялся, Калдеев чесался,
а Пепермалдеев лягался ногой.

Но вдруг неожиданно воздух надулся
и вылетел в небо горяч и горяч.
Фадеев подпрыгнул, Калдеев согнулся,
а Пепермалдеев схватился за ключ.

Но стоит ли трусить, подумайте сами,—
давай мудрецы танцевать на траве.
Фадеев с картонкой, Калдеев с часами,
а Пепермалдеев с кнутом в рукаве.

И долго, веселые игры затеяв,
пока не проснутся в лесу петухи,
Фадеев, Калдеев и Пепермалдеев
смеялись: ха-ха, хо-хо-хо, хи-хи-хи!

18 ноября 1930

НЕТЕПЕРЬ

Это есть Это.
То есть То.
Все либо то, либо не то.
Что не то и не это, то не это и не то.
Что то и это, то и себе Само.
Что себе Само, то может быть то,
да не это, либо это, да не то.

Это ушло в то, а то ушло в это.
Мы говорим: Бог дунул.
Это ушло в это, а то ушло в то,
и нам неоткуда выйти и некуда прийти.
Это ушло в это. Мы спросили: где?
Нам пропели: тут.
Это вышло из Тут. Что это? Это То.
Это есть то.

свою работу совершает.
 И гром большую колокольню
 с ужасным треском сокрушает.
 И главный колокол разбит.
 А ты несчастный, жертва страсти,
 глядишь в замок. Прекрасен вид!
 И половых приборов части,
 нагой торговки, блещут влагой.
 И ты, наполнив грудь отвагой,
 вбегаешь в комнату с храпением
 в носках бежишь и с нетерпением
 рукой прорешку открываешь
 и вместо речи — страшно лаешь.
 Торговка ножки растворила,
 Ты на торговку быстро влез
 В твоей груди клокочет сила,
 Твоим ребром играет бес.
 В твоих глазах летают мухи,
 В ушах звенит орган любви,
 И нежных ласк младые духи
 играют в мяч в твоей крови,
 И в растворенное окошко,
 расправив плащ, влетает ночь.
 и сквозь окон большая кошка,
 поднявши хвост, уходит прочь.

4—17 октября 1933

ИЗ «ГОЛУБОЙ ТЕТРАДИ» № 12*

Ведите меня с завязанными глазами.
 Не пойду я с завязанными глазами.
 Развяжите мне глаза, и я пойду сам.
 Не держите меня за руки,
 Я рукам волю дать хочу.
 Расступитесь, глупые зрители.
 Я ногами сейчас шпыняться буду.
 Я пройду по одной половине и не пошатнусь,
 По карнизу пробегу и не рухну.
 Не перечьте мне. Пожалеете.
 Ваши трусливые глаза неприятны богам.
 Ваши рты раскрываются некстати.
 Ваши носы не знают вибрирующих запахов.
 Ешьте это ваше занятие.
 Подметайте свои комнаты — это вам
 положено от века.
 Но снимите с меня бандажи и набрюшники,
 Я солью питаюсь, а вы сахаром.
 У меня свои сады и свои огороды.
 У меня в огороде пасется своя коза.
 У меня в сундуке лежит меховая шапка.
 Не перечьте мне, я сам по себе, а вы для меня
 только четверть дыма.

8 января 1937

ЯКОВ ШВЕДОВ

1905, д. Пеня Тверской губ.—1984

Песня Шведова «Орленок» на музыку В. Белого вместе с «Каховкой» Светлова, «Партизаном Железняком» Голодного стала одной из самых знаменитых песен о революции. Увы, власть оказалась не «орлиной», как писал поэт. Это была власть стервятников.

ОРЛЕНОК

Орленок, орленок,
 Взлети выше солнца
 И степи с высот огляди.
 Навеки умолкли веселые хлопцы,
 В живых я остался один.

Орленок, орленок,
 Сверкни оперением,
 Собою затми белый свет.
 Не хочется думать о смерти, поверь мне,
 В шестнадцать мальчишеских лет.

Орленок, орленок,
 От сопочной кромки
 Гранатой врагов отмело,
 Меня называли в отряде орленком.
 Враги называют орлом.

Орленок, орленок,
 Мой верный товарищ,
 Ты видишь, что я уцелел,
 Лети на станицу, родимой расскажешь,
 Как сына вели на расстрел.

Орленок, орленок,
 Товарищ крылатый,
 Ковыльные степи в огне.
 На помощь спешат комсомольцы-орлята
 И жизнь возвратится ко мне.

Орленок, орленок,
 Пришли эшелоны,
 Победа борьбой решена,—
 У власти орлиной орлят миллионы,
 И ими гордится страна.

1936

ГЕОРГИЙ ШТЕРН**1905, Петербург — 1982**

Окончил Тенишевское училище, затем историко-филологический факультет ЛГУ. В 1933 году был арестован, отбывал срок в лагере, где получил новую профессию — геолога. В результате тюремно-лагерных испытаний начал слепнуть — в 1956 году, во время прозрения всей страны, по трагическому парадоксу потерял зрение. Стихи писал с детства. Талант небольшой, но чувствуется внутренняя культура.

ГУМИЛЕВУ

Ты в порыве отваги и злости,
Ненавидя, страдая, любя,
Вызвал смерть перекинуться в кости,
И как ставку, ей бросил себя.

АЛЕКСЕЙ ЭЙСНЕР**1905, Киев — 1984, Москва**

Принадлежал к первой волне эмиграции. Воспитывался в Югославии, позже переехал в Прагу, где стал «звездой» пражского литературного объединения «Скит поэтов». Ему блестяще удавалась проза, поэзия, публицистика, в последней он был, впрочем, на редкость субъективен. Был близко знаком с Цветаевой, его печатали в «Воля России», и «Современные записки». В начале 30-х переехал в Париж и литературу внезапно забросил, записавшись в советские патриоты: за то, что «зарыл дар в землю», Цветаева его не простила. Воевал в Испании, позже уехал в СССР, где в 1940 году был арестован и шестнадцать лет провел в лагерях и ссылках: кстати, в 1946 году в Воркуте, пережив глубокое сердечное увлечение, написал несколько новых стихотворений. После возвращения в Москву и реабилитации вновь занялся литературой, но попал на роль откровенно маргинальную: печатал впечатления от поездки по Болгарии, выступал на вечерах памяти Цветаевой; даже его книга воспоминаний о войне в Испании вышла лишь посмертно. Все поэтическое наследие Эйснера составляет едва ли тысячу строк, но без его «Конницы» и «Надвигается осень...» поэзию русского зарубежья представить невозможно.

КОННИЦА

Толпа подавит вздох глубокий,
И оборвется женский плач,
Когда, надув свирепы щеки,
Поход сыграет штаб-трубач.

Легко вонзятся в небо пики.
Чуть заскрежещут стремяна.
И кто-то двинет жестом диким
Твои, Россия, племена.

И воздух станет пьян и болен,
Глотая жадно шум знамен,
И гром московских колоколен,
И храп коней, и сабель звон.

И день весенний будет страшен,
И больно будет пыль вдыхать...
И долго, вслед, с кремлевских башен
Им будем шапками махать.

Но вот — леса, поля и села,
Довольный рев мужицких толп.
Свистя сверкнул палаш тяжелый,
И рухнул пограничный столб.

Земля дрожит. Клубятся тучи.
Поет сигнал. Плывут полки.

И польский ветер треплет круче
Малиновые башлыки.

А из России самолеты
Орлиный клекот завели.
Как птицы щурятся пилоты,
Впиваясь пальцами в рули.

Надменный лях коня седлает,
Спешит навстречу гордый лях.
Но поздно. Лишь собаки лают
В сожженных, мертвых деревнях.

Греми, суворовская слава!
Глухая жалость, замолчи...
Несет привычная Варшава
На черном бархате ключи.

И ночь пришла в огне и плаче.
Ожесточенные бойцы,
Смеясь, насилуют полячек,
Громят костелы и дворцы.

А бледным утром — в стремя снова.
Уж конь напоен, сыт и чист.
И снова нежно и сурово
Зовет в далекий путь горнист.

И долго будет Польша в страхе,
И долго будет петь труба,—

Но вот уже в крови и прахе
Лежат немецкие хлеба.

Не в первый раз пылают храмы
Угрюмой сумрачной земли,
Не в первый раз Берлин упрямый
Чеканит русские рубли.

На пустырях растет крапива
Из человеческих костей.
И варвары баварским пивом
Усталых поят лошадей.

И пусть покой солдатам снится,—
Рожок звенит: на бой, на бой!..
И на французские границы
Полки уводит за собой.

Опять, опять взлетают шашки,
Труба рочочет по рядам,
И скачут красные фуражки
По разоренным городам.

Вольнолюбивые крестьяне
Еще стреляли в спину с крыш,
Когда в предутреннем тумане
Перед разъездом встал Париж.

Когда ж туман поднялся выше,
Сквозь шорох шин и вой гудков,
Париж встревоженно услышал
Однообразный цок подков.

Ревут моторы в небе ярком.
В пустых квартирах стынет суп.
И вот, под Триумфальной аркой,
Раздался медный грохот труб.

С балконов жадно дети смотрят.
В церквах трещат пуды свечей.
Все громче марш. И справа по-три
Прошла команда трубачей.

И крик взорвал толпу густую,
И покачулся старый мир,—
Проехал, шашкой салютуя,
Седой и грозный командир.

Плывут багровые знамена.
Грохочут бубны. Кони ржут.
Летят цветы. И эскадроны
За эскадронами идут.

Они и в зной, и в непогоду,
Телами засыпая рвы,
Несли желанную свободу
Из белокаменной Москвы.

Проходят серые колонны,
Алеют звезды шишаков.

И вьются желтые драконы
Манджурских бешеных полков.

И в искушенных парижанках
Кровь закипает, как вино,
От пулеметов на тачанках,
От глаз кудлатого Махно.

И пыль и ветер поднимая,
Прошли задорные полки.
Дрожат дома. Торцы ломая,
Хрипя ползут броневики.

Пал синий вечер на бульвары.
Еще звучат команд слова.
Уж поскакали кашевары
В Булонский лес рубить дрова.

А в упоительном Версале
Журчанье шпор, чужой язык.
В камине на бараньем сале
Чадит на шомполах шашлык.

На площадях костры бушуют.
С веселым гиком казаки
По тротуарам джигитуют,
Стреляют на скаку в платки.

А в ресторанах гам и лужи.
И девушки, сквозь винный пар,
О смерти молят в неуклюжих
Руках киргизов и татар.

Гудят высокие соборы.
В них кони фыркают во тьму,
Черкесы вспоминают горы,
Грустят по дому своему.

Стучит обозная повозка.
В прозрачном Лувре свет и крик.
Перед Венерою Милосской
Застыл загадочный калмык...

Очнись, блаженная Европа,
Стряхни покой с красивых век,—
Страшнее труса и потопа
Далекой Азии набег.

Ее поднимет страсть и воля,
Зарей простуженный горнист,
Дымок костра в росистом поле
И занесенной сабли свист.

Не забывай о том походе.
Пускай минуло много лет,
Еще в каком-нибудь комодке,
Хранишь ты русский эполет...

Но ты не веришь. Ты спокойно
Струишь пустой и легкий век.

Услышишь скоро гул нестройный
И скрип немазанных телег.

Молитесь, толстые прелаты,
Мадонне розовой своей.
Молитесь! — Русские солдаты
Уже седлают лошадей.

* * *

Надвигается осень. Желтеют кусты.
И опять разрывается сердце на части...
Человек начинается с горя. А ты
Простодушно хранишь мотыльковое счастье.

Человек начинается с горя. Смотри,
Задышаются в нем парниковые розы.
А с далеких путей в ожидании зари
О разлуке ревут по ночам паровозы.

Человек начинается... Нет, подожди.
Никакие слова ничему не помогут.
За окном тяжело зашумели дожди.
Ты, как птица к полету, готова в дороге.

А в лесу расплываются наши следы,
Расплываются в памяти бледные страсти —
Эти бедные бури в стакане воды...
И опять разрывается сердце на части.

Человек начинается... Кратко. С плеча.
До свиданья. Довольно. Огромная точка...
Небо, ветер и море. И чайки кричат.
И с кормы кто-то жалобно машет платочком.

Уплывай. Только черного дыма круги.
Расстоянье уже измеряется веком...
Разноцветное счастье свое береги,—
Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком.

Зазвенит и рассыплется мир голубой,
Белоснежное горло как голубь застонет,
И полярная ночь поплывет над тобой,
И подушка в слезах, как Титаник, потонет.

Но уже погружаясь в арктический лед,
Навсегда холодеют горячие руки.
И дубовый отчаливает пароход
И, качаясь, уходит на полюс разлуки.

Вьется мокрый платочек и пенится след,
Как тогда... но я вижу, ты все позабыла,
Через тысячи верст, и на тысячи лет
Безнадежно и жалко бряцает кадило.

Вот и все. Только темные слухи про рай...
Равнодушно шумит Средиземное море.
Потемнело. Ну, что ж. Уплывай. Умирай:
Человек начинается с горя.

ДАНИИЛ АНДРЕЕВ

1906, Берлин — 1959, Москва.

При жизни не напечатал ни одной строки стихов. Родился в семье знаменитого прозаика Леонида Андреева. Был художником-шрифтовиком. Во время войны сражался рядовым на ладожском льду. После окончания войны был «отблагодарен» десятью годами тюрьмы. Поэзия помогла ему выжить, когда он уходил в мир русской и мировой истории от окриков вертухаев и лая овчарок. Написал философскую поэму в прозе «Роза мира»; был из тех русских правдолюбцев, которые, освещая тайной свечой мрачные своды пещер истории, пытались связать воедино разорванные звенья распавшейся связи времен. Он сам сказал о таких, как он: «Но есть безымянность иных... Свинцов удел безвестных борцов, всedневных подвижников и творцов деятельной любви».

ТЮРЬМА НА ЛУБЯНКЕ

Нет:
Втиснуть нельзя этот стон, этот крик
В ямб:
Над
Лицами спящих — негаснущий лик
Ламп,
Дрожь
Сонных видений, когда круговой
Бред
Пьешь,
Пьешь, задыхаясь, как жгучий настой
Бед.
Верь:
Лязгнут запоры... Сквозь рваный поток
Снов
Дверь

Настежь — «Фамилия?» — краткий швырок
Слов,—
Сверк
Грозной реальности сквозь бредовой
Мрак,
Вверх
С шагом ведомых совпавший сухой
Шаг,
Стиск
Рук безоружных чужой груботой
Рук,
Визг
Петель и — чинный, парадный,— другой
Круг.
Здесь
Пышные лестницы; каждый их марш
Прям;

Здесь
Вдоль коридоров — шелка секретарш —
Здесь
Буком и тисом украшен хитро
Здесь
Смолк бы Щедрин, уронил бы перо

Дам;
Лифт...
Свифт.

Дым
Пряно-табачный... улыбочки... стол...
Дыб
Сумрачной древности ты б не нашел

Труд...
Тут:

Тишь...
Нет притаившихся в холоде ям

Крыс...

Лишь
Красные капли по всем ступеням

Вниз.

Гроб?
Печь? Лазарет?.. — Миг — и начисто стерт

След,

Чтоб
Гладкий паркет заливал роковой

Свет.

1935—1956

**ЭВАКУАЦИЯ ВОЖДА
ИЗ МАВЗОЛЕЯ В 1941 ГОДУ**
Баллада

Подновлен румяным гримом,
Желтый, чинный, аккуратный,
Восемнадцать лет хранимый
Под стеклянным колпаком,
Восемнадцать лет дремавший
Под гранитом зиккурата, —
В ночь глухую мимо башен
Взят — похищен — прочь влеком.

В опечатанном вагоне
Вдоль баракров, мимо станций,
Мимо фабрик, новостроек
Мчится мертвый на восток,
И на каждом перегоне
Только вьюга в пьяном танце,
Только месиво сырое
Рваных хлопьев и дорог.

Чьи-то хлипкие волокна,
Похохатывая, хныча,
Льнут снаружи к талым окнам
И нащупывают щель...
Странись! Пространство роя,
Странный поезд мчит добычу;
Сатанеет, кычет, воет
Преисподняя метель.

Увезли... — А из гробницы,
Никому незрим, незнаем,
Он, способный лишь присниться
Вот таким, — выходит сам
Без лица, без черт, без мозга,
Роком царства увлекаем,
И вдыхает острый воздух
В час, открытый чудесам.

Нет — не тень...
но схожий с тенью
Контур образа... не тронув
Ни асфальта, ни ступеней,
Реет, веет ко дворцу,
И, просачиваясь снова
Сквозь громады бастионов,
Проникает в плоть живого —
К сердцу, к разуму, к лицу.

И, не вникнув мыслью грузной
В совершающийся ужас,
С тупо-сладкой, мутной болью
Только чувствует второй,
Как удвоенная воля
В нем ярится, пучась, тужась,
И растет до туч над грустной,
Тихо плачущей страной.

1942—1952

ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ТЕАТРУ

Порой мне казалось, что свят и нетленен
Лирической чайкой украшенный зал,
Где Образотворец для трех поколений
Вершину согласных искусств указал.

Летящие смены безжалостных сроков
Мелькнули, как радуга спиц в колесе.
И что мне до споров, до праздных упреков,
Что видел не так я, как видели все?

В губернскую крепь, в пошехонскую дикость
Отсюда струился уют очагов,
Когда единил всепрощающий Диккенс
У племени пунша друзей и врагов.

То полу-улыбкою, то полусмехом,
То грустью, прозрачной, как лед на стекле,
Здесь некогда в сумерках ласковый Чехов
Томился о вечно цветущей земле.

Казалось, парит над паденьем и бунтом
В высоком катарсисе поднятый зал,
Когда над растратившим душу Пер Гюнттом
Хрустальный напев колыбельной звучал.

Сквозь брызги ночных, леденящих и резких
Дождей Петербурга, в туманы и в таль
Смятенным очам разверзал Достоевский
Пьянящую глубину — и горящую даль.

Предчувствием пропасти души овеяв,
С кромешною явью мешая свой бред,
Здесь мертвенно-бледным гротеском Андреев
На бархате черном чертил свое «нет».

Отсюда, еще не умея молиться,
Но чая уже глубочайшую суть,
За Белою Чайкой, за Синею Птицей
Мы все уходили в излучистый путь.

И если театр обещен, как все мы,
Отдав первородство за мертвый почет,
Он *был* — и такой полнозвучной поэмы
Столетье, быть может, уже не прочтет.

1950

* * *

Русские зодчие строили прежде
За чередой
Стен
Белые храмы в брачной одежде,
Чище морских
Пен.

Кремль неземной в ослепительной славе
Снится порой
Нам,
Вечно спускаясь к плоти и яви,
Как мировой
Храм.

Тих, несказанен и невоплощаем,
Светел, как снег
Гор...
Путь его ищем, тайн его чаем,
Поя, что век
Скор.

Но в глубине, под городом зримым,
Некий двойник
Есть,
И не найдешь ты о нем, таимом,
В мудрости книг
Весть.

Эти запретные грани и спуски
Вглубь, по тройным
Рвам,
Ведомы только демонам русским,
Вихрям ночным,
Нам.

К этим подземным, красным озерам
Срыв круговой
Крут:
Бодрствует там — с неподвижным взором,
Как вековой
Спрут.

Тихо Печальница русского края
Рядом с тобой
Шла,
Если прошел ты, не умирая,
Сквозь этот строй

Зла.

1950

К ОТКРЫТИЮ ПАМЯТНИКА

Все было торжественно-просто:
Чуть с бронзы покров соскользнул,
Как вширь, до вокзала и моста,
Разлился восторженный гул.

День мчится — народ не рдеет:
Ложится венок на венок,
Слова «ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА» рдеют
На камне у бронзовых ног.

Но чуждый полдневному свету,
Он нем, как оборванный звук:
Последний, кто нес эстафету
И выронил факел из рук.

Когда-то под аркой вокзала,
К народу глаза опустив,
Он видел: Россия встречала
Его, как заветнейший миф.

Все пело! Он был на вершине!
И, глядя сквозь слез на толпу,
Шагал он к роскошной машине
Меж стройных шеренг ГПУ.

Все видел. Все понял. Все ведал.
Не знал? обманулся?.. Не верь:
За сладость учительства предал
И продал свой дар. А теперь?

Далеко, меж брызг Укарвайра,
Гоним он нездешней тоской,
Крича, как печальная кайра,
Над огненной ширью морской.

Все глуше мольбы его, тише...
Какие столетья стыда,
Чья помощь бесплотная свыше
Искупит его? и когда?

1955

ИЗ ПОЭМЫ «ГИБЕЛЬ ГРОЗНОГО»

Не пугайся. Да и чем на свете я
Ужаснул бы тех, кому насквозь
Через мрак двадцатого столетия
Наяву влачиться довелось?
И задача книги разве та,
Чтоб кровавой памятью земли
Вновь и вновь смущалась чистота
Наших внуков в радостной дали?

Но он сам, ночами в голой келии
 Не встававший до утра с колен,
 Чтобы утром снаидить в подземелие,
 Где сам воздух проклят и растлен —
 Он тревожил с детства мой досуг,
 Ибо тайна, замкнутая в нем, —
 Ключ от наших всероссийских мук,
 наших пыток стужей и огнем.

Вот он сходит, согнут в три погибели,
 Но всевидящий, как сатана,
 Уже зная: на углях, на дыбе ли,
 На крюке ли жертва подана?
 Ноздри вздрагивают. Влажный рот
 Приоткрыт в томительной тоске,
 И мельчайшей изморосью — пот
 На устало вдавленном виске.

Скажешь — век? эпоха? нравы времени?
 Но за десять медленных веков
 Самой плотной, самой русской темени
 Иоанн — единственный таков.
 Ни борьба за прочность царских прав,
 Ни державной думы торжество
 Не поставят рокового «прав»
 На немых синодиках его.

Оборвется в доме дело всякое,
 Слов неспешных недоговарят,
 Если черной сбруей мерно звякая,
 Пролетит по улице отряд.
 Врассыпную шурхнет детвора,
 Затрясется нищий на углу,
 И купец за кипами добра,
 Словно тать, притихнет на полу.

В шуме торжищ, в разнобойном гомоне
 Цвет сбегает с каждого лица,
 Если цокнут воронье комони
 По настилу ближнего крестца.
 В кабаках замолкнет тарнаба¹,
 В алтаре расплещется сосуд
 И в моленных княжеских — до лба
 Крестный знак персты не донесут!

АРГУС

1906(?) — не ранее 1962

Настоящая фамилия — Эйзенштадт; печатался под псевдонимом М. Железнов и рядом других. Печатал свои сатиры в нью-йоркском «Новом русском слове». В 1952 году получил письмо от Бунина: «Не знаю даже — извините! — как Вас величать. Как Ваше имя, отчество — напишите мне как-нибудь... Очень ценю Ваше беспощадное, неуставное высмеивание всего того идиотского, бесстыдного, что творится и пишется «в ставке» гениального, единственного во всей всемирной истории грузина...» Печатаемые ниже стихи взяты из книги Аргуса «Полусерьезно, полущутя» (Нью-Йорк, 1959). Лирику Аргуса современники не воспринимали, как и лирику лучшего русского сатирика Дона Аминадо.

Я притворяться даже не умею,
 Что здесь теперь, в получужом краю,

¹ Тарнаба — род 8-струнной балалайки.

Вскочат с лавок, кто хмелен
 на празднике,
 И с одра — кто в лихоманке чах,
 Если, молча, слободою всадники
 Мчатся мимо в черных епанчах,
 Прыть былую вспомнят старики,
 Хром — костыль отбросит на бегу,
 И у баб над росстанью реки
 Перехватит дух на берегу.

В землях русских след нездешний выбили
 Не подковы ль конницы твоей,
 Велга! Велга! призрак! дева Гибели!
 Угасительница всех огней!
 Разрушительница очагов!
 Мгла промозглая трясин и луж!
 Сыр—туман ямыг и бочагов
 И анафематствованных душ!..

Раздираем аспидами ярости,
 Только кровью боль свою целя,
 Приближается к пустынной старости
 Черновластник смолкшего Кремля.
 Вей метелью, мутно-белый день,
 Ширь безлюдных гульбищ пороши,
 Мчи в сугробья дальних деревень
 Мерный звон за упокой души:

О повешенных и колесованных;
 О живьем закопанных в земле;
 О клещами рваных; замурованных;
 О кипевших в огненной смоле.
 За ребят безотчих и за вдов;
 За дома, где нынче пустыри;
 За без счета брошенных с мостов
 В скорбном Новгороде и Твери.

Об отравленных и обезглавленных!
 О затравленных на льду зверьем!
 По острогам и скитам удушенных,
 Муки чьи в акафистах поем;
 И по ком сорокоустов нет —
 Отстрадавших по всей Руси, —
 Боже милостивый! Боже—Свет!
 Имена их только Ты веси.

Могу забыть нелепую Расею —
 Неистовую родину мою.

О Господи, неумолима тяжесть
 Возложенная на меня тобой.

Я не умею притворяться даже,
Что я благословляю эту боль.

В ПЕТРОГРАДЕ

Уезжая, знал, что он вернется.
Возвращался, знал, что, навсегда
Утоляя жажду из колодца,
Знал, что в нем отравлена вода.

Сон приснился: по колежке узкой
Беспричинно как-то, невзначай
Мчался ржавый, тряский, чисто русский,
Громыхая на весь мир, трамвай.

Он проснулся. Марка на конверте
Возродила запах пышных трав,
Африку, где в судорогах смерти
Корчился изысканный жираф.

В ЛОНДОНЕ

А порой, случайно и нечаянно,
Раз в столетье или в двести лет,
Праведным негодованьем Каина
Загорится где-нибудь поэт.

И, бежав от жизни обесцеленной,
Чуть хромя на один ботфорт,
Славною погибнет смертью эллина
Молодой, скупающий милорд.

АЛЕКСАНДР КАЗАНЦЕВ

р. 1906, Акмолинск

Писатель-фантаст, автор популярного в свое время романа «Пылающий остров». Во время войны руководил электротехническим НИИ, работающим на оборону. Горячий сторонник теории, что тунгусский метеорит — корабль инопланетян. Всегда писал стихи, вкрапывая их в романы. Узнав, что я работаю над антологией XX века, этот 87-летний ветеран собственного воображения неожиданно предложил только что написанное им — в сатириконском духе — стихотворение, каковое мы и печатаем.

ПОСЕВ И ЖАТВА

Когда свобода личности
Зависит от наличности,
Успех «народовластия»
От общего несчастья,

Когда в развал, в растащенность
Рак, лебедь, щука тащат нас,
То можно принцип довести
До полной беспринципности,

Когда вверху не парубки
Друг друга ловят за руки,
А наши первые вожди,
Увы, хорошего не жди.

Когда пройдет такой «посев»,
То жатва — всенародный гнев.

1993

СЕМЕН КИРСАНОВ

1906, Одесса — 1972, Москва

В 1924 году Маяковский встретил в Одессе 18-летнего юного поэта — сына портного, и взял его под свое крыло, печатая в ЛЕФе, приглашая в совместные поездки. Если говорить о поэзии весовыми категориями бокса, то Маяковский был тяжеловесом, а Кирсанов был в весе «пера», но блистательным мастером формы. Про Кирсанова была такая эпиграмма: «У Кирсанова три качества: трюкачество, трюкачество и еще раз трюкачество». Эпиграмма хлесткая и частично правильная, но в ней забывается и четвертое качество Кирсанова — его несомненная талантливость. Его поиски стихотворной формы, ассонансные способы рифмовки были впоследствии развиты поэтами, пришедшими в 50—60-е, а затем и другими поэтами, помоложе. Поэтика Кирсанова циркового происхождения — это вольтижировка, жонглярж, фейерверк; как жаль, что у нас на сегодняшний день нет ни одного формалиста такого класса. Формалисты тоже до зарезу нужны. Но все же только формалистом Кирсанова назвать было бы несправедливо. Пожалуй, лучшая его вещь — это «Твоя поэма», трагический реквием, посвященный безвременной умершей жене Клаве. В поэме «Семь дней недели» (1956) Кирсанов атаковал бюрократию. Перед самой смертью долго и мучительно умиравший от рака горла поэт написал несколько пронзительных прощальных стихов. Он любил молодежь и помог многим, в том числе и мне. Я был принят в Союз писателей с его рекомендацией и подражал ему в ранней юности.

* * *

Скоро в снег побегут струйки,
скоро будут поля в хлебе.
Не хочу я синицу в руки,
а хочу журавля в небе.

1923

БОИ БЫКОВ

В. В. Маяковскому

Бой быков!
Бой быков!
Бой!
Бой!

Прошибайте
проходы
головой!

Сквозь плакаты,
билеты
номера —

веера,
эполеты,
веера!..

Бой быков!
Бой быков!
Бой!
Бой!

А в соведстве
с оркестровой трубой,
поворачивая
черный
бок,
поворачивался
черный
бык.

Он томился, стеная:
— Мм-му!..
Я бы шею отдал
ярму,
у меня перетяжки
мышц,
что твои рычаги,
тверды, —
я хочу для твоих
домищ
рыть поля и таскать
пуды-ы...

Но в оркестре гудит
труба,
и заводит печаль
скрипач,
и не слышит уже
толпа
придушенный бычачий
плач.

И толпе нипочем!
Голубым плащом
сам торреро укрыл плечо.

Надо брови ему
подчеркнуть еще
и взмахнуть
голубым плащом.

Ведь недаром улыбка
на губах той,
и награда ему
за то,
чтобы, ярче розы
перевитой,
разгорался
его задор:
— Тор
реа
дор,
веди
смелее
в бой!

Торреадор!
Торреадор!

Пускай грохочет в груди задор,
песок и кровь — твоя дорога,
взмахни плащом, торреадор,
плащом, распахнутым широко!..

Рокот кастаньетный — цок-там и так-там,
донны в ладоши подхлопывают тактам.
Встал торреадор, поклонился с тактом, —
бык!
бык!!
бык!!!

Свинцовая муть повеяла.
— Пунцовое!
— Ммм-у!
— Охейло!

А ну-ка ему, скорей — раз!
Бык бросился.
— Ммм-у!
— Торрейрос.

Арена в дыму. Парад — ах!
Бросается!
— Ммм-у...
— Торрада!

Беснуется галерея,
Тореро на...
— Ммм-у!..
— Оррейя!

Развеялась, растаяла
галерея и вся Севилья,
и в самое бычье хайло
впивается бандерилья.

И — раз,
и шпагой
в затылок
влез.

И красного черный ток,—
и птичьей стаей
с окружных мест
за белым платком
полетел платок.

Это:
— Ура!
— Bravo!!
— Герой!!!
— Слава ему!
— Роза ему!

А бык
даже крикнуть не может:
ой!

Он
давится хриплым:
— Ммм-уу...

Я шею
хотел отдать
ярму,
ворочать
мышц
шатуны,
чтоб жить
на прелом
его корму...

Мммм...
нет
у меня
во рту
слюны,
чтоб
плюнуть
в глаза
ему!..

СОН ВО СНЕ

1
Кричал я всю ночь.
Никто не услышал,
никто не пришел.
И я умер.

2
Я умер.
Никто не услышал,
никто не пришел.
И кричал я всю ночь.

3
— Я умер! —
кричал я всю ночь.
Никто не услышал,
никто не пришел...

* * *

Смерти больше нет.
Смерти больше нет.
Больше нет.
Больше нет.
Нет. Нет.
Нет.

Смерти больше нет.
Есть рассветный воздух.
Узкая заря.
Есть роса на розах.

Струйки янтаря
на коре сосновой.
Камень на песке.
Есть начало новой
клетки в лепестке.
Смерти больше нет.

Смерти больше нет.
Будет жарким полдень,
сено — чтоб уснуть.
Солнцем будет пройден
половинный путь.

Будет из волокон
скручен узелок,—
лопнет белый кокон,
вспыхнет василек.
Смерти больше нет.

Смерти больше нет!
Родился кузнечик
пять минут назад —
странный человечек,
зелен и носат;
У него, как зуммер,
песенка своя,
оттого что я
пять минут как умер...
Смерти больше нет!

Смерти больше нет!
Больше нет!
Нет!

ТВОЯ ПОЭМА

(фрагмент)

Клаве

Еще тогда
я срезал прядь,
в тетрадь
упрятал
и достал,
и на столе,
косясь,
на них,

я стал
раскладывать пасьянс
из локонов твоих
льняных.
На счастье
клат их
так
и так,
гадал,
поглядывал
под масть
льняных,
соломенных,
витых.
Как я ни жулил,
ты —
не выходила!
Как ни старался,
ты —
не получалась!
Никак!

Глазами
в синяках бессонниц
я увидел свой
револьвер
с сизой синевой.
Он — маузер,
он вот такой:
попробуешь рукой
на вес —
он весь
как поезд броневой,
стреляться из него —
как лечь
под колесо.
Свое лицо
я трогал дулом.
К жару скул
примеривал,
ко рту,
к виску,
и взвешивал
в руке
заряд,
где десять медных гильз
горят.

Мне жизнь не в жизнь,
а выход — вот.
Нигде,
хоть всей землей кружись,
нигде —
в воронежском селе
двойник любимой
не живет.
А выход вот:
в стальном стволе,
в сосновом
письменном столе.

.....

Но, знаете,
я думал жить.
И лучше,
что замкнул на ключ
свой стол
и в нем железный ствол.
И ключ —
стола на уголок,
и лег,
не зарыдав
в тот раз,
на свой матрас.
Не спал,
сквозь пальцы
видел я:
ключ сполз,
сам
ящик отпер,
щелк —
и выглянула из стола
насечка деревянных щек
и указательный
ствола.
Револьвер мой
вспорхнул,
поплыл
под потолком лепным,
кругом,
кривым когтем вися.
Вся
комната кружила с ним,
с патроном запасным.
Кружил
и у подушки
врылся в пух,
как друг,
что лучше новых двух
и издавна
со мной дружил.

.....

Шел
шепот
медным волоском.
(Алло?
Не Клава это, нет!)
То проволочным
голоском
револьвер
шепчет
в ухо мне.
Внушает:
«Я могу помочь,
ночь
подходящая вполне
для наших с вами
дел.
Предел
я положу
желанью жить.

Позвольте
 положить
 в висок
 вам сплава
 узенький кусок.
 Вас Клава б
 не ругала
 за
 за глаза,
 что вы идете к ней.
 Вам
 дуло —
 выход из любви,
 из ада
 «нет ее»,
 из дней
 без глаз ее,
 без губ,
 без рук...»

 ...Я отпер
 ящик.
 Отпил
 пыль
 с губ
 и сошел с ума уже.
 И вынул маузер.
 Он был
 груб,
 туг в ходу
 и длиннорыл.
 Открыл
 сине-стальной
 замок...
 Мой сын
 агукнул
 за стеной,

пролепетал, замолк.
 Как вор,
 я сдвинул скобку,
 снял затвор,
 пружину вынул,
 вырвал ствол,
 стальную сволочь
 мял и рвал,
 развинчивал
 и вынимал
 из самой малой части
 часть...

 Когда мне будет
 плохо жить,—
 хотя б во сне,
 не наяву,—
 ресницы мне
 раздвинь,
 приснись,
 коснись
 хотя б во сне
 рукой,
 шепни:
 «Живи...»
 И я живу,
 тебя,
 как воздух,
 ртом ловлю,
 стихом,
 последнею строкой
 леплю
 тебе
 из губ:
 люблю.

1937

ИРИНА КНОРРИНГ

1906, Самарская губ. — 1943, Париж

Выросла в Харькове. Вместе с семьей в 1920 году эмигрировала в Северную Африку. Училась во французско-русском институте в Париже, вышла замуж за поэта Ю. Софиева. При жизни опубликовала два сборника: «Стихи о себе» (1931) и «После всего» (1949). Безвременно скончалась от диабета.

МЫШИ

Мыши съели старые тетрадки,
 Ворох кем-то присланных стихов.
 Мыши по ночам играют в прятки
 В сонном сумраке углов.

Мыши съели письма из России,
 Письма тех, кого уж больше нет.
 Пыльные обгрызочки смешные —
 Память отошедших лет.

Мыши сгрызли злобно и упрямо
 Все, что нам хотелось сохранить:
 Наше счастье, брошенное нами,
 Наши солнечные дни.

Соберем обгрызанные части,
 Погрустим над порванным письмом:
 Больше легкого земного счастья
 По клочкам не соберем...

Сделает иным, ненастоящим
Этот мир вечерняя заря.
Будет в окна падать свет мертвящий
Уличного фонаря.

Ночью каждый шорох чутко слышен,
Каждый шорох, как глухой укор:
Это гложат маленькие мыши
Все, что было до сих пор.

1931

ПАВЕЛ КУСТОВ

1906, с. Завальное Воронежской губ.—1970

Печататься начал уже в 12 лет, став своего рода крестьянским вундеркиндом. Чуда никакого не произошло. Однако Кустов, которого после окончания факультета литературы и искусства МГУ забросило на Север, оставил ряд трогательных своеобразных стихов о северной природе.

Половодье

Вода не тронула меня
И даже ног не подмочила —
Она сердито проскочила
На шелковые зеленыя.
И, помянув ее добром,
Смотрел я,
Вырвавшись из плена,
Как полноценным серебром
В кусты закручивалась пена,
И над кипящею водой
Кружился ветер молодой!
Но мудрый замысел реки

Ясней был виден на причале.
Недаром
Долго мужики
Осипшим голосом кричали
У позолоченных ворот
До той поры, пока на льдине
Я не прошел водоворот!
Испуганно хлопчет мать,
Тулупом укрывая сына.
А мне так хочется опять
По голой роще и низинам
В одной рубашке погулять!

ЛЕОНИД ЛАВРОВ

1906, Казань —1943, Москва

Из литературной группы молодых, руководимой И. Сельвинским при журнале «Красное студенчество». Первые книги Лаврова «Уплотнение жизни» и «Золотое сечение» были новой ступенью в освоении верлибра русской поэзией. Лавров совершил до сих пор не оцененное по заслугам открытие, выводя белый стих из привычного пятистопного ямба, удлинив строчки и придав ритму покачивание поезда дальнего следования. Не случайно одно из своих стихотворений ученик интонации Лаврова Михаил Луконин так и озаглавил «Стихи дальнего следования». После Заболоцкого, после обэриутов Лавров привнес «остранение» совсем иного качества. Новаторство Лаврова было не шумным, а, я бы даже сказал, мягким, деликатным. Был репрессирован.

Записи о невозможном

(фрагмент)

До свиданья, говорю я, до свиданья,
несовершенное.
Печаль моя умножена на запах травы
И на цвет неба, освобожденного от облаков.
Ничто не посягает на мое равновесие.
Тишайшая из тишин охватывает меня.
Успокоение мое полноценно и неприступно.
Еще пресмыкающееся, величаемое составом,
Разминает затекшие члены безвольно,
Еще позвоночник, свинченный из вагонов,
Еще охвачен ленивым оцепененьем.
Еще притяженье цепляется за колеса.
Еще бег их сновиденчески меланхоличен.
Еще ритм их разменен на бестолочь

Еще пространство медлительно,
как влюбленный
За одну мимолетность перед призраньем.
Город отламывается от нас с неохотой
необходимости.
Обманчиво пряничные домики будок
Тасуются в очередь мимо окон.
Притворное равнодушие окрашивает
их стекла.
В бесшумные катастрофы играет в них
отраженьем...
Разноглазые светофоры поджары
и педантичны.
Телеграф растягивает струны в пространство,
Пытаясь превратить музыку в бесконечность.
Птицы пробуют играть на нем, как на арфе.
Но не существуют звуков там, где звуки —
существованье...

подголосков. 1933

БОРИС ЛИХАРЕВ

1906, Петербург —1962, Ленинград

Учился в литературно-художественном институте имени Брюсова в Москве, затем — в ЛГУ. Первый сборник «Соль» вышел в Ленинграде в 1930-м. Участвовал в финской войне, в Великой Отечественной. В 1942 году находился в тылу врага в бригаде партизан Ленинградской области.

* * *

Человечеством правит врач

Подчиняющийся врачу,
 Я вручил ему первый плач
 И предсмертный свой хрип вручу.

Он стоит, как в морях маяк.
 Для него, что суров и хмур,
 Все невзгоды, вся боль моя,
 Только смена температур.

Ах, обличью его дивись,
 Еле сдерживая восторг;
 На щите у него девиз —
 Имя громкое «Медснабторг»!

В светлых латах из полотна
 Он как рыцарь проходит вдаль,
 Лишь поблескивает, холодна,
 Хирургических лезвий сталь.

Долетает издалека
 Торжествующая латынь,
 Как в мифические века
 Отливающая золотым.

Он позвал меня за собой
 В дом высокий и светлый свой...

Я налево взглянул, и вот
 Щеки мне покрывает пот...

Пес распластанный на доске
 Издыхает в немой тоске.
 И желудочный льется сок
 В гуттаперчевый желобок.

Я направо взглянул, и вдруг
 Горло мне захлестнул испуг...
 Там зеркал отраженный свет
 Озаряет огромный мир
 Вибрионов и спирокет,
 Он над миром их командир!

Ядовитые бьют хвосты,
 Угрожающий страшен рост
 В жалкой капле сырой воды
 Их не меньше чем в небе звезд.

Человечеством правит врач!

.
 Подчиняющийся врачу,
 Я вручил ему первый плач
 И предсмертный свой хрип вручу.

Январь 1929

СЕРГЕЙ МАРКОВ

1906, посад Парфентьев Костромской губ.—1979, Москва

Прожил изгибистую, порожистую жизнь. Он воспевал отважных русских землепроходцев, шедших внутрь холодной серебряной тайны по имени Сибирь — и дальше в русскую Америку. Замеченный Горьким еще в 1928 году после рассказа «Голубая ящерица», Марков писал о первых русских на Курилах, на Аляске и как никто другой был похож на героя стихотворения Л. Мартынова, ищущего Лукоморье. Широкою известность Марков получил после романа «Юковский ворон». Как поэт — формировался неторопливо, с мудрой силой постепенности, не растрачивавшейся по пустякам. Он и за колючей проволокой посидел, и поскитался по земле русской, а еще больше побродяжил по бестропьям пыльных архивов, по урочищам рукописей. Согласно гипотезе Маркова, Сталин был завербован царской охранкой. Когда мне довелось увидеть Маркова, то я поразился тому, как похож он был на калику переходящего — казалось, плоти у него не было, только кожа, кости, да лысый бугристый череп, да желваки перекачывающиеся, да глаза, буравчиками ввинчивающиеся в собеседника. Его поэтическое наследство — как бродяжья сума, полная сказками и сказами. Наследство оказалось таким же достойным, какой была жизнь.

ЮРОД ИВАН

Над Угличем несутся облака,
 В монастырях торжественное пенье,
 Юрод Иван, посаженный в ЧК,
 Испытывает кротостью терпенье.

Но вот в подвале раздается гуд.
 Мелькают в люке головы и плечи,
 Мадыры красноштаннные идут,
 Ругаясь на неведомом наречье.

«Вставай, юрод!» — «Я кроток, сир и гол,
И сам господь послал мне эту долю».
«Скорей вставай, последний протокол
Гласит: «Юрода выпустить на волю».

Юрод в ответ: «Страдания суму
Я донесу. ...Крепка господня дума...»
Юрод умолк, и грезится ему
Горящая могила Аввакума.

«Но мы тебе не выпишем пайка,
В Поволжье голод, уходи отсюда». —
«Хочу страдать». Оставлена пока,
Уважена юродова причуда.

Над Угличем несутся облака,
В монастырях мерцанье белой моли,
Так поминали в древние века —
Горбушкой хлеба и щепоткой соли.

1926

ГОРБУНЫ

Раз меня встречали у колодца,
Где вода густа и солоня,
Двое хитрых вкрадчивых уродцев,
Два подслеповатых горбуна.

Зная оба, что они богаты
Влагой и зеленою тропой,
Горбуны неслыханную плату
Запросили с нас за водопой.

Я им крикнул, злобный и усталый:
— Горбуны, смиряйте лучше прыть!
Не пришлось бы голубым металлом
Мне сегодня долг вам заплатить!

Ваша кровь — в уродливых сосудах...
Дайте ведра! Вам шипеть не след.
Будут сыты люди и верблюды,
Вот вам пять серебряных монет!

Рыбьи рты улыбка искривила,
Липло к потным пальцам серебро,
Гадкий смех, противней злого ила,
Уколол уродца под ребро.

Он хрипел: «Мы хилы и горбаты,
Мы живем гадюками в пыли,
Мы довольны, путник, щедрой платой,
Мы на все готовы... Лишь вели!»

Мой верблюд качал зеленой мордой.
Я подумал, замолчавши вдруг:
«Почему же так легко и гордо
Носит горб и пропотевший выюк?»

Я вскричал: «Тяжелая потеря!
Строгие свидетели — года.
Люди, вы, рожденные от зверя,
Гордость зверя знали ли когда?!»

1927

* * *

Где-то падают метеориты.
У поэтов не хватает ни чернил, ни слов.
А вы живете и спокойно и сыто
В Омске на улице Красных Орлов.

Где-то в океане гибнут канонерки,
Многих отважных и юных нет в живых,
А вы ежемесячно ходите к примерке,
Благодетельствуя бедных портных.

И, пожалуй, вовсе не было б хуже,
Если бы в вашу жизнь ворвался разлад,
Если бы вас соблазнил усатый омский

хорунжий

Этак лет пятнадцать назад.

Пусть бы вы его не забыли долго —
Усы, погоны, дым папирос...
Но вы не нашли такого предлога
Для тайных вздохов и мучительных слез.

1930

КУЛИСЫ

Я слышал, как пенье, брожение
И голос темных кровей...
Божественное вырождение
И родинки у бровей.

Блестят пеньковые путы,
В лесу веревочных струн,
Кривляются лилипуты
И бродит стройный плясун.

Здесь можно навек затеряться
Среди размалеванных морд,
В лохматой листве декораций
Скулит опереточный черт.

Тревога приводит к удушью,
Скорее бы дождь и гроза!
Зачем тяжелою тушью
Ты обвела глаза?

Быть может, прости, Создатель,
За смертную маету —
Высокий шпагоглотатель
Похитит мою мечту?

БАЛЛАДА
О ГОСТИНИЦЕ «СЕЛЕКТ»

Немудрено найти скелет
В гостинице «Селект»...

Вглядись в экран прошедших лет!

В «Селект» вошел субъект.

На нем пиджак из чесучи
И темный котелок.
Собрал вокруг себя лучи
Увесистый брелок.

Манишка, и небрежный бант,
И запонки «Презент»...
Любитель скачек? Коммерсант?
Иль страховой агент?

Его не встретят здесь почет,
Услужливость и лесть.
Охрана дома отдает
Одним военным честь.

Ползет среди бетонных плит
Уродливая тень,
И под ногой его гремит
Железная ступень.

Подвал просторен и глубок.
В укромном месте гость
Снимает черный котелок
И ставит в угол трость.

Неумолим, где нужно — нем,
В чужой крови скользя,
Он долго будет занят тем,
О чем сказать нельзя.

Он вспомнил вдруг, прервав допрос,
Что позабыл в пальто
Коробку крепких папирос —
Изделия Лопато.

Но он не встал и не рискнул
Покинуть свой приют,
Пока не сменят караул;
Не ровен час — побьют!

Пинок, а иногда приклад
Он получать привык...
Солдат, каков ни есть, — солдат,
А не палач и шпик!

Его пускали лишь с трудом,
С брезгливостью мужчин,
В ночной шантан, в позорный дом,
Где девки пьют ханшин.

В туманной глубине зеркал,
Когда сидел один,
Свое подобье он искал,
Позор своих седин.

В объятых дюжих вышибал
Рычал и бился он,
Кричал: «Я — Гелиогабал,
А может быть — Нерон!»

Чем кончил он, куда унес
Свой черный котелок,
Венец Венеры, и склероз,
И лодзинский брелок?

Как призрак канул в гаолян,
На роковой черте.

...В те годы Черный атаман
Свирепствовал в Чите.

И атаман, борясь за власть,
В гостинице «Селект»
Устроил Следственную часть,
И в ней служил субъект.

СТЕНДАЛЬ

Спокойны мы. И нам не жаль
Мечты, томящейся в неволе...
В Чивита-Беккиа Стендаль
Грустит о Бородинском поле

И гения сохранна плоть,
И далеки судьбы удары.
Его могли бы заколоть
Голубоглазые гусары.

И — в думе тусклого свинца,
В тумане русского мороза —
Босые ноги мертвеца
В хвосте разбитого обоза!

И все же оборвется нить;
Прикажет хищное столетье
Бездомной смертью оплатить
Кабальный вексель на бессмертье.

Конец великих неудач.
Неистребимая примета;
Лишь мудрый полицейский врач —
Отгадчик вечного секрета!

Познаем ли счастливый стыд,
И в угрызении высокоом,
Своим провидцам и пророкам
Простим их беззащитный вид?

**ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ ОТБИТОГО
БРОНЕВИКА
(1914—1917)**

По старому он зваться здесь не мог!
Убиты люди, сбиты пулеметы...
И он, как слон, подставил жаркий бок
Густой толпе ликующей пехоты.

В чужой крови омытая рука
Выводит буквы быстрые, косые,
Змеится на груди броневика
Победное название «РОССИЯ»...

Хоть надпись на исчерченной груди
И рождена сейчас нехитрым мелом,
Но, вздрогнув всем своим могучим телом,
Могучий пленник, снова в бой иди!

Стрелки! Страшиться участи врага...
Он в башне спит. Раздроблена нога,
За голенищем согнутая ложка,
И кошелек, замызганный в крови,
А в нем — дары печальные любви:
И локон, и жемчужная сережка...

1934

**ГОСПИТАЛЬ, РАЗМЕЩЕННЫЙ
В ВЕСЕЛОМ ДОМЕ
(1914—1917)**

Ты плачешь, Маргарита,
Одна за всех,
В одном страданье слиты
Любовь и грех.

Прогнали бледных пленниц
Ланцет и шприц.
Багровых полотенец —
Что битых птиц.

Шуршат бинтов изгибы
Листвой в грозу,
Недвижной сонной рыбы
Нога в тазу.

Хоть ты — не недотрога,
А он — не пьян,
Но как ругает бога
В бреду улан!

Он залит смертным мелом —
Дела табак! —
Тяжел, как парабеллум,
Его кулак.

Он кончит скоро
Божбу свою —
Улан одною шпорой
Стоит в раю.

И доктор, спину сгорбив,
Не видя лиц,
Сказал, что домом скорби
Стал дом блудниц.

Ты плачешь, Маргарита,
Идет гроза,
И зарево карбита
Слепит глаза.

В часы шрапнельной пляски
Окно горит,
А желтые повязки
Сожжет иприт...

1934

**КРОПОТКИН В ДМИТРОВЕ.
ГОД 1919**

Князь анархистов, древен и суров,
И лыс, и бородат, как Саваоф,
Седой зиждитель громоносных сил,
На облаках безвластия парил.

А город древен... На его холмах
Бывал, быть может, гордый Мономах,
Степных царевен легкие шатры
Алели у подножия горы.

На крепостной зубец облокотясь,
Стоял, гордясь, русоволосый князь,
И сизая горящая смола
На вражеские головы текла.

И город слышал половецкий вой,
Не дрогнув золотою головой,
Спокойным сердцем отражал напасть...
В каком столетье начиналась власть —
Власть разума над черною бедой,
Власть спелых нив над темною ордой?

...Скрипит разбитый уличный фонарь,
Тревожится уездный секретарь:
Князь анархистов — видит весь народ —
По Гегелевской улице грядет!

На нем крылатка, на крылатке — львы,
Венец волос вокруг львиной головы,
Он говорит: «О граждане, молю,
Скажите мне — где улица Реклю?»
Сегодня ночью, в буре и грозе,
Приснился мне великий Элизе,
Он прошептал, наморщив мудрый лоб,
Два слова: «Чекатиф», «Церабкооп».

И я проснулся... Страшно и темно,
Стучит ветвями яблоня в окно,
И, половину неба захватив,
Пылает в тучах слово «Чекатиф»!

Внезапно гром промчался и умолк,
И шар земной окутан в черный шелк;
Анархия — могучая жена —
В полночный шелк всегда облачена!

Пошлю письмо в холодный Петроград.
Там шлиссельбуржец — мой седой собрат,
Отгадчик тайн, поэт и звездочет,
Он письма полные прочтет!»

Но тут вмешалась баба, осердясь:
«Совсем заврался, недобитый князь!
Не знает, что такое «Церабкооп»!
Там выдают по праздникам сироп,
Овес толченый и морковный чай,
А сам проговорился невзначай,
Что справил бабе шелковый салоп...
Ты б лучше ордер выправил на гроб».

Воскликнул князь: «Святая простота!
Моя жена могучая — не та,
С которой дни я вместе коротал,
Я образ облекаю в идеал!»

«Протри свои бесстыжие глаза,
Не кутай в одеяла образа,
Когда народ сидит без одеял,
Когда кругом разут и стар и мал!
И улицу ты ищешь неспроста.
Уж мы-то знаем здешние места:
Проспект Демьяна — вот он, напрямик,
Налево — Пролеткультовский тупик,
Пустырь, что раньше звался Разлетай,
Теперь — бульвар Товарищ Коллонтай.
А от бульвара первый поворот
На улицу Утопии ведет».

...В толпе проходит высоченный поп,
С ним конвоир. Поп вытирает лоб
И говорит, лопату опустив,
«Я знаю, что такое Чекатиф!»

Я славлю мудрость переходных лет.
Служитель культа — он же культпросвет.
Дни провожу в смиренности и труде
И коротаю срок свой в ИТД.
Да здоровствует Камилл Фламарион!
Мне в брэнной жизни помогает он.
Блудницы делят воблу и жиры,
Читаю им про звездные миры.
Я к ним приблизил планетарный свет
И череду неисчислимых лет.
На нарах две хипесницы сидят
В губной помаде с головы до пят,
Помадой пищут через весь картон,
Что собственность есть кража (Пьер Прудон).
Отбуду срок, на пасеку уйду
Покоить старость в пчелах и в меду.
Окрепнув, станет милосердней власть,
Она не даст и волосу упасть!»

ЖИВЕШЬ, ПОЕШЬ В ГОЛУТВИНЕ...

Живешь, поешь в Голутвине
Мещаночкой простой,
Когда звонят к заутрене
И лес шумит густой.

Когда, горда нарядами,
Прозрачна и ясна,
Проходит палисадами
Веселая весна.

И ты — бледна от ладана,
Ему — милей любой.
Нечаянно, негаданно
Он встретился с тобой.

Негаданно, нечаянно —
Под соловьиный свист.
А он как есть — отчаянный
Российский нигилист.

Рубаха — что у плотника,
И явки в шалаше,
И пистолет коротенький —
Системы Лефоте.

Он — в дружбе с партионцами,
С верстаткою в руке,
С закрытыми оконцами
Сидит на чердаке.

И ты — его мучительство,
Попробуй изготвь
Подложный вид на жительство
Да на твою любовь!

Глухими переулками
Бродить к тебе привык.
Вдруг видит: за прогулками
Следит усатый шпик.

Придут чины полиции,
Найдут, сбиваясь с ног,
Шрифты под половицею,
На чердаке — станок.

Ведь каторга — не менее,
Как их закон гласит,
За тайное тиснение
Да за подложный вид.

Встает, краснее зарева,—
Безмолвная сама —
Большая государева
Кирпичная тюрьма.

Осторожной ночью длиною
Приди к нему порой
Голутвинской малиною,
Коломенской зарей.

Одна слеза лишь, знойная.
Прожжет сибирский снег,
Зашепчутся конвойные:
— Тоскует человек!

1938

АЛЕКСАНДР ГРИН

Я гимназистом ножик перочинный
Менял на повесть Александра Грина,
И снились мне гремучие пучины
И небеса синей аквамарина.

Я выростал. На подбородке волос
Кололся, как упрямая щетина,
И все упорней хриповатый голос
Искал и звал таинственного Грина.

«О, кто ты, Грин, великий и усталый?
Меня твоя околдовала книга!
Ты — каторжник, ворочающий скалы,
Иль капитан разбойничьего брига?»

Изведав силу ласки и удара,
Я верил в то, что встретятся скитальцы,
И вот собрат великого Эдгара
Мне протянул прокуренные пальцы!

Он говорил размеренно и глухо,
Простудным кашлем надрывая глотку,
И голубыми каплями сивуха
По серому катилась подбородку.

И, грудью наваясь на стол тяжелый,
Он говорил: «Сейчас мы снова юны...
Так выпьем за далекие атоллы,
За Южный Крест и призрачные шхуны!

Да! Хоть горда мечтателей порода,
Но Грин в слезах, и Грину не до шутки.
С отребьем человеческого рода
Я пьянствую пятнадцатые сутки!

Я вспоминаю старые обиды, —
Пускай писаки шепчутся: «Пьянчуга!»
Но вижу я: у берегов Тавриды
Проносится крылатая фелюга.

На ней я вижу собственное тело
На третий день моей глухой кончины;
Оно уже почти окостенело
В мешке из корабельной парусины.

Но под форштевнем пенится пучина.
Бороться с ветром радостно и трудно.
К архипелагу Александра Грина
Летит, качаясь, траурное судно!

А облака — блестящи и крылаты,
И ветер полон свежести и силы.

Но я забыл сейчас координаты
Своей лазурной пенистой могилы!

С ядром в ногах в круговорот лучистый
Я опущусь... А зори будут алы,
И также будут пальмовые листья
Свергаться на звенящие кораллы.

А впрочем — бред! И небо голубое,
И пальмовые ветви — небылицы!
И я умру, наверно, от запоя
На жесткой койке сумрачной больницы.

Ни облаков... ни звезд... ни пестрых флагов —
Лежать и думать хоть о капле водки,
И слушать бормотанье маниаков,
И гнуть в бреде холодные решетки!

Сейчас я пьян. Но мной шестое чувство
По-прежнему надолго овладело:
Да здравствует великое искусство,
Сжигает мозг и разрушает тело!

Мне не нужны посмертные награды,
Сухих венков затрепанные ленты,
Как гром щитов великой Илиады,
Теперь мне внятны вечные легенды!

Я выдумал сияющие страны,
Я в них впивался иступленным взором,
Кровоточите, пламенные раны!
И — гений умирает под забором.

Скорей звоните водкой по графину,
Мы освятим кабак моею тризной.
Купите водки Александру Грину,
Не понятому щедрою отчизной!»

...Я видел Грина в сумеречном горе,
И, в качестве единственной отрады,
Я верую, что есть на свете море,
И в нем горят коралловые гряды.

1939

ЗНАЮ Я — МАЛИНОВОЮ РАНЬЮ...

*Посвящается
Галине Петровне Марковой*

Знаю я — малиновою ранью
Лебеди плывут над Лебедевью,
А в Медыни золотится мед,
Не скопá ли кружится в Скопíне?
А в Серпейске ржавой смерти ждет
Серп горбатый в дедовском овине.

Наливные яблоки висят
В палисадах тихой Обояни,
Город спит, но в утреннем сиянье
Чей-нибудь благоуханный сад.

И туман рябиновый во сне
Зыблется, дороги окружая,
Горечь можжевельная мне
Жжет глаза в заброшенном Можее.

На заре Звенигород звенит —
Будто пчелы обновляют соты,
Все поет — деревья, камни, воды,
Облака и ребра древних плит.

Ты проснулась. И лебяжий пух
Лепестком на брови соболиной,
Губы веют теплою малиной,
Звоном утра околдован слух.

Белое окошко отвори!
От тебя, от ветра, от зари
Вздвогнут ветви яблони тяжелой,
И росой омытые плоды
В грудь толкнут, чтоб засмеялась ты
И цвела у солнечной черты,
Босоногой, теплой и веселой.

Я тебя не видел никогда...
В Темникове темная вода
В омуте холодном ходит кругом;
Может быть, над омутом седым
Ты поешь, а золотистый дым
В три столба встает над чистым лугом.

На Шехонь дорога пролегла,
Пыльная, кремнистая дорога.
Сторона веснянская светла.
И не ты ль по кособору шла
В час, когда как молоко бела
Медленная тихая Молога?

Кто же ты, что в жизнь мою вошла:
Горлица из древнего Орла?
Любушка из тихого Любима?

Не ответит, пролетая мимо,
Лебедь, будто белая стрела.

Или ты в Архангельской земле
Рождена, зовешься Ангелиной,
Где морские волны с мерзлой глиной
Осенью грызутся в звонкой мгле?
Зимний ветер и упруг и свеж,
По сугробам зашагали тени,
В инее серебряном олени,
А мороз всю ночь ломился в сени.
Льдинкою мизинца не обрежь,
Утром умываючись в Мезени!
На перилах синеватый лед.
Слабая снежинка упадет —
Таять на плече или реснице.
Посмотри! На севере туман,
Ветер, гром, как будто океан
Небом, тундрой и тобою пьян,
Ринулся к бревенчатой светлице.

Я узнаю, где стоит твой дом!
Я люблю тебя, как любят гром,
Яблоко, сосну в седом уборе.
Если я когда-нибудь умру,
Все равно услышишь на ветру
Голос мой в серебряном просторе!

1940

* * *

Оставила тонкое жало
Во мне золотая пчела;
Покуда оно трепетало,
Летунья уже умерла.

Но как же добились пощады
У солнца и ясного дня
Двуногие, скользкие гады,
Что жалили в сердце меня?

1954

БОРИС НАРЦИССОВ

1906, под Саратовом — 1982, Вашингтон

Хотя и родился под Саратовом, но всю молодость провел в Эстонии, в Тарту, где входил в тамошний «Цех поэтов» (Правдин, Тагго-Новосадов, Дикой-Вильде). Всю жизнь работал по основной специальности как инженер-химик. После войны уехал в Австралию, где и занялся всерьез поэзией; довольно скоро перебрался в США, первый сборник стихотворений выпустил в 1958 году, за ним последовало еще шесть; в последний, посмертный, включены также фантастические рассказы Нарциссова. В поэзии Нарциссов — ближайший родственник Алексея Ремизова, любитель рассказывать «страшные сказки»; поэт если не очень большой, то очень оригинальный.

УСЫШКИН

Этой комнаты жильцы боялись
И хранился в ней ненужный хлам,
А случайный новый постоялец
Извещался: «Не ходите там:

Кто увидит серого лакея,
Беспременно вскоростях помрет!..»
Как сейчас вот, вижу вдалеке я
Коридор с дверьми и поворот.

В тупике, за этой самой дверью
Будет пыльный сероватый свет,
Паутины бархатные перья
И пришельцу праздному ответ:

«Не тревожь нас, в сумерках навеки...»
Но вот это тянет, как магнит:
Мутный ужас бродит в человеке,
И зовет, и манит, и велит.

Я вхожу в ту комнату послушно:
Пыль, шкафы, густая тишина.
От засохшей плесени здесь душно
И, как тусклый лед, стекло окна.

И свистящим вздохом, еле слышно,
Стариковский шепот позади:
«Так-то, брат Усьшкин,
Так вот и ходи...»

ЮЖАС

Он открылся, огромный и пыльный,
Позабывтый чердак предо мной.
Полусвет — но какой-то мыльный:
Светло-серый, тусклый дневной.

Свет из круглых и низких окон —
Только в небо: вниз не взглянуть.
За каймой паутинных волокон
На стекле столетняя муть.

А на камне (зачем он тут брошен?)
Голый мальчик один сидит.
Он слепой. И рот перекошен.
Он оставлен, брошен. Забыт.

И вот телом тщедушным тужась,
Он кричит однотонно и громко,
Как машина, голосом ломким,—
Только: «Южас, южас...» и «Южас!»

ЗИНАИДА ШАХОВСКАЯ

р. 1906, Москва

Родная сестра Дмитрия Шаховского, будущего архиепископа Иоанна Сан-Францисского. Эмигрировала в 1920 году через Константинополь в Париж, потом — в Брюссель, а позже где только не побывала: даже в Москве в 1956—1957 годах жила при бельгийской миссии. Известна как французская писательница, как редактор газеты «Русская мысль», выходящей в Париже, как автор прекрасной книги воспоминаний и книги о Набокове, но также и как оригинальный поэт, автор трех сборников стихотворений (1934, 1935 и, наконец, 1970 — сборник «Перед сном» с предисловием Георгия Адамовича).

* * *

Георгию Адамовичу

Нету скучных, ни тяжелых дней,
Стало проще все и все бедней,
Стало так свободно и тепло,
И вся жизнь, как тонкое стекло...

Разобьется звонко, и войдет
То, что смертью кто-то назовет.

ДЖЕК АЛТАУЗЕН

1907, один из Ленских приисков — 1942, под Харьковом

Родившийся в золотоприискательской семье на Лене, в 11 лет сбежал от родителей в поисках приключений, побывал в Харбине, Шанхае. В самой известной его поэме «Безусый энтузиаст» (1929) — мятущийся образ тоскующей по революционным идеалам юной души. Но последним всплеском этой романтической ностальгии была поэма «Первое поколение» (1933), ибо на ее страницах уже лежала тень надвигавшегося тридцать седьмого года. Погиб в сражении под Харьковом. Приводимое стихотворение крайне противоречиво, но не стоит с экстремистской запальчивостью считать его воспеванием братоубийства. Это трагический, но точный набросок реальности, когда гражданская война рассекала семьи, разделяла братьев.

БАЛЛАДА О ЧЕТЫРЕХ БРАТЬЯХ

Иосифу Уткину

Домой привез меня баркас.
Дудил пастух в коровий рог.
Четыре брата было нас,
Один вхожу я на порог.

Сестра в изодранном платке
И мать, ослепшая от слез,
В моем походном котелке
Я ничего вам не привез.

Скажи мне, мать, который час,
Который день, который год?
Четыре брата было нас,
Кто уцелел от непогод?

Один любил мерцанье звезд,
Чудак — до самой седины.
Всю жизнь считал он, сколько верст
От Павлограда до луны.

А сосчитать и не сумел,
Не слышал, цифры бороздя,
Как мир за окнами шумел
И освежался от дождя.

Мы не жалели наших лбов.
Он мудрецом хотел прослыть.
Хотел в Калугу и Тамбов
Через Австралию проплыть.

На жеребцах со всех сторон
Неслись мы под гору, пыля;
Под головешками ворон
В садах ломились тополя.

Встань, Запорожье, сдуй золу!
Мы спали в яворах твоих.
Была привязана к седлу
Буханка хлеба на троих.

А он следил за пылью звезд,
Не слышал шторма и волны,
Всю жизнь считая, сколько верст
От Павлограда до луны.

Сквозной дымился небосклон.
Он версты множил на листе.
И, как ни множил, умер он
Всего на тысячной версте.

Второй мне брат был в детстве мил.
Не плачь, сестра! Утешься, мать!
Когда-то я его учил
Из сабли искры высекать...

Он был пастух, он пас коров,
Потом пастуший рог разбил,
Стал юнкером,
Из юнкеров
Я Лермонтова лишь любил.

За чертороем и Десной
Я трижды падал с крутизны,

Чтоб брат качался под сосной
С лицом смертельной желтизны.

Нас годы сделали грубей.
Он захрипел, я сел в седло,
И ожерелье голубей
Над ним в лазури протекло.

А третий брат был рыбаком.
Любил он мирные слова,
Но загорелым кулаком
Мог зубы вышибить у льва.

В садах гнездились лишай.
Деревни гибли от огня.
Не счистив рыбьей чешуи,
Вскочил он ночью на коня.

Вскочил и прыгнул через Дон.
Кто носит шрамы и рубцы,
Того под стаями ворон
Выносят смело жеребцы.

Но под Варшавою, в дыму,
У шашки выгнулись края.
И в ноздри хлынула ему
Дурная, теплая струя.

Домой привез меня баркас,
Гремел пастух в коровий рог.
Четыре брата было нас —
Один вхожу я на порог.

Вхожу в обмотках и в пыли
И мну буденовку в руке,
И загорелые легли
Четыре шрама на щеке.

Взлетают птицы с проводов.
Пять лет не слазил я с седла,
Чтобы республика садов
Еще пышнее расцвела.

За Ладогою, за Двиной
Я был без хлеба, без воды,
Чтобы в республике родной
Набухли свежестью плоды.

И, если кликнут, я опять
С наганом встану у костра.
И обняла слепая мать,
И руку подала сестра.

РАИСА ГИНЦБУРГ

1907—1965

Выступала под псевдонимом Надеждина. Еще в детстве веру в «невозможное чудо» поселил в ее душе М. Волошин, с которым она встретила в юные годы.

* * *

И жизнь окончится. Но если будет
Дано мне выбрать из всех чудес,
Я попрошу о невозможном чуде:
Остаться на земле. Остаться здесь.
Побалуйте немислимой поблажкой!
И стану я не тучкой, не кустом,
Не камушком, не птицей, не ромашкой,
А девочкою в платьице простом.

НИКОЛАЙ ДЕМЕНТЬЕВ

1907—1935, Москва

Благодаря стихам Багрицкого «Разговор с комсомольцем Николаем Дементьевым» остался бы в истории поэзии, даже если бы и Дементьев не написал ни строки. Был талантливым поэтом, на которого надеялся Багрицкий как на наследника. Первые стихи были опубликованы в 1924 году, и до 1928 года он был в марксистской литературной группе «Перевал». После выхода первой книжки «Шоссе энтузиастов» (название которой составитель сей антологии восторженно украл в 1955-м) Дементьев ездил с выступлениями по стране вместе с группой писателей при газете «Правда». Среди помпезного строительства «красных человеческих статуй», по выражению Светлова, Дементьев выделялся тем, что создал стихотворные памятники российской матери и бабушке, полные человечности, возвышающейся над пропагандой. Это была неожиданно вспомненная традиция Некрасова, прославляемого советской педагогикой, но забытого литературой. Уже года через четыре после написания «Матери» (1933) напечатать такое стихотворение было бы почти невозможно. Страна входила в период, когда сострадание к так называемому простому народу становилось политически подозрительным. Этот народ не имел права страдать в самом счастливом в мире обществе, следовательно, и сострадание было идеологически недопустимо. Можно предположить, что, если бы Дементьев прожил несколько дольше, ему не удалось бы умереть своей смертью.

СМЕРТЬ БАБУШКИ

1

Елец! Мы тебя не видали ни разу.
Ни я и ни сестры. По вечерам
Ты изредка нас навещаешь рассказом,
Прищурившись ласковым теткинским глазом,
Которую слушаем мы — детвора,
Которая потчует нас до утра,
Души в белокурых ребятах не чая,
Провинцией и настоявшимся чаем...

2

Сегодня же, сидя под ламповой лапой,
Она говорит про далекие дни.
Тогда еще не были мама и папа
Женаты, а только влюблялись они.
Тогда еще билась сквозь прорванный клапан
Война, забастовка, метели, огни,
Бураны, заносы, кругом непогода:
Так шла революция пятого года.

3

Лабазник сосед материл «жидовню»,
Студентов громил, ветчину нарезаю.
Тем часом, как черная сотня, с глазами,
Набухшими с водки, сползала к огню

Еврейской слободки, готова резню,
Тем часом принес телеграф из Рязани
Весть: «При смерти матушка (бабушка мне)...
Спешите... страдает... в жару как в огне...»

4

Заплакала мама — невеста: «Скорее»...
Отец что-то теплое наспех сказал,
И трое — он, тетка и мать — на вокзал
Помчались на санках...
По улицам, рея
Двукрыльями фалд, пробегали евреи
По мокрому снегу, сквозь ветер и гвалт,
На поезд, на поезд... Отсюда, отсюда!..
За ними грохочет погром, как посуда.

5

И гонит, и гонит
И дома, и тут.
Извозчиков пьяная бродит орава.
Узлы вырывают и девочек жмут,
На шею еврею наденут комут
И с гоготом гонят: «Ну, трогай, эй, пава!»
Еврейки режут, матерится толпа,
Ребята визжат, матерей торопят...

6

О, паника!
Сбились в проходах у касс
Подушки и дети, еда и пожитки.
Столетние деды недвижны, как слитки
Из воска.
Кошмар в полнолуниях глаз
У девушек с грудями, смятыми в пытке,
У мальчика, брошенного на матрац.
Ведь только недавно рукою сторожкой
Кассир равнодушно захлопнул окошко.

7

И нету билетов. И выхода нет.
Дых жженого мяса по снегу сочится.
Снег парит, в снегу угольки, как корица.
Весь город пожаром и горем прогрет
И дыбом стоит над домишками свет,
И в воздухе каркают красные птицы.
— Кассирчик! Голубчик! Откройте окно!
Надбавим — не жалко — и вам заодно.

8

Неся над трубой дымовую папаху,
Из сумрака, издали гулко заахав,
На свет фонаря наколовшись с размаху,
К платформе заиндевший паровоз
Пристал.
Он сквозь версты мороза провез
Вагоны, пропахшие потом насквозь,
И толпы, галдевшие в кассе и в зале,
Как спрут многоногий к дверям присосались.

9

Попробуйте скинуть их, кондуктора!
Евреем не боязно больше на свете.
У них ни черта — ни кола, ни двора!
Разбросана голая их детвора.
Рубите их! Жгите их груди! Убейте!
Варите похлебку из ихних сердец!..
...И в руки кондуктора брошен малец.

10

Громадина, оборонявший площадку,
Застыл, очумевши, с дитем на руках.
Потом матюкнул сокрушенно и сладко
И под грохотанье стогорлого «ах»
Поставил ребенка и — дверь нараспах,
Отчаянным голосом гаркнув: «Посадка!»
Сгрудились евреи, поперли они,
Размяв чемоданчики нашей родни.

11

И вдруг стало тесно, как в братской могиле.
Все смолкло. На время утихнувший гул
Вселился в колеса и еле тянул
Протяжную песню — на мили, на мили —
Зачем мы родились? За что нас громили?
И тетя уснула. И папа уснул.
Лишь ночь не спала, фонарями мигая,
Да поезд мотался степями и гаем.

12

Он мчался к спасенью в леса, напролом,
Стелился, задохнувшись свистом заливым...
Под утро, набитый людьми, как паром,
Состав, зашипев, навалился на Ливны.
Но Ливны гудели. И в Ливнах погром.
И новый поток вереницею длинной
На двери, на тендер, на окна полез.
— Куда вы?

— Из Ливен...

Спасаться...

В Елец...

13

Тут тетка замолкла
Ей семьдесят скоро.
Старость — не радость.
Устала она.
Горелка сипит.
Холодком от окна
Прохвачена, ежится мамы спина.
Затих самовар и конец разговорам...
«А бабушка?» — тетку спросили мы хором.
Та только очками на нас повела:
«А бабушка? Бабушка... умерла».

МАТЬ

(Фрагмент из «Рассказа в стихах»)

Толпы с поезда. Ну и народ! Впрямь как
с шабаша:
Прут и прут, не допрутся пока...

— Тише! Бабку затискали! Что тебе, бабушка?
«Мне б Петрушу...» — Которого это? —
«Сынка...»

Бултыхает старуха баулом и чайником.
У возниц, у шоферов, у публики — смех:
— Это что ж за петрушка такая? —
«Начальник он...»
— Тут начальников много... — «Такой мой —
выше всех».

Уморила!
Над сборищем этим, над сонмом
Гогот, хохот, шибяющий в пот.
Вдруг один кучерок как смекнет да как
вспомнит,
Что начальник строительства —
Правильно — Петр!

Кулаком по мордам
Лошадей задремавших,
Чтоб стояли,
Чтоб выглядели, как орлы!
Сено — в ноги. Кнут — в руки.
«Садитесь, мамаша!..»

Ой, железные шины круты и круглы!
Ты качайся, на клевере вскормленный мерин!

Ворона кобылка, пластайся вразлет!
Обернется, башкой помотает и — верит,
И — не верит.

А бабушка носом клюет.
Кацавейка на ней — не по-летнему — ватная.
Ишь! горбатая... Ишь! неприглядная вся...
Загорелая, старая и рябоватая...

У начальника в комнате
Карты висят.
На кровати начальника — простыни взрыты.
Шторы — настезь,
И солнце —
По всем косякам,
Книгам, стеклам, приборам.
Слепящая бритва
Пышет в зеркало,
А перед зеркалом — сам,
Крепкий, свежий, еще не успел приодеться,
Напевает чего-то в усы и под нос,
Пена шлепается на полотенце...
Входит возчик:
«Мамашу в порядке доvez...»

А за возчиком,
В белом платочке и валенках,
Что-то давнее-давнее — и не узнать...
Вспоминал... вспоминал... вспоминал...
Вспомнил. — Маменька! —
«Я, Петруша! Я, милый! Я, кровный!
Я — мать...»

Отобрал у нее узелки и баулы,
Рассовал под столы, оглянулся мельком,
Усадил, оглядел ее всю —
И пахнуло
Детством — речкой, репейниками, молоком,

Молодыми рябинами над огородами,
Рубашонкой в заплатках, сестренкой в соплях...

— Мама! Мамонька!
Чем же мне тебя порадовать?
Ты, наверно, с дороги устала, приляг.

Уложил ее, старенькую, на топчанике,
Одеялом, коротенькую, до бровей...
— Самоварчик?
У нас, понимаешь ли, — чайники...
В церковь хочешь?
А я и не строил церквей.

Ну, да ты не волнуйся! Ты мало грешила.
Я ж тебя от любого греха излечу.
Знаешь, мамонька, что?
У меня есть машина.
Я тебя по строительству прокачу.
Ты посмотришь, чего мы настроили... Дела ж
До сих пор полон рот — и какие дела!
Покатаемся? Хочется? —
«Что ты! И где уж!»

Два денечка поохала
И померла.

.....
Мы положим тебя
У веселых берез,
Изможденную, темную мать неимущих,
Всех, кто новым и властным хозяином стал.
Пусть в оркестре
Все трубы играют
«Замучен
Тяжелой неволей...»
И — «Интернационал».

1933

ЮРИЙ ИВАСК

1907, Москва — 1986, Амхерст (Массачусетс, США)

Отец — фабрикант немецко-эстонского происхождения, мать из старинного русского купеческого рода. В 1920-м семья переселилась в Эстонию. В 1932 году Иваск закончил Дерптский университет. Первый стихотворный сборник «Северный берег» (1938) вышел в Варшаве. В 1954-м получил докторскую степень в Гарварде за работу о Вяземском. В 1953-м издал антологию поэтов эмиграции «На Западе», объединив первую и вторую волну. Подготовил собрания сочинений Г. П. Федотова, В. Розанова, написал книгу «Константин Леонтьев», много статей о Бунине, Мандельштаме, Цветаевой.

БЕСПРИДАННИЦА

Стародавние подмосковные —
Где же лебеди, где пруды?
А за липами поле ровное —
Вольной воли, древней беды.

Спите в склепе князя с княгинями,
На родной — чужой стороне.

Итальянское небо, синее,
Не забудете и во сне.

Я аукну в купол — Растреллиев
И седую крысу спугну.
Пусто: внуки давно расстреляны,
Я люблю другую страну.

Голубки в беседке Венераиной —
Венецийские голубки,
Те же самые — и вне времени,
Клюйте зернышки из руки.

Я заглываю рыданьице,
Отстраняю рукою грусть,
И опять она бесприданница —
За границей — Россия — Русь.

ДМИТРИЙ КЕДРИН

1907, Богодуховский рудник, Донбасс — 1945, Тарасовка Московской обл.

Отец был железнодорожным бухгалтером, мать — секретаршей в коммерческой школе. Кедрин учился в Днепропетровском институте связи (1922—1924). Переехав в Москву, работал в заводской многотиражке и литконсультантом при издательстве «Молодая гвардия». Несмотря на то что сам Горький плакал при чтении кедринского стихотворения «Кукла», первая книга «Свидетели» вышла только в 1940-м. Кедрин был тайным диссидентом в сталинское время. Знание русской истории не позволило ему идеализировать годы «великого перелома». Строки в «Алене Старице» — «Все звери спят. Все люди свят. Одни дьяки людей казнят» — были написаны не когда-нибудь, а в годы террора. В 1938 году Кедрин написал самое свое знаменитое стихотворение «Зодчие», под влиянием которого Андрей Тарковский создал фильм «Андрей Рублев». «Страшная царская милость» — выколотые по приказу Ивана Грозного глаза творцов Василия Блаженного — переключалась со сталинской милостью — безжалостной расправой со строителями социалистической утопии. Не случайно Кедрин создал портрет вождя гуннов — Аттилы, жертвы своей собственной жестокости и одиночества. (Эта поэма была напечатана только после смерти Сталина.) Поэт с болью писал о трагедии русских гениев, не признанных в собственном Отечестве: «И строил Конь. Кто виллы в Луке покрыл узорами резьбы, в Урбино чьи большие руки собора вывели столбы?» Кедрин прославлял мужество художника быть безжалостным судьей не только своего времени, но и себя самого. «Как плохо нарисован этот бог!» — вот что восклицает кедринский Рембрандт в одноименной драме. Во время войны поэт был военным корреспондентом. Но знание истории помогло ему понять, что победа тоже своего рода храм, чьим строителям могут выколотить глаза. Неизвестными убийцами Кедрин был выброшен из тамбура электрички возле Тарасовки. Но можно предположить, что это не было просто случаем. «Дьяки» вполне могли подослать своих подручных.

ПОЕДИНОК

К нам в гости приходит мальчик
Со сросшимися бровями,
Пунцовый густой румянец
На смуглых его щеках.
Когда вы садитесь рядом,
Я чувствую, что меж вами
Я скучный, немножко лишний,
Педант в роговых очках.

Глаза твои лгать не могут.
Как много огня теперь в них!
А как они были тусклы...
Откуда же он воскрес?
Ах, этот румяный мальчик!
Итак, это мой соперник,
Итак, это мой Мартынов,
Итак, это мой Дантес!

Ну, что ж! Нас рассудит пара
Стволов роковых Лепаж
На дальней глухой полянке,
Под Мамонтовкой, в лесу.
Два вежливых секунданта,
Под горкой — два экипажа,
Да седенький доктор в черном,
С очками на злом носу.

Послушай-ка, дорогая!
Над нами шумит эпоха,
И разве не наше сердце —
Арена ее борьбы?
Виновен ли этот мальчик
В проклятых палочках Коха,

Что ставило нездоровье
В колеса моей судьбы?

Наверно, он физкультурник,
Из тех, чья лихая стайка
Забил на стадионе
Испании два гола.
Как мягко и как свободно
Его голубая майка
Тугие гибкие плечи
Стянула и облегла!

А знаешь, мы не подыдем
Стволов роковых Лепаж
На дальней глухой полянке,
Под Мамонтовкой, в лесу.
Я лучше приду к вам в гости
И, если позволишь, даже
Игрушку из Мосторгина
Дешевую принесу.

Твой сын, твой малыш безбровый
Покоится в колыбели.
Он важно пускает слюны,
Вполне довольный собой.
Тебя ли мне ненавидеть
И ревновать к тебе ли?
Когда я так опечален
Твоей морщинкой любой?

Ему покажу я рожки,
Спрошу: «Как дела, Егорыч?»
И, мирно напившись чаю,
Пешком побреду домой.

И лишь закурю дорогой,
Почуяв на сердце горечь,
Что наша любовь не вышла,
Что этот малыш — не мой.

1933

КОФЕЙНЯ

*...Имеющий в кармане мускус
не кричит об этом на улицах.
Запах мускуса говорит за него.*

Саади

У поэтов есть такой обычай —
В круг сойдясь, оплевывать друг друга.
Магомет, в Омара пальцем тыча,
Лил ушатом на беднягу ругань.

Он в сердцах порвал на нем сорочку
И визжал в лицо, от злобы пьяный:
«Ты украл пятнадцатую строчку,
Низкий вор, из моего «Дивана»!

За твоими подлыми следами
Кто пойдет из думающих здраво?»
Старики кивали бородами,
Молодые говорили: «Браво!»

А Омар плевал в него с порога
И шипел: «Презренная бездарность!
Да минет тебя любовь пророка
Или падишаха благодарность!

Ты бесплоден! Ты молчишь годами!
Быть певцом ты не имеешь права!»
Старики кивали бородами,
Молодые говорили: «Браво!»

Только некто пил свой кофе молча,
А потом сказал: «Аллаха ради!
Для чего пролито столько желчи?»
Это был блистательный Саади.

И минуло время. Их обоих
Завалил холодный снег забвенья.
Стал Саади золотой трубою,
И Саади слушала кофейня.

Как ароматические травы,
Слово пахло медом и плодами,
Юноши не говорили: «Браво!»
Старцы не кивали бородами.

Он заморозил их песней птичьей,
Песней жаворонка в росах луга...
У поэтов есть такой обычай —
В круг сойдясь, оплевывать друг друга.

1936

ЗОДЧИЕ

Как побил государь
Золотую орду под Казанью,

Указал на подворье свое
Приходить мастерам.
И велел благодетель, —
Гласит летописца сказанье, —
В память оной победы
Да выстроят каменный храм.

И к нему привели
Флорентийцев,
И немцев,
И прочих
Иноземных мужей,
Пивших чару вина в один дых.
И пришли к нему двое
Безвестных владимирских зодчих,
Двое русских строителей,
Статных,
Босых,
Молодых.

Лился свет в слюдяное оконце.
Был дух вельми спертый,
Изразцовая печка.
Божница.
Угар и жара.
И в посконных рубахах
Перед Иоанном Четвертым,
Крепко за руки взявшись,
Стояли сии мастера.

— Смерды!
Можете ль церкву сложить
Иноземных пригожей?
Чтоб была благолепней
Заморских церквей, говорю? —
И, тряхнув волосами,
Отвечили зодчие:
— Можем!
Прикажи, государь! —
И ударились в ноги царю.

Государь приказал.
И в субботу на вербной неделе,
Покрестясь на восход,
Ремешками схватив волоса,
Государевы зодчие
Фартуки наспех надели,
На широких плечах
Кирпичи понесли на леса.

Мастера выплетали
Узоры из каменных кружев,
Выводили столбы
И, работой своею горды, —
Купол золотом жгли,
Кровли крыли лазурью снаружи
И в свинцовые рамы
Вставляли чешуйки слюды.

И уже потянулись
Стрельчатые башенки кверху.

Переходы,
Балкончики,
Луковки да купола.
И дивились ученые люди, —
Зане́ эта церковь
Краше ви́лл италийских
И пагод индийских была!

Был диковинный храм
Богомазами весь размалеван,
В алтаре
И при входах,
И в царском притворе самом
Живописной артелью
Монаха Андрея Рублева
Изукрашен зело
Византийским суровым письмом...

А в ногах у постройки
Торговая площадь жужжала,
Торовато кричала купцам:
— Покажи, чем живешь!
Ночью подлый народ
До креста пропивался в кружалах,
А утрами истошно вопил,
Становясь на правеж.

Тать, засеченный плетью,
У плахи лежал бездыханно,
Прямо в небо уставя
Очесок седой бороды,
И в московской неволе
Томились татарские ханы,
Посланцы Золотой,
Переметчики Черной Орды.

А над всем этим срамом
Та церковь была —
Как невеста!
И с рогожкой своей,
С бирюзовым колечком во рту, —
Непотребная девка
Стояла у Лобного места
И, дивясь,
Как на сказку,
Глядела на ту красоту...

А как храм освятили,
То с посохом,
В шапке монашьей,
Обошел его царь —
От подвалов и служб
До креста.
И, окинувши взором
Его узорчатые башни,
— Лепота! — молвил царь.
И ответили все: — Лепота!

И спросил благодетель:
— А можете ль сделать пригожей,
Благолепнее это храма

Другой, говорю?»
И, тряхнув волосами,
Ответили зодчие:
— Можем!
Прикажи, государь! —
И ударились в ноги царю.

И тогда государь
Повелел ослепить этих зодчих,
Чтоб в земле его
Церковь
Стояла одна такова,
Чтобы в Суздальских землях,
И в землях Рязанских,
И прочих
Не поставили лучшего храма,
Чем храм Покрова!

Соколиные очи
Кололи им шилом железным,
Дабы белого света
Увидеть они не могли,
Их клеймили клеймом,
Их секли батогами, болезных,
И кидали их,
Темных,
На стылое лоно земли.

И в Обжорном ряду,
Там, где заваль кабацкая пела,
Где сивухой разило,
Где было от пару темно,
Где кричали дьяки
«Государево слово и дело!» —
Мастера Христа ради
Просили на хлеб и вино.

И стояла их церковь
Такая,
Что словно приснилась.
И звонила она,
Будто их отпевала навзрыд,
И запретную песню
Про страшную царскую милость
Пели в тайных местах
По широкой Руси
Гуслияры.

1938

ПЕСНЯ ПРО АЛЕНУ-СТАРИЦУ

Что не пройдет —
Останется,
А что пройдет —
Забудется...
Сидит Алена-Старица
В Москве, на Вшивой улице.
Зипун, простоволосая,
На голову набросила,
А ноги в кровь изрезаны
Тяжелыми железами.

Бегут ребята — дразнятся,
Кипит в застенке варево...
Покажут ноне разинцам
Острастку судьи царевы!

Расспросят, в землю метлами
Брады устава долгие,
Как соколы залетные
Гуляли Доном-Волгою,
Как под Азовом ладили
Челны с высоким застругом,
Как шарили да грабили
Торговый город Астрахань...

Палач-собака скалится,
Лиса-приказный хмурится.
Сидит Алена-Старица
В Москве, на Вшивой улице.
Судья в кафтане до полу
В лицо ей светит свечечкой:
«Немало, ведьма, попила
Ты крови человеческой,
Покуда плахе-матушке
Челом ты не ударила!»
Пытают в раз остаточный
Бояре государевы:
«Обедню черту правила ль,
Сквозь сито землю сеяла ль
В погибель роду цареву,
Здоровью Алексееву?»

«Смолрой приправлен жидкою,
Мне солон царский хлебушек!
А ты, боярин, пыткой
Стращал бы красных девушек!
Хотите — жгите заживо,
А я царя не сглазила.
Мне жребий выпал — важивать
Полки Степана Разина.
В моих ушах без умолка
Поет стрела татарская...
Те два полка,
Что два волка,
Дружину грызли царскую!

Нам, смердам, двери заперты
Повсюду, кроме паперти.
На паперти слепцы поют,
Попросишь — грош купцы дают.

Судьба меня возвысила!
Я бар, как семя, щелкала,

Ходила в кике бисерной,
В зеленой кофте шелковой.

На Волге — что оконницы —
Пруды с зеленой ряскою,
В них раки нынче кормятся
Свежинкою дворянскою.
Боярский суд не жаловал
Ни старого, ни малого,
Так вас любить,
Так вас жалеть —
Себя губить,
Душе болеть!..

Горят огни-пожарища,
Дымы кругом постелены.
Мои друзья-товарищи
Порубаны, постреляны,
Им глазыньки до доньшка
Ночной стервятник выклевал,
Их греет волчье солнышко,
Они к нему привыкнули.

И мне топор, знать, выточен
У ката в башне пыточной,
Да помни, дьяк,
Не ровен час:
Сегодня — нас,
А завтра — вас!
Мне б после смерти галкой стать,
Летать под низкой тучею,
Ночей не спать, —
Царя пугать
Бедою неминучею!..»
Смола в застенке варится,
Опарой всходит сдобною,
Ведут Алену-Старицу
Стрельцы на место Лобное.
В Зарядье над осокою
Блестит зарница дальняя,
Горит звезда высокая...
Терпи, многотрадальная!

А тучи, словно лошади,
Бегут над Красной площадью.

Все звери спят.
Все люди спят,
Одни дьяки
Людей казнят.

БОРИС КОРНИЛОВ

1907, с. Покровское Нижегородской губ.—1938

Из крестьян. Отец, сельский учитель, настоял на том, чтобы его сын был образованным. В 1922 году юный Корнилов переехал в Семеново и присоединился к комсомольцам, которые не принимали участия в гражданской войне, но унаследовали революционный романтизм. В 1925 году он приехал показать свои стихи Сергею Есенину, но было слишком поздно — Есенин повесился. Корнилов присоединился к группе «сменовцев», где познакомился со своей будущей женой — Ольгой Берггольд. Первый его сборник «Молодость» вышел в 1928 году, но названием второй книги «Первая книга» он как бы отказывается от своего риторического начала. В четыре следующих года он выпустил девять книг стихов! Это был действительно шторм унд драг (буря и натиск). Корниловская поэтика была полна энергии, упругости и озарена искренней мечтой о неизбежной мировой революции, о «планете рабочих и крестьян». Но ни планета, ни даже страна не стали этим утопическим государством. Да и сам революционный романтизм был не очень-то нужен — он настораживал и даже пугал своей порывистостью и верой тех, кто трусливо старался верить только вождю и его приказам. Бывшая революция — казавшаяся красавицей комиссарша в черной кожанке — превратилась в костлявую смерть собственных романтиков. На Первом съезде писателей в 1934 году Корнилов был заявлен как лучший революционный поэт докладчиком по поэзии Н. Бухариным. Но за спиной опального идеолога уже маячил скелет с красной повязкой на расплывшемся кожаном рукаве. Доклад Бухарина был смертным приговором поэту. Корнилов был раскритикован, исключен из Союза писателей и арестован в 1937-м. Его архив, видимо, был уничтожен, включая пьесу, высоко оцененную Всеволодом Мейерхольдом, который тоже был арестован. Имя Корнилова недолго исчезло из литературы, и написанная на его слова песня Шостаковича «Не спи, вставай, кудрявая...» звучала по радио без объявления имени поэта. Кто знает, может быть, когда его расстреливали, эта песня была слышна где-то рядом. Александр Межиров, безусловно, заимствовал рефрен «Коммунисты, вперед!» из поэмы Корнилова «Триполье», попытавшись возродить былой революционный романтизм Великой Отечественной. Но там крови было больше, чем романтики. Впрочем, наверно, так же, как и в гражданскую войну. «Нас возвышающий обман» оказался обманом, нас унижающим. Но те, кто искренне обманывался и этим непроизвольно обманывал других, заплатили страшную цену пыток и лагерей. А я все равно люблю поруганную мечту о «планете рабочих и крестьян», навеянную образом чернокожего из «Моей Африки», который когда-то шел сквозь российский метель, а «... галифе лиловые, как тучи, не отставая, плыли по бокам...» Это было здорово. То, что такая мечта была. Жаль, что ее предали.

КАЧКА НА КАСПИЙСКОМ МОРЕ

За кормою вода густая —
солона она, зелена,
неожиданно вырастая,
на дыбы поднялась она,
и, качаясь, идут валы
от Баку
до Махач-Калы.

Мы теперь не поем, не спорим —
мы водою увлечены;
ходят волны Каспийским морем
небывалой величины.

А потом —
затишают воды —
ночь каспийская,
мертвая зыбь;
знаменуя красу природы,
звезды высыпали, как сыпь;
от Махач-Калы
до Баку
луны плавают на боку.

Я стою себе, успокоясь,
я насмешливо щурю глаз —
мне Каспийское море по пояс,
нипочем...
Уверяю вас.

Нас не так на земле качало,
нас мотало кругом во мгле —
качка в море берет начало,
а бесчинствует на земле.
Нас качало в казачьих седлах,
только стыла по жилам кровь,
мы любили девчонок подлых —
нас укачивала любовь.

Водка, что ли, еще?

И водка —
спирт горячий,
зеленый,
злой;

нас качало в пирушках вот как —
с боку на бок
и с ног долой...

Только звезды летят картечью,
говорят мне...

— Иди, усни...

Дом, качаясь, идет навстречу,
сам качаешься, черт возьми...

Стынет соль
девятого пота
на протравленной коже спины,
и качает меня работа
лучше спирта
и лучше войны.

Что это море?
Какое дело
мне до этой
зеленой беды?

Соль тяжелого, сбитого тела
солонее морской воды.

Что мне (спрашиваю я), если
наши зубы
как пена белы —
и качаются наши песни
от Баку
до Махач-Калы.

1930

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ

Ребята, на ходу — как мы были в плену —
немного о войне поговорим...
В двадцатом году
шел взвод на войну,
а взводным нашим Вася Головин.
Ать, два...

И братва басила —
бас не изъян:
— Да здравствует Россия,
Советская Россия,
Россия рабочих и крестьян!

В ближайшем бою к нам идет офицер
(англичане занимают край),
и томми нас берут на прицел.
Офицер говорит: Олл райт...
Ать, два...

Это смерти сила
грозит друзьям,
но — здравствует Россия,
Советская Россия,
Россия рабочих и крестьян!

Стояли мы под дулами —
не охали, не ахали,
но выступает Вася Головин:
— Ведь мы такие ж пахари,
как вы, такие ж пахари,
давайте о земле поговорим.
Ать, два...

Про самое, про это, —
буржуй, замри, —
да здравствует планета,
да здравствует планета,
планета наша, полная земли!

Теперь про офицера я...
Каким он ходит пупсиком —
понятно, что с работой незнаком,
Которые тут пахари —

ударь его по усикам
мозолями набитым кулаком.
Ать, два...

Хорошее братание
совсем не изъян —
да здравствует Британия,
да здравствует Британия,
Британия рабочих и крестьян!

Офицера пухлого берут на бас,
и в нашу пользу кончен спор.
Мозоли переводчики промежду нас —
помогают вести разговор.
Ать, два...

Нас томми живо поняли —
и песни по кустам...
А как насчет Японии?
Да здравствует Япония,
Япония рабочих и крестьян!

Ребята, ну...
Как мы шли на войну,
говори — полыхает закат...
Как мы песню одну,
настоящую одну
запевали на всех языках,
Ать, два...

Про самое про это
ори друзьям:
Да здравствует планета,
да здравствует планета,
планета рабочих и крестьян!

1932

ЯЩИК МОЕГО ПИСЬМЕННОГО СТОЛА

В. Стеничу

Я из ряда вон выходящих
сочинений не сочиню,
я запрячу в далекий ящик
то, чего не предам огню.

И, покрытые пыльным смрадом,
потемневшие до костей,
как покойники, лягут рядом
клочья мягкие повестей.

Вы заглянете в стол.
И вдруг вы
отшатнетесь —
тоска и страх:
как могильные черви, буквы
извиваются на листах.

Муха дохлая — кверху лапки,
слюдяные крылья в пыли.
А вот в этой багровой папке
стихотворные думы легли.

Слушай —
и дребезжанье лиры
донесется через года
про любовные сувениры,
про январские холода,
про звенящую сталь Турксиба
и «Путиловца» жирный дым,
о моем комсомоле — ибо
я когда-то был молодым.

Осторожно,
рукой не трогай —
расползется бумага. Тут
все о девушке босоногой, —
я забыл, как ее зовут.

И качаюсь, большой, как тень, я,
удаляюсь в края тишины,
на халате моем сплетенья
и цветы изображены.

И какого дьявола ради,
одуревший от пустоты,
я разглядываю тетради
и раскладываю листы?

Но наполнено сердце спесью,
и в зрачках моих торжество,
потому что я слышу песню
сочинения моего.

Вот летит она, молодая,
а какое горло у ней!
Запевают ее, сидя
с маху конники на коней.

Я сажу над столом разрытым,
песня наземь идет с высот,
и подкованным бьет копытом,
и железо в зубах несет.

И дрожу от озноба весь я —
радость мне потому дана,
что из этого ящика песня
в люди выбилась хоть одна.

И сажу я — копаю ящик,
и ушла моя пустота.
Нет ли в нем каких завалящих,
Но таких же хороших, как та?

1933

СОЛОВЬИХА

Зинаиде Райх

У меня к тебе дела такого рода,
что уйдет на разговоры вечер весь, —
затвори свои тесовые ворота
и плотней холстиной окна занавесь.

Чтобы шли подруги мимо,
парни мимо
и гадали бы и пели бы скорбя:
— Что не вышла под окошко, Серафима?
Серафима, больно скучно без тебя...
Чтобы самый ни на есть раскучерявый,
рвя по вороту рубахи алый шелк,
по селу Ивано-Марьину с оравой
мимо окон под гармонику пропел.
Он все тенором,
все тенором,
со злобой
запевал — рука протянута к ножу:
— Ты забудь меня, красавица,
попробуй...
Я тебе тогда такое покажу...
Если любишь хоть всего наполовину,
подожду тебя у крайнего окна,
постелю тебе пиджак на луговину
довоенного и тонкого сукна.
А земля дышала, грузная от жиру,
и от омута Соминога левей
соловьи сидели молча по ранжиру,
так что справа самый старый соловей.
Перед ним вода — зеленая, живая,
мимо заводей несется напролом —
он качается на ветке, прикрывая
соловьишу годовалую крылом.
И трава грозой весеннею измята,
дышит грузная и теплая земля,
голубые ходят в омуте сомята,
пол-аршинными усами шеveledя.
А пиявки, раки ползают по илу,
много ужаса вода в себе таит —
щука — младшая сестрица крокодилу —
неживая возле берега стоит...
Соловьиша в тишине большой и душной...

Вдруг ударил золотистый вдалеке,
видно, злой и молодой и непослушный,
ей запел на соловьином языке:
— По лесам,
на пустырях
и на равнинах
не найти тебе прекраснее дружка —
принесу тебе яичек муравьиных,
нациплю в постель я пуху из брюшка.
Мы постелим наше ложе над водою,
где шиповники все в розанах стоят,
мы помчимся над грозой, над бедою
и народим два десятка соловьят.
Не тебе прожить, без радости старея,
ты, залетная, ни разу не цвела,
вылетай же, молодая, поскорее
из-под старого и жесткого крыла.

И молчит она,
все в мире забывая, —
я за песней, как за гибелью, слежу...

Шаль накинута на плечи пуховая...
 — Ты куда же, Серафима?
 — Ухожу.—
 Кисти шали, словно перышки, расправя,
 влюблена она,
 красива,
 нехитра —
 улетела.
 Я держать ее не вправе —
 просижу я возле дома до утра.
 Подожду, когда заря сверкнет по стеклам,
 золотая сгаснет песня соловья —
 пусть придет она домой
 с красивым,
 с теплым —
 меркнут глаз его татарских лезвия.
 От нее и от него
 пахнуло мятой,
 он прощается
 у крайнего окна,
 и намок в росе
 пиджак его измятый
 довоенного и тонкого сукна.

5 апреля 1934

ИЗ ПОЭМЫ «МОЯ АФРИКА»

.....
 Он шел вперед, тяжелый над снегами,
 поскрипывая, грохоча, звеня
 шевровыми своими сапогами,
 начищенными сажей до огня.
 Он подвигался, фыркающая могуче,
 шагала по бесенятам и венкам,
 и галифе, лиловые как тучи,
 не отставая плыли по бокам.
 Шло от него железное сиянье,
 туманности, мечта, ацетилен...
 И руки у него по-обезьяньи
 висели, доставая до колен.
 Он отряхался —
 все на нем звенело,
 он оступался, по снегу скользя,
 и сквозь пургу ладонь его синела,
 но так синеть от холода нельзя.
 Не человек, не призрак и не леший,
 кавалерийской стянутый бекешей.
 Ремнями светлыми перевитая,
 производя сверканье и гром,

была его бекеша золотая
 отделана мерлушки серебром.
 За ним, на пол-аршина отставая,
 не в лад гремела шашка боевая
 нарядной золоченою ножной,
 и на ремнях, от черноты горящих,
 висел недвижно маузера ящик,
 как будто безобидный и смешной.
 Он мог убить врага
 или на милость
 махнуть рукой:
 иди, мол, уходи...
 Он шел с войны,
 война за ним дымилась
 и клокотала бурей впереди.
 Она ему навеки повелела,
 чтобы в ладонь,
 прозрачна и чиста,
 на злой папахе, сломанной налево,
 алела пятипалая звезда.

Он надвигался прямо на Семена,
 который в стены спрятаться не мог,
 вместилище оружия и звона,
 земли здоровье, сбитое в комок.
 Казалось, это бредовое —
 словом,
 метель вокруг ходила колесом,
 а он откуда выходец?
 С лиловым,
 огромным, оплывающим лицом...
 Глаза глядели яростно и косо,
 в ночи огнями белыми горя,
 широкого, приплюснутого носа
 пошевелилась черная ноздря.

И дернулась, до десен обнажая
 все зубы белочистые, губа
 оттяченная,
 жирная,
 большая,
 мурашками покрыта и груба.
 Он шел вперед,
 на памятник похожий,
 на севере,
 в метели,
 чернокожий...

.....

1934—1935

АНАТОЛИЙ КУДРЕЙКО

1907, м. Пружаны Гродненской губ.— (?)

Поэт, так никогда и не оправившийся от иронической формулы Маяковского «кудреватые Митрейки, мудреватые Кудрейки». Между тем был небольшим, но очень милым поэтом, и на долголетнем посту заведующего отделом поэзии «Огонька» всегда помогал молодым.

* * *

Мне от пастушьего рожка
До поэтического рога,
Как хлебным зернам до мешка,
Как половицам до порога.

ВЕРА МАРКОВА

р. 1907, Минск

До последнего времени была известна исключительно как переводчик классической японской поэзии, она подарила русскому читателю стихи Басё и прозу Сэй-Сёнагон, большие тома избранных трехстиший сотен старинных поэтов. Всю жизнь писала стихи «в стол», сперва как «просто стихи», а позже — все больше и больше под влиянием переводимых ею японцев, чем внесла некую новую ноту в русскую поэзию, заставив подражать японцам многих молодых поэтов, отнюдь японским языком не владеющих.

В ДЕНЬ ГОДОВЩИНЫ

Когда мы скопом, чтоб тебя восславить,
Открыли шлюзы прописных речей
И памятник решили переставить
Взамен ларьков на место побойчей,

Когда везде расклеены плакаты,
Стена — как мы: что хочешь налепи,
Где у подножья дуба кот лохматый
Сидит, как пес дворовый, на цепи,

Когда дозволенные менестрели
На этот день, как на пустой крючок,

Своих поэм навесили шинели
И просят, кланяясь, четвертачок,

Когда, замуравав окно в Европу
И самый воздух наглухо забив,
Мы барабаном заглушаем ропот
И славим тех, кто счастлив, что не жив,

Когда, другого гения пиная,
Любовь к тебе мы носим напоказ,—
Что ж ты стоишь, главы не подымая?
Стыдишься ль нас? Или скорбишь о нас?

1949

СЕМЕН ОЛЕНДЕР

1907, Одесса—1969

Он сам был поэтом, похожим на часовщика: работал кропотливо, негромко, и стихи, выходящие из-под его рук, не гремели, но добросовестно тикали.

ПОЭМА О ЧАСОВЩИКЕ ДЛЯ ПИОНЕРОВ И БОЛЬШИХ ОКТЯБРЯТ (фрагмент)

Тянется длинною лентой Тверская,
А на углу Тверской — мастерская.
Снегом засыпанная слегка
Узкая вывеска часовщика.
«Стекол и стрелок быстрая вставка,
Спешный ремонт, починка, поправка.
Мы объявляем решительно всем:
Чиним часы разных систем».

Улицу снег, не спеша, заметает.
Там за окном, за стеклом восседает

Нетерпелив, суетлив, невелик
С маленькою лупой в глазу часовщик.
В комнате слабый запах бензина,
Стынет под вазой в бензине пружина.
Две полновесные капельки вытекли,
Высохли мигом колесики, винтики.

Он их легко разобрал и собрал,
В каждое гнездышко винтик вогнал,
Щеточкой весь механизм он протер,
И заструился колес разговор:
«Тики-таки, тики-таки,
Мы теперь живем, не так ли?»
.....

КИРИЛЛ ПОМЕРАНЦЕВ

1907—1991

Парижский поэт первой волны эмиграции, автор прекрасной книги мемуаров; издал единственный сборник «Стихи» (1986); в основном его стихи распылены в периодике. Верный ученик Георгия Иванова. Последнее стихотворение публикуемой подборки — вероятно, последнее и в жизни Померанцева; автограф составитель получил от автора.

* * *

Что, если все-о все, без исключения, —
Христос, Лао-Цзе, будда, Магомет, —
Не то чтобы поверили виденьям,
А просто знали, что исхода нет?

Что никогда не будет воздаянья: —
Там — пустота и ледяная тьма;
И лгали нам в безумьи состраданья,
Чтоб жили мы и не сошли с ума?

* * *

В каком-то полуобалдены
Не то в аду, не то в бреду,
Вдруг, словно головокруженье,
Ложится звездное смиренье
На золотую ерунду.

Бежит минута за минутой
Блаженной микротишины,
И чудится мне почему-то
Что все мы будем спасены.

* * *

«Все это было, было, было...»
И все давным-давно прошло,
И даже память позабыла
Тех дней бессмысленное зло.

Так жизнь пройдет, и не заметишь,
но за последнюю чертой

не то ужасно, что ТАМ встретишь,
А то, что принесешь с собой.

* * *

Я так скучно, так мелко старею, —
Стал ворчлив, бестолков и болтлив.
Были б деньги — махнул бы в Корею,
В Абиджан или Тананарив.

Потому что известно с пеленок:
Хорошо только там, где нас нет.
Это скажет вам каждый ребенок,
Каждый русский и каждый поэт.

Потому что, и это известно,
Что проживши всю жизнь наобум,
Нам под старость становится тесно
От себя и от собственных дум.

* * *

Не Горбачев страной правит
И не центральный комитет,
И перестройка не исправит
Итог семидесяти лет.

И гласность делу не поможет,
Трубя хоть тысячами труб,
Пока над всем и вся вельможит
Набальзамированный труп.

1988

АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ

1907, Елисаветград — 1989, Переделкино, Московской обл.

Гражданскую войну увидел детскими глазами, оказавшись внутри ее кровавого вихря. Вспоминал, что когда-то по голове его погладила сама атаманша Маруся. Путь к признанию был мучителен, извилист. В 1925—1929 годах учился на Высших литературных курсах. Но с 1932 года занимался главным образом переводами классической поэзии Востока. Первый собственный сборник вышел лишь в 1962-м («Перед снегом»). Это был триумф в московских интеллектуальных кругах. Высокая поэтическая культура Тарковского была несомненна. Поддержал многих молодых поэтов своим добрым напутствием. Рядом с его могилой в Переделкине оставлено место для возвращения праха его сына — кинорежиссера Андрея Тарковского, похороненного в Париже. В его знаменитый фильм «Зеркало» включены стихи отца.

ПОРТНОЙ ИЗ ЛЬВОВА, ПЕРЕЛИЦОВКА И ПОЧИНКА
(Октябрь 1941)

С чемоданчиком картонным,
Ластоногий, в котелке,
По каким-то там перронам,
С гнутой тросточкой в руке,

Сумасшедший, безответный,
Бедный житель городской,
Одержимый безбилетной,
Неприкаянной тоской.

Не из Лодзи, так из Львова,
 Не в Казань, так на Уфу.
 — Это ж казнь, даю вам слово,
 Без фуфайки, на фуфу!

Колос недожатой нивы
 Под сверкающим серпом.
 Третьи сутки жгут архивы
 В этом городе чужом.

А в вагонах — наркоматы,
 Места нет живой душе,
 Госпитальные халаты
 И японский атташе.

Часовой стоит на страже,
 Начинается пальба,
 И на город черной пряжей
 Опускается судьба.

Чудом сузилась жилетка,
 Пахнет снегом и огнем,
 И полна грудная клетка
 Царским траурным вином.

Привкус меди, смерти, тлена
 У него на языке,
 Будто царь царей из плена
 К небесам воззвал в тоске.

На полу лежит в теплушке
 Без подушки, без пальто
 Побирושка без полушки,
 Странник, беженец, никто.

Он стоит над стылой Камой.
 Спит во гробе город Львов.
 Страждет сын печали, самый
 Нищий из ее сынов.

Ел бы хлеб, да нету соли,
 Ел бы соль, да хлеба нет.
 Снег растает в чистом поле.
 Порастет полынью след.

1947

ЕЛЕНА МОЛОХОВЕЦ

*...после чего отжимки можно от-
 дать на кухню людям.*

Е. Молоховец.

Подарок молодым хозяйкам. 1911

Где ты, писательница малосольная,
 Молоховец, холуйка малохольная,
 Блаженство десятипудовых туш,
 Владетелей десяти тысяч душ?
 В каком раю? чистилище? мучилище?
 Костедробилище? А где твои лещи
 Со спаржей в зеве? раки бордолез?
 Омары Крез? имперский майонез?
 Кому ты с институтскими ужимками
 Советуешь стерляжьими отжимками
 Парадный опрозрачивать бульон,
 Чтоб золотым он стал, как миллион,

Отжимки слугам скармливать, чтоб ведали,
 Чем нынче наниматели обедали?

Вот ты сидишь под ледяной скалой,
 Перед тобою ледяной налой,
 Ты вслух читаешь свой завет поваренный,
 Тобой хозяйкам молодым подаренный,
 И червь несытый у тебя в руке,
 В другой — твой череп мямлит в дуршлагае.
 Ночная тень, холодная, голодная,
 Полубайстрючка, полублагородная...

1957

ПЕРВЫЕ СВИДАНИЯ

Свиданий наших каждое мгновенье
 Мы праздновали, как богоявление,
 Одни на целом свете. Ты была
 Смелей и легче птичьего крыла,
 По лестнице, как головокруженье,
 Через ступень сбегала и вела
 Сквозь влажную сирень в свои владенья
 С той стороны зеркального стекла.

Когда настала ночь, была мне милость
 Дарована, алтарные врата
 Отворены, и в темноте светилась
 И медленно клонилась нагота,
 И, просыпаясь: «Будь благословенна!» —
 Я говорил и знал, что дерзновенно
 Мое благословенье: ты спала,
 И тронуть веки синевой вселенной
 К тебе сирень тянулась со стола,
 И синевой тронутые веки
 Спокойны были, и рука тепла.

А в хрустале пульсировали реки,
 Дымились горы, брезжили моря,
 И ты держала сферу на ладони
 Хрустальную, и ты спала на троне,
 И — боже правый! — ты была моя.
 Ты пробудилась и преобразила
 Вседневный человеческий словарь,
 И речь по горло полнозвучной силой
 Наполнилась, и слово *ты* раскрыло
 Свой новый смысл и означало *царь*.

На свете все преобразилось, даже
 Простые вещи — таз, кувшин, — когда
 Стояла между нами, как на страже,
 Слоистая и твердая вода.

Нас повело неведомо куда.
 Пред нами расступались, как миражи,
 Построенные чудом города,
 Сама ложилась мята нам под ноги,
 И птицам с нами было по дороге,
 И рыбы подымались по реке,
 И небо развернулось пред глазами...
 Когда судьба по следу шла за нами,
 Как сумасшедший с бритвою в руке.

1962

ПОЭТ

Жил на свете рыцарь бедный...

Эту книгу мне когда-то
В коридоре Госиздата
Подарил один поэт;
Книга порвана, измята,
И в живых поэта нет.

Говорили, что в обличье
У поэта нечто птичье
И египетское есть;
Было нищее величье
И задерганная честь.

Как боялся он пространства
Коридоров! Постоянства
Кредиторов! Он, как дар,
В диком приступе жеманства
Принимал свой гонорар.

Так елозит по экрану
С реверансами, как спьяну,
Старый клоун в котелке
И, как трезвый, прячет рану
Под жилеткой из пике.

Оперенный рифмой парной,
Кончен подвиг календарный, —
Добрый путь тебе, прощай!
Здравствуй, праздник гонорарный,
Черный белый каравай!

Гнутым словом забавлялся,
Птичьим клювом улыбался,
Встречных с лёту брал в зажим,
Одиночества боялся
И стихи читал чужим.

Так и надо жить поэту.
Я и сам спую по свету,
Одиночества боюсь,
В сотый раз за книгу эту
В одиночестве берусь.

Там в стихах пейзажей мало,
Только бестолочь вокзала
И театра кутерьма,
Только люди, как попало, —
Рынок, очередь, тюрьма.

Жизнь, должно быть, наболтала,
Наплела судьба сама.

1963

* * *

Как сорок лет тому назад,
Я вымок под дождем, я что-то
Забыл, мне что-то говорят,
Я виноват, тебя простят,
И поезд в десять пятьдесят
Выходит из-за поворота.

В одиннадцать конец всему,
Что будет сорок лет в грядущем
Тянутся поездом идущим
И окнам мелькать в дыму,
Всему, что ты без слов сказал,
Когда уже пошел состав.
И чья-то юность у вокзала
От провожающих отстав,
Домой по лужам как попало
Плетется, прикусив рукав.

(1969)

* * *

Я, как мальчишка, убежал в кино.
Косая тень легла на полотно.

И я подумал: мне покоя нет.
Как бабочка, трещал зеленый свет.

И я увидел двухэтажный дом
С отворенным на улицу окном,

Хохочущую куклу за окном
С коротким носом над порочным ртом.

А тощий вислоусый идиот
Коротенького за руку ведет,

Другой рукою трет себе живот,
А коротышка ляжками трясет.

Тут кукла льет помой из окна,
И прыгает от радости она.

И холодно, и гадко дуракам,
И грязный жир стекает по щекам.

И Пат смешон, и Паташон смешон,
Но Пату не изменит Паташон.

* * *

Меркнет зрение — сила моя,
Два незримых алмазных копья;
Глохнет слух, полный давнего грома
И дыхания отчего дома;
Жестких мышц ослабели узлы,
Как на пашне седые волы;
И не светятся больше ночами
Два крыла у меня за плечами.

Я свеча, я сгорел на пиру.
Соберите мой воск поутру,
И подскажет вам эта страница,
Как вам плакать и чем вам гордиться,
Как веселья последнюю треть
Раздарить и легко умереть,
И под сенью случайного крова
Загореться посмертно, как слово.

(1977)

ЛИДИЯ ЧЕРВИНСКАЯ**1907—1988, Париж**

Поэтесса эмигрировала из России в начале 20-х годов, всю оставшуюся жизнь прожила в Париже. В 30-е годы была близка к журналу «Числа», выпустила три сборника стихотворений. Червинская принадлежит к «Парижской ноте» Адамовича — Штейгера не только по «географии» своей жизни: ее близость к этой школе — внутренняя и органическая.

* * *

Жить в трезвости и в созерцании,
 В закате праздничного дня.
 В холодном отблеске огня
 Зачаровать свои желанья.
 Seriously думать, слушать чутко.
 Печальной музыкой рассудка
 Заполнить годы пустоты —
 Забыть, но не предать мечты.
 А память о возможном друге,
 Как солнце осени на юге,
 Как нежность желтую мимозы,
 Воображеньем создавать.
 И, сохраняя в сердце слезы,
 Их никогда не проливать.

МИХАИЛ ЧЕХОНИН**1907, Петрозаводск — 1962**

Эмигрант «первой волны», по профессии гравер, участник американского кружка «Четырнадцать», автор сборника «Стихи» (Нью-Йорк, 1946).

МАТЬ

Она прошла в тени креста.
 Молчала темная Голгофа,
 И возносился дух Христа
 В жилище Бога Саваофа.

В ее глазах была видна
 Такая боль немых молений,
 Что там, где только шла она,
 Ложились медленные тени.

И кто-то ей сказал тогда —
 Да будет вечен дух стихии,
 Объяввший ночь и знак креста,
 И горе страшное Марии...

И тихо дрогнули в ответ
 Ее безжизненные губы —
 Да будет вечен наш завет;
 Я тоже мать, я — мать Иуды.

ЛИДИЯ ЧУКОВСКАЯ**р. 1907, Хельсинки**

Отец — писатель К. Чуковский. Закончила филфак Ленинградского университета, работала редактором в детских издательствах. Муж — физик М. Б. Бронштейн — стал жертвой сталинского террора. Печатила статьи о редактировании художественной литературы. Повесть «Софья Петровна» (1939—1940) и написанная в форме дневника книга «Спуск под воду» (1949) были напечатаны лишь на Западе, а у нас ходили в самиздате. В 1966 году Чуковская написала открытое письмо Шолохову после того, как он напал на осужденных писателей Синявского и Даниэля. С той поры она стала своего рода Жанной Д'Арк правозащитного движения. Автор книги воспоминаний об Анне Ахматовой.

СВЕРСТНИКУ

С каждой новой могилой
 Не смиренность, а бунт.
 Неужели, мой милый,
 И тебя погребут?

Четко так молоточки
 Бьют по шляпкам гвоздей.
 Жизни точные точки
 И твоей и моей.

Мы ведь сверстники, братство
И седин и годин.
Нам пора собираться:
Год рожденья один.
Помнишь детское детство?
Школа. Вместе домой.
Помнишь город в наследство —
Мой и твой, твой и мой?
Мерли кони и люди,
Глад и мор, мор и глад.
От кронштадтских орудий
В окнах стекла дрожат.
Тем и кончилось детство.
Ну а юность — тюрьмой.
Изуверством и зверством
Зрелость — тридцать седьмой.
Необъятный, беззвучный,
Нескончаемый год.
Он всю жизнь, безотлучный,
В нашей жизни живет.
Наши раны омыла
Свежей кровью война.
Грохотала и выла,
Хохотала она.

...О чистые слезы разлуки
На грязном вагонном стекле.
О добрые мертвые руки
На зимней промерзшей земле...

«Замороженный ад» —
Город-морг, Ленинград.

Помнишь смерть вурдалака
И рыданья вослед?
Ты, конечно, не плакал.
Ну и я — тоже нет.
Мы ведь сверстники, братья.
Я да ты, ты да я.
Поколенью — объятья
Открывает земля.
Поколенью повинных —
Поголовно и сплошь.
Поколенью невинных —
Ложь и кровь, кровь и ложь.
Поколенью забытых
(Опечатанный след).
Кто там кличет забитых?
Нет и не было! Нет!

Четко бьют молоточки.
Указанья четки:
«У кого там цветочки?
Эй, давайте венки!»
В строй вступает могила.
Все приемлет земля.
Непонятно, мой милый,
Это ты или я.

Март—апрель 1984
Переделкино—Москва.

ВАРЛАМ ШАЛАМОВ

1907, Вологда—1982, Москва

Сын священника. Учился на юрфаке МГУ в 1926—1929 годах. Впервые был арестован за распространение так называемого Завещания Ленина в 1929-м. Выйдя в 1932-м, был опять арестован в 1937-м и 17 лет пробыл на Колыме. Вернувшись, с 1957 года начал печатать стихи в «Юности», в «Москве». В его глазах была некая рассеянная безуминка неприсутствия. Наверно, потому что он в это время писал свои «Колымские рассказы» и даже на свободе продолжал оставаться там, на Колыме. Эти рассказы начали ходить из рук в руки на машинке года с 1966-го и вышли отдельным изданием в Лондоне в 1977 году. Шаламова заставили отречься от этого издания, и он написал нечто невразумительно-унизительное, как бы протестуя. Он умер в доме для престарелых, так и не увидев свою прозу напечатанной. (Она вышла в СССР лишь в 1987-м.) Три вершины «лагерной» литературы — это «Один день Ивана Денисовича» Солженицына, «Крутой маршрут» Е. Гинзбург и «Колымские рассказы» Шаламова, но многие читатели ставят эту книгу на первое место из трех. Это великая «Колымада», показывающая гениальное умение людей сохранить лик своей души в мире лагерного обезличивания. Шаламов стал Пименом Гулага, но злу и добру внимая отнюдь равнодушно, и написал ад изнутри, а вовсе не из белоснежной кельи. Как поэт, Шаламов гораздо литературнее, но и в его стихах чувствуются раненая, несдающаяся нравственность, крепкое перо профессионала, за колючей проволокой лишенного возможности заниматься литературой как профессией. Образ боярыни Морозовой, как символ права на собственную веру, встречается у многих авторов нашей антологии. «Дни твои, наверно, прогорели и тобой, наверно, неосознаны. Помнишь — в Третьяковской галерее Суриков — боярыня Морозова» (Н. Глазков). В ее глазах была та же рассеянная безуминка, как в глазах Шаламова.

* * *

Меня застрелят на границе,
Границе совести моей,
И кровь моя зальет страницы,
Что так тревожили друзей.

Когда теряется дорога
Среди щитинящихся гор,
Друзья прощают слишком много,
Выносят мягкий приговор.

Но есть посты сторожевые
На службе собственной мечты,
Они следят сквозь вековые
Ущерб, боли и тщеты.

Когда в смятенье малодушном
Я к страшной зоне подойду,
Они прицелятся послушно,
Пока у них я на виду.

Когда войду в такую зону
Уж не моей — чужой страны,
Они поступят по закону,
Закону нашей стороны.

И чтоб короче были муки,
Чтоб умереть наверняка,
Я отдан в собственные руки,
Как в руки лучшего стрелка.

* * *

Говорят, мы мелко пашем,
Оступаясь и скользя.
На природной почве нашей
Глубже и пахать нельзя.

Мы ведь пашем на погосте,
Разрыхляем верхний слой.
Мы задеть боимся кости,
Чуть прикрытые землей.

СУРИКОВ.
«БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА»

Прощаться с утренней Москвою
Женщина выходит на крыльцо.

Бердыши тюремного конвоя
Отражают хмурое лицо.

И широким знаменьем двуперстым
Осеньет шапки и платки.
Впереди — несчитанные версты
И снега, светлы и глубоки.

Перед ней склоняются иконы,
Люди — перед силой прямоты
Яростно земные бьют поклоны
И рисуют в воздухе кресты.

И над той толпой порабощенной,
Далеко и сказочно видна,
Непрощающей и непрощенной
Покидает торжище она.

Точно бич, раскольничье распяты
В разъяренных стиснуто руках,
И гремят последние проклятья
С удаляющегося возка.

Так вот и рождаются святые —
Ненавидя жарче, чем любя.
Ледяные волосы седые
Пальцами сухими теребя.

* * *

На этой горной высоте
Еще остались камни те,

Где ветер выбил письма,на,
Где ветер высек имена,

Которые прочел бы Бог,
Когда б читать умел и мог.

НЕИЗВЕСТНЫЕ АВТОРЫ

Может быть, сидевшие в тех же самых лагерях, что и Шаламов.

* * *

Колыма ты, Колыма,
Чудная планета.
Десять месяцев зима.
Остальные — лето.

* * *

Я помню тот ванинский порт
И вид пароходов угрюмый,
Как шли мы по трапу на борт
В холодные мрачные трюмы.

От качки стонали зэка,
Обнявшись, как сродные братья,
И только порой с языка
Срывались глухие проклятья.

А утром растаял туман.
Утихла пучина морская.
Вставал на пути Магадан —
Столица колымского края.

Пятьсот километров тайга.
Качаются люди, как тени.
Машины не едут сюда.
Бредут, спотыкаясь, олени.

Будь проклята ты, Колыма,
что названа чудной планетой!
Сойдешь поневоле с ума,—
Обратно возврата уж нету.

Я знаю — меня ты не ждешь
И писем моих не читаешь.
Встречать ты меня не пойдешь,
А, встретив меня, не узнаешь.

АНАТОЛИЙ ШТЕЙГЕР

1907, с. Николаевка Киевской губ.—1944, Швейцария

Из старинного швейцарского баронского рода, переселившегося в Россию. Сразу после революции семья Штейгера бежала через Константинополь и Прагу — в Париж. Там вышла первая книга Штейгера «Этот день» (1928). Его стихи поддержал Г. Адамович. Они считались самым чистым выражением «парижской ноты», когда поэзия освобождается от деталей и выходит на разговор об основах существования: жизни, смерти, любви, одиночестве, страдании, надежде. Штейгер был болен туберкулезом в тяжелой форме, но, даже находясь в швейцарском санатории, выступал во время Второй мировой войны с публицистикой против фашизма. Известна его переписка с Мариной Цветаевой.

* * *

Никто как в детстве нас не ждет внизу,
Не переводит нас через дорогу.
Про злого муравья и стрекозу
Не говорит, не учит верить Богу.

До нас теперь нет дела никому —
У всех довольно собственного дела.
И надо жить как все.— но самому...
(Беспомощно, нечестно, неумело).

АРКАДИЙ ШТЕЙНБЕРГ

1907, Одесса — 1984, с. Юмино Калининской обл.

Больше всего известен как переводчик «Потерянного рая» Мильтона, признан как выдающийся художник и менее всего оценен как оригинальный поэт. Известность Штейнбергу принесло стихотворение «Волчья облава», которое незадолго до своей гибели высоко оценил Маяковский. Оно, возможно, дало некий толчок Мандельштаму, когда тот писал «За гремучую доблесть грядущих веков». Штейнберг был дважды репрессирован, между отсидками прошел всю войну: закончилась она для него в Бухаресте, где по просьбе руководства румынской компартии он был арестован и отправлен в лагерь Ветлосян в республику Коми. Возвратился поэт в Москву после смерти Сталина и узнал, что задолжал членские взносы в Союз писателей за срок с 1944 года: никто не знал о его аресте и отсидке. Он заплатил. Но в партии восстанавливаться отказался, хотя мог бы: как-никак вступил он в нее на фронте с рекомендацией мало кому известного тогда Л. И. Брежнева. Почти все его стихи к настоящему времени опубликованы, но отдельной книгой не выходили. Он похоронен на кладбище в Кунцево — в Кунцево когда-то ездил он «на дачу» к своему другу и соавтору, тоже одесситу — Эдуарду Багрицкому.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Я День Победы праздновал во Львове.
Давным-давно я с тюрьмами знаком,
Но мне в ту пору показалось внове
Сидеть на пересылке под замком.

Был день как день: баланда из гороха
И нищенская каша — магара.
До вечера мы прожили неплохо.
Отбой поверки. Значит, спать пора.

Мы прилегли на телогрейки наши,
Укрылись чем попало с головой,
И лишь майор немецкий у параши
Сидел, как добровольный часовой.

Он знал, что победителей не судят.
Мы победили. Честь и место — нам.
Он побежден. И до кончины будет
Мочой дышать и ложки мыть панам.

Он, европеец, нынче самый низкий,
Бесправный раб. Он знал, что завтра днем
Ему опять господские огрызки
Мы, азиаты, словно псу, швырнем.

Таков закон в неволе и на воле.
Он это знал, он это понимал.
И сразу притерпевшись к новой роли,
Губ не кусал и пальцев не ломал.

А мы не знали, мы не понимали
Путей судьбы, ее добро и зло.
На досках мы бока себе намяли,
Нас только чудо вразумить могло.

Нам не спалось. А ну засни попробуй,
Когда тебя корежит и знобит
И ты листаешь со стыдом и злобой
Незавершенный перечень обид.

И ты гнушаешься, как посторонний,
Своей же плотью, брезгуешь собой —
И трупным смрадом собственных ладоней,
И собственной зловещей худобой,

И грязной, поседевшей раньше срока
Щетиною на коже впалых щек...
А вечное, всевидящее око
Ежeminутно смотрит сквозь волчок.

1964

ОТХОДНАЯ

Се изыде горький ответ, се смоковница неплодная, яко непотребна, посекается; се лоза сухая влагается в огонь.

Канон на исход души.

Помирает моя
Доброхотная мачеха,
Приютившая мальчика
На заре бытия.

Позабыла родня
Одинокую, хворую,
Что была мне опорю
И взрастила меня.

Знать, приспела пора,
Чтобы наша кормилица
Перестала бы силиться
И сошла со двора.

В предназначенный срок
Хлопотунья заранее
Начала прибирание,
Свой предсмертный урок.

Торопясь, чистоту
Навела еще заживо,
В плошке сбою говяжьего
Уделила коту.

Содой вымыла дом,
Окна вытерла пыльные,
И в обнови могильные
Обрядилась потом.

Молча взлезла на печь
И с последнею силою

На лежанку остылую
Изловчилась прилечь.

Протянув на тряпье
Руки тощие, длинные,
Словно лапы куриные
В роговой чешуе.

В доме тишь, благодать,
И не верят в спасение
Даже мухи осенние,
Знают: бабке не встать.

За окошком ветла
Расшепталась, качается:
Мол, старуха кончается,
Пожила — отжила.

Не скорбите, пока
Плоть противится тленная,
И земля тяжеленная
Ей да будет легка.

Киньте взгляд из окна,
Об усопшей не сетуя,
Пусть людьми неотпетая,
Почивает она.

Там, над краем леска,
Словно храм семибашенный,
Серебром изукрашенный,
Вознеслись облака.

Где клубится вдали
Их громада великая,
Пролетают, курлыкая,
Трубачи-журавли.

Будто в ризах до пят,
Вяя белыми платами,
Над лесами зубчатыми
Серафимы трубят.

С незакатных высот,
Светопад ослепляющий,
Нестерпимо пылающий,
Весть благовую несет.

И мерцают лучи
На серебряной храмине
Алым отсветом пламени
Поминальной свечи.

ВТОРАЯ ДОРОГА

Полжизни провел как беглец я, в дороге,
А скоро ведь надо явиться с повинной.
Полжизни готовился жить, а в итоге
Не знаю, что делать с другой половиной.

Другой половины осталось немного:
Последняя четверть, а может — восьмая,
Рубеж, за которым вторая дорога —
Широкая, плоская лента прямая.

Не ездят машины по этой пустынной
Дороге, на первую так непохожей;
По ней никогда не пройдет ни единый
Случайный попутчик и встречный прохожий.

Лишь мне одному предназначена эта
Запретная для посторонних дорога;
Бетонными плитами плотно одета,
Она поднимется в гору полого.

Да только не могут истлевшие ноги
Шагать, как бывало, по прежней дороге.
Мне сделать за вечность не более шагу,—
Шагну, спотыкнусь и навечно прилягу.

Когда мне едва не пришлось в Ашхабаде
Просить на обратный билет Христа ради,
И я ковлял вдоль арыков постылых,
Дурак-дураком, по жарнице треклятой,
Не смея вернуться в свой номер, не в силах
Смириться с моей невозвратной утратой.
А позже, под вечер, в гостинице людной,
Замкнувшись на ключ, побродяжка
приблудный,
Впотьмах задыхался от срама и горя,
Как Иов на гноище с Господом споря,
И навзничь лежал нагишом на постели,
Обугленный болью, отравленный желчью,
Молчком нагнетая в распластанном теле
Страданье людское и ненависть волчью,—
В ту ночь мне открылась в видении сонном
Дорога, одетая плотным бетоном,
Дорога до Бога, до Божьего рая,
Дорога без срока,
Дорога вторая.

ИГОРЬ БАХТЕРЕВ

р. 1908

Поэт и драматург, один из последних доживших до наших дней обэриутов; как поэт стал печататься тоже лишь в последние годы; ему мы обязаны воспоминаниями об А. Введенском и других писателях того же круга.

ЗНАКОМЫЙ ХУДОЖНИК

Петру Соколову

Висит на шесте и крутится
мазков бесцельное собрание,
безмолвное содружество частей
на плоскости утраченной квадрата.
В несмелой охре распластав ладони,
садовник пятился давно.
Он поднимал гвоздику
и снова достигал настурцию.
Уменьем толстых пальцев
его создал сундук,
просторный, как ведро.
Надо мной гуляет женщина
прозрачней, чем из древней Турции,
обширнее небесной суеты.
Она сказала тихо:
— Меня создал петух.—
Передо мной сидит бревенчатый Малевич
с вытянутыми руками,
весь обструганный.
Его холсты шуршавые,
его слова мужицкие
напоминают запах.
Вы смотрите у меня:

Юдин, Эндер и Стерлигов,
грызите подрамники вежливо
от первого до 318-го
Они вас незатейливых
всему научат.
Грызите да приговаривайте:
от и дж
от и дв
от и дрь
Ах, уж эти времена
с такими большими честными — дй.
Поменьше — дж.
Еще меньше — дв.
Совсем крошечными и уморительными —
дрь и дзя.
Теперь со мной рядом
велосипедисты на кривых колесах,
рыбак с черной рыбой за спиной...
И опять передо мной садовник.
Он жует календарь науки,
плюется некрасивыми буквами,
ругается историческим голосом
и говорит:
Дерсенваль кр кф.
Вот какой у меня знакомый художник.

НИКОЛАЙ ВОРОБЬЕВ

1908, Петербург—1989, Монтерей (Калифорния)

Настоящая фамилия — Богаевский. Вероятно, наряду с Николаем Туроверовым — наиболее значительный «казачий» поэт России; а казачья литература весьма богата. Эвакуирован в 1920 году вместе с другими воспитанниками петербургского кадетского корпуса; всерьез к литературе обратился лишь в 1950 году, когда переехал в США. Главное произведение Воробьева — эпическая поэма «Кондратий Булавин», созданная в 1955—1965 годах. Она посвящена знаменитому казачьему бунту против Петра Первого, покусившегося на исконные казачьи права; кстати, от этого бунта в русском языке осталось выражение «хватил Кондрашка». В поэме более пяти с половиной тысяч строк, она была издана в Калифорнии в 1965 году, а в последнее время несколько раз переиздана в Ростове. Помимо поэзии Воробьев был профессиональным художником-графиком, а также организатором русского хора, состоявшего в основном из студентов, не знавших языка, — тем не менее хор был знаменит на всю Америку. Похоронен в Монтерее, недалеко от могилы прозаика Николая Нарокова.

ПРОЛОГ
К ПОЭМЕ «КОНДРАТИЙ БУЛАВИН»

Сине над Черкасском небо Божие,
Зноен и палящ июльский день.
Дремлет дуб, и у его подножия
Атаманский прикорнул курень.

В нем судьбою-мачехою сдавленный,
Словно дуб под натиском лавин,
Щерит зубы белые затравленный
Волк степной — Кондратий Булавин.

Меряет курень шагами твердыми,
Взгляд швыряет в слюдяной просвет
И на север шлет губами гордыми
От казачьей вольницы ответ.

А в степях разметаны полки его...
Сталь догнала, уложила всех.
Это — слободских, да что из Киева.
Да черкасских, да изюмских грех.

Да измена Зерщикова черная...
Эх, Ильюшка, вспомянешь и ты
В час, когда тебя путина торная
До последней доведет черты!

Ряд за рядом, линию за линией
Уложила, налетев гроза,
И сверлят Азова небо синее
Мертвецов потухшие глаза.

* * *

Идеже несть болезнь, ни печаль.

Я никогда не умирал...
Скажите, это будет сразу?
В кусочки, вдребезги, как вазу?
Рывком, броском, как в гневе фразу?
Как об пол брошенный бокал?
Я никогда не умирал...

Скажите, это очень больно?
Больнее, чем укол игольный?
Иль медный голос колокольный
Больней для тех, кто провожал?

Да, тем больней, кто шел за гробом,
Кто будет ночи жечь без сна,
Кто будет помнить обо многом,
О том, своем, совсем особом...
А мертвым — память не нужна.

ВЛАДИМИР ДЕРЖАВИН

1908—1975

Сильное, к сожалению, неполно раскрывшееся дарование с задатками мощного эпического поэта. Лучшее произведение Державина — его поэма «Первоначальное накопление» в 30-е годы произвела ошеломляющее впечатление своим самостоятельным видением истории, тугой, перенасыщенной плотью классицистического стиха. Литературное переводческое донорство, которому Державин посвятил почти всю свою творческую жизнь, отняло у него слишком много сил, и ранние стихи так и остались лучшими.

ЧЕРНИЛЬНИЦА

(Фрагмент)

В чернильнице моей поют колокола,
Склоняются дубы над крышей пепелища,
В ней город затонул — где прежде ты жила;

Нырятся кит, судов проламывая днища,
И каплет кровь с ветвей, где ночь любви вела
В кабаньих зарослях осенние игрища
И гекатомб венец в сто сорок кораблей
Антоний утопил в чернильнице моей.

ЮРИЙ МАНДЕЛЬШТАМ

1908, Москва — 1943

Известен как «Мандельштам Второй»; представитель первой волны эмиграции, ученик Вл. Ходасевича, парижский поэт 30-х годов. Женившись на дочери композитора Стравинского, принял православие. После занятия немцами Парижа был вскоре арестован, вывезен в немецкий концлагерь в Польше, где и погиб, если верить справке международного Красного Креста, в 1943 году. «Собрание стихотворений» Юрия Мандельштама вышло в 1990 году в Голландии.

Ну что мне в том, что ветряная мельница
Там на пригорке нас манит во сне?
Ведь все равно ничто не переменится
Здесь, на чужбине, и в моей стране.

И оттого, что у чужого домика,
Который, может быть, похож на мой,
Рыдая надрывается гармоника,—
Я все равно не возвращусь домой.

О, я не меньше чувствую изгнание,
Бездействием не меньше тягочусь,
Храню надежды и воспоминания,
Коплю в душе раскаянье и грусть.

Но отчего неизъяснимо-русское,
Мучительно-родное бытие
Мне иногда напоминает узкое,
Смертельно ранящее лезвие?

АЛЕКСАНДР ОЙСЛЕНДЕР

1908, м. Ходорково под Киевом—1963, Москва

Родился в семье лесопромышленника; в конце 20-х годов служил в Черноморском флоте. Печататься стал в начале 30-х годов, первый сборник стихотворений издал в 1931-м («Мир свежее»). Во время войны работал корреспондентом, в те годы как раз и определился как поэт в основном военной темы.

* * *

Не —
С вечерующего рейда
Влетает ласточкой сквозняк —
Болтает шлюпки рыбаей
Да
Вытряхивает молодняк!
Братишки с ближнего завода,
Ребята с дальних кораблей,—
Мы входим в жизнь,—
Как входит
В воду
Флотилия
Со стапелей!
И в море штатского покроя
Плывет флотилия братков,
Мерцающая паюсной икрой
Фуражечек
Без козырьков.
Уже,
Пылая папирской,
За легкой тенью впереди
Плывет прохладная матроска
С татуировкой на груди.
Братан двоюродный бушмена
Походкой вкрадчивой спортсмена

Спешит
(Куда же ты, Елена?)
За юбочкою по колена.
Тамбовец или ярославец
Стреляет ленточкой —
И вновь
В сердца непрочные красавиц
Наживкой брошена любовь!
Он мечется,
Как забияка,—
И, через час
Все перебрав,
Забрасывает прочно якорь
В гостеприимной бухте ДКАФ.
За ним,
Как лодочка без флага,
Бежит ревнивая салага.
Она
Без ленточек еще,
Еще сыра, еще не в форме,
И материнский пух со щек
Не облетел еще на шторме.
Я тоже
Зелен, как салага,
И форму легкую мою
Еще не обучила влага
Обветренному бытию.

ВЛАДИМИР ОРЛОВ**1908, Валдай Новгородской губ.—1985**

Известный литературовед. Окончил словесное отделение Института истории искусств. Автор многих книг, главным образом исследователь А. Блока. С 1965-го — главный редактор «Библиотеки поэта». Всю жизнь полутайно писал стихи.

ПИСЬМО ИЗ МАГАДАНА

Владимиру Орлову, отбывающему длительное заключение в Магаданском лагере строгого режима.

1

Мой будний день бывает часом
Под стать иному кутежу.
Встаю я в очередь за квасом,
В подвал промозглый захожу.

Там (для порядка — с бутербродом)
Дадут мне хлебного вина.
Хлебну — и заодно с народом,
И вся Россия мне видна!

Похоже молодость вторую
Жгу — вопреки календарю:
Живу, ликую и горюю...
Нет, не горюю, а горю!

Пусть мне хвалиться вроде нечем
(Я все один, хотя вдвоем),
Но горе мы сперва залечим,
Потом — веревочкой завьем.

Она все вьется, год за годом, —
Ее распутать мудрено...
Хлебну — и заодно с народом,
И словно с Богом заодно!

2

А тем же часом — в Магадане
И пьет и плачет мой двойник:
Устал от нравственных страданий,
А, может, попросту отвык.

Он кто — убийца, иль налетчик,
Иль воин власовских дружин?
Его казнят — и дни и ночи —
Железный лагерный режим.

На нем, с расхожей точки зренья,
Лежит позорное клеймо.
Но вот, в минуту озаренья,
Он посылает мне письмо.

Ему помочь, домой вернуть бы —
В корявых значится строках...
Не знает он, что наши судьбы
Перекликаются впотьмах.

Два разобщенных электрода,
Соединиться мы должны
Не только как сыны народа,
Но и как пасынки страны.

1964

МАРИЯ ПЕТРОВЫХ**1908, Норский посад Ярославской губ.—1979, Москва**

Начала печататься в 1926 году. Всегда обладала высокой репутацией в кругах литературной элиты — даже не щедрая на похвалы Ахматова назвала ее стихи «самобытными и точными». Однако на «дневную поверхность» собственные стихи выходили редко — все больше переводы, особенно с армянского. У Петровых был узкий, но верный круг поклонников. Со своей строгой челкой и некрасивой красотой слегка грубоватого и в то же время отнюдь не простоватого, а волевого чеканного лица — она жила отдельно от так называемой общественной жизни, оставаясь одним из загадочно выживших сильных характеров. Талант ее был недооценен официальной критикой и несколько переоценен, на мой взгляд, поклонниками.

* * *

Судьба за мной присматривала в оба,
Чтоб вдруг не обошла меня утрата.
Я потеряла друга, мужа, брата,
Я получала письма из-за гроба.

Она ко мне внимательна особо
И на немые муки торовата.
А счастье исчезало без возврата...
За что, я не пойму, такая злоба?

И все исподтишка, все шито-крыто.
И вот сидит на краешке порога
Старуха у разбитого корыта.

— А что? — сказала б ты. —

И впрямь старуха.

Ни памяти, ни зрения, ни слуха.
Сидит, бормочет про судьбу, про Бога...

1967

* * *

У человечества одышка
От спешки яростной, как будто —
Последний день, а завтра — крышка
И мрак последнего уютя.

1969

* * *

Развратник, лицемер, ханжа...
От оскорбления дрожа,
Тебя кляню и обличаю.
В овечьей шкуре лютый зверь,
Предатель подлый, верь не верь,
Но я в тебе души не чаю.

ЕВГЕНИЙ РАИЧ

ок. 1908, Петербург — после 1967

Настоящая фамилия — Рабинович. С 1920 года жил в Берлине; в 1934 году переехал в США. Около сорока лет работал над русским переложением «Фауста» Гёте. Издал сборник собственных стихотворений в Париже в 1965 году — «Современник».

* * *

Прав анархист. В кармане кулаки
Сжимаются в неистребимом гнев:
Какого взрыва стоит этот мир,
Спешащий к смерти, как карета Плеве.
И Гете прав. Как буйный ледоход,
Пройдет мятеж. Чем лучше, тем скорее,

Трактор отцовский Герман переймет.
Не оскудеет чрево Доротеи.
Саванаролы прав тяжелый гнев:
Кто может, пусть вместит. И только тот
Небесного достоин королевства.
Прав Дон Жуан, который столько дев
Освободил от тягостного девства.

КОНСТАНТИН СЕДЫХ

1908, пос. Поперечный Зерентуй Забайкальской обл.—1979, Иркутск

Чисто сибирский писатель, автор монументального романа «Даурия» (2 тома, 1942—1948) из жизни забайкальских казаков, за который получил в 1949 году Сталинскую премию второй степени; издал около десятка поэтических сборников.

ПРАДЕД

Мой прадед не был казаком.
Он вскормлен горьким молоком,
Объедками в людской княгини.
Щелчком раскалывал он дыни,
А грузным слитком кулака
На бойне сваливал быка.

Желтоволосый богатырь,
Он недобром ушел в Сибирь,
Махнув платком полям Рязани:
За девку с карими глазами
В глухую ночь впиалась рука
В цыплячье горло барчука.

Над прорвой речек и болот
Косой крутился снеголет,
Слепая вьюга бушевала.
И от привала до привала
Вела дорога ровно год
В хребты на Нерчинский Завод.

Там неприступно хмур и дик
Зарос крестовский становик

Колючкой, жалами крапивы.
Крепить листованные огнивы,
Как в преисподнюю, увел
Пришельца шахты мокрый ствол.

Пород сползающих навес
Шатал и гнул крепезный лес,
Метался воздух воспаленный...
А в полночь прадеда в зловонной
Низине койкой из досок,
Гнилым борщом встречал острог.

Земля, шпицрутены, цинга
Тушили жизнь. В ночах пурга
Над горным кладбищем шипела,
Где много в те года истлело
Без отпеванья, без гробов,
Насмерть замученных рабов.

Пятнадцать лет кромешной мглы...
Звенели тупо кандалы,
Пугал внезапный гул обвала...
Под серой шапкой выцветало
Витое золото волос.
Но прадед выжил, перенес.

Он поселенец. У ручья
Он рубит лес для зимовья,
В квашне замешивает тесто.
Пока не сыщется невеста,
Сам носит воду, лопать шьет,
В столбы городит огород.

О, зарева ласка жен!
Срезает бороду ножом
Мой прадед, как траву дурную,
Потом тунгуску молодую
На безвенчалное житье
За руку вводит в зимовье.

С берез багряный лист опал,
Когда без крестных и попа
Крестил он первенца в бочонке.
Топырил красные ручонки
И лихоматов голосил
Новокрещенный Михаил.

Топор загнал на крутяки
С равнин густые листьяки,
В пади остался бурый колок,
А по заречью рос поселок,

Да окружила городьба
Казачьи тучные хлеба.

Но редко сдобленный калач
Имел мой прадед. Неудач
Не разорвал он круг проклятый —
И ни сохой, ни лопатой
Не вырыл клада. Не помог
Ему глухой распятый бог.

А там пришел и день такой,
Когда, угрюмый и худой,
На лавке вытянулся прадед.
Вперед ногами по ограде,
По светлой улице, в гробу
Ушел он с венчиком на лбу.

Теперь на кладбище пустом
Цветет рябиновым кустом
Седая вечность над могилой.
Подгнивший крест дождями смыло
И унесло в сырую падь
По свету белому гулять.

1933

ФЕДОР ФОЛОМИН

1908, Мюнхен—1978

Учился в Нижегородском пединституте. Работал в Москве на суконной фабрике Моссукино и на хлебозаводе. Участник войны с фашизмом. Печататься начал с 1926 года. Первая и, кажется, единственная книга стихов «Песнь о Волге» вышла в 1956-м в Москве. Являлся всегда предметом если не насмешек, то снисходительных улыбок в обществе московских поэтов — что-то вроде Акакия Акакиевича, у которого украли шинель до того, как он ее сшил. Маленький, всклокоченный, вечно обиженный, с протертыми локтями и лоснящимися брюками. Но грозные бетховенские молнии порой сверкали из-под его клочковатых седых бровей. У него ничего не было, кроме поэзии, и ей он был безраздельно предан. Без таких людей поэзия пропадет. Копейку он бросил свою — не чужую.

* * *

Бросишь в море свою копейку —
громыхая, кружась в гульбе,
примут волны деньгу улейку
и тебя возвратят к себе.
В море бросил слова горстями
пусть не золото — это медь,
им в глубинах не быть гостями
не заснуть и не онеметь.
Я живу широко, охотно,
бью о камешек каблуком,

всем пространством, земным и водным,
отдаю себя целиком.
Волга жизнь мою пропитала,
байки мне подарил Урень,
От великого капитала
Нет запасов на трудный день.
И хожу, и на плесе маюсь, —
Все отпущено волгарю!
Опрокинутый — поднимаюсь,
Неуслышанный — говорю.

1968

ЕЛЕНА ШИРМАН

1908, Ростов-на-Дону — 1942, близ станицы Буденновской Ростовской обл.

Писала стихи еще в 20-е годы, печаталась с 1924-го, училась в Литературном институте у И. Сельвинского. Но и ей, как многим другим, досталась горькая участь: в 1942 году она была схвачена немцами под Ростовом и убита, а после войны ее стихи регулярно переиздавались в сборниках поэтов, погибших на Великой Отечественной. Тех, кто не погиб, а, скажем, вернулся из плена, переиздают теперь — в сборниках бывших поэтов-лагерников, ибо только смерть, включая самоубийство, была для органов НКВД вариантами, в которых пленный мог — и то еще необязательно — не рассматриваться как изменник сталинской отчизны.

ПОЭЗИЯ

Пусть я стою, как прачка, над лоханью,
В пару, в поту до первых петухов.
Я слышу близкое и страстное дыханье
Еще не напечатанных стихов.
Поэзия — везде. Она торчит углами
В цехах, в блокнотах, на клочках газет —
Немеркнувшее сдержанное пламя,
Готовое рвануться и зажечь,
Как молния, разящая до грома.
Я верю силе трудовой руки,
Что запретит декретом Совнаркома
Писать о Родине бездарные стихи.

1940

ПОСЛЕДНИЕ СТИХИ

Эти стихи, наверно, последние.
Человек имеет право перед смертью
высказаться.
Поэтому мне ничего больше не совестно.
Я всю жизнь пыталась быть мужественной,
Я хотела быть достойной твоей доброй
улыбки
Или хотя бы твоей доброй памяти.
Но мне это всегда удавалось плохо,
С каждым днем удается все хуже,
А теперь, наверно, уже никогда не удастся.
Вся наша многолетняя переписка
И нечастые скудные встречи —
Напрасная и болезненная попытка
Перепрыгнуть законы пространства и
времени.
Ты это понял прочнее и раньше, чем я.
Потому твои письма, после полтавской
встречи,
Стали конкретными и объективными,
как речь докладчика,
Любознательными, как викторина,
Равнодушными, как трамвайная вежливость.
Это совсем не твои письма.
Ты их пишешь, себя насилуя,
Потому они меня больше не радуют,
Они сплющивают меня, как молоток шляпку
гвоздя,
И бессонница оглушает меня, как
землетрясение.
...Ты требуешь от меня благоразумия,
Социально значимых стихов и веселых писем,
Но я не умею, не получается...

(Вот пишу эти строки и вижу,
Как твои добрые губы искажает недобрая
«антиулыбка»
И сердце мое останавливается заранее.)
Но я только то, что я есть, —
не больше, не меньше:
Одинокая, усталая женщина тридцати лет,
С косматыми волосами, тронутыми сединой,
С тяжелым взглядом и тяжелой походкой,
С широкими скулами и обветренной кожей,
С резким голосом и неловкими манерами,
Одетая в жесткое коричневое платье,
Не умеющая гримироваться и нравиться.
И пусть мои стихи нелепы, как моя одежда,
Бездарны, как моя жизнь,
как все чересчур прямое и честное,
Но я то, что я есть. И я говорю, что думаю:
Человек не может жить,
не имея завтрашней радости,
Человек не может жить, перестав надеяться,
Перестав мечтать, хотя бы о несбыточном.
Поэтому я нарушаю все запрещения
И говорю то, что мне хочется,
Что меня наполняет болью и радостью,
Что мне мешает спать и умереть.
...Весной у меня в стакане
стояли цветы земляники,
Лепестки у них были белые
с бледно-лиловыми жилками,
Трогательно выгнутые, как твои веки.
И я их нечаянно назвала твоим именем.
Все красивое на земле мне хочется
называть твоим именем:
Все цветы, все травы,
все тонкие ветки на фоне неба,
Все зори и все облака
с розовато-желтой каймою —
Они все на тебя похожи.
Я удивляюсь, как люди не замечают
твоей красоты,
Как спокойно выдерживают твоё
рукопожатие,
Ведь руки твои — конденсаторы счастья,
Они излучают тепло на тысячи метров,
Они могут растопить арктический айсберг,
Но мне отказано даже в сотой каллории,
Мне выдаются плоские буквы в бурых
конвертах,
Нормированные и обезжиренные, как
консервы,
Ничего не излучающие и ничем не пахнущие.

(Я то, что я есть, и я говорю, что мне
хочется.)
...Как в объемном кино,
ты сходишь ко мне с экрана,
Ты идешь по залу, живой и светящийся,
Ты проходишь сквозь меня, как сновидение,
И я не слышу твоего дыхания.
...Твое тело должно быть подобно музыке,
Которую не успел написать Бетховен,
Я хотела бы день и ночь осязать эту музыку,
Захлебнуться ею, как морским прибоем.
(Эти стихи последние,
и мне ничего больше не совестно.)
Я завещаю девушке, которая будет любить
тебя:
Пусть целует каждую твою ресницу в
отдельности,
Пусть не забудет ямочку за твоим ухом,
Пусть пальцы ее будут нежными, как мои
мысли.

(Я то, что я есть, и это не то, что нужно.)
...Я могла бы пройти босиком до Белграда,
И снег бы дымился под моими подошвами,
И мне навстречу летели бы ласточки,
Но граница закрыта, как твое сердце,
Как твоя шинель,
застегнутая на все пуговицы.
И меня не пропустят.
Спокойно и вежливо
Меня попросят вернуться обратно.
А если буду, как прежде, идти напролом,
Белоголовый часовой
И я не услышу выстрела —
Меня кто-то как бы негромко окликнет,
И я увижу твою голубую улыбку совсем
близко,
И ты — впервые — меня поцелуешь в губы.
Но конца поцелуя я уже не почувствую.

1941

ВЛАДИМИР АДМОНИ

1909, Петербург—1993, там же

Многие десятилетия посвятил германистике, но музу свою молчать не заставил. С юности писал только на стол, на карьере поэта поставил крест. Тем не менее дожил до времен, когда читателей заинтересовало именно его поэтическое творчество.

* * *

Вновь поднимается Нева.
Ее сегодня слишком много.
Но нет мне города иного,
Чем тот, в котором ты мертва.

1979

* * *

Здесь лики так удлинены —
Быть может, от земных страданий, —
Пришельцы из чужой страны
Эль Греко или Модильяни.

Так, солнце в вышине ища,
Ввысь удлиняются растенья,
И к вечеру длиннеют тени,
И к тайне тянется душа.

1979

ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВА

1909, Двинск — 1989, Нью-Йорк

Урожденная Девель. Дочь полковника царского генерального штаба; выросла в Севастополе, откуда родители в ноябре 1920 года ее и увезли через Константинополь в Югославию, где вышла замуж в 1937 году за прозанка Иванникова. В 1944 году, спасаясь от советских войск, оказалась в Австрии, в 1949-м переехала в США (Иванников остался в Югославии), где работала в библиотеке, много печаталась, издала пять сборников стихотворений. Была близкой подругой Ольги Анстей. В 1989 году, когда Алексева умерла, хозяин ее дома (в негритянском квартале Нью-Йорка) распорядился сжечь все ее бумаги — что и было сделано. Так что рукописи горят. Но Алексева успела достаточно много напечатать при жизни, к счастью.

* * *

Так трудится над тайной кулака
Мальчонка, пальцы крестного считая,
И вот — разжал, и вот — ладонь пустая
И пустоты смущается рука.

Но ты напрасно шепчешь мне: «не тронь»,
Я старше, я добрей и осторожней,
Чтоб не найти руки твоей порожней,
Я в бедную не загляну ладонь.

ИВАН БАУКОВ**1909, с. Стариково Рязанской обл.—1977**

Происходил из семьи деревенского кузнеца, работал на Днепрострое, добровольцем воевал на «малой» финской войне, в 1941 году окончил Литературный институт, во время Великой Отечественной работал корреспондентом армейской газеты. Первый сборник «Вторая весна» вышел в 1951 году.

* * *

Сорок третий год.
Зима.
Где-то отдых недалече.
Тянет плечи автомат,
И усталость тянет плечи.

Сколько пройдено дорог
Под смертельный визг осколков!
Как я вынести это мог
И откуда силы столько!

Падали. Чего скрывать,
Было так, что впору плакать.
Поднимались,
шли опять,
Стиснув зубы, шли на запад.
Тяжела туда верста,
Это каждый русский знает.
Чортов запад!
Не спроста
Ясный день там умирает.

1943

РУДОЛЬФ БЕРШАДСКИЙ**1909, Елизаветград—1979**

Всю жизнь был очеркистом, писал, что мог опубликовать. Но и стихи тоже писал. А в них — автобиография... Арестован был во время «дела врачей» — к его счастью, на короткое время.

* * *

Сегодня ко мне опустился с воли
Пострел-воробей на тюремный дворик.
Двадцать минут на прогулку дано мне.
Я простоял их, не дыша.
Большого счастья
я не помню:

Ко мне — оттуда! —
живая душа!
Может, над домом он нашим кружился
И — вот сейчас! — на тебя глядел!
Сегодня
впервые я в жизни молился:
Чтоб завтра он снова ко мне прилетел.

АЛЕКСАНДР ГИТОВИЧ**1909, Смоленск—1966**

Первый сборник стихов «Мы входим в Пишпек» вышел в 1931 году. В годы Великой Отечественной войны был на фронте. Переводил поэтов Китая и Кореи.

ВОДА

Еще по облачной дороге
Заря не тронулась наверх,
Еще, растягивая ноги,
Лежит в постели человек.

Его бесформенное тело,
Как тесто в кадке растолстело.
Лежит расслабленный давно.
Рабочий, техник — все равно.
Уже гудком его зовет
Контора, фабрика, завод.
Будильник щелкает.

И он
Встает, разламывая сон.
Минуя хлопнувшую дверь,
Проходит в ванную теперь.

Там черепахой дремлет губка,
Там полотенца свежий взмах,
Стихия, свернутая в трубку,
За краном бодрствует впотьмах.
И человек садится в ванну,
Мотает скучной головой,
Подобный снежному болвану —
Белесый, рыхлый, неживой.
Вода на грудь ему стекает.
Он шевелится, но не тает.
Движеньем, с виду даже бодрым,
Руками хлопает по бедрам.
Он похудел, он спать не хочет!
А струйки бегают легки,
Они ползут, они щекочут,
Как водяные червяки.
Тут полотенце бьет тревогу,

Шершавой яростью горя,
Овладевает понемногу
Упругим телом дикаря,
И снова отданный теплу,
Смотрите —

новый, непохожий,
Уже не белый,— краснокожий,
Индейцем скачет на полу.

Уже самой воды свежей,
Течет с высоких этажей,
Отремонтирован давно,
Рабочий, техник — все равно.

Густым гудком его зовет
Контора, фабрика, завод.
До остановки — пять минут.
Ему трамваи подают.

Еще и ночь не поредела,
Заря над городом тонка,
А человек готов для дела,
Для прозодежды, для станка.

Он повседневный держит строй,
Мой современник, мой герой.

А средство даже не в секрете,
Оно — как воздух — под рукою
Сама планета на две трети
Изобретение такое.
Оно на веки мне знакомо.
И в осторожной спячке дома
День начинается звеня,
Когда сквозь сумерки сухие
Водопроводная стихия
Из крана грянет на меня.

АЛЛА ГОЛОВИНА

1909, Николаевка Киевской губ.—1987, Брюссель

Эмигрировала с семьей в 1920 году, училась в Чехословакии в русской гимназии. Начала печататься в 30-е годы в журналах «Воля России», «Скит» (Прага), издала один сборник «Лебединая карусель» в издательстве «Петрополис». Сестра поэта А. Штейгера.

* * *

Сумасшедший дом. Аккуратный парк.
Сумасшедшая русская: Жанна Д'Арк.
Разрешили ей волосы стричь у плеч
И тяжелые двери свято беречь.
— Ах,— печально она говорит врачу,—
Я дофина увидеть скорей хочу.
О, поймите, я слушаю голоса
Каждый день по три, по четыре часа.
И со скукою врач отвечает ей:
— Был расстрелян в Сибири дофин Алексей,
А историю вашей дикой страны
Вы и здесь забывать никогда не должны.
Но однажды явившийся серафим

Показался царевичем ей сквозь грим.
Тут-то многое она поняла
(Поседела и от ворот отошла),
Что она — эмигрантка, а город — Париж,
И что за нашей историей не уследишь.
Той же ночью спокойно она умерла,
И вошла в Ленинград, и дофина нашла.
И собор отыскала. Стоял Алексей,
Петроградской белой ночи бледней.
Ликовал почему-то советский народ
И уже собирался в какой-то поход.
Эмигрантская дева жива — не жива
(Словно молния — в древо) и видит Москва.
Петербург отступил, и уже Михаил,
Дрожь скрывающая, стоит у бесчестных могил...

МИХАИЛ ГОРЛИН

1909—1944(?)

Сын еврейского коммерсанта, эмигрант первой волны, «русский берлинский поэт». Писал стихи в основном на немецком, но куда живей оказалось то немногое, что написано им по-русски. Муж Раисы Блох; как и она, погиб в немецком концлагере.

МЕКСИКА МОЕГО ДЕТСТВА

Мексика моего детства, вижу тебя
С твоими кактусами, пупырчатыми
и длинными, как огурцы,
С твоими индейцами, притаившимися
в лианах,
С твоими всадниками с головами и без голов,

Со стадами мустангов, постоянно
мчащимися по степям.
Помню, и я скакал по твоим степям во сне:
передо мною убегали широта и долгота
Четкими линиями, как на географических
картах,

Враги бросали в меня не то копыя, не то
 цветные карандаши.
 Я скакал без передышки, обгоняя всех,
 К домику с белыми колоннами, крытыми
 черепицей,
 где ждала меня прекрасная донья дель Соль

с очень черными волосами и очень красными
 губами,
 как на тех коробках сигар, что курил мой отец,
 или как на той, что я видел у тебя, мой
 приятель Роберт,
 и по которой я вспомнил об этих снах.

ВИКТОР ГУСЕВ

1909, Москва—1944, там же

Учился на факультете литературы и искусства МГУ. Печататься стал с 1927 года. Работал в стихотворной драматургии, романтизированной 30-е годы, и написал несколько киносценариев, в том числе знаменитой комедии «Свинарка и пастух» — настоящего образца лакированной «колхозной жизни». Дважды лауреат Сталинских премий. Исходя из посмертных интересов поэта, я поступаю с ним по его же законам, лакирую по его прижизненным традициям действительность — отсекаю пахнущий агитпроповщиной конец стихотворения.

ЗВЕЗДА МОЕГО ДЕДА

(фрагмент)

— Мой дед,— не знали вы его? —
 Он был нездешних мест.
 Теперь за тихою травой
 Стоит горбатый крест.
 Хоть всем по-разному любить,
 Никто любви не чужд.
 Мой дед хотел актером быть
 И трагиком к тому ж.
 Он был горбат, мой бедный дед.
 Но тем, кого увлек
 Высокий рампы нежный свет,
 Не знать других дорог.
 Ведь если сердце на цепи —
 Ту цепь не будешь рвать.
 И дед суфлером поступил
 Слова других шептать.
 Лилось мольеровских острот
 Крепчайшее вино,
 И датский принц горел костром,
 Велик и одинок,
 И каждый вечер зал кипел,
 Смеялся и рыдал,
 И лишь суфлер своих цепей
 Всю жизнь не разорвал.
 Вино! Ты — избавитель
 От тяжестей судьбы.
 Мой бедный дед, простите,
 Он пьяницею был.
 И в рваной кацавейке
 Ходил, и пел, и пел:
 — Судьба моя индейка,
 Нерадостный удел.
 Ей незнакома жалость.

Держись,
 держись,
 держись!..—

Да!
 Трагику досталась
 Комическая жизнь.
 И вечером, под градусом,
 Он шел, золы серей...
 Цвела кудрявой радостью
 Весенняя сирень.
 И бодрый жук летал в саду,
 Питаясь медом рос.
 И дед искал свою звезду
 Среди многих сотен звезд.
 — Звезда моя! Звезда моя!
 Изменница! Согрей! —
 Но над тоскою пьяною
 Смеялась сирень
 И ночь по-прежнему цвела,
 Красива и горда,
 И кто же знает, где была
 Коварная звезда!
 И дед шагал в свою тюрьму,
 В суфлерский уголок,
 И снились, может быть, ему
 И Гамлет и Шейлок.
 Но пробил час, последний час,
 В ночную глубину
 Костер заброшенный погас,
 Насмешливо мигнув.
 И там, где тихая трава,—
 Крест
 С надписью такую:
 «Раб божий Дмитриев Иван
 Скончался от запоя».

Ее решетки и престолы,
Их гнусный рай, их скучный ад.
Откроют фортку: выйдет чад,
И по земле — цветной и голой —
Пройдут иные новоселы,
Иные песни прозвучат,
Иные вспыхнут Зодиак,
Но через миллиарды лет
Придет к изменнику скелет —
И снова сдохнешь ты в бараке!

АМНИСТИЯ

(Апокриф)

Даже в пекле надежда заводится,
Если в адские вхожа края.
Матерь Божия, Богородица,
Непорочная дева моя.

Она ходит по кругу проклятому,
Вся надламываясь от тягот,
И без выбора каждому пятому
Ручку маленькую подает.

А под сводами черными, низкими,
Где земная кончается тварь,
Потрясает пудовыми списками
Ошарашенный секретарь.

И кричит он, трясаясь от бессилия,
Поднимая ладони свои:
— Прочитайте вы, дева, фамилии,
Посмотрите хотя бы статьи!

Вы увидите, сколько уведится
Неугодного Небу зверья, —
Вы не правы, моя Богородица,
Непорочная дева моя!

Но идут, но идут сутки целые
В распахнувшиеся ворота
Закопченные, обгорелые,
Не прощающие ни черта!

Через небо глухое и старое,
Через пальмовые сады
Пробегают, как волки поджарые,
Их расстроенные ряды.

И глядят серафимы печальные,
Золотые прищутив глаза,
Как открыты им двери хрустальные
В трансцендентные небеса;

Как, крича, напирая и гикая,
До волос в планетарной пыли,
Исчезает в них скорбью великая,
Умудренная сволочь земли.

И глядя, как кричит, как колотится
Оголтелое это зверье,

Я кричу: «Ты права, Богородица!
Да прославится имя твое!»

Зима 1940. Колыма

* * *

Я не соблюдал родительский обычай,
Не верил я ни в чох, ни в птичий грай —
Ушли огни, замолк их гомон птичий,
И опустел иконописный Рай.
Взгляни теперь, как пристально и просто
Вдали от человеческих нор и гнезд
Глядят кресты таежного погоста
В глаза ничем не возмутимых звезд.
Здесь сделалась тоска земли
Близка мне, здесь я увидел
Сквозь полярный свет,
Как из земли ползут нагие камни
Холодными осколками планет.
Могила неизвестного солдата!
Остановись, колени преклоня,
И вспомни этот берег ноздреватый,
Зеленый снег и на снегу — меня.
Здесь, над землей израненной и нищей,
Заснувший в упованьи наготы,
Я обучался кротости кладбища —
Всему тому, что не умеешь ты.

Зима 1941

* * *

Я вновь на дне. И есть барон.
И есть разбросанные корни,
и крики западных ворон
вокруг раскраденной махорки,
сухая сука, две шестерки
и вор по прозвищу Чарльстон.

Вот он мне ботает про то,
как он подпутал генерала,
как дочь несчастного бежала,
его хватая за пальто.
А он приплясывал, смеясь,
плечами поводил картинно
и говорил: «Отстань, падлина!
Я честный вор, отлипни, мразь!»

Она сбежала от отца
и по банам его ловила,
она сто тысяч закосила
и отмолила, откупила
и отлюбила молодца.

Я все прослушал до конца
и призадумался уныло:
зачем любви нужна могила
и тяжесть крестного венца?
Зачем сознанию подлеца
всегда одно и то же мило:
она страдала и любила,
и все простила до конца!

Как мне противен разум мой,
мое тупое пониманье.
Он не потащится с сумой,
он не попросит подаюнья.
Но как его ты ни зови,
он все пойдет своей дорогой —
сорвать с поруганной любви
венец блестящий и убогий.

О, ложь! О, милое ничто!
Любви прекрасное начало.
Тот град, где дочка генерала
по людным улицам бежала,
хватая вора за пальто!
Дай мне, сияя и скорбя,
моей любви шепнуть неловко:
«Я все простил тебе, дешевка...
Мне очень трудно без тебя!»

МАРИЯ РИЛЬКЕ

Выхожу один я из барака,
Светит месяц желтый, как собака,
И стоит меж фонарей и звезд
Башня белая — дежурный пост.
В небе — адмиральская минута,
И ко мне из тверди огневой
Выплывает, улыбаясь смутно,
Мой товарищ, давний спутник мой!
Он — профессор города Берлина,
Водовоз, бездарный дровосек,
Странноватый, слеповатый, длинный,
Очень мне понятный человек.
В нем таится, будто бы в копилке,
Все, что мир увидел на веку.
И читает он Марии Рильке
Инеем поросшую строку,
Поднимая палец свой зеленый
Заскорузлый, в горе и нужде,
«Und Eone redet mit Eone¹»,
Говорит Полярной он звезде.
Что могу товарищу ответить?
Я, делящий с ним огонь и тьму?
Мне ведь тоже светят звезды эти
Из стихов, неведомых ему.
Там, где нет ни времени предела,
Ни существований, ни смертей,
Мертвых звезд рассеянное тело.
Вот итог судьбы твоей, моей:
Светлая, широкая дорога —
Путь, который каждому открыт.
Что ж мы ждем?

Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездой говорит.

УБИТ ПРИ ПОПЫТКЕ К БЕГСТВУ

Мой дорогой, с чего ты так сияешь?
Путь ложных солнц — совсем не легкий путь!

¹ «И Эон беседует с Эоном» (нем.).

А мне уж неделю не заснуть:
Заснешь — и вновь по снегу зашагаешь,
Опять услышишь ветра сиплый вой,
Скрип сапогов по снегу, рев конвоя:
«Ложись!» — и над соседней головой
Взметнется вдруг легчайшее сквозное,
Мгновенное сиянье снеговое —
Неуловимо тонкий острый свет:
Шел человек — и человека нет!
Солдату дарят белые часы
И отпуск в две недели. Две недели
Он человек! О нем забудут псы,
Таежный сумрак, хриплые метели.
Лети к своей невесте, кавалер!
Дави фасон, показывай породу!
Ты жил в тайге, ты спирт глушил без мер,
Служил Вождю и бил врагов народа.
Тебя целуют девки горячо,
Ты первый парень — что ж тебе еще?
Так две недели протекли, и вот
Он шумно возвращается обратно.
Стреляет белок, служит, водку пьет!
Ни с чем не спорит — все ему понятно.
Но как-то утром, сонно, не спеша,
Не омрачась, не запирая двери,
Берет он браунинг. Милая душа,
Как ты сильна под рыжей шкурой зверя!
В ночной тайге кайлим мы мерзлоту,
И часовой растерянно и прямо
Глядит на неживую простоту,
На пустоту и холод этой ямы.
Ему умом еще не все обнять,
Но смерть над ним крыло уже простерла.
«Стреляй! Стреляй!» В кого ж теперь
стрелять?

«Из горла кровь!» Да чье же это горло?
А что когда положат на весы
Всех тех, кто не дожили, не допели?
В тайге ходили, черный камень ели
И с храпом задыхались, как часы.
А что когда положат на весы
Орлиный взор, геройские усы
И звезды на фельдмаршальской шинели?
Усы, усы, вы что-то проглядели,
Вы что-то недопоняли, усы!
И молча на меня глядит солдат,
Своей солдатской участи не рад.
И в яму он внимательно глядит,
Но яма ничего не говорит.
Она лишь усмехается и ждет
Того, кто обязательно придет.

1949

УТИЛЬСЫРЬЕ

Он ходит, черный, юркий муравей,
Заморыш с острыми мышинными глазами;
Пойдет на рынок, станет над возами,
Посмотрит на воза, на лошадей,
Поговорит о чем-нибудь с старухой,

Возьмет арбуз и хрустнет возле уха.
 В нем деловой непримиримый стиль,
 Не терпящий отсрочки и увертки, —
 И вот летят бутылки и обертки
 И тряпки, превращенные в утиль,
 Вновь обретая прежнее названье,
 Но он велик,
 Он горд своим призваньем:
 Выслеживать, ловить их и опять
 Вещами и мечтами возвращать!
 А было время: в белый кабинет,
 Где мой палач синел в истошном крике,
 Он вдруг вошел, ничтожный и великий,
 И мой палач ему прокаркал: «Нет!»
 И он вразвалку подошел ко мне
 И поглядел мышинными глазами
 В мои глаза, — а я был словно камень,
 Но камень, накаленный на огне.
 Я десять суток не смыкал глаза,
 Я восемь суток проторчал на стуле,
 Я мертвым был, я плавал в мутном гуле,
 Не понимая больше ни аза.
 Я уж не знал, где день, где ночь, где свет,
 Что зло, а что добро, но помнил твердо:
 «Нет, нет и нет!» Сто тысяч разных «нет»
 В одну и ту же заспанную морду!
 В одни и те же белые зенки
 Тупого оловянного накала,
 В покатый лоб, в слюнявый рот шакала,
 В лиловые тугие кулаки!
 И он сказал презрительно-любезно:
 — Домбровский, вам приходится писать... —
 Пожал плечами: «Это бесполезно!»
 Осклабился: «Писатель, вашу мать!..»
 О, вы меня, конечно, не забыли,
 Разбойники нагана и пера,
 Лакеи и ночные шофера,
 Бухгалтера и короли утиля,
 Линялые гадюки в нежной коже,
 Убийцы женщин, стариков, детей!
 Но почему ж убийцы так похожи,
 Так мало отличимы от людей?
 Ведь вот идет, и не бегут за ним
 По улице собаки и ребята,
 И здравствует он, цел и невредим —
 Сто раз прожженный,

тысячу — проклятый.

И снова дома ждет его жена —
 Красавица с высокими бровями.
 И вновь ее подушки душат снами,
 И ни покрышки нету ей, ни дна!
 А мертвые спокойно, тихо спят,
 Как
 «Десять лет без права переписки»...
 И гадину свою сжимает гад,
 Равно всем омерзительный и близкий.
 А мне ни мертвых не вернуть назад
 И ни живого вычеркнуть из списков!

СОЛДАТ-ЗАКЛЮЧЕННЫЙ

Много ль девочке нужно? Не много!
 Постоять, погрустить у порога,
 Посмотреть, как на западе ало
 Раскрываются ветки коралла.
 Как под небом холодным и чистым
 Снег горит золотым аметистом —
 И довольно моей парижанке,
 Нумерованной каторжанке.
 Были яркие стильные туфли,
 Износились, и краски потухли,
 На колымских сугробах потухли...
 Изувечены нежные руки,
 Но вот брови — как царские луки,
 А под ними, как будто синицы,
 Голубые порхают ресницы.
 обернется, посмотрит с улыбкой,
 И покажется лагерь ошибкой,
 Невозможной фантазией, бредом,
 Что одним шизофреникам ведом...
 Миру ль новому, древней Голгофе ль
 Полюбился ты, девичий профиль?
 Эти руки в мозолях кровавых,
 Эти люди на мертвых заставах,
 Эти бьющиеся в беспорядке
 Потемневшего золота прядки?
 Но на башне высокой тоскуя,
 Отрекаясь, любя и губя,
 Каждый вечер я песню такую
 Как молитву твержу про себя:
 «Вечера здесь полны и богаты,
 Облака как фазаны горят.
 На готических башнях солдаты
 Превращаются тоже в закат.
 Подожди, он остынет от блеска,
 Станет ближе, доступней, ясней
 Этот мир молодых перелесков
 Возле тихого царства теней!
 Все, чем мир молодой и богатый
 Окружил человека, любя,
 По старинному долгу солдата
 Я обязан хранить от тебя.
 Ох ты, время, проклятое время,
 Деревянный бревенчатый ад!
 Скоро ль ногу поставлю я в стремя
 И повешу на грудь автомат?
 Покоряясь иному закону,
 Засвищу, закачаюсь в строю...
 Не забыть мне проклятую зону,
 Эту мертвую память твою;
 Эти смертью пропахшие годы,
 Эту башню у белых ворот,
 Где с улыбкой глядит на разводы
 Поджидающий вас пулемет.
 Кровь и снег. И на сбившемся снеге
 Труп, согнувшийся в колесо.
 Это кто-то убит «при побеге»,
 Это просто убили — и всё!
 Это дали работу лопатам
 И лопатой простились с одним.
 Это я своим долгом проклятым
 Дотянулся к страданиям твоим.

Не с того ли моря беспокойны,
Обгорелая бредит земля,
Начинаются глупые войны,
И ругаются три короля,
И столетья уносит в воронку,
И величья проносят, как сны,
Что обидели люди девчонку,
И не будут они прощены!
Только я, став слепым и горбатым,
Отпущу всем уродством своим —
Тех, кто молча стоит с автоматом
Над поруганным детством твоим».

1974

* * *

Пока это жизнь, и считается
Приходится бедной душе
Со смертью без всяких кассаций,
С ночами в гнилом шалаше.

С дождями, с размокшей дорогой,
С ударом ружья по плечу.
И с многим, и очень со многим,
О чем и писать не хочу.

Но старясь и телом и чувством
И весь разлетаясь, как пыль,
Я жду, что зажжется Искусством
Моя нестерпимая боль.

Так в вязкой смоле скипидарной,
Попавший в смертельный просак,
Становится брошью янтарной
Ничтожный и скользкий червяк.

И рыбы, погибшие даром
В сомкнувшихся створках врагов,
Горят электрическим жаром
И холодом жемчугов.

Вот так под глубинным давлением
Отмерших минут и годов
Я делаюсь стихотвореньем —
Летучей пульсацией строф.

КАМПАНЕЛЛА — ПАЛАЧУ

О пытка! Я ль тебя не знаю!
Со мной ли ты была слаба!
Стирая пот и кровь со лба,
Я, как любовник, припадаю
На кресла острые твои,
Но страшен пыл твоей любви!
Твои пеньковые объятия
И хруст взбесившихся костей,
И поцелуя, и заклатья —
Все то, что не сумею дать я
Иной любовницей моей.

Узлом завязанное тело,
Душа, присохшая к кости...
О! До какого же предела
Тебе, изгнанница, расти?
Взмахни ж крылом и будем рядом,
Все выше, дальше, чуть дыша,
И вот пред Господом с парадом
Идет мертвец с зеленым взглядом
И постаревшая душа.
Они идут, огнем палимы —
Два вида сущностей иных, —
И громко славят серафимы
Условным песнопеньем их.
А там идет еще работа,
Кипит последняя борьба,
Палач, издерганный до пота,
Отбросил волосы со лба.
Он встал, взыскательный маэстро,
И недоволен, и суров
Над жалкой гибелью оркестра
Своих веревочных станков.
Ну что ж, здоровая скотина,
Чего там думать?
Вот я, здесь!
Возьми, к огню меня подвесь,
Сломай мне ребра, жги мне спину!
Не бойся, тещь собачью спесь,
Веревка сдаст — найдешь дубину!
И будь спокоен — вот я весь,
Не обману и не покину!

МАРА ИВАЩЕНКО

ок. 1909 (?)—(?)

Когда-то малоизвестная, а ныне совсем забытая поэтесса. Но, открыв тоненький пожелтевший сборник «Этюды» (1926, 300 экз.), я был тронут непосредственностью ее слога. Написанный стихами автопортрет проступил сквозь дымку времени, и мне показалось, что ее глаза улынулись с благодарностью за то, что мы ее вспомнили.

ЭКСПРОМТ

И кэпи черное набросив
На пепел спутанных волос,
Хочу молчать, желанье стиснув
И гордо вскинув четкий нос.

В себе мужское уважаю
И вечно женское гублю,
Но словно скрипка я рыдаю
И точно девушка люблю.

ВЛАДИМИР МАНСВЕТОВ

1909—1974

Некогда входил в Праге в «Скит поэтов», печатался в пражской «Воле России» чуть ли не до последнего номера (1932), был замечен критикой, входил в первую в эмиграции антологию поэтов зарубежья «Якорь», но от поэзии постепенно отошел. После войны жил в США, печатал литературно-критические статьи в «Новом русском слове»; был главным редактором передач по вопросам культуры на радиостанции «Голос Америки».

* * *

Может быть, одолеет.
Может быть, обойдет.
Может быть, пожалеет.
Может быть, и добьет.

Может быть, не измерить
Может быть, не избыть.
Может быть, надо верить,
Может быть, может быть.

Может быть, только птицы.
Может быть, все мертво.
Может быть, все простится.
Может быть, ничего.

НИКОЛАЙ РЫЛЕНКОВ

1909, д. Алексеевка Смоленской губ.—1969, Смоленск

Из крестьянской семьи, со Смоленщины, одних корней с Исаковским, Твардовским, однако не достигший такого же широкого народного признания. Первая книга «Мои герои» вышла в 1933 году. Участник Великой Отечественной войны. Автор ряда популярных в свое время песен. В отличие от многих посредственных, но агрессивно амбициозных стихотворцев скучноватый Рыленков, несмотря на постоянные похвалы официальной критики в его адрес, жил жизнью скромного труженика поэзии. Задумайтесь, почему его строки: «Когда ж, о родина моя, переживешь ты дни позора?» — были написаны именно в 1937-м?

ВСТРЕЧА НА ПУТИ В АРЗРУМ

Холмов тяжелые горбы,
Сдвигаясь, морщатся от зноя.
Ворвался в уши скрип арбы,
И гроб возник над крутизною.

В ярме два медленных вола,
Их трудный путь начался рано.
Он наклоняется с седла:
«Откуда гроб?
— «Из Тегерана».

И что-то вдруг обрвалось,
Как этот камень, слово жестко.
«Так вот где встретиться пришлось
С тобой, блистательный мой тезка!

О, сколько вычеркнет имен
Граф Бенкендорф по черным спискам —

Все, кто талантлив, кто умен,
Не ко двору царям российским.

Тот — в каземате, тот — в гробу...
Я тоже вижу злую мету.
И, с вами разделив судьбу,
Не долго поброжу по свету.

Спешу в далекие края —
И там ничто не тешит взора.
Когда ж, о родина моя,
Переживешь ты дни позора?

На перекрестке всех дорог,
Где и столбы глядят с опаской,
Я говорю:
«Зачем не мог
Ты пасть на площади Сенатской?»

1937

ПЕТР СЕМЬИНИН

1909, Воронеж — 1979

Воспитывался в сибирском детском доме. В 1928 году в журнале «Сибирские огни» была опубликована его первая повесть о детдомовцах «Бунтовщики». Затем выпустил несколько книг стихов, много переводов. Семьининский стих прочный, крепко сколоченный. Его высоко оценили такие знатоки поэзии, как К. Чуковский и Л. Озеров. На мой взгляд, самым лучшим в поэзии Семьинина остается его ранняя поэма «Негр», покоряющая свободой ритма и сочностью щедрых красок. Публикуемое стихотворение, правда, несколько напоминает мандельштамовское «И Шуберт на воде...». Один знаток поэзии по-доброму пошутил: «Ну что ж, взято в хорошем месте...»

* * *

И дерево в цвету, и облако, и птица,
И жук в усах, как старый сечевик,
И дождевая капля озорница,
Сбегающая вдруг за воротник,—
Все — чудо, все — от паутинки тонкой
До млечных жерд, дымящихся во мгле,
Но всех чудес прекрасных на земле
Чудесней слово первое ребенка.

ИГОРЬ ЧИННОВ

р. 1909, близ Риги

Представитель того поколения, которое в первой волне эмиграции приходится именовать последним. До войны жил в Латвии, даже печатался в парижских «Числах», но всерьез появился в литературе после войны, когда перебрался в Германию, позже — во Францию, а с 1962 года — в США. С 1950 года, когда при помощи Георгия Иванова и Сергея Маковского выпустил в Париже первый сборник «Монолог», издал еще семь. Суть поэзии Чиннова и его главная тема — очищение души, притом без заметной помощи религии: жизнь сама по себе способна вызвать катарсис, а раз способна, то и должна. Чиннов живет во Флориде на положении «почетного профессора в отставке», широко печатаясь и в Америке, и в России.

* * *

Бывает, поддашься болезни,
Так долго в больнице лежишь
И просишь здоровья и жизни,
И вот, на рассвете, сквозь тишь —

Как будто бы голос далекий
(Не знаю, не спрашивай, чей)
Такой отзывается мукой —
Страшнее больничных ночей...

И скорбью, и болью о мире
(Ты смотришь, платок теребя)
Иное, нездешнее горе,
Как счастьем, пронзает тебя...

О чем ты? — Лицо исказилось,
И жилка дрожит на губе.
Напрасно тебе показалось,
Что кто-то ответил тебе.

* * *

Я недавно коробку сардинок открыл.
В ней лежал человечек и мирно курил.

«Ну, а где же сардинки?» — спросил его я.
Он ответил: «Они в полноте бытия.

Да, в плероме, а может, в нирване они,
И над ними горят голубые огни,

Отражаясь в оливковом масле вот здесь,
И огнем золотым пропитался я весь».

Я метафору эту не мог разгадать.
Серебрила луна золотистую гладь.

И на скрипке играл голубой господин,
Под сурдинку играл он в коробке сардин,
Под сардинку играл — совершенно один.

* * *

О продолжительности жизни
Статистики нам говорят,
Что, если б только не болезни,
Мы жили бы сто лет подряд.
(Осенний день, больничный сад).

Вчера Иван Петрович умер.
Теперь он в небе, новосел

(Как пчеловод среди желтых пчел?).
В одной из одиночных камер
Он годы долгие провел.

За годы жизни он — не спорьте —
Немало горя перенес.
(Теперь — среди высоких звезд?)
Но важен и другой вопрос:
О продолжительности смерти.

* * *

Надо ли было сказать в крематории
о биографии, темной истории?

В траурной рамке, «с глубоким прискорбием...»
Глухо звучал неторжественный реквием.
Что же, душа — наслаждайся бессмертием.

Мы возвращались туманными роцками.
Скучно паслись беловатые лошади,
Влажно рыжели невзрачные озими.

Надо ли было сказать в эпитафии
Правду о марихуане и мафии?

Жил он, замученный злыми пороками,
Между аптеками и дискотеками,
Между полицией, неграми, греками.

Как надоели убийцы, убитые,
Разные мертвые, быстро забытые!

ВЛАДИМИР ЩИROWSКИЙ

1909—1941

В 1988 году, когда я печатал из номера в номер в «Огоньке» антологию «Русская муза XX века», я получил из Херсона ошеломившую меня рукопись. Оказывается, в 30-е годы в нашей поэзии незримо существовал ни разу не печатавшийся и почти никому не известный большой поэт. Он сохранил пушкинскую «тайную свободу» на страшном фоне уничтожения независимо мыслящих людей и сам воспитал свое высочайшее профессиональное мастерство, несмотря на то что его встречи с другими профессионалами были крайне редки. В 1929 году в Коктебеле Волошин подарил ему акварель с такой надписью: «На память В. Щиrowsкому, за детской внешностью которого я рассмотрел большого и грустного поэта». Позднее, в 1938 году, он виделся с Ахматовой, Пастернаком и получил от него тепло написанную открытку. Щиrowsкий, будучи в полном читательском вакууме, сам создал своими стихами микроклимат вокруг себя, все-таки позволявший ему дышать, хотя и задыхаясь. Он был одним из редкостных поэтов его возраста, у которого не было никаких романтических иллюзий по отношению к советской власти. Щиrowsкий был поздним сыном царского сенатора, вышедшего в отставку. За «сокрытие социального происхождения» был исключен в 1926 году из Ленинградского университета. Однако то, что он скрывал в анкетах, он не скрывал в жизни. Дворянским происхождением поэт гордился, в разговорах иногда насмешливо переходил на французский, что отнюдь не помогало ему жить. Занимался в Харькове в группе юных поэтов «Порыв», руководимой В. Сосюрой. Щиrowsкий был хрупкий, болезненного вида, в женских туфлях, но с модной тогда тросточкой и со следами веревки на шее после попытки самоубийства. Однажды один из украинских «пролетарских» поэтов гневно заявил, что среди присутствующих есть «классовый враг» и его надо удалить. Будущий знаменитый диссидент Лев Копелев, писавший тогда стихи «под Сельвинского», защитил Щиrowsкого. В 1936 году Щиrowsкий был на короткое время арестован и затем оказался в больнице. Работал на сварщиком в Ленинграде, то писарем харьковского военкомата, то клубным руководителем художественной самодеятельности в Керчи. В 1941 году немецкий снаряд прямым попаданием разнес грузовик, где находились эвакуируемые из керченского госпиталя раненные, и среди них — так и не дождавшийся признания большой русский поэт Владимир Щиrowsкий. Впрочем, этого признания он, судя по всему, и не ожидал. Впервые его стихи были напечатаны в «Огоньке» в 1988-м и произвели сильное впечатление на тех, кому дорога русская поэзия.

* * *

Возник поэт. Идет он ...
Е. Баратынский.

Убийства, обыски, кочевья,
Какой-то труп, какой-то ров,
Заиндевшие деревья
Каких-то городских садов,
Дымок последней папирсы...
Воспоминания измен...

Светланы пепельные косы,
Цыганские глаза Кармен...
Неистовая свистопляска
Холодных inferнальных лет,
Невнятная девичья ласка...

Все кончено. Возник поэт.
Вот — я бреду прохожих мимо,
А сзади молвлено: чудак...
И это так непоправимо,
Нелепо так, внезапно так.
Постыдное второрождение:
Был человек, — а стал поэт.
Отныне незаконной тенью
Спешу я сам себе вослед.
Но бьется сердце, пухнут ноги...
Стремясь к далекому огню,
Я как-нибудь споткнусь в дороге
И — сам себя не догоню.

1929, Ленинград

Нет, мне ничто не надоело!

Я жить люблю. Но спать — вдвойне.
 Вчера девическое тело
 Носил я на руках во сне.
 И руки помнят вес девичий,
 Как будто все еще несут...
 И скучен мне дневной обычай —
 Шум человеков, звон посуды.
 Все те же кепи, те же брюки,
 Беседа, труд, еда, питье...
 Но сладко вспоминают руки
 Весомость нежную ее.
 И слыша трезвый стук копытный
 И несомненную молву,
 Я тяжесть девушки небытной
 Приподнимаю наяву.
 А на пустые руки тупо
 Глядит партийный мой сосед.
 Безгрешно начиная с супа
 Демократический обед.

1929, Ленинград

* * *

Вчера я умер и меня
 Старухи чинно обмывали.
 Потом — толпа и в душном зале
 Блистали капельки огня.

И было очень тошно мне
 Взирать на смертный мой декорум,
 Внимать безмерно глупым спорам
 О некой божеской стране.

И становился страшным зал
 От пенья, ладана и плача...
 И, если б я бы вам сказал,
 Что смерть свершается иначе...

Но мчалось солнце, шла весна,
 Звенели деньги, пели люди
 И отходили от окна,
 Случайно вспомнив о простуде,
 Сквозь запотевшее стекло
 Вбегал апрель крылатой ланью.
 А в это время утекло
 Мое посмертное сознание.

И друг мой надевал пальто,
 И день был светел, светел, светел...
 И как я перешел в ничто —
 Никто, конечно, не заметил.

1929

СЧАСТЬЕ

Нынче суббота, получка, шабаш.
 Отдых во царствии женщин и каш.
 Дрогни, гитара! Бутылка блесни
 Милой кометой в немилые дни.
 Слышу: ораторы звонко орут
 Что-то смешное про волю и труд.
 Вижу про вред алкоголя плакат,
 Вижу как девок берут напрокат,
 И осязаю кувалду свою...
 Граждане! Мы в социальном раю!
 Мне не изменит подруга моя.
 Черный бандит, револьвер затая,
 Ночью моим не прельстится пальто.
 В кашу мою мне не плюнет никто.
 Больше не будет бессмысленных трат,
 Грустных поэм и минорных сонат.
 Вот оно, счастье: глубоко оно,
 Ровное наше счастливое дно.
 Выйду-ка я, погрузу на луну,
 Пару селедок потом заверну
 В умную о равноправье статью,
 Водки хлебну и окно разобью,
 Крикну «долой!», захриплю, упаду,
 Нос расшибу на классическом льду,
 Всю истошу свою бедную прыть —
 Чтобы хоть вечер несчастным побыть!

1929

ДУАЛИЗМ

Здесь шепелявят мне века:
 Все ясно в мире после чая.
 Телесная и именная
 Жизнь разрешенно глубока.
 Всем дан очаг для кипятка,
 Для браги и для каравая,
 И небо списано с лубка...
 Как шпага обнажен смычок.
 Как поединков ждем попоек,
 И каждый отрок, рьян и стоек,
 Прекраснейшей из судомоек
 Хрустальный ищет башмачок.
 И сволочь, жирного бульона
 Пожрав, толстеет у огня.
 И каждый верит: «Для меня,
 Хрустальной тувелькой звеня,
 Вальсировала Сандрильона».
 Увидь себя и усмехнись:
 Какая мразь, какая низь!
 Вот только ремешок на шею
 Иль в мертвенную зыбь реки...
 И я, монизму вопреки,
 Склоняюсь веровать в Психею.
 Так, вскрывши двойственность свою,
 Я сам себя опережаю:

Вот плоть обдумала статью;
 Вот плоть, куря, спешит в трамваю;
 Вот тело делает доклад;
 Вот тело спорит с оппонентом...
 И — тело ли стремится в сад
 К младенческим девичьим лентам?
 А я какой-то номер два,
 Осуществившийся едва,
 Все это вижу хладнокровно
 И даже умиляюсь, словно
 Имею высшие права,
 Чем эти руки, голова
 И взор, сверкающий неровно.
 Так, косность виденья дробя,
 Свежо, спокойно и умело
 Живу я впереди себя,
 На поводке таская тело.
 Несчастное, скрипит оно,
 Желает пищи и работы.
 К девицам постучав в окно,
 Несет учтивость и вино,
 Играет гнусные фокстроты...
 А между тем — мне все равно.

Ведь знамо мне, что вовсе нет
 Всех этих злых, бесстыжих, рыжих,
 Партийцев, маникюрш, газет,
 А есть ребяческий «тот свет»,
 Где вечно мне — двенадцать лет,
 Крещенский снег и бег на лыжах...

1929, Ленинград

* * *

Е. Р.

Молодую, беспутную гостью,
 Здесь пробывшую до утра,
 Я, постукивая тростью,
 Провожая со двора.
 Тихо пахнет свежим хлебом,
 Легким снегом подернут путь
 И чухонским млечным Гебам
 Усмехаюсь я чуть-чуть.
 И потерянно и неловко,
 Прядью щеку щекоча,
 Реет девичья головка
 Здесь, у правого плеча...
 На трамвайную подножку
 Возведу ее нежной рукой,
 И, мертвея понемножку,
 Отсыпаться пойду домой.

1929

* * *

Слежу тяжелый пульс в приливах и отливах,
 Ах нет, не бытия, но крови к голове;
 Слежу убожество в совете нечестивых;
 Слежу любовников, любящихся в траве;

Слежу автомобиль, что борзо мчит крестина
 К заведованью мной и счастьем моим;
 И густопсовых душ щекочет ноздри псына,
 И рабских очагов глаза терзает дым...

Слежу, как я тебя тихонько разлюбляю;
 Как старится лицо; как хочется вздремнуть;
 Как дворник мочится, почти прильнув
 к сараю...

Живем мы кое-как. Живем мы как-нибудь.
 Слежу, слежу, слежу, как тяжелеет тело,
 Как сладко и легко прилечь и закоснеть,
 Как нечто надо мной навек отяготело;
 Как стал я замечать постель, одежду, снесь...

Слежу на серебре темнеющие пятна;
 Слежу за сменой дней, правительств и манер...
 Почто мне стала жизнь незрима и невнятна?
 Почто я не делец? Почто не инженер?
 И статистический сверхобъективный метод,
 Всю политехнику желаний, злб и скук,
 Почто я так легко могу отдать за этот
 Пустой глоток вина и пьяный трепет рук?

Так я бреду сквозь вихрь ртути меркуриевой прыти.
 У бабушки-души слипаются глаза...
 Дымится для меня амброзия в корыте
 И сердце пылкое похоже на туза.
 Но многомерности нещадным дуновеньем,
 Я верю, освежусь и я когда-нибудь;
 И я когда-нибудь по этим же камням
 Смогу, увидев все, невидимым мелькнуть.

1930—1931

НА ОТЛЕТ ЛЕБЕДЕЙ

Некогда мощны, ясны и богаты,
 Нынешних бойких быстрот далеки,
 Негоцианты и аристократы
 Строили прочные особняки.

Эллинство хаты! Содомство столицы!
 Бред маскарадных негаданных встреч!
 Эмансипированной теремницы
 Смутно-картавая галльская речь!

Лист в Петербурге и Глинка в Мадриде,
 Пушкин. Постройка железных дорог;
 Но еще беса гоняют — изыди;
 Но департамент геральдики строг.

После — стада волосатых студентов
 И потрясателей разных стропил,
 Народовольческих дивертисментов
 И капитана Лебядкина пыл...

Век был — экстерн, проходимец, калека;
 Но проступило на лоне веков
 Тонкое детство двадцатого века:
 Скрыбин, Эйнштейн, Пикассо, Гумилев.

Стоило ль, чахлую вечность усвоив,
 Петь Диониса у свинских корыт?
 А уж курсисточки ждали героев
 И «Варшавянку» пищали навзрыд.

Нынче другое: жара, пятилетка
 Да городской южно-русский пейзаж:
 Туберкулезной акации ветка,
 Солнце над сквером... Но скука все та ж.

Древняя скука уводит к могилам,
 Кутает сердце овчиной своей.
 Время проститься со звездным кормилом
 Под аполлоновых лет лебедей.

Кажется сном аполлонова стая,
 Лебедам гостеприимен зенит.
 Лебедь последний в зените истаял,
 Дева проходящая в небо глядит.

Девушка, ах! Вы глядите на тучку.
 Внемлете птичке... Я вами пленен.
 Провинциалочка! Милую ручку
 Дайте поэту кошмарных времен.

С вами все стало б гораздо прелестней.
 Я раздобрел бы... И в старости, вдруг,
 Я разразился бы песнею песней
 О Суламифи российских калуг.

1931, Харьков

ИЗ ПОЭМЫ «НИЧТО»
 (фрагменты)

КОНЕЦ ВЕКА

О время! Fin de siecle! Упадочные люди!
 Единый божий жест — и вдунута душа;
 И юноша-студент берет дары свободы,
 Лукавя старикам и милых дам смеша.

Ему слуга несет все счастье тонкой пищи;
 Он напивается, он весело блудит;
 В запретные часы по ресторанам рыщет;
 Сквозь умное пенсне в нездешнее глядит.

В театре бархат лож, прияв персону франта,
 Покоит барский зад и тешит взор, когда
 Свет ramпы падает на ножки фигуранток
 И шепчет купидон: — глядите, господа...

Так молодость прошла, успешно и банально.
 И начались труды, чины и ордена...
 И может быть, он знал, что это все печально,
 По крайней мере, он не разлюбил вина.

В аспекте вечности — вся жизнь не стоит гнева
 А все-таки я злюсь и все-таки тоска.
 Как скучно допустить, что испражнялась Ева!
 Для скуки для такой и вечность коротка.

И стал он стариком. Устал, ушел в отставку,
 Женился в старости и породил меня.

Бог нового в игрушечную лавку
 Ввел покупателя, пленяя и дразня.

А мой отец тогда, надев косоворотку,
 Нашел себе игру в работе столяра.
 Он сотворил мне меч и арбалет и лодку,
 Он сотворил мне все, к чему звала игра.

Таков был мой отец, а мать была иная,
 Неведомая мне и что о ней сказать.
 Свежо любя ее, я до сих пор не знаю,
 Неясная досель не прояснилась мать.

Я в детстве был любим. Лелеяли меня.
 Лилеями меня моя река встречала.
 Шептали: баловник... Ему деньского дня
 Для баловства его как будто бы уж мало...

Я прочно был внедрен в мои младые дни.
 Куда как сладок был деньской полон дитяти.
 А ночью ангел жил за пологом кровати.
 Он был, как девочка, и прятался в тени.

Позднее я узнал могущество рояля.
 Я в звук ушел, как в грех — ликуя и страшась.
 Но звук был зол: он влек, восторженностью
 печалю
 И горней чистотой затаптывая в грязь.

Так до сих пор меня еще гнетет Бетховен,
 Мне ясный ближе Бах. Я полюбил Рамо.
 Я внемлю и смеюсь: мир скучен и греховен,
 Но в звуках «Coeur de Lion» отсутствует
 дерьмо.

Дни революции я встретил с красным флагом
 Семи лет от роду, младенешек и глуп.
 Семейственным своим тогда ареопагом
 Быв горько выруган и горько плакал в суп.

Так строилась душа. Тифозными мечтами
 Был свергнут Андерсен. Скончался мой отец.
 Я стал читать Дюма. И пронеслась над нами
 Гражданская война. И на крутое пламя
 Людишки глянули зеницами Овец.

А после все прошло, утихло понемножку.
 Торговкой стала мать. Я в школу стал ходить.
 Жизнь пригласила: жри. Воткнула в руки
 ложку.
 У современников поисплясалась прыть.

Я помню младость. Помню: младость
 Пьянила... Пушкина прочтя,
 Промолвило: «Какая гадость...»
 Сумасходящее дитя.

И мукой сладостных укусов
 Пытал неясное мое
 Младенческое бытие
 В те времена Валерий Брюсов.

Глядело солнце в школьный класс.
 Цвела советская Минерва.
 И тяжело допекали нас
 Соцэк — болван, и немка — стерва.

На снег, на лужи, на навоз
 Вдруг упали стаи галок,
 Вдруг замечалось: пара кос,
 Тетрадки и пучок фиалок.

Конечно, я окончил школу,
 И, лица женщин возлюбя,
 Их пошлости и произволу
 Лирически вручил себя...

А жизнь лирически текла
 И время раны врачевало
 И мне для нежности совало
 Несовершенные тела.....

1931

* * *

Быть может, это так и надо,
 Изменится мой бранный вид
 И комсомольская менада
 Меня в объятия заключит.
 И скажут про меня соседи —
 Он работящ, он парень свой!
 И в визге баб и в гуле меди
 Я весь исчезну с головой.
 Поверю, жалостно тупея
 От чванных окончаний «изм»,
 В убогую теодицею:
 Безбожье, ленинизм, марксизм.
 А может стать и другое,
 Привязанность ко мне храня,
 Сосед гражданской рукою
 Донос напишет на меня.
 И, преодолевая робость,
 Чуть ночь сомкнет свои края,
 Ко мне придут содеять обыск
 Три торопливых холуя.
 От неприглядного разгрома
 Посуды, книг, икон, белья,
 Пойду я улицей знакомой
 К порогу нового жилья
 В сопровождении солдата,
 Зевающего во весь рот,
 И все любимое когда-то
 Сквозь память выступит, как пот.
 Я вспомню маму, облик сада,
 Где в древнем детстве я играл,
 И молвлю, проходя в подвал,
 Быть может, это так и надо.

1932, Харьков

* * *

Город блуждающих душ, кладезь напрасных
 слов.

Встречи на островах и у пяти углов.
 Неточка ли Незванова у кружевных перил,
 Дом ли отделан заново,
 Камень ли заговорил.
 Умер монарх, предан земле Монферан.
 Трудно идут года и оседает храм.
 Сон Фальконета — всадник, конь и лукавый
 змий,
 Добела раскаленный в недрах неврастений.

Дует ветер от взморья, спят манжурские львы,
 Юноши отцветают на берегах Невы.
 Вот я гляжу на мост, вот я окно растворил,
 Вьется шинель Поприщина у кружевных
 перил...

Серенькое виденьице, бреда смертельный
 уют...

Наяву кашляют бабушки и куры землю клюют.
 Наяву с каждой секундой все меньше и меньше
 меня,

Пылинки мои уносятся, попусту память дразня,
 В дали астрономические, куда унесены —
 Красные щеки, белые зубы и детские мои
 штаны.

1936—1940

* * *

Или око хочет, кои веки,
 Не взирать на мрачные харчи,
 Или Гитлер жжет библиотеки,
 Или кот мурлычет на печи,
 Или телу розовых царапин
 Надобно. Какая чепуха.
 Или снова голосит Шаляпин
 «Жил-был король
 И у него жила блоха...»
 Нет гряди в смиренную обитель,
 В новый быт медвежьего угла
 Средних лет делопроизводитель
 И начни производить дела.
 Средних лет, подержанный и близкий,
 Днесь навеки ты любезен мне
 Ловким слогом дельной переписки
 Верностью пенатам и жене.

* * *

Совсем не хочу умирать я,
 Я не был еще влюблен,
 Мне лишь снилось рыжее платье,
 Нерасцениваемое рублем.

Сдвинь жестянки нелегкой жизни,
 Заглуши эту глушь и темь
 И живую водою брызги
 На оплакиваемую тень.

В золотое входим жилье мы
 В нашем платье родном и плохом.
 Флирты, вызовы и котильоны
 Покрывал расписной плафон.

Белоснежное покрывало
 Покрывало вдовы грехи,
 И зверье в лесах горевало
 И сынки хватали верхи.

Мрак людских, конюшен и псарен:
 Кавалер орденов, генерал
 Склеротический гневный барин
 Здесь седьмые шкуры дирал.

Вихри дам, голос денег тонкий
 Златоплечее офицерье,
 И его прямые потомки
 Получили мы бытие.

И в садах двадцать первого века,
 Где не будут сорить, штрафовать
 Отдохнувшего человека
 Опечалит моя тетрадь.

Снова варварское смятенье...
 И, задев его за рукав,
 Я пройду театральной тенью
 Плоской тенью с дудкой в руках.

Ах, дуда моя, веселуха
 Помоги мне спросить его
 Разве мы выбираем брюхо
 Для зачатья своего?

1936—1937

ДОННА АННА

Повинуясь светлому разуму,
 Не расходуя смысл на слова,
 Мы с тобой заготовили на зиму
 Керосин, огурцы и дрова.
 Разум розовый, резвый и маленький,
 Озаряет подушки твои,
 Подстаканники и подзеркальники
 Собеседования и чай...
 И земля не отметит кручиною,
 Сочиненной когда-то в раю,
 Домовитость твою муравьиною,
 Золотую никчемность твою.
 Замирает кудрявый розариум,
 На стене опочил таракан...
 О непрочные сны! На базаре им
 Так легко замелькать по рукам!
 Посмотри и уверься воочию
 В запоздалости каждого сна:
 Вот доярки, поэты, рабочие —
 Ордена, ордена, ордена...
 Мне же снится прелестной Гишпани
 Очумелый и сладкий галдеж,
 Где и ныне по данному ранее

Обещанию, ты меня ждешь...
 И мы входим в каморку невольничью
 В эскурьял отстрадавших сердец,
 Где у входа безлунною полночью
 Твой гранитный грохочет отец.

1937, Керчь

* * *

На блюдах почивают пирожные,
 Золотятся копченые рыбы.
 Совершали бы мы невозможное,
 Посещали большие пиры бы...

Оссианова арфа ли, юмор ли
 Добродушного сытого чрева,
 Все равно — мы родились, вы умерли,
 Кто направо пошел, кто налево.

Хоть искали иную обитель мы,
 Все же вынули мы ненароком
 Жребий зваться страной удивительной,
 Чаадаева мудрым уроком.

Но на детские наши речения,
 Что аукают не унывая,
 Узаконенной наглости гения
 Упадает печать огневая.

Мы с картинного сходим кораблика
 Прямо в школу и зубрим и просим,
 Чтоб кислинкой эдемского яблока
 Отдавала дежурная осень.

Чтобы снились нам джунгли и звери там
 С исступленьем во взорах сторожких...
 И к наглядным посредственным скверикам
 Сходит вечность на тоненьких ножках.

* * *

Вселенную я не облаплю —
 Как ни грусти, как ни шути,
 Я заключен в глухую каплю —
 В другую каплю — нет пути.

1938—1939

БЕС

1

В рощах, где растет земляника,
 По ночам отдыхают тощие бесы,
 Придорожные бесы моей страны.
 Бесам свойственно горние вздоры молоть,
 И осеннего злата драгую щепоть
 Бес, прелестной березы из-за,
 Агроному прохожему мечет в глаза.

Несусветица, лай отдаленного пса,
 Балалайка ночная, песенка ль девья...

Вырубают молодые леса,
Тяжело упадают деревья...

Но, влюблен наповал,
Иногда воплощается бес.
Вот он, с рожками, через забор перелез...
И, кудрявый конторщик, он числит посевы...
Щеголь бес — полосатая майка,
И конторщикова балалайка,
Под умелую пястью дрожа,
Дребезжит холодна и свежа,
Уговаривает звонко,
Научает познанию добра и зла...
Согрешившая скотница,
Произведя ребенка,
Нарицает его Револют Иванович...
А конторщик берет
В колхозе расчет
И в бесовской Москве
Находит поприще и необходимый уют.

2

Матросская Тишина, Сивцев Вражек,
Плющиха, Балчуг,

Живут себе люди тихо,
Вожделеют, жаждут и алчут.
Здесь во вшивом своем плодородии
В хохотке уголовной грусти
Проживают мрачно плазмодии
И порхают веселые тьфусти.

Научившись тачать сапоги,
В переулке живет генерал.
Персть и твердь он старчески ценит
И, будучи вкладчиком сберегательной кассы
И членом объединения кустарей,
Он читает мемуары Палеолога,
Записки Шульгина и письма Гаврилы
Державина.

Гордостью тьмутараканских времен
И генуезскими мраками взоров
Дочь генерала одарена.
Милую школьницу учит весна...
Детское солнце за крыши закатится,
Настанет ночь...
А по ночам, в рощах, где растет земляника,
Отдыхают тощие бесы,
Придорожные бесы моей страны.

3

Румяный бес легко процвел в Москве
Полувоенный френч, рейтузы, краги
И английский картуз на голове...
(Одни лесные боги ходят наги)
Он посещал ряды библиотек,
Милый и стройный молодой человек,
Он приобрел некоторую начитанность.
Я не знаю точно, как он попал
К старичку генералу,
Но вот он входит в мирный мир

Наследника варяжских древних кровей,
С поклоном представляется «Иванов»
И добавляет *entre nous*, «я князь Барятинский».
Князь сдружился с маститым сапожником,
Приводил заказчиков, доставал иностранные журналы

И к вечернему чаю бывал...

Иногда князь ходил на Лубянку
В то самое учреждение,
Которое все отлично знают...

Ах, московские вешние дни,
Внемлешь — легкие крылья захлопали,
Это голуби, это они
Облетают высокие тополи.

И легко и надменно смеясь,
Царь-Девица и пламенный князь,
По московским прогуливаясь улицам
Заходят в кондитерский трест,
Телекис выбирает пирожное,
Алкиноя женственно ест...

4

Как-то ночью дрогнул звонок,
Царь-Девица открыла дверь...
Испугалась, метнулась... Пред ней
Кацап, Латыш, еврей...
Покинув теплый подвал,
Заспанный дворник зевал...
По углам порылись в пыли
И отца с собой увели...

5

С тех пор прошло немало времени,
Ходили дожди и трамвай
И все шло к лучшему
В этом лучшем из миров.

В комнате чистой и жалкой — полумрак.
Бес, конторщик, а ныне князь,
Полузакрыв ужасные очи
И пленительно медля в словах, говорит
о любви:

«Гунивера, я твой Ланселот,
О, Франческа, с тобою печальный Паоло...»
И тогда, задрожав, окрылясь,
Протянуло ручку дитя
И коснулось синего френча...

Лопнул бес.
Преисподним рассыпался прахом,
Только желтые краги
Остались на нищем полу.

В эту ночь расстреляли старичка генерала...
А в дальней деревне чернеет изба,
В ней ветхую люльку качает судьба,
В люльке лежит,
Насосавшись на ночь

Скотницыным материнским молоком,
Со своими дядьями по отцу незнаком,
Сын беса — Револют Иваныч...

1939, Харьков

ТАНЕЦ ДУШИ

В белых снежинках метелицы, в инее
Падающем, воротник пороша,
Став после смерти безвестной святынею,
Гибко и скромно танцует душа.

Не корифейкой, не гордою прямою
В милом балете родимой зимы —
Веет душа дебютанткой незримою,
Райским придатком земной кутерьмы.

Ей, принесенной декабрьскою тучею,
В этом бесплодном немом бытии
Припоминаются разные случаи —
Трудно забыть похождения свои.

Все — как женилась, шутила и плакала,
Злилась, старела, любила детей.

Бред, лепетанье плохого оракула,
Быта похабней и неба пустей...

Что перед этой случайной могилою
Ласки, беседы, победы, пиры.
Крепкое Нечто с нездешнею силою
Стукнуло, кинуло в тартарары.

В белом сугробе сияет расселина
И не припомнить ей скучную быль —
То ли была она где-то расстреляна,
То ли попала под автомобиль.

Надо ль ей было казаться столь тонкою,
К девам неверным спешить под луной,
Чтоб залететь ординарной душонкою
В кордебалет завирухи ночной.

Нет, и посмертной надежды не брошу я,
Будет Маруся идти из кино —
Мне вместе с предновогодней порошею
В очи ее залететь суждено.

1941

ЛАРИСА АНДЕРСЕН

р. 1910

С этой поэтессой в жизни составителя связан довольно фантастический эпизод. В 50-х годах мне довелось побывать на Таити, — ну познакомили с сыном Поля Гогена, но чтоб набрести на Таити на русскую поэтессу! Тем не менее — набрел, познакомили. Это была Лариса Николаевна Андерсен, некогда блиставшая на литературном поприще в Харбине, а позже в Шанхае, издавшая сборник стихотворений «По земным лугам» (Шанхай, 1940), известная как очень эффектная танцовщица. Потом вышла замуж за французского офицера — и оказалась на Таити. Уже после нашего знакомства переехала во Францию, в городок Иссанжо в департаменте Верхняя Луара, где и живет до сих пор, изредка печатая стихи в «Гранях» и других изданиях.

ПУСТЫНЯ

Природа пустыни проста:
Пустыня ужасно пуста,
Пустыня пуста и жарка, —
Ни речки и ни ветерка.
Повсюду песок да песок
И хоть бы случайный лесок!
Попробуй дорогу найти, —
В два счета собьешься с пути.
И так намотаешься, — аж
Увидишь волшебный мираж
С деревнями, речкой, дворцом
И дамским приятным лицом...
Но все это ложь и обман, —
Пустыня наводит туман,
И сердце съедает тоска,
Что очень уж много песка!

ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ

1910, Петербург — 1975, Ленинград

Закончив филфак ЛГУ, работала в комсомольских газетах. Была женой Бориса Корнилова. Когда в связи с его арестом ее, беременную, вызывали на допросы, то выбили сапогами ребенка из ее живота. Несмотря на свою личную трагедию, Берггольц нашла в себе мужество стать радиоглашатаем осажденного фашистами Ленинграда, призывая к мужеству измученных, голодающих сограждан. Родина для Берггольц была не абстракция, а Дарья Власьева, соседка по квартире. Бессмертные слова: «Никто не забыт, ничто не забыто», сказанные Ольгой Берггольц, относятся, впрочем, не только к Великой Отечественной, но и к другой, подлой войне против собственного народа, выбивавшей не только детей из животов, но и веру в прижизненную справедливость. Для многих справедливость оказалась действительно только посмертной. После XX съезда наконец-то вышли многие стихи Берггольц о ее личной трагедии и о трагедии всего народа, но кое-что напечатали только посмертно. Уважая гражданское имя Берггольц, я тем не менее относился к ее мастерству снисходительно, замечая небрежную рифмовку, затянутость неудачных крупных произведений. Однако, перечитав при составлении этой антологии все ее наследие, я была неожиданно для себя поражен тем, как много стихов я в результате выбрал. Берггольц выдержала испытание и как гражданский поэт, и как лирик, а это удел только крупных личностей. В одном из своих стихов я написал так: «У Победы лицо настрадавшееся Ольги Федоровны Берггольц».

ОХОТНИКУ

* * *

Слезам моим не веришь,
тоски моей не знаешь,
чужой тропинкой зверьей
идешь, не вспоминая.
Ты близко ли, далеко ли,
ты под каким же небом?
То кажется — ты около...
То чудится — ты не был...
Ты — ястребом, ты — волком,
ты — щукою на дне
по Вырице, по Волхову,
по Северной Двине.
Ты песням не поверишь,
тоски моей не знаешь,
чужой тропинкой зверьей
идешь — не вспоминаешь...

1928

СИДЕЛКА

Ночная, горькая больница,
палаты, горе, полутьма...
В сиделках — Жизнь, и ей не спится
и с каждым нянчится сама.
Косынкой повязалась гладко,
и рыжевата, как всегда.
А на груди, поверх халата,
знак Обороны и Труда.
И все, кому она подушки
поправит, в бред и забытье
уносят нежные веснушки
и руки жесткие ее.
И все, кому она прилежно
прохладное подаст питье,
запоминают говор нежный
и руки жесткие ее.
И каждый, костеня, труся,
о смерти зная наперед,
зовет ее к себе:

«Маруся,
Марусенька...»

И Жизнь идет.

1935

Ты у жизни мною добыт,
словно искра из кремня,
чтобы не расстаться, чтобы
ты всегда любил меня.
Ты прости, что я такая,
что который год подряд
то влюбляюсь, то скитаюсь,
только люди говорят...

Друг мой верный, в час тревоги,
в час раздумья о судьбе
все пути мои дороги
приведут меня к тебе,
все пути мои дороги
на твоем сошлись пороге...

Я ж сильней всего скучаю,
коль в глазах твоих порой
ласковой не замечаю
искры темно-золотой,
дорогой усмешки той —
искры темно-золотой.

Не ее ли я искала,
в очи каждому взглянув,
не ее ли высекала
в ту холодную весну?..

1936

ПРИЯТЕЛЯМ

Мы прощаемся, мы наготове,
мы разъедемся кто куда.
Нет, не вспомнит на добром слове
обо мне никто, никогда.

Сколько раз посмеетесь, сколько
оклеветаете, не ценя,
за веселую скороговорку,
за упрямство мое меня?

Не потрафила,— что ж, простите,
обращаюсь сразу ко всем.
Что ж, попробуйте разлюбите,
позабудьте меня совсем.

Я исхода не предрекаю,
я не жалею, не горжусь...
Я ведь знаю, что я — такая,
одному в подруги гоюсь.

Он один меня не осудит,
как любой и лучший из вас,
на мгновение не забудет,
под угрозами не предаст.

...И когда зарастут дорожки,
где ходила с вами вдвоем,
я-то вспомню вас на хорошем,
на певучем слове своем.

Я-то знаю, кто вы такие,—
бережете сердца свои...
Дорогие мои, дорогие,
ненадежные вы мои...

1935, 1936

БОРИСУ КОРНИЛОВУ

*...И всё не так, и ты теперь иная,
поешь другое, плачешь о другом...*

Б. Корнилов

1

О да, я иная, совсем уж иная!
Как быстро кончается жизнь...
Я так постарела, что ты не узнаешь.
А может, узнаешь? Скажи!

Не стану прощенья просить я,
ни клятвы —
напрасной — не стану давать.
Но если — я верю — вернешься обратно,
но если сумеешь узнать,—
давай о взаимных обидах забудем,
побродим, как раньше, вдвоем,—
и плакать, и плакать, и плакать не будем,
мы знаем с тобою — о чем.

1939

2

Перебирая в памяти былое,
я вспомню песни первые свои:
«Звезда горит над розовой Невою,
заставские бормочут соловьи...»

...Но годы шли все горестней и слаще,
земля необозримая кругом.
Теперь — ты прав,
мой первый и пропащий,—
пою другое,
плачу о другом...

А юные девчонки и мальчишки,
они — о том же: сумерки, Нева...
И та же нега в этих песнях дышит,
и молодость по-прежнему права.

1940

НА ВОЛЕ

Неужели вправду это было:
На окне решетки, на дверях?..
Я забыла б — сердце не забыло
Это унижение и страх.
До сих пор неровно и нечетко,
Все изодрано, обожжено,
Точно о железную решетку,
Так о жизнь колотится оно...
В этом стук горестном и темном
Различаю слово я одно:
«Помни»,— говорит оно мне... Помню!
Рада бы забыть — не суждено...

Сентябрь 1939

ДАЛЬНИМ ДРУЗЬЯМ

С этой мной развернутой страницы
я хочу сегодня обратиться
к вам, живущим в дальней стороне.
Я хочу сказать, что не забыла,
никого из вас не разлюбила,
может быть, забывших обо мне.

Верю, милые, что все вы живы,
что горды, упрямы и красивы.
Если ж кто угрюм и одинок,
вот мой адрес — может, пригодится? —
Троицкая, семь, квартира тридцать.
Постучать. Не действует звонок.

Вы не бойтесь, я беру не много
на себя: я встречу у порога,
в красный угол сразу посажу.
Расспрошу о ваших неудачах,
нету слез у вас — за вас поплачу,
нет улыбки — сердцем разбужу.

Может быть, на все хватает силы,
что, заветы юности храня,
никого из вас не разлюбила,
никого из вас не позабыла,
вас, не позабывших про меня.

Осень 1940

ИЗ ЦИКЛА «ЕВРОПА.
ВОЙНА 1940 ГОДА»

* * *

Будет страшный миг —
будет тишина.
Шепот, а не крик:
«Кончилась война...»
Темно-красных рек

ропот в тишине.
И ряды калек
в розовой волне...

1940

РАЗГОВОР С СОСЕДКОЙ

Дарья Власьева, соседка по квартире,
сядем, побеседуем вдвоем.
Знаешь, будем говорить о мире,
о желанном мире, о своем.

Вот мы прожили почти полгода,
полтора ста суток длится бой.
Тяжелы страдания народа —
наши, Дарья Власьева, с тобой.

О, ночное воющее небо,
дрожь земли, обвал невдалеке,
бедный ленинградский ломтик хлеба —
он почти не весит на руке...

Для того чтоб жить в кольце блокады,
ежедневно смертный слышать свист —
сколько силы нам, соседка, надо,
сколько ненависти и любви...

Столько, что минутами в смятенье
ты сама себя не узнаешь:
«Вынесу ли? Хватит ли терпенья?»
— «Вынесешь. Дотерпишь. Доживешь».

Дарья Власьева, еще немного,
день придет — над нашей головой
пролетит последняя тревога
и последний прозвучит отбой.

И какой далекой, давней-давней
нам с тобой покажется война
в миг, когда толкнем рукою ставни,
сдернем шторы черные с окна.

Пусть жилище светится и дышит,
полнится покоем и весной...
Плачьте тише, смейтесь тише, тише,
будем наслаждаться тишиной.

Будем свежий хлеб ломать руками,
темно-золотистый и ржаной.
Медленными, крупными глотками
будем пить румяное вино.

А тебе — да ведь тебе ж поставят
памятник на площади большой.
Нержавеющей, бессмертной сталью
облик твой запечатлят простой.

Вот такой же: исхудавшей, смелой,
в наскоро повязанном платке,
вот такой, когда под артобстрелом
ты идешь с кошелкою в руке.

Дарья Власьева, твоею силой
будет вся земля обновлена.
Этой силе имя есть — Россия.
Стой же и мужайся, как она!

5 декабря 1941

* * *

Я никогда не напишу такого.
В той потрясенной, вещей немоте
ко мне тогда само являлось слово
в нагой и неподкупной чистоте.

Уже готов позорить нашу славу,
уже готов на мертвых клеветать
герой прописки
и стандартных справок...

Но на асфальте нашем —
след кровавый,
не вышаркать его, не затоптать...

1946

ИЗМЕНА

Не наяву, но во сне, во сне
я увидела тебя: ты жив.
Ты вынес все и пришел ко мне,
пересек последние рубежи.

Ты был землею уже, золой,
славой и казнью моею был.
Но, смерти назло
и жизни назло,
ты встал из тысяч
своих могил.

Ты шел сквозь битвы, Майданек, ад,
сквозь печи, пьяные от огня,
сквозь смерть свою ты шел в Ленинград,
дошел, потому что любил меня.

Ты дом нашел мой, а я живу
не в нашем доме теперь, в другом,
и новый муж у меня — наяву...
О, как ты не догадался о нем?!

Хозяином переступил порог,
гордым и радостным встал, любя.
А я бормочу: «Да воскреснет бог»,
а я закрепиваю тебя
крестом неверующих, крестом
отчаянья, где не видать ни зги,
которым закрещен был каждый дом
в ту зиму, в ту зиму, как ты погиб...

О друг, — прости мне невольный стон:
давно не знаю, где явь, где сон...

1946

* * *

О, не оглядывайтесь назад,
на этот лед,
на эту тьму;
там жадно ждет вас
чей-то взгляд,
не сможете вы не ответить ему.

Вот я оглянулась сегодня... Вдруг
вижу: глядит на меня изо льда
живыми глазами живой мой друг,
единственный мой, — навсегда, навсегда.

А я и не знала, что это так.
Я думала, что дышу иным.
Но, казнь моя, радость моя, мечта,
жива я только под взглядом твоим!

Я только ему еще верна,
я только этим еще права:
для всех живущих — его жена,
для нас с тобою — твоя вдова.

1947

ИЗ ЦИКЛА
«СТИХИ О ЛЮБВИ»

* * *

Взял неласковую, угрюмую,
с бредом каторжным, с темной думою,
с незажившей тоскою вдовьей,
с непрошедшей старой любовью,
не на радость взял за себя,
не по воле взял, а любя.

1942

* * *

Ни до серебряной и ни до золотой,
всем ясно, я не доживу с тобой.
Зато у нас железная была —
по кромке смерти на войне прошла.
Всем золотым ее не уступлю:
всё так же, как в железную, люблю...

1949

К ПЕСНЕ

Очнись, как хочешь, но очнись во мне —
в холодной, онемевшей глубине.

Я не мечтаю — вымолить слова.
Но дай мне знак, что ты еще жива.

Я не прошу надолго, — хоть на миг.
Хотя б не стих, а только вздох и крик.

Хотя бы шепот только или стон.
Хотя б целей твоих негромкий звон.

1951

В СТАЛИНГРАДЕ

Здесь даже давний пепел так горяч,
что опалит — вдохни,
припомни,
тронь ли...

Но ты, ступая по нему, не плачь
и перед пеплом будущим не дрогни...

1952

БАБЬЕ ЛЕТО

Есть время природы особого света,
неяркого солнца, нежнейшего зноя.
Оно называется
бабье лето
и в прелести спорит с самою весною.

Уже на лицо осторожно садится
летучая, легкая паутина...
Как звонко поют запоздалые птицы!
Как пышно и грозно пылают куртины!

Давно отгремели могучие ливни,
всё отдано тихой и темною нивой...
Всё чаще от взгляда бываю счастливой,
всё реже и горше бываю ревнивой.

О мудрость щедрейшего бабьего лета,
с отрадой тебя принимаю... И всё же,
любовь моя, где ты, аукнемся, где ты?
А рощи безмолвны, а звезды всё строже...

Вот видишь — проходит пора звездопада,
и, кажется, время навек разлучаться...
...А я лишь теперь понимаю, как надо
любить, и жалеть, и прощать, и прощаться...

1956, 1960

ОТВЕТ

А я вам говорю, что нет
напрасно прожитых мной лет,
не нужно пройденных путей,
впустую слышанных вестей.
Нет невоспринятых миров,
нет мнимо розданных даров,
любви напрасной тоже нет,
любви обманутой, больной, —
ее нетленно-чистый свет
всегда во мне,
всегда со мной.

И никогда не поздно снова
начать всю жизнь,
начать весь путь,
и так, чтоб в прошлом бы — ни слова,
ни стона бы не зачеркнуть.

1952, 1960

ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ

1910, Зайсан Вост.-Казахстанская обл.—1937

Отец и мать Павла Васильева — выходцы из семиреченских казаков. Сам он был матросом, старателем на Лене, о чем написал две книги очерков. В 1928 году переехал в Москву, учился в Высшем литературно-художественном институте имени В. Я. Брюсова. Сочными мощными мазками он передал дух казацкой вольницы Семиречья, но в этнографическую идеализацию не впадал. Он показал, как этот хмель завоевательства переходил иногда в звериную жестокость. Стихи о Наталье написаны как будто малявинской кистью. Шедевр Васильева «Принц Фома», ритмически перекликающийся с «Федей Косопузом» Садовского, был для меня всегда уроком балладного мастерства. Васильев был неудержим в своих юношеских выходках, щеголяя в московских литературных кругах степной необузданностью. После статьи Горького «О литературных забавах» он стал мишенью слишком заметной, чтобы в нее не выстрелить. Васильев — поэт буйной живописной экспрессии. Лучшее произведение — «Соляной бунт». Погиб в результате репрессий. Посмертно реабилитирован.

СОЛЯНОЙ БУНТ

(отрывок)

СВАДЬБА

Желтыми крыльями машет крыльцо,
Желтым крылом
Собирает народ,
Гроздью серебряных бубенцов
Свадьба
Над головою
Трясет.

Легок бубенец,
Мала тягота,—
Любой бубенец —
Божья ягода.
На дуге растет,
На березовой,
А крыта дуга
Краской розовой,
В Куяндах дуга
Облюбована,
Розой крупною
Размалевана.

Свадебный хмель
Тяжелей венцов,
День-от свадебный
Вдосталь пьян.
Горстью серебряных бубенцов
Свадьба швырнется
В синь туман.

Девьей косой
Перекручен бич,
Сбруя в звездах,
В татарских, литых.
Встал на телеге
Корнила Ильич.
— Батюшки — светы! Чем не жених!

Синий пиджак, что небо, на нем,
Будто одет на дерево,—
Андель с приказчиком вдвоем
Плечи ему обмеривал.

Кудерь табашный —
На самую бровь,
Да на лампасах —
Собачья кровь.

Кони! Настоялые,
Буланые, чалые...
Для забавы жарки
Пегаша да карьки,
Проплясали целый день —
Хорошая масть игрень:
У черта подкована,
Цыганом ворована,
Бочкой не калечена,
Бабьим пальцем мечена,
Собакам не вынюхать
Тропота да иноходь!
А у невестоньки
Личико бе-е-ло,
Глазыньки те-емные...
— Видно, ждет...
— Ты бы, Анастасьюшка, песню спела?
— Голос у невестоньки — чистый мед...
— Ты бы, Анастасьюшка, лучше спела?
— Сколько лет невесте?
— Шашнадцатый год.

Шестнадцатый год. Девка босая,
Трепаная коса,
Самая белая в Атбасаре,
Самая спелая, хоть боса.

Самая смородина Настя Босая:
Родинка у губ,
До пяты коса.
Самый чубатый в Атбасаре
Гармонист ушел на баса.
Он там ходил,
Размалина,
Долга-а,
На нижних водах,
На басах,
И потом
Вывел саратовскую,

Чтобы Волга
Взаплески здоровалась с Иртышом.

И за те басы,
За тоску-грустёбу
Поднесли чубатому
Водки бас¹,
Чтобы, размалина,
Взаплески, чтобы
Пальцы по ладам,
Размалина,
В пляс:

Сапоги за юбкою,
Голубь за голубкою,
Зоб раздув,
Голубь за голубкою,
Сапоги за юбкою
За ситцевой вьюгою,
Голубь за подругою,
Книзу клюв.
Сапоги за юбкою
Напролом,
Голубь за голубкою,
Чертя крылом.
Каблуки — тонки,
На полет легки,
Поднялась на носки —
Все у-ви-дела!

А гостей понаехало полный дом:
Устюжанины,
Меньшиковы,
Ярковы.
Машет свадьба
Узорчатым подолом,
И в ушах у нее
Не серьги — подковы.

1933

СТИХИ В ЧЕСТЬ НАТАЛЬИ

В наши окна, шурясь, смотрит лето,
Только жалко — занавесок нету,
Ветреных, веселых, кружевных.
Как бы они весело летали
В окнах приоткрытых у Натальи,
В окнах незатворенных твоих!

И еще прошеньем прибалую —
Сшей ты, ради бога, продувную
Кофту с рукавом по локоток,
Чтобы твое яростное тело
С ядрами груди позолотело,
Чтобы наглядеться я не мог.

Я люблю телесный твой избыток,
От бровей широких и сердитых

До ступни, до ноготков люблю,
За ночь обескрылевшие плечи,
Взор, и рассудительные речи,
И походку важную твою.

А улыбка — ведь какая малость! —
Но хочу, чтоб вечно улыбалась —
До чего тогда ты хороша!
До чего доступна, недотрога,
Губ углы приподняты немного:
Вот где помещается душа.

Прогуляться ль выйдешь, дорогая,
Все в тебе ценя и прославляя,
Смотрит долго умный наш народ.
Называет «прелестью» и «павой»
И шумит вослед за величавой:
«По стране красавица идет».

Так идет, что ветви зеленеют,
Так идет, что соловьи чумеют,
Так идет, что облака стоят.
Так идет, пшеничная от света,
Больше всех любовью разогрета,
В солнце вся от макушки до пят.

Так идет, земли едва касаясь,
И дают дорогу, расступаясь,
Шлюхи из фокстротных табунов,
У которых кудлы пахнут псиной,
Бедра крыты кожей гусиной,
На ногах мозоли от обнов.

Лето пьет в глазах ее из брашен.
Нам пока Вертинский ваш не страшен —
Чертова рогулька, волчья сыть.
Мы еще Некрасова знавали,
Мы еще «Калинушку» певали,
Мы еще не начинали жить.

И в июне в первые недели
По стране веселое веселье,
И стране нет дела до трухи.
Слышишь, звон прекрасный возникает?
Это петь невеста начинает,
Пробуют гитары женихи.

А гитары под вечер речисты,
Чем не парни наши трактористы?
Мыты, бриты, кепки набекрень.
Слава, слава счастью, жизни слава.
Ты кольцо из рук моих, забава,
Вместо обручального надень.

Восславляю светлую Наталью,
Славлю жизнь с улыбкой и печалью,
Убегаю от сомнений прочь,
Славлю все цветы на одеяле,
Долгий стон, короткий сон Натальи,
Восславляю свадебную ночь.

¹ Бас (вернее — бос) — кружка для водки (примеч. автора).

* * *

Родительница степь, прими мою,
 Окрашенную сердца жаркой кровью,
 Степную песнь! Склонившись к изголовью
 Всех трав твоих, одну тебя пою!
 К певучему я обращаюсь звуку.
 Его не потускнеет серебро,
 Так вкладывай, о степь, в сыновью руку
 Кривое ястребиное перо.

6 апреля 1935

ПРИНЦ ФОМА

Глава 1

Он появился в темных селах,
 В тылу у армий, в невеселых
 Полях, среди хмурых мужиков.
 Его никто не знал сначала,
 Но под конец был с ним без мала
 Косяк в полтысячу клинков.

Народ шептался, колобродил...
 В опор, подушки вместо седел,
 По кованым полям зимы,
 Коней меняя, в лентах, в гике,
 С зеленым знаменем на пике,
 Скакало воинство Фомы.

А сам батько в кибитке прочной,
 О бок денщик, в ногах нарочный
 Скрипят в генетах портупей.
 Он в башлыке кавказском белом,
 К ремню пристегнут парабеллум,
 В подкладке восемьсот рублей.

Мужик разверсткой недоволен...
 С гремучих шапок колоколен
 Летели галки. Был мороз.
 Хоть воевать им нет охоты,
 Все ж из Подолья шли в пехоту,
 Из Пуши — в конницу, в обоз.

В Форштад летямя летели вести,
 Что-де Фома с отрядом вместе
 В районе Н-ска сдался в плен,
 Что спасся он, — и это чудо, —
 Что пойман вновь, убит, покуда
 Не объявился он у стен
 Форштада сам...

И город старый
 Смотрит с испугом, как поджарый
 Под полководцем пляшет конь.
 Грозят его знамена, рея,
 И из отбитой батареи
 Фома велит открыть огонь.

С ним рядом два киргизских хана,
 Вокруг него — его охрана

В нашитых дырах черепов.
 Его подручный пустомелет,
 И, матерясь, овчину делят
 Пять полковых его попов.

Форштад был взят. Но, к сожаленью,
 Фомы короткое правленье
 Для нас остался темно —
 Как сборы он средь граждан делал
 И сколько им ночных расстрелов
 В то время произведено?

И был ли труд ему по силам?
 Но если верить старожилам
 (Не все ж сошли они с ума),
 Признать должны мы, что без спору
 Ходили деньги в эту пору
 С могучей подписью: Фома.

Глава 2

Так шел Фома, громя и грабя...
 А между тем в французском штабе
 О нем наслышались, и вот
 Приказом спешным, специальным
 По линии, в вагоне спальном,
 Жанен к нему посольство шлет,
 И по дороге капитану
 Все объясняет без обману
 Осведомитель: «Нелюдим,
 Плечист и рыж. С коня не слазит.
 Зовет себя мужицким князем,
 И все ж — губерния под ним».

А конквистадор поднял шторы,
 Смотрит в окно — мелькают горы,
 За кряжем кряж, за рядом ряд,
 Спит край морозный, непроезжий,
 И звезды крупные, медвежьи
 Угрюмым пламенем горят.
 Блестят снега, блестят уныло.
 Ужели здесь найдут могилу
 Веселой Франции сыны?..

Рассвет встает, туманом кроясь,
 На тормозах подходит поезд,
 Дымясь, к поселку Три Сосны.
 Оркестр играет марсельезу,
 Из двадцати пяти обреза
 Дан дружественный вверх салют.
 Стоят две роты бородатых,
 В тулупах, в валенках косматых...
 Посланцы вдоль рядов идут.
 И вызывают удивленья
 Их золотые украшения,
 Их краги, стеки и погон,
 И, осмелев, через ухабы
 Бегут досужливые бабы
 Штабной осматривать вагон.
 Стоят кругом с нестройным гулом
 И с иноземным караулом

Заводят торги: «Чаю нет?»

А в это время в школе местной
«Мужицкий» князь, Фома известный,
Дает в честь миссии обед.

Телячьи головы на блюде,
Лепешки в масляной полуде —
Со вкусом убраны столы!
В загоне, шевеля губою,
Готовы к новому убою,
Стоят на привязи волы.
Пирог в сажень длиной, пахучий,
Завязли в тесте морды щучьи,
Плывет на скатерти икра.
Гармонь на перевязи красной
Играет «Светит месяц ясный»
И вальс «Фантазия» с утра.
Кругом — налево и направо —
Чины командного состава,
И, засучивши рукава,
Штыком ширяя в грудях снеди,
Голубоглаз, с лицом из меди,
Сидит правительства глава.

И с ужасом взирают гости,
Как он, губу задрав, из кости
Обильный сладкий мозг сосет.
Он мясо цельными кусками
Берет умытыми руками
И отправляет сразу в рот,
Пьет самогон из чашки чайной...

Посол Жанена чрезвычайный,
Стряхнув с усов седую пыль,
Польщен, накормлен ради встречи.
На галльском доблестном наречье
Так произносит тост де Вилль:
— Prince¹!
Скрыть не в силах восхищенья,
Вас за прием и угощенье
Благодарить желаю я.
Россия может спать спокойно.
Ее сыны — ее достойны.
C'est un² обед — Гаргантюа...

С народом вашим славным в мире
Решили мы создать в Сибири
Против анархии оплот,
И в знак старинной нашей дружбы
Семь тысяч ящиков оружия
Вам Франция в подарок шлет.
Три дня назад Самара взята.
Marchez³!
В сраженье, демократы,
Зовет история сама.
Я пью бокал за верность флагу,
За вашу храбрость и отвагу,
Же ву салю⁴, мосье Фома!

¹ Prince — принц (франц.).

² C'est un — это (франц.).

³ Marchez — Вперед! (франц.).

⁴ Же ву салю — Я вас приветствую (франц.).

Глава 3

Страна обширна и сурова...
Где шла дивизия Грязнова?
Дни битв ушедших далеки.
Бинтуя раны на привале,
Какие песни запевали
Тогда латышские полки?

Тысячелетья горы сдвинут,
Моря нахлынут и отхлынут,
Но сохраняют народы их
В сердцах,
Над всем, что есть на свете,
Как знамя над Кремлем и ветер,
Как сабли маршалов своих!

Местами вид тайги печален —
Сожженный, набок лес повален, —
Здесь падал некогда снаряд,
Средь пней крутых, золотолобых
В глухих запряваны чащобах
Следы утихших канонад...
Лишь ветер помнит о забытых,
Да на костях полков разбитых
Огнем пылает синий цвет,
Бушуют травы на могиле...
Снега непрочны. Весны смыли.
Фомы широкий тяжкий след.
Он все изведаль: брэнность славы,
Ночные обыски, облавы
И мнимость нескольких удач...
По-бабьи, в плач шрапнель ораля,
До Грязных Кочек от Урала
Бежало войско принца вскачь.
Попы спились, поют в печали,
Степные кони одичали,
Киргизы в степи утекли.
И Кочки Грязные — последний
Приют — огонь скупой и бледный
Туманной цепью жгут вдали.
Владеют красные Форштадом...

Конь адъютанта пляшет рядом,
И потемнелый, хмурый весь,
Фома, насупив бровь упрямо,
Велит войскам:
— Идите прямо,
А я здесь на ночь остаюсь,
В селенье, по причинам разным, —
Он стал спускаться к Кочкам Грязным
Витой тропинкой потайной —
И на минуту над осокой
Возник, сутулый и высокий,
Деревню заслонив спиной.

Окно и занавес из ситца.
Привстав на стремях, стучится
Фома:
— Алена, отвори!
— Фома, сердешный мой, болезный. —

Слетает спешно крюк железный,
Угрюмо принц стоит в двери,
В косматой бурке, на пороге:

— Едва ушел. Устал с дороги,
Раскрой постель. Согрей мне щей.

Подруга глаз с него не сводит.
Он, пригибаясь, в избу входит,
На зыбку смотрит:— Это чей?

И вплоть до полночи супруги
Шумят и судят друг о друге,
Решают важные дела,
В сердцах молчат и дуют в блюда,
И слышно, как полы трясутся,
И шпор гудят колокола.

Не от штыка и не от сабли
Рук тяжких кистени ослабли,
Померкла слава в этот раз.
Фома разут, раздет, развенчан,—
Вот почему лукавых женщин
Коварный шепот губит нас.

На Грязных Кочках свету мало.
Выпь, нос уткнувши, задремала,
Рассвет давно настал — всё тьма.
Щи салом затянуло, водка
Стоит недопитая...

.....
Вот как
Исчез мятежный принц Фома.

1935—1936 Рязань

АЛЕКСАНДР ГАНГНУС

1910, Москва — 1976, там же

Отец составителя этой антологии. Именно он привил мне любовь к поэзии, и без него этой книги не было бы. В сталинские времена он сам был ходячей устной антологией, и именно в его блестящем исполнении, близком к яхонтовскому, я в детстве услышал изъятые тогда стихи многих арестованных или эмигрировавших поэтов. Еще в 1950 году он сказал мне: «Никакого социализма у нас и в помине нет — это государственный капитализм». Он был сыном латышского математика Рудольфа Вильгельмовича Гангнуса, арестованного в 37-м году по обвинению в шпионаже в пользу Латвии, и Анны Васильевны Плотниковой — дальней родственницы исторического романиста Данилевского, с которым в свою очередь была связана родственными узами семья Маяковских. Анна Васильевна одно время работала воспитательницей детдома, где находился Александр Матросов. А. Гангнус закончил Московский геологоразведочный институт, еще в ранних 30-х работал в изыскательской партии на месте будущей Братской ГЭС, о которой впоследствии его будущий сын написал одноименную поэму. Он всю жизнь писал стихи, но не пытался их печатать. Приводимое первое четверостишие высечено на валуне, стоящем на его могиле на Ваганьковском кладбище.

* * *

Отстреливаясь от тоски,
Я убежать хотел куда-то,
Но звезды слишком высоки,
И высока за звезды плата.

1929

НА ЗАПАД ОТ МЫСА ГОРН

В холодную прозелень бешеных волн
Четвертые сутки выл,
Четвертые сутки ревел циклон,
Вздывая седые валы.
А клиппер, поставивши жизнь на риск,
Ей волны — буре в упор,
Летел, весь закутанный в кипень брызг
На запад от мыса Горн.
То падал он, то вставал на дыбы,
Сияясь на волны налечь,
А в трюме хрипели и бились рабы,
Стараясь заткнуть течь.
...Но вдруг на каждом черном лице
Испуг и восторг мелькнул:
Рабы увидали — лопнула цепь,
Державшая их в плену.

Одна минута, и треснул люк,
Минута еще, и уже
Они на палубу хлынули вдруг,
Ногами топча сторожей.
...На палубе бури и ветра вой,
На палубе брызг туман,
Но там с непокрытою головой
Навстречу им шел капитан.
Спокойно глаза в глаза посмотрев,
(Взгляд медленен был и угрюм).
Он, правую руку прижав к кобуре,
Другой показал на трюм.
Был холоден отблеск упрямого лба
В искрах соленых брызг,
И жалобно сжавшись в кучу, толпа
Пятилась к люку, и вниз.
И снова в свинцовую прозелень волн
Во мглу одичало завыл,
Запел, застонал, заревел циклон,
Вздывая седые валы.
А клиппер, поставивши жизнь на риск,
На волны,— буре в упор —
Летел, весь закутанный в кипень брызг,
На запад от мыса Горн!

1930--1931

БАЛЛАДА О ГОРОДАХ

...После прерии бесконечной
Королевский кофе я пью...

Там, где желтою зыбью текут пески,
Там, где бьет о берег вода,
На высоких и низких обрывах реки
Они стоят — города.

Мой конь не раз копытом стучал
По каменной их груди,
И каждый город меня встречал,
Каждый дом меня звал: «Войди...»

...И в каждом городе — везде
Помнят бег моего коня,
И есть дом, есть окно, и весенний день,
Ожидающие меня.

Когда же стянется сизый дым
Моих костров к берегам,
Ты, наверно, пойдешь, мой старший сын,
По моим неостывшим следам.

И я знаю, что там, на склоне реки,
Где ты станешь поить коня,
По походке твоей, по движенью руки
Узнают и вспомнят меня.

1937

ИЗ ПОЭМЫ

«ПРИНЦ ОРАНСКИЙ»

(фрагмент)

Ночь пахнет пытками, попами и вином.
Ночь тяжела, ночь пахнет ржавой кровью.
Еще живет во мгле средневековье.
Еще поют еретикам канон.
После пирушки холостой рыгая,
Святой отец лежит на ризах ниц.
Еще глазами узкими бойниц,
Угрюмо и замедленно моргая
Подъемными мостами тяжких век,
Шестнадцатый на мир взирает век.

Треск барабана сыпался горохом,
Растаивая в улицах кривых,
И смешивался с ним протяжный грохот
Прибоя толп на грязных мостовых.
Не потому ли начинали охать
Попы, держась за рясу и живот?
Так начинался судорожный год.

Он начинался. Перья синей цапли
На серых шляпах мерили толпу.
Достаточно одной свинцовой капли,
Чтоб на нее ответил ветер пуль.
Достаточно прочистить пушки паклей,
Чтоб корабли повертели руль
Назад, в Испанию, и порохом запахло...

1937

* * *

Она бежит, сороконожка,
И радуется поутру.
Еще немножко, еще немножко,
Еще немножко, и я умру.

* * *

Тяжело быть изыскателем —
Не советую приятелям.

Все на свете перепробовано...
Где мой дом и моя родина?

Дом — на каждом перекресточке,—
Только б лечь, расправить косточки.

Родина моя — сторонушка,
Где жила когда-то жenuшка.

Да недолго все печалилась —
Ожидала, ждать отчаялась.

Завела себе любовника,
Не простого, а полковника.

1954

МИХАИЛ СВОБОДА

1910—1975

Московский инженер. Никогда не печатался. Это стихотворение, написанное в 30-х, ходило по рукам в те годы, когда многие подписали своим прямым участием или молчанием договор с дьяволом.

ДОГОВОР

Две свечи едва блестели.
Ветер дул с тоскливым воем.
Под угрюмый шум метели
Договаривались двое.
Как портреты в пыльной раме,

Над столом белели лица.
На столе лежал пергамент
И перо какой-то птицы.
В промежутках длинных пауз
Месяц в тучах корчил профиль.
Был, как призрак, бледен Фауст
И невесел Мефистофель.

...Мерно по полу стучало,
 Прячась в сапоге, копыто.
 Черт задумался печально
 Над бокалом недопитым.
 «Что ж, придумал?» — молвил Фауст,
 Поднимаясь смутной тенью.
 «Подождите. Я стараюсь.
 Нужно время и терпенье».
 Под неровными шагами
 Заскрипели половицы.

Ах, бессонными ночами
 Слишком часто счастье снится.
 Но мечтать уже не стоит.
 Смутным мыслям вторит ветер,
 И мерцанье неживое
 Лунных бликов на паркете.
 Мысль трепещет, обрываясь.
 Мозг в усильях тщетно бьется...
 Поздно думать, доктор Фауст,—
 Жизнь прошла и не вернется!

АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ

1910, д. Загорье Смоленской губ.—1971, Красная Пахра под Москвой

Одна из крупнейших литературных и общественных фигур сталинского, а затем хрущевского и брежневского периодов истории нашей страны. На его судьбе, на его взглядах и произведениях отразился непростой, мучительный перелом времени. Воспевая коллективизацию, Твардовский всю жизнь таил в своей душе так и не зарубцевавшуюся рану — его семья, жившая на хуторе Загорье Смоленской области, была «раскулачена». Но именно эта боль и придала впоследствии таланту Твардовского такую гражданскую горечь и силу. Уже в ранних, насильственно ложных по исторической концепции поэмах были рассыпаны живописные куски — как, например, искрометный «перепляс» в «Стране Муравии». Но вся «Данилиада» — лубочная серия про деда Данилу, напоминавшего шолоховского деда Шукаря, развалилась. Шутки да прибаутки никак не могли заглушить сдавленные стоны поруганного Загорья. Параллельно с этими раешниками в душе поэта при помощи бесчернильной тайнописи уже потихоньку создавалась поэма «По праву памяти», хотя Твардовский начал писать ее лишь через много лет. Война спасительно помогла сращению раздвоенной души, ибо чувство защиты Родины от врага слилось с задачами государства. Если Симонов создал офицерскую антологию войны, то Твардовский в своем «Василии Теркине» — антологию солдатскую. Такой искушенный знаток поэзии, как Бунин, восхитился народностью этого фольклорного шедевра. Сатира «Василий Теркин на том свете», в которой бюрократия показана как пошлая преисподня, тоже была своего рода шедевром. Твардовскому, когда-то писавшему о Сталине, награжденному его премиями, плакавшему на траурном митинге, было нелегко наконец-то разрешить поруганному родному Загорью заговорить изнутри собственной души. Но он решился на это, ибо не хотел оказаться в незавидном положении еще живого Теркина, живущего по законам мертвецов, преодолевая свое самолюбие, вынужден был признать существование «внутреннего цензора», сидящего и в нем самом, и внутри многих советских писателей. Возглавив «Новый мир», Твардовский опубликовал первое произведение о сталинских лагерях «Один день Ивана Денисовича», очерки, говорящие о подлинном, трагическом положении современной деревни, статьи, критиковавшие апостолов бесконфликтности и шовинизма. «Новый мир» того времени был колыбелью тогдашнего народничества. Большие корабли разворачиваются медленно, трудно. Твардовскому нелегко дался новый поворот мышления. Но после XXII съезда стал происходить явный откат с антикультовых позиций в угрожающую сторону реабилитации Сталина, а заодно с ним и его методов. Ловкие политиканствующие литераторы мгновенно сманеврировали в эту сторону. Но такому большому кораблю, как Твардовский, было не по тоннажу влиять, как прикажут. Номера «Нового мира», останавливаемые цензурой, порой задерживались на два-три месяца. Твардовский был редким большим поэтом без стихов о любви. Но вся его поэзия была исповедью в мучительной любви к своему народу.

ИЗ ПОЭМЫ «ВАСИЛИЙ ТЕРКИН»

ПЕРЕПРАВА

Переправа, переправа!
 Берег левый, берег правый,
 Снег шершавый, кромка льда...

Кому память, кому слава,
 Кому темная вода, —
 Ни примет, ни следа.

Ночью, первым из колонны,
 Обломав у края лед,
 Погрузился на понтоны
 Первый взвод.

Погрузился, оттолкнулся
 И пошел. Второй за ним.
 Приготовился, пригнулся
 Третий следом за вторым.

Как плоты, пошли понтоны,
 Громыхнул один, другой
 Басовым, железным тоном,
 Угрожающе под ребой.

И плывут бойцы куда-то,
 Притаив штыки в тени.
 И совсем свои ребята
 Сразу — будто не они,
 Сразу будто не похожи

На своих, на тех ребят:
Как-то все дружней и строже,
Как-то все тебе дороже
И родней, чем час назад.

Поглядеть — и впрямь — ребята!
Как, по правде, желторот,
Холостой ли он, женатый,
Этот стриженный народ.

Но уже идут ребята,
На войне живут бойцы,
Как когда-нибудь в двадцатом
Их товарищи — отцы.

Тем путем идут суровым,
Что и двести лет назад
Проходил с ружьем кремневым
Русский труженик-солдат.

Мимо их висков вихрастых,
Возле их мальчишских глаз
Смерть в бою свистела часто
И минет ли в этот раз?

Налегли, гребут, потея,
Управляются с шестом.
А вода ревет правее —
Под подорванным мостом.

Вот уже на середине
Их относит и кружит...

А вода ревет в теснине,
Жухлый лед в куски крошит,
Меж погнутых балок фермы
Бьется в пене и в пыли...

А уж первый взвод, наверное,
Достает шестом земли.

Позади шумит протока,
И кругом — чужая ночь.
И уже он так далеко,
Что ни крикнуть, ни помочь.

И чернеет там зубчатый,
За холодною чертой,
Неподступный, непочатый
Лес над черною водой.

Переправа, переправа!
Берег правый, как стена...

Этой ночи след кровавый
В море вынесла волна.

Было так: из тьмы глубокой,
Огненный взметнул клинок,

Луч прожектора протоку
Пересек наискосок.

И столбом поставил воду
Вдруг снаряд. Понтоны — в ряд.
Густо было там народу —
Наших стриженных ребят...

И увиделось впервые,
Не забудется оно:
Люди теплые, живые
Шли на дно, на дно, на дно...

Под огнем неразбериха —
Где свои, где кто, где связь?

Только вскоре стало тихо, —
Переправа сорвалась.

И покамест неизвестно,
Кто там робкий, кто герой,
Кто там парень расчудесный,
А наверно, был такой.

Переправа, переправа...
Темень, холод. Ночь как год.

Но цепился в берег правый,
Там остался первый взвод.

И о нем молчат ребята
В боевом родном кругу,
Словно чем-то виноваты,
Кто на левом берегу.

Не видать конца ночлегу.
За ночь грудую взялась
Пополам со льдом и снегом
Перемешанная грязь.

И усталая с похода,
Что б там ни было, — жива,
Дремлет, скорчившись, пехота,
Сунув руки в рукава.

Дремлет, скорчившись, пехота,
И в лесу, в ночи глухой
Сапогами пахнет, потом,
Мерзлой хвоей и махрой.

Чутко дышит берег этот
Вместе с теми, что на том
Под обрывом ждут рассвета,
Греют землю животом, —
Ждут рассвета, ждут подмоги,
Духом падать не хотят.

Ночь проходит, нет дороги
Ни вперед и ни назад...

А быть может, там с полночи
 Порошит снежок им в очи,
 И уже давно
 Он не тает в их глазницах
 И пылью лежит на лицах —
 Мертвым все равно.

Стужи, холода не слышат,
 Смерть за смертью не страшна,
 Хоть еще паек им пишет
 Первой роты старшина.

Старшина паек им пишет,
 А по почте полевой
 Не быстрее идут, не тише
 Письма старые домой,
 Что еще ребята сами
 На привале при огне
 Где-нибудь в лесу писали
 Друг у друга на спине...

Из Рязани, из Казани,
 Из Сибири, из Москвы —
 Спят бойцы.
 Свое сказали
 И уже навек правы.

И тверда, как камень, гряда,
 Где застыли их следы...

Может — так, а может — чудо?
 Хоть бы знак какой оттуда,
 И беда б за полбеда.

Долги ночи, жестки зори
 В ноябре — к зиме седой.

Два бойца сидят в дозоре
 Над холодной водой.

То ли снится, то ли мнится,
 Показалось что невесть,
 То ли иней на ресницах,
 То ли вправду что-то есть?

Видят — маленькая точка
 Показалась вдалеке:
 То ли чурка, то ли бочка
 Проплывает по реке.

— Нет, не чурка и не бочка —
 Просто глазу маета.
 — Не пловец ли одиночка?
 — Шутишь, брат. Вода не та!
 — Да, вода... Помыслить страшно.
 Даже рыбам холодна.
 — Не из наших ли вчерашних
 Поднялся какой со дна?..

Оба разом присмирели.
 И сказал один боец:
 — Нет, он выплыл бы в шинели,
 С полной выкладкой, мертвец.

Оба здорово продрогли,
 Как бы ни было, — впервой.

Подошел сержант с биноклем.
 Присмотрелся: нет, живой.
 — Нет, живой. Без гимнастерки.
 — А не фриц? Не к нам ли в тыл?
 — Нет. А может, это Теркин? —
 Кто-то робко пошутил.

— Стой, ребята, не соваться,
 Толку нет спускать понтон.
 — Разрешите попытаться?
 — Что пытаться!
 — Братцы — он!

И, у заберегов корку
 Ледяную обломав,
 Он как он, Василий Теркин,
 Встал живой, — добрался вплавь.

Гладкий, голый, как из бани,
 Встал, шатаясь тяжело.
 Ни зубами, ни губами
 Не работает — свело.

Подхватили, обвязали,
 Дали валенки с ноги.
 Пригрозили, приказали —
 Можешь, нет ли, а беги.

Под горой, в штабной избушке,
 Парня тотчас на кровать
 Положили для просушки,
 Стали спиртом растирать.

Растирали, растирали...
 Вдруг он молвит, как во сне:
 — Доктор, доктор, а нельзя ли
 Изнутри погреться мне,
 Чтоб не все на кожу тратить?

Дали стопку — начал жить,
 Приподнялся на кровати:
 — Разрешите доложить...
 Взвод на правом берегу
 Жив-здоров назло врагу!
 Лейтенант всего лишь просит
 Огоньку туда подбросить.
 А уж следом за огнем
 Встанем, ноги разомнем.
 Что там есть, перекалечим,
 Переправу обеспечим...

Доложил по форме, словно
 Тотчас плыть ему назад.

— Молодец! — сказал полковник. —
Молодец! Спасибо, брат.

И с улыбкою неробкой
Говорит тогда боец:
— А еще нельзя ли стопку,
Потому как молодец?
Посмотрел полковник строго,
Покосился на бойца.
— Молодец, а будет много —
Сразу две.
— Так два ж конца...

Переправа, переправа!
Пушки бьют в кромешной мгле.

Бой идет святой и правый.
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле.

ДВЕ СТРОЧКИ

Из записной потертой книжки
Две строчки о бойце-парнишке,
Что был в сороковом году
Убит в Финляндии на льду.

Лежало как-то неумело
По-детски маленькое тело.
Шинель ко льду мороз прижал,
Далеко шапка отлетела.

Казалось, мальчик не лежал,
А все еще бегом бежал,
Да лед за полу придержал...

Среди большой войны жестокой,
С чего — ума не приложу, —
Мне жалко той судьбы далекой,
Как будто мертвый, одинокий,
Как будто это я лежу.
Примерзший, маленький, убитый
На той войне незначимой,
Забывший, маленький, лежу.

1943

Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ

Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете.

Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки, —
Точно в пропасть с обрыва —
И ни дна ни покрывки.

И во всем этом мире,
До конца его дней,

Ни петлички, ни лычки
С гимнастерки моей.

Я — где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я — где с облачком пыли
Ходит рожь на холме;

Я — где крик петушиный
На заре по росе;
Я — где ваши машины
Воздух рвут на шоссе;

Где травинку к травинке
Речка травы прядет, —
Там, куда на поминки
Даже мать не придет.

Подсчитайте, живые,
Сколько сроку назад
Был на фронте впервые
Назван вдруг Сталинград.

Фронт горел, не стихая,
Как на теле рубец.
Я убит и не знаю,
Наш ли Ржев наконец?

Удержались ли наши
Там, на Среднем Дону?..
Этот месяц был страшен,
Было все на кону.

Неужели до осени
Был за ним уже Дон,
И хотя бы колесами
К Волге вырвался он?

Нет, неправда. Задачи
Той не выиграл враг!
Нет же, нет! А иначе
Даже мертвому — как?

И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за родину пали,
Но она — спасена.

Наши очи померкли,
Пламень сердца погас,
На земле на поверке
Выкликают не нас.

Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам — все это, живые.
Нам — отрада одна:

Что недаром боролись
Мы за родину-мать.
Пусть не слышен наш голос, —
Вы должны его знать.

Вы должны были, братья,
Устоять, как стена,
Ибо мертвых проклятье —
Эта кара страшна.

Это грозное право
Нам навеки дано,—
И за нами оно —
Это горькое право.

Летом, в сорок втором,
Я зарыт без могилы.
Всем, что было потом,
Смерть меня обделила.

Всем, что, может, давно
Вам привычно и ясно,
Но да будет оно
С нашей верой согласно.

Братья, может быть, вы
И не Дон потеряли,
И в тылу у Москвы
За нее умирали.

И в заволжской дали
Спешно рыли окопы,
И с боями дошли
До предела Европы.

Нам достаточно знать,
Что была, несомненно,
Та последняя пядь
На дороге военной.

Та последняя пядь,
Что уж если оставить,
То шагнувшую вспять
Ногу некуда ставить.

Та черта глубины,
За которой вставало
Из-за вашей спины
Пламя кузниц урала.

И врага обратили
Вы на запад, назад.
Может быть, побратимы,
И Смоленск уже взят?

И врага вы громите
На ином рубеже,
Может быть, вы к границе
Подступили уже!

Может быть... Да исполнится
Слово клятвы святой! —
Ведь Берлин, если помните,
Назван был под Москвой.

Братья, ныне поправшие
Крепость вражьей земли,

Если б мертвые, павшие
Хоть бы плакать могли!

Если б залпы победные
Нас, немых и глухих,
Нас, что вечности преданы,
Воскрешали на миг.—

О, товарищи верные,
Лишь тогда б на войне
Ваше счастье безмерное
Вы постигли вполне.

В нем, том счастье, бесспорная
Наша кровная часть,
Наша, смертью оборванная,
Вера, ненависть, страсть.

Наше все! Не слукавили
Мы в суровой борьбе,
Все отдав, не оставили
Ничего при себе.

Все на вас перечислено
Навсегда, не на срок.
И живым не в упрек
Этот голос наш мыслимый.

Братья, в этой войне
Мы различья не знали:
Те, что живы, что пали,—
Были мы наравне.

И никто перед нами
Из живых не в долгу,
Кто из рук наших знамя
Подхватил на бегу.

Чтоб за дело святое,
За Советскую власть
Так же, может быть, точно
Шагом дальше упасть.

Я убит подо Ржевом,
Тот еще под Москвой.
Где-то, воины, где вы,
Кто остался живой?

В городах миллионных,
В селах, дома в семье?
В боевых гарнизонах
Не на нашей земле?

Ах, своя ли, чужая,
Вся в цветах иль в снегу...
Я вам жить завещаю,—
Что я больше могу?

Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть

И родимой отчизне
С честью дальше служить.

Горевать — горделиво,
Не клонясь головой,
Ликовать — не хвастливо
В час победы самой.

И беречь ее свято,
Братя, счастье свое —
В память воина-брата,
Что погиб за нее.

1945—1946

* * *

*Перевозчик-водогребщик,
Парень молодой,
Перевези меня на ту сторону,
Сторону домой...*

Из песни

— Ты откуда эту песню,
Мать, на старость запасла?
— Не откуда — все оттуда,
Где у матери росла.

Все из той своей родимой
Приднепровской стороны,
Из далекой-предалекой
Деревенской старины.

Там считалось, что прощалась
Навек с матерью родной,
Если замуж выходила
Девка на берег другой.

Перевозчик-водогребщик,
Парень молодой,
Перевези меня на ту сторону,
Сторону — домой...

Давней молодости слезы,
Не до тех девичьих слез,
Как иные перевозки
В жизни видеть привелось.

Как с земли родного края
Вдаль спровадила пора.
Там текла река другая —
Шире нашего Днепра.

В том краю леса темнее,
Зимы дольше и лютей,
Даже снег визжал сильнее
Под полозьями саней.

Но была, пускай не пета,
Песня в памяти жива.
Были эти на край света
Завезенные слова.

Перевозчик-водогребщик,
Парень молодой,

Перевези меня на ту сторону,
Сторону — домой...

Отжитое — пережито,
А с кого какой же спрос?
Да уже неподалеку
И последний перевоз.

Перевозчик-водогребщик,
Старичок седой,
Перевези меня на ту сторону,
Сторону — домой...

1965

ИЗ ПОЭМЫ

«ТЕРКИН НА ТОМ СВЕТЕ»

(Отрывок)

Тридцати неполных лет —
Любо ли не любо —
Прибыл Теркин
На тот свет,
А на этом
Убыл...

.

Ладно.
Смотрит — за углом
Орган того света.
Над редакторским столом —
Надпись:
«Гробгазета».

За столом — не сам, так зам, —
Нам не все равно ли, —
— Я вас слушаю, — сказал,
Морщась, как от боли.

Полон доблестных забот,
Перебил солдата:
— Не пойдет.
Разрез не тот.
В мелком плане взято.

Авторучкой повертел.
— Да и места нету.
Впрочем, разве что в Отдел
Писем без ответа...
И в бессонный поиск свой
Вникнул снова с головой.

Весь в поту, статейки правит,
Водит носом взад-вперед:
То убавит,
То прибавит,
То свое словечко вставит,
То чужое зачеркнет.

То его отметит птичкой,
Сам себе и Глав и Лит,
То возьмет его в кавычки,
То опять же оголит.

Знать, в живых сидел в газете,
Дорожил большим постом.
Как привык на этом свете,
Так и мучится на том.

Вот притих, уставясь тупо,
Рот разинут, взгляд потух.
Вдруг навел на строчки лупу,
Избоченясь, как петух.

И последнюю проверку
Применяя, тот же лист
Он читает
Снизу кверху,
А не только
Сверху вниз.

Верен памятной науке,
В скорбной думе морщит лоб...

Попадись такому в руки
Эта сказка —
Тут и гроб!
Он отечески согретым
Увещаньем изведет.
Прах от праха того света,
Скажет:
Что еще за *том*?

Что за происк иль попытка
Воскресить вчерашний день,
Неизжиток
Пережитка
Иль тень
На наш плетень?

Впрочем, скажет, и не диво,
Что избрал ты зыбкий путь.
Потому — от коллектива
Оторвался —
Вот в чем суть.

Задурил, кичась талантом,—
Да всему же есть предел,—
Новым, видите ли, Дантом
Объявиться захотел.

Как же было не в догадку —
Просто вызвать на бюро
Да призвать тебя к порядку,
Чтобы выправил перо.

Чтобы попусту бумагу
На авось не прятал впредь:
Не писал бы этак с маху —
Дал бы планчик просмотреть.

И без лишних притязаний
Приступал тогда к труду,
Да последних указаний
Дух всегда имел в виду.

Дух тот брал бы за основу
И не ведал бы прорух...
Тут, конечно, автор снова
Возразил бы:
— Дух-то дух.
Мол, и я не против духа,
В духе смолоду учен.
И по части духа —
Слуха,
Да и нюха —
Не лишен.

Но при том вопрос не праздный
Возникает сам собой:
Ведь и дух бывает разный —
То ли мертвый,
То ль живой...

ИЗ ПОЭМЫ

«ЗА ДАЛЬЮ ДАЛЬ»

ЛИТЕРАТУРНЫЙ РАЗГОВОР

.....
Провинциальный ли, столичный —
Читатель наш воспитан так,
Что он особо любит личный
Иметь с писателем контакт;
Заполнить устную анкету
И на досуге, бех помех
Призвать, как принято, к ответу
Не одного тебя, а всех.

Того-то вы не отразили,
Того-то не дали опять.
А сколько вас в одной России?
Наверно, будет тысяч пять?

Мол, дело, собственно, не в счете.
Но мимо вас проходит жизнь.
А вы, должно быть, водку пьете,
По кабинетам запершись.

На стройку вас, в колхозы срочно,
Оторвались, в себя ушли...

И ты киваешь:
— Точно, точно,
Не отразили, не учли...

Но вот другой:
— Ах, что там — стройка,
Завод, колхоз! Не в этом суть.
Бывает, их наедет столько,
Творцов, певцов,
А толку — чуть.

Роман заранее напишут,
Приедут, пылью той подышат,
Потычут палочкой в бетон,
Сверяя с жизнью первый том.

Глядишь, роман, и все в порядке:
Показан метод новой кладки,
Отсталый зам, растущий пред
И в коммунизм идущий дед
Она и он — передовые,
Мотор, запущенный впервые,
Парторг, буран, прорыв, аврал,
Министр в цехах и общий бал...

И все похоже, все подобно
Тому, что есть, иль может быть,
А в целом — вот как несъедобно,
Что в голос хочется завывать.

Да неужели
В самом деле
Тоска такая все кругом —
Все наши дни, труды, идеи
И завтра нашего закон?

Нет, как хотите, добровольно
Не соглашусь, не уступлю.
Мне в жизни радостно и больно,
Я верю, мучаюсь, люблю.

Я счастлив жить, служить отчизне,
Я за нее ходил на бой.
Я и рожден на свет для жизни —
Не для статьи передовой.

Кончаю книгу в раздраженье.
С души воротит: где же край?
А края нет. Есть продолженье.
Нет, братец, хватит. Совесть знай.

И ты киваешь:
— Верно, верно,
Понятно, критика права...

Но ты их слышать рад безмерно —
Все эти горькие слова.
За их судом и шуткой грубой
Ты различаешь без труда
Одно, что дорого и любо
Душе, мечте твоей всегда,—
Желанье той счастливой встречи
С тобой иль с кем-нибудь иным,
Где жар живой, правдивой речи,
А не вранья холодный дым;
Где все твое незаменимо,
И есть за что тебя любить,
И ты тот самый, тот любимый,
Каким еще ты можешь быть.

И ради той любви бесценной,
Забыв о горечи годов,
Готов трудиться ты и денно
И ночью —
Душу сжечь готов.

Готов на все суды и толки
Махнуть рукой. Все в этом долге,
Все в этой доблести. А там...

Вдруг новый голос с верхней полки:
— Не выйдет...
— То есть как?
— Не дам...

Не то чтоб это окрик зычный,
Нет, но особый жесткий тон,
С каким начальники обычно
Отказ роняют в телефон.

— Не выйдет,— протянул вторично.
— Но кто вы там, над головой?
— Ты это знаешь сам отлично...
— А все же?
— Я — редактор твой.

И с полки голову со смехом
Мой третий свесил вдруг сосед:
— Ты думал что? Что ты уехал
И от меня? Нет, милый, нет.

Мы и в пути с тобой соседи,
И все я слышу в полусне.
Лишь до поры мешать беседе,
Признаться, не хотелось мне.
Мне было попросту занято,
Смотрю: ну до чего хорош,
Ну как горяч невероятно,
Как смел! И как ты на попятный
От самого себя пойдешь.

Как, позабавившись игрою,
Ударишь сам себе отбой.
Зачем? Затем, что я с тобою —
Всегда, везде — редактор твой.

Ведь ты над белой бумагой,
Объятый творческой мечтой,
Ты, умник, без меня ни шагу,
Ни строчки и ни запятой.

Я только мелочи убавлю
Там, сям — и ты как будто цел.
И все нетронутым оставлю,
Что сам ты вычеркнуть хотел.

Там карандаш, а тут резинка,
И все по чести, все любя.
И в свет ты выйдешь как картинка,
Какой задумал я тебя.

— Стой, погоди,— сказал я строго,
Хоть самого кидало в дрожь.—
Стой, погоди, ты слишком много,
Редактор, на себя берешь!

И, голос вкрадчиво снижая,
Он отвечает:
— Не беру.
Отнюдь. Я все препоручаю
Тебе и твоему перу.

Мне самому-то нет расчета
Корпеть, черкать, судьбу кляня.
Понятно? Всю мою работу
Ты исполняешь за меня.

Вот в чем секрет, аника-воин,
И спорить незачем теперь.
Все так. И я тобой доволен
И не нарадуюсь, поверь.

Я всем тебя предпочитаю,
Примером ставлю — вот поэт,
Кого я просто не читаю:
Тут опасаться нужды нет.

И подмигнул мне хитрым глазом:
Мол, ты да я, да мы с тобой...
Но тут его прервал я разом:

— Поговорил — слезай долой.
В каком ни есть ты важном чине,
Но я тебе не подчинен
По той одной простой причине,
Что ты не явь, а только сон
Дурной. Бездарность и безделье
Тебя, как пугало земли,
Зачав с угрюмого похмелья,
На белый свет произвели.

В труде, в страде моей бессонной
Тебя и знать не знаю я.
Ты есть за этой только зоной,
Ты — только тень.
Ты — лень моя.

И только, будь я суеверен,
Я б утверждать, пожалуй, мог,
Что с верхней полки запах серы
В отдушник медленно потек.

* * *

Нет, жизнь меня не обделила,
Добром своим не обошла.
Всего с лихвой дано мне было
В дорогу — света и тепла.

И сказок в трепетную память,
И песен стороны родной,
И старых праздников с попами,
И новых с музыкой иной.

И в захоlustье, потрясенном
Всемирным чудом новых дней,—

Старинных зим с певучим стоном
Далеких — за лесом — саней.

И весен в дружном развороте,
Морей и речек на дворе,
Икры лягушечьей в болоте,
Смолы у сосен на коре.

И летних гроз, грибов и ягод,
Росистых троп в траве глухой,
Пастушьих радостей и тягот,
И слез над книгой дорогой.

И ранней горечи и боли,
И детской мстительной мечты,
И дней, не высиженных в школе,
И босоты, и наготы.
Всего — и скудости унылой
В потемках отчего угла...

Нет, жизнь меня не обделила,
Добром своим не обошла.
Ни щедрой выдачей здоровья
И сил, что были про запас,
Ни первой дружбой и любовью,
Что во второй не встретишь раз.

Ни славы замыслом зеленым,
Отравой сладкой строк и слов;
Ни кружкой с дымным самогоном
В кругу певцов и мудрецов —
Тихонь и спорщиков до страсти,
Чей толк не прост и речь остра
Насчет былой и новой власти,
Насчет добра
И недобра...

Чтоб жил и был всегда с народом,
Чтоб ведал все, что станет с ним,
Не обошла тридцатым годом.
И сорок первым,
И иным...

И столько в сердце поместила,
Что диву даваться до поры,
Какие резкие под силу
Ему ознобы и жары.

И что мне малые напасти
И незадачи на пути,
Когда я знаю это счастье —
Не мимоходом жизнь пройти.

Не мимоездом, стороною
Ее увидеть без хлопот,
Но знать горбом и всей спиною
Ее крутой и жесткий пот.

И будто дело молодое —
Все, что затеял и слепил,

Считать одной ничтожной долей
Того, что людям должен был.
Зато порукой обоюдной
Любая скрашена страда:
Еще и впредь мне будет трудно,
Но чтобы страшно —
Никогда.

1955

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они — кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь,—
Речь не о том, но всё же, всё же, всё же...

1966

СЕРГЕЙ ЧЕКМАРЕВ

1910—1933

В 1956 году Луконин показал мне рукопись Чекмарева, попавшую ему в руки из самотека «Нового мира». Со страниц повеяло юношеской чистотой, неподдельной талантливостью, которую так рано оборвала смерть. «Там, на аллее Лиственной, где институт мясной, тревожной и таинственной повеяло весной». Мы сразу полюбили незнакомого нам Сергея Чекмарева, полюбили его любовь к сложной девушке Тоне, к голубым глазам телят башкирских степей, где он работал зоотехником. Несмотря на некоторую рыхлость любительства, отдельными кусками, интонационными поворотами Чекмарев уже прикоснулся к настоящей поэзии.

* * *

Еще и день не начался,
Еще и туман над водой,
Но я уж в седле качался,
И шел подо мной Гнедой.
Я как будто удобно уселся,
Накормлен, напоен и сыт.
Отчего же стучит мое сердце
Громче его копыт?
Еще далеко до дому,
Я косматую вижу зарю,
И я говорю Гнедому,
Я ему говорю:
— Гнедой, погляди-ка на степь,
За эти вон горы, туда...
Кобылу саврасой масти,
Наверно, ты помнишь, да?
Она ведь рядом с тобою
Шла и в галоп, и в рысь,
И отравой цвела голубою
Над нами бездонная высь.
Она ведь с тобою рядом
Шла и в рысь, и в галоп.
А Тоня светлеела взглядом,

И падала прядь на лоб,
И падала прядь с фасонцем
На лоб у моей жены,
И руки ее от солнца,
И плечи обожжены.
Гнедой, ты, наверно, понял,
Ты понял ли, мой Гнедой?
Какая хорошая Тоня,
Какой ее взгляд молодой!
Ременной подпругою сжала
Мне сердце тугая боль.
О, Гнедой, она убежала,
Убежала от нас с тобой!
Она забрала ребенка
И ускакала в Москву,
Оставили Даше гребенку,
А нам с тобой — тоску.
К белой бумаге неба
Приложена солнца печать.
Подняться на облако мне бы
И до Москвы докричать:
«Ах, Тоня! Как сердцу горько,
Как хочется быть с тобой,
Когда за кленовой горкой
Встает закат голубой!..»

НИКОЛАЙ ЩЕГОЛЕВ

1910—1975, Свердловск

В младшем поколении русских поэтов Харбина, «выпускников» знаменитой студии «Чураевка», — один из самых интересных поэтов после Валерия Перелешина. Получил серьезное образование, в том числе музыкальное, — был известен как пианист. Печатался в «Рубеже» (Харбин), «Числах» (Париж), попал в первую антологию эмигрантской поэзии «Якорь», изданную в Париже в середине 30-х годов. С 1937 года — в Шанхае, сотрудничал в возвращенческом журнале «Родина», затем в советской газете «Новая жизнь», занимая все более прокоммунистическую позицию; как логический итог, в 1947-м уехал в СССР, где работал лектором, преподавателем английского языка. От литературы отошел; но за несколько месяцев до смерти внезапно к поэзии вернулся: восстановил по памяти около 100 стихотворений, написал кое-что новое и, словно предчувствуя смерть, отослал все в Рио-де-Жанейро старому другу — Валерию Перелешину. От Перелешина стихи Щеголева попали в Москву.

ОПЫТ

Одиночество,— да! — одиночество злее
марксизма.
Накопляешь безвыходность: родины нет,
нет любви.
Содрогаешься часто, на рифмы кладешь
пароксизмы,
Бродишь взором молящим среди облаковых
лавин.
— «Не от мира сего...» И горят синема,
рестораны,
Ходят женщины, будят сознание, что ты
одинок
На земле, где слывешь чудачком захудалым
и странным,
Эмигрантом до мозга костей, с головы
и до ног.
Эмиграция,— да! — прозябанье в кругу
чужестранцев,
Это та же тоска, это значит — учить
про запас
Все ремесла, языки, машинопись, музыку,
танцы.
Получая гроши, получая презренье подчас.
Но ты гордый, ты русский, ты проклял
сомнения и ропот,—
Что с того, что сознание трезвое спит
иногда? —
Но себя ты хранишь, но встречаешь
мучительный опыт
Не всегда просветленно, но
с мужественностью всегда!

1932

* * *

Одно ужасное усилие,
Взлет тяжело падающих век,
И — свет, и вырастают крылья,
И вырастает человек.

И в шуме ветра городского,
В невнятице чужой страны
Он вновь живет, он верит снова
В те дали, что ему видны,—

Обласканные солнцем дали,
Где птицы без конца свистят,
Где землю не утрамбовали,
Где светляки в ветвях блестят...

Но облака идут валами...
Как холодно и — что скрывать? —
Как больно хрупкими крылами
Уступы зданий задевать!

1933. Харбин

ПОКУШАВШЕМУСЯ

Неделя протекала хлопотно.
К субботе ты совсем раздряб.
Пришел к реке, нырнул и — хлоп о дно! —
Оставив пузыри и рябь.

Но на мостках матрос внимательный
Не потерял момента, и,—
Стругая гладь, спешит спасательный
Мотор, надежду затаив.

Прыжок. И вынут утопающий —
Свободе личности назло.
Ах, вымокшая шантрапа! Еще
Печалится: не повезло.

Беда! Становишься ехидною,
Беседа с тобой. Ты — тот,
Кто жизнь считает панихидною,
Тогда, как жизнь — переворот.

Тогда, как жизнь — великий заговор
Громов, и ловля на лету
Клинков, взлетающих зигзагово
В нетронутую темноту.

ОТУПЕНИЕ

Слов уже не было...
Я
Поникал,
Как под градом доносов,
И в пространство
Ронял,—
Клеветнической тучей гоним,—
Так тягуче слова,
Что казалось —
НАВУХОДОНОСОП,
Слишком краткое слово
В сравнении
С каждым
Моим.

СИРЕНА

Сидит — покатые колена,
Большие лунные глаза,—
Оцепенелая сирена,
Как затаенная гроза...
Как много, как ужасно много
Людей — в былом, теперь — калек,
Толчется у ее порога!
Один красивый человек
Теперь в нее влюблен. Печально
Он с ней до сумерек сидит.
Она не гонит, но глядит
С холодностью необычайной.

А по ночам — она сирена,—
Она — сирена по ночам —

Крадется в парк — дрожат колена,
И косы бьются по плечам,
Как перегрызенные цепи.

Стоят беседки. Месяц строг.
И — ждущий фавн табачный пепел
С козлиных стряхивает ног.

ФЕДОР БЕЛКИН

р. 1911, с. Высокое Курской губ. — (?)

Работал чернорабочим, каменщиком, плотником. В 1930—1932 годах учился в Московском архитектурном институте, в 1932—1935 годах работал техником колхозного строительства в Курской и Московской областях. В 1935—1938 годах учился в Литинституте. В 1939—1940 годах работал художником-декоратором в клубах Щелковского района Московской области. Печататься начал в 1936-м. Первый сборник «Родной простор» вышел в Москве в 1947 году. В антологии 1917—1957 годов написано: «В дни Великой Отечественной войны служил в Советской Армии». Может быть, так оно и было. Говорят, вскоре после выхода этой антологии кто-то на поэтическом выступлении узнал в Федоре Белкине человека, сотрудничавшего с оккупантами, и он бесследно исчез. Кто знает — было ли это правдой. Белкин оставил галерею великолепно написанных стихотворных портретов животных.

ПЕТУХ

Золотым сверкает опереньем.
Запоет — привстанет на носки.
Лапами рванет в саду коренья
И добычу делит на куски.

Угостит семейство — и доволен.
Свысока посмотрит на цыплят.
По двору проходит, словно воин,—
Только жалко — шпоры не звенят.

Жизнь его и в битвах и походах.
Как орел рванется, и лови.
С петухом соседским в подворотнях
Целый день сечется до крови.

Запахнув потрепанные полы,
На насесте в думы погружен,
Он живет, как древние монголы,—
Сто боев и два десятка жен!

1946

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ

1911, Курган Тобольской губ. — 1975, Москва

Родился в семье служащего. Учился с 1928 года в Москве, в Центральном доме искусств имени Поленова. Одновременно работал на ситценабивной фабрике. Первый сборник «Возраст» вышел в 1933-м. В 1938 году закончил Литинститут имени Горького. Ушел добровольцем на войну. Автор блестящих пародий и эпиграмм. Однако чувство юмора явно изменяло ему в патриотической риторике многих стихов и в более чем консервативных общественных взглядах.

ГОЛУБЬ МОЕГО ДЕТСТВА

Прямо с лёту, прямо с ходу,
поражая опереньем,
словно вестник от восхода,
он летит в стихотворенье.

Он такой, что не обидит,
он такой, что видит место —
он находит для насеста
самый лучший мой эпитет.
И ворчит, и колобродит,
и хвостом широким водит,
и сверкает до озноба
всеми радугами зоба.
Мне бы надо затвориться,
не пускать балунью-птицу,
но я так скажу: ни разу
птицам не было отказу!
С милым гостем по соседству
любо сердцу и перу!..

Встань, далекий образ детства,
белый голубь на ветру.
...Было за полдень. В ограду
на саврасом жеребце
въехал всадник с мутным взглядом
на обветренном лице.
Всадник спешил. Оставил
у поленницы коня
и усталый шаг направил
сразу прямо на меня.

И, оправя лопотину¹,
он такую начал речь:
«Понимаешь, парень, в спину
угодил мне картечь.
Понимаешь... мне того...
Плоховато малость.
Понимаешь... жить всего
ерунду осталось».

¹ Лопотина — по-сибирски: верхняя одежда.

Воевал я не за этим!..»
Он придвинулся ко мне,
и я в ужасе заметил
кровь на раненой спине.
Я — от страха в палисадник,
пал в крыжовник и реву...

Только вижу: бледный всадник
опустился на траву.
Только вижу, как баранья
шапка валится на чуб,
только слышу, как страданья
улетают тихо с губ.
Мне, конечно, стало горько,
стало тягостно до слез —
я к нему из-за пригорка,
побеждая страх, пополз.
«Понимаю, — говорю, —
понимаю дюже...
Может, спину, — говорю, —
затянуть потуже?
Понимаю, — говорю, —
но куда ж деваться?»
(Говорю, а сам горю —
не могу сдержаться).

Теребя траву руками,
всадник веки опустил
и, тяжелую, как камень,
чуя смерть, заговорил:
«Ты челдон, и я челдон.
Оба мы челдоны...
Положи свою ладонь
на мои ладони.
Слышишь, сполохи гудут
по всему заречью —
беляки по нашим бьют
рассыпной картечью.
На семнадцать верст окрест
белые в селеньях,
так что, кроме этих мест,
нашим нет спасенья.
Я, родной мой, прискакал
на заимку эту,
чтобы красный дать сигнал,
если белых нету.
Мы бы стали по врагу
бить из-за прикрытья...
Понимаешь, не могу
дальше говорить я».

Было душно. К придорожью
медом веяло с гречих.
Всадник вздрогнул страшной дрожью,
отвернулся — и затих.

Я, конечно, понял сразу
то, что он не досказал.
И решил, как по приказу:

надо выбросить сигнал!
Я — домой. Комод у входа.
Открываю я комод!
Вижу: в ящиках комода —
свалка, черт не разберет!
В верхнем пусто. В среднем — тесно.
В нижнем? В ворохе тряпья
теткин шелковый воскресный
полушалок вижу я!
Мне не жалко полушалка —
разрываю пополам!
Полушалка мне не жалко...
На чердак бегу. А там
со своей подругой вместе,
боевой и злой на вид,
на березовом насесте
голубь мраморный сидит!
«Что ж! — кричу, — послужим, дядя!
Повоюем на лету!»
И, багровый клок прилядя
к голубиному хвосту,
я свищу: «Вали на волю!»

И пошел винтить трубач
по воздушному по полю
по кривой рывками вскачь!
То петлями, то кругами,
то в разлёте холостом!
И багровый шелк, как пламя,
за его густым хвостом.
То на выпад, то на спинку,
то как ястреб от ворон!..

Вихрем прибыл на заимку
партизанский эскадрон.

Солнце падало. Смеркалось.
Скрылись белые за мыс.
Восемь раз разбить пытались —
восемь раз стекали вниз.
Над заимкой тучи плыли.
У заката на виду
люди всадника зарыли
под калиною в саду.
И поставили подсолнух
у него над головой.
И не дрогнул тот подсолнух
и стоял, как часовой.
А когда дневное лихо
заступили тьма и тишь,
эскадрон ушел по тихой
дальним бродом за Иртыш.
И не мог я наглядеться
На подсолнух ввечеру.

О, далекий образ детства, —
белый голубь на ветру!

ПОЛИНА КАГАНОВА

1911, Нежин — 1972, Ленинград

По окончании единой трудовой школы работала учительницей младших классов. Муж, работник НКПС С. П. Волокитин, был расстрелян в 1937 году. Добровольцем ушла на фронт, воевала в звании красноармейца артиллерийского дивизиона. Печаталась во фронтовой прессе. Хотя она часто печаталась, в Союз писателей ее так и не приняли. Первая книжка «Солдат запаса» вышла в Лениздате лишь через три года после смерти.

* * *

Памяти Сергея Волокитина

О тебе уже не плачу,
все решили — «позабыла!»
и напрасно сил не трачу —
не ищу твою могилу.

Слишком редко улыбалась
Я с 37-го года,
слишком больно называлась
я женой «врага народа»,

слишком долго я твердила,
что домой вернешься скоро,
слишком ревностно ходила
на «свиданья» к прокурору...

Я свое отгоревала —
за тебя, себя и сына,
я свое отвоевала
от Москвы и до Берлина.

Помню ночи те глухие,
каждый стук и каждый шорох, —
у меня глаза сухие —
словно порох.

КОРОВА

Я здоровьем хочу поменяться с коровой —
пусть корова болеет, я буду здоровою,

в эгоизме меня упрекайте, пожалуйста, —
это сделать хочу я совсем не из шалости,
предложение вношу я разумное, дельное —
скоро яловой стану коровой, не тельною,
назовут ли Буренкой меня или Чернушкой —
буду просто здоровой коровой-старушкой,
буду долго бродить я полями — не минными,
буду травку щипать с «АБЦ»-витаминами,
буду жить в коммунальном хлеву или сарае,
и такое житье мне покажется раем.
Не беда — заболеет скотина бездарная,
есть к услугам лечебница ветеринарная,
и пропишет ветврач поле чистое с травами —
ведь не будет он пичкать корову отравками...
Коль корова здоровьем со мной поменяется,
жить, конечно, теперь ей, как мне,

полагается...

Что с коровы возьмешь — не мычит
и не телится:
пусть она в коммунальной квартире

поселится,

пусть напишет стихи, и чтоб их не печатали,
чтобы книжку ее никогда не сосватали,
пусть глотает пилюль расщепленные атомы,
что прописаны были мне гомеопатами.
Я-то знаю, друзья, что такое лечение
для людей и животных сплошное

му-у-у-ченье!

От него только сердце тоскует и сохнет...
Я-то выживу, ясно — корова подохнет...

АЛЕКСАНДР КОВАЛЕНКОВ

1911, Новгород — 1971

Родился в семье служащего. Окончил сценарное отделение ВГИКа. Начал печататься в 1929-м. Первый сборник стихов «Зеленый берег» вышел в 1935 году. Во время войны был на Карельском фронте. Мягкий лирик, сохранивший акварельность письма и в сталинские времена: «Можно было пить с ладони свежесть облачных высот, от которой на газоне все на цыпочки встает». В ночь смерти Сталина был на короткое время арестован. Будучи преподавателем Литинститута, славился своей поэтической начитанностью, иногда доходившей почти до мании выискивания заимствований. Вместе с Е. Винокуровым составил первую послевоенную антологию поэзии (1917—1957), впервые включив в нее только что реабилитированных Б. Корнилова, П. Васильева, Я. Смелякова и молодых Евтушенко и Р. Рождественского. Тогдашних составителей нельзя обвинять в том, что в ту антологию не были включены ни Мандельштам, ни поэты эмиграции. Цензура смягчилась, но действовала.

* * *

Случалось ли вам собирать грибы
В лесу, где тропинки протоптаны лешим?
Где кони тумана встают на дыбы
В просах полян и зеленых проплешин?

Известно ли вам, как старик подосиновик
 В траву загоняет свою детвору,
 Как в желтых платочках и ярко-малиновых
 Ведут хоровод сыроежки в бору?
 Видали ли вы, как под хвойною крышей
 Гуляет в сапожках сафьяновых рыжик,
 И гриб-боровик входит в сумрак глубокий,
 За юбки молоденьких елок держась?
 Ложилась ли вам на горячие щеки
 Лесных паутинок прохладная вязь?
 А если вам это знакомо и дорого,
 То, значит, вы знаете, как хороши
 Внезапные встречи средь хвойного шороха
 В лесу, где, казалось бы, нет ни души...

1940

ПЕТР КОМАРОВ

1911, д. Боево Новгородской губ. — 1949, Хабаровск

Еще при жизни превратился в классика русской советской поэзии на Дальнем Востоке. Комаров родился в Новгородской губернии, в 1927 году окончил школу крестьянской молодежи в г. Свободном, к северу от Благовещенска; некогда город возник при постройке Великой Транссибирской магистрали и до 1924 года носил название «Алексеевск», покуда власти не вспомнили, что название дано в честь расстрелянного в Екатеринбурге царевича. Все 30-е годы Комаров работал в газетах Дальнего Востока, в 1945 году состоял корреспондентом при армии, занявшей Маньчжурию, но, как видно из публикуемого стихотворения, воспринимал эту «кампанию» отнюдь не однозначно. Сразу после смерти Комаров получил Сталинскую премию (1950), и в Приморском крае, особенно в Хабаровске, возник некий «культ Комарова», что отнюдь не умаляет значения его поэзии и дарования — прежде всего лирического.

САНЧАГОУ

Здесь тишину годами берегли,
 В маньчжурском городишке Санчагоу.
 Днем — патрули. И ночью — патрули.
 И тишина. И ничего другого.
 Над улицей качается слегка
 Цветной фонарь из рисовой бумаги.
 Шаги конвоя. Тусклый блеск штыка.
 И солнце самурайское на флаге.
 В харчевне гости сипнут до зари,
 И женщины толпятся у окошка,
 Где вместо стекол — бычьи пузыри,
 Квасцами просветленные немножко.
 Кругом — покой. Шаги одни и те ж.
 И на колах висят не для того ли
 Две головы казненных за мятеж,
 Как черные горшки на частоколе?
 Бездомный пес пролаял на луну.
 И снова — ночь. И ничего другого.
 ...Мы расстреляли эту тишину,
 Когда входили в город Санчагоу.

Дальний Восток

БОРИС ЛЕБЕДЕВ

1911, Москва — 1945

Родился в семье служащего. Закончил Волоколамский педагогический техникум. Преподавал литературу и русский язык. В 1938 году закончил Литинститут имени Горького. Печататься начал в 1934-м. Первый сборник «Баллады и стихи» вышел в Москве в 1940-м.

СЕРДЦЕ

Двадцать дней и двадцать ночей
Он жить продолжал, удивляя врачей.
Но рядом с ним была его мать,
И смерть не могла его доломать.

Двадцать дней и двадцать ночей
Она не сводила с него очей.
Утром на двадцать первые сутки
Она вздремнула на полминутки,
И, чтобы не разбудить ее,
Он сердце остановил свое...

1940

СЕМЕН ЛИПКИН

р. 1911, Одесса

В сталинское время — один из процветавших переводчиков с языков азиатских советских народов. Мало кто догадывался, за исключением узкого круга его друзей, что под этой весьма профессионально исполняемой общественно-комфортабельной ролью скрывается самобытный поэт. Публикация стихотворения «Союз» во время застоя и начавшегося преследования диссидентов вызвала громы и молнии, как «произраильская диверсия». В 1979 году Липкин стал одним из авторов и старейшиной полудиссидентского альманаха «Метрополь», переданного его редактором В. Аксеновым для печати за границу. Альманах был объявлен антисоветским, его авторов начали исключать из Союза писателей, и Липкин, и его жена И. Лиснянская сами из него вышли, перейдя на положение людей, печатающихся лишь в тамиздате. Во время перестройки они вернулись в Союз писателей и широко печатаются. Липкин — автор интереснейших воспоминаний о своих друзьях, В. Гроссмане и А. Штейнберге, и повести «Декада» — о жестокости сталинской политики выселения малых народов с Кавказа; многожанровый высококультурный мастер, что сочеталось у него с высокой культурой поведения, и именно это позволило ему перейти из разряда процветающих ремесленников, скрывающих свои подлинные мысли, в разряд людей, чье ремесло, благородное, но неблагодарное, — открывать свои мысли другим и платить за это немалую плату.

ИСТОКИ

Когда соловый конь батыев
Еще не начал Русь топтать, —
Нет, не случайно выбрал Киев
Восточной церкви благодать,
И не случайно в избах старых
Востоком веют образа,
И помнят о коварных чарах
Их азиатские глаза.

Когда к златоордынским ханам
С ясаком ездил русский князь,
И мысль, одетая туманом,
Еще для мира не зажглась,
И плеть ногайская хозяев
Гуляла по задам дворян, —
Уже имелись Чаадаев
И аракчеевский аркан.

А Грузия, сестра славянства,
Такой же приняла обет,

Но яд восточный мусульманства
Пила, как сладостный шербет.
В ее задавленном размахе,
В ее отравленной душе
Разбойник проступал в монахе
И царедворец в торгаше.

Кто понял облик произвола?
Кого на свет он произвел?
Ростком церковного раскола
Второго съезда был раскол.
Кто победил в кровавом споре?
Кто приготовил нам загон?
Родился Джугашвилли в Гори.
В Симбирске Сталин был рожден.

1967

СОЮЗ

Как отчаянье тепла в январе
Иль отчаянье воли у вьючных,

Так загадочней нет в словаре
Однбуквенных слов, однозвучных.

Есть одно — и ему лишь дано
Обуздать полновластно различья.
С ночью день сочетается оно,
Мир с войной и с паденьем величье.

В нем тревоги твои и мои,
В этом И — наш союз и подспорье.
Я узнал — в азиатском заморье
Есть народ по названию И.

Ты подумай: и смерть, и зачатье
Будни детства, надела, двора,
Неприятие лжи и понятие
Сострадания, бесстрашья, добра,

И простор, и восторг, и унылость
Человеческой нашей семьи, —
Все вместилось и мощно сроднилось
В этом маленьком племени И.

И когда к отчужденной кумирне
Приближается мать к алтарю,
Это я, — тем сильней и всемирней —
Вместе с ней о себе говорю.

Без союзов словарь онемееет,
И я знаю: сойдет с колееи,
Человечество жить не сумеет
Без народа по имени И.

1967

* * *

Тот, кто ветру назначил вес,
Меру определил воде,
Молнии указал тропу
И дождю начертал устав, —
С тихой радостью мне сказал:
Никогда тебя не убьют.
Разве можно разрушить прах
Или нищего разорить?

1981

ОТСТРОЕННЫЙ ГОРОД

На память мне пришло невольню
Блокады черное кольцо,
Едва в огнях открылось Кельна
Перемещенное лицо.

Скажи, когда оно сместилось,
Очеловечилось когда?
И все ли заживо простилось
До срока Страшного Суда?

Отстроился разбитый город,
И, стыд стараясь утаить,
Он просит нас возмездья голод
Едой забвенья утолить.

Но я подумал при отъезде
С каким-то чувством молодым,
Что только жизнь и есть возмездье,
А смерть есть ужас перед ним.

АЛЕКСАНДР НЕЙМИРОК

1911, Киев — 1973, Мюнхен

Среднее и высшее образование получил в Югославии (Кадетский корпус, сельскохозяйственный факультет Белградского университета). Печатался в 30-х в сборнике русских поэтов Югославии, в газете «Меч» (Варшава), в «Русской мысли», в «Единении» (Мельбурн). В 1946-м в издательстве «Эхо» в Регенсбурге под псевдонимом А. Немиров выпустил книгу «Дороги и встречи» — о гитлеровских концлагерях, где автор находился в 1944—1945 годах.

СОБОР

Колокольни стрельчатые эти,
Словно мачты над безбрежьем дней.
Он стоит, несясь в тысячелетья
Каменной гармонией своей.

Безответна синяя прохлада,
И тоска алтарная глуха.
Улетают в небо колоннады
От родного, близкого греха.

Что ему до вздыбленного мира?
Человек, — не трепетная ль тень?
Лбом о землю! Кайся! Dies irae...
Кайся, тварь, и жди последний день.

ДИ ПИ

Давным-давно он заколочен.
Давным-давно в нем ни души.
Теперь попроще, покорооче:
Бараки. Визы. Барыши.

Был кол, а на коле мочала...
Сиди, смотри из года в год,
Куда, в какую Гватемалу
Идет бесплатный пароход!

А был он полон, был он светел...
Да что в том толку? Вон из глаз!
Чужой язык. Слова на ветер.
Изо дня в день. Из часа в час.

БЕРЛИН

Держа равненье непоколебимо,
Как серый строй вильгельмовских солдат,
На сумрачные улицы Берлина
Громады тусклолицые глядят.

И гением курфюрстов бранденбургских
Второе двухсотлетие дыша,
Томится в них, как в вицмундирах узких,
Суровая германская душа.

Кирпично-красных протестантских кирок
Пронзают колокольни облака.
По ним земли дряхлеющего мира
Струится ввысь дремота и тоска.

О, вдохновенье пасмурных элегий,
Свинцовой Шпрее, сосен и болот!
Как будто по сей день профессор Гегель
Здесь по утрам на лекции идет.

И учит дух искать всеевропейский,
И видеть в том судьбы предвечный суд,
Что полицейский здесь — не полицейский,
А философски зримый Абсолют.

Но, логике пудовой непокорный,
Я об одной мечтаю стороне.
С душой многоголосой и вздорной
Куда бежать и где сокрыться мне?

1943

ИЗ ПОЭМЫ «ОКТАВЫ»

Е. Романову

То было в пору, о которой суд
Едва ли даже правнукам под силу,
Казалось, что народам вскрыли жилы
И хлынула... Но яблони цветут,
Гудят шмели.

Мне ль вас забыть, веселые друзья,
Вас, спутники во вражеской столице?
Я помню вас, я вижу ваши лица,
Я слышу речи... Впрочем, что же я?
Все не о том! Вон тусклой вереницей
Бредут, о хлебе тихо говорят.
Их тоже помню. В валенках, босые...
По улицам Берлина шла Россия.

ГАЛИНА НИКОЛАЕВА

1911, д. Усманка Томской губ. — 1963, Москва

Родилась в семье учителя. Первая книга стихов «Сквозь огонь» (1946) была замечена Сельвинским, однако не поднималась над лучшими военными стихами Друниной, Тушиновой. На фронте служила военным врачом. Широкую известность Николаевой принес роман «Жатва» (Сталинская премия 1951 года), где в отличие от многих других литературных плодов бесконфликтности существовало хотя бы подобие конфликта. Наиболее значительное, написанное Николаевой, — роман «Битва в пути», где есть и сильные куски — например, похороны Сталина. Перо у нее было талантливое, но видение реальности — весьма ирреальное. В 1954 году Александр Яшин и я были вместе с Николаевой на приеме у первого секретаря Алтайского крайкома Беляева. Он задержался где-то на полях, был порядком измотан... «У меня есть предложение...» — сказала Николаева. — Пейзаж ваших степей так однообразен, так монотонен. Почему бы для того, чтобы вдохновлять колхозников, не засеять степь с вертолетов цветами? Это было бы так красиво!» Секретарь крайкома поднял на нее усталые, никак не усваивающие это предложение глаза: «Да, да, конечно, это было бы так красиво». Ранние незначительные стихи Николаевой в результате оказались правдивей ее когда-то знаменитой прозы.

ДЫМ НА ЗАРЕ

Милый, родной, если бой угас,
Если металл остыл,
В дальней стране в предвечерний час
Что вспомнишь ты:
Стройку свою на крутой горе,
Гул разбитных голосов,
Легкий, отчетливый на заре
Контур сквозных лесов,
Вечер наш первый, зарю с грозой,
Сумерки без огня
Или толстущку с большой косой,
Прежнюю, ту, меня?

Пишешь, что памятью этой жив.
Мне же отрады нет.
Встала у черной большой межи,
Дымом застлало свет.
Если на небе игра зари,—
Чудится — у воды
Черная пристань вдали горит,
В розовом свете дым.
Дым над кормой. Продохнуть невмочь:
Пламя в дверях кают.
Рядом кричат, просят помочь,
Пули фанеру шьют.
Друг на руках у меня хрипит,
Судорожно ворот рвет.

Алая кровь на зарю летит,
 В небо из горла бьет.
 Мне на зарю не смотреть, не смотреть,
 Помню одно, одно —
 Дым на заре, дым на заре,
 Трупы идут на дно.
 Я не сильна, не боец, не герой,
 Но смотрю назад:
 Встал за спиной сорок второй,

Встал за спиной Сталинград.
 Встал за спиной сомкнутый строй
 Тех, что костями легли.
 Женщина я, не боец, не герой,
 Но я войду в Берлин.
 Так приказала мне жизнь и смерть,
 Память моя и кровь.
 Дым на заре, дым на заре,
 Ненависть, гнев, любовь.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ

1911—1988

Личность в нашей поэзии пока что загадочная, но уже сейчас ясно, что уникальная. Он знал все основные европейские языки, включая исландский во всех основных его диалектах, и писал стихи примерно на пятнадцать — особенно любил исландский, шведский, и по иронии судьбы латышский: его он выучил от неграмотного (!) соседа латыша в камере следственной тюрьмы. В тюрьмах и лагерях он провел больше двадцати лет, а вышел — словно крепче стал. Он работал в области «углубленной в строку» рифмы, считая, что вообще рифма в русском языке даже не разработана. Вспоминается строфа:

Приходит гость из Гатчины,
 как приговор от них —
 бобровый, молью траченный
 расстрига-воротник.

В четных строках рифма углублена на пять слогов. И для поэзии Петрова это было не искусственным ходом, а нормой. Всего раз пять увидел он при жизни свои стихи напечатанными, больше в газетах, лишь «Новый мир» напечатал «фугу» «Рерих» — кстати, жанр фуги, полифонического, многотемного стихотворения, где темы развиваются параллельно и переплетаясь, Петров сам и создал. По выходе из лагерей жил он то в Новгороде, то в Ленинграде, много переводил, благо знал любой нужный язык на активном уровне. Дело его жизни, «Часослов» Рильке, целиком им переведенный, тем не менее пока лишь собираются издать. Прекрасны его переводы исландских скальдов, вышедшие в «Литературных памятниках».

* * *

Хожу я ужинать в столовую,
 Куда валят под вечер лавою:
 Откупорив белоголовую,
 Я в рюмке, точно в море, плаваю.

Сиди да знай себе поикивай,
 Соседу всякому поддакивай,
 Что ходим-де под дамой пиковой,
 Что фарт у нас-де одинаковый.

А выйду — почему-то улица
 Во всю длину свою бахвалится:
 Пускай за домом дом сутулится,
 Да только нет, шалишь, не свалится!

Как насекомые, пиликай,
 И тикай, и даже звякая,
 Таится тишина великая,
 А в тишине — и нечисть всякая.

И сколько хожено и гажено,
 И сколько ряжено и сужено,
 И есть ли где такая скважина,
 Куда забиться прямо с ужина?

ГОСПОЖЕ ДУШЕ

Слушай, душенька, — спи или кушай,
 Не любуйся, голуба, со мной,

Не кидайся на шею кликушей:
 Я по самые губы сумной.

Иль не слышала слова такого, —
 Это значит, что сам я не свой,
 и готов отыграть Хлестакова,
 дрожью драить себя, как дресвой.

Ты, Психейка, со мной не актерствуй,
 Я, чай, издавна тертый калач —
 Ляг на язву мне корочкой черствой,
 А еще, дорогая, не плачь.

* * *

Приходит гость из Гатчины,
 как приговор от них —
 бобровый, молью траченный
 расстрига-воротник.

Метет он бородищею,
 язык тяжел, как пест,
 и в нем судьба Радичева
 и Аввакумов перст.

И доля дуралеева
 лелеет точно мзду
 в себе звезду Рылеева,
 Полярную звезду.

Несчастьем одураченный,
но чем-то вечно юн
ершистый, молью траченный
страдающий ворчун.

Бредя походкой шаткою,
он с болью — как с собой —
собольей машет шапкою,
как на судьбу рукой.

1969

ЖИЗНЬ ЗВАНСКАЯ

*Energie ist das oberste Gesetz der
Dichtkunst, sie malet also nie wertma-
ßig¹.*

Herder

Собой не может быть никто.
Державин

Я без воззваний жил во Званке,
Где звонки соловьи поют.
Приблудной музе-оборванке
Во флигеле я дал приют.

Она на пяльцах вышивала
Апостолов, орлов и львов,
И Дашенька не выживала
Из флигеля мою любовь.

Ни в чем пииту не перечая,
Оне ложились на кровать,
Любил обеих он, так неча
Обеим было ревновать.

И он не чаял в них измены,
Нижé — волнения молвы —
Сколь верны росские камни,
И жены тоже таковы!

Да что пиит! Будь он неладен,
Висит промежду перекладин,
Но невозможно жить без жертв:
Воистину тот жив, кто гладен,
Кто сыт да гладок — полумертв.

Покой мой дряхлый мне отраден,
И нет на мне чертовских черт,
И если все еще я жаден,
Так вот уж не до райских гадин!

Ужели жил я долго вскую
На животрепетном краю,
Очами глядя Волховскую,
Всегда переменную струю?

А дура-муза говорила
На перепутии стихий:
«Люблю тебя! Крути, Гаврила,
И перемалывай стихи!»

¹ Энергия — высший закон поэтического искусства, однако она не выражает его в полной мере (Гердер).

Но так ли глупы те чинуши,
Которым вечность суждена,
Что прозакладывают души
Под милости и ордена?

А что им крикнуть? Не «тубо» же?
Сим комнатным и гончим псам?
На них управы нету, Боже,
О том Ты ведаешь и Сам.

Но Званка, Званка крепостная,
Моя красавица, со мной,
И доживаю допоздна я
Хозяйски жизнью запасной.

Ломаю понемногу время,
В отставку выгнав целый век
Сижу во Званке, как в гареме,
Я, православный человек.

По осени брожу по ржавой,
Когда дожди меня поят,
И я Российской державой,
Как бабой доброю, объят.

Шагаю по стерне шершавой,
Хлебаю живописны щи.
А что там слышно за Варшавой?
Европа ропщет? Ну, ропщи.

Живу во Званке я под старость:
Приди, отец-архимандрит,
И зри, как оная мудрит,
Ввергаясь и в покой и в ярость.

Займи очей моих ревнивых,
Иди по строгой борозде,
И зри, как блещут зори в нивах,
И стелют шелком по воде.

Внемли же стук колес и гумен,
И песнь, что бьет ключом из дев,
И за меня молись, игумен,
Молебен, яко длань, воздев.

Я в иноческий чин не лезу,
И все мое еще при мне,
Да уподоблюсь я железу
И звездному огню в кремне.

Устрою нынче я смотрины
Для полнотелой осетрины:
Приди же, отче — а на нас
Умильно взглянет ананас.

На должно тут же сядет место
И белорыбица-невеста,
Преображенная в балык.

Резвятся крохотны пороки,
Когда, еще слагая строки,
Пиит уже не вяжет лык.

Да будешь, Боже, ты преславлен
Во всех житейских чудесах!
Я — росс, и Гавриил Державин
О сем писах, еже писах.

АВВАКУМ В ПУСТОЗЕРСКЕ

Ишь, мыслят что: чуть не живьем в могилу.
Врос в землю сруб, а все еще не гроб.
Свеча — и та, чадя, горит насилу,
Кряхтит в углу и дряхнет протопоп.

Ох, тошно! Снова разлучили с паствой!
Куда их подевали, горемык?
Царишка, здравствуй: ведаю указ твой.
Ну, властвуй, коли властвовать обык.

Несет по мелколесью грозной Русью,
Персты да руки рубит топорок,
Нет, не согнись под Никоновой гнусью,
Брысь, ироды! Вот Бог, а вот порог!

Свербит душа; дым ест глаза мне; веред
Пошел по телу, и скорбит нутро.
Челом царю? Москва слезам не верит!
И брызжет черной яростью перо.

БОРИС ФИЛИППОВ

1911—1962

Врач, начальник госпиталя во время войны. Учился в семинаре И. Сельвинского в Литинституте. Автор шести книг стихов, изданных в основном в Астрахани, где он жил.

ПРОСЬБА

Когда и я за караваном
Уйду в ту ночь, что всех темней,
Я скифским золотым курганным
Останусь в памяти твоей.
Твой день без ночи будет долог,
И ты продолжишь светлый путь.
Как знать?
Быть может, археолог
Пленит тебя, и где-нибудь

На перекрестке ваших тропок
Он станет голубя нежней...
Не разрешай ему раскопок
В душе и в памяти твоей.

ЭПИТАФИЯ

Стихи — вторая жизнь моя,
Вернее, жизни продолженье.
Еще вернее — к жизни я
Лишь временное приложенье.

МАРК ШЕХТЕР

1911, Екатеринослав — 1963

Родился в семье врача, учился и сам в медицинском институте, но с 1929 года стал печататься как поэт, и литература «перевесила». Первый сборник стихотворений выпустил в 1936 году в Днепропетровске под заголовком «Конец Екатеринослава». Воевал, занимался переводами и сразу после смерти оказался забыт — думается, не вполне справедливо.

* * *

Зачем глаза и губы мне
И всепрощающие уши?
Душа кричит наедине,
А ты ее не вправе слушать.
Глухонемой, веселым стань:
Тебе подобных в мире много!
Прилипла к языку гортань
И камни окликают бога.

НИНА ЭСКОВИЧ

р. 1911, Рославль Смоленской губ.

Поэтесса с очень своим, очень еврейско-русским воздухом стихов. Первый сборник стихотворений издала в 1965 году в Москве — «Лебяжий рукав».

КВАРТИРАНТКА

Давным-давно, еще во время оно,
жила на свете лилия Сарона.
Я думаю, что роза тоже есть.
...А было мне годков неполных шесть,
И я была гонима этой розой,
торговкой квасом,

пламенноволосой
и меднолицей розой, распаленной
просторными базарными ветрами.
Не будучи библейскою гуленой,
Она вставала ранними утрами.
Затем, что бог не сыпал с неба манны
для вдовой нашей квартирантки Ханы!

Вокруг ее широкой красной юбки
детей пасется двоечка.

Одна —
весь день жует, но вечно голодна.
У меньшего — запаздывают зубки.

За пологом — такой же юбкой вроде —
в подвешенной корзине бельевой,
в горячей, словно банька в огороде,
хибаре их дворовой угловой —
агукался он редко, односложно.
Как на море, его трясло с утра!
Его качала, сколько было можно
и тоже молча, девочка сестра.

Изюмный квас творенья Ханы Песиной,
воспетый ею, — царское питье!
Звонка она, горласта, Песня песней.
А после — хрипы, кашель, колотье.

А Женька мне:

«У Соломона зубки!»
Я рвусь туда, не требуя наград.
Так не идет же Хана на уступки.
Сует мне свой сушеный виноград
И от себя гоняет неуклонно.

Мой прадед вскинул на нее костыль,
заметив, как
роняю Соломона,
тяжелого, что Ханина бутылка!

В чепце и в одеялишке суконном
он — розовый — был мокрым,
но спокойным.

Ровесница моя покорна мне.
Ресницами похлопывает сонно...

И лишь в одном она сказала: «Не» —
не даст мне больше нянчить Соломона.

...Младенчество нехитрое, нагое!
Давным-давно я в памяти храню
одно никем не понятое горе.
У нас о святках резали свинью.

Я из дому — в ушанке, шубе... Визг
нагнал меня, в ушах моих повис!

Плетусь домой обиженная — словно
моя родня передо мной виновна.

Короткий бунт мой не был обнаружен
родными, что спешили справить ужин.
А Женька пялила глаза — точь-в-точь
изюмины, — моргала ими сонно.
Хотела есть и не спешила прочь.
Она всегда была к раздумью склонна.

Но час придет —
не побегу из дома.
Уже с утра, в предвиденье погрома,
моя родня лампы все заправит,
нательный крестик выпростает мне...
В обед икону молча снимет прадед.
И вот — стоит Пречистая в окне
и слушает, чело склонивши набок.

Спустили пса. Он лаять только мог.
Мигали глазки красные лампадок.
А дверь в чулан загородил комод.

За нею жизнь оцепенела строго,
как будто там ни выдоха, ни вдоха,
чужая мать с детьми не улеглась.

«У нас их нет!» —
беря насильно бога
в свидетели,
моя родня клялась.
Пресыщенный громила дюжий —
косо
поглядывал.

И в той ночи кривой
еще клялись моею белокозой,
нехитрою, курносою головой!

Растерянный Спаситель наш бесплотный
смолчит,
лампадок сдерживая дрожь.
А я смолчу, сжав кулачишко потный.
Хоть мне самой приставьте к горлу нож!

ОЛЬГА АНСТЕЙ

1912, Киев — 1985, Нью-Йорк

Из обрусевших немцев. В 1938 году в Киеве, — тайно, ночью, — обвенчалась с поэтом Иваном Матвеевым, позже известным как Иван Елагин: вместе с ним и попала в оккупацию. В 1943 году ее отыскала сестра, жившая в Праге с дореволюционных времен, и помогла Матвеевым выехать в Германию. Не составитель этой антологии, даже не Эренбург написали первое в истории стихотворение о зверствах в Бабьем Яру. Но в декабре 1941 года точное место расстрела было неизвестно, поэтому стихотворение Анстей названо «Кирилловские яры» — по названию всего района, где немцы ликвидировали арестованных. В конце войны оказалась в Мюнхене, в 1950 году переехала в США. Была переводчицей в ООН. Переводила на русский язык Рильке, Честертона, Теннисона, исполняла роль псаломщика при Свято-Серафимовском храме в Нью-Йорке. Автор двух сборников — «Дверь в стене» (1949) и «На юру» (1976).

КИРИЛЛОВСКИЕ ЯРЫ

I

Были дождинки в безветренный день.
Юностью терпкой колот терновник.
Сумерки и ковыляющий пень,
Сбитые памятники, часовни...
Влажной тропинкой — в вечерний лог!
Тоненькой девочкой, смуглой дриадой —
В теплые заросли дикого сада,
Где нелюбимый и верный — у ног!..
В глушь, по откосам — до первых звезд!
В привольное из привольных мест!

II

Ближе к полудню. Он ясен был.
Юная терпкость в мерном разливе
Стала плавнее, стала счастливей.
Умной головкою стриж водил
На меловом горячем обрыве.
Вянула между ладоней полынь.
Чебрик дышал на уступе горбатом.
Шмель был желанным крохотным братом!
Синяя в яр наплывала теплынь...
Пригоршнями стекала окрест
В душистое из душистых мест.

III

Дальше. Покорствуя зову глухому,
На перекресток меж давних могил
Прочь из притихшего милого дома,
Где у порога стоит Азраил —
Крест уношу, — слезами несътый,
Смертные три возносивший свечи,
Заупокойным воском облитый,
Саван и венчик выдавший в ночи...
Будет он врыт, подарок постылый,
Там, в головах безымянной могилы...
Страшное место из страшных мест!
Страшный коричневый скорченный крест!

IV

Чаша последняя. Те же места,
Где ликовала дремотно природа —
Странному и роковому народу
Стали Голгофой, подножьем креста.

Слушайте! Их поставили в строй,
В кучки пожитки сложили на плитах,
Полузадохшихся, полудобитых
Полузаваливали землей...
Видите этих старух в платках,
Старцев, как Авраам величавых,
И виффлеемских младенцев курчавых
У матерей на руках?

Я не найду для этого слов:
Видите — вот на дороге посуда,
Продранный талес, обрывки Талмуда,
Ключья размытых дождем паспортов!
Черный — лобный — запекшийся крест!
Страшное место из страшных мест!

Декабрь 1941, Киев

* * *

Я человека в подарок получила,
Целого, большого, с руками и ртом!
Он ест, и сопит, и что бы ни спросила —
Он помолчит и ответит потом.

Я в теплые волосы ему подышала,
Никогда обещала ему не врать,
На него одного смотреть обещала,
А больше не знаю, как с ним играть!

* * *

Я примирилась, в сущности, с судьбой,
Я сделалась уступчивой и гибкой.
Перенесла, что не ко мне — к другой
Твое лицо склоняется с улыбкой.

Не мне в тот зимний именинный день
Скобленный стол уставить пирогами,
Не рвать с тобою мокрую сирень
И в желтых листьях не шуршать ногами.

Но вот когда подумаю о том,
Что в немощи твоей, твоим закате
Со шприцем, книжкой, скатанным бинтом —
Другая сядет у твоей кровати.

Не звякнув ложечкой, придвинет суп,
Поддерживая голову, напоит,
Предсмертные стихи запишет с губ
И гной с предсмертных пролежней обмоет —

И будет, став в ногах, крестясь, смотреть
В помолодевшее лицо — другая...
О Боже мой, в мольбе изнемогаю:
Дай не дожить... Дай прежде умереть.

ЛЕОНИД ВИЛКОМИР

1912, Старая Бухара — 1942, район Новочеркаска

Еще один поэт, погибший на войне и оттого бережно сохраненный советским литературоведением. Он печатался с 1931 года, объехал корреспондентом весь СССР и даже в том самолете, где погиб под Новочеркасском, числился «корреспондентом», хотя исполнял обязанности стрелка-радиста. Составитель антологии когда-то заимствовал у него эпитет из тончайшей строки «подробные руки часовщика».

ВДОХНОВЕНИЕ

Пришло оно.
Свободно и покорно
Ложатся строчки...
Так растет листва,
Так дышит соловей,
Так звуки льет валторна,
Так бьют ключи,
Так стынет синева.

Его огонь и силу торопитесь
Вложить в дела.
Когда оно уйдет,
Почувствуешь, что ты —
Ослепший живописец,
Оглохший музыкант,
Низвергнутый пилот.

1934

АЛЕКСАНДР ГЛАДКОВ

1912, Муром — 1976

Остался в литературе прежде всего как автор знаменитой пьесы «Давным-давно», успешно ставшей также и кинофильмом. Но он был еще и лауреатом Сталинской премии, и долголетним зеком в Архангельской области, и поэтом: первые варианты пьес «Давным-давно» и «Зеленая карета» были написаны стихами, но на сцену они попали «в прозе», зритель стихов не любит, как давно выяснили советские режиссеры, при помощи теории Станиславского научившие актеров читать стихи как прозу. А Гладков был именно поэтом, и как раз стихи его в основном по сей день лежат неизданными.

* * *

Мне снился сон. Уже прошли века
И в центре площади знакомой, круглой —
Могила неизвестного Зека:
Меня, тебя, товарища и друга...

Мы умерли тому назад... давно.
И сгнил наш прах в земле лесной, болотной,
Но нам судьбой мозолистой и потной
Бессмертье безымянное дано.

На памятник объявлен конкурс был.
Из кожи лезли все лауреаты,
И кто-то, зная, медаль с лицом усатым
За бронзовую славу получил.

Нет, к черту сны!.. Бессонницу зову,
Чтоб перебрать счет бед в молчаньи ночи.
Забвенья нет ему. Он и велик и точен.
Не надо бронзы нам — посейте там траву.

1952

ЛЕВ ГУМИЛЕВ

1912, Царское Село — 1992, Петербург

Сын Анны Ахматовой и Николая Гумилева, он входил в жизнь, напутствуемый стихами Марины Цветаевой: «Дай ему Бог — вздох и улыбку — матери, взгляд — искателя жемчугов... Рыжий львеныш с глазами зелеными, страшное наследье тебе нести!..» Эти цветаевские стихи 16-го года стали пророческими в судьбе Льва Гумилева: он пережил расстрел отца, травлю матери и сам дважды был репрессирован. Но, несмотря на все это, экстерном окончил исторический факультет Ленинградского университета, защитил две докторские диссертации — по историческим и географическим наукам, стал крупнейшим востоковедом — автором научных трудов, получивших не только всероссийское, но и мировое признание. И в то же время он, сын знаменитых поэтов, сам дерзнул откликнуться на зов Музы и тоже писал стихи.

* * *

Дар слов, неведомых уму,
Мне был обещан от природы.
Он мой. Велению моему
Покорно все. Земля и воды,
И легкий воздух, и огонь
В одном моем сокрыты слове.
Но слово мечется, как конь,
Как конь вдоль берега морского,
Когда он бешеный скакал,
Влача останки Ипполита

И помня чудища оскал
И блеск чешуй, как блеск нефрита.
Сей грозный лик его томит,
И ржання гул подобен вою,
А я влачусь, как Ипполит
С окровавленной головою,
И вижу: тайна бытия
Смертельна для чела земного
И слово мчится вдоль нея,
Как конь вдоль берега морского.

1934

МИРОН ЛЕВИН

ок. 1912—1941 (?), Ялта

Незаслуженно забытый ленинградский поэт. Он был неизлечимо болен туберкулезом и умер, очевидно, в 41 году в одной из ялтинских больниц. А стихи его продолжали жить, в самом разгаре войны, в 43 году, как свидетельствует поэт Михаил Львовский, ходили по Литинституту и оказались более долговечными, чем иные, тиражированные в печати отклики на потребу дня. Именно Мирону Левину принадлежат строки: «Но час пробьет, и я умру. Поплачьте надо мной. И со слезами, поутру, Заройте в шар земной», — строки, которые позже аукнулись в стихотворении Сергея Орлова «Его зарыли в шар земной...».

* * *

На дороге столбовой
Умирает рядовой.
Он, дурак, лежит, рыдает
И не хочет умирать,
Потому что умирает,
Не успев повоевать.
Он, дурак, не понимает,
Что в такие времена
Счастлив тот, кто умирает,
Не увидев ни хрена.

Эх, дороги...
 Пыль да туман,
 Холода, тревоги
 Да степной бурьян.
 Край сосновый.
 Солнце встает.
 У крыльца родного
 Мать сыночка ждет.
 И бескрайними путями —

степями,

полями —

Всё глядят вослед за нами
 Родные глаза.

Эх, дороги...
 Пыль да туман,
 Холода, тревоги
 Да степной бурьян.
 Снег ли, ветер
 Вспомним, друзья.
 ...Нам дороги эти
 Позабывать нельзя.

1945

СЕРГЕЙ ПОДЕЛКОВ

р. 1912, д. Песочня Калужской губ.

Представитель военного поколения в советской поэзии. В 1935—1938 годах отбывал срок в Ухтопечлаге, в конце этого срока и написано приводимое нами стихотворение.

* * *

Лик Пантократора на старом древке
 был строг, безумен, темен, — и под ним,
 смеясь, пахали парни, пряли девки
 и без оглядки пели жизнь, как гимн.

Теперь нам ложь и страх ломает брови,
 и честь хрипит, как под ножом овца,
 мы поднимаем флаг — он в пятнах крови,
 и нет лица, и нет лица...

Март 1938

НИКОЛАЙ СТЕФАНОВИЧ

1912—1979, Москва

Лет двадцать тому назад Слуцкий прочел мне четыре строки. Меня поразила эта строфа своей почти тютчевской концентрацией мысли, и я взял ее эпиграфом к американскому изданию моих стихов «Краденые яблоки». Однако с автором мне так и не удалось познакомиться. Стефанович был актером. В 41 году он дежурил на крыше Вахтанговского театра, когда в него угодила фашистская бомба, стал инвалидом. Занялся переводами. Виделся и переписывался с Пастернаком, Эренбургом, однако печатать свои стихи не спешил. Это поэзия, написанная с исповедальной чистотой.

* * *

У всех у нас единый жребий:
 лишь стоит ногу подвернуть,
 и в тот же миг в Аддис-Аббебе
 от боли вскрикнет кто-нибудь.

Погибло все, — дворы, закаты, весны,
 Июль душистый, март великопостный.

С тех пор, как весть услышал роковую,
 Я вообще уже не существую.
 Зову тебя: откликнись, наконец, —
 Поговорим, как с мертвецом мертвец...

* * *

До чего ж характер
 Труден и не прост
 У слепых галактик,
 У безумных звезд.

Мрачная эпоха,
 Произвол планет...
 Хорошо, что плохо,
 Если Бога нет.

* * *

Тот угрюмый дом через улицу
 И вот этот, его визави —
 Оба дома чернеют, сутулятся
 От безумной взаимной любви.

Окна в окна глядятся косо.
 Каждый раз наступает ночь,
 Но приблизиться нету способа:
 Только видеть, желать и не мочь.

* * *

Весть страшная, меня испепелив,
 Была как бомбы водородной взрыв.

Опоенные тем же зельем
 Мы с тобою сходили с ума,

А теперь вот окаменели
Даже больше, чем эти дома.

* * *

Зачем от замураванной золы
Седых осин осенние стволы
Хотят бежать с проклятого погоста,
И страх зудит, как терпкая короста,
Во все вползая щели и углы?

Зачем так много холода и мглы?
Не умирать — ведь это очень просто.

* * *

Мы прятались, в саду желтела осень...
Прошли года, но миг минувший цел,
И мячик тот, что я тогда подбросил,
Еще упасть на землю не успел.

Еще лучи на той же спинке стула,
И, может быть, вбегая в этот сад,
Ту бабочку, что только что вспорхнула,—
Вспугнули мы сто тысяч лет назад.

* * *

Когда-то за розовым дымом
Я видел раскрытую дверь,
Но это ни с чем несравнимым
Становится только теперь.

Для сердца, что даже не бьется,
Которое полумертво —
Как много еще остается,
Когда уже нет ничего.

* * *

Мой внезапный порыв безотчетен,—
К той, кого никогда не найти,
Я хочу между сотнями сотен
Перекрестков, огней, подворотен,
Отыскать, наконец-то, пути.

Я рванусь к остановке трамвая
Сквозь бульваров ночных забытье,—
Будут звезды, дворы, мостовая,—
И пойму, что, меня создавая,
Не могли не создать и ее...

ВАДИМ СТРЕЛЬЧЕНКО

1912, Херсон — 1942, под Вязьмой

Родился в семье служащего. Детство и юность — в Одессе, где учился в школе-семилетке и работал слесарем на заводе. В 1931 году окончил Харьковский автомобильный техникум. Поступил в Литературный институт в Москве, где учился два года. Печатался с 1929-го. Первый сборник «Стихи товарища» вышел в Москве в 1937-м. Красный флаг, воспетый им, однако, не спас поэта от пули. Могли Стрельченко, да и другие убитые на войне поэты, догадаться, что когда-нибудь этот флаг перестанет быть государственным?

МОЯ ФОТОГРАФИЯ

На фотографии мужчина снят.
Вокруг него растения торчат,
Вокруг него разросся молочай —
И больше ничего... Безлюдный край!
И больше ничего, как будто он
И вправду под капустою рожден...

Я с удивлением гляжу на свой портрет:
Черты похожи, а меня и нет!
Со мной на фотографии моей
Должны бы сняться тысячи людей,
Людей, составивших мою семью.

Пусть мать качает колыбель мою!
Пускай доярки с молоком стоят,
Которое я выпил год назад.
Оно белело, чисто и светло,
Оно когда-то жизнь мою спасло.

Матрос огромный, с марлей на виске,
Качающийся на грузовике

В гробу открытом лунной ночью... Он
Сошел на землю охранять мой сон,
Акацию и школьную скамью —
И навсегда вошел в мою семью.

А где-то сзади моего лица
Найдется место и для подлеца,
Чей прах в земле — и тот враждебен мне:
Явись, Деникин, тенью на стене!

Торговка Марья станет в уголке —
Купоны, боны, кроны в кошельке,—
Рука воровки тянется к плодам...
Я враг скупцам, лжецам и торгашам!

Со мною должен сняться и солдат,
Мной встреченный семнадцать лет назад.
(Такое шло сиянье по волне,
Что стыдно было плюнуть в воду мне.)

Солдат французский в куртке голубой,
Который дыню поделил со мной,
Почуяв мальчика голодный взгляд...

Шумело море... Где же ты, солдат?
Забыв твои глаза, улыбку, рот —
Я полюбил всей Франции народ.

Так я пишу. И предо мной портрет,
Ему уже конца и края нет:
Явитесь, хохоча и говоря,
Матросы, прачки, швеи, слесаря.
Без вас меня не радует портрет:
Как будто бы руки иль глаза нет.

Учителя, любившие меня!
Прохожие, дававшие огня!
Со мною вы. Без вас, мои друзья,
Что стоит фотография моя!

1936

РОДИНЕ
(надпись на книге)

Трижды яблоки поспевали.
И пока я искал слова,

Трижды жатву с полей собирали
И четвертая всходит
Трава.

Но не только сапог каблуками
Я к земле прикасался
И жил
Не с бумагами да пузырьками
Черных, синих и красных чернил!

Но, певец твой, я хлеба и крова
Добивался всегда не стихом,
И умру я в бою
Не от слова,
Материнским клянусь молоком.

Да пройду я веселым шагом,
Ненавистный лжецам и скрягам,
Славя яблоко над землей,
Тонкой красной материи флагом
Защищенный, как толстой стеной.

1937

МАРК ЛИСЯНСКИЙ

1913, Одесса — 1993, Москва

Родился в семье грузчика. Детство и юность провел в Николаеве, где учился в средней школе и школе ФЗУ. С 1934 по 1941 год работал в редакциях областных газет Харькова, Иванова, Ярославля. Во время войны был командиром саперного взвода, затем редактором дивизионной газеты «В бой за Родину». Печататься начал с 1929 года. Первый сборник «Берег» вышел в Ярославле в 1940-м. Во время войны не было ни одного человека в СССР, кто не знал бы песню «Моя Москва».

МОЯ МОСКВА

Я по свету немало хаживал,
Жил в землянках, в окопах, в тайге,
Похоронен был дважды заживо,
Знал разлуку, любил в тоске.
Но Москвою привык я гордиться
И везде повторял я слова:
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!

Я люблю подмосковные рощи,
И мосты над твоею рекой.
Я люблю твою Красную Площадь
И кремлевских курантов бой.

В городах и далеких станицах
О тебе не умолкнет молва,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!

Мы запомним суровую осень,
Скрежет танков и отблеск штыков,
И в сердцах будут жить двадцать восемь
Самых храбрых твоих сынов.
И врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!

1941

ВЛАДИМИР ЛИФШИЦ

1913, Харьков — 1978, Москва

Отец поэта — профессор-медик. В 1933 году Лифшиц окончил Финансовый институт; первый сборник «Долина» выпустил в 1936 году. Высокий, слегка холодноватый профессионал ленинградской школы. Дети моего поколения учили наизусть стихи Лифшица о гражданской войне в Испании. Во время войны печатался в газетах Ленинградского фронта. Лифшиц останется в литературе как автор одной из самых ловких литературных мистификаций советского времени: он выдумал английского поэта Джеймса Клиффорда, погибшего во время войны, при наступлении в Арденнах, — и в итоге напечатал в СССР некоторое количество собственных стихотворений, которые цензура стерпела как переводы, но никогда не пропустила бы как оригинальное творчество советского поэта. Мистификация имела место в 1966 году, — к счастью, заметных неприятностей она автору не причинила.

СТОЛ

В сыром углу мой грозный стол
Стоит с надменностью монгола
На грузных тумбах, вросших в пол,—
На тумбах, выросших из пола.

Я знаю, этот стол стоит
Века — с невозмутимым видом,
Суконной плесенью покрыт,
Как пруд в цветенье ядовитом.

С тех пор как хам за ним сидел
Времен Судейского Приказа,
Он сам участник черных дел —
Мой стол, пятнистый, как проказа.

Потел и крикал костолом,
На стенах гасли блики зарев.
За настороженным столом
Указ вершили государев.

Но в раззолоченный камзол,
В глаза ханжи и богомола
Плевала кровью через стол
Неистребимая крамола!..

Мой друг — эмпирик. Он не зол.
Но вы представьте положение:
«На грузных тумбах — грозный стол», —
Одно мое воображенье!

Он вышел некогда из недр
Древообделочного треста,
Был скверно выкрашен под кедр
И скромно занял это место.

Он существует восемь лет.
Разбит. Чернилами измазан...
Должно быть, так...
Но я — поэт
И верить в это не обязан!

1934

БОКС

Халат в малиновых заплатах
Боксер срывает молодой,
И публика, пройдя за плату,
Гремит ладонью о ладонь.

Халат в сиреневых заплатах
Боксер снимает молодой,
И публика, чтоб не заплакать,
Гремит ладонью о ладонь.

Сведя бугры надбровных дуг,
Бойцы вступили в зону боя,

Потом сплелись в безмолвный круг,
В одно мелькание рябое:

И тот, чьи губы — красный лак,
И тот, чья лапа бьет, нацелясь,
И тот, чей выброшен кулак,
И тот, чья вывихнута челюсть.

Я на свою соседку с края
Взглянул и чуть не крикнул: «Брысь!..»
Она сидела не мигая,
Как зачарованная рысь.

1935

* * *

Я вас хочу предостеречь
От громких слов, от пышных встреч —
Солдатам этого не надо.
Они поймут без слов, со взгляда:
Снимать ли им котомку с плеч.

1945

СО

Сослуживец, сотрапезник,
Собутыльник, собеседник —
Сколько этих СО!
Друг без друга невесома,
Грозным временем несомы,
Попадаем в эти СО мы
Белкой в колесо.

Вот идет, одетый в ватник,
Твой солагерник, соратник,
Соучастник бородатый
(Впрочем, он же — соглядатай
И сожитель завстоловой —
Бабы толстой и соловой).

Вот идет сотрудник банка,
Сопричастный составленью
Авизовки, чека, бланка,
Не подверженный сомнению.

Вот собрат, а вот соперник,
Сочинитель и создатель,
Со-Бетховен, со-Коперник,
Со-по-улице-шагатель,
Соискатель, сомолчатель...

Ну, а если ты — рыбешка
Не стандартного засола
И желаешь хоть немножко
Порезвиться в жизни соло,
Вне союзов и собраний,
Вне сообщества соседей,—

Будешь согнут в рог бараний,
Будешь сослан в край медведей,
К сокрушителям суставов,
К блюстителям уставов...

Станут соучениками
Эти маленькие дети
И согражданами станут
Сосуществовать на свете,

И сочленами, доколе
Клубов тьма и академий,
И сотрупами — по воле
Войн и прочих эпидемий.

Сосчитал бы, да не буду,
Сколько этих СО повсюду...

Средь густых событий быта,
Коим тоже отдал дань я,
Лишь сочувствие забыто
И забыто состраданье.

ИЗ СТИХОВ ДЖЕЙМСА КЛИФФОРДА
ОТСТУПЛЕНИЕ В АРДЕННАХ

Ах как нам было весело,
Когда швырять нас начало!

Жизнь ничего не весила,
Смерть ничего не значила.
Нас оставалось пятеро
В промозглом блиндаже.
Командованье спятило
И драпало уже.
Мы из консервной банки
По кругу пили виски,
Уничтожали бланки,
Приказы, карты, списки,
И, отдаленный слыша бой,
Я — жалкий раб господен —
Впервые был самим собой,
Впервые был свободен!
Я был свободен, видит бог,
От всех сомнений и тревог,
Меня поймавших в сети.
Я был свободен, черт возьми,
От вашей суетной возни
И от всего на свете!..
Я позабуду мокрый лес,
И тот рассвет, — он был белес, —
И как среди призрачных стволов
Текло людское месиво,
Но не забуду никогда,
Как мы срывали провода,
Как в блиндаже приказы жгли,
Как все крушили, что могли,
И как нам было весело!

ВАЛЕРИЙ ПЕРЕЛЕШИН

1913, Иркутск — 1992, Рио-де-Жанейро

Потомок старинного польского рода, Валерий Салатко-Петрище семилетним ребенком был увезен матерью из России в Харбин, где жил до 1939 года; очень рано начал писать стихи и печататься — прежде всего в харбинском еженедельнике «Рубеж». Начиная печататься, взял псевдоним Перелешин, который и проставлен на всех его книгах. Первая книга — «В пути» — вышла в Харбине в 1937 году, последняя, тринадцатая, — «Вдогонку» — в США в 1988 году. Выходили книги и во Франции, и в ФРГ, и в Голландии; в 1987 году опубликована прозаическая книга Перелешина «Два полустапка», воспоминания о литературной жизни русских общин в Харбине и Шанхае. С 1953 года поэт жил в Бразилии. Его перу принадлежат также две книги стихотворений на португальском языке, многочисленные переводы — по образованию Перелешин китаист. В зарубежном литературоведении Валерия Перелешина традиционно называют «лучшим русским поэтом Южного полушария...». Одно из последних писем в Москву он заканчивает так: «Примирение всегда лучше упорства в ненависти, и в нынешнем случае оно тем легче, что от нас, русских поэтов Зарубежья, никаких подписок, изъятий, обещаний не требуется. Просто пришла пора позабыть старые распри, давно потерявшие смысл междоусобицы. У многих из нас, как у меня, жизнь на исходе. Тем радостнее, что, прощаясь с нею, мне будет на кого и на что оглянуться с надеждой». Поэт умер 7 ноября 1992 года, твердо зная, что уже вернулся «в Россию — стихами».

* * *

В час последний, догорая,
Все желанья угашу:
Только мира, а не рая,
Умирая, попрошу.

Вечной славы мне не надо,
Но скользнуть бы наяву
В предвечернюю прохладу,
Тишину и синеву.

Пусть восходят в ярком свете
Отдаленные миры, —

Я усну, как дремлют дети,
Утомившись от игры.

9 января 1947, Шанхай

ЗАБЛУДИВШИЙСЯ АРГОНАВТ

Мне в подарок приносит время
Столько книг, и²мыслей, и встреч,
Но еще легковесно бремя
Для моих неуставших плеч.

Я широк, как морское лоно:
Все объемя и все любя,

Все заветы и все знамена,
Целый мир вбираю в себя.

Но, когда бы ведать, что с детства
Я Китаю был обручен,
Что для этого и наследства,
И семьи, и дома лишен, —

Я б родился в городе южном —
В Баошане или Чэнду —
В именитом, степенном, дружном,
Многодетном старом роду.

Мне мой дед, бакалавр ученый,
Дал бы имя «Свирель Луны»
Или строже: «Утес Дракона»,
Или тише: «Луч Тишины».

Под горячим солнцем смуглея,
Потемнело б мое лицо,
И серебряное на шее
Все рельефней было б кольцо.

И, как рыбки в узких бассейнах
Под шатрами ярких кустов,
Я бы вырос в сетях затейных
Иероглифов и стихов.

Лет пятнадцати, вероятно,
По священной воле отца,
Я б женился на неопрятной,
На богатой дочке купца.

Так, не зная, что мир мой тесен,
Я старел бы, важен и сыт,
Без раздумчивых русских песен,
От которых сердце горит.

А теперь, словно голос долга,
Голос дома поет во мне,
Если вольное слово «Волга»
На эфирной плывет волне.

Оттого, что при всей нагрузке
Вер, девизов, стягов и правд,
Я — до костного мозга русский
Заблудившийся аргонавт.

29 июня 1947

* * *

За свечой — в тени — Засвечье,
за шестком — в углу — Запечье,
за спиной — ничком — Заплечье,
за рекой — свистком — Заречье,
Заболотье, Задубровье,
Заозерье, Заостровье,
Забайкалье, Заангарье,
Забурунье, Заполярье,
Заамурье, Заонежье,
Заграничье, Зарубежье,
Забездомье, Заизгнанье,
Завеликоокеанье,

Забразилье, Запланетье,
За-двадцатое-столетье.

1972

ПУТЬ

Когда взойду к заоблачной вершине,
Светило дня опять увижу с гор:
Мне запретил Рабиндранат Тагор
Прервать подъем на первой половине.

В мирских делах звучит упрек пустыни,
В оседлости — кочевничий укор,
В усталости — грядущий приговор,
В телесности — попрание святыни.

Там, наверху, ни братьев, ни врагов,
Ни женских рук, ни хрупких очагов,
А сколько раз я жаловался Богу

На жизнь мою в бессолнечной стране,
На плен земной: за душу-недотрогу
Винил Его. А ночь была во мне.

14 сентября 1977, Рио-де-Жанейро

ГРАЖДАНИН МИРА?

Шекспир, Корнель — конечно же велики:
Кочевник, их я прячу в сундуки,
Где финский нож, норвежские коньки
И — заодно — полинезийский Тики.

Я не один. Мы все неоднородны
И влопыхах мешаем языки,
Когда ворчим — и в приступе тоски
Болят виски и хочется брусники.

Но плена нет, ни вавилонских рек:
Я в Сузах перс, а в Фермопилах грек
И не зубрю глаголиц и кириллиц.

Я в Лондоне — один из англичан,
А в Гернинге — датчайший из датчан,
В Стокгольме швед, но и в Москве — бразилец!

4 января 1983

ГЛЕБУ ГЛИНКЕ

Не простую дали нам задачу,
До сих пор она не решена:
Так и пережевываем жвачку,
Путая шальные времена.

Было завтра¹, но в укор пророкам
(Давешним: история стара),
Оттеснило нас железным боком
За сегодня. Даже за вчера.

А вчера — уж нет его, но будет:
Трубачи — «Коль славен» — торжество.
Пусть меня праправнуки разбудят,
Чтоб я встал и не проспал его.

¹ «Было завтра» — название сборника Г. А. Глинка.

ИВАН РОГОВ

1913—1942

Уроженец Нижегородской губернии, в которой прошла почти вся его короткая жизнь. В 1941 году закончил Горьковский педагогический институт. Потом — фронт, где 18 августа 1942 года минометчик Иван Рогов погиб. Первая книга его вышла много лет спустя — «Письма друзьям», 1965. Судя по сохранившимся письмам и стихам, это был очень чистый человек, искренне веривший, что «Очень правильная эта, наша Советская власть», что не отнимет она ничего у просто деревенской бабы, а, напротив, придет от имени этой власти эдаким Дедом Морозом бригадир и приведет ей, бескорыстной бедолаге, телушку по кличке Жданка — а там и до коммунизма подать рукой. Но подать рукой было до смерти.

ЖДАНКА

Зябко. Багровый качается чад,
В полутемень двора уходящий. Светает.
Словно зубы, продрогшие прутья стучат.
Ни души. Где-то кот промяукал. Взлетая,
Снова падают галки на свежий настил.
Выходи и шепчи драгоценное имя.
Повторяй в пустоте, выбивайся из сил!
Веруй, жди и зови! Если бог не простил,
Он простит, потрясенный словами твоими.
До чего опостытели, если б кто знал,
Эти поиски ошупью неизвестного счастья.
Лучше — дверь на крючок! Лучше ниц,

наповал,
Запереться, закрыться, чтоб никто не видал
И никто б не ходил с лицемерным участием.
Вот что вспомнила ты:
Шеи вполборот,
Извивая хвосты, золотясь на закате,
Возвращались коровы. Их ждут у ворот
С дойниками, с куском и в подоткнутом
платье.

Начиналась веселая музыка струй,
Ударяющих в донце протяжно и мило.
А тебе становилось невмочь. Протестуй!
Позови! Хоть одна бы на зов своротила!

Ни одна.
Опускается пыль под окном.
Ты ходила в чужие дворы и глядела,
Как коровы жевали; парным молоком
Там тебя обдавало в пушистых приделах!

Ты не раз создавала такой же придел.
Ты его утепляла мечтами своими.
И боясь, не дознался бы кто, не доглядел,
Ты в него поселяла красивое имя.

Ты клялась этим именем богу. Детей
Им кормила, как соской, себя утешала.
И ждала. И ждала, чтоб оно из клетей
На истошный твой зов на заре замычало.
А оно не мычало. Молчало оно.
Все припомнила ты. Это было давно.

И когда после всех ожиданий и бед,
От колхоза в лице бригадира явилась
Делегация с рыжим теленком к тебе,
Ты не знала, что делать, засуетилась.
Ну а что тебе делать? Не стыдиться ж людей?
Ты не будешь стоять за чужими дворами,
Принеси ей соломы, неси, не жалея,
Расстели ей солому коврами, коврами!

Выйдешь утром и в сонном уюте, впотьмах
Ты накормишь ее, напоишь деловито.
С каждым утром прямее стоит на ногах,
Тяжелее басок, и твердеют копыта.
Вот она все увереннее жует,
Ни забот для нее, ни мечтаний не жалко.

Дай ей имя, как думала. К ней подойдет
Нареченное имя красиво — Жданка.

1934

БОРИС РУЧЬЕВ

1913, Троицк Оренбургской губ. — 1973, Магнитогорск

Рабочий комсомольский поэт, пришедший в литературу с Магнитки. В 1933 году в Свердловске вышла первая книга «Вторая Родина». В 1937 году был незаконно репрессирован, реабилитирован только в 1957-м. Поэмы «Прощание с юностью», «Любава» близки «Строгой любви» Ярослава Смелякова, рассказывают о комсомоле первых пятилеток. Однако в отличие от Смелякова, который в целом поддерживал «новую волну» советских поэтов, выступивших после 1953 года со стихами против Сталина, Ручьев неожиданно для нас всех стал критиковать это направление и за содержание, и за новую форму.

СТИХИ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ

I
Александра Соловьева,
ты ли все четыре дня

в платье шелку голубого
наряжалась для меня?
Из-за ясных глаз, родная,
по такой в ночном бреду
вечно юноши страдают

на семнадцатом году.
 Встанешь с правой стороны —
 мне и ноги не верны.
 Склонишь голову к плечу —
 я от страха замолчу.
 И шагаю, как в метели,
 радость в сердце затая,
 Александра, неужели,
 Александра, ты моя?..
 Фонари горят — не вижу,
 поезда гремят — не слышу,
 грудь подставляю хоть ножу
 и ни слова не скажу.

Я считал себя ученым,
 кое-как науки знал,
 подрастающих девчонок
 вечерами провожал.
 Первым басом песни пел,
 целоваться не умел.
 Не нашел я в мире слова,
 от какого бродит кровь,
 Александре Соловьевой
 описать свою любовь.
 Не ответил, как хотел,
 ей в глаза не поглядел.
 Говорил про легкий воздух,
 про медовый лунный свет,
 о больших и малых звездах,
 о скитаниях планет.
 Грел на сердце, не таю,
 думку тайную мою —
 думал:
 ахнет Александра,
 Александру удивлю,
 думал, скажет Александра:
 «Я за то тебя люблю!»
 Александра Соловьева,
 где ты видела такого?
 Подымал я к звездам руки,
 спотыкаясь о кусты,
 познавала ты науки
 и в глаза глядела ты.
 На четвертый вечер вдруг
 отказалась от наук...
 Сел я, горький и суровый,
 папиросу закурил.
 Александре Соловьевой
 ничего не говорил.
 Час — ни слова, два — ни слова,
 только дым над головой.
 Александра Соловьева,
 ты ли мучилась со мной?
 Ты ли кудри завивала,
 чтобы я их развивал,
 ты ли губы раскрывала,
 чтобы я их закрывал?
 Ты ли кудри расчесала,
 робость подлюю кляня,

ты ли губы искусала
 от досады на меня?..

Над зарей фонарь горит,
 Александра говорит:
 — Ах, как холодно в саду,
 ноги стыннут, как на льду,
 за науки вам спасибо,
 а домой — сама дойду!..
 Я сидел как равнодушный
 и ответил, как в бреду,
 что, напротив, очень душно
 в этом пламенном саду...
 Длинной бровью повела,
 руку в руку подала,
 Александра Соловьева
 повернулась и ушла.

II

Всю ту зимушку седую
 как я жил, не знаю сам,
 и горюя и бедую
 по особенным глазам.
 Как два раза на неделе
 по снегам хотел пойти,
 как суровые метели
 заметали все пути...
 Как пришел я в полночь мая,
 соблюдая тишину,
 задыхаясь, замирая,
 к соловьевскому окну —
 про любовь свою сказать,
 Александру в жены звать.
 Александра Соловьева,
 ты забыла ли давно
 двадцать пять минут второго,
 неизвестный стук в окно?

Вышла в сени по ковру,
 улыбнулась не к добру,
 вышла с тальими глазами,
 вся в истоме, вся в жару.
 Будто пчелы с вешних сот
 на лице собирали мед,
 да ослепли медоноски,
 всю изжалили впотымах —
 две медовые полоски
 прикипели на губах.
 Кудри сбиты и развиты,
 пали замертво к плечам,
 плечи белые повиты
 в крылья черного плаща.
 Плащ до самого следа,
 сверху звезды в два ряда,
 плащ тяжелый, вороненый,
 весь зеркальный, как вода.
 Перелетные зарницы
 на волнах его горят,
 самолеты на петлицах

к нему медленно летят...
И ударил с неба гром,
улыбнулся я с трудом.
— Вот,— сказал я,—
здравствуй, что ли,
я стучался под окном.
Объясни мне, сделай милость,
если дома ты одна,
в чью одежду нарядилась,
от кого пьяным-пьяна?
Покраснела Александра,
погасила в снях свет.
И сказала Александра:
— Александры дома нет!..

Александра Соловьева,
как бежал я до огня
от холодного, ночного
соловьевского окна!
Над землею птичьи стаи,
птичьи свадьбы засвистали.
Я, шатаюсь, шел вперед
от калиток до ворот.
И лежала в реках мая,
палисады окрыля,
в тайных криках, как немая,
оперенная земля,
вся в непряженом шелку,
вся в березовом соку.

ЯН САТУНОВСКИЙ

1913—1982

При жизни опубликовал четырнадцать книжек для детей. Говорят, старая поэтесса Благинина, всю жизнь сочинявшая стихи для детишек, тайком хранившая стихи мужа Егора Оболдуева и свои, все очень серьезные и страшные порой, со зла сочинила в конце жизни такое:

На зеленой на лужайке
Скачут белки, пляшут зайки,
И поют на все лады
Птички — мать их растуды.

Во многом поэзия Сатуновского вот такая же, со зла на то, что жизнь живешь не ту, какую хочешь, а какая выпала, и скажи спасибо, что вообще живешь и пишешь, и даже что-то зарабатываешь литературой. А еще — Сатуновского любила молодежь, и он любил ее. Он еще в 60-е годы стал писать то, что многие пишут сейчас, в 90-е.

* * *

Друзья мои, я отоварился!
Я выбил в кассе жир и сахар!
Я выскочил, как будто выиграл
сто тысяч.
Мне вышибла мозги
Москва.

Теперь я знаю, как это делается:
берется человек;
разделяется под орех;
весь в кровоподтеках, весь.

Он мечется между колоннами метро
и карточными бюро.
Он меченый;
от него отворачиваются товарищи;
но он еще не вещь,
он это он.
Тогда ему суют талон
и —
я не я, я отоварился.

1945

* * *

И хоть слушаешь их в пол-уха,
рапортчек этих слова,
от Великой Показухи

засупонивается голова,
так,
что сам начинаешь верить,
что до цели — подать рукой.
Так веди нас, товарищ Зверев
(чем он хуже, чем любой другой!)

Сентябрь 1961

* * *

Я хорошо, я плохо жил,
и мне подумалось сегодня,
что, может, я и заслужил
благословение Господне.

* * *

У меня — отличное здоровье,
никакого малокровия,
ни черта, врут все врачи,
желудок варит как часы,
вчера, в час дня,
все
женщины смотрели на меня.

* * *

Ел филе.
Пил «біле».
И болел за Пеле.

* * *
 Может быть,
 в каком-нибудь Энке,
 может, в Гомеле,
 может, в Козельске
 старый нищий
 вроде меня
 ходит,
 ищет
 «вчерашнего дня».
 Может, где-то в селе сибирском
 у распластанного плетня
 кто-то дальний
 и кто-то близкий
 вспоминает кого-то — меня.

21 августа 1963, Днепрпетровск

* * *
 В апреле
 земля прееет,
 баня парит,
 баня и правит.

Так вяжи
 гужи
 пока свежи!

Да не бей
 Фому
 за Ерёмину вину,
 нынче кривда
 только за морем кричит,
 а у нас в Москве
 в лапти звонят:

пожалел затылок,
 хлопыстнул в висок.

Этот стих весь составлен из русских пословиц.

11 декабря 1966

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

А на улице весна.
 Играет в цурки пацанва.
 И направо, и налево —
 и, какие девочки.
 Девочки, подвиньтесь,
 veni, vidi, vici¹
 Я Иван-капитан,
 всех девиц повоевал.
 Фиг, фиг, фи́га с два,
 ты, Иван-капитан,
 низенького росту —
 метр девяносто!

А на улице весна,
 тротуар высох.
 Скоро выбрызнет листва
 изо всех сисек.

21 марта 1967

* * *
 Опять понедельник,
 опять воскресенье,
 как быстро уходит последнее время.

4 ноября 1974

¹ Пришёл, увидел, победил (лат.).

ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ

1913, Луцк Волынской губ. — 1972, Москва

В. Боков когда-то точно назвал героя раннего Смелякова «Евгением Онегиным фабричной окраины». Свою книгу «Работа и любовь» двадцатилетний Смеляков — рабочий московской типографии — набирал сам. После публикации «Любки Фейгельман» стал самым знаменитым молодым поэтом ранних 30-х. Он пришел сразу со своей неповторимой интонацией, мелодией: «Я не знаю — много или мало мне еще положено прожить, засыпать под ветхим одеялом, ненадежных девочек любить... Не был я ведущий или модный. Без меня дискуссия идет. Михаил Семенович Голодный против сложной рифмы восстает... Я увидел каменные печи и ушел, запомнив навсегда, как поет почти по-человечьи в чайниках сидящая вода...», «Любимая спит, и губы немножечко шевелятся». Будучи обвиненным вместе с П. Васильевым в хулиганстве самим Горьким, Смеляков оказался под прицелом беды. В 1934-м был арестован по доносу и вышел в редком для освобождения году — 1937-м. Затем его снова посадили. Во время войны его освободили финны из карельского лагеря, но теперь он стал как бы военнопленным. Работал в Финляндии на ферме. Вернувшись на родину, проходил так называемую проверку, жил в ограниченном радиусе — в Электростали. Вернулся в Москву, в 1948 году выпустил книгу «Кремлевские ели», однако по доносу одного «собрата-поэта» был арестован. Был освобожден по амнистии в 1956 году, привез написанную в лагере романтическую поэму «Строгая любовь», триумфально принятую самыми строгими критиками. «Ах Лизка-Лизка, как же ты в такой стране — скажи на милость — с индустриальной высоты до рукоделья докатилась... И, откатясь немного вбок, чуть освещенный зимним светом, крутился медленный клубок, как равнодушная планета». Долгие годы, несмотря на нелегкий характер, был единодушно уважаемым в профессиональной среде председателем московских поэтов. Не любил говорить о лагере и показывать немногие лагерные стихи, напечатанные лишь после его смерти. Я не встречал ни одного человека более «советского», чем Смеляков, и одновременно более «антисоветского», когда из него вдруг прорывалась боль за изувеченную смолodu жизнь. Он был одновременно и царь Петр, и опальный царевич Алексей русской

поэзии. Он всю жизнь хотел, по его собственному выражению, «стоять на страже нашего герба», но государство, хотя и пользовалось его «советскостью», брезгливо и подозрительно отпихивало бывшего лагерника и его стихов в колосья герба не влетало. Само слово «государственность» его гипнотизировало: «Возле в государственной печали тихо пулеметчики стояли». Он любил все живое, молодое и боялся, чтобы нас не постигла та же участь, что и его самого. Пользуясь его страхом повторения того, что с ним случилось, уже умирающего Смелякова, бывшего лагерника, агентство АПН цинично спровоцировало на письмо, да и куда! — в «Нью-Йорк Таймс» — против другого бывшего лагерника — Солженицына. Смеляков был поэт милостью Божьей, которого изломало время. Несмотря на то что многие «государственные» стихи Смелякова не выжили, у него осталось не меньше, а то и больше шедевров, чем у такого сильного поэта, как Гумилев. Уступая Твардовскому в эпике, Смеляков превосходил его в лирике. Поэзия Смелякова принадлежала к той «советской классике», лучшее из которой стало просто классикой.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Вечерело. Пахло огурцами.
Светлый пар до неба подымался,
как дымок от новой папиросы,
как твои забытые глаза.

И, обрызганный огнем заката,
пожилой и вежливый художник,
вдохновляясь, путаясь, немея,
на холсте закат изображал.

Он хватал зеленое пространство
и вооруженною рукою
укрошал. И заставлял спокойно
умирать на плоскости холста.

(Ты ловила бабочек. В коробке
их пронзали тонкие булавки.
Бабочки дрожали.
Им хотелось
так же, как закату,
улететь.)

Но художник понимал, как надо
обращаться с хаосом природы.
И, уменьшенный в своих масштабах,
шел закат по плоскости холста.

Только птицы на холсте висели,
потеряв инерцию движенья.
Только запах масла и бензина
заменял все запахи земли.

И бродил по первому пейзажу
(а художник ничего не видел),
палочкой ореховой играя,
молодой веселый человек.

После дня работы в нефтелавке
и тяжелой хватки керосина
он ходил и освещался солнцем,
сам не понимая для чего.
Он любил и понимал работу.

(По утрам, спецовку надевая,
мы летим.
И, будто на свиданье,
нам немножко страшно опоздать.)

И за это теплое уменье
он четыре раза премирован,
и фамилия его простая
на Доске почета.

И весной
он бродил по свежему пейзажу,
палочкой ореховой играя,
и увидел, как седой художник
в запахах весны не понимал.

И тогда хозяйскою походкой
он вмешался в тонкое общенье
старых кадров с новой природой
и сказал прекрасные слова:
«Гражданин!
Я вовсе не согласен
с вашим толкованием пейзажа.
Я работаю. И я обязан
против этого протестовать.»

Вы увидели зеленый кустик,
вы увидели кусок водички,
кувыркание птичек на просторе,
голубой летающий дымок...

И, седые брови опустивши,
вы не увидели человека,
вы забыли о перспективе
и о том, что новая страна
изменяет тихие пейзажи,
заседает в комнатах Госплана,
осушает чахлые болота
и готовит к севу семена.
Если посмотреть вперед, то видно,
как проходит здесь мелиоратор,
как ночами люди вырубают
дерево и как корчуют пни.

Если посмотреть вперед, то видно,
как по насыпи проходит поезд,
раздувая легкие.
И песни
молодые грузчики поют.

Если посмотреть вперед, то видно,
как мучительно меняет шкуру,

как становится необходимым
вышеупомянутый пейзаж.

Через два или четыре года
вы увидите всё это сами,
и картина ваша запылится
и завянет на чужой стене.

От стакана чая оторвавшись,
вовсе безразличными глазами
на нее посмотрит безразлично
пожилой случайный человек.

Что она ему сказать сумеет
про года, про весны пятилетки,
про необычайную работу,
про мою веселую страну?»

И стоял покинутый художник,
ничего почти не понимая.
И закат, уменьшенный в размерах,
проходил по линии холста.

Я хочу, чтобы в моей работе
сочеталась бы горячка парня
с мастерством художника, который
все-таки умеет рисовать.

1932

ПРО ТОВАРИЩА
(фрагмент)

1

Как бывало — с полуслова,
с полуголоса поймешь.

2

Мимо города Тамбова,
мимо города другого
от товарища Боброва
с поручением идешь.

Мы с тобой друзьями были
восемь месяцев назад,
до рассвета говорили,
улыбались невпопад.
А теперь
гремят колеса,
конь мотает головой.

Мой товарищ с папиросой
возвращается домой.
Мост качается.
И снова
по бревенчатым мостам,
по дорогам,
по ковровым,
отцветающим
и снова
зацветающим цветам.

Он идет неколебимо
и смеется сам с собой,
мимо дома,
мимо дыма
над кирпичною трубой.
Над мальчишками летает
настоящий самолет.
Мой товарищ объясняет,
что летает, как летает,
и по-прежнему идет.
Через реки,
через горы...

Пожелавшим говорить
подмигнет
и с разговором
разрешает прикурить.
И, вдыхая ветер падкий,
через северную рожь
мимо жнейки,
мимо жатки,
мимо женщины идешь.
Посреди шершавой мяты,
посреди полдневных снов,
мимо будки,
мимо хаты,
мимо мокрого халата
и развешанных штанов.

Он идет, шутя беспечно.
Встретится ветеринар.
Для колхозника сердечно
раскрывает портсигар.
Мимо едут на подводах,
сбоку кирпичи везут.
Цилиндрическую воду
к рукомойникам несут.
Дожидаюсь у колодца,
судомойка подмигнет.
Мой товарищ спотыкнется,
покраснеет, улыбнется,
не ответит.

И пойдет,
вспоминая про подругу,
через полдень,
через день,
мимо проса,
мимо луга —
по растянутому кругу
черноземных деревень.
Мимо окон окосевших
он упрямо держит путь.
Мимо девочки, присевшей
на минутку отдохнуть.
Мимо разных публикаций,
мимо тына,
мимо тени,
мимо запаха акаций
и обломанной сирени.

Он идет,
 высокий, грузный,
 и глядит в жилые стекла,
 мимо репы и капусты,
 сбоку клевера и свеклы,
 мимо дуба,
 мимо клена.
 И шуршат у каблуков
 горсти белых
 и зеленых,
 красных,
 черных,
 наклоненных,
 желтых,
 голубых,
 каленых
 перевернутых цветов.

Так, включившийся в движенье,
 некрасивый и рябой,
 ты проходишь с наслаждением
 мир,
 во всех его явленьях
 понимаемый тобой.

.....

<1934>

ЛЮБКА

Посредине лета
 высыхают губы.
 Отойдем в сторонку,
 сядем на диван.
 Вспомним, погорюем,
 сядем, моя Люба,
 Сядем посмеемся,
 Любка Фейгельман!

Гражданин Вертинский
 вертится. Спокойно
 девочки танцуют
 английский фокстрот.
 Я не понимаю,
 что это такое,
 как это такое
 за сердце берет?

Я хочу смеяться
 над его искусством,
 я могу заплакать
 над его тоской.
 Ты мне не расскажешь,
 отчего нам грустно,
 почему нам, Любка,
 весело с тобой?

Только мне обидно
 за своих поэтов.
 Я своих поэтов
 знаю наизусть.
 Как же это вышло,

что июньским летом
 слушают ребята
 импортную грусть?

Вспомним, дорогая,
 осень или зиму,
 синие вагоны,
 ветер в сентябре,
 как мы целовались,
 проезжая мимо,
 что мы говорили
 на твоём дворе.

Затоскуем, вспомним
 пушкинские травы,
 дачную платформу,
 пятизвездный лед,
 как мы целовались
 у твоей заставы,
 рядом с телеграфом
 около ворот.

Как я от райкома
 ехал к лесорубам.
 И на третьей полке,
 занавесив свет:
 «Здравствуй, моя Любка»,
 «До свиданья, Люба!» —
 подпевал ночами
 пасмурный сосед.

И в кафе на Трубной
 золотые трубы, —
 только мы входили, —
 обращались к нам:
 «Здравствуйте,
 пожалуйста,
 заходите, Люба!
 Оставайтесь с нами,
 Любка Фейгельман!»

Или ты забыла
 кресло бельэтажа,
 оперу «Русалка»,
 пьесу «Ревизор»,
 гладкие дорожки
 сада «Эрмитажа»,
 долгий несерьезный
 тихий разговор?

Ночи до рассвета,
 до моих трамваев?
 Что это случилось?
 Как это поймешь?
 Почему сегодня
 ты стоишь другая?
 Почему с другими
 ходишь и поешь?

Мне передавали,
 что ты загуляла —

лаковые туфли,
брошка, перманент.
Что с тобой гуляет
розовый, бывалый,
двадцатитрехлетний
транспортный студент.

Я еще не видел,
чтоб ты так ходила —
в кенгуровой шляпе,
в кофте голубой.
Чтоб ты провалилась,
если всё забыла,
если ты смеешься
нынче надо мной!

Вспомни, как с тобою
выбрали обои,
 меховую шубу,
кожаный диван.
До свиданья, Люба!
До свиданья, что ли?
Всё ты потопила,
Любка Фейгельман.

Я уеду лучше,
поступлю учиться,
выправлю костюмы,
буду кофий пить.
На другой девчонке
я могу жениться,
только ту девчонку
так мне не любить.

Только с той девчонкой
я не буду прежним.
Отошли вагоны,
отцвела трава.
Что ж ты обманула
все мои надежды,
что ж ты осмеяла
лучшие слова?

Стираная юбка,
глаженная юбка,
шелковая юбка
нас ввела в обман.

До свиданья, Любка,
до свиданья, Любка!
Слышишь?
До свиданья,
Любка Фейгельман!

<1934>

* * *

Если я заболею,
к врачам обращаться не стану.
Обращаюсь к друзьям

(не сочтите, что это в бреду):
постелите мне степь,
занавесьте мне окна туманом,
в изголовье поставьте
ночную звезду.

Я ходил напролом.
Я не слыл недотрогой.
Если ранят меня
в справедливых боях,
забинтуйте мне голову
горной дорогой
и укройте меня
одеялом в осенних цветах.

Порошков или капель — не надо.
Пусть в стакане сияют лучи.
Жаркий ветер пустынь,
серебро водопада —
вот чем стоит лечить.

От морей и от гор
так и веет веками,
как посмотришь — почувствуешь:
вечно живем.

Не облатками белыми
путь мой усеян, а облаками.
Не больничным от вас ухожу коридором,
а Млечным Путем.

1940

ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА ЛИДА

Вдоль маленьких домиков белых
акация душно цветет.
Хорошая девочка Лида
на улице Южной живет.

Ее золотые косицы
затянуты, будто жгуты.
По платью, по синему ситцу,
как в поле, мелькают цветы.

И вовсе, представьте, неплохо,
что рыжий пройдоха апрель
бесшумной пылью веснушек
засыпал ей утром постель.

Не зря с одобреньем веселым
соседи глядят из окна,
когда на занятия в школу
с портфелем проходит она.

В оконном стекле отражаясь,
по свету идет не спеша
хорошая девочка Лида.
Да чем же

она
хороша?

Спросите об этом мальчишку,
что в доме напротив живет.
Он с именем этим ложится
и с именем этим встает.

Недаром на каменных плитах,
где милый ботинок ступал,
«Хорошая девочка Лида», —
в отчаянье он написал.

Не может людей не растрогать
мальчишки упрямого пыл.
Так Пушкин влюблялся, должно быть,
так Гейне, наверно, любил.

Он вырастет, станет известным,
покинет пенаты свои.
Окажется улица тесной
для этой огромной любви.

Преграды влюбленному нету:
смущенье и робость — вранье!
На всех перекрестках планеты
напишет он имя ее.

На полюсе Южном — огнями,
пшеницей — в кубанских степях,
на русских полянах — цветами,
и пеной морской — на морях.

Он в небо залезет ночное,
все пальцы себе обожжет,
но вскоре над тихой Землею
созвездие Лиды взойдет.

Пусть будут ночами светиться
над снами твоими, Москва,
на синих небесных страницах
красивые эти слова.

1940 или 1941

ПЕТР И АЛЕКСЕЙ

Петр, Петр, свершились сроки.
Небо зимнее в полумгле.
Неподвижно бледнеют щеки,
и рука лежит на столе —

та, что миловала и карала,
управляла Россией всей,
плечи женские обнимала
и осаживала коней.

День — в чертогах, а год — в дорогах,
по-мужицкому широка,
в поцелуях, в слезах, в ожогах
императорская рука.

Слова вымолвить не умея,
ужасаясь судьбе своей,

скорбно вытянувшись, пред нею
замер слабостный Алексей.

Знает он, молодой наследник,
но не может поднять свой взгляд:
этот день для него последний —
не помилуют, не простят.

Он не слушает и не видит,
сжав безвольно свой узкий рот.
До отчаянья ненавидит
все, чем ныне страна живет.

Не зазубренными мечами,
не под ядрами батарей —
утоляет себя свечами,
любит благовест и елей.

Тайным мыслям подвержен слишком,
тих и косен до дурноты.
«На кого ты пошел, мальчишка,
с кем тягаться задумал ты?»

Не начетчики и кликуши,
подвывающие в ночи, —
молодые нужны мне души,
бомбардиры и трубачи.

Это все-таки в нем до муки,
через чресла моей жены,
и усмешка моя, и руки
неумело повторены.

Но, до боли души тоскуя,
отправляя тебя в тюрьму,
по-отцовски не поцелую,
на прощанье не обниму.

Рот твой слабый и лоб твой белый
надо будет скорей забыть.
Ох, нелегкое это дело —
самодержцем российским быть!..»

Солнце утренним светит светом,
чистый снег серебрит окно.
Молча сделано дело это,
все заранее решено...

Зимним вечером возвращаясь
по дымящимся мостовым,
уважительно я склоняюсь
перед памятником твоим.

Молча скачет державный гений
по земле — из конца в конец.
Тусклый венчик его мучений,
императорский твой венец.

1945—1949

ПОРТРЕТ

Сносились мужские ботинки,
армейское вышло белье,
но красное пламя косынки
всегда освещало ее.

Любила она, как отвагу,
как средство от всех неудач,
кусочек октябрьского флага —
осеннего вихря кумач.

В нем было бессмертное что-то:
останется угол платка,
как красный колпак санюлота
и черный венок моряка.

Когда в тишину кабинетов
ее увлекали дела —
сама революция это
по каменным лестницам шла.

Такие на резких плакатах
печатались в наши года
прямые черты делегатов,
молчащие лица труда.

Лишь как-то обиженно жалась
и таяла в области рта
ослабшая смутная жалость,
крестьянской избы доброта.

Но этот родник ее кроткий
был, точно в уступах скалы
зажат небольшим подбородком
и выпуклым блеском скулы...

1940-е

ЗЕМЛЯ

Тихо прожил я жизнь человечью:
ни бурана, ни шторма не знал,
по волнам океана не плавал,
в облаках и во сне не летал.

Но зато, словно юность вторую,
полюбил я в просторном краю
эту черную землю сырую,
эту милую землю мою.

Для нее ничего не жалея,
я лишился покоя и сна,
стали руки большие темнее,
но зато посветлела она.

Чтоб ее не кручинились кручи
и глядела она веселей,
я возил ее в тачке скрипучей,
так, как женщины возят детей.

Я себя признаю виноватым,
но прощенья не требую в том,

что ее подымал я лопатой
и валил на колени кайлом.

Ведь и сам я, от счастья бледнея,
зажимая гранату свою,
в полный рост поднимался над нею
и, простреленный, падал в бою.

Ты дала мне вершину и бездну,
подарила свою широту.
Стал я сильным, как терн, и железным —
даже окиси привкус во рту.

Даже жесткие эти морщины,
что по лбу и по щекам прошли,
как отцовские руки у сына,
по наследству я взял у земли.

Человек с голубыми глазами,
не стыжусь и не радуюсь я,
что осталась земля под ногтями
и под сердцем осталась земля.

Ты мне небом и волнами стала,
колыбель и последний приют...
Видно, значишь ты в жизни немало,
если жизнь за тебя отдают.

1945

МАНОН ЛЕСКО

Много лет и много дней назад
жил в зеленой Франции аббат.

Он великим сердцедедом был.
Слушая, как пели соловьи,
он, смеясь и плача, сочинил
золотую книгу о любви.

Если вьюга замедляет путь,
хорошо у печки почитать.
Ты меня просила как-нибудь
эту книжку старую достать.

Но тогда была наводнена
не такими книгами страна.

Издавались книги про литье,
книги об уральском чугуне,
а любовь и вестники ее
оставались как-то в стороне.

В лавке букиниста-москвича
все-таки попался мне аббат,
между штабелями кирпича,
рельсами и трубами зажат.

С той поры, куда мы ни пойдём,
оглянуться стоило назад —
в одеянье стареньком своем
всюду нам сопутствовал аббат.

Не забыл я милостей твоих,
и берет не позабыл я твой,
созданный из линий снеговых,
связанный из пряжи снеговой.

...Это было десять лет назад.
По широким улицам Москвы
десять лет кружился снегопад
над зеленым празднеством листвы.

Десять раз по десять лет пройдет.
Снова вьюга заметет страну.
Звездной ночью юноша придет
к твоему замерзшему окну.

Изморозью тонкою обвит,
до утра он ходит под окном.
Как русалка, девушка лежит
на диване кожаном твоём.

Зазвенит, заплещет телефон,
в утреннем ныряя серебре,
и услышит новая Манон
голос кавалера де Грие.

Женская смеется голова,
принимая счастье и пыл...
Эти сумасшедшие слова
я тебе когда-то говорил.

И опять сквозь синий снегопад
Грустно улыбается аббат.
1945(?)

КЛАДБИЩЕ ПАРОВОЗОВ

Кладбище паровозов.
Ржавые корпуса.
Трубы полны забвенья.
Свинчены голоса.

Словно распад сознания —
полосы и круги.
Грозные топки смерти.
Мертвые рычаги.

Градусники разбиты:
цифирки да стекло —
мертвым не нужно мерить,
есть ли у них тепло.

Мертвым не нужно зренья —
выкрошены глаза.
Время вам подарило
вечные тормоза.

В ваших вагонах длинных
двери не застучат,
женщина не засмеется,
не запоеет солдат.

Вихрем песка ночного
будку не занесет.
Юноша мягкой тряпкой
поршни не оботрет.

Стали чугунным прахом
ваши колосники.
Мамонты пятилеток
сбили свои клыки.

Эти дворцы металла
строил союз труда:
слесари и шахтеры,
села и города.

Шапкуними, товарищ.
Вот они, дни войны.
Ржавчина на железе,
щеки твои бледны.

Произносить не надо
ни одного из слов.
Ненависть молча зреет,
молча цветет любовь.

Тут ведь одно железо.
Пусть оно учит всех.
Медленно и спокойно
падает первый снег.

1946

ПАМЯТНИК

Приснилось мне, что я чугунным стал,
Мне двигаться мешает пьедестал.

Рука моя трудна мне и темна,
и сердце у меня из чугуна.

В сознании, как в ящике, подряд
чугунные метафоры лежат.

И я слежу за чередой дней
из-под чугунных сдвинутых бровей.

Вокруг меня деревья все пусты,
на них еще не выросли листья.

У ног моих на корточках с утра
самозабвенно лазит детвора.

а вечером, придя под монумент,
толкует о бессмертии студент.

Когда взойдет над городом звезда,
однажды ночью ты придешь сюда.

Всё тот же лоб, всё тот же синий взгляд,
всё тот же рот, что много лет назад.

Рука моя лежит в твоей руке,
и мысль моя беседует с твоей.

С тобой вдвоем мы вынесем тюрьму,
вдвоем мы станем кандалы таскать,
и если царство вверят одному,
другой придет его поцеловать.

Вдвоем мы не боимся ничего,
вдвоем мы сможем мир завоевать,
и если будут вешать одного,
другой придет его поцеловать.

Как ум мятущийся,
ум беспокойный мой,
как душу непреклонную мою,
сидящему за каменной стеной
шинель и шапку я передаю.

1953. Инта, лагерь.

ЖИДОВКА

Прокламация и забастовка,
Пересылки огромной страны.
В девятнадцатом стала жидовка
Комиссаркой гражданской войны.

Ни стирать, ни рожать не умела,
Никакая не мать, не жена —
Лишь одной революции дело
Понимала и знала она.

Брызжет кляксы чекистская ручка,
Светит месяц в морозном окне,
И молчит огнестрельная штучка
На оттянутом сбоку ремне.

Неопрятна, как истинный гений,
И бледна, как пророк взаперти,—
Никому никаких снисхождений
Никогда у нее не найти.

Только мысли, подобные стали,
Пронизали ее житие.
Все враги перед ней трепетали,
И свои опасались ее.

Но по-своему движутся годы,
Возникают базар и уют,
И тебе настоящего хода
Ни вверху, ни внизу не дают.

Время все-таки вносит поправки,
И тебя еще в тот наркомат
Из негласной почетной отставки
С уважением вдруг пригласят.

В неподкупном своем кабинете,
В неприкаянной келье своей,
Простодушно, как малые дети,
Ты допрашивать станешь людей.

И начальники нового духа,
Веселясь и по-свойски грубя,
Безнадежно отсталой старухой
Сообща посчитают тебя.

Все мы стоим того, что мы стоим,
Будет сделан по-скорому суд —
И тебя самое под конвоем
По советской земле повезут.

Не увидишь и малой поблажки,
Одинаков тот самый режим:
Проститутки, торговки, монашки
Окружением будут твоим.

Никому не сдаваясь, однако
(Ни письма, ни посылочки нет!),
В полутемных дощатых бараках
Проживешь ты четырнадцать лет.

И старухе, совсем остролицей,
Сохранившей безжалостный взгляд,
В подобрешее лоно столицы
Напоследок вернуться велят.

В том районе, просторном и новом,
Получив как писатель жилье,
В отделении нашем почтовом
Я стою за спиною ее.

И слежу, удивляясь не слишком —
Впечатленьями жизнь не бедна,—
Как свою пенсионную книжку
Сквозь окошко толкает она.

Февраль 1963. Переделкино.

ЗЕМЛЯКИ

Когда встречаются этапы
Вдоль по дороге снеговой,
Овчарки рвутся с жарким храпом
И злее бегают конвой.

Мы прямо лезем, словно танки,
Неотвратимо, будто рок.
На нас — бушлаты и ушанки,
Уже прошедшие свой срок.

И на ходу колонне встречной,
Идущей в свой тюремный дом,
Один вопрос, тот самый, вечный,
Сорвавши голос, задаем.

Он прозвучал нестройным гулом
В краю морозной синевы:
«Кто из Смоленска?

Кто из Тулы?

Кто из Орла?

Кто из Москвы?»

туда, где лампочка теснится,
лицо протянуто его.

Он слышит ночь, как мать — ребенка,
хоть миновал военный срок
и хоть дежурная сестренка,
охально зырякая в сторонку,
его ведет под локоток.

Идет слепец с лицом радара,
беззвучно, так же как живет,
как будто нового удара
из темноты все время ждет.

1967

ПОСЛАНИЕ ПАВЛОВСКОМУ

В какой обители московской,
в довольстве сытом иль нужде
сейчас живешь ты, мой Павловский,
мой крестный из НКВД?

Ты вспомнишь ли мой вздох короткий,
мой юный жар и юный пыл,
когда меня крестом решетки
ты на Лубянке окрестил?

И помнишь ли, как птицы пели,
как день апрельский ликовал,
когда меня в своей купели
ты хладнокровно искупал?

Не вспоминается ли дома,
когда смежаешь ты глаза,
как комсомольцу молодому
влепил бубнового туза?

Не от безделья, не от скуки
хочу поведать не спеша,
что у меня остались руки
и та же детская душа.

И что, пройдя сквозь эти сроки,
еще не слабнет голос мой,
не меркнет ум, уже жестокий,
не уничтоженный тобой.

Как хорошо бы на покое, —
твою некстати вспомнив мать, —
за чашкой чая нам с тобою
о прожитом потолковать.

Я унижаться не умею
и глаз от глаз не отведу,
зайди по-дружески, скорее.
Зайди.

А то я сам приду.

1967

ТРИ ВИТЯЗЯ

Мы шли втроем с рогатиной на слово
и вместе слезли с тройки удалой —
три мальчика,
три козыря бубновых,
три витязя бильярдной и пивной.

Был первый точно беркут на рассвете,
летающий за трепещущей лисой.
Второй был неожиданным,
а третий — угрюмый, бледнолицый и худой.

Я был тогда сутулым и угрюмым,
хоть мне в игре
пока еще — везло,
уже тогда предчувствия и думы
избороздили юное чело.

А был вторым поэт Борис Корнилов, —
я и в стихах и в прозе написал,
что он тогда у общего кормила,
недвижно скособочившись, стоял.

А первым был поэт Васильев Пашка,
златоволосый хищник ножевой —
не маргариткой
вышита рубашка,
а крестиком — почти за упокой.

Мы вместе жили, словно бы артельно.
но вроде бы, пожалуй что,
не так —
стихи писали разное и отдельно,
а гонорар несли в один кабак.

По младости или с похмелья —
сдуру,
блюды все время заповедный срок,
в российскую свою литературу
мы принесли достаточный оброк.

У входа в зал,
на выходе из зала,
метельной ночью, утренней весной,
над нами тень Багрицкого витала
и шелестел Есенин за спиной.

...Второй наш друг,
еще не ставши старым,
морозной ночью арестован был
и на дощатых занарымских нарах
смежил глаза и в бозе опочил.

На ранней зорьке пулею туземной
расстрелян был казачества певец,
и покатился вдоль стены тюремной
его золотой надтреснутый венец.

А я вернулся в зимнюю столицу
и стал теперь в президиумы вхож.
Такой же злой, такой же остролицый,
но стрятавший
для обороны — нож.

Вот так втроем мы отслужили слову
и искупили хоть бы часть греха —
три мальчика,
три козыря бубновых,
три витязя российского стиха.

21 декабря 1967, Переделкино

СЕРГЕЙ СМИРНОВ

1913, Ялта — 1993

Родился в семье служащего. Работал в Москве библиотекарем, проходчиком метро. Начал печататься в 1934-м. Был рядовым в панфиловской дивизии. Первый сборник «Друзьям» вышел в 1937 году. Однако известность получил лишь в 1950—1951 годах после выхода книг «Откровенный разговор» и «Мои встречи», которые на фоне тогдашних барабанно громыхающих стихов выглядели относительно лирическими, со специфическим канцелярским юмором. Под конец жизни писал сатирические короткие стихи типа: «В не ту среду попал кристалл, но растворяться в ней не стал. Кристаллу не пристало терять черты кристалла». Приводимое стихотворение искренне, и неплохо написано. Но разве 20-й год остался в нашей памяти только под знаком «правоты товарища матроса»? Да и такая ли уж была эта правота? Эта антология показывает гражданскую войну и глазами так называемых белых, и тот же самый матрос, который поделится краухой с мальчиком в теплушке, может быть, зверски расстреливал царскую семью?

В ТЕПЛУШКЕ

Дорога та уже неповторима.
Примерно суток около семи
Отец да я — мы ехали из Крыма
С небритыми военными людьми.

В теплушке с нами ехали матросы,
Растягивая песню на версту —
Про девушку,
 про пепельные косы,
Про гибель кочегара на посту.

На станциях мешочники галдели,
В вагоны с треском втискивали жен.
Ругались.
Умоляюще глядели.
Но поезд был и так перегружен.

Он, отходя, кричал одногласно
И мчался вдаль на всех своих парях,
И кто-то падал прямо под колеса,
Окоченев на ржавых буферах.

Но как-то раз,
Когда стояли снова,
При свете станционного огня,
С пудовыми запасами съестного
Уселась тетка около меня.

Она неторопливо раскромсала
Ковригу хлеба ножиком своим.
Она жевала резаное сало
И никого не потчевала им.

А я сидел и ожидал сначала,
Что тетка скажет: мол,
Покушай, на!
Она ж меня совсем не замечала
И продолжала действовать одна.

Тогда матрос
Рванул ее поклажу
За хвост из сыромятного ремня,
Немое любопытство будоража,
В нутро мешка
 нырнула пятерня.

И мне матрос вручил кусище сала,
Ковригу хлеба дал и пробасил:
— Держи, сынок,
 чтоб вошь не так кусала! —
И каблуком цигарку погасил.

Я по другим дорогам ездил много —
Уже заметно тронут сединой, —
Но иногда
 проходит та дорога, —
Как слышанная песня, предо мной!

И кажется, что вновь гремят колеса,
Что мчимся мы под пенью непогод.
И в правоте
 товарища матроса
Я вижу девятьсот двадцатый год.

1938

ЛЕОНИД ТОПЧИЙ

1913—1981

Измученное немецким пленом и лагерем дарование. Поэт, по хребту которого прошелся железный утюг сталинского террора. Последние годы жил в Казани, где его любили и все-таки печатали. Пожалуй, лучшее из его стихотворений — это именно выбранное нами. В этом вкус составителя совпал со вкусом Виктора Астафьева, тоже выбравшего эти стихи для своей антологии.

ГАРМОНЬ

Играл германец на гармонике
Вокруг толпившимся друзьям,
Мотив выдавливая тоненький,
Совсем чужой ее мехам.

Играл баварец складно, худо ли,
Но не качал он головой,
Не поднимал ее от удали,
Не опускал ее с тоской.

И как бы клавиши ни гладила,
Пришельца бледная ладонь,—
С чужою песнею не ладила
Военнопленная гармонь.

И даже вздрагивала вроде бы,
Мехами алыми дыша,
Как будто в ней по вольной Родине
Рыдала русская душа.

АЛЕКСАНДР ЯШИН

1913, д. Блудново Вологодской губ.—1968, Москва

Родившийся в северном сердце России — на Вологодчине, Яшин принес на московские страницы уникальный говорок тамошнего крестьянства, не задымленный ни железной дорогой, ни химзаводами. Мне довелось побывать в яшинских местах уже после его смерти, когда на Бобришном Угоре рядом с бронзовым памятником сыну сидела в белом платке в горошек мать поэта. Никогда и нигде я не видел такого щедрого, радужно ярмарочного разлива цветов, как там, на северных полянах, и нигде не слышал такого искрометного русского языка, чудом убереженного и от канцелярщины, и от магазинной озлобленности. В 1944 году в нетопленной аудитории МГУ я отбил себе ладоши, приветствуя яшинское стихотворение с такой концовкой про еще живого тогда Гитлера: «Ты в сукиного сына колом войдешь, осина!» В послевоенные годы Яшин впал в затяжной кризис, со стороны выглядевший как успех,— лакировочная, скучная поэма в стиле «а-ля-рюс» «Алена Фомина» даже получила Сталинскую премию. Не делали чести Яшину его стихи о Волго-Доне и о целине, рисовавшие выдуманную ложноромантическую жизнь. И вдруг произошло выстраданное поэтом чудо. Народное крестьянское начало могуче победило в яшинской душе. Муки совести за собственную ложь превратились в кровотокающий публицистический выплеск «Рычаги» — первую подстреленную влет предласточку гласности. Горько, со слезой жгучей был написан рассказ «Вологодская свадьба», по которому открыли уже снарядную пальбу. Тогдашнее вологодское начальство велело даже снять фронтовую, простреленную шинель Яшина из краеведческого музея. Его предсмертные стихи были написаны с болью, с почти самоожженческим отчаявшимся мужеством.

ВОЛОГОДСКОЕ НОВОГОДНЕЕ

С новой запевкой на Новый год
Девка на лавке веревку вьет.
Косы у девки до полу, до пят,
В *ковте* булавки — головки горят,
Брошка на *ковте*, пуговики в ряд,
Цветики на *ковте*...
Добёр наряд!

А вьюга по окнам ставнями бьет,
В ров за деревней набит сумёт,
Снег повсюду — не видно дров,
и *вовки* воют у самых дворов.
Гавкают собаки, боров ревет...

А девка на лавке веревку вьет,
Веревку вьет да припевку поет,
Припевку-запевку на Новый год.

«Вейся-повейся, крепка, ловка,
Вейся, свивайся, на смерть **вовкам**».

Справлю обновку, взамуж пойду —
На эту веревку лиху беду,
Чтобы свекровка была не зла,
Чтобы золовка была не в козла,
Чтоб не терять мне девичью стать,
С милым в ладу годов не считать,
Чтобы от сдобных печных пирогов
Духом парным распирало кров.
Вейся ж, свивайся...»

А вьюга ревет,
Девка на лавке веревку вьет.

1935—1936

ОРЕЛ

Из-за утеса, как из-за угла,
Почти в упор ударили в орла.

А он спокойно свой покинул камень,
Не оглянувшись даже на стрелка,

И, как всегда, широкими кругами,
Не торопясь, ушел за облака.

Быть может, дробь совсем мелка была —
Для перепелок, а не для орла?
Иль задрожала у стрелка рука
И покачнулся ствол дробовика?

Нет, ни дробины не скользнуло мимо,
А сердце и орлиное ранимо...
Орел упал,
Но средь далеких скал,
Чтоб враг не видел,
Не торжествовал.

1956

* * *

Я обречен на подвиг,
И некого винить,
Что свой удел свободно
Не в силах изменить.

Что, этот трудный жребий
Приняв как благодать,
Я о дешевом хлебе
Не вправе помышлять.

Щадить себя не вправе,
И бестолковый спор

О доблестях, о славе
Не завожу с тех пор.

Что ждет меня, не знаю,
Живу не как хочу
И ношу поднимаю
Себе не по плечу.

У бедного провидца
Так мал в душе просвет,
Что даже погордиться
Собой охоты нет.

А други смотрят просто,
Какое дело им,
Крещусь я троеперстно
Или крестом иным.

Как рыцарь старомодный,
Я в их глазах смешон.
Да нужен ли мой подвиг?
Ко времени ли он?

Земли не чуя сдуру,
Восторженно визжа,
Ползу на амбразуру,
Клинок в зубах держа.

1966

ВИКТОР БОКОВ

р. 1914, д. Язвицы Московской обл.

Родился в крестьянской семье, работал шлифовальщиком. Учился в Литинституте с 1934 по 1938 год. После был арестован и оказался в Гулаге, а затем в ссылке. Вернувшись, жил в бедности: «Я ходил месяцами с небритым лицом, вспоминал петербургские ночи Некрасова, я питался, как заяц, капустным листом, а меня покрывала и ржа и напраслина... Я ни разу, Коммуна, тебя не проклял — ни у тачки с землей, ни у тяжкого молота... Весь я твой! Маяковский и Ленин — мои!..» — он писал эти стихи о коммуне и, конечно, не знал, что именно Ленин подписал первый декрет о создании первого лагеря для политзаключенных, одним из которых стал сам поэт. В 1958-м опубликовал первый сборник, весь пересыпанный фольклором. Всю жизнь собирает русские частушки и сам прелестно исполняет их под балалайку.

ПАМЯТЬ

Память — соты пустые без меда,
Хроникер, безнадежно хромою,
Помню выстрелы пятого года,
Забываю тридцать седьмой.

Помню маленький, серенький, скучный
Дождь осенний, грибы и туман,
Забываю про тесный наручник,
Про тебя, смуглокожий тиран.

Помню зимние песни синицы
И вечерний пожар в леденце,
Забываю про наши темницы,
Где людей — как семян в огурце.

Помню взлет пирамиды Хеопса
И музейный палаш на бедре,
Забываю, как бабы с колодца
Носят слезы в железном ведре.

* * *

Я себя называю скитальцем!
Скит мой был далеко за Москвой.
Я у Берии был постояльцем,
Ничего не платил за постой.

Вот жилось! Не придумаешь лучше,
Не найдешь благодатней страны.
Падал на пол серебряный лучик
Не посаженной в клетку луны.

Утром хлеб выдавали бесплатно,
Я играл на горбушке и пел,
Шли по мне пеллагрозные пятна,
Весь я, словно змея, шелестел.

Виновато гуляла улыбка
По моим арестантским губам,
Говорил я, что это ошибка,
Но не очень-то верили нам.

И зияли в земле, словно в сердце,
Сотни тысяч невинных могил.
По тюремным решетчатым сенцам
Как хозяин Лаврентий ходил.

СОЛЬ

Мед... молоко...
Масло с редькою в сборе.
Недалеко
До поваренной соли.

Съел я ее —
Не измерить кулем,
Даже вагон —
Это малая малость!
Как равноправная
За столом
Вместе со всеми
Она появлялась.

Детство крестьянское —
Это не рай
И не кондитерская
Со сладостями.
— Солоно?
— Солоно, мама!
— Давай.
Ешь на здоровье
И крепни костями.
Ел я
По маминой просьбе
И креп.
Грудь подставляя
Под ливни и грозы.
Тысячу раз
сыпал соль я на хлеб,
На комоватые
Мягкие ноздри.

Помню, что соль
Мы всегда берегли,
Свято хранили
В красивой солонке.

Мы без нее
Даже дня не могли,
Соль же
Так скромно
Стояла в сторонке!

Мы и в капусту ее,
И в грибы,
И в огурцы,
И в соленье любое,
Чтобы она
Выступала на лбы,
Потом катилась
На сено сухое!
Из дому я уходил.
В узелок
Мать положила
Родительской соли.
Слезы прощальные,
Крики:

— Сынок!
Счастья тебе!
Полной чаши и доли!

Помню поход.
Мы идем и молчим.
Ротой фиксируем
Гать с иван-чаем.
Слышим команду:
— Соль не мочить!
— Есть не мочить! —
Старшине отвечаем.

Помню квадрат
С мертвой хваткой прутья,
Где мы истошно
Кричали до боли!
— Не приносите нам больше питья,
Если нет воли, дайте нам соли!

Соль моя!
Мелкая... крупная, градом...
Спутница жизни, жена и сестра!
Время одиннадцать,
Ужинать сядем,
Свежих огурчиков мать принесла.
Что огурцы!
Даже слово солю,
Солью пропитываю стихотворенье,
Чтобы строку гулевою мою
Ветром невзгод
Не пошатило время!

САВЕЛИЙ ГРИНБЕРГ

р. 1914, Екатеринослав

Работал в московских музеях. Был членом «бригады Маяковского», разъезжавшей по всей стране с чтением стихов своего кумира. С 1973-го — в Израиле. Переводит на русский стихи израильских поэтов. Там вышла его единственная книжка «Московские дневниковинки», представляющая собой очаровательный анахронизм лефовщины, чудом привитый к древу эмиграции.

ЗДЕСЬ БРОНТОЗАВРЫ
БРОНТОЗАВТРАКАЛИ
(фрагмент)

Была земля
Была планета-земля
Через вулканы
шагали чудо-великаны
Сверкающий Гигант-сверхробот
отклинив страх, отбросив робость
Инопланетные объекты
снимают на земле объедки
Века готовы были ползать
лишь для лабораторной пользы
И каждый вечер в звездном вече
тот спрошен был кто был отвечен

1979

ВЛАДИСЛАВ ЗАНАДВОРОВ

1914, Пермь — 1942, Сталинград

Геолог с университетским образованием. Входил в литературную группу «Резец», печатался в журнале с тем же названием. Единственную книгу стихов, изданную при жизни, выпустил накануне войны в родном городе — Перми. Посмертно его творчество привлекало внимание, после войны вышло несколько сборников.

В ОХОТНИЧЬЕЙ ИЗБУШКЕ

Когда в ледашки превратятся ноги,
А путь лежит в Крестовую Губу,
Ты будешь счастлив, посреди дороги
Наткнувшись на охотничью избу.

Я дверь открыл. Здесь было все, что нужно
Для путника, озябшего в ночи:
Дрова, дымясь, потрескивали дружно,
И громко пел кофейник на печи.

Но для того, кто двое суток
Плутал по тундре, не смыкая глаз,
Милей огня и добрых самокруток
На низких нарах брошенный матрац.

Я слышал сквозь дремоту, как мужчина
Растер мне ноги и раздел меня,
Закутал по-домашнему овчиной
И в горло вылил два глотка огня...

А утром только узкий след от нарты
Бежал на юг пустынной белизной
Да наспех нарисованная карта
Среди мешков лежала предо мной.

Начерченную углем на газете
Ту карту до сих пор я берегу,
Но кто навел хребты и горы эти,
По ней никак узнать я не могу.

Я не запомнил ни его походки,
Ни голоса, ни взгляда, ни лица,
Не знаю — то ль мы были одногодки,
То ль старше был он моего отца.

Но год за годом кажется все чаще,
Что я встречаюсь постоянно с ним
В поселках, поездах, таежных чащах,
И каждый раз под именем другим.

МАЙЯ ЛУГОВСКАЯ

1914—1993

Геолог по профессии. Крупная величавая красавица, поразительно талантливая во всем, за что она ни бралась, ставшая последней женой Луговского. И при жизни, и после смерти поэта была хозяйкой гостеприимного дома, где бывали и многие авторы этой антологии, включая ее составителя, скульптора Эрнста Неизвестного, художника Целкова. Печатала рассказы под фамилией Елена Быкова. Это маленькое стихотворение лежит у меня на письменном столе под стеклом уже лет двадцать. Последние две строки гениальны.

РАЗБОЙНИКИ

Мы умирали вместе на кресте.
Мы ничего не знали о Христе.

Он был такой же смертный, как и мы.
Страдал, как мы, страшился смертной тьмы.

Когда последний крик рванулся в твердь,
Все пресеклось, и наступила смерть.

Кто выдумать посмел, что он воскрес,
Не понимает, что такое крест.

КОНСТАНТИН МУРЗИДИ

1914, станица Анапская (ныне Краснодарского края) — 1962, Москва

Родился на Кубани, учился и работал журналистом в Новороссийске. С середины 30-х годов продолжал работать журналистом в Свердловске, где выпустил в 1938 году первый сборник стихотворений «Отчизна», за которым последовал еще ряд книг. С 1955 года жил в Москве; известен как прозаик уральской темы.

ПИСЬМО

Письмо его написано в пути.
Оно сквозит любовью неподкупной.
То мелко, неразборчиво почти,
То чересчур размашисто и крупно
Ложились на листочке небольшом
Строка к строке, и все с наклоном разным...
Две первых строчки написал он красным,
Другие две — простым карандашом,
Последние — чернилами с нажимом,
Не сбившись, запятой не пропустив,
Как пишут на предмете недвижимом,
На возвышенье локоть утвердив.
Что было тем устойчивым предметом:
Дорожный камень, ящик иль седло?
За столько миль письмо меня нашло,
И понял я по всем его приметам,
Как иногда в походах тяжело,
Хотя в письме не сказано об этом.

1940

АЛЕКСЕЙ НЕДОГОНОВ

1914, Грушевск под Ростовом-на-Дону — 1948, Москва

Учился в Литинституте в 1935—1939 годах. Участник Великой Отечественной войны. Получив в 1948 году Сталинскую премию за поэму «Флаг над сельсоветом», где были талантливые куски, как, например, отобранный для этой антологии, погиб под трамваем. Трудно предугадать, как мог бы развиваться Недогонов — либо в сторону бесконфликтности, уже обозначенной в канве этой поэмы, идеализирующей жизнь послевоенной деревни, либо в сторону настоящей поэзии. А ее блестящие нет-нет да и выныривали из холодноватого ремесленного потока его поэзии, под которыми, возможно, скрывалась так и не исповеданная Недогоновым человеческая трагедия.

ФЛАГ НАД СЕЛЬСОВЕТОМ

(фрагмент)

От зари до зари
через сотни синих рек,
сквозь чужие пустыри
едет, едет человек.

Тишина оглушена,
бьют копыта в тишине;
едет, едет старшина
по Европе на коне.

Впереди — холмы, холмы,
да костелы, да мосты;
сзади — горькие дымы,
да могильные кресты.

За плечами — тишина,
пред очами — путь прямой.
Едет, едет старшина
из Германии домой.

Едет молча на Десну
мимо леса, вдоль села —
той дорогой, что в войну
на Германию вела.

И повеяло степным,
луговым,
лесным,
цветным,
чем-то дальним и родным —
откровением земным.

Тишина оглушена,
бьют копыта в тишине:
едет, едет старшина
по России на коне...

КОВРЫ

Прошедшее в далекой дымке.
Оно глядит, как свет из мглы.
Я помню домик караимки
за Симеизом у скалы.

С ее богатством лишь природа
соперничала при луне:
ковры у выхода,
у входа,
и у стола,
и на стене.

Движеньем рук своих проворных
она, по праву ремесла,
все краски ночи, кроме черной,
на полотно перенесла.

...Я помню знойный вечер лета.
Ее у взморья помню я.
Косички пепельного цвета
сбегали с плеч, как два ручья.

Как будто сотканный из гула,
из всех цветов морской волны,
от Симеиза до Стамбула
лежал прямой ковер луны.

Хотелось быть в тот вечер юным,
тоску оставить взаперти
и по ковру при свете лунном
с подругой об руку пройти...

Волна в закатный рог трубила.
А в теплом сумраке сыром
тропинка в горы.
Это было
в сороковом, в сороковом.

И вдруг в обычный час заката
над головой чужой мотор.
Подошва прусского солдата
ступила на ее ковер.

Напрасно лунный луч резвился.
Ночь тяжела.
Волна тускла.
Весь мир ее с тех пор вместился
В квадрат оконного стекла.

С тех пор в тоске,
как мрак, огромной,
поправ законы ремесла,
она
всю горечь ночи темной
на полотно перенесла.

Но в этом горестном смещеньи
цветов,
возникших в темноте,
играла искра возвращенья
к первоначальной красоте.

1943 Северный Донец

ЛЕВ ОЗЕРОВ

р. 1914, Киев

Родился в семье служащего. Работал чернорабочим, чертежником. В 1934—1941 годах учился в ИФЛИ. Первая книга стихов «Приднепровье» вышла в Киеве в 1940 году. Лучшая книга Озерова, на мой взгляд, — «Ливень» (1947). Именно в ней я увидел первые прочитанные мной стихи о Бабьем Яре. Все поэты знали тогда наизусть его четверостишие: «Я спросил у скульптора — Что вы лепите? Он ответил скупо — это лебеди». Озеров помог мне пробиться с одним из первых моих стихов на газетные страницы и помогал другим молодым. Крылатыми стали его строки: «Талантам надо помогать. Бездарности пробьются сами». Неоценимую роль он сыграл как восстановитель имен многих поэтов, как составитель их книг.

БАБИЙ ЯР

Я пришел к тебе, Бабий Яр.
Если возраст у горя есть,
Значит, я немислимо стар.
На столетья считать — не счесть.

Я стою на земле, моля:
Если я не сойду с ума,
То услышу тебя, земля,—
Говори сама.

Как кудит у тебя в груди.
Ничего я не разберу,—
То вода под землей гудит
Или души легших в Яру.

Я у кленов прошу: ответьте,
Вы свидетели — поделитесь.
Тишина,
Только ветер —
В листьях.

Я у неба прошу: расскажи,
Равнодушное до обидного...
Жизнь была, будет жизнь,
А на лице твоём ничего не видно.
Может, камни дадут ответ.
Нет...

Тихо.
В пыли слежавшейся — август.
Кляча пасется на жидкой травке.
Жует рыжую ветошь.
— Может, ты мне ответишь?

А кляча искоса глянула глазом,
Сверкнула белка голубой белизной,
И разом —
Сердце наполнилось тишиной,
И я почувствовал:
Сумерки входят в разум,
И Киев в то утро осеннее —
Передо мной...

Сегодня по Львовской идут и идут.
Мглисто.
Долго идут. Густо, один к одному.

По мостовой,
По красным кленовым листьям,
По сердцу идут моему.

Ручьи вливаются в реку.
Фашисты и полицаи
Стоят у каждого дома, у каждого палисада.
Назад повернуть — не думай,
В сторону не свернуть,
Фашистские автоматчики весь охраняют путь.

А день осенний солнцем насквозь просвечен,
Толпы текут — темные на свету.
Тихо дрожат тополей последние свечи,
И в воздухе:
— Где мы? Куда нас ведут?
— Куда нас ведут? Куда нас ведут сегодня?
— Куда? — вопрошают глаза в последней
мольбе.

И процессия длинная и безысходная
Идет на похороны к себе.

За улицей Мельника — кочки, заборы
и пустошь.
И рыжая стенка еврейского кладбища. Стой...
Здесь плиты наставлены смертью хозяйственно
густо,

И выход к Бабьему Яру,
Как смерть, простой.

Уже все понятно. И яма открыта, как омут.
И даль озаряется светом последних минут.
У смерти есть тоже предбанник.
Фашисты по-деловому
Одежду с пришедших снимают и в кучи кладут.

И явь прерывается вдруг
Еще большею явью:
Тысячи пристальных,
Жизнь обнимающих глаз,
Воздух вечерний,
И небо,
И землю буравя,
Видят все то, что дано нам увидеть
Раз...

И выстрелы, выстрелы, звезды внезапного
света,
И брат обнимает последним объятьем сестру...

АЛЕКСАНДР РИВИН

1914—1941

После московской школы работал на заводе, где ему искалечило левую руку. В 1935 году поступил на филфак ИФЛИ, но в начале второго курса попал в психиатрическую больницу, вышел через два или три месяца, но в университет уже не вернулся. Вел полунищенское существование. Д. Самойлов посвятил ему стихотворение под инициалами А. Р. в «Гарусских страницах». Переводил с испанского и французского. Где и как погиб — неизвестно.

* * *

Вот придет война большая,
заберем мы в подвал,
тишину с душой мешая,
ляжем на пол, наповал.

Мне, безрукому, остаться
с пацанами суждено,
и под бомбами шататься
мне на хронику в кино.

Кто скитался по Мильенке,
Жрал дарма а-ля фушет,
до сих пор мы все ребенки,
тот же шкиндлик, тот же шкет.

Как чайнки, вьются годы,
смерть поднимется со дна.
Ты, как я,— дитя природы
и прекрасен, как она.

Рослый тополь в чистом поле,
что ты знаешь о войне?
Нашей общей кровью полит,—
ты порубан на земле.

И тебя во чистом поле
поцелует пуля в лоб,
ветер грех ее замолит,
отпоет воздушный поп.

Вот и в гроб тебя забрали,
ох, я мертвых не бужу,
только страшно мне в подвале,
я еще живой сижу.

Сева, Сева, милый Сева,
сиволапая семья...
Трупы справа, трупы слева
сверху ворон, сбоку — я.

АЛЕКСАНДР ШЕВЦОВ

1914—1940, Магадан

В 1934 году в Профиздате вышла книжка стихов юного Шевцова — «Голос». Она и сейчас блещет талантом, родственным Ярославу Смелякову и Борису Корнилову. Безвременная смерть отняла у литературы будущего — почти наверняка — крупного поэта. Арестованный в 1936 году, он писал из тюрьмы: «Мама, это неправда, Сталин разберется». Шевцов умер в Магадане, а с ним все его будущие стихи.

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН

Понимая в мире слабо
Этих дней большой полет,
Несознательная баба
Две селедки продает.
Просит мало она,
Много ль,
Я не знаю.
Я сердит.
Николай Василич Гоголь
Супротив нее сидит.
Он сидит, не зная дрожи,
Не волнуясь,
Не дыша.
Эта баба —
Это что же?
Это мертвая душа.
Это просто вроде груза,
Как иные говорят...

Восемь членов профсоюза
У товарища сидят.
И кричит он им:
«Бригада,
Сотоварищи мои!
Больше спайки!
Скоро надо
Отражать
В боях бои.
Это скоро,
Враг наводит
Пулеметы на завод.
Над страной
Война восходит,
Там,
Где солнечный восход.
Больше силы,
Больше спайки!»
(И стоят, теряя страх,
Две домашние хозяйки

Два часа, как на часах.)
 И кричит он:
 «Скоро в поле
 Будет ветер,
 Бой и бред!»
 И кричит он:
 «Выпьем, что ли,
 За поход
 Больших побед!
 За поход,
 Что в мире света
 Образует полосу.
 Ты за то,
 Он за это —
 Я закуску принесу!»
 И ушел.
 Сбив шапку набок...
 На углу, отгладив лед,
 Несознательная баба
 Две селедки продает.

На планете мимо пашен
 И во все ее концы
 Ходят наши и не наши,
 Ходят дети и отцы,
 Ходят ветры, и мы еле
 Их улавливаем свист.

На помятой на постели
 Просыпается фашист.
 И лежит (ему не спится)...
 Он готов

За пятилетку
 Мне
 Свинцовую синицу
 Посадить
 В грудную клетку.

Он готов, но это хуже
 Для него лишь.
 Я в ночи,
 Растерзав на клочья лужи,
 Прохожу.
 Летят лучи
 Фонарей.
 Бежит аллея...
 Пробежала...
 Темен вид...
 Красный мрамор Мавзолея
 Посреди земли стоит.
 Сон шагает по квартирам,
 Город грозен,
 Город глух.
 Звезды падают над миром
 В виде точки,
 В виде двух,
 В виде белых,
 В виде алых,
 Оставляя серый след
 Над страной
 Больших и малых
 Сотрясений
 И побед.

ПАВЕЛ ШУБИН

1914, с. Чернавск Орловской губ.—1951, Москва

Родился в семье сельского мастерового. Первые две книги «Парус» и «Ветер в лицо» вышли еще до войны. В годы Великой Отечественной работал во фронтовой печати на Волховском, Карельском фронтах. Стих Шубина несентиментальный, крепкий, иногда переходящий в жесткость, но всегда на профессиональном «мастеровом» уровне.

ПОЛМИГА

Нет,
 Не до седин,
 Не до славы
 Я век свой хотел бы продлить,
 Мне б только до той вон канавы
 Полмига, полшага прожить;

Прижаться к земле
 И в лазури
 Июльского ясного дня
 Увидеть оскал амбразуры
 И острые вспышки огня.

Мне б только,
 Вот эту гранату,
 Злорадно поставив на взвод...
 Всадить ее,
 Врезать, как надо,
 В четырежды проклятый дзот,

Чтоб стало в нем пусто и тихо,
 Чтоб пылью осел он в траву!
 ...Прожить бы мне эти полмига,
 А там я сто лет проживу!

1943

В. ШУЛЬЧЕВ

1914—1943

Был в плену, бежал. Погиб, спасая раненых.

В ИЮНЕ

Тонко поет, как барышня,
гармонь в тишине ночной.
— Любовь моя, Анна Саввишна,
присядь на крыльце со мной.
Уж коль говорить — так начисто:
иль вместе нам быть, иль врозь.
Мои молодые качества
Ты знаешь сама насквозь.
Поскольку умом ты дошла,
А я не таюсь ни в чем,
приходится вспомнить прошлое,
как лодырем был, рвачом.
Давно эта песня брошена,

и тошен про это сказ.
И слава теперь хорошая
в народе идет про нас...
В работе я парень характерный
и этим не зря горжусь,
моей бригадой тракторной
любуется весь Союз.
И в горе не гнусь я ивовою,
и статен — хоть на парад,
и личность довольно красивую
имею, как говорят.
И лучше признаться начисто:
Что ж, вместе нам быть иль врозь?
Мои молодые качества
ты знаешь сама насквозь.

МАРГАРИТА АЛИГЕР

1915, Одесса—1992, Переделкино Московской обл.

Первые стихи опубликовала в 1933 году. Училась в Литинституте с 1934 по 1937 год. Первая книга «Год рождения» вышла в 1938-м. Огромную популярность во время войны получила поэма «Зоя» о юной партизанке Зое Космодемьянской, повешенной гитлеровцами. Хотя поздние исторические интерпретаторы и ставили под сомнение эту версию, как официозную легенду, поэма тем не менее была полна искреннего трагизма: «Тишина, ах какая стоит тишина! Даже шорохи ветра нечасты и глухи. Тихо так, будто в мире осталась одна эта девочка в ватных штанах и треухе». После войны, в то время, когда поэзии зажали горло, Алигер написала слабую скучную поэму «Ленинские горы» в стиле тогдашней «бесконфликтности». Но она всегда была в первых рядах тех писателей, которые, несмотря на полузадушенность, требовали права на свежий воздух. Либеральная интеллигенция аплодировала Алигер, когда на собрании московских литераторов она сказала, что «старые товарищи по фронту и по поэзии простят Косте Симонову некоторые его поступки только при условии, что он их никогда не повторит». Алигер была членом редколлегии альманаха «Литературная Москва», который был провозвестником «оттепели». Когда Хрущев решил подморозить собственную оттепель, Алигер мужественно выступила против него на правительственном банкете-дискуссии с писателями в 1956 году. Позднее, будучи уже в отставке, Хрущев просил составителя этой антологии передать извинения всем писателям, с которыми он был груб, и первой из них — Алигер, с запоздалой прямотой назвав свое поведение «вульгарным и бестактным». В личной жизни она была глубоко несчастна. Ее первый муж композитор Макаров был убит на фронте. Их дочь — талантливая поэтесса Таня Макарова, чьи стихи мы приводим в этой антологии, трагически ушла из жизни. Отец ее второй дочери — Александр Фадеев — покончил жизнь самоубийством. Его дочь, выйдя замуж за немецкого поэта Энценбергера и не найдя за границей своего места в жизни, тоже ушла из жизни по своей воле. Потеряв своего последнего мужа, она осталась совсем одна, была найдена мертвой недалеко от своей переделкинской дачи, в придорожной канаве. Все, знавшие ее, и среди них составитель этой антологии, вспоминают Алигер как на редкость светлого человека. Составитель этой антологии написал о ней стихи, где есть такие строки: «Была в поэте, слитая навеки, особенная внутренняя гордость — и русского поэта, и еврейки».

* * *

С пульей в сердце
я живу на свете.
Мне еще нескоро умереть.
Снег идет.
Светло.
Играют дети.
Можно плакать,
можно песни петь.

Только петь и плакать я не буду.
В городе живем мы, не в лесу.

Ничего, как есть, не позабуду.
Все, что знаю, в сердце пронесу.

Спрашивает снежная, сквозная,
светлая казанская зима:
— Как ты будешь жить?
— Сама не знаю.
— Выживешь? —
Не знаю и сама.
— Как же ты не умерла от пули?

От конца уже недалеке
я осталась жить,
не потому ли,
что в далеком камском городке,
там, где полночи светлы от снега,
где лихой мороз берет свое,
начинает говорить и бегать
счастье и бессмертие мое.

— Как же ты не умерла от пули,
выдержала огненный свинец?

Я осталась жить,
не потому ли,
что, когда увидела конец,
частыми, горячими толчками
сердце мне успело подсказать,
что смогу когда-нибудь стихами
о таком страданье рассказать.

— Как же ты не умерла от пули?
Как тебя удар не подкосил?

Я осталась жить,
не потому ли,
что, когда совсем не стало сил,
увидала
с дальних полустанков,
из забитых снегом тупиков:
за горами
движущихся танков,
за лесами
вскинутых штыков
занялся,
забресжил
день победы,
землю осенил своим крылом.

Сквозь свои
и сквозь чужие беды
в этот день пошла я напролом.

1941

* * *

Люди мне ошибок не прощают.
Что же, я учусь держать ответ.
Легкой жизни мне не обещают
телеграммы утренних газет.

Щедрые на праздные приветы,
дни горят, как бабочки в огне.
Никакие добрые приметы
легкой жизни не пророчат мне.

Что могу я знать о легкой жизни?
Разве только из чужих стихов.

Но уж коль гулять, так, хоть на тризне,
я люблю до третьих петухов.

Но летит и светится пороша,
светят огоньки издалека;
но, судьбы моей большая ноша,
все же ты, как перышко, легка.

Пусть я старше, пусть все гуще проседь,—
если я посетую — прости,—
пусть ты все весомее, но сбросить
мне тебя труднее, чем нести.

1946—1955

К ПОРТРЕТУ ЛЕРМОНТОВА

Поручик двадцати шести
годов,
прости меня,
прости
за то, что дважды двадцать шесть
на свете я была и есть.

Прости меня, прости меня
за каждый светлый праздник дня,
что этих праздников вдвойне
отпраздновать случилось мне.

Но если вдвое больше дней,
то, значит, и вдвойне трудней,
и стало быть, бывало мне
обидней и страшней вдвойне.

И вот выходит, что опять
никак немислимо понять,
который век,
который раз,
кому же повезло из нас?

Что тяжче:
груз живых обид
или могильная трава?
Ты не ответишь — ты убит.
Я не отвечу — я жива.

1968

* * *

И все-таки настаиваю я,
и все-таки настаивает разум:
виновна ли змея в том, что она змея,
иль дикобраз, рожденный дикобразом?
Или верблюды двугорбый, наконец?
Иль некий монстр в государстве некоем?
Но виноват подлец, что он — подлец.
Он все-таки родился человеком!

1979

* * *

Подживает рана ножевая.
Поболит нет-нет, а все не так.

Подживает, подавая знак:

— Подымайся!

Время!

Ты — живая! —

Обращаюсь к ране ножевой,

в долготу моих ночей и дней:

— Что мне делать на земле, живой?

А она в ответ:

— Тебе видней.

1989

ВИКТОР ВЕТЛУГИН

р. 1915

Настоящая фамилия — Салатко-Петрище; младший брат поэта Валерия Перелешина. Участник харбинской «Молодой Чураевки», сборника «Излучины» (Харбин, 1935). Позже отошел от литературы, стал крупным инженером, жил в Бразилии, потом переселился в США.

РОССИЯ

Это — тройка и розвальни-сани,
И унылая песнь ямщика,
Это — в синем вечернем тумане
Одинокая стынет река.

Это — грудь с неумною болью,
Но палимая вечным огнем,
Это — крест, затерявшийся в поле,
И казачья папаха на нем.

Это — степи, столбы верстовые,
Беспредельный, бескрайний простор.
Это Лермонтов — в грудь и навьлет —
На холодной земле распростерт.

ЕВГЕНИЙ ДОЛМАТОВСКИЙ

р. 1915, Москва—1994, там же

Из семьи юриста, арестованного в 1937 году. Работал на Московском метрострое. Первые стихи опубликовал в 1934-м. Закончил Литинститут в 1937-м. Перед войной стала знаменитой песня на слова Долматовского «Любимый город», а во время войны весь народ пел «В кармане маленьком моем есть карточка твоя», «Ой, Днипро, Днипро, ты широк, могуч», «Ночь коротка. Спят облака». Попал в немецкий плен, бежал. Сильно написал о пожарищах войны на Украине в поэме «Пропал без вести»: «Корчилась, вздрагивала дубрава. Судорогами исходило пламя, словно метались влево и вправо петухи с отрубленными головами». Трогает образ украинки Вербиной Христины, спасшей его во время побега. В первые послевоенные годы упражнялся, как многие поэты, в риторике бесконфликтности — в циклах о коммунистическом будущем, где нет на дверях замков, о Волго-Доне, закрывая глаза на то, что почти вся «эта великая стройка» была на костях заключенных. Будущий борец за правду Яшин, как и многие другие, тоже тогда писал подобные стихи, как, впрочем, и составитель этой антологии, которого частично оправдывает лишь его тогдашняя молодость. Это было время с размытой и, я бы сказал, запутанной нравственностью. В то же время Долматовский, преподавая в Литинституте, воспитал много молодых поэтов, отнюдь не внушая им риторический стиль... «Хреновая твоя книжка... Она, как ее обложка, — голубенькая», — сказал он мне в 1952 году, подписывая, однако, рекомендацию в Союз писателей.

СКАЗКА О ЗВЕЗДЕ

Золотые всплески карнавала,
Фейерверки на Москва-реке.
Как ты пела, как ты танцевала
В желтой маске, в красном парике!
По цветной воде скользили гички,
В темноте толпились светляки.
Ты входила,

И на поле «Смычки»¹
Оживали струны и смычки.
Чья-то тень качнулась вырезная,
Появился гладенький юнец.
Что меня он лучше — я не знаю.
Знаю только, что любви конец.
Смутным сном уснет Замоскворечье,

¹ Тогдашнее название Парка Культуры имени Горького.

И тебя он уведет тайком,
 Бережно твои накроет плечи
 Угловатым синим пиджаком.
 Я уйду, забытый и влюбленный,
 И скажу неласково: «Пока».
 Помашу вам шляпою картонной,
 Предназначенной для мотылька.

Поздняя лиловая картина:
 За мостами паровоз поет.
 Человек в костюме арлекина
 По Арбатской Площади идет.
 Он насвистывает и тоскует
 С глупой шляпою на голове.
 Вдруг он видит блеску золотую,
 Спящую на синем рукаве.
 Позабить свою потерю силась,
 Малой блеске я сказал: — Лети! —
 И она летела, как комета,
 Долго и торжественно, и где-то
 В темных небесах остановилась,
 Не дойдя до Млечного Пути.

1934

ГЕРОЙ

Легко дыша, серебряной зимой
 Товарищ возвращается домой.

Вот, наконец, и материнский дом,
 Колючий садик, крыша с петушком.

Он распахнул тяжелую шинель,
 И дверь за ним захлопнула метель.

Роняет штопку, суетится мать.
 Какое счастье — сына обнимать.

У всех соседей — дочки и сыны,
 А этот назван сыном всей страны!

Но ей одной сгибаться от тревог
 И печь слоеный яблочный пирог.

...Снимает мальчик свой высокий шлем,
 И видит мать, что он седой совсем.

1938

ВЛАДИМИР ЗАМЯТИН

1915, с. Бондари Тамбовской губ. — 1952, Москва

Родился в семье столяра. После ФЗО работал в Москве слесарем, строителем метро. Закончил Литинститут им. Горького. Первый коллективный сборник (вместе с А. Жислиным и Е. Абросимовым) вышел в Москве в 1934 году. Во время войны работал в редакциях фронтовых газет. В 1952 году получил Сталинскую премию за очень плохую поэму «Зеленый заслон» — о ползающих насаждениях. Однако поэтическая искорка у Замятина была. Многие повторяли наизусть: «Кони сыты, кони пегие, кони дрожью валиты. Девоч, девочек две телеги, две телеги красоты!»

ПЕТУХИ

Мих. Спиридов

Ведь надо же так,
 за какие грехи
 На свет появились
 одни петухи!..

Их пятеро ходят,
 крылами гремя.
 — Но я как-нибудь
 проживу и с двумя.

Тут теща добавила:
 — Хватит жиреть,
 Весь день от безделья
 крылами греметь!

Итак, в честь приезда,
 зятек, твоего
 Зарежь пожирнее
 пока одного... —

С ножом синеватым,
 что бритвы острей,
 Я в тещин курятник
 вошел на заре.

Не слыша, как скрипнули
 дверь и засов,

На жердочке дремлют
 все пять петухов.
 И ярче всех радуг
 хвосты пламенеют,
 Все пять гребешков,
 словно ягоды, зреют.
 Мой первый любимец
 в тиши бронзовеет.
 А тот, что левее,
 тот снега белее.

Сосед их пестрит
 от хвоста и до зоба,
 На зобе том зорька
 дрожит до озноба.

Четвертый и пятый —
 иная порода —
 Огнем польхают
 в любую погоду.

Их перья — нет в мире
 подобных огней,
 и жарче огней,
 и заката красней.

Со дня оперенья
 и вот до сих пор

Их теща с опаской
пускает во двор.
К соломе таких
петухов подпусти, —
Так вспыхнет, пожалуй,
добра не спасти...
О нет! На заре
не поднять мне руки,
На спящих к тому ж,
на красивых таких!..
Тут солнце вкатилось
шаром золотым.
И крылья разрезали
свистом своим
Густую, рассветную,
сонную тишь.

Над пламенем вишни,
над заревом крыш,
Как гром, прокатился
запев петухов.
Дрожал надо мною
соломенный кров.
и песней ответил
глухарь у реки...
О, нет! Не поднять мне
на песню руки!..

Я теще сказал:
— Хть зарежь, не могу.
Я всех петухов
для стихов сберегу.

1945

И. КРУГЛОВ

р. ок. 1915

Представитель «русской Австралии», родом, вероятно, из Харбина, ибо публикуемый отрывок взят из сборника харбинских и шанхайских поэтов «Песни с Востока», который вышел в 1989 году в Аделаиде.

* * *

(фрагменты)

Я не видел России и мне незнаком
Запах русских полей и желтеющей нивы.
Я не слышал ночных соловьев переливы.
Я не знаю, каков мой отеческий дом...

Я не видел широкий разлив наших рек,
Бесконечных калик переходящих на тропах.
Я не чувствовал русскую славу в окопах,
Где окончили многие славно свой век.

У реки ли смотрю на закат вдалеке,
Мне понятней напевы манчжурского кули,

Чем тягучий мотив бурлаков, что тянули
Баржу с грузом тяжелым по Волге-реке.

....Но когда темным, в звездах покровом своим
Ночь скрывает от взоров манчжурское поле,
Снится мне бесконечное русское поле,
Степь, ковыль, да откуда-то розовый дым.

Я не видел России, не помню тот дом,
где родился под грохот тяжелых орудий,
где стреляли в кого-то какие-то люди...
Я не помню, не видел. Не знаю о том.

МИХАИЛ МАТУСОВСКИЙ

1915, Луганск — 1990

После строительного техникума работал на строительстве Ворошиловградского паровозостроительного завода. В 1935—1939 годах учился в Литинституте. Первая коллективная книга «Луганчане» была написана совместно с К. Симоновым. Затем вышла самостоятельная первая книга «Моя родословная». Во время войны был военным корреспондентом. Автор слов многих часто исполнявшихся песен «С чего начинается Родина?», «Вернулся я на родину», «На безымянной высоте». Песня «Подмосковные вечера» оказалась, пожалуй, самой знаменитой русской песней XX века.

ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА

Не слышны в саду даже шорохи,
Все здесь замерло до утра.
Если б знали вы, как мне дороги
Подмосковные вечера.

Речка движется и не движется
Вся из лунного серебра.
Песня слышится и не слышится
В эти тихие вечера.

Что ж ты, милая, смотришь искоса,
Низко голову наклоня.
Трудно высказать и не высказать
Все, что на сердце у меня.

А рассвет уже все заметнее.
Так, пожалуйста, будь добра,
Не забудь и ты эти летние
Подмосковные вечера...

1955

КОНСТАНТИН СИМОНОВ

1915, Петроград—1979, Москва

Сталинисты-догматики говорят о нем как о человеке, который, прославив Сталина при жизни, предал его после смерти. Антисталинисты-максималисты недовольны его половинчатостью в оценках Сталина и его эпохи. Шесть раз лауреат Сталинской премии. Опальный редактор «Нового мира», напечатавший первые предперестроечные произведения, в том числе «Не хлебом единым» В. Дудинцева. Бесстрашно летавший на бомбежки Берлина, ходивший на боевой субмарине офицер без страха и упрека. Секретарь Союза писателей, много раз каявшийся в своих ошибках, которые на самом деле были его лучшими гражданскими поступками. Первым еще до скандала вокруг романа отвергнувший «Доктора Живаго». Автор первой восторженной рецензии на «Один день Ивана Денисовича» Солженицына. Я видел Симонова на траурном митинге в марте 1953 года, когда он с трудом сдерживал рыдания. Но, к его чести, я хотел бы сказать, что его переоценка Сталина была мучительной, но не конъюнктурной, а искренней. Да, из сегодняшнего времени эта переоценка может казаться половинчатой, но не забудем того, что когда-то в оторопевших глазах идеологического генералитета эта страдальческая половинчатость выглядела чуть ли не подрывом всех основ. Симонов дружил с маршалом Жуковым, но тогдашние «пуровцы», осуществлявшие надзор над всей батальной литературой, буквально ели Симонову печенку. Когда запретили его военные дневники, Симонов обратился с письмом к Брежневу, которого хорошо знал по фронту. Симонов мне сам рассказал, как, следуя в Волгоград поездом вместе с делегацией на открытие мемориала, он был приглашен к Брежневу в его салон-вагон и пил с ним всю ночь, вспоминая войну. «Но он ни слова мне не сказал ни про мое письмо, ни про мои дневники...» — горько добавил Симонов. «Почему же вы не спросили?» — поразился я. Симонов нахмурился, пожал плечами: «Я человек военной заправки... Если маршал сам не заговаривает с офицером о его письме, офицер не должен спрашивать». В этой истории — вся трагедия Симонова. Как в своем пророческом раннем стихотворении, он оказался в конце своей жизни поручиком, больше ненужным государству, которому он так верно служил. Страшный парадокс истории в том, что верность служения государству иногда оборачивается предательством самого себя. Государство и совесть — это не одно и то же, если государство попирает совесть. Симонов несколько раз чувствовал яд государственной неблагодарности. В каком-то смысле это был яд целительный, ибо именно этот яд начал избавлять его от иллюзий и помог написать многие страницы прозы, которые станут правдивым документом истории. Но если говорить о прозе как об искусстве, то, на мой частный взгляд, все-таки чувствуется, что многие прозаические произведения «надиктованы». Художественные взлеты Симонова принадлежат все-таки его поэзии, когда не он диктовал, а ему диктовала история. Под эту волшебную диктовку написаны такие шедевры, как «Жди меня» и «Ты помнишь, Алеша...». Кто-то назвал Симонова «советским Киплингом». Это в известной мере правильно — и в отрицательном, и в положительном смысле. Но как примитивно приписывать Киплинга к английскому империализму, так примитивно приписывать Симонова к сталинизму. Киплинг и Симонов, дети разных обществ, разных классов, представители разных идеологий, в одном были схожи — они отражали в своих произведениях и империализм, и сталинизм как историческую данность. Лучшее, что сделал Симонов — стихи «Жди меня», — никогда не умрет.

ПОРУЧИК

Уж сотый день врезаются гранаты
В Малахов окровавленный курган,
И рыжие британские солдаты
Идут на штурм под хриплый барабан.

А крепость Петропавловск-на-Камчатке
Погружена в привычный, мирный сон.
Хромой поручик, натянув перчатки,
С утра обходит местный гарнизон.

Седой солдат, откозыряв неловко,
Трет рукавом ленивые глаза,
И возле пушек бродит на веревке
Худая гарнизонная коза.

Ни писем, ни вестей. Как ни проси их,
Они забыли там, за семь морей,
Что здесь, на самом кончике России,
Живет поручик с ротой егерей...

Поручик, долго щурясь против света,
Смотрел на юг, на море, где вдали —

Неужто нынче будет эстафета? —
Маячили в тумане корабли.

Он взял трубу. По зыби, то зеленой,
То белой от волнения, сюда,
Построившись кильватерной колонной,
Шли к берегу британские суда.

Зачем пришли они из Альбиона?
Что нужно им? Донесся дальний гром,
И волны у подножья бастиона
Вскипели, обожженные ядром.

Полдня они палили наудачу,
Грозя весь город обратить в костер.
Держа в кармане требование сдачи,
на бастион взошел парламентар.

Поручик, в хромоте своей увидя
Опасность для достоинства страны,
Надменно принимал британца, сидя
На лавочке у крепостной стены.

Что защищать? Заржавленные пушки,
Две улицы, то в лужах, то в пыли,
Косые гарнизонные избушки,
Клочок не нужной никому земли?

Но все-таки ведь что-то есть такое,
Что жаль отдать британцу с корабля?
Он горсточку земли растер рукою:
Забывая, а все-таки земля.

Дырявые, обветренные флаги
Над крышами шумят среди ветвей...
«Нет, я не подпишу твоей бумаги,
Так и скажи Виктории своей!»

Уже давно британцев оттеснили,
На крышах залатали все листы.
Уже давно всех мертвых схоронили,
Поставили сосновые кресты,

Когда санкт-петербургские курьеры
Вдруг привезли, на год застряв в пути
Приказ принять решительные меры
И гарнизон к присяге привести.

Для боевого действия к отряду
Был прислан в крепость новый капитан
А старому поручику в награду
Был полный отпуск с пенсией дан!

Он все ходил по крепости, бедняга,
Все медлил взлезть по сходням корабля
Холодная казенная бумага,
Нелепая любимая земля.

1939

ИЗ ПОЭМЫ
«НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ»
(фрагмент)

.....
Мороз, далекой песни звуки,
Дверь в ледяных цветах зимы,
Зайдем — скорей бокалы в руки,
И стойка, и за стойкой мы.

Крутящиеся табуретки,
И, словно веер, в сто мастей
До потолка все этикетки
В стекло упрятанных чертей.

Двенадцать бьет за три квартала!
Последний в том году глоток.
И сквозь вспотевшие бокалы
На дне оставшийся ледок.

Как славно в новогоднем зале,
Хруст скатертей и звон столов.
И что б друг другу ни сказали,
Никто твоих не слышит слов.

Какая странная отрада —
Весь вечер медлить среди людей,
Как будто нам спешить не надо,
И век не станешь ты моей.

А сердце, как колдун, стучится
И мне предсказывает... верь,
Что это все равно случится
Сегодня, в эту ночь, теперь.

Еще покусывая льдинку,
Ты медлишь, медлишь, медлишь, но
Я жду тебя, как поединка,
Он состоится, вся равно.

Я жду, когда удастся моим
Лукавых слов вдруг уловить
Миг, за которым нестерпимо
Тебе со мной на людях быть.

А здесь уже без промедленья
К дверям, без спроса, как свою...
И рук покорное движение,
Когда я шубу подаю.

Мороза голубое чудо,
Дверь настезь, иней, снег в лицо.
И твой вопрос: — Куда ж отсюда?
Как обручальное кольцо.

.....

СВЕРЧОК

Мы довольно близко видели смерть
и, пожалуй, сами могли умереть,
мы ходили везде, где можно ходить,
и смотрели на всё, на что можно смотреть.
Мы влезали в окопы,
пропахшие креозотом
и пролитым в песок сакэ,
где только что наши
кололи тех
и кровь не засохла еще на штыке.
Мы напрасно искали домашнюю жалость,
забытую нами у очага,
мы здесь привыкали,
что быть убитым —
входит в обязанности врага.
Мы сначала взяли это на веру,
но вера вошла нам в кровь и плоть;
мы так и писали:
«Если он не сдастся —
надо его заколоть!»

И, честное слово, нам ничего не снилось,
когда, свернувшись в углу,
мы дремали в летящей без фар машине
или на твердом полу.

У нас была чистая совесть людей,
 посмотревших в глаза войне.
 И мы слишком много видели днем,
 чтобы видеть еще во сне.
 Мы спали, как дети,
 с открытыми ртами,
 кое-как прикорнув на тычке...
 Но я хотел рассказать не об этом.
 Я хотел рассказать о сверчке.
 Сверчок жил у нас под самую крышей
 между войлоком и холстом.
 Он был рыжий и толстый,
 с большими усами
 и кривым, как сабля, хвостом.

Он знал, когда петь и когда молчать,
 он не спутал бы никогда;
 он молча ползал в жаркие дни
 и грустно свистел в холода.
 Мы хотели поближе его разглядеть
 и утром вынесли за порог,
 и он, как шофер, растерялся, увидев
 сразу столько дорог.
 Он удивленно двигал усами,
 как и мы, он не знал, почему
 большой человек из соседней юрты
 подошел вплотную к нему.
 Я повторяю:
 сверчок был толстый,
 с кривым, как сабля, хвостом,
 но всего его, маленького,
 можно было
 покрыть дубовым листом.
 А сапог был большой —
 сорок третий номер,
 с гвоздями на каблуке,
 и мы не успели еще подумать,
 как он стоял на сверчке.

Мы решили, что было б смешно сердиться,
 и завели разговор о другом,
 но человек из соседней юрты
 был молча объявлен нашим врагом.

Я, как в жизни, спутал в своем рассказе
 и важное и пустяки,
 но товарищи скажут,
 что всё это правда
 от первой и до последней строки.

1939

* * *

Тринадцать лет. Кино в Рязани,
 Тапер с жестокою душой,
 И на заштопанном экране
 Страданья женщины чужой;

Погоня в Западной пустыне,
 Калифорнийская гроза,

И погибавшей героини
 Невероятные глаза.

Но в детстве можно всё на свете,
 И за двугривенный в кино
 Я мог, как могут только дети,
 Из зала прыгнуть в полотно.

Убить врага из пистолета,
 Догнать, спасти, прижать к груди.
 И счастье было рядом где-то,
 Там за экраном, впереди.

Когда теперь я в темном зале
 Увижу вдруг твои глаза,
 В которых тайные печали
 Не выдаст женская слеза,

Как я хочу придумать средство,
 Чтоб счастье было впереди,
 Чтоб хоть на час вернуться в детство,
 Догнать, спасти, прижать к груди...

Май 1941

* * *

В. С.

Жди меня, и я вернусь.
 Только очень жди,
 Жди, когда наводят грусть
 Желтые дожди,
 Жди, когда снега метут,
 Жди, когда жара,
 Жди, когда других не ждут,
 Позабыв вчера.
 Жди, когда из дальних мест
 Писем не придет,
 Жди, когда уж надоест
 Всем, кто вместе ждет.

Жди меня, и я вернусь,
 Не желай добра
 Всем, кто знает наизусть,
 Что забыть пора.
 Пусть поверят сын и мать
 В то, что нет меня,
 Пусть друзья устанут ждать,
 Сядут у огня,
 Выпьют горькое вино
 На помин души...
 Жди. И с ними заодно
 Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь
 Всем смертям назло.
 Кто не ждал меня, тот пусть
 Скажет: «Повезло».
 Не понять неждавшим им,
 Как среди огня
 Ожиданием своим
 Ты спасла меня.
 Как я выжил, будем знать

Только мы с тобой,—
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

1941

* * *

Над черным носом нашей субмарины
Взошла Венера — странная звезда,
От женских ласк отвыкшие мужчины,
Как женщину, мы ждем ее сюда.

Она, как ты восходит все позднее,
И, нарушая бег небесных тел,
Другие звезды всходят рядом с нею,
Гораздо ближе, чем бы я хотел.

Они горят трусливо и бесстыже.
Я никогда не буду в их числе,
Пусть они к тебе на небе ближе,
Чем я, тобой забытый на земле.

Я не прощусь с опасностью земною,
Чтоб в мирном небе зябнуть, как они,
Стань лучше ты падучею звездой,
Ко мне на землю руки протяни.

На небе любят женщину от скуки
И отпускают с миром, не скорбя...
Ты упадешь ко мне в земные руки.
Я не звезда. Я удержу тебя.

1941

* * *

Не сердитесь — к лучшему,
Что, себя не мучая,
Вам пишу от случая
До другого случая.

Письма пишут разные:
Слезные, болезненные,
Иногда прекрасные,
Чаще — бесполезные.

В письмах всё не скажется
И не всё услышится,
В письмах всё нам кажется,
Что не так напишется.

Коль вернусь — так суженых
Некогда отчитывать,
А убьют — так хуже нет
Письма перечитывать.

Чтобы вам не бедствовать,
Не возить их тачкою,
Будут путешествовать
С вами тонкой пачкою.

А замужней станете,
Обо мне заплачете —

Их легко достанете
И легко припрячете.

От него, ревнивого,
Затворившись в комнате,
Вы меня, ленивого,
Добрим словом вспомните.

Скажете, что к лучшему,
Память вам не мучая,
Он писал от случая
До другого случая.

1941

* * *

А. Суркову

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди,

Как слезы они вытирали украдкою,
Как вслед нам шептали: «Господь вас спаси!»
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси.

Слезами измеренный чаще, чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась,

Как будто за каждую русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих.

Ты знаешь, наверное, все-таки родина —
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.

Не знаю, как ты, а меня с деревенскою
Дорожной тоской от села до села,
Со вдовьей слезою и с песнею женскою
Впервые война на проселках свела.

Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом,
По мертвому плачущий девичий крик,
Седая старуха в салопчике плисовом,
Весь в белом, как на смерть одетый, старик.

Ну что им сказать, чем утешить могли мы их?
Но, горе поняв своим бабьим чутьем,
Ты помнишь, старуха сказала: «Родимые,
Покуда идите, мы вас подождем».

«Мы вас подождем!» — говорили нам пажити.
«Мы вас подождем!» — говорили леса.
Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется,
Что следом за мной их идут голоса.

По русским обычаям, только пожарища
 На русской земле раскидав позади,
 На наших глазах умирают товарищи,
 По-русски рубаху рванув на груди.

Нас пули с тобою пока еще милуют.
 Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,
 Я все-таки горд был за самую милую,
 За горькую землю, где я родился,

За то, что на ней умереть мне завещано,
 Что русская мать нас на свет родила,
 Что в бой провожая нас, русская женщина
 По-русски три раза меня обняла.

1941

РОДИНА

Касаясь трех великих океанов,
 Она лежит, раскинув города,
 Покрыта сеткою меридианов,
 Непобедима, широка, горда.

Но в час, когда последняя граната
 Уже занесена в твоей руке
 И в краткий миг припомнить разом надо
 Все, что у нас осталось вдалеке,

Ты вспоминаешь не страну большую,
 Какую ты изъездил и узнал,
 Ты вспоминаешь родину — такую,
 Какой ее ты в детстве увидал.

Клочок земли, припавший к трем берегам,
 Далекую дорогу за леском,
 Речонку со скрипучим перевозом,
 Песчаный берег с низким ивняком.

Вот где нам посчастливилось родиться,
 Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли
 Ту горсть земли, которая годится,
 Чтоб видеть в ней приметы всей земли.

Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы,
 Да, можно голодать и холодать,
 Идти на смерть... Но эти три березы
 При жизни никому нельзя отдать.

1941

ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

Пожар стихал. Закат был сух.
 Всю ночь, как будто так и надо,
 Уже не поражая слух,
 К нам долетала канонада.

И между сабель и сапог,
 До стремяни не доставая,
 Внизу, как тихий василек,
 Бродила девочка чужая.

Где дом ее, что случилось с ней
 В ту ночь пожара — мы не знали.
 Перегибаясь к ней с коней,
 К себе на седла поднимали.

Я говорил ей: «Что с тобой?» —
 И вместе с ней в седле качался.
 Пожара отсвет голубой
 Навек в глазах ее остался.

Она, как маленький зверек,
 К косматой бурке прижималась,
 И глаза синий уголек
 Все догореть не мог, казалось.

.....

Когда-нибудь в тиши ночной
 С черемухой и майской дремой,
 У женщины совсем чужой
 И всем нам вовсе незнакомой.

Заметив грусть и забытье
 Без всякой видимой причины,
 Что с нею, спросит у нее
 Чужой, не знавший нас, мужчина.

А у нее сверкнет слеза,
 И, вздрогнув, словно от удара,
 Она поднимет вдруг глаза
 С далеким отблеском пожара:

«Не знаю, милый». — А в глазах
 Вновь полетят в дорожной пыли
 Кавалеристы на конях,
 Какими мы когда-то были.

Деревни будут догорать,
 И кто-то под ночные трубы
 Девчонку будет поднимать
 В седло, накрывши буркой грубой.

1942

У ОГНЯ

Кружится испанская пластинка.
 Изогнувшись в тонкую дугу,
 Женщина под черною косынкой
 Пляшет на вертящемся кругу.

Одержима яростною верой
 В то, что он когда-нибудь придет,
 Вечные слова «Yo te quiero»¹
 Пляшущая женщина поет.

В дымной, промерзающей землянке,
 Под накатом бревен и земли,
 Человек в тулупе и ушанке
 Говорит, чтоб снова завели.

¹ «Я тебя люблю» (исп.). — Ред.

У огня, где жарятся консервы,
Греет свои раны он сейчас,
Под Мадридом продырявлен в первый
И под Сталинградом — в пятый раз.

Он глаза устало закрывает,
Он да песня — больше никого...
Он тоскует? Может быть. Кто знает?
Кто спросить посмеет у него?

Проволоку молча прогрызая,
По снегу ползут его полки.
Южная пластинка, замерзая,
Делает последние круги.

Светит догорающая лампа,
Выстрелы да снега синева...
На одной из улочек Дель-Кампо
Если ты сейчас еще жива,

Если бы неведомою силой
Вдруг тебя в землянку залучить,
Где он, тот голубоглазый, милый,
Тот, кого любила ты, спросить?

Ты, подняв опущенные веки,
Не узнала б прежнего, того,
В грузном поседевшем человеке,
В новом, грозном имени его.

Что ж, пора. Поправив автоматы,
Встанут все. Но, подойдя к дверям,
Вдруг он вспомнит и мигнет солдату:
«Ну-ка, заведи вдогонку нам».

Тонкий луч за ним блеснет из двери,
И метель их сразу обовьет.
Но, как прежде, радуясь и веря,
Женщина вослед им запоеет.

Потеряв в снегах его из виду,
Пусть она поет еще и ждет:
Генерал упрям, он до Мадрида
Все равно когда-нибудь дойдет.

1943

СЛЕПЕЦ

На виды видевшей гармонии,
Перебирая хриплый строй,
Слепец играл в чужом вагоне
«Вдоль по дороге столбовой».

Ослепнувший под Молодечно
Еще на той, на той войне,
Из лазарета он, увечный,
Пошел, зажмурясь, по стране.

Сама Россия положила
Гармонь с ним рядом в забыты

И во владенье подарила
Дороги длинные свои.

Он шел, к увечью привыкая,
Струились слезы по лицу.
Вилась дорога столбовая,
Навеки данная слепцу.

Все люди русские хранили
Его, чтоб был он невредим,
Его крестьяне подвозили,
И бабы плакали над ним.

Проводники вагонов жестких
Через Сибирь его везли.
От слез засохшие полоски
Вдоль черных щек его легли.

Он слеп, кому какое дело
До горестей его чужих?
Но вот гармонь его запела,
И кто-то первый вдруг затих.

И сразу на сердца людские
Печаль, сводящая с ума,
Легла, как будто вдруг Россия
Взяла их за руки сама.

И повела под эти звуки
Туда, где пепел и зола,
Где женщины ломают руки
И кто-то бьет в колокола.

По деревням и пепелищам,
Среди нагнувшихся теней.
«Чего вы ищете?» — «Мы ищем
Своих детей, своих детей...»

По бедным, вымершим равнинам,
По желтым волчьим огонькам,
По дымным заревам, по длинным
Степным бесснежным пустырям,

Где со штыком в груди открытой
Во чистом поле, у ракии,
Рукой родною не обмытый,
Сын русской матери лежит.

Где, если будет месть на свете,
Нам по пути то там, то тут
Непохороненные дети
Гвоздикой красной прорастут,

Где ничего не напророчишь
Черней того, что было там...

«Стой, гармонист! Чего ты хочешь?
Зачем ты ходишь по пятам?»

Свое израненное тело
Уже я нес в огонь атак.

Тебе Россия петь велела?
Я ей не изменю и так.

Скажи ей про меня: не станет
Солдат напрасно отдыхать,
Как только раны чуть затянет,
Пойдет солдат на бой опять.

Скажи ей: не ища покоя,
Пройдет солдат свой крестный путь.

Ну, и сыграй еще такое,
Чтоб мог я сердцем отдохнуть...»

.....
Слепец лады перебирает,
Он снова только стар и слеп.
И раненый слезу стирает
И режет пополам свой хлеб.

1943

ТАТЬЯНА СЫРЬЩЕВА

р. 1915, Петроград

Родилась в Петрограде, но всю юность прожила в Баку, откуда в довоенные годы переписывалась с другой поэтессой, киевлянкой Ольгой Матвеевой, поздней вошедшей в русскую зарубежную литературу как Ольга Анстей, автор первого стихотворения о трагедии Бабьего Яра. После войны Сырьщева не стала знаменитой фигурой, не участвовала в литературных бурях. Но бури развеялись, и на песке, усеянном обломками чужих мачт и весел, уцелели прекрасные строчки из книги «Бересклет», которые приводятся ниже.

* * *

На высокую насыпь положены шпалы,
А над ними бегут поезда, поезда...
Каждый поезд — как будто на землю упала
и распалась на множество окон звезда.

Поезда, вы меня захватить собирались.
Вы, конечно, об этом забыли давно!
По линейке прочерчен вдали веспералис,
и вечернее небо еще не темно.

Каждый поезд — разрыв, каждый поезд — разлука.
Что мне делать с моей журавлиной тоской?
Я как мальчик вчерашний: владелица лука,
а иду с перевязанной белым рукой.

ВЕРОНИКА ТУШНОВА

1915, Казань — 1965, Москва

Родилась в семье ученого-биолога. Окончила в 1935 году Первый медицинский институт в Ленинграде и поступила лаборанткой в Институт экспериментальной медицины в Москве. Во время войны работала врачом в эвакогоспиталях Казани и Москвы. Печататься начала с 1944-го. Сборник стихов «Первая книга» вышел в Москве в 1945-м. Отличалась высоким благородством по отношению ко всем писателям, попадавшим в беду.

КАПИТАНЫ

Не ведется в доме разговоров
про давно минувшие дела,
желтый снимок — пароход «Суворов» —
выцветает в ящичке стола.
Попытаюсь все-таки взглядеться
пристальней в туман минувших лет,
увидать далекий город детства,
где родились мой отец и дед.
Утро шло и мглою к горлу липло,

салом шелестело по бортам...
Кашлял продолжительно и хрипло
досиня багровый капитан.
Докурив, в карманы руки прятал
и в белесом мареве зари
всматривался в узенький фарватер
Волги, обмелевшей у Твери.

И возникал перед глазами
причал на стынувшей воде
и домик в городе Казани,

в Адмиралтейской слободе.
 Судьбу бродяжью проклиная,
 он ждет — скорей бы ледостав...
 Но сам не свой в начале мая,
 когда вода растет в кустах
 и подступает к трем оконцам
 в густых гераневых огнях
 и, ослепленный мир обняв,
 весь день роскошествует солнце;
 когда прозрачен лед небес,
 а лед земной тяжел и порист,
 и в синем пламени по пояс
 бредет красно-лиловый лес...
 Горчащий дух набрякших почек,
 колючий, клейкий, спиртовой,
 и запах просмоленных бочек
 и дегтя... и десятки прочих
 тяжеловесною волной
 текут с причалов, с неба, с Волги,
 туманя кровь, сбивая с ног,
 и в мир вторгается свисток —
 привычный, хрипловатый, долгий...
 Волны медлительный разбег
 на камни расстилает пену,
 и осточертевают стены,
 и дом бросает человек...
 С трехлетним черноглазым сыном
 стоит на берегу жена...
 Даль будто бы растворена,
 расплавлена в сиянье синем.
 Гремят булыжником ободья
 тяжелых кованых телег...
 А пароход — как первый снег,
 как лебедь в блеске половодья...

Пар вырывается свистя,
 лениво шлепаются птицы...
 ...Почти полсотни лет спустя
 такое утро сыну снится.
 Проснувшись, он к рулю идет,
 не видя волн беспечной пляски,
 и вниз уводит пароход
 защитной, пасмурной окраски.
 Бегут домишки по пятам,
 и, бакен огибая круто,
 отцовский домик капитан
 как будто видит на минуту.
 Но со штурвала своего
 потом уже не сводит взгляда,
 и на ресницах у него
 тяжелый пепел Сталинграда.

* * *

Надо верными оставаться,
 до могилы любовь неся,
 надо вовремя расставаться,
 если верными быть нельзя.

Пусть вовек такого не будет,
 но кто знает, что суждено?
 Так не будет, но все мы люди...
 Все равно — запомни одно:

я не буду тобою брошена,
 лгать не станешь мне, как врагу,
 мы расстанемся как положено, —
 я сама тебе помогу.

АНАТОЛИЙ ЧИВИЛИХИН

1915—1957

Учительствовал, работал на Кировском заводе. В 1941-м ушел добровольцем на фронт, был военкомом. Первый сборник — «Стихи» (1939). Высоко оценен В. Шефнером, М. Дудиным. В 1957 году покончил с собой.

ГОРДОСТЬ

Мы встретились — горячка и гордец.
 Старательно мы избегали встречи.
 На поединке взглядов и сердец
 О примиреньи даже нет и речи.
 Виновен я. Виновна ты вдвойне.
 Но в этом вовсе не легко признаться.
 «Царевич я! Довольно! Стыдно мне
 Пред гордою полячкой унижаться!»
 Я коронован гордостью. И ты.
 У нас ее, пожалуй, даже лишка.
 Но без нее мы нищи и пусты:

Холопка ты, а я Отрепьев Гришка.
 Когда-нибудь (и скоро, может быть!)
 Мы затоскуем горько и бесслезно.
 Захочется нам гордость позабыть.
 Раскаемся. Но поздно будет. Поздно!
 Нам слишком мало радости в судьбе:
 Тебе — неволя, мне — позор и плаха!

Так все-таки, не кажется ль тебе:
 Холопка стоит беглого монаха!

1944

ВАДИМ ШЕФНЕР

р. 1915, Петроград

Из династии дальневосточных капитанов. Остался беспризорником. Закончил рабфак при ЛГУ. Работал кочегаром, чертежником, теплотехником. Был фронтовым корреспондентом. Первая книга «Моя родословная» вышла в Ленинграде в 1940-м. Очаровательная его книга «Пригород» в первые послевоенные годы среди индустриально-колхозного стихописательства выделялась своим лиризмом. «И медленно уставив изумруды бездумных глаз, недвижимых, как всегда, лягушки, словно маленькие Будды, на бревнышках сидели у пруда». Стал своеобразным лирическим фантастом-прозаиком.

ЛЕСНОЙ ПОЖАР

Забывчивый охотник на привале
Не разметал, не растоптал костра.
Он в лес ушел, а ветки догорали
И нехотя чадили до утра.

А утром ветер разогнал туманы,
И ожил потухающий костер
И, сыпля искры, посреди поляны
Багровые лохмотья распростер.

Он всю траву с цветами вместе выжег.
Кусты спалил, в зеленый лес вошел.
Как вспугнутая стая белок рыжих,
Он заметался со ствола на ствол.

И лес гудел от огненной метели,
С морозным треском падали стволы,
И, как снежинки, искры с них летели
Над серыми сугробами золы.

Огонь настиг охотника — и, мучась,
Тот задышался в огненном плену;
Он сам себе готовил эту участь,—
Но как он испустил свою вину!..

Не такова ли совесть?

Временами
Мне снится сон среди тишины ночной,
Что где-то мной костер забыт, а пламя
Уже гудит, уже идет за мной...

1940

* * *

Я мохом серым нарасту на камень,
Где ты пройдешь. Я буду ждать в саду
И яблонь розовыми лепестками
Тебе на плечи тихо опаду.

Я веткой клена в белом блеске молний
В окошко стукну. В полдень на лугу
Тебе молчаньем о себе напомним
И облаком на солнце набегу.

Но если станет грустно нестерпимо,
Не камнем горя лягу я на грудь —
Я глаз твоих коснусь смолистым дымом:
Поплачь еще немного — и забудь...

1944

МИХАИЛ ДУДИН

1916, д. Клевнево Костромской губ.—1994

Окончил Ивановскую текстильную школу ФЗУ. Работал журналистом в ивановских газетах. Участвовал в финской войне. Затем был военным корреспондентом на войне с фашизмом, на Ленинградском фронте. Первый сборник стихов «Ливень» вышел в Иванове в 1940 году. Лучшая книга фронтовых стихов «Переправа», где был такой шедевр, как «Соловьи», появилась сразу после войны. Этой книге была посвящена вдохновенная, как поэма, статья В. Барласа — геофизика и критика — одного из учителей составителя этой антологии. Однако, как и многие фронтовые поэты, выдержавшие испытание Великой Отечественной, Дудин не выдержал испытание холодной войной. Эта война уже не давала возможности быть искренним и печатаемым. Ждановские атаки против Ахматовой и Зощенко были как серьезное предупреждение всем другим писателям. Фронтовые поэты, в том числе и Дудин, уходили в официальную риторику или в лучшем случае — в переводы. Было несколько попыток превратить Дудина в бюрократа, в проводника линии партии среди ленинградских писателей, но он если и поддавался, то настолько неохотно, что это было очевидно. Впоследствии, когда пришла гласность, Дудин взял реванш за эти унижительные попытки сделать его идеологическим писательским метрдротелем в Ленинграде. Именно по его инициативе горбачевское ЦК отменило постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». В последние годы Дудин опубликовал ряд религиозных стихов, в то же время приправляя их едкими эпиграммами, а то и грациозными скабрёзностями.

СОЛОВЬИ

О мертвых мы поговорим потом.
Смерть на войне обычна и сурова.
И все-таки мы воздух ловим ртом
При гибели товарищей. Ни слова

Не говорим. Не поднимая глаз,
В сырой земле выкапываем яму.
Мир груб и прост. Сердца сгорели. В нас
Остался только пепел, да упрямо

Обветренные скулы сведены.
Тристапятидесятый день войны.

Еще рассвет по листьям не дрожал,
И для остротки били пулеметы...
Вот это место. Здесь он умирал —
Товарищ мой из пулеметной роты.

Тут бесполезно было звать врачей,
Не дотянул бы он и до рассвета.
Он не нуждался в помощи ничьей.
Он умирал. И, понимая это,

Смотрел на нас и молча ждал конца,
И как-то улыбался неумело.
Загар сначала отошел с лица,
Потом оно, темнея, каменело.

Ну, стой и жди. Застынь. Оцепеней
Запри все чувства сразу на защелку.
Вот тут и появился соловей,
Несмело и томительно защелкал.

Потом сильней, входя в горячий пыл,
Как будто сразу вырвавшись из плена,
Как будто сразу обо всем забыл,
Высвистывая тонкие колена.

Мир раскрывался. Набухал росой.
Как будто бы еще едва означась,
Здесь рядом с нами возникал другой
В каком-то новом сочетанье качеств.

Как время, по траншеям тек песок.
К воде тянулись корни у обрыва,
И ландыш, приподнявшись на носок,
Заглядывал в воронку от разрыва.

Еще минута — задымит сирень
Клубами фиолетового дыма.
Она пришла обескуражить день.
Она везде. Она непроходима.

Еще мгновенье — перекосит рот
От сердце раздирающего крика.
Но успокойся, посмотри: цветет,
Цветет на минном поле земляника!

Лесная яблонь осыпает цвет,
Пропитан воздух ландышем и мятой...
А соловей свистит. Ему в ответ
Еще — второй, еще — четвертый, пятый.

Звонят стрижи. Малиновки поют.
И где-то возле, где-то рядом, рядом
Раскидан настроженный уют
Тяжелым громяющим снарядом.

А мир гремит на сотни верст окрест,
Как будто смерти не бывало места,
Шумит неумолкающий оркестр,
И нет преград для этого оркестра.

Весь этот лес листом и корнем каждым,
Ни капли не сочувствуя беде,
С невероятной, яростною жаждой
Тянулся к солнцу, к жизни и к воде.

Да, это жизнь. Ее живые звенья,
Ее крутой, бурлящий водоем.
Мы, кажется, забыли на мгновенье
О друге умирающем своем.

Горячий луч последнего рассвета
Едва коснулся острого лица.
Он умирал. И, понимая это,
Смотрел на нас и молча ждал конца.

Нелепа смерть. Она глупа. Тем боле
Когда он, руки разбросав свои,
Сказал: «Ребята, напишите Поле —
У нас сегодня пели соловьи».

И сразу канул в омут тишины
Тристапятидесятый день войны.

Он не дожил, не долюбил, не допил,
Не доучился, книг не дочитал.
Я был с ним рядом. Я в одном окопе,
Как он о Поле, о тебе мечтал.

И, может быть, в песке, в размытой глине,
Захлебываясь в собственной крови,
Скажу: «Ребята, дайте знать Ирине —
У нас сегодня пели соловьи».

И полетит письмо из этих мест
Туда, в Москву, на Zubовский проезд.

Пусть даже так. Потом просохнут слезы,
И не со мной, так с кем-нибудь вдвоем
У той поджигородовской березы
Ты всмотришься в зеленый водоем.

Пусть даже так. Потом родятся дети
Для подвигов, для песен, для любви.
Пусть их разбудят рано на рассвете
Томительные наши соловьи.

Пусть им навстречу солнце зноем брызнет
И облака потянутся гуртом.
Я славлю смерть во имя нашей жизни.
О мертвых мы поговорим потом.

ГРИГОРИЙ ЛЕВИН

1917, Харьков — 1994, Москва

Окончил филфак Харьковского университета, а затем Литературный институт им. Горького. Около 50 лет своей жизни отдал самому лучшему московскому литобъединению «Магистраль», куда входили и Александр Мень, и Б. Окуджава, и А. Аронов, и Б. Ахмадулина, и Н. Панченко, и И. Бялосинская, и составитель этой антологии. Поэт не только в стихах, но и в педагогике. Стихотворение «Ландыши продают» было знаменито в начале «оттепели».

ЛАНДЫШИ ПРОДАЮТ

На привокзальной площади
Ландыши продают,
Какой необычный, странный смысл
Ландышам придают,
Ландыши продают...
Почему не просто дают?
Почему не дарят, как любимая — взгляд?
Ландыши продают...

Непорочно белые, чистые,
Лучевидные и лучистые,
Непогрешимые — что им гроши мои? —
Ландыши продают.

Что звучит пошлей, чем «пошла по рукам»?
Но не тот ли смысл я словам придам,
Когда спрошу, Москвой проваландавшись:
«Почем ландыши?»

Почем свежесть?
Почем красота?
Почем нежность?
Почем чистота?
Почем воздух сегодня дают?

Неправда ли, странно, когда услышишь:
«Ландыши продают»?

МИХАИЛ ЛЬВОВ

1917, с. Насибаш Уфимской губ. — 1988, Москва

Окончил педагогический институт в Уфе. Печататься начал с 1936-го. Первый сборник «Время» вышел в Челябинске в 1940 году. В 1941-м окончил Литинститут имени Горького. Во время войны служил в уральском добровольческом корпусе. После выхода в 1945 году лучшего сборника стихов Львова «Мои товарищи» строки «Чтоб стать мужчиной — мало им родиться» стали крылатыми. Подвергся жестокому издевательскому разгрому в «Правде», но его защитили фронтовые товарищи — Гудзенко, Луконин. К сожалению, как и многие из сверстников, Львов ушел затем в риторику и вернулся к настоящим стихам лишь после долгого перерыва. Обожал молодых поэтов, вечно возился с ними. Составитель этой антологии был лишь одним из тех, кому он помог.

ДОРОГА НА ЮГЕ

У самых волн мы пировали.
Мы руки югом обожгли,
И на холодном перевале
Мы к нему близко подошли.

Где вровень с солнцем, с небом рядом
Белело зданье и кругом
Крошились камни колоннады,—
Травой заполнило пролом.

Как мрамор, облако проплыло,
Стояли боги на пути —
И так, казалось, можно было
До древней Греции дойти.

1940

СТЕПЬ

Березок тоненькая цепь
Вдали растаяла и стерлась.
Подкатывает к горлу степь,—
Попробуй, убери от горла.

Летит машина в море, в хлеб.
Боец раскрыл в кабине дверцу,—
И подступает к сердцу степь,—
Попробуй, оторви от сердца.

1941

* * *

Чтоб стать мужчиной — мало им родиться,
Как стать железом — мало быть рудой.
Ты должен переплавиться. Разбиться.
И, как руда, пожертвовать собой.

Готовность к смерти — тоже ведь оружие.
И ты его однажды примени,
Мужчины умирают, если нужно,
И потому живут в веках они.

1941—1943

* * *

Есть мужество, доступное немногим,—
Все понимать и обо всем молчать,
И даже в дружбе оставаться строгим,

А если боль — о боли не кричать,
И, как металл, лететь в сражений гущу,
Чтоб в дальность цели, как в минешь, войти,—
Снаряду, как известно, не присущи
Лирические отступы в пути.
Так ты пойдешь немедленно и гордо,
Как полководец сквозь железо лет,
И станешь безошибочным и твердым,—
Но тут уже кончается поэт.

1943

У ВХОДА В СКАЛАТ

Лозовскому А. Б.

Полковник, помните Скалат,
Где «тигр» с обугленной кожей
И танк уральский, в пепле тоже,
Лоб в лоб уткнулись и стоят?
Полковник, помните, по трактам
Тогда и нас водил сквозь смерть
Такой же танковый характер —
Или прорваться иль сгореть?

ВСТРЕЧА

Год сорок пятый.
В красках летних
Базар на станции Смоленск.
Несут и хлеб
и кур последних
Колхозницы
из ближних мест.

Как говорится:
«Сельский пояс» —
И соответственный товар...
Остановился дальний поезд
И Сталин видит
тот базар.

Давно он не был на народе —
Увидеть здесь его хотя б —
Почем
вы хлеб тут продаете? —

Спросил с улыбкою
у баб.

А те — дышать-то перестали
Куда бы он
ни сделал шаг:
— Не продаем,
товарищ Сталин,
Не продаем — берите так!..

Не говорят —
твердят упрямо:
— Берите так,
не продаем...

Тогда он ехал
из Потсдама
В отдельном поезде
своем,

Велик,
непогрешим,
кристаллен...

Держа в руках
миллионы волей.
Одно не знал
товарищ Сталин,
Почем в России
хлеб и соль...

1956

Художник не прощает никому —
Ни богу,
ни царю
и ни народу —
Навязанную временем ему
Гнетущую
и злую несвободу.
И в нем шумит
иль еле шелестит
До крайних дней, до самого ухода
(И всех и прокликает и шерстит)
Однажды оскорбленная свобода...

1986

НИКОЛАЙ МОРШЕН

р. 1917, Киев

Псевдоним Николая Марченко. Сын писателя Н. В. Нарокова. Закончил физический факультет Киевского университета. В 1944-м попал в Германию. Через Гамбург эмигрировал в 1950 году в США. Преподавал русский язык в Калифорнии. Выпустил три книги стихов. Одинокая, ни с кем не рифмующаяся личность. Однако такое крошечное стихотворение, как «Он прожил мало...», рифмуется со многими тысячами судеб русских людей, отшвырнутых историей далеко от своей родины.

Он прожил мало: только сорок лет.
В таких словах ни слова правды нет.
Он прожил две войны, переворот,

Три голода, четыре смены власти,
Шесть государств, две настоящих страсти.
Считать на годы — будет лет пятьсот.

ВОЛЧЬЯ ВЕРНОСТЬ

Вольных пасынков рабской земли
Мы травили — борзыми, цианом,
Оплетали — обманом, арканом,
Ущемляли — презреньем, капканом,
Только вот приручить не могли.

Перелязгнув ремни и веревки
Или лапу отхрупнувши, волк
Уходил от любой дрессировки,
Как велел генетический долг.

Ковылял с холодеющей кровью,
С волчьим паспортом, волчьей тропой
Из неволи в такое безмолвье,
Где хоть волком в отчаянье вой.

Чтоб, в согласии с предначертаньем
И эпохе глухой вопреки,
Волчьим пеньем и лунным сияньем —
Волчьим солнцем своим! — одурманен,
В волчью яму свалиться с сознанием
Обреченности, тайны, тоски.

Иль за обледенелую кочкой
Затеряться в российских снегах,
Околев с недоглоданной строчкой,
Словно с костью в цинготных зубах.

ИВАНУШКА

*Словом: наша речь о том,
Как он сделался царем.*

Колико росские пииты
В дни оны жили на земли,
Толико гласно, сановито
Они высокий штиль блюли.

А коль с гудком заместо лиры
И нисходили с облаков,
То, чаю, токмо для сатиры
Иль для любовных, мню, стишков.

Незапно, аки луч из тучи,
Сверкнул меж ними юный муж,
Писавший с каждым днем все лучше,
И русским языком к тому ж.

Легко сидел он на Пегаске,
Но правил твердою рукой,
Им помыкая без опаски —
Ни дать ни взять своим Лукой.

Он вздыбил стих неукротенный,
Еще не обращенный в штамп,
Дабы заржал весь мир крещеный
И жеребцом дымился ямб.

И так на ржанье жеребьячем
Вознесся выше пирамид,
Что сколько мы его ни прячем,
А он главою вверх стоит.

С тех пор, хотите ль, не хотите ль,
Царем поэтов русских стал

Наш незаконный прародитель,
Наш полу-Пан, полу-пропал.

Певец скабрестнейшего склада,
Общечитаемый тайком,
Лет за сто до «Гаврилиады»
Владевший пушкинским стихом.

Лихой и буйный завсегда
И бард российских кабаков,
Родоначальник Самиздата,
Плебей без юбилейной даты,
Отца-не-помнящий, но знатно
Мать поминавший И. Барков!

1943

Смеется тощий итальянец,
Базар гогочет вместе с ним:
Ботинки продал он и ранец
И вопрошает путь на Рим.

При этом ловко кроет матом
«Тедеско», «порко Сталинград»,
А рядом дядько Гриць со сватом
И воз с картошкой стоят.

Из неуклюжей клетки чижик
Свистит о плене и тоске,
И букинист десяток книжек
Раскладывает на мешке.

И рыжий парень в полушубке
Отмеривает чашкой соль,
и женщина у перекупки
Кольцо меняет на фасоль.

Стоять с картошкой наскучив,
Подходит к букинисту сват
И томик с надписью «Ф. Тютчев»
Он выбирает наугад.

И, приподняв усы живые,
С трудом читает то впервые,
Что кто-то подчеркнул до дыр:
«Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты ро-ко-вые...».

АЗБУКА КОММУНИЗМА

А и Б
сидели в КГБ,
В, Г, Д —
в НКВД,

буквы Е, Ж, З, И, К
отсиживали в ЧК.

Л, М, Н... и вплоть до У
посидели в ГПУ.

все от Ф до Ю, похоже,
сядут вскорости. Я — тоже.

ДЕТИ ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА

Поэты, родившиеся с 1918 по 1940 год

* * *

*Пароход идет,
Волны кольцами,
Будем рыбку кормить
Добровольцами.*

* * *

*Пароход идет
Мимо пристани,
Будем рыбку кормить
Коммунистами.*

Частушки гражданской войны

* * *

*Эх, огурчики,
Да помидорчики!
Сталин Кирова убил
В коридорчике...*

Частушка середины 60-х годов

* * *

*Я сам себе корежу жизнь,
Валяя дурака.
От моря лжи до поля ржи
Дорога далека.*

НИКОЛАЙ ГЛАЗКОВ

*Кони шли на дно, и ржали, ржали,
Все на дно покуда не пошли.
Вот и все... А все-таки мне жаль их,
Рыжих, не увидевших земли.*

БОРИС СЛУЦКИЙ

*Нас хоронила артиллерия.
Сначала нас она убила,
Но, не гнушаясь лицемерия,
Клялась потом, что нас любила.*

КОНСТАНТИН ЛЕВИН

НАТАЛЬЯ БУРОВА

1918—1979, Ташкент

Это стихотворение из сборника «Молодая Москва» (1947), открывшего много новых имен. Бурову заметили, ее высоко ценила Ахматова. Позже поэтесса жила в Ташкенте, где и погибла при неясных обстоятельствах, — успев выпустить восемь сборников стихотворений.

* * *

Однажды, привалившись к шалашу,
Рассказывал куривший анашу:
«Все твари без разбора любят май,
А ветки сколько в мае ни ломай,
Всегда, как будто бы из озорства,
Еще дремучей вырастет листва.
Лет сорок я прошлялся по горам,
Я первый видел солнце по утрам.
Я часто, сдвинув шапку на глаза,
Лежал и слушал птичьи голоса,

И думал: ходит по небу весна,
Тюльпаны нагревает докрасна,
Бросает в желтый омут, на жару,
Глазастую лягушечью икру,
А птицу заставляет распевать,
Веснушчатые яйца согреть,
Старается весь день до темноты
Закрыть птенцом прожорливые рты.
Все знают, будет солнышко гореть,
Все знают, что нелепо умереть.
Мечтает всяк, кто жизнью дорожил,
Детеныша оставить, чтобы жил...».

АЛЕКСАНДР ГАЛИЧ

1918, Екатеринослав — 1977, Париж

Начинал в искусстве сразу и как поэт, и как актер: первые его стихи хвалил Багрицкий, а актерскому искусству учился в студии К. С. Станиславского, которому сдал вступительный экзамен. По свидетельству самого Галича, на заявлении его о вступлении в члены Студии великий артист Л. М. Леонидов лично написал: «ЭТОГО принять обязательно! Актер не выйдет, но что-нибудь получится!» И — вышло. Вначале Галич стал преуспевающим комедийным драматургом, пьеса «Вас вызывает Таймыр» шла по всей стране. Во время «оттепели» Галич написал пьесу «Матросская тишина», попавшую на сцену, впрочем, только в 1989-м. А в конце 60-х пошли песни. «Мы поехали за город, а за городом дожди, а за городом заборы, за заборами вожди». Потом — «Леночка», «Облака» и многое другое. Но и Хрущев вел себя противоречиво, ибо сам был дитя аппарата, тоже был из тех вождей, что «за городом». Стал происходить откат с антикультурных позиций. Как рыбы, оставленные внезапным отливом на песке, задыхаясь, бились в судорогах многие писатели, художники, режиссеры. Среди них был и Галич, не пожелавший изгибаться «вместе с генеральной линией». Его песни, предварившие сатиру — да и трагическую ноту — Высоцкого, расходились по всей стране в магнитофонных записях. В 1968 году Галичу запретили выступать публично, в 1971 году исключили из Союза писателей, чуть позже — из Союза кинематографистов, а в 1973 году вынудили эмигрировать, буквально вышпилили за пределы родины, — в Париже он жил с норвежским паспортом. Там же он погиб в 1977 году от замыкания в магнитофоне; впрочем, о его смерти версии есть разные. Однажды моей знакомой был поставлен диагноз неизлечимой формы рака. Она попросила меня привезти ей в больницу кассету любимого ею Галича. Я приехал к нему с этой просьбой. Галич взял гитару, сам поехал в больницу и пел для незнакомой ему женщины целый час. После этого случилось чудо — она выжила.

ЛЕНОЧКА

(Про Леночку и эфиопского принца)

Апрельской ночью Леночка
Стояла на посту.

Красоточка, шатеночка
Стояла на посту.
Прекрасная и гордая,
Заметна за версту,

У выезда из города
Стояла на посту.

Судьба милиционерская —
Ругайся цельный день,
Хоть скромная, хоть дерзкая —
Ругайся цельный день.
Гулять бы ей с подругами
И нюхать бы сирень!
А надо с шоферами
Ругаться цельный день.

Итак, стояла Леночка,
Милиции сержант,
Останкинская девочка,
Милиции сержант.
Иной снимает пеночки,
Любому свой талант,
А Леночка, а Леночка —
Милиции сержант.

Как вдруг она заметила —
Огни летят, огни.
В Москву из Шереметьева
Огни летят, огни.
Ревут сирены зычные,
Прохожий — ни-ни-ни!
На Лену заграничные
Огни летят, огни!

Дает отмашку Леночка,
А ручка не дрожит,
Чуть-чуть дрожит коленочка,
А ручка не дрожит.
Машины, чай, не в шашечку,
Колеса — вжик да вжик!
Дает она отмашечку,
А ручка не дрожит.

Как вдруг машина главная
Свой замедляет ход,
Хоть и была исправная,
Свой замедляет ход.
Вокруг охрана стеночкой
Из КГБ, но вот
Машина рядом с Леночкой
Свой замедляет ход.

А в той машине писаный
Красаец-эфиоп,
Глядит на Лену пристально
Красаец-эфиоп.
И, встав с подушки кремовой
(Не промахнуться чтоб!),

Бросает хризантему ей
Красаец-эфиоп!

А утром мчится нарочный
ЦК КПСС
В мотоциклетке марочной
ЦК КПСС.
Он машет Лене шляпою,
Спешит наперерез:
— Пожалте, Эл. Потапова,
В ЦК КПСС.

А там, на Старой площади,
Тот самый эфиоп,
Он принимает почести,
Тот самый эфиоп,
Он чинно благодарствует
И трет ладонью лоб,
Поскольку званья царского
Тот самый эфиоп!

Уж свита водки выпила,
А он глядит на дверь,
Сидит с моделью вымпела
И все глядит на дверь.
Все потчуют союзника,
А он сопит, как зверь...
Но тут раздалась музыка
И отворилась дверь!

Вся в тюле и панбархате
В зал Леночка вошла,
Все прямо так и ахнули,
Когда она вошла.
И сам красаец царственный
Ахмед-Али-паша
Воскликнул: «Вот так здравствуйте!» —
Когда она вошла.

И вскоре нашу Леночку
Узнал весь белый свет!
Останкинскую девочку
Узнал весь белый свет!
Когда, покончив с папою,
Стал шахом принц Ахмед,
Шахиню Эл. Потапову
Узнал весь белый свет!

(1961)

ОБЛАКА

Облака плывут, облака,
Не спеша плывут, как в кино.
А я цыпленка ем табака,
Я коньячку принял полкило.

Облака плывут в Абакан,
Не спеша плывут облака...
Им тепло небось, облакам,
А я продрог насквозь, на века!

Я подковой вмерз в санный след,
В лед, что я кайлом ковырял!
Ведь недаром я двадцать лет
Протрубил по тем лагерям.

До сих пор в глазах снега наст!
До сих пор в ушах шмона гам!..
Эй, подайте мне ананас
И коньячку еще двести грамм!

Облака плывут, облака,
В милый край плывут, в Колыму,
И не нужен им адвокат,
Им амнистия — ни к чему.

Я и сам живу — первый сорт!
Двадцать лет, как день, разменял!
Я в пивной сажу, словно лорд.
И даже зубы есть у меня.

Облака плывут на восход,
Им ни пенсии, ни хлопот...
А мне четвертого — перевод,
И двадцать третьего — перевод.

И по этим дням, как и я,
Полстраны сидит в кабаках!
И нашей памятью в те края
Облака плывут, облака...

И нашей памятью в те края
Облака плывут, облака...

(1962)

ОШИБКА

Мы похоронены где-то под Нарвой,
Под Нарвой, под Нарвой,
Мы похоронены где-то под Нарвой,
Мы были — и нет.
Так и лежим, как шагали, попарно,
Попарно, попарно.
Так и лежим, как шагали, попарно,
И общий привет!

И не тревожит ни враг, ни побудка,
Побудка, побудка,
И не тревожит ни враг, ни побудка
Померзших ребят.
Только однажды мы слышим как будто,
Как будто, как будто,
Только однажды мы слышим, как будто,
Вновь трубы трубят.

Что ж, подымайтесь, такие-сякие,
Такие-сякие,

Что ж, подымайтесь, такие-сякие,
Ведь кровь — не вода!
Если зовет своих мертвых Россия,
Россия, Россия,
То значит — беда!

Вот мы и встали, в крестах да в нашивках,
В нашивках, в нашивках,
Вот мы и встали, в крестах да в нашивках,
В снежном дыму.

Смотрим и видим, что вышла ошибка,
Ошибка, ошибка,
Смотрим и видим, что вышла ошибка,
И мы — ни к чему!

Где полегла в сорок третьем пехота,
Пехота, пехота,
Где полегла в сорок третьем пехота,
Без толку, зазря,
Там по пороше гуляет охота,
Охота, охота,
Там по пороше гуляет охота,
Трубят егеря!

Там по пороше гуляет охота,
Трубят егеря...

(1962)

ВАЛЬС-БАЛЛАДА ПРО ТЕШУ ИЗ ИВАНОВА

...Ох, ему и всыпали по-первое...
По дерьму, спеленутого, волоком!
Праведные суки, брызжа пеною,
Обзывали жуликом и Поллаком.

Раздавались выкрики и выпады,
Ставились искусно многоточия...
А потом, как водится, оргвыводы:
Мастерская, договор и прочее...

Он припер вещички в гололедицу,
(Все в один упрятал узел драненький)
И свалил их в угол, как поленницу —
И холсты, и краски, и подрамники.

Томка вмиг слетала за «кубанскою»,
То да се, яичко, два творожничка,
Он грамм сто принял, заел колбаскою
И сказал, что полежит немножечко...

Выгреб тайно из пальтишка рваного
Нембутал, прикопленный заранее...
А на кухне теща из Иванова
Ксения Павловна, вела дознание.

За окошком ветер мял акацию,
Билось чье-то сизое исподнее...
— А за что ж его? — Да за абстракцию.
— Это ж надо! А трезвону подняли!

И отвесив, я думал — дерзкий,
А на деле смешной поклон,
Я под наигрыш этот детский
Улыбнулся и вышел вон.

В жизни прежней и в жизни новой
Навсегда, до конца пути,
Мальчик с дудочкой тростниковой,
Постарайся меня спасти!

Январь 1972

НИКОЛАЙ ДОМОВИТОВ

р. 1918

Об авторе ничего не известно. Стихи взяты из изданного в Перми в 1990 году сборника «Зона», составителем которого он был.

СТИХИ О ЕСЕНИНЕ

Полумрак в одиночке моей,
Сырость мне прерывает дыхание.
Вдруг однажды Есенин Сергей,
Будто солнце, пришел на свидание.
Он сказал мне: — Крепись, паренек!
Все пройдет, что когда-то мы славили.
Но, как выстрел, тут щелкнул замок,
И поэта со мной оставили.
Нет у них ничего за душой —
Все давно до копейки разменено.
Я боялся, что вместе со мной
Расстреляют они и Есенина.

1943

ИВАН ЕЛАГИН

1918, Владивосток — 1987, Питсбург, (США)

Сын дальневосточного футуриста Венедикта Марта, двоюродный брат Новеллы Матвеевой. Медицинское образование не закончил из-за войны, в 1943 году оказался в Германии вместе с женой — О. Анстей. После войны жил в Мюнхене, где опубликовал две книги стихов — «По дороге оттуда» (1947) и «Ты, мое столетие» (1948). Печатали в эмигрантских изданиях политические фельетоны, не имевшие художественного значения. Однако Елагин сбросил с себя путы антисоветской риторики, не менее губительные, чем для его коллег на родине путы риторики просоветской. Постепенно он вырос в крупнейшего поэта второй волны эмиграции. Несмотря на разницу в возрасте, формальные поиски Елагина были близки к Евтушенко и Вознесенскому. Составителя этой антологии и Елагина на долгие годы связала тесная дружба. Переехав в США, Елагин некоторое время работал корректором в «Новом русском слове», но затем стал профессором Питсбургского университета. В США вышли его лучшие книги — «Отсветы ночные» (1963) и «Косой полет» (1967). Елагин подвижнически перевел гигантскую эпическую поэму Ст. В. Бене «Тело Джона Брауна» (издана в 1979 г.).

* * *

Послушай, я всё скажу без утайки.
Я жертва какой-то дьявольской шайки.
Послушай — что-то во мне заменя,
В меня вкрутили какие-то гайки,
Что-то вмонтировали в меня.

Впервые почувствовал я подмену,
Когда мне в окно провели антенну,
Когда приемник вносили сюда,
Как будто втащили Лондон и Вену,
И Рим и Москву — и все города!

И поползли на меня через стену
Змеями черными провода.

Послушай, сперва добрались до слуха
И стали мне перестраивать ухо,
Взялись сверлить и долбить и вертеть.
Что-то в ушах моих щелкнуло сухо:
Слух мой включили в общую сеть.

И вот в мои слуховые каналы
Вломились все позывные сигналы,
Разом крутиться пластинки пошли,
Заговорили вразброд, как попало
Радиостанции всей земли.

И отключили от Божьего мира
Душу мою — моего пассажира.

Послушай, я скоро прибором стану,
Уже я почти что не человек,
В орбиты мне вставили по экрану,
И я уже не увижу поляну,
Я не увижу звезды и снег.

А будут на пленочной амальгаме,
Где-то под веками мельтеша,
Экранные люди в джазовом гаме
Выкидывать сплюснутыми ногами
Остервенелые антраша.

Пойми, мне помощь нужна до зарезу,
Пойми, я больше так не могу,
Меня опять готовят к протезу,
Уже протянут холод железа
Где-то в бедном моем мозгу.

Я знаю их адские выкрутасы,
Знаю, к чему это клонится все,
Они мне сердце хотят из пластмассы
Вставить и вынуть сердце мое.

И никуда я от них не укроюсь,
От них никуда мне не увильнуть.
Мой пассажир оставляет поезд.
Порожняком я трогаюсь в путь.

Я даже смерти не удостоюсь.
Мне запретили отныне и впредь
По-человечески вспыхнуть, то есть
По-человечески умереть.

Ни ангельских крыльев, ни эмпиреев,
Ни райского сада, ни звездных люстр,
А просто иссякнет заряд батареи
И я, как машина, остановлюсь.

* * *

Хлопочет сердце где-то в глубине,
Как моль в шкафу, оно живет во мне.

От жизни, как от старого сукна,
Осталась только видимость одна.

Все перетлело, чтобы жить могло
Заносчивое маленькое зло.

* * *

Мне незнакома горечь ностальгии.
Мне нравится чужая сторона.
Из всей — давно оставленной — России
Мне не хватает русского окна.

Оно мне вспоминается доньине,
Когда в душе становится темно —
Окно с большим крестом посередине,
Вечернее горящее окно.

В ГРИНВИЧ ВИЛИДЖ

Всю ночь музыкант на эстраде
Качался в слоистом дыму,
И тени, по-волчьему, сзати,
На плечи кидались ему.

Себя самого растревожа,
Он несся в какой-то провал
И нежно во влажное ложе
Протяжные звуки вливал.

Здесь всякий приятель со всяким,
И всякий здесь всякому рад.
Артисты, пропойцы, гуляки.
Толкаются, пьют, говорят.

Над столиком тонкий светильник
Мелькает в зеленом стекле.
Привет тебе, мой сомогильник,
Еще ты со мной на земле.

Привет тебе, мой современник,
Еще ты такой же, как я,
Дневной неурядицы пленник
Над рюмкой ночного питья.

Какая-то тусклая жалость
Из труб серебристых текла,
Какая-то дрянь раздевалась
На сцене ночной догола.

Картины кострами сложите
И небо забейте доской!
Не надо уже Афродите
Рождаться из пены морской,

Не всплыть ей со дна мифологий,
И пена ее не родит,
Тут девка закинула ноги,
Тут кончился век афродит.

Я пальцами в такт барабаню,
Я в такт каблуками стучу,
Я тоже со всей этой дрянью
В какую-то яму лечу.

АМНИСТИЯ

Еще жив человек,
Расстрелявший отца моего
Летом в Киеве, в тридцать восьмом.

Вероятно, на пенсию вышел.
Живет на покое
И дело привычное бросил.

Ну, а если он умер, —
Наверно, жив человек,
Что пред самым расстрелом
Толстой
Проволокою

Закручивал
Руки
Отцу моему
За спиной.

Верно, тоже на пенсию вышел.

А если он умер,
То, наверное, жив человек,
Что пытал на допросах отца.

Этот, верно, на очень хорошую пенсию вышел.

Может быть, конвоир еще жив,
Что отца выводил на расстрел.

Если бы я захотел,
Я на родину мог бы вернуться.

Я слышал,
Что все эти люди
Простили меня.

ЗВЕЗДЫ

(фрагмент — финал)

Моему отцу

Мы живем, зажатые стенами
В черные берлинские дворы.
Вечерами дьяволы над нами
Выбивают пыльные ковры.
Чей-то вздох из глубины подвала:
— Господи, услышим ли отбой?
Как тогда мне их недоставало,
Этих звезд, завещанных тобой!
Сколько раз я звал тебя на помощь —
Подойди, согрей своим плечом.
Может быть, меня уже не помнишь?
Мертвые не помнят ни о чем.

Ну а звезды. Наши звезды помнишь?
Нас от звезд загнали в погреб.
Нас судьба ударила наотмашь,
Нас с тобою сбила с ног судьба!
Наше небо стало небом черным,
Наше небо разорвал снаряд.
Наши звезды выдернуты с корнем,
Наши звезды больше не горят.
В наше небо били из орудий,
Наше небо гаснет, покорясь,
В наше небо выплеснули люди
Мира металлическую грязь!

Нас со всех сторон обдало дымом,
Дымом погибающих планет,
И глаза мы к небу не подыдем,
Потому что знаем — неба нет.

* * *

Не надо слов о смерти роковых,
Не надо и улыбочек кривых,
И пошлостей, как пятаки потертых.

Мы — тоненькая пленочка живых
Над темным неизбывным морем мертвых.

Хоть я и обособленно живу,—
Я все же демократ по существу,
И сознаю: я — только единица,
А мертвых — большинство, и к большинству
Необходимо присоединиться.

* * *

Спят на фасаде даты.
Перед фасадом щебень.
Жил в этом доме когда-то
Гофман фон-Фаллерслебен.

Тесная деревушка.
Вывески крыты ржою.
Снова судьба — кукушка
Ткнула в гнездо чужое.

«Deutschland über alles»
Кто-то вписал любовно
Там, где в кирпич вплетались
Выкрашенные бревна.

.....

Стремителен и придушен,
По улицам и полям,
От комнат и до конюшен
Метался панцер-аларм.

Казалось, обвисли нервы,
А он еще истязал!
Встал на дороге первый
Бронированный ихтиозавр.

Горячий, отяжелелый,
Он грузно пополз по песку,
Сверкая звездой белой
На обожженном боку.

И мы, на него глаза,
Стояли ошеломлены
В этом страшном музее
Окончившейся войны.

Когда он пропал за сараем,
Ты, обратясь ко мне,
Сказала: «Давай, погадаем
По надписи на броне!»

И как бы в ответ он прямо
Вырос из-под земли.
А мы прочли «Алабама»,
И в сторону отошли.

От океанских закатов
До садика за углом
Он небо далеких штатов
Пронес над своим жерлом.

.....

Так же тускнеют даты.
Верно, убрали щепень.
Жил в том доме когда-то
Гофман фон-Фаллерслебен.

А мы уже в сотом доме —
Маемся кое-как.
Нет для нас дома, — кроме
Тебя, дощатый барак!

В какую трущобу канем?
Кто приберет к рукам?
Скоро ль конец гаданьям
По танкам и по штыкам?

И черт ли нам в Алабаме?
Что нам чужая трава?
Мы и в могильной яме
Мертвыми, злыми губами
Произнесем: «Москва».

* * *

Знаю, не убьет меня злодей,
Где-нибудь впотьмах подкарауля,
А во имя чьих-нибудь идей
Мне затылок проломает пуля.

И расправу учинят, и суд
Надо мной какие-нибудь дяди,
И не просто схватят и убьют,
А прикончат идеалов ради.

Еще буду в луже я лежать,
Камни придорожные обнюхав,
А уже наступит благодать —
Благорастворение воздушных,

Изобилье всех плодов земных,
Благоденствие и справедливость,
То, чему я, будучи в живых,
Помешал, отчаянно противясь.

И тогда по музам мой собрат,
Что о правде сокрушаться любит,
Вспомнит и про щепки, что летят,
Вспомнит и про лес, который рубят.

ЛЪДИНА

(фрагменты)

.....
Как будто бы все живое
Сразу ушло с земли
В тот миг, когда эти двое
На перекресток вошли.

Гасли тысячи свечек.
В город вошли, как в морг,
Мистер Смит — контрразведчик,
Товарищ Петров — парторг.

На всех перекрестках мира
Стоят они по ночам,
На всех перекрестках мира
Прислушиваются к речам,

На всех перекрестках мира
Готовят переворот,
На всех перекрестках мира
Радио их орет,

На всех перекрестках мира
Гуляет их солдатня,
На всех перекрестках мира
Они убивают меня.

А в Антарктике
Среди льдин
В белом фартуке
Жил пингвин.

У поэта и у пингвина
В мире должна быть льдина.

.....
Море — а в середине —
Я и пингвин на льдине.

Льдина — качалка
Средь тысячи льдин,
Где вперевалку
Ходит пингвин.

Ходит себе господином
И улыбается льдинам.

.....

*
Слушайте, сильные мира сего!
Только и просим мы — льдину всего!

Льдину — скитаться в просторах зеленых,
Льдину — без Наций Объединенных,

Льдину, что кружит, хрустально горя,
Без генерального секретаря,

Льдину, что затемно блещет алмазом,
Льдину, ненужную атомным базам,

Льдину — подальше от лодок подводных,
Льдину — подальше от сходов народных,

Льдину без компаса и без маршрута,
Льдину, что встала над пропастью круто,

Льдину, что в пропасть плывет без возврата,
Льдину без пропуска и без мандата,

Без конституций и без династий,
Льдину из тех, что несутся на счастье

Там, где лазоревый дым в океане,
В месте, которого нету на плане,

Льдину без кодекса, льдину без статуса,
Льдину для тех, кому хочется спрятаться,

Льдину, что в море плывет анонимно,
Льдину без флага, льдину без гимна,

Льдину из тех, что удало несется
Без генерала и без полководца,

Без мавзолея и без capitoлия,
Льдину, которой милее приволье,

Льдину, куда не опустится летчик,
Льдину мечтателей и одиночек!

Волны развинув, плыви без запретов —
Льдина пингинов, льдина поэтов!

Весь океан, убранный сединами,
Слева и справа вздымается льдинами...

Я и пингвин — мы выходим на форум,
Мы дирижируем миром, как хором,

Слышим, как волны, высоки и скользки,
Шепчутся между собою по-польски!

Двигаясь медленно в брызгах и пене,
Ставим большие закаты на сцене!

Сколько увидим высоких трагедий
Из удивительной жизни медведей!

Рыбу и крабов к обеду надергав,
Мы хорошо проживем без парторгов!

Прямо на нас через водные хляби
Ляжет луны алюминиевый кабель,

Нас повстречает звезда поцелуем
Там, где к полуночи мы пришвартуем,

Там, где за тьмою стоит наше завтра,
Как одинокий корабль космонавта.

ПАВЕЛ КОГАН

1918, Москва — 1942

Учился сначала в ИФЛИ, потом в Литинституте в семинаре у И. Сельвинского вместе с Яшиным и Кульчицким. В школьные годы исходил пешком тропы центральной России, был в геологоразведочной экспедиции в Армении. Рвался на войну добровольцем, но его не приняли по причине слабого здоровья, затем кончил курсы военных переводчиков и попал на фронт. Был убит в бою во время выполнения разведзадания. Коган принадлежал к детям Великой Утопии, обманутым ею. Это был тот случай, когда «нас возвышающий обман» оказался гибельным для тех, кто в него поверил. Строчки Когана «мальчики иных веков, наверно, будут плакать ночью о времени большевиков» обернулись плачем жен и матерей по арестованным, расстрелянным большевиками. Так что если мальчики иных веков и заплачут об этом времени, то, наверно, только от жалости. При жизни он не опубликовал ни одной строки. Его стихи воскресли во время последнего предсмертного всплеска романтизма — в годы «оттепели», когда его веселая «пиратская» песня «Бригантина поднимает паруса» стала гимном «шестидесятников», еще надеявшихся очистить революционные идеалы. Но «нас возвышающий обман» оказался жесток и по отношению к ним — но менее жесток, чем сначала к Борису Корнилову, Смелякову, а потом к Когану и его погибшим на фронте сверстникам. До слез больно читать эти обманутые историей надежды мальчиков поколения Когана — протянуть «худенькие руки людям коммунизма». Невольно вспоминается: «но кто-то камень положил в его протянутую руку».

ГРОЗА

Косым,
стремительным углом
И ветром, режущим глаза,
Переломившейся ветлой
На землю падала гроза.
И, громом возвестив весну,
Она звенела по траве,
С размаху вышибая дверь
В стремительность и крутизну.
И вниз. К обрыву. Под уклон.
К воде. К беседке из надежд,
Где столько вымокло одежд,
Надежд и песен утекло
Далеко,
может быть, в края.

Где девушка живет моя.
Но, сосен мирные ряды
Высокой силой раскачав,
Вдруг задохнулась
и в кусты
Упала выводком галчат.
И люди вышли из квартир,
Устало высохла трава.
И снова тишь.
И снова мир,
Как равнодушие, как овал.
Я с детства не любил овал!
Я с детства угол рисовал!

ПИСЬМО

(отрывок)

Жоре Лепскому

...Мы, лобастые мальчики
невиданной революции.
В десять лет мечтатели,
В четырнадцать — поэты и урки,
В двадцать пять — внесенные в смертные
реляции.
Мое поколение —
это зубы сожми и работай,
Мое поколение —
это пулю прими и рухни.
Если соли не хватит —
хлеб намочи потом,
Если марли не хватит —
портянкой замотай тухлой.
Ты же сам понимаешь, я не умею бить
в литавры.
Мы же вместе мечтали, что пыль, что
ковыль, что криница.
Мы с тобою вместе мечтали пошляться
по Таврии
Ну, по Крыму по-русски,
А шляемся по заграницам.
И когда мне скомандует пуля
«не торопиться»
И последний выдох на снегу воронку
выжжет
(Ты должен выжить, я хочу, чтобы ты
выжил),
ты прости мне тогда, что я не писал
тебе писем.
А за нами женщины наши,
И годы наши босые,
И стихи наши,
И юность,
И январские рассветы.
А леса за нами,
А поля за нами —
Россия!
И, наверно, земшарная Республика Советов!
Вот не вышло письма.
Не вышло письма,
Какое там!
Но я напишу,
Повинен.
Ведь я понимаю,
Трубач «тари-тари-та» трубит:
«по койкам!»
И ветра сухие на Западной Украине.

Декабрь 1940

ПЕРВАЯ ТРЕТЬ

(отрывки)

О, мы языков не учили,
Зато известны были нам
От Индонезии до Чили
Вождей компартий имена.

В те годы в праздники возили
Нас по Москве грузовики,
Где рядом с узником Бразилии
Художники изобразили
Керзона (нам тогда грозили,
Как нынче, разные враги).
На перечисленных, охрипших
Врезались в строгие века
Империализм, Антанта, рикши.
Мальчишки в старых пиджаках,
Мальчишки в довоенных валенках,
Оглушенные от грома труб,
Восторженные, злые, маленькие,
Простуженные на ветру.
Когда-нибудь в пятидесятих
Художники от мук сопреют,
Пока они изобразят их,
Погибших возле речки Шпрее.
А вы поставьте зло и косо
Вперед стремящиеся упрямо,
Чуть рахитичные колеса
Грузовика системы «АМО».
И мальчики моей поруки
Сквозь расстояние и изморозь
Протянут худенькие руки
Людям
коммунизма.

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Есть в наших днях такая точность,
Что мальчики иных веков,
Наверно, будут плакать ночью
О времени большевиков,
И будут жаловаться милым,
Что не родились в те года,
Когда звенела и дымилась,
На берег рухнувши, вода.
Они нас выдумают снова —
Сажень косая, твердый шаг —
И верную найдут основу,
Но не сумеют так дышать,
Как мы дышали, как дружили,
Как жили мы, как впопыхах
Плохие песни мы сложили
О поразительных делах.
Мы были всякими, любимы,
Не очень умными подчас.
Мы наших девушек любили,
Ревнуя, мучась, горячась.
Мы были всякими. Но, мучась,
Мы понимали: в наши дни
Нам выпала такая участь,
Что пусть завидуют они.
Они нас выдумают мудрых,
Мы будем строги и прямы,
Они прикрасят и припудрят,
И всё-таки
пробьемся мы!

Слишком юным
 для того, чтобы дальше стареть.
 И хотя я сам видел,
 как выюжный ветер, воя,
 Волосы рыжие
 на кулаки наматывал,
 Невозможно отвыкнуть
 от товарища и провожатого,
 Как нельзя отказаться
 от движения вместе с Землею.
 Мы суровеем,
 Друзьям улыбаемся сжатыми ртами,
 Мы не пишем записочек девочкам,
 не ожидаем ответа...
 А если бы в марте,
 тогда,
 мы поменялись местами,
 Он
 сейчас
 обо мне написал бы
 вот это.

1940—1945

ПРИДУ К ТЕБЕ

Ту думаешь:
 Принесу с собой
 Усталое тело свое.
 Сумею ли быть тогда с тобой
 Целый день вдвоем?
 Захочу рассказать о смертном дожде,
 Как горела трава,
 А ты —
 и ты жила в беде,
 Тебе не нужны слова.
 Про то, как чудом выжил, начну,
 Как смерть меня обожгла,
 А ты —
 ты в ночь роковую одну
 Волгу переплыла.
 Спеть попрошу,
 а ты сама
 Забыла, как поют...
 Потом
 меня
 сведет с ума
 Непривычный уют.
 Будешь к завтраку накрывать,
 А я усядусь в углу,
 Начнешь,
 как прежде,
 стелить кровать,
 А я
 усну
 на полу.
 Потом покоя тебя лишу,
 Вырою щель у ворот,
 Ночью,
 вздрогнув,
 тебя спрошу:
 — Стой! Кто идет?!

Нет, не думай, что так приду.
 В этой большой войне
 Мы научились ломать беду,
 Работать и жить вдвойне.
 Не так вернемся мы!
 Если так,
 То лучше не приходите.
 Придем работать,
 курить табак,
 В комнате начадить.
 Не за благодарностью я бегу —
 Благодарить лечу.
 Все, что хотел, я сказал врагу.
 Теперь работать хочу.
 Не за утешением —
 утешать
 Переступлю порог.
 То, что я сделал,
 к тебе спеша,
 Не одолжение, а долг.
 Друзей увидеть,
 в гостях побывать
 И трудно
 и жадно
 жить.
 Работать — в кузницу,
 спать — в кровать.
 Слова про любовь сложить.
 В этом зареве ветровом
 Выбор был небольшой,—
 Но лучше прияти
 с пустым рукавом,
 Чем с пустой душой.

1944

СТАЛИНГРАДСКИЙ ТЕАТР

Здесь львы
 стояли
 у крыльца
 Лет сто
 Без перемен,
 Как вдруг
 кирпичная пыльца,
 Отбитая дождем свинца,
 Завьюжила у стен.
 В фойе театра
 шел бой.
 Упал
 левый
 лев,
 А правый
 заслонил собой
 Дверей высокий зев.
 По ломам
 лежа
 немец бил
 И слушал долгий звон;
 Вмерзая в ледяной настил,
 Лежать остался он.
 На сцену —
 за колосники,

А я молчать уже не вправе.
 Порученные мне, горят слова.
 — Пиши! — диктуют мне они.
 Сквозная
 Летит строка.
 — Пиши о нас! Труби!..

— Я не могу!
 — Ты сможешь!
 — Я дам слова!
 Ты только жизнь люби!
 — Слов не знаю...
 1947

МАРК МАКСИМОВ

1918—1986

В 1940 году окончил литфак Киевского пединститута. Во время войны был в плену, бежал, сражался в особом партизанском соединении на Смоленщине. Лучшие стихи Максимова именно партизанские, имеющие силу документа. Первый сборник «Наследство» вышел в Москве в 1946 году. Благословил многих молодых, в том числе и составителя этой антологии.

БАЛЛАДА О ЧАСАХ

Мы немца в полночь навестить хотели.
 Разведчик сверил время и — в седло!
 Следы подков запрыгали в метели,
 и подхватило их и понесло...

Но без него вернулся конь
 сначала,
 а после — мы дошли до сосняка,
 где из сугроба желтая торчала
 с ногтями почернелыми рука.

Стояли сосны, словно часовые...
 И слушали мы, губы закусив,
 как весело — по-прежнему живые —
 шли на руке у мертвого часы.

И взводный снял их.
 Рукавом шершавым
 сердито льдинки стер с небритых щек
 и пальцем — влево от часов и вправо —
 разгладил на ладони ремешок:

Так, значит, в полночь, хлопцы!
 Время сверьте!..

И мы впервые поняли в тот миг,
 как поднимают к мести наши смерти
 и как шагает время через них!

1943
 Немецкий тыл

В КРАЮ МОЛЧАНИЯ (фрагмент)

Нас Гришин вел.
 Колесный стон,
 колонн усталые шаги...
 А с четырех земных сторон
 подстерегали нас враги.

А с четырех земных сторон
 дрожал зажженный небосклон,

и в красном мареве, в пыли
 все плыли
 шлемы,
 башлыки,
 кубанки,
 кепки да платки,
 папахи да брыли...

Как больно было нам:
 во мгле
 идти по собственной земле,
 и прятать осторожный свет
 своей сигарки в рукаве,
 и, как вора, свой честный след
 в трясинах путать и траве;
 идти, забыв очаг, забыв
 разбег дороги столбовой,
 и ждать, что у родной избы
 чужой окликнет часовой!
 Нам — юным и привыкшим петь! —
 обречь себя на немоту,
 идти и рта открыты не сметь,
 и кашлять в шапки, и скоту
 в обозах морды зажимать,
 и слушать ночи напролет,
 как чавкает вода болот:
 «Молчать!

Молчать!
 Молчать!..»

* * *

Жен вспоминали
 на привале,
 друзей — в бою.

И только мать
 не то и вправду забывали,
 не то стыдились вспоминать.

Но было,
 что пред смертью самой
 выдавший не один поход
 седой рубака крикнет:
 «Мама!»
 ...И под копыта упадет.

1945

НИКОЛАЙ ОТРАДА

1918—1940

Настоящая фамилия — Турочкии. При жизни не печатался. Погиб на финской войне, в ложноромантическом порыве уйдя на нее добровольцем. «На той войне неизвестной» из этого поколения не оказался Борис Слуцкий, тоже подавший заявление, но, по свидетельству Наровчатова, в последний момент не пришедший на сборы. Памяти Н. Отрады посвящено прекрасное стихотворение Луконина, приводимое в этой антологии.

ФУТБОЛ

И ты войдешь. И голос твой потонет
В толпе людей, кричащих вразнобой.
Ты сядешь. И как будто на ладони
Большое поле ляжет пред тобой.

И то мгновенье, верь, неуловимо,
Когда замрет восторженный народ, —
Удар в ворота! Мяч стрелой и... мимо.
Мяч пролетит стрелой мимо ворот.
И, на трибунах крик души исторгнув,
Вновь ход игры необычайно строг...

Я сам не раз бывал в таком восторге,
Что у соседа пропадал восторг,
Но на футбол меня влекло другое,
Иные чувства были у меня:
Футбол не миг, не зрелище благое,
Футбол другое мне напоминал.

Он был похож на то, как ходят тени
По стенам изб вечерней тишиной.
На быстрое движение растений,
Сцепление дерев, переплетенье
Ветвей и листьев с беглою луной.

Я находил в нем маленькое сходство
С тем в жизни человеческой, когда
Идет борьба прекрасного с уродством
И мыслящего здраво
с сумасбродством.
Борьба меня волнует, как всегда.

Она живет настойчиво и грубо
В полете птиц, в журчании ручья,
Определенна,
как игра на кубок,
Где никогда не может быть ничья.
1939

ГЛЕБ СЕМЕНОВ

1918—1982

Печататься начал с 1935 года. Замечательный воспитатель поэтической молодежи Ленинграда. Неброский, но тончайший мастер стиха.

* * *

Край отчий. Век трудный. Час легкий.
Я счастлив. Ты рядом. Нас двое.
Дай губы, дай мокрые щеки.
Будь вечно — женою, вдовою.

Старухой — когда-нибудь — вспомни:
Так было, как не было позже.
Друг милый. Луг нежный. Лес темный.
Звон дальний. Свет чудный. Мир божий.

ДЕЗЕРТИР

Его уводили весной
по вспухшим навозным дорогам —
под ласковой голубизной
то лесом, то лугом, то логом.

Один из конвойных ребят
его угостил самосадам, —
казалось, идут и дымят
случайные спутники рядом.

И только когда по пути
о доме запели родимом,
ему стало трудно нести
глаза, наслезенные дымом.
1943

* * *

По памяти рисую: вот изба,
край изгороды, церковь, и с обрыва —
тропинка... Я коснусь ладонью лба,
от мухи отмахнусь нетерпеливо
и, напрягая зрение, всмотрюсь...
...Нет, никакая вроде бы не Русь
и никакая даже не Россия...
Вот девки с коромыслами идут,
вот мы бежим с мальчишками босые,
вот вечный дядя Ваня тут как тут, —
не первая ли удочка в округе!
Я чувствую доньне, сколь упруги
чуть влажные нагретости тропы...
...Не Псковщина еще, пожалуй, даже...
А тетя Дуня за реку в грибы

ходила, и улыбочка все та же,
 что и тогда, полсотни лет назад.
 Кладбищенские тополя сквозят
 на солнце, нестерпимая блескучесть
 в листе тех незапамятных времен...
 ...Не Святогорский даже и район...
 Отматерясь, отсовестясь, отмучась,
 моей деревни дух и естество
 погасли. По-немилому все ново,
 запущено, расхищено, мертво...
 ...Неужто и народу-то всего
 на родине, что у ларька пивного?!

1980

РОДИНЕ

Иду, столбы считаю,
 ни встречи, ни привала.

Взметни воронью стаю,
 чтоб даль не пустовала.

Швырни проселок в ноги
 от большака налево.
 Да трактор у дороги
 поставь ржаветь без гнева.

Да в час похмельной злобы
 каблук в грязи оттисни.
 Как мало нужно, чтобы
 своим прослыть в отчизне!

Как много нужно, дабы
 мою судьбу сыновью
 пронзило навсегда бы
 той странною любовью!

1980

МАРК СОБОЛЬ

р. 1918

Сын на редкость талантливого писателя Андрея Соболя (1888—1926), застрелившегося в ожидании ареста. (Описан В. Катаевым под именем Серафим Лось в повести «Уже написан Вертер».) М. Соболев был арестован шестнадцатилетним за антисоветскую агитацию и террор в 1932-м. По молодости получил только пять лет. По его собственному свидетельству, когда в ночь с 3 на 4 января 1935 года накануне восемнадцатилетия его перевозили с Лубянки в Бутырку, он сочинил в уме, прямо в «черном воронке», свое первое серьезное стихотворение в четыре строки, которое мы приводим. В его «Избранное» оно не включалось. В том же самом воронке по поразительному совпадению Соболев встретил только что арестованного Я. Смелякова, с которым впоследствии нежно дружил. В 1941 году пошел на фронт добровольцем, написав в заявлении, что хочет «кровью искупить вину», которой не было. Первые стихи напечатал в 1943 году. Первая книга «Стихи» вышла в 1951-м. В 1955 году написал знаменитое в литературных кругах стихотворение «Костя», после того как К. Симонов выступил против пьесы Зорина «Гости», которую незадолго до этого всячески хвалил.

* * *

Не верю я. Мне не семнадцать лет.
 Я старый, как подстреленная птица.
 Как страшно знать, что бога больше нет.
 И скучно жить, и некому молиться.

1935

* * *

Семинарист, приученный к поклонам,
 Веселый парень — вдарим по иконам! —
 Таков наш век — палач и звездочет,
 А жгло нам души время, а не пламя.
 Стареют не в боях — между боями,
 А гений объясняет: «Все течет».

Он говорит (наверно, справедливо),
 Что время криво и пространство криво,
 Но как профан, ошибку допустил,
 Сочтя за незначительные факты
 Твои самоубийства и инфаркты
 В спокойные периоды светил.

В газетах века вирусы и стронций,
 Дно океана, изверженья солнца —
 Так что же мир — всевидящ или слеп?
 А где-то объегорили Ивана,
 И кровенеет фронтовая рана,
 Горька вода, и несъедобен хлеб.

1960

НИКОЛАЙ ТАРАСОВ

1918—1976

Человек, которому я благодарен навсегда, на всю мою жизнь. Он догадался, что я поэт, еще в 1949 году, хотя оснований для такой догадки было немного. Я писал тогда пустые звонкие стихи «под Кирсанова», играя рифмами, как гантелями. Тарасов работал тогда в газете «Советский спорт», находившейся напротив Лубянки, почти на том месте, где сейчас стоит мемориальный камень жертвам террора. Тарасов сразу напечатал мои стихи. Несколько раз, когда я приходил в «Советский спорт», мимо проезжал длинный ЗИС с Берия. Слава богу, что меня разглядел не он, а Тарасов. Впоследствии я написал: «Злой гений жил в Кремле. В «Советском спорте» был добрый гений — Николай Тарасов». Там же работала моя первая машинистка — Татьяна Сергеевна Малиновская, которой я посвятил стихи. Тарасов уделял мне много времени, образовывая меня в поэзии. Он и сам писал стихи, в которых попадались прекрасные строки: «вам положить на легкие ладони четыре замирающих строки», «на повороте о коробку дома зеленой спичкой чиркнуло такси». Последняя строфа его стихотворения, которое я отобрал для этой антологии, меня восхищала и восхищает.

* * *

Я удивляюсь сверстницам мальчишек.
Они еще и с ними
и на «ты»,
но в каждой
что-то
от Марины Мнишек,
от гибельной
недетской красоты.

Пока, полны надежды и отваги,
их мальчики
витают в облаках,
они проносят зонтики,
как шпаги,
колеблясь
на высоких каблуках.

Легко идут
по улицам бессонным.
Мосты взрывают,
пароходы жгут.
Не верят
подмосковным Эдисонам
и Мечниковых будущих
не ждут.

Та смотрит вдаль,
та поджигает губы,
той серьги бирюзовые к лицу...
И молча
умирают однолюбы
на подступах
к Бульварному кольцу.

НИКОЛАЙ ТРЯПКИН

р. 1918

Поэт с ярко выраженным фольклорным началом. Одно время казалось, что он не больше чем талантливый балалаечник, мастерски пляшущий пальцами по струнам, в то время как русское крестьянство корчится и стонет под гнетом системы, направленной и против земли, и против человека, любящего землю. Но когда наступила перестройка и цензура уже не могла защищать систему от горькой правды о ней самой, Николай Тряпкин вдруг явился со спрятанной им до срока в бабушкином сундуке скатертью-самобранкой, развернул ее, и оказалось, что в ее расшитую красными петухами белизну завернуто множество зачерствелых, но сохранившихся пирогов, да еще и со взрывной начинкой. Вдруг выяснилось, что у этого человека, на лице которого всегда гуляла малопонятная защитительная улыбочка, всегда была душа бунтаря, переселившаяся из погибшего в лагере Клюева. Однако в 1992 году А. Межиров написал горькое стихотворное послание Н. Тряпкину, усмотрев в одном из его последних стихотворений не проявлявшийся у него ранее опасный душок национализма, переходящего в свои наиболее неприятные формы.

ВЕЧЕРОМ

1

Ах ты, милка, ах ты, Зина,
Златогривый мой конек!
Ты скачи до магазина
Под названьем «Огонек».

Забирай скорей посуду,
Торопись, моя краса.
Время есть еще покуда:
До закрытья — полчаса.

Только хлопцам в перетряску
Ты смотри не попади.
Милицейскую коляску
Ты стороной обойди...

Время есть еще покуда.
Только денег — не даю.
Ты сама ведь пьешь, паскуда,
Глянь-ка в сумочку свою.

2

Не скрывай свою получку,
Раскошеливайся.
Да не рыпайся, гадючка,
Пошевеливайся.

Забирай-ка вот посуду,
Зафасовывайся,
Под затрещину, зануда,
Не подсовывайся.

Да у Катькиной палатки
Не задерживайся,
На конфетки-шоколадки
Не издерживайся.

Да в шалманчике у стойки
Не прикладывайся,
Да у гаврика на койке
Не раскладывайся.

1979

* * *

Прогнали иродов-царей,
Разбили царских людоедов,
А после — к стенке, поскорей,
Тянули собственных полпредов.

А после — хлопцы-косари
С таким усердьем размахнулись,
Что все кровавые цари
В своих гробах перевернулись.

1981

СКОЛЬКО БЫЛО ВСЕГО...

Сколько было всего:
и литавры, и бубны, и трубы!
И со всех верхотур грохотали вовсю рупора,
И с каких-то подмостков
кричали какие-то губы,
Только я их не слышал: повсюду кричали «ура».

Это были авралы, и штурмы, и встречные
планы,
Громовое «даешь!» и такое бессменное «есть!»,
А потом лихачи уходили туда, в котлованы,
И вовсю воровали —
и тачки, и цемент, и жесьть...

Эту горькую соль и теперь мы никак
не проварим,
Этих жутких картин и теперь мы не можем
избыть.
И летят в никуда, и сгорают в незримом пожаре
И леса, и хлеба, и густая пчелиная сыть...

Не боюсь я ни смерти,
и жадных когтей Немезиды,
Не боюсь, что и в смерти
не встречу удачу свою,
А боюсь я того, что подкожные черви и гниды
Источат не меня, а бессмертную душу мою.

Замолчите кругом,
и литавры, и бубны, и трубы!
Не гремите, ветии! Заткнитесь вверху, рупора!
Ибо вижу над миром беззвучно кричащие губы.
Я хочу их услышать. Пора.

ИЗВЕЧНАЯ ПЕСНЯ

Для кого-то — зефир и мед,
Для кого-то — теплиц плоды.
Ну а мы — лишь простой народ,
Нам довольно одной воды.

Для кого-то — севрюжий стол,
Для кого-то — медвежий бок.
А тебе — лишь один рассол,
Да и то — заплати налог.

И невольно решишь вот так:
А не выпить ли в честь заслуг?
А не то ведь хитер завмаг —
И водчонку припрячет вдруг!

1981

* * *

Как научились воровать!
Воруют все — напропалую,
Ворует сын, ворует мать —
И строят дачу воровскую.

Ворует пекарь у печей,
Ворует резчик у буханки,
Ворует сторож у бахчей,
Ворует книжник у стрелянки.

Ворует врач у порошков,
Ворует сварщик у паялки.
И даже — тренер у прыжков.
И даже — мусорщик у свалки.

Воруют грунт из-под двора,
Воруют дно из-под кадушки.
Воруют совесть у Петра,
Воруют душу у Марфушки...

Кого просить? Кому кричать?
И перед кем стоять в ответе?
И что мы будем воровать,
Когда растащим все на свете?

1981—1982

ИЗ ЦИКЛА
«СТИХИ О СОБАЧЬЕМ НАСЛЕДИИ»

* * *

Есть что-то в нас от предков крепостных.
Иных у нас псарями называли.
А те ласкали князюшек своих
И в плечико — родимых целовали.

О древний чин! Святая простота!
Давным-давно сменились наши крыши,
А мы все так же — к плечу уста,
Когда оно хоть чем-нибудь повыше.

Живуч и ты, великий русский псарь...
И даже псы в начальство попадают...
Из нас порою, так же, как и встарь,
Отменные исправники бывают.

* * *

Прцветает человек —
В орденах.
Умирает человек —
В колтунах.
Сколько всяких орденов
Золотых!
А затем — и колтунов
Никаких.
Прямо тут же целиком,
Навсегда
Покрывает все кругом
Лебеда.
Все покроет, позабьет —
И пожрет.
А припомнится Федот,
Да не тот.

ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВ

1918, Кемерово — 1984, Москва

Сын каменщика, Федоров вырос в деревне. Закончил авиастроительный техникум в Новосибирске и до 1947 года работал в Сибири по специальности. В 1947 году вышла первая книга стихов в Новосибирске. Учился в Литинституте имени Горького. Лучшая поэма Федорова «Проданная Венера» посвящена тому времени, когда Сталин продавал за доллары шедевры мировой живописи из наших музеев, чтобы помочь индустриализации. Главная мысль поэмы — в строках «за красоту времен грядущих мы заплатили красотой». Из Федорова долго, но безуспешно делали классика при жизни — как бы Большую Бертю, направленную против популярности поэтов-шестидесятников. Строки Федорова: «Сердца, не занятые нами, без выстрела займет наш враг», «Сердца, да это же высоты, которых отдавать нельзя!» — в годы застоя и борьбы с диссидентами беспрерывно цитировались в официальных статьях. Но человек он был безусловно талантливый, и я с удовольствием предоставляю место в этой антологии еще одному моему многолетнему литературному противнику.

РАБСКАЯ КРОВЬ

Вместе с той,
Что в борьбе проливалась,
Пробивалась из мрака веков,
Нам, свободным,
В наследство досталась
Заржавелая рабская кровь.

Вместе с кровью
Мятежных,
Горячих,
Совершавших большие дела,
Мутноватая жижица стряпчих,
Стремянных
В нашу кровь затекла.

Не ходил на проверку к врачу я,
Здесь проверка врача не нужна.
Подчиненного робость почуяв,
Я сказал себе:
Это она!

Рос я крепким,
Под ветром не гнулся,
Не хмелел от чужого вина,

Но пришлось —
Подлецу улыбнулся
И почувствовал:
Это она!

Кровь раба,
Презиравшая верность,
Рядом с той,
Что горит на бегу, —
Как предатель,
Пробравшийся в крепость,
Открывает ворота врагу,
Как лазутчик,
Что силе бойцовой
Прививает трусливую дрожь.

Не убьешь ее пулей свинцовой
И за горло ее не возьмешь.

Но борюсь я,
Не днями — годами
Напряженная длится борьба.
Год за годом,
Воюя с врагами,
Я в себе
Добиваю раба.

ИРИНА ШАШКОВА**1918, Харьков — 1987**

Ее мать — врача и отца — железнодорожника арестовали в 1937-м. Была исключена из Харьковского университета как дочь «врагов народа», но затем все-таки его закончила. После войны работала в городской библиотеке в отделе редких книг. Переписывалась с Эренбургом. Всю жизнь писала стихи, но никогда их не печатала.

ЯБЛОКО

В. Ш.

Чуть желтоватое с румяным боком
На вазе стыло медленно оно,
медовым отуманенное соком,
и сладостью земли напоено.

Спокойствие. Никто не должен видеть,
как руки в дрожь забрасывает боль,
ешь яблоко — чтоб горько ненавидеть,
чтобы глаза не разъедала соль.
Ешь яблоко, чтоб било их презренье,
чтоб терпкий сок, как ненависть, бродил
и памятью ночного иступленья —
жди: — за тобою выстрел у могил.

1952

ИВАН БУРКИН**р. 1919, Пенза**

Покинул Россию в 40-е годы. Преподавал в различных университетах США. Фрагменты «Симфонического скандала» взяты из антологии «Берега», вышедшей в Филадельфии в 1992 году. Годом ранее, в августе 1991-го, как раз в дни попытки путча, Буркин, как и другие поэты «второй волны» — Ирина Бушман, Валентина Синкевич, за много лет впервые посетил Москву.

СИМФОНИЧЕСКИЙ СКАНДАЛ*(фрагменты)*

Как хороший гражданин,
Сам себя я раздавил,
И как сказано в законе,
Сам себя я вырвал с корнем.
Разложил себя по полкам —
Сердце там, а разум тут.
Разум спорит с чувством, с толком,
Ноги из дому растут.

Полнобуйтесь, вот так штука!
Я двух жен держу в уме.
Видно, лебедь, рак и щука
Соревнуются во мне.
Симфонический скандал!
Феерические вина!
Половиной вдруг я стал!
Где другая половина?

Обновляется поэт.
Как ни странно. В результате
Маринованный читатель
Из печати вышел в свет

И заметил, как ни странно —
Дым идет назад в трубу.
В горле музыка застряла,
Человек застрял в гробу.

ВЕСНА

В гнездо из пальцев
прилетел карандаш
и начал чирикать.
Дерево позвонило портному
и заказало себе юбку;
портной позвонил дереву
и заказал грушу.
Гроб заказал себе покойника.
Кто-то сочинил страну для скрипки.
Вера надела выражение Лизы,
потому что Лиза
одела своим лицом кавалера Веры.
Пиджаку дали адрес,
и он поехал искать
две руки, спину и грудь.
Глазам дали задание
расставить мебель азбуки,

задержать уезжавшие буквы
и доставить их в голову.
Полицейский играл на пистолете.

Река текла к Пушкину,
и разочарованная пуля
покончила самоубийством.

АЛЕКСАНДР ВОЛОДИН

р. 1919

Один из лучших советских драматургов, который после натушно героических пьес «бесконфликтности» помог людям на сцене снова заговорить простым человеческим языком. Его пьесы «Фабричная девчонка», «Старшая сестра», «Пять вечеров», «Ящерица» шли во многих театрах страны. По его сценарию был поставлен Георгием Данелия очаровательный фильм «Осенний марафон» с неповторимым Евгением Леоновым.

* * *

Нас времена три раза били
и способы различны были.
Тридцатые. Парадный срам.
Тех посадили, тех забрили,
загнали в камеры казарм.

Потом — война по головам.
Убитые остались там,
а мы, пока еще живые,
с тех пор все хлещем фронтовые
навек законные сто грамм.

Потом — надежд наивных эра,
шестидесятые года.
Опять глупы, как пионеры,
нельзя и вспомнить без стыда.

НИКОЛАЙ ГЛАЗКОВ

1919, с. Лысково Нижегородской губ.—1979, Москва

Сломавшийся, но все-таки успевший воплотиться гений. Литинститутский друг Кульчицкого, Когана, Луконина, не печатавшийся перед войной, но, «широко известный в узких кругах», был дружески разворован по строчкам множеством поэтов. Первая книжка Межирова была названа по глазковской строчке: «Дорога далека». В послевоенной Москве не было ни одного мало-мальски образованного человека, который не знал бы глазковского: «Я на мир взираю из-под столика. Век двадцатый — век необычайный. Чем столетье интересней для историка, тем для современника печальней» или: «Мне говорят, что окна ТАСС моих стихов полезнее. Полезен также унитаз, но это не поэзия», или: «Живу в своей квартире тем, что пилю дрова. Арбат, 44, квартира 22». Глазков воспринимал себя как продолжателя Хлебникова, горько резюмируя: «В истории что было драмой, то может повториться фарсом». На самом деле он был скорее русским Омаром Хайамом. Репутация «блаженного» спасла его от ареста, но и отгородила от печатаемой литературы. Тогда Глазков начал мстить официальной поэзии за то, что она его в себя не пустила, издевательски плохими стихами, которые он печатал в огромном количестве, ернически рифмуя «коммунизм» и «социализм», и так же наплевательски переводил с любых языков. Именно от глазковского слова «самсебяиздат», которым он называл сброшюрованные им и распространяемые среди друзей машинописные книжечки, и произошло ставшее всемирно знаменитым слово «самиздат». Именно Глазкова выбрал Андрей Тарковский на роль «летающего мужика» в фильме «Андрей Рублев». Глазкова хотели снять в роли Достоевского, но не разрешили. Глазковские стихи многовариантны — во многом из-за цензуры. Иногда он с показным цинизмом калечил собственные стихи, но часто это зависело и от его настроений. Составитель пошел по пути «концентрированного» Глазкова, а не «размазанного».

ВОРОН

Черный ворон, черный дьявол,
Мистицизму научась,
Прилетел на белый мрамор
В час полночный, черный час.

Я спросил его: — Удастся
Мне в ближайшие года
Где-нибудь найти богатство? —
Он ответил: — Никогда!

Я сказал: — В богатстве мнимом
Сгинет лет моих орда.
Все же буду я любимым? —
Он ответил: — Никогда!

Я сказал: — Пусть в личной жизни
Неудачник я всегда.
Но народы в коммунизме
Сыщут счастье? — Никогда!

И на все мои вопросы,
Где возможны «нет» и «да»,
Отвечал вещатель грозный
Безутешным: — Никогда!

Я спросил: — Какие в Чили
Существуют города? —
Он ответил: — Никогда! —
И его разоблачили.

1938

БАЛЛАДА

Он вошел в распахнутой шубе,
Какой-то сверток держал.
Зуб его не стоял на зубе,
Незнакомец дрожал.

Потом заговорил отрывисто, быстро,
Рукою по лбу провел, —
Из глаз его посыпались искры
И попадали на ковер.

Ковер загорелся, и струйки огня
Потекли по обоям вверх;
Огонь оконные рамы обнял
И высунулся за дверь.

Незнакомец думал: гореть нам, жить ли?
Решил вопрос в пользу «жить».
Вынул из свертка огнетушитель
И начал пожар тушить.

Когда погасли последние вспышки
Затухающих искр,
Незнакомец сказал, что слишком
Пустился на риск.

Потом добавил: — Теперь мне жарко,
Даже почти хорошо... —
Головой поклонился, ногой отшаркал
И незаметно ушел.

1939

* * *

Я сам себе корежу жизнь,
Валяя дурака.
От моря лжи до поля ржи
Дорога далека.

Но жизнь моя такое что,
В какой тупик зашла?
Она не то, не то, не то,
Чем быть она должна.

Жаль дней, которые минуют,
Бесследьем разозля,
И гибнут тысячи минут,
Который раз зазря.

Но хорошо, что солнце жжет
А стих предельно сжат,
И хорошо, что колос желт
Накануне жатв.

И хорошо, что будет хлеб,
Когда его сберут,
И хорошо, что были НЭП,
И Вавилон, и Брут.

И телеграфные столбы
Идут куда-то вдаль.
Прошедшее жалеть стал бы,
Да ничего не жаль.

Я к цели не пришел еще,
Идти надо века.
Дорога — это хорошо,
Дорога далека.

1941—1942

* * *

Существует четыре пути.
Первый путь — что-нибудь обойти.

Путь второй — отрицание, ибо
Признается негодным что-либо.

Третий путь — на второй не похож он,
В нем предмет признается хорошим.

И четвертый есть путь — настоящий,
Над пространством путей надстоящий:

В нем предмет помещается в мире.
Всех путей существует четыре.

1942

ЛАПОТЬ

Валялся лапоть на дороге,
Как будто пьяный,
И месяц осветил двурогий
Бугры и ямы.

А лапоть — это символ счастья,
А счастье мимо
Проходит, ибо счастье с честью
Несовместимо.

В пространстве, где валялся лапоть,
Бродил с гитарой
НН, любивший девок лапать,
Развратник старый.

НН любил читать Баркова
И девок лапать,
И как железная подкова
Валялся лапоть.

И как соломенная крыша,
И листья в осень...
То шел бродяга из Парижа
И лапоть бросил.

Под ним земные были недра,
Он шел из плена.
Бродяга был заклятый недруг
Того НН-а.

Была весна, и пели птички.
НН стал шарить
В карманах, где лежали спички,
Чтоб лапоть жарить.

И вспыхнул лапоть во мраке вечера,
Подобный вольтовой дуге.
Горел тот лапоть и отсвечивал
На всем пространстве вдаль.

Какой-то придорожный камень
Швырнув ногой,
Бродяга вдруг пошел на пламень,
То есть огонь.

А лапоть, став огня основой,
Сгорел, как Рим.
Тогда схватил бродяга новый
Кленовый клин.

Непостижимо и мгновенно,
Секунды в две,
Ударил клином он НН-а
По голове.

Бить — способ старый, но не новый —
По головам,
И раскололся клин кленовый
Напополам.

Тогда пошел НН в атаку,
На смертный бой,
И начал ударять бродягу
Он головой.

Все в этом мире спор да битва,
Вражда да ложь.
НН зачем-то вынул бритву,
Бродяга — нож.

Они зарезали друг друга,
Ну а потом

Они пожмут друг другу руку
На свете том.

1942

* * *

За неведомым бредущие,
Как поэты, сумасшедшие,
Мы готовы предыдущее
Променять на непришедшее.

Не тужи о нас. Нам весело
И в подвале нищеты;
Неожиданность инверсии
Мы подняли на щиты.

1943

* * *

Все происходит по ступеням,
Как жизнь сама.
Я чувствую, что постепенно
Схожу с ума.

И, не включаясь в эпопеи,
Как лампа в ток,
Я всех умнее — и глупее
Среди дорог.

Все мысли тайные на крики
Я променял.
И все написанные книги,—
Все про меня.

Должно быть, тишина немая
Слышней в сто крат.
Я ничего не понимаю,
Как и Сократ.

Пишу стихи про мир подлунный
Который раз?
Но все равно мужик был умный
Екклезиаст.

В реке причудливой, как Янцзы,
Я затону.
Пусть не ругают вольтерьянцы
Мою страну.

1943

ХИХИМОРА
(фрагменты)

Не ищу от стихов спасения.
Так и буду писать всегда.
У меня все дни — воскресения.
И меня не заела среда.

Сочиняю вечно стихи мои,
Хотя жажду иного счастья,

И рассказываю о Хихиморе,
Чтоб к ней больше не возвращаться.

Она смотрит куда-то глазами
И покачивается, как челн,
И ни в чувстве ее, ни в разуме
Смысл всего, а черт знает в чем.

Астрология и алхимия —
Повседневные наши труды.
Дорогая моя Хихимора,
Все зависит от ерунды!

Наши встречи зависят от случая...
Я люблю — сочиняю стихи я...
Ты из девочек самая лучшая,
Ну а все остальные плохие!..

Впрочем, впадаю в ложь и я
В процессе стихованья.
Все девочки хорошие,
Как говорила Фаня.

Девочки скажут: выбирай нас, —
Я легко поддаюсь внушению.
Любовь — объективная реальность,
Данная нам в ощущении!

Поэтому вечно я
Глазею на
Первую встречную:
Она или не она?

Иду и думаю,
Когда иду,
Тогда про ту мою
И эту ту.

А в ночь угрюмую,
Когда темно,
Иду и думаю:
Что мне дано?

Что дано? Причитанья причуд,
Неоткрытых открытий высоты,
Мысли, что мудрецы перечтут,
А глупцы превратят в анекдоты...

Что дано? Ничего не дано:
Не дается оно, а берется.
Надоело давным-давно,
Что за все это надо бороться.

Пусть желанье мое исполнится,
И, стихами отражена,
Ты моя, если хочешь, любовница,
Если вывески любишь — жена.

Пусть желанье мое исполнится...
Через несколько лет все равно
Будет новое что-то и вспомнится,
Как меня обмануло оно!

* * *

Не знаю, в каком я раю очучусь,
Каких я морей водолаз;
Но мы соберемся под знаменем чувств,
Каких не бывало до нас!

И взглянем с непризнанной высоты
На мелочность бытия.
Все очень ничтожно и мелко... А ты?
Ты тоже ничтожна. А я?

Я как-то неэдакно дни влачу;
Но не унываю теперь.
Как пьяницу тянет к полмитричу,
Так тянет меня — к тебе ль?..

Ну а почему — ты не ведаешь —
Не мне, а другим лафа?
Нужна над тобой мне победа лишь,
А все остальное слова.

Ищи постоянного, верного,
Умеющего приласкать;
Такого, как я, откровенного,
Тебе все равно не сыскать!

Ищи деловитого, дельного,
Не сбившегося с пути;
Такого, как я, неподдельного,
Тебе все равно не найти!

Люблю тебя за то, что ты пустая;
Но попусту не любят пустоту.
Ребята так, бумажный змей пуская,
Бесмысленную любят высоту.

Ты не можешь хотеть и не хочешь мочь.
Хорошо быть с тобой на «ты»...
Я тебя люблю. Перед нами ночь
Неосознанной темноты.

Непохожа ночь на нож,
Даже если нож неостр...
Мост на берег был похож,
Берег был похож на мост.

И не ехали цыгане,
Не мелькали огоньки,
Только где-то под ногами
Снегом скрытый лед Оки.

Мост над речкой коромыслил,
Ты на Третьем берегу...
Я тогда о чем-то мыслил,
Если вспомню — перелгу.

Огромный город. Затемнение.
Брожу. Гляжу туда, сюда.
Из всех моих ты всех моейнее —
И навсегда!

Как только встретимся, останемся,
 Чтоб было хорошо вдвоем,
 И не расстанемся, и не состаримся,
 И не умрем!

1944

* * *

Куда спешим? Чего мы ищем?
 Какого мы хотим пожара?
 Был Хлебников. Он умер нищим,
 Но Председателем Земшара.
 Стал я. На Хлебникова очень,
 Как говорили мне, похожий:
 В делах бессмыслен, в мыслях точен,
 Однако не такой хороший.
 Пусть я ленивый, неупрямый,
 Но все равно согласен с Марксом:
 В истории что было драмой,
 То может повториться фарсом.

1945

* * *

На Тишинском океане
 Без руля и без кают
 Тихо плавают в тумане
 И чего-то продают.
 Продает стальную бритву
 Благороднейший старик,
 Потому что он поллитру
 Хочет выпить на троих.

1946

ВСТУПЛЕНИЕ В ПОЭМУ

Темнотою и светом объята
 В ночь июля столица Родины.
 От Таганки и до Арбата
 Расстояние было пройдено.

Очевидно, очередная
 В личной жизни ошибка сделана.
 Ветер выл, смеясь и рыдая,
 Или время было потеряно,

Или так начинается повесть,
 Или небо за тучами синее...
 Почему ты такая, то есть
 Очень добрая и красивая?

Никого нет со мною рядом
 На пустынном мосту Москва-реки,
 Где чуть слышно ругаются матом
 Электрические фонарики.

Не имею ста тысяч пускай я,
 Но к чему эти самые ребусы?
 Почему я тебя не ласкаю
 В час, когда не идет троллейбусы?

Это я изнываю от жажды,
 В чем нисколько меня не неволишь ты.
 О любви говорили не дважды
 И не трижды, а миллионожды!

Мне нужна от тебя не жертва,
 А сама ты, хоть замуж выданная.
 Если жизнь у меня бессюжетна,
 Я стихами сюжета не выдумаю!

Эта мысль, хоть других не новее,—
 Непреложная самая истина,
 Ибо если не станешь моею,
 То поэма не будет написана,
 А останется только вступление...

Надо быть исключительной душой,
 Чтоб такое свершить преступление
 Пред отечественной литературой!

1949

МОЯ ЖЕНА

Не две дороги светлого стекла,
 Не две дороги и не две реки...
 Здесь женщина любимая легла,
 Раскинув ноги Волги и Оки.
 Запрокинув руки рукавов
 И золото своих песчаных кос,
 Она лежит на ложе берегов
 И равнодушно смотрит на откос.

Кто знает, что она моя жена?
 Я для нее не пожалею строф,
 Хотя не я дарил ей кружева
 Великолепно связанных мостов.
 Она моя жена, а я поэт...
 Сто тысяч раз изменит мне она,—
 Ни ревности, ни ненависти нет:
 Бери ее, она моя жена!

Она тебя утопит ни за грош:
 Есть у нее на это глубина,
 Но, если ты действительно хорош,
 Возьми ее,— она моя жена.
 Возьми ее, одень ее в гранит,
 Труды и камни на нее затрать...
 Она такая, что не устоит
 И даст тебе все то, что сможет дать!

1950—1951

НЕБЫВАЛИЗМ МЕНЯ

Вне времени и притяжения
 Легла души моей Сахара
 От беззастенчивости гения
 До гениальности нахала.

Мне нужен век. Он не настал еще,
 В который я войду героем;

Но перед временем состаришься,
Как и Тифлис перед Курою.

Я мир люблю. Но я плюю на мир
Со всеми буднями и снами.
Мой юный образ вечно юными
Пушай возносится, как знамя.

Знамена, впрочем, тоже старятся —
И остаются небылицы.
Но человек, как я, — останется:
Он молодец — и не боится.

Мне нужен мир второй,
Огромный, как нелепость,
А первый мир маячит, не маня.

Долой его, долой:
В нем люди ждут троллейбус,
А во втором — меня.

БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА

Дни твои, наверно, прогорели
И тобой, наверно, неосознанны:
Помнишь, в Третьяковской галерее —
Суриков — «Боярыня Морозова»?..

Правильна какая из религий?
И раскол уже воспринят родиной.
Нищий там, и у него вериги,
Он старообрядец и юродивый.

Он аскет. Ему не нужно бабы.
Он некоронованный царь улицы.
Сани прыгают через ухабы, —
Он разут, раздет, но не простудится.

У него горит святая вера.
На костре святой той веры греется
И с остервененьем изувера
Лучше всех двумя перстами крестится.

Что ему церковные реформы,
Если даже цепь вериг не режется?..
Поезда отходят от платформы —
Это ему даже не мерещится!..

На платформе мы. Над нами ночи черноты,
Прежде чем рассвет забрезжит розовый.
У тебя такая ж обреченность,
Как у той боярыни Морозовой.

Милая, хорошая, не надо!
Для чего нужны такие крайности?
Я юродивый Поэтограда,
Я заплачу для оригинальности...

У меня костер нетленной веры,
И на нем сгорают все грехи.

Я поэт ненаступившей эры,
Лучше всех пишу свои стихи.

Пусть будет эта повесть
Написана всерьез
О людях тех, чья совесть
Чиста, как Дед Мороз.

Один из них пропойца,
По пьянству богатырь,
И светит ярче солнца
Его душе бутылка.

Чтоб водка вместо чая
Струилась как река,
Он пропилил все, включая
И друга, и врага.

И в день веселый мая
Привел меня туда:
Одна стена прямая,
Другая — как дуга.

От края и до края
Примерно два шага.
И комната такая
Не очень велика.

Однако очень славно,
Не ведая забот,
Там девочка Светлана
Безвыездно живет.

Она провоявала
Число иных годов
И видела немало
Людей и городов.

По Западной Европе
Поездила она.
Хранятся в гардеробе
Медали, ордена...

Я это понимаю,
Хоть сам не бил врага...
Одна стена прямая,
Другая — как дуга.

И свет не льется яркий,
Окно затемнено.
Под Триумфальной аркой
Запрятано оно.

И лампочка мигает
Всего в пятнадцать свеч,
Но это не мешает
Веселью наших встреч.

Мы курим, дым вздымая
Почти до потолка.

Одна стена прямая,
Другая — как дуга.

1950

ПАМЯТИ МИШИ КУЛЬЧИЦКОГО

В мир иной отворились двери те,
Где кончается слово «вперед»...
Умер Кульчицкий, а мне не верится:
По-моему, пляшет он и поет.

Умер Кульчицкий, мечтавший в столетьях
Остаться навеки и жить века.
Умер Кульчицкий, а в энциклопедиях
Нет такого на букву «К».

А он писал стихи о России,
С которой рифмуется неба синь;
Его по достоинству оценили
Лишь женщины, временно жившие с ним.

А он отличался безумной жаждой
К жизни, к стихам и пивной,
И женщин, любимую каждую,
Называл для чего-то своей женой.

А он до того, как понюхать пороху,
Предвидел, предчувствовал грохоты битв,
Стихами сминал немецкую проволоку,
Колбочую, как готический шрифт.

Приехал в Москву прямо с юга жаркого,
А детство провел в украинских краях,
И мама писала ему из Харькова:
«Не пей с Глазковым коньяк!»

ПОСЛАНИЕ МИШЕ ЛУКОНИНУ

Луконин Миша! Ты теперь
Как депутат почти,
И я пишу письмо тебе,
А ты его прочти.

С чего бы мне его начать?
Начну с того хотя б,
Что можешь и не отвечать
Мне ямбами на ямб.

Ты побывал в огне, в воде
И в медных трубах, но
Кульчицкий где, Майоров где
Сегодня пьют вино?

Для них остановились дни
И солнца луч угас,
Но если есть тот свет, они
Что думают про нас?

Они поэзию творят
В неведомой стране.

Они сегодня говорят,
Наверно, обо мне.

Что я остался в стороне
От жизненных побед...
Нет! Нужен я своей стране
Как гений и поэт!

...Встает рассвет. Я вижу дом.
Течет из дома дым.
И я, поэт, пишу о том,
Что буду молодым...

Не молодым поэтом, нет,
Поскольку в наши дни
Понятнее «молодой поэт»
Ругательству сродни.

Мол, если молодой, то он
Валяет дурака,
И как поэт не завершен,
И не поэт пока.

Нет! Просто мир побьет войну
В безбрежности земной,
Тогда я молодость верну,
Утраченную мной!..

Пусть я тебя не изумил
И цели не достиг;
Но, как стихи стоят за мир,
Так станет мир за стих!

1951

ПРИМИТИВ

Москва. Декабрь. Пятьдесят первый год.
Двадцатый, а не двадцать первый век.
Я друг своих удач и враг невзгод
И очень примитивный человек.

Мне счастье улыбалось иногда,
Однако редко; чаще не везло,
Но я не обижался на года,
А возлюбил поэта ремесло.

Чтоб так же, как деревья и трава,
Стихи поэта были хороши,
Умело надо подбирать слова,
А не кичиться сложностью души.

Я по примеру всех простых людей,
Предпочитаю счастье без борьбы!
Увижу реку — искупаюсь в ней,
Увижу лес — пойду собирать грибы.

Представится мне случай — буду пьян,
А не представится — останусь трезв,
И женщины находят в том изъян
И думают: а в чем тут интерес?

Но ежели об интересе речь,
Я примитивность выявлю опять:
— С хорошей бабой интересно лечь,
А не игру в любовь переживать.

Я к сложным отношениям не привык,
Одна особа, кончившая вуз,
Сказала мне, что я простой мужик.
Да, это так, и этим я горжусь.

Мужик велик. Как богатырь былин,
Он идолищ поганых погромил,
И покорил Сибирь, и взял Берлин,
И написал роман «Война и мир»!

Правдиво отразить двадцатый век
Сумел в своих стихах поэт Глазков,
А что он сделал, — сложный человек?..
Бюро, бюро придумал... пропусков!

1951

* * *

На земле исчезнут расы,
Госграницы и вражда
И построят из пластмассы
В эти годы города.

В ход пойдет предметов масса,
Всякий хлам ненужный весь,
Потому что есть пластмасса
Органическая смесь!

ПОЭТОГРАД

(фрагменты)

У молодости на заре
Стихом владели мы искусно,
Поскольку были мы за ре-
волюционное искусство.

Я лез на дерево судьбы
По веткам мыслей и поступков.
Против меня были рабы
Буржуазных предрассудков.

От их учебы и возни
Уйти, найти свое ученье...
Вот так небывализм возник,
Литературное течение.

А счастья нет, есть только мысль,
Которая всему итог.
И если ты поэт, стремись
К зарифмованью сильных строк.

И вероятно, что тогда
Я сильных строк сложил немало;

Но институтская среда
Моих стихов не понимала.

Оставить должен был ученье,
Хотя и так его оставил.
Я исключен как исключенье
Во имя их дурацких правил!

Ухудшились мои дела,
Была учебы карта бита.
Но Рита у меня была,
Рита, Рита, Рита...

Студенты хуже школьников
Готовились к зачетам,
А мы всю ночь в Сокольниках...
Зачеты нам за чертом!

Зимой метель как мельница,
А летом тишь да гладь.
Конечно, разумеется,
Впрочем, надо полагать...

Все было просто и легко,
Когда плескалась водки масса.
От нас то время далеко,
Как от Земли до Марса.

В то время не был домовой
Прописан в книге домовой,
Сидел в трубе он дымовой
И слушал ветра вой...

Я сочинял стихи о том,
Что день готовит мне вчерашний.
Потом уединялся в дом,
Каменный и трехэтажный.

Его ломать не надо при
Реконструкции столицы.
Хоть этажей в нем только три, —
Но шесть, когда в глазах двоится.

Литературный институт!
Его не посещаю разве я?..
А годы бурные идут,
Огромные, как Азия.

Сразится Азия со всеми
Под предводительством Москвы,
И в день весенний и осенний
Войска пойдут через мосты.

Я почему-то в это верю:
Настанут лучшие года.
Шумят зеленые деревья,
Течет студеная вода.

Вода срывается с вершин
И устремляется в кувшин.
В Поэтограде так же вот
Работает винопровод!

Хотя играл огнями город, но
Ночь темна, снег бел и светел.
Она спросила: — Вам не холодно? —
Была зима. Шатался ветер.

Была зима. Я поднял ворот, но
Мог бы спрятаться за доски.
Она сказала: — Вам не холодно? —
А было холодно чертовски.

Раскрывает — ну и пусть
Пропасть-пасть,
Но поэту — там, где Русь,
Не пропасть!
Там, где Волга и Москва
В бездне — в ней,
Где берутся нарасхват
Песни дней...

Пускай вокруг бушует жизнь иная,
А может быть, не жизнь, а болтовня,
Но я, поэт Глазков, не принимаю
Людей, не принимающих меня!

Не признан я бездарными такими,
Которые боятся как огня,
Непризнанных... Им нужно только имя
Но именно имени нет у меня!

Всем смелым начинаньям человека
Они дают отпор.
Так бюрократы каменного века
Отвергли первый бронзовый топор.

Ночь Евья,
Ночь Адамья.
Кочевья
Не отдам я.

Табун
Пасем.
Табу
На всем.

И, к высотам любимым пойдя,
Чтоб спуститься к любимым глубинам,
Я бродил по любимым путям,
Но любил бродить — по любимым.

Люди едут, бегут авто,
И не знаю я — почему
Все, что делаю я, не то:
И не то, и не путь к тому.

Пусть поэзию довели
До сведенья на нет враги ее...
А велик поэт? Да велик!
У него ошибки великие!

В наши дни ошибаться боятся,
Но писатели не кассиры.
Не мешайте им ошибаться,
Потому что в ошибках — сила!

Будет что через сто лет —
Бог весть.
Но и сегодня на вкус и цвет
Товарищи есть.

Мы увидим алмазы небес,
Бриллианты небес,
Но сегодня силен бес —
Людьми, что вениками, трясет.

Путь — дорога
Без итога
Хвалится длиной.
Скоро вечер.
Он не вечен,
Ибо под луной.

Или прямо, или криво
Или наугад
Все пути ведут не к Риму,
А в Поэтоград.

* * *

Хочу, чтоб людям повезло,
Чтоб гиря горя мало весила,
Чтоб стукнуть лодкой о весло —
И людям стало сразу весело.

Там весь мир пополам не расколот
И поэты не знают преград.
Вы не верите в этот город,
Вы не верите в Поэтоград.

Вы наденете платье цвета
Черного бутылочного стекла,
И пойдете на край света,
И себе не найдете угла.

Все Вам будет враждебно и чуждо,
Потому что Вы их умней,
Где нет мысли, не может быть чувства,
Бросьте их и отдайтесь мне.

Эти сволочи Вас заманили
В логово их мелочей.
Вы за меня ИЛИ
За сволочей?

Приходите ко мне. Занавесим окно
(для рифмы) шторой.

И будем пить
За такую дружбу, меж нами которой
Нет и не может быть.

За такую дружбу, где тайны нет,
Чтобы было нам хорошо...
Славлю время, которое настанет,
А не то, какое прошло.

* * *

С чудным именем Глазкова
Я родился в пьянваре,
Нету месяца такого
Ни в каком календаре.

ГЛУХОНЕМЫЕ

Когда я шел и думал-или-или,
Глухонемые шли со мною рядом.
Глухонемые шли и говорили,
А я не знал — я рад или не рад им.

Один из них читал стихи руками,
А два других руками их ругали,
Но как глухонемой — глухонемых,
Я не способен был услышать их.

* * *

Вы, которые не взяли
Кораблей на абордаж,
Но в страницы книг вонзали
Красно-синий карандаш.

Созерцатели и судьи,
Люди славы и культуры,
Бросьте это и рисуйте
На меня карикатуры.

Я, как вы, не мыслю здраво
И не значусь статус-кво...
Перед вами слава, слава,
Но посмотрим, кто кого?

Слава — шкура барабана,
Каждый колоти в нее,
А история покажет,
Кто дегенеративнее!

* * *

Когда грузил баржу, немало
Тяжелых бревен перенес,
И мне вода напоминала
Стволы развернутых берез.
И мир во всем многообразии
Вставал, ликуя и звеня,
Над Волгой Чкалова и Разина
И Хлебникова, и меня!

* * *

Вот идет состав товарный.
Слышен окрик матерный.
Женщины — народ коварный,
Но очаровательный.

МОЛИТВА

Господи! Вступи за Советы,
Сохрани страну от высших рас,
Потому что все твои заветы
Нарушает Гитлер чаще нас.

РАЗГОВОР БОЙЦА С БОГОРОДИЦЕЙ

— Непорочная дева,
Ты меня награди,
Чтоб за правое дело
Орден был на груди!

— Орденами не в силе
Грудь украсить твою,
Но спасенье России
Я тебе подарю!

* * *

Что было, то было, а было эдак:
В столицу Москва езда.
Медленнее, чем мне надо, едут
Товарные поезда.

А впереди по пути леса, и
Леса, и опять... снега.
Я на тамбуре замерзаю,
Пропадает моя нога.

Без сна и без отдыха несколько дней я...
Была бы лучше весна...
А на полустанках еще холоднее
Без отдыха и без сна.

И бесполезно на что-нибудь злиться:
Тому труднее, кто гонит немца;
Однако лишь в том вагоне счастливы,
В котором печка имеется...

В котором начальник дымит дым-дымой,
Ему говорят: — Хлеба, водки не надо ли?
Только пусти нас, отец родимый! —
А отец посылает к той самой матери...

Начальник вообще воплощенная честность:
Кто-то вынимает бумажник потрепанный:
— Не желаешь ли денег, родимый отец наш? —
А отец и бумажник к матери

Однако к теплу неизведанный путь есть.
Я все что угодно готов упростить.
— За пятьдесят анекдотов пустишь? —
И мне отвечают: — Придется пустить!

И поезд сразу прибавил ходу,
И снега для меня что трава.
От анекдота и к анекдоту
Веду я свои слова.

Приехал — в метро устремился с вокзала,
Оттуда в заброшенный дом.
Когда я приехал, Москва мне сказала:
— Ты мог бы приехать потом!..

* * *

У меня квартира умерла,
Запылились комнаты и кресла...
Появились если бы дрова,
Моментально бы она воскресла.

Можно жить в квартире хорошо,
Но, конечно, не сейчас, а после:
Я стихи пишу карандашом,
А чернила взяли да замерзли.

Можно забыть на вокзале зал
И тысячи прочих комнат;
Но квартиру, в которой замерзал,
На экваторе приятно вспомнить.

На экваторе, над небом иным,
Через много лет, а пока
Я курю, и в небо уходит дым,
Потому что нет потолка!

Когда я потерпел аварию
И испытал все беды,
То филантропы мне давали...
Хорошие... советы.

* * *

Лез всю жизнь в богатыри да в гении,
Небывалые стихи творя.
Я без бочки Диогена диогеннее:
Сам себя нашел без фонаря.

Знаю: души всех людей в ушибах,
Не хватает хлеба и вина.
Даже я отрекся от ошибок —
Вот какие нынче времена.

Знаю я, что ничего нет должного...
Что стихи? В стихах одни слова.
Мне бы кисть великого художника:
Карточки тогда бы рисовал.

Я на мир взираю из-под столика,
Век двадцатый — век необычайный.
Чем столетье интересней для историка,
Тем для современника печальней!

* * *

В силу установленных привычек
Я играю сыгранную роль.

Прометей — изобретатель спичек,
Но отнюдь не спичечный король.

Этот дар дается только даром,
Но к фортунам и иным дарам
По путям, проверенным и старым,
Мы идем, взбираясь по горам,

Если же и есть стезя иная,
О фортунах и иных дарах,
То и дело нам напоминает
Кошелек, набитый, как дурак.

У него в руках искусства залежь,
Радость жизни, вечная весна,
А восторжествует новизна лишь,
Неосознанная новизна.

Славен, кто выламывает двери
И сквозь них врывается в миры,
Кто силен, умен и откровенен,
Любит труд, искусство и пиры.

А не тот, кто жизнь ведет монаха,
У кого одна и та же лень.
Тяжела ты, шапка Мономаха, —
Без тебя, однако, тяжелей!

ИЗ ПОЭМЫ «ДОРОГА ДАЛЕКА»

1

Кульчицкий приходил тогда...
Он мне ответил на
Мой вопрос — как и когда
Закончится война.

К папиресе поднеся огниво,
Закурил, подумал, дал ответ:
— Пить мы будем мюнхенское пиво...
А война продлится десять лет.

Но меня убьют в войну такую... —
Призадумался на время тут,
А потом, бессмысленно ликуя,
Радостно воскликнул: — Всех убьют!

2

Всех ли, не всех, но не меньше, чем сотня
Событий проходит, и все не к добру;
Но если я не умру сегодня,
То я никогда, никогда не умру!

На фронте дела обстояли хреново,
И стало поэтам не до стихов.
Поэзия! Сильные руки хромого!
Я вечный твой раб — сумасшедший Глазков.

* * *

Пьяный ушел от зимнего холода,
Пьяный вошел в кафе какое-то,
Словно в июльский день.

Стопка, другая, и третья, и пятая,
Пьяный смеялся, падая,
Задевая людей.

Пьяного выволокли на улицу,
Лежит человек на снегу и простудится
Во имя каких идей?

СТЕФАН КЛЕНОВИЧ

1919—1985

Сын расстрелянного в 20-е годы эсера; его мать — полька, искавшая спасения в Советском Союзе, в 1936 году была арестована и в 1937 году тоже расстреляна. Поэт учился в ИФЛИ с Павлом Коганом. Его тоже арестовали, пытались сшить дело из его стихов. Едва ли «за отсутствием состава преступления», скорее — за отсутствием свободного следователя Кленовича освободили через пять месяцев после ареста. Он поступил в медицинский институт: туда брали всех, потому что ждали войны, — даже детей врагов народа, по той же логике в Киевский медицинский поступил почти ровесник Кленовича Иван Елагин, тогда еще Иван Матвеев. Но в 1941 году его даже в армию не взяли — из-за зрения. После войны Кленович воспользовался своим польским происхождением и уехал в Польшу, где был врачом, юристом, философом и, кажется, для русской литературы оказался потерян. Впрочем, кто знает? На страницах этой антологии можно найти и более невероятные судьбы, и еще большее чудо — уцелевшие стихи. Кстати, именно публикуемое стихотворение фигурировало в «деле» Кленовича как предмет для обвинения.

* * *

Я хотел быть свободным зверем
И метался, как в клетке зверь:
Хочешь верить, не хочешь верить,
Все равно приказано: «Верь!»
Хочешь крикнуть, но камнем в глотке
Динамит застревает слов,
И хрипишь: «Не хочу...» — и все-таки
Нагибаешь покорно лоб...
Вот и все... пред закрытой дверью
Я стою, не пройти за дверь.
Хочешь верить, не хочешь верить,
Все равно приказано: «Верь!»

1937

МИХАИЛ КУЛЬЧИЦКИЙ

1919—1943

Сын царского офицера, затем юриста, писателя. Учился на филфаке Харьковского университета, затем в Литинституте. Может быть, был потенциально самым талантливым из всех молодых поэтов, которых у русской поэзии безвременно отняла война. У Кульчицкого был на редкость широкий замах, своя раскованная мощная интонация, по частичкам разобранная затем Лукониным, Межировым. И он отдал дань искреннему, но ложному романтизму, близкому к Павлу Когану: «И вот опять в туманах сизых составы тайные идут, и коммунизм опять так близок, как в девятнадцатом году». Кульчицкий обманывался — коммунизм не был близок ни в девятнадцатом, ни в сороковом. Но в одном и он сам, и другие поэты его поколения не обманулись — в инстинктивном чувстве надвигающейся войны с фашизмом, которая стала их победой, но и гибелью. Первая книга Кульчицкого вышла в 1966 году в Харькове. Товарищ его юности Б. Слуцкий написал о нем чеканные стихи, как будто врубленные в гранит:

Рожденный пасть на скалы океана,
он занесен континентальной пылью
и хмуро спит в своей глуши степной.
Я не жалею, что его убили.
Жалею, что его убили рано —
Не в третьей мировой, а во второй.

САМОЕ ТАКОЕ

(Из поэмы о России)

Русь! Ты вся — поцелуй на морозе.
Хлебников

1. С ИСТОКА ВОСТОКА

Я очень сильно
люблю Россию,

но если любовь

разделить

на строчки —

получатся — фразы,

получится

сразу:

про землю ржаную,

И еле-еле
 Скупые строчки мимо глаз,
 Как журавли, цепочками летели.
 Не так ли он при свете ночника
 Читал мальчишкой страшные романы,
 Где смерть восторженно прятка,
 Как разговор, услышанный с экрана.
 Он не дошел еще до запятой,
 А почему-то взоры соскользали
 Со строчки той, до крайности крутой.
 В которой смерть его определяли.
 Как можно мыслью вдаль не унести,
 Когда глаза, цепляясь за жизнь,
 Встречают только вскинутое дуло.
 Но он решил, что это пустяки,
 И, будто позабыв уже о смерти,
 Не дочитав томительной строки,
 Полюбовался краской на конверте
 И, встав во весь огромный рост,
 Прошел, где сосны тихо дремлют.
 В ту ночь он не увидел звезд:
 Они не проникали в землю.

1938

* * *

Тогда была весна. И рядом
 С помойной ямой на дворе,
 В простом строю равняясь на дом,
 Мальчишки строились в каре
 И бились честно. Полагалось
 Бить в спину, в грудь, еще — в бока.
 Но на лицо не подымалась
 Сухая детская рука.

А за рекою было поле.
 Там, сбившись в кучу у траншей,
 Солдаты били и кололи
 Таких же, как они, людей.
 И мы росли, не понимая,

Зачем туда сошлись полки:
 Неужли взрослые играют,
 Как мы, сходясь на кулаки?
 Война прошла. Но нам осталась
 Простая истина в удел,
 Что у детей имелась жалость,
 Которой взрослый не имел.
 А ныне вновь война и порох
 Вошли в большие города,
 И стала нужной кровь, которой
 Мы так боялись в те года.

1939

* * *

Когда умру, ты отошли
 Письмо моей последней тетке,
 Зипун залатанный, обмотки
 И горсть той северной земли,
 В которой я усну навеки,
 Метаясь, жертвуя, любя
 Все то, что в каждом человеке
 Напоминало мне тебя.
 Ну а пока мы не в уроне
 И оба молоды пока,
 Ты протяни мне на ладони
 Горсть самосада-табака.

1940

* * *

Я не знаю, у какой заставы
 Вдруг умолкну в завтрашнем бою,
 Не коснувшись опоздавшей славы,
 Для которой песни я пою.
 Ширь России, дали Украины,
 Умирая, вспомню... И опять —
 Женщину, которую у тына
 Так и не посмел поцеловать.

1940

СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ

1919, Хвалы́нск—1981, Коктебелё

Волжанин, в 1937 году поступил в Москве в ИФЛИ. В 1939 году ушел добровольцем на финскую войну. В 1941-м окончил ИФЛИ и Литинститут. Первые стихи опубликовал тоже в 1941-м. Снова уйдя добровольцем на фронт, выбирался из окружения по белорусским лесам вместе с Лукониным (это описано Лукониным в поэме «Дорога к миру»). После начала «холодной войны» написал ставшее знаменитым стихотворение «Костер», обращенное к бывшему союзнику — символическому Джонни Смитю. Все мы, начинающие, знали на память его строфу: «Ты ли нагадала и напела, ведьма древней русской маеты, чтоб любой уездный Кампанелла метил во вселенские Христы». Есть догадки, что под «уездным Кампанеллой» он подразумевал Ленина. Однако Наровчатова стали «тянуть» по официальной комсомольской линии. Он этого не выдержал, поломал начинавшуюся «головокружительную карьеру» пьянством. Когда я носил ему стихи в «Московский комсомолец», Наровчатов был еще ослепительно красив, но в его до неестественности лазурных глазах уже была дымка обреченности. Наровчатов был выдающимся московским «книжником». Именно из его рук я получил самую свою большую драгоценность — поэтическую антологию Ежова и Шамурина (1925), из которой я впервые узнал о существовании многих поэтов, про коих и слыхом не слыхивал в школе. Наровчатов неожиданно официально взлетел, когда раскритиковал поэтов

нашего поколения, назвав их «лейб-кампанцами», которые привели к власти Елисавету. Его назначили председателем Московской писательской организации, где он вел себя не слишком отважно, идя на поводу у тех, кто диктовал ему линию поведения. Став затем редактором «Нового мира», Наровчатов напечатал несколько своих замечательных, написанных с тыняновской силой исторических малоформатных произведений в прозе. После затяжного кризиса он создал и свой прощальный поэтический шедевр — «Зеленые дворы».

НА РУБЕЖЕ

Мы глохли от звона недельных бессонниц,
Осколков и пуль, испохабивших падь,
Где люди луну принимали за солнце,
Не веря, что солнцу положено спать.

Враг наседали. И опять дорожали
Бинты, как патроны. Издалека
Трубка ругалась. И снова держались
Насмерть четыре активных штыка.

Потом приходила подмога. К рассвету
Сон, как приказ, пробежал по рядам.
А где-то уже набирались газеты.
И страна узнавала про все. А уж там

О нас начинались сказанья и были,
Хоть висла в землянках смердящая вонь,
Когда с санитарями песни мы выли
И водкой глушили антонов огонь.

1940

В ТЕ ГОДЫ

Я проходил, скрипя зубами, мимо
Сожженных сел, казенных городов,
По горестной, по русской, по родимой,
Завещанной от дедов и отцов.

Запоминал над деревнями пламя,
И ветер, разносивший жаркий прах,
И девушек, библейскими гвоздями
Распятих на райкомовских дверях.

И воронье кружилось без боязни,
И коршун рвал добычу на глазах,
И метил все бесчинства и все казни
Паучий извивающийся знак.

В своей печали древним песням равный,
Я сёла, словно летопись, листал
И в каждой бабе видел Ярославу,
Во всех ручьях Непрядву узнавал.

Крови своей, своим святыням верный,
Слова старинные я повторял, скорбя:
— Россия, мати! Свете мой безмерный,
Которой мезью мстить мне за тебя?

1941

ПРЕДПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО

Вот и отобрана ты у меня!..
Неопытен в древней науке,

Я бой проиграл, поражение кляня,
Долгой и трудной разлуке.

Я бился, как за глухое село,
Патроны истратив без счета.
Со свистом и руганью, в рост и в лоб
В штыковую выходит рота.

И село превращает в столицу борьба,
И вечером невеселым
Догорают Одессой простая изба
И Севастополем — школа.

Бой проигран. Потери не в счет.
В любовь поверив, как в ненависть,
Я сейчас отступаю, чтоб день или год
Силы копить и разведывать.

И удачу с расчетом спаяв, опять
Каким-нибудь утром нечаянным
Ворваться

и с боем тебя отобрать
Всю — до последней окраины!

Март 1943

Синявино

НОЧЬ В СЕЛЬСОВЕТЕ

Здесь, на краю нежилой земли,
Штатский не часто встретится,
Но в ближней деревне нас версты свели
С неожиданной собеседницей.

Сто раз обрывалась беседы канва,
Но заново, как откровение,
Мы открывали друг другу слова,
Простые и обыкновенные.

Я думал, что многих из нас война
Сумеет не сжечь — так выжечь.
И время придет — наша ль вина,
Что трудней будет жить, чем выжить!

Но, глядя, как буйно горят дрова,
Как плещет огонь на приволье,
Нам просто казалось, что трын-трава —
Все наши беды и боли.

Что время придет — и мудрая новь
Из праздничных встанет буден,
И краше прежней будет любовь,
И молодость снова будет.

За окнами Лука ломала лед,
Ветер метался тальей.
Мы говорили всю ночь напролет,
И ночи нам не хватало.

Решил бы взглянувший со стороны,
Что двое сидят влюбленных,
Что встретил Джульетту полночной страны
Ромео в защитных погонах.

Но все было проще. И к четверем
Дорога дождалась рассвета.
И я распроцался с секретарем
Извозского сельсовета.

Секретарю девятнадцать лет.
Он руку дает мне на счастье.
Он веснушчат. Он курнос. Он одет
В довоенной выкройки платье.

Я с ним не сумел повстречаться с тех пор,
А вы повстречаетесь, исподволь
Попробуйте завязать разговор —
И у вас получится исповедь.

Апрель 1944
под Нарвой

ФРОНТОВАЯ НОЧЬ

На пополнение наш полк отведен,
И, путаясь в километрах,
Мы третьи сутки походом идем,
Кочуем — двести бессмертных.

За отдыха час полжизни отдашь!
Но вот ради пешего подвига
Офицерам полковник дарит блиндаж,
Бойцам — всю рощу для отдыха.

Спать! Но тут из-под дряхлых нар,
Сон отдав за игру, на
Стол бросает колоду карт
Веселая наша фортуна.

Кто их забыл второпях и вдруг,
В разгаре какой погони?..
Что нам с того! Мы стола вокруг
Тесней сдвигаем погоны.

И я, зажав «Беломор» в зубах,
Встаю среди гама и чада.
Сегодня удача держит банк,
Играет в очко Наровчатов.

Атласные карты в руках горят,
Партнеры ширят глаза.
Четвертый раз ложатся подряд
Два выигрышных туза.

И снова дрожащие руки вокруг
По карманам пустеющим тычутся,
Круг подходит к концу. Стук!
Полных четыре тысячи!

Но что это? Тонкие брови вразлет.
Яркий, капризный, упрямый,
На тысячу губ раздаренный рот.
— Ты здесь, крестовая дама?

Как ты сюда? Почему? Зачем?
Жила б, коли жить назначено,
На Большом Комсомольском, 4/7.
Во славу стиха незрячего.

Я фото твое расстрелял со зла,
Я в атаку ходил без портрета,
А нынче, притихший, пялю глаза
На карту случайную эту.

Где ты теперь? С какими судьбой
Тузами тебя растасовывает?
Кто козыряет сейчас тобой,
Краса ты моя крестовая?!

Но кончим лирический разговор...
На даму выиграть пробуешь?
Король, семерка, туз... Перебор!
Мне повезло на проигрыш.

Я рад бы все просадить дотла
На злодейку из дальнего тыла...
Неужто примета не соврала,
Неужто вновь полюбила?

Я верю приметам, башку очертя,
Я суеверен не в меру,
Но эту примету — ко всем чертям!
Хоть вешайте, не поверю...

Ночь на исходе. Гаснет игра.
Рассвет занимается серый.
Лица тускнеют. В путь пора,
Товарищи офицеры!

На пополнение наш полк отведен,
И, путаясь в километрах,
Четвертый день мы походом идем,
Кочуем — двести бессмертных.

Апрель 1944
под Нарвой

ВОЛЧОНОК

Я домой притащил волчонка.
Он испуганно в угол взглянул,
Где дружили баян и чечетка
С неушедшими в караул.

Я прикрикнул на них: — Кончайте!
Накормил, отогрел, уложил
И шинелью чужое несчастье
От счастливых друзей укрыл.

Стал рассказывать глупые сказки,
Сам придумывал их на ходу,
Чтоб хоть раз взглянул без опаски,
Чтоб на миг позабыл беду.

Но не верит словам привета...
Не навечно ли выжгли взгляд
Черный пепел варшавского гетто,
Катакомб сладковатый смрад?

Он узнал, как бессудной ночью
Правит суд немецкий свинец,
Оттого и смотрит по-волчьи
Семилетний этот пленец.

Все выдавший на белом свете,
Изболевшей склоняюсь душой
Перед вами, еврейские дети,
Искалеченные войной...

Засыпает усталый волчонок,
Под шинелью свернувшись в клубок,
Про котов не дослушав ученых,
Про доверчивый колобок.

Без семьи, без родных, без народа...
Стань же мальчику в черный год
Ближе близких, советская рота,
Вместе с ротой — советский народ!

И сегодня, у стен Пултуска,
Пусть в сердцах сольются навек
Оба слова — еврей и русский —
В слове радостном — человек!

Январь 1945
Польша

ВАРИАЦИИ ИЗ ПРИТЧ

Много злата получив в дорогу,
Я бесценный разменял металл,
Мало дал я Дьяволу и Богу,
Слишком много Кесарю отдал.

Потому что зло и окаянно
Я сумы страшился и тюрьмы,
Откровенье помня Иоанна,
Жил я по Евангелью Фомы.

Ты ли нагадала и напела,
Ведьма древней русской маеты,
Чтоб любой уездный Кампанелла
Метил во вселенские Христы.

И каких судеб во измененье
Присудил мне Дьявол или Бог
Поиски четвертых измерений
В мире, умещающемся в трех.

Нет, не ради славы и награды,
От великой боли и красы,
Никогда взыскующие грады
Не переведутся на Руси!

между 1954 и 1956

ЮРИЙ ОКУНЕВ

1919—1988

«Но никогда не падал духом Литературный институт!» — так писал когда-то питомец этих прежде волшебных стен, друг Луконина, Гудзенко, ученик Антокольского. Настоящие имя и фамилия его были Израиль Израилев, но их пришлось сменить из-за определенных шовинистических запашков, отравлявших воздух России. Бескорыстный романтический служитель поэзии, которая являлась единственным содержанием его жизни. Как и Андрей Досталь, был литконсультантом, тратя три четверти жизни на молодых поэтов.

НЕ ЛГИТЕ ДНЕВНИКАМ!

Ведите дневники! В них искренности корни,
Души наивной первозданной лик.
Мне все равно, писатель или дворник —
Ведь там, где исповедь, — любой из них велик!
Бесценно только то, что непритворно,
Себя вы не стыдитесь в этот миг.
Ну, что такого? Пусть характер вздорный,
Пусть даже малограмотен язык,
Зато в лихом азарте откровенья

Все по-святому грешники равны.
И пусть для вас великое мгновенье,
Как ездили вы к теще на блины.
Пусть плотоядность, чувственность и грубость,
Пусть нет у вас изысканных манер
Невежда, если в нем проснулся Рубенс,
Мне ближе, чем ученый лицемер,
Что в дневнике поддался чувству меры.
И сразу карлик, а не великан...
Молю: не следуйте его примеру.
Умрите, но не лгите дневникам!

БОРИС СЛУЦКИЙ

1919, Славянск (Донбасс) — 1986, Тула

До войны, приехав из Харькова вместе с Кульчицким, учился в Литинституте. Во время войны, вступив в партию, был политруком. Первое стихотворение было опубликовано перед войной, следующее лишь в 1954-м. Сенсационной была статья Эренбурга о Слуцком в 1955 году, и с этого началась его слава. На обсуждении стихов Слуцкого Светлов сказал: «Мне ясно одно — пришел поэт лучше нас». В стихах «Бог» и «Хозяин», долгое время ходивших в списках, Слуцкий резко выступил против Сталина еще до XX съезда. Строчки «что-то физики в почете, что-то лирики в загоне» вошли в поговорку. Прозаизированный, как бы нарочито непоэтический стиль Слуцкого вызвал и массу подражательств, и массу нападок. Слуцкий воспитал многих поэтов послевоенного поколения, в частности составителя этой антологии, и даже такой поэт, как Куняев, одно время ходил в его учениках. В 1959 году Слуцкий неожиданно для всех выступил против Пастернака во время скандала с «Доктором Живаго». Это был его единственный постыдный, трагически необратимый поступок. Многие бывшие почитатели отвернулись от поэта. Но самое главное, он этого сам себе не простил. Муки совести этого прекрасного, лишь однажды оступившегося человека довели его до тяжелой душевной болезни. Оставленное им поэтическое наследство было столь огромным, что в течение девяти лет после смерти Слуцкого его неопубликованные стихи появлялись почти каждый месяц в газетах и журналах. Редчайший случай — критик Ю. Болдырев, напечатавший после смерти Слуцкого сотни его стихов, заслуженно похоронен в одной ограде с поэтом.

КЁЛЬНСКАЯ ЯМА

Нас было семьдесят тысяч пленных
В большом овраге с крутыми краями.
Лежим

безмолвно и дерзновенно,
Мрем с голодухи
в Кёльнской яме.

Над краем оврага утоптана площадь —
До самого края спускается криво.

Раз в день
на площадь
выводят лошадь,

Живую
сталкивают с обрыва.

Пока она свергается в яму,
Пока ее делим на доли

неравно,
Пока по конине молотим зубами,—
О бюргеры Кёльна,
да будет вам срамно!

О граждане Кёльна, как же так?
Вы, трезвые, честные, где же вы были,
Когда, зеленее, чем медный пятак,
Мы в Кёльнской яме
с голоду выли?

Собрав свои последние силы,
Мы выскребли надпись на стенке отвесной,
Короткую надпись над нашей могилой —
Письмо
солдату Страны Советской.

«Товарищ боец, остановись над нами,
Над нами, над нами, над белыми костями.
Нас было семьдесят тысяч пленных,
Мы пали за родину в Кёльнской яме!»

Когда в подлецы вербовать нас хотели,
Когда нам о хлебе кричали с оврага,
Когда патефоны о женщинах пели,
Партийцы шептали: «Ни шагу, ни шагу...»

Читайте надпись над нашей могилой!
Да будем достойны посмертной славы!
А если кто больше терпеть не в силах,
Партком разрешает самоубийство слабым.

О вы, кто наши души живые
Хотели купить за похлебку с кашей,
Смотрите, как, мясо с ладони выев,
Кончают жизнь товарищи наши!

Землю роем,
скребем ногтями,
Стоном стонем
в Кёльнской яме,
Но все остается — как было, как было! —
Каша с вами, а души с нами.

ГОСПИТАЛЬ

Еще скребут по сердцу «мессера»,
еще
вот здесь

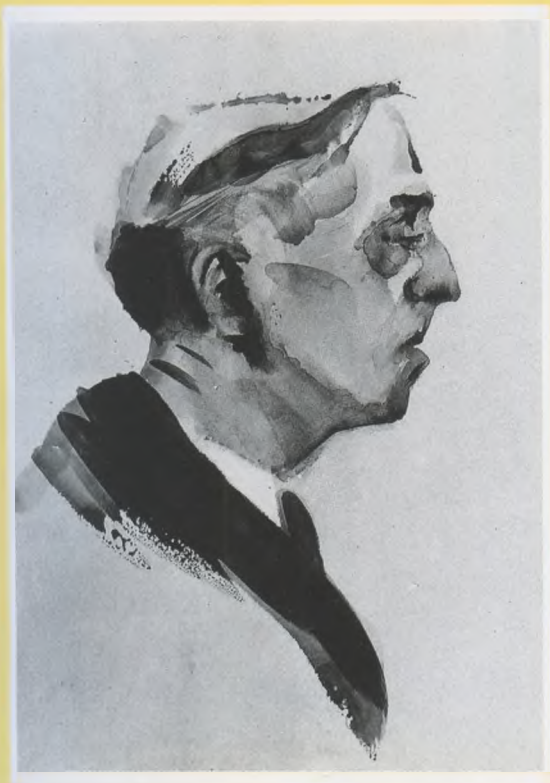
безумствуют стрелки,
еще в ушах работает «ура»,
русское «ура-рарара-рарара!» —
на двадцать
слов
строки.

Здесь
ставший клубом
бывший сельский храм,—
лежим

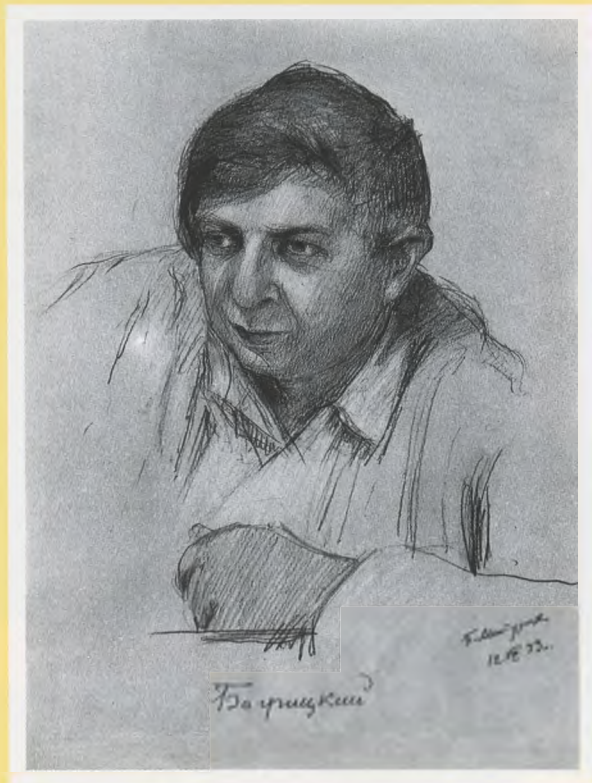
под диаграммами труда,
но прелым богом пахнет по углам —
попа бы деревенского сюда!
Крепка анафема, хоть вера не тверда.
Попишку бы лядащего сюда!

Какие фрески светятся в углу!
Здесь рай поет!

Здесь
ад
ревмя
ревет!



1



2

III

1. **М. КУЗМИН.** 1934. Художник **Н. РАДЛОВ**
2. **Э. БАГРИЦКИЙ.** 1933. Художник **П. МИТУРИЧ**



3

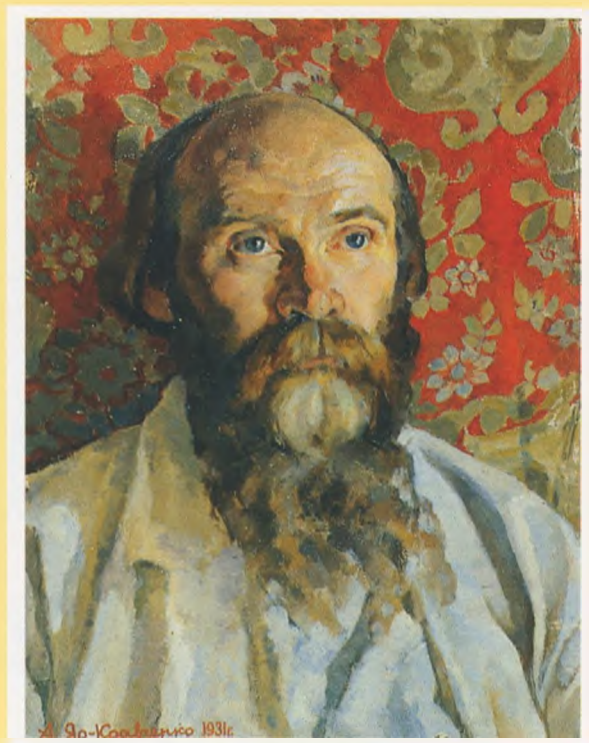


4

3. **Вс. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.** 1932. *Художник Н. РАДЛОВ*
4. **В. ИНБЕР.** 1920-е. *Неизв. художник*

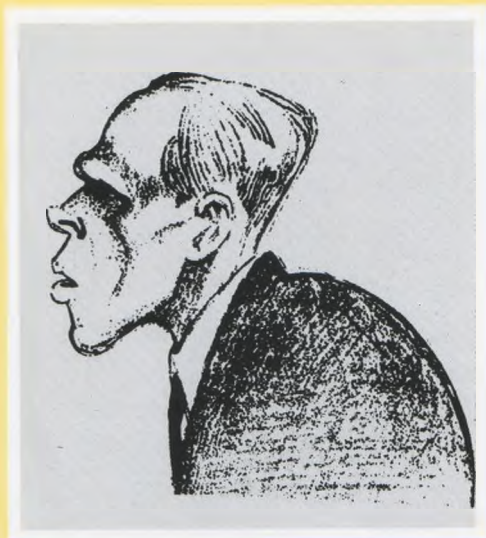


5



6

5. **И. УТКИН.** 1932. Художник **А. ЛЕНТУЛОВ**
6. **Н. КЛЮЕВ.** 1931. Художник **А. ЯР-КРАВЧЕНКО**



7



8



9

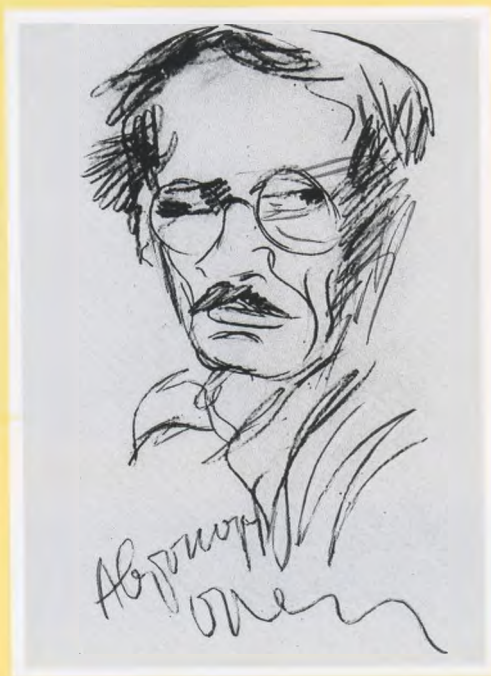


10

7. **Н. ЗАБОЛОЦКИЙ**. 1925. Рисунок Д. ХАРМСА
8. **Д. ХАРМС**. 1933. Автопортрет
9. **А. ВВЕДЕНСКИЙ** (?). 1920-е. Рисунок Д. ХАРМСА
10. **К. ВАГИНОВ**. 1930-е. Художник Н. РАДЛОВ



11

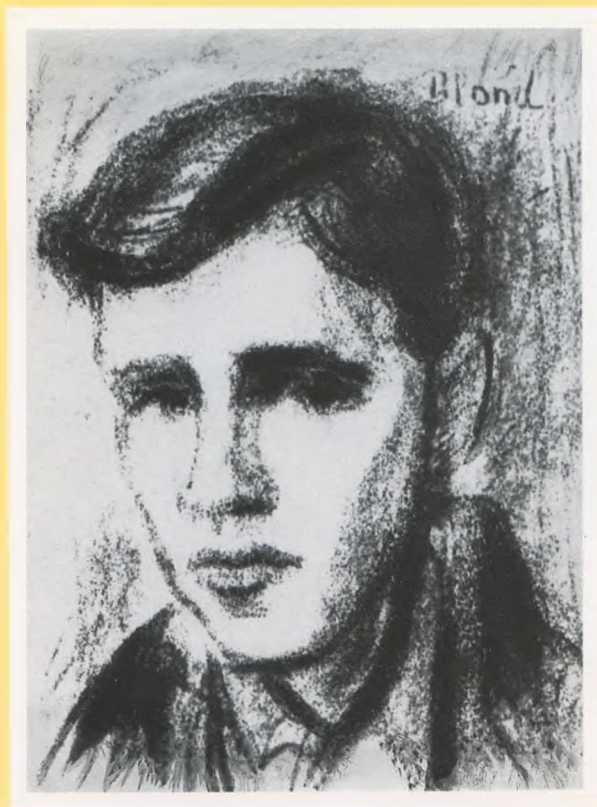


12

11. **Н. ЗАБОЛОЦКИЙ.** 1930-е. *Автопортрет*
12. **Ю. ОЛЕША.** 1940-е. *Автопортрет*



13

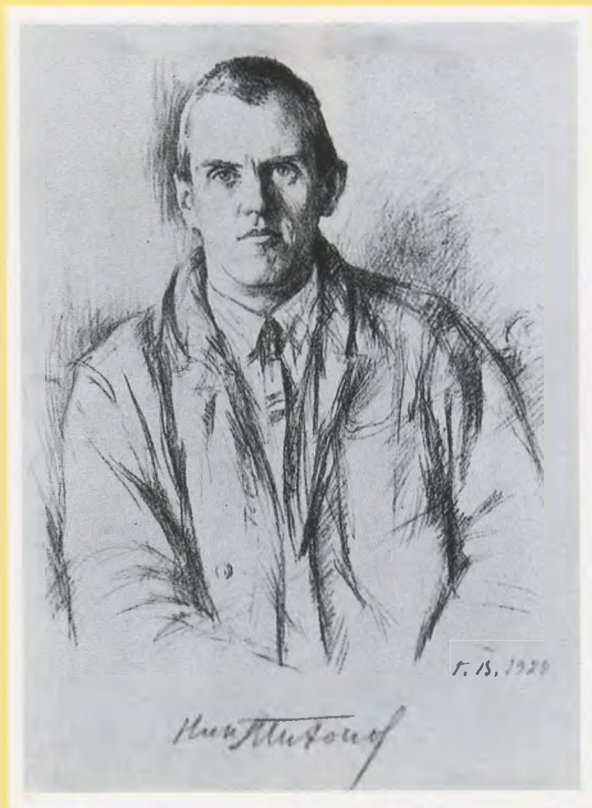


14

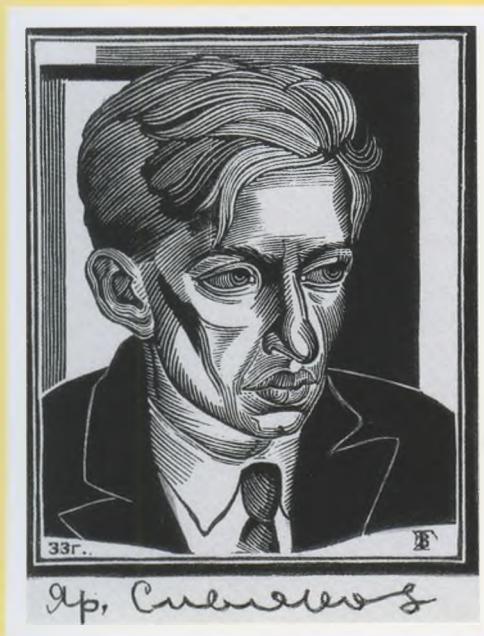


15

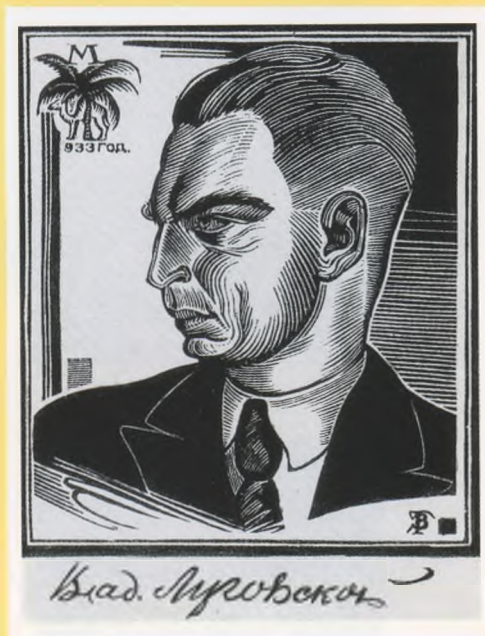
13. Р. БЛОХ. Художник Н. БРОДСКАЯ
14. Б. ПОПЛАВСКИЙ. Художник М. БЛОНД
15. М. ГОРЛИН. Художник Н. БРОДСКАЯ



16



17



18

16. **Н. ТИХОНОВ.** 1928. Художник **Г. ВЕРЕЙСКИЙ**
17. **Я. СМЕЛЯКОВ.** 1933. Художник **В. ГОРОБЕЦ**
18. **В. ЛУГОВСКОЙ.** 1933. Художник **В. ГОРОБЕЦ**



19



20



21



22



23

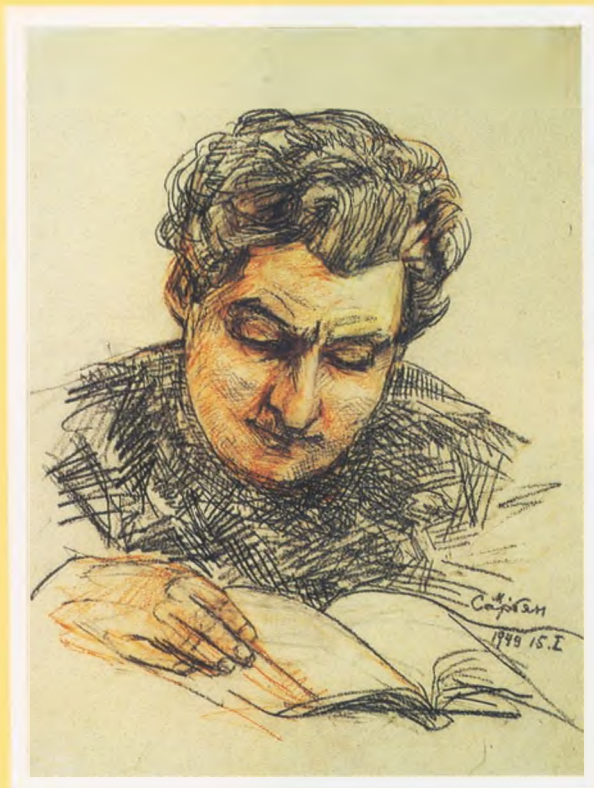
19. С. ОРЛОВ. 1943.
20. С. ГУДЗЕНКО. 1940.
21. Вс. БАГРИЦКИЙ. 1930-е.
22. П. КОГАН. 1936—1937.
23. В. ШИРОВСКИЙ. 1930-е.



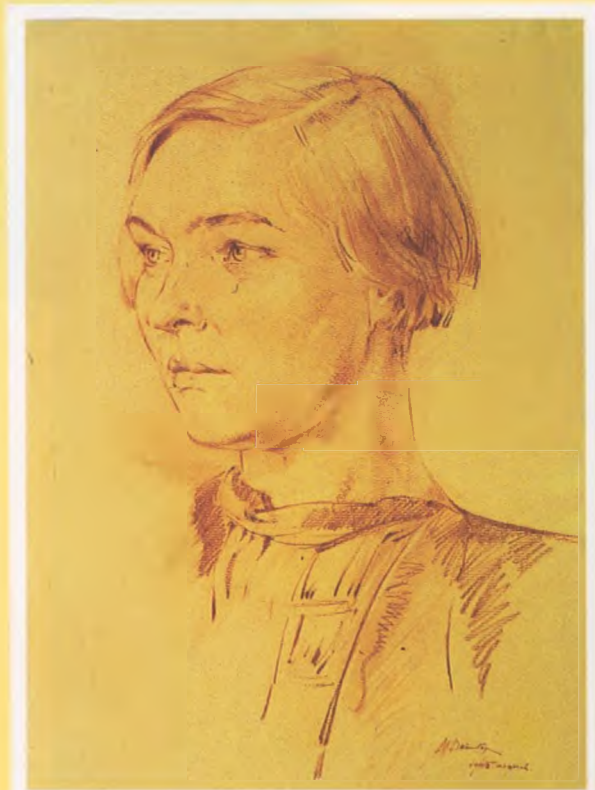
24



25



26

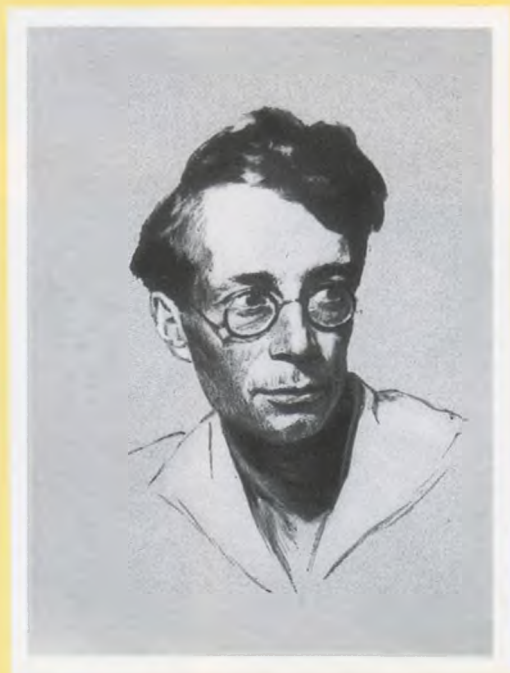


27

25. Кс. НЕКРАСОВА. 1947. Художник Р. ФАЛЬК
26. К. СИМОНОВ. 1949. Художник М. САРЬЯН
27. О. БЕРГГОЛЬЦ. 1945. Художник Л. ФЕЙНБЕРГ



28



29

28. А. ТВАРДОВСКИЙ. 1948. Художник С. ШОР
29. Д. КЕДРИН. 1957. Художник К. РАДИМОВ



30



31



32



33



34



35



36

30. А. ПРИСМАНОВА 1960-е.
31. И. КНОРРИНГ. 1925.
32. Л. ЧЕРВИНСКАЯ. 1930-е.
33. А. ПЕРФИЛЬЕВ. 1960.
34. А. ГОЛОВИНА. 1930-е.
35. А. ШТЕЙГЕР. 1935.
36. С. МАКОВСКИЙ. 1950-е.



37



38



39



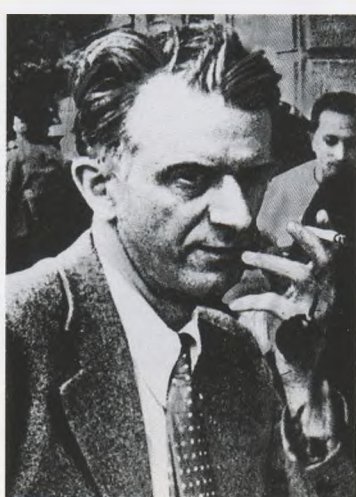
40



41



42

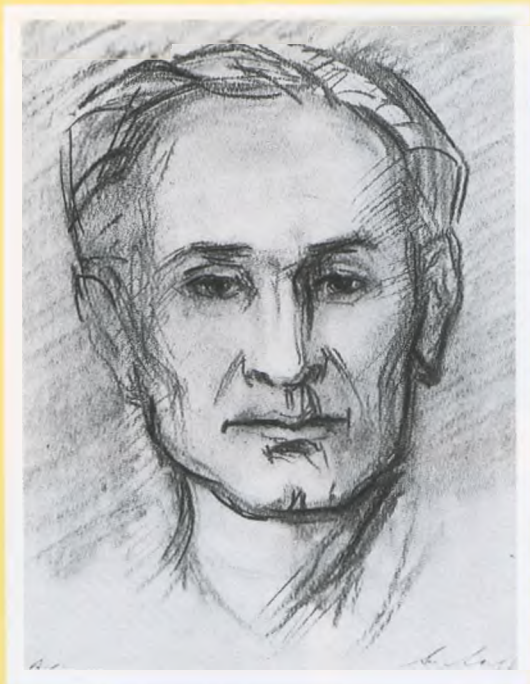


43



44

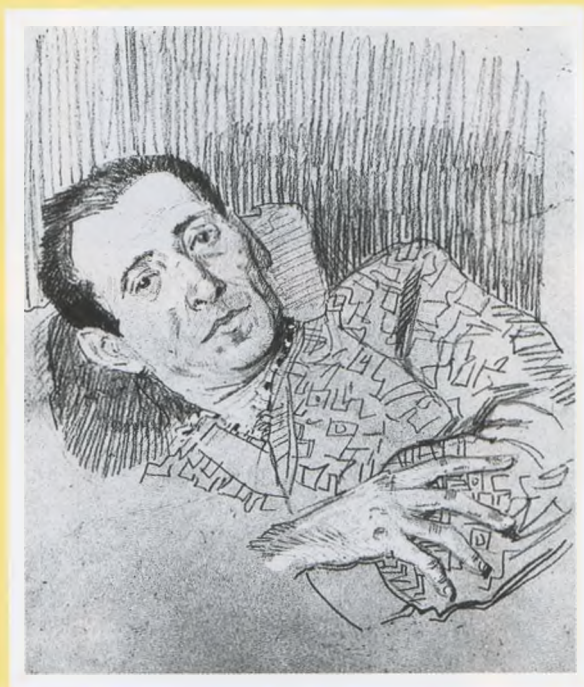
- 37. Д. КЛЕНОВСКИЙ. 1960-е.
- 38. З. ШАХОВСКАЯ. 1960-е.
- 39. В. КОРВИН-ПИОТРОВСКИЙ. 1960-е.
- 40. А. ГИНГЕР. 1960-е.
- 41. Г. РАЕВСКИЙ и Ю. ОДАРЧЕНКО. 1954.
- 42. И. ЧИННОВ. 1970-е.
- 43. А. ЛАДИНСКИЙ. 1930-е.
- 44. И. ЕЛАГИН. 1950-е.



45

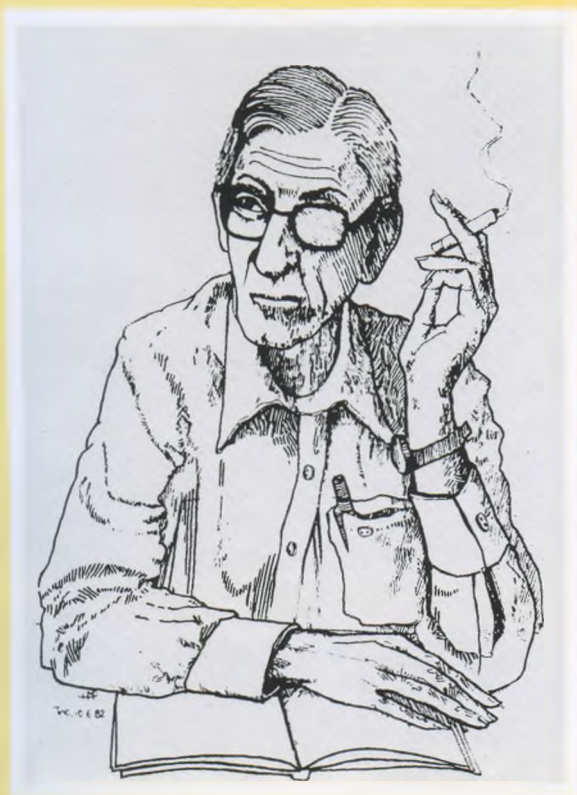


46

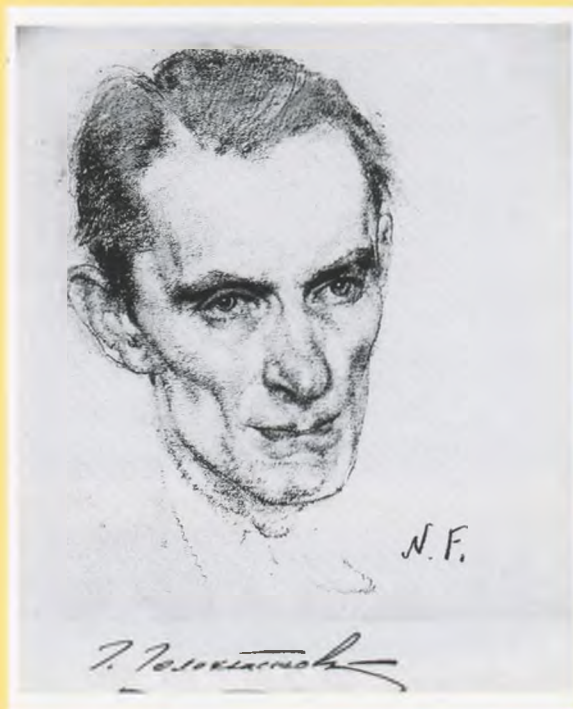


47

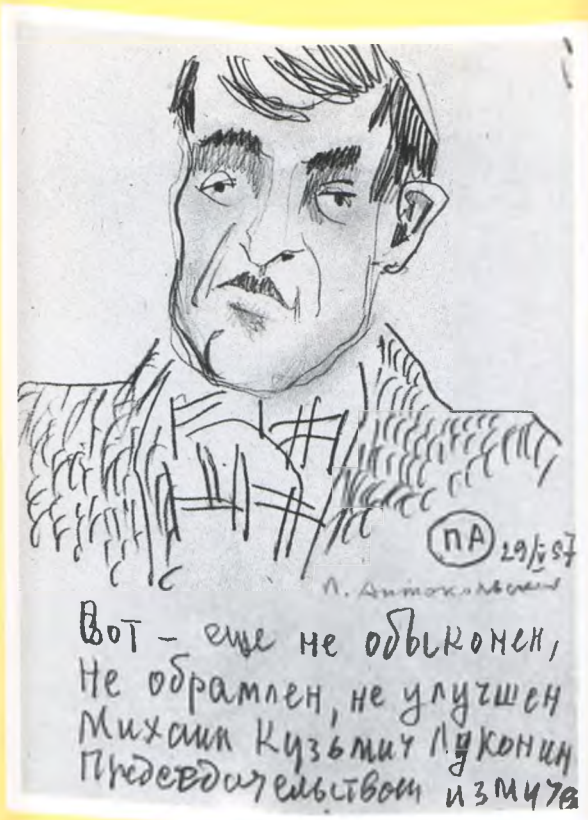
45. Д. АНДРЕЕВ. 1958. Рисунок А. АНДРЕЕВОЙ
46. Ю. ДОМБРОВСКИЙ. 1968. Художник Л. ФЕЙНБЕРГ
47. А. ШТЕЙНБЕРГ. 1950-е. Художник Б. СВЕШНИКОВ



48



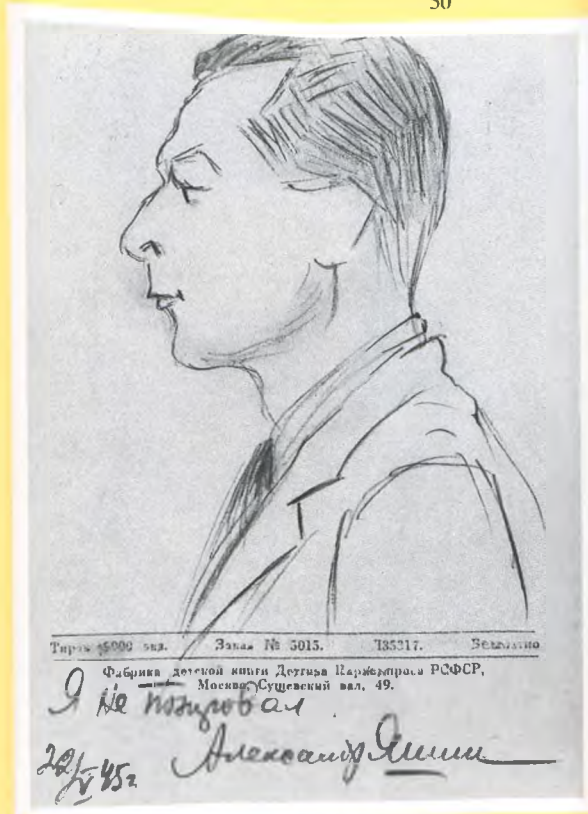
49



50



51



52



53

50. М. ЛУКОНИН. 1957. Рисунок П. АНТОКОЛЬСКОГО
51. С. НАРОВЧАТОВ. 1965. Художник Е. АФАНАСЬЕВА
52. А. ЯШИН. 1945. Художник А. КРУЧЕНЫХ
53. М. ИСАКОВСКИЙ. 1957. Рисунок П. АНТОКОЛЬСКОГО

Все,
 что, согласно инструкций,
 ему воплотить надлежало.
 Если ефрейтор Сидоров был ранен
 в честном бою,
 Если никто не видел
 тот подвиг его
 благородный,
 Лист из блокнота выдрав,
 фантазию шпоря свою,
 Писарь писал ему подвиг
 длиною в лист блокнотный.
 Если десятиклассница кричала на эшафоте,
 Если крестьяне вспомнили два слова:
 «Победа придет!» —
 Писарь писал ей речи,
 писал монолог,
 в расчете
 На то,
 что он сам бы крикнул,
 взошедши на эшафот.
 Они обо всем написали
 слогом простым и живым,
 Они нас всех прославили,
 а мы
 писарей
 не славим.
 Исправим же этот промах,
 ошибку эту исправим
 И низким,
 земным поклоном
 писаря
 поблагодарим!

БАНЯ

Вы не были в районной бане
 В периферийном городке?
 Там шайки с профилем кабаньим
 И плеск,
 как летом на реке.

Там ордена сдают вахтерам,
 Зато приносят в мыльный зал
 Рубцы и шрамы — те, которым
 Я лично больше б доверял.

Там двое одноруких
 спины
 Один другому бодро трут.
 Там тело всякого мужчины
 Исчеркали
 война
 и труд.

Там по рисунку каждой травмы
 Читаю каждый вторник я
 Без лести и обмана драмы
 Или романы без вранья.

Там на груди своей широкой
 Из дальних плаваний
 матрос
 Лиловые татуировки
 В наш сухопутный край
 занес.

Там я, волнуясь и ликуя,
 Читал,
 забыв о кипятке:
 «Мы не оставим мать родную!» —
 У партизана на руке.

Там слышен визг и хохот женский
 За деревянную стеной.
 Там чувство острого блаженства
 Переживается в парной.

Там рассуждают о футболе.
 Там
 с поднятою головой
 Несет портной свои мозоли,
 Свои ожоги — горновой.

Но бедствий и сражений годы
 Согнуть и сгорбить не смогли
 Ширококостную породу
 Сынов моей большой земли.

Вы не были в раю районном,
 Что меж кино и стадионом?
 В той бане
 парились иль нет?
 Там два рубля любой билет.

БОГ

Мы все ходили под богом.
 У бога под самым боком.
 Он жил не в небесной дали,
 Его иногда видали
 Живого. На Мавзолее.
 Он был умнее и злее
 Того — иного, другого,
 По имени Иегова...
 Мы все ходили под богом.
 У бога под самым боком.
 Однажды я шел Арбатом,
 Бог ехал в пяти машинах.
 От страха почти горбата
 В своих пальтишках мышинных
 Рядом дрожала охрана.
 Было поздно и рано.
 Серело. Брезжило утро.
 Он глянул жестоко, — мудро
 Своим всевидящим
 оком,

Всепроницающим взглядом.

Мы все ходили под богом.
 С богом почти что рядом.

ПРОЗАИКИ

Исааку Бабелю, Артему Веселому,
Ивану Катаеву, Александру Лебедеву

Когда русская проза пошла в лагерь:
в лесорубы,

а кто половчей — в лекаря,
в землекопы,

а кто потолковей — в шоферы,
в парикмахеры или актеры, —
вы немедля забыли свое ремесло.
Прозой разве утетишься в горе!
Словно утлые щепки, вас влекло и несло,
вас качало поэзии море.

По утрам, до поверки, смиренны и тихи,
вы на нарах писали стихи.
От бескормиц, как палки тощи и сухи,
вы на марше слагали стихи.
Из любой чепухи
вы лепили стихи.

Весь барак, как дурак, бормотал, подбирая
рифму к рифме и строку к строке.
То начальство стихом до костей пробирал,
то стремился излиться в тоске.

Ямб рождался из мерного боя лопат.
Словно уголь, он в шахтах копался.
Точно так же на фронте, из шага солдат,
он рождался

и в строфы слагался.

А хорей вам за пайку заказывал вор,
чтобы песня была потягучей,
чтобы длинной была, как ночной разговор,
как Печора и Лена — текучей.

ХОЗЯИН

А мой хозяин не любил меня.
Не знал меня, не слышал и не видел,
но все-таки боялся как огня
и сумрачно, угрюмо ненавидел.

Когда пред ним я голову склонял —
ему казалось, я улыбку прячу.
Когда меня он плакать заставлял —
ему казалось, я притворно плачу.

А я всю жизнь работал на него,
ложился поздно, поднимался рано,
любил его и за него был ранен.
Но мне не помогало ничего.

А я всю жизнь возил его портрет,
в землянке вешал и в палатке вешал,
смотрел, смотрел, не уставал смотреть.
И с каждым годом мне все реже, реже
обидно казалось нелюбовь.
И ныне настроеня мне не губит
тот явный факт, что испокон веков
таких, как я,
хозяева не любят.

ЛОШАДИ В ОКЕАНЕ

И. Эренбургу

Лошади умеют плавать,
но — не хорошо. Недалеко.

«Глория» — по-русски — значит «Слава», —
это вам запомнится легко.

Шел корабль, своим названьем гордый,
океан стараясь превозмочь.

В трюме, добрыми мотая мордами,
тыща лошадей топтались день и ночь.

Тыща лошадей! Подков четыре тыщи!
Счастья все ж они не принесли.

Мина кораблю пробилла днище
далеко-далеко от земли.

Люди сели в лодки, в шлюпки влезли.
Лошади поплыли просто так.

Что ж им было делать, бедным, если
нету мест на лодках и плотах?

Плыл по океану рыжий остров.
В море в синем остров плыл гнедой.

И сперва казалось — плавать просто,
океан казался им рекой.

Но не видно у реки той края,
на исходе лошадиных сил

вдруг заржали кони, возражая
тем, кто в океане их топил.

Кони шли на дно, и ржали, ржали,
все на дно покуда не пошли.

Вот и все. А все-таки мне жаль их —
рыжих, не увидевших земли.

* * *

Я судил людей и знаю точно,
что судить людей совсем

несложно —
только погода бывает тошно,
если вспомнишь как-нибудь
оплошно.

Кто они, мои четыре пуда
мяса, чтоб судить чужое мясо?
Больше никого судить не буду.
Хорошо быть не вождем, а массой.

Хорошо быть педагогом школьным,
иль сидельцем в книжном магазине,
иль судьей... Каким судьей?

футбольным:
быть на матчах пристальным
разиней.

Если сны приснятся этим судьям,
то они во сне кричать не станут.
Ну, а мы? Мы закричим, мы будем
вспоминать былое неустанно.

Опыт мой особенный и скверный —
как забыть его себя заставить?
Этот стих — ошибочный, неверный.
Я неправ. Пускай меня поправят.

* * *

Всем лозунгам я верил до конца
И молчаливо следовал за ними,
Как шли в огонь во Сына, во Отца,
Во голубя Святого Духа имя.

И если в прах рассыпалась скала,
И бездна разверзается, немая,
И ежели ошибочка была —
Вину и на себя я принимаю.

ПРО ЕВРЕЕВ

Еврей хлеба не сеют,
Еврей в лавках торгуют,
Еврей раньше лысеют,
Еврей больше воруют.

Еврей — люди лихие,
Они солдаты плохие:
Иван воюет в окопе,
Абрам торгует в рабкопе.

Я все это слышал с детства,
Скоро совсем постарею,
Но все никуда не деться
От крика: «Еврей, еврей!»

Не торговавши ни разу,
Не воровавши ни разу,
Ношу в себе, как заразу,
Проклятую эту расу.

Пуля меня миновала,
Чтоб говорили нежливо:
«Евреев не убивало!
Все воротились живы!»

НЕМКА

Ложка, кружка и одеяло.
Только это в открытке стояло.

— Не хочу. На вокзал не пойду
с одеялом, ложкой и кружкой.
Эти вещи вещают беду
и грозят большой заварушкой.

Наведу им тень на плетень.
Не пойду. — Так сказала в тот день

в октябре сорок первого года
дочь какого-то шваба иль гота,

в просторечии немка; она
подлежала тогда выселенью.
Все немецкое население
выселялось. Что делать, война.
Поначалу все же собрав
одеяло, ложку и кружку,
оросив слезами подушку,
все возможности перебрав:
— Не пойду! (с немецким упрямством)
Пусть меня волокут тягачом!
Никуда! Никогда! Нипочем!

Между тем надежно упрятан
в клубы дыма

Казанский вокзал,
как насос, высасывал лишних
из Москвы и окраин ближних,
потому что кто-то сказал,
потому что кто-то велел.
Это все исполнялось прытко.
И у каждого немца белел
желтоватый квадрат открытки.

А в открытке три слова стояло:
ложка, кружка и одеяло.

Но, застлав одеялом кровать,
ложку с кружкой упрятав в буфете,
порешила не открывать
никому ни за что на свете
немка, смелая баба была.

Что ж вы думаете? Не открыла,
не ходила, не говорила,
не шумела, свету не жгла,
не храпела, печь не топила.
Люди думали — умерла.

— В этом городе я родилась,
в этом городе я и подохну:
стихну, онемею, оглохну,
не найдет меня местная власть.

Как с подножки, спрыгнув с судьбы,
зиму всю перезимовала,
летом собирала грибы,
барахло на «толчке» продавала
и углы в квартире сдавала.
Между прочим, и мне.

Дабы
в этой были не усомнились,
за портретом мужским хранились
документы. Меж них желтел
той открытки прямоугольник.

Я его в руках повертел:
об угонах и о погонях

ничего. Три слова стояло:
ложка, кружка и одеяло.

БЕСПЛАТНАЯ СНЕЖНАЯ БАБА

Я заслужил признательность Италии.
Ее народа и ее истории,
Ее литературы с языком.
Я снегу дал. Бесплатно. Целый ком.

Вагон перевозил военнопленных,
Пленных на Дону и на Донце,
Некормленных, непоеных военных,
Мечтающих о скоростном конце.

Гуманность по закону, по конвенции
Не применялась в этой интервенции
Ни с той, ни даже с этой стороны,
Она была не для большой войны.
Нет, применялась. Сволочь и подлец,

Начальник эшелона, гад ползучий,
Давал за пару золотых колец
Ведро воды теплушке невезучей.

А я был в форме, я в погонах был
И сохранил, по-видимому, тот пыл,
Что образован чтением Толстого
И Чехова и вовсе не остыл,
А я был с фронта и заехал в тыл
И в качестве решения простого
В теплушку бабу снежную вкатил.

О, римлян взоры черные, тоску
С признательностью пополам мешавшие
И долго засыпать потом мешавшие!

А бабу — разобрали по куску.

ГЕОРГИЙ СУВОРОВ

1919—1944

Родился в крестьянской семье, в Хакасии. Во время Великой Отечественной был солдатом, командиром взвода противотанковых ружей, работником дивизионной газеты, офицером связи. Погиб под Нарвой в бою. Первый сборник «Слово солдата» вышел посмертно в Ленинграде в 1944-м. Последние строчки этого стихотворения стали крылатыми.

* * *

Еще утрами черный дым клубится
Над развороченным твоим жильем.
И падает обугленная птица,
Настигнутая бешеным огнем.

Еще ночами белыми нам снятся,
Как вестники потерянной любви,
Цветы живые голубых акаций
И в них восторженные соловьи.

Еще война. Но мы упрямо верим,
Что будет день, — мы выпьем боль до дна.

Широкий мир нам вновь раскроет двери,
С рассветом новым встанет тишина.

Последний враг. Последний меткий выстрел.
И первый отблеск утра, как стекло.
Мой милый друг, а все-таки как быстро,
Как быстро наше время протекло.

В воспоминаньях мы тужить не будем,
Зачем туманить грустью ясность дней, —
Свой добрый век мы прожили как люди —
И для людей.

1944

АЛЕКСЕЙ ФАТЬЯНОВ

1919—1959

Русский румяный богатырь, пришедший с Владимирщины, «добрый молодец эстрады», как писал о нем слегка иронично и нежно Ярослав Смеляков. Самородный дар Фатьянова как песенника был таков, что слова иногда казались народными: «Из-за вас, моя черешня, ссорюсь я с приятелем. До чего же климат здешний на любовь влиятелен», «На солнечной поляночке дугою выгнув бровь, парнишка на тальяночке играет про любовь». Самая знаменитая песня на его слова — «Соловьи». Фатьянов горестно переживал, что в Москве не хотели издавать книгу его стихов. Ему так и не удалось подержать в руках собственную московскую книжку.

СОЛОВЬИ

Пришла и к нам на фронт весна,
Солдатам стало не до сна, —
Не потому, что пушки бьют,
А потому, что вновь поют,

Забыв, что здесь идут бои,
Поют шальные соловьи.

Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят!..

Но что война для соловья —
 У соловья ведь жизнь своя.
 Не спит солдат, припомнив дом
 И сад зеленый над прудом,
 Где соловьи всю ночь поют.
 А в доме том солдата ждут.
 Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
 Пусть солдаты немного поспят!..

Ведь завтра снова будет бой.
 Уж так назначено судьбой,
 Чтоб нам уйти, недолюбив,
 От наших жен, от наших нив.
 Но с каждым шагом в том бою
 Нам ближе дом в родном краю.
 Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
 Пусть солдаты немного поспят!..

1948

ЧАСТУШКИ

* * *

Вот окончилась война,
 И осталась я одна.
 Я и лошадь, я и бык,
 Я и баба, и мужик.

* * *

Милый в армию уходит,
 Я за поездом бегу.
 Примерзают к рельсам слезы —
 Больше плакать не могу.

* * *

Милый мой, шинелькой стану.
 Обниму всего тебя.
 А пробьет шинельку пуля,
 И убьют с тобой меня.

* * *

Эх, ишо, ишо, ишо,
 Чтобы стало хорошо!
 А не станет хорошо,
 Все равно ишо, ишо!

* * *

Если будешь ты матрос,
 То целуй меня взасос,

На «катюшу» попадешь,
 Со мной делай все, что хошь!

* * *

Если нету мужа в доме,
 Хоть кричи, хоть волком вой,
 Лучше быть вдвоем в соломе,
 Чем соломенной вдовой.

* * *

Одиноко я стучу
 В стеночку коленками.
 Жизнь горит, как молоко,
 С черненькими пенками!

* * *

Густым лесом босоногая
 Девчоночка идет.
 Мелку ягоду не трогает,
 Крупну ягоду берет.

* * *

Мою голову раскрытую
 Остудит ветерок,
 А мою любовь забытую
 Осудит весь народ.

ЮРИЙ БЕЛАШ

1920—1988

Фронтовик, сержант стрелкового батальона, он лишь в конце жизни, в 80-х, выпустил две книги стихов, сразу же обративших на себя внимание жестокой правдой окопной солдатской жизни. В. Астафьев справедливо сказал, что, кроме окопной правды, второй правды о войне нет.

ПЕРЕКУР

Рукопашная схватка внезапно утихла:
 запалились и мы, запалились и немцы,—
 и стоим, очумелые, друг против друга,
 еле-еле держась на ногах...

И тогда кто-то хрипло сказал: «Перекур!»
 Немцы поняли и закивали: «Я-а, паузе...»
 И уселись — и мы, и они — на траве,
 метра, что ли, в пяти друг от друга,

положили винтовки у ног
 и полезли в карманы за куревом...

Да, чего не придумает только война!
 Расскажи — не поверят. А было ж!..
 И когда докурили — молчком, не спеша,
 не спуская друг с друга настороженных глаз,
 для кого-то последние в жизни —
 мы сигарки, они сигареты свои,—
 тот же голос, прокашлявшись, выдал:
 «Перекур окончен!»

АЛЕКСАНДР КОРНЕВ

р. 1920, Москва

Из семьи служащего. В 1939 году поступил в Литинститут. Участвовал во Второй мировой. Печататься начал в 1946 году, рассылая стандартные стихи к датам в окружные армейские газеты. Первая книга «В незнакомом городе», где сверкнуло несколько талантливых стихов, вышла в 1955-м. В нем парадоксально сочетались и халтура, и преданность истинной поэзии, пусть даже подпольной. Корнев познакомил составителя этой антологии еще в сталинское время с ушедшим в самсебяиздат Николаем Глазковым, с одаренным поэтом-математиком Ю. Матвеевым, писавшим такие стихи: «И немцы в полумраке диком во тьме свивались, как ужи, когда хлестнуло «гоп со смыком!» в готические этажи». Приводимое в антологии стихотворение, безусловно, оказало влияние на ее составителя в литературном отрочестве. Оно вообще «евтушенковское». Но не забудем, что это было написано еще в 1944 году, когда Евтушенко под стол пешком ходил.

ИДУ НА ВЫ!

Я не был в стычке пустяковой,
А, не жалея кулака,
Работал,

 злой и полуголый,

На Разина и Спартака!

Сапата звал меня — пеона.

Казак — я шел за Богоном.

Когда развертывал знамена,

Земля ходила ходуном!

Я дрался и в седле и пешим,

На стругах парус поднимал.

Я был

 расстрелян и повешен,

Как декабрист и коммунар.

Из тюрем

 в звездный холод синий

Глядел я позднею порой,

А может быть, я был Орсини

И вышел с бомбой под полой...

Меня в безлюдные потемки

Ведет удвоенный конвой,

И ленту

 с буквами «Потемкин»

Кольшет бриз береговой.

И, повинуюсь вере жаркой,

В чужом краю,

В родном бою

Сложил я

 Дундичем и Залкой

За брата голову свою!

Но вплоть до правды наилучшей,

Не складывая головы,

Рябой от пота и живучий,

Иду

 на вы!

1944

АНИСИМ КРОНГАУЗ

1920, Харьков — 1987

Родился в семье журналиста. С 1938 по 1941 год учился в Литинституте. Во время войны работал в Окнах ТАСС. Первая книга стихов «Эшелоны» вышла в Москве в 1942 году. Уделял много времени юным поэтам, в том числе и составителю этой антологии.

ГОСПИТАЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Человеку без руки

Легче живется —

Не надо стричь ногти на двух руках.

Человеку без ноги

Легче живется —

Не надо ставить набойки

На двух башмаках.

Один не видит моря и солнца,

Другому не слышен ни плач, ни смех.

Но нам легче живется,

Легче живется —

Легче всех!

Мы маршировали меж адом и раем:

Грызли кору,

Попивали пивко...

А час придет — и жизнь потеряем,

Вот тогда-то и будет

Совсем легко.

НОСИЛКИ

Ох, как я от боли устал!

Никак не расстанемся с нею.

Носилки. Толпа. Тротуар...

Глазеют. Глазеют. Глазеют.

А мне еще нет и восьми.

Болезнь. Неразлучны мы с нею.

Но что же они, черт возьми?

Глазеют. Глазеют. Глазеют.

Не плачу. Хоть горько, что я
Бессилен с обидою всею
Спросить их, зачем тут стоят.
Глазеют. Глазеют. Глазеют.

Разглядывал я их с земли.
Поземкой меня заносило.
И с детской обидой взросли
Недетская жесткость и сила.

АЛЕКСЕЙ МАРКОВ

1920—1992

В 1952 году, будучи старостой литобъединения при журнале «Октябрь», я был ошеломлен мрачной поэмой А. Маркова о деревне, описывающей бедность и разор. С помощью сердобольной секретарши мне удалось в последнюю минуту вытащить эту поэму из материалов к обсуждению — иначе автора могли бы арестовать. Однако, когда в 1962 году я напечатал «Бабий Яр», именно Марков выступил с гневной, вполне «просоветской отповедью» мне: «Какой ты настоящий русский, когда забыл про свой народ, душа, как брючки, стала узкой, пустой, как лестничный пролет». Тем не менее в 1968-м того же Маркова чуть не исключили из Союза писателей за то, что в частном письме к другу он написал во время вторжения наших танков в Прагу, что ему стыдно быть русским. Друг «стукнул». Марков покался. Вот какая амплитуда колебаний была у этого мятущегося, бросающегося в разные стороны человека. Антисемитом он вовсе не был, как это принято было считать, никогда не был карьеристом, а просто, что называется, был без царя в голове. Он оказался тем самым винтовочным прикладом, который, по его же выражению, может выстрелить в своего обладателя. Темперамент поэтический у него, безусловно, был, да вот выстреливал слишком судорожно, бестолково. Любопытно, что, несмотря на наше «гражданское противостояние», мы никогда лично не ссорились и разговаривали вполне мирно.

* * *

В неудачливого, брат,
Может выстрелить приклад!

* * *

Много-много лошадей,
А коней не стало;
В мире множество людей —
Человеков мало!

ДАВИД САМОЙЛОВ

1920, Москва — 1990, Пярну, Эстония

Сын врача. Учился в ИФЛИ с 1938 по 1941 год и, прервав образование, ушел на войну, был пулеметчиком. Здесь его образование по-настоящему и состоялось. Стихи писал с детства. Но первыми его публикациями были переводы — с албанского, польского, чешского, венгерского. Он даже принят был в Союз писателей как переводчик. В него как в поэта мало кто верил, за исключением красавицы-жены, Бориса Слуцкого и нескольких родственников и близких друзей. Когда я познакомился с ним еще до сталинской смерти, он не напечатал ни строки. Первая книга «Ближние страны» вышла лишь в 1958 году. В альманахе «Тарусские страницы» была сразу замечена маленькая поэма «Чайная», где стилизованным сочным языком был написан некий Федор Федорович, воплощавший партократию. Пожалуй, мое стихотворение «Прохиндей» — подражание Самойлову. Затем в поговорку сразу вошло «Сороковые, роковые», — хотя никому в те годы не известный А. Кочетков написал много раньше стихотворение «Роковые сороковые...» (1935). Читателей поэзии очаровало прелестное стихотворение «Постель, поэт и Анна», где в образе классика, пожалуй, весь Самойлов — лукаво простодушный, большой любитель жизни, человек легкой руки и походки. Небольшая поэма «Баллада о немецком цензоре» была, по сути, издевательством над нашей родной советской цензурой. Перу Самойлова принадлежат интереснейшее исследование о русской рифме и посмертно опубликованные заметки о поэзии.

ИЗ ДЕТСТВА

Я — маленький, горло в ангине.
За окнами падает снег.
И папа поет мне: «Как ныне
Сбирается вещий Олег...»

Я слушаю песню и плачу,
Рыданье в подушке души,
И слезы постыдные прячу,
И дальше, и дальше прошу.

Осеннею мухой квартира
 Дремотно жужжит за стеной.
 И плачу над брэнностью мира
 Я, маленький, глупый, большой.

СТАРИК ДЕРЖАВИН

Рукоположения в поэты
 Мы не знали. И старик Державин
 Нас не заметил, не благословил...
 В эту пору мы держали
 Оборону под деревней Лодвой.
 На земле холодной и болотной
 С пулеметом я лежал своим.

Это не для самооправданья:
 Мы в тот день ходили на задание
 И потом в блиндаж залезли спать.
 А старик Державин, думая о смерти,
 Ночь не спал и бормотал: «Вот черти!
 Некому и лиру передать!»

А ему советовали: «Некому?»
 Лучше б передали лиру некому
 Малому способному. А эти,
 Может, все убиты наповал!»
 Но старик Державин воровато
 Руки прятал в рукава халата,
 Только лиру не передавал.

Он, старик, скучал, пасьянс раскладывал.
 Что-то молча про себя загадывал.
 (Все занятые — по его годам!)
 По ночам бродил в своей мурмолочке,
 Замерзал и бормотал: «Нет, сволочи!
 Пусть пылится лучше. Не отдам!»
 Был старик Державин льстец и скаред,
 И в чинах, но разумом велик.
 Знал, что лиры запросто не дарят.
 Вот какой Державин был старик!

СОРОКОВЫЕ

Сороковые, роковые,
 Военные и фронтовые,
 Где извещенья похоронные
 И перестуки эшелонные.

Гудят накатанные рельсы.
 Просторно. Холодно. Высоко.
 И погорельцы, погорельцы
 Кочуют с запада к востоку...

А это я на полустанке
 В своей замурзанной ушанке,
 Где звездочка не уставная,
 А вырезанная из банки.

Да, это я на белом свете,
 Худой, веселый и задорный.

И у меня табак в кисете,
 И у меня мундштук наборный.

И я с девчонкой балагурю,
 И больше нужного хромаю,
 И пайку надвое ломаю,
 И все на свете понимаю.

Как это было! Как совпало —
 Война, беда, мечта и юность!
 И это все в меня запало
 И лишь потом во мне очнулось!..

Сороковые, роковые,
 Свинцовые, пороховые...
 Война гуляет по России,
 А мы такие молодые!

ЗРЕЛОСТЬ

Приобретают остроту,
 Как набирают высоту,
 Дичают, матереют,
 И где-то возле сорока
 Вдруг прорывается строка,
 И мысль становится легка.
 А слово не стареет.

И поздней славы шепоток
 Немного лстив, слегка жесток,
 И, словно птичий коготок,
 Царапает, не рая.
 Осенней солнечной строкой
 Приходит зрелость и покой,
 Рассудка не туманя.

И платят поздней ценею:
 «Ах, у него и чуб ржаной!
 Ах, он и сам совсем иной,
 Чем мы предполагали!»
 Спасибо тем, кто нам мешал!
 И счастье тем, кто сам решал,—
 Кому не помогали!

ПЕСТЕЛЬ, ПОЭТ И АННА

Там Анна пела с самого утра
 И что-то шила или вышивала.
 И песня, долетая со двора,
 Ему невольно сердце волновала.

А Пестель думал: «Ах, как он рассеян!
 Как на иголках! Мог бы хоть присесть!
 Но, впрочем, что-то есть в нем, что-то есть.
 И молод. И не станет фарисеем».
 Он думал: «И, конечно, расцветет
 Его талант, при должном направленьи,
 Когда себе Россия обретет
 Свободу и достойное правленьи».
 — Позвольте мне чубук, я закурю.

— Пожалуйте огня.
— Благодарю.

А Пушкин думал: «Он весьма умен
И крепок духом. Видно, метит в Бруты.
Но времена для брутов слишком круты.
И не из брутов ли Наполеон?»

Шел разговор о равенстве сословий.
— Как всех равнять? Народы так бедны,—
Заметил Пушкин,— что и в наши дни
Для равенства достойных нет сословий.
И потому дворянства назначенье —
Хранить народа честь и просвещение.
— О, да,— ответил Пестель,— если трон
Находится в стране в руках деспота,
Тогда дворянства первая забота
Сменить основы власти и закон.
— Увы,— ответил Пушкин,— тех основ
Не пожалеет разве Пугачев...
— Мужичий бунт бессмыслен... —

За окном

Не умолкая распевала Анна.
И пахнул двор соседа-молдавана
Бараньей шкурой, хлебом и вином.
День наполнялся нежной синевой,
Как ведра из бездонного колодца.
И голос был высок: вот-вот сорвется.
А Пушкин думал: «Анна! Боже мой!»

— Но, не борясь, мы потакаем злу,—
Заметил Пестель,— бережем тиранство.
— Ах, русское тиранство-дилетантство,
Я бы учил тиранов ремеслу,—
Ответил Пушкин.

«Что за резвый ум,—
Подумал Пестель,— столько наблюдений
И мало основательных идей».
— Но тупость рабства сокрушает гений!
— На гения отыщется злодей,—
Ответил Пушкин.

Впрочем, разговор
Был славный. Говорили о Ликурге,
И о Солоне, и о Петербурге,
И что Россия рвется на простор.
Об Азии, Кавказе и о Данте,
И о движенье князя Ипсиланти.

Заговорили о любви.

— Она,—
Заметил Пушкин,— с вашей точки зренья
Полезна лишь для граждан умноженья
И, значит, тоже в рамки введена.—
Тут Пестель улыбнулся.

— Я душой
Матерьялист, но протестует разум.—
С улыбкой он казался светлоглазым.
И Пушкин вдруг подумал: «В этом соль!»

Они простились. Пестель уходил
По улице разъезженной и грязной,

И Александр, разнеженный и праздный,
Рассеянно в окно за ним следил.
Шел русский Брут. Глядел вослед ему
Российский гений с грустью без причины.

Деревья, как зеленые кувшины,
Хранили утра хлад и синеву.
Он эту фразу записал в дневник —
О разуме и сердце. Лоб наморщив,
Сказал себе: «Он тоже заговорщик.
И некуда податься, кроме них».

В соседний двор вползла каруца цугом,
Залаял пес. На воздухе упругом
Качались ветки, полные листвою.
Стоял апрель. И жизнь была желанна.
Он вновь услышал — распевает Анна.
И задохнулся:
«Анна! Боже мой!»

* * *

Мне снился сон. И в этом трудном сне
Отец, босой, стоял передо мною.
И плакал он. И говорил ко мне:
— Мой милый сын! Что сделалось с тобою!

Он проклинал наш век, войну, судьбу.
И за меня он требовал расплаты.
А я смиренно говорил ему:
— Отец, они ни в чем не виноваты.

И видел я. И понимал вдвойне,
Как буду я стоять перед тобою
С таким же гневом и с такой же болью...
Мой милый сын! Увидь меня во сне!..

* * *

Вот и все. Смежили очи гении.
И когда померкли небеса,
Словно в опустевшем помещении
Стали слышны наши голоса.

Тянем, тянем слово залежалое,
Говорим и вяло и темно.
Как нас чествуют и как нас жалуют!
Нету их. И все разрешено.

ИЗ СТИХОВ О ЦАРЕ ИВАНЕ

1. ИВАН И ХОЛОП

Ходит Иван по ночному покою,
Бороду гладит узкой рукою.
То ль ему совесть спать не дает,
То ль его черная дума томит.
Слышно — в посадке кочет поет,
Ветер, как в бубен, в стекла гремит.

Дерзкие очи в Ивана вперя,
Ванька-холоп глядит на царя.

— Помни, холоп непокорный и вор,
 Что с государем ведешь разговор!
 Думаешь, сладко ходить мне в царях,
 Если повсюду враги да беда:
 Турок и швед сторожат на морях,
 С суши — ногаи, да лях, да орда.
 Мыслят сгубить православных христьян,
 Русскую землю загнали бы в гроб!
 Сладко ли мне? — вопрошает Иван.
 — Горько тебе, — отвечает холоп.

— А опереться могу на кого?
 Лисы — бояре, да волки — князья.
 С младости друга имел одного.
 Где он, тот друг, и иные друзья?
 Сын был наследник мне господом дан.
 Ведаешь, раб, отчего он усоп?
 Весело мне? — вопрошает Иван.
 — Тяжко тебе, — отвечает холоп.

— Думаешь, царь-де наш гневен и слеп,
 Он-де не ведает нашей нужды.
 Знаю, что потом посолен твой хлеб,
 Знаю, что терпишь от зла и вражды.
 Питан в застенке, клещами ты рван,
 Царским клеймом опечатан твой лоб.
 Худо тебе? — вопрошает Иван.
 — Худо, — ему отвечает холоп.

— Ты ли меня не ругал, не честил,
 Врал за вином про лихие дела!
 Я бы тебя, неразумный, простил,
 Если б повадка другим не была!
 Косточки хрустнут на дыбе, смутьян!
 Криком Малюту не вгонишь в озноб!
 Страшно тебе? — вопрошает Иван.
 — Страшно! — ему отвечает холоп.

— Ты милосердья, холоп, не проси.
 Нет милосердных царей на Руси.
 Русь — что корабль. Перед ней — океан.
 Кормчий — гляди, чтоб корабль не потоп!..
 Правду ль реку? — вопрошает Иван.
 — Бог разберет, — отвечает холоп.

2. СМЕРТЬ ИВАНА

Помирает царь, православный царь!
 Колокол стозвонный раскачал звонарь.
 От басовой меди облака гудут.
 Собрались бояре, царской смерти ждут.
 Слушают бояре колокольный гром:
 Кто-то будет нынче на Руси царем?

И на колокольне, уставленной в зарю,
 Весело, весело молодому звонарю.
 Гулкая медь,
 Звонкая медь,
 Как он захочет, так и будет греметь!

«Где же то, Иване, жены твои?» —
 «В монастырь отправлены,
 Зельями отравлены...» —
 «Где же то, Иване, слуги твои?» —
 «Пытками загублены,
 Головы отрублены...» —
 «Где же то, Иване, дети твои?» —
 «Вот он старший — чернец.
 Вот он младший — птенец.
 Ни тому, ни другому
 Не по чину венец...» —
 «Где же, царь-государь, держава твоя?» —
 «Вот она, господи, держава моя...»

А на колокольне, уставленной в зарю,
 Весело, весело молодому звонарю.
 Он по сизой заре
 Распугал сизарей.
 Они в небе парят
 Выше царских палат,
 Они знать не хотят
 Ни князей,
 Ни княжат,
 Ни царей,
 Ни царят.

Лежит Иван, в головах свеча.
 Лежит Иван, не молитву шепча.
 Кажется Ивану, что он криком кричит,
 Кажется боярам, что он молча лежит,
 Молча лежит, губами ворожит.
 Думают бояре: хоть бы встал он сейчас,
 Хоть потешил себя, попугал бы он нас!

А на колокольне, уставленной в зарю,
 Весело, весело молодому звонарю.
 Раскачалась звонница —
 Донн-донн!
 Собирайся, вольница,
 На Дон, на Дон!

Буйная головушка,
 Хмелю не проси!..
 Грозный царь преставился на Руси.
 Господи, душу его спаси...

ЛЕОНИД ХАУСТОВ

р. 1920

Во время Великой Отечественной воевал под Ленинградом. Первая книга «Утренний свет» вышла в Ленинграде в 1945 году. Скромный, милый поэт, который помог многим молодым войти в поэзию.

В ШКОЛЕ

Как хорошо все видевшим солдатом
 Прийти туда, где вырос, где мужал.
 Меня узнали многие ребята,
 И старый физик руку мне пожал.
 А дядя Саша — школьный гардеробщик,
 Такой же строгий, даже злой на вид,
 Улыбкою усы свои топорщит
 И мне с почтеньем «здрасьте» говорит.
 Я обошел все здание. И даже
 Присел за парту. Вспомнил всех друзей.
 Так люди ходят лишь по Эрмитажу
 Да по дорогам юности своей.

1945

ИГОРЬ ХОЛИН

р. 1920, Москва

Игорь Холин — оригинальнейшее окраинное дарование, близкое к творчеству его друга — уехавшего на Запад художника Оскара Рабина, когда-то в годы застоя чуть не погибшего под бульдозерами, атаковавшими выставку авангардистов. Авангардизм и Холина и Рабина был окраинным, близким к примитивизму. Героями так называемой лианозовской школы (по имени паркового, окраинного района Лианозово) были и бараки, где в одной клетушке жили многодетными семьями, а на коммунальной кухне стояло по несколько женщины у одной плиты. Стихи Холина были долгое время непечатным фольклором этих бараков. Однако под кажущимся примитивизмом в них есть изысканность стиля, ведущая к Глазкову, иногда к Хармсу. Безусловно, один из сегодняшних «авангардистов», Пригов, многому научился у Холина. Но сегодняшний авангардизм становится официальной академией ельцинского «нэпа», а тот авангардизм времен застоя был мятежом, скрытым под саркастической усмешкой.

* * *

На днях у Сокола
 Дочь
 Мать уюкала.
 Причина скандала —
 Дедеж вещей.
 Теперь это стало
 В порядке вещей.

* * *

Повесился. Все было просто:
 На службе потерял он место.
 В квартире кавардак:
 Валяется пиджак.
 Расколотый фарфор...
 Вдруг —
 Сирены звук...
 Вошел милиционер, ворча,
 За ним халат врача.
 А за окном
 Асфальт умыт дождем,
 И водосточная труба

Гудит,
 Как медная труба.
 Сосед сказал: «Судьба».

* * *

Пейзаж прост:
 Улица,
 Мост,
 Дом.
 В нем уют,
 Добытый с трудом,
 Горбом.
 Муж лег на диван,
 Уснул.
 Газета выпала из рук:
 Читал про Ливан
 И Ирак.
 Рядом жена.
 Живот растет.
 Думает:
 «Вдруг война,
 Заберут,
 Убьют!»

Обняла его,
Зарыдала...
Он
Бормотал сквозь сон
Что-то об экономии металла.

* * *

Пивная, как кабак.
Ругаются матом,
Курят табак,
Дышат
Спиртным перегаром:
«Пей, деньги
Достались даром,
Загнал шины
С машины!»
Пропиваются кирпич,
Доски,
Выявляются тезки,
Наживаются миокардиты,
Размножаются бандиты.

* * *

На Марсе
В городском парке
На скамейке
Сидит
Существо,
Напоминающее краба
Подошел марсианин
Сказал
Вот это баба.

* * *

Магазин грампластинок
Выбор новинок
Песенка
«Штаны гения»
В механическом исполнении
Состав хора
33 авиадвигателя

Соло фрезы
Взыбы.

* * *

Люди, поверьте
Черти
Хуже смерти
Сама от одного черта
Сделала три аборта
Звали черта Костиком
Щекотал меня
Хвостиком.

* * *

Да здравствует солнце
Да здравствует ветер
Да здравствует сука
И сукины дети
Да здравствует медный пятак
Да здравствует просто так

* * *

Странно
Теща всегда мне представляется
Чем-то вроде
Безрогого барана
Тесть быком
Хотя он у тещи
Под сапогом
Жена
Вроде черно-бурого пятна

* * *

Он говорил ей пошлости.
Вроде: не судите
по внешности.
Я работаю в тресте питания.
Хотите куплю на воротник мех?
Это имело успех.

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР

В 1949 году молодая актриса Елена Зятковская прочла мне наизусть стихотворение, написанное, по ее словам, спившимся одесским актером. С той поры я запомнил эти два четверостишия навсегда.

* * *

Как ужасно никому не верить,
Не иметь ни радости, ни друга,
И души окованные двери
Никому не открывать по стуку.

Но ужасней — самому стучаться,
Вызывая из себя другого,
Дверь открыть, увидеть, испугаться
И поспешно запереться снова.

ЛЕВ ДРУСКИН

1921—1990

Был с детства парализован; с 1957 по 1980 год издал в СССР шесть поэтических сборников. В 1980-м был буквально насильно выдворен в Германию, где провел оставшуюся жизнь. В эмиграции издал несколько книг, в том числе книгу мемуаров «Спасенная книга» (Лондон, 1984). В 1989 году ленинградский журнал «Нева» вновь возвратил поэта в Россию на своих страницах, — к счастью, еще при его жизни.

* * *

А как вещи мои выносили,
Все-то вещи по мне голосили:
Расстаемся, не спас, не помог!
Шкаф дрожал и в дверях упирался,
Столик в угол забиться старался
И без люстры грустил потолок.
А любимые книги кричали:
«Не дожить бы до этой печали!
Что ж ты нас продаешь за гроши?
Не глядишь, будто слезы скрываешь,
И на лестницу дверь открываешь —
Отрываешь живьем от души».
Книги, книги, меня не кляните,
В равнодушных руках помяните,
Не казните последней виной...
Скоро я эти стены покину
И, как вы, побреду на чужбину.
И скажите — что будет со мной?

* * *

Судите и да будете судимы!
Пути Господни неисповедимы.
Но если Бог послал тебе правез
И смертная наглажена рубаха,
Не надо душу растлевать от страха,
А лучше сразу кинуться под нож.
Я не борец — прости меня, о Боже!
Я не герой — вы не герои тоже.
Я не искал судьбы с таким концом,
Чужая мука больше мне не впору...
Опять звучат шаги по коридору,
Но лучше рот залить себе свинцом.
И я несу свой крест по Иуде,
И ни о чем на свете не жалею,
И пот слепит, и горло жажда ест,
И жгут мне спину оводы и плети...
Но мученики двух тысячелетий
Плечами подпирают этот крест.

АНАТОЛИЙ КЛЕЩЕНКО

1921—1974

Клещенко был одним из немногих поэтов, написавших стихи против Сталина при жизни Сталина: «Пей кровь, как цинандали на пирах, ставь к стенке нас, овчарок злобных уськай...» (1939). Клещенко начал печататься в 1937 году, был замечен Борисом Корниловым, обогрет вниманием Ахматовой. Однако свою участь он предвидел. В публикации 1940 года «Вийон читает стихи» есть и предчувствие ареста, и встреча с палачами в судейской мантии. Так и произошло. При обыске у Клещенко нашли антисталинские стихи, он и на суде от них не отрекся. Несмотря на то что его жестоко пытали в тюремной камере «Большого Дома» (Литейный, 4), поэт во время суда выступил с обличением сталинизма. Пройдя шестнадцатилетнее лагерное заточение, поселился в Ленинграде. А потом уехал на Камчатку, стал охотоинспектором. Здесь он и погиб — замерз в тайге.

ЗА ЧТО?

За то, что мы не ведали: за что же?
Нас трибуналы осуждали строже,
Чем всех убийц, бандитов и воров,
И сапогами вохровцы пинали,
Когда этапом по Уралу гнали
Туда, где стол нас ожидал и кров.
За то, что мы с восхода до заката
Четыре куба резали на брата,
И летом гнус без совести нас жег,
Зимой в одних рубахах было жарко,
Нам, кроме пятисотки и приварка,
В награду полагался пирожок.
За то, что хлеб свой добывая в поте,
За месяц доплывали на работе
Так, что не поднимались после с нар,

Кондея нам давали трое суток.
Потом, чтобы не врезали без пупок,
Тащили на руках в стационар.
За то, что мы там хлеб свой даром жрали,
По пол-пайка у нас леккомы крали,
Раздатчики — по четверти пайка,
А КВЧ читал свои морали.
И мы легко и тихо умирали,
Один другому говоря «пока!».
За то, что нам недоставало силы
Рыть для себя глубокие могилы —
Когда весною таяли снега,
В зеленых лужах наши трупы гнили:
Нас без гробов ненужных хоронили,
Раздев в стационаре донага.

ТРЕНИРОВКА

Он не был ни мошенником, ни вором.
 Убит — в побеге.
 Пальцы сведены
 На первой робкой зелени весны.
 Стрелок смеется, щелкая затвором:
 — Работы меньше сестрам и врачам!
 Кто как, а я всегда укараулю —
 За сто шагов и чуть не пуля в пулю!
 Назавтра можно в лес, по косачам...

* * *

Становятся космической пылью
 Других галактик гордые миры,
 Смешные сказки делаются былью
 И правда в сказках ходит до поры.
 Удобны спуски, а подъемы круты —
 Но так ведется в мире с коих пор!
 И головы покорные минуты
 Под маятник кладут, как под топор.
 И, кажется, зачем бродить по свету,
 Донашивать худые сапоги?
 На наших картах белых пятен нету,
 По старым адресам
 Живут враги.
 Царапаются мысли, как коты,
 Между собой в дотошности упрямой.
 Ну, а к чему?
 Ведь поиск правоты
 И был всегда ошибкой
 Первой самой.

НАЧАЛЬНИК КОНВОЯ

Начальник конвоя играет курком.
 Апрельским гонимые ветром,
 Плывут облака над рекой Топорком,
 Над Сорок шестым километром.
 Начальник конвоя обходит посты.
 Ну, дует же нынче ветрище —
 Сгоняет снега и сметает кусты,
 И кажется издали, будто кресты
 Растут на глазах на кладбище.
 Растут из снегов в косогоре пустом
 Над теми, кто за зиму помер.
 Кресты?..
 Позаботился кто бы о том!
 На кольях дощечки прибиты крестом,
 Фамилий не пишется — номер.
 Они умирали, не бросив кирпичи,
 В карьере, на трассе, в траншее,
 Пеллагры шершавые воротники
 Расчесывая на шее.

Убиты в побегах, скосила цинга —
 Навеки... дождались свободы.
 Начальник глядит на носок сапога:
 Не кровь это — вешние воды...
 Начальник идет от поста до поста.
 Идет, проклиная погоду.
 Не спят часовые, их совесть чиста:
 «Служу трудовому народу!»

КАНАЛ ИМЕНИ СТАЛИНА

Ржавой проволокой колючей
 Ты опутал мою страну.
 Эй, упырь! Хоть уж тех не мучай,
 Кто, умильно точа слюну,
 Свет готов перепутать с тьмою,
 Веря свято в твое вранье...
 Над Сибирью, над Колымою
 Вьется тучами воронье.
 Конвоиры сдвигают брови,
 Щурят глаз, чтоб стрелять ловчей...
 Ты еще не разбух от крови?
 Ты еще в тишине ночей
 Не балуешься люминалом
 И не просишь, чтоб свет зажгли?
 Спи спокойно, мы — по каналам
 И по трассам легли навалом,
 Рук не выпростать из земли.
 О тебе вспомнят наши дети.
 Мы за славой твоей стоим,
 Раз каналы и трассы эти
 Будут именем звать твоим.

ВЫЗОВ

Пей кровь, как цинандали на пирах,
 Ставь к стенке нас.
 Овчарок злобных уськай.
 Топи в крови свой беспредельный страх
 Перед дурной медлительностью русской!
 Чтоб были любы мы твоим очам,
 Ты честь и гордость в наших душах выжег,
 Но все равно не спится по ночам
 И под охраной пулеметных вышек.
 Что ж, дыма не бывает без огня:
 Не всех в тайге засыпали метели!
 Жаль только обойдутся без меня,
 Когда придут поднять тебя с постели!
 И я иду сознательно на риск,
 Что вдруг найдут при шмоне эти строчки —
 Пусть не услышу твой последний визг,
 Но этот стих свой допишу до точки.

ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ

р. 1921

Фронтвик, известный переводчик, сделавший вместе с Н. Гребневым знаменитым имя аварского поэта Расула Гамзатова. Это стихотворение из книги «Древнерусский еврей» было напечатано в «Вечерней Москве» 15 апреля 1994 г.

* * *

Памяти Матвея Блантера

В песчаный берег врылась рота,
И как на вечный упокой
Ее валила с ног дремота,
А немцы были — за рекой.
К тому ж они,

едри их в душу,
Не спали в этот час ночной.
И стал один играть «Катюшу»,
Припав к гармонике губной.
Играл в тоске,

мой сон осиял,
Того не зная, сатана,
Что эта музыка в России
Была евреем сложена.

ВАСИЛИЙ КУБАНЕВ

1921—1942

С 1933 года уже печатался в воронежской газете. Погиб на войне. Перед войной работал учителем в начальной школе. Как вспоминает сестра поэта, многое из того, что написал ее брат Василек, погибло в пожаре под фашистской бомбежкой города Острогжска. Но кое-что сохранилось; в 1955 году в Воронеже вышла книжка Кубанева «Перед восходом», позже его стихи издавались отдельными книгами еще семь раз. В этих книгах — романтические настроения, свойственные многим юношам, входившим в жизнь под «Вставай, страна кудрявая», не догадываясь, что автор этих строк, Борис Корнилов, расстрелян как враг народа. Может быть, в подвалах Лубянки, из смит-вессона, о котором писал Кубанев.

(отрывок)

...Когда заносчивость Британий
Сойдет, как затонувший груз,
В разряд рождественских преданий.
Когда француз, индус, тунгус
Сойдутся вновь в один союз,
Когда без банков и без вотчин

Земной воздвравствует народ,
И только вещей переводчик
От безработицы умрет.
Все безделушки и осколки
Воспримут вид святых весов.
Меж ними на музейной полке
Предстанет людям смит-вессон.

1936

НАТАЛЬЯ МОРГУНОВА

1921—1972

Была завлитом Театра юного зрителя. Широчайше образованная женщина. Неоценимо поддерживала своей дружбой художника Ю. Васильева, составителя этой антологии, многих других людей искусства. Всю жизнь писала стихи. После ее смерти ее сын Андрей выпустил за свой счет единственную книгу матери.

* * *

Ты — танк. Ты все сметаешь на пути.
Ты — слон, врага подъемлющий на бивни.
Остановись. Дай дух перевести.
Я женщина. Я друг, а не противник.

* * *

Какая боль, и стыд, и жалость,
Как мой порыв был дик и груб,
Когда губами я прижалась
К полоске безответных губ.

СЕМЕН СОРИН

р. 1921

Участник войны. Окончил Литинститут имени Горького. Тонко, обаятельно сыграл роль раввина на крыше поезда в фильме составителя этой антологии «Детский сад».

* * *

Федору Колунцеву

Вместилась жизни суть
В наказ отцовский сыну:
Почетны раны в грудь,
Позорны раны в спину.

Но сына ли вина,
Что в спину целят скрыто,
И ранами спина
Позорными покрыта!

ВАСИЛИЙ СУББОТИН

р. 1921, д. Субботинцы, ныне Кировской обл.

Родился в крестьянской семье. Работал в колхозе, на угольной шахте. Был танкистом, фронтовым журналистом. Участник штурма рейхстага. Вокруг версии о том, кто в действительности первым водрузил красное знамя над дымящимся рейхстагом, до сих пор много дыма. Субботин дает свою, может быть, самую точную версию, ибо это не политическая спекуляция, а человеческое предположение.

ЭПИЛОГ

Курганы щебня, горы кирпича,
Архивов важных драная бумага.
Горит пятно простого кумача
Над обгорелым куполом рейхстага.

В пыли дорог и золоте наград
Мы у своей расхаживаем цели.
Фамилиями нашими пестрят
Продымленные стены цитадели.

А первый, озаренный флагом тем,
Сумел остаться неизвестным свету,
Как мужеством, что мы явили всем,—
Ему еще названья тоже нету.

ЛЕОН ТООМ

1921, Московская обл.— 1969, Москва

Уроженец Подмосковья, эстонец по крови. В 1946—1951 годах учился в Литературном институте, окончил его — и до конца жизни преимущественно переводил эстонских поэтов. Оригинальные стихи Тоома впервые были собраны под одну обложку в книге «Среди друзей», вышедшей в Эстонии в 1976 году, уже после его трагической гибели. Многие из того, что было им написано, можно было бы опубликовать в наши дни — раньше цензура бы не пропустила, — но посмертные публикации все еще немногочисленны.

СОРАТНИКАМ

К чему напрасный страх, молодчики?
Он вызван мнимой причиной.
Зачем машины-переводчики,
Раз переводчик стал машиной?

Бездушье первых — вещь условная.
Глядишь, и вдруг в одно мгновенье
Внесет в них что-нибудь духовное
Очередное усложнение.

Глядишь, и ляпнет кибернетика
Писателю из депутатов,
Что ей не позволяет этика
Переводить лауреатов.

Возьмет и выдаст гипертонику
Определение гробовое:
Мол, дорогую электронику
Не тратят на дерьмо такое.

Другое дело — наша братия:
Лишь посули нам пети-мети,
И без отказа, без изъятия
Мы зарифмуем все на свете.

Переведем любого автора,
Любого переложим чисто —
Ремесленника и новатора,
Доносчика и альтруиста.

1958

* * *

Освобождают,
милуют,

прощают
и мудрых старцев,
и слепых котят.
Актируют,
судимости снимают...
Того гляди —
и нас освободят.

Вот-вот и нам,
случайно уцелевшим,
не профильтрованным
сквозь Страшный суд,
ни за что и ни про что
не сидевшим,
тоже, может быть,
чего-нибудь дадут.

Дадут всего!
На все потрафят вкусы,
у всех нащупав
слабую струну;
дадут и колбасы,
и кукурузы,
дадут всего,
но только не страну.

1956

ВСЕВОЛОД БАГРИЦКИЙ

1922—1942

Сын Эдуарда Багрицкого. С 1926 года семья жила в «ближнем Подмосковье», в Кунцево. Писать стихи начал в раннем детстве; занимался драматургией — в частности, вместе с И. Кузнецовым и А. Галичем писал «коллективную пьесу» «Город на заре». Его стихи входили во все антологии столь любимого советским литературоведением жанра «поэты, павшие на Великой Отечественной войне». Литературоведение всегда полагало, что лучший поэт — это мертвый поэт, и тем самым давало соответствующим органам прямую рекомендацию к умножению «лучших».

* * *

Бывает так, что в тишине
Пережитое повторится.
Сегодня дальний свист синицы
О детстве вдруг напомнил мне.
И это мама позабыла
С забора трусики убрать...
Зимует Кунцево опять,
И десять лет не проходило.

Пережитое повторится...
И папа в форточку свистит,
Синица помешала бриться,
Синица к форточке летит.
Кляня друг друга, замерзая,
Подобны высохшим кустам,
Птиц недоверчивых пугая,
Три стихотворца входят к нам.

Встречает их отец стихами,
Опасной бритвою вода.

И строчки возникают сами,
И забывают про меня.

1941

* * *

Мне противно жить не раздеваясь,
На гнилой соломе спать.
И, замерзшим нищим подавая,
Надоевший голод забывать.

Коченея, прятаться от ветра,
Вспоминать погибших имена,
Из дому не получать ответа,
Барахло на черный хлеб менять.

Дважды в день считать себя умершим,
Путать планы, числа и пути,
Ликовать, что жил на свете меньше
Двадцати.

1941

ЮРИЙ ГОРДИЕНКО

р. 1922, с. Алтайское Алтайского края

Родился в семье служащего. Работал журналистом в Сибири. В 1943—1946 годах служил в армии артиллеристом, разведчиком. В 1947-м поступил в Литинститут. Печататься начал с 1936-го. Первая книга «Звезды на касках» вышла в Москве в 1948-м. Всегда был человеком редкой доброжелательности к другим поэтам.

РИКША

(отрывок)

Трубил, трубил, трубил рожок,
двоились уличные дали,
дымясь, асфальт подошвы жег,
мелькали стертые сандалии,
холодным потом рикша мок,
и целый день в тоске ли, злобе ль
бежал и убежать не мог
из полированных оглобель.

1946

Любовь
Она как треснувшая рельса,
Что перегрели на плохом огне.
Еще блестит,
Поет от рейса к рейсу,
Но страшно,
Что она — на полотне.

1960

ЮРИЙ ГРУНИН

р. 1922

Поэт, художник, архитектор, участник войны и узник нацистских концлагерей (1942—1945), откуда прямо попал в концлагерь советский — сперва на Северный Урал, потом в Центральный Казахстан, освобожден лишь в 1955 году. Стихи Грунина до сих пор не собраны в единую книгу, хотя печатались в периодике и в коллективных сборниках.

ОДНОНАРНИКУ

Попраны и совесть, и свобода.
Нас загнали в беспредельный мрак.
Ты сегодня «сын врага народа».
Я из плена, то есть тоже враг.

Я не знал того, что нас так много
и что здесь хоронят без гробов.
Я не знал, как широка дорога
в этот мир голодных и рабов.

Много нас, усталых, но упрямых.
Много нас, растоптанных в пыли.
Жизнь есть жизнь,
мой друг Камил Икрамов.
Лагеря Сибири — соль земли.

1947

СЕМЕН ГУДЗЕНКО

1922, Киев — 1953, Москва

Родился в семье служащего. В 1939 году поступил в ИФЛИ. Ушел добровольцем на Вторую мировую, участвовал в боевых действиях, работал во фронтовых редакциях. В 1944 году в своем докладе о поэзии его отметил Н. Тихонов. Как и многие фронтовые поэты, не выдержал испытания холодной войной — стихи его поскущели, потеряли задор, упругость, горький вкус правды, стали «командировочными». Но, умирая от старых ран, по собственному предсказанию, написал снова вырвавшиеся из сердца настоящие стихи: «Жизнь мою спасали среди ночи в белом, как десантники, врачи». Был неотразимо обаятельным, любимцем своих фронтовых товарищей, которые нежно звали его «наш Сарик». Незадолго до смерти дружески благословил составителя этой антологии.

БАЛЛАДА О ДРУЖБЕ

Так
в блиндаже хранят уют
коптилки керосиновой.
Так
дыхание берегут,
когда ползут сквозь минный вой.
Так
раненые кровь хранят,
руками сжав культияпки ног.

...Был друг хороший у меня,
и дружбу молча я берег.
И дружбы не было нежней.
Пускай мой след
в снегах простыл,—
среди запутанных лыжной
мою
всегда он находил.
Он возвращался по ночам...
Услышав скрип его сапог,
я знал —
от стужи он продрог
или
от пота он промок.
Мы нашу дружбу
берегли,
как пехотинцы берегут
метр
окровавленной земли,
когда его в боях берут.
Но стал
и в нашем дележе
сна
и консервов на двоих
вопрос:
кому из нас двоих
остаться на войне в живых?
И он опять напомнил мне,
что ждет его в Тюмени сын.
Ну что скажу!
Ведь на войне
я в первый раз
побрил усы.
И, видно,
жизнь ему вдвойне
дороже и нужней,
чем мне.

Час
дал на сборы капитан.

Не малый срок,
не милый срок...
Я совестью себя пытал:
решил,
что дружбу зря берег.
Мне дьявольски хотелось жить,—
пусть даже врозь,
пусть не дружить.
Ну хорошо,
пусть мне идти,
пусть он останется в живых.
Поделит
с кем-нибудь в пути
и хлеб,
и дружбу
на двоих.
И я шагнул через порог...

Но было мне не суждено
погибнуть в переделке этой.
Твердя проклятие одно,
Приполз я на КП
к рассвету.

В землянке
рассказали мне,
что по моей лыжне ушел он.
Так это он
всю ночь
в огне
глушил их исступленно толлом!
Так это он
из-за бугра
бил наповал из автомата!
Так это он
из всех наград
избрал одну —
любовь солдата!
Он не вернулся.
Мне в живых
считаться,
числиться по спискам.
Но с кем я буду на двоих
делить судьбу
с армейским риском?
Не зря мы дружбу берегли,
как пехотинцы берегут
метр
окровавленной земли,
когда его в боях берут.

ПЕРЕД АТАКОЙ

Когда на смерть идут — поют,
а перед этим
 можно плакать.
Ведь самый страшный час в бою —
час ожидания атаки.
Снег минами изрыт вокруг
и почернел от пыли минной.
Разрыв —
и умирает друг.
И, значит, смерть проходит мимо.
Сейчас настанет мой черед.
За мной одним
 идет охота.
Будь проклят
 сорок первый год —
и вмерзшая в снега пехота.
Мне кажется, что я магнит,
что я притягиваю мины.
Разрыв —
и лейтенант хрипит.
И смерть опять проходит мимо.
Но мы уже
 не в силах ждать.
И нас ведет через траншеи
окоченевшая вражда,
штыком дырявящая шеи.
Бой был коротким.
 А потом
глушили водку ледяную,
и выковыривал ножом
из-под ногтей
 я кровь чужую.

1942

МОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Нас не нужно жалеть,
 ведь и мы никого б не жалели.
Мы пред нашим комбатом,
 как пред господом богом, чисты.
На живых порыжели
 от крови и глины шинели,
на могилах у мертвых
 расцвели голубые цветы.
Расцвели и опали...
 Проходит четвертая осень.
Наши матери плачут,
 и ровесницы молча грустят.
Мы не знали любви,
 не изведали счастья ремесел,
нам досталась на долю
 нелегкая участь солдат.
У погодков моих
 нет ни жен, ни стихов, ни покоя —
только сила и юность.
 А когда возвратимся с войны,
все долюбим сполна
 и напишем, ровесник, такое,
что отцами-солдатами будут гордиться сыны.

Ну, а кто не вернется?
 Кому долюбить не придется?
Ну, а кто в сорок первом
 первою пулей сражен?
Зарыдает ровесница,
 мать на пороге забьется, —
у погодков моих ни стихов,
 ни покоя, ни жен.
Нас не нужно жалеть,
 ведь и мы никого б не жалели.
Кто в атаку ходил,
 кто делился последним куском,
тот поймет эту правду, —
 она к нам в окопы и щели
приходила поспорить ворчливым,
 охрипшим баском.
Пусть живые запомнят
 и пусть поколения знают
эту взятую с боем суровую правду солдат.
И твои костыли,
 и смертельная рана сквозная,
и могилы над Волгой,
 где тысячи юных лежат, —
это наша судьба,
 это с ней мы ругались и пели,
подымались в атаку
 и рвали над Бугом мосты.
...Нас не нужно жалеть,
 ведь и мы никого не жалели.
Мы пред нашей Россией
 и в трудное время чисты.
А когда мы вернемся —
 а мы возвратимся с победой,
все, как черти упрямы,
 как люди живучи и злы, —
пусть нам пива наварят
 и мяса нажарят к обеду,
чтоб на ножках дубовых
 повсюду ломились столы.
Мы поклонимся в ноги
 родным исстрадавшимся людям,
матерей расцелуем и подруг,
 что дождались, любя.
Вот когда мы вернемся
 и победу штыками добудем —
всё долюбим, ровесник,
 и работу найдем для себя.

1945

* * *

На снегу белизны госпитальной
умирал военврач, умирал военврач.
Ты не плачь о нем, девушка,
 в городе дальнем,
о своем ненаглядном, о милom не плачь.
Наклонились над ним два сапера с бинтами,
и шершавые руки коснулись плеча.
Только птицы кричат в тишине за холмами.
Только двое живых над убитым молчат.

ЛЕВ КРОПИВНИЦКИЙ

1922—1994, Москва

Поэт и художник, сын поэта и художника Евгения Кропивницкого, как и Генрих Сапгир, один из поздних учеников Арсения Альвинга. С 1946 по 1956 год отбывал срок в сталинских и постсталинских лагерях по фальшивому обвинению, — а до того всю войну провел на фронте. Издал книгу стихотворений «Капризы подсознания» (М., 1990). Один из крайних модернистов «лианозовской школы».

ВОПРОСОВ НЕТ

Многое грозит человечеству, единственное, что заведомо не грозит, — все понять и все познать.

Андрей Нуйкин

Досада катит как чугунный шар:
Реально ли говорить
О саморегулировании кадрового голода —
Не дай Бог свинье рога, мужику барство.
Со всех стран профессионалы прикатили
(Кроме, конечно, одной).

А бесконечные сети родильных и иных домов?
А желание, зарождающееся до появления
объекта?
А о т. Пайкине, порастратившем невиданное
доселе?

Массы же, как всегда, ответят:
— Вот они — высокие персонажи
монументальных полотен!
— Вот они — мятежно-уравнительные силы!
— Вот он — здоровый дух в здоровенном теле
первого зама!

ЮРИЙ ЛЕВИТАНСКИЙ

р. 1922, Киев

Учился в ИФЛИ. Во Вторую мировую был солдатом, офицером, военным корреспондентом. Первая книжка «Солдатская дорога» вышла в Иркутске в 1948 году. Поддержал первые поэтические шаги составителя этой антологии во время его приездов на родину, с незабываемым гостеприимством разезжая с ним на американской «амфибии» по Ангаре и окружающим болотам. Именно в разговорах с поэтами военного поколения — Наровчатовым, Межировым, Слуцким, Левитанским и рождалась идея этой антологии. Один из немногих представителей военного поколения, впитавший в себя формальные приемы поколения послевоенного плюс марштинговские и тоже завоевавший собственного читателя, пожалуй, лучшей своей книгой «Кинематограф». Редкая восприимчивость помогла Левитанскому стать одним из лучших поэтических пародистов. Многие его стихи стали популярными песнями — особенно в исполнении столь любимых студенческими аудиториями Татьяны и Сергея Никитиных. Левитанский, невзирая ни на какие неприятности, подписал добрый десяток писем в защиту диссидентов, начиная с процесса Синявского и Даниэля.

СОН О РОЯЛЕ

Я видел сон — как бы оканчивал
из ночи в утро перелет.
Мой легкий сон крылом покачивал,
как реактивный самолет.

Он путал карты, перемешивал,
но, их мешая вразнобой,
реальности не перевешивал,
а дополнял ее собой.

В конце концов, с чертами вымысла
смешав реальности черты,
передо мной внезапно выросло
мерцанье этой черноты.

Как бы чертеж земли, погубленной
какой-то страшною виной,
огромной крышкою обугленной
мерцал рояль передо мной.

Рояль был старый, фирмы Беккера,
и клавишей его грядя

казалась тонкой кромкой берега,
а дальше — черная вода.

А берег был забытым кладбищем,
как бы окраиной его,
и там была под каждым клавишем
могила звука одного.

Они давно уже не помнили,
что были плотью и душой
какой-то праздничной симфонии,
какой-то музыки большой.

Они лежали здесь, покойники,
отвоевавшие свое,
ее солдаты и полковники,
и даже маршалы ее.

И лишь иной, сожженный заживо,
еще с трудом припоминал
ее последнее адажио,
ее трагический финал.

Но вот, едва лишь тризну справивший,
еще не веря в свой закат,
опять рукой коснулся клавишей
ее безумный музыкант.

И поддаваясь искушению,
они построились в полки,
опять послушные движению
его играющей руки.

Забыв, что были уже трупами,
под сенью нотного листа
они за флейтами и трубами
привычно заняли места.

Была безоблачной прелюдия.
Сперва трубы гремела медь.
Потом пошли греметь орудия,
пошли орудия греметь.

Потом пошли шеренги ротные,
шеренги плотные взводов,
линейки взламываая нотные,
как проволоку в пять рядов.

Потом прорыв они расширили,
и пел торжественно металл.
Но кое-где уже фальшивили,
и кто-то в такт не попадал.

Уже все чаще они падали.
Уже на всю вторую часть

распространился запах падали,
из первой части просочась.

И сладко пахло шерстью жженною,
когда, тревогой охватив,
сквозь часть последнюю, мажорную,
пошел трагический мотив.

Мотив предчувствия, предвестия
того, что двигалось сюда,
как тема смерти и возмездия
и тема Страшного суда.

Кончалась музыка и корчилась,
в конце едва уже звеня.
И вскоре там, где она кончилась,
лежала черная земля.

И я не знал ее названия —
что за земля, что за страна.
То, может быть, была Германия,
а может быть, и не она.

Как бы чертеж земли, погубленной
какой-то страшною виной,
огромной крышкою обугленной
мерцал рояль передо мной.

И я, в отчаянье поверженный,
с тоской и ужасом следил
за тем, как музыкант помешанный
опять к роялю подходил.

АНДРЕЙ ЛЯДОВ

1922(?)—1992, Санкт-Петербург

Из Сибири. «Сиделец», позднее жил в Ленинграде, где и умер. Стихи взяты из сборника «Удача» (1989).

ГОША ФЕДОСОВ

Народ безмолвствует.
Пушкин. «Борис Годунов»

В поселке воскресно и людно,
За рошу, на берег реки
С платформы, как с палубы судна,
Качаясь, плывут рюкзак.

Резвятся девчата с Офсетной,
Буксует «Ремстрой» по песку,
А Гоша Федосов, сосед мой,
Шагает к пивному ларьку.

Ах, Гоша ты Гоша Федосов,
Умелец, технар-чародей,
Безвестный печальный философ,
Добрейший из добрых людей!

Шинкарь его встретит учтиво
И в кружку сольет «малыша»,

А Гоша, зардевшись от пива,
Ведет разговор не спеша.

...Планета повисла над бездной,
И гром реактивный гремит,
А Нобель-то каялся, бедный,
Когда смастерил динамит!

Под вопли и аплодисменты
Народец футболом пленен...
Утыканы все континенты
Ракетами диких племен...

Мальчишки о творчестве Кафки
С девчонками спорят в метро...
В историю вносят поправки,
Скрипит по бумаге перо.

За несколько чудных мгновений
На новом отрезке пути

Почти эксгумирован Гений
И снова закопан почти...

А может быть, чертый тот кобель
Все ж будет отмыт добела?
Смешно было каяться, Нобель,
Похлеще вершатся дела!..

Толпой нерешенных вопросов
По небу плывут облака...
Безмолвствует Гоша Федосов:
Он спит у пивного ларька.

1976
Ольгино

ГРИГОРИЙ ПОЖЕНЯН

р. 1922

Вот уж кто с лихвой оправдывает выражение «поэт в России больше, чем поэт». Воистину легендарная личность. Один из тех разведчиков, кто прополз под несколькими рядами немецкой колючей проволоки, перекусывая ее чуть ли не зубами, и несколько суток оборонял водокачку, давая воду изжаждавшейся Одессе. Имя его высечено на мраморе среди имен погибших героев. На самом деле наш поэт отнюдь не погиб. Он поступил в Литинститут, где на одном из семинаров после относительно мягких замечаний по его стихам, говорят, выхватил пистолет и стал палить в потолок. Вызванный в суд, он доказал, что пистолет был его именным оружием, врученным ему адмиралом Азаровым. Во время разгрома «космополитов» выбросил, как кутенка, секретаря комсомольской организации из окна второго этажа на клумбу с портретом Сталина из георгинов. Один его друг, поэт, вытащил из его тумбочки в общежитии тетрадку стихов и доносительски зачитал их на собрании. При визге тогдашнего директора Литинститута Федора Gladкова, похожего, по известному тогда выражению, на старую большевичку: «Ноги вашей не будет в Литинституте!» — нестигаемый Поженян встал на руки и таким образом удалился из кабинета. Будучи исключенным, стал работать сварщиком в Калининграде, и о его трудовых подвигах была напечатана статья. Литинститут все-таки закончил. В 1952 году показывал составителю сей антологии в ресторации «Араги», задрав над столом, к ужасу официантской челяди, свой героический ботинок, зияющий полным отсутствием подошвы. Однако сгруппировался, играя мышцами и гантелями, и пробился в печатаемую поэзию из всех опал. «Известны мы, быть может, даже тем, что нам о нас не написать поэм». Да, что и говорить — сам он был поэмой, сбитой из мускулов еврейского биндюжника и армянского лукавства в кофейных зрачках. В 1955 году вышла первая книга, полностью соответствующая своему названию: «Ветер с моря». Его песня «Мы с тобой два берега» стала почти народной. Просоленные морем стихи, как штормовая стихия, размьли береговые укрепления редакций. Он поставил два талантливых, как все, что он делает, фильма и объехал многие страны, покоряя и удивляя своей уникальностью.

ПОЭТ И ЦАРЬ

...И Сталин в землю лег.
И Пастернак.
Поэт и царь.
Тиран и божий дух.
Немой удел —
теперь их общий враг.
Земной предел —
теперь их общий друг.
Они ушли,
не чувствуя вины.
Они теперь равны
и не равны.
Один избрал —
неверный саркофаг.
Другой избрал —
зеленых три сосны.

* * *

Что поздних радостей печаль
и с крутизною спуск опасный,
когда осенний полдень ясный
меня опять уводит в даль.
Что голых сучьев чернота
и крик вороньими ночами,
когда к утру над кедрачами

опять взметнется высота.
Опять заря зажжет кору,
и, не подвластна укрошенью,
вперед, наперекор теченью,
кета пойдет метать икру.
И как бы ни был он зажат,
едва зализывая раны,
медведь прорвется к океану,
чтоб окрестить в нем медвежат.
...К чему ж спешить на суд людской
с нетерпеливыми руками,
с неопаленными висками,
с непросветленной тоской.

ГОРОДА

Кольшутся сонно барханы.
Беззвучно струятся пески.
Неслышно бредут караваны
верблюжьей щемящей тоски.
Они из пустынного чуда,
из войлочных, душных одежд.
Кто знает, куда и откуда
бредут караваны надежд.
Но если под бой барабанов
ты отдал свои города, —
откуда ж ты ждешь караванов?

Они не придут никогда.
 Так что же мне делать с собою,
 с печальным верблюжьим горбом,
 с моей онемевшей трубою,
 с обиженной детской губою,

с изрытым изменами лбом?
 Струится песок по копытам
 верблюжьей щемящей тоски.
 Все то, что пески накопили,
 засыпали сами пески.

ВАДИМ СИКОРСКИЙ

р. 1922

Фронтвик, выпускник Литинститута, волейболист. Долгие годы был заведующим отделом поэзии в «Новом мире», где работал вместе со своим другом Е. Винокуровым. Был бескорыстнейше влюблен в стихи других поэтов. Самые известные его строчки:

по нижнему небу плывут пароходы,
 по верхнему небу плывут облака.

СОСЕД

На него, как на двойник зеркальный,
 я смотрел: в израненной стране
 жизнь прожить для этой блудной спальни,
 видеть мир, как натюрморт в окне,

жить, принудив честность к притупленью,
 свой кусок лова в грызне земной...
 Человек, готовый к преступленью,
 тихо шел плечом к плечу со мной.

ИРИНА СНЕГОВА

1922—1975

Переводила со многих языков СССР — и одна, и вместе с Е. Николаевской. Стихи Снеговой становились все горше и горше, как будто она предчувствовала свой преждевременный уход.

НЕЖНОСТЬ

Вот плетется он по синим лужицам,
 Маленький, как ласка и хорек,
 То вдруг в самой давке обнаружится,
 То, ищи-свищи, пропал зверек.
 Сложно с ним. Он рвется в дом с поспешностью
 И бежит — запри хоть сто раз дверь!
 Прихотлив и тих. Прозвали Нежностью.
 Трудно культивируется зверь.
 То скулит, один оставшись надолго,
 То при всех вас схватит (эх, зверье!),
 Душит он, и сквозь слезу, сквозь радугу
 Каждый видит, как под смерть, — свое.
 Как его уймешь! Одни с ним маются.
 А другие — этим жизнь легка —
 Тихим браконьерством занимаются.
 Убивая этого зверька.

1961

БОРИС БОРИН

1923, Харьков—1984

Родился на Украине, школу окончил в Москве. Фронтовик, кавалер орденов Отечественной войны, Красной Звезды. Окончив Московский библиотечный институт, сотрудничает в редакциях московских журналов, затем уезжает на Север. При жизни у Б. Борина вышли четыре книжки в Магадане, но имя его оставалось как бы за Полярным кругом. Его строки «Я вижу, как Иуда вырастает из никому не нужного Христа» поистине антологические, а стихотворение «Кардиограмма» поражает обнаженностью памяти, сквозь которую, как сквозь бинт, проступает живая кровь.

* * *

Входили в мир
апостолами правды
мальчики
прямые, как лучи.
Откуда появились
бюрократы,
доносчики, ханжи и палачи?

Страницы лет,
как летопись листая,
вникаю в повесть каждого листа.
Я вижу, как Иуда вырастает
из никому не нужного Христа.

НИКОЛАЙ ДОРИЗО

р. 1923, Краснодар

Из семьи служащего. В годы войны работал военным журналистом. В 1945—1948 годах учился на истфаке Ростовского университета. Печататься начал с 1938-го. Первый сборник стихов «На родных берегах» вышел в Ростове в 1948-м. В 1952 году снискал популярность, опубликовав в симоновской «Литературке» «Стихи о сыне» такого рода: «Выпущены в талии запасы на любимом платице твоём», «Он красавец — мать мне отвечает. В подтвержденье всех его красот факт один пока что отмечает: вес три килограмма восемьсот!» Тем не менее такая сентиментализация индустриально-колхозной поэзии тогда трогала. Помню, как я и Фазиль Искандер восхищались этими стихами. Пожалуй, лучшее, что сделал Доризо,— приводимая в антологии песня, поющая до сих пор.

ЕГО Я ВИДЕТЬ НЕ ДОЛЖНА

Огней так много золотых
На улицах Саратова.
Парней так много холостых,—
А я люблю женатого...

Эх, рано он завел семью!..
Печальная история!
Я от себя любовь таю,
А от него — тем более.

Я от него бежать хочу,
Лишь только он покажется,
А вдруг все то, о чем молчу,
Само собою скажется?

Его я видеть не должна —
Боюсь ему понравиться.
С любовью справлюсь я одна,
А вместе нам не справиться!

1953

АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ

р. 1923, Москва

Отец, о котором Межиров впоследствии написал: «великий, убежденный, угрюмый гуманист», был юристом. Он и мать поэта привили сыну другое, гуманистическое образование, немислимое в сталинской школе. Чистый беленький воротничок мальчика, выросшего в тихом Лебяжьем переулке, непоправимо высовывался из-под солдатской шинели во время блокады Ленинграда. Межиров и Наровчатов были, пожалуй, самыми образованными поэтами из всей фронтовой плеяды. Первую книгу «Дорога далека» (1947) я, еще мальчишкой, почти всю знал наизусть. Она была названа по строчке Глазкова, которого Межиров обожал. Межиров во времена ждановщины был неистовым пропагандистом не только других непризнанных поэтов, но и Библии. Именно за беспрестанное цитирование Библии в частных разговорах он однажды был почти исключен из Союза писателей. Никогда не

Я — лежу в пристрелянном кювете,
Я — вмерзаю в ледяной кювет.

Снег не тает. Губы, щеки, веки
Он засыпал. И велит дрожать...
С думой о далеком человеке
Легче до атаки мне лежать.

А потом подняться, разогнуться,
От кювета тело оторвать,
На ледовом поле не споткнуться
И пойти в атаку —
Воевать.

Я лежу в пристрелянном кювете.
Снег седой щетиной на скуле.
Где-то человек живет на свете —
На моей красавице земле!

Знаю, знаю — распрямлюсь, да встану,
Да чрез гробовую полосу
К вражьему ощеренному стану
Смертную прохладу понесу.

Я лежу в пристрелянном кювете,
Я к земле сквозь тусклый лед приник...
Человек живет на белом свете —
Мой далекий ответ! Мой двойник!

СТИХИ О МАЛЬЧИКЕ

Мальчик жил на окраине города Колпино.
Фантазер и мечтатель.

Его называли лгунишкой.
Много самых веселых и грустных историй
накоплено
Было им
за рассказом случайным,
за книжкой.

По ночам ему снилось — дорога гремит
и пылится
И за конницей гонится рыжее пламя во ржи.
А наутро выдумывал он небылицы —
Просто так.
И его обвиняли во лжи.

Презирал этот мальчик солдатиков
оловянных
И другие веселые игры в войну.
Но окопом казались ему придорожные
котлованы,—
А такая фантазия ставилась тоже в вину.

Мальчик рос и мужал на тревожной недоброй
планете,
И, когда в сорок первом году зимой
Был убит он,
в его офицерском планшете
Я нашел небольшое письмо домой.

Над оврагом летели холодные белые тучи
Вдоль последнего смертного рубежа.
Предо мной умирал фантазер невезучий,
На шинель
кучерявую голову положи.

А в письме были те же мальчишечьи
небылицы.

Только я улыбнуться не мог...
Угол серой исписанной плотно страницы
Кровью намок...

...За спиной на ветру полыхающий Колпино,
Горизонт в невеселом косом дыму...
Здесь он жил.

Много разных историй накоплено
Было им.
Я поверил ему.

1945

УТРОМ

Ах, шоферша,
пути перепутаны! —
Где позиции?
Где санбат? —
К ней пристроились на попутную
Из разведки десять ребят...

Только-только с ночной операции —
Боем вымученные все.
— Помоги, шоферша, добраться им
До позиции —
до шоссе.

Встали в ряд.
Поперек дорога
Перерезана.
— Тормози!
Не смотри, пожалуйста, строго,
Будь любезною, подвези.

Утро майское.
Ветер свежий.
Гнется даль морская дугой.
И с Балтийского побережья
Нажимает ветер тугой.

Из-за Ладоги солнце движется
Придорожные лунки сушить.
Глубоко
в это утро дышится,
Хорошо
в это утро жить.

Зацветает поле ромашками,
Их не косит никто,
не рвет.
Над обочиной
вверх тормашками
Облак пороховой плывет.

Чем мальчик был, и кем он стал,
И как, чем стал он, быть устал,
Я вам рассказывать не стану.
К чему судьбу его судить,
Зачем без толку бередить
Зарубцевавшуюся рану.

Оно как будто ни к чему,
Но вспоминаются ему
Разрозненные эпизоды.
Забыть не может ни за что
Дырявое, как решето,
Заштопанное шапито
И номер, вышедший из моды.

Сперва работать начал он
Классический аттракцион:
Зигзагами по вертикали
На мотоцикле по стене
Гонял с другими наравне,
Чтобы его не освистали.

Но в нем иная страсть жила,—
Бессмысленна и тяжела,
Душой мальчишеской владела:
Он губы складывал в слова,
Хотя и не считал сперва,
Что это стоящее дело.

Потом война... И по войне
Он шел с другими наравне,
И все, что чуял, видел, слышал,
Коряво заносил в тетрадь.
И собирался умирать,
И умер он — и в люди вышел.

Он стал поэтом той войны,
Той приснопамятной волны,
Которая июньским летом
Вломила в души, грохоча,
И сделала своим поэтом
Потомственного циркача.

Но, возвратясь с войны домой
И отдышавшись еле-еле,
Он так решил:
«Войну допой
И крест поставь на этом деле».

Писанье вскорости забросил,
Обезголосел, охладел —
И от литературных дел
Вернулся в мир земных ремесел.

Он завершил жестокий круг
Восторгов, откровений, мук —
И разочаровался в сути
Божественного ремесла,
С которым жизнь его свела
На предвоенном перепутье.

Тогда-то, исковеркав слог,
В изяществе не видя проку,
Он создал грубый монолог
О возвращении к истоку:

Итак, мы прощаемся.
Я приобрел вертикальную стену
И за сходную цену
поддержанный реквизит,
Ботфорты и бриджи
через неделю надену,
И ветер движенья
меня до костей просквозит.

Я победил.
Колесо моего мотоцикла
Не забуксует на треке
и со стены не свернет.
Боль в моем сердце
понемногу утихла.
Я перестал заикаться.
Гримасами не искажается рот.

Вопрос пробуждения совести
заслуживает романа.
Но я ни романа, ни повести
об этом не напишу.
Руль мотоцикла,
кривые рога «Индиана» —
В правой руке,
успевшей привыкнуть к карандашу.
А левой прощаюсь, машу...

Я больше не буду
присутствовать на обедах,
Которые вы
задавали в мою честь.
Я больше не стану
вашего хлеба есть,
Об этом я и хотел сказать.
Напоследок...

Однако этот монолог
Ему не только не помог,
Но даже повредил вначале.
Его собратья по перу
Сочли все это за игру
И не на шутку осерчали.

А те из них, кто был умней,
Подозревал, что дело в ней,
В какой-нибудь циркачке жалкой,
Подруге юношеских лет,
Что носит кожаный браслет
И челку, схожую с мочалкой,

Так или иначе. Но факт,
Что, не позер, не лжец, не фат,
Он принял твердое решение
И, чтоб его осуществить,
Нашел в себе задор и прыть
И силу самоотрешенья.

Почувствовав, что хватит сил
Вернуться к вертикальной стенке,
Он все нюансы, все оттенки
Отверг, отринул, отрешил.

Теперь назад ни в коем разе
Не пустит вертикальный круг.
И вот гастроли на Кавказе.
Зима. Тбилиси. Ночь. Навтлуг¹.

Гастроли зимние на юге.
Военный госпиталь в Навтлуге.
Трамвайных рельс круги и дуги.
Напротив госпиталя — домик,
В нем проживаем — я и комик.

Коверный двадцать лет подряд
Жует опилки на манеже —
И улыбается все реже,
Репризам собственным не рад.

Я перед ним всегда в долгу,
Никак придумать не могу
Смехоточивые репризы.
Вздыхаю, кашляю, курю
И укоризненно смотрю
На нос его багрово-сизый.
Коверный требует реприз
И пьет до положенья риз...

В огромной бочке, по стене,
На мотоциклах, друг за другом,
Моей напарнице и мне
Вертеться надо круг за кругом.

Он стар, наш номер цирковой,
Его давно придумал кто-то,—
Но это все-таки работа,
Хотя и книзу головой.

О вертикальная стена,
Круг новый дантовского ада,
Мое спасенье и отрада,—
Ты все вернула мне сполна.

Наш номер ложный
Ну и что ж!

Центростремительная сила
Моих колес их победила.—
От стенки их не оторвешь.

По совместительству, к несчастью,
Я замещаю зав. литчастью.

СЕРПУХОВ

Прилетела, сердце раня,
Телеграмма из села.
Прощай, Дуня, моя няня,—
Ты жила и не жила.

Паровозов хриплый хохот,
Стылых рельс двойная нить.
Заворачиваюсь в холод,
Уезжаю хоронить.

В Серпухове
на вокзале,
В очереди на такси:
— Не посадим,—
мне сказали,—
Не посадим,
не проси.

Мы начальников не возим.
Наш обычай не таков.
Ты пройдишь-ка пёхом восемь
Километров до Данков...

А какой же я начальник,
И за что меня винить?
Не начальник я —
печальник,
Еду няню хоронить.

От безмерного страданья
Голова моя бела.
У меня такая няня,
Если б знали вы,
Была.

И жила большая сила
В няне маленькой моей.
Двух детей похоронила,
Потеряла двух мужей.

И судить ее не судим,
Что, с землей порвавши связь,
К присоветованным людям
Из деревни подалась.

Может быть, не в этом дело,
Может, в чем-нибудь другом?..
Все, что знала и умела,
Няня делала бегом.

Вот лежит она, не дышит,
Стужей лик покойный пышет,
Не зажег никто свечу.
При последней встрече с няней,
Вместо вздохов и стенаний,
Стиснув зубы — и молчу.

Не скажу о ней ни слова,
Потому что все слова —
Золотистая полóва,
Яровая полóва.

Сами вытащили сани,
Сами лошадь запрягли,
Гроб с холодным телом няни
На кладбище повезли.

¹ Навтлуг — окраинный район Тбилиси.

* * *

Мы под Колпином скопом стоим,
Артиллерия бьет по своим.
Это наша разведка, наверно,
Ориентир указала неверно.

Недолет. Перелет. Недолет.
По своим артиллерия бьет.

Мы недаром присягу давали,
За собою мосты подрывали, —
Из окопов никто не уйдет.
По своим артиллерия бьет.

Мы под Колпином скопом лежим
Мы дрожим, прокопченные дымом.
Надо все-таки бить по чужим,
А она — по своим, по родимым.

Нас комбаты утешить хотят,
Говорят, что нас родина любит.
По своим артиллерия лупит.
Лес не рубят, а щепки летят.

1956

* * *

Одиночество гонит меня
От порога к порогу —
В яркий сумрак огня.
Есть товарищи у меня,
Слава богу!
Есть товарищи у меня!

Одиночество гонит меня
На вокзалы, пропахшие воблой,
Улыбнется буфетчицей доброй,
Засмеется, разбитым стаканом звеня.
Одиночество гонит меня
В комбинированные вагоны,
Разговор затевает
Бессонный,
С головой накрывает,
Как заспанная простыня.

Одиночество гонит меня. Я стою,
Елку в доме чужом наряжая,
Но не радуется радость чужая
Одиночью душу мою.
Я пою.

Одиночество гонит меня
В путь-дорогу,
В сумрак ночи и в сумерки дня.
Есть товарищи у меня,
Слава богу!
Есть товарищи у меня.

* * *

Ах, этот старый анекдот
Опять сегодня в моду входит:
Не этот глобус и не тот
Репатрианту не подходит.

Ах, если б этот лайнер вниз
Пылающий,
В палящем зное,
Сквозь глобус,
Безо всяких виз,
Рванулся в бытие иное.

Ах, как сочится кровь из ран
Души истерзанной и плоти,
Как хорошо лететь в Израиль
На неисправном самолете.

* * *

Строим, строим города
Сказочного роста.
А бывал ли ты когда
Человеком — просто?

Все долбим, долбим, долбим,
Сваи забиваем.
А бывал ли ты любим
И забываем?

ГЕНРИХ РУДЯКОВ

1923—1989

Еще один из «военного поколения». Стихи — из сборника «Николина гора» (М., 1987).

* * *

Когда мой взвод несет потери
И нам нельзя ни шагу вспять,
Я должен знать, кому я верю.
Я должен знать.

Когда снаряды бьют, кромсая,
И головы нельзя поднять,

Я должен знать, кого спасаю.
Я должен знать.

Потом пускай слагают гимны
И безутешно плачет мать.
Я должен знать, за что я гибну.
Я должен знать.

ФЕДОР СУХОВ

1923, с. Красный Оселок Нижегородской губ.—1992

Самородное дарование из приволжского села. Закончил Литинститут. Приведенный фрагмент из его драмы о протопопе Аввакуме.

* * *

(фрагмент)

Я вчера была у кума,
Увидала Аввакума.
Аввакум ходил-похаживал,
Бороду свою показывал.
Борода-то длинным
Раздождилась ливнем,
По всему по раннему
Спящему заречью
Расшумелась бранною,
Непотребной речью.
По такому поводу,
По такому случаю
Никакую бороду
Больше я не слушаю.

БОРИС ЧИЧИБАБИН

р. 1923, Харьков

В 1990 году случилось небывалое: Государственную премию СССР получила книга стихов, изданная автором за собственный счет! Ее автор, поэт из Харькова, всего лишь три года тому назад оставался исключенным из Союза писателей. За что его исключили? Он был мирнейшим человеком и политикой не занимался. Но обладание совестью среди морального разложения невольно становилось политикой. Чичибабин и в сталинское время сидел, а в хрущевское был исключен потому, что, когда затравили до смерти Твардовского в 1971 году, Чичибабин «осмелился» написать поминальные стихи о нем и откровенно сказать о тех, кто его загнал в могилу. После этого 15 лет Чичибабина не печатали, и он работал в бухгалтерии трамвайного парка. Но чем больше проходило времени, тем больше вырастала его фигура. В Швейцарии есть такое место — Брокен, где, чем больше человек подходит к обрыву, тем больше его тень (есть даже такое выражение — брокенская тень). Такую же брокенскую тень отбрасывает и поэт, чем больше он подходит к самому опасному краю пропасти. Страдания увеличивают нас. В поэзии так важно, чтобы дар соединился с судьбой. Чичибабин очень русский. Но в то же время он награжден даром «всемирного всеотклика», по выражению Достоевского, и его стихи поражают проникновением в боль других народов — татарского или еврейского. Он любит родину, но прежде всего служит совести, как родине нравственной. Резолюции, которым он подчиняется, написаны украинским философом-правдоискателем Григорием Сквородой, Толстым, Пастернаком. У Чичибабина такое лицо, какое могло быть у Андрея Рублева. Я знаю Чичибабина уже лет тридцать, и, может быть, это самый хороший человек, который ходит сейчас по земле.

ПРОКЛЯТИЕ ПЕТРУ

Будь проклят, император Петр,
стеливший души, как солону!
За боль текущего былому
пора устроить пересмотр.

От крови пролитой горяч,
будь проклят, плотник саардамский,
крушитель вер, угодник дамский,
печали певческой палач!

Сам брады стриг? Сам главы сек!
Будь проклят, царь-христоубийца,

за то, что кровию упиться
ни разу досыта не смог!

А Русь ушла с лица земли
в тайнохранительные срубы,
где никакие душегубы
ее обидеть не могли.

Будь проклят, ратник сатаны,
смотритель каменной мертвецкой,
кто от нелепицы стрелецкой
натряс в немецкие штаны.

Будь проклят, нравственный урод,
ревнитель дел, громада плоти!
А я служу другой заботе,
а ты мне затыкаешь рот.

Будь проклят тот, кто проклял Русь —
сию морозную Элладу!
Руби мне голову в награду
за то, что с ней не покорюсь.

**ПЕЧАЛЬНАЯ БАЛЛАДА
О ВЕЛИКОМ ГОРОДЕ
НАД НЕВОЙ**

Был город, как соль у России,
чье имя подобно звезде.
Раскатны поля городские,
каких не бывало нигде.

Петр Первый придумал загадку,
да правнуки вышли слабы.
Змея его цапни за пятку,
а он лошака на дыбы.

Над ним Достоевского очи
и Блока безумный приют.
Из белого мрамора ночи
над городом этим плывут.

На смерти настоящий воздух, —
сам знаешь, по вкусу каков, —
хранит в себе строгую поступь
поэтов, царей, смельчаков.

Таит под туманами шрамы,
а море уносит гробы.
Зато как серебряны храмы,
дворцы зато как голубы.

В нем камушки кровью намокли,
и в горле соленый комок.
Он плачет у дома на Мойке,
где Пушкин навеки умолк.

Он медлит у каждого храма,
у мраморных статуй и плит,
открытой строфой Мандельштама
Ахматовой сон веселит.

И, взором полцарства окинув,
он стынет на звонких мостах,
где ставил спектакли Акимов
и множил веселье Маршак.

Под пологом финских туманов
загривки на сфинксах влажны.
Уходит в бессмертье Тынянов,
как шпага уходит в ножны.

Тот город — хранитель богатства,
нет равных ему на Руси,

им можно всю жизнь любоваться,
а жить в нем — Господь упаси.

В нем предала правду ученость
и верность дала перекося,
и горько при жизни еще нас
оплакала Ольга Берггольц.

Грызет ли тоска петербуржцев,
свой гордый покинувших дом,
куда им вовек не вернуться,
прельщенным престольным житьем?

Во гrome и пламени ляснув
над черной, как век, крутизной,
он полон был райских соблазнов,
а ныне он центр областной.

* * *

Сними с меня усталость, мать Смерть.
Я не прошу награды за работу,
но ниспошли остуду и дремоту
на мое тело длинное, как жердь.

Я так устал. Мне стало все равно.
Ко мне всего на три часа из суток
приходит сон, томителен и чуток,
и в сон желанье смерти вселено.

Мне книгу зла читать не вмоготу,
а книга блага вся перелисталась.
О мать Смерть, сними с меня усталость,
покрой рядом худую наготу.

На лоб и грудь дохни своим ледком,
дай отдохнуть светло и беспробудно.
Я так устал. Мне сроду было трудно,
что всем другим привычно и легко.

Я верил в дух, безумен и упрям,
я Бога звал — и видел ад воочью, —
и рвется тело в судорогах ночью,
и кровь из носу хлещет по утрам.

Одним стихам вовек не потускнеть,
да сколько их останется, однако.
Я так устал. Как раб или собака.
Сними с меня усталость, мать Смерть.

1968

ВЕРБЛЮД

Из всех скотов мне по сердцу верблюд.
Передохнет — и снова в путь, навьючась.
В его горбах — угрюмая живучесть,
века неволи в них ее вольют.

Он тащит груз, а сам грустит по сини,
он от любовной ярости вопит.
Его терпенье пестуют пустыни.
Я весь в него — от песен до копыт.

Не надо дурно думать о верблюде.
Его черты брезгливы, но добры.
Ты погляди, ведь он древней домбры
и знает то, чего не знают люди.

Шагает, шею шепота вытягивая,
проносит ношу, царственен и худ, —
песчаный лебедин, печальный работяга,
хорошее чудовище верблюдо.

Его удел — ужасен и высок,
и я б хотел меж розовых барханов,
из-под поклаж с презреньем нежным глянув,
с ним заодно пописать на песок.

Мне, как ему, мой Бог не потакал.
Я тот же корм перетираю мудро,
и весь я есмь моргающая морда,
да жаркий горб, да ноги ходока.

* * *

Кончусь, останусь жив ли, —
чем зарастет провал?
В Игоревом Путивле
выгорела трава.

Школьные коридоры —
Тихие, не звенят...
Красные помидоры
Кушайте без меня.

Как я дожил до прозы
с горькою головой?
Вечером на допросы
водит меня конвой.

Лестницы, коридоры,
хитрые письма...
Красные помидоры
Кушайте без меня.

1946

СОЖАЛЕНИЕ

Я грех свячу тоской.
Мне жалко негодяев —
как Алексей Толстой
и Валентин Катаев.

Мне жаль их пышных дней
и суетной удачи:
их сущность тем бедней,
чем видимость богаче.

Их сок ушел в песок,
чтоб, к веку приспособясь,
за лакомый кусок
отдать талант и совесть.

Их светом стала тьма,
их ладом стала замять,
но им палач — сама
тревожливая память.

Кто знает, сколько раз,
возвышенность утратив,
в них юность отеклась
от воздуха и братьев.

Как страшно быть шутом
на всенародных сценах —
и вызывать потом
безвинно убиенных.

(В них роскошь языка —
натаска водолея —
судила свысока
Платонова Андрея.

О нем, чей путь тернист,
за чаркою растаяв,
«какой же он стилист», —
обмолвился Катаев.)

Мне жаль их все равно.
Вся мера их таланта —
известная давно
словесная баланда.

Им жарко от наград,
но вид у них отечен,
и щеки их горят
от призрачных пощечин.

Я слезы лью о двух,
но всем им нет предела,
чей разложился дух
скорей, чем плоть истлела

и умерло лицо,
себя не узнавая,
под трупною лентой
льстеца и краснойбоя.

* * *

Меня одолевает острое
и давящее чувство осени.
Живу на даче, как на острове,
и все друзья меня забросили.

Ни с кем не пью, не философствую,
забыл и знать, как сердце влюбчиво.
Долбаю землю пересохшую
да перечитываю Тютчева.

В слепую глубь ломлюсь напористой
и не тужу о вдохновении,
а по утрам трясусь на поезде
служить в трамвайном управлении.

В обед слоняюсь по базарам,
где жмот зовет меня папашей,
и весь мой мир засыпан жаром
и золотом листвы опавшей.

Не вижу снов, не слышу зова.
и будням я не вождь, а данник.
Как на себя, гляжу на дальних,
а на себя, как на чужого.

С меня, как с гаврика на следствии,
сползает позы позолота.
Никто ни завтра, ни впоследствии
не постучит в мои ворота.

Я — просто я. А был, наверное,
как все, придуман ненароком.
Все тише, все обыкновеннее
я разговариваю с Богом.

АЛЕКСАНДР ВОЛЬПИН

р. 1924

Сын Сергея Есенина. Крупный математик. Выдающийся шахматист-этюдист. Один из первых диссидентов, говоривший о своем неприятии системы открыто, отчего казался сумасшедшим и беспрестанно попадал в психушки. Опубликовал в 1961 году в Нью-Йорке первую и единственную книжку стихов — «Весенний лист». С 1951 года, по собственному признанию, от поэзии отошел. Уехал в США.

В ЗООПАРКЕ

В Зоопарке, прославленном грозными львами,
Плакал в низенькой клетке живой крокодил.
Надоело ему в его маленькой яме
Вспоминать пирамиды, Египет и Нил.
И увидев меня, пригвожденного к раме,
Он ко мне захотел и дополз до стекла,—
Но сорвался и долго ушибся глазами
О неровные, скользкие стены угла.
...Испугался, беспомощно дрогнув щеками,
Задрожал, заскулил и исчез под водой...
Я слегка побледнел и закрылся руками
И, не помня дороги, вернулся домой.

...Солнце радужно пело, играя лучами,
И меня увлекало игрою своей.
— И решил я заделать окно кирпичами,—
Но распался кирпич от оживших лучей,—
И как прежде с Землей, я порвал с Небесами,
Но решил я не мстить, а спокойно заснул.
И увидел: разбитый, с большими глазами
Задрожал, заскулил и в воде утонул...
...Над домами звыграло вечернее пламя —
А когда, наконец, поглотила их мгла,—
Я проснулся и долго стучался глазами
О холодные, жесткие стены угла..

1941

ЮЛИЯ ДРУНИНА

1925, Москва—1991, Красная Пахра, под Москвой

В 1941 году ушла добровольцем на фронт и до конца 1944-го была батальонным санинструктором. С 1945-го по 1952-й училась в Литинституте. Первый сборник «В солдатской шинели» вышел в Москве в 1948-м. Во время разгрома так называемых космополитов выступила с критикой одного из своих учителей — Павла Антокольского. Была замужем сначала за поэтом Н. Старшиновым, а потом за вернувшимся из лагерей сценаристом Алексеем Каплером, который до войны был арестован за связь с юной Светланой Сталиной против воли ее отца. Каплер умер, оставив Друнину одну. В 1989-м она была избрана народным депутатом СССР. Покончила жизнь самоубийством, переживая распад страны. Ее лучшие стихи остались как бесценные лирические документы, запечатлевшие мужество русских женщин на фронте.

* * *

Я только раз видала рукопашный,
Раз наяву. И тысячу — во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.

1943

ЗИНКА

1

Мы легли у разбитой ели.
Ждем, когда же начнет светлеть.

Под шинелью вдвоем теплее
На продрогшей, гнилой земле.

— Знаешь, Юлька, я — против грусти,
Но сегодня она не в счет.
Дома, в яблочном захолустье,
Мама, мамка моя живет.
У тебя есть друзья, любимый,
У меня — лишь она одна.
Пахнет в хате квашней и дымом,
За порогом бурлит весна.

КОНСТАНТИН ЛЕВИН

1924—1984

Знаменитое стихотворение К. Левина «Нас хоронила артиллерия» ходило по рукам всей литературной Москвы первые послевоенных лет вместе со стихами Наума Коржавина, написанными против Сталина. Левин, элегантный независимый холостяк, жил литературными консультациями, печататься не старался. Перед самой смертью по моей просьбе (Е.Е.) сделал новую, гораздо лучшую редакцию своего шедевра. По мнению Слуцкого — один из лучших поэтов фронтового поколения, запоздало присоединившийся к их плеяде.

* * *

Нас хоронила артиллерия.
Сначала нас она убила.
Но, не гнушаясь лицемерия,
Теперь клялась, что нас любила.

Она выламывалась жерлами,
Но мы не верили ей дружно
Всеми обугленными нервами
В натруженных руках медслужбы.

За нас молились леди Англии
И маркитантки полковые.
Нас интервьюировали б ангелы,
Когда бы были таковые.

Мы доверяли только морфию,
По самой крайней мере — бромю.
А те из нас, что были мертвыми —
Земле, и никому другому.

Тут все еще ползут, минируют
И принимают контрудары.
А там — уже иллюминируют,
Набрасывают мемуары...

И там, вдали от зоны гибельной,
Циклюют и воцат паркеты,
Большой Театр квадригой вздыбленной
Следит салютную ракету.

А там по мановенью файеров
Взлетают стаи лепешинских,
И фары плавают плечи фрайеров
И шубки дамские в пушинках.

Бойцы лежат. Им льет регалии
Монетный двор порой ночью.
Но пулеметы обрыгали их
Блевотиною разрывною!

Один из них, случайно выживший,
В Москву осеннюю приехал.
Он по бульвару брел, как выпивший,
И среди живых прошел, как эхо.

Кому-то он мешал в троллейбусе
Искусственной ногой своею.
Сквозь эти мелкие нелепости
Он приближался к Мавзолею.

Он вспомнил холмики размытые,
Куски фанеры по дорогам,
Глаза солдат, навек открытые,
Спокойным светятся упреком.

На них пилоты с неба рушатся,
Крестами в тучах застревают...
Но не оскудевает мужество,
Как небо не устаревают.

И знал солдат, равны для Родины
Те, что заглотаны войною,
И те, что тут лежат, схоронены
В самой стене и под стеною.

1946—1984

* * *

Сейчас мои товарищи
в Берлине пляшут линду.
Сидят мои товарищи в венгерских кабаках.
Но есть еще товарищи в вагонах инвалидов
С шарнирными коленями и клюшками
в руках.

Сейчас мои товарищи,
комвзводы и комбаты —
У каждого по Ленину и Золотой Звезде —
Идут противотанковой профессии ребята,
Ребята из отчаянного ОИПТД¹
Достали где-то шпоры все,
звенят по Фридрихштрассе,
Идут по Красной площади
чеканным строевым.

А я сижу под Гомелем,
с зубровкой на террасе,
И шлю им поздравления по почтам полевым.

1945

ЛЮБОВЬ КАК САМОЛЮБИЕ

На мысли позорной себя ловлю:
Оказывается — люблю...
Пытаюсь эту мысль отогнать —
Спасаюсь от огня.
Я говорю, что это бред
Поэта в декабре.
Но новый год и даже февраль
Доказывают, что я — враль.
Однако ж сердце твое — не дот?

¹ ОИПТД — огневой истребительный противотанковый дивизион.

Любовь — не анекдот?
 И, к вашему сведению, я не тот,
 Кто знает, что все пройдет.
 Но конкурировать и пламенеть —
 Вот это уж не по мне.
 И путь сопернику уступить —
 Не значит отступить.
 Я буду сторицею награжден
 В апрельский день с дождем:
 В тот день я увижу тебя с ним вдвоем!
 И встретятся серые наши глаза —
 И их отвести нельзя.
 И выдадут руки твои тебя,
 Плащ затеребят.
 И выдавят вздох пресловутый любви
 Правдивые губы твои.
 Злораден и мелочно-самолюбив,
 Пройду я, улыбки не скрыв.

1945

* * *

Был я хмур и зашел в ресторан «Кама».
 А, зашел почему — проходил мимо.
 Там оркестрик играл, и одна дама
 Все жрала и жрала посреди дыма.

Я зашел, поглядел, заказал, выпил,
 Посидел, погулял, покурил, вышел.
 Я давно из игры из большой выбыл
 И такую ценой на хрена выжил...

1969

* * *

Обмылок, обсевок, огарок,
 А все-таки в чем-то силен,
 И твердые губы дикарок
 Умеет расплавливать он.

Однажды добравшись до сути,
 Вполне оценив эту суть,
 Он женщиной вертит и крутит,
 Уж ты ее не обессуди.

Ей плохо. И надо забыться
 И освободиться от схим
 С чинушею ли с борзописцем
 Иль с тем шоферюгой лихим,

Иль с этим, что, толком не глянув,
 Рванулся за нею вослед.
 Он худший из донжуанов,
 Да, видимо, лучшего нет.

И вот уже дрогнули звенья:
 Холодный азарт игрока,
 И скука, и жажда забвенья,
 И темное чудо греха.

1960-е

* * *

Полуувядшие кокетки:
 Бороздки острые у губ,
 Не расчехляются ракетки,
 За шкаф упрятан хула хуп.

Сбрехали, стало быть, цыганки,
 Сошел туман с туристских троп,
 И о театре на Таганке
 Иссяк великосветский треп.

Как вы хулили и хвалили!
 В глазах безуминки огни.
 Но что Пикассо, где Феллини?
 Предательски не помогли.

Жить, вспоминая и итожа,
 Жестокий, в сущности, закон.
 А он, опора и надежда,
 Друг, утешитель, что же он?

Он вдруг смекнул, что скоро в ящик,
 И сумрачен, как троглодит,
 Он на дразнящих, на летящих;
 На тонких девочек глядит.

Еще он хватит с ними горя,
 Зато сегодня — горячо!
 Ходи земля, раздайся море,
 Он потягается еще!

А вы? Возвысьтесь и простите,
 Руками в тишине хрустите,
 Ведите дом, детей растите,
 Скажите тихие слова:
 «Ну да, конечно». Черта с два!

Сорокасильные моторы
 Запели в боевых грудях:
 И вертихвостки и матроны —
 Ораторы на площадях.

Разбудоражены все дали,
 Все родственные очаги,
 И до отказа все педали,
 Рубильники и рычаги.

Расседлан и неосторожен,
 Разнузданный, пасется он.
 Но — заарканен и стреножен,
 И посрамлен, и возвращен.

Он в рюмку узкую глядится,
 Беседует полумертво,
 И солнце красное садится,
 Как и встает, не для него.

О, как потеряно и тихо
 Вы шепчете, отбросив спесь:
 «Ну, хорошо, но где же выход?»
 А кто сказал, что выход есть?

1970-е

* * *

Чему и выучит Толстой,
Уж как-нибудь отучит Сталин.
И этой практикой простой
Кто развращен, а кто раздавлен.

Но все-таки, на чем и как
Мы с вами оплошали, люди?
В чьих только ни были руках,
Все толковали о врагах
И смаковали впопыхах
Прописанные нам пилюли...

Ползет с гранатой на дот
Малец, обструганный, ушастый.
Но он же с бодрецей пройдет
На загородный свой участок.

Не злопыхая, не ворча,
Яишенку сжевав под стопку,
Мудрует возле «Москвича»,
Живет вольготно и неробко.

Когда-то, на исходе дня,
Он, кровь смешав с холодным потом,
Меня волок из-под огня...
Теперь не вытащит, не тот он.

И я давно уже не тот:
Живу нестрога, спорю тускло,
И на пути стоящий дот
Я огибаю по-пластунски.

1970-е

* * *

Как ни обкладывали медицину
Мои начальники Монтень с Толстым,
Нам ухарство такое не по чину,
А им — простим.

К ее ножам, лучам и химикатам
Забарахлившую толкаю плоть.
И помоги нам, атом,
И — не оставь, господь.

А ежели не кинешь мне удачу,
Не отведешь беду,
Не прокляну, не возропщу и не восплачу,—
Руками разведу.

1983

ПАМЯТИ МАНДЕЛЬШТАМА

Перечитываю Мандельштама,
А глаза отведу, не солгу —
Вижу: черная мерзлая яма
С двумя зэками на снегу.

Кто такие? Да им поручили
Совершить тот нехитрый обряд.
Далеко ж ты улегся в могиле
От собратьев, несчастный собрат,

От огней и камней петроградских,
От Москвы, где не скучно отнюдь:
Можно с Блюмкиным было задраться,
Маяковскому сухо кивнуть.

Можно было... Да только на свете
Нет уже ни того, ни того.
Стала пуля, наперсница смерти,
Шуткой чуть ли не бытовой.

Можно было, с твоей-то сноровкой,
Переводы тачать и тачать.
И рукой, поначалу лишь робкой,
Их толкать, наводняя печать.
Черепной поработать коробкой
И возвышенных прав не качать.

Можно было и славить легонько,
Кто ж дознается, что там в груди?
Но поэзия — не велогонка,
Где одно лишь: держись и крути.

Ты не принял ведущий наш метод,
Впалой грудью рванулся на дот,
Не свихнулся со страху, как этот,
И не скурвился сдуру, как тот.

Заметался горящею тенью,
Но спокойно сработало зло.
И шепчу я в смятенном прозреньи:
— Как же горько тебе повезло —

На тоску, и на боль, и на силу,
На таежную тишину,
И, хоть страшно сказать, на Россию,
А еще повезло — на жену.

1980-е

БУЛАТ ОКУДЖАВА

р. 1924, Москва

Отец, грузин, крупный партийный работник, погиб в 1937 году. Мать, армянка, попала в лагерь, реабилитирована в 1955-м. Добровольцем ушел на фронт прямо из школы в 1942-м. Учился на филфаке Тбилисского университета. Работал учителем русского языка и литературы в Калужской области. Первая книга, очень слабая, вышла в Калуге в 1958 году. Популярность пришла к нему, когда он взял в руки гитару и начал петь под собственную несложную, однако очень мелодичную, запоминающуюся музыку свои стихи. Вскоре их пели по всему Советскому Союзу в студенческих и рабочих общежитиях, и официально невыпущенные пластинками песни в исполнении самого Окуджавы расходились, видимо, в сотнях тысяч нелегальных копий на пленках. Окуджава — прародитель впоследствии довольно мощного движения бардов в СССР, среди которых затем появились такие прославленные поэты-певцы, как А. Галич и В. Высоцкий. Но все-таки, на мой взгляд, прародитель выше всех своих потомков, ибо никто из них не был так тонок в тексте и разнообразен в мелодиях. Песни Окуджавы ценил за их музыкальную феноменальную запоминаемость Шостакович. Окуджава получил премию «Золотой диск» фирмы «Гомон» во Франции. Он также автор нескольких весьма любопытных прозаических произведений: «Будь здоров, школяр» (1961), «Бедный Авросимов» (1969), «Мерси, или Похождения Шипова» (1971), «Путешествие дилетантов» (1978). Общественно-литературная репутация Окуджавы безукоризненная — он много раз выступал в защиту диссидентов, против многих несправедливостей. Будучи однажды почти исключенным из партии, Окуджава в конце концов из нее вышел, что было для него естественным завершением этого вынужденного политического брака. Когда-то я о нем написал так: «Простая песенка Булата — всегда со мной. Она ни в чем не виновата перед страной».

ПОЛНОЧНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС

Когда мне невмочь пересилить беду,
когда подступает отчаянье,
я в синий троллейбус сажусь на ходу,
в последний,
в случайный.

Полночный троллейбус, по улице мчи,
верши по бульварам круженье,
чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи
крушенье,
крушенье.

Полночный троллейбус, мне дверь отвори!
Я знаю, как в зябкую полночь
твои пассажиры — матросы твои —
приходят
на помощь.

Я с ними не раз уходил от беды,
я к ним прикасался плечами...
Как много, представьте себе, доброты
в молчанье,
в молчанье.

Полночный троллейбус плывет по Москве,
Москва, как река, затухает,
и боль, что скворчком стучала в виске,
стихает,
стихает.

1957

* * *

Мне нужно на кого-нибудь молиться.
Подумайте, простому муравью
вдруг захотелось в ноженьки валиться,
поверить в очарованность свою!

И муравья тогда покой покинул,
все показалось будничным ему,
и муравей создал себе богиню
по образу и духу своему.

И в день седьмой, в какое-то мгновенье,
она возникла из ночных огней
без всякого небесного знаменья...
Пальтишко было легкое на ней.

Все позабыв — и радости и муки,
он двери распахнул в свое жилье
и целовал обветренные руки
и старенькие туфельки ее.

И тени их качались на пороге.
Безмолвный разговор они вели,
красивые и мудрые, как боги,
и грустные, как жители земли.

1959

* * *

Г. В.

Тьмою здесь все занавешено
и тишина, как на дне...
Ваше величество, женщина,
да неужели — ко мне?

Тусклое здесь электричество,
с крыши сочится вода.
Женщина, ваше величество,
как вы решились сюда?

О, ваш приход — как пожарище.
Дымно, и трудно дышать...
Ну, заходите, пожалуйста.
Что ж на пороге стоять?

Кто вы такая? Откуда вы?!
 Ах, я смешной человек...
 Просто вы дверь перепутали,
 улицу, город и век.

1960

РАЗМЫШЛЕНИЯ ВОЗЛЕ ДОМА,
 ГДЕ ЖИЛ ТИЦИАН ТАБИДЗЕ

Берегите нас, поэтов. Берегите нас.
 Остаются век, полвека, год, неделя, час,
 три минуты, две минуты, вовсе ничего...
 Берегите нас. И чтобы все — за одного.

Берегите нас с грехами, с радостью и без.
 Где-то, юный и прекрасный, ходит наш
 Дантес.

Он минувшие проклятья не успел забыть,
 но велит ему призыванье пулю в ствол забить.

Где-то плачет наш Мартынов, поминает
 кровь.

Он уже убил однажды, он не хочет вновь.
 Но судьба его такая, и свинец отлит,
 и двадцатое столетье так ему велит.

Берегите нас, поэтов, от дурацких рук,
 от поспешных приговоров, от слепых подруг.
 Берегите нас, откуда можно уберечь.
 Только так не берегите, чтоб костыми
 нам лечь.

Только так не берегите, как борзых — псари!
 Только так не берегите, как псарей — цари!
 Будут вам стихи и песни, и еще не раз...
 Только вы нас берегите. Берегите нас.

* * *

Оле

Я никогда не витал, не витал
 в облаках, в которых я не витал,
 и никогда не видал, не видал
 городов, которых я не видал.
 И никогда не лепил, не лепил
 кувшин, который я не лепил,
 и никогда не любил, не любил
 женщин, которых я не любил...
 Так что же я смею?

И что я могу?

Неужто лишь то, чего не могу?
 И неужели я не добегу
 до дома, к которому я не бегу?
 И неужели не люблю
 женщин, которых не люблю?
 И неужели не разрублю
 узел, который не разрублю,
 узел, который не развяжу
 в слове, которого я не скажу,

в песне, которую я не сложу,
 в деле, которому не послужу,
 в пуле, которую не заслужу?..

1962

КАК Я СИДЕЛ В КРЕСЛЕ ЦАРЯ

Век восемнадцатый.
 Актеры
 играют прямо на траве.
 Я — Павел Первый,
 тот, который
 сидит России во главе.

И полонезу я внимаю,
 и головою в такт верчу,
 по-царски руку поднимаю,
 но вот что крикнуть я хочу:

«Срывайте глупые наряды!
 Презренье хрупким каблукам...
 Я отменяю все парады...
 Чешите все по кабакам...
 Напейтесь все,
 переженитесь
 кто с кем желает,
 кто нашел...»

А ну, вельможи, оглянитесь!
 А ну-ка денежки на стол!..»
 И золотую шпагу нервно
 готовлюсь выхватить, грозя...
 Но нет, нельзя.

Я ж — Павел Первый.
 Мне бунт устраивать нельзя.

И снова полонеза звуки.
 И снова крикнуть я хочу:
 «Ребята,
 наострите руки,
 вам это дело по плечу:
 смахнем царя... Такая ересь!
 Жандармов всех пошлем к чертям —
 мне самому они приелись...
 Я поведу вас сам...
 Я сам...»

И золотую шпагу нервно
 готовлюсь выхватить, грозя...
 Но нет, нельзя.
 Я ж — Павел Первый.
 Мне бунт устраивать нельзя.

И снова полонеза звуки.
 Мгновенье — и закричу:
 «За вашу боль, за ваши муки
 собой пожертвовать хочу!
 Не бойтесь,
 судей не жалеите,
 иначе —
 всем по фонарю.
 Я зрю сквозь целое столетье...
 Я знаю, что я говорю!»

И золотую шпагу нервно
готовлюсь выхватить, грозя...
Да мне же нельзя.

Я — Павел Первый.

Мне бунт устраивать нельзя.

1962

В ГОРОДСКОМ САДУ

Круглы у радости глаза и велики у страха,
и пять морщинок на челе
от празднеств и обид...
Но вышел тихий дирижер,
но заиграли Баха,
и все затихло, улеглось и обрело
свой вид.

Все встало на свои места,
едва сыграли Баха...
Когда бы не было надежд —
на черта белый свет?
К чему вино, кино, пшено,
квитанции Госстраха
и вам — ботинки первый сорт, которым
сносу нет?

«Не все ль равно: какой земли касаются
подолы?
Не все ль равно: какой улов из волн несет
рыбак?
Не все ль равно: вернешься цел
или в бою падешь ты,
и руку кто подаст в беде — товарищ
или враг?..»

О, чтобы было все не так,
чтоб все иначе было,
наверно, именно затем, наверно, потому
играет будничные оркестры привычно
и вполсилы,
а мы так трудно и легко
все тянемся к нему.

Ах, музыкант, мой музыкант, играешь,
да не знаешь,
что нет печальных, и больных,
и виноватых нет,
когда в прокуренных руках
так просто ты сжимаешь,
ах музыкант мой, музыкант,
черешневый кларнет!

1963

МОЛИТВА

Пока Земля еще вертится,
пока еще ярок свет,
Господи, дай же ты каждому,
чего у него нет:

мудрому дай голову,
трусливому дай коня,
дай счастливому денег...
И не забудь про меня.

Пока Земля еще вертится,—
Господи, твоя власть! —
дай рвущемуся к власти
навластвоваться всласть,
дай передышку щедрому,
хоть до исхода дня,
Каину дай раскаяние...
И не забудь про меня.

Я знаю: ты все умеешь,
я верую в мудрость твою,
как верит солдат убитый,
что он проживает в раю,
как верит каждое ухо
тихим речам твоим,
как веруем и мы сами,
не ведая, что творим!

Господи мой боже
зеленоглазый мой!
Пока Земля еще вертится,
и это ей странно самой,
пока ей еще хватает
времени и огня,
дай же ты всем понемногу...
И не забудь про меня.

1963

* * *

Не верю в бога и судьбу.
Молюсь прекрасному и высшему
предназначенью своему,
на белый свет меня явившему...
Чванливы черти, дьявол зол,
бездарен бог — ему не может...
О, были б помыслы чисты!
А остальное все
приложится.

Верчусь, как белка в колесе,
с надеждою своею за пазухою,
ругаюсь, как мастеровой,
— то тороплюсь, а то запаздываю.
Покуда дремлет бог войны —
печет пирожное пирожница...
О, были б небеса чисты!
А остальное все
приложится.

Молюсь, чтоб не было беды,
и мельнице молюсь,
и мельнице,
воде простой, когда она
из золотого крана вырвется,
молюсь, чтоб не было разлук,
разрух,
чтоб больше не тревожиться

О, руки были бы чисты!
А остальное все приложится.

ПЕСЕНКА СОЛДАТА

Итак, вручили мне шинель и каску,
в защитную окрашенные краску.

Ударю шаг по улочкам горбатым —
как просто быть солдатом, солдатом!

И никакой теперь уже заботы —
не надо ли зарплаты, ни работы!

Иду себе, играю автоматом.
Как просто быть солдатом, солдатом!

А если что не так — не наше дело.
Как говорится, родина велела.

Как просто быть ни в чем не виноватым,
совсем простым солдатом, солдатом...

НИКОЛАЙ ПАНЧЕНКО

р. 1924

Фронтовик. Окончил Калужский учительский институт и московскую партшколу. Известность ему принесла «Баллада о расстрелянном сердце», написанная в 1944 году.

* * *

Страна лесов,
Страна полей,
Упадков и расцветов,
Страна сибирских соболей
И каторжных поэтов.

Весь мир хранит твои меха.
Но паче — дух орлиный:
Он знает стоимость стиха
И шкурки соболиной.

И только ты, страна полей,
Предпочитаешь сдуру
Делам своих богатырей
Их содранную шкуру.

1949

ИГОРЬ РИНК

1924, Ленинград — 1988

Во время войны был разведчиком в тылу врага, словом, Штирлиц, писавший стихи. Об этом и выбранное нами стихотворение.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

Я помню смрад полуподвала
И пьяный гитлеровский сброд.
Там пара немков танцевала
Эпилептический фокстрот.

И просто можно было фрейлейн,
Как кружку пива, заказать,
И к пьяным крикам —
«Кельнер, цайлен!» —
Официант летел опять.

И, в дружбе мне клянясь до гроба —
А в гроб давно ему пора, —
Сидит штабной пехотный оберст
Со мною рядом до утра.

Но мы еще не рассчитались
За это пиво и вино,
За ваше «Дойчланд юбер аллес»,
За все, что помнить нам дано.

Ты пьешь, ты под одною крышей
Со мной встречаешь Новый год.
И только завтра я услышу
Твое последнее «Майн готт!».

А послезавтра в этой яме
Я буду петь фашистский гимн
И пить с твоими же друзьями —
Справлять поминки по другим.

И не узнают до рассвета,
 Что их окончены пути,
 Что пробил час,
 Что песня спета,
 Что им от пули не уйти.

Что пробует курок взведенный
 На парабеллуме рука,
 Что мне германские погоны
 Даны
 приказом
 РККА!

ВАДИМ СИДУР

1924—1986

Замечательно талантливый скульптор, работавший вместе с Лемпертом и Силисом. Именно в его мастерской я впервые встретился с Шукшиным, так описав эту встречу в стихотворении «Галстук-бабочка»: «Грязный скульпторский подвал. Три бутылки наповал. Закусь — килька с тюлькой. Крик: «Ты «бабочку» сыми. Ты со станции Зимы, а с такой фитюлькой!» А монументальные работы установлены на площадях Германии, хотя Сидур и не уезжал из России. Его выставки проходили в США, Великобритании, Дании и многих других странах. Прошел войну — видимо, это несколько сократило отпущенные ему годы, ибо умер он в расцвете сил. Всю жизнь писал стихи, которые были собраны в книгу, изданную лишь в 1990 году, — «Самая счастливая осень».

* * *

Четверть века
 Стригу семнадцатилетнюю
 Юлю
 Когда-то отрезал ее косички
 Теперь подравниваю челку
 Подрезаю отросшие пряди
 Потом она моет голову
 А я подметаю
 Неужели это ее седые волосы
 Лежат на полу.

ВЛАДИМИР СОЛОУХИН

р. 1924, с. Алепино Владимирской обл.

Родился в крестьянской семье. Во время Второй мировой войны служил в охране Кремля. Зимой 1942 года Черчилль, увидя краснощекое красноармейца, улетающего мороженое, воскликнул: «Народ, который ест мороженое при температуре минус сорок, непобедим!» Говорят, что этим красноармейцем был Солоухин. В 1946-м поступил в Литинститут. Подвергаясь критике сам за «упадочные тенденции» во время так называемой борьбы с космополитизмом, критиковал стихи некоторых товарищей по общежитию, в частности Поженяна. Обращался с гневной филиппикой по адресу Уэллса, не разглядевшего в книге «Россия во мгле» огни будущей электрификации: «А о Марсе — мечтать. Мы мечтаем о нем. Коммунистам — и это не область фантазий!» В 1955 году критиковал составителя этой антологии, советуя ему сначала изучить марксизм, а уж потом разъезжать по заграницам. Тем не менее стал одним из первых советских «деревенщиков», напечатав дневниковую книгу «Владимирские проселки», где с неподдельной болью заговорил о разрушенной коллективизацией русской деревне. Либеральная интеллигенция встретила эту книгу с воодушевлением. Однако в 1958 году кремлевский охранник снова проснулся в груди страдальца за русское крестьянство, и Солоухин присоединился к травле Б. Пастернака за роман «Доктор Живаго». Большинство книг Солоухина защищает русскую национальную культуру и ее сокровища: «Письма из Русского музея» (1966), «Черные доски» (1969). Эволюционируя от психологии кремлевского охранника к ярости крайнего антикоммуниста, Солоухин постепенно превратился в непримиримого врага Ленина, до чего не дошел Уэллс, с мягкой насмешливостью называвший Ленина всего-навсего «кремлевским мечтателем». Несмотря на очевидную идейную националистичность, Солоухин как поэт перешел к упражнению в откровенно западническом верлибре. Но мне лично гораздо больше нравятся его более ранние стихи — они были естественней. Такая незаурядная противоречивая личность, как Солоухин, отражает противоречия российского общества, и невольно вспоминаются слова: «Широк русский человек — неплохо бы его сузить...»

ПОГИБШИЕ ПЕСНИ

Я в детстве был большой мастак
 На разные проказы,
 В леса, в непуганых местах
 По птичьим гнездам лазал.

Вихраст, в царапинах всегда
 И подпоясан лычкой,
 Я брал из каждого гнезда
 На память по яичку.

Есть красота своя у них:
И у скворцов в скворечне
Бывают синими они,
Как утром небо вешнее.

А если чуточку светлей,
Величиной с горошину, —
Я знал, что это соловей,
И выбирал хорошее!

А если луговка — у той
Кругом в зеленых точках.
Они лежат в траве густой,
В болотных рыхлых кочках...

Потом я стал совсем большим
И стал любить Ее.
И я принес ей из глуши
Сокровище свое.

В хрустальной вазе на комод
Они водружены.
В большом бестрепетном трюмо
Они отражены.

Роса над ними не дрожит,
Как на лугу весеннем.
Хозяйка ими дорожит
И хвалится соседям.

А я забуду иногда
И загорю снова:
Зачем принес я их сюда
Из детства золотого?

Дрожат над ними хрустали,
Ложится пыль густая,
Из них ведь птицы быть могли,
А птицы петь бы стали!

* * *

Дуют метели, дуют,
А он от тебя ушел...
И я не спеша колдую
Над детской твоей душой.

Нет, я не буду спорить,
Делать тебе больней.
Горе, большое горе
Скрылось в душе твоей.

В его задекабрьском царстве
Птицам петь не дано...
Но моего знахарства
Вряд ли сильнее оно.

Мне не унять метели,
Не растопить снега...

Но чтобы птицы пели —
Это в моих руках.

Прежнего, с кем рассталась,
Мне не вернуть никак...
Но чтобы ты смеялась —
Это в моих руках!

ВОЛКИ

Мы — волки,
И нас
По сравненью с собаками
Мало.
Под грохот двустволки
Год от году нас
Убывало.

Мы как на расстреле
На землю ложились без стопа.
Но мы уцелели,
Хотя и живем вне закона.

Мы — волки, нас мало,
Нас, можно сказать, — единицы.
Мы те же собаки,
Но мы не хотели смириться.

Вам блюдо похлебки,
Нам проголодь в поле морозном,
Звериные тропки,
Сугробы в молчании звездном.

Вас в избы пускают
В январские лютые стужи,
А нас окружают
Флажки роковые все туже.

Вы смотрите в щелки,
Мы рыщем в лесу на свободе.
Вы в сущности — волки,
Но вы изменили породе.

Вы серыми были,
Вы смелыми были вначале.
Но вас прикормили,
И вы в сторожей измельчали.

И льстить и служить
Вы за хлебную корочку рады,
Но цепь и ошейник
Достойная ваша награда.

Дрожите в подклети,
Когда на охоту мы выйдем.
Всех больше на свете
Мы, волки, собак ненавидим.

НИКОЛАЙ СТАРШИНОВ

р. 1924, Москва

Прошел войну, первую книгу («Друзьям») издал в 1951 году, а к моменту, когда окончил Литературный институт (1965), выпустил уже седьмую книгу; сейчас их — больше двух десятков. Известен как прозаик, драматург, переводчик и доброжелательный редактор, а в последние годы завоевала широчайшую известность его уникальная коллекция неподцензурных частушек.

* * *

Ракет зеленые огни
По бледным лицам полоснули.
Пониже голову пригни
И, как шальной, не лезь под пули.

Приказ: «Вперед!»
Команда: «Встать!»
Опять товарища бужу я.
А кто-то звал родную мать,
А кто-то вспоминал — чужую.

Когда, нарушив забытье,
Орудия заголосили,
Никто не крикнул: «За Россию!..»

А шли и гибли
За нее.

1944

ВИКТОР УРИН

р. 1924

Один из наиболее шумных в свое время поэтов военного поколения. Импровизатор, долгое время выступавший с экспромтами на задаваемые публикой темы. На своем автомобиле проделал путешествие от Москвы до Камчатки; выпустил в СССР множество сборников, печатался на первой полосе «Правды», затем неожиданно для всех эмигрировал в США, где издал многотомное собрание своих стихов за полвека (1938—1988).

* * *

Ах, Майка в майке, — это пахнет летом, —
когда ты к ней приходишь за советом,
И камешки в окно ее бросая,
ты ждешь, когда она сбежит с крыльца.
Ты так и знал: в оранжевой косынке
она сбегает, растолкав дождевики,
загадочная, легкая, такая,
как книга без начала и конца.
Что было раньше и что будет позже,
она тебе не скажет — и похоже,
тебе стоять, промокшему до нитки,
стоять тебе растерянному впредь.
А что если — схватить ее на руки,
и побежать, марая в лужах брюки,
и, в радугу ворвавшись из калитки,
от счастья и от смеха — умереть?
Я вспомнил это, потому что снова
порывы ветра и дождя лесного,

и у меня в землянке между бревен
она на фотографии легка.
Как и тогда — в оранжевой косынке,
как и тогда — прозрачные дождевики
на волосы, на щеки и на брови
упали в беспорядке с потолка.
Меня война взяла на срок немалый,
и что с того, что я — солдат бывалый?
Ведь пуля столько раз подстерегала,
и верной смерти не преодолеть...
Но если не убьют меня, то все же,
мне хочется, чтоб дождь хлестал по коже,
чтобы опять — во что бы то ни стало —
от счастья и от смеха умереть!

МЕД

Ботинки выпачканы грязью,
мы шли как будто бы во сне,
как будто все это в рассказе,

а не в действительной войне.
Седьмые сутки пот с лица,
и нет огней, и нет конца.

В селе сожженном был привал...
Как долго взвод не отдыхал!
В полуразрушенный подвал
вошли — и сразу наповал.
Красноармейский сон короткий,
он как дыхание в бою,
как от пилотки до пилотки,
когда бойцы стоят в строю.

А утром грели кипятком
(гори же, мой костер, гори...),
худеет вещевого мешок,
и на исходе сухари.
Но вдруг усталый помкомвзвод,
шатая бочку взад-вперед,
как гукнет нас, как позовет:
— Ребята, мед!
Ей-богу, — мед!

К нему со всех сторон бегом,
помятой каской, котелком
мы черпали наперебой —
тягучий, свежий, золотой.

Глотаем за глотком глоток, —
сухой кадык, как поплавок...
Отведали ребята мед,
хороший мед, толковый мед!

И с этих пор закон у нас
на добрый и недобрый час,
что, если мед солдата спас,
солдат должен иметь запас!

Под буйный перебах зениток
гвардейский подавай напиток,
живительной прохлады слиток,
чтобы хватало, чтоб избыток
бутылкам бултыхался вбок,
сбиваясь в бархатный клубок,
чтоб пить по поводу и без,
чтоб на дороге фронтовой
во фляге чувствовали все
тягучий, свежий, золотой, —
хороший мед, толковый мед!
Кто не был там, тот не поймет,
как в руки те из этих рук
бутыль вальсирует вокруг
и пьет товарищ политрук,
суровый, откровенный друг!..

Бывает, вспомнится порой
и лес с растрепанной листвой,
и ствол с оторванной корой,
а в нем дупло и дым сырой,
и как кружится вперевой
над ним пчелиный, рыжий рой,

сердитый рой, картавый рой
над ним кружится вперевой.

И я не знаю: может быть,
в лесах, где мед дышал в дупле,
учились родину любить,
учились присягать земле
те, кто сегодня бережет
в промятых флягах русский мед.
Был бой, и нет.
Но будет снова.
Между боями — до и от... —
поэт окопный просит слово,
и, опершись на пулемет,
мы слушали и пили мед!

В поход с собою мед бери,
хороший мед, толковый мед.
Кто не был там, тот не поймет,
что пробки вылетают пулей
одновременно, словно улей, —
так пейте же, богатыри!

О нас в народе сложат саги,
как мы из пехотинской фляги
в дни горя, дружбы и отваги
хлебнули беспощадной влаги,
медовой влаги, буйной влаги!

1944

ЛИДКА

Леону М. Дондышу

Оборвалась нитка — не связать края,
До свиданья, Лидка, девочка моя.
Где-то и когда-то посреди зимы
Горячо и свято обещали мы:
Мол, любовь до гроба будет все равно,
Потому что оба мы с тобой одно.
Помнишь ли, родная, школьный перерыв,
Зимнюю дорожку и крутой обрыв?
Голубые комья, сумрачный квартал,
Где тебя тайком я в губы целовал?
Там у снежной речки я обнял сильней
Худенькие плечики девочки своей.

Было, Лидка, было, а теперь — нема...
Все позаносила новая зима.
Ах какое дело! Юность пролетела.
Лидка, ты на фронте, там, где ты хотела...

Дни идут окопные, перестрелка, стычки...
Ходят расторопные девушки-медички.
Тащат, перевязывают, поят нас водой.
Что-то им рассказывает парень фронтовой.

Всюду страх и смелость, дым, штыки и каски.
Ах как захотелось хоть немножко ласки,
Чтоб к груди прильнули, чтоб обняться тут...
Пули — это пули, где-нибудь найдут.
Что ж тут церемониться! Сердце на бегу
Гонится и гонится — больше не могу.

Созрели слезы с яблоко-дичок.
 О чем она,
 молоденькая,
 плакала?
 Зачем,
 к вискам ладошки приложив?
 Ведь мы сияли,
 словно шашки наголо,
 Голубизною обнаженных жил.
 Еще ни шрамов,
 ни отметин белых

На грубоватой коже не видать,
 Еще,
 родная,
 трое суток целых
 Постукивать по стыкам поездам.
 Гадать не станем.
 И к чему гаданье?
 Ладошки белые ты убери с висков,—
 Пришли к тебе на первое свиданье
 Четыре тыщи голых мужиков.

КОНСТАНТИН БОГАТЫРЕВ

1925, Прага—1976, Москва

Сын знаменитого фольклориста П. Г. Богатырева. Во время войны служил в действующей армии. После демобилизации стал изучать германистику в Москве. Был обвинен после тоста за Россию без упоминания Сталина, в попытке взорвать Кремль и приговорен в 1951 году к смертной казни. Она была заменена на 25 лет строгого режима. Реабилитирован в 1956 году. Переводил Рильке, Кестнера, написал работу о Т. Манне. Дружил с Сахаровым, участвовал в правозащитном движении. Был зверски избит неизвестными лицами в подъезде,— может быть, по заданию КГБ. Вряд ли они хотели его убить, но подорванное тюрьмами здоровье не вынесло побоев. Чистейший русский интеллигент, не отделявший культуру от совести. Приводимое стихотворение читал на похоронах Б. Пастернака.

ПАМЯТИ ПАСТЕРНАКА

Когда ушел из повседневья
 Его единственный герой —
 Мое пристанище в кочевье,
 Ковчегом плившее со мной.
 Когда земное притяженье
 Навеки потеряло смысл
 И космонавты, в подтвержденье,
 По центрифугам разбрелись,—
 Хоть центрифуга — не примета:
 Он тоже ей отмечен был,

Когда на старте два поэта
 Померились размахом крыл,—
 Когда он на одном дыханье
 Закончил юности полет —
 Единственное оправданье
 Существованию вперед,—
 Тогда прислушиваясь к морю,
 Как пограничник на посту,
 Я узнавал в нем твердь подпорья,
 Его вознесшего к Христу.

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

Москва, 1925

Сын инженера, служил в конце войны сержантом десантных частей. Непритязательное, нежное стихотворение «Мальчишка» вместе с винокуровским «Гамлетом» в 1951 году выглядело как восстание лирики за право на существование, отобранное у нее индустриально-колхозной риторикой. Поэзия, после разгрома лирики ждановскими постановлениями, начала потихоньку возвращаться от плакатности к человечности. Для того времени это было новаторство. Поэзия Ваншенкина глядела на жизнь «прилежными глазами», уважая в ней не абстрактные политические символы, а милые детали, без которых жизни бы не было. Ваншенкин никогда не щеголял техникой стиха, но великолепно овладел ассонансной рифмовкой, разработанной следующим поколением. По всей стране больше двух десятилетий звучала его песня на музыку Колмановского «Я люблю тебя, жизнь» в неповторимом исполнении Марка Бернеса. Песня «За окошком свету мало» стала народной, как и песня на слова безвременно ушедшей жены Ваншенкина Инны Гофф «Русское поле». Проза Ваншенкина прочна, добротна, как и его стихи. Первый, кто разглядел, что строчки Маяковского «партия и Ленин — близнецы-братья» — нонсенс, ибо партия женского рода.

МАЛЬЧИШКА

Инне

Он был грозой нашего района,
 Мальчишка из соседнего двора,

И на него с опаской, но влюбленно
 Окрестная смотрела детвора.

Она к нему пристрастие имела,
 Поскольку он командовал везде,

А плоский камень так бросал умело,
Что тот, как мячик, прыгал по воде.

В дождливую и ясную погоду
Он шел к пруду, бесстрашный, как всегда,
И посторонним не было прохода,
Едва он появлялся у пруда.

В сопровожденье преданных матросов,
Коварный, как пиратский адмирал,
Мальчишек бил, девчат таскал за косы
И чистые тетрадки отбирал.

В густом саду устраивал засады,
Играя там с ребятами в войну.
И как-то раз увидел он из сада
Девчонку незнакомую одну.

Забор вокруг сада был довольно ветхий —
Любой мальчишка в дырки проходил, —
Но он, как кошка, прыгнул прямо с ветки
И девочке дорогу преградил.

Она пред ним в нарядном платье белом
Стояла на весеннем ветерке
С коричневым клеенчатым портфелем
И маленькой чернильницей в руке.

Сейчас мелькнут разбросанные книжки —
Не зря ж его бояться, как огня...
И вдруг она сказала: — Там мальчишки...
Ты проводи, пожалуйста, меня...

И он, от изумления немея,
Совсем забыв, насколько страшен он,
Шагнул вперед и замер перед нею,
Ее наивной смелостью сражен.

А на заборе дряхлом, повисая,
Грозя сломать немедленно его,
Ватага адмиральская босая
Глядела на героя своего.

...Легли на землю солнечные пятна.
Ушел с девчонкой рядом командир.
И подчиненным было непонятно,
Что это он из детства уходил.

1951

ЖЕНЬКА

Стоит средь лесов деревенька.
Жила там когда-то давненько
Девчонка по имени Женька.

Мальчишечье имя носила,
Высокие травы косила,
Была в ней веселая сила.

Завыли стальные бураны,
Тень крыльев легла на поляны.
И Женька ушла в партизаны.

В секрете была и в засаде,
Ее уважали в отряде,
Хотели представить к награде.

Бывало, придет в деревеньку,
Мать спросит усталую Женьку:
— Ну как ты живешь?
— Помаленьку...

Пошли на заданье ребята.
Ударила вражья граната.
Из ватника вылезла вата.

Висит фотография в школе,
В улыбке — ни грусти, ни боли,
Шестнадцать ей было — не боле.

Глаза ее были безбрежны,
Мечты ее были безгрешны,
Слова ее были небрежны...

1957

ЗА ОКОШКОМ СВЕТУ МАЛО

За окошком свету мало,
Белый снег валит, валит.
А мне мама, а мне мама
Целоваться не велит.

Говорит: «Не плачь — забудешь!»
Хочет мама пригрозить.
Говорит: «Кататься любишь,
Люби саночки возить».

Говорит серьезно мама.
А в снегу лежат дворы.
Дней немало, лет немало
Миновало с той поры.

И ничуть я не раскаюсь,
Как вокруг я погляжу,
Хоть давно я не катаюсь,
Только саночки вожу.

За окошком свету мало,
Белый снег опять валит.
И опять кому-то мама
Целоваться не велит.

1964

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ

1925—1990

Закончил Иркутское авиаучилище в 1944 году. Служил в авиации во время войны. Закончил и художественный институт Сурикова как живописец. Начав с традиционных картин в господствовавшем тогда стиле соцреализма, стал практически первым советским художником, чья живопись оказалась узелком на прерванных традициях европейского и русского авангарда. Был лауреатом фестиваля 1957 года в Москве вместе с Неизвестным и Целковым. Затем, будучи членом партии, начал подвергаться преследованиям со стороны идеологов искусства. Однажды, когда члены партбюро заявили «обследовать» его мастерскую, взял ружье со стены и пригрозил застрелить собственных детей, жену и самого себя. Его мастерская была тем местом, где собирались молодые поэты, художники, актеры, ставшие потом знаменитыми. Ю. Васильеву посвящены стихи Ахмадулиной, Евтушенко. Ю. Любимов предлагал ему роль Галилея в брехтовской пьесе. Оказывал огромное нравственное влияние как прирожденный врачеватель душ на всех, кто с ним встречался. При жизни Васильев так и не увидел своей персональной выставки на Родине. Она была устроена в Японии в 1976 году и в Москве в 1994-м. В юности писал стихи.

* * *

Мы шли под дождем осколков.
Я все время молился Богу:
«Боже, я не убил ни разу —
спаси меня...»
От дыма глаза слезились.
Был то день или ночь — не знаю.
И ахнул сосед, разбитый:
«Добей меня...»
Я добил своего соседа
и громче взмолился Богу:
«Боже, я добил, не желая...
Спаси меня...»
Но в тот миг разрывная пуля
угодила мне прямо в череп.
Я успел лишь крикнуть соседу:
«Добей меня...»

1952

ЕВГЕНИЙ ВИНОКУРОВ

1925, Брянск—1993

Один из моих учителей и соавторов идеи этой антологии. Первый настоящий поэт, с которым я познакомился еще в детстве — в 1947 году, выступая на одной сцене в Доме пионеров имени Дзержинского. Винокуров заметил меня, и, как он сам шутил, «в бар входя, благословил». Я его обожал и с ответной нежной шутливостью описал его в романе «Ягодные места». Винокуров родился в семье профессионального военного и совсем еще юным лейтенантом успел повоевать, командуя взводом. Первые стихи были напечатаны в 1948 году в журнале «Смена» с предисловием Эренбурга. В 1951-м закончил Литературный институт. В этом же году на всесоюзном совещании молодых писателей прогремело его стихотворение «Гамлет», именно благодаря своему негромкому доверительному лиризму, редкому в то грибачевско-софроновское время. Им восторгались Арагон и Эльза Триоле, одна за другой появлялись восторженные рецензии на его книги. Однако Винокуров ухитрился избежать подневольности, неизбежно связанной тогда с официальным признанием, и ему удалось не попасть на так называемую столбовую дорожку социалистического реализма, свернув на свою особую тропу. Он один из немногих поэтов, начавших печататься в сталинское время, у которых не было даже упоминания обязательного для прославления имени вождя. Он никогда не протестовал против режима, но глубоко его презирал и не допускал в стихах ни малейшей ему похвалы. Винокуровская поэзия лаконична, рассудительна, детальна. Возглавив вместе со Степаном Щипачевым поэтический отдел журнала «Октябрь», Винокуров открыл в 1954 году совсем юную Ахмадулину, напечатал лучшие стихи Мартынова, Слуцкого и мои, заново утвердил в литературе имена вернувшихся из лагерей Заболоцкого и Смелякова.

* * *

Мы из столбов и толстых перекладин
За складом оборудовали зал.
Там Гамлета играл ефрейтор Дядин
И в муках руки кверху простирал.

А в жизни, помню, отзывался ротный
О нем как о сознательном бойце!
Он был степенный, краснощекий, плотный,
Со множеством веснушек на лице.

Бывало, выйдет, головой поникнет,
 Как надо, руки скорбно сложит, но
 Лишь только «быть или не быть?»
 воскликнет,
 Всем почему-то делалось смешно.

Я Гамлетов на сцене видел многих,
 Из тьмы кулис входивших
 в светлый круг,—
 Печальных, громогласных, тонконогих...
 Промолвят слово — все притихнет вдруг,

Сердца замрут, и задрожат бинокли...
 У тех — и страсть, и сила, и игра!
 Но с нашим вместе мерзли мы, и мокли,
 И запросто сидели у костра.
 1947

* * *

Про смерть поэты с болью говорили
 Высокие, печальные слова.
 И умирали,
 и на их могиле
 Кладбищенская высилась трава.

Смерть неизбежно явится за всяким.
 О жизнь моя, как ты мне дорога!
 Но я умру когда-нибудь в атаке,
 Остывшей грудью придавив врага.

Иль с палкою в руке, в смешной панаме,
 С тропы сорвавшись, в бездну упаду.
 И я умру под горными камнями,
 У звезд остекленевших
 на виду.

А может, просто — где дорога вьется,
 Где, кроме неба, нету ничего,—
 Замолкнет сердце вдруг и разорвется
 От песен, переполнивших его...

Где б ни было: путем пролегшим круто,
 Под ветровой неистовый напев,
 Умру и я,
 до роковой минуты
 Задуматься о смерти не успев.
 1947

СКАТКА

Вы умеете скручивать плотные скатки?
 Почему? Это ж труд пустяковый!
 Закатайте шинель, придавите складки
 И согните
 вот так — подковой.
 Завяжите концы, подогнавши по росту.
 Всё!
 Осталось теперь нарядиться...

Это так интересно, и мудро, и просто.
 Это вам еще пригодится.

1947

* * *

Теплым, настезь распахнутым вечером,
 летом,
 Когда обростут огоньками угластые зданья,
 Я сяду у окна, не зажигая света,
 И ошупью включу воспоминанья.

И прошлое встанет...
 А когда переполнит
 Меня до отказа бывшего излишек,
 Позову троих, вихрастых, беспокойных.
 С оборванными пуговицами, мальчишек.

Я им расскажу из жизни солдата
 Были, в которые трудно поверить.
 Потом провожу их, сказав грубовато:
 — Пора по домам! — и закрою двери.

И забуду.
 А как-нибудь, выйдя из дому,
 Я замру в удивленье: у дровяного сарая
 Трое мальчишек ползают по двору пустому
 С деревянными ружьями,— в меня играя...
 1948

* * *

В полях за Вислой сонной
 Лежат в земле сырой
 Сережка с Малой Бронной
 И Витька с Моховой.

А где-то в людном мире,
 Который год подряд,
 Одни в пустой квартире,
 Их матери не спят.

Свет лампы воспаленной
 Пылает над Москвой
 В окне на Малой Бронной,
 В окне на Моховой.

Друзьям не встать. В округе
 Без них идет кино.
 Девчонки, их подруги,
 Все замужем давно.

Пылает свод бездонный,
 И ночь шумит листвою
 Над тихой Малой Бронной,
 Над тихой Моховой.

1953

Стихи — в альбомах женщин милых,
Трактаты — в дружеском письме...
Как все легко!
Мазурка в жилах,
В душе мазурка
И в уме.

Всего каких-то полтора ста
Иль двести продержалось лет...
О, мир танцующий дворянства,
Тебя уже в помине нет!

Твои подметки отстучали...
Ты так был яростно спален,
Что средь псковских болот торчали
Лишь камни эллинских колонн.

Не здесь ли тот писал когда-то,
Что был лишь истиной влеком,
В шелку тяжелого халата,
Дымя янтарным чубуком?

А ведь от вольтерьянских максим
Не так уж долог путь к тому,
Чтоб пулемет системы «максим»
С тачанки полоснул во тьму...

1959

ЗАВЕДУЮЩИИ ПОЭЗИЕЙ

Я заведовал поэзией.
Позиция зава — позиция страдательная.
В ней есть что-то женственное.
Тебе льстят, тебя обхаживают,
На тебя кричат.

С часа до пяти ежедневно я сидел за столом
И делал себе врагов.
Это было нечто вроде
Кустарной мастерской:
Враги возрастали в геометрической
Прогрессии.
Оклад, из-за которого
Я пошел заведовать,
Уходил на угощенье
Обиженных мною друзей.

На улице я ловил на себе злобные взгляды.
Это продолжалось до тех пор,
Пока меня вдруг не осенила одна
Простая истина:
Авторы не хотят печататься!
Они хотят, чтобы их похвалили.

Возврат рукописи — болезненная операция:
Я стал ее делать под наркозом.
От меня уходили теперь,
Прижав к груди отвергнутую рукопись,
С сияющим лицом,
Со слезами благодарности на глазах.

Но и принятая рукопись
Должна пройти редколлегию.
Замечания членов редколлегии
Похожи на артиллерийские снаряды:
Ни одно не попадает туда,
Куда упало другое.
Иногда рукопись была похожа на мишень,
По которой стреляла рота.

Авторы шли.
Юнец. Пишет лесенкой...

Старый поэт. Одышка. Сел.
Мясистая рука с перстнем
Лежит на толстой палке...

Парень ростом под потолок.
Со стройки. Комбинезон в краске
и в известке.
Положил кепку. Она приклеилась к столу.
Уходя, едва отодрал...

Тучная дама. У детей коклюш.
Черствый муж. Не понимает.
Пишу урывками!
Надо то в магазин,
То приготовить. Все сама, сама.
Без домработницы...

Человек. В черных, как смоль, глазах
Лихорадочный блеск.
Заявление:
«Прошу назначить меня
Писателем Советского Союза».
Сумасшедший...

Прут. Все пишут стихи.
Пишет весь мир!
Я разочаровался в людях.
Я стал подозревать каждого:
Что делает директор треста,
Когда он один запирается
В своем кабинете?
Милиционер — у посольства?

Авторы шли. Тонны и тонны стихов.
Слова, слипшиеся, как леденцы в кулаке.
В них слабенький яд.
Но в больших количествах — опасно.
Я отправился.
Я был как перенасыщенный раствор:
Еще чуть-чуть, и начнется кристаллизация,—
Поэзия станет выпадать во мне
Ромбами или октаэдрами.

Я бы возненавидел поэзию,
Люто, на всю жизнь.
Но вдруг попадалась строка...

1961

И в черных робах мается беда.

Я приговору отвечаю: ДА.

22 февраля 1966

ПОСЛЕДНЕЕ

Этот год уйдет с пустой котомкой,
У ворот помашет мне рукой,
Пеленой возьмется, гладью тонкой
Надоевший, скучный непокой.

Будет жизнь всю великолепна,
Только вдруг, в какой-то странный мир
Замолчу, оглохну и ослепну,
Отрешусь от спутников моих.

Солнце помраченное остынет,
Бред ворвется, вломится в окно,
Добрая беседа опостылет,
Напрочь разонравится вино.

Но с хандрой пустой, не с перепою
Загорю о своей судьбе,
Нежное услышу: «Что с тобою?»
Вовсе не услышу: «Что в тебе?»

А во мне уже необратимо
Два железа ржавых с двух сторон,
Пыльная сухая паутина
Черствый карк невидимых ворон.

Сны — ох, эти сны! — как будто на смех,
Слабый ветер, в горле горький ком,
В серый цемент вляпанная насмерть
Койка с полумертвым тюфяком.

И необычайный, непривычный,
Вспомненный, приманный, как блесна,
Желтый, жаркий, обручный, яичный,
Вольный, вольный, вольный цвет окна.

Что же мне — надеждой сердце нежить,
Что душе не век, мол, быть рабой,
Что исчезнут небыль, нежить, нежить
И что боль пройдет сама собой?

Призрак мой с запавшими щеками,
Плач немой по прелести земной!
...Тонкий лед, неверный под шагами,
Над ночной, бездонной белизной.

1970. Владимирская тюрьма

НА БИБЛЕЙСКИЕ ТЕМЫ

Да будет ведомо всем
Кто
Я
Есть:
Рост — 177;
Вес — 66;

Руки мои тонки,
Мышцы мои слабы;
И презирают станки
Кривую моей судьбы;
От роду — сорок лет,
Прожитых напролет,
Время настало — бред,
Одолеваю вброд:
Против Меня — войска,
Против Меня — штыки,
Против Меня — тоска
(руки мои — тонки);
Против Меня — в зенит
Брошен радиоклич.
Серого зданья гранит
Входит со мною в клинч:
Можно меня смолоть
И с потрохами съесть
Хрупкую эту плоть
(Вес — 66)
Можно меня согнуть
(От роду — 40 лет)
Можно обрушить муть
Митингов и газет;
Можно меня стереть,
Двинуть машиной всей,
Жизнью отрезать треть
(Рост 177)
— Ясен исход борьбы! —
— Время себя жалеть! —
(Мышцы мои слабы)
Можно обрушить плеть,
Можно затмить мне свет.
Остановить разбег!
Можно и можно...
Нет.
Я ведь не человек.
(Рост — 177)
Я твой окоп. Добро.
(Вес — 66),
Я — смотровая щель,
(Руки мои тонки)
Пушки твоей ядро,
(Мышцы мои слабы)
Камень в твоей праще.

ИЗ ЦИКЛА «ЧАСОВОЙ»

...А если я на проволоку? Если
Я на «запретку»? Если захочу,
Чтоб вы пропали, сгинули, исчезли?
Тебе услуга будет по плечу?
Решайся, ну! Тебе ведь тоже тошно
В мордовской, Богом проклятой дыре.
Ведь ты получишь отпуск — это точно,
В Москву поедешь — к маме и сестре.
Ты, меломан, не рассуждай о смерти —
Вот «Реквием»... билеты в Малый зал...
Ты кровь мою омоешь на концерте,
Ты добро глянешь в девичьи глаза.
И с ней вдвоем, пловцами, челноками,

К манежу вниз, по тротуару — вниз...
И ты не вспомнишь, как я вверх ногами
На проволоке нотою повис.
...Тих барак с первомайским плакатом.
Небо низкое в серых клочках.
Озаренный мордовским закатом
Сторожит нас мальчишка в очках.

ЛИБЕРАЛАМ

Отменно мыты, гладко бриты,
И не заношено белье,
О либералы, сибариты,
Оплот мой, логово мое!

О, как мы были прямодушны,
Когда кипели, как боржом,
Когда, уткнувши рты в подушки,
Крамолой восхищали жен.

И, в меру биты, вдоволь сыты,
Мы так рвались в бескровный бой!
О либералы — фавориты
Эпохи каждой и любой.

Вся жизнь — подножье громким фразам,
За них — на ринг, за них — на риск...
Но нам твердил советчик-разум,
Что есть Игарка и Норильск.

И мы, шипя, ползли под лавки,
Плюясь, гнусавили псалмы,
Дерьмо на розовой подкладке —
Герои, либералы, мы!

И вновь тоскуем по России
Пастеризованной тоской,
О либералы — паразиты
На гноище беды людской.

ИОНА ДЕГЕН

р. 1925

После опубликования в поэтической антологии журнала «Огонек» стихотворения «Мой товарищ в предсмертной агонии...» я получил несколько писем, в которых утверждалось, что автор жив. Я не поверил: эти стихи наизусть читали и Луконин, и Межиров, Гроссман процитировал их в романе «Жизнь и судьба» — и все они были уверены, что анонимный автор убит. Но не так давно в Черновцах доктор Д. Э. Немировский дал мне следующую справку: «Автор этого стихотворения — Иосиф Лазаревич Деген. Родился в мае 1925 года. В первые месяцы войны ушел добровольцем на фронт, горел в танке, награжден боевыми орденами и медалями. Окончил Черновицкий медицинский институт. Работал в Киеве травматологом-ортопедом; доктор медицинских наук. Является пионером практической магнитотерапии в СССР. Был другом Виктора Некрасова. С 1977 года живет и работает в Израиле врачом. Вице-президент израильского Совета ветеранов войны». В доказательство доктор Немировский показал мне другие фронтовые стихи Дегена. Они были похуже, но строчки попадались. Но разве мало поэтов, единственный раз переживших свой «звездный час»? Стихотворение привожу в лучшем, на мой взгляд, варианте из всех, ходивших по рукам.

* * *

Мой товарищ в предсмертной агонии.
Замерзаю. Ему потеплей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.

Что с тобой, что с тобою, мой маленький?
Ты не ранен — ты просто убит.
Дай-ка лучше сниму с тебя валенки.
Мне еще воевать предстоит.

АНДРЕЙ ДОСТАЛЬ

1925, с. Карымское Иркутской обл.—1972

В 1948 году я послал рукописную книгу своих стихов в издательство «Молодая гвардия» и получил вызов от литконсультанта для разговора. Меня встретил А. Досталь — одноглазый, но если похожий на пирата, то на доброго. «Почему ваш папа не пришел сам, а прислал вас вместо себя?» — недовольно спросил Досталь.— «Это мои стихи, а не папины», — мрачно ответил я. Досталь процитировал из моей тетрадки: «Текла моя дорога бесконечная. Я мчал, отпугивая ночи тень. Меня любили вы, подруги встречные, чтоб позабыть на следующий день». «Это ваши стихи?» — изумленно переспросил он. (Мне было тогда пятнадцать лет.) Досталь начал серьезно заниматься со мной — почти каждый день по несколько часов. Это был прирожденный поэтический воспитатель. Именно Досталь ввел меня в тогда казавшийся таинственным мир редакций и литературных объединений. Этому человеку я благодарен на всю жизнь.

И я поверить не умел никак,
 Когда насквозь неискренние люди
 Нам говорили речи о врагах...
 Романтика, растоптанная ими,
 Знамена запыленные — кругом...
 И я бродил в акациях, как в дыме.
 И мне тогда хотелось быть врагом.

30 декабря 1944

16 ОКТЯБРЯ

Календари не отмечали
 Шестнадцатое октября,
 Но москвичам в тот день — едва ли
 Им было до календаря.

Всё переоценилось строго,
 Закон звериный был, как нож.
 Искали хлеба на дорогу,
 А книги ставились ни в грош.

Хотелось жить, хотелось плакать.
 Хотелось выиграть войну.
 И забывали Пастернака,
 Как забывают тишину.

Стараясь выбраться из тины,
 Шли в полированной красе
 Осатаневшие машины
 По всем западным шоссе.

Казалось, что лавина злая
 Сметет Москву и мир затем.
 И за граница, замирая,
 Молилась на Московский Кремль.

Там,
 но открытый всем, однако,
 Встал воплотивший трезвый век
 Суровый жесткий человек,
 Не понимавший Пастернака.

1945

ВАРИАЦИИ ИЗ НЕКРАСОВА

...Столетье промчалось. И снова,
 Как в тот незапамятный год —
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет.
 Ей жить бы хотелось иначе,
 Носить драгоценный наряд...
 Но кони — всё скачут и скачут.
 А избы — горят и горят.

1960

ЛЕНИНГРАД

Он был рожден имперской стать столицей.
 В нем этим смыслом все озарено.
 И он с иною ролью примириться
 Не может.

И не сможет все равно.

Он отдал дань надеждам и страданиям.
 Но прежний смысл в нем все же не ослаб.
 Имперской власти не хватает зданьям,
 Имперской властью грезит Главный Штаб.

Им целый век в иной эпохе прожит.
 А он грустит, хоть эта грусть — смешна.
 Но камень изменить лица не может, —
 Какие б ни настали времена.
 В нем смысл один, — неистребимый, главный,
 Как в нас всегда одна и та же кровь.
 И Ленинграду снится скиптр державный, —
 Как женщине покинутой —
 любовь.

1960

ПАМЯТИ ГЕРЦЕНА¹

Баллада об историческом недосыпе

(Жестокий романс по одноимённому
 произведению В. И. Ленина)

Любовь к Добру разбередила сердце им.
 А Герцен спал, не ведая про зло...
 Но декабристы разбудили Герцена.
 Он недоспал. Отсюда все пошло.

И, ошалев от их поступка дерзкого,
 Он поднял страшный на весь мир трезвон.
 Чем разбудил случайно Чернышевского,
 Не зная сам, что этим сделал он.

А тот со сна, имея нервы слабые,
 Стал к топору Россию призывать, —
 Чем потревожил крепкий сон Желябова,
 А тот Перовской не дал всласть поспать.

И захотелось тут же с кем-то драться им,
 Идти в народ и не страшиться дыб.
 Так началась в России конспирация:
 Большое дело — долгий недосып.

Был царь убит, но мир не зажил заново.
 Желябов пал, уснул несладким сном.
 Но перед этим побудил Плеханова
 Чтоб тот пошел совсем другим путем.

Все обойтись могло с течением времени.
 В порядок мог втянуться русский быт...
 Какая сука разбудила Ленина?
 Кому мешало, что ребенок спит?

На тот вопрос ответа нету точного.
 Который год мы ищем зря его...
 Три составные части — три источника
 Не проясняют здесь нам ничего.

¹ Речь идет не о реальном Герцене, к которому автор относится с благоговением и любовью, а только об его сегодняшней официальной репутации.

Да он и сам не знал, пожалуй, этого,
Хоть мести в нем запас не иссякал.
Хоть тот вопрос научно он исследовал,—
Лет пятьдесят виновного искал.

То в «Бунде», то в кадетках... Не найдутся ли
Хоть там следы. И в неудаче зол,
Он сразу всем устроил революцию,
Чтоб ни один от кары не ушел.

И с песней шли к Голгофам под знаменами
Отцы за ним,— как в сладкое житье...
Пусть нам простятся морды полусонные,
Мы дети тех, кто недоспал свое.

Мы спать хотим... И никуда не деться нам
От жажды сна и жажды всех судить...
Ах, декабристы!.. Не будите Герцена!..
Нельзя в России никого будить.

ВАДИМ ПОПОВ

1925—1991

Вадим Попов был участником войны, в 1949 году арестован, до 1956-го находился в лагере в Джезказгане (Казахстан). Печатался мало и трудно, лишь в конце жизни опубликовал две крупные подборки в сборниках «лагерной» поэзии, типичным представителем какой «школь» и был. Ох, лишняя эта школа, лишняя, но была и дала русской литературе и «Архипелаг ГУЛАГ», и многое другое...

ПОДПОРУЧИК

Он — маленький, шуплый, совсем не атлет,
усохший для лагерных брючек,
но держится так, словно блеск эполет
несет на плечах подпоручик.

Нет, он никогда не поплачет в жилет
и прошлым, пожалуй, гордится.
Он был у Шкуро девятнадцати лет
и в дело хоть нынче годится.

— Ну, вот вам,— он молвит,—
в гражданской войне
напрасно вы нас победили!
Пускай поделом тут приходится мне,
но вас-то за что посадили?

— Старо, господин подпоручик, старо
все это: «За что вы боролись?»
— Допустим. Конечно, я был у Шкуро,
но вы-то на что напоролесь?

Наверно, не скоро я это пойму,
иль все поглупели мы, что ли?
Недавно амнистия вышла ему:
его благородье — на воле!

Когда ж наконец долетит и ко мне
решенье вопроса простого?
Его благородье вернулся к жене —
открытку прислал из Ростова!

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР

Это стихотворение в сборнике «Поэзия в концлагерях», вышедшем в Израиле в 1978 году, было приписано Леониду Кузьмичу Ситко, о коем только и было известно, что в середине 60-х годов он отбывал срок в Дубровлаге. Между тем стихотворение это Леониду Ситко никак не принадлежит, ему принадлежит иное: заслуга сохранения этого маленького шедевра в памяти. Л. К. Ситко запомнил его, находясь в лагере, записал на бумагу, когда оказался на воле, и — пустил по волнам самиздата.

ЭПИТАФИЯ НА МОГИЛЕ БЛАТНОГО

Ты врезал дубаря,
Ты сквозанул с концами
Туда, где никому не надо ксив,
В одну хавиру вместе с фраерами,
У Господа прощенья закосив.

И всю дорогу с почерка горя,
Нигде не раскололся ты ни разу.
Мы за тебя всегда держали мазу,
Так что ж ты оборвался втихаря?

Стоим на цирлах,
Без вина косые.
Но как не жмись и как не шестери,

На кичу попадешь, на сухари,
И негде нам качать права в России.

А ты кемаришь,
Ты теперь в законе.

Разбейте понт,
Идет последний шмон:
Бочата сдрючат,
Но никто не тронет
На желтой паутине чертогон.

ГРИГОРИЙ ШУРМАК

р. 1925, Киев

Фронтовик, сам эком не был, но его брат, впоследствии погибший на войне, сидел в лагерях. Бесчисленные эки и те, кто примерял на себя их судьбу, представляя себя завтрашними эками, сложили немало песен о своей реальной или ожидавшейся судьбе, но немногие из них звучали и продолжают по сей день жить так долго, как эта песня, ритмом стихов и музыки напоминающая теплушку, которую трясет на стыках Транссибирки поезд.

ВОРКУТА—ЛЕНИНГРАД

По тундре, по железной дороге,
где мчится курьерский
«Воркута—Ленинград»,
мы бежали с тобою, ожидая тревоги,
ожидая погони и криков солдат.

Это было весною, одуряющим маем,
когда тундра проснулась и оделась в ковер.
Снег, как наши надежды на удачу, все таял...
Это почувствовать может только загнанный вор!

Слезы брызнут на руку иль на ручку нагана,
там вдали ждет спасенье — золотая тайга.
Мы пробьемся тайгою, моя бедная мама,
и тогда твое слово — мой священный наказ!

По тундре от железной дороги,
где мчится курьерский
«Воркута—Ленинград»,
мы бежали с тобою, ожидая тревоги,
ожидая погони и криков солдат.

1942

ГРИГОРИЙ КОРИН

р. 1926, Радомышль, Украина

Участник войны, первый сборник «Люди мои, люди...» издал в 1962 году. Представитель так называемой исповедальной поэзии, однако без малейшего нарциссизма, в который представители этого направления чаще всего впадают.

Я видел дважды, как со дна
Душа народа поднималась,
И подняла ее война,
А кончилась — душа распалась.

Но вижу снова каждый год,
Когда в пасхальную неделю
Ее вздымает небосвод,
Всю перемешанную с прелью.

Пройди кладбище до конца,
Не встретишь ни одной могилы
Без яблочка, цветка, яйца,
Крупы и ветки желтокрылой.

Живые с мертвыми сошлись,
Свело их души Божьей дланью —
И дважды люди поднялись
К всечеловеческому зданью.

СЕРГО ЛОМИНАДЗЕ

р. 1926, Москва

«Сын врага народа» — Виссарьона (Бесо) Ломинадзе, видного партийного деятеля 20—30-х годов, одного из лидеров известного «право-левацкого» блока Сырцова — Ломинадзе (1930), по некоторым данным, готовившего смещение Сталина с поста генсека. После убийства Кирова В. Ломинадзе, предвидя неизбежный арест, в 1935 году застрелился в Магнитогорске. В 1943 году С. Ломинадзе шестнадцати лет от роду был арестован в Москве органами госбезопасности по обвинению в подготовке теракта против вождя (19-58-8 УКА РСФСР), а также в «антисоветской агитации», в частности в написании совместно с Николаем Левиным, также арестованным по его делу, стихотворения против Сталина, которое начиналось так:

На много лет
Затмил нам свет
Один портрет.
И много лет
И хлеба нет,
И нет котлет...

У Н. Левина (р. 1921) было еще и такое стихотворение о Гумилеве, написанное до ареста: «Оставим мы им патефонные трели, им это подходит — куда ни шло. У них пули нашлись Гумилева расстреливать, а вот Гумилева у них не нашлось» (это что осталось в памяти его однодельца). Вернувшись в 1954 году С. Ломинадзе впоследствии стал известным литературоведом. Прочитав замечательную подборку С. Ломинадзе в «Русской мысли» (1988), я был ошеломлен, ибо и не предполагал, что этот суровый, а подчас и беспощадный полемист-критик давно пишет такие вроде бы грубоватые, а на самом деле тонкие, точные стихи. Вслед за Домбровским он написал, может быть, одни из лучших стихов о сталинских лагерях. Любопытно, что стихи о лагере не удавались даже Шаламову, создавшему великую эпопею из рассказов.

* * *

Я шел по городу, в котором
Когда-то рос, когда-то жил,
Где ветер ластился к гитарам
И глухо счастье ворожил.

Слепых громад непроходимость,
Оглохших улиц маета,
Кричали вслед: стой, судимость
С тебя, пришелец, не снята.

Я шел, как слух, нелепый, вздорный —
Нет, не бывать, не быть тому!
И знать не знал меня упорно
Любой кирпич в любом доме.

И даже Пушкин был повернут
Спиною к детству моему.

1954

* * *

Нарядчик Пашура толкует так:
«Сорока стоит рупь»,
И жизнь моя входит в четвертый барак,
Как в перегонный куб.

«Кто хочет, граждане, сладко пить,
Сладко, граждане, есть,
Прошу, говорит, грошей зазря не копить,
Навпротив меня присесть».
Нарядчик Пашура не очень речист
И мессер вгоняет в стол,
Как будто в осиновый хрупкий лист
Вгоняет осиновый кол.
Банка, в которую вставлен фитиль,
Скатывается в пыль,
Скачет, пуская дымный махор,
На глинобитном полу.
А у меня под бушлатом топор,
А за душой — колун.
Я тоже — Пашура,
Я тоже враг,
И мне, представьте, плевать
На то, что весь четвертый барак
Начинает вставать,
Что черные ноги из черных кальсон
Лезут со всех сторон...

Когда это было? в котором году
Стоял я в холодном поту,
Стоял, молодой, у казенных дверей,
И шел по лагпункту слушок,

Что наш нарядила, хоть фрей, хоть еврей,
А есть у него душок.

1959

Когда спустя века произведут раскопки,
В асфальте городском сквозь медные гроши
Блеснут моих очков беспечные осколки
И радостный скелет моей простой души.

И люди в козырьках с неясными гербами
С космическим огнем в пластмассовых очах
Внесут ее стремглав в торжественный гербарий
Под грифом «Ну и ну» в параграф «Весельчак».

Как будто не над ней в те годы тяготела
Квартплата за любовь незыблемых держав,
Как будто не она от тела отлетела,
Последний «беломор» в зубах недодержав.

1961

Прощайте, никто не виновен. Виновно стечение
Причин, а не люди — слепые солдаты причины.
К тому же и жизнь не чета переборке печенья
На тихой кондитерской фабрике
«Красная Роза».

Прощай же,
начальник режима товарищ Платонов,
Ты рано родился, и мы тебя звали Барбосом.
Ах, если бы знать,
мы б тебя окрестили Барбудос,
Хотя борода в тот период тебе и не снилась.

Вот так и зарубим
на лбу у отдельных студентов,
Чтоб впредь не спешили
справлять по эпохе поминки,
Никто не виновен.
Быть может, одни лишь снежинки,
За то, что бессмертны
и все-таки тают в ладони.

1966

Пол-отечества нет и в помине,
Перемерло от разных боев,
Но дождались мы девочек в мини,
Одинаковых, как воробьев.

Революции, войны, тревоги —
Всю судьбу испытавши до дна,
Драгоценные женские ноги
Наконец обнажила страна.

60-е годы

Так бывало не однажды:
Несмотря на все труды,
Умиравший от жажды
Глух к явлению воды.

Красота, душа, свобода
Русским ямбом прожурчит
Мимо жизни и народа
Прямо в бронзу и гранит.

1972

Читал я следственное дело
И забывал, что жизнь прошла.
Душа давно уже истлела,
Бумага все еще цела.

Читал я следственное дело
Антисоветской старины,
И трепет чувствовало тело
Своей шестнадцатой весны.

Когда, шатаясь от бессонниц,
Шел на допрос с тоской в груди,
Когда и лагерный червонец,
И жизнь — все было впереди.

1993

ВЛАДИМИР ЛЬВОВ

1926, Москва—1961, там же

Ему не удалось стать известным ни при его короткой жизни, ни после смерти. Впрочем, он и не старался. Он был небольшого роста, но у него были глаза, горящие такой высокой страстью, что он сам казался высоким. Он любил замужнюю женщину, которая не хотела уходить от своего мужа, и от этого — простите меня за банальное выражение — разорвалось его сердце. Он утонул в бассейне «Москва». Он был одним из тех одержимых людей, которые своей одержимостью убивают себя. Но это все-таки лучше тех одержимых, которые своей одержимостью убивают других людей. Львов был замечательно талантлив, но прирожденно бесприютен. Эту участь разделила и его поэзия.

ПЕРЕД ПОИСКОМ

Мне сулят погибель, караула
жизнь мою из тысячи засад.

Только не отлита эта пуля.
Так-то, брат.

Нелегко забить меня в железы...
Выпьем, чтоб над головой прошла
та, что ввинчивается в нарезы
вороненого ствола.

* * *

Распятые с желтым телом божьим,
лицо измучено тоской,
и мы любить его не можем
с его гвоздями и доской.
Его кровей цветенье алых,
его устало-скорбный лик.
Христос сегодня только жалок
и уж конечно не велик.
Земля победу любит наша.
О милый старый бог, прости,
но переполнилась чаша,
теперь страданья не в чести.

* * *

Одна девчонка нас любила,
одна водчонка нас поила,
один окопчик на двоих
хранил на всех передовых.

Мы прожили одно и то же:
неповторимы, непохожи,
но мы писали все равно
стихотворение одно.

НОЧНАЯ СМЕНА

Подбородок клюнул грудь.
Над глазами сон набряк.
Всполошился где-нибудь
шелудивый лай собак.

Я водой смочил глаза,
запер двери на засов.
По стеклу ползет оса
до двенадцати часов.

Только сядь, сядь, сядь —
Сразу спать, спать, спать...

Ну, а дома у меня
на подушке луч лежит,
холодеет простыня,
тишина не задрожит.

Краги снять, снять, снять —
сразу спать, спать, спать.

Но над самой головой
мчится радио стремглав...
По дорожке беговой
протопочет телеграф.

Рядом печь, печь, печь
клонит лечь, лечь, лечь...

Встрепенулся, как ни в чем
не бывало, сел опять
и работаю ключом,
не давая сердцу спать.

Волны, посланные мной,
все подобны миражу.
Я немой эфир земной
на конце ключа держу.

Смена в пять, в пять, в пять.
Лягу спать, спать, спать.

ПРОБНЫЙ СТЕЖОК

Свой первый крик оставив где-то
в тяжелой близости земной,
стремится узкая ракета,
не управляемая мной.

Как заплутавшийся впервые
телок мычаньем кличет мать,
все шлет ракета позывные,
которых некому принять...

Уж и Земля над ней не в силе,
все звезды ей равно милы...
Игла, в которую забыли
вдеть нитку, чтобы сшить миры!

* * *

Где б я ни был, что б со мной ни стало
и куда б меня ни занесло —
будет мне выламывать суставы
поэтическое ремесло.

И когда однажды неудача
пересеребрит мои виски,
я пойду, не падая, не плача,
крепко стиснув зубы от тоски.

Только я хотел бы
в злое время,
когда очень трудно станет жить,
на твои
хорошие колени
голову тяжелую сложить.

МАРК СЕРГЕЕВ

р. 1926, Енакиево Донецкой обл.

Настоящая фамилия — Гантваргер. Иркутский поэт, в течение ряда лет руководивший местной писательской организацией. Воспитатель многих сибирских поэтов, с драгоценным чувством любви к чужому таланту.

* * *

Постареют наши лидеры,
поседеют их дела,
и страницы время выдерет,
где фамилия была.

А над весями и градами
новых истин вспыхнет свет.
И объявят ретроградами
неформалов наших лет.

ВАЛЕНТИНА СИНКЕВИЧ

1926, Киев

Отец — сын священника, мать — дочь генерала Белой армии. В 1942 году В. Синкевич была отправлена в Германию на принудработы. После лагеря для перемещенных лиц в Гамбурге в 1950 году переехала в США. Работала библиографом в Пенсильванском университете. Автор четырех сборников стихов. Составитель антологии поэтов второй эмиграции «Берега» (1992).

ЕДИНОЖДЫ

Так безнадежно и отчаянно собака пьет.
Не утолить ее последнюю земную жажду.
В небытие мучительно-жестокий переход
его нельзя проделать дважды.

С земли нельзя уйти и возвратиться вновь.
Единожды. Другого нет решенья.
Земля скупа на тело и на кровь.
Единожды земное воплощенье.
Единожды и первый и последний час.
Собака пьет, не утоляя жажду.
И говорит тоской смертельною из глаз
о том, что жизни не бывает дважды.

ЕВГЕНИЙ ФЕЙЕРАБЕНД

1926, с. Шатрово Челябинской обл.—1981

Автор многих поэтических сборников, изданных в основном в Свердловске. В результате тяжелой болезни не мог самостоятельно передвигаться и духовно спасал себя постоянной поэтической работой.

МУРАВЕЙ

Уже он чуял —
пахнет житом,
Но миной скошен наповал,
Солдат считал себя убитым
И даже глаз не открывал.
И, оглушенный,
Он не слышал,
Как пушки били за рекой

И как в норе копались мыши
Под окровавленной щекой.
Как ездовые драли глотки...
Но вот разведчик-муравей
На лоб солдату слез с пилотки
И заблудился меж бровей.
Он там в испуге заметался
И, энергичен, полон сил,
Защекотал и затоптался.

<p>И вдруг — Солдата воскресил. И тяжело открылись веки, И смутно глянули зрачки, И свет забрезжил в человеке,</p>	<p>Поплыл поверх его тоски. Вздохнул он глубоко и тяжко, И небо хлынуло в глаза. И понесла к земле мурашку Большая круглая слеза.</p>
--	---

ЛАЗАРЬ ШЕРЕШЕВСКИЙ

р. 1926, Киев

Поэт, переводчик. Участник Великой Отечественной войны, был в заключении, первый сборник стихотворений издал в Горьком в 1958 году — «Дороги дальние».

ВЕК ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА

Класть ли перед тобой поклоны,
 Говорить ли тебе спасибо,
 Век великого перелома,
 Век великого перегиба?

Почитавшие дух религий,
 Добродетельные миряне
 Нынче числятся в красной книге
 Обреченных на вымиранье.

Все — от совести и до воблы, —
 Прахом став, как в огне солома,
 Погибоша в тебе, аки обры,
 Век великого костолома.

Содрогаясь от снов кошмарных
 На матрасах из поролона,

Медлит с выводом цифр суммарных
 Век великого бурелома.

Неужели шепнуло сердце,
 Этот щуплый вещун старинный,
 Что людей, искушенных в зверстве,
 Ждет печальный удел звериный?

Если ты еще не погиб сам, —
 Изведут тебя звероловы,
 Никаким не замажешь гипсом
 След великого перелома.

Темен круг твоих пасх и троиц,
 В пытках, войнах, кознях и казнях...
 Для людей на земле б устроить
 Заповедник или заказник!

1979

ГЕРМАН ВАЛИКОВ

1927, д. Тройня Тверской обл. — 1981

Закончил Литературный институт. Выпустил несколько стихотворных сборников. Превосходно знал историю России — и сочно, выразительно живописал старину.

ПАМЯТКА

Дарушка, голубушка, не трогай
 Мин противотанковых, гранат,
 Если на полянке за дорогой
 Под ногой железки загремят.

А заметишь — проволочка возникла
 В путанице травок, — не шали,
 Если даже рядом земляника,
 Обойди ее, не шевели...

Дарушка, голубушка, не надо
 Выходишь с мальчишками на спор, —
 Ржавого бризантного снаряда
 Не клади, пожалуйста, в костер.

В глубине лесной. где нету солнца,
 Мох лишь да коряги впереди,
 В ямину забытого колодца,
 Солнышко мое, не упади...

1978

ВЛАДИМИР ГНЕУШЕВ

р. 1927, с. Кевсал Ставропольского края

Вспоминаю одну строку этого поэта моего поколения: «Мы не актеры — мы шаги за сценой». Именно одну строку — вовсе не потому, что отвергаю целиком стихотворение, откуда она взята. Но эта гениальная строка стала символом нашего поколения, множество раз цитировалась, повторялась устно и оказалась своего рода манифестом времени. Повторяю эту строку с любовью к Владимиру Гнеушеву — старинному другу моей юности, чьи опасные приключения вместе со мной в сталинские времена описаны в романе «Не умирай прежде смерти».

* * *

Игорю Озимову

Все давним и путаным станет,
но памятью все же стяни
березы
и синие ставни
на выцветших бревнах стены.
...Все станет чужим и далеким —
Пустынная ясность озер

и девочка в платьице блеклом,
в песок уронившая взор.

Но в молниях,
ветре и громе
когда-нибудь
грянет опять
счастливая музыка в доме,
где некому нынче играть...

НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВА

р. 1927, Саратов

Не только поэт, но и драматург, и переводчик (в том числе Р.-М. Рильке). Первый сборник издала в Курске в 1957 году — «Лирический дневник».

* * *

У нижней Нинки снова пьянка.
И Нинка сонно, как испанка,
Выходит в шаях на балкон.
Магнитофоны из окон,
Как уголовники, рыдают.
И жизнь, как мячик, опадает.
А Нинка, чтобы отличиться,
То выть возьметса, как волчица,
То, приспустив мохеры с плеч,
О спортлото заводит речь.
Там, позади, за модной шторой,
Хрипят бессмысленные споры
И иностранная болонка
Кричит испуганно и тонко.
По семь рублей брала колбасы.
Сама варила холодец
Из бычьих розовых сердец,
Считала медяки у кассы...
А Славка все равно подлец.

ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ

р. 1927

Первую и настоящую славу Рязанову принес его знаменитый кинофильм «Берегись автомобиля!», где гениально сыграл Смоктуновский. С тех пор чуть ли не каждая его лента становится сенсацией: «Ирония судьбы», «Гараж», «Вокзал для двоих», «Небеса обетованные»... Как-то почти никто не заметил, что весьма популярная песня из «Служебного романа» — «У природы нет плохой погоды» — на его стихи. Первую книжку стихов — в приложении к «Огоньку» — Рязанов издал в 1988 году.

* * *

Господи, ни охнуть, ни вздохнуть, —
дни летят в метельной круговерти.
Жизнь — тропинка от рожденья к смерти,
смутный, скрытный, одинокий путь.
Господи, ни охнуть, ни вздохнуть!

Снег. И мы беседуем вдвоем,
как нам одолеть большую зиму...
Одолеть ее необходимо,
чтобы вновь весной услышать гром.
Господи, спасибо, что живем!

Мы выходим вместе в снегопад.
И четыре оттиска за нами,
отпечатанные башмаками,
неотвязно следуя, следят.
Господи, как я метели рад!

Где же мои первые следы?
Занесло начальную дорогу,
заметет остаток понемногу
милостью отзывчивой судьбы.
Господи, спасибо за подмогу!

ВАЛЕНТИН СОКОЛОВ

р. 1927 (по другим данным, «примерно 1930») — 1982, Новошахтинск

Первый раз арестованный около 1950 года за участие в «молодежной антисоветской группе», он попал за решетку еще дважды, провел в лагерях, тюрьмах и спецбольницах около 26 лет и так и умер на «принудлении» в психиатрической больнице. О публикациях в СССР для него не могло быть и речи, но его рукописи просачивались из лагерей на волю, с «воли» — прочь из СССР, и кое-что было напечатано на Западе еще при его жизни; большой подборкой его стихотворений открывается сборник «Поэзия в концлагерях» (Израиль, 1978). После публикаций «Музы XX века» в журнале «Огонек» его стихи стали присылать составителю совершенно разные люди: художник А. Рамошин, поэт К. Ковалев, Ю. Бражников, Ф. Штейнбук — всех не перечислить. Судя по всему, в послесталинских лагерях Соколов занял положение живого классика лагерной поэзии, и, как пишет А. Шифрин, экам было как-то легче от того, что «где-то опять втиснулся в уголок, сгорбилась и пишет на колене, спрятавшись от стукачей, Валя Соколов». Но если отбросить как самый главный в поэзии оттенок «человеческого документа» — еще в 1938 году В. Ходасевич отнес «человеческие документы» к «убокому роду литературы», — стихи Валентина Соколова ценны и просто как стихи, как еще один голос, донесшийся «из-под глыб».

* * *

Я ослеп от синих ламп
Боли
И от ваших черных лап,
Боги.
Там в холодных казематах,
В тех домах казенных,

Как шары катались в лапах
Головы казенных.
Я ослеп от тех шаров
По могилам-лузам,
Я оглох от тех шагов
По кровавым лужам.

ИЗ ПОЭМЫ «ГРОТЕСКИ»

* * *

Там на вахте мерзнут трупы...
 А в столовой, в миске супа
 Взглядом жадным ищет круп
 Человек большой и черный,
 Скорбной мыслью омраченный
 Полутруп...
 Расправлялся с жизнью-песней
 Карцер тесный,

А начальник мощью чресел
 В кожу кресел
 Уверяю вас, немало в жизни весил.
 Звали вас иные дали — нас не звали...

* * *

Я у времени привратник.
 Я, одетый в черный ватник,
 буду длиться, длиться, длиться без конца.
 Буду я за вас молиться,
 не имеющих лица.

ГЕННАДИЙ ТЕМИН

р. 1927

Отсидел 23 года, что видно и из публикуемого стихотворения. Выпустил книжку рассказов «Колымский детектив».

* * *

Баланды бери хоть три миски.
 И хлеба навалом, махры.
 Теперь здесь важнее письма...
 Они, как в пути костры.

Соседи вчера получили.
 Один стал белей полотна.
 Спросил я его: «Что случилось?»
 — «К другому ушла жена».

А вечером, после отбоя,
 Не в силах тоску унять,
 Он поднял лицо молодое
 И тихо спросил меня:

«Послушай, рыдания рядом...
 Со мною на улицу выдь?..
 А то закричу, и ребята
 За это могут побить».

Мы вышли. О сонную землю
 Ночь билась сырой головой.
 Прожектором в гуще осенней
 Прожупывал нас часовой.

Он все рассказал мне... Я понял.
 А утром, оставшись один,
 Он прыгнул в запретную зону
 И дело решил карабин.

Мордовия 1966

АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ

р. 1928, Тверь

Прошел сложнейшую эволюцию от запрограммированного комсомольского аппаратчика до редактора одного из самых либеральных журналов — «Юности». Еще в бытность свою заместителем главного редактора — Бориса Полевого — неутомимо сражался с цензурой, а иногда и с главным, пробивая то, что казалось «непроходимым». Ему многим обязаны и Вознесенский, и я, и многие другие, не всегда платившие ему впоследствии благодарностью. Еще большую честь Дементьеву делает то, что, будучи сам вполне традиционным поэтом, он всегда поддерживал экспериментальные поиски формы — и в поэзии, и в живописи.

* * *

Поэзия жива своим уставом.
 И если к тридцати не генерал,
 хотя тебя и числят комсоставом,
 но ты как будто чей-то чин украл.

Не важно, поздно начал или рано,
 Не все зависит от надежд твоих.

Вон тот мальчишка — в чине капитана.
 А этот старец ходит в рядовых.

Пусть ничего исправить ты не вправе,
 а может, и не надо исправлять.
 Одни идут годами к трудной славе.
 Другим всего-то перейти тетрадь.

ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ

р. 1928, Днепропетровск

Родился в семье инженера-строителя. Во время войны был эвакуирован в Сибирь. Учился в Литинституте, служил в армии в звании техника-лейтенанта. Напечатал первые стихи в 1953 году. Жизнь не дала ему ни метафорического дара Вознесенского, ни элегантности Ахмадулиной, ни умения читать стихи с эстрады. Но его сюжетная поэма «Шофер», напечатанная в «оттепельном» альманахе «Тарусские страницы», привлекла читателей своей неприкрашенной правдивостью и своего рода почти непоэтической поэтичностью. Первая книга стихов «Пристань», набор которой был дважды рассыпан по распоряжению цензуры, вышла лишь в 1964-м. Рассказ «Девочки и дамочки» был запрещен цензурой в «Новом мире» в 1971 году, и затем несколько прозаических произведений Корнилова, включая самое сильное из них — роман «Демобилизация», появились в эмигрантских изданиях на Западе. Участник диссидентского движения. В 1977 году был исключен из Союза писателей. Еще в начале перестройки Корнилов написал горькую поэтическую исповедь о нашей неготовности к свободе — как оказалось, пророческую. Его ненарядная поэтика скупа, но выразительна, — у этой ненарядности есть красота мужества и несуетливости.

ДИКТОР

Походка деловитая, —
Роскошен и велик,
Шел диктор телевиденья,
Как собственный двойник.

По вечерам из ящика
Смотрелся, что король,
А нынче настоящего
Себя играл, как роль.

Почти с обложки содранный,
Переведенный весь,
Шагал мужик, засмотренный
Похлеще стюардесс,

Запомненный, как литера
На вывеске большой...
И я болел за диктора
Безжалостной душой.

Я думал: мало радости,
Когда глядят в упор:
Случайность популярности
Уродует, как горб,

А милость телекамеры
Так ветрена — увы! —
Как башня без фундамента,
Так слава без судьбы.

Но диктор, мальчик случая,
Шагал средь бела дня,
Ни капельки не слушая
Брюзгливого меня,

Походкой шел размеренной,
Портфель за дужку нес,
И шарф его мохеровый
Был соразмерно пестр.

1965

НЕБО

На главной площади в Бердянске
Мотор задохся и заглох.
Я скинул сапоги. Портянки
Снял, накрутил поверх сапог.

Шофер изматерил машину,
Рыдал над чертовой искрой,
А я забрался под махину
И развалясь дымил махрой.

Неподалеку выло море,
Запаренное добела.
А мне какое было горе?
Я загорал, а служба шла.

Год пятьдесят был первый. Август.
И оказалось по нутру,
Скорее в радость, а не в тягость
Курить под кузовом махру.

Похожие на иностранок,
Шли с пляжа дочери Москвы,
Но не впивался, как ни странно,
Глазами полными тоски.

Солдат фурштатский, в перерыве,
Я стал нечаянно велик,
И вся обыденность впервые
Запнулась, точно грузовик.

Мир распахнулся, словно милость,
От синей выси до земли,
И все вокруг остановилось,
Лишь море билось невдали.

«ЗИС» спал, как на шляху телега,
А я под ним в полночный жар,
Босой, посередине века,
С сигаркою в зубах лежал.

Лежал, как будто сам столица
И истина со мною вся,

И небеса Аустерлица
Мне виделись из-под «ЗИС»а.

1966

ГУМИЛЕВ

Три недели мытарилась,
Что ни ночь, то допрос...
И ни врач, ни нотариус,
Напоследок — матрос.

Он вошел черным парусом,
Уведет в никуда.
Вон болтается маузер
Поперек живота.

Революции с «гидрою»
Толку нянчиться нет,
И работа нехитрая,
Если схвачен поэт.

...Не отвел ты напраслину,
Словно знал наперед:
Будет год — руки за спину
Флотский тоже пойдет,

И запишут в изменники
Вскорости кого хошь,
И с лихвой современники
Страх узнают и дрожь.

...Вроде пулям не кланялись,
Но зато наобум
Распинались и каялись
На голгофах трибун,

И спивались, изверившись,
Если вывез авось...
И стрелялись, и вешались,
А тебе не пришлось.

Царскосельскому Киплингу
Пофартило сберечь
Офицерскую выправку
И надменную речь.

...Ни болезни, ни старости,
Ни измены себе
Не изведал

и в августе,
В двадцать первом,
к стене

Встал, холодной испарины
Не стирая с чела,
От позора избавленный
Петроградской ЧК.

1967

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ КАНАЛ

На канале шлепнули царя —
Действо супротивное природе.
Раньше убивали втихаря,
А теперь при всем честном народе.

На глазах у питерских зевак
Барышня платочком помахала,
И два парня, русский и поляк,
Не могли послушаться сигнала.

Сани — набок... Кровью снег набух...
Пристяжная билась, как в припадке...
И кончался августейший внук
На канале имени прабабки.

Этот март державу доконал.
И хотя народоволке бедной
И платок сигнальный, и канал
Через месяц обернулись петлей,

Но уже гоморра и содом
Бунтом и испугом задышали
В Петербурге и на всем земном,
Сплюснутым от перегрузок шаре.

И потом, чем дальше, тем верней,
Всё и вся спуская за бесценнок,
Президентов стали, как царей,
Истреблять в «паккардах» и у стенок.

В письма запечатывали смерть,
Лайнеры в Египет угоняли...
И пошла такая круговерть,
Как царя убили на канале.

1972

ТЯЖБА

Целых два сборника нарифмовал,
Скорую гибель пророча.
Верно, забыл, что прискорбный финал —
Точка, а не многоточье.

В опере только позволено так,
Длани вздевая в усердые,
Петь-упиваться пол-акта и акт
Ненастоящею смертью.

А настоящая — хоть и беда,
С жизнью не выдержит тяжбы;
Жизнь — это все-таки то, что всегда,
Смерть — это то, что однажды.

1987

СВОБОДА

Не готов я к свободе,
По своей ли вине?

Ведь свободы в заводе
Не бывало при мне.

Никакой мой прапрадед
И ни прадед, ни дед
Не молил Христа ради:
«Дай, подай!»
Видел: нет.

Что такое свобода?
Это кладезь утех?
Или это забота
О себе после всех?

Неподъемное счастье,
Сбросив зависть и спесь,
Распахнуть душу настежь,
А в чужую не лезть.

Океаны здесь пота,
Гималаи труда!
Да она несвободы
Тяжелее куда.

Я ведь ждал ее тоже
Столько долгих годов,
Ждал до боли, до дрожи,
А пришла — не готов.

1987

ИННОКЕНТИЙ АННЕНСКИЙ

Счастлив ли Иннокентий Анненский,
Непризнания чашу испивший,
Средь поэтов добывший равенство,
Но читателя не добывший?

Пастернак, Маяковский, Ахматова
От стиха его шли

(и шалели

От стиха его скрытно богатого),
Как прозаики — от «Шинели»...

Зарывалась его интонация

В скуку жизни,

ждала горделиво

И, сработавши, как детонация,
Их стихи доводила до взрыва.

...Может, был он почти что единственным,
Самобытным по самой природе,
Но расхищен и перезаимствован,
Слышен словно бы в их переводе.

Вот какие случаются странности,
И хоть минуло меньше столетья,
Счастлив ли Иннокентий Анненский,
Никому не ответить.

1987

ИННА ЛИСНЯНСКАЯ

р. 1928, Баку

Первые стихи напечатаны в 1949-м. Выпустив три книги стихов, была на «среднем хорошем счету» в так называемой женской лирике. Однако уже четвертая книга «Из первых рук» (1966) была отмечена новым уровнем мужества трагической исповедальности. Книга была сильно покорежена цензурой. Это прямое столкновение с системой, а также гонения на диссидентов, многие из которых были личными друзьями Лиснянской, еще больше драматизировали ее музу и политизировали личностное поведение. Следующая книга «Виноградный свет» вышла лишь через десять лет. Сопротивление системы и системе вызвало в поэтессе дополнительные художественные резервы, многими даже не предполагавшиеся. После участия в полудиссидентском альманахе «Метрополь» в 1979 году и Лиснянская, и ее муж — поэт Семен Липкин вышли из Союза писателей в знак протеста против исключения своих коллег и стали печататься лишь за границей. Во время перестройки они снова стали членами Союза писателей. Судьба Лиснянской — пример того, как чистота личностного поведения может перерасти в дополнительную художественную силу.

* * *

Вам, друзья мои, вам, дорогие,
Улыбаюсь сквозь слезы вослед:
Вы не бойтесь, друзья, ностальгии —
Есть Исход, эмиграции нет.

Приближаясь к последнему праву
Под землей о земле тосковать
Больше я никакую державу
Не посмею чужбиной назвать.

Можно ль ждать приглашения к казни
И не рваться в спасительный лаз?
Нет порыва во мне безобразней,
Чем, прощаясь, оплакивать вас.

1978

Я ЗАТЯГИВАЮ ПЕТЕЛЬКУ

Я затягиваю петельку
На пустых своих слезах
И затягиваю песенку
О строительных лесах.

Отстреляли почки нежные —
 Скоро-скоро будет дом!
 Мы еще с тобою не жили —
 Скоро-скоро заживем.
 Заживем,
 И раны старые
 Вместе с нами заживут.
 И придут друзья к нам старые,
 Вилки-ложки принесут.
 А со мной вдруг что-то станется,
 Что-то в сердце упадет.
 Обернусь я прежней странницей
 В первый птичий перелет.
 Затяну покрепче петельку
 На спокойствии своем,
 Затяну подлиньше песенку:
 Жил-был барин с посошком.

ВРЕМЯ КАЖДОЙ ЯГОДЕ

Время каждой ягоде
 Знаю наизусть.
 Мне бы надо плакати,
 Ну, а я смеюсь,

Все меня забудете —
 Сквозь года смотрюсь.
 Мне бы надо думати,
 Ну, а я смеюсь,

И, как утка в заводи,
 За воду держусь.
 Мне бы надо плакати,
 Ну, а я смеюсь.

ПЕРЕДЕЛКИНСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Мы простимся на мосту...

Я. Полонский

День истлел. Переселилось
 Слово в желтую звезду.
 Нет, ни с кем я не простилась
 У погоста на мосту.

На погосте я гостила,
 Здесь — деревья и кусты,
 Разномерные могилы,
 Разноростные кресты —

Деревянные, простые,
 С червоточинным нутром,
 И железные, витые,
 Крашенные серебром.

А поодаль, за оградой,
 Спят, разжавши кулаки,
 Ряд за рядом, ряд за рядом,
 Старые большевики.

И над ними — ни осины,
 Ни березы, ни ольхи,
 Ни травиночки единой —
 Лишь посмертные кручины,
 Да бессмертные грехи,

Да казенные надгробья,
 Как сплоченные ряды.
 Господи, твои ль подобья
 Дождались такой беды?

1972

ЭРНСТ НЕИЗВЕСТНЫЙ

р. 1928, Свердловск

Сын одного из авторов этой антологии — писательницы Беллы Дижур, выиграл всесоюзное соревнование и учился в специальной школе для особо одаренных детей — сначала в Ленинграде, потом в Самарканде. В 1942-м добровольцем вступил в Красную Армию и учился в военной школе в Кушке. Воевал офицером десантных войск на Втором Украинском фронте, был ранен в Австрии, сочтен убитым и награжден посмертно орденом Красной Звезды. Вернувшись с войны, сначала преподавал рисунок в Свердловске, а потом учился в Академии искусств в Риге, в Суриковском институте в Москве и на философском факультете МГУ. Став скульптором, лепил философию, задумав еще в 1957 году гигантскую композицию Древо Жизни. В 1957-м получил два приза на международном фестивале молодежи в Москве, когда после сталинской смерти ворота столицы со скрипом, но все-таки распахнулись перед тысячами иностранцев. В 1962 году Хрущева при посещении официальной выставки с умыслом завели в зал, где были выставлены работы художников-экспериментаторов. Хрущев, никогда прежде не видевший ни абстракций, ни других современных направлений искусства, разъярился и стал орать, всячески оскорбляя художников. Неизвестный по-десантному ответил ему на великом могучем русском языке, что поразило Хрущева и вызвало в нем раздраженное уважение. Впоследствии семья Хрущева заказала именно Неизвестному надгробный памятник. Неизвестный решил его в комбинации белого и черного мрамора, что символизировало раздвоенность Хрущева. Неизвестный, обладающий энергией кентавра, сделал все возможное и невозможное в СССР, но постоянно чувствовал себя как кентавр, которого стараются запихнуть в мышеловку. Он вынужден был уехать на Запад, но сейчас, когда времена изменились, постоянно ездит на Родину, пытаясь, несмотря на все трудности, осуществить свой давний замысел — поставить гигантский памятник жертвам террора. У Неизвестного не только мощные изобретательные руки, но и талантливое перо эссеиста. А когда-то он писал стихи. Я привожу одно из них, полное все той же энергии.

БУДА и ПЕШТ

Затишье...

Попадали группами,
Сразу уснули,
Усталостью стертые.

В крови,
Обнявшись живые с трупами,
Не противно —
Все будем мертвые.

— Кто тут есть?
Поднимайся, ребята! —

Незнакомые спокойно синеют лица.

— Эй, живые Второго штурмбата,
Поднимайся,
Пора веселиться! —

Встали мертвые.

— Странно, я думал,
Другие живые,—
Смеется взводный губами рваными.

— Нас-то подняли,
А тех — уж не выйдет! —
Взвод доволен,
Захлебывается хохотом:
— Нас-то подняли,
А их — уж не выйдет! —

Хохот в карнизах
Дробится грохотом.
Возвращается эхо хохотом;
— Не выйдет, не выйдет, не... —

— Слушай приказ, пока живые:
Приказываю выбить немца из здания.
Поощрю — пойдет дело успешно,
Не выполните задания —
Командиров повешу! —

Серый дом разбит из «76-и»,
Облицованная гранитом, гарью дышит улица.
Каждый метр прострелян. — Как пройти?
Молчаливые дома горят и, сгорая, сутулятся.

Взводный спокоен, — рваную прикусил губу.
Осмотрели запалы, ножи и без — Ура!
Пошли на работу дразнить судьбу,
Брать Буду, брат Пешт
Сквозь бесконечные как смерть бункера.

ВИКТОР НЕКИПЕЛОВ

1928, Харьков—1989, Париж

Окончил химико-фармацевтический институт в Харькове, работал главным инженером на витаминной фабрике в Умани, начальником аптеки в Московской области, в городе Камешково. В 60-е годы закончил заочно Литинститут. Первый сборник «Между Марсом и Венерой» был опубликован в Ужгороде. В 1973-м был судим за клевету на социалистический строй, отбыл около года под следствием, год в лагере общего режима во Владимире и два месяца на судебно-психиатрической экспертизе в институте Сербского. Ему инкриминировались восемь стихотворений, статья и черновые наброски. После освобождения Некипелов стал членом Хельсинкской группы, возглавив группу защиты прав инвалидов. Его снова арестовали. Осужденный на семь лет лагерей, он в середине 80-х был освобожден и эмигрировал во Францию.

АЛАБУШЕВО

Не обижены судьбою,
Одарила нас удача:
Финский домик под Москвою —
То ли ссылка, то ли дача.

Все по чину и по сану,
По родимому закону:
В уголках — по таракану,
В потолках — по микрофону.

А на все четыре розы —
Елки, палки, галки, грузди!
Если вспять пошли морозы, —
Значит, нет причин для грусти!

Наслаждаемся природой,
Крутим пленку с Окуджавой,
Умиленные заботой
Нашей матери-державы.

С каждым днем нежнее, ближе
Узнаю ее натуру!
Кто-то топает по крыше —
Проверяет арматуру...

Ну и ладно, жребий брошен!
Мы живем и в ус не дуем,
По углам — буры накрошим,
Потолкам — покажем дулю!

Хоть без очень четкой цели,
Но живем своим укладом.
Если сильно дует в щели —
Затыкаем самиздатом...

Есть вопросы, нет ответа!..
Спорим, курим, ждем мессию,
Чтоб, проникшись высшим светом,
Вместе с ним спасать Россию.

А она не шьет, не строчит,
Пьет и пляшет, губы в сале,
А она совсем не хочет,
Чтобы мы ее спасали!

1971

БАЛЛАДА О ПЕРВОМ ОБЫСКЕ

*«Но что нам делать с розовой зарей
Над холодеющими небесами,
Где тишина и неземной покой?
Что делать нам с бессмертными
стихами?»*
Н. Гумилев

Я ожидал их так давно,
Что в час, когда пришли,
Мне стало так же все равно,
Как лодке на мели.

Я оглядел их сверху вниз —
Процессию теней:
На козых ножках — тельца крыс
И хоботки свиней.

Они рванулись как на мед
На давний мой дневник...
Они оставили помет
На переплетах книг...

Какой-то выхватив альбом,
Захрюкали в углу...

А я стоял, прижавшись лбом
К оконному стеклу.

А я глядел на дальний бор,
На три моих сосны,
Я знал, что все иное вздор,
Непрошенные сны.

Там, отрицая этот сброд,
Лаская и даря,—
Вставала из раздольных вод
Пурпурная заря.

И в лике пенных облаков,
Прекрасны и тихи,
Текли, не ведая оков,
Бессмертные стихи.

Не зная страха и утрат,
Был легок путь в зенит...
Я знал, что этот высший лад
Никто не осквернит.

И, оглянувшись на зверье,
На разоренный стол
Я как во сне сказал:

«Мое.

Давайте протокол».

13 июля 1972

ГЕНРИХ САПГИР

р. 1928, Бийск, Алтайский край

Родился на Алтае, но детство провел в Москве. Первым поэтическим наставником Сапгира стал всеми забытый поэт Серебряного века Арсений Альвинг, верный ученик Анненского. После смерти Альвинга Сапгир познакомился с Евгением Кропивницким, именно «лианозовская», «барачная» школа поэзии стала настоящей стихией Сапгира. В «годы застоя» был переводчиком детских стихов, автором пьес, сценариев и т. д.— но в Союз писателей стойко был непринимаем. Стал печататься на Западе. Сам Сапгир в одном из интервью сказал, что от всей лианозовской школы поэтов и художников «только дружба осталась». Там же он говорит: «Я не считаю, что литератор обязательно должен печататься». Сапгир, однако, в последние годы активно печатается как «взрослый» поэт. И у него есть свой читатель.

СМЕРТЬ ДЕЗЕРТИРА

— Дезертир?
— Отстал от части.
— Расстрелять его на месте.
(Растерзать его на части!)
Куст,
Обрыв, река,
Мост
И в солнце облака.
Запрокинутые лица
Конвоиров,
Офицера.
Там
Воздушный пируэт —
Самолет пикирует.
Бомба массой стекла
Воздух рассекла —

УДАР
Наклонился конвоир,
Офицер,
Санитар.
... еще живет.
... нести.
Разрывается живот.
Вывалились внутренности.
Сознания распалась связь...
Комар заплакал, жалуясь.
Вьется и на лоб садится,
Не смахнуть его с лица...
По участку ходит мрачен,
Озабочен:
На доме прохудилась крыша,
На корню
Засохла груша,
Черви съели яблоню.

Сдох в сарае боров,
 Нет на зиму дров.
 А жена? Жена румяна —
 На щеках горят румяна,
 Она гуляет и поет,—
 Никого не узнает.
 Говорит: «Чудные вести:
 Пропал без вести,
 Пал героем,
 Расстреляли перед строем!»
 Взял молоток,
 Влез на чердак
 И от злости
 И тоски
 Загоняет гвозди
 В доски,
 Всаживает
 В свой живот.
 Что ни гвоздь,
 То насквозь.
 Нестерпимая резь.
 — Ай!
 — Ой!
 — Смотри: еще живой.
 — Оставь, куда его нести,
 Вывалились внутренности.
 (Комар не отстаёт, звеня.)
 — Братцы, убейте меня.

ИКАР

Скульптор
 Вылепил Икара.
 Ушел натурщик,
 Бормоча: «Халтурщик!
 У меня мускулатура,
 А не части от мотора».
 Пришли приятели,
 Говорят: «Банально».
 Лишь женщины увидели,
 Что это — гениально.
 — Какая мощь!
 — Вот это вещь!
 — Традиции
 Древней Греции...
 — Сексуальные эмоции...
 — Я хочу иметь детей
 От коробки скоростей!

Зачала. И вскорости
 На предельной скорости,
 Закусив удила,
 Родила.
 Вертолет.

Он летит и кричит —
 Свою маму зовет.
 Вот уходит в облака...
 Зарыдала публика.
**ТАКОВО ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ
 ВОЗДЕЙСТВИЕ ИСКУССТВА!**
 Раскланялся артист...
 На площади поставлен бюст —
 Автопортрет,
 Автофургон,
 Телефон-
 Автомат.

БОРОВ

Сидоров
 Решил резать борова.
 Боров
 При виде Сидорова
 Все понял —
 Закричал от страха.
 Побежал,
 Волоча по снегу брюхо.
 Сидоров — за ним:
 — Убью,
 Мать твою!..
 Боров
 Припустился вдоль заборов.
 Верещит отчаянно.
 Удирая от хозяина,
 Сало
 Забежало
 Во двор Егорова.
 Сидоров и Егоров
 Ловят борова.
 Сидоров со свиньей
 Разговаривает,
 Держит нож за спиной,
 Уговаривает:
 — Мой хороший,
 Мой родной...
 Егоров по башке — поленом!
 Хряк
 Брык
 В снег,
 Сидоров прижал коленом
 Брюхо,
 В душу погрузил клинок,
 Располосовал от уха до уха!
 Вот как у нас!..
 Кровь хлещет в таз.
 И лежа в луже крови,
 Похрюкивает боров.
 Доволен Сидоров —
 Помог ему Егоров.

ВЛАДИМИР СОКОЛОВ

р. 1928, Лихославль Тверской обл.

Окончил Литинститут Горького в 1952 году. Он был, пожалуй, первым из послевоенного поколения, который еще при Сталине начал писать настоящие лирические стихи. Они звучали как чистая мелодия флейты среди барабанов, отстукивающих ритмы индустриальных маршей. Он был учителем нашего поколения, несмотря на небольшую разницу в годах. Мы все преклонялись перед ним и многое у него наворовали — в частности я. Наша национальная и международная слава начала обгонять его прочную, но узкую известность. Критики-интриганы пытались его поссорить с нашим поколением, объявив его лидером так называемой тихой поэзии, а нас называя «эстрадными поэтами», то есть поэтами весьма сомнительными. Однако Соколов сам в таких литературных стычках участия не принимал и несколько раз выступил со статьями, отвергая попытки нас поссорить. Он ошелолил читателей поэзии, напечатав в январской «Литературной газете» 1991 года небольшую поэму «Пришелец», написанную в форме монолога пришельца с далекой Звезды, который стал на земле поэтом. Это было поручение главного штаба Звезды, но она, считая его задание выполненным, отзывает его обратно, а он не может расстаться с землей, которую и возненавидел, и полюбил. Написать в 62 года свое лучшее произведение — это редкость.

НАЧАЛО

Четвертый класс мы кончили в предгрозье.
Но мы о том не думали в тот год,
И детских санок легкие полозья
Неслись навстречу буре без забот.

Ты помнишь?

Возле красноезвездных вышек —
Ты помнишь? — в Александровском саду
Летели дни на санках и на лыжах,
И Кремль от детства отводил беду.

Но все тревожней были передачи,
Все шире круг забот МПВО.
Горел Париж. И так или иначе
На нас ложились отсветы его.

Я помню день, когда забросил сразу
Я все свои обычные дела.
В тот вечер мама два противогоза,
Себе и мне, с работы принесла.

Я и не понял: для чего, откуда,
Но, на игру сзывая ребятню,
Таскал с собой резиновое чудо
И примерял по десять раз на дню.

Откуда-то их был десяток добыт.
И вот, пока сражение текло,
Любой из нас, растягивая хобот,
Глазел на мир сквозь потное стекло.

А на спину поваленные стулья
Строчили беспощадно по врагу,
И в светлых комнатах шальная пуля
Подстерегала на любом шагу.

И падал навзничь Петька или Сашка
Не на ковры, навстречу синяку, —
С бумажною звездой на фуражке
И сумкою зеленой на боку.

Но в коридоре становясь под знамя,
Мы верим ложной гибели сполна

И не догадываемся, что с нами
Играет настоящая война!

А уж случалось — свет надолго гаснул
Вслед за тревожно стонущим свистком,
А уж в парадные не понапрасну
Затаскивали ящики с песком.

И часовой на западной границе
Все зорче вглядывался в темноту.
А там росли опасные зарницы,
Стальные птицы брали высоту.

Там на дома неслись фугасок гроздь.
На океанах шли суда ко дну.
Четвертый класс мы кончили в предгрозье,
Из пятого мы перешли в войну.

Двенадцать лет — огромный,
взрослый возраст,
Но разве нежным мамам объяснишь,
Что наше место там, где крики «воздух!»
И ширь ничем не защищенных крыш.

И мы тайком (туда, где зажигалки),
Оставив женщинам подвальную тоску,
Вслепую лезем, стучаясь о балки,
По теплему чердачному песку.

А там, пылая в треугольной раме,
Гремит ночной московский наш июль,
Зажженный заревом, прожекторами,
Пунктирами трассирующих пуль.

Мы замерли. И ноги вдруг как вата,
Но, несмотря на то, что бел, как мел,
Наш командир сказал: — За мной, ребята! —
И по железу первым загремел.

Навстречу две дежурных комсомолки
Уже спешили, нас назад гоня.
И, как сосульки, падали осколки,
И рос напор зенитного огня.

Чердак опять. А бой ревет над крышей,
Несовершенным подвигом маня.
И вдруг внесли его, плащом укрывши,
Как, может быть, внесли бы и меня.

Он так лежал, как в этой же рубашке
Лежал однажды на своем веку,
С бумажною звездой на фуражке
И сумкою зеленой на боку.

Он так лежал, как будто притворялся.
И мать бежала:— Петя, подымись! —
А он смолчал. Не встал. Не рассмеялся.
Игра кончалась. Начиналась жизнь.

Так дни идут, как будто нет им краю.
Но этот первый воинский урок
Я в сотый раз на память повторяю
И настоящий трогаю урок!

1949

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Хоть глазами памяти
Вновь тебя увижу,
Хоть во сне непрошенно
Подойду поближе.

В переулке узеньком
Повстречаю снова,
Да опять, как некогда,
Не скажу ни слова.

Были беды школьные,
Детские печали,
Были танцы бальные
В физкультурном зале.

Были сборы, лагери,
И серьез, и шалость.
Много снегом стаяло,
Много и осталось.

С первой парты девочка,
Как тебя забуду?
Что бы ты ни делала —
Становилось чудом.

Станешь перед картою —
Не урок, а сказка.
Мне волшебной палочкой
Кажется указка.

Ты бежишь, и лестница
Отвечает пенъем,
Будто мчишь по клавишам,
А не по ступеням.

Я копил слова твои,
Собирал улыбки

И на русском письменном
Допускал ошибки.

Я молчал на чтении
В роковой печали,
И моих родителей
В школу вызывали.

Я решал забыть тебя,
Принимал решение,
Полное великого
Самоотречения.

Я его затверживал,
Взгляд косил на стены,
Только не выдерживал
С третьей перемены.

Помнишь детский утренник
Для четвертых классов?
Как на нем от ревности
Не было мне спасу.

Как сидела в сумраке
От меня налево
На последнем действии
«Снежной королевы».

Как потом на улице
Снег летит робея,
Смелый от отчаянья,
Подхожу к тебе я.

Снег морозный сыплется,
Руки обжигает,
Но, коснувшись щек моих,
Моментально тает.

Искорками инея
Вспыхивают косы.
Очи удивляются,
Задают вопросы.

Только что отвечу им,
Как все расскажу я?
Снег сгребая валенком,
Слов не нахожу я.

Если б и заставили, —
Объяснить не в силе,
Ничего подобного
Мы не проходили.

В переулке кажется
Под пургой взметенной
Шубка горностаевой,
А берет — короной.

И бежишь ты в прошлое,
Не простясь со мною,

Королева снежная,
Сердце ледяное...

1950

* * *

Машук оплыл — туман в округе.
Остыли строки, стаял дым.
А он молчал почти в испуге
Перед спокойствием своим.

В который раз стихотворенье
По швам от страсти не рвалось.
Он думал: это постаренье!
А это зрелостью звалось.

Так вновь сдавалось вдохновенье
На милость разума его.
Он думал: это охлажденье.
А это было мастерство.

1956

* * *

Когда стреляют в воздух на дуэли,
Отнюдь в обидах небо не винят.
Но и не значит это, что на деле
Один из двух признал, что виноват.

И удивив чужого секунданта
И напугав беспечно своего,
Он, видя губы бледные Баранта,
Пугнул ворон. И больше ничего.

Ведь еще ночью, путаясь в постели,
Терзая лоб бессонной маетой,
Он видел всю бесцельность этой цели,
Как всю недостижимость главной, той.

Заискиванье? Страх? Ни в коем разе.
И что ему до этого юнца!
Уж он сумел бы вбить ему в межглазье
Крутую каплю царского свинца.

1956

* * *

Снега белый карандаш обрисовывает зданья...
Я бы в старый домик ваш
прибежал без опозданья,
Я б пришел тебе помочь
по путям трамвайных линий,
Но опять рисует ночь черным углем белый
иней...

У тебя же все они, полудетские печали.
Погоди, повремени,
наша жизнь еще в начале.
Пусть уходит мой трамвай!
Обращая к ночи зренье,
Я шепчу беззвучно: «Дай
позаимствовать уменье.

Глазом, сердцем весь приник...

Помоги мне в миг бесплодный.
Я последний ученик
в мастерской твоей холодной»

1960

* * *

Майе Луговской

Все, как в добром старинном романе.
Дом в колоннах, и свет из окна.
Липы черные в синем тумане.
Элегическая тишина.

В купах вымокших шорох вороний.
Тихо плавают листья в пруду.
Что за черт, я совсем посторонний
В этом желтом, забытом саду.

Но, представьте, под лиственной сенью
Я часами брожу наугад,
Как скрывающий происхождение,
Что-то вспомнивший аристократ.

Что мне в этих колоннах да нишах!
И как будто впервые я здесь,
И отец у меня не из бывших,
А из тех, что и будучи, и есть.

Но с какой-то навязчивой грустью
Лезет в душу мне сырость колонн
И в садовом своем захолустье
Позабытый людьми Аполлон.

1960

ВОСПОМИНАНИЯ О КРЕСТЕ

Я наконец добился своего.
Меня узнать не могут те и эти
За то, что я, один как перст на свете,
Живу превыше блага одного.

Вначале было так: средь слез и свар,
За то, что к сердцу принял все живое,
Все веры и черты приняв, как дар,
Я из родных был выведен в изгой.
Затем я был последнего лишен.
В моем доме ветра заголосили.
И так я был обидой оглушен,
Что мне колдуньи зелье подносили.
Однако доброй дружбы торжество
Я испытал, когда собрата встретил.
Но я обидел шуткою его,
Желая быть,

как он — в то время — весел.
Он был моим. Но не был я своим,
Как оказалось. Я права превысил.
И мысль пришла: а что, если, как дым,
Метнуться вверх от этих душ и чисел!
Но был я слаб. И руку на себя

Поднять не смел. Она, как плеть, висела.
И мысль пришла: все, чем живу, любя,
Обидеть так, чтоб хоть шурупы в тело
Ввинтили мне всем миром: что там ждать!
А вдруг не станут — как, зачем, откуда!
Пойти в Горсправку! Объявление дать!
«Мне тридцать три. Я жив. Ищу Иуду».

1961

* * *

Художник должен быть закрепощен,
Чтоб ощущал достойную свободу,
Чтоб понимал, когда и что почем
Не суете, а доблести в угоду.

Художник должен быть закрепощен,
Как раб труда, достоинства и чести,
Ведь лишь тогда, питомец мира, он,
Как слово точно взятое, — на месте.

Художник может быть раскрепощен,
Когда мальчонка ритмы отмеряет
Своей ручонкой — явь его и сон, —
Но он тогда от счастья
Умирает.

Художник знает музыку и цвет,
Он никогда не бог и не безбожник,
Он только мастер, сеятель, поэт.
На двух ногах стоит его треножник.

Одно замечу, обрывая стих,
Хоть в нем одном и участь и отрада, —
В монархии подобных крепостных
Царей-освободителей
Не надо!

1963

ВЕНОК

Вот мы с тобой и развенчаны.
Время писать о любви...
Русая девочка, женщина,
Плакали те соловьи.

Пахнет водою на острове
Возле одной из церквей.
Там не признал этой росстани
Юный один соловей.

Слушаю в зарослях, порослях,
Не позабыв ничего.
Как удивительно в паузах
Воздух поет за него.

Как он ликует божественно
Там, где у розовых верб
Тень твоя, милая женщина,
Нежно идет на ущерб.

Истина ненаказуема.
Ты указала между.
Я ни о чем не скажу ему,
Я ни о чем не скажу.

Видишь, за облак барашковый,
Тая, заплыл наконец,
Твой васильковый, ромашковый,
Неповторимый венец...

1966

* * *

Валентину Никулину

Я устал от двадцатого века,
От его окровавленных рек.
И не надо мне прав человека,
Я давно уже не человек.

Я давно уже ангел, наверно,
Потому что, печалью томим,
Не прошу, чтоб меня легковерно
От земли,
что так выглядит скверно,
Шестикрылый унес серафим.

ПРИШЕЛЕЦ

(из поэмы)

... Я так устал на вас похожим быть.
К тому ж за годы, что я здесь бытую,
Вы и меня сумели убедить,
Что нет меня, что я не существую.

Покуда не опознан Человек,
Все эти миллионы невидимок,
В заботах коротающие век,
Все НЛО — один туманный снимок.

Былых мечтаний бывший фаворит,
Двадцатый век, век-маска, век-насилъник,
Зачем тебе энергия, рубильник?
Чтоб делать пеплом все, что говорит?

Как некий дух над каждым человеком,
Как в черном космосе парад планет,
Парад веков стоит над вашим веком,
И от него нигде спасенья нет.

.....
Я, как дитя, представил бесконечность,
И страх объяд меня. Я в Путь готов.
Я здесь оставил душу. Дай мне, вечность,
Две-три минуты для немногих слов.
Увы, прощайте, гордые, как дети,
Что занеслись, экзамен первый сдав.

Хулу или хвалу другой планете
Нам воздавать нельзя. Таков устав.

АЛЕКСАНДР ЦЫБУЛЕВСКИЙ

1928, Тбилиси — 1975

Русский поэт, родившийся в столице Грузии, тонко чувствовавший грузинскую природу и культуру. Учился вместе с Окуджавой на филфаке Тбилисского университета. В 1948 году был арестован по политическому обвинению. Вернувшись, работал в Институте востоковедения, занимался филологической исследовательской деятельностью в области грузинской поэзии, писал стихи и очаровательную поэтическую прозу. При жизни вышли две тоненькие книжки: «Что сторожат ночные сторожа», «Владелец шарманки».

* * *

Когда рассвет — сквозь ставни —
тощий
Перебежит трамвайный путь,
Встаешь, и ласков мир на ощупь,
Но глубже страшно заглянуть.

* * *

Шар земной и Хлебников бездомный,
Без него — бездомный шар земной.
Есть кому и некому напомнить
Эту связь бессвязности самой.

* * *

Как эти линии покаты,
Как удивительны мазки!
О человечки, на плакатах
Архитектурных мастерских!

Те вездесущие фантомы
Проскальзывают в каждый дом.

И даже в нашем старом доме
Ваш керамический фантом.

И что с того, что по колено
Мне море жалкого тряпья?
И мы фантомы поколенья —
И ты — не ты, и я — не я.

А это значит — новый Некто
Гротеска пустит карусель,
Напишет заново «Шинель»
И Нос отправит про проспекту.

* * *

Опавших листьев ворох прелый
Передохнув, перемахнув...
Вдруг женский локоть загорелый
Явила бабочка, порхнув.

Но расцепившееся слово
Иным движением полно.
Оно несчастьем здорово
И только радостью больно.

АНАТОЛИЙ ЧИКОВ

р. 1928, Мытищи Московской обл.

Окончил Литинститут. Поэт, близкий к рубцовской интонации. Как-то написал сам о себе: «Ну не жизнь, а сплошная болтанка. И однажды в девятом часу я скажу: «Разрешите, гражданка, чемоданчик я вам поднесу?» Поэзия — гражданка норовистая: не всем на слово верит. Таков и народ в образе Емели, как его написал Чиков. Не хочет народ, чтобы уши его стали вешалками для лапши, но позволяет.

ОТВЕТ ЕМЕЛИ

Шел Емеля — любимец народный,
На вопрос усмехался он в ус,
Для чего на тебе, мол, немодный
С четырьмя козырьками картуз?

А Емеля взглянул деловито
И ответил чуть-чуть погода:
Мол, передний — от солнца защита,
Ну а задний — от капель дождя.

А еще, разлюбозные души,
Я ответить для вас поспешу —
По бокам козырьки, чтоб на уши
Мне не вешали больше лапшу.

ЮЗ АЛЕШКОВСКИЙ

р. 1929, Красноярск

Останется в литературе не столько как прозаик, написавший книги «Николай Николаевич» (1970), «Рука» (1980) и другие, сколько как автор двух десятков песен, половина из которых стала «вагонными», а «главная», «Песня о Сталине», начисто утратила авторство и до 1970-х годов считалась «народным творчеством» сталинских лагерей: песня пелась всеми подряд, порою переделанная до неузнаваемости. Автор ее сам побывал в лагерях в 1950—1953 годах, в советскую литературу вошел как детский писатель, но в 1979-м, после выхода альманаха «Метрополь», не только вышел из советской литературы, но и покинул СССР, переселившись в США, где занимается прозой и давно никаких песен не пишет.

ПЕСНЯ О СТАЛИНЕ

Товарищ Сталин, вы большой ученый —
В языкознание знаете вы толк,
А я простой советский заключенный,
И мне товарищ — серый брянский волк.

За что сижу, воистину не знаю,
Но прокуроры, видимо, правы,
Сижу я нынче в Туруханском крае,
Где при царе сидели в ссылке вы.

В чужих грехах мы с ходу сознавались,
Этапом шли навстречу злой судьбе,
Но верили вам так, товарищ Сталин,
Как, может быть, не верили себе.

И вот сижу я в Туруханском крае,
Где конвоиры, словно псы, грубы,
Я это все, конечно, понимаю
Как обостренье классово-борьбы.

То дождь, то снег, то мошкара над нами,
А мы в тайге с утра и до утра,
Вы здесь из искры разводили пламя —
Спасибо вам, я греюсь у костра.

Мы наш нелегкий крест несем задаром
Морозом дымным и в тоске дождей
И, как деревья, валимся на нары,
Не ведая бессонницы вождей.

Вы снитесь нам, когда в партийной кепке
И в кителе идете на парад,
Мы рубим лес по-сталински, а щепки,
А щепки во все стороны летят.

Вчера мы хоронили двух марксистов,
Тела одели ярким кумачом,
Один из них был правым уклонистом,
Другой, как оказалось, ни при чем.

Он перед тем, как навсегда скончаться,
Вам завещал последние слова:
Велел в евоном деле разобраться
И тихо вскрикнул: «Сталин — голова!»

Дымите тыщу лет, товарищ Сталин,
И пусть в тайге придется сдохнуть мне,
Я верю: будет чугуна и стали
На душу населения вполне.

1959, лето

РОЛАН БЫКОВ

р. 1929

Блистательный актер и режиссер, у которого физиологическая одаренность сочетается с пронзительным аналитическим умом и менеджерской хваткой. Он незабываем и в роли Бармаля, и еврейского портного в фильме «Комиссар», и в роли нашего советского барачного инквизитора в «Оно». Среди его фильмов, пожалуй, самый лучший — «Чучело». Всю жизнь пишет стихи, а вот публиковать их начал лишь недавно.

* * *

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И уж не будет выхода.

* * *

Я с детства видел свой портрет в оконной
раме,
Неясный, темный, смутный силуэт.
Лишь изредка портрет бывал с глазами,
Когда откуда-то в глаза мне падал свет.

В портрете этом явно было сходство
Со мной, но поражало не оно:
В нем заключалась тайна превосходства
Во всем, что лишь чуть-чуть отражено.

Неясность выживала напряженье
И заставляла видеть наугад,
Я проникал игрой воображенья
Во все, во что не мог проникнуть взгляд.
И ясно видел я, что все во мне неясно,
Все обозначено едва-едва, чуть-чуть
И все старания мои напрасны,
Нельзя проникнуть в собственную суть.

Воочию свою я тайну видел,
И делался себе почти чужим,
И смерть свою заране ненавидел,
И пред собой таился, недвижим.

Да, смерть! О ней я с детства думал тоже,
Когда в себя смотрелся, не дыша.
И думал, что, наверное, похожа
На это отлетевшая душа.

ЮРИЙ ВОРОНОВ

1929, Ленинград — 1993, Москва

Пережил ленинградскую блокаду. Работал журналистом, главным редактором «Комсомольской правды», собкором «Правды» в ГДР. До конца жизни блокада и война так и остались главными его темами.

* * *

В блокадных днях
Мы так и не узнали:
Меж юностью и детством
Где черта?..
Нам в сорок третьем
Выдали медали
И только в сорок пятом —
Паспорта.

И в этом нет беды.
Но взрослым людям,
Уже прожившим многие года,
Вдруг страшно оттого,
Что мы не будем
Ни старше, ни взрослее,
Чем тогда.

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР

р. 1929, Сухуми

Нет ни такой национальности — кавказец, ни кавказского языка. Тем не менее Искандер именно кавказский писатель. Отец его — иранец, мать — абхазка, все детство свое он провел в Сухуми, где вокруг звучали и грузинский, и армянский, и греческий. Искандер учился сначала в Библиотечном институте в Москве, затем в Литературном, а потом некоторое время работал журналистом в Курске и Брянске. Стихи Искандер сначала писал «под Кирсанова», потом «под Багрицкого». Первая книга, которую отредактировал составитель этой антологии, была книжка Искандера, выпущенная в Сухуми в 1954 году. Там были дивные строки: «И пусть, дыша в лицо мне жарко, распахивая мордой дверь, на грудь мне кинется овчарка. Я узнаю. Лучшего подарка не надо. Скручена сигарка. Легко, спокойно мне теперь». Это была словно клятва верности Кавказу. Искандер клятву выполнил и как прозаик. Первой его знаменитой книгой стала сатирическая повесть «Созвездие Козлотура» в 1966-м, а затем начала печататься многотомная эпопея «Сандро из Чегема» (с 1973 года). Эта книга была изуродована цензурой. Лучшее, на мой взгляд, что написал Искандер, — мудрая лукавая сказка «О кроликах и удавах» вообще долго не могла пробиться к читателю. Искандер рискнул и напечатал полный вариант «Сандро» и «Кроликов» на Западе и каким-то чудом избежал серьезных неприятностей. В последнее время он опубликовал ряд политических эссе, где мастерство написания обворожительно сочетается с мудрым и лукавым кавказским взглядом на жизнь — несколько свысока, но все-таки не с облаков, а просто с хорошо знакомых ногам снежных вершин.

МОЛИТВА ЗА ГРЕТХЕН

Двадцатилетней, Господи, прости
За жаркое, за страшное свиданье,
И, волоса не тронув, отпусти,
И слова не промолви в назиданье.

Его внезапно покарай в пути
Железом, серой, огненной картечью,

Но, Господи, прошу по-человечьи,
Двадцатилетней, Господи, прости.

ЯЗЫК

Не материнским молоком,
Не разумом, не слухом,
Я вызван русским языком
Для встречи с Божьим духом.

Чтоб, выйдя из любых горнил
И не сгорев от жажды,
Я с ним по-русски говорил,
Он захотел однажды.

НАРОД

Когда я собираю лица,
Как бы в одно лицо — народ,
В глазах мучительно двоится,
Встают — святая и урод.

Я вижу чесучовый китель
Уполномоченного лжи.
Расставил ноги победитель
Над побежденным полем ржи.

Я вижу вкрадчивого хама,
Тварь, растоптавшую творца.
И хочется огнем Ислама
С ним рассчитаться до конца.

Но было же! У полустанка
В больших, разбитых сапогах
Стояла женщина-крестьянка
С больным ребенком на руках.

Она ладонью подтыкала
Над личиком прозрачным шаль.
И никого не попрекала
Ее опрятная печаль.

Какие-то пожитки в торбе
И этот старенький тулуп.
И не было у мира скорби
Смирней этих глаз и губ.

...А Русь по-прежнему двоится,
Как и двоилась испокон.
И, может быть, отцеубийца
Такой вот матерью рожден.

ПАМЯТИ ВЫСОЦКОГО

Куда, бля, делась русска нация?
Не вижу русского в лицо.

Есть и одесская акация,
Есть и кавказское вино.

Куда, бля, делась русска нация?!
Кричу и как бы не кричу.
А если это провокация?
Поставим Господу свечу.

Есть и милиция, и рация,
И свора бешеных собак.
Куда, бля, делась русска нация?
Не отыскать ее никак.

Стою, поэт, на Красной площади.
А площади, по сути, нет.
Как русских. Как в деревне лошади.
Один остался я. Поэт.

Эй, небеса, кидайте чалочку,
Родимых нет в родном краю!
Вся нация лежит вповалочку.
Я, выпимши, один стою.

* * *

Я не знал лубяньских кровососов,
Синеглазых, дерганных слегда.
Ни слепящих лампами допросов,
Ни дневного скудного пайка.

Почему ж пути мои опутав,
Вдохновенья сдерживая взмах,
Гроздь мелкозубых лилипутов
То и дело виснут на ногах?

Нет, не знал я одиночных камер
И колымских оголтелых зим.
Маленькими, злыми дураками
Я всю жизнь неряшливо казим.

Господи, все пауки да жабы,
На кого я жизнь свою крошу,
Дай врага достойного хотя бы,
О друзьях я даже не прошу.

НИКОЛАЙ ШАТРОВ

1929—1977

Создал вокруг себя хоть и маленькую, но стойкую легенду. Его стихи не только не печатались, но, если приключался его творческий вечер, друзья тщательно следили, чтобы никто — не дай Господи! — их не записывал. Одно время принадлежал к московской группе андерграунда Красовицкого, Черткова и т. д. Вот что рассказывает о Шатрове один из уцелевших членов этой группы, поэт и переводчик Андрей Сергеев: «Шатров — это, кажется, псевдоним. Он вроде бы сын арбатского гомеопата Михина, сосланного куда-то на Урал. Рассказывали, что в Москву его вытащил Пастернак. Мы с ним не спорили, подтрунивали: кликушествует дядя. Но стихи — вслух ругали, а на самом деле ценили. Он же нас ругал совершенно искренне, с пеной у рта. Судьба его преследовала. Попал под снегоочиститель, лишился нескольких пальцев на руке. Работал смотрителем в каком-то зале Третьяковки. Его стихи печатались однажды в «Континенте» с пометкой, что об авторе ничего не известно». Цитированный отрывок взят из журнала «Литературное новое обозрение», 1993, № 2.

КАРАКУЛЬЧА

Мех на ваших плечах, дорогая
 немymi устами.
 Прикоснусь я к нему.
 На губах, словно дым, завиток.
 Вы не смеете знать,
 как пластали овцу в Казахстане,
 Из утробы ее вырезая предмет этих строк.
 Нет! Не ждите дешевки —
 описывать в красках не буду.
 Убиение агнца еще не рожденного в мир.
 Распинали Христа.
 И сейчас — кто из нас не Иуда?
 Из предателя жизни,
 служителя скрипок и лир?
 Слишком груб для утонченной моды
 обычный каракуль.
 И додумались люди прохладным умом палача,
 Чтоб приехать вам в оперу было бы в чем на
 спектакль,—
 С материнского плода сдирается
 ка-ра-куль-ча...
 Эти зверства неслыханы...
 О, запахните манто!
 Я вспорю тебе брюхо, бесстыжая жадная дура.
 И пускай убивают меня, как овцу —
 ни за что,—

Как поэта Васильева
 в тридцать ежом убили.
 Чью же шкуру украсил тот сорванный с гения
 скальп?
 Я стихов не пишу. Я заведу лавкой утиля.
 Вся земля прогнила от глубин преисподни до
 Альп.
 Не хочу вспоминать
 искупительных возгласов Бога,
 Как каракуль распятого
 на крестовине креста.
 Я убогий писака.
 Простите меня — ради Бога!
 И последним лобзаньем мои помяните уста.

1976, Москва

* * *

Я не стихотворец. Я поэт.
 Сочинил и вслух произношу.
 И меня в живых на свете нет,
 Хоть как будто бы хожу, дышу...

На земле у всех людей дела,
 У поэта — праздник целый век.
 Жизнь моя напрасно не прошла,
 Потому что я — не человек.

1967

СВЕТЛАНА ШИЛОВА

р. 1929

Художница; с 1950 по лето 1953 года отбывала в Потье лагерный срок. Стихи Шиловой впервые были напечатаны в сборнике поэтов-лагерников «Средь других имен», вышедшем в 1990 году.

ПЕСНЯ ПРО СТАРУШКУ

Мы шли на шмон, а впереди старушка
 мешок с имуществом несла.
 Шмональщик вытряхнул оттуда
 Два старых черных сапога,

Еще какие-то лоскутья.
 Затрепыхавшись на ветру,
 Как лагерные старые знамена,
 Они упали на траву.

Он бросил ей мешок пустой,
 Когда закончил «кутерьму»,
 И бабушка обратно положила
 Всю эту выцветшую ерунду.

А я ее спросила:
 «За что попали вы в тюрьму?
 Вы Родине, что ль, изменили
 Иль дали сведенья врагу?»

А бабушка была шутницей
 И ошуткой лагерной ответ дала:
 «Я, мол, за Троцкого, за Рыкова
 Да за царя Петра Великого!»

И так, смеясь беззубым ртом,
 Она из года в год
 Несет свое имущество
 Сквозь бурю исторических невзгод.

1951

НИКОЛАЙ АНЦИФЕРОВ

1930, Макеевка Донецкой обл.—1964

Курносый, веселоглазый парень, пришедший в Литинститут из донецкой шахты и ее воспевший так, как мог сделать только шахтер, а не заезжий писатель.

ВЕЛЬМОЖА

Я работаю, как вельможа,
Я работаю только лежа.
Не найти работенки краше,
Не для каждого эта честь.
Это — только в забое нашем:
Только лежа — ни встать, ни сесть.
На спине я лежу, как барин.
Друг мой — рядом, упрямый парень.
«Поднажмем!» —
И в руках лопата
Все быстрее и веселей.
Только уголь совсем не вата:
Малость крепче и тяжелей.

Эх, и угольная перина!
Не расскажешь о ней в стихах.

Извиваешься, как балерина,
Но лопата играет в руках.

Отдохнуть бы минуту, две бы!
Отдыхаешь, когда простой.
Семьянин говорит о хлебе,
О любви говорит холостой.

Но промчится пара минут —
И напарник мой тут как тут.
Шепчет: «Коля, давай, давай!
Вместе взялись, не отставай!»

На спине снова пляшет кожа.
Я дружку отвечаю: «Есть!»
Я работаю, как вельможа,
Не для каждого эта честь.

ВАСИЛИЙ БЕТАКИ

р. 1930, Ростов-на-Дону

Вырос в Ленинграде; первую книгу стихотворений — «Земное пламя» — издал там же в 1965 году. Очень широко печатался как переводчик европейской поэзии (Вальтер Скотт и т. д.). В 1973 году, женившись на поэтессе Виолетте Иверни, уехал в Париж, где не только выпустил еще несколько сборников стихотворений, но и организовал издательство «Ритм», в котором, к примеру, вышел единственный поэтический сборник эмигранта первой волны Кирилла Померанцева.

МЫ — ИЗ КИТЕЖА

Н. Н. Рутченко

В граде Китеже, в граде Китеже, на безлистом
илистом дне...
Погодите же! Погодите же! Слышен колокол
в тишине!
В граде Китеже, в граде Китеже, где намокла
дневная мгла,
Не разбить вам, не заглушить уже, не достать
вам колокола!
И когда забудет о розовом и нахмурится верх
лесной,
Над изломанной гладью озера станет ветрено
под луной,
И стеклянные волны призмами вновь подставят
бока лучам —
Мы — не призраки — но как призраки
Подымаемся
По ночам!

За сараем в собачьем лае
(Мол, хозяин, возьми с собой!)

Мы опять вороных седлаем
И опять — в безнадежный бой:

Крепко взнуздываем надежду
и накидываем плащи,
И выходим на берег между двух осин —
и ищи-свищи!
Ну а в Китеже, ну а в Китеже
ночью молятся и о нас:
«Разбудите же, разбудите же хоть кого-то
на этот раз!»

И когда поезда гремящие, обогнав нас,
трясут мосты —
Разгляди, что мы — настоящие,
что совсем такие, как ты!

Тонет звездный свет в гриве лошади,
Старый дуб в ночи крутит ус...
Дай мне, Господи, крошку прошлого,
Я пойму теперь его вкус!

ДМИТРИЙ ГОЛУБКОВ

1930, Москва — 1972, там же

Именно его памяти посвящен потрясающий рассказ Юрия Казакова «Во сне ты горько плакал». Дмитрий Голубков был поразительно сохранившимся в стольких перипетиях истории русским интеллигентом чеховского склада. Благородство, порядочность, врожденная деликатность — все это выделяло его из хамоватой литературной среды. Возможно, несовпадение его тонкой натуры с грубоватым временем и убило его, вложив в неумелые руки охотничье ружье. Он переводил, писал исследовательскую прозу, но по натуре своей был прежде всего поэтом.

* * *

Молоденькая карлица в болонье
Томится в толчее у касс кино,
«Фемину» курит, губками фасоня,
Глядит вокруг надменно и смешно.

Большие смотрят с любопытством тайным,
С невольною усмешливостью глаз,
Неравенством наглядным и случайным
На краткую минуту изумясь,

Представив смутно на одну минуту,
Что сами так же малы и смешны
И кажутся бессильными кому-то,
Кому-то с высоты,
со стороны.

Ей некого унижить иль возвысить,
И лик ее высокомерно тих.
И надо жить, и мыслить, и зависеть
От силы и от слабости больших.

* * *

И над могилой сосны стыли,
И медлила гроза вдали.
И тихо, плача, подошли
Две женщины к его могиле —

Две славы, две судьбы его,
Две неутешные врагини.
Их примирило горе ныне,
Как вдруг открытое родство...

АНАТОЛИЙ ЖИГУЛИН

р. 1930, Воронеж

С 1948 года состоял в юношеской подпольной организации, ставившей своей целью «борьбу против обожествления Сталина», в результате чего попал на Колыму, откуда был освобожден в 1954 году и двумя годами позже реабилитирован. Первый сборник стихотворений — «Огни моего города» (1959); к настоящему времени — автор более чем двух десятков книг. Среди них выделяется повесть «Черные камни», вызвавшая читательский интерес и острую полемику. Жигулин соединил поэтику Твардовского со смежляковской.

КОСТРОЖОГИ

В оцеплении, не смолкая,
Целый день стучат топоры.
А у нас работа другая:
Мы солдатам палим костры.

Стужа — будто Северный полюс.
Аж трещит мороз по лесам.
Мой напарник — пленный японец,
Офицер Кумияма-сан.

Говорят, военный преступник
(Сам по-русски — ни в зуб ногой!).
Кто-то даже хотел пристукнуть
На погрузке его слегой...

Все посты мы обходим за день...
Мы, конечно, с ним не друзья.
Но с напарником надо ладить.
Нам ругаться никак нельзя.

Потому что все же — работа.
Вместе пилим одно бревно...

Закурить нам очень охота,
Но махорочки нет давно.

Табаку не достанешь в БУРе.
Хоть бы раз-другой потянуть.
А конвойный стоит и курит,
Автомат повесив на грудь.

На японца солдат косится,
Наблюдает из-под руки.
А меня, видать, не боится,
Мы случайно с ним земляки.

Да и молод я
Мне, салаге,
И семнадцати лет не дашь...
— Ты за что же попал-то в лагерь?
Неужели за шпионаж?

Что солдату сказать — не знаю.
Все равно не поймет никто.

И поэтому отвечаю
Очень коротко:
— Ни за что...

— Не брешь, ни за что не садят!
Видно, в чем-нибудь виноват...—
И солдат машинально гладит
Рукавицей желтый приклад.

А потом,
Чтоб не видел ротный,
Достает полпачки махры
И кладет на пенек в сугробе:
— На, возьми, мужик!
Закури!

Я готов протянуть ладони.
Я, конечно, махорке рад.
Но пенек-то — в запретной зоне.
Не убьет ли меня солдат?

И такая бывает штука.
Может шутку сыграть с тобой.

Скажет после: «Бежал, подлюка!» —
И получит отпуск домой.

Какогреет из автомата —
И никто концов не найдет...
И смотрю я в глаза солдата.
Нет, пожалуй что не убьет.

Три шага до пня.
Три — обратно.
Я с солдата глаз не свожу.
И с махоркой, в руке зажатой,
Тихо с просеки ухожу.

С сердца словно свалилась глыба.
Я стираю холодный пот,
Говорю солдату: «Спасибо!»
Кумияма — поклон кладет.

И уходим мы лесом хвойным,
Где белеет снег по стволам.
И махорку, что дал конвойный,
Делим бережно пополам.

1963

КИРИЛЛ КОВАЛЬДЖИ

р. 1930, с. Ташлык, Бессарабия

Окончил Литинститут. В русской поэзии можно встретить поэтов с самыми разными национальными корнями. Но Ковальджи, пожалуй, единственный гагауз, прикоснувшийся к русской лире. Будучи тонким, а иногда и язвительно непримиримым критиком, тем не менее положил почти всю жизнь на поэзию других поэтов, как переводчик, как редактор, как воспитатель. Именно у него в литературном объединении и занимался погибший при путче Илья Кричевский, чьи стихи входят в эту антологию. Будучи порой очаровательным в своих коротких стихах, Ковальджи создал афористическое определение шовинизма, которое я с удовольствием и привожу в этой антологии.

* * *

Совсем закружили дела.
На кухне чистила доску,
Никак соскрести не могла
Розовую полоску.
Водила ножом невпопад
И вдруг поняла виновато,
Что это полоска заката...

О чем ей напомнил закат?

* * *

— О, Русь моя, жена моя, зачем
не я один — не первый и не сотый?

Любить тебя мешают «патриоты»,
мужской изголодавшийся гарем.

* * *

С детства, словно ежа под череп,
запускают образ врага,
и живут в подсознание-пещере
Змей-Горыныч и Баба-Яга.

* * *

В родной уборной
твердит упорно:
причина запаха —
влиянье Запада.

ВАЛЕНТИН КУЗНЕЦОВ

1930, Москва — 1990, там же

Учился в Литинституте. Был близким другом Юрия Шавырина, написавшего пародию на Суркова: «Быть поэтом не так-то легко. Из обрезков не сшить сапога. До бессмертия так далеко, а до смерти четыре шага». Поэт почти простой, да не простоватый.

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ

Все как есть в одном ряду,
В окружении конвоя.
Но я к ним не подойду,
Я уже прошел такое.

Я на проволоку лез
И на нарах плакал глухо.
За стеною черный лес
На морозе щелкал сухо.

А казалось, что в меня
Перещелк летит из леса.
Вспышки желтого огня —
Сквозь колючее железо.

Ночь надела на барак.
Сплю. Портянки пахнут кисло.
Как нарядчика кулак,
За окном луна повисла.

Кто-то в душу лезет мне,
Так похожий на Иуду.

Шепчет: «Завтра на сосне
Распинать тебя я буду.

Сволочь. Воли захотел.
А не хочешь — в рыло дуло!»
От прикрытых рванью тел
Жутким холодом подуло.

Кто они? Каков их срок,
Что трусят махру по крохе?
Совесть? Боль? Кровоподтек
На лице моей эпохи?

Нет. Я к ним не подойду,
К ним, «врагам» Страны Советской.
Я вчера был в их ряду,
А сейчас лежу в мертвецкой.

Похоронщик мужичок
Шепелявит по рассвету:
«Дурачок... большевичок,
Жил да был... и больше нету...»

ГЕОРГИЙ МАЗУРИН

1930—(?)

Один из самых талантливых людей, которых я встречал в жизни, хотя в поэзии это выразилось лишь отчасти. Полурусский, полугрузин, он нес в себе оба эти — казалось бы, противоборствующие — начала. Редактор по профессии, игрок по природе. В Тбилиси его имя было овеяно легендами, как имя современного Даты Туташиа, стреноженного издательской повседневностью. Оставил после себя целую серию антикультурных графических листов, среди которых особенно запомнился один: похмельное мурло в кальсонах, почесывается, обнимая пятками земной шар. Памяти Мазурина посвящена поэма С. Алиханова.

ЦАРЬ-КОЛОКОЛ

Убив себя,
на белых камнях
Стоит с проломленной душой
Глашатай богомолий давних
Тыщепудовый и немой.

И я рукой его ощупал,
Рукой коснулся древних дней
И, как в кувшин, в чугунный купол
Бездумно крикнул: — Э-ге-гей!

Э-ге-ге-гей! — И все на свете,
Что было болью бытия,
Дохнуло сквозь полет столетий
Душой чугунного литья:

Гудящий гнев царя Ивана,
Разгул петровских топоров,
И Русь!..

И Русь! — сплошная рана,
Извечный клич,
извечный зов!

Душа, как небо, молодая,
Не знаешь, где и началась,
И очи, очи расширяя,
Зовет и ищет свою власть.

Бедой в беду, в огни огнями
Звенела, пела, била Русь
И говорила не словами,
А болью:

— Встану!
Поднимусь!

Станет огненная смута
И багряная пурга
Мне заменю уюта
У родного очага.

Шевельни остатки жара —
И оближут кисть руки
Затаенного угара
Голубые языки.

ГЛЕБ ГОРБОВСКИЙ

р. 1931, Ленинград

В ранней юности «*infant terrible*» Ленинграда, непризнанный гений, мятежник из коммуналки, ночами читавший в подпитии свои ненапечатанные стихи с пьедесталов памятников, раздирая рубаху так, что пуговицы летели в бронзовых, позорно признанных гениев. Однако ерничество, издевательство, шокинг никогда не были единственным содержанием его бунтарства. Он всегда умел и жалеть, и любить. Таков портрет офицера в одном из лучших стихов Горбовского: «Ты танцуешь, и юбка летает» — лишь первая строчка издевательская, а потом — пронзительная жалость. По мере постепенного признания его права на существование в литературе ореол скандальной славы вокруг некогда буйно чубатой головы Горбовского развеялся, и он потерял многих своих читателей из числа тех, для кого печатающийся поэт, да еще одевший приличный костюм и галстук, выглядел вероотступником. Горбовский и в галстучке написал много хороших стихов, но он сам привык к собственному имиджу «изгой», и нервозность в поисках потерянного самого себя привела его даже на страницы шовинистского «Дня», где он вдруг стал оплакивать систему, забыв, как она его когда-то была милицейскими сапогами под дых. А может быть, это был не плач по системе, а просто-напросто по годам своей юности? Не потому ли у всех нас, таких разносудьбинных шестидесятников, — общая ностальгия по шестидесятым?

ФОНАРИКИ

Когда качаются фонарики ночные
и темной улицей опасно вам ходить,
я из пивной иду,
я никого не жду,
я никого уже не в силах полюбить.

Мне дева ноги целовала, как шальная,
одна вдова со мной пропила отчий дом.
Ах, мой нахальный смех
всегда имел успех,
а моя юность пролетела кувырком!

Лежу на нарах, как король на именинах,
и пайку серого мечтаю получить.
Гляжу, как кот в окно,
теперь мне все равно!
Я раньше всех готов свой факел потушить.

Когда качаются фонарики ночные
и черный кот бежит по улице, как черт,
я из пивной иду,
я никого не жду,
я навсегда побил свой жизненный рекорд!

1953

ПРОКЛЯТИЕ СКУКЕ

Монолог лишнего человека

Боюсь скуки, боюсь скуки!
Я от скуки могу убить,
я от скуки — податливей суки:

бомбу в руки — стану бомбить,
лом попался — рельсу выбью,
поезд с мясом брошу с моста.
Я от скуки кровь твою выпью
девочка, розовая красота!
Скука, скука... Съем человека.
Перережу в квартире свет.
Я — сынок двадцатого века,
я — садовник его клевет,
пахарь трупов, пекарь насилий,
виночерпий глубоких слез.
Я от скуки делаюсь синим,
как от газа! Скука, наркоз.
Сплю, садятся мухи, жалят.
Скучно так, что — слышно! Как пение...
Расстреляйте меня, пожалуйста,
это я прошу — поколение.

1956

ПЕСЕНКА ПРО ПОСТОВОГО

У помещенья «Пиво-Воды»
Стоял непьяный постовой.
Он вышел родом из народа,
как говорится, парень свой.

Ему хотелось очень выпить,
ему хотелось закусить.
Хотелось встретить лейтенанта
и глаз падлюке погасить.

Однажды ночью он сменился,
принес бутылку коньяку.

И возносился, возносился —
до потемнения в мозгу.

Деревня древняя Ольховка
ему приснилась в эту ночь:
сметана, яйца и морковка,
и председательская дочь...

...Потом он выпил на дежурстве,
он лейтенанта оттолкнул!
И снилось пиво, снились воды, —
как в этих водах он тонул.

У помещенья «Пиво-Воды»
лежал довольный человек.
Он вышел родом из народа,
но вышел и... упал на снег.

**ИЗ ЦИКЛА
«КВАРТИРА № 6»**

За дверью, с надписью «ПРОКАЗА»,
жил человек. За десять лет
его не видели ни разу,
не знали — жив он, или нет?
На телефонный столик — тайно —
являлись деньги: свет и газ.
Актриса знала: медный чайник
он прячет в сейф стальной от нас.
Однажды чайник объявился,
старуха нюхала, ворча:
«Сегодня в чайнике он брился,
всё в мыле, надо бы врача».
Его боялись, как проказы,
хотя он был почти никто!
Его ж не видели ни разу
ни вовсе голым, ни в пальто,
ни одного, ни с кем-то вместе.
А этот «сфинкс» работал в ночь,
он на работу в Пушкин ездил.
(Там у него — сестра и дочь.)
А мы ему долбили в двери,
мы ненавидели его,
что, мол, живет, коль спискам верить,
и все же — нету никого...

СТИХИ О КВАРТИРНОЙ СОСЕДКЕ

Я свою соседку —
изувечу!
Я свою соседку —
изобью!
Я ее
в стихах
увекочечу,
чуждую,
но все-таки — мою!
...Я соседку
выдерну на кухню,

перережу ей...
электросвет!
Пусть, непросвещенная,
потухнет!
Я куплю за деньги
пистолет!
Наведу его
на всю квартиру,
разнесу —
филёнки и мозги!
Я принципиально —
против мира!
Я — за бомбу,
не за пироги!

...Что насторожились, дураки?

ЯМА

Зачем он роет эту яму?
Во-первых, скажем:
это труд,
а труд ведет к получке прямо,
А, получив, едят и пьют.
Лопатой чешет там и сям он.
Грунт испугался.
Грунт притих.
...Рабочий знал:
он роет яму
не для себя,
а для других.

НА ЛЕСОПОВАЛЕ

Тела, смолистые от пота,
а бревна, потные от тел.
Так вот какая ты, работа...
Тебя я так давно хотел!
Я режу ели на болванки,
на ароматные куски.
Я пью Амур посредством банки
из-под томата и трески.
Лижу созревшие мозоли
сухим листочком языка
и обрастаю слоem соли
на долю сотую вершка.
Я спину деревом утюжу
и брею хвойные стволы.
Затем большой, пудовый ужин
пилю зубами в две пилы.
Тряся кровать, хрипя и воя,
я сплю в брезентовом дворце,
я сплю, как дерево большое,
с зеленым шумом на лице.

ИЗ СЕМИСТИШИЙ

А вот и первые морщины.
Пора, ребята, помолчать.
Для жизни выросли мужчины.
Теперь придется отвечать
за все. За горные вершины,

и за стоящих там, внизу,
двух, ковыряющих в носу.

* * *

В. Сосноре \

Я тихий карлик из дупла,
лесовичок ночной.
Я никому не сделал зла,
но недоволен мной.

Я пью росу, грызу орех,
зеваю на луну.
И все же очень страшный грех
вменяют мне в вину.

Порой пою, и голос мой
не громче пенья трав.
Но часто мне грозит иной,
кричит, что я не прав!

Скрываюсь я в своем дупле,
и в чем моя вина
никто не знает на земле —
ни бог, ни сатана.

* * *

Здравствуй, бабушка-старушка.
голова твоя в снегу.
Ты уже почти игрушка,
это я тебе не лгу.
Точно камушек на камне,
ты сидишь на валуне.
Отгадать тебя — куда мне,
осознать тебя — не мне.
Ноги воткнуты, как палки,
в землю матушку черну.
Мне тебя совсем не жалко,
грустно-тихую, одну.
Мне еще валиться с неба,
попадать под поезда,
а тебе — кусочек хлеба,
и отпрянула беда.
Помашу тебе рукою,
серый камушек в пыли...
Вот ведь чудо-то какое
вырастает из земли.

* * *

Д. Д.

И вдруг улыбнулся старик на углу.
Он ловко достал из куляка
пастилу.
И белый брусочек своей пастилы
засунул в улыбку
до самой скулы.
..А после я делал из дерева стул.
Позднее на чай огнедышащий дул.
Затем я затаскивал
нитку в иглу.

А в памяти плавал — старик на углу.
Я мчался по ягоды, за город, в лес.
Старик улыбался лукаво, как бес.
Я медленно ел
килограмм пастилы,
но дед улыбался
улыбкой пилы.
...Мне снятся ночами
не люди теперь,
а снится улыбка,
большая, как дверь.
Я делаю тоже,
что делал всегда.
Седеет уже и моя борода.
Но отдал бы я кошелек и пальто,
когда бы узнал сокровенное, то:
какому такому
веселому злу
тогда улыбался
старик на углу?

* * *

Был обвал.
Сломало ногу,
завалило — ходу нет.
Надо было бить тревогу,
вылезать на белый свет.
А желанья притихли...
Копошись не копошись —
сорок лет
умчались в вихре...
Остальное — разве жизнь?
И решил захлопнуть очи...
Только вижу: муравей
разгребает щель,
хлопочет,
хоть засыпан до бровей.
Пашет носом, точно плугом,
лезет в камень, как сверло,
Ах, ты, думаю, зверюга!
И — за ним...
И — повезло...

* * *

Ты танцуешь, и юбка летает.
Голова улеглась на погон,
И какая-то грусть нарастает
С четырех неизвестных сторон.
Бьет в литавры ужасно мужчина.
Дует женщина страшно в трубу.
Ты еще у меня молодчина,
Что не плачешь, кусая губу.
Офицерик твой — мышь полевая
выгнул серую спину дугой.
Ничего-то он, бедный, не знает —
даже то, что он вовсе другой.

ЛЕОНИД ЗАВАЛЬНЮК

р. 1931

Приехав из далекого Благовещенска, учась в Литинституте, соединился с Москвой медленно, неуживчиво. Не стал прославленным ни всемирно, ни национально на фоне чьих-то шумно рождающихся или с треском лопающихся литературных слав, но потихоньку завоевывал немногочисленных, но верных читателей. Рациональная усмехающаяся поэзия, привлекающая тех, кто устал от импровизаторской высокопарности. В последние годы начал заниматься живописью — были выставки в Москве, Нью-Йорке.

МОЧКА УХА

Иной раз провалы: все смыслы забудутся.
 Глухо.
 И память не сдвинешь с места,
 как ни гони взашей.
 И вот я долго вспоминаю:
 что же такое мочка уха?
 Мочка...
 Неужели изготовление моченых ушей?!
 А потом засмеюсь. Все вспомню.
 И сердце так радо.
 Господи, сколько знаний у меня в голове!
 Я знаю, что такое дерево, бедность, радиус,
 Чувырла, черемуха, заработок, соловей.
 Я знаю, что такое слегка архаичное
 «обрели», «утратили»,
 Что такое золотая Мстера
 и синий Гжель.
 И из важных вещей не знаю только одного:
 что такое полная ограниченная демократия.
 По-моему, это и есть изготовление моченых
 ушей.

Герман Плисецкий

1931, Москва — 1992

Больше известен как блестящий переводчик Омара Хайама. Между тем он всегда был замечательно талантливым поэтом, но писал стихи редко и еще реже их печатал. Именно его я встретил памятной ночью во время похорон Сталина на Трубной площади 9 марта 1953 года в апокалиптической давке. Об этом дне он написал свой шедевр «Труба». Другой шедевр Плисецкого — «Памяти Джона Кеннеди». Написанные более двадцати лет назад, сначала эти стихи были опубликованы за границей; только в период гласности попали в советскую прессу.

ТРУБА

Е. Е.

В Госцирке львы рычали. На Цветном
 цветы склонялись к утреннему рынку.
 Никто из нас не думал про Неглинку,
 подземную, укрытую в бетон.
 Все думали о чем-нибудь ином.
 Цветная жизнь поверхностна, как шар,
 как праздничный, готовый лопнуть шарик.
 А там, в трубе, река вслепую шарит
 и каплет мгла из вертикальных шахт...

Когда на город рушатся дожди —
 вода на Трубной вышибает люки.
 Когда в Кремле кончаются вожди —
 в парадных двери вышибают люди.

От Самотеки, Сретенских ворот
 неудержимо катится народ
 лавиной вдоль черного бульвара...
 Труба, Труба — ночной водоворот,
 накрытый сверху белой шапкой пара!

Двенадцать лет до нынешнего дня
 Ты уходила в землю от меня.
 Твои газоны зарастали бытом.
 ты стать хотела прошлым позабытым,
 веселыми трамваями звеня.

Двенадцать лет до этого числа
 ты в подземельях памяти росла,
 лишённая движения и звуков...
 И вырвалась, и хлынула из люков,
 и понесла меня, и понесла!

Нет мысли в наводнение. Только страх.
И мужество — остаться на постах,
не шкуру, а достоинство спасая.
Утопленница — истина босая
до ужаса убога и утла...

У черных репродукторов с утра
с каймою траурной у глаз бессонных
отцы стоят навтыжку в кальсонах.
Свой мягкий бархат стелет Левитан —
безликий глас незабываемых устоев,
который точно так же клеветал,
вещал приказы, объявлял героев.
Сегодня он — как лента в кумаче:
у бога много сахара в моче...

С утра был март в сосульках и слезах.
Остатки снега с мостовых слизав,
стекались в лужи слезы пролитые.
По мостовым, не замечая луж,
стекались на места учеб и служб
со всех сторон лунатики слепые.
Торжественно всплывали к небесам
над городом огромные портреты.
Всемирный гимн, с тридцатых лет не петый,
восторгом скорби души сотрясал.

В той пешеходной, кочевой Москве
я растворяюсь, становлюсь, как все,
объем теряю, становлюсь картонный...
Безликая, подобная волне,
стихия подымается во мне,
сметая милицейские кордоны.

И я вливаюсь каплею в поток
на тротуары выплеснутой черни
прибоем бьющий в небосвод вечерний
над городом, в котором бог подох,
над городом, где вымер автопарк,
где у пустых троллейбусов инфаркт,
где полный паралич трамвайных линий,
и где-то в центре, в самой сердцевине,
дымится эта черная дыра...

О чувство локтя около ребра!
Вокруг тебя поборники добра
всех профсоюзов, возрастов и званий.
Там, впереди, между гранитных зданий,
как волнорезы поперек реки —
поставленные в ряд грузовики.

Бездушен и железен этот строй.
Он знает только: «саоди!» и «стой!»,
он норовит ревущую лавину
направить в русло, втиснуть в горловину.
Не дрогнув, может он перемолоть
всю плещущую, плачущую плоть.

Там, впереди, куда несет река —
аляповатой вкладкой «Огонька»,
как риза, раззолочено и ало

встает виденье траурного зала.
Там сркофаг, поставленный торчком,
с приподнятым над миром старичком,
чтоб не лежал, как рядовые трупы.
Его еще приподнимают трубы
превыше толп рыдающих и стен.
Работают Бетховен и Шопен.

Вперед, вперед, свободные рабы,
достойные Ходынки и Трубы!
Там, впереди, проходы перекрыты.
Давите, разевайте рты, как рыбы.
Вперед, вперед, истории творцы!
Вам мостовых достатнутся торцы,
хруст ребер, и чугунная ограда,
и топот обезумевшего стада,
и грязь, и кровь в углу бескровных губ...
Вы обойдетесь без высоких труб!

Спрессованные, сжатые с боков,
вы обойдетесь небом без богов,
безбожным небом в клочьях облаков.
Вы обойдетесь этим черным небом,
как прежде обходились черным хлебом.
До самой глубины глазного дна
постигнете, что истина — черна.
Земля среди кромешной черноты
одна как перст, а все ее цветы,
ее высокий купол голубой —
цветной мираж, рассеянный Трубой.
Весь кислород Земли сгорел дотла
в бурлящей топке этого котла!

Опомнися! Попробуем спасти
ту девочку босую, лет шести.
Дерзнем в толпе безлюдной быть людьми,
отдельными людьми, детьми любви.
Отчаемся — и побредем домой,
сушить над газом брюки с бахромой,
поллитра пить и до утра решать:
чем в безвоздушном городе дышать?

Труба, Труба! До страшного суда
ты будешь мертвых созывать сюда,
тех девочек, прозрачных, как слюда,
задавленных безумьем белоглазым,
и тех владельцев почернелых морд,
доставленных из подворотен в морг
и снова воскрешенных трубным гласом...

Бурли в трубе, подземная река,
дымись во мраке, исходя парами!
Мы забываем о тебе, пока
цветная жизнь сияет в панораме,
и кислород переполняет грудь.
Ты существуешь, загнанная в глубь,
в моей крови, насыщенной железом.
Вперед, вперед! Обратный путь отрезан.
Закрыт, как люк, который не поднять.
И это все, что нам дано понять...

ПАМЯТИ ДЖОНА КЕННЕДИ

Газеты проданы. В них все объяснено.
В учебном складе крайнее окно
старательно кружком обведено.
Стрелой показан путь автомобиля.
А из кружка, похожего на нуль, —
прямой пунктир трассирующих пуль...
«О Господи! Они его убили!»

И этот одинокий женский вскрик
звучит уже отдельно от газеты,
звучит над ухом, словно рядом где-то
он сам собой из воздуха возник.
Прошел через вагоны проводник.
У двери двое курят сигареты.
Храпит пьянчуга. Шляпы и береты
виднеются из-за газет и книг.

На электричке, следующей в Клин,
без остановок докачусь до Химок,
разглядывая бледный фотоснимок,
где все еще счастливая Жаклин,
навек озаренная любовью,
вот-вот в лицо увидит долю вдовью...

Остановись, убийственный момент!
Не надо оборачиваться, Джекки!
Поднявши руку, ныне и навек
пусть едет по Техасу президент.
Бывают же обрывы кинолент!
Плотинами перекрывают реки!
Остановись! Пусть будет прецедент.

Но нет, не остановишь катастроф.
Лязг буферов звучнее наших строф
на горках, где тасуются составы,
где сцепщик мановением руки,
как бог, вагоны гонит в тупики,
вывихивая ломиком суставы.

О путаница следствий и причин!
На что надеемся?
О чем кричим
На разных волнах в радиокоробках?
Неразличимость ликов и личин.
Ряды квадратночелюстных мужчин
и толпы юношей без подбородков.

Отгадчик детективного романа,
я ощупью бреду среди тумана.
Сюжета мне никто не объяснил.
Стараясь превзойти Агату Кристи,
ищу во всем какой-нибудь корысти,
хитросплетенья закулисных сил...

А дело проще: просто этот мир,
в пространстве не имеющий опоры,
летит по кругу, наклоня горы,
колеблясь от Гомера до громил.
И океаны мира, и леса,
и преисподняя, и поднебесье —
все это в ненадежном равновесье,

как и черты любимого лица.
Как одухотворенные черты,
накрытые внезапно злобной маской.
И ты с луны свалился. И с опаской
их трогаешь рукою: «Это — ты?»

Или с улыбкой в комнату входя,
вдруг попадаешь в силовое поле
тяжелой воли вражеской, хотя
дискуссия всего лишь о футболе.
Так, друг на друга поглядев едва,
немеют, ничего не видя кроме,
два жителя чужих галактик, два
химически чужих состава крови.
И фанатизм, хмелея постепенно,
свой оловянный взор вперяет в них...
Из всех щелей, коричневый и пенный,
из всех щелей, из мюнхенских пивных!

Но есть надежда. Есть еще, Земля,
в твоих амбарах сортовое семя.
есть золотые, как пшеница, семьи:
зерно к зерну — отборная семья.
Есть зравый смысл труда и букваря,
отцы — преодолевшие моря,
и матери — спокойные, как реки.
Закройщик их кроил наверняка:
ткань, словно кожа чортова, крепка
и в детях не изнашивается вовеки.
Суровая, домашней пряжи, нить
в основе этой ткани отбеленной,
которой ни Гарварды, ни миллионы,
ни почести не в силах изменить.

Он был из человеческой семьи!

Враскачку, на другом конце Земли,
в полупустом, расшатанном вагоне,
я думаю об основном законе:
о поединке птицы и змеи.
О небе, слепо верящем в крыло.
О хлябях, облегающих село,
плодящих гадов и враждебных хлебу.
О том, что жизнь земная рвется к небу,
сама себя за волосы схватив.
Я думаю, что это — лейтмотив
всех Рафаэлей, Моцартов, Гомеров.

У двери двое милиционеров
храпящего пьянчугу тормозат.
Грохочет мост, как путепровод в ад.
Коптит закат, измазанный мазутом.
Цистерны черные ползут своим маршрутом,
подбрасывая топливо в закат.

Скользят без остановок рельсы лет.
Под нами то и дело путь двоится.
Колелется вагон, словно боится
свободы выбора: да или нет?
Вслепую мечется: чет или нечет?
Не веря, что сошел с ума диспетчер,
следающий за движением планет.

ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ

р. 1931, Ленинград

До зубов вооруженный, как мушкетер, рифмами, аллитерациями, новыми ритмами, грациозный, естественно театральный поэт, написавший ряд блестящих песен к советским мюзиклам, в частности к постановке-фейерверку в Театре юного зрителя «Три мушкетера».

АПРЕЛЬ В ГОРОДЕ

Хороший день! Хороший знак,
когда на улице сквозняк
и возвращается тепло из южной ссылки.
И падок свет. И тень грешна.
Какого вам еще рожна,
уж если это для любви не предпосылки!..

Да, нынче будни на дворе:
в моей присутственной норе
усопшей мухи наблюдая воскресенье.
Но ощущение во мне,
что есть у дня на самом дне
еще сокрытое покуда потрясенье.

А вечерами из сплошных
фруктовых, рыбных, овощных
к нам рвутся запахи, как джинны из бутылок...
Замрет пиджак. Замрет мундир.
И каблучок — почти пунктир —
летит над лестницей, бесшумной от опилок.

Застынь! Пади! Остолбеней!
Ты видишь женщину — на ней,
того гляди, весь белый свет сойдется клином.

Она — и сердцу и уму,
и я троянцев вдруг пойму:
о, есть еще за что подражаться нам, мужчинам.

Да здравствует короткий миг,
когда на все, что ты постиг,
ты наплевал,
чтоб ощутить в блаженном страхе:
уже наивность не смешна,
еще взаимность не страшна,
и гибнет опыт, как разбойничек на плахе.

Моя любовь — бесценный клад,
по крайности на первый взгляд,
а он, ей-богу, пронительней второго.
На всех, на всем ее клеймо:
и — жизнелюбие само —
в большой витрине расчленяется корова.

Зачем скрываться по углам
от счастья с горем пополам?..
И этот день невыразим. И место свято.
И как пунцовое пятно
под чьей-то крышею окно,
как будто в нем отражена вся суть заката.

ЕЛЕНА АКСЕЛЬРОД

р. 1932, Минск

Окончила Московский педагогический институт. Начала печатать детские стихи и переводы. Ее «взрослые стихи» печатались гораздо реже. Сейчас живет в Израиле. Но, как видно из приводимого нами стихотворения, эмиграция не спасает людей от боли, которая вместе с ними пересекает все границы.

* * *

Жизнь после смерти есть. Я умерла
И вот попала в вечность — город вечный.
Теперь я знаю, что скрывала мгла
Последняя и что сказал мне встречный,
Последний в жизни той, когда осуждена
Была я на Эдем, который не заслужен,
Не выстрадан моим безверием достужим —
Ни этот грозный зной, ни эта тишина.

А встречный говорил, что соль крута в раю,
Где персик да инжир свисают с ветки каждой,

Что буду мучиться неутолимой жаждой.
Хоть плоть свою сожгла, чем душу напою?

Живу внутри стиха, где между строк — песок,
Где юный Яков — рубашка цвета хаки —
С Рахелью обнялся — их караулят маки,
И черный автомат, как пес, лежит у ног.

Зачем я в бестелесности моей,
Предвидя и в раю явленье Амалека,
В большую даль гляжу, где больше полувека
Жила, не зная, что в раю больней...

ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВ

1932—1987

Ленинградский художник. В поэзии увлекался Т. Ружевичем и Ж. Превером. Это чувствуется в его слегка европеизированной русской иронии.

ЭТА ЖЕНЩИНА И ЭТА КРЕПОСТЬ

В этой крепости сидели декабристы,
а теперь
здесь сидит эта женщина
с гордым профилем.
В этой крепости сидел Достоевский,
а теперь
здесь сидит эта женщина
с большим ртом.
В этой крепости сидел Чернышевский,
а теперь
здесь сидит эта женщина
с прямыми светлыми волосами.
Она сидит здесь каждый день
с девяти утра до шести вечера.
В этой крепости я как дома.
Эта женщина водит меня
по всем закоулкам
и открывает мне
все двери.

«Погляди, — говорит она мне, —
здесь лежит Анна,
там — Павел,
а здесь никто не лежит,
здесь свободное место».

Перед смертью
я пойду в горсовет
и выпрошу разрешение.
Эта женщина
будет говорить туристам:

«Поглядите,
здесь лежит Елизавета,
там — Александр Первый,
а тут — один мой знакомый,
он занял свободное место».

Эта женщина переживет меня,
я уверен.

ДМИТРИЙ БЛЫНСКИЙ

1932, д. Васютино Орловской обл.—1965

В приводимом стихотворении сам поэт рассказал о себе все главное. Не каждому дается такая ясность и непритягательная чистота русской речи.

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

Зайдешь к нам в деревню и скажешь:
все близкие,
Далеких по крови в ней нет никого:
Какая бы хата ни встретила —
Блынские.
Да что это —
Дети отца одного?
Сквозь годы карабкаясь
Тропкою узкою,
Я путь родословной своей узнаю.
Опять же фамилия наша нерусская,
Откуда взялась она в русском краю?
Здесь деды и прадеды жали и сеяли,
Без выезда жили в срединной Руси.
Имея ли хлеба кусок, не имея ли,
Тянулись к Христу:
«Сохрани и спаси».

А он им — то зной вместо дождика спорого,
А он им — то град вместо солнца пошлет,
А он им помещика,
После которого
В сусеках сметали мышинный помет.

И снова с извечным:
«О господи, выручи,
Избавь от сумы в середине зимы».

«А чьи ж вы, крестьяне?»
«Адам Казимирыча».
«Адам Казимирыча Блынского мы...»

И, мхурые, глухо роптали на барина.
Все чаще в кругу толковали о том,
Что господом богом
Земля им подарена,
Что сеют, а ходят с пустым животом.

Горел в их глазах
Огонек нетерпения,
Скрывал до поры его каждый с трудом,
Пока он не вспыхнул на праздник Успения
Пожаром,
Обнявшим адамовский дом.

С тех пор, хоть в указах о том не указано,
Прозвали фамилией барской крестьян.

И тот, кто носил ее, с тем была связана
Презренная кличка —
Бунтарь и смутьян.

Запоротых до смерти,
Вижу их, словно я
Стою у раскрытых в столетья дверей,
Стою и горжусь, что моя родословная
Идет от орловских крестьян-бунтарей.

ВЛАДИМИР БУРИЧ

1932, Харьков — 1994, Струга, республика Македония

Выпускник факультета журналистики МГУ. Пионер постсталинского верлибра. Сколотил вокруг себя «могучую кучку» верлибристов — Ивана Шапко, Виктора Полещука, Арво Метса, Евгения Брайчука, Аркадия Тюриня, Карена Джангирова, Михаила Орлова, Валерия Липневича, Георгия Власенко, Геннадия Алексеева, Виктора Райкина, Германа Лукьянова, Александра Бригинца, Сергея Шаталова, Александра Макарова. К сожалению, для многих из этих фанатичных «врагов рифмы» в нашей антологии не нашлось места, но их собственная антология «Время Икс», вышедшая в издательстве «Прометей» в 1989 году, производит впечатление, что в рифмованной стране нашей поэзии есть еще далеко не признанная широким читателем страна Верлибрия и ее послы уже распахнули сами долго не открывавшиеся перед ними ворота и вручают свои верительные грамоты старенькой королеве Рифме, с седеньких кудерек которой вот-вот свалится корона. А то и не свалится...

* * *

Чего я жду от завтрашнего дня?
Газет.

* * *

Дуешь в волосы своего ребенка
Читаешь названия речных пароходов
Помогаешь высвободиться пчеле из варенья

Каким предательством ты купил все это?

ПУТЬ ГРАЖДАНИНА

Донес плевков до ближайшей урны
Подклеил на стенде оторвавшуюся газету
Купил стакан воды постовому

Пришел домой
честно взглянул
в лицо
своей
тарелки супа

ОЛЕГ ИЛЬИНСКИЙ

р. 1932, Москва

Один из самых младших и самых ярких представителей поэзии второй волны эмиграции. Увезен родителями на Запад в 40-е, сейчас — профессор русской литературы в Нью-Йорке. Автор пяти сборников с одинаковым названием «Стихи». Мастер «пародирования школы» — его «Антистихи», «Курдоят» — классика жанра.

СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА

Присядь на скамейку, подумай, взгляни:
Какие-то парни читают Парни,
Приезжий колхозник, спустившись в метро,

А какой же он был? А такой же,
как с другими: с тобой и с тобой.
Только были мы все же не схожи
с самой лучшешо парой любой.
Коль от лжи, как от правды, -оттаю,
ложь ли то, что рождает не ложь?
Дон Жуан, сохрани свою тайну!
Без нее не один ты умрешь.

Дон Жуан убивающе любит.
Этих шелковых рук не разжать...
Но бывает: рождение губит,
а погибель способна рождать.
Я ни с кем пререкаться не стану,
лишь шепну, умоляя почти:
— Дон Жуан, сохрани свою тайну,
соврати и любовь возврати!..

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

р. 1932, Калуга

Окончил филфак МГУ в 1957 году. Затем работал журналистом в Тайшете. Первая книга «Звено» — в 1962 году. Ученик Слуцкого, некоторое время считался либеральным поэтом-шестидесятником. Ничего не скажешь, приводимое в антологии стихотворение написано здорово. Но есть мнение, что в нем не столько осуждение антинародного террора, сколько упоение силой власти. Однако и в литературе все происходит так же, как на площадке молодняка. На месте молочных зубов либералов иногда обнаруживаются опасные резцы национализма. А от них и до клыков недалеко. Национализм чаще всего вырастает на личной неудовлетворенности. Запомнились иронические строки Куняева: «Я один, как призрак коммунизма, по стокгольмской площади брожу». Но прославился он строкой, которая ему не принадлежала: «Добро должно быть с кулаками». Эту строку дал нам, студентам, для упражнения Светлов. Может быть, слава, полученная благодаря чужой строке, начала разъедать самолюбие Куняева. Он написал письмо в ЦК, жалуясь на засилье евреев и прочих нацменьшинств в издательствах, приписал поклонникам Высоцкого, что они якобы растоптали могилу некоего полковника Петрова, выступил против песен Окуджавы, поддержал ГКЧП. Все это, к сожалению, не способствовало гармоническому развитию того дарования, которое, несомненно, было заложено в нем с ранней юности.

ОЧЕНЬ ДАВНЕЕ ВОСПОМИНАНИЕ

— Собирайтесь, да поскорей! —
У крыльца застоялись кони,
ни в колхозе и ни в райкоме
не видал я таких коней.
Это кони НКВД,
не достанешь рукой до холки,
путь накатан, и сани ходки,
хоть скачи до Улан-Удэ.
Как страдал я о тех конях!
Кубарем открываю двери,
а они храпят, словно звери,
в гривах, в изморози, в ремнях.
Мать выходит на белый снег...
Мать, возьми меня прокатиться!
Двери хлопают, снег валится,
мне запомнится этот бег.
Что за кони!
В голодный год
вскормлены яровой пшеницей,
впереди лейтенант возницей
хочет крикнуть: пади, народ!
Но молчанье стоит в селе,
в темных избах дети да бабы,

под санями звенят ухабы,
тонут избы в кромешной мгле.
Лезу в сено — как будто в стог.
Рядом подполковник Шафиров,
следопыт, гроза дезертиров,
местный царь или даже бог.
Рвутся серые жеребцы,
улыбается подполковник,
разрывается колокольчик,
разливаясь во все концы.
В черных избах нет ни огня,
потому что нет керосина.
Справа-слева молчит Россия,
лихорадит радость меня.
Где же было все это, где?
Воет вьюга в тылу глубоком.
Плачут вдовы в селе убогом...
Мчатся кони НКВД.
Погрохатывает война
за далекими за лесами,
по дороге несутся сани,
мутно небо, и ночь мутна.

1964

СЕРГЕЙ ПОЛИКАРПОВ

1932, пос. Кузьминки Московской обл. — 1988, Москва

Самородное, очень русское дарование, похожее на муромский разбойничий лес, с дремучестью метафор, с корягами мыслей, с «чарами» неосознанного. Никогда не примыкал ни к какой литературной группе, не участвовал ни в каких внутрисписательских баталиях, а с мрачноватой неразговорчивой доброжелательностью к другим всегда носил свое в себе.

* * *

У Аксиньи
Брови сини,
Словно галочье перо,
В пятистенке у Аксиньи
От тафтовых кофт пестро.

Крутогруды, как тетерки,
Бабы сбились в тесный клин.
Не девичник,
Не вечерка —
Свядшей юности помин.

Хороводит над домами
Вьюга шалая с полей.
Невдовеющие дамы
Ищут вдовых королей.

Восседают посредине
Боги хмеленных сердец —
Два калеки с половиной
Да с гармошкой оголец.

«Ох, война,
Война, война,
Как ты баб обидела:
Заставила полюбить,
Кого ненавидела».

У Аксиньи
Брови сини,
Словно галочье перо.
Входит боль в глаза Аксиньи,
Будто ножик под ребро.

Никого бы знать не знала,
В шалаше б жила лесном,
Только б с родным,
Как бывало,
Хоть часок побыть вдвоем.

Только б выплеснуть всю жаркость,
Чтоб от сердца отлегло...
Ох, жестко плечо товарки,
Как ременное седло.

1959

РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

1932, с. Косиха Алтайского края — 1994, Москва

Отец — офицер, мать — военный врач. Учился сперва на филологическом факультете Петрозаводского университета, затем, в 1951—1956 годах, в Литинституте им. Горького. Когда я встретил его в 1952 году, он поразил меня тем, что, несмотря на сталинское время, знал на память множество в то время запрещенных стихов Б. Корнилова, П. Васильева. Несмотря на разницу характеров, мы подружились, выступая с чтением стихов в библиотеках и студенческих аудиториях вместе с Владимиром Соколовым, а позднее — с Ахмадулиной, Окуджавой, Вознесенским. Нас принимали восторженно, как первых весенних птиц после тяжелой зимы. Мы были все очень разные и как поэты, и как люди, но почему-то считались поэтами одного направления. По образному выражению Вознесенского, мы были похожи на путников, шедших по совсем разным дорогам, но которых разбойники на перекрестке дорог привязали к одному и тому же дереву. Некоторые стихи Рождественского декларационно-либерального содержания были характерны для наших надежд во время весьма короткой оттепели при Хрущеве. Всем нам казалось, что стоит расправить крылья — и мы полетим. Но наступила, по выражению Рождественского, «пелетная погода». Он написал огромное количество песен, многие из которых стали весьма популярными. Но это была уже популярность иного рода, чем та, когда мы читали вместе на лестнице университета. Мы все в молодости были риторичны, но это нам прощалось, ибо это была вдохновенная риторика свободы. Одно время в стихах Рождественского стала преобладать консервативная риторика, лишь с небольшим либеральным оттенком. Само пребывание его в секретариате Союза писателей во времена застоя не помогало его репутации. Однако Рождественский оказался не с теми, кто повис на часовой стрелке истории. В 1986 году Роберт Рождественский, Андрей Вознесенский и я снова вместе, словно в нашей молодости, один за другим выступили с трибуны Съезда писателей в Кремле с требованием демократизации, отмены цензуры, воскрешая надежды замороженной оттепели. Рождественский написал очаровательные детские стихи, посвященные своему внуку, и несколько острых антиконформистских стихотворений, мучительно преодолевая конформизм в самом себе. В 1990 году по предложению Рождественского мы вместе написали письмо Горбачеву с просьбой, переходящей в требование, чтобы он раз и навсегда осудил антисемитизм. Уже теряющий свое положение лидер перестройки сделал это, но недостаточно громко, как-то боком. Последние стихи Рождественского погрузнели, приобрели иное, исповедальное качество.

НЕЛЕТНАЯ ПОГОДА

Нет погоды над Диксоном.
 Есть метель.
 Ветер есть.
 И снег.
 А погоды нет.
 Нет погоды над Диксоном третий день.
 Третий день подряд
 мы встречаем рассвет
 не в полете,
 который нам по душе,
 не у солнца,
 слепящего яростно,
 а в гостинице.
 На втором этаже.
 Надоевшей.
 Осточертевшей уже.
 Там, где койки стоят в два яруса.
 Там, где тихий бортштурман Леша
 снисходительно,
 полулежа,
 на гитаре играет,
 глядя в окно,
 вальс задумчивый
 «Домино».
 Там, где бродят летчики по этажу,
 там, где я тебе это письмо пишу,
 там, где без рассуждений
 почти с утра, —
 за три дня,
 наверно, в десятый раз, —
 начинается «северная» игра —
 преферанс.
 Там, где дни друг на друга похожи,
 там, где нам
 ни о чем не спорится...
 Ждем погоды мы.
 Ждем в прихожей
 Северного полюса.
 Третий день
 погоды над Диксоном нет.
 Третий день...
 А кажется:
 двадцать лет!
 Будто нам эта жизнь двадцать лет под стать,
 двадцать лет, как забыли мы слово:
 летать!
 И обидно.
 И некого вроде винить.
 Телефон в коридоре опять звонит.
 Вновь синоптики,
 самым святым клянясь,
 обещают на завтра
 вылет
 для нас...
 И опять, как в насмешку,
 приходит с утра
 завтра,
 слишком похожее

на вчера.
 Улететь —
 дело очень не легкое,
 потому что погода —
 нелетная.

...Самолеты охране поручены.
 Самолеты к земле прикручены,
 будто очень опасные
 звери они,
 будто вышли уже
 из доверья они.

Будто могут
 плюнуть они на людей!
 Вздрогнуть!
 Воздух наполнить свистом.
 И — туда!
 Сквозь тучи...

Над Диксоном
 третий день погоды нет.
 Третий день.
 Рисковать
 приказами запрещено...

Тихий штурман Леша
 глядит в окно.
 Тихий штурман
 наигрывает «Домино».
 Улететь нельзя все равно
 ни намеренно,
 ни случайно,
 ни начальникам,
 ни отчаянным —
 никому.

**НА ДРЕЙФУЮЩЕМ ПРОСПЕКТЕ
 ТЫ ЖИВЕШЬ...**

Мне гидролог говорит:
 — Смотри!
 Глубина
 сто девяносто три! —
 Ох, и надоела мне одна
 не меняющаяся глубина!..
 В этом деле я не новичок,
 но волнение мое пойми —
 надо двигаться вперед,
 а мы
 крутимся на месте,
 как волчок.

Две недели,
 с самых холодов
 путь такой —
 ни сердцу, ни уму...
 Кто заведует
 движеньем льдов?
 Все остановил он почему?
 Может, по ошибке,
 не со зла?

Может, мысль к нему в башку пришла,
что, мол, при дальнейшем продвижении
расползется все сооружение?

С выводом он явно поспешил —
восхитился нами
и решил
пожалеть,
отправить на покой.

Не желаю
жалости такой!

Не желаю,
обретая уют,

слушать,
как о нас передают:
«Люди вдохновенного труда!»
Понимаешь,
мне обидно все ж...

Я гидрологу сказал тогда:
— На Дрейфующем проспекте
ты живешь.

Ты же знал,
что дрейф не будет плавным,
знал,

что дело тут дойдет до драки,
потому что
в человечьи планы
вносит Арктика

свои поправки,
то смиряясь,
то вдруг сатанея
так, что не подымеешь головы...
Ты же сам учил меня, что с нею
надо разговаривать
на «вы».

Арктика пронизывает шубы
яростным дыханием морозов.
Арктика показывает зубы
ветром исковерканных
торосов.

Может, ей,
старухе,
и охота
насовсем с людьми переругаться,
сделать так,
чтоб наши пароходы
никогда не знали

навигаций,
чтобы самолеты не летали,
чтоб о полюсе мы не мечтали,
сжатые рукою ледяною...

Снова стать
неведомой страной,
сделать так,
чтоб мы ее боялись.

Слишком велика
людская ярость!
Слишком многих
мы недосчитались!
Слишком многие
лежать остались,

за победу
заплатив собою...

В эти разметнувшиеся шири
слишком много мы
труда вложили,
чтоб одать все то,
что взято с бою!

Невозможно изменить законы,
к прошлому вернуться
хоть на месяц.

Ну, а то, что кружимся на месте,
так ведь это, может,
для разгона...

ДОЧКЕ

Катька, Катышок, Катюха —
тоненькие пальчики.

Слушай,
человек-два-уха,

излиянья
папины.
Я хочу,
чтобы тебе
не казалось тайной,
почему отец

теперь
стал сентиментальным.
Чтобы все ты поняла —
не сейчас, так позже.
У тебя

свои дела
и свои заботы.
Занята ты долгий день
сном,

едою,
санками.

Там у вас,
в стране детей,
происходит всякое.

Там у вас,
в стране детей —
мощной и внушительной, —
много всяческих затей,
много разных жителей.

Есть такие —
отойди
и постой в сторонке.
Есть у вас

свои вожди
и свои пророки.

Есть —
совсем как у больших —
ябеды и нытики...

Парк
бесчисленных машин
выстроен по нитке.

Происходят там и тут
обсужденья грозные:
«Что

на третье
дадут:

компот
или мороженое?»
«Что нарисовал сосед?»
«Елку где поставят?..»
Хорошо, что вам газет —
взрослых —
не читают!..
Смотрите,
остановясь,
на крутую радугу...
Хорошо,
что не для вас
нервный голос радио!
Ожиданье новостей
страшных
и громадных...
Там у вас, в стране детей,
жизнь идет нормально.
Там —
ни слова про войну.
Там о ней —
ни слуха...

Я хочу
в твою страну,
человек-два-уха!

ГОЛОС

Е. Евтушенко

Такая жизненная полоса,
а, может быть, предначертанье свыше.
Других
я различаю голоса,
а собственного голоса
не слышу.
И все же он, как близкая родня,
единственный,
кто согревает в стужу.

До смерти будет он
внутри меня.
Да и потом
не вырвется наружу.

* * *

Тихо летят паутинные нити.
Солнце горит на оконном стекле...
Что-то я делал не так;
извините:
жил я впервые на этой земле.
Я ее только теперь ощущаю.
К ней припадаю.
И ею клянусь...
И по-другому прожить обещаю.
Если вернусь...

Но ведь я не вернусь.

* * *

В поисках счастья, работы, гражданства
странный обычай

в России возник:

детям
у нас надоело рождаться, —
верят, что мы проживем
и без них.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

...В Нечерноземье, — согласно прогнозу, —
резко уменьшится снежный покров...
Днем над столицей

местами — грозы.

А на асфальте
местами —
кровь.

ЕВГЕНИЙ ХРАМОВ

р. 1932, Москва

Окончил юридический факультет МГУ, принадлежал к плеяде, открытой журналом «Юность». Первый сборник — «Ощущение цвета» — выпустил в 1963 году. Многим читателям запомнилось: «И мне казалось, что похожа Родина на тетю Дашу из квартиры пять». Несколько лет вместе с Чухонцевым возглавлял отдел поэзии в «Новом мире».

КАМЕР-ФРЕЙЛИНА ЗАГРЯЖСКАЯ

Выходи, Двадцатый год,
Стройся в две шеренги!
Кто не с нами, тот —
К стенке!
В Губчека, в Губчека
Повели голубчика,
Повели голубчика,
Молодого купчика,
Хорошо пожившую
Баронессу бывшую,

Ротмистра Баранского
Из корпуса жандармского.
К этим был еще в придачу
Красный командир — предатель,
Камер-фрейлина Загряжская —
Пассия великокняжеская,
Бывший вице-губернатор —
Никудышный конспиратор
(Он-то всех и завалил...)
Стены были не окрашены,
В трубах хлюпала вода,
Купчик ошалело спрашивал:

«Как же это, господа?
 Что же дальше с нами станется?..»
 Ротмистр молчал в ответ,
 Он-то знал: на этой станции
 Кончился его билет.
 На допрос по черной лестнице
 Их водили по ночам,
 Бывшей княжеской престелнице
 Было холодно плечам...
 А допрашивали двое —
 Насчитали много вин,
 Старший был хорош собою,
 По акценту судя — финн.
 А другой чекист помалкивал,
 Только шурился хитро
 И в чернильницу обмакивал,
 С детским почерком перо.
 Рассудили попросту:
 Девять граммов ротмистру,
 Столько же потратили
 На того предателя.
 Для вице-губернатора
 Два года изолятора.
 Всех других забвенья ряскою
 Затянул Двадцатый год...
 Камер-фрейлина Загряжская
 Вышла утром из ворот.
 На бульваре, где акации,
 Постояла и пошла.
 Нэп и коллективизацию
 Не спеша пережила.
 И году в сорок девятом
 В переулке за Арбатом
 Осторожно умерла.
 Камер-фрейлина Загряжская,
 Отчего я вспомнил вдруг
 Ваше платье с темной пряжкой
 И от лампы светлый круг,
 Вкус подаренного пряника,
 Пледа колющийся ворс
 И конверты от племянника
 С адресом — Магнитогорск?
 Кем вы были мне? Соседкою —
 Три коротеньких звонка,
 Но за лет нечастой сеткою
 Вижу вас издалека.

Точно гуси над осокою
 В небе звонко-голубом
 Шли над вами дни высокие,
 Задевая вас крылом.
 Не одной свечой у Троицы
 Жизнь была озарена —
 Белозубым метростроевцем
 Улыбалась вам она.
 Сахар шли вы отоваривать
 Леденцами монпансье,
 Нас учили выговаривать
 «Бон суар» и «Уй, мсье».
 Анна Павловна Загряжская,
 Домовитая, как мышь,
 Коммуналку в Сивце-Вражке вы
 Не сменили на Париж.
 Ваши бывшие поклонники
 По ту сторону черты,
 А у вас на подоконнике
 Первомайские цветы.
 И войны в годину тяжкую
 С черной свастикою рать
 Камер-фрейлину Загряжскую
 Тоже шла уничтожать.
 Слезы льются — не прольются...
 Вижу сквозь туман годов,
 Как умела Революция
 Не страшиться неврагов.
 И за честь соседства вашего
 Вечно благодарен им:
 И тому, кто вас допрашивал
 (По акценту судя — финн),
 И тому, кто все помалкивал,
 Только шурился хитро
 И в чернильницу обмакивал
 С детским почерком перо.
 Я не знаю, где могилы их,—
 Мне б увидеть их сейчас,
 Тех, кто знал, что правом миловать
 Больше обладает класс,
 И, махорочной затяжкой
 Обжигая крепкий рот,
 Камер-фрейлину Загряжскую
 Вывел утром из ворот...

1976

ВЛАДИМИР ЦЫБИН

р. 1932, ст. Самсоновская Фрунзенской обл., Киргизия

Поэт крестьянской линии, тяготеющий к Есенину и Павлу Васильеву. В студенческие времена были знамениты его строки: «Я даже нежностью своею и то боюсь обидеть Вас». Известный коллекционер книг.

ГЛАЗА

Ночью к слепому
 яркие, как гроза,
 ночью к слепому
 приходят его глаза,

те глаза, что залиты
 солнцем и синевою,
 те глаза, что зарыты
 в землю взрывной волной!
 Висят в изголовье ливнями
 и исцеляют тьму,

и солнце рыжее,
дивное
приносят они ему!
И, словно подснежник щуплый,
качается свет тугой,
и хочет слепой пощупать,
ощупать его рукой.
И там
за далекой заматью
вьюги ходят, трубя.
Но видят слепые памятью
и в ней узнают себя —
молоденьких, узкоплечих,
восемнадцати лет всего...
Стоят над слепым,

как свечи,
живые глаза его.
И пух голубой, как иней,
улитки почек сухих
и след на волне гусиный —
вся вселенная в них!
И снова слепого несмело
уводит память из сна
туда, где с глазами истлела
в жесткой земле война...
А утром... уходит с глазами
солнце в радуге рос.
И слепому охота плакать,
Но у слепых не бывает слез.

ПАВЕЛ БАБИЧ

р. 1933

Эмигрант «третьей волны» с 1980 года. Печатался, кажется, только в русской зарубежной периодике. Стихотворение взято из филадельфийского альманаха «Встречи» за 1993 год.

КОРНЕТ ОБОЛЕНСКИЙ...

*В Ново-Дивеево ночами
Кресты касаются крестов
плечами...*

I

Уже рассвет топтался у порога.
Все сказано. Пора седлать коней.
«Пришли, коль сможешь, весточку с дороги.
Бог милостив... Не думай обо мне».
Перекрестила. Вытерла глаза
И проводила сына до ворот.
Полков горячих смолкли голоса...
Давно уже никто его не ждет.

II

Он вспоминает себя в строю,
Коня, потерянного под Джанкоем,

И тех двоих, что убил в бою,
И тех троих...
В изголовье тень — может, это весна?
Парижской оттепели капель
Вышла из сна?
Нет, то кричат воробьи на дворе
В Царском Селе.

Стынет стакан с недопитым чаем.
И сизый рассвет
Из богадельни уходит в рай
Старый корнет.
Может, он встретит теперь в раю
Коня, потерянного под Джанкоем,
И тех двоих, что убил в бою,
И тех троих, что добил без боя.

1985—1993

ВЛАДИМИР БРИТАНИШСКИЙ

р. 1933, Ленинград

Ленинградец, давно и прочно осевший в Москве, прославившийся своими переводами с польского. Первый сборник стихотворений, «Поиски», издал в Ленинграде в 1958 году. В 1979 году стал лауреатом премии Польской Народной Республики за свои переводы. Известен также как прозаик.

* * *

Били в армии, в школе, в столице, в селе,
били лошадь в конюшне и сына в семье,
били умных: не умничай! — и дураков:
если бить дурака, может, будет толков.

Вся Россия под палкой жила, под кнутом.
Но поэты писали совсем не о том.

А Некрасов придет лишь полвека спустя,
на исходе той страшной эпохи битья.

СМЕРТЬ ПОЭТА

Когда страна вступала в свой позор,
как люди входят в воду,— постепенно
(по щиколотку, по колено,
по этим пор...

по пояс, до груди, до самых глаз...),
ты вместе с нами шел,
но ты был выше нас.

Обманутый

своим высоким ростом
(или — своим высоким благородством?),
ты лужицей считал

гнилое море лжи.

Казались так близки

былые рубежи,

знамена —

так свежи!..

Но запах гнилости

в твои ударил ноздри.

Ты ощутил чутьем —

так зрение обостри!

И вот в глаза твои,

как в шлюзы,

ворвалась

вся наша будущность,

где кровь

и грязь

и власть —

все эти три — как названные сестры!

Твой выстрел —

словно звук захлопнутых дверей!

Хоть на пороге, но — остановиться,

не жить,

не мучаться проклятьем ясновидца!

Закрой глаза, поэт!

Захлопни их скорей!

Ты заслужил и жизнь и гибель сложную.

Собой ли, временем ли был обманут,

не сжился с ложью —

вымирай, как мамонт!

Огромный, обреченный, честный мамонт.

Непоправимо честный.

Неуместный.

14—16 октября 1956

АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ

р. 1933, Москва

Сын московского гидроинженера. Из одного двора с Андреем Тарковским. В 1957 году окончил Московский архитектурный институт и отметил это окончание такими стихами: «Прощай, архитектура! Пылайте широко, коровники в амурах, сортиры в рококо!» Он не вошел в поэзию, а взорвался в ней, как салютная гроздь, рассыпаясь разноцветными метафорами. Если я начинал печататься с очень плохих стихов, лишь постепенно вырабатывая свою поэтику, то Вознесенский появился с поэтикой, уже сконструированной. Попав в море русской поэзии, он сразу поплыл баттерфляем, а его ученические барахтанья остались читателям неизвестны. В ранней юности он ходил на дачу к Пастернаку, показывал ему свои стихи. Но генезис его поэтики — это вовсе не божественный бормот Пастернака, а синкопы американского джаза, смешанные с русским переплясом, цветаевские ритмы и кирсановские рифмы, логически-конструктивное мышление архитектора-профессионала: коктейль, казалось бы, несовместимый. Но все это вместе и стало уникальным поэтическим явлением, которое мы называем одним словом: «Вознесенский». Одна из его первых книг не случайно называется «Мозаика». Его собственная мозаичность и помогла ему, может быть, лучше всех других русских поэтов почувствовать ритмику самой мозаичной в мире страны — США, которую он перепутал с Россией так, что трудно разобрать, где Мэрлин Монро, где Майя Плисецкая. Во главу угла он поставил метафору, назвав ее «мотором формы». Катаев назвал поэзию Вознесенского «депо метафор». Его ранние метафоры ошеломляли: «по лицу проносятся очи, как буксующий мотоцикл», «мой кот, как радиоприемник, зеленым глазом ловит мир», «и из псов, как из зажигалок, светят тихие языки», но иногда шокировали: «чайка — плавки бога». После Маяковского в русской поэзии не было такой метафорической Ниагары. У Вознесенского с ранней юности было много противников, но никто не мог отнять того, что он создал свой стиль, свой ритм. Особенно ему удавалась неожиданно укороченная рифмующаяся строка, то растягивание ритма, то его усечение. Вознесенский был одним из первых поэтов нашего поколения, кто «прорубил окно в Европу» и в Америку, выступая с поэтическими чтениями. От восторженных юношеских нот: «Долой Рафаэля, да здравствует Рубенс!», от игры аллитерациями и рифмами он перешел и к более горестным настроениям: «нам, как аппендицит, поудалили стыд», «все прогрессы реакционны, если рушится человек». Для всего этого были биографические основания. В 1963 году на встрече с интеллигенцией в Кремле Хрущев подверг Вознесенского всяческим оскорблениям, крича ему: «Забирайте ваш паспорт и убирайтесь вон, господин Вознесенский!» Однако, несмотря на временные опалы, стихи Вознесенского продолжали издаваться, и тиражи его книг доросли до 200 тысяч. По его стихам были поставлены спектакли «Антимиры» в Театром на Таганке и «Авось» в театре Ленинского комсомола. Вознесенский был первым писателем из нашего поколения, получившим Государственную премию (1978). Перу Вознесенского принадлежат многие эссе, где он рассказывает о своих встречах с Генри Муром, Пикассо, Сартром и другими крупными художниками XX века. Вознесенский — почетный член американской Академии искусств.

ГОЙЯ

Я — Гойя!

Глазницы воронок мне выклевал ворог,

слетая на поле нагое.

Я — Горе.

Я — голос

Войны, городов головни

на снегу сорок первого года.

Я — голод.

Озябшая и молодая,
она подумает о том,
что яблонька и та — с плодами,
буренушка и та — с телком.

Что бродит жизнь в дубовых дуплах,
в полях, в домах, в лесах продутых,
им — колоситься, токовать.
Ей — голосить и тосковать.

Как эти губы жарко шепчут:
«Зачем мне руки, груди, плечи?
К чему мне жить и печь топить
и на работу выходить?»

Ее я за плечи возьму —
я сам не знаю, что к чему...

А за окошком в юном инее
лежат поля из алюминия.
По ним — черны, по ним — седые,
до железнодорожной линии
Протянутся мои следы.

1959

БЬЮТ ЖЕНЩИНУ

Бьют женщину. Блестит белок.
В машине темень и жара.
И бьются ноги в потолок,
как белые прожектора!

Бьют женщину. Так бьют рабынь.
Она в заплаканной красе
срывает ручку как рубильник,
выбрасываясь
на шоссе!

И взвизгивали тормоза.
К ней подбегали, тормоза.
И волочили и лупили
лицом по лугу и крапиве...
Подонок, как он бил подробно,
стиляга, Чайльд-Гарольд, битюг!
Вонзался в дышащие ребра
ботинок узкий, как утюг.

О, упоенье оккупанта,
изыски деревенщины...
У поворота на Купавну
бьют женщину.

Бьют женщину. Веками бьют,
бьют юность, бьет торжественно
набата свадебного гуд,
бьют женщину.

А от жаровен на щеках
горящие затрецины?
Мещанство, быт — да еще как! —
бьют женщину.

Но чист ее высокий свет,
отважный и божественный.
Религий — нет,
знамений — нет.

Есть
Женщина!..

...Она как озеро лежала,
стояли очи как вода,
и не ему принадлежала
как просека или звезда,

и звезды по небу стучали,
как дождь о черное стекло,
и, скатываясь,
остужали
ее горячее чело.

1960

ЛОБНАЯ БАЛЛАДА

Их величеством поразвлекся
прет народ от Коломн и Клязьм.
«Их любовница —
контрразведчица
англо-шведско-немецко-греческая...»
Казнь!

Царь страшон: точно кляча, тощий,
почерневший, как антрацит.
По лицу проносятся очи,
как буксующий мотоцикл.

И когда голова с топорика
подкатилась к носкам ботфорт,
он берет ее
над толпою,
точно репу с красной ботвой!

Пальцы в щеки впились, как клещи,
переносицею хрустя,
кровь из горла на брюки хлещет.
Он целует ее в уста.

Только Красная площадь ахнет,
тихим стоном оглушена:
«А-а-анхен!..»
Отвечает ему она:

«Мальчик мой государь великий
не судить мне твоей вины
но зачем твои руки липкие
солонь?»

баба я
вот и вся провинность
государства мои в устах
я дрожу брусничной кровиночкой
на державных твоих усах

в дни строительства и пожара
до малюсенькой ли любви?

ты целуешь меня Держава
твои губы в моей крови

перегаром борщом горохом
пахнет щедрый твой поцелуй

как ты любишь меня Эпоха
обожаю тебя
царуй!..»

Царь застыл — смурной, малахольный,
царь взглянул с такой меланхолией,
что присел заграничный гость,
будто вбитый по шляпку гвоздь.

1961

АНТИМИРЫ

Живет у нас сосед Букашкин,
в кальсонах цвета промокашки.
Но, как воздушные шары,
над ним горят

Антимиры!

И в них магический, как демон,
вселенной правит, возлежит
Антибукашкин, академик,
и щупает Лоллобриджид.

Но грезятся Антибукашкину
виденья цвета промокашки.

Да здравствуют Антимиры!
Фантасты — посреди муры.
Без глупых не было бы умных,
оазисов — без Каракумов.

Нет женщин —
есть антимужчины,
в лесах режут антимашины.
Есть соль земли. Есть сор земли.
Но сохнет сокол без змеи.

Люблю я критиков моих.
На шею одного из них,
благоуханна и гола
сияет антиголова!..

...Я сплю с окошками открытыми,
а где-то свищет звездопад,
и небоскребы
сталактитами
на брюхе глобуса висят.

И подо мной
вниз головой,
вонзившись вилкой в шар земной,

беспечный, милый мотылек,
живешь ты,
мой антимирок!

Зачем среди ночной поры
встречаются антимиры?

Зачем они вдвоем сидят
и в телевизоры глядят?

Им не понять и пары фраз.
Их первый раз — последний раз!

Сидят, забывши про бонтон,
ведь будут мучиться потом!

И уши красные горят,
как будто бабочки сидят.

...Знакомый лектор мне вчера
сказал: «Антимиры? Мура!»

Я сплю, ворочаюсь спросонок.
Наверно, прав научный хмырь...
Мой кот, как радиоприемник,
зеленым глазом ловит мир.

1961

ОСЕНЬ В СИГУЛДЕ

Свисаю с вагонной площадки,
прощайте,

прощай мое лето,
пора мне,
на даче стучат топорами,
мой дом забивают дощатый,
прощайте,

леса мои сбросили кроны,
пусты они и грустны,
как ящик с аккордеона,
а музыку — унесли,

мы — люди,
мы тоже порожни,
уходим мы,
так уж положено,
из стен,
матерей
и из женщин,
и этот порядок извечен,

прощай, моя мама,
у окон
ты станешь прозрачно, как кокон,
наверно, умаялась за день,
присядем,

друзья и враги, бывайте,
гуд бай,

ах, мамы, мамы, зачем рожают?
Ведь знала мама — меня раздавят,
о кинозвездное оледененье,
нам невозможно уединенье,

в метро,
в троллейбусе,
в магазине
«Приветик, вот вы!» — глядят разини,

невыносимо, когда раздеты
во всех афишах, во всех газетах,
забыв,
что сердце есть посередке,
в тебя завертывают селедки,
лицо измято,
глаза разорваны
(как страшно вспомнить во «Франс-Обзёрвере»
свой снимок с мордой самоуверенной
на обороте у мертвой Мерлин!).

Орет продюсер, пирог уписывая:
«Вы просто дуся,
ваш лоб — как бисерный!»
А вам известно, чем пахнет бисер?!
Самоубийством!

Самоубийцы — мотоциклисты,
самоубийцы спешат упиться,
от вспышек блицев бледны министры —
самоубийцы,
самоубийцы,
идет всемирная Хиросима,
невыносимо,
невыносимо все ждать,
чтоб грянуло,
а главное —
необъяснимо невыносимо,
ну, просто руки разят бензином!

Невыносимо
горят на синем
твои прощальные апельсины...

Я баба слабая. Я разве слажу?
Уж лучше — сразу!

1963

ОХОТА НА ЗАЙЦА

Другу Юре [Казакову]

Травят зайца. Несутся суки.
Травля! Травля! Сквозь лай и гам.
И оранжевые кожухи
апельсинами по снегам.

Травим зайца. Опохмелившись,
я, завгар, лейтенант милиции,
лица в валенках, в хrome лица,
зять Букашкина с пацаном —
газанём!

Газик, чудо индустриализации,
наворачивает цепя.
Трали-вали! Мы травим зайца.
Только, может, травим себя?

Юрка, как ты сейчас в Гренландии?
Юрка, в этом что-то неладное,
если в ужасе по снегам
скачет крови
живой стакан!

Страсть к убийству, как страсть к зачатию,
ослепленная и извечная,
она нынче вопит: зайчатины!
Завтра взвоят о человечине...

Он лежал посреди страны,
он лежал, трепыхаясь слева,
словно серое сердце леса,
тишины.

Он лежал, синеву боков
он вздымал, он дышал пока еще,
как мучительный глаз,
моргающий,
на печальной щеке снегов.

Но внезапно, взметнувшись свечкой,
он возник
и над лесом, над черной речкой
резанул
человечий
крик!

*Звук был пронзительным и чистым, как
ультразвук
или как крик ребенка.
Я знал, что зайцы стонут. Но чтобы так?!
Это была нота жизни. Так кричат
роженицы.*

Так кричат перелески голые,
немые досель кусты,
так нам смерть прорезает голос
неизведанной чистоты.

Той природе, молчально-чудной,
роща, озеро ли, бревно —
им позволено слушать, чувствовать,
только голоса не дано.

Так кричат в последний и в первый.
Это жизнь, удаляясь, пела,
вылетая, как из силка,
в небосклоны и облака.

*Это длилось мгновение,
мы окаменели,
как в остановившемся кинокадре.
Сапог бегущего завгара так и не коснулся
земли.*

Виновные, валитесь на колени,
колонны,
люди,
лунные аллеи,
вы без нее давно бы околели!
Смотрите,
из-под грязного стола —
она, шатаясь, к зеркалу пошла.

«Ах, зеркало, прохладное стекло,
шепчу в тебя бессвязными словами,
сама к себе губами

прислоняюсь
и по тебе
сползаю
тяжело,
и думаю: трусишки, нету сил —
меня бы кто хотя бы отлупил!..»

1964

**ПЛАЧ ПО ДВУМ
НЕРОЖДЕННЫМ ПОЭМАМ**

Аминь.

Убил я поэму. Убил, не родивши. К Харонам!
Хороним.
Хороним поэмы. Вход всем посторонним.
Хороним.

На черной Вселенной любовниками
отравленными
лежат две поэмы,
как белый бинокль театральный.
Две жизни прижались судьбой половинной —
две самых поэмы моих
соловьиных!

Вы, люди,
вы, звери,
пруды, где они зарождались*
в Останкине, —

встаньте!
Вы, липы ночные,
как лапы в ветвях хиромантии, —
встаньте,
дороги, убитые горем,
довольно валяться в асфальте,
как волосы дыбом над городом,
вы встаньте.

Раскройте, гробы,
как складные ножи гиганта,
вы встаньте —
Сервантес, Борис Леонидович,
Браманте,
вы б их полюбили, теперь они тоже останки,
встаньте.

И вы, Член Президиума Верховного Совета
товарищ Гамзатов,
встаньте,

погибло искусство, незаменимо это,
и это не менее важно,
чем речь
на торжественной дате,
встаньте.
Их гибель — судилище. Мы — арестанты.
Встаньте.

О, как ты хотела, чтоб сын твой шел чисто
и прямо,
встань, мама.

Вы встаньте в Сибири,
в Москве,
в городишках,
мы столько убили
в себе,
не родивши,

встаньте,
Ландау, погибший в косом лаборанте,
встаньте,
Коперник, погибший в Ландау галантном,
встаньте,
вы, девка в джаз-банде,
вы помните школьные банты?

встаньте,
геройские мальчики вышли в герои, но в анти,
встаньте
(я не о кастратах — о самоубийцах,
кто саморастратил
святые крупницы),
встаньте.

Погибли поэмы. Друзья мои в радостной
панике —

«Вечная память!»
Министр, вы мечтали, чтоб юнгой
в Атлантике плавать,
вечная память,
громовый Ливанов, ну, где наш несыгранный
Гамлет?

вечная память,
где принц ваш, бабуся? А девственность
можно хоть в рамку обрмить,
вечная память,
зеленые замыслы, встаньте как пламень,
вечная память,
мечта и надежда, ты вышла на паперть?
вечная память!..

Аминь.

Минута молчанья. Минута — как годы.
Себя промолчали — все ждали погоды.
Сегодня не скажешь, а завтра уже
не поправить.

Вечная память.

И памяти нашей, ушедшей как мамонт,
вечная память.

«Будешь ты, великий ментор,
 бог машин, экспериментов,
 будешь бронзой монументов
 знаменит во все края...»

Он сказал: «А на фига?!»

«Уничтожив олигархов,
 тыстроишь агрегатов,
 демократией заменишь
 короля и холоя...»

Он сказал: «А на фига?!»

Я сказал: «А хочешь — будешь
 спать в заброшенной избушке,
 утром пальчики девичьи
 будут класть на губы вишни,
 глушь такая, что не слышна
 ни хвала и ни хула...»

Он ответил: «Все — мура,
 раб стандарта, царь природы,
 ты свободен без свободы,
 ты летишь в автомашине,
 но машина — без руля...»

Оза, Роза ли, стервоза —
 как скучны метаморфозы,
 в ящик рано или поздно...

Жизнь была — а на фига?!»

Как сказать ему, подонку,
 что живем не чтоб подохнуть, —
 чтоб губами тронуть чудо
 поцелуя и ручья!

Чудо жить необъяснимо.
 Кто не жил — что спорить с ними?!

Можно бы — да на фига?

САГА

Ты меня на рассвете разбудишь,
 проводить необутая выйдешь.
 Ты меня никогда не забудешь.
 Ты меня никогда не увидишь.

Заслонивши тебя от простуды,
 я подумаю: «Боже всевышний!
 Я тебя никогда не забуду.
 Я тебя никогда не увижу.»

Эту воду в мурашках запруды,
 это Адмиралтейство и Биржу
 я уже никогда не забуду
 и уже никогда не увижу.

Не мигают, слезятся от ветра
 безнадежные карие вишни.
 Возвращаться — плохая примета.
 Я тебя никогда не увижу.

Даже если на землю вернемся,
 мы вторично, согласно Гафизу.
 Мы, конечно, с тобой разминемся.
 Я тебя никогда не увижу.

И окажется так минимальным
 наше непониманье с тобою
 перед будущим непониманьем
 двух живых с пустотой неживою.

И качнутся бессмысленной высью
 пара фраз, залетевших отсюда:
 «Я тебя никогда не забуду.
 Я тебя никогда не увижу.»

1977

АЛЕКСАНДР ГОРОДНИЦКИЙ

р. 1933, Ленинград

Один из самых известных бардов «оттепели», сочетающий тонкость и политическую остроту.

ЧААДАЕВ

И на обломках самовластья...
 А. Пушкин.

Потомок Чаадаева, сгинувший в сороковом,
 На русский язык перевел
 большинство его писем.

Из бывших князей,
 он характером был независим,
 На Зубовской площади жил
 и в Бутырках потом.

Уверенный духом, корысти и страха лишен,
 Он в семьдесят девять держался,
 пожалуй, неплохо.

И если записке Вернадского верить, то он
 Собою украсить сумел бы любую эпоху.

Он был арестован, и, видимо, после избит,
 И в камере умер
 над тощей тюремной котомкой.

А предок его,
 что с портрета бесстрастно глядит,
 Что может он сделать
 в защиту себя и потомков?

В глухом сюртуке,
 без гусарских своих галунов,
 Он в сторону смотрит
 из дальней эпохи туманной.

Объявлен безумцем,
 лишенный высоких чинов,

Кому он опасен,
 затворник на Старо-Басманной?

Но трудно не думать, почувствовав холод
 внутри,
 О силе, сокрытой
 в таинственном том человеке,
 Которого более века боятся цари,
 Сначала цари, а позднее — вожди и генсеки.

И в тайном архиве, его раскрывая тетрадь,
 Вослед за стихами
 друг другу мы скажем негромко,
 Что имя его
 мы должны записать на обломках,
 Но нету обломков, и не на чем имя писать.

СЕРГЕЙ ДРОФЕНКО

1933, с. Каменка Днепропетровской обл.—1970, Москва

Трагически погибший нелепой случайной смертью в расцвете сил поэт. При жизни к нему относились с симпатией, но, пожалуй, недооценивали. Посмертная книга «Зимнее солнце» показала, сколько возможностей в нем таилось.

ЭСКИЗЫ ИЗ ИСТОРИИ

Не убивай, Иван, сынка!
 Не опьяняйся царской силой.

Озлился — дай ему пинка.
 Ведь это твой детеныш хилый.
 Подумай в миг, когда убьешь,
 о муках совести и веры.
 Какие ныне подаешь
 потомству дальнему примеры?
 Как шея белая тонка!
 Безжизненно повисли руки.
 Не убивай, Иван, сынка.
 Пусть от него родятся внуки.
 Пади!
 Прощения проси!
 Рыдай по-бабьи, царь московский!
 Пусть разнесется по Руси
 молва о горести отцовской.
 Реши улыбкой малый спор.
 Но нет!
 Глаза сверкают люто.
 А за спиной вострит топор
 толковый ученик Малюта.
 Вещают с Красного Крыльца,
 что опочил царевич в бозе.
 Лежит —
 лишь струйка вдоль лица, —
 в страдальчески-нелепой позе.
 Сознание застлал туман.
 Отец и сын.
 Так не бывает.
 Не убивай сынка, Иван!
 Просить напрасно.
 Убивает.

1971

ПРАЗДНИКИ

Ю. Ряшенцеву

Пришла прекрасная пора.
 Настали праздники. Ура!
 Сын Алексей кричит «Уа!»
 в восторге.
 Луна восходит по ночам,

желта, как квашеный кочан,
 и недоступны москвичам
 «Мосторги».

В быту заметен перелом.
 Обивкой манит поролон.
 Журналом неким полонен,
 ты дремлешь.
 Ревет будильник петухом,
 Но и его во сне глухом
 ты как-то пополам с грехом
 приемлешь.

Потом к тебе заходит гость
 и шапку вешает на гвоздь
 и новостей сырую гроздь
 туда же.
 Он говорит уже года.
 Речь льется ровно, как вода.
 Сегодня видел он «Всегда
 в продаже».

Потом, питомец резвых муз,
 ты пробуешь домашний мусс
 и святостью семейных уз
 гордишься.
 На подвиг божия раба
 зовет архангела труба.
 Сегодня ты и для труда
 годишься.

Спасибо, праздники, за дни,
 когда в дому, почти одни,
 мы теплим давние огни
 надежды.
 Забыт курсив, забыт петит.
 Ликует хищный аппетит,
 и сон угодливо летит
 на вежды.

Но яркий цвет календаря,
 часы беспечности дая,
 как нашей юности заря,
 не вечен.
 И, словно пушечной пальбой,

Ушла жена профессора из дому.
 Не знаем мы,
 куда ушла из дому,
 не знаем,
 отчего ушла из дому,
 а знаем только, что ушла она.
 В костюме и немодном и неновом, —
 как и всегда, немодном и неновом,
 да, как всегда, немодном и неновом, —
 спускается профессор в гардероб.
 Он долго по карманам ищет номер:
 «Ну что такое?
 Где же этот номер?
 А может быть,
 не брал у вас я номер?
 Куда он делся?
 Трет рукою лоб. —
 Ах, вот он!..
 Что ж,
 как видно, я старею,
 Не спорьте, тетя Маша,
 я старею.
 И что уж тут поделаешь —
 старею...»
 Мы слышим —
 дверь внизу скрипит за ним.
 Окно выходит в белые деревья,
 в большие и красивые деревья,
 но мы сейчас глядим не на деревья,
 мы молча на профессора глядим.
 Уходит он,
 сутулый,
 неумелый,
 какой-то беззащитно неумелый,
 я бы сказал —
 устало неумелый,
 под снегом,
 мягко падающим в тишь.
 Уже и сам он,
 как деревья,
 белый,
 да,
 как деревья,
 совершенно белый,
 еще немного —
 и настолько белый,
 что среди них
 его не разглядишь.

1955

СВАДЬБЫ

А. Межирову

О, свадьбы в дни военные!
 Обманчивый уют,
 слова неоткровенные
 о том, что не убьют...
 Дорогой зимней, снежною,
 сквозь ветер, бьющий зло,
 лечу на свадьбу спешную
 в соседнее село.
 Походочкой расслабленной,

с челочкой на лбу
 вхожу,
 плясун прославленный,
 в гудящую избу.
 Наряженный,
 взволнованный,
 среди друзей,
 родных,
 сидит мобилизованный
 растерянный жених.
 Сидит
 с невестой — Верою.
 А через пару дней
 шинель наденет серую,
 на фронт поедет в ней.
 Землей чужой,
 не местною,
 с винтовкою пойдет,
 под пулею немецкою,
 быть может, упадет.
 В стакане брага пенная,
 но пить ее невмочь.
 Быть может, ночь их первая —
 последняя их ночь.
 Глядит он опечаленно
 и — болью всей души
 мне через стол отчаянно:
 «А ну давай, пляши!»
 Забыли все о выпитом,
 все смотрят на меня,
 и вот иду я с вывертом,
 подковками звеня.
 То выдам дробь,
 то по полу
 носки проволоку.
 Свищу,
 в ладоши хлопаю,
 взлетаю к потолку.
 Летят по стенам лозунги,
 что Гитлеру капут,
 а у невесты
 слезыньки
 горячие
 текут.
 Уже я измочаленный,
 уже едва дышу...
 «Пляши!..» —
 кричат отчаянно,
 и я опять пляшу...
 Ступни как деревянные,
 когда вернусь домой,
 но с новой свадьбы
 пьяные
 являются за мной.
 Едва отпущен матерью,
 на свадьбы вновь гляжу
 и вновь у самой скатерти
 вприсядочку хожу.
 Невесте горько плачется,
 стоят в слезах друзья.

Мне страшно.
Мне не пляшется,
но не плясать —
нельзя.

1955

* * *

Б. Ахмадулиной

Со мною вот что происходит:
ко мне мой старый друг не ходит,
а ходят в праздной суете
разнообразные не те.

И он

не с теми ходит где-то
и тоже понимает это,
и наш раздор необъясним,
и оба мучаемся с ним.

Со мною вот что происходит:
совсем не та ко мне приходит,
мне руки на плечи кладет
и у другой меня крадет.

А той —

скажите, бога ради,
кому на плечи руки класть?

Та,

у которой я украден,
в отместку тоже станет красть.
Не сразу этим же ответит,
а будет жить с собой в борьбе
и неосознанно наметит
кого-то дальнего себе.

О, сколько нервных

и недужных,
ненужных связей,

дружб ненужных!
Во мне уже осатанённость!

О, кто-нибудь,

приди,
нарушь

чужих людей

соединенность

и разобщенность

близких душ!

1957

ОДИНОЧЕСТВО

Как стыдно одному ходить в кинотеатры
без друга, без подруги, без жены,
где так сеансы все коротковаты
и так их ожидания длинны!

Как стыдно —

в нервной замкнутой войне
с насмешливостью парочек в фойе
жевать, краснея, в уголке пирожное,
как будто что-то в этом есть порочное...

Мы,

одиночества стесняясь,
от тоски

бросаемся в какие-то компании,
и дружб никчемных обязательства кабальные
преследуют до гробовой доски.
Компании нелепо образуются —

в одних все пьют да пьют,
не образуются.
В других все заняты лишь тряпками и девками,
а в третьих —

вроде спорами идейными,
но приглядишься —

те же в них черты...
Разнообразные формы суеты!

То та,

то эта шумная компания...

Из скольких я успел удрать —

не счесть!

Уже как будто в новом был капкане я,
но вырвался,

на нем оставив шерсть.

Я вырвался!

Ты спереди, пустынная
свобода...

А на черта ты нужна!

Ты милая,

но ты же и посылая,
как нелюбимая и верная жена.

А ты, любимая?

Как поживаешь ты?

Избавилась ли ты от суеты;

И чьи сейчас глаза твои раскосые

и плечи твои белые роскошные?

Ты думаешь, что я, наверно, мчу,

что я сейчас в такси куда-то мчу,

но если я и мчу,

то где мне высадиться?

Ведь все равно мне от тебя не высвободиться!

Со мною женщины в себя уходят,

чувствуя,

что мне они сейчас такие чуждые.

На их коленях головой лежу,

но я не им —

тебе принадлежу...

А вот недавно был я у одной

в невзрачном домике на улице Сенной.

Пальто повесил я на жалкие рога.

Под однобокой елкой

с лампочками тускленькими,

посвечивая беленькими туфельками,

сидела женщина,

как девочка, строга.

Мне было так легко разрешено

приехать,

что я был самоуверен

и слишком упоенно современен —

я не цветы привез ей,

а вино.

Но оказалось все —

куда сложней...

Она молчала,

и совсем сиротски

две капельки прозрачных —

две сережки

мерцали в мочках розовых у ней.

И, как больная, глядя так невнятно

И, поднявши тело детское свое,

сказала глухо:

«Уходи...

Не надо...

Я вижу —

ты не мой,

а ты — ее...»

Меня любила девочка одна
с повадками мальчишескими дикими,
с летящей челкой

и глазами-льдинками,

от страха

и от нежности бледна.

В Крыму мы были.

Ночью шла гроза,

и девочка

под молнию магнийной

шептала мне:

«Мой маленький!

Мой маленький!» —

ладонью закрывая мне глаза.

Вокруг все было жутко

и торжественно,

и гром,

и моря стон глухонемой,

и вдруг она,

полна прозренья женского,

мне закричала:

«Ты не мой!

Не мой!»

Прощай, любимая!

Я твой

угрюмо,

верно,

и одиночество —

всех верностей верней.

Пусть на губах моих не тает вечно
прощальный снег от варежки твоей.

Спасибо женщинам,

прекрасным и неверным,

за то,

что это было все мгновенным,

за то,

что их «прощай!» —

не «до свиданья!»,

за то,

что, в лживости так царственно горды,

даруют нам блаженные страданья

и одиночества прекрасные плоды.

1959

* * *

Когда взошло твое лицо
над жизнью скомканной моею,
вначале понял я лишь то,
как скудно все, что я имею.

Но рощи, реки и моря
оно особо осветило
и в краски мира посвятило
непосвященного меня.

Я так боюсь, я так боюсь
конца нежданного восхода,
конца открытий, слез, восторга,
но с этим страхом не борюсь.

Я помню — этот страх
и есть любовь. Его лелею,
хотя лелеять не умею,
своей любви небрежный страж.

Я страхом этим взят в кольцо.
Мгновенья эти — знаю — кратки,
и для меня исчезнут краски,
когда зайдет твое лицо...

1960

БАБИЙ ЯР

Над Бабьим Яром памятников нет.
Крутой обрыв, как грубое надгробье.
Мне страшно.

Мне сегодня столько лет,
как самому еврейскому народу.
Мне кажется сейчас —

я иудей.

Вот я бреду по древнему Египту.
А вот я, на кресте распятый, гибну,
и до сих пор на мне — следы гвоздей.
Мне кажется, что Дрейфус —

это я.

Мещанство —

мой доносчик и судья.

Я за решеткой.

Я попал в кольцо.

Затравленный,

оплеванный,

оболганный.

И дамочки с брюссельскими оборками,
визжа, зонтами тычут мне в лицо.
Мне кажется —

я мальчик в Белостоке.

Кровь льется, растекаясь по полам.
Бесчинствуют вожди трактирной стойки
и пахнут водкой с луком пополам.
Я, сапогом отброшенный, бессилён.
Напрасно я погромщиков молю.
Под гогот:

«Бей жидов, спасай Россию!» —

насилует лабазник мать мою.

О, русский мой народ! —

Я знаю —

ты

по сущности интернационален.

Но часто те, чьи руки нечисты,
твоим чистейшим именем бряцали.

Я знаю доброту твоей земли.

Как подло,

что, и жилочкой не дрогнув,

антисемиты пышно нарекли

себя «Союзом русского народа»!

Мне кажется —

я — это Анна Франк,

прозрачная,
 как веточка в апреле.
 И я люблю.
 И мне не надо фраз.
 Мне надо,
 чтоб друг в друга мы смотрели.
 Как мало можно видеть,
 обонять!
 Нельзя нам листьев
 и нельзя нам неба.
 Но можно очень много —
 это нежно
 друг друга в темной комнате обнять.
 Сюда идут?
 Не бойся — это гулы
 самой весны —
 она сюда идет.
 Иди ко мне.
 Дай мне скорее губы.
 Ломают дверь?
 Нет — это ледоход...
 Над Бабьим Яром шелест диких трав.
 Деревья смотрят грозно,
 по-судейски.
 Все молча здесь кричит,
 и, шапку сняв,
 я чувствую,
 как медленно седею.
 И сам я,
 как сплошной беззвучный крик,
 над тысячами тысяч погребенных.
 Я —
 каждый здесь расстрелянный старик.
 Я —
 каждый здесь расстрелянный ребенок.
 Ничто во мне
 про это не забудет!
 «Интернационал»
 пусть прогремит,
 когда навеки похоронен будет
 последний на земле антисемит.
 Еврейской крови нет в крови моей.
 Но ненавистен злобой заскорузлой
 я всем антисемитам,
 как еврей,
 и потому —
 я настоящий русский!

1961

НАСЛЕДНИКИ СТАЛИНА

Безмолвствовал мрамор.
 Безмолвно мерцало стекло.
 Безмолвно стоял караул,
 на ветру бронзовея.
 А гроб чуть дымился.
 Дыханье из гроба
 текло,
 когда выносили его
 из дверей мавзолея.
 Гроб медленно плыл,
 задевая краями штыки.

Он тоже безмолвным был —
 тоже! —
 но грозно безмолвным.
 Угрюмо сжимая
 набальзамированные кулаки,
 в нем к щели глазами приник
 человек,
 притворившийся мертвым.
 Хотел он запомнить всех тех,
 кто его выносил —
 рязанских и курских молоденьких
 новобранцев,
 чтоб как-нибудь после
 набраться для вылазки сил,
 и встать из земли,
 и до них, неразумных, добраться.
 Он что-то задумал.
 Он лишь отдохнуть прикорнул.
 И я обращаюсь
 к правительству нашему с просьбою:
 удвоить,
 утроить у этой стены караул,
 чтоб Сталин не встал
 и со Сталиным — прошлое.
 Мы сеяли честно.
 Мы честно варили металл,
 и честно шагали мы,
 строясь в солдатские цепи.
 А он нас боялся.
 Он, верящий в цель, не считал,
 что средства должны быть достойны величия
 цели.
 Он был дальновиден.
 В законах борьбы умудрен,
 наследников многих
 на шаре земном он оставил.
 Мне чудится,
 будто поставлен в гробу телефон.
 Кому-то опять сообщает свои указания
 Сталин.
 Куда еще тянется провод из гроба того?
 Нет, Сталин не сдался.
 Считает он смерть поправимостью.
 Мы вынесли
 из мавзолея
 его.
 Но как из наследников Сталина
 Сталина вынести?
 Иные наследники розы в отставке стригут,
 а втайне считают,
 что временна эта отставка.
 Иные
 и Сталина даже ругают с трибун,
 а сами
 ночами
 тоскуют о времени старом.
 Наследников Сталина, видно, сегодня не зря
 хватают инфаркты.
 Им, бывшим когда-то опорами,
 не нравится время,
 в котором пусты лагеря,

И это нас мучит и мучит,
а холод нас крючит и крючит.
Но крепко сидим, как занозы,
мы — карликовые березы.

1966

ГРАЖДАНЕ, ПОСЛУШАЙТЕ МЕНЯ...

Д. Андайку

Я на пароходе «Фридрих Энгельс»,
ну а в голове — такая ересь,
мыслей безбилетных толкотня.
Не пойму я — слышится мне, что ли,
полное смятения и боли:
«Граждане, послушайте меня...»

Палуба сгибается и стонет,
под гармошку палуба чарльстонит,
а на баке, тоненько моля,
пробует пробиться одичало
песенки свербящее начало:
«Граждане, послушайте меня...»

Там сидит солдат на бочкотаре.
Наклонился чубом он к гитаре,
пальцами растерянно мудря.
Он гитару и себя изводит,
а из губ мучительно исходит:
«Граждане, послушайте меня...»

Граждане не хотят его слушать.
Гражданам бы выпить и откусать
и сплясать, а прочее — муря!
Впрочем, нет, — еще поспать им важно...
Что он им заладил неотвязно:
«Граждане, послушайте меня...»?

Кто-то помидор со вкусом солит,
кто-то карты сальные мусолит,
кто-то сапогами пол мозолит,
кто-то у гармошки рвет меха.
Но ведь сколько раз в любом кричало
и шептало это же начало:
«Граждане, послушайте меня...»

Кто-то их порой не слушал тоже.
Распирая ребра и корежа,
высказаться суть их не могла.
И теперь, со вбитой внутрь душою,
слышать не хотят они чужое:
«Граждане, послушайте меня...»

Эх, солдат на фоне бочкотары,
я такой же — только без гитары...
Через реки, горы и моря
я бреду и руки простираю
и, уже охрипший, повторяю:
«Граждане, послушайте меня...»

Страшно, если слушать не желают.
Страшно, если слушать начинают.

Вдруг вся песня, в целом-то, мелка,
вдруг в ней все ничтожно будет, кроме
этого мучительного с кровью:
«Граждане, послушайте меня...»?!

1963

КАЗНЬ СТЕНЬКИ РАЗИНА

Как во стоальной Москве белокаменной
вор по улице бежит с булкой маковой.
Не страшит его сегодня самосуд.
Не до булок...

Стеньку Разина везут!

Царь бутылочку мальвазии выдаивает,
перед зеркалом свейским

прыщ выдавливают,

Примеряет новый перстень-изумруд —
и на площадь...

Стеньку Разина везут!

Как за бочкой бокастой

бочоночек,

за боярыней катит боярчоночек.
Леденец зубенки весело грызут.
Нынче праздник!

Стеньку Разина везут!

Прет купец,

трещя с гороха.

Мчатся вскачь два скомороха.

Семенит ярыжка-плут...

Стеньку Разина везут!!

В струпьях все,

едва живые

старцы с вервием на вые,

что-то шамкая,

ползут...

Стеньку Разина везут!

И срамные девки тоже,

под хмельком вскочив с рогожи,

огурцом намазав рожи,

шпарят рысью —

в ляжках зуд...

Стеньку Разина везут!

И под визг стрелецких жен,

под плевки со всех сторон

на расхристанной телеге

плыл

в рубахе белой

он.

Он молчал,

не утирался,

весь оплеванный толпой,

только горько усмехался,

усмехался над собой:

«Стенька, Стенька,

ты как ветка,

потерявшая листву.

Как в Москву хотел ты въехать!

Вот и въехал ты в Москву...

Ладно,

плюйте,

плюйте,

плюйте —

клокоча,
 колокола.
 А от крови и чуба тяжела,
 голова еще ворочалась,
 жила.
 С места Лобного подмоклого
 туда,
 где голытьба,
 взгляды
 письмами подметными
 швыряла голова...
 Суется,
 дрожащий попик подлетел,
 веки Стенькины закрыть он хотел.
 Но, напружившись,
 по-зверьи страшны,
 оттолкнули его руку зрачки.
 На царе
 от этих чертовых глаз
 зябко
 шапка Мономаха затряслась,
 и, жестоко,
 не скрывая торжества,
 над царем
 заохотала
 голова!..

1964

* * *

Идут белые снега,
 как по нитке скользья...
 Жить и жить бы на свете,
 да, наверно, нельзя.

Чьи-то души, бесследно
 растворяясь вдали,
 словно белые снега,
 идут в небо с земли.

Идут белые снега...
 И я тоже уйду.
 Не печальюсь о смерти
 и бессмертья не жду.

Я не верую в чудо.
 Я не снег, не звезда,
 и я больше не буду
 никогда, никогда.

И я думаю, грешный,—
 ну, а кем же я был,
 что я в жизни поспешной
 больше жизни любил?

А любил я Россию
 всюю кровью, хребтом —
 ее реки в разливе
 и когда подо льдом,

дух ее пятистенков,
 дух ее сосняков,
 ее Пушкина, Стеньку
 и ее стариков.

Если было несладко,
 я не шибко тужил.
 Пусть я прожил негладко,
 для России я жил.

И надеждою маюсь
 (полный тайных тревог),
 что хоть малую малость
 я России помог.

Пусть она позабудет
 про меня без труда,
 только пусть она будет
 навсегда, навсегда.

Идут белые снега,
 как во все времена,
 как при Пушкине, Стеньке
 и как после меня.

Идут снега большие,
 аж до боли светлы,
 и мои и чужие
 заметая следы...

Быть бессмертным не в силе,
 но надежда моя:
 если будет Россия,
 значит, буду и я.

1965

ПОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА

*Моей жене Маше, подарившей
 мне с той поры, как было написано
 стихотворение, двух сыновей —
 Женю и Митю.*

Е. Е. 1993

Последняя попытка стать счастливым,
 припав ко всем изгибам, всем извивам
 лепечущей дрожащей белизны
 и к ягодам с дурманом бузины.

Последняя попытка стать счастливым,
 как будто призрак мой перед обрывом
 и хочет прыгнуть ото всех обид
 туда, где я давным-давно разбит.

Там на мои поломанные кости
 присела, отдыхая, стрекоза,
 и муравьи спокойно ходят в гости
 в мои пустые бывшие глаза.

Я стал душой. Я выскользнул из тела,
 я выбрался из крошева костей,
 но в призраках мне быть осточертело,
 и снова тянет в столько пропастей.

Влюбленный призрак пострашнее трупа,
а ты не испугалась, поняла,
и мы, как в пропасть, прыгнули друг в друга,
но, распростерши белые крыла,
нас пропасть на тумане подняла.

И мы лежим с тобой не на постели,
а на тумане, нас держащем еле.

Я — призрак. Я уже не разобьюсь.
Но ты — живая. За тебя боюсь.

Вновь кружит ворон с траурным отливом
и ждет свежинки — как на поле битв.
Последняя попытка стать счастливым,
последняя попытка полюбить.

1986, Петрозаводск

НИНА КОРОЛЕВА

р. 1933, Бобрики Московской обл.

Поэтесса, чьи стихи в СССР могли печататься, по ее собственному признанию в публикуемом стихотворении, «по ошибке». Но печатались, несмотря на цензуру, — чем чаще сеть, тем больше в ней дыр. Цензурный скандал вызвало ее стихотворение, чудом увидевшее свет в ленинградском журнале «Аврора», — «Оттаяла или очнулась...», ибо после стихотворения П. Антокольского это были первые реквиемные стихи о казни царской семьи.

* * *

И я бы зашила брильянты в корсет,
Спасая ребенка, отца или брата,
И выстрел попавшего в сердце солдата
Разбрызгал в подвале брильянтовый свет.

И я бы гонимому дверь отперла,
Учась у Волошина мудрому праву
Не спрашивать гостя, что в дом привела,
Какую он ищет судьбу или славу.

О всех обездоленных в мире тужу:
Казненном ребенке, убитой улыбке.
Об этом однажды стихи напишу,
И их напечатают вдруг по ошибке...

* * *

Оттаяла или очнулась? — спасибо, любимый!
Как будто на землю вернулась,
на запахи дыма,
На запахи речек медвяных и кедров зеленых,
Тобольских домов деревянных,
на солнце каленых

Как будто лицо подняла я за чьей-то улыбкой,
Как будто опять ожила
я для радости зыбкой...

Но город, глядящийся в реки,
молчит, осторожен.
Здесь умер слепой Кюхельбекер и в землю
положен.

Здесь в церкви купчихи кричали,
качая рогами.
Распоп Аввакум обличал их и бил батогами.
И в год, когда пламя металось

на знамени тонком,
В том городе не улыбалась
царица с ребенком...

И я задыхаюсь в бессилье, спасти их не
властна.

Причастна беде и насилью и злобе причастна.
Кровавой истории слава и тьма земляная.
— О чем ты, любимая, право? —

не знаю, не знаю,
Но здесь мои корни и силы,
и боль, и короста...

Святые могилы России оплакать не просто.

1974, Тобольск — Иркутск

ВЛАДИМИР ЛЕОНОВИЧ

р. 1933, Кострома

Когда в 1963 году «Комсомольская правда» напечатала огромную издевательскую статью, где была строка о том, что я «набил несмываемые синяки предательства», во всей стране нашлась только одна газета, осмелившаяся поднять голос в мою защиту. Это была многотиражка одного из новокузнецких заводов, а ее ответственным секретарем тогда был Владимир Леонович. Разумеется, из редакции его потом выгнали. Но этот поступок, как показало время, для Леонovichа был не случаен. Будучи тонким, мягким лириком в своей поэзии, он был и остается по сей день яростным, громовым защитником справедливости, поднимая голос то в защиту диссидентов-писателей, то в защиту дома-музея Пастернака, то просто в защиту поэзии.

МГНОВЕНЬЕ СЛАБОЕ

Гляжу на безобразье сброда:
распни — вот ясная нужда.
Отец небесный, нет народа
и не бывало никогда.

Меня гнетет их помраченье,
Их немладенческое зло.
За них погибнуть — тяжело.
Горька, однако, соль ученья...

Здесь ничего вместить не могут
мозги Матфея и Луки.
Здесь останавливает омут
теченье ясное реки.

Ленивое веретено —
и неизбывное одно
вытягивается мгновенье,
и сладок обморок сомненья.

Все бесконечно — все равно
частице темного круженья.

...Вперед, мужи! Во имя братства
и милосердья впереди!

Теперь
спокойно
перейди
горы сутулое пространство.

Отец, прости мне святотатство:
мгновенье слабое прости.

АННА ХОДАСЕВИЧ

Воспоминая истлевая,
живет старушка восковая
и мертвецов своих корит,
и говорит, и говорит...
На стенке с ними заодно
сама хозяйка в кимоно,
надменная и молодая,
Овала рама золотая.
Всех пережить ей суждено.
Слышна затейливая погудка,
электрочайничек парит.
Старушка голодом морит
и черным чаем — рак желудка.
И начатое позабыв,
без перехода и вразбив,
но ровным тоном, как в балладе,
рассказывает мне о Владе.
Начало от конца. Покинул
меня в раскаянье, в слезах
и написал, что сердце вынул
и помнить будет в небесах.
И мне, однако, рай обещан...
И тут обиды. И про женщин —
одна на сером жеребце
въезжала прямо на террасу,
так домик весь звенел и трясся,
а Владя расцветал в лице.
Потом ушел и был с другой
над венетийскими водами —
но все цвели и опадали,
а я была ему — одной.

Его ронсаровские циклы
читала плача и любя.
Мне говорит: играю в куклы,
запомни: я люблю тебя.
Я знаю — что ж ты врешь другим?
Его спросите-ка подите!
Не подступиться — поглядите:
и часто он бывал таким...
Чуть фотография туманна,
а взгляд пронзителен — ей-ей,
игумен братии своей.
Сознание дара или сана.
Певец четвертого сословья
и пятому последний брат
затем, что весь — аристократ —
гордынею, отчасти кровью.
И я писала — только Владя
писать не то чтоб запретил,
а пошутил — да и отвадил
и круг другой мне очертил.
Был мягок и непререкаем.
Я знала весь его словарь:
уж если говорит — я Каин,
то надо понимать — я царь.
За гордость эту и молюсь.
Мне говорит: я становлюсь
произнесенным мною словом
и тем сойду путем готовым —
Орфей — отселе прямо в ад...
О Боже! Все равно не верю
ни Каину его, ни зверю —
не больше прочих виноват.
Но жалуясь и негодуя,
такую вздумает вину —
свою, чужую, не одну —
навалит на спину худую.
А мне: не забывай, Ньюрок,
хоть ты мой рай, но ты мой рок.
Незабываемо и чудно
бывало, право, как в раю.
Так и скажу про жизнь мою
в день судный...
И говорит, и говорит —
ему, себе ли в утешенье.
Однако это разрешение
мучений, ревности, обид.
И как-то мне легко и странно:
я словно послан от него —
к тебе от мужа твоего,
великомученица Анна.
Где спесь его и мрак, и злобство?
Где сатаническая роль?
Великодушное потомство
воспринимает честь и боль
и ту классическую соль
избранничества и сиротства.

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ

р. 1933, Москва

Блестящий переводчик английской и американской поэзии. Публикация двух небольших поэм в 1993 году в «Новом мире» открыла его как оригинального поэта: «Не петровское шуточное переодевание, направление не то, и начальственный дух не Петров, да и гонка такая, что меридианы, затрещав, остаются в шершавых руках шоферов. Хитрый Шоу сказал: «Хорошоу», и фигу в кармане затаил, покатил на родной Белорусский вокзал, и бежали за Шоу якуты, киргизы, армяне, Вилли тоже бежал, но потом понемногу отстал». По иронической интерпретации разночинства Сергеев смыкается с Волошиним в его поэме «Россия».

Из поэмы «РОССИЯ ДЛЯ ПРИЕЗЖЕГО — ОРЕХ»
(фрагмент из третьей части «Апраксин двор»)

1

Россия для приезжего — орех,
Который надо разгрызть зубами,
Экзаменуясь под зевотный смех
На роль в еще не сочиненной драме
С негаданной развязкой. Юный чех,
Как чацкий мотылек, летел на пламя
И сам подставил шею под удар,
Порхнувши с парохода на пожар.

2

Апраксин двор горел стоймя, как свечка.
Спекались кожи, фыркали меха,
Искрило сало, и стреляла гречка.
У красного родного петуха
Народ локтями добывал местечко
Поближе к пре, подальше от греха.
Купечество учло небес немилость
И воевать стихию не стремилось.

3

Герой с разбегу взял барьер толпы,
Нырнул в бурун крошащегося крова
И вынес штуку ситца, куль крупы
И дикого с похмелья домового —

Но не разгрыз расейской скорлупы
И был предъявлен в качестве улова,
Когда пожарный заспанный обоз
На поджигателей повысил спрос.

4

Всегда фекаловатый Чернышевский
Петролеем и серой вдруг запах;
Он выскочил на освещенный Невский
В покрытых свежей копотью очках;
Ему навстречу мчался Достоевский;
Городовой был рядом, в двух шагах,
Но по гнилой интеллигентской складке
Писатель не донес и слег в припадке.

5

А встав, он поднял виденное зло
До эсхатологического чина:
— Отечество нам Царское — Село,
А верховенским адская — машина:
Безумцы бредят, что в аду тепло,
Что бытие — колеса и пружина,
Что надо рвать Россию, как запал,
Чтоб мир взорвался и в тепло попал.

.....

ЮРИЙ СМИРНОВ

1933, Макеевка, Донбасс—1978

По профессии был инженер-строитель. При жизни вышли две тоненькие книжки стихов; лиризм и ирония в них были неразрывны. Помню, стихотворение «Я изучаю микромир», напечатанное в «Новом мире», поразило свежестью рифм, молодой легкостью... Он так и запомнился молодым. Смерть его была мучительной и трагически нелепой.

* * *

Что выделявают голуби
В вышине над головой
Между стен, как будто в проруби
Беспредельно голубой!
Что выделявают голуби
Над Бутырской тюрьмой!...

1967

* * *

Я изучаю микромир.
Я постигаю макромир.
Я надеваю полимер
И оступаюсь в мокрый мир.
И хлещут ветки по лицу.
Взывает лес к покою дач.
Я попадаю в полосу
Моих зеленых неудач.

У станционного буфета,
Где пьют перцовку под боржом,
«Канадский бобрик» и «бабетта»
Стоят и мокнут под дождем.

Их судят все, тем паче мамы,
Концы сводящие с трудом.
Им непонятней панчен-ламы
Вот эти двое под дождем...

ЛЕОНИД ТЕМИН

1933—1983

Киевлянин. Закончил филфак местного университета. Первую книгу выпустил в Москве в 1962 году, затем еще несколько. Много переводил с грузинского. Многие годы посвятил воспитанию молодых поэтов в литобъединениях.

ПЕРЕЛИЦОВКА

На мне недаром новый фрак?
Ж. П. Беранже

Хоть я отнюдь не толстосум,
А все же — фронт
(Что в том дурного?):
Перелицованный костюм
Сидит на мне почти как новый!

Перепотели зеркала —
Так я смотрел:
ошибок нет ли?
Да, с пиджаком беда была:
Переменяли место петли.

Оно — пустяк,
А все — изъян...
Но посильнее петель, право,
Разогорчил меня карман,
Переметнувшийся направо.

Моя привычная рука
Его на месте не находит:
Нагрудный, с краешком платка,
Торчит он вовсе не по моде.

Но я надеюсь на авось:
Ведь может мода измениться!
На днях мне видеть довелось
Перелицованные лица.

ЛЕОНИД ЧЕРТКОВ

р. 1933

Знаменитый ныне литературовед-эмигрант, он своей судьбой доказал, что для иных поэтов хрущевская оттепель оказалась куда как холодна. Он принадлежал к небольшой группе поэтов, объединявшихся вокруг Станислава Красовицкого; КГБ, видимо, планировал посадить всю группу, но ограничился арестом одного Черткова — в начале 1957 года, по статье 58—10, то бишь «антисоветская пропаганда». Чертков «отрубил свои пять лет от звонка до звонка», вернулся, стал печататься как литературовед, а когда появилась возможность — эмигрировал во Францию. Арест его был именно таков, как описано им в стихах: прямо у электрички подошел какой-то дяденька, потянул за рукав: «Леня Чертков? Поехали». Так что даже в «лучшие годы» система заботилась, чтоб не оскудела русская интеллигентная поэзия в концлагерях.

* * *

* * *

Я на вокзале был задержан за рукав,
И, видимо, тогда, — не глаз хороших ради, —
Маховики властей в движении узнав,
В локомотиве снов я сплыл по эстакаде.

И вот я чувствую себя на корабле,
Где в сферах — шумы птиц,
матросский холод платья,
И шествуют к стене глухонемые братья, —
Летит, летит в простор громада на руле.

1957

Как павший ангел, воплощенный
Звездой на исходе дней, —
Так я ступаю, умерщвленный,
Навстречу вечности своей.

Неутолимая не скроет
Бездонной пасти бытия,
И жизнь моя того не стоит,
Что боль посмертная моя.

1961

АЛЕКСАНДР АРОНОВ

р. 1934

Долгое время был одним из популярнейших поэтов московского самиздата; впрочем, будучи постоянным журналистом газеты «Московский комсомолец», в час по чайной ложке все же печатался, никому как поэт себя не навязывая. Он был знаком с Ахматовой — она, впрочем, удивлялась, отчего он ей свои стихи не подсовывает. Вдова поэта Шенгели, поэтесса Н. Л. Манухина, одно стихотворение Аронова знала наизусть и Ахматовой прочла, — Ахматова похвалила. Это было то самое, которое печатается ниже, — «1956-й». Лишь в 1987 году Аронов выпустил первую книгу стихотворений — «Островок безопасности». Потом вышло еще две. Аронов и сейчас еще явно не пришел к широкому читателю — если, впрочем, не говорить о его блестящей журналистике, — ей поэт отдал, думается, даже слишком много сил.

1956-й

Среди бела дня
Мне могилу выкоют.
А потом меня
Реабилитируют.

Пряжкой от ремня,
Апперкотом валящим
Будут бить меня
По лицу товарищи.

Спляшут на костях,
Бабу изнасилуют,

А потом простят.
А потом помилют.

Скажут: — Срок ваш весь.
Волю мне подарят.
Может быть, и здесь
Кто-нибудь ударит.

Будет плакать следовательно
На моем плече.
Я забыл последовательность,
Что у нас за чем.

ЮРИЙ ВИЗБОР

1934—1984

Один из самых популярных авторов КСП («Клуба Самодеятельной Песни»), поэт, прозаик, актер — если кто посмотрел знаменитые «Семнадцать мгновений весны», тот не забудет Визбора в роли Мартина Бормана. По сравнению с Галичем, Высоцким, Окуджавой в песнях Визбора нет той политической остроты и глубины, зато они подкупают человеческим теплом, доверительной интонацией. Он был одним из тех, кто надышал воздух «оттепели».

ВОЛЕЙБОЛ НА СРЕТЕНКЕ

А помнишь, друг, команду с нашего двора,
Послевоенный над веревкой волейбол,
Пока для секции нам сетку не украд
Четвертый номер — Коля Зять, известный вор.

А первый номер на подаче — Вадик Коп,
Владелец страшного кирзового мяча,
Который если попадает кому-то в лоб,
То можно смерть установить и без врача.

А наш защитник, пятый номер —
Макс Шароль,
Который дикими прыжками знаменит,
А также тем, что он по алгебре король,
И в этом двор его нисколько не винит.

Саид Гиреев, нашей дворничихи сын,
Торговец краденым и пламенный игрок.
Сергея Мухин, отпускающий усы,
И на распасе скромный автор этих строк.

Да, такое наше поколение —
Рудиментом в нынешних мирах,

Словно полужесткие крепления
Или радиолы во дворах.

А вот противник он нахал и скандалист,
На игры носит он то бритву, то наган:
Здесь капитанствует известный террорист
Сын ассирийца, ассириец Лев Уран,

Известный тем, что перед властью не дрожа,
Зверюге-ректору он партой угрожал,
И парту бросил он с шестого этажа,
Но, к сожалению для школы, не попал.

А вот и сходятся два танка, два ферзя —
Вот наша Эльба, встреча войск далеких стран:
Идет походкой воровскою Коля Зять,
Навстречу руки в брюки Левочка Уран.

Вот тут как раз и начинается кино.
И подливает в это блюдо остроты
Белова Танечка, глядящая в окно, —
Внутрирайонный гений чистой красоты.

Ну, что без драки? Волейбол так волейбол!
Ножи оставлены до встречи роковой,
И Коля Зять уже ужасный ставит кол,
Взлетев, как Щагин над веревкой бельевой.

Да, и это наше поколение —
Рудиментом в нынешних мирах,
Словно полужесткие крепления
Или радиолы во дворах.

Мясной отдел, центральный рынок, дня конец.
И тридцать лет прошло — о боже,
тридцать лет! —
И говорит мне ассириец-продавец:
«Конечно, помню волейбол, но мяса нет!»

Саид Гиреев — вот сюрприз! — подсел слегка,
Потом опять, потом отбил от ребят,
А Коля Зять пошел в десантные войска,
И там, по слухам, он вполне нашел себя.

А Макс Шароль — опять защитник и герой,
Имеет личность он секретную и кров.
Он так усердствовал над бомбой гробовой
Что стал член-корром по фамилии Петров.

А Владик Коп подался в городок Сидней,
Где океан, балет и выпивка с утра,
Где нет, конечно, ни саней, ни трудодней,
Но нету также ни кола и ни двора.

Ну кол-то ладно не об этом разговор.
Дай бог, чтоб Владик там поднакопил деньжат.
Но где возьмет он старый Сретенский
наш двор? —
Вот это жаль, вот это, правда, очень жаль.

Ну, что же, каждый выбрал веру и житье,
Полсотни игр у смерти выиграв подряд,
И лишь майор десантных войск Н. Н. Зятьев
Лежит простреленный под городом Герат.

Отставить крики, тихо, Сретенка, не плачь!
Мы стали все твоею общею судьбой:
Те, кто был втянут в этот несерьезный матч,
И кто повязан стал веревкой бельевой.

Да, уходит наше поколение —
Рудиментом в нынешних мирах.
Словно полужесткие крепления
Или радиолы во дворах.

АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР

р. 1934

Искусствовед, коллекционер, редактор, издатель. Первую книгу стихотворений выпустил в СССР в 1965 году — «Добрые снега». В 70-х уехал на Запад, где стал известен как пропагандист русского живописного авангарда, создатель музея русского современного искусства, позже — как издатель. В 1979 году выпустил в Париже книгу воспоминаний.

* * *

Опять явилась ностальгия —
Крыла просторны и черны.
Мне снова слышится Россия,
И вновь в мои приходит сны.

Преображенка и бульвары,
Течение матушки-Оки,
Бревенчатые тротуары,
В усах иссиних — казаки.

А кошки серые, как полночь,
В душе скребутся неспроста...
А ностальгия шепчет: «Помнишь
Про те края и те места?»

И крылья темные, как сажа,
Смыкает плотно надо мной.
И дом кряхтит одноэтажный
И даже плачет, как живой.

1985

НАТАН ЗЛОТНИКОВ

р. 1934, Киев

Многолетний сотрудник журнала «Юность», автор многих поэтических сборников, первый из них, «Мосты», вышел в 1964 году. Руководя отделом поэзии журнала, впервые напечатал не одну сотню поэтов.

ДИКИЙ ГУСЬ

Юрию Ряшенцеву

Или хворь наконец отпустила,
Или жизнь тяжело так прошла,
Но разлука все краски сгустила
И легла от крыла до крыла.

А пока распрямлюсь от недуга
И глаза подниму к небесам,
И врага потеряю, и друга,
И себя потеряю я сам.

Как же вдруг позабуду и кину
Красоты умирающей гнет,
Что вослед улетевшему клину
Только голову ниже нагнет?

Как же верить стану в удачу,
Если дышится сердцу с трудом,

Если путь свой за облаком прячу
И скольжу, как река подо льдом?

Век за веком и слева, и справа
Только грустные взгляды ловлю.
Мне не нравится эта держава,
Потому что ее я люблю.

СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА

1934, Иркутск — 1988

Она существовала в поэзии как-то отдельно — вне групп и дискуссий. Ее отличал спокойный аристократизм, равнодушный к суете и успеху. Как и Марию Петровых, ее окружал небольшой круг почитателей, где она была законодательницей вкусов.

* * *

Третьи сутки бред, третьи сутки
жар.
«Мама, милая, потуши пожар!
Мама, снег горит!
Мама, снег горит!» —
«Что ты, доченька, это снегири.
Навестить тебя захотели,
На сугроб к окну прилетели». —
«Мама, милая, подойди!
Мама, рядышком посиди!»
Мама сон у тебя крадет.
Мама руку на лоб кладет.
Третьи сутки бред, третьи сутки
жар.
Только мама может тушить пожар.

1964

* * *

Наступая на зыбкие тени,
Проходя по осенней поре,
Что мы знаем о смерти растений
В сентябре, в октябре, в ноябре?
Что мы знаем о смерти любимых,
Что мы знаем о смерти друзей,
В нашей памяти бедной хранимых
Посреди ежедневных затей?
Повинуясь случайному мигу,
Повелевшему встать на краю,
Постигаю последнюю книгу,
Уходящую книгу свою.
А она торопливо вбирает
Золотого распада слова,
Ведь над нею листва умирает,
Ведь под ней умирает трава.

1977

НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА

р. 1934, Детское Село (ныне — Пушкин) Ленинградской обл.

Закончила Литинститут заочно. Почти никуда не ездила, зато все ее сборники так и набиты далекими странами, незнакомыми, а иногда и выдуманными городами, островами. Ее стихи напоминают нашего прозаика-романтика Александра Грина, выдумавшего города Зурбаган и Лисс и давшего красивое имя Ассоль девушке, ждущей корабль, у которого необыкновенные алые паруса. Новелла Матвеева стала Ассолью, а свою поэзию превратила в этот корабль под алыми парусами. Она волшебнико поет тоненьким, девчоночьим голосом свои песни под гитару, и, чем больше я старею, тем все больше люблю эти песни.

ДРЕВЕСИНА

Кольца на пне —
Как на воде круги,
Словно кто нырнул
И в волны завернулся.

Кольца на пне —
Как на воде круги:
Словно, кто нырнул
И больше не вернулся.

— Кто бы ты ни был,
Вынырни! Вернись! —
Руки ломая,
Вокруг дерева гнутся, —
Видим:
Круги над тобою разошлись, —
Если погиб,
То они должны сомкнуться.

Нет! Над тобой не смыкаются круги;
Значит, не все запропало под волнами,

Значит, вернешься,
Значит, не погиб,—
Выбежишь,
вынырнешь,
встанешь между нами!

Каюсь: боюсь полированных столов,
Кресел...
В красивой кончине древесины
Вижу абсурд
Полированных стволов,
Бритой долины,
Лощеной лощины...

Светит под лаком
Сучок,
Который врос
В крышку стола —
Лакированную лужу;
Так мальчуган,
О стекло расплющив нос,
Смотрит из запертой комнаты наружу.
Нити древесные вьются, словно флаг,
Тают, как дым,
Через прерванные мили
Сияются плыть...
Но когда бы этот лак
Их не прикрыл —
Ведь они бы дальше плыли!..

Так на бегу спотыкается бегун,
Так прерывается то, что вечным слыло;
Так с корабля выливают на бурун
Жир из бочонка,
Чтоб судно проскочило.
(Благо? Да шхуна на рифах опочила...)
Так над стремниной извилин мозговых
Кто-то встает и, промолвив: «Успокойся»,—
Жестом руки останавливает их...

Лак,
Ты — мой враг!
Нет,
Уж лучше эти кольца!

Кольца на пне —
Как на воде круги,—
Кто-то нырнул —
И надеждой сердце бьется:
Вынырнут,
Вынырнут новые ростки!
Тот, кто ушел,—
Все равно еще вернется.

* * *

Я, говорит, не воин,
Я, говорит, раздвоен,
Я, говорит, расстроен,
Расчетверен,
Распят!

Ты, говорю, не воин,
Ты, говорю, раздвоен,
Распят и четвертован,
Но ты — не из растяп.

Покуривая трубку,
Себя, как мясорубку,
На части разобрал,
Ты, может быть, и прав.

Но знаешь? — этой ночью
К тебе придут враги:
Я вижу их воочью,
Я слышу их шаги...
Ты слышишь?
Не слышишь?
Они ползут, шуршат...
Они идут, как мыши,
На твой душевный склад.
И вскорости растащат
Во мраке и в тиши
Отколотые части
Твоей больной души.

— А что же будут делать
Они с моей душой?
А что же будут делать
С разбитой, но большой?

— Вторую часть — покрасят,
А третью — разлинуют,
Четвертую — заквасят,
А пятую — раздуют,
Шестую — подожгут,
А сами убегут.

Был человек не воин,
Был человек раздвоен,
Был человек разрознен,
А все, должно быть, врал:

Прослышав о напасти,
Мигать он начал чаще,
И — сгреб он эти части,
И ничего! — собрал.

1965

СВОДНИКИ

Кухарка вышла замуж за компот,
Взял гусеницу в жены огородник,
Грядущий день влюбился в прошлый год,
А виноваты — сводница и сводник.

У сводников — своих законов свод:
К бирюльке в плен идет бирюк-работник,
Прилежницу всегда прельщает мот,
Но никогда негодницу негодник.

Всех сводят сводники:
козла с капустой, сор —
С отсутствием метлы, рубашку — с молью,

Огонь — с водой, пилу или топор —
С деревьями, шиш — с маслом, рану — с

солью...

Но близок час расплаты; он придет
И сводника... со своднею сведет.

ГИМН ПЕРЦУ

Раскаленного перца стручок,
Щедрой почвы ликующий крик,
Ты, я наверное, землю прожег,
Из которой чертенком возник.

Страны солнца, взлелеяв тебя,
Проперчились до самых границ,
Пуще пороха сыплют тебя
Там из перечниц-пороховниц.

Орден кухни,
Герб кладовых,
Южных блюд огнедышащий флаг —
Ты на полках,
На пестрых столах,
В пыльных лавках,
Особенно в них.

И представишь ли темный навес,
Где серьгою трясет продавец,
Коли там не висят у дверей
Связки перца, как связки ключей
От запальчивых южных сердец?

Я хвалю тебя! Ты молодец!
Ты садишься на все корабли,
Ты по радужной карте земли
Расползаешься дымным пятном;
Ты проходишь, как радостный гном,
По извилистым, теплым путям,
Сдвинув на ухо свой колпачок,—
И на север являешься к нам,
Раскаленно-пунцовый стручок.
И с тобою врывается юг
В наши ветры и в наши дожди...

Просим!
Милости просим, мой друг,
В наши перечницы!
Входи!

Правда, мы — порожденье зимы,
Но от острого рта не кривим,
А при случае сможем и мы
Всыпать перцу себе и другим.

Разве даром в полях января
Пахнет перцем российский мороз!
Разве шутка российская зря
Пуще перца доводит до слез?!

...Славлю перец! —

В зерне и в пыльце.

Всякий: черный — в багряном борще
(Как бесенок в багряном плаще),
Красно-огненный — в красном словце.

Славлю перец
Во всем, вообще!

Да; повсюду,

Во всем,
Вообще!

РОБЕРТ ФРОСТ

Если тебе не довольно света
Солнца, луны и звезд,
Вспомни,
Что существует где-то
Старенький фермер Фрост.

И если в горле твоём слеза
Как полупроглоченный нож,
Готовый вылезти через глаза,—
Ты улыбнешься все ж.

Ты улыбнешься лесным закатам,
Всплескам индейских озер,
Тупым вершинам,
Зернистым скатам
Шероховатых гор,
Багряным соснам,
Клюквенным кочкам,
Звонко промерзшим насквозь;
Лощинам сочным,
Лиловым почкам,
Долинам, где бродит лось,

Метису Джимми,
Джо или Робби,
Чей доблестный род уснул;
Последним каплям
Индейской крови
Под бурою кожей скул,
Солнцу, надетому сеткой бликов
На черенки мотыг...

Если бы не было жизни в книгах —
В жизни бы не было книг.

Если тебе не довольно света
Солнца, луны и звезд,
Вспомни, что существует где-то
Старенький фермер Фрост.
Лошадь глядит из-под мягкой челки,
Хрипло поют петухи,
Книга стоит на смолистой полке —
Фермеровы стихи.

Раскроешь книгу — повеет лесом,
Так, безо всяких муз;
Словно смеющимся надрезом
Брызнет в лицо арбуз,
Словно
Вспугнешь в великаньей чаще

Маленького зверька,
Словно достанешь
Тыквенной чашей
Воду из родника.

И в этом диком лесном напитке
Весь отразится свет —
Мир необъятный,
Где все в избытке,
Но вечно чего-то нет...

И снова примешь ты все на свете:
И терпкое слово «пусть»,
И путь далекий,
И зимний ветер,
И мужественную грусть.

МАЯК

Я истинного, иссиня-седого
Не испытала моря. Не пришлось.
Мне только самый край его подола
Концами пальцев тронуть довелось.
Но с маяком холодновато-грустным
Я как прямой преемственник морей
Беседую. Да, да, я говорю с ним
От имени спасенных кораблей!
Спасибо, друг, что бурными ночами
Стоишь один, с испариной на лбу,
И, как локтями, крепкими лучами
Расталкиваешь темень, как толпу.
За то, что в час, когда приносит море
К твоим ногам случайные дары —
То рыбку в блеске мокрой мишуры,
То водоросли с длинной бахромою,

То рыжий от воды матросский нож,
То целый город раковин порожних,
Волнисто-нежных, точно крем пирожных,
То панцирь краба, — ты их не берешь.
Напрасно кто-то, с мыслью воровскою
Петляющий по берегу в ночи,
Хотел бы твой огонь, как рот рукою,
Зажать и крикнуть: «Хватит! Замолчи!»
Ты говоришь. Огнем. Настолько внятно,
Что в мокрой тьме, в прерывистой дали,
Увидят
И услышат
И превратно
Тебя не истолкуют корабли.

СМЕХ ФАВНА

Суди меня весь мир! Но фавна темный смех
Мне больше нестерпим! Довольно я молчала!
В нем — луч младенчества, в нем же —
зрелый грех:
Возможно ль сочетать столь разные начала?

Но сплавил древний миф козлиный хвост
и мех
С людским обличем. Невинный вид нахала
С чертами дьявола. Злу Злом казаться мало.
Зло любит пошутить. И в том его успех.

Но есть же логика! И путь ее упрям:
Грех черен и хитер. А юмор чист и прям.
Где для греха простор — там юмору могила...
А если мы, шутя, росли однажды в грязь,
Солгали с юмором и предали смеясь,
То чувство юмора нам просто изменило.

АЛЕКСАНДР МОРЕВ

1934, Ленинград — 1979

Подлинная фамилия — Повомарев. Учился живописи в средней художественной школе в Ленинграде. Свою единственную, так и не изданную при жизни книгу назвал «Листы с пепелища». В июле 1979 года покончил с собой — бросился в строительную шахту.

* * *

Он пришел с войны,
ночью лег на кровать,
лег он подле своей жены.
Надо было где-то смертельно устать,
чтоб с женою молчать,
чтоб жену не ласкать, —
нужно было мертвецки устать.
О, какой был покой простыней и перин!
О, какой был покой —
как у снежных долин,
когда в соснах плывет луна!
Только
ночью проснулась жена:
тишина...

Тронула стену — стена холодна.
Мужа нет,
снова нет.
Снова — одна.
На пол крест положила луна.
Он бежал от пикейных больших одеял,
он бежал от жены, как из плена бежал!
Дом ему — как блиндаж, как вокзал.
Он лежал на полу у дверей в углу,
Он, накрывшись солдатской шинелью, спал,
и во сне он жену целовал...

РОССИЯ

Сына взяли, и мать больная.
В комнате солнечной — темно.

На улице праздник — 1 мая!
Вождем — занавесили ей окно.

* * *

Та, другая, не придет ко мне
В комнату, где фикусовый глянец
Растопырил листья на окне.
Там Пикассо красный на стене,
Там Пикассо синий на стене,
Как вино в наполненном стакане.
Там затейливый узор обоев
Не скрывал клопичных старых гнезд.
Там нас как-то случай свел обоих,
Там нас как-то муж застал обоих.

Дворник, сволочь, видимо, донес.
Муж и я, и наша та, другая,
Только вскрикивала из угла.
У него спина была тугая,
И глаза, и лоб — как у бугая,
Вся в наклон, по-бычьей, голова.
Может, что и слышали соседи —
Как на стол, на блюдца он упал.
Может, что и слышали соседи...
Только я стоял. Молчал. Дышал.
А босая, наша, та, другая,
Белая, как призрак в простыне,
Медленно сползала по стене.
...Дворник, дворник, не тебя ругаю —
Фигус, страшный фикус на окне.

ВСЕВОЛОД НЕКРАСОВ

р. 1934

С конца 50-х годов примкнул к «лианозовской барачной» школе поэзии (Кропивницкий, Сатуновский, Сапгир, Ковенацкий). Не считая публикаций для детей, до конца 80-х годов в СССР печататься не мог, хотя на Западе его творчество было известно давно — с первой публикации в журнале «Грани» (1965, № 58).

* * *

Дзержинский был
Сдержинского не было

Право, прелесть
Эта наша Государственная
Безопасность

Не правда ли

Как говорил Пушкин
Пушкин

Нам бы еще
Безопасную
Государственность

СТИХИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

Галифе плиссе гофре
Чомбе Чомбе
Дюшамбе

Юманите
Юманите Дюшамбе

Либерте

Эгалите

Декольте

ИРИНА ОЗЕРОВА

1934, Воронеж — 1984, Москва

Десятки книг в ее переводе, сделанных с подстрочника (которого довольно часто не было в природе, оригинал изготавливался после «русской версии»), пылятся сейчас на полках библиотек. Собственные стихи Озеровой при жизни почти не печатались; между тем она была одним из немногих поэтов в СССР, испытавших влияние эмигрантской литературы. Серьезного издания ее произведений нет до сих пор.

ЕМЕЛЯ

Успехи его отшумели.
В сомнении он и в тоске.
Сидит, как на печке, Емеля...
А щука — в далекой реке.

А щука — в другом поколенье,
В другом измеренье плывет,
И щучьего нету вельня,
И он без вельня живет.

Идет к государыне-рыбке,
Кричит, надрываясь, во тьму.
Но, видно, теперь за ошибки
Придется платить самому.

Ах, время! В муку перемелют
Емлю его жернова.
... Но чает, но чует Емеля,
Что прежняя щука жива!

АНАТОЛИЙ ПЕРЕДРЕЕВ

1934, д. Новый Сокур Саратовской обл. — 1987

Талант Передреева первым заметил Слуцкий, помог ему войти в литературу. К сожалению, вместо постоянного совершенствования начал заниматься литературным геростратизмом, написав статью против Пастернака. Этот талантливый поэт не послушался собственного самопредупреждения, высказанного в стихотворении «Люди пьют». В лучших лирических стихах Передреева, бывших его главной силой, мелодично и тоскующе звучала тема окраины, не ставшей городом и утратившей сельскую чистоту.

ОКРАИНА

Околица родная, что случилось?
Окраина, куда нас занесло?
И города из нас не получилось,
И навсегда утрачено село.

Взрастив свои акации и вишни,
Ушла в себя и думаешь сама:
Зачем ты понастроила жилища,
Которые ни избы, ни дома?!

Как будто бы под сенью этих вишен,
Под каждым этим низким потолком

Ты собиралась только выжить, выжить,
А жить потом ты думала, потом.

Окраина, ты вечером темнеешь,
Томясь большим сиянием огней,
А на рассвете так росисто веешь
Воспоминаньем свежести полей.

И тишиной, и речкой, и лесами,
И всем, что было отчею судьбой...
Разбуженная ранними гудками,
Окутанная дымкой голубой!

1964

АНАТОЛИЙ ПРЕЛОВСКИЙ

р. 1934, Иркутск

Поэт и драматург. Окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Автор нескольких десятков сборников. Первый сборник стихотворений вышел в 1957 году в Иркутске — «Багульник». Преловского отличает мужская скуповатая сдержанность, сквозь которую иногда прорывается беззащитный, почти детский всхлип, как в этом стихотворении.

МОЛИТВА

Молила бабка за меня:
«Спаси, господь, его
от пуль, воды и от огня!»

Забыла, чтобы от меня
упас. От самого.

Вода, и пуля, и огонь
щадят меня с тех пор.
Но стал — все с тех же самых пор! —
я сам себе костер.

Бесчинствую или грешу —
тону, в глазах круги.
Пожизненный свинец ношу —
сомнение в груди.

И нет такой молитвы, нет,
чтоб жить мне помогла:
и я безбожник с детских лет,
и бабка померла.

1966

ОЛЕГ ЦЕЛКОВ

р. 1934, Москва

Один из крупнейших современных русских художников. Отец, нежно любивший живопись своего сына, был служащим строго засекреченного военного завода и так и не увидел выставок Олега за рубежом. К сожалению, путь к этому триумфу лежал через эмиграцию, о которой юный Целков когда-то даже и не помышлял. Он учился в Суриковской художественной школе в Москве, в Академии искусств в Минске и Ленинграде, но ни в одном из этих заведений не пришелся ко двору начальству. Его заметили и обогрели поэты Семен Кирсанов, Назым Хикмет, к чьему спектаклю в Театре сатиры «Дамоклов меч» малоизвестный художник был приглашен сделать декорации. Им восторгались посетившие его скромную мастерскую в Тушине Ренато Гуттузо, Давид Сикейрос, Артур Миллер. Диссидентом он не был, но его начали им делать. Его персональная выставка в Доме архитекторов в Москве побила рекорд скорости выставок: она была запрещена представителями КГБ через 15 минут после открытия. Целков вынужден был уехать. Сейчас он в Париже. В итальянском издательстве «Фаббри» Целков был одним из немногих живых художников современности, включенных в серию «Великие мастера XX века». Олег Целков всегда любил чужие стихи и прекрасно читал их, хотя сам никогда не писал. Однако, узнав о том, что готовится к печати антология, куда вошли стихи ряда русских художников этого века, он, по собственному утверждению, впервые написал стихотворение для этого издания. По-своему оно уникально как единственное стихотворение большого художника. Приезд Целкова с выставкой в Москву в 1994 году был триумфом.

АНТОНИНЕ

Ах ты, Тоня, моя Тонечка!
Посреди кривых дорог
Не берегся я нисколько —
Пел и пил, да Бог сберег!

Но и он поставил точку,
И в безмерность похорон
На своей скрипучей лодочке
Увезет меня Харон.

Уплыву и стану воздухом —
Не увидеть, не догнать,
Прошепчу последним выдохом,
Взволновав речную гладь.

Зыбь воды, тасуя облики,
В глубине своей утопит их —
Отражения и отблески
Дней и прожитых и пропитых.

15 июля 1994 г., в день своего 60-летия,
совпавшего с днем рождения Рембрандта

ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВА

р. 1935, Харьков

Писавшая всю жизнь стихи и с успехом исполнявшая их низким оперным контральто, Лариса Васильева вряд ли сама предполагала, что когда-нибудь станет автором политического бестселлера «Кремлевские жены», заполнившего прилавки всех подземных переходов России, вкушающей свою поспешную и безвкусную свободу. Васильева вместе с неутомимой З. Богуславской стала одной из самых заметных активисток женского российского движения, организовав союз писателей-женщин. Одна из лучших работ Васильевой — ее записки об Англии, понятой ею изнутри, а не туристским взглядом. Это стихотворение как бы исходит из этих записок.

ПЕСНЯ ХИППИ

Наш век ничем других не хуже,
все так же мается душа,
постромка, разве что потуже,
короче разве что вожжа.

Наш век ничем других не лучше.
Все так же входим в смуту дней.
Умы расчетливей и круче,
сердца колотятся ровней.

Все тверже звук земного шага,
темнее венчик над челом,
а случай — битник и бродяга,
подстерегает за углом.

ИЛЬЯ ГАБАЙ

1935, Баку — 1973

По профессии учитель словесности, выпускник Московского пединститута. Работал в пионерлагерях, колонии для малолетних преступников, в археологических экспедициях. В январе 1967 года был арестован за участие в правозащитной демонстрации на площади Пушкина, четыре месяца провел в Лефортовской тюрьме, откуда был освобожден «за отсутствием состава преступления». Стал одним из создателей «Хроники текущих событий» — самиздатской летописи. Одним из первых поднял голос в защиту крымских татар. В 1970 году был приговорен к трем годам лагерей. Вернувшись, жил в ожидании нового ареста и покончил с собой.

В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
В ИМЕНЬЕ РОДОВОМ
(фрагмент)

... А для чего? Зачем идти на крест?
Зачем тебе — в огне, крови, в железе —
унылый мир, где каждый чист и Крез,
и все поэты пишут «Марсельезы»?

И то сказать: на взвинченном пути,
где весь словарь улегся в слово «порох»,
есть авторы листовок. Есть статьи.
Но нет поэтов. И не жди их скоро.

И горько знать, но если бы не казнь,
и если бы не старость — в охах, склоках,
ты только и сумела б, что проклясть
падение нравов и ненужность Блока.

Идет отсчет. И цель, как смерть, проста.
И далеко. И не дожить до Блока.
И, стало быть, такая есть дорога,
есть путь такой: поверить в смерть,
как в Бога,
и так же: до конца и до креста.

1968

* * *

Вот мы и с тобой в шестидесятых!
Снова либералы народились,
снова с говорливою надсадой
мирно уживается рутина.

Не свалить зовущим время темам
частокол необъяснимых стенок.
Почему же мы с тобою с теми,
гордыми от маленьких истерик?

Броско! А вчитаться — плохо, тускло
то, что нам они пролепетали.
Мы с тобой считали: Заратустры.
Оказалось — просто либералы.

Это нам, щенкам, бросали кости
их несмело смелые таланты,
чтобы легче было даже космос
рвать по лоскутам на транспаранты.

Чтоб опять нашествием бессменным,
воцарился гул трещоток, шествий,
потому что всем нам, добрым, смелым,
как-то легче жить без Чернышевских.

20 июля 1961

СЕРГЕЙ ИОФФЕ

1935, Смоленск — 1991, Иркутск

Иркутский безвременно ушедший поэт, который мог бы сделать еще многое.

* * *

Боюсь остаться в памяти твоей
беспомощным, подавленным, недужным,
себе осточертевшим и ненужным,
каким я буду на закате дней.

Боюсь остаться в памяти твоей
неискренним, неправым, безучастным —
пусть я таким бывал не очень часто,
но чем обида реже, тем сильнее.

Царапина от милого больней,
чем от врага безжалостная рана...
Твержу никчемно, поздно, покаянно:
боюсь остаться в памяти твоей.

Там щурит ресницы оранжевый кот.
Преступник берется за дело.
Готовит художник к началу работ
Натурщицы белое тело.

И мелки шаги оркестранта в углу.
Меня, пассажира простого,
Он встретит, сквозь губы продевши иглу,
Улыбкою мастерового.

А время прибавит фитиль звездочета
И все начинает сначала —
Крадутся на клавиши рыжие ноты.
Бледнеет в углу одеяло.

На плечи — с фанерами наперевес —
Задернута желтая штора.
И скрипки горит поперечный надрез
Фигурою гипнотизера.

И тихою зыбку подправив в ведре
Брусничными комарами,
Усатые листья на толстом ковре
Всю ночь набухают шарами.

И дела нам нет до оставленных стен
И ветра оборванных ниток.
Солдат поумнее
Сдается в плен.
И больше не пишет открыток.

ЮРИЙ ПАНКРАТОВ

р. 1935, Семипалатинск

Один из самых талантливых поэтов «ахмадулинского» курса Литинститута. Был жестоко проработан за рукописные стихи «Страна Керосиния», в гротесковой форме описывающие похороны Сталина. Вместе с ним заодно идеологически вышорили и его друга — поэта Ивана Харабарова, написавшего памфлет «Люди ржавые, железные, деревянные мозги». После этой проработки они «сломались» и попросили у Пастернака, привечавшего их, разрешения предать его, подписав письмо с требованием его высылки. Пастернак милостиво разрешил, Харабаров после этого трагически погиб, а Панкратов уже никогда не написал таких хороших стихов, как раньше. Горький урок всем молодым поэтам — не предавайте своих учителей.

* * *

Я из березы месяц вырезал,
Я оттесал его и выстругал.
Я целый месяц этим выразил,
Я целый месяц это выстрадал.
Я научил его движению —
плыви, березовый, скорей
по молодому отражению
неутомимых фонарей.
Но утонул мой месяц розовый
в протоке медленной и зыбкой.
Осталась на стволе березовом
косая, грустная улыбка...

ЭРНСТ ПОРТНЯГИН

1935, д. Стариково Свердловской обл. — 1977

Геолог с пронзительными глазами правдоискателя, тревожными, спрашивающими. В стихах между тем была профессиональная хватка — это не просто «стихи из полевого блокнота». Безвременно ушел вместе со всеми своими вопросами к жизни, горевшими в его глазах, как отблески таежных костров. Обладал замечательным качеством, редким в поэтах, — умел молча слушать других.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Возвращение блудного сына,
возвращение дальнего внука
в материнский и дедовский свет...
Нету больше гумна и овина,
все тесней от машинного звука,
пешеходного воздуха нет.

Вся родная деревня грохочет.
Пыль столбом. Трактора и комбайны.

Свист уборочной. Сроки горят!
Но проезжий смириться не хочет:
в одиночку, украдкой, тайно
норовит оглянуться назад.

На просторные детские годы,
где природа и предки живые
связь времен открывали ему.
Там бездонные озерные воды,

тропки еле видны луговые
и волшебник в пчелином дыму.

Знает старец какое-то слово,
причитает, гудит тем же тоном,
что певучий клубящийся рой...
Дарит сладкого воска осколок,
раздвигает рукой золоченой
пелену голодухи сплошной...

Все припомнилось первой же ночью,
я по дому брожу и воочью

вижу горницу, сени и клеть,
рядом с русской печью залавок —
неизменен великий порядок
и не с нами ему умереть.

Но со мною уйдет, угасая,
свет озерный, осока сырая,
запах сена в потемках сарая.
Перечеркнута пряслом луна —
на холодном светиле искусства
три черты беззащитного чувства:
мать... разлука... родна сторона...

ВАДИМ РАБИНОВИЧ

р. 1935, Киев

Не только поэт, но и химик, а точнее — специалист по истории алхимии, чуть ли не единственный в России, автор ряда увлекательнейших исследований в этой области. Кроме химического образования получил еще одно — окончил Литературный институт. Первую книгу стихотворений, «В каждом дереве скрипка», издал в 1978 году.

* * *

Что есть сюжет?

Из жизни перешед,
Едва ступив на чистую бумагу,
Он сделался, поскольку он сюжет,
Смертельным жестом,
Шпагою о шпагу.

Сюжет — прямого дела торжество.
Как черно-белое на фоне голубого.

Но что мне делать, если естество —
Насквозь мое —
Ежемгновенно ново?

Полутонами мреет. И, светясь,
Двоится среди хохотов и всхлипов.

Такие —
Черт побрал бы этих типов! —
В сюжет не попадали отродясь.

А я попал.
Сам влез в него.
И что ж?

Как жизни часть,
И вот уж он нестроен.
Нескладен он...

Но до чего ж хорош
И плох одновременно до чего ж
Сей мир, который дан, а не устроен!
Почти как тот разлаженный сюжет...

Но если он — действительно сюжет,
В нем не сводимы крайности на нет.

И ДА и НЕТ
Раздельно пребывают.
И солнце греет в нем.
И лед не тает...

Войди в меня,
Сложи меня
Сюжет!

ЕВГЕНИЙ РЕЙН

р. 1935, Ленинград

Близкий друг Бродского по его ленинградской юности и многократно рекомендуемый им вместе с Кушнером и другими «ленинградцами» в качестве лучших русских поэтов. Превосходный знаток поэзии, умеющий и влюбляться в стихи до сумасшествия, и быть ядовитым, как кобра, в своих оценках. Межиров напечатал большую статью о Рейне, объявив его самым крупным современным поэтическим явлением. Есть, впрочем, люди, считающие Рейна графоманом. Обе стороны заблуждаются. Рейн — это, несомненно, крупное явление, но чуть-чуть приправленное графоманией, как, впрочем, и поэзия составителя этой антологии. Может быть, именно потому мы так давно нежно любим друг друга. Чистые единственные строки перепутаны у него со строчками, схваченными

с книжных полок в порыве начитанной импровизации. Но у Рейна в крови никакого сальеризма, а природное моцартианство, ибо он, может быть, единственный из всей ленинградской школы, кто не стесняется ставшего ныне редкостью мужества сентиментальности и взбалмошной, не скалькулированной любви к людям. Самый теплый из всех стихотворцев с холодных берегов Невы.

ЧЕРНАЯ МУЗЫКА

Их встретили где-то у польской границы,
И в Киев с почетом ввезли украинцы.
В гостинице давка, нельзя притулиться;
Но гости под сильным крылом «Интуриста»
Сияли оттенками темной окраски
И мяли ботинками коврик «Березки».
А наичернейший, трубач гениальный
Стоял и курил. И трепач нелегальный,
Москвич, журналистик, пройдоха двуликий
Твердил со слезой: «Вы великий, великий...»
И негр отвечал по-английски «Спасибо!»,
И выглядел в эту минуту красиво.

.....
Заткнулись звонки, улеглись разговоры,
И вот, наконец, увлеклись саксофоны.
Ударник ударную начал работу,
Они перешли на угарную ноту.
О, как они дули, как воздух вдыхали,
Как музыку гнули, потом отпускали.
И музыка неграм была благодарна,
Певица толпе подпевала гортанно.
А сам пианист, старичок шоколадный
Затеял какой-то мотивчик прохладный:
«К ДАЛЁКОЙ ЗЕМЛЕ

НА РЕКЕ МИССИСИПИ
МЫ С ВАМИ ОТПРАВИМСЯ ВСКОРЕ
НА ДЖИПЕ
НА ПОЕЗДЕ БОИНГЕ И САМОКАТЕ
И БУДЕМ ТАМ БАЙНЬКИ
В МАЛЕНЬКОМ ШТАТЕ
ПОД НЕБОМ НАСУПЛЕННЫМ РАЯ И АДА
НАС ДОЖДИКОМ УТРЕННИМ
ТРОНЕТ ПРОХЛАДА
А ДЕНЬ БУДЕТ СОЛНЕЧНЫМ
ДОЛГИМ И ЧИСТЫМ...»

.....
Поклонимся в черные ноги артистам,
Которые дуют нам в уши и души,
Которые в холод спасают от стужи,
Которые пекло сменяют истомой,
Которые где-то снимают бездомный
У вечности угол. И Господу Богу
Внушают свою доброту понемногу.

ВОЗДУШНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Как пасмурно сверкает
Вечерняя Нева!
Полнеба задвигает,
Свергает синева.
Колени охвативши,
Сидеть, глядеть бы в даль.
Спешу, спешу потише,
Воздушный календарь!
Два синих парохода
Зашли за синий мост,

Два зимних перегона.
До ледовитых звёзд.
Потом поголубеет
Последний синий ряд,
И сразу огрубеет
Удобный твой наряд.
И вместо юбки тонкой,
Сатина, полотна
Тебя сукном жестоким
Обтянут холода.
Примерзнут пароходы
Разорены, мертвы;
Продернут переходы
Сквозь рукава Невы.
Но ведь никто не знает:
«Зима наступит, нет?»
И всякий называет
Один любимый цвет.
Что может быть синее
Зеленого зрачка?
И есть ли что сильнее
Такого пустячка?

ГАЛЯ, МАМА И ДОЧЬ МОЯ АННА

Троеглавая гидра семейства —
Вот питающий мой чернозем.
Хорошо бы узнать свое место
И остаться на месте своем.
Двух столиц неприкаянный житель,
Обитатель убогих квартир,
Обещаний своих нарушитель —
Я давно сам себе командир.
Но обузой бессмертному телу
Оставался избыточный вес,
И предался тлену и гневу,
Как пилот, недостигший небес.
О, как тяжело быть мужем и сыном,
Малой дочери сирым отцом,
Но страшнее остаться рассыльным
И готовым на все молодцом.
Хватит, хватит, достаточно, полно —
Не скрываю, до вас довожу:
Да, я жил исступленно и подло,
И ужасней еще заживу.
Не преступишь границ неприступных!
То ли дело, когда под рукой
Остающийся для бесприютных
Троецарственный женский покой.
Постучуся я утречком рано,
Вы еще не зажжете огня.
Галя, мама и дочь моя Анна,
Пропустите, простите меня.

ВЗОР ЧЕРЕЗ ОКУЛЯР

Искусство шлифования известно
Столь издавна, что распинаться пресно.

Но здесь оно, мне кажется, уместно.
Я о глазах и линзах говорю.
Тебе к лицу оправа роговая,
Мне, подлецу, забава роковая
Наука и порука круговая,
На коей я, как истый швед, горю.

Вернемся вспять. Бедняга Галилео,
Столь истово принявшийся за дело,
Не пощадивший ни души, ни тела
Во имя линз. Что видел в телескоп?
Одну луну? Или конклав и папу?
А палача и звездную палату?
А самого себя сосущим лапу?
А милый Рим хотя бы через год?

Вот так и я, прильнувши к окуляру,
Увидел только то, что мне на пару.
Фигуру, что похожа на гитару.
Да был ли это точно окуляр?
Для окуляра он податлив слишком,
И косвенным потворствует делишкам,
И слишком спелся с оком, разделившим
Его обзор, и слишком загулял.

Но где причина этакому скотству?
Наверно, там же, где начало сходству,
Там, где конец пустому первородству,
Где мы уходим в лес и небеса.
От высоты архангельского чина
До красоты, где на хребте щетина
Свободно простирается мужчина
Творя свои густые чудеса.

Мой первый лагерь, флаги бьют по ветру,
Нас дважды вызывают на поверку,
И я в упор гляжу на пионерку,
А пионерка смотрит на меня.
Семнадцать лет спустя я на Смоленском¹
Среди могил с безумством и блаженством
Ей говорил о превосходстве женском
И затихала наша воркотня.

Но это только окантовка, рамки.
Вы, девочки, уже попали в дамки.
Меня завидя, словно иностранки,
Чернильные заводите зрочки.
Я помню всех — три женские отряда.
Есть у меня настольная отрада:
Застыли вы под дулом аппарата,
Прижав мячи, ракетки и сачки.

Вас семьдесят. Так дай вам Бог успеха.
Пусть вашим голосам ответит эхо
Густых басов и всякая прореха
Закроется заплатой золотой.
Пускай бы платья ваши голубели,
И наполнялись ваши колыбели,

И сновиденья слаще карамели,
Слипались с первородную золой.

А мне назад, где отрочество ходит,
Где пыл уже по жилам колобродит,
Там в мастерской авангардист проводит,
Как Аппелес², коварную черту.
Там пахнет растворителем и лаком,
Натурщица выходит зодиаком
И подает кусок, который лаком,
Который тает и кипит во рту.

От Рембрандта и от Ватто до Джотто
Искусство заменяет нам кого-то,
И сейчас сих случаев без счета.
Но чем бы нам искусство заменить?
Я знаю точно — только плотью женской,
Раскинутой на воле деревенской
Неподалеку от Преображенской
Церквушки над рекою.

Заманить меня судьба смогла в такое место.
Та спутница всегда моя невеста.
Несушка, принесенная с насеста,
И молоко — причастье, не еда.
Да, я причастен этому причастью,
И потому назначен я несчастью,
Оттиснутому ясною печатью,
Но я сознаюсь — это не беда.

Я вспоминаю, как Ока дымилась,
Я понимаю, как она стыдилась,
Как полагалась на любовь и милость.
Я посегодняя с нею обручен.
Когда бы ей не вздумалось припомнить,
Как левый берег над водой приподнят...
Вся жизнь моя, своди меня, как сводня,
Я этому свиданью обречен.

Убожество, недаром ты убого.
Должно быть, ты угодно и у Бога,
Есть свой подход, задуманный глубоко,
И ты, возможно, лучший реквизит.
Ты отраженье должного на сущем,
Осуществленье вечного в бегущем,
Ты черный ход, подкоп к небесным кушам.
Порог парадный, видимо, скользит.

Вперед, вперед! Дышите глубже! Бодро!
Сквозь пыл, и пот, и плещущие бедра,
Покуда не отказывает горло
Питать животрепещущую плоть.
Пока мы живы — это верный признак,
Что наша воля — сила, а не призрак.
Господь предпочитает самых быстрых,
И самым страстным воздаст Господь.

¹ Кладбище и парк в Ленинграде.

² Эллинский живописец, манеру которого узнавал всякий любитель искусства.

Я в доме жил горячем и холодном,
В имперском, мерзком городе болотном
Трудом своим бесплатным и бесплотным
Я покрывал худую дребедень.
Там жил со мною мой ребенок Ньюша,
Была жена добра и неуклюжа,
И, кипятком лицо ополоснувши,
Я начинал непоправимый день.

Теперь я далеко. А буду дальше.
Мне лоскутки милы, пушинки даже.
Но молоко семейное от фальши
Скисает и не стоит пить кефир.
Возлюбленная, идол, Пенелопа,
Мой лук не согнут, и совсем нелепо
Бежать впотьмах как будто от потопа,
Когда ковчег свой якорь укрепил.

Но где же идеал? Магометанский
Невинный рай или многоэтажный,
Нейлоновый, чулочный, трикотажный
Изнанку разъедающий разврат?
Душа как птица. Волю дай — спасется,
И за тобой пришлет свое посольство,
Голодного возьмет на хлебосольство
И миром заключит любой разлад.

Разлад — удел людей второго сорта.
Вот это новость! Будто бы аорта,
И мозжечок, и легкие, и морда,
Как мясо на прилавке по сортам.
И все же мне встречались натуры,
В какой-то дальний век кандидатуры,
Красавицы, и умницы, и дуры,
Подобные суглинистым пластам.

Сплошные, ни зазоринки, ни щели.
Я думаю — Лилит, не Евы дщери.
Когда она в мои входила двери
Приморскою фигуркой меловой,
Когда она шептала: «Тоже, тоже...»
О, как меня шатало, Боже, Боже,
И не решал я, гоже иль негоже,
А в такт качал тяжелой головой.

О, как она разбрасывала шубку,
Все понимала навсегда и в шутку.
И сколько было чудного рассудку
В ее поступках, ласках и словах.
Где молнии твои и где застежки,
До края исцелованные ножки
И ветреные пепельные крошки
В окрашенных измятых волосах.

И ты вдали. И что-то это значит.
Решенье роковое. Чет и нечет,
Не зря душа то плачет, то лепечет.
Пора на отдых или же на слом.
И вас, моя очковая надежда,
Я встретил слишком ясно, слишком нежно,
Как будто бы фанатик и невежда,
Не вдохновеньем, только ремеслом.

Прибрать бы ваши линзы для бинокля
И разглядеть, насколько одинок я,
Когда остановлюсь, подвижный рохля,
И далеко ли заведет разъезд.
Пока я правду говорю, поверьте,
Я опасаюсь порчи, а не смерти.
Моя любовь, как адрес на конверте.
Но черт не выдаст, а свинья не съест.

Я закругляюсь, пусть не собран кворум.
Сижу в тоске в Ташкенте над Анхором¹.
Аборигены смешивают хором
Коран и мат. Анхор спешит как Стикс.
Но глупо над Анхором ждать Харона,
Когда на мне незримая корона
Из лучших завитков. И благосклонно
На мне застыли стекла *миссис* Икс.

1968

МОНАСТЫРЬ

*Приду к таинственным вратам,
Как Волги вал белоголовый
Доходит целый к берегам!*

Н. М. Языков

За станцией «Сокольники», где магазин мясной
И кладбище раскольников,

был монастырь мужской.

Руина и твердыня, развалина, гнилье —
В двадцатые пустили строенье под жилье.
Такую коммуналку теперь уж не сыскать.
Зачем я переехал, не стану объяснять.
Я, загнанный, опальный, у жизни на краю
Сменял там отпевальню на комнату свою...
Шел коридор верстою, и сорок человек,
Как улицей Тверскою, ходили целый день.
Там газовые плиты стояли у дверей.
Я был во всей квартире единственный еврей.
Там жили инвалиды, ночные сторожа,
И было от пол-литра так близко до ножа.
И все-таки при этом, когда она могла,
С участием и приветом там наша жизнь

текла.

Там зазывали в гости, делились рублем,
Там были сплетни, козни,

как в обществе любом.

Но было состраданье, не холили обид...
Напротив жил Адамов, хитрющий инвалид.
Стучал он рано утром мне в стенку костылем,
Входил, обрубок шарил

под письменным столом,

Где я держал посуду кефира и вина,—
Бутылку на анализ просил он у меня.
И я давал бутылки и мелочь иногда.
И уходил Адамов. А рядом занята
Рассортировкой семги, надкушенных котлет,
Закусок и ватрушек, в неполных двадцать лет
Официантка Зоя, мать темных близнецов.
За нею жил расстрига Георгий Одинцов.

¹ Анхор — река в Ташкенте. скорости и мутности необычайной.

НАУМ САГАЛОВСКИЙ

р. 1935

Сыграл в жизни третьей волны эмиграции примерно ту же роль, что Дон Аминадо — в жизни первой. Он может показаться газетным фельетонистом — каковым, собственно, и бывал неоднократно в газете «Новый американец» у Сергея Довлатова. Но не зря С. Довлатов, остроумнейший человек, писал в послесловии к первой книжке Сагаловского «Витязь в еврейской шкуре»: «Двадцать лет я проработал редактором. Сагаловский — единственная награда за мои труды. Я его обнаружил». Лирики у него нет, и слава Богу: он умеет смеяться, а этот дар встречается много реже, чем лирический.

ЛОНДОНСКАЯ БАЛЛАДА

Когда на Лондон выпал снег,
большой скандал случился:
какой-то дерзкий человек
вдруг взял и помочился.

Не по нужде, не просто так,
не с горя и не в шутку —
он написал: «Король — дурак!»
мочой по первопутку.

И где — у самого дворца,
где жил король с супругой!..
Король сказал: «Найти писца
и в Тауэр — за ругань!»

И вот констебли все подряд
поставлены на ноги,
и знаменитый Скотленд-Ярд
в невиданной тревоге.

Эксперты, химики, врачи
без лишних проволочек
берут анализы мочи,
рассматривают почерк,—

и вот известно, кто писец!
Ликует целый Лондон,
и от экспертов во дворец
короткий рапорт отдан.

Молва тот рапорт разнесла,
как песен перепевы:
моча — французского посла,
а почерк — королевы!..

Я этим что сказать хотел?
Дай Бог нам снежных ночек,
чтоб и у наших разных дел
был королевский почерк!..

ОЛЕГ ТАРУТИН

р. 1935, Ленинград

Оригинальнейшее, к сожалению, не полностью раскрывшееся дарование. Мастерское владение рифмой и переходами из ритма в ритм.

* * *

У старушки Медичи
были гады-родичи.
Властолюбцы, интриганы,
родич родичу — удав.
Лезли к трону неустанно,
на приличья наплевав.
Тот, глядишь, проткнутый, стонет,
тот, отравленный, хрипит —
кто кого перебурбонит,
кто кого обвалуит?
Кто кого?
С таким девизом
трудно лет преклонных ждать.
Гиз —
не станет дедом Гизом,

Карлу папою не стать.
Под прицелом,
под принохом
каждый шаг и каждый
взгляд.

А она была старуха,
было ей за шестьдесят.
Власть в руках,
а снится ссылка.
И, придя от мессы в дом,
ливром звякала
в копилку
на старушечье «потом».
Ибо знала Медичи,
кто такие родичи.

ЭРИК ТУЛИН

р. 1935

Любопытно, что поэма Эрика Тулина «Ты и я», напечатанная в годы брежневщины в Петрозаводске и посвященная одновременному разрыву двух немолодых людей со своими семьями, была подобна самодельной гранате, брошенной в тину, и шокированные блюстители нравственности всплывали брюхом, как оглушенные рыбы. Сейчас после «свободы», превращающейся порой в свободу распушенности, эта поэма выглядит почти как нечто патриархальное.

ТЫ И Я
(фрагмент)

Какой уж по счету виток
Раскрученный звуками вальса.
Летит золотой ободок
Вокруг безымянного пальца.
Мы сорваны с этих орбит
Безумством взаимного зова,
И кто нам с тобою простит

Отступничество от слова?
От слова, что все мы даем,
Когда выбираем кого-то.
И вот по избранникам бьем,
Пока еще — с недолетом.
А нами заступлен порог
В те дали, где — кайся не кайся —
Болят золотой ободок
Вокруг безымянного пальца.

ИЛЬЯ ФОНЯКОВ

р. 1935, Бодайбо Иркутской обл.

Окончив факультет журналистики Ленинградского университета, Фоняков и в стихах тяготеет к характерной зарисовке, к своего рода «физиологическому очерку». Таков и его «Портрет в пути», написанный в самой середине 80-х, — поистине портрет эпохи.

ПОРТРЕТ В ПУТИ

Нам попался шофер
На дороге под городом Тулою,
Рыжий, словно костер,
Длиннорукий, высокий, сутулый.

Не боясь никого,
Он твердил, что повсюду нехватка
И того, и того,
Ну, а главное — это порядка.

Но и сам был хорош!
Не стеснясь, калымил, левачил:

«Все берут — ты берешь»...
Да как начал, как начал, как начал...

Горлопан! Горлодер!
Вдруг примолкнет: на горке — береза...

Не забылся с тех пор:
Въелся в память, торчит, как заноза.

В кожухе меховом,
Зол, циничен и сентиментален.

На стекле ветровом —
Два портрета: Есенин и Сталин...

1986

СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ

р. 1935

Один из самых интеллигентных русских актеров, доказавший, что актерская профессия не только лицедейство, но и сценическое мышление. Несомненно одаренный кинорежиссер. Маленькая единственная книжечка Юрского, выпущенная в 1993 году в Санкт-Петербурге, имеет право на существование, как еще одна грань его таланта.

УТРО

Я проснулся на скамейке.
Я сидел в бесшумном парке
и никак не мог припомнить,
где заснул я и когда,
было утро воскресенья,
и еще не встало солнце,

и в прудах стояла смирно
неглубокая вода.

Позабывтая тревога
осторожно повернулась
где-то слева, возле сердца.
Я сидел не шевелясь,
я напряг глаза и память,

и от мозга оттолкнувшись,
поплыла перед глазами
неразборчивая вязь.

Видел я, как плыло Время,
относительно спокойно,
и в его пустую реку
осыпалась листва.
В перепутанных деревьях
я искал свою тревогу,
я заглядывал со страхом
в потаенные места.

Знаете, как ищут зайца
на загадочной картинке:
между веток где-то уши,
а в корнях быть может глаз...
А деревья все скрипели,
ветер дул, спадали листья,
было тихо и печально,
день родился и погас.

И тогда перевернул я
ту журнальную картинку,
тот загадочный рисунок,

тот тревожащий покой —
вверх теперь летели листья,
надо мною плыло Время,
я пустые кроны кленов
мог легко достать рукой.

В перевернутой природе
все же нет ушей тревоги,
все же нет причины зайца,
и покоя не найти.
Только сломанные ветки,
только мертвенное время
осторожно намечали
след неясного пути.

Видно, вспять поплыло Время:
сквозь могилу и сквозь слезы
в перепутанных деревьях
я увидел вдруг отца...
Было утро воскресенья.
В перевернутой природе
я искал заветный узел —
связь начала и конца.

1966

МАРИЯ АНДРЕЕВСКАЯ

1936—1985

Я познакомился с ее стихами лишь по посмертной публикации в «Дне поэзии». От ее жизни нас до сих пор отделяет «тайна и стена».

*Дождь помогает нам оплакивать
друг друга...
(3 мая 1974)
«Толците и отверзется...»*

Дождь не поможет нам оплакивать друг друга:
У Вас — и тьма другая, и заря.
А мы — еще внутри земного круга,
«Нагробное рыдание» творя
Слезами, и цветами, и словами.
И выпитою горечью вина.

...Стучались — Вы.

Отверзлость — перед Вами.

А перед нами — тайна и стена.

С 1 на 2 сентября 1974

Пустырь и котлован. Проект распался.
Налили воду. Все-таки бассейн.

И — физкультура. И грибок на пальцах.

[68]

Аршином не измерить. Но — безменом:
противовес — исконнейшая Русь;
чека — Урал; а на плече безмерном

висит пространства лесопустный груз,
морозной беспредельностью укутан...
— Боишься ли Сибири-то? — Боюсь.

В мешок таежный сунь любую смуту,
и — нет говорунов. И — тишина,
понятная в оттенках лишь якуту:

— Однако, молчаливая страна.

[88]

С крыла летят корпускулы и кванты,
и — в облачно-молочный океан,
и в Атлантический, и звездно-ватный...

В наушниках — Бах, Гендель, Мессиаан.
Препоны разрывает аэробус
прозрачные — прозрачных марсиан,

с натугой разворачивая глобус
за Солнцем (тенью Бога) по пятам.
— Россия? Слышал. Есть такая область.

Верней, была. Когда-то, где-то там...

ЛЕОНИД ВИНОГРАДОВ

р. 1936

Отец — журналист, мать — проводница. Закончил юридический факультет ЛГУ. Абсурдист ранних 60-х. Приводимые строки были знамениты в студенческо-богемном мире тех лет.

* * *

Мы фанатики, мы фонетики.
Не боимся мы кибернетики.

* * *

Марусь!
Ты любишь Русь?

АНРИ ВОЛОХОНСКИЙ

р. 1936, Ленинград

Еще один ленинградец, еще один химик в русской поэзии. Напечатав в СССР одно стихотворение, в 1973 году перебрался в Израиль, где долго работал биохимиком. Поздней перешел на работу радиожурналиста, оказался в Мюнхене, на радиостанции «Свобода». Автор довольно популярных песен, часть из них написана в соавторстве с Алексеем Хвостенко. Первую книгу («Стихотворения») выпустил в 1983 году. Известен также как специалист в области каббалы и христианской эсхатологии, как прозаик.

ЧАЙНИК — ЧАЮ

Торжественный сосуд для аромата
Я, Чайник,— храм, ты Чай в нутре моем
Во мраке сферы паром напоен
Рождаешься с фонтаном цвета злата

Взлетишь, журча, так словно мы поем
Наполнишь чаши влагой горьковатой

И вот уже пуста моя палата
И хладен мой сферический объем

Пусть так — но тайну твоего рожденья
Мне много раз дано переживать
Я глиной мог бы где-нибудь лежать

Кого ж благодарить за наважденье
Кто дал мне жизнь, кто дал мне наслажденье
Тебя во мне назначив содержать?

НАТАЛЬЯ ГОРБАНЕВСКАЯ

р. 1936, Москва

Ее имя неотъемлемо от истории диссидентского движения в России. Взяв детскую коляску со своим крошечным ребенком, Горбаневская была среди тех семи диссидентов, которые вышли в 1968 году на Красную площадь, чтобы протестовать против вторжения советских танков в Чехословакию. В 1969 году была насильно помещена в психбольницу особого типа в Казани. В 1972-м была освобождена по письму в ее защиту составителя этой антологии. В 1975 году выехала вместе с детьми во Францию, где стала работать ответственным секретарем редакции журнала «Континент», в те годы поддерживавшегося Акселем Шпрингером. Переводила польских поэтов.

* * *

Ах, откуда я?..

А я откуда? Из анекдота,
из водевиля, из мелодрамы,
и я не некто, и я не кто-то,
не из машины, не из программы,

не из модели. Я из трамвая,
из подворотни, из-под забора,
и порастите вы все травую,
весь этот мир — не моя забота.

А я откуда? Из анекдота.
А ты откуда? Из анекдота.
А все откуда? А всё оттуда,
из анекдота, из анекдота.

* * *

Как андерсовской армии солдат,
как андерсеновский солдатик,
я не при деле. Я стихослагатель,
печально не умеющий солгать.

О, в битву я не ради орденов,
не ординарцем и не командиром —
разведчиком в болоте комарином,
что на трясуцей тропке одиноков.

О — рядовым! (Атака догорает.
Раскинувши ладони по траве —
а на щеке спокойный муравей
последнюю кровинку догоняет.)

Но преданы мы. Бой идет без нас.
Погоны Андерса, как пряжки танцовщицы,
как тувельки и прочие вещицы,
и этим заменен боезапас.

Песок пустыни пляшет на зубах,
и плачет в типографии наборщик,

и долго веселится барахольщик
и белых смертных поставщик рубах.

О родина!..
Но вороны следят,
чтоб мне не вырваться на поле боя,
чтоб мне остаться травкой полевой
под уходящими подошвами солдат.

1962

* * *

Шел год недобрых предсказаний.
Гадалки, опасаясь мести,
ушли в подполье. Под Казанью
родились сросшиеся вместе
телята. Где-то за Уралом
болота поглотили вышку
нефтедобычи. Небывалым
огнем, забывши передышку,
зашлись камчатские вулканы
одновременно все. На Пресне
распространились тараканы
величиной со сливу. Вести
чудовищные умножались,
едва скрывааемые прессой,
Ужас усиливался. Жалость
друг к другу становилась пресной,
почти формальной. На Охте
мать бросила дитя в трамвае
с запиской. Чаще рвали когти
без ничего, без слов. В сарае
в одном нашли самоубийцу
девятилетнего. Загадку
никто не разгадал, не бился
разгадывать. Призыв к порядку
порою свыше издавался,
печатался, передавался
по радио. Но в каждом ухе
звенели только слухи, слухи.

ИГОРЬ ГУБЕРМАН

р. 1936, Москва

Окончив МИИТ, работал машинистом электровоза. Автор книг по истории науки, нескольких сценариев. В 1979-м был арестован за участие в самиздатовском журнале «Евреи в СССР», пробыл в тюрьме и ссылке 5 лет. С 1988 года — в Израиле. Опубликовал 5 сборников стихов и воспоминания о лагере «Прогулки вокруг барака». Попробуй-ка забудь такие две строки: «В борьбе за народное дело я был инородное тело». Загадка Игоря Губермана — неотвязность его строк, умение вместить в две-четыре строки не только усмешку, но и самоусмешку. Те, кто умеет смеяться только над другими, на самом деле чувства юмора лишены. Любой национализм — это прежде всего полная потеря чувства юмора. Губерман, отвесивший несколько звонких пощечин антисемитам, и над евреями умеет посмеяться.

* * *

Смакуя азиатский наш кулич,
мы густо над европами хохочем;
в России прогрессивней паралич,
светлей Варфоломеевские ночи.

* * *

Возглавляя партии и классы,
лидеры вовек не брали в толк,
что идея, брошенная в массы,—
это девка, брошенная в полк.

* * *

Во благо классу-гегемону,
чтоб неослабно правил он,

во всякий миг доступен шмону
отдельно взятый гегемон.

* * *

Когда идет пора
крушения структур,
в любое время
всюду при развязках
у смертного одра
империй и культур
стоят евреи
в траурных повязках.

* * *

Я живу, в суете мельтеша,
а за этими корчами спешки
изнутри наблюдает душа,
не скрывая обидной усмешки.

АЛЕКСЕЙ ЕРАНЦЕВ

1936, с. Павловское Алтайского края — 1972, Курган

Запоздало, уже после его трагической смерти, открытым мною сибирский поэт, увы, до сих пор еще не оцененный широким читателем. Вдалеке от столиц, в самой что ни на есть российской глубинке, сохранял он трепетное восприятие ранимой души. Но провинциальный быт безвременья 70-х бесперспективным катком прошелся и по его судьбе, похожей на судьбы других, спивавшихся, неприспособленных к личному благополучию. И как подтверждение этому — страшная деталь из вязкого, не отпускающего от себя быта — банальный шнур от электроутюга, шнур, на котором поэт повесился. Своеобразный поэт, у которого слово имеет свою походку. Беленький заяц, похожий на Аленушкин узелок, — это так нежно. Да и про корову, чьим копытом можно хоть гвозди дергать, как это сочно, частушечно...

* * *

Зайчиха себя ушами
Похлопывает по спине:
На каждом пеньке — по шаньге,
По булке на каждом пне.
А заяц уже пообедал,
Раздвинул кусты, залег,
Словно Аленушкин, белый,
Потерянный узелок.

* * *

Поэт над братьями не княжит,
Он книги им читает вслух,
Молотит, стряпает, портняжит,
Он служит нянькою у слуг.

Для них штиблеты драит ваксой,
Белье стирает добела,
Питье заморское и яства
Несет на тридцать три стола.
Конюшню чистит и коровник.
Он служит сотни лет подряд.
Но только рот они откроют —
Его словами говорят.

ТЕНЬ

Под фонарем, в провинциальном веке,
Я проклял тень печальную свою.
И начал жить под перекрестным светом
Без тени, без печали, как в раю.
А тень моя ушла, осиротела,

Свернула в глушь, в седые кедрачи,
И, наблуждавшись,
В доме престарелых
нашла одежду, койку и харчи.
Живет, плетет веревочные туфли,
Перловку бережет на семена,
При свечке в ноги кланяется кукле,
Как две слезы, похожей на меня.
Давно забыла ведьм и чудотворцев,
А без меня не смеет умереть.
При солнышке выходит за воротца
Погреться, подышать и посмотреть,
Как я чужие тени примеряю,
Тяжелым светом согнутый в дугу,
Как веселюсь, от смеха умираю
И в две слезы заплакать не могу.

Вот была у нас корова!
Дед навьючит ползарода,
Сверху сядет, как князек,
А доснушка везет.
В бороне ходить умела,
И в телеге, и в санях.
Бригадир Иван Безменов
От нее стерпел синяк.
Вот была у нас корова!
Все столбы переборола,
Разбодала три угла —
Отелиться не могла.
Нанесла двойной убыток;
Подкузьмила семерых...
До сих пор ее копытом
Гвозди дергает старик.

ТАМАРА ЖИРМУНСКАЯ

р. 1936, Москва

Как и многие другие участники этой антологии, выпускница Литературного института. Первую книгу выпустила в 1962 году — «Район моей любви». Всегда распространяла еще в институтских коридорах и до сих пор вокруг себя ауру любви к людям, к поэзии.

* * *

Устала я... Поверь и не кори.
Не говори, что сделано так мало.
Я руки постирала до крови,
хоть в проруби белье не полоскала.

Я уставала много дней подряд:
кормила, мыла — разве все упомнишь?
Хоть у меня не дюжина ребят,
а лишь один-единственный детеныш.

Прабабушку мою не поминай.
Ей было плохо, мне намного лучше.
В далекие, глухие времена
едва ли бабы были так живучи.

Но если паром выйдет весь мой дар
и не сумею ни любить, ни петь я,
какую бы отсрочку век не дал,
я не хочу такого долголетия.

ЮЛИЙ КИМ

р. 1936

Потерял отца в терроре 1937 года, и все его детство — детство «сына врага народа» — то «дальнее Подмосковье», то Туркмения; позже окончил в Москве педагогический институт и оказался учителем на Камчатке. В 1963 году возвратился в Москву и благодаря гитаре и поэтическому таланту, которые привык использовать в равной мере, сразу оказался в центре внимания «магнитофонной эпохи», где давно уже были известны Окуджава, Высоцкий, Галич. Впрочем, Ким занялся также и «диссидентством», в результате чего потерял возможность не только печататься, но и писать тексты песен к кинофильмам под своей фамилией — на много лет. Первые книги Кима вышли лишь в 1990 году. Но и в годы ложного его молчания зрители отлично знали, кто такой «Ю. Михайлов», писавший стихи для спектаклей и фильмов.

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ИСКУССТВА

История, приключившаяся с комедиографом Капнистом в царствование Павла I и пересказанная мне Натаном Эйдельманом.

Капнист пиэсу накропал громадного размеру.
И вот он спит,
в то время как царь-батюшка не спит:
Он ночь-полночь пришел в театр
и требует премьеру
Не знаем, кто его толкнул, история молчит.

Партер и ложи — пусто все:
ни блеску, ни кипенья,
Актеры молятся тайком, вслух роли говоря.
Там, где-то в смутной глубине,
маячат жуткой тенью
Курносый царь, и с ним еще,
кажись, фельдъегеря.
Вот отмахали первый акт:
все тихо, как в могиле,

Но тянет, тянет холодком
оттуда (тьфу-тьфу-тьфу!)
«Играть второй», — пришел приказ,
и с Богом приступили
В то время как фельдъегерь: «Есть!» —
и кинулся во тьму.

Василь Васильевич Капнист метался на перине,
Опять все тот же страшный сон,
какой уж был в четверг!
Де, он восходит на Олимп,
но, подошед к вершине,
Василь Кириллыч цоп его за ногу — и низверг!

За ногу тряс его меж тем
фельдъегерь с предписанием:
«Изъять немедля! и в чем есть
отправить за Урал!
И впредь и думать не посметь
предерзостным мараньем
Бумагу нашу изводить, дабы хулы не клал!»

И не успел двух раз моргнуть
наш, прямо скажем, Вася,
Как был в овчину облачен и в сани водворен.
Трясли ухабы, тряс мороз,
а сам-то как он трясся! —
В то время как уж третий акт
давали пред царем.

Бледнел курносый иль мрачнел —
впотьмах не видно было.
Фельдъегерь: «Есть!» и на коня,
и у Торжка нагнал:
«Дабы сугубо наказать презренного зоила,
В железо руки заковать, дабы хулы не клал!»

— Но я не клал!!! — вскричал Капнист,
точа скупые слезы:
— Я ж только выставил порок,
по правилам искусств!
Но я ж его и обличил —
за что ж меня в железы?!
А в пятом акте истоптал —
за что ж меня в Иркутск?

Меж тем кузнец его ковал
с похмелья непроворно.
А тут еще один гонец летит во весь опор...
Василь Васильевич Капнист взглянул,
вздыхнул покорно,
И рухнул русский Ювенал у золоченых шпор...

Текли часы...
Очнулся он, задумчивый и вялый.
Маленько веки разлепил и посмотрел в просвет:
«Что, братец, там за городок?
Уже Иркутск, пожалуй?»
«Пожалуй, барин, Петербург», —
последовал ответ.

«Как Петербург?!» — шепнул Капнист,
лишаясь дара смысла.
«Вас, барин, велено вернуть до вашего двора.
А от морозу и вобще —
медвежий полог прислан,
И велено просить и впредь не покладать пера!»

Да! Испарился царский гнев
уже в четвертом акте,
Где змей порока пойман был
и не сумел уползть.
«Сие мерзавцу поделом!» —
царь молвил и в антракте
Послал гонца вернуть творца,
обернутого в полсть.

Все ближе, ближе Петербург,
и вот уже застава,
И в пятом акте царь вскричал:
«Василий! Молодец!»
И на заставе ждет уже дворцовая подстава,
И только прах из-под копыт,
и махом — во дворец!

Василь Васильич на паркет в чем был
из полсти выпал.
И тут ему и водки штоф, и пряник — закусить.
«У-у, негодяй, — промолвил царь
и — золотом осыпал.
— Пошто заставил ты меня
столь много пережить!»

Во как было в прежни годы,
Когда не было свободы!

ВАДИМ КРЕЙД

р. 1936, Нерчинск

Когда-то, в России, — Крейденков, но американцам этого не выговорить. Родился в Нерчинске, между тем он — петербуржец до мозга костей. В 1973 году отбыл в США, где превратился в профессора-слависта в университете Айова-сити, в частности, Крейд стал специалистом по творчеству Георгия Иванова. Три сборника стихотворений издал в США, четвертый вышел уже в России.

В СОРОК СЕДЬМОМ ГОДУ

Вздыхнул аккордеон на барахолке,
Великой болью был мотив тот мудр.
О том, как в трюме ночи злы и долги,
Поблескивал веселый перламутр.

Рапсод безногий излагал балладу,
На бело-черных клавишах играл,
Как будто он готовился к докладу —
Тому, пред кем он через год предстал.

«Шел пароход из северного порта,
Живой товар три тыщи человек,
Там в животе прожорливого черта
Простимшись со свободой навек...»

Под южным солнцем публика смолкала,
Бросала в шапку трешки и рубли.
Он пел — пока его не увели:
Базарная цензура не дремала.

САВВА КУЛИШ

р. 1936,

Окончил ВГИК (операторский факультет) и Щукинское училище при театре Вахтангова — режиссерский факультет. Знаменитый фильм Кулиша «Мертвый сезон» о советском разведчике за рубежом выгодно выделялся среди пропагандистских кинодетективов своей тонкостью. Кулиш снял и другие фильмы, среди которых необходимо отметить «Железный занавес» — исповедальную лирическую эпопею о московском детстве в последние годы жизни Сталина.

МАЛЬЧИК И МЫШЬ

Мальчик и мышь
Мышь — это тишь
Мышь — это шшшь

Бредишь мальш

Шорох вдоль крыш
Вышки вдоль крыш
Серая мышь

Тюремная тиш... шь

Лучше молчать и не кричать
Дымом печей пахнет опять
Дымом людей пахнет опять

Слышишь — молчать и не кричать

Слез не сдержать
Дрожь не сдержать
Маму наверное вспомнил опять

Палочки-руки не надо дрожать

После Всего легко умирать
После Всего нельзя умирать

Что ж не бежишь вольная мышь
Стоны вдоль крыш
Дети вдоль крыш

Серая мышь
Тюремное шшшь

Люди нас нет
Надо кричать!

Дымом печей пахнет опять
Дымом людей пахнет опять
Нас уже нет

Не смейте
Молчать!

1962

АЛЕКСАНДР КУШНЕР

р. 1936, Ленинград

Окончил Ленинградский пединститут и десять лет преподавал русский язык и литературу в школе. Медленно, но верно вырос в крупного поэта, не за счет придуманной мелкими критиками крупности тем и метафорической мегаломании, а благодаря скрупулезной неспешливой погруженности в интерьеры мира и самого себя. Постепенно у Кушнера выработался свой стиль — несколько педантичная, подчеркнуто разумная интонация со склонностью к легкой дидактике и даже замена «я» на мягкое ироническое «мы» в самых интимных случаях, что как бы подразумевает тайную королевскую сущность каждого человеческого существа. Не написав ни одной поэмы, практически стал автором огромной поэмы о своем любовном романе с Ленинградом, в которую соединились все его стихи. Раскрылся как своеобразный тонкий эссеист, написав ряд работ, из которых выделяется статья о Фете.

* * *

Чего действительно хотелось,
Так это города во мгле,
Чтоб в небе облако вертелось,
И тень кружилась по земле.

Чтоб смутно в воздухе неясном
Сад за решеткой зеленел
И лишь на здании прекрасном
Шпиль невысокий пламенел.

Чего действительно хотелось,
Так это зелени густой.
Чего действительно хотелось,
Так это площади пустой.

Горел огонь в окне высоком,
И было грустно оттого,
Что этот город был под боком,
И лишь не верилось в него.

Ни в это призрачное небо,
Ни в эти тени на домах,
Ни в самого себя, нелепо
Домой бредущего впотымах.

И в силу многих обстоятельств
Любви, схватившейся с тоской,
Хотелось больших доказательств,
Чем те, что были под рукой.

* * *

Танцует тот, кто не танцует,
Ножом по рюмочке стучит,
Гарцует тот, кто не гарцует, —
С трибуны машет и кричит.

А кто танцует в самом деле,
И кто гарцует на коне,
Тем эти пляски надоели,
А эти лошади — вдвойне!

* * *

Все эти страшные слова: сноха, свекровь,
Свекор, теща, деверь, зять
и, Боже мой, золовка —
Слепые, хриплые, тут ни при чем любовь,
О ней, единственной, и вспоминать неловко.

Смотри-ка, выучил их, сам не знаю как.
С какою радостью, когда умру, забуду!
Глядят, дремучие, в непроходимый мрак,
Где душат шепотом и с криком бьют посуду.

Ну, улыбнись! Наш век, как он ни плох, хорош
Тем, что, презрев родство,
открыл пошире двери

Для дружбы,
выстуженной сквозняками сплошь.
Как там у Зоценко? Прощай, товарищ деверь!

Какой задуман был побег, прорыв, полет,
Звезда — сестра моя, к другим мирам и меркам,
Не к этим, дышащим тоской земных забот
Посудным шкафчикам и их поющим дверкам!

Отдельно взятая, страна едва жива.
Жене и матери в одной квартире плохо.

Блок умер. Выжили дремучие слова:
Свекровь, свояченица, кровь, сноха, эпоха.

1974 ГОД

В Италию я не поехал так же,
Как за два года до того меня
Во Францию, подумав, не пустили,
Поскольку провокации возможны,
И в Англию поехали другие
Писатели.

Италия, прощай!

Ты снилась мне, Венеция, по Джеймсу,
Завернутая в летнюю жару,
С клочком земли, засаженным цветами,
И полуразвалившимся жильем,
Каналами изрезанная сплошь.

Ты снилась мне, Венеция, по Манну,
С мертвеющим на пляже Ашенбахом
И смертью, образ мальчика принявшей.
С каналами? С каналами, мой друг.

Подмочены мои анкеты; где-то
Не то сказал; мои знакомства что-то
Не так чисты, чтоб не бросалось это
В глаза кому-то; трудная работа
У комитета. Башня в древней Пизе
Без нас благополучно упадет.

Достану с полки блоковские письма:
Флоренция, Милан, девятый год.
Италия ему внушила чувства,
Которые не вытацишь на свет:

Прогнило все. Он любит лишь искусство,
Детей и смерть. России ж вовсе нет
И не было. И вообще Россия —
Лирическая лишь величина.

Товарищ Блок, писать такие письма,
В такое время, маме, накануне
Таких событий...

Вам и невдомек,
В какой стране прекрасной вы живете!

Каких еще нам надо объяснений
Неотразимых, в случае отказа:
Из-за таких, как вы, теперь на Запад
Я не пускал бы сам таких, как мы.
Италия, прощай!

В воображенье
Ты еще лучше: многое теряет
Предмет любви в глазах от приближенья
К нему; пусть он, как облако, пленяет
На горизонте; близость ненадежна
И разрушает образ, и убого

Осуществленье. То, что невозможно,
Внушает страсть. Италия, прости!

Я не увижу знаменитой башни,
Что, в сущности, такая же потеря,
Как не увидеть знаменитой Федры.
А в Магадан не хочешь? Не хочу.
Я в Вырицу поеду, там в тенечке,
Такой сквозняк, и перелески щедры
На лютики, подснежники, листочки,
Которыми я рану залечу.

А те, кто был в Италии, кого
Туда пустили, смотрят виновато,
Стыдясь сказать с решительностью Фета:
«Италия, ты сердцу солгала».
Иль говорят застенчиво, какие
На перекрестках топчутся красотки.
Иль вспоминают стены Колизея
И Перуджино... эти хуже всех.
Есть и такие: охают полгода
Или вздыхают — толку не добиться.
Спрошу: «Ну что Италия?» — «Как сон».
А снам чужим завидовать нельзя.

* * *

Слово «нервный» сравнительно поздно
Появилось у нас в словаре
У некрасовской музыки нервной
В петербургском промозглом дворе.
Даже лошадь нервически скоро
В его желчном трехсложнике шла,
Разночинная пылкая ссора

И в любви его темой была.
Крупный счет от модистки, и слезы,
И больной, истерический смех,
Исторически эти невроты
Объясняются болью за всех,
Переломным сознанием и бытом.
Эту нервность, и бледность, и пыл,
Что неведомы сильным и сытым,
Позже в женщинах Чехов ценил,
Меж двух зол это зло выбирая,
Если помните... ветер в полях,
Коврин, Таня, в саду дымовая
Горечь, слезы и черный монах.
А теперь и представить не в силах
Ровной жизни и мирной любви.
Что однажды блеснуло в чернилах,
То навеки осталось в крови.
Всех еще мы не знаем резервов,
Что еще обнаружат, бог весть,
Но спроси нас: — Нельзя ли без нервов?
— Как без нервов, когда они есть! —
Наши ссоры. Проклятые тряпки.
Сколько денег в июне ушло!
— Ты припомнил бы мне еще тапки.
— Ведь девятое только число, —
Это жизнь? Между прочим, и это,
И не самое худшее в ней.
Это жизнь, это душевное лето,
Это шорох густых тополей,
Это гулкое хлопанье двери,
Это счастья неприбранный вид,
Это, кроме высоких материй,
То, что мучает всех и роднит.

ВЛАДИМИР МИКУШЕВИЧ

р. 1936, Москва

За многие годы переводческой работы создал на русском языке целую библиотеку западноевропейской литературы, преимущественно средневековой. Как оригинальный поэт практически не мог печататься до конца 80-х годов; первая его книга «Крестница зари» вышла в издательстве «Современник» в 1989 году. В последнее время все чаще выступает в печати с работами философского характера.

ОСТРОГА

По небу полуночи ангел летел.
М. Лермонтов

Мрак неуловимый, но глубокий
Топкие окутал берега;
Встрепенулся отрок синеокий,
И пронзила рыбу острога.

Дрогнули смолистые лучины,
Медленнее лодка поплыла;
Сразу же из тинистой пучины
Высунулись мягкие крыла.

В озере под первую звезду
Филин рыбу крупную поймал;

Даже мертвый, даже под водою,
Он когтей своих не разжимал.

Так весь век я предвкушаю сушу
На бесцветном этом дне в гостях,
Потому что пойманную душу
Держит ангел в стиснутых горстях.

В полумраке тинистом телесном
Избежать я света не могу;
Плавая в челне своем небесном,
Дедушка заносит острогу.

АНАТОЛИЙ НАЙМАН

р. 1936, Ленинград

В конце 50-х годов вместе с Бобышевым, Рейном и Бродским входил в постоянное поэтическое окружение Анны Ахматовой, памяти которой посвящены многие его стихотворения; вместе с Ахматовой переводил целые поэтические книги, написал ценные воспоминания о ней. Первую поэтическую книгу («Стихотворения») выпустил лишь в 1989 году в Америке, однако не эмигрировал, всего лишь перебрался из Ленинграда в Москву — как и Евгений Рейн. Работал над переводами средневековой провансальской поэзии. Литератор высокой культуры, пренебрегающий такими мелкими вещами, как популярность и «злоба дня».

НА СМЕРТЬ ЮРИЯ ГАЛАНСКОВА

Не готовьтесь долго к письму,
соберетесь писать — а кому?

Я пока карандаш точил,
стало некому.

Чтоб спасти от шестой зимы,
ангел вывел его из тюрьмы.

А кому детали нужны,
то — к лекарю.

Добивались мать и сестра
гроба белого и креста,
и пристойно себя вели
посторонние.

Милость, Господи, доверши
и куток для его души
хоть на первое время найди
поспокойнее.

Потому что здесь рвы да львы,
жил он гостем у ласки-Москвы,
а потом к свинье под бочок,
и в Мордовию.

Что он видел? — немое кино
про любовь, да и то давно.

Погляди же теперь на него
с любовью.

1973

* * *

Подождите, я здесь занял очередь —
за таким, в отставке, офицером
с барышней в слезах, наверно, дочерью,
а за мной, не помню, кто-то в сером.

А перед военным — голь безгрешная,
ватник, майка, без просыпу пьянка.
А за серым — личность кагебешная,
глаз железный и на лбу чеканка.

Дальше — одуванчик Божий. Далее —
чубчик кучерявый. С челкой в шали
рядом — борода, армяк без талии.
Кто еще стоял? Да все стояли:

я стоял, стоял Хрущев с Булганиным,
Калита Иван — считая деньги,
граф Толстой — кентавр из льва
с крестьянином,
а за ним — Емельки, Гришки, Стеньки.

А еще я пропустил вперед себя,
кланяясь быломu и Европе,
с сумочкой Марину, с торбой Осипа,
с сундучком процентщицу в салоне.

И со мной — ну как же! — вместе заняли
те, чьи имена нежней свирели
для меня, с кем шлялись и тарзанили,
с кем когда-то плакали и пели.

Я стоял! Я отошел — и где они?
Где вы все? Иль демон рифмоплетства
вас зачаровал? Но даже в демоне
что-то ведь заботится о сходстве!

Я к прилавку отходил соседнему —
оказалось, на переучете.
Что же, мне опять стоять последнему?
Что же вы меня не признаете!

октябрь — ноябрь 1992

НИКОЛАЙ РУБЦОВ

1936, пос. Емецк Архангельской обл.— 1971, Вологда

Мне выпала честь впервые напечатать в Москве Рубцова. Это было крепкое флотское: «Я весь в мазуте и в тавоте, зато работаю в тралфлоте...» Но под бушлатом билось крестьянское сердце, нежное и ранимое. Колю прозвали «Шарфиком», потому что вокруг его худенькой загорелой шеи всегда было намотано что-то пестренькое. Он был поэтом есенинской традиции, больше всего на свете любивший русскую природу, деревню, однако никогда не впадавший в сусальное умиление. Многие из тех, кто стал набиваться в его душеприказчики посмертно, при жизни его недооценивали, а иногда и спаивали. Меня хотели с ним поссорить, да вот не получалось. Никогда не забуду, как однажды кто-то с нежной шутливостью закрыл, подойдя сзади, мои глаза ладонями. Это был Коля. Он вынул из своего потрепанного портмоне сложенное вчетверо свое стихотворение «Репортаж» с моей резолюцией «В набор» и подписью. Стихи не были пропущены цензурой, но Коля несколько лет носил их с собой. Он трагически погиб от руки жены, наверняка не хотевшей его гибели. Но его слова «Я буду жить в своем народе» оправдались.

ДОБРЫЙ ФИЛЯ

Я запомнил, как диво,
Тот лесной хуторок,
Задремавший счастливо
Меж звериных дорог...

Там в избе деревянной
Без претензий и льгот
Так, без газа и ванной,
Добрый Филя живет.

Филя любит скотину,
Ест любую еду,
Филя ходит в долину,
Филя дует в дуду.

Мир такой справедливый,
Даже нечего крыть...
— Филя! Что молчаливый?
— А о чем говорить?

ХЛЕБ

Положил в котомку
сыр, печенье,
Положил для роскоши миндаль.
Хлеб не взял.
— Ведь это же мученье
Волочиться с ним в такую даль! —
Все же бабка
сунула краюху.
Все на свете зная наперед,
Так сказала:
— Слушайся старуху!
Хлеб, родимый, сам себя несет...

В ГОРНИЦЕ

В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды...

Красные цветы мои
В садике завяли все,

Лодка на речной мели
Скоро догниет совсем.

Дремлет на стене моей
Ивы кружевная тень,
Завтра у меня под ней
Будет хлопотливый день!

Буду поливать цветы,
Думать о своей судьбе,
Буду до ночной звезды
Лодку мастерить себе...

ГРАНИ

Я вырос в хорошей деревне,
Красивым — под скрип телег!
Одной деревенской царевне
Я нравился как человек.

Там нету домов до неба,
Там нету реки с баржой,
Но там на картошке с хлебом
Я вырос такой большой.

Мужал я под грохот МАЗов,
На твердой рабочей земле...
Но хочется как-то сразу
жить в городе и в селе.

Ах, город село таранит!
Ах, что-то пойдет на слом!
Меня все терзают грани
Меж городом и селом...

* * *

Я уплыву на пароходе,
Потом поеду на подводе,
Потом еще на чем-то вроде,
Потом верхом, потом пешком
Пройду по волоку с мешком —
И буду жить в своем народе!

РЕПОРТАЖ

К мужику микрофон подносят,
Тянут слово из мужика,
Рассказать о работе просят
В свете новых решений ЦК.

Мужику

непривычно трёкать.
Вздых срывается с языка.
Нежно взяли его за локоть,
Тянут

слово

из мужика!

1962

ЗВЕЗДА ПОЛЕЙ

Звезда полей во мгле заледенелой,
Остановившись, смотрит в полынью.
Уж на часах двенадцать прозвенело,
И сон окутал родину мою...

Звезда полей! В минуты потрясений
Я вспоминал, как тихо за холмом
Она горит над золотом осенним,
Она горит над зимним серебром...

Звезда полей горит, не угасая,
Для всех тревожных жителей земли,
Своим лучом приветливым касаясь
Всех городов, поднявшихся вдали.

Но только здесь, во мгле заледенелой,
Она восходит ярче и полней,
И счастлив я, пока на свете белом
Горит, горит звезда моих полей...

1964

ТИХАЯ МОЯ РОДИНА

В. Белову

Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи...
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.

— Где тут погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу.—
Тихо ответили жители:
— Это на том берегу.

Тихо ответили жители,
Тихо проехал обоз.
Купол церковной обители
Яркой травой зарос.

Там, где я плавал за рыбами,
Сено гребут в сеновал:

Между речными изгибами
Вырыли люди канал.

Тина теперь и болотина
Там, где купаться любил...
Тихая моя родина,
Я ничего не забыл.

Новый забор перед школою,
Тот же зеленый простор.
Словно ворона веселая,
Сяду опять на забор!

Школа моя деревянная!..
Время придет уезжать —
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

1964

ПРОЩАЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Я уеду из этой деревни...
Будет льдом покрываться река,
Будут ночью поскрипывать двери,
Будет грязь на дворе глубока.

Мать придет и уснет без улыбки...
И в затерянном сером краю
В эту ночь у берестяной зыбки
Ты оплачешь измену мою.

Так зачем же, прищурив ресницы,
У глухого болотного пня
Спелой клюквой, как добрую птицу,
Ты с ладони кормила меня.

Слышишь, ветер шумит по сараю?
Слышишь, дочка смеется во сне?
Может, ангелы с нею играют
И под небо уносятся с ней...

Не грусти на знобющем причале,
Парохода весною не жди!
Лучше выпьем давай на прощанье
За недолгую нежность в груди.

Мы с тобою как разные птицы,
Что ж нам ждать на одном берегу?
Может быть, я смогу возвратиться,
Может быть, никогда не смогу.

Ты не знаешь, как ночью по тропам
За спиною, куда ни пойду,
Чей-то злой, наступающий топот
Все мне слышится словно в бреду.

белые лица,
сочувствуя, но не стесняясь,
а те, кто подальше, — не видели лиц, но
слушали пенье,
они вынимали монеты из меди и не уходили.

Однако торговля не стала менее оживленной:
старухи в больших рукавицах
фруктовую рыбу обнюхивали, как целовали,
работали мясники топорами средневековья,
в бочонке звенел огурец, как зеленый
звоночек.

Потом появилась, как львица, действительно,
лошадь.

К гармошке пропал интерес:
все пошли посмотреть хорошенько на
лошадь,
все,
даже четыре как курицы, маленькие карлицы
и два лейтенанта:
с биноклем один, у второго футляр от
бинокля.

Не помнишь, как падали листья?
А ты попытайся, припомни:
как листья играли, как трубки из маленькой
меди,
с еще малолетних деревьев уже опадали,
уже увядая, еще не желтея,
они опадали зеленого цвета.

Солнце совсем не имело определенного места
на небе —
присутствовало в каждой капельке неба
одновременно.
Фосфоресцировал воздух, как испаренья
химических элементов химического
производства.

Что происходило еще?
Лошадь-львицу
хороший товарищ вовлек в двуколесную
тачку,
четыре карлицы купили четыре стакана
орешка сибирского кедра.
И щелкал орешек, как клюква,
и все остальные сплевывали скорлупу, когда
шли, как
за эллинской колесницей, за тачкой.
Я помню тот вечер, когда фонари опускали
колокола великолепного света
В грустной гостинице, в камере-одиночке
по телевизору кто-то играл на рояле.

Кто-то прекрасно играл, проникновенно и
задушевно:
в смысле не «за душу брал» а в смысле
«задушат»...
И ничего не случилось, дружок, ничего не
случилось
вот и сейчас, в воскресенье, как видишь,
в Ангарске.

СЕРГЕЙ ЧУДАКОВ

р. 1936

Феноменально литературно одаренный сын рано умершего генерала, оставшийся один в унаследованной огромной квартире, превращенной им в богемное гнездо. Гости дамского пола ставили на стенах отпечатки своих босых ступней. Чудаков обладал энциклопедическими знаниями и чудодейственной легкостью пера в любом жанре — будь то эссе, или стихи, или рассказы. Блестяще разбирался в кино. Однако редакции были напуганы его экстравагантностью — так, во время кампании против Солженицына Чудаков открыто рассказывал с «Архипелагом ГУЛАГ» под мышкой. Тогда Чудаков начал подбирать не поступивших абитуриентов из провинции, селить у себя и рассылать их по газетам со своими статьями, подписанными именами этих девчонок. Заработком он честно делился с ними. Впоследствии на даче одного профессора марксизма он организовал любовное шоу и угодил сначала в тюрьму, а потом в психушку — причем жесткого режима. Когда Чудаков оттуда вернулся, это был уже другой человек. Ему посвящены стихи Бродского, а его собственные стихи так никогда и не были собраны в книжку.

* * *

Приятеля сажают за подлог.
Но было бы неверным сожаленье:
Всему виной — страдательный залог
и сослагательное наклоненье.

Вот «Моби Дик». И смысл его глубок.
Утрата этой книжки — преступленье.
И стоит рубль — страдательный залог,
Рубль — сослагательное наклоненье.

Нельзя сказать, что наш премьер жесток.
Он кроток, но свирепо исполненье.
Стал моден стиль — страдательный залог
И сослагательное наклоненье.

Но водородной схватки близок срок.
И в час всеобщего испепеленья
Нам предстоит страдательный залог
Без сослагательного наклонья.

* * *

Ипполит, в твоём имени камень и конь.
Ты возжег в чреве Федры, как жженку,
И погиб, словно пьяный, свалившийся
Персонаж неолита, жокей Ипполит.

Колесницы пошли на последний заезд.
Зевс не выдаст, товарищ Буденный не съест.
Только женщина сжала программку в руке,
Чуть качнула ногою в прозрачном чулке.

Ипполит, мы идем на смертельный виток!
Лязг тюремных дверей и сверканье винтовок.
Автогонщик взрывается: кончен вираж,
Все дальнейшее — недостоверный мираж.

«Я хочу тебя, мальчик», — сказала она,
Вожделением к мертвому вся сожжена.
«Мне осталось напиться в ресторане «Бега»,
Мне осталась Россия, печаль и снега».

* * *

Переводы из Ружевича и Сэндберга ты уже
Наливаешь мне кофе и требуешь разговора
Я чувствую себя как окурочек не в своей
Блеск твоих связей в министерстве культуры

Оператор снимает дождь: ему разрешили,
Дождь крупный, тугой, напоминающий крутое
мочит людей во фраках, вечерних платьях,
Оптика дождя великолепно передана

«Тебе интересно все это говорить?» — «Нет,
но я упражняюсь».
«Зачем ты грызешь ногти?» — «Дурная
привычка».
«Что ты делаешь сегодня вечером?» —
«Заказную статью об очерке в молодежном
проблема изображения казенных подвигов
бетонирования и лесоповала».
Конечно, я маньяк: занимаюсь искусством
как любитель.

Кроме этого, я трус: я боюсь холода,
Вы смотрели Антониони в разных
И есть еще многое, что нас разделяет или
пошлости и грязи.
просмотровых залах,
сближает.

* * *

Ничего не выходит наружу.
Твои помыслы детски чисты.
Изменяешь любимому мужу
с нелюбимым любовником ты.

Ведь не зря говорила подруга:
— Что находишь ты в этом шуте?
Вообще он не нашего круга
Неопрятен, живет в нищете.

Я свою холостую берлогу
Украшаю с большой простотой.
Обвожу твою стройную ногу
На стене карандашной чертой.

Не хочу никакого успеха, —
лучше деньги навеки займу.
В телевизор старается Пьеха,
Адресуется мне одному.

Мне бы как-нибудь лишь продержаться
Эту пару недель до зимы.
Не заплакать и не рассмеяться,
Чтобы в клинику не увезли.

* * *

Самоубийство есть дуэль с собой.
Искал ты женщину с крылатыми ногами.
Она теперь заряжена в нагане,
Ружейным маслом пахнет и стрельбой.
Инфляция листовки, как биржевая рьяность,
На улицах дождей асфальтные катки.
Тайо демон смерти стал вегетарьянец,
Роняющий салфетки и носки.
Забывчивостью старческой несносен,
И умственно немного нездоров,
Но в бесконечность отправляет осень
Скупые призраки почтовых поездов.
Когда дышать игрою больше нечем,
Давайте выдох на конце строки.
И взрежут ненависть, похожую на печень,
Звенящими ножами мясники.

БЕЛЛА АХМАДУЛИНА

р. 1937, Москва

В числе предков — с материнской стороны итальянцы, осевшие в России, и среди них революционер Стопани, чьим именем был назван переулок в Москве. С отцовской стороны — татары. Когда в 1955 году первые стихи Ахмадулиной появились в журнале «Октябрь», сразу стало понятно, что пришел настоящий поэт. Поступив в этом же году в Литинститут, она была там королевой, и в нее были влюблены все молодые поэты, включая и составителя этой антологии, который стал ее первым мужем. Ее талантом восхищались и поэты старшего поколения — Антокольский, Светлов, Луговской, а вот Пастернака она только однажды встретила на тропинке, но постеснялась ему представиться. Усвоив ассонансную «евтушенковскую» рифмовку, она резко повернула в совершенно другую сторону — в шепоты, шелесты, неопределенность, неуловимость. Однако я не согласен с точкой зрения Вольфганга Казака, который называет ее поэзию «аполитичной». Аполитичность как бы подразумевает политическое равнодушие. Поэзия Ахмадулиной, да и ее поведение скорее антиполитичны. У ее стихов «Елабуга», «Варфоломеевская ночь», «Сказка о Дожде» не отнимешь ее особой, я бы сказал, интимной гражданственности, проникнутой презрением ко всему тому, что есть политика, унижающая и уничтожающая людей. Хрупкая, нежная рука Ахмадулиной подписала все письма, которые только можно припомнить, в защиту диссидентов и многих других попадавших в беду людей. Ахмадулина ездила в ссылку к Сахарову, найдя мужество пробиться сквозь полицейский кордон. Ахмадулина пишет элегантную прозу, выше сюжета ставя тонкость языка, как, впрочем, и в поэзии. В 1989 году ей, убежденно антиполитическому поэту, присуждена Государственная премия СССР. Ахмадулина — почетный член американской Академии искусств.

НЕВЕСТА

Хочу я быть невестой,
красивой, завитой,
под белою навесной
застенчивой фатой.

Чтоб вздрагивали руки
в колечках ледяных,
чтобы сходились рюмки
во здравье молодых.

Чтоб каждый мне поддакивал,
пророчил сыновей,
чтобы друзья с подарками
стеснялись у дверей.

Сорочки в целлофане,
тарелки, кружева...
Чтоб в щеку целовали,
пока я не жена.

Платье мое белое
заплакано вином,
счастливая и бедная
сизу я за столом.

Страшно и заманчиво
то, что впереди.
Плачет моя мамочка, —
мама, погоди.

...Наряд мой боярский
скинут на кровать.
Мне хорошо бояться
тебя поцеловать.

Громко стулья ставятся
рядом, за стеной...

Что-то дальше станется
с тобой и со мной?..

1956

* * *

Я думала, что ты мой враг,
что ты беда моя тяжелая,
а ты не враг, ты просто враль,
и вся игра твоя — дешевая.

На площади Манежной
бросал монету в снег.
Загадывал монетой,
люблю я или нет.

И шарфом ноги мне обматывал
там, в Александровском саду,
и руки грел, а все обманывал,
все думал, что и я солгу.

Кружилось надо мной вранье,
похожее на воронье.

Но вот в последний раз прощаешься,
в глазах ни сине, ни черно.
О, проживешь, не опечалишься,
а мне и вовсе ничего.

Но как же все напрасно,
но как же все нелепо!
Тебе идти направо.
Мне идти налево.

1957

* * *

Жилось мне весело и шибко.
Ты шел в заснеженном плаще,

и вдруг зеленый ветер шипра
вздмал косынку на плече.
А был ты мне ни друг, ни недруг.
Но вот бревно. Под ним река.
В реке, в ее ноябрьских недрах,
займется пламенем рука.

«А глубоко?» — «Попробуй смеряй! —
Смеюсь, зубами лист беру
И говорю: — Ты парень смелый,
Пройдись по этому бревну».

Ого — тревоги выраженье
в твоей руке. Дрожит рука.
Ресниц густое ворошенье
над замиранием зрачка.

А я иду (сначала боком), —
о, поскорей бы, поскорей! —
над темным холодом, над бойким
озябшим ходом пескарей,

А ты проходишь по перрону,
закрыв лицо воротником,
и тлеющую папиросу
в снегу кончаешь каблуком.

1957

СОН

Наскучило уже, да и некстати
о знаменитом друге рассуждать.
Не проще ль в деревенской благодати
бесхитростно писать слова в тетрадь —

при бабочках и при окне открытом,
пока темно и дети спать легли...
О чем, бишь? Да о друге знаменитом,
Свирепей дружбы в мире нет любви.

Весь вечер спор, а вам еще не вдоволь,
и все о нем и все в укор ему.
Любовь моя — вот мой туманный довод.
Я не учена вашему уму.

Когда б досель была я молодая,
все б спорила до расцветанья щек.
А слава что? Она — молва худая,
но это тем, кто славен, не упрек.

О грешной славе рассуждайте сами,
а я ленюсь, я молча посижу.
Но, чтоб вовек не согласиться с вами,
что сделать мне? Я сон вам расскажу.

Зачем он был так грозно вероятен?
Тому назад лет пять уже иль шесть
приснилось мне, что входит мой приятель
и говорит: — Страшись. Дурная весть.

— О нем? — О нем. — И дик и слабоумен
стал разум. Сердце прервалось во мне.
Вошедший строго возвестил: — Он умер.
А ты держись. Иди к его жене. —

Глаза жены серебряного цвета:
зрачок ума и сумрак голубой.
Во славу знаменитого поэта
мой смертный крик вознесся над землей.

Домашние сбежались. Ночь крепчала.
Мелькнул сквозняк и погубил свечу.
Мой сон прошел, а я еще кричала.
Проходит жизнь, а я еще кричу.

О, путь моим необратимым прахом
приснюсь себе иль стану наяву —
не дай мне бог моих друзей оплакать!
Все остальное я переживу.

Что мне до тех, кто правы и сердиты?
Он жив — и только. Нет за ним вины.
Я воспою его. А вы судите.
Вам по ночам другие снятся сны.

ТОВАРИЩИ

— Пока! — товарищи прощаются со мной.
— Пока! — я говорю. — Не забывайте! —
Я говорю: — Почаще здесь бывайте! —
пока товарищи прощаются со мной.

Мои товарищи по лестнице идут,
и поднимаются их голоса обратно.
Им надо долго ехать — до Арбата,
до набережной, где их дома ждут.

Я здесь живу. И памяты давно
мне все приметы этой обстановки.
Мои товарищи стоят на остановке,
и долго я смотрю на них в окно.

Им летний дождик брызжет на плащи,
и что-то занимается другое.
Закрыв окно, я говорю: — О горе,
входи сюда, бесчинствуй и пляши!

Мои товарищи уехали домой,
они сидели здесь и говорили,
еще восходит над столом дымок —
это мои товарищи курили.

Но вот приходит человек иной.
Лицо его покойно и довольное.
И я смотрю и говорю: — Довольно!
Мои товарищи так хороши собой!

Он улыбается: — Я уважаю их.
Но вряд ли им удастся отличиться.
— О, им еще удастся отличиться
от всех постылых подвигов твоих.

Удачам все завидуют твоим —
и это тоже важное искусство,
и все-таки другое есть Искусство,—
мои товарищи, оно открыто им.

И снова я прощаюсь: — Ну, всего
хорошего, во всем тебе удачи!
Моим товарищам не надобно удачи!
Мои товарищи добьются своего!

БОГ

За то, что девочка Настасья
добро чужое стерегла,
босая бегала в ненастье
за водкою для старика,—

ей полагался бог красивый
в чертоге, солнцем залитом,
щеголеватый, справедливый,
в старинном платье золотом.

Но посреди хмельной икоты,
среди убожества всего
две почерневшие иконы
не походили на него.

За это — вдруг расцвел цикорий,
порозовели жемчуга,
и раздалось, как хор церковный,
простое имя жениха.

Он разом вырос у забора,
поднес ей желтый медальон
и так вполне сошел за бога
в своем величье молодом.

И в сердце было свято-свято
от той гармошки гулевой,
от вин, от сладкогласья свата
и от рубашки голубой.

А он уже глядел обманно,
платочек газовый снимал
и у соседнего амбара
ей плечи слабые сминал...

А Настя волос причесала,
взяла платок за два конца,
а Настя пела, причитала,
держала руки у лица.

«Ах, что со мной ты понаделал,
какой беды понатворил!
Зачем ты в прошлый понедельник
мне белый розан подарил?»

Ах, верба, верба, моя верба,
не вянь ты, верба, погоди.
Куда девалась моя вера —
остался крестик на груди».

А дождик солнышком сменялся,
и не случилось ничего,
и бог над девочкой смеялся,
и вовсе не было его.

* * *

Вот звук дождя как будто звук домбры —
так тренькает, так ударяет в здания.
Прохожему на площади Восстанья
я говорю: — О, будьте так добры.

Я объясняю мальчику: — Шали.—
К его курчавой головенке никну
и говорю: — Пусти скорее нитку,
освободи зеленые шары.

На улице, где публика галдит,
мне белая встречается собака,
и взглядом понимающим собрата
собака долго на меня глядит.

И в магазине, в первом этаже,
по бледности я отличаю скрягу.
Облюбовав одеколону склянку,
томится он под вывеской «Тэже».

Я говорю: — О, отвлекись скорей
от жадности своей и от подагры,
прибери богатые подарки
и отнеси возлюбленной своей.

Да, что-то не везет мне, не везет.
Меж мальчиков и девочек пригожих
и взрослых, чем-то на меня похожих,
мороженого катится возок.

Так прохожу я на исходе дня.
Теней я замечаю удлинье,
а также замечаю удивленье
прохожих, озирающих меня.

1957

ЗАКЛИНАНИЕ

Не плачьте обо мне! Я проживу —
счастливой нищей, доброй каторжанкой,
озябшею на севере южанкой,
чахоточной да злой петербуржанкой
на малярном юге проживу.

Не плачьте обо мне! Я проживу —
той хромоножкой, вышедшей на паперть,
тем пьяницей, поникнувшим на скатерть,
и этим, что малюет божью мать,
убогим богомазом проживу.

Не плачьте обо мне! Я проживу —
той грамоте наученной девчонкой,
которая в грядущести нечеткой
мои стихи, моей рыжея челкой,
как дура будет знать,— я проживу.

Не плачьте обо мне! Я проживу —
сестры помилосердней милосердной,
в военной бесшабашности предсмертной,
да под звездой моею и пресветлой —
уж как-нибудь, а все ж я проживу!

КЛЯНУСЬ

Тем летним снимком: на крыльце чужом,
как виселица, криво и отдельно
поставленном, не приводящем в дом,
но выводящем из дому. Одета
в неистовый сатиновый доспех,
стесняющий огромный мускул горла,
так и сидишь, уже отбив, допев
труд лошадиный голода и горя.
Тем снимком. Слабым острием локтей
ребенка с удивленно улыбкой,
которой смерть влечет к себе детей
и украшает их черты уликой.
Тяжелой болью памяти к тебе,
когда, хлебая безвоздушность горя,
от задыхания твоих тире
до крови я откашливала горло.
Присутствием твоим: крала, несла,
брала себе тебя и воровала,
забыв, что ты — чужое, ты — нельзя,
ты — богово, тебя у бога мало.
Последней исхудалостью той,
любившею тебя крысиным зубом.
Благословенной родиной святой,
забывшею тебя в сиротстве грубом.
Возлюбленным тобою не к добру
вседобрый африканцем небывалым,
который созерцает детвору.
И детвору. И Тверским бульваром.
Твоим печальным отдыхом в раю,
где нет тебе ни ремесла, ни муки, —
клянусь убить Елабугу твою.
Елабугой твоей, чтоб спали внуки.
Старухи будут их стращать в ночи,
что нет ее, что нет ее, не зная:
«Спи, мальчик или девочка, молчи,
ужо придет Елабуга слепая».
О, как она всей путаницей ног
припустится ползти, так скоро, скоро.
Я опущу подкованный сапог
на щупальцы ее без приговора.
Утяжелив собой каблук, носок,
в затылок ей — и продержат подольше.
Детеньшей ее зеленый сок
мне острым ядом опалит подошвы.
В хвосте ее созревшее яйцо
я брошу в землю, раз земля бездонна,
ни словом не обмолвясь про крыльцо
Марининога смертного бездомья.
И в этом я клянусь. Пока во тьме,
зловоньем ила, жабами колодца,
примеривая желтый глаз ко мне,
убить меня Елабуга клянется.

ОЗНОБ

Хвораю, что ли, — третий день дрожу,
как лошадь, ожидающая бега.
Надменный мой сосед по этажу
и тот вскричал:
— Как вы дрожите, Белла!

Но образумьтесь! Станный ваш недуг
колеблет стены и сквозит повсюду.
Моих детей он воспаляет дух
и по ночам звонит в мою посуду.

Ему я отвечала:

— Я дрожу
все более — без умысла худого.
А впрочем, передайте этажу,
что вечером я ухожу из дома.

Но этот трепет так меня трепал,
в мои слова вставлял свои ошибки,
моей ногой приплясывал, мешал
губам соединиться для улыбки.

Сосед мой, перевесившись в пролет,
следил за мной брезгливо, но без фальши.
Его я обнадежила:
пролог
вы наблюдали. Что-то будет дальше?

Моей болезни не скучал сюжет!
В себе я различала, с чувством скорбным,
мельканье диких и чужих существ,
как в капельке воды под микроскопом.

Все тяжелей меня хлестала дрожь,
вбивала в кожу острые гвоздочки.
Так по осине ударяет дождь,
наказывая все ее листочки.

Я думала: как быстро я стою!
Прочь мускулы несутся и режутся!
Мое же тело, свергнув власть мою,
ведет себя свободно и развязно.

Оно все дальше от меня! А вдруг
оно исчезнет вольно и опасно,
как ускользает шар из детских рук
и ниточку разматывает с пальца?

Все это мне не нравилось.
Врачу
сказала я, хоть перед ним робела:
— Я, знаете, горда и не хочу
сносить и впредь непослушанье тела.

Врач объяснил:
— Ваша болезнь проста.
Она была б и вовсе безобидна,

но ваших колебаний частота
препятствует осмотру — вас не видно.

Вот так, когда вибрирует предмет
и велика его движений малость,
он зрительно почти сведен на нет
и выглядит как слабая туманность.

Врач подключил свой золотой прибор
к моим приметам неопределенным,
и острый электрический прибор
охладил меня огнем зеленым.

И ужаснулись стрелка и шкала!
Взыграла ртуть в неистовом подскоке!
Последовал предсмертный всплеск стекла,
и кровь из пальцев высекли осколки.

Встревожся, добрый доктор, оглянись!
Но он, не озадаченный нимало,
провозгласил:
— Ваш бедный организм
сейчас функционирует нормально.

Мне стало грустно. Знала я сама
свою причастность к этой высшей норме.
Не уместаясь в узости ума,
плыл надо мной ее чрезмерный номер.

И, многозначной цифрою мытарств
наученная, нервная система,
пробившись, как пружины сквозь матрац,
рвала мне кожу и вокруг свистела.

Уродующий кисть огромный пульс
всегда гудел, всегда хотел на волю.
В конце концов казалось: к черту! Пусть
им захлебнусь, как Петербург Невую!

А по ночам — мозг наострится, ждет.
Слух так открыт, так взвинчен тишиною,
что скрипнет дверь иль книга упадет,
и — взрыв! и — все! и — кончено со мною!

Да, я не смела укротить зверей,
в меня вселенных, жрущих кровь из мяса.
При мне всегда стоял сквозняк дверей!
При мне всегда свеча, вдруг вспыхнув, гасла!

В моих зрачках, нависнув через край,
слезы светлела вечная громада.
Я — все собою портила! Я — рай
растлила б грозным неуютом ада.

Врач выписал мне должную латынь,
и с мудростью, цветущей в человеке,
как музыку по нотным запятым,
ее читала девушка в аптеке.

И вот теперь разнежен весь мой дом
целебным поцелуем валерьяны,

и медицина мятным языком
давно мои зализывает раны.

Сосед доволен, третий раз подряд
он поздравлял меня с выздоровленьем
через своих детей и, говорят,
хвалил меня пред домоуправленьем.

Я отдала визиты и долги,
ответила на письма. Я гуляю,
особо, с пользой делая круги.
Вина в шкафу держать не позволяю.

Вокруг меня — ни звука, ни души.
И стол мой умер и под пылью скрылся.
Уставили во тьму карандаши
тупые и неграмотные рыльца.

И, как у побежденного коня,
мой каждый шаг медлителен, стреножен.
Все хорошо! Но по ночам меня
опасное предчувствие тревожит.

Мой врач еще меня не уличил,
но зря ему я голову морочу,
ведь все, что он лелеял и лечил,
я разом обожгу иль обморозу.

Я, как улитка в костяном гробу,
спасаюсь слепотой и тишиною,
но, поболев, пощекотав во лбу,
рога антенн воспрянут надо мною.

О звездопад всех точек и тире,
зову тебя, осьпьясь! Пусть я сгину,
подрагивая в чистом серебре
русалочьих мурашек, жгущих спину!

Ударь в меня, как в бубен, не жалея,
озноб, я вся твоя! Не жить нам розно!
Я — балерина музыки твоей!
Щенок озябший твоего мороза!

Пока еще я не дрожу, о нет,
сейчас о том не может быть и речи.
Но мой предупредительный сосед
уже со мною холоден при встрече.

1962

СКАЗКА О ДОЖДЕ

*в нескольких эпизодах,
с диалогами и хором детей*

Посвящается Е. Евтушенко

1

Со мной с утра не расставался Дождь.
— О, отвяжись! — я говорила грубо.
Он отступал, но преданно и грустно
вновь шел за мной, как маленькая дочь.

Дождь, как крыло, прирос к моей спине.
Его корила я:
— Стыдись, негодник!
К тебе в слезах взывает огородник!
Иди к цветам!
Что ты нашел во мне?

Меж тем вокруг стоял суровый зной.
Дождь был со мной, забыв про все на свете.
Вокруг меня приплясывали дети,
как около машины поливной.

Я, с хитростью в душе, вошла в кафе.
Я спряталась за стол, укрытый нишей.
Дождь за окном пристроился, как нищий,
и сквозь стекло желал пройти ко мне.

Я вышла. И была моя щека
наказана пощечиною влаги,
но тут же Дождь, в печали и отваге,
омыл мне губы запахом щенка.

Я думаю, что вид мой стал смешон.
Сырым платком я шею обвязала.
Дождь на моем плече, как обезьяна, сидел.
И город этим был смущен.

Обрадованный слабостью моей,
он детским пальцем щекотал мне ухо.
Сгущалась засуха. Все было сухо.
И только я промокла до костей.

2

Но я была в тот дом приглашена,
где строго ждали моего привета,
где над янтарным озером паркета
всходила люстры чистая луна.

Я думала: что делать мне с Дождем?
Ведь он со мной расстаться не захочет.
Он наследит там. Он ковры замочит.
Да с ним меня вообще не пустят в дом.

Я строго объяснила: — Доброта
во мне сильна, но все ж не безгранична.
Тебе ходить со мною неприлично. —
Дождь на меня смотрел, как сирота.

Ну, черт с тобой, — решила я, — иди!
Какой любовью на меня ты пролит?
Ах, этот странный климат, будь он проклят! —
Прощенный Дождь запрывал впереди.

3

Хозяин дома оказал мне честь,
которой я не стоила. Однако,
промокшая всей шкурой, как ондатра,
я у дверей звонила ровно в шесть.

Дождь, притаившись за моей спиной,
дышал в затылок жалко и щекотно.

Шаги — глазок — молчание — щеколда.
Я извинилась: — Этот Дождь со мной.

Позвольте, он побудет на крыльце?
Он слишком влажный, слишком удлинённый
для комнат.
— Вот как? — молвил удивлённый
хозяин, изменившийся в лице.

4

Признаться, я любила этот дом.
В нем свой балет всегда вершила легкость.
О, здесь углы не ушибают локоть,
здесь палец не порежется ножом.

Любила все: как медленно хрустят
шелка хозяйки, затененной шарфом,
и, более всего, плененный шкафом —
мою царевну спящую — хрусталь.

Тот, в семь румянцев розовевший спектр,
в гробу стеклянном, мертвый и прелестный.
Но я очнулась. Ритуал приветствий,
как опера, станцован был и спет.

5

Хозяйка дома, честно говоря,
меня бы не любила непременно,
но робость поступить не современно
чуть-чуть мешала ей, что было зря.

— Как поживаете? (О, блеск грозы,
смиранный в тонком горлышке гордочки!)
— Благодарю, — сказала я, — в горячке
я провалилась, как свинья в грязи.

(Со мной творилось что-то в этот раз.
Ведь я хотела, поклонившись слабо,
сказать:

— Живу хоть суетно, но славно,
тем более что снова вижу вас.)

Она произнесла:

— Я вас браню.

Помилуйте, такая одаренность!

Сквозь дождь! И расстоянья отдаленность! —

Вскричали все:

— К огню ее, к огню!

Когда-нибудь, во времени другом,
на площади, среди музыки и брани,
мы б свидетеля могли при барабане,
вскричали б вы:

«В огонь ее, в огонь!»

За все! За Дождь! За после! За тогда!
За чернокнижье двух зрачков чернейших,
за звуки с уст, за косточки черешен,
летающие без всякого труда!

Привет тебе! Нацель в меня прыжок.
Огонь, мой брат, мой пес многоязыкий!
Лижи мне руки в нежности великой!
Ты — тоже Дождь! Как влажен твой ожог!

— Ваш несколько причудлив монолог, —
проговорил хозяин уязвленный. —
Но, впрочем, слава поросли зеленой!
Есть прелесть в поколение молодом.

— Не слушайте меня! Ведь я в бреду! —
просила я. — Все это Дождь наделал.
Он целый день меня казнил, как демон.
Да, это Дождь вовлек меня в беду.

И вдруг я увидала — там, в окне,
мой верный Дождь один синел и плакал.
В моих глазах двумя слезами плавал
лишь след его, оставшийся во мне.

6

Одна из гостей, протянув бокал,
туманная, как голубь над карнизом,
спросила с неприязнью и капризом:
— Скажите, правда, что ваш муж богат?

— Богат ли он? Не знаю. Не вполне.
Но он богат. Ему легка работа.
Хотите знать один секрет? — Есть что-то
неизлечимо нищее во мне.

Его я научила колдовству —
во мне была такая откровенность, —
он разом обратит любую ценность
в круг на воде, в зверька или траву.

Я докажу вам! Дайте мне кольцо.
Спасем звезду из тесноты колечка! —
Она кольца мне не дала, конечно,
в недоуменье отстранив лицо.

И, знаете, еще одна деталь —
меня влечет подохнуть под забором.
(Язык мой так и воспялялся вздором.
О, это Дождь твердил мне свой диктант.)

7

Все, Дождь, тебе припомнится потом!
Другая гостья, голосом глубоким,
осведомилась:
— Одаренных богом
кто одаряет? И каким путем?

Как погремушкой, мной гремел озноб:
Приходит бог, преласков и превесел,
немного старомоден, как профессор,
и милостью ваш осеняет лоб.

А далее — летите вверх и вниз,
в кровь разбивая локти и колени

о снег, о воздух, об углы Кваренги,
о простыни гостиниц и больниц.

Василия Блаженного, в зубах,
тот острый купол помните? Представьте —
всей кожей об него!
Да вы присядьте! —
она меня одернула в сердцах.

8

Тем временем, для радости гостей,
творилось что-то новое, родное:
в гостиную впускали кружевное,
серебряное облако детей.

Хозяюшка, прости меня, я зла!
Я все лгала, я поступала дурно!
В тебе, как на устах у стеклодува,
явился выдох чистого стекла.

Душой твоей насыщенный сосуд,
дитя твое, отлитое так нежно!
Как точен контур, обводящий нечто!
О том не знала я, не обессудь.

Хозяюшка, звериный гений твой
в отчаянье вседенном и всенощном
над детищем твоим, о, над сыночком
великой поникает головой.

Дождь мои губы звал к ее руке.
Я плакала:
— Прости меня! Прости же!
Глаза твои премудры и пречисты!

9

Тут хор детей возник невдалеке:
«Ах, так сложилось время —
смешинка нам важна!
У одного еврея —
хе-хе — была жена.

Его семья корпела
над тягостным трудом,
чтоб выросла копейка
величиною с дом.

О, капелька металла,
созревшая, как плод!
Ты солнышком вставала,
украсив небосвод.

Все это только шутка,
наш номер, наш привет.
Нас весело и жутко
растит двадцатый век.

Мы маленькие дети,
но мы растем во сне,
как маленькие деньги,
окрепшие в казне.

В лопатках — холод милый
и острия двух крыл.
Нам кожу алюминий,
как изморозь, покрыл.

Чтоб было жить не скучно,
нас трогает порой
искусствочко, искусство,
ребеночек чужой.

Родителей оплошность
искупим мы. Ура!
О, пошлость, ты не подлость,
ты лишь уют ума.

От боли и от гнева
ты нас спасешь потом.
Целуем, королева,
твой бархатный подол!»

10

Лень, как болезнь, во мне смыкала круг.
Мое плечо вело чужую руку.
Я, как птенца, в ладони грела рюмку.
попискивал ее открытый клюв.

Хозяюшка, вы ощущали грусть
над мальчиком, заснувшим спозаранку,
в уста его, в ту алчущую ранку,
отравленную проливая грудь?

Вдруг в нем, как в перламутровом яйце,
спала пружина музыки согбенной?
Как радуга — в бутоне краски белой?
Как тайный мускул красоты — в лице?

Как в Сашеньке — непробужденный Блок?
Медведица, вы для какой забавы
в детеныше влюбленными зубами
выщелкивали бога, словно блох?

11

Хозяйка налила мне коньяка:
— Вас лихорадит. Грейтесь у камина. —
Прощай, мой Дождь!
Как весело, как мило
принять мороз на кончик языка!

Как крепко пахнет розой от вина!
Вино, лишь ты ни в чем не виновато.
Во мне расщеплен атом винограда,
во мне горит двух разных роз война.

Вино мое, я твой заблудший князь,
привязанный к двум деревьям склоненным.
Разъединяй! Не бойся же! Со звоном
меня со мной пусть разлучает казнь!

Я делаюсь все больше, все добрей!
Смотрите — я уже добра, как клоун,

вам в ноги опрокинутый поклоном!
Уж тесно мне среди окон и дверей!

О господи, какая доброта!
Скорей! Жалеть до слез! Пасть на колени!
Я вас люблю! Застенчивость калеки
бледнит мне щеки и кривит уста.

Что сделать мне для вас хотя бы раз?
Обидьте! Не жалейте, обижая!
Вот кожа моя — голая, большая:
как холст для красок, чист простор для ран!

Я вас люблю без меры и стыда!
Как небеса, круглы мои объятия.
Мы из одной купели. Все мы братья.
Мой мальчик Дождь! Скорей иди сюда!

12

Прошел по спинам быстрый холодок.
В тиши раздался страшный крик хозяйки.
И ржавые, оранжевые знаки
вдруг выплыли на белый потолок.

И — хлынул Дождь! Его ловили в таз.
В него впивались веники и щетки.
Он вырывался. Он летел на щеки,
прозрачной слепотой вставал у глаз.

Отплясывал нечаянный канкан.
Звенел, играя в хрустале воскресшем.
Дом над Дождем уж замыкал свой скрежет,
как мышцы обрывающий капкан.

Он, с выраженьем ласки и тоски,
паркет марая, полз ко мне на брюхе.
В него мужчины, поднимая брюки,
примерившись, вбивали каблук.

Его скрутили тряпкой половой
и выжимали, брезгуя, в уборной.
Гортанью, вдруг охрипшей и убогой,
кричала я:
— Не трогайте! Он мой!

Он был живой, как зверь или дитя.
О, вашим детям жить в беде и муке!
Слепые, тайн не знающие руки
зачем вы окунули в кровь Дождя?

Хозяин дома прошептал:
— Учти,
еще ответишь ты за эту встречу! —
Я засмеялась:
— Знаю, что отвечу,
Вы безобразны. Дайте мне пройти.

13

Пугал прохожих вид моей беды.
Я говорила:
— Ничего. Оставьте.
Пройдет и это.—

На сухом асфальте
я целовала пятнышко воды.

Земли перекалялась нагота,
и горизонт вокруг города был розов.
Повергнутое в страх Бюро прогнозов
осадков не сулило никогда.

1962

ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ

Я думала в уютный час дождя:
а вдруг и впрямь, по логике наитья,
заведомо безнравственно дитя,
рожденное вблизи кровопролитья.

В ту ночь, когда святой Варфоломей
на пир созвал всех алчущих, как тонок
был плач того, кто между двух огней
еще не гугенот и не католик.

Еще птенец, едва поющий вздор,
еще в ходьбе не сведущий козленок,
он выжил и присвоил первый вздох,
изъятый из дыхания казненных.

Сколь, нянюшка, ни пестуй, ни корми
дитя твое цветочным млеком меда,
в его опрятной маленькой крови
живет глоток чужого кислорода.

Он лакомка, он хочет пить еще,
не знает организм непросвещенный,
что ненасытно, сладко, горячо
вкушает дух гортани пресеченной.

Повадился дышать! Не виноват
в религиях и гибелях далеких.

И принимает он кровавый чад
за будничную выгоду для легких.

Не знаю я, в тени чьего плеча
он спит в уюте детства и злодейства.
Но и палач, и жертва палача
равно растлят незрячий сон младенца.

Когда глаза откроются — смотреть,
какой судьбою в нем взойдет отравы?
Отрадой — умертвить? Иль умереть?
Или корыстно почернеть от рабства?

Привыкшие к излишеству смертей,
вы, люди добрые, бранитесь и боритесь,
вы так бесстрашно нянчите детей,
что и детей, наверно, не боитесь.

И коль дитя расплачется со сна,
не беспокойтесь — малость виновата:
немного растревожена десна
молочными резцами вурдалака.

А если что-то глянет из ветвей,
морозом жути кожу задевая, —
не бойтесь! Это личики детей,
взлелеянных под сенью злодеянья.

Но, может быть, в беспамятстве, в раю,
тот плач звучит в честь выбора другого,
и хрупкость беззащитную свою
оплакивает маленькое горло

всем ужасом, чрезмерным для строки,
всей музыкой, не объясненной в нотах.
А в общем-то — какие пустяки!
Всего лишь — тридцать тысяч гугенотов.

1967

ЛЕОНИД ВОРОНИН

р. 1937, Москва

Будучи студентом Московского педагогического института, был под следствием в 1959 году за сочинение «антисоветских стихов». Однако после голодовки был освобожден. В 1965 году начал писать реферат диссертации о Тихонове и Гумилеве под руководством Синявского и за несколько дней до его ареста, ничего не зная о его нелегальных публикациях под псевдонимом, посвятил ему в каком-то смысле инстинктивно пророческое стихотворение. По рассказам Леонида, друзья звали его «Алик». Когда через 25 лет (!) вернувшийся в Москву Синявский надписывал ему книгу «Прогулки с Пушкиным», он спросил: «А как вам надписать — как Леониду или как Алику?» Л. Воронин выступает сейчас как литературный критик и оказал неоценимую помощь по составлению этой антологии.

А. Д. СИНЯВСКОМУ

Еще тоски неистовство,
как тайный плод, донашивать,
но прорастает исподволь
ваш крест, Андрей Донатович.

О, слово заговорное —
в нем для меня, наверно,

ВИОЛЕТТА ИВЕРНИ

р. 1937

В СССР была театроведом, к тому же довольно широко печаталась. В 1973 году покинула СССР, обосновалась в Париже, долгое время была ответственным секретарем журнала «Континент». Книга избранных стихотворений В. Иверни вышла в Париже в 1977 году.

* * *

Незрячим пальцем по стеклу,
Незрячим пальцем —
Рисунок яростный в углу,
Зародыш слова...
Так ведьма, износив метлу,
Глаза скитальцам
Сном завораживает.
Так
я жду Другого.

Аптечный воздух за окном
Пахуч и вкрадчив,
Пьянит виною и вином
Судьба-полова...
Кто за диковинным руном
Спешит, как мальчик,
Кто ждет пощечины;
А я —
я жду Другого.

Изменой полыхает лес
(Не сбейся, Мастер!)
Закат — пощечиной за спесь
Червя земного.
Овчинное руно небес —
Порфира власти —
Сквозь иероглиф на стекле:
Я жду Другого.

Того, кто, вставши на порог,
Не рвет завесы,
Кто не потребует в залог
Души и крова,
Кто исчезает, как пролог,
В начале пьесы,
Поняв: здесь ждут.
Здесь ждут всегда.
Всегда — другого.

ВЯЧЕСЛАВ ЛЕЙКИН

р. 1937

Родился, как пишет он в своей единственной книге «Образы и подобию» (1991), «в будущем Санкт-Петербурге» — и навсегда остался чистым представителем питерской школы. Приводимое стихотворение в его книгу не включено, оно взято из «Антологии Голубой Лагуны» К. Кузьминского.

* * *

Он был цирюльником. Он брил
Покойников в районном морге.
Не волочился и не пил.
Примерно жил в своей каморке.

По вечерам ходил в кино,
Читал старинные романы,
Смотрел подолгу сквозь окно —
Как будто ждал случайной манны,

Как будто думал — но о чем?
Кто будто верил (но не в бога),
Нельзя сказать: он был сычом,
Пожалуй, так — угрюм немного.

Он брил покойников. Вокруг —
Цветы, раскрашенные ленты,
Бесшумный праздник. От услуг
Его покорные клиенты

Не морщились. И кадыком
Не ерзали. Лежали ладом.

Наш мастер в качестве таком,
Довольный службой и окладом,

Провел лет десять, но когда
Два морга слили воедино,
Его уволили. Беда
Вошла в обитель нелюдима.

Куда деваться? Все одно, —
Коль ни наследства нет, ни ренты...
А по ночам в его окно
Ползли небритые клиенты.

Он брил их рыцарским мечом,
Водил, смеясь, по синей коже.
Как будто знал (но ни о чем),
Как будто верил (но во что же?)

О, парикмахерских уют!
Зеркал настенные озера!
Халаты белые снуют —
Все ярко, ароматно, споро.

Взор восхищенный не отнять
От собственных ушей и носа.
— Позвольте срезать эту прядь?
— Височки прямо или косо?..

Ты поражен, ты взят в полон,
Азарт мешая с обаяньем,
Льют на тебя одеколон
И понуждают к излишням.

Чему-то возразив с ленцой,
Уже сверкая, как светило,
Довольный собственным лицом,
Улыбку скромно прячешь в мыло.

Поняв, что невозможно жить,
Печально прошлое лобзая,
Наш друг устроился служить
Поближе к дому — на вокзале.

Но там, среди своих коллег,
С их маской, деланно-умильной,
Он был угрюм, как вешний снег
И молчалив, как склеп фамильный.

Не маскируя ни на миг
Свою ужасную натуру,
Не хуже прочих брил и стриг
И даже нажил клиентуру.

Однажды был он поражен —
Как бы минувшее воскресло:
Ввалился розовый пижон
В его разболтанное кресло.

— Папаша, подстриги, побрей!
Твой пациент не поскупится.
И только, знаешь, поскорей —
Сегодня надо торопиться!

Он был подвижен, как кино,
Он дергал левою щекою,
Косил в открытое окно
И на вопрос: «Не беспокою?»

Покрикивал и понукал.
Цирюльник глухо извинился,
Уставясь в глубину зеркал,
Он вдруг прекрасно изменился.

Как будто знал, откуда дрожь,
Как будто верил (но во что же?)
«А как бы этот был хорош
На тихом, на последнем ложе!»

Неясно дернулась рука.
Клиент не досказал глагола.
И бритва мягко вскрыла горло
Чуть-чуть повыше кадыка...

1967

СЛАВА ЛЕН

р. 1937

Автор поэтических, прозаических, драматических произведений, доктор наук и профессор, лауреат премии имени Владимира Даля (1985, Париж). Лидер литературного направления рецептуалистов; до последнего времени печатался преимущественно за границей.

* * *

Дождик-мжичка,
дождик-мужичок.
Сохнет мозг, но пухнет мозжечок.
Бредит мост, хоть пешим на коне!
Баба ахнет в сваю! — и конец.

Ябеда,
беды не навлеку.
Самому — толика на веку!
Ловок был, да лодка на боку.
радости — папуша табаку.

Разошлось богатство по грошу —
Не грожу без толку,
не грешу.
Без людей тоскуют деревья,
Но с людьми деревья — на дрова!

Вычитать! — вычитывать не в счет
Смысл зачина, чин или почет.
Чет, нечет — пристало в однорядь,
Чохом и творить, и вытворять!

По реке прорехи — острова.
В косточку и в жилу острога!
Но за белорыбицу — острог,
Справедлив, как водится, но строг.

То ли шить, не то ли — вышивать?
Трудно жить,
труднее выживать.
Потрунить над Богом не хоти!
Бор велик, на выбор не ахти.

Потому на свету гольтьба.
Потону — большая голова!
Запад и по тону не восход,
Да и смерть не выход, а исход.

ЛЕВ ЛЕНЧИК

р. 1937

Одессит; отец поэта погиб на войне. Закончил Саратовский филфак. В 1977 году уехал в США, печатался в эмигрантской периодике. В 1993 году стал одним из участников коллективного сборника прозы «Кукушкино гнездо», вышедшего в России.

СМЫСЛ ОРЕХА (фрагмент)

Отпустить бы мне седую бороду —
никогда не носил бороды,
пойти по родимому городу
без жилья, без воды, без еды.

Покружить над помойной воронкою,
подобрать почти целый орех,
и разгрызть в нем ту стеночку тонкую,
что меня отделяет от всех.

ЛЕВ ЛОСЕВ

р. 1937

Сын поэта, другого автора этой антологии — Владимира Лифшица. Закончил филфак Ленинградского университета. До 1975-го время от времени печатался в советской прессе как автор детских стихов, переводчик, журналист. С 1976 года живет в США, преподавая в Дармутском колледже, где получил ученую степень Мичиганского университета. На Западе опубликовал два поэтических сборника «Чудесный десант» (1985) и «Тайный советник» (1987). Автор работы о поэтике Бродского. В эпоху гласности его стихи стали часто пересекать океан, появляясь в ведущих литературных журналах. В его поэзии есть чеканность и суровость — свойство, характерное для «ленинградской школы», сохранившей петербургские традиции, которые не смогла разрушить революция.

ИСТОЛКОВАНИЕ ЦЕЛКОВА

Ворс веревки и воск свечи.
Над лицом воздвижение зада.
Остальное — поди различи
среди пламени, мрака и чада.

Лишь зловеще еще отличим
в черной памяти-пламени красок
у Целкова период личин,
«лярв» латинских, по-нашему «масок».

Замещая ландшафт и цветы,
эти маски в прорехах и дырах
как щиты суеты и тщеты
повисали в советских квартирах.

Там безглазо глядели они,
словно некие антиконы,
как летели постылые дни,
пился спирт, попирались законы.

Но у кисти и карандаша
есть движение к циклу от цикла.
В виде бабочки желтой душа
на холстах у Целкова возникла.

Из личинок таких, что — хана,
из таких, что не дай Бог, приснится,

посмотри, пролезает она
сквозь безглазого глаза глазницу.

Здесь присела она на гвозде,
здесь трассирует молниевидно.
На свече, на веревке, везде.
Даже там, где ее и не видно.

ЧИТАЯ МИЛОША

Нам звуки ночные давно невдомек,
но вы замечали: всегда
в период упадка железных дорог
слышней по ночам поезда.
И вот он доносится издали —
в подушку ль уйдешь от него.
Я книгу читал одного старика,
поляка читал одного.
Пустынный простор за окном повторял
описанный в книге простор,
и я незаметно себя потерял
в его рассуждение простом.
И вот он зачем-то уводит меня
в пещеры платоновой мрак,
где жирных животных при свете огня
рисует какой-то дурак.
И я до конца рассуждение прочел,
и выпустил книгу из рук,
и слышу — а поезд еще не прошел,
все так же доносится стук.
А мне-то казалось, полночи, никак

не меньше, провел я в пути,
но даже еще не успел товарняк
сквозь наш полустанок пройти.
Я слышу, как рельсы гудят за рекой,
и шпалы, и моста настил,
и кто-то прижал мое горло рукой
и снова его отпустил.

МЕСТОИМЕНЕНИЯ

Предательство, которое в крови,
предать себя, предать свой глаз и палец,
предательство распутников и пьяниц,
но от иного Боже сохрани.

Вот мы лежим. Нам плохо. Мы больной.
Душа живет под форточкой отдельно.

Под нами не обычная постель, но
тухляк-тюфяк, больничный перегной.

Чем я, больной, так неприятен мне,
так это тем, что он такой неряха:
на морде пятна супа, пятна страха
и пятна черт чего на простыне.

Еще толчками что-то в нас течет,
когда лежим с озябшими ногами,
и все, что мы за жизнь свою нагнали,
теперь нам предъявляет длинный счет.

Но странно и свободно ты живешь
под форточкой, как ветка, снег и птица,
следя, как умирает эта ложь,
как больно ей и как она боится.

ЮННА МОРИЦ

р. 1937, Киев

В моей «преждевременной автобиографии» (1962) есть такой эпизод о студенческой вечеринке 1954 года: «И вдруг одна восемнадцатилетняя студентка мрачным голосом чревоушительницы сказала: — Революция умерла.— И тогда поднялась другая восемнадцатилетняя девушка с круглым детским лицом, толстой рыжей косой и, сверкая раскосыми татарскими глазами, крикнула: — Как тебе не стыдно? Революция не умерла. Революция больна, революции надо помочь.— Эту девушку звали Белла Ахмадулина. Она вскоре стала моей женой». Фамилии первой девушки я не упомянул в те годы по причинам конспирации. К тому же я смягчил ее выражение, а оно было гораздо грубей и беспощадней: «Революция сдохла, и ее труп смердит». Эта девушка была Юнна Мориц. Она всегда была такой же резкой, не выбирающей выражений и, может быть, поэтому не потеряла совесть, но потеряла многих друзей, не выдержавших ее безапелляционных суждений. Эта беспощадность чувствуется и в ее стихах. «Война — тебе! Чума — тебе, Убийца, выведший на площадь звезду, чтоб зарубить, как лошадь». Это стихотворение «Памяти Тициана Табидзе», которое когда-то я «пробил» сквозь цензуру в «Юности», вызвало гнев в ЦК, но не очень понравилось своей жестокостью и многим либералам. Мориц — блестящий мастер, хотя и несколько книжный, холодноватый. Нежность у Мориц прорывается в ее всегда замечательных стихах о матери и в прекрасных трогательных детских стихах.

ПАМЯТИ ТИЦИАНА ТАБИДЗЕ

На Мцхету падает звезда,
Крошатся огненные волосы,
Кричу нечеловечьим голосом —
На Мцхету падает звезда!..

Кто разрешил ее казнить,
Кто это право дал кретину
Совать звезду под гильотину?
Кто разрешил ее казнить,

И смерть на август назначал,
И округлял печатью подпись?
Казнить звезду — какая подлость!
Кто смерть на август назначал?

Война — тебе! Чума — тебе,
Убийца, выведший на площадь
Звезду, чтоб зарубить, как лошадь.
Война — тебе! Чума — тебе!

На Мцхету падает звезда.
Уже не больно ей разбиться.

Но плачет Тициан Табидзе...
На Мцхету падает звезда...

1963

ОСЕНЬ

Чем безнадежней, тем утешнее
Пора дождей и увяданья,
Когда распад, уродство внешнее —
Причина нашего страданья.

Тоска, подавленность великая
Людей тиранит, словно пьяниц,
Как если б за углом, пиликаая,
Стоял со скрипкой оборванец!

Но явлена за всеми бедствами,
За истреблением обличья
Попытка нищенскими средствами
Пронзить и обрести величье.

Во имя беспощадной ясности
И оглушительной свободы
Мы подвергаемся опасности
В определенный час природы.

Когда повальны раздевания
Лесов и, мрак усугубляя,
Идут дожди, до основания
Устройство мира оголяя.

Любови к нам — такое множество,
И времени — такая бездна,
Что только полное ничтожество
Проглотит это безвозмездно.

1967

**ИЗ СТИХОВ
О БОЛЕЗНИ МАТЕРИ**

1

Белизна, белизна поднебесная,
Ты для тела, как видимо, тесная,
А душе — как раз, в пору самую.
Это я, господь, перед мамою
Это я, господь, перед мамою
Заслоняю вход, не пускаю в рай,
Будь он проклят, сей голубой сарай!
Хоть воткни меня гадом в трещину,—
Не отдам тебе эту женщину!
Буду камни грызть, буду волком выть,
Не отдам — и все! Так тому и быть!

2

Мама — веточка, мама — синичка.
На спине голубая косичка.
Я покорно врачу помогаю,
На носилки плечом налегаю,
Я владею иглой и пинцетом,
Я собою владею при этом:
Мама! Веточка! Мама! Синичка!
На спине голубая косичка.
Кровь не пахнет, не пахнет нисколько.
Алым обручем в небо — и только,
Был — и нету, родился — и умер.
Только крика прощального зуммер:
Мама! Веточка! Мама! Синичка!
На спине голубая косичка!
В рай — тринадцать холодных ступенек.
Ни бессмертья, ни славы, ни денег,—
Не хочу! Поняла! Отвергаю!
На носилки плечом налегаю.
Не нужна мне небесная манна,
Мне нужна моя смертная мама!
Мы поселимся в тихоньком месте.
Мы умрем — только рядышком, вместе.

3

Отче Город! Прими мою скорбь.
Не сочти эту скорбь за уродство.
В нашей комнате — призрак сиротства.
Отче Город! Прими мою скорбь.

Ты совсем не исчадьё греха.
Ты — огромный Дворец пионеров,
Собирающий после уроков
Школу-студию прозы-стиха.

Голубь Город! Прими мою скорбь,
Ты совсем — не исчадьё пороков,
Ты — отдушина после уроков,
Голубь Город! Прими мою скорбь.

О, пожизненный запах жилья —
Дух еды и младенческой кожи,
Это кто, на зайчонка похожий?
Это — смертная мама моя.

Это — нежности синяя мгла,
Это — дымчатой птицы круженье.
Это — счастье лежать без движенья
В оболочке родного тепла,—

Ни обиды, ни боли извне.
Сладковато немеет лодыжка,
И молочного зуба ледышка
Выпадает бескровно во сне.
Брате Город, сородич земли!
Пощади мой очаг невеликий
От смертельно печальной музыки...

4

Беда моя огромна,
И стужа тяжела.
Полумертва, бездомна —
Ни крыши, ни крыла.

Один под голым небом
Березовый престол,—
Дождем залит, засыпан снегом
Заброшенный мой стол.

Толкается страничка
В ледовые ветра...
Мама, веточка! Мама, синичка!
Мама, снегурочка! Не тронь костра!
Не тронь костра. Так полежи.
Каплей в песке, ниткой в куске.
Не тронь костра. Так полежи.
Красной слезой у меня на щеке,
Алой слезой, медли-и-тельской.

Не тронь костра. Так полежи.
Помнишь? В грамматике есть падежи.
Ты — мой родительный. Ты — мой

винительный.

Не тронь костра. Так полежи.
Может быть, смерть сократит грабежи —
И весна придет! И весна придет!
И фасоль взойдет! И горох взойдет!
Упадет звезда в колодезь.
Упадет росинка сверху.
Где вы, где вы, птички стай?
О, как трудно не растаять
Старенькому человеку
До того, как вы вернетесь!
О, как трудно не растаять...

А я посижу на больничном дворе.
 Я молитву сложу на больничном дворе:
 Дерево-дерево! Озеро-озеро!
 Пока еще нет синевы-желтизны
 На мамином тельце,
 Покуда не поздно,
 Подайте, подайте кусочек весны!
 Весна придет! Весна придет!
 Фасоль взойдет! Горох взойдет!
 Огуречик-человечек
 Пупыришками пойдет.
 Я не верю, я не верю,
 Я не верю в то, что мама
 Без клубники-земляники
 Навсегда от нас уйдет.
 Ясны звезды над полями.
 Ветер-снег над тополями.
 Грудь сугроба у стены.
 Подайте дитяти кусочек весны!

5

Прилетела птичья стая
 В разноцветной одежке.
 На дворе трава густая,
 Словно шерсть на медвежонке,
 На зеленом, на зеленом,
 На совсем молоденьком.
 Ходят люди, ходят звери,
 Слава, слава ходикам!
 Будет город стоять
 И деревня стоять!
 В голубой высоте
 Будет солнце сиять!
 Будет груша родить
 И картошка родить!

А тем более пшеница...
 Мама учится ходить!

Не падай, слезка,
 Чтоб не стало скользко.

1968

* * *

Страна вагонная, вагонное терпенье,
 вагонная поэзия и пенье,
 вагонное родство и воровство,
 ходьба враскачку, сплетни, анекдоты,
 впадая в спячку, забываешь — кто ты,
 вагонный груз, людское вещество,
 тебя везут, жара, обходчик в майке
 гремит ключом, завинчивая гайки,
 тебя везут, мороз, окно во льду,
 и непроглядно — кто там в белой стуже
 гремит ключом, затягивая туже
 все те же гайки... Втянутый в езду,
 в ее крутые яйца и галеты,
 в ее пейзажи — забываешь, где ты,
 и вдруг осатанелый проводник
 кулачным стуком, окриком за дверью,
 тоску и радость выдыхая зверью,
 велит содрать постель!.. И в тот же миг,
 о верхнюю башкой ударясь полку,
 себя находишь — как в стогу иголку,
 и молишься, о Боже, помоги
 переступить зиянье в две ладони,
 когда застынет поезд на перроне
 и страшные в глазах пойдут круги.

1987

МАЙЯ НИКУЛИНА

р. 1937, Свердловск

Чистый голос, исходящий из глубины ее тайных женских страданий. Пользуется огромным уважением у читателей Урала.

* * *

Судьбу не пытаю. Любви не прошу.
 Уже до всего допросилась.
 Легко свое бедное тело ношу —
 до чистой души обносилась.

До кухонной голой беды дожила.
 Тугое поющее горло
 огнем опалила, тоской извела,
 до чистого голоса стерла.

АЛЕКСЕЙ РЕШЕТОВ

р. 1937

Поэт из Перми, уровнем своей преданности к поэзии доказывающий, что в поэзии нет провинции.

МИХАЙЛОВСКОЕ

И не видать в окне Россию,
 Всю погруженную во мглу,
 И только перышком гусиным
 Скрипит сверчок в своем углу.
 И льются нянюшкины песни,
 Как будто слезы по щеке,
 И драгоценных женщин перстни
 Горят на пушкинской руке.
 И на одной из стен лачужки
 В глухом неведомом краю
 Тень стихотворца тенью кружки
 Пьет участь горькую свою.

ВЛАДИМИР УФЛЯНД

р. 1937, Ленинград

Стал известен на Западе в 1965 году благодаря публикациям в самиздатском альманахе «Синтаксис». Один из авторов «Антологии Голубой Лагуны» К. Кузьминского, друг Иосифа Бродского. В поэзии — мастер абсурда, ложной антитезы, всего того, что оставили поэтам города на Неве обэриуты, на которых Уфлянд, впрочем, не особенно похож.

* * *

Уже давным-давно замечено,
 как некрасив в скафандре Водолаз.

Но несомненно
 есть на свете Женщина,
 что и такому б отдалась.

Быть может,
 выйдет из воды он прочь,
 обвешанный концами водорослей,
 и выпадет ему сегодня ночь,
 наполненная массой удовольствий.
 (Не в этот,
 так в другой такой же раз.)

Та Женщина отказывала многим.
 Ей нужен непременно Водолаз,
 резиновый,
 стальной,
 свинцовоногий.

Вот ты,
 хоть не резиновый,
 но скользкий.
 И отвратителен,
 особенно нагой.

Но женщина ждет и Тебя,
 поскольку
 ей нужен именно такой.

1958

РАССКАЗ ЖЕНЩИНЫ

Помню, в бытность мою девицею
 мной увлекся начальник милиции.
 Смел. На каждом боку по нагану.
 Но меня увлекли хулиганы.

А потом полюбил прокурор.
 Приглашал с собой на курорт.
 Я была до тех пор домработницей.
 Обещал, что сделает модницей.
 Подарил уже туфли черные.
 Но меня увлекли заключенные.

А потом я жила в провинции,
 населенной сплошь украинцами.
 И меня, увидав возле дома,
 полюбил секретарь райкома.
 Подарил уже туфли спортивные.
 Но меня увлекли беспартийные.

1959

* * *

Вот и Никифор, наконец, жених.
 Держа в одной руке ромашку,
 он молвит:

— Близок тот желанный миг,
 когда жена мне выгладит рубашку.
 Того, что дожил до своей поры,
 я час назад ещё не признавал.
 Был в чайной. Вышел. Знаю: комары,

но вижу Добрых Духов карнавал,
 вокруг своей оси крутящихся
 для удовольствия таких как я трудящихся.
 Я понял: это есть тот самый знак,
 что вся Республика велит вступить мне в брак.
 А Духи делали движения кадрили
 и (что гораздо невообразимей)
 они, казалось, молча говорили:
 — Не для того ль был взят отцами Зимний,
 чтобы у тружеников всех села
 подругой жизни Женщина была?

(Я знаю женщин: с виду — женственны,
 а все другие признаки — божественны.)
 Так понял Духов я.

И вот итог:
 стою, держа в одной руке цветок.
 Хоть не такие у меня замашки,
 чтобы держать в руках цветы ромашки.
 Поселок спит.
 Оркестры символические
 в моей душе гремят как симфонические.
 1965

ГЕННАДИЙ ШПАЛИКОВ

1937, Сегежа, Карелия — 1974, Москва

Незадолго до смерти он был у меня дома, задержался допоздна. Хотя об этом не сказал мне ни слова, я почувствовал, что идти ему некуда, и предложил переночевать. Он спал сном одинокого обиженного ребенка, а утром радостно играл с моим сыном Петей, но потом вдруг заторопился, словно стесняясь, что его неприкаянность может помешать чужому уюту. Его обожгло, даже сожгло морозом, оледенившим наши души после многообещающей «оттепели». «Безвременье вливало водку в нас», — написал о людях, не выдержавших такого жестокого похолодания, Высоцкий. Бывший суворовец, Шпаликов был романтиком оттепели. Оскорбленный, оскорбленный фильм по сценарию Шпаликова «Застава Ильича» сейчас кажется возвышенно-сентиментальным, а его обвиняли в «очернительстве». Шпаликов не выдержал обмана оттепелью, не выдержал отъездов многих друзей туда, куда нельзя зайти переночевать, если некуда идти. Стихотворение «У лошади была грудная жаба» в ином варианте исполнял А. Галич, многие приписывали весь текст ему.

* * *

У лошади была грудная жаба,
 Но лошадь, как известно, не овца,
 И лошадь на парады приезжала
 И маршалу об этом ни словца...

А маршала сразила скарлатина,
 Она его сразила наповал,
 Но маршал был выносливый мужчина
 И лошади об этом не сказал

1959

ПЕСНЯ ИЗ ПЬЕСЫ

Лают бешено собаки
 В затухающую даль,
 Я пришел к вам в черном фраке,
 Элегантный, как рояль.
 Было холодно и мокро,
 Жались тени по углам,
 Пропливали слезы стекла,
 Как герои мелодрам.
 Вы сидели на диване,
 Походили на портрет.
 Молча я сжимал в кармане
 Леденящий пистолет.
 Расположен книзу дулом

Сквозь карман он мог стрелять,
 Я все думал, думал, дума —
 Убивать, не убивать?
 И от сырости осенней
 Дрожи я сдержать не мог,
 Вы упали на колени
 У моих красивых ног.
 Выстрел, дым, сверкнуло пламя,
 Ничего уже не жаль.
 Я лежал к дверям ногами —
 Элегантный, как рояль.

* * *

Ах, утону я в Западной Двине
 Или погибну как-нибудь иначе,
 Страна не пожалеет обо мне,
 Но обо мне товарищи заплачут.

Они меня на кладбище снесут,
 Простят долги и старые обиды,
 Я отменяю воинский салют,
 Не надо мне гражданской панихиды.

Я никогда не ездил на слоне,
 Имел в любви большие неудачи,
 Страна не пожалеет обо мне,
 Но обо мне товарищи заплачут.

ДМИТРИЙ АВАЛИАНИ

р. 1938

Модернист до экстремизма, притом мастеровитый. Склонен считать, что Хлебников — равен Шекспиру. Если исходить из выбранной Авалиани поэтики, наверное, так и нужно считать.

* * *

А может быть, вся жизнь —
коротенький эпиграф
над уймой строк, неписанных пока,
но чтоб запелась первая строка,
свои мы тут разыгрываем игры,
где зрители шумят, скандируя — давай,
где форвард носится по полю угорелый,
и две строки, что ты еще не сделал,
уже звенят, как утренний трамвай.

АНАТОЛИЙ БЕРГЕР

р. 1938

Ленинградский поэт, в 1969 году осужденный по статье 70-й на четыре года мордовских лагерей и еще на два — сибирской ссылки. В 1990-м издал первую книгу — «Подсудимые песни»; приводимое стихотворение входило в число тех, за которые его и посадили в брежневские лагеря.

* * *

Народовольческую дурь
Забудь, великая держава,
Побалагань, побалагурь,
Твои ведь сила, власть и право.

Ничье перо уж не клеймит
Устои нового порядка,
Сей грандиозный монолит
Не тронет пуля иль взрывчатка.

Нет прокламаций, баррикад,
Нет эшафота над толпою,
Пустеет грозный каземат
Над невской сумрачной водою.

Колоколам уж не греметь
И церковь изредка маячит,
Монарх, преображенный в медь,
Навек теперь в былое скачет.

Все, как написано в трудах
Вождей, и доводы на всё есть —
Сперва за совесть, не за страх,
Потом за страх, а не за совесть.

Зато ни штормов и ни бурь,
Хоть лагеря, расстрелы, пытки...
Что ж не ропщи, ведь ропот — дурь,
России прошлой пережитки.

1966

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ

1938, Москва — 1980, там же

Отец был полковником и в 1947—1948 годах служил в советском гарнизоне на территории ГДР. Может быть, именно там, в давящей гарнизонной скуке, за стенами которой была опять же серая скука, в душе мальчика родился будущий певец-бунтарь, которому было суждено стать насмешливо-издевательским протестом во плоти против превращения всей жизни в гарнизонную. Высоцкий пришел к Юрию Любимову, как Хлопуша пришел к Пугачеву, — душа одного мятежника искала другого мятежника-главаря. Наверно, поэтому Высоцкий так потрясающе сыграл Хлопушу — в цепях, ввивающихся в его полууголое тело в лохмотьях, на сцене, превратившейся в наклонную плаху. Почему Высоцкий мечтал сыграть роль своего друга — бывшего заключенного, а ныне золотоискателя Вадима Туманова, который несколько раз бежал из лагерей? Да потому, что вся жизнь самого Высоцкого была попыткой побега от гарнизонщины. Он был хорош во многих ипостасях: и как матрос, накалывающий на штык билеты перед входом в Театр на Таганке на спектакле «Десять дней, которые потрясли мир», и как Гамлет в джинсах, хрипло поющий под гитару пастернаковские стихи «Я один. Все тонет в фарисействе». Но самой его лучшей ролью была роль беглеца, сыгранная им в жизни. Это была именно роль, потому что он не мог убежать по-настоящему и навсегда. Он не был гениальным поэтом. Но он был гениальным беглецом из несвободы в свободу песен, которые он пел. Те, кто не мог быть свободен даже в личной жизни, обожали его, как самих себя, воплощенных в нем.

В этом — разгадка невероятной прижизненной и еще более невероятной посмертной популярности Высоцкого, чья могила вот уже столько лет засыпана сугробами цветов. Когда во время гастролей в Набережных Челнах он шел после театра в гостиницу, на подоконниках рабочих общежитий стояли десятки магнитофонов, игравших его песни. Его приглашали к себе на дачи члены Политбюро, которым тоже хотелось почувствовать себя иллюзорно свободными, хотя бы на часок-полтора. Как Зощенко песни, он создал целую сатирическую галерею наших родных советских морд, близкую к персонажам Олега Целкова, и в то же время в нем билась есенинская исповедальная жилка. Высоцкого хоронили более чем сто тысяч москвичей, когда он погиб, надорвавшись от водки, наркотиков и под иллюзорной тяжестью иллюзии свободы, в которую ему так и не удалось по-настоящему убежать.

* * *

Марине Влади

И снизу лед, и сверху — маюсь между:
Пробить ли верх иль пробуравить низ?
Конечно, всплыть и не терять надежду,
А там — за дело, в ожиданьи виз.

Лед надо мною — надломись и тресни!
Я весь в поту, как пахарь от сохи.
Вернусь к тебе, как корабли из песни,
Всё помня, даже старые стихи.

Мне меньше полувека, сорок с лишним.
Я жив, двенадцать лет тобой храним.
Мне есть что спеть, представ перед Всевышним,
Мне есть чем оправдаться перед Ним.

БАНЬКА ПО-БЕЛОМУ

Протопи ты мне баньку по-белому,
я от белого свету отвык.
Угорю я, и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.

Протопи ты мне баньку, хозяйюшка,
Раскалю я себя, распалю,
На пологе у самого краюшка
Я сомненья в себе истреблю.

Разомлею я до неприличности,
Ковш холодный — и все позади.
И наколка времен культа личности
Засинеет на левой груди.

Протопи, протопи ты мне баньку по-белому,
Чтоб я к белому свету привык.
Угорю я, и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.

Сколько веры и лесу повалено,
Сколь изведено горя и трасс.
Как на левой груди профиль Сталина,
А на правой — Маринка в анфас.

Эх, за веру мою беззаветную
Сколько лет отдыхал я в раю,
Променял я на жизнь беспросветную
Несусветную глупость мою.

Протопи, протопи ты мне баньку по-белому,
Я от белого света отвык.

Угорю я, и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.

Вспоминаю, как утречком раненько
Брату крикнуть успел: «Пособи!»
И меня два красивых охранника
повезли из Сибири в Сибирь.

А потом на карьере ли, в топи ли,
Наглотавшись слезы и сырца,
Ближе к сердцу кололи мы профили,
Чтоб он слышал, как бьются сердца.

Не топи ты мне баньку по-белому,
Я от белого свету отвык.
Угорю я, и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.

ОХОТА НА ВОЛКОВ

Рвусь из сил и из всех сухожилий,
Но сегодня — опять, как вчера, —
Обложили меня. Обложили!
Гонят весело на номера!

Из-за елей хлопчут двустволки —
Там охотники прячутся в тень.
На снегу кувыркаются волки,
Превратившись в живую мишень.

Идет охота на волков. Идет охота!
На серых хищников — матерых и щенков.
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты.
Кровь на снегу и пятна красные флажков.

Не на равных играют с волками
Егеря, но не дрогнет рука!
Оградив нам свободу флажками,
Бьют уверенно, наверняка.

Волк не может нарушить традиций.
Видно, в детстве, слепые щенки,
Мы, волчата, сосали волчицу
И всосали — «Нельзя за флажки!»

И вот — охота на волков. Идет охота!
На серых хищников — матерых и щенков.
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты.
Кровь на снегу и пятна красные флажков.

Наши ноги и челюсти быстры.
Почему же — вожак, дай ответ —
Мы затравленно мчимся на выстрел
И не пробуем через запрет?

Волк не может, не должен иначе,
Вот кончается время мое.
Тот, которому я предназначен,
Улыбнулся — и поднял ружье...

Идет охота на волков. Идет охота!
На серых хищников — матерых и щенков.
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты.
Кровь на снегу и пятна красные флажков.

Я из повиновения вышел
За флажки — жажда жизни сильней!
Только сзади я радостно слышал
Удивленные крики людей.

Рвуть из сил и из всех сухожилий,
Но сегодня — не так, как вчера!
Обложили меня! Обложили!
Но остались ни с чем егеря!

Идет охота на волков. Идет охота!
На серых хищников — матерых и щенков!
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты.
Кровь на снегу и пятна красные флажков.

КОНИ ПРИВЕРЕДЛИВЫЕ

Вдоль обрыва, по-над пропастью,
по самому по краю
Я коней своих нагайкою стегаю — погоняю,—
Что-то воздуху мне мало,
ветер пью, туман глотаю,
Чую с гибельным восторгом — пропадаю!
Пропадаю!

Чуть помедленнее, кони,
чуть помедленнее!
Вы тугую не слушайте плеть!

Но что-то кони мне попали
привередливые,
И дожить не успел, мне допеть не успеть.

Я коней напою,
Я куплет допою,—
Хоть немного еще постою на краю?

Сгину я, меня пушинкой ураган сметет с ладони,
И в санях меня галопом
повлекут по снегу утром.
Вы на шаг неторопливый перейдите, мои кони!
Хоть немного, но продлите путь
к последнему приюту!

Чуть помедленнее, кони,
чуть помедленнее!
Не указчики вам кнут и плеть.
Но что-то кони мне попались
привередливые,
И дожить я не смог, мне допеть не успеть.

Я коней напою,
Я куплет допою,—
Хоть немного еще постою на краю?

Мы успели —
в гости к богу не бывает опозданий.
Что ж там ангелы поют
такими злыми голосами?
Или это колокольчик весь зашелся от рыданий?
Или я кричу коням,
чтоб не несли так быстро сани?

Чуть помедленнее, кони,
чуть помедленнее!
Умоляю вас вскачь не лететь!
Но что-то кони мне попались
привередливые,
Коль дожить не успел, так хотя бы допеть!

Я коней напою,
Я куплет допою,—
Хоть мгновенье еще постою
на краю...

ГАЛИНА ГАМПЕР

р. 1938, Павловск Ленинградской обл.

Всегда находившаяся вне литературных групп, ленинградка, не то чтобы незамеченная, но, я бы сказал, недозамеченная. Ей особенно удаются короткие стихи.

МЕДЕЯ

Какую руку отрубить —
Кого из двух детей убить?
Свобода — между двух огней,
И я седлаю двух коней.
Тебя предать — его спасти.
И нету третьего пути.

И нету
Сил.
И нету
Слов.
И для меня
Костер
Готов.

* * *
 Теперь и в похвалах, и в брани,
 И в снах, и просто в болтовне
 Из разных звукосочетаний
 Все чаще сочетанье «не».
 Не хватит сил, не верь, не рад.
 Не будет, нету, неприлично...

Как будто кто-то бьет в набат
 На пыльной площади столичной.

И я, теряя суть и толк,
 Уже почти сходя с ума,
 Твержу: не дом, не дым, не волк,
 Не ночь, не день, не я сама.

АЛЕКСАНДР ГОВОРОВ

р. 1938, пос. Тим Курской обл.

Поэт и прозаик, выпускник Литературного института. Первую книгу стихотворений выпустил в Курске в 1960 году — «Веснянка». Очень широко печатался в «застойные» годы, в чем не особенно виноват — его простодушная лирика казалась цензуре вполне безвредной. Но «безвредная» она не очень-то, как видно из публикуемого образца.

В ДЕРЕВНЕ

*Я и лошадь, я и бык...
 Из частушки*

Я в деревне Раково
 Нахлебался всякого,
 И дерьма, и эхма,
 Маменька родная...

Здесь лишился б и ума,
 То дерьмо глотая.

Сяду на завалину,
 Да свою
 Про ста-ри-ну:
 — Ай, спасибо Сталину,
 С меня сделал барыню:
 Я и лошадь,
 Я и бык,
 Я и баба,
 И мужик...

ЮРИЙ КАМИНСКИЙ

р. 1938, Кривой Рог Днепропетровской обл., Украина

Где только не работал — от Чукотки до родного города — Кривого Рога; там сейчас и трудится в качестве слесаря. Первую книгу стихотворений «Эти ночи» выпустил в Москве в 1990 году.

Во тьме веков теряется тот век,
 Та, не отмеченная гимном веха,
 Когда, как настоящий человек,
 Собака умерла за человека.

И если состоится Страшный суд,
 В день, когда трубный глас ворвется в уши,
 Я знаю, и собаку призовут
 На этот суд.

И дрогнут чьи-то души.

ГЕННАДИЙ КАПРАНОВ

1938, Казань — 1985

Родился в Казани и там же учился — сначала на филфаке университета, затем в инязе. Был разнорабочим, грузчиком, строителем, переводчиком с английского. Но работа чем-то и где-то была ему не по нутру. Постоянно он любил только поэзию и уважал ее как тяжкий, но любимый труд. Однако казанские издатели так и не дали ему возможности увидеть при жизни собственную книгу стихов. Геннадий успел напечатать всего несколько стихотворений. Поразительное, почти мистическое совпадение — у него было много стихов о грозе, и даже такая строчка: «И молния-стерва неожиданно блеснет» (цитирую по памяти). Летом 1985 года Геннадий стоял на берегу Камы, смотрел на реку, улыбался. Неожиданно в него ударила молния, убила. Так и похоронили его с улыбкой, которую молния навсегда остановила на его лице.

* * *

Не удивляйтесь, кто мне мил,
 Что иногда гляжу по-волчьи,
 Я очень долго всех любил,
 Спасибо, отучили сволочи.

И если ты играл на мне,
 тогда ты сволочь, будь уверен...
 А золото искать в дерьме —
 пусть есть оно — я не намерен.

Не надо сваливать на век
и на общественную хворость,
кто человек — тот человек,
а тот, кто сволочь, — просто сволочь.

ГЛАЗА

Профиль чуток и худ, как наган!
Красоту ты впила и впитала!
А глаза — это твой чистоган!
Два сокровища! Два капитала!

Я судьбу твою вижу на лбу.
Ты трагедию носишь в зачатъе.
Страшно мне за твою судьбу:
где сокровища — там и несчастья.

Сброд уродливый, мерзость и мразь,
обладатели храма и тряпок
тебя будут стараться украсть,
а другие такие же — спрятать.

Друг у друга из рук теребя,
драгоценное пальцами мажа,
они всю захватывают тебя,
не поняв, что сокровище, даже.

Что же делать с бесценностью глаз?
Я скажу тебе без промедленья,
чем-нибудь, как-нибудь, оба враз
уничтожь их! Им нет применения!

1968

* * *

Какою-то пугливой узостью
у всех болела голова,
и было не понять сперва,
что это — торжество ли ужаса
или же ужас торжества.

Слов я не помню в те года.
Молва — из скорбных междометий...
Мне шел пятнадцатый тогда...
А год-то шел пятьдесят третий.

Был черным красный край покрыт,
другие краски просто стерло,
и черной музыкой навзрыд
рыдали все радиогора.

Я, глаз слюнями не мочивший,
и настоящих слез не лил.
Я мало знал, я был мальчишкой
и так себе я говорил:

засунув руки по штанам,
пройдем в толпе других идущих.
Мы — люди мелкие, что нам
до жизни, смерти власть имущих!

1970

ЮРИЙ КАРАБЧИЕВСКИЙ

1938—1992, Москва

Жил в Москве до самого своего безвременного ухода из жизни; наибольшую известность принесла ему талантливая, хотя и жестокая книга «Воскресение Маяковского», вышедшая в 1985 году в Мюнхене и удостоенная премии имени Владимира Даля; в 1990 году книга переиздана в Москве. Прозник и литературовед, как поэт Карабчиевский при жизни был очень мало известен; единственный сборник стихотворений, «Прощание с друзьями», вышел в Москве в 1992 году — в нем портрет автора уже окружен черной рамкой, а при тираже в 500 экземпляров и вовсе стал раритетом. Высокая человеческая и поэтическая культура. Но с беспощадно раскритикованным им Маяковским его не сравнить.

* * *

Я приеду-пройду по Сущевскому валу
мимо прошлых занятий и бывших событий.
Изменяется к лучшему мало-помалу
мир, шипучий и мутный, как пена в корыте.

Где квартиру сдававший на час человек?
Где Полковник,
просивший полтинник за щетку?
Или Витька Печенин, в предпраздничный вечер
возле бани сплеча отбивавший чечетку?

Все пропало. Окончился дьявольский праздник.
Только тихая баня дымит по старинке.
Да натужливо крикает мой одноклассник —
коренастый мясник на Минаевском рынке.

1967

* * *

Ах, как холодно, ветрено, муторно!
Да и только ли это от ветра? —
Тяжек сон, одеяло полуторно,
боковая стена безответна.
Что сказать ей? Слова разбазарены,
позабыты моменты и сроки.
Не открыты причины испарины,
Корни зла, роковые истоки.
Даже тьма не мычит и не телится,
а уж свет — никуда не годится,
потому что любая безделица
забытьем и позором грозит.
Завтра, вместо привычного облика,
ахнет улица сталью излома.
И опустится на плечи облако —
потолком сумасшедшего дома.

1968

ВЛАДИМИР КОВЕНАЦКИЙ

1938—1986

Художник и поэт. Нужно отдать должное Э. Иодковскому, бережно собравшему его почти никому не известные стихи. Здесь нет границы между лукавой, лубочно-фантастической живописью и как бы примитивистскими, на самом же деле мудро-ироничными стихами. Его повесть о «Дяде Кеше», у которого на лысине однажды выросла вишня, своего рода апофеоз фантастического реализма — достойный ответ реализму «социалистическому», верные блюстители которого заставляли многие поколения ни в чем не повинных советских школьников зубрить «Вишню» Исаковского: «Путники в тени ее прилягут, Отдохнут в прохладе, в тишине, И, отведав сочных, спелых ягод, Может статься, вспомнят обо мне», — и т. д. Насколько же реалистичней дядя Кеша с его вишней посреди лысины, продающий урожай стаканами на Коптевском рынке! А сборник стихотворений Ковенацкого хоть и посмертно, но все же издан в Москве в 1992 году — «Бредоград».

ЛИХОБОРСКОЕ ДЕТСТВО

Я жил в закопченном бараке,
В туманном мире детских грез.
Сквозь песни пьяные во мраке
Стонал далекий паровоз.

Плыла колючая ограда
В закатной тусклой полосе.
Солдаты Рейха и Микадо
Маршировали по шоссе.

Кружились вихри снежной пыли,
Мерцали джунгли на окне,
И слышал я: того убили,
А ту раздели при луне.

БАЛЛАДА О СБОРЩИКАХ УТИЛЯ

Обрывки неба стыннут по канавам,
И сумрачно бровями шевеля,
По пустырям, загаженным и ржавым,
Проходит Яшка — сборщик утиля.

За ним идет его подруга Нюрка,
Вся в поисках железного дерьма,
На ней не шелк, не драп, не чернобурка,
Дырявый ватник, шали бахрома.

Везут на тачке ржавые останки
Косматый Яшка с Нюркою рябой
В утильсырьё. А вечером по пьянке
У них в каморке крик и мордобой.

И пляшут тени на фанерной стенке.
Так истово трудились не они ль?
Родитель Нюрки, ветхий дед Гасенкин
Для обороны выставил костыль.

И старый кот, абориген помойки
Пугливо щурит изумрудный взор.
Он знает, чем кончаются попойки,
И ускользает в темный коридор.

А утром вновь сутулая фигурка
Бредет мужчине мрачному вослед,
И воедино слиты: Яшка, Нюрка,
Паршивый кот и полумертвый дед.

СОЛДАТ

Он был убит. Влетел осколок
Под сердце — будто целил враг.
Размытый осенью проселок
Хранил его последний шаг.

Был кончен бой, и, без опаски
За плечи кинув теплый ствол,
Угрюмо глядя из-под каски,
К нему товарищ подошел.

Присев на корточки над мертвым,
Он молча вытащил на свет
Блокнот стихов, огрызок стертый,
Красивой женщины портрет.

* * *

Вот пришла весна опять,
Расцвела природа.
Снова некого обнять
В это время года.

Скоро буду все равно
Лысым, как коленка.
Жизнь похожа на кино
Студии Довженко...

* * *

Мне нравятся приемщики посуды.
Бесстрастные, как идолы, они
Ощупывают грубыми руками
Бутылок горлышки, среди них находят
Побитые иль импортные тотчас
И отставляют в сторону сурово.
На них халаты серые, как небо,
За ними возвышаются Нью-Йорки
Из ящичков, мерцающих стеклом.
Я с милой пил прекрасное вино,
Иль где-то на троих сообразили
Угрюмые пропойцы в подворотне —
Им все равно, приемщикам посуды.
Мне нравятся приемщики посуды —
Властители некрополей стеклянных,
Медлительные призраки похмелья,
Бесстрастные, как Вечный Судия.

СУМАСШЕДШИЙ

Прозвучал таинственно и нежно
На балконе голубиный стон.
В мантию закутавшись небрежно,
Император вышел на балкон.

Возле самодержца не стояли
Стражники с оружием под полой.
С набережной узкого канала
Дворник помахал ему метлой.

И, как провинившиеся духи,
Медленно с уходом темноты
Расползались пьяницы и шлюхи
И вконец охрипшие коты.

Наступила утренняя свежесть —
день и ночь связующая нить.
Сумасшедший добрый
самодержец
На рассвете вышел покурить.

* * *

Как золотые липы хороши
Меж зданьями Покровского бульвара!
Ко мне — я слышу запах перегара —
Подходят молодые алкаши:

«Папаша, где ближайший гастроном?» —
В их тоне слыша нотки уваженья,
Я объясняю местоположенье,
И вот они уходят за вином.

Стою, гляжу на липы, на закат.
Вот я уже для юношей «папаша».
Как все же быстро жизнь проходит наша,
И не поймешь, кто в этом виноват.

ЛЕОНИД ЛАТЫНИН

р. 1938, Приволжск Ивановской обл.

Серьезный, еще не распознанный временем прозаик. В стихах — та же самая углубленность, может быть, излишняя закодированность, препятствующая распознаванию. Угадывается влияние Георгия Иванова.

ДОЛГ

Грех говорить, но не хочется жить,
Нищим ходить и на почте служить.

В юности было легко не иметь,
То, что потом начинает звенеть.

В бронзе, кармане, курсисткой больной,
Целой страной и цыганской струной.

В зрелые годы мириться легко,
Что не всегда на столе молоко.

ДЯДЯ

Мой дядюшка намедни спятил:
Провозгласил в квартире вдруг,
Что не чиновник он, а дятел.
И в стену носом тук да тук.

Забрали дядю санитары,
А комната осталась мне.
Обои порваны и стары,
Портрет Барбюса на стене.

Обрел я — дядюшке спасибо —
Диван, два стула и комод.
Сюда я девку пригласил бы,
Но больно мерзкий я урод.

ПРО ДЯДЮ КЕШУ

У старика, у дяди Кеши,
Что любит забивать козла,
Среди седин на желтой плешу
Однажды вишня проросла.

По всем ботаники законам
Пустила корни, цвет дала,
Шумит фонтанчиком зеленым,
Жильцы дивятся: вот дела!

Нет счета ягодам багряным,
Вкусны и сладки, что твой мед.
На рынке Коптевском стаканом
Их дядя Кеша продает.

И ходит пьяный всю-то осень,
Купил бобровое пальто.
Хоть он старик и хворый очень,
На плешу дерево зато!

Тонкие книжки калеченых строк,
Рыночный, бедный сиротский итог.

Ну, а теперь, когда скрипнула дверь,
Первых утрат и великих потерь?

Что же, когда собираться пора?
Снова нора, или вон со двора?

Снова сначала, по ложке, шажком?
Снова молчком, да тишком, шепотком?

Снова, дурак! И пока не умрешь —
Если ты чашу с водою несешь.

Чашу? В пустыне? Один? По песку?
Чашу! Один! Повезло дураку.

Где-то за тем или этим холмом —
Старая песня — засыпанный дом.

Плачет дитя и кого-то зовет,
Мать и отца занесло у ворот.

Слышишь, дурак, этот крик в тишине?
В снежной лавине, пожаре, войне?

Плачет дитя и кого-то зовет,
Слепы глазницы и высохший рот.

Только попробуй устать и остыть,
Волчий последыш и волчая сыть.

Погань, заморыш, ублюдок седой!..
Чашу с живою и мертвой водой...

Плачет дитя в небесах над тобой,
Раненой цаплей и медной трубой.

Ну же хороший! Последний — шажком,
Снова молчком, шепотком и ползком...

1 ноября 1985

ЕВГЕНИЙ МАРКИН

1938, д. Клетино Рязанской обл. — 1988

Прославился и погубил свою жизнь в одночасье: в его стихотворении «Белый бакен» (1970), напечатанном в Москве, имелись строчки: «...машет вслед: — Салют, Исаич! — незнакомая братва». Литераторы перемигивались: «Какой это такой Исаич?» После того как на общем собрании рязанских писателей исключали из Союза писателей Солженицына и Маркин демонстративно воздержался от голосования, «Исаича» ему припомнили, измъгарили и загнали в могилу. Но «Белый бакен» в истории остался.

БЕЛЫЙ БАКЕН

По ночам,
когда все резче,
все контрастней свет и мгла,
бродит женщина у речки,
за околицей села.
Где-то гавкают собаки,
замер катер на бегу,
да мерцает белый бакен
там, на дальнем берегу.

Там, в избе на курьих ножках,
над пустыней зыбких вод,
нелюдимо, в одиночку
тихий бакенщик живет.
У него здоровье слабо —
что поделаешь, бобыль!
У него дурная слава —
то ли сплетня, то ли быль.

Говорят, что он бездельник.
Говорят, что он — того...
Говорят, что куча денег
есть в загашне у него.
В будний день, не тронув чарки,
заиграет песню вдруг...
И клюют седые чайки
у него, у черта, с рук!

Что ж глядишь туда, беглянка?
Видно, знаешь только ты,
как нелепа эта лямка,
как глаза его чисты,
каково по зыбким водам,

у признанья не в чести,
ставить вешки пароходам
об опасностях в пути!

Ведь не зря ему, свисая
с проходящего борта,
машет вслед: — Салют, Исаич! —
незнакомая братва.
И не зря,

боясь огласки,
ты от родичей тайком
так щедро была на ласки
с неприкаянным дружком.
Это только злые сводни
да угрозы старых свах
виноваты, что сегодня
вы на разных берегах.
Никуда ты не схоронишь
все раскаянье свое,
что польстилась на хоромы
да на сытое житье.

Ты теперь, как в райской пуще.
Что ж постыл тебе он вдруг —
твой законный,

твой непьющий
обходительный супруг?
Видно, просто сер и пресен
белый свет с его людьми
без былых раздольных песен,
без грустиночки в любви!

Сколько раз в такие ночи
ты кричала без стыда:
— Перевозчик, перевозчик,

отвези меня туда! —
 Перевозчик не услышит,
 не причалит, не свезет...
 Просто месяц, чуть колышась,
 легкой лодочкой плывет.

Все бы реки, все бы глубины
 ты бы вплавь переплыла!
 Лишь тому бы эти губы
 ты навеки отдала!
 Что ж так горько их кусаешь.
 коль давно не держит стыд?
 Все простит тебе Исаич,
 лишь измены не простит!

Никуда тебе не деться!
 Левый берег — он не твой!

Лучше б в девках засидеться!
 Лучше б в омут головой!
 Не страшна тебе расплата,
 да удерживает то,
 что в тебе

стучится свято
 невинное дите.

Ни надежд уже, ни права...
 Ты домой идешь с реки.
 Он на левом,
 ты на правом —
 две беды и две тоски!
 Как тут быть — сама не знаешь.
 Тут и пой, как в старину:
 — Не ходите, девки, замуж
 на чужую сторону!

О. РУДИК

р. 1938

О поэте многого не расскажешь — кроме того, что он рабочий-фрезеровщик из Ставрополя. Прочее рассказано в стихах.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

Рожала
 мать меня на нарах
 в бараке темном и сыром.
 Чадя,
 копилка догорала.
 И кто-то тюкал топором.
 Быть может,
 люльку он готовил,
 иль торопливо гроб
 творил.
 А за окном
 в метель
 с конвоем
 тридцать седьмой год
 уходил.
 Тайга,
 сурово сдвинув брови,
 сквозь ветром вздыбленную
 мглу
 смотрела,
 как в грязи и крови
 хрипела женщина в углу.
 И падал снег!..
 Чиста природа.
 Все в ней

творило торжество.
 Рождался
 новый враг народа
 как раз подлец
 под рождество.
 Матрац
 вонял мочой и кровью.
 А в пене затхлого
 тряпья,
 склоняясь молча к изголовью,
 стояла вся моя родня.
 В бреду металась
 Русь натужась.
 Но равнодушен был барак.
 Стоял в проемах окон
 Ужас,
 а за стеной
 дежурил
 мрак!..
 На нарах женщина рожала.
 Россия рядом с ней лежала,
 Рожала год тридцать восьмой,
 Кровавый год тридцать восьмой!..

 На нарах женщина рожала.

ГЕННАДИЙ РУСАКОВ

р. 1938, с. Ново-Гольское Воронежской обл.

В войну остался без родителей, сиротствовал, побирался с бабушкой по вагонам, потом был принят в суворовское училище. Как синхронист-переводчик с английского много лет проработал в США при ООН. Первый сборник стихотворений выпустил в Куйбышеве в 1960 году («Горластые ветры»), второй и третий — в 80-е годы в Москве.

* * *

У, как я лгал, когда меня, бывало,
упрашивали: «Ну-ка, расскажи...»
Скупая зрелость профессионала
жила в моей неизлечимой лжи.
Слепым чутьем, предшествующим знанию,
я понимал без горечи и зла,
сколь недостойна даже сострадания
моей судьбы обиденность была.
И вот я лгал:
про партизанку-маму,
про смерть родни в белгородских рвах...
И простота почти античной драмы

жила в моих кощунственных словах.
Но как тогда умели верить горю!
Тамбов лежал в разоре и пыли.
Слепцы слепцов водили, и тлетворен
казался дух беспамятной земли.
Канва времен секлась и обнажалась.
Рассвет входил преддверием конца.
...Я не стеснялся. Да, я бил на жалость.
Так пожалейте ж, граждане, мальчика!
За то, что мал и так немного стою,
что выбрал век себе не по плечу.
Я получал за творчество с лихвою.
Чего теперь уже не получу.

ОЛЕГ ЧУХОНЦЕВ

р. 1938, Павловский Посад Московской обл.

Закончил Московский областной пединститут. Начал печататься в журнале «Юность», где потом долгие годы подрабатывал литературными консультациями. С ранней юности у него была четкая профессиональная рука, великолепное знание поэзии, тонкость вкуса и к чужим стихам, и к своим. Всегда был прекрасным товарищем, и когда после нападок Хрущева на писателей и художников Полевой пытался избавиться от меня, то именно Чухонцев вместе с Дрофенко настояли, чтобы я не писал «заявления об уходе по собственному желанию», не помогал бы бюрократии в ее грязной игре. По лирической природе дарования Чухонцев весьма далек от прямых политических стихов, однако стихотворение «Чаадаев на Басманной» наткнулось на цензурные трудности, а чудом напечатанное «Повествование о Курбском» (1968) вызвало скандал, ибо идеологические надсмотрщики вынюхали в нем запах апологии диссидентства, связав это напрямую с бегством на Запад критика Аркадия Белинкова. У Чухонцева немедленно остановили его книгу в издательстве «Молодая гвардия». Пытаясь вступить за Чухонцева перед директором издательства, я только усугубил ситуацию, и набор был не без торжествующего злорадства рассыпан. Первая книга «Из трех тетрадей» у Чухонцева вышла, когда ему было уже тридцать восемь лет. С той поры, печатаясь очень редко, но всегда серьезно, с достоинством, Чухонцев прочно завоевал себе не подвергающийся сомнениям литературный авторитет. Не стремясь на так называемую общественную сцену, он пишет и ведет себя в классицистическом духе, оставаясь певцом сиротского эха тоски и свободы.

ПОПУГАЙ

Мой удел невелик. Полагаю,
Мне не слышать медовых речей.
Лучше я заведу попугая,
Благо стоит он тридцать рублей.

Обучу его разным наукам.
Научу его всяким словам.
На правах человека и друга —
Из него человека создам.

Корабли от Земли улетают.
Но вселенская бездна мертва,
Если здесь, на Земле, не хватает
Дорогого для нас существа.

Друг предаст, а невеста разлюбит,
Отойдет торжествующий враг,

И тогда среди ночи разбудит
Вдохновенное слово — дур-рак! —

Что ж, сердись, если можешь сердиться,
Да грошовой едой попрекай.
Бог ты мой, да ведь это же птица,
Одержимая тварь — попугай!

Близоруко взгляну и увижу:
Это он, заведенный с утра,
Подарил мне горячую крышу
И четыре холодных угла.

Так кричи над разбуженным бытом,
Постигай доброту по складам.
Я тебя, дуралея, не выдам.
Я тебя, дурака, не продам.

1961

ДЕЛЬВИГ

*Из трубки я выдул сгоревший табак,
Вздохнул и на брови надвинул колпак.*

А. Дельвиг

В табачном дыму, в полуночной тоске
Сидит он с погасшею трубкой в руке.

Отпетый пропойца, набитый байбак,
Сидит, выдувая сгоревший табак.

Прекрасное время — ни дел, ни забот,
Петух, слава богу, еще не клюет.

Друзья? Им пока не пришел еще срок —
Трястись по ухабам казенных дорог.

Любовь? Ей пока не гремел бубенец,
С поминок супруга — опять под венец.

Век минет, и даром его не труди,
Ведь страшно подумать, что ждет впереди.

Жизнь канет, и даром себя не морочь.
А ночь повторяется — каждую ночь!

Прекрасное время! Питух и байбак,
Я тоже надвину дурацкий колпак,

Подсяду с набитою трубкой к окну
И сам не замечу, как тихо вздохну.

Творец, ты бессмертный огонь сотворил:
Он выкурил трубку, а я закурил.

За что же над нами два века подряд
В ночах обреченные звезды горят?

Зачем же над нами до самой зари
В ночах обреченно горят фонари?

Сидит мой герой в полуночной тоске.
Холодная трубка в холодной руке.

И рад бы стараться — да нечем помочь,
Уж больно долга петербургская ночь.

1962

В ЗВЕРИНЦЕ

В тот день, когда бомбили Хелабруннер,
Засыпав город щебнем и золой,
В тот день, когда моления и ругань
Слились над обезумевшей землей

В едином вопле к богу или в бога,
В зверинце, на активной полосе,
Сошли с ума и умерли от шока
Двенадцать низкорослых шимпанзе.

Как некогда, воспрянувши из гроба,
Господень сын приял господень сан,

Так в смерти шимпанзе воскрес бонобо —
Разумный род разумных обезьян.

О, истина, темно твое служенье,
Покуда ты сомнительным родством
Пытаешь на разрыв и растяженье
И объявляешь высшим существом.

И если я под страшным подозреньем —
Отныне до неведомого дня, —
Прошу тебя, карай меня презреньем,
Но только не испытывай меня.

1963

ПРОЩАНИЕ С ОСЕНЬЮ

Я не помнил ни бед, ни обид,
Жил как жил — и во зло, и во благо.
Почему же так душу знобит,
Как скулит в непогоду дворняга?

Почему на окраине дней
Самых ясных и самых свободных
Так знобит меня отблеск огней
И гуденье винтов паровых?

Верно, в пору стоячей воды
Равновесия нет и в помине,
И предчувствие близкой беды
Открывается в русской равнине.

И присутствие снега и льда
Ощущается в зябком дыханье,
И такая вокруг пустота,
Что хоть криком кричи в мирозданье.

Никого... Я один на один
С прозябаньем в осенней природе,
В частокле берез и осин,
Словно пугало на огороде.

Мы срослись. Как река к берегам
Примерзает гусяною кожей,
Так земля примерзает к ногам,
И душа — к пустырям бездорожий.

Видит бог, наше дело труба!
Так уймись и не требуй огласки.
Пусть как есть торжествует судьба
На исходе недоброй развязки.

И, пытая вечернюю тьму,
Я по долгим гудкам паровоза,
По сиротскому эху пойму,
Что нам стоит тоска и свобода.

1965

* * *

Когда в поселке свет потух,
И прокричал со сна петух,
И прошумели ветви яблонь,

Я, вздрогнув, ощутил на слух
Тот пленный отчужденный дух,
Который был природой явлен.

Стояла ночь, и лай собак
Стихал, усугубляя мрак,
И, стихнув, не давал забыться,
И мысль неловко, кое-как
Толкалась, как ручей в овраг,
Ища, во что бы воплотиться.

Наверно, там, таясь за тьмой,
Досадная себе самой,
Она текла прямой и шире,
А я, ее исток прямой,
Я так хотел, чтоб голос мой
Как равный воплотился в мире.

Я так хотел найти слова
Бесхитростного естества,
Но чуждо, чуть касаясь слуха,
Шуршала мокрая трава,
Шумела черная листва —
Свидетельства иного духа.

И в кадке с дождевой водой
Дрожала ржавою звездой
Живая бездна мироздания.
Не я, не я, но кто другой,
Склоняясь над млечною грядой,
Оставил здесь свое дыханье?

1968

ЧААДАЕВ НА БАСМАННОЙ

Как червь, разрезанный на части,
Ползет — один — по всем углам,
Так я под лемехами власти
Влачусь, разъятый пополам.

В парах ли винного подвала,
В кругах ли просвещенных дам
Влачусь — где наша не бывала! —
А между тем — ни тут, ни там.

Да я и сам не знаю, где я,
Как будто вправду жизнь моя
Загадка Януса — идея
Раздвоенности бытия.

Когда бы знать, зачем свободой
Я так невольню дорожу,
Тогда как сам я — ни иотой —
Себе же не принадлежу.

Зачем в заносчивом смиреньи
Я мерюсь будущей судьбой,
Тогда как сам я — в раздвоеньи
И не бывал самим собой.

Да что я, не в своем рассудке?
Гляжу в упор — и злость берет:

Ползет, как фарш из мясорубки,
По тесной улице народ.

Влачит свое долготерпенье
К иным каким-то временам,
А в лицах столько озлобленья,
Что лучше не встречаться нам.

ДВОЙНИК

...А если это символ, то чего?

В тени платана, рядом с «Ореандой»,
сидел он у киоска и курил.
(Не знаю что, наверно, как обычно,
«Герцеговину Флор». Или «Памир».)
Цвели сады, и острый запах шторма
стоял, не просыхая, на бульваре,
и свежие газеты тяжелели
от йодистых паров и новостей.
Он докурил и развернул газету
так широко, что сделался невидим,
лишь сапоги с защитной фуражкой
обрамили невидимый портрет.
Но по рукам, по напряженной позе
я с ясностью увидел, что он думал
и даже что он думал (мысль была
отчетлива, вещественна, подробна
и зрима так, как если бы он был
индуктором, а я реципиентом,
и каждый оттиск на листе сознания
был впечатляющ): баржи затопить
цыплят разделать и поставить в уксус
разбить оппортунистов из костей
и головы бараньей сделать хаши
сактировать любимчика купить
цицматы и лаваш устроить чистку
напротив бани выселить татар
из Крыма надоели Дон и Волгу
соединить каналом настоять
к женитьбе сына чачу на тархуне
Венеру перед зеркалом продать
поднос пустить по кругу по подаркам
и угощать нацелить микроскоп
на рисовое зернышко отправить
на Темзу бочку паюсной икры
засохший гуталин подскипидарить
примерить в мавзолее саркофаг
с мощами Геловани как нажрут
так языки развяжут приказать
Лаврентию представить докладную
о языке Марр против Маркса вырвать
кого-чего кому-чему плевать
на хачапури главное цицматы
и чача больше чачи дать отпор
троцкистам вейсманистам морганистам
и раком поползут как луноход
на четвереньки встав от поясницы
достать змеиный яд и растирать
и растирать и чистить чистить чистить
до солнечного глянца — он сложил

газету и зачем-то огляделся,
и мы глазами повстречались... (Так
на парагипнотическом сеансе
посылкой встречной размыкают цепь.)
Он усмехнулся и усы пригладил.
И злость меня взяла — я подошел
и, выставив башмак, сказал: — Почистить! —
Он как-то странно на меня взглянул,
и молча поднял перст, и черным ногтем мне
показал: Закрыто на обед.

Каких нам знамений ни посылает
судьба, а мы и явного не ждем!
Стучало море, высекая искры,
и вспыхивала радуга то здесь,
то там на берегу, удар — и брызги!
...Но для чего же этот маскарад?
Тщеславье? Вряд ли. Мелкое позерство?
Едва ли. Это сходство, думал я,
не может быть случайностью. А если
намек, и очевидный? Но на что?

— Волна! — я услышал у парапета
и загадал. И ухнул водный столб!
Я пробежал, а парочку накрыло.
Ну и прекрасно, вот он и ответ.
Я должен быть лирическим поэтом,
а чистильщик пусть драит башмаки
или сдирает кожу с мирных граждан,
а двое любят. Каждому свое!

Как непосильно быть самим собой.
И он, и я — мы в сущности в подполье,
но ведь нельзя же лепестками внутрь
цвести — или плоды носить в бутоне!
Как непосильно жить. Мы двойники
убийц и жертв. Но мы живем. Кого же
в тени платана тень маньяка ждет
и шевелит знакомыми усами?
Не все ль равно, молчи. И ты был с ним?..
И я, и он — и море нам свидетель.
Ну что ж, еще волна, еще удар —
и радуга соленая, и брызги!..

ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ

р. 1938, пос. Бельнички Могилевской обл.

Был литейщиком, токарем, боксером, матросом торгового флота, геодезистом, инспектором лесов и вод в Белоруссии. Учился в Литинституте, ушел, не закончив его. Начал печататься в 1959 году. В начале своего поэтического пути был поддержан Межировым и Слуцким. В противовес многим поэтам послевоенного поколения, пошедшим по пути ассоциативных рифм, снова стал утверждать право матушки глагольной рифмы на жизнь; скептическому отношению к жизни противопоставил неистребимую жажду жизни. Однако, как сказал Межиров, «внимательный читатель услышит в этом пафосе меланхолическую ноту тревоги о прочности мироустройства».

МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ

Мой младший брат меня сильнее,
мой младший брат меня умнее,
мой младший брат меня добрее,
решительнее и храбрее.

Меня он в драке подомнет,
на свадьбе ночью перепьет,
а утром на реке обловит,
и первый душу мне откроет.

На сто моих боровиков
сто пятьдесят в его корзине.
Сто пятьдесят моих шагов
покроет сотнею в долине.

О, господи, чему ж я рад,
честолюбивый и ранимый?
Но ведь приехал брат любимый —
непобедимый младший брат.

* * *

Глаза рабочего Семенова
полны нездешнею тоской,
не флибустьерскою, зеленою,

а сероватой, костромской.
Он с непривычки просыпается
и ничего не говорит,
а палуба под ним качается —
впервой сезонника мутит.
На палубе — шаги Семенова.
Ему не платят за простой.
Исхлестан пеною соленою,
он тянет на плече брандспойт!
А шланг холодный вырывается,
и только пена, только звон,
и вот Семенов напрягается,
обкручен, как Лаокоон!
Заткните нос и стойте, муза.
Мы вышибаем дверь водой
в мужской! И вот вчерашний мусор
уже ныряет за кормой...
Когда рабочий день кончается
и радио на всю гремит,
Семенов смотрит, улыбается,
но ничего не говорит.

Забуду самое веселое.
Забуду, что была беда.
Глаза рабочего Семенова
я не забуду никогда.

МИХАИЛ ЮПП

р. 1938

Как и многие другие ленинградские поэты, эмигрировал в США — в 1980 году. По образованию искусствовед. Первую книгу стихотворений, избранное за 25 лет поэтической работы, выпустил в 1984 году — «Срезы».

**ПЕРЕЧИТЫВАЯ «ТАРАНТАС»
ГРАФА СОЛЛОГУБА**

Все в том же тряске тарантаса,
Не чуя почвы под собой,
Несется Русь в однообразье,
Накручивая строй на строй.

Кровавой новизной умылась,
Орла сменив на партбилет.
Нет, ничего не изменилось
За эту сотню с гаком лет.

Все та же поросль медвежья,
Все то же чванство и загул,
Все те же контуры безбрежья —
Тюрьма, призывы, караул...

Иван Васильевичи спяну
К Василь Иванычам идут.

И, выбрав тихую поляну,
Водяру стаканами жрут.

Раздухарясь, кольё воротят,
Деревней на деревню прут.
И удовольствие находят
В том, что себя не признают.

Подобострастно иностранца
Хлеб-солью зазывают в дом.
Себя самих же сторонятся
И дразнят — Ванькой-дураком.

Закручена судьба спиралью,
Несется тряский тарантас.
Граф Соллогуб, ты прав, каналья:
Свобода — это не для нас!..

ЛЕОНИД АРОНЗОН

1939—1970

Поэт подчеркнуто петербургский, верней, ленинградский. Остроумный и жизнерадостный Аронзон в припадке внезапной депрессии покончил с собой. В 1985 году в Иерусалиме вышло его «Избранное», в 1990 году в Ленинграде — книга «Стихотворения». Поэт, к несчастью, запоздавший к читателю.



Невысокое солнце над Биржей
о парадности северной лжет.
Лошадь шла, видя только булыжник
И подруги прошедшей помет.

Подчиняясь петербургской привычке,
Вся бледна, одинока лицом,
И как лошадь была неприлична,
А не то, чтобы зваться конем.

Катафалк ехал следом за нею,
на резиновых шинах катясь,
а я рядом шагал по панели,
оступаясь в дорожную грязь.

Однобокая двигалась лошадь,
на телеге стоял катафалк,
растянув бесконечные вожжи,
с двух сторон ее кучер шагал.

Что везла эта бледная кляча?
Я, догнав ее, в гроб заглянул,
и от ужаса медленно плача,
перед всем ощутил я вину.

Там лежала такая же лошадь,
Только больше, чем эта мертва,
и я, видом ее огорошась,
на ногах удержался едва.

Бедной жить на забытом погосте,
не вертеть за собой колесо.
Лошадь, если б когда-нибудь в гости
Вам свернуть бы ко мне на часок.

Я позвал бы Альтшулера к чаю
повальсировать с вами танго,
И Альтшулер бы, тих и печален,
спел бы хором для нас «Иго-го»!

ЮРИЙ ГАЛАНСКОВ

1939, Москва — 1972, с. Баранцево, Мордовия

Галансков в юности написал: «Да здравствует первый подснежник, Презревший опасность и холод!» Но холод был настолько крут, что все-таки убил многие подснежники. Притом Галансков оказался «подснежником» еще и в ином смысле — каторжном, сибирском. «Подснежниками» в Сибири исстари называли тела замерзших, что вытаскивают из сугробов зимой. Имена Галанскова и других поэтов его круга «выталяли» из-под грязных сугробов безвременья. Галансков учился в МГУ на истфаке, в Историко-архивном, но так ничего и не закончил. Пошли фельетоны в газетах, две отсидки в психушках. Галансков был среди тех, кто читал стихи у памятника Маяковскому в 60-е. Участвовал в правозащитном движении, издавал рукописный журнал «Феникс». Осужденный в 1967 году на семь лет, погиб в мордовском лагере.

КОНСТРУКЦИЯ

«Папа, снимите хомутики» —
маленький мальчик изрек.
«Видишь, сыночек, прутики;
а если еще поперек?..
Дай-ка тетрадку в клетку.
Здесь нарисуй

 глаза,
 птичку,
 солнце
 и ветку,

и на щеке — слеза...»

И на тетрадке в клетку
тихо рисует зверек

 птичку,
 солнце
 и ветку

в прутиках поперек...

* * *

Казалось, все те же уставшие лица,
Все те же мысли, и чувства все те ж.
А я утверждаю, что где-то таится
Огромный Всемирный мятеж!

Болезни, голод, усталость
Нависли над миром виной.
Я чувствую, что осталось
Последнее слово за мной.

Может быть, в прокаженные города
Я приду ненужным врачом
И пойму, что мир навсегда
Страдать и стрелять обречен.

Но, по-моему, нет и нет.
Посмотрите: какая заря!
И какой, посмотрите, рассвет
Ожидает меня — бунтаря!

* * *

Пройду сквозь запутанность лабиринтов —
Сорвать и отбросить решетки тюрьмы.
И крысы рванутся из рук лаборантов
К горлу творцов чумы.

И не зло, а музейную ношу —
Супербомбы, язвы и туберкулез —
Принесу и небрежно брошу
Пессимистам, мокрым от слез.

* * *

Ночь темна.

Луна.

Она, конечно, не одна.

И я совсем не одинок,

вот-вот — и прозвенит звонок.

Услышу в дверь условный стук,

Вскочу, схвачу пожатье рук,

надену плащ,

и мы уйдем

почти

под проливным дождем.

Уйдем,

и надо полагать —

идем кого-то низвергать.

1955(?)

УТРО

Горящим лезвием зарницы
восток поджег крыло вороны.
И весело запели птицы
в сетях немой и черной кроны.
Запутал ноги пешеходу
туман, нависший над травой...
И кто-то лез беззвучно в воду
огромной рыжей головой.

1955 (?)

МИХАИЛ ГРОБМАН

р. 1939, Москва

Художник, искусствовед, один из тех, кто покинул СССР с самым первым эшелонем третьей волны эмиграции — еще в 1971 году. Его юмор гораздо сложнее «черного» — это насмешка, но в счастливом браке с доброй улыбкой. Живет в Израиле.

* * *

В тот год советские дивизии
Войти хотели в Тель-Авив
Но не хватило им провизии
И провалился их прорыв

Бегли солдаты их голодные
Бросая пушки на бегу
А вслед евреи благородные
Им предлагали творогу

Но офицеры неподкупные
Блюда мундиров русских честь
В песках солдат теряя трупами
Не разрешали творог есть

В тех творогах зерно заложено
Всех сионистских зол и бед —

Так говорил партторг встревоженно
Печально глядя на обед

И растеряв в пустыне воинство
Пришли начальники в Москву
Их там приняли по достоинству
По чашке дали творогу

И с той поры в часы урочные
Тому кто носит партбилет
Дают еду кисломолочную
Для остальных ее уж нет

Зато доносит телевизия
Шум перестройки и призыв
И больше русские дивизии
Уже не ходят в Тель-Авив.

1990

ВЛАДИМИР ЗАХАРОВ

р. 1939, Казань

Физик, академик Российской Академии наук, первую книгу стихотворений, «Хор среди зимы», выпустил в 1991 году с предисловием Фазиля Искандера. Захаров — прежде всего поэт, а что стал он академиком и ученым с мировым именем, так то его личное дело. Во всяком случае, для составителя и читателей этой антологии.

РУССКАЯ СКАЗКА

Золотые топоры,
Алые гребни,
Петухи идут с горы
Мимо деревни,

Мели, меленка, мели
Мне соль на раны,
Петухи идут в пыли
В дальние страны.

Я же, заяц, на войну
Призван не буду,
Я судьбу свою кляню,
Мою посуду,

Мелись, меленка, мелись,
Лапкой босою,
Говорят, за этих лис
Сама смерть с косою,

Мимо пушку волокут,
И ползут обозы,
Петухи идут, поют,
А у зайцев слезы.

И глядит закат с тоской
На поля, на реку,
А над нашею рекой
Гремит «Кукареку»!

1987

ВИКТОР КОРОТАЕВ

р. 1939, Вологда

Народного склада поэт с живой фольклорной пульсирующей жилочкой, истинный друг Н. Рубцова не только посмертный, но и прижизненный.

ВОЛКИ

Около высохшей елки,
Возле пустынного пня
Топчутся старые волки,
Ждут-поджидают меня.
Ни изгойки к атаке,
Ни завыванья в тиши...
Спроста посмотришь —
Собаки
Самой безгрешной души.

Но не досужие толки —
В силе не главная статья.
Вот научились и волки
В добрые шкуры влезать.
Как убедительно встали,
Как отработали взгляд!
Чуть не виляют хвостами,
Чуть от любви не скулят.

Но на такую наживку
Мне попадаться грешно,
Я узнаю по загревку
Волчью породу
Давно.

Два стосковавшихся братца,
Зубы и когти — на ять.
Жутко вперед подвигаться,
Поздно назад отступать.

Сжать топорище заране,
Левую руку — к ножу:
Я на такие свиданья
С полой полой
Не хожу.

ВЯЧЕСЛАВ КУПРИЯНОВ

р. 1939, Новосибирск

Окончил Московский институт иностранных языков, откуда, видимо, и вынес свой насмешливый скептицизм. Начальник штаба верлибристов, их стратег и тактик, не раз писавший о составителе этой антологии и о сомнительной, с его точки зрения, плеяде шестидесятников, влезших в читательские души благодаря таким недостойным отмычкам, как рифмы. Его собственная поэтика отчасти копирует поэтическую манеру Эриха Фрида, австрийского верлибриста, которого Куприянов много переводит. А приводимое стихотворение, видимо, представляет футурологическую полемику с поколением составителя.

СУМЕРКИ ТЩЕСЛАВИЯ

Каждую ночь
мертвец
приподнимает гробовую плиту
и проверяет на ощупь:
не стерлось ли имя на камне?

ИРИНА ПИВОВАРОВА

1939—1986

Поэт и прозаик, первый сборник стихотворений выпустила в 1967 году — «Тихое и звонкое». Много писала для детей, а по «гражданской» своей специальности была художником по костюмам. «Взрослые» ее стихи при жизни поэтессы в печать так и не попали. А заслуживают они самого пристального внимания.

* * *

простите, что-то не пойму!
пустите, не пойму я что-то:
что засветилось в том дому,
где заколочены ворота?

зачем и кто раскрыл окно?
скрипучие фрамуги взвыли.
не надо! там лежит оно
под толстым ватным слоем пыли!

не троньте! там лежит оно
оно мертво и недвижимо
окаменевшее зерно,
само в себе неразрешимо.

зачем же надо ворошить
всю эту каменную мерзость,
когда всего лишь просто жить
и то уже большая дерзость?

РОМАН СОЛНЦЕВ

р. 1939, д. Кузкеево, Татарстан

Красноярский поэт, драматург, политический эссеист. Вместе с В. Астафьевым составил антологию русской, так называемой областной поэзии.

* * *

«Тяжела ты, шапка Мономаха!..» —
слышу среди всяческой лузги.
Ну а Мономахова рубаха?
Да и, прямо скажем, сапоги?
Ты попробуй, посиди, поцарствуй...
Что там шапка? Если в дверь скулят,
подними, попробуй, синий царский
двухпудовый исподлобный взгляд!
Иль, под звезды выскочив стальные,
в лай собак, без шубы, истомясь,
ты попробуй, подними Россию —
хмель опутал и налипла грязь...

1969

ИОСИФ БРОДСКИЙ

р. 1940, Ленинград

Отец Бродского был фотографом-профессионалом, служившим на флоте, мать переводчицей. Детство Бродского пришлось на ленинградскую блокаду, однако в отличие от некоторых стихотворцев он никогда не спекулировал на эту тему слезливой сентиментальностью. Бродский пытался поступить в школу подводников, но не был принят, возможно, из-за пятой графы. В 1955 году, не доучившись в школе, он поступил работать на военный завод фрезеровщиком, предпочтя школьным навязываемым дисциплинам самообразование. Задумав стать врачом, он начал работать в морге госпиталя печально знаменитой тюрьмы «Кресты», и это совпало с его серьезными занятиями поэзией. Он начал изучать польский язык и переводить польских поэтов. Вместе с Найманом и Рейном входил в последнее окружение умирающей Ахматовой. Несмотря на то что Бродский не писал прямых политических стихов против советской власти, независимость формы и содержания его стихов плюс независимость личного поведения приводили в раздражение идеологических надзирателей. В 1964-м в Ленинграде состоялся ханжеский, невыносимо тупой суд над Бродским как над «тунеядцем». Надо отдать ему должное, он вел себя на суде достойно, защищая право на независимость поэта. Его выслали в Архангельскую область на 5 лет. Однако благодаря мужественной журналистке Фриде Вигдоровой, сделавшей стенограмму этого позорного процесса, имя Бродского стало известно в широких кругах советской интеллигенции и за рубежом, где опубликовали его книгу. В защиту Бродского выступили многие советские писатели, в том числе составитель этой антологии. В результате этого нажима и неожиданной доброй помощи навестившего его местного секретаря райкома, о чем мало кто знает, Бродскому было разрешено вернуться в Ленинград уже в 1965 году. Аксенов и я добились у редактора «Юности» Полевого визы на опубликование восьми стихотворений Бродского. Его судьба могла измениться. Но люди выбирают судьбу сами. Когда Полевой перед самым выходом номера попросил исправить лишь одну строчку «мой веселый, мой пьющий народ» или снять одно из восьми стихотворений, Бродский отказался. Он подал еще одно заявление на выезд, и, наконец, ему не отказали. В США Бродский адаптировался, как никто до него из русских поэтов, исключая Набокова, и вслед ему стал писать не только по-русски, но и по-английски. Бродского приняли почетным членом американской Академии искусств, из которой он вышел в знак протеста против приема в нее составителя этой антологии. Однако всей истории наших взаимоотношений в данной антологии не место. Чтобы развеять кривотолки, могу сказать одно: к Бродскому-поэту у меня было и есть неизменное уважение. Ему удалось редкое — он создал свой стиль. Неверно и то, что Бродский якобы нетерпим ко всем другим поэтам. Его нетерпимость выборочна. Он всегда восхищался Чудаковым, охотно рекламировал Рейна, Кушнера, Дериеву, Гандельсмана. Неверно и то, что его поэзия якобы похожа на переводную. В ней, правда, нет пушкинской воздушности («Я вас любил, любовь еще быть может...») или есенинской щемящей исповедальности («Счастлив тем, что целовал я женщин»), но зато присутствуют

Баратынский, Анненский, Мандельштам. Это очень петербургская поэзия, правда, англоязычно несентиментальная, боящаяся быть незащищено открытой. Бродский развил перенос рифмующегося слова из строки в строку и культивировал четко контролируемую технологией рассудка Ниагару продуманного сознания. Его особый вклад в мировую поэзию несомненен. Вслед за Буниным и Пастернаком он стал третьим русским поэтом, получившим Нобелевскую премию. Я был очень рад тому, что Бродский в конце концов согласился на участие в английском варианте этой антологии, правда, с условием, что выбор будет его собственным. Но мне кажется, что он был не прав, не включая своих ранних стихов. Поэтому в русском варианте я постарался скомбинировать оба выбора — и авторский, и мой, составительский.

Выбор Бродского

ПИСЬМА ДИНАСТИИ МИНЬ

I

«Скоро тринадцать лет, как соловей
вырвался и улетел. И, на ночь глядя,
богдыхан запивает кровью
откидывается на подушки и, включив
погружается в сон, убаюканный ровной
Вот какие теперь мы празднуем в Поднебесной
невесёлые, нечетные годовщины.
Специальное зеркало, разглаживающее
каждый год дорожает. Наш маленький сад
Небо тоже исколото шпильями, как лопатки
и затылок больного (которого только спину
мы и видим). И я иногда объясняю сыну
богдыхана природу звезд, а он отпускает
Это письмо от твоей, возлюбленный,
писано тушью на рисовой тонкой бумаге,
Почему-то вокруг все большие бумаги, все
мелкие риза».

II

«Дорога в тысячу ли начинается с одного шага, гласит пословица. Жалко, что от него не зависит дорога обратно, превосходящая тысячу ли. Особенно, отсчитывая от «о». Одна ли тысяча ли, две ли тысячи ли — тысяча означает, что ты сейчас вдали от родимого крова, и зараза бессмысленности перекидывается на цифры; особенно на ноли. Ветер несет на Запад, как желтые семена из лопнувшего стручка, — туда, где стоит На фоне ее человек уродлив и страшен, как как любые другие неразборчивые письмена.

Движение в одну сторону превращает меня в нечто вытянутое, как голова коня. Силы, жившие в теле, ушли на трение тени о сухие колосья дикого ячменя».

ОСЕННИЙ КРИК ЯСТРЕБА

Северо-западный ветер его поднимает над сизой, лиловой, пунцовой, алой долиной Коннектикута. Он уже не видит лакомый променад курицы по двору обветшалой фермы, суслика на меже.

На воздушном потоке распластанный,
все, что он видит — гряды покатых холмов и серебро реки, вьющейся точно живой клинок, сталь в зазубринах перекаатов, схожие с бисером городки

Новой Англии. Упавшие до нуля термометры — словно лары в нише; стыннут, обуздывая пожар листьев, шпильи церквей. Но для ястреба это не церкви. Выше лучших помыслов прихожан,

он парит в голубом океане, сомкнувши клюв, с прижатою к животу плюсною — когти в кулак, точно пальцы рук — чуя каждым пером поддув снизу, сверкая в ответ глазою ягодою, держа на Юг,

к Рио-Гранде, в дельту, в распаренную толпу трав, чьи лезвия остры, гнездо, разбитую скорлупу в алую крапинку, запахи, тени брата или сестры.

Сердце, обросшее плотью, пухом, пером, крылом, бьющееся с частотою дрожи, точно ножницами, сечет, собственным движимое теплом, осеннюю синеву, ее же увеличивая за счет

еле видного глазку коричневого пятна, точки, скользящей поверх вершины

ели; за счет пустоты в лице
ребенка, замершего у окна,
пары, вышедшей из машины,
женщины на крыльце.

Но восходящий поток его поднимает вверх
выше и выше. В подбрюшных перьях
щиплет холодом. Глядя вниз,
он видит, что горизонт померк,
он видит как бы тринадцать первых
штатов, он видит: из

труб поднимается дым. Но как раз число
труб подсказывает одинокой
птице, как поднялась она.
Эк куда меня занесло!
Он чувствует смешанную с тревогой
гордость. Перевернувшись на

крыло, он падает вниз. Но упругий слой
воздуха его возвращает в небо,
в бесцветную ледяную гладь.
В желтом зрачке возникает злой
блеск. То есть помесь гнева
с ужасом. Он опять

низвергается. Но как стенка — мяч,
как паденье грешника — снова в веру,
его выталкивает назад.
Его, который еще горяч!
В черт-те что. Все выше. В ионосферу.
В астрономически объективный ад
птиц, где отсутствует кислород,
где вместо проса — крупа далеких
звезд. Что для двуногих высь,
то для пернатых наоборот.
Не мозжечком, но в мешочках легких
он догадывается: не спастись.

И тогда он кричит. Из согнутого, как крюк,
клюва, похожий на визг эриний,
вырывается и летит вовне
механический, нестерпимый звук,
звук стали, впившейся в алюминий;
механический, ибо не

предназначенный ни для чьих ушей:
людских, срывающейся с березы
белки, тьявкующей лисы,
маленьких полевых мышей;
так отливаться не могут слезы
никому. Только псы

задирают морды. Пронзительный, резкий
крик
страшней, кошмарнее ре-диеза
алмаза, режущего стекло,
пересекает небо. И мир на миг
как бы вздрагивает от пореза.
Ибо там, наверно, тепло

обжигает пространство, как здесь, внизу,
обжигает черной оградой руку
без перчатки. Мы, восклицая «вон,
там!» видим вверху слезу
ястреба, плюс паутину, звуку
присущую, мелких волн,

разбегающихся по небосводу, где
нет эха, где пахнет апофеозом
звука, особенно в октябре.
И в кружеве этом, сродни звезде,
сверкая скованная морозом,
инеем, в серебре

опушившем перья, птица плывет в зенит,
в ультрамарин. Мы видим в бинокль отсюда
перл, сверкающую деталь.
Мы слышим: что-то вверху звенит,
как разбивающаяся посуда,
как фамильный хрусталь,

чьи осколки, однако, не ранят,
но тают в ладони. И на мгновенье
вновь различаешь кружки, глазки,
веер, радужное пятно,
многоточия, скобки, звенья,
колоски, волосы —

бывший привольный узор пера,
карту, ставшую горстью юрких
хлопьев, летящих на склон холма.
И, ловя их пальцами, детвора
выбегает на улицу в пестрых куртках
и кричит по-английски: «Зима, зима!».

1975

ЭКЛОГА 4-я (ЗИМНЯЯ)

Дереку Уолкотту

*'Ultima Cumaei venti iam
carminis aetas;
Magnus ab integro saeculorum
nascitur ordo...»
Virgil, Eclogue IV¹*

I

Зимой смеркается сразу после обеда.
В эту пору голодных нетрудно принять
за сытых.

Зевок загоняет в берлогу простую фразу.
Сухая, сгущенная форма света —
снег — обрекает ольшаник, его засыпав,
на бессонницу, на доступность глазу

в темноте. Роза и незабудка
в разговорах всплывает все реже. Собаки
с вялым
энтузиазмом кидаются по следу, ибо сами
оставляют следы. Ночь входит в город, будто

¹ «Круг последний настал по вещанью пророчицы Кумской.
Сызнава ныне времен начинается строй величавый...»

в детскую: застает ребенка под одеялом;
и перо скрипит, как чужие сани.

II

Жизнь моя затянулась. В речитативе вьюги
обострившийся слух различает невольную
оледенения. Всякое «во-саду-ли»
есть всего лишь застывшее «буги-вуги».
Сильный мороз суть откровенье телу
о его грядущей температуре

либо — вздох Земли о ее богатом
галактическом прошлом, о злом морозе.
Даже здесь щека пунцовеет, как редиска.
Космос всегда отливает слепым агатом,
и вернувшееся восвояси «морзе»
попискивает, не застав радиста.

III

В феврале лиловеют заросли краснотала.
Неизбежная в профиле снежной бабы
дорожает морковь. Ограниченный бровью,
взгляд на холодный предмет, на кусок металла
лютей самого металла — дабы
не пришлось его с кровью

отдирать от предмета. Как знать, не так ли
озирал свой труд в день восьмой и после
Бог? Зимой, вместо сбора ягод,
затыкают щели кусками пакли,
охотней мечтают об общей пользе,
и вещи становятся старше на год.

IV

В стужу панель подобна сахарной карамели.
Пар из гортани чаще к вздоху, чем к поцелую.
Реже снятся дома, где уже не примут.
Жизнь моя затянулась. По крайней мере,
точных примет с лихвой хватило бы на вторую
жизнь. Из одних примет можно составить

климат

либо пейзаж. Лучше всего безлюдный,
с девственной белизной за пеленою кружев,—
мир, не слыхавший о лондонах и парижах,
мир, где рассеянный свет — генератор будней,
где в итоге вздрагиваешь, обнаружив,
что и тут кто-то прошел на лыжах.

V

Время есть холод. Всякое тело, рано
или поздно, становится пищею телескопа:
остывает с годами, удаляется от светила.
Стекло зацветает сложным узором: рама
суть хрустальные джунгли хвоща, укропа
и всего, что возрасило
одиночество. Но, как у бюста в нише,
глаз зимою скорее закатывается, чем плачет.
Там, где роятся сны, за пределом зренья,
время, упавшее сильно ниже

нуля, обжигает ваш мозг, как пальчик
шалуна из русского стихотворенья.

VI

Жизнь моя затянулась. Холод похож на холод,
время — на время. Единственная преграда —
теплое тело. Упрямое, как ослица,
стоит оно между ними, поднявши ворот,
как пограничник, держась приклада,
грядущему не позволяя слиться

с прошлым. Зимой на самом деле
вторник он же суббота. Днем легко ошибиться:
свет уже выключили или еще не включили?
Газеты могут печататься раз в неделю.
Время глядится в зеркало, как певица,
позабывшая, что это — «Тоска» или «Лючия».

VII

Сны в холодную пору длинней, подробней.
Ход конем лоскутное одеяло
заменяет на досках паркета прыжком лягушки.
Чем больше лютует пурга над кровлей,
тем жарче требует идеала
голое тело в тряпичной гуще.

И вам снятся настурции, бурный Терек
в тесном ущелье, мушиный куколь
между стеной и торцом буфета:
праздник кончиков пальцев в плену бретелек.
А потом все стихает. Только горячий уголь
тлеет в серой золе рассвета.

VIII

Холод ценит пространство. Не обнажая сабли,
он берет урочища, веси, грады.
Населенье сдается, не сняв треуха.
Города — особенно, чьи ансамбли,
чьи пилястры и колоннады
стоят как пророки его триумфа,

смутно белея. Холод слетает с неба
на парашюте. Всяческая колонна
выглядит пятой, жаждет переворота.
Только ворона не принимает снега,
и вы слышите, как кричит ворона
картавым голосом патриота.

IX

В феврале чем позднее, тем меньше ртути.
Т. е. чем больше времени, тем холоднее.

Звезды

как разбитый термометр: каждый
квадратный метр
ночи ими усеян, как при салюте.
Днем, когда небо под стать известке,
сам Казимир бы их не заметил,

белых на белом. Вот почему незримы
ангелы. Холод приносит пользу
ихнему воинству: их, крылатых,

мы обнаружили бы, воззри мы
вправду горе, где они, как по льду,
скользят белофиннами в маскхалатах.

X

Я не способен к жизни в других широтах.
Я нанизан на холод, как гусь на вертел.
Слава голой березе, колючей ели,
лампочке желтой в пустых воротах,—
слава всему, что приводит в движенье ветер!
В зрелом возрасте это — вариант колыбели,

Север — честная вещь. Ибо одно и то же
он твердит вам всю жизнь — шепотом,
в полный голос
в затянувшейся жизни — разными голосами.
Пальцы мерзнут в унтах из оленьей кожи,
напоминая забравшемуся на полюс
о любви, о стоянии под часами.

XI

В сильный мороз даль не поет сиреной.
В космосе самый глубокий выдох
не гарантирует вдоха, уход — возврата.
Время есть мясо немой Вселенной.
Там ничего не тикает. Даже выпав
из космического аппарата,

ничего не поймаете: ни фокстрота,
ни Ярославны, хоть на Путивль настроясь.
Вас убивает на внеземной орбите
отнюдь не отсутствие кислорода,
но избыток Времени в чистом, то есть
без примеси вашей жизни, виде.

XII

Зима! Я люблю твою горечь клюквы
к чаю, блюдца с дольками мандарина,
твой миндаль с арахисом, граммов двести.
Ты раскрываешь цыплячьи клювы
именами «Ольга» или «Марина»,
произносимыми с нежностью только в детстве

и в тепле. Я пою синеву сугроба
в сумерках, шорох фольги, частоту бемоля —
точно «чижика» где подбирает рука Господня.
И дрова, грохотавшие в гулких дворах сырого
города, мерзнущего у моря,
меня согревают еще сегодня.

XIII

В определенном возрасте время года
совпадает с судьбой. Их роман недолог,
но в такие дни вы чувствуете: вы правы.
В эту пору неважно, что вам чего-то
не досталось; и рядовой фенолог
может описывать быт и нравы.

В эту пору ваш взгляд отстаёт от жеста.
Треугольник больше не пылкая теорема:
все углы затянула плотная паутина,

пыль. В разговорах о смерти место
играет все большую роль, чем время,
и слюна, как полтина,

XIV

обжигает язык. Реки, однако, вчуже
скованы льдом; можно надеть рейтузы,
прикрутить к ботинку железный полоз.
Зубы, устав от чечетки стужи,
не стучат от страха. И голос Музы
звучит как сдержанный, частный голос.

Так родится эклога. Взамен светила
загорается лампа: кириллица, грешным делом,
разбредаясь по прописи вкривь ли, вкось ли,
знает больше, чем та сивилла,
о грядущем. О том, как чернеть на белом,
покуда белое есть, и после.

НАТЮРМОРТ

«Verra la morte e avra i tuoi occhi».
C. Pavese¹

1

Вещи и люди нас
окружают. И те,
и эти терзают глаз.
Лучше жить в темноте.

Я сижу на скамье
в парке, глядя вослед
проходящей семье.
Мне опротивел свет.

Это январь. Зима
Согласно календарю.
Когда опротивеет тьма,
тогда я заговорю.

2

Пора. Я готов начать.
Неважно, с чего. Открыть
рот. Я могу молчать.
Но лучше мне говорить.

О чем? О днях, о ночах.
Или же — ничего.
Или же о вещах.
О вещах, а не о

людях. Они умрут.
Все. Я тоже умру.
Это бесплодный труд.
Как писать на ветру.

3

Кровь моя холодна.
Холод ее лютей
реки, промерзшей до дна.
Я не люблю людей.

¹ «Придет смерть, и у нее будут твои глаза» (Ч. Павезе. *итал.*)

Внешность их не по мне.
Лицами их привит
к жизни какой-то не-
покидаемый вид.

Что-то в их лицах есть,
что противно уму.
Что выражает лесть
неизвестно кому.

4

Вещи приятней. В них
нет ни зла, ни добра
внешне. А если вник
в них — и внутри нутра.

Внутри у предметов — пыль.
Прах. Дреготочец-жук.
Стенки. Сухой мотыль.
Неудобно для рук.

Пыль. И включенный свет
только пыль озарит.
Даже если предмет
герметично закрыт.

5

Старый буфет извне
так же, как изнутри,
напоминает мне
Нотр-Дам де Пари.

В недрах буфета тьма.
Швабра, епитрахиль
пыль не сотрут. Сама
вещь, как правило, пыль

не тщится перебороть,
не напрягает бровь.
Ибо пыль — это плоть
времени; плоть и кровь.

6

Последнее время я
сплю среди бела дня.
Видимо, смерть моя
испытывает меня,

поднося, хоть дышу,
зеркало мне ко рту, —
как я переносу
небытие на свету.

Я неподвижен. Два
бедрa холодны, как лед.
Венозная синева
мрамором отдает.

7

Преподаю сюрприз
суммой своих углов,

вещь выпадает из
миропорядка слов.

Вещь не стоит. И не
движется. Это — бред.
Вещь есть пространство, вне
коего вещи нет.

Вещь можно грохнуть, сжечь,
распотрошить, сломать.
Бросить. При этом вещь
не крикнет: «Ебёна мать!»

8

Дерево. Тень. Земля
под деревом для корней.
Корявые вензеля.
Глина. Гряда камней.

Корни. Их переплет.
Камень, чей личный груз
освобождает от
данной системы уз.

Он неподвижен. Ни
сдвинуть, ни унести.
Тень. Человек в тени,
словно рыба в сети.

9

Вещь. Коричневый цвет
вещи. Чей контур стерт.
Сумерки. Больше нет
ничего. Натюрморт.

Смерть придет и найдет
тело, чья гладь визит
смерти, точно приход
женщины, отразит.

Это абсурд, вранье:
череп, скелет, коса.
«Смерть придет, у нее
будут твои глаза».

10

Мать говорит Христу:
— Ты мой сын или мой
Бог? Ты прибит к кресту.
Как я пойду домой?

Как ступлю на порог,
не поняв, не решив:
ты мой сын или Бог?
То есть мертв или жив?

Он говорит в ответ:
— Мертвый или живой,
разницы, жено, нет.
Сын или Бог, я твой.

ШЕСТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Так долго вместе прожили, что вновь
второе января пришлось на вторник,
что удивленно поднятая бровь,
как со стекла автомобиля — дворник,
с лица сгоняла смутную печаль,
незамутненной оставляя даль.

Так долго вместе прожили, что снег
коль выпадал, то думалось — навеки,
что, дабы не зажмуривать ей век,
я прикрывал ладонью их, и веки,
не веря, что их пробуют спасти,
метались там, как бабочки в горсти.

Так чужды были всякой новизне,
что тесные объятия во сне
бесчестили любой психоанализ;
что губы, припадавшие к плечу,
с моими, задувавшими свечу,
не видя дел иных, соединялись.

Так долго вместе прожили, что роз
семейство на обшарпанных обоях
сменилось целой рощею берез,
и деньги появились у обоих,
и тридцать дней над морем, языкат,
грозил пожаром Турции закат.

Так долго вместе прожили без книг,
без мебели, без утвари на старом
диванчике, что — прежде, чем возник, —
был треугольник перпендикуляром,
восстановленным знакомыми стоймя
над слившимися точками двумя.

Так долго вместе прожили мы с ней,
что сделали из собственных теней
мы дверь себе — работаешь ли, спишь ли,
но створки не распахивались врозь,
и мы прошли их, видимо, насквозь
и черным ходом в будущее вышли.

Выбор Евтушенко

СТАНСЫ

Е. В., А. Д.

Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров
я приду умирать.
Твой фасад темносиний
я впотьмах не найду,
между выцветших линий
на асфальт упаду.

И душа, неустанно
поспешая во тьму,
промелькнет над мостами
в петроградском дыму,
и апрельская морось,

над затылком снежок,
и услышу я голос:
— До свиданья, дружок.

И увижу две жизни
далеко за рекой,
к равнодушной отчизне
прижимаясь щекой, —
словно девочки-сестры
из непрожитых лет,
выбегая на остров,
машут мальчику вслед.

1962

ПИЛИГРИМЫ

*Мои мечты и чувства в сотый раз
идут к тебе дорогой пилигримов.*
В. Шекспир

Мимо ристалищ, капищ,
мимо храмов и баров,
мимо шикарных кладбищ,
мимо больших базаров,
мира и горя мимо,
мимо Мекки и Рима,
синим солнцем палимы,
идут по земле пилигримы.
Увечны они, горбаты,
голодны, полуодеты,
глаза их полны заката,
сердца их полны рассвета.
За ними поют пустыни,
вспыхивают зарницы,
звезды встают над ними,
и хрипло кричат им птицы:
что мир останется прежним,
да, останется прежним,
ослепительно снежным
и сомнительно нежным,
мир останется лживым,
мир останется вечным,
может быть, постижимым,
но все-таки бесконечным.
И, значит, не будет толка
от веры в себя да в Бога.
...И, значит, остались только
иллюзия и дорога.
И быть над землей закатам,
и быть над землей рассветам.
Удобрить ее солдатам.
Одобрить ее поэтам.

1958

ЗИМНИМ ВЕЧЕРОМ В ЯЛТЕ

Сухое левантинское лицо,
упрятанное оспинками в бачки,
когда он ищет сигарету в пачке,
на безымянном тусклое кольцо
внезапно преломляет двести ватт,
и мой хрусталик вспышки не выносит;

я жмурюсь — и тогда он произносит,
глотаю дым при этом, «виноват».

Январь в Крыму. На черноморский брег
зима приходит как бы для забавы:
не в состояньи удержаться снег
на лезвиях и остриях агавы.
Пустуют ресторации. Дымят
ихтиозавры грязные на рейде,
и прелых лавров слышен аромат.
«Налить вам этой мерзости?» — «Налейте».

Итак — улыбка, сумерки, графин.
Вдали буфетчик, стискивая руки,
дает круги, как молодой дельфин
вокруг хамсой заполненной фелюки.
Квадрат окна. В горшках — желтофиоль.
Снежинки, проносящиеся мимо.
Остановись, мгновенье! Ты не столь
прекрасно, сколько ты неповторимо.

ПИСЬМО ГЕНЕРАЛУ Z

*«Война, Ваша Светлость, пустая игра.
Сегодня — удача, а завтра — дыра...»
Песнь об осаде Ла-Рошели*

Генерал! Наши карты — дерьмо. Я пас.
Север вовсе не здесь, но в Полярном Круге.
И Экватор шире, чем ваш лампас.
Потому что фронт, генерал, на Юге.
На таком расстояньи любой приказ
превращается рацией в буги-вуги.

Генерал! Ералаш перерос в бардак.
Бездорожье не даст подвести резервы
и сменить белье: простыня — наждак;
это, знаете, действует мне на нервы.
Никогда до сих пор, полагаю, так
не был так загажен алтарь Минервы.

Генерал! Мы так долго сидим в грязи,
Что король червей загодя ликует,
и кукушка безмолвствует. Упаси,
впрочем, нас услышать, как она кукует.
Я считаю, надо сказать мерси,
что противник не атакует.

Наши пушки уткнулись стволами вниз,
ядра размякли. Одни горнисты,
трубы свои извлекая из
чехлов, как заядлые онанисты,
драют их сутками так, что вдруг
те исторгают звук.

Офицеры бродят, презрев устав,
в галифе и кителях разной масти.
Рядовые в кустах на сухих местах
предаются друг с другом постыдной страсти,
и краснеет, спуская пунцовый стяг,
наш сержант-холостяк.

Генерал! Я сражался всегда, везде,
как бы ни были шансы малы и шатки.
Я не нуждался в другой звезде,
кроме той, что у вас на шапке.
Но теперь я как в сказке о том гвозде:
вбитом в стену, лишенном шляпки.

Генерал! К сожалению, жизнь — одна.
Чтоб не искать доказательств вящих,
нам придется испить до дна
чашу свою в этих скромных чашах:
жизнь, вероятно, не так длинна,
чтоб откладывать худшее в долгий ящик.

Генерал! Только душам нужны тела.
Души ж, известно, чужды злорадства,

и сюда нас, думаю, завела
не стратегия даже, но жажда братства;
лучше в чужие вступать дела,
коли в своих нам не разобраться.

Генерал! И теперь у меня — мандраж.
Не пойму, отчего: от стыда ль, от страха ль?
От нехватки дам? Или просто — блажь?
Не помогает ни врач, ни знахарь.
Оттого, наверно, что повар ваш
не разбирает, где соль, где сахар.

Генерал! Я боюсь, мы зашли в тупик.
Это — месья пространства косою сажени.
Наши пики ржавеют. Наличье пик —
это еще не залог мишени.
И не двинется тень наша дальше нас
даже в закатный час.

Генерал! Вы знаете, я не трус.
Выньте досье, наведите справки.
К пуле я безразличен. Плюс
я не боюсь ни врага, ни ставки.
Пусть мне прилепят бубновый туз
между лопаток — прошу отставки!

Я не хочу умирать из-за
двух или трех королей, которых
я вообще не видал в глаза
(дело не в шорах, но в пыльных шторах).
Впрочем, и жить за них тоже мне
неохота. Вдвойне.

Генерал! Мне все надоело. Мне
скучен крестовый поход. Мне скучен
вид застывших в моем окне
гор, перелесков, речных излучин.
Плохо, ежели мим вовне
изучен тем, кто внутри измучен.

Генерал! Я не думаю, что ряды
ваши покинув, я их ослаблю.

В этом не будет большой беды;
я не солист, но я чужд ансамблю.
Вынув мундштук из своей дуды,
жгу свой мундир и ломаю саблю.

Птиц не видать, но они слышны.
Снайпер, томясь от духовной жажды,
то ли приказ, то ль письмо жены,
сидя на ветке, читает дважды,
и берет от скуки художник наш
пушку на карандаш.

Генерал! Только Время оценит вас,
ваши Канны, флешы, каре, когорты.
В академиях будут впадать в экстаз;
ваши баталии и натюрморты
будут служить расширенью глаз,
взглядов на мир и вообще аорты.

Генерал! Я вам должен сказать, что вы
вроде крылатого льва при входе
в некий подъезд. Ибо вас, увы,
не существует вообще в природе.
Нет, не то, что бы вы мертвы
или же биты — вас нет в колоде.

Генерал! Пусть меня отдадут под суд!
Я вас хочу ознакомить с делом:
сумма страданий дает абсурд;
пусть же абсурд обладает телом!
И да маячит его сосуд
чем-то черным на чем-то белом.

Генерал, скажу вам еще одно:
Генерал! Я взял вас для рифмы к слову
«умирал» — что было со мною, но
Бог до конца от зерна полу
не отделил, и сейчас ее
употреблять — вранье.

На пустыре, где в ночи горят
два фонаря и гниют вагоны,
наполовину с себя наряд
сняв шутовской и сорвав погоны,
я застываю, встречая взгляд
камеры Лейц или глаз Горгоны.

Ночь. Мои мысли полны одной
женщиной, чудной внутри и в профиль.
То, что творится сейчас со мной,
ниже небес, но превыше кровель.
То, что творится со мной сейчас,
не оскорбляет вас.

Генерал! Вас нету, и речь моя
обращена, как обычно, ныне

в ту пустоту, чьи края — края
некой обширной, глухой пустыни,
коей на картах, что вы и я
видеть могли, даже нет в помине.

Генерал! Если все-таки вы меня
слышите, значит, пустыня прячет
некий оазис в себе, маня
всадника этим; а всадник, значит,
я; я пришпориваю коня;
конь, генерал, никуда не скачет.

Генерал! Воевавший всегда, как лев,
я оставляю пятно на флаге.
Генерал, даже карточный домик — хлев.
Я пишу вам рапорт, припадаю к фляге.
Для переживших великий блеф
жизнь оставляет клочок бумаги.

* * *

В деревне Бог живет не по углам,
как думают насмешники, а всюду.
Он освящает кровлю и посуду
и честно двери делит пополам.
В деревне он — в избытке. В чугуне
он варит по субботам чечевицу,
приплясывает сонно на огне,
подмигивает мне, как очевидцу.
Он изгороди ставит. Выдает
девицу за лесничего. И, в шутку,
устраивает вечный недолет
объездчику, стреляющему в утку.
Возможность же все это наблюдать,
к осеннему прислушиваясь свисту,
единственная, в общем, благодать,
доступная в деревне атеисту.

6 июня 1965

ОДНОЙ ПОЭТессЕ

Я заражен нормальным классицизмом.
А вы, мой друг, заражены сарказмом,
Конечно, просто сделаться капризным,
по ведомству акцизному служа.
К тому ж, вы звали этот век железным.
Но я не думал, говоря о разном,
что зараженный классицизмом трезвым,
я сам гулял по острию ножа.

Теперь конец моей и вашей дружбе.
Зато — начало многолетней тяжбе.
Теперь и вам продвинуться по службе
мешает Бахус, но никто другой.
Я оставляю эту ниву тем же,
каким взошел я на нее. Но так же
я затвердел, как Геркуланум в пемзе.
И я для вас не шевельну рукой.

Оставим счеты. Я давно в неволе.
Картофель ем и сплю на сеновале.

Могу прибавить, что теперь на норе
уже не шапка — лысина горит.
Я эпигон и попугай. Не вы ли
жизнь попугая от себя скрывали?
Когда мне вышли от закона «вилы»,
я вашим прорицаньем был согрет.

Служенье Муз чего-то там не терпит.
Зато само обычно так торопит,
что по рукам бежит священный трепет
и несомненна близость Божества.
Один певец подготавливает рапорт.
Другой рождает приглушенный ропот.
А третий знает, что он сам — лишь рупор,
и он срывает все цветы родства.

И скажет смерть, что не поспеть сарказму
за силой жизни. Проникая призму,
способен он лишь увеличить плазму.
Ему, увы, не озарить ядра.
И вот, столь долго состоя при Музах,
я отдал предпочтенье классицизму,
хоть я и мог, как старец в Сиракузах,
взирать на мир из глубины ведра.

Оставим счеты. Вероятно, слабость.
Я, предвкушая ваш сарказм и радость,
в своей глуши благословляю разность:
жужжанье ослепительной осы
в простой ромашке вызывает робость.
Я сознаю, что предо мною пропасть.
И крутится сознание, как лопасть
вокруг своей негнущейся оси.

Сапожник строит сапоги. Пирожник
сооружает крендель. Чернокнижник
листает толстый фолиант. А грешник
усугубляет, что ни день, грехи.
Влекут дельфины по волнам треножник,
и Аполлон обзирает ближних —
в конечном счете, безгранично внешних.
Шумят леса, и небеса глухи.

Уж скоро осень. Школьные тетради
лежат в портфелях. Чаровницы, вроде
вас, по утрам укладывают пряди
в большой пучок, готовясь к холодам.
Я вспоминаю эпизод в Тавриде,
наш обоюдный интерес к природе,
всегда в ее дикорастущем виде.
И удивляюсь, и грущу, мадам.

август — сентябрь 1965

Норенская

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РОМАНС

Евгению Рейну, с любовью

Плывет в тоске необъяснимой
среди кирпичного надсада
ночной кораблик негасимый
из Александровского сада,

ночной фонарик нелюдимый,
на розу желтую похожий,
над головой своих любимых,
у ног прохожих.

Плывет в тоске необъяснимой
пчелиный хор сомнамбул, пьяниц.
В ночной столице фотоснимок
печально сделал иностранец,
и выезжает на Ордынку
такси с больными седоками,
и мертвецы стоят в обнимку
с особняками.

Привет в тоске необъяснимой
певец печальный по столице,
стоит у лавки керосинной
печальный дворник круглолицый,
спешит по улице невзрачной
любовник старый и красивый.
Полночный поезд новобрачный
плывет в тоске необъяснимой.

Плывет во мгле замоскворецкой
пловец в несчастье случайный,
блуждает, выговор еврейский
на желтой лестнице печальной,
и от любви до невеселья
под Новый год, под воскресенье,
плывет красotka записная,
своей тоски не объясняя.

Плывет, в глазах холодный вечер,
дрожат снежинки на вагоне,
морозный ветер, бледный ветер
обтянет красные ладони,
и льется мед огней вечерних,
и пахнет сладкою халвою,
ночной пирог несет сочельник
над головою.

Твой Новый год по темно-синей
волне среди шума городского
плывет в тоске необъяснимой,
как будто жизнь начнется снова,
как будто будут свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево.

28 декабря 1961

НА СМЕРТЬ ДРУГА¹

Имяреку, тебе — потому что не станет за труд
из-под камня тебя раздобыть, — от меня,
анонима,
как по тем же делам: потому что и с камня
сотрут,

¹ Слухи о смерти друга оказались ложными; его стихи можно найти на страницах этой антологии (прим. ред.).

так и в силу того, что я сверху и, камня помимо,
чересчур далеко, чтоб тебе различать голоса —
на эзоповой фене в отечестве белых головок,
где на ошупь и слух наколол ты свои полюса
в мокро-космосе злых королек и визгливых
сиповок;

имяреку, тебе, сыну вдовой кондукторши от
то ли Духа Святого, то ль поднятой пыли
дворовой,
похитителю книг, сочинителю лучшей из од
на паденье А. С. в кружева и к ногам

Гончаровой,
слововержцу, лжецу, пожирателю мелкой

слезы,
обожателю Энгра, трамвайных звонков,
асфodelей,
белозубой змее в колоннаде жандармской
кирзы,
одинокому сердцу и телу бессчетных

постелей —
да лежится тебе, как в большом оренбургском
платке,
в нашей бурой земле, местных труб проходимцу
и дыма,
понимавшему жизнь, как пчела на горячем
цветке,
и замерзшему насмерть в параднике Третьего
Рима.

Может, лучшей и нету на свете калитки
в Ничто.

Человек мостовой, ты сказал бы, что лучшей
не надо,
вниз по темной реке уплывая в бесцветном

пальто,
чьи застежки одни и спасали тебя от распада.
Тщетно драхму во рту твоём ищет угрюмый
Харон,
тщетно некто трубит наверху в свою дудку
протяжно.

Посылаю тебе безымянный прощальный
поклон

С берегов неизвестно каких. Да тебе и не
важно.

1973

НА СМЕРТЬ ЖУКОВА

Вижу колонны замерзших внуков,
гроб на лафете, лошади круп.
Ветер сюда не доносит мне звуков
русских военных плачущих труб.
Вижу в регалии убранный труп:
в смерть уезжает пламенный Жуков

Воин, пред коим многие пали
стены, хоть меч был вражьи тупей,
блеском маневра о Ганнибале
напоминавший средь волжских степей.
Кончивший дни свои глухо, в опале,
как Велизарий или Помпей.

Сколько он пролил крови солдатской
в землю чужую! Что ж, горевал?
Вспомнил ли их, умирающий в штатской
белой кровати? Полный провал.
Что он ответит, встретившись в адской
области с ними? «Я воевал».

К правому делу Жуков десницы
больше уже не приложит в бою.
Спи! У истории русской страницы
хватит для тех, кто в пехотном строю
смело входили в чужие столицы,
но возвращались в страхе в свою.

Маршал! поглотит алчная Лета
эти слова и твои прахоря.
Все же прими их — жалкая лепта
родину спасшему, вслух говоря.
Бей, барабан, и, военная флейта,
громко свисти на манер снегиря.

1974

ПОРТРЕТ ТРАГЕДИИ

Заглянем в лицо трагедии. Увидим ее морщины,
ее горбоносый профиль, подбородок мужчины.
Услышим ее контральто с нотками

чертовщины:
хрипая ария следствия громче, чем писк
причины.

Здравствуй, трагедия! Давно тебя не видали.
Привет, обратная сторона медали.
Рассмотрим подробно твои детали.

Заглянем в ее глаза! В расширенные от боли
зрачки, наведенные карим усилием воли
как объектив на нас — то ли в партере, то ли
дающих, наоборот, в чьей-то судьбе гастроли.
Добрый вечер, трагедия с героями и богами,
с плохо прикрытыми занавесом ногами,
с собственным именем, тонушим в общем гаме.

Вложим ей пальцы в рот с расшатанными
цингою
клавишами, с воспаленным вольтовой дугою
небом, заплеванным пеплом родственников
и пургою.

Задерем ей подол, увидим ее нагою.
Ну, если хочешь, трагедия, — удиви нас!
Изобрази предательство тела, вынос
тела, егонный минус, оскорбленную
невинность.

Прижаться к щеке трагедии! К черным кудрям
Горгоны,
к грубой доске с той стороны иконы,
с катящейся по скуле, как на Восток вагоны,
звездою, облюбовавшей околыши и погоны.
Здравствуй, трагедия, одетая не по моде,
с временем, получающим от судьбы по морде.
Тебе хорошо на природе, но лучше в морге.

Рухнем в объятия трагедии с готовностью
ловеласа!

Погрузимся в ее немолодое мясо.
Прободаем ее насквозь, до пружин матраса.
Авось она вынесет. Так выживает раса.
Что нового в репертуаре, трагедия,
в гардеробе?

И — говоря о товаре в твоей утробе —
чем лучше роль крупной твари роли невзрачной
дробки?

Вдохнуть ее смрадный запах! Подмышку
и нечистоты
помножить на сумму пятых углов и на их
кивоты.

Взвизгнуть в истерике: «За кого ты
меня принимаешь!» Почувствовать приступ
рвоты.

Спасибо, трагедия, за то, что непоправима,
что нет аборта без херувима,
что не проходишь мимо, пробуешь пыром
вымя.

Лицо ее безобразно! Оно не прикрыто маской,
ряской, замазкой, стыдливой краской,
руками, занятыми развязкой,
бурной овацией, нервной встряской.
Спасибо, трагедия, за то, что ты откровенна,
как колуном по темени, как вскрытая бритвой
вена,
за то, что не требуешь времени, что —
мгновенна.

Кто мы такие, не-статуи, не-полотна,
чтоб не дать свою жизнь изуродовать
бесповоротно?

Что тоже можно рассматривать как приплод; но
что еще интереснее, ежели вещь бесплотна.
Не брезгуй ею, трагедия, жанр итога.
Как тебе, например, гибель всего святого
Недаром тебе к лицу и пиджак, и тога.

Смотрите: она улыбается! Она говорит:
«Сейчас я

начнусь. В этом деле важнее начаться,
чем кончиться. Снимайте часы с запястья.
Дайте мне человека, и я начну с несчастья».
Давай, трагедия, действуй. Из гласных, идущих
горлом,

выбери «ы», придуманное монголом.
Сделай его существительным, сделай его
глаголом,

наречьем и междометием. «Ы» — общий вдох
и выдох!

«Ы» мы хрипим, блюя от потерь и выгод
либо — кидаясь к двери с табличкой «выход».
Но там стоишь ты, с дрыном, глаза навывают.
Врежь по-свойски, трагедия. Дави нас, меси как
тесто.

Мы с тобою повязаны, даром, что не невеста.
Плюй нам в душу, пока есть место

и когда его нет! Преврати эту вещь в трясину,
которой Святому Духу, Отцу и Сыну
не разгрести. Загустей в резину,
вкати ей кубик аминазину, воткни там и сям
осину:

даешь, трагедия, сходство души с природой!
Гибрид архангелов с золотой ротой!
Давай, как сказал Мичурину фрукт, уродуй.

Раньше, подруга, ты обладала силой.
Ты приходила в полночь, махала ксивой,
цитировала Расина, была красивой.
Теперь лицо твое — помесь тупика с
перспективой.

Так обретает адрес стадо и почву — дерево.
Всюду маячит твой абрис — направо или
налево.

Валяй, отворяй ворота хлева.

ЮЛИЯ ВОЗНЕСЕНСКАЯ

р. 1940, Ленинград

Родилась в Ленинграде, но, будучи дочерью военного, в 1945—1950 годах жила в восточном Берлине. В 1964 году впервые получила год принудительных работ за неконформистские выступления; в 1976 году получила за примерно то же самое пять лет заключения. На Западе ее стихи появились впервые в «Гранях» в 1978 году. В мае 1980-го получила разрешение эмигрировать в Германию. Опубликовала много и стихов, и эссеистской прозы «по обе стороны железного занавеса» — впрочем, «по эту сторону» ее произведения появились тогда, когда «занавес» рухнул.

К. КУЗЬМИНСКОМУ НА 16 АПРЕЛЯ 1974 ГОДА

Ты не первый. Иди.
За пределами станешь пророком.
Только Боже избавь оглянуться за милым
порогом:
соляные столбы вдоль дороги,
как свечи на тризне.
Как они далеки, эти слезы о бывшей отчизне!

На закате стена их становится розово-черной.
Я писала когда-то о птицах,
стеклом разлученных.
Не оглядывайся! Уходи, уходи понемногу.
Как сумею собрать тебя в дальнюю эту дорогу?
Ничего я не знала, не ведала, не колдовала:
это смерч конфетти с неметенного дня карнавала

поднимался в душе до собачьего воя, на вырост,
чтоб прочесть в небесах:
«Распродажа поэтов на вынос».

Нашей родине бедной
не петь, не цвести, не молиться —

только, руки умыв, у реки пограничной
томиться.

И останусь одна я под крышкою неба
стального.

Только, Господи, дай мне не ведать всего
остального!

ВЛАДИМИР ДАГУРОВ

р. 1940, Нальчик

Окончил Свердловский мединститут. Кандидат медицинских наук. Медицина и поэзия — две его не ревнующие друг к другу любви.

КОМИССАР

Комиссар впереди эскадрона.
Эскадрон поредел от потерь.
Просыпаюсь я в семь от трезвона.
Покидаю лениво постель.

Бой так бой! Нет буржую пощады —
эй, тачанка, быстрее колеси!
«Рубль возьмите, а сдачи не надо», —
говорю я шоферу такси.

Эскадрон трое суток в походе,
Табачку-самосаду бы в рот...

Перекур у меня на работе.
Ну-ка, друг, расскажи анекдот!

За дивчину не жалко и жизни —
Дышат губы в ночи горячо...
Как ты думаешь, милая, джинсы
будут модными долго еще?

«Революция, грянь, мировая!» —
шепчет парень в последнем бою.
Код в подъезде своем набираю
и в глазок на соседа смотрю...

ВИКТОР ДАНИЛОВ

1940—1960

Шахтер, окончил мореходную школу. С 16 лет печатался. Был убит бандитами. Трудно сказать, что из него могло бы получиться. А все-таки у него есть прекрасная строфа, говорящая и о поэтическом, и о человеческом загубленном потенциале. Вот она:

* * *

Когда не будет в мире армий,
То для себя и для друзей
Оставим где-нибудь казарму,
Как исторический музей.

ЮРИЙ КАШКАРОВ

1940—1994, Нью-Йорк

Поэт, журналист, искусствовед. Эмигрировал в США, где с некоторых пор вошел в редакционную коллегию самого престижного эмигрантского издания — «Нового журнала», а ныне стал его главным редактором. Под его руководством журнал хранит традиции, заложенные еще в парижских «Современных записках», чьим прямым продолжением стал основанный в 1942 году «Новый журнал».

* * *

Блаженству нищих чуждо естество,
Природа мяса иль нью-йоркской стужи,
И ласточки, напившиеся в луже,
Не говорят о небе ничего.

Блаженству кротких скромные цветы,
Петунии карнавальных красок
Не обнажают человеческих масок
И увядают, убежав в листья.

Блаженству чистых дух бывает чужд,
а плоть томительна и тленна,
Судьба повторна и изменна
В преодолении стольких нужд.

Блаженству миротворцев тишина
Не подневольна в дробе барабанов,
И в мир мечтанья и обмана
Их не влечет забвенья сна.

Блаженству плачущих пожар чужих сердец
И безграничность постоянной боли
Не открывают принципов неволи,
Не помогают обмануть конец.

Вы — соль земли, что тает под дождем
У водополя бессловесных тварей,
Не помышляя о счастливом даре,
Стать этой речкой или тем ручьем.

МИХАИЛ КРЕПС

р. 1940, Ленинград

Уехал в 1974 году в США. Защитил диссертацию о творчестве Зощенко. Автор исследований о Пастернаке, Бродском, Чиннове и т. д. Как поэт — на всю, видимо, жизнь попал под влияние Иосифа Бродского, но, кажется, его стихам это во вред не пошло.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Я вернусь туда, где жевал пельмень,
Где над чаем плыл голубой пэл-мэл,
И кошачью лесенку на твоём этаже
Превращу я в песенку, е. б. ж.

И раздастся снова и чмок, и чок,
И найдет свою Золушку башмачок,
А потом новоявленный граф Толстой
На проклятый вопрос даст ответ простой.

Пусть крылатые мурки на сумеречном мосту
Стерегут словно урки уличную пустоту,
И опять рыбьим жиром горит канал,
Куда Пушкин и прочие окунал.

Я с луной возле клумбы глотну лишка
Перед домом, где глобус а la башка,
И Барклай без фуражки махнет рукой
И не будет спрашивать, кто такой.

В ПРЕДДВЕРЬЕ СЕНТЯБРЯ

Как хорошо в преддверье сентября,
На хлеб и соль истратив три рубля,

Смотреть в пространство, очи округля,
И размышлять о дали неогля-

Пусть в это время кто-нибудь влюбля-,
И кто-нибудь дает стране угля,
И кто-нибудь морского корабля
Ночной маршрут прокладывает для.

И кто-нибудь читает, удивля-,
Как Ольга мстит доверчивым древля-,
И кто-нибудь о нас печется, гля-
Из окон освещенного Кремля.

Между осин светящаяся тля
Летит вперед, собой пространство для,
Без газа, без бензина, без угля,
Под крыльями колени заголя.

Как хорошо на мирозданье гля-
дя, пить в тиши, лихих людей не зля —
Тот, кто въезжает в город на осля-,
Хлопот имеет много опосля.

Бежав от славных будней без огля-,
Перед страной вину усугубля-,
Читать стихи какой-нибудь смугля-,
Давая по созвучьям кругаля.

КОНСТАНТИН КУЗЬМИНСКИЙ

р. 1940

Останется в истории русской литературы как издатель девятитомной «Антологии новейшей русской поэзии у Голубой Лагуны» (1980—1986), содержащей огромную панораму ленинградского и провинциального андерграунда 50 — 70-х годов. Издание не окончено, в частности, не издан том, посвященный Москве; к тому же один из томов — полутом 3 В — уничтожен, существуют считанные его экземпляры. В антологию включены в их «самиздатском» виде произведения нескольких сот авторов, часто имеющие немалую художественную ценность. Сам себя Кузьминский называет «продолжателем Крученых», хотя он прежде всего, на наш взгляд, литературовед и эссеист. По большинству томов антологии Кузьминский рассыпал собственные поэтические произведения, сильно проигрывающие в отрыве от издания. Но есть у него и просто хорошие стихи.

НА МОТИВ РУССКИХ ПЕСЕН
Яну Местману

Нету ни поэзии, ни прозы,
живописи, зрелой по годам.
Засыхают даже туберозы,
что ж о розах говорить, мадам?

Писано, и говорю: недаром
Божий дар подался из страны,
в каковой единственным товаром
сделались джинсовые штаны.

Проиграли в карточки Толстые
Бога и отечество и кров.

Выпадают номера пустые
в той стране, где нету номеров.

Половые, но увы! — проблемы
подменили воблу и горох,
и горят дешевые эмблемы
на задах некормленных коров.

Встретимся. И говорю: недаром
не родит земля, и пах не вспух.
Термоядерным грозит ударом
холощенный Францией петух.

На Востоке возникает эхо,
на глазах косеет Сатана,
И поет, поет зачем-то Пьеха
о стране, которой грош цена.

АРКАДИЙ КУТИЛОВ

1940, Омск — 1985, там же

Замечательные молодые омские художники Владимиров, Клевакин, Герасимов буквально «зачитали» меня стихами безвременно ушедшего их земляка, так и не замеченного столичными журналами и критиками. Действительно, в городе Леонида Мартынова жил и работал другой, достойно не оцененный нами при жизни поэт.

РЕЦЕПТ БЕССМЕРТИЯ

Назло несчастьям и насилью,
чтоб зло
исчахло наяву,
Земля
придумала
Россию,
а та
придумала
Москву.

И вечно жить
тебе, столица!
И, грешным делом, я хочу
стихом
за звёзды уцепиться,
чтоб хлопнуть вечность по плечу.

Живу тревожным ожиданьем,
бессонно
ямбами звеня...

Мой
триумфальный
день
настанет:
Москва придумает меня!

ТЫ

Кем-то в жизнь ты неласково брошена...
Безотцовщиной звали в селе...
Откопал я тебя, как картошину
в чуть прохладной сибирской земле.

Я впустил тебя в душу погреться,
но любовь залетела вослед...

И теперь на тебя насмотреться
не смогу и за тысячу лет.

СЛУЧАЙ

...Здесь случайность...
В серьезность не верю!..
Здесь просчет хулиганистых рук.

Краем мысли
тогда, в «Англетере»,
он хотел, чтоб не выдержал крюк.

ВРЕМЯ

Кричат эпохи —
разно всякий раз:
одна, как сыч,
другая — криком зайца.

Их голоса
несутся мимо нас,
но не услышишь,
как ни напрягайся...

Но часто мы
замрем среди толпы
в чужом порыве
пламенном и диком...

Звук пионерской
бронзовой трубы



1



2



3



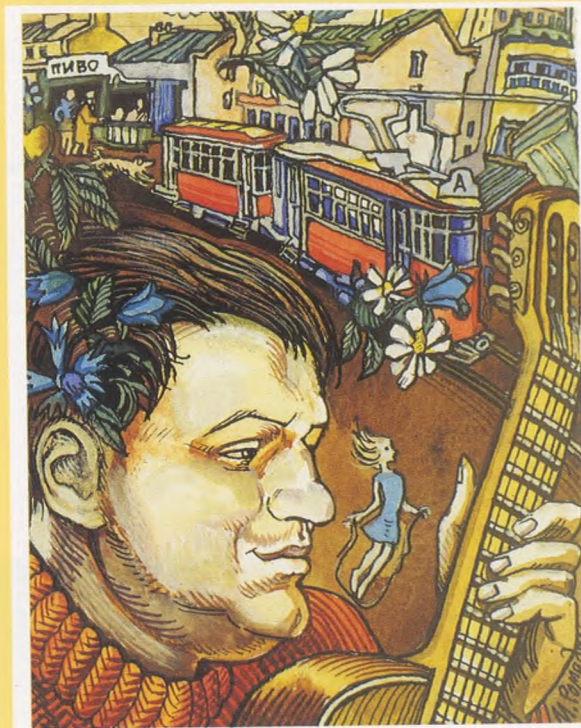
4

IV

1. Р. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ. Нач. 1960-х.
2. Б. АХМАДУЛИНА. 1961. Фото Л. ШИЛОВА
3. Е. ЕВТУШЕНКО. Нач. 1960-х. Фото Л. ШИЛОВА
4. А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ. 1961.



7



8

7. А. ПЛАТОНОВ. 1967—1968. Художник М. РОМАДИН
8. Г. ШПАЛИКОВ. 1994. Художник М. РОМАДИН



9



10



11

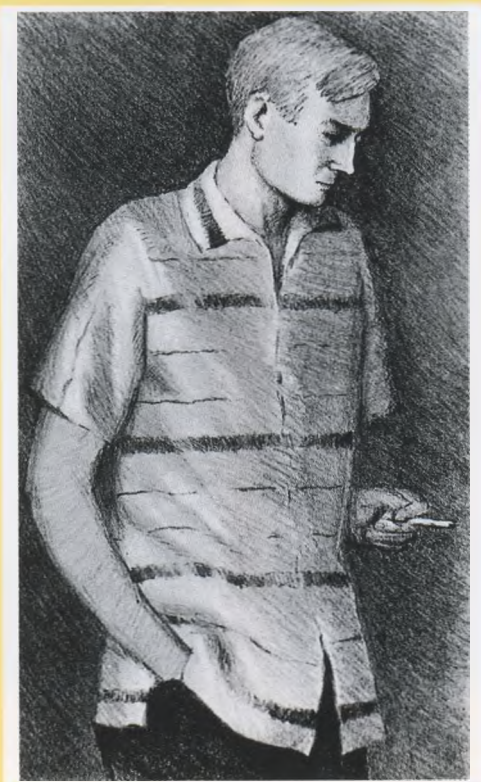
9. А. ПРОКОФЬЕВ. 1976. Рисунок М. ДУДИНА
10. М. ДУДИН. 1976. Автопортрет
11. Н. ТИХОНОВ. 1976. Рисунок М. ДУДИНА



12

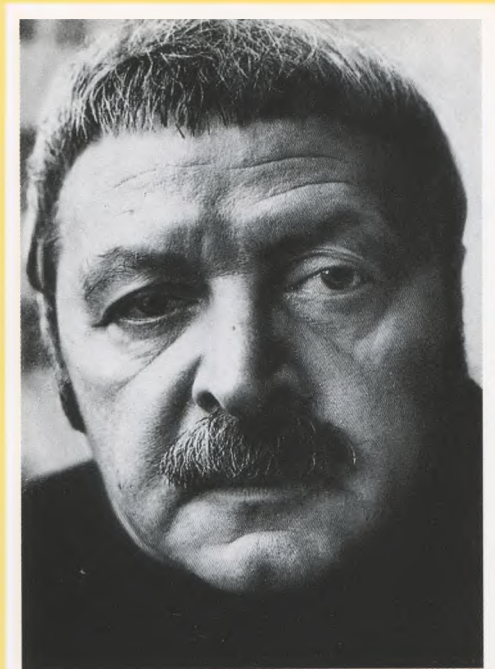


13



14

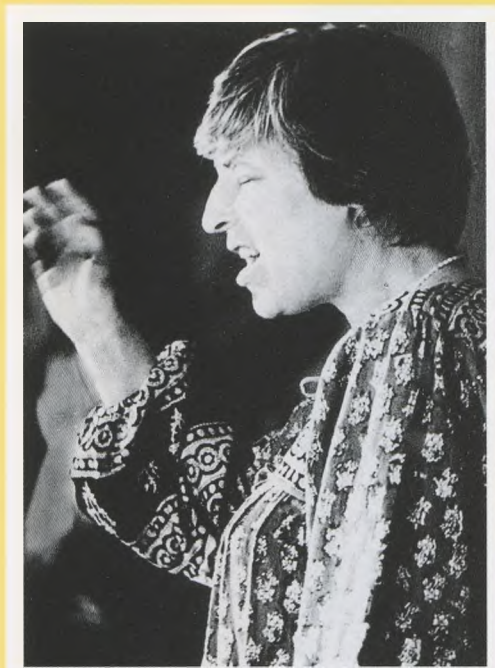
12. **Н. РУБЦОВ.** Эскиз памятника в Вологде. 1985. Художник **В. КЛЫКОВ**
13. **Н. ГЛАЗКОВ.** Художник **В. АЛЕКСЕЕВ**
14. **Е. ЕВТУШЕНКО.** 1961. Художник **Ю. МОГИЛЕВСКИЙ**



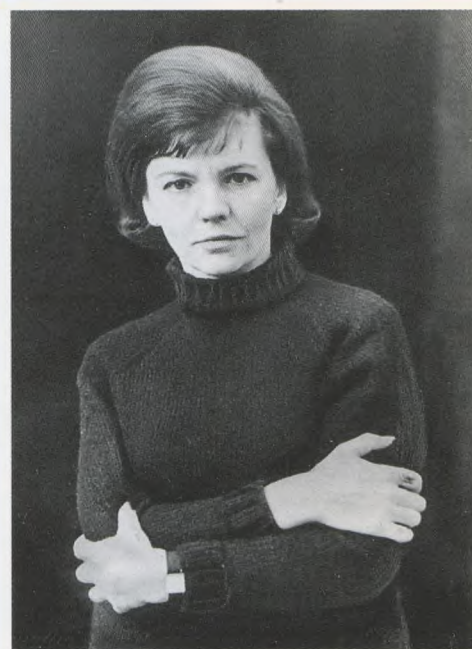
15



16

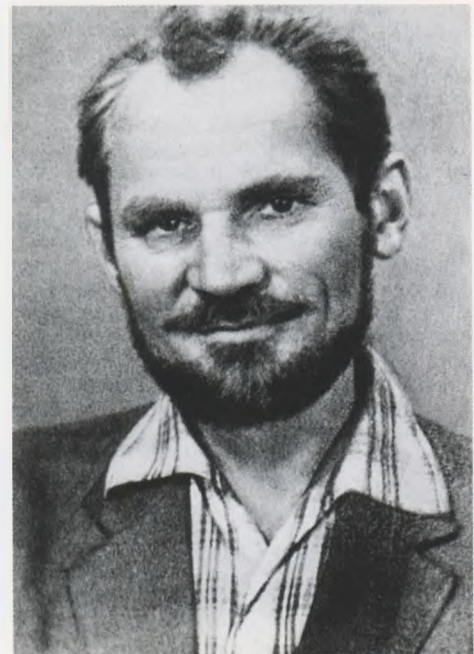


17

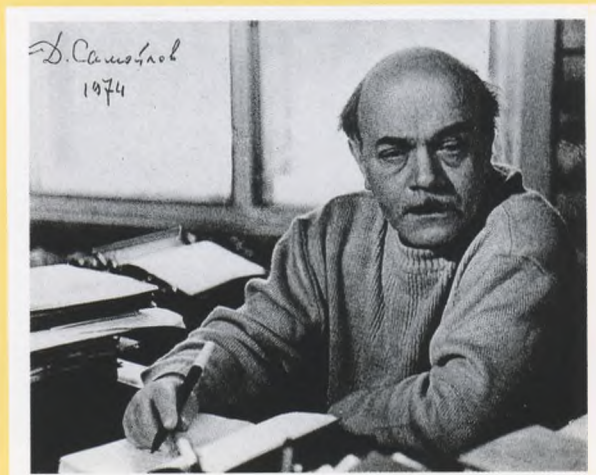


18

15. Ю. ЛЕВИТАНСКИЙ. 1980.
16. А. МЕЖИРОВ. 1960-е.
17. Ю. МОРИЦ. 1986. Фотография М. ПАЗИЯ
18. Р. КАЗАКОВА. 1970-е. Фотография В. КРОХИНА



19



20



21

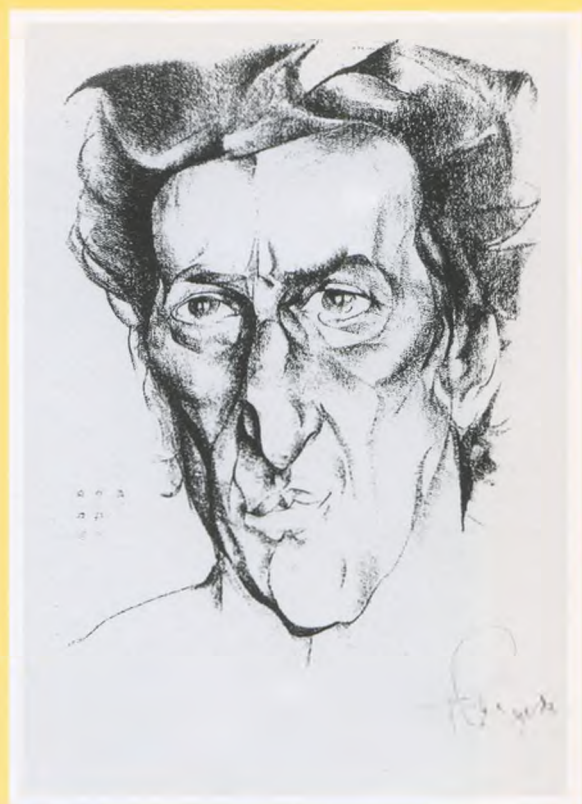


22

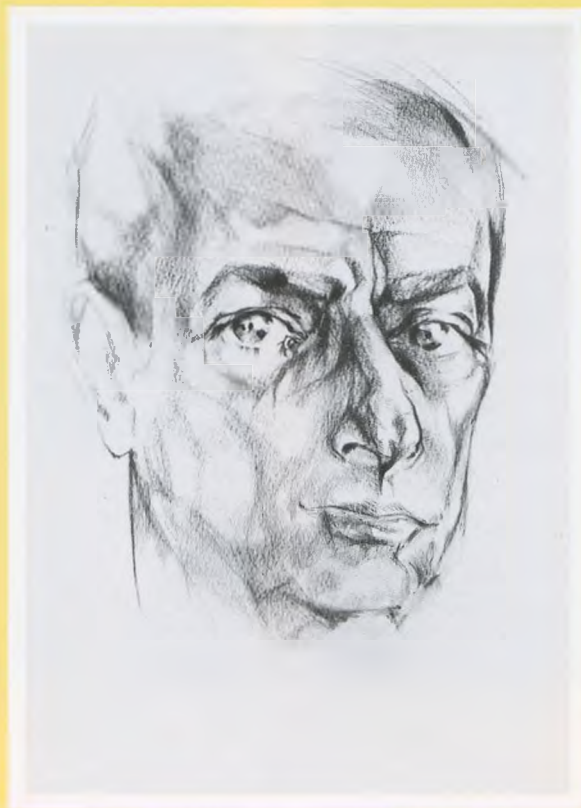
19. **Б. ЧИЧИБАБИН.** 1950-е.
20. **Д. САМОЙЛОВ.** 1974.
21. **О. ЧУХОНЦЕВ.** 1960-е.
22. **Л. МАРТЫНОВ.** 1970-е.



23

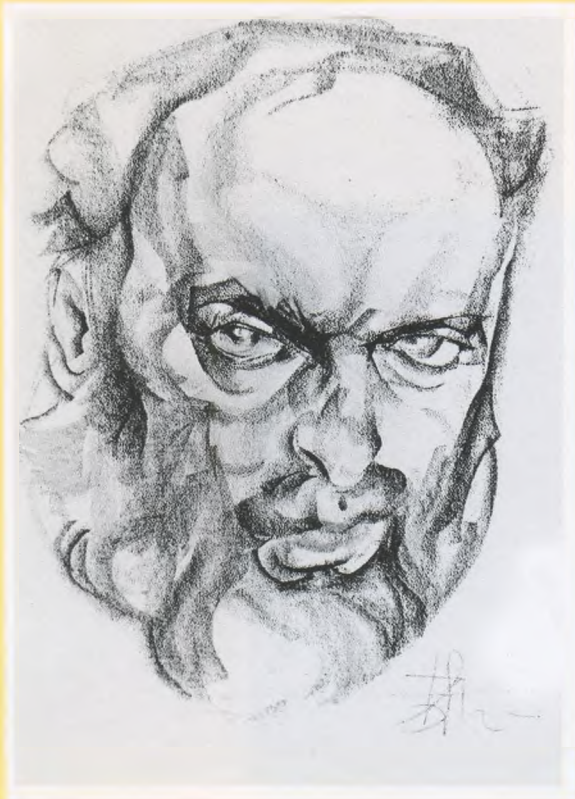


24

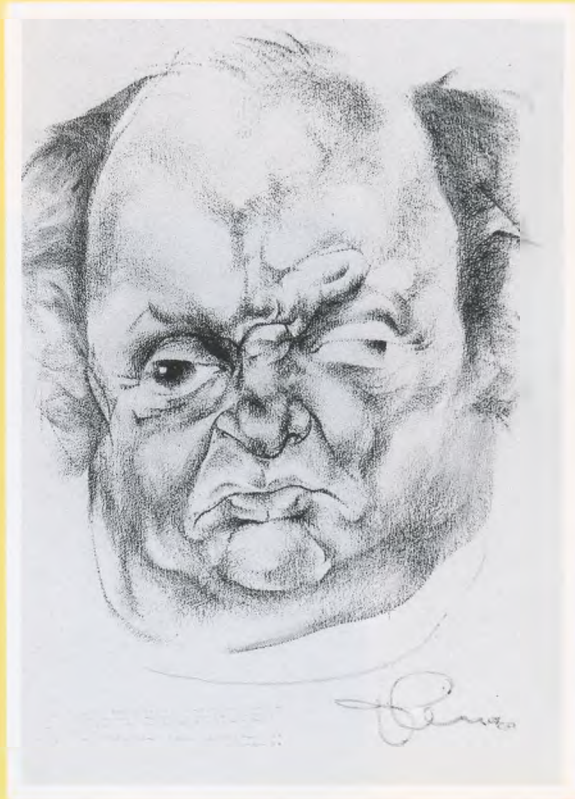


25

23. **Б. СЛУЦКИЙ.** 1974. Художник **Б. ЖУТОВСКИЙ**
24. **И. ГУБЕРМАН.** 1988. Художник **Б. ЖУТОВСКИЙ**
25. **С. ГОРОДНИЦКИЙ.** 1983. Художник **Б. ЖУТОВСКИЙ**



26

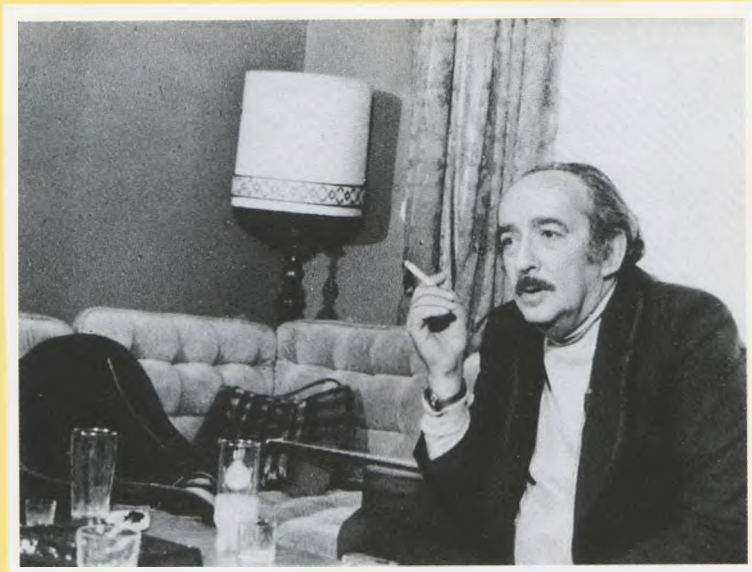


27



28

26. **Вл. КОРНИЛОВ.** 1974. Художник **Б. ЖУТОВСКИЙ**
27. **Н. КОРЖАВИН.** 1990. Художник **Б. ЖУТОВСКИЙ**
28. **Ю. ВИЗБОР.** 1980. Художник **Б. ЖУТОВСКИЙ**



29

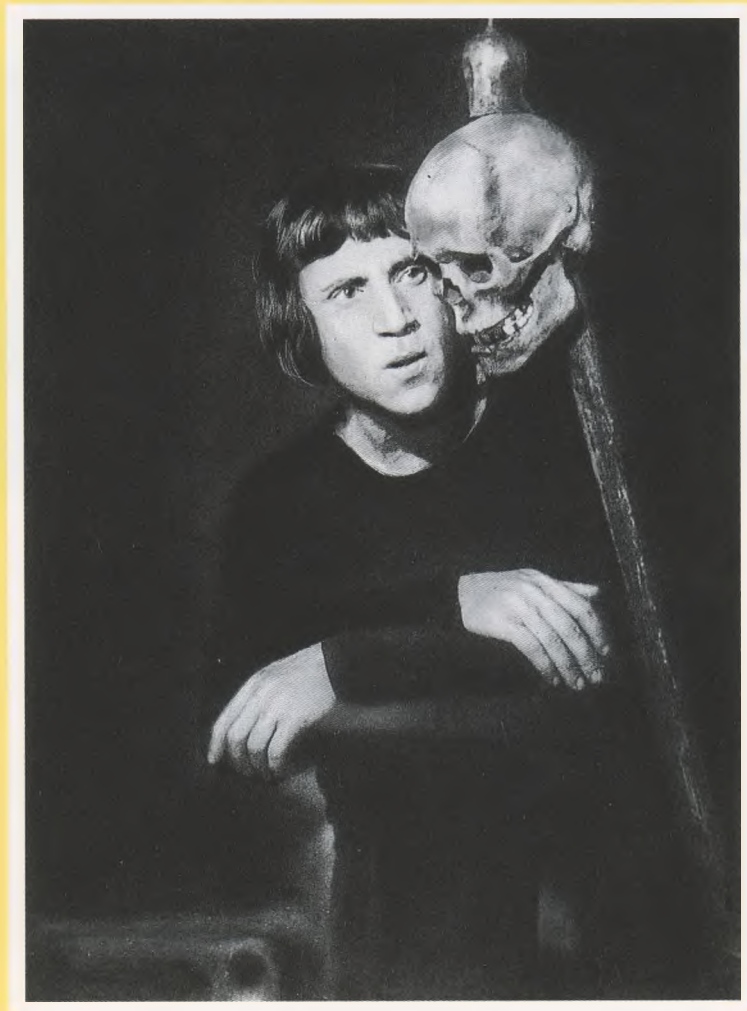


30



31

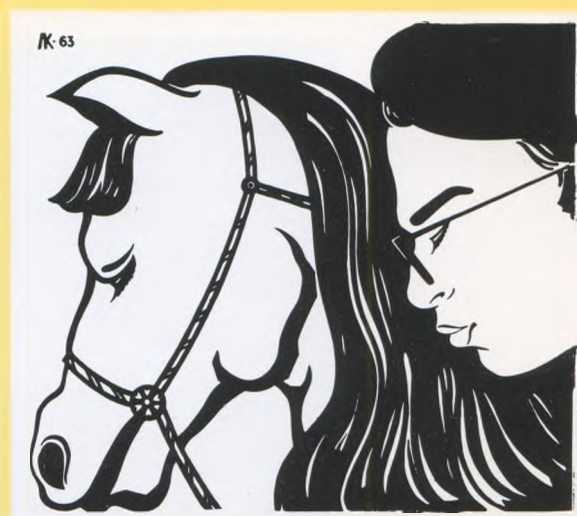
29. А. ГАЛИЧ. 1970-е
30. Н. МАТВЕЕВА. 1960-е.
31. Б. ОКУДЖАВА. 1962. Фотография Л. ШИЛОВА



32



33

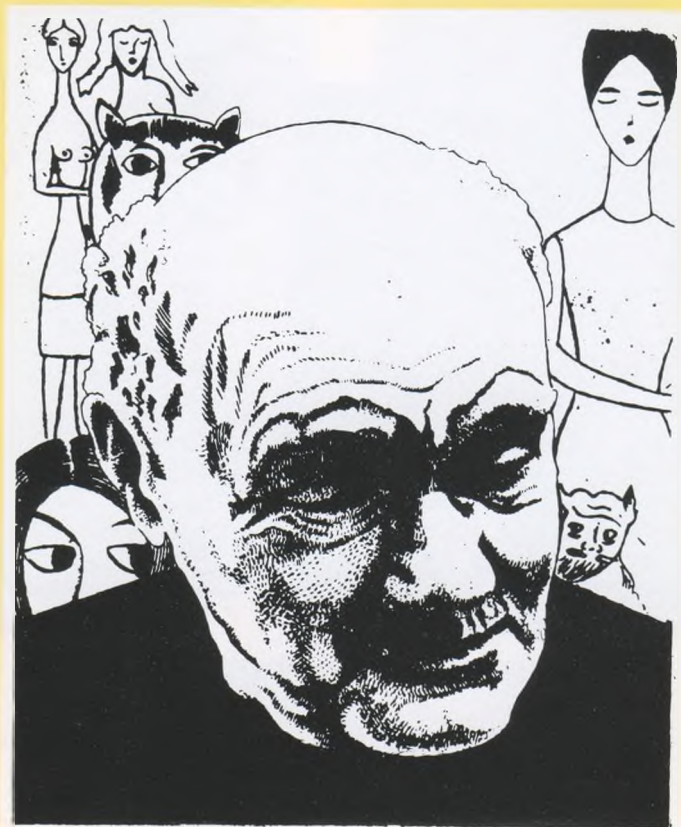


34

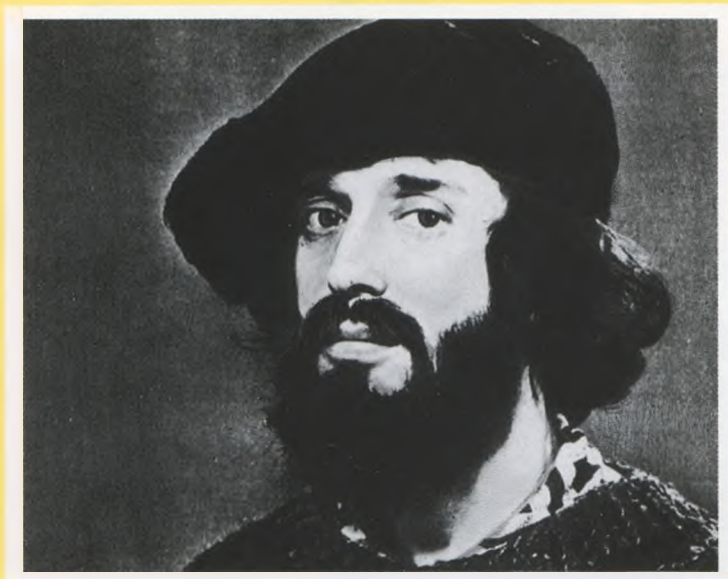


35

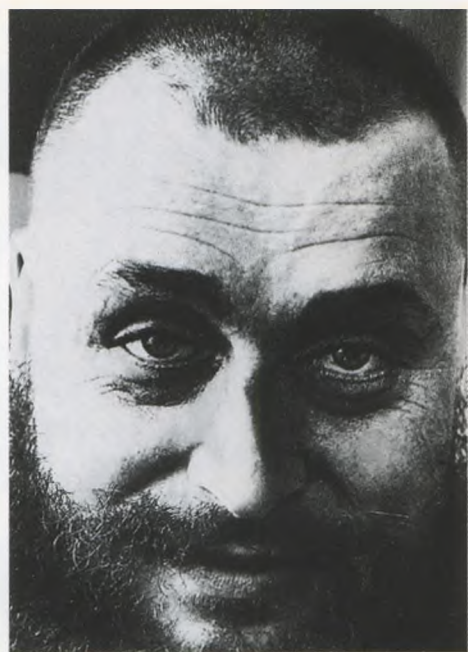
33. **И. ХОЛИН** и **Г. САПГИР**. 1959. *Художник Л. КРОПИВНИЦКИЙ*
34. **В. КОВЕНАЦКИЙ**. 1963. *Художник Л. КРОПИВНИЦКИЙ*
35. **Л. КРОПИВНИЦКИЙ**. 1978. *Автопортрет*



36



37

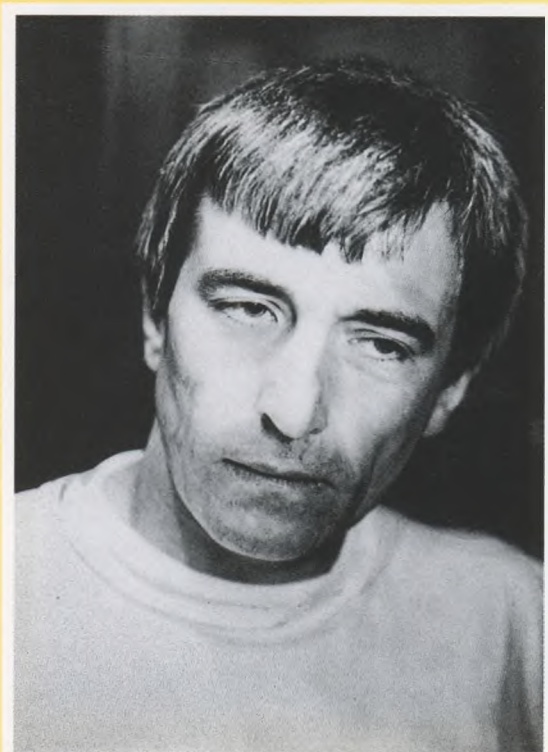


38

37. А. ВОЛОХОНСКИЙ. 1970-е.
38. К. КУЗМИНСКИЙ. 1970-е.



39



40

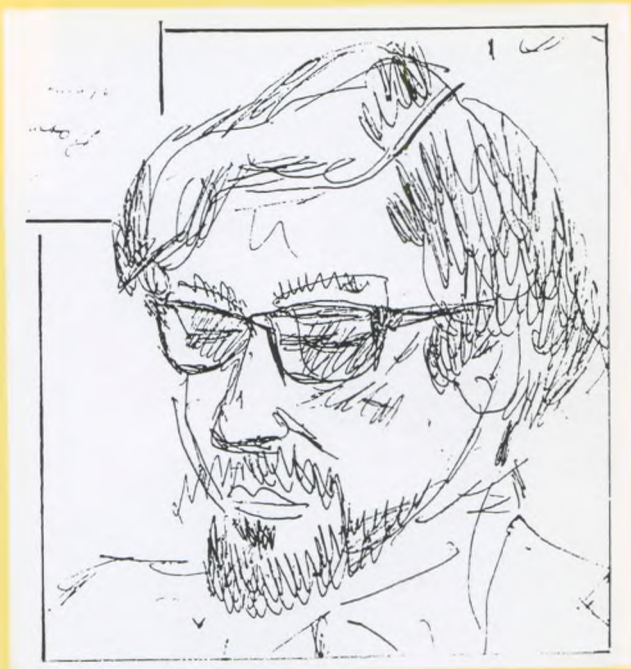


41

39. **Б. КЕНЖЕЕВ.** 1970-е.
40. **С. СОКОЛОВ.** 1989. *Фотография М. ПАЗИЯ*
41. **Т. КИБИРОВ.** 1993.



42



43



44

42. **И. БРОДСКИЙ.** 1970-е. Фотография М. ВОЛКОВОЙ
 43. **Л. ЛОСЕВ.** 1975. Рисунок И. БРОДСКОГО
 44. **И. БРОДСКИЙ.** Фрагмент рукописи с автопортретом

на миг сольется
с мамонтовым криком.

* * *

Деревня Н. не знала гроз.
Покой и тишь — ее основа...
Но в каждом доме был Христос
С лицом Емельки Пугачёва!

* * *

Человек!
Дорожи теплом,
как мой друг —
живописец Дима...
Он уж если рисует дом,
то всегда
начинает
с дыма.

У гуляй-ручья

У добра и зла
прямо вплоть края
хоть в углу избы, хоть в разливе моря...

... Я жил в шалаше
у Гуляй-ручья,
жил совсем один и не ведал горя.

Посадил сосну
(хоть пока одну) —
пусть растет себе на земном на шаре!

Сделал семь дорог —
для потомков впрок,
муравьям помог уцелеть в пожаре.

Не ловил я щук
на смертельный крюк,
не тиранил змей, соболей не трогал...

Но на днях ко мне
заявился друг, —
поднабрать здесь сил да груздей немного.

И не стало враз
моего лица!
Мой дружок во всем проявлял умелость...

Помогал он мне —
не с того конца,
подпевал он мне — только мне не пелось.

А когда он мне
стал читать мораль,
я сдержал свои гнев только страшной силой!...

На ружье взглянул
и без слов шепнул:
«Ох, уймись, мой друг, одноклассник милый!...»

Превратился шалаш
в цитадель-тюрьму,
стал я жить, как вор, при слошном конвое...

... Добро можно делать
и одному,
а для зла — нужны двое.

О ромашке

1. ПЕТР ПЕРВЫЙ

Сей знак матросу и солдату
снимает сто душевных мук.
Послать
в пробирную
палату!

В отдел лекарственных наук!

2. ЕКАТЕРИНА ВТОРАЯ

Я Потемкину в спальне бросила:
«Я ромашка... Спаси от осени...»
Утром русские кобели
все ромашками расцвели!

3. ШЕРЛОК ХОЛМС

На лепестках — губная краска.
Ромашкой пахнет тут и там.
Любовь и ревность... Дело ясно.
Вы арестованы, мадам!

4. СТЕНЬКА РАЗИН

Бабам — мед, гулякам — бражку,
вдовам — плач, а девкам — пляс.
Розы — всем! А мне — ромашку,
а боярам — пулю в глаз!

5. ЧАПАЕВ

Чуть тронь ее, и неживая,
и может слопать чей-то конь.
Ромашка, дура полевая!
А ну-ка, Петька, дай гармонь!

6. ЛЕНИН

Архивинная, архипрекрасная,
как мысль мужицкая проста...
Была б еще и цветом красная,
и был бы символ хоть куда!

7. ХРУЩЕВ

Наш цветочек, в доску наш.
Исключительный фураж!

8. БАБА-ЯГА

На свиданья все летаю,
истрепала сто плащей.
Дай, ромашка, погадаю —
любит-нет меня Кощей?

9. БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК

Ура! Да здравствуют фуражки,
штаны, кальсоны и пиджак!
Ромашки, пушки, каталажки
и кружка пива натошак!

10. ХЛЕСТАКОВ

Да я... да мы... да Пушкин Шурка.
Ромашка, кошка! Сто чертей!
Да я вам пришлю из Петербурга
двенадцать тысяч орхидей!

11. РОБИНЗОН КРУЗО

Славно было, деточки:
попугай на веточке,
людоеды, Пятница, море...
А теперь:
попугай в клеточке,
булка хлеба — в сеточке,
а Машенька-ромашенька не жена, а зверь!

12. СУВОРОВ

Помилуй бог, какая прелесть!
Ромашка, ты ли это, ты?
Ну, что, ребята, насмотрелись?
Вперед — за русские цветы!

* * *

... Пацан, кусок сибирской плоти
(Я имя вам не назову)
на злобно ржущем самолете
внаполеонился в Москву...

* * *

...Пусть во мне мороженое тает,
пусть рыдают рябчики во мне.
Баба клавиш сладостно придавит,
как клопа когда-то на стене...

ТАТЬЯНА МАКАРОВА

1940—1974

Безвременно ушедшая дочь Маргариты Алигер и композитора Макарова, убитого во время войны.
Жаль, что не успела высказаться до конца. Но все-таки что-то успела...

СКАЗКА О ЛИСТЬЯХ

Когда же листья умирали,
Свершив последний праздник свой,
Их молча в груды собирали
Суровой дворницкой метлой.

Их молча в тачки погружали,
И долго мучило меня,
Куда же листья уезжали
Из этого сырого дня?

И я стволов щекой касалась,
И ветви за руки брала,
Пока всего не поняла
И обо всем не догадалась.

О листьев праздничная груда!
Мне все известно о тебе!
Я плакать никогда не буду
О горестной твоей судьбе.

ДЕЗЕРТИР

Как картошка мокну тут
в погребке у дяди.
Если в зиму не сожрут,
то весной посадят.

* * *

Петух красиво лег на плаху,
допев свое «ку-ка-ре-ку»,
и каплю крови на рубаху
брезгливо бросил мужику.

СЛОВО

Час назад (уж целый час натикал...
только час, а кажется года)
сдавленным и сумеречным криком
прозвучало слово «никогда».

...д'Артаньян на помощь не прискачет,
не распорет шпагой темноту...
Никогда «Титаник» не заплачет
в долгожданном розовом порту...

Никогда не выстрелит Царь-пушка
для остратки вражеских держав...

... Догорает в памяти избушка,
курьи ножки
судорожно сжав...

Покинув парки и бульвары,
Назначив встречу где-нибудь,
Становятся все листья в пары
И в царство листьев держат путь.

Они полны своей корысти.
Представь — пунцовая страна,
Где только листья, только листья,
Их бронзовые племена.

Они печали оставляют,
И злые метлы не корят,
И вновь деревья составляют,
И снова дышат и горят.

* * *

О, радуйтесь значительным победам
В высокой и продуманной игре,
А я — я тайно улыбнусь побегам
На жестяном щербатом пустыре.

Проспекты, площади себе возьмите.
Оставьте мне замшелые дворы.
Оставьте мне две солнечные нити.
Возьмите солнце. Будьте так добры.

Я выбрала. Я это все приму.
И будет в доме капля дождевая.
И будет в сердце рана ножевая.
А нож возьмите. Мне он ни к чему.

ПАВЕЛ МЕЛЕХИН

1940—1987

Работал геологом. Знаменит был своей веселой хулиганкой, написав о себе самом некролог в «Литературную газету». Будучи не при деньгах, ради шутки писал стихи за других, работа «литературного негра» кормила в советской поэзии далеко не его одного. Но конец жизни Мелехина был совсем невесел — он выбросился из окна.

* * *

Существую, как все. И горю, и горюю,
Мир порой непонятен до слез.
Может быть, как движок от избытка
горючего,
Я со временем ринусь вразнос.

А пока, как дикарь, — пробираюсь в ущелья,
Под себя подминаю коня.
На скаку замечаю: пустые кочевья
И друзья покидают меня.

И уходят в охотники. На облавы.
Тот сутяга, а тот уж судья.
И никто уж не машет рукой, не обманет
Обманувших навеки себя.

Прикрываю ладонью глаза на минуту:
Вверх и вниз. Как дикарь вверх и вниз.
Я, должно быть, подобную участь миную —
Миновала ж Монголия капитализм!

ЛАРИСА МИЛЛЕР

р. 1940, Москва

Верная и, быть может, лучшая ученица Арсения Тарковского, лирик «в чистом виде», но и оригинальный прозаик. Первая книга — «Безымянный день» — вышла в Москве в 1977 году; в 1992 году в издательстве «Тerra» вышел ее большой том — «Стихи и проза». Дарование несколько литературное, но иногда поражающее тонкостью, лаконизмом.

* * *

Вот какая здесь кормежка:
Меда — бочка, дегтя — ложка.
Вот какая здесь кровать:
Мягко стелят, жестко спать.
Вот какая здесь опека:
Тот сгорел, а та калека.
Вот какая здесь любовь:
Любят так, что горлом кровь...
А вначале для затравки
Хоровод на мягкой травке,
Гули-гули, баю-бай,
Суций праздник, Божий рай.
Или, может, и вначале
Злые знаки день венчали,
Может, череп на колу
Не заметила в пыли.

* * *

Мы у вечности в гостях
Ставим избу на костях.

Ставим избу на погосте
И зовем друг друга в гости:
«Приходи же, милый гость,
Вешай кепочку на гвоздь».
И висит в прихожей кепка.
И стоит избушка крепко.
В доме радость и уют.
В доме пляшут и поют,
Топят печь сухим поленом.
И почти не пахнет тленом.

* * *

Перебрав столетий груду,
Ты в любом найдешь Иуду,
Кровопийцу и творца,
И за истину борца.
И столетие иное
Станет близким, как родное:
Так же мало райских мест,
Те же гвозди, тот же крест.

* * *

Я славлю сон Обломова! Еще,
 Пускай еще обломовщина снится!
 Он спал, упав щекою на плечо,
 А не расстреливал несчастных по темницам.

ГЕННАДИЙ УГРЕНИНОВ

р. 1940 (?)

Гидролог. Первая книга вышла в 1984-м, вторая — «На окраине лета» — в 1992 году в Санкт-Петербурге, издание Бюро пропаганды художественной литературы. Умное, несколько скуповатое, но тонкое перо.

* * *

Это что за скрежет
 Над святою Русью?
 Точно гвозди лапой
 Дергают из брусьев,

Или тащат зубы
 У всего народа,
 Или отпирают
 Спешно все ворота?

Или распрямитесь
 Хочет люд горбатый,
 Или чьи-то кости
 Ворошат лопатой?

Или сталь слепую
 Кто-то рвет из ножен,
 Или цепь таскаем —
 Без нее не можем?

1991

* * *

(отрывок)

Земля здесь не очень рожала,
 И все же, отменно сильна,
 Стояла на реках держава,
 Жила на капусте страна.
 Была она, впрочем, богата
 Пенькой и товаром лесным,
 Да к солнцу лежала покато
 И, значит, бедна остальным.
 Темнели иконные лики,
 Скучали белесые дни.
 Но были в стране этой книги,
 Точней, появились они.
 Наверное, кем-то хранима,

Хотя, как и прежде, гола,
 Безгласная наша равнина
 Внезапно язык обрела —
 Как будто клубок покатился,
 Мотая судьбу за судьбой,
 Как будто народ спохватился
 Сойтись многоликой толпой,
 И все это врало, божилося,
 Стреляло, дралось в кабаке,
 А после спокойно ложилось
 С копеечной свечкой в руке.
 И разом ни зябко, ни парко,
 И тени сходились в кружок,
 И воск закипал на огарке
 И капал

и пальцев не жег.

А рядышком,

щурясь от света

Сквозь круглые птичьи очки,
 В бессилье сжимали поэты
 Худые свои кулачки,
 Похоже, и тут виноваты.
 И если бы знать наперед,
 Еще до могильной лопаты
 И этих, с крестами, ворот,
 То краше кончалась бы повесть —
 Не повесть —

хотя бы глава,

И с миром отъехал бы поезд,
 И Анна осталась жива...
 За окнами вихрилась вьюга,
 В глаза лошаденкам соря,
 До самого ближнего юга
 Три года скачи, и зазря,
 Часы несуразное били,
 Под лед забиралась вода.
 Но книги в стране этой были
 И это зачлось. Как всегда.

1969

ЮРИЙ ФАДЕЕВ

р. 1940

Живет в Ростове-на-Дону. Вот что сам он пишет о себе: «...образование среднее, грузчик, строитель, слесарь. Учился в автотранспортном техникуме, бросил на последнем курсе. Лет десять ездил на так называемые шабашки. Пописывал стихи, но все мои публикации в местной прессе — это заслуга моих друзей. В редакции, помнится, не ходил, в силу робости или вредности. Однажды даже «руководил» литературным объединением, но времена становились все менее «вегетарианскими» — чешские события и пр. Компетентные органы имели со мной многие хлопоты... И, разумеется, меня полностью перестали печатать. Это меня и не особенно тревожило. Года, может быть, три назад несколько раз публиковался в ростовской печати. Работаю в НИИ физики, что-то вроде лаборанта-электрика. Пенсия по II группе инвалидности — ампутация ноги». Искушенное, я бы даже сказал, изысканное перо, легко воскрешающее видения прошлого.

* * *

Вот книжка без начала и конца...
 Маман откушала и истязает пальцы.
 Чей это дом? Чиновника? Купца?
 Улан какой-то в доме в постояльцах.
 Все дело в том, что в Энске полк стоит.
 Гость подшофе, но внешне без изъяна.
 В людской содом из кухни пар валит,
 Дочь у себя — она за фортепьяно.
 Нет никакого удержу страстям,
 В дом поутру приносят роз корзину.
 Сюжет спешит, и пять минут спустя
 Елена, дочь, влюбляется в верзилу.
 К концу поменьше действующих лиц.
 Отозван полк. Обозники да клячи.
 К тому ж на предпоследней из страниц
 В петлю полез былой поклонник, стряпчий.
 В благом семействе, видимо, раздор.
 (А может, дочь утешится акцизным)...
 Всего-то дел — копеечный сыр-бор
 Пришедшего в упадок романтизма...
 Не Бог весть что — книжонка без конца.

Так, пустячок, в мигренях, пальцах, ситцах.
 Что антураж! Не воду пить с лица.
 Сочувствуется действующим лицам,
 Со всем их молью битым барахлом...
 Но видится мне в пору первоснежья
 И выезд пароконный за окном,
 И полость на сударыне медвежья...
 Морозец долгожданный на дворе...
 Свят-свят, отлютовала инфлюэнца...
 Шандалы, жирандоли, суаре,
 И у камина вохкие поленца...
 А вышло — валтасаровы пиры!
 Они ли растранижирили наследье
 Отечества младенческой поры,
 Дожившего до совершеннолетия?
 Избави Бог, в соавторы не рвусь,
 Но видится мне в прерванном явленье:
 На мощном древе, чье название Русь,
 Плодоносило это ответвленье...
 Что адюльтер! Житейская грязца.
 Ужо грядет пора перелицовок...
 Благословишь сюжеты без конца
 В предошущеньи дьявольских концовок!

ДЕТИ ВОЙНЫ

Поэты, родившиеся с 1941 по 1945 год

*— Отец! — кричу. — Ты не принес нам счастья! —
Мать в ужасе мне закрывает рот.*

ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ

Но сколько можно только верить?!

МАРИЯ АВВАКУМОВА



АЛЕКСАНДР ЗОРИН

р. 1941, Москва

Автор нескольких стихотворных сборников. Поэт с обостренным чувством чужой боли. А к этому еще и такой мрачноватый юморок. А каким еще ему быть, если пережито послевоенное детство, которое «шире пруда или свалки — не знало просторов. Нас уже разделило тогда на заступников и живодеров».

В ЯСЛЯХ

На полу детей орава,
словно кубики — вразброс.
Воспитательница Клава
смотрит влево,
смотрит вправо,
смотрит прямо,
как на палубе матрос.
Воспитательница Клава
начеку, с нее же спрос!
Смотрит влево,
смотрит вправо:
— Иванов, куда пополз?..

ВАЛЕРИЙ КРАСКО

р. 1941, Ростов-на-Дону

Автор нескольких книг. Рекордное количество раз проваленный при приеме в Союз писателей, видимо, из-за подозрительной национальности (не то полугрек, не то полуеще что-то) и из-за еще более подозрительного революционного чегеваристского, вполне искреннего романтизма. Эта искренность настораживала настолько, что ни одна его строка о Че Геваре не была напечатана. В последнее время романтизм во имя революции сменился у Краско не менее искренним семейным романтизмом (название последней книги — «Во имя жены и сына», 1992).

* * *

Из детских грез — в гипноз тоски и страха
Уходим — належке или «с вещами»:
Оракулы инфаркта или рака
Недаром на прощание вещали
В небесной канцелярии — во храме —
В ночи мечетей, синагог и пагод,
Что Бездна — коль не в нас,
то перед нами —
Туда нам остается только падать.

Прощаемся — рабы «сроков» и Сроков —
До следующих — после нас — рождений?
До притаившихся в душе «пророков»,
Чуть притомившихся от наслаждений?
До встречи в крематории Лубянки? —
Исход Любви — из ада ли, из рая ль —
Печален, как прощание славянки
С евреем, уезжающим в Израиль...

Как Иванушка во поле вышел
И стрелу запустил наугад.

Он пошел в направленье полета
По серебристому следу судьбы.
И попал он к лягушке в болото,
За три моря от отчей избы.

— Пригодится на правое дело! —
Положил он лягушку в платок.
Вскрыл ей белое царское тело
И пустил электрический ток.

В долгих муках она умирала,
В каждой жилке стучали века.
И улыбка познания играла
На счастливом лице дурака.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Шел отец, шел отец невредим
Через минное поле.
Превратился в клубящийся дым —
Ни могилы, ни боли.
Мама, мама, война не вернет...
Не гляди на дорогу.
Столб клубящейся пыли идет

Через поле к порогу.
Словно машет из пыли рука,
Светят очи живые.
Шевелятся открытки на дне сундука —
Фронтвые.
Всякий раз, когда мать его ждет,
Через поле и пашню
Столб крутящейся пыли бредет,
Одинокий и страшный.

* * *

Обезумело слово «вперед»,
Обернулось оно человеком,
Что повел за собою народ,
Словно черт в помешательстве неком,

По волнам, головам напрямик,
Распевая ударные песни!..
И в такой он толкнулся тупик,
Что глаза на затылок полезли.

И тогда он увидел народ,
И глаза у народа открылись
Оттого, что у слова «вперед»
На затылке глаза очутились.

ВИКТОР МАКСИМОВ

р. 1941

Ленинградский поэт, автор очень недетских фольклорных обработок, одну из которых мы извлекаем со страниц журнала «Аврора» за 1982 год — трудно поверить, что в те годы «такое» вообще печатали.

НАЯДА

«Полюби! — заклинала наяда. —
Два полтинника — тоже ведь рупь!
Половинь, коли целой не надо:
хвост выкидывай, бабу голубь!
Полюби хоть вполсердца!.. Послушай,
не отыщешь такую нигде,
чтоб молчала, как рыба на суше,
чтобы топла, как баба в воде!..»

С полуслова смекнул дурачина —
рубанул ее саблей, хитер!
Все, что бабье, — швырнул, где пучина,
все, что рыбье, — до дому попер.

СВЕТЛАНА МЕКШЕН

р. 1941, Липецк

Мощное, несколько диковато-необузданное дарование, соединяющее в себе крик женского одиночества, и презрение к лицемерам, и нежность к людям. Но может и по-мужски грохнуть кулаком.

КОГДА СМЕЮТСЯ ВСЕ

Когда смеются все —
 печальный кто-то есть.
Когда вокруг поют —
 есть не принявший песни.
Когда прощают все —
 взывает в ком-то мечь.
Когда все разом лгут —
 всегда найдется честный.
Всегда найдется он,
 чужак на всех один:
в кармане ни гроша,
 в душе и свет и темень...

Он в спорах молчалив,
 в застолье нелюдим,
он вечно нелюбим
 то этими, то теми.
Но там, где нет его,
 все разом меркнет вдруг...
И через силу — смех.
 И песня —
 еле-еле...
И беспредметен спор,
 кто враг кому,
 кто друг,
когда друг другу все
 смертельно надоели.

АЛЕКСАНДР ТИХОМИРОВ

1941, Москва—1981, там же

При жизни издал единственную книжку — «Зимние каникулы» (1973), а вообще печатался мало и редко. Учился в Литературном институте, а по происхождению, как говорят старые москвичи, — «с Арбата». Погиб под пригородной электричкой, после его смерти вышла книга «Белый свет» (1983), в которую попало далеко не все, что было им написано.

ТЕЩА

Сегодня ужин тощий,
И, выпив молока,
Мы с худенькою тещей
Играем в дурака.
Почесываю ухо —
Опять не повезло,
А чертова старуха
В ударе, как назло!
Показывает дули,
Пугается бубей,
И прыгает на стуле,
Как будто воробей.
Все больше сатанею...
Но теща не проста —
Берет меня за шею
И чмокает в уста!

ГРОЗА

Чуть громыхнуло, и немедленно
Стемнело в доме у меня —
Церквушка заново побелена
Предгрозовой погодой дня...
Моя зеленая рубаха
Опять упала в лопухи;
Опережая кур, от страха
Бегут в сараи петухи.
Земля дрожит вослед ударам...

Но куры прыгают с шестка —
В такие сумерки недаром
Гроза, как полночь, коротка!
...И далеко ушли зарницы,
И на душе моей легко —
В сенях мне хочется напиться,
Да в банке скисло молоко!

ФОЛЬКЛОР

Чье-то горе —
 не помеха!
На деревню шел палач —
Всю вселенную проехал
И в семью несет калач.
Он любит березой,
Он смеется у реки,
Сам веселый и тверезый,
Моем в речке сапоги.
Никаких противоречий!
Все вместил в себя палач:
Тишину полей и речек,
Чей-то стон...
И детский плач.

Мы часть всего, как рожь, как васильки,
Мы только часть, а целое закрыто...

Для Бога мы — на память узелки,
А меж собой все будем позабыты.
И хоть страшна забвения пора,

Пусть весь умру, как говорит наука,
Не слишком много делал я добра,
А вечно помнить зло — такая мука...

ВАДИМ АНТОНОВ

р. 1942

Один из редких поэтов, создавших свой собственный стиль. Это уникальная проза, написанная стихами. По каждой из поэм Антонова (а у него их двадцать) можно ставить кинофильм — настолько они осязаемо сюжетны, а герои слеплены из живой плоти. Жизненный опыт Антонова, видевшего не раз небо в крупную клетку, пошел ему впрок. Что-то, а людей он знает и что называется «наскрозь их сечет».

ПОМИЛОВКА

Рассказ в стихах

(фрагменты)

Когда промозглый ветер безобразник свистит
в пустых карманах ноября,
Страна Советов отмечает праздник,
и этот праздник, честно говоря, довольно
громок, но не очень весел.

Гремит концерт на радиоволнах,
и на экранах в красном плюше кресел сидят
большие люди в орденах.
А ветер скачет через лужи сквера наискосок
и шахматным конем. И, не поздравив
милиционера с его законным ежегодным днем,
у магазина хмурятся мужчины...

День продавца, шахтера, рыбака...
Кто будет звать сегодня без причины гостей
на рюмку, кроме дурака?
Вопрос не в том, что под ножом и вилкой
блестит слезой сухая колбаса,
а в том, что стыдно за одной бутылкой
стоять в хвосте длиною в два часа
под наблюдением милиционера, который есть
не кто-нибудь, а власть...

Напротив нас живет соседка Вера,
и у нее есть пагубная страсть
назло врагам устраивать смотрины своим
не столь уж редким женихам.

Очередной одет был не с витрины,
но отличался склонностью к стихам
и обо всем имел свое суждение —
жених служил дежурным старшиной
в одном весьма суровом учреждении,
укрытом за высокою стеной,
но говорил об этом с неохоткой.

Тогда соседка между ним и мной поставила
резной графинчик с водкой
и, подмигнув за крепкою спиной пришедшего
на конкурс кандидата

на площадь двадцать метров и в мужья
с зарплатою сверхсрочного солдата,
дала понять глазами, чтобы я
пощупал надзирателю-пииту его нутро —
жилплощадь не кровать.
Он был в Москве прописан по лимиту,
а Вере было поздно рисковать.
.....
Казалось (что еще провинциалу?), трудись,
расти по службе — и молчок.
Но в глубине моей души помалу зашевелился
мерзкий червячок
какой-то неосознанной тревоги...

Жена любила не меня, а дом.
И, вытирая перед дверью ноги, я иногда
ловил себя на том,
что слышу шепот некоего сатира, из-за угла
мне кажущего шиш,—
твоя ли это, собственно, квартира, перед
которой ты сейчас стоишь?
Уйти? Куда? Легко поставить точку, но,
скомкав быт, вернешь ли бытие?
И разве смог бы я оставить дочку? Ты так
похожа чем-то на нее...

Нет, я привык считать себя мужчиной
и не спешил пенять своей судьбе.
Дабы не спутать повода с причиной, ищи ее
сперва в самом себе.
Я так и делал — всякое сомненье толкуя
в пользу золотых волос,
не предъявлял в душе им обвиненье за то,
что где-то что-то порвалось...

И все же мы не ждали потепленья — любовь
остыла, как сгоревший кокс.

Я раскрывал большие преступления и
упирался в странный парадокс:
добравшись до известного предела, когда
в руках сходились все концы,
меня на всем скаку снимали с дела,
а у других большие стервецы с моей блесны
опять срывались в воду,

как чересчур тяжелые сомы,
а те, кто слишком трогал их свободу, порою
мне писали из тюрьмы.

Я понимал: еще хватает грязи, но есть и снег
победы на висках.

Я видел нити их взаимосвязи — ведь я служил
во внутренних войсках.

Водил ребят в ночное оцепленье и, взяв
бандита, твердо знал одно —
у нас в стране любое преступленье хоть
и возможно, но обречено.

Теперь же я терялся от догадок одна другой
тревожней и мрачней.

Я защищал общественный порядок, но лишь
хотел конкретней и точнее определить,
в чем, собственно, накладка, кому закон
и власть не по плечу,
как выяснялось: я слуга порядка, с которым
сам мириться не хочу.

Его поступок стоит приговора. Икар красив,
но крылья дал — Дедал.

Я не хочу оправдывать майора, хотя в суде,
наверно б, оправдал.

Лишь потому, что быть судьею трушу.
Сам приговор не стоит ни гроша.

Кому дано казнить чужую душу, не зная,
что есть собственно душа?

Быть может, ей, переступившей бровку,
милей уже иная круговерть —
она получит Жизнь как помиловку, а ей,
бессмертной, помиловка — Смерть?
Что ей слепые представленья наши, самой
в себе хранящей мрак и свет!

Да, я, конечно, спрашивал у Саши, какой
наш узник получил ответ,
но он и сам, увы, не знал ответа —
он перешел работать из тюрьмы
в библиотеку университета,
и очень может быть, что вскоре мы
поздравим с красной книжицей юриста.

Как хорошо, что Вере в прошлый раз
не захотелось замуж за артиста,
который слушал не ее, а джаз.

Теперь же я за дом ее спокоен — как мужу
Саше просто нет цены.

Я думаю, что он вполне достоин стать
и министром МВД страны.

По крайней мере у меня есть вера, что
вопреки недавнему — при нем
мой сын поздравит милиционера с его
законным ежегодным днем.

КОНСТАНТИН КЕДРОВ

р. 1942, Рыбинск Ярославской обл.

Ни на кого не похожий — уникальный и в своих эссе, и в поэтических экспериментах, и в своем «преподавании уникального». Словом, «уникалист», теоретик современного взгляда на искусство, защитник «новой волны», считающий в отличие от пессимистов, что сейчас расцвет литературы, а не ее распад. Как редактор литературного отдела «Известий» превратил его из официоза в проповедь авангарда.

КОЗА

Станция прямого слежения уваживания
и наваждения
местонахождение неизвестно и впредь не
будет
но из дальнего бюро-автомата прилетело
знание:

КОЗЫ НЕ БУДЕТ.

Эта весть как громом с ясного неба поразила
всех паразитов
облетела всех негодяев
и завлекла в капусту:

«Граждане, сегодня козы не будет!»

Так нет же нет

Пусть предъявят мне доКАЗАТЕЛЬства
пусть принесут мне рога и копыта и вымя
тогда это будет подлинно и псевдонаучно.

Прощай коза-дереза
больше мы не увидимся
по небу течет твое млеко
и огненными знаками
начертано в зените полуночи:

«Отныне и сегодня

Козы не будет!»

МАРК РИХТЕРМАН

1942—1980

За свою недолгую жизнь публиковался лишь дважды, оба раза в альманахе «День поэзии» — в 1978 и 1981 годах, в первом случае с предисловием составителя этой антологии, во втором — с предисловием Арсения Тарковского; уже после его смерти все тот же «День поэзии» за 1989 год напечатал два стихотворения Рихтермана с предисловием Ларисы Миллер. Как сказал когда-то о себе С. Кржижановский: «Всю мою трудную жизнь я был литературным небытием, честно работающим на бытие». Увы, почти ослепший, совершенно больной Марк Рихтерман точно соответствовал этому определению.

* * *

Хороши мои дела —
По ночам все та же мгла,
По утрам все та же, та же
Голубая белизна,
И пустынные пейзажи
Наблюдаю из окна.

В неизменности такой
Есть отрада и покой,
Есть надежда, есть привычка,
И судьбы слабеет гнет.

Жизни серенькая птичка
Тонким голосом поет:

«Чик-чирик — святое дело
Жить на свете — чик-чирик,
Чик-чирик — душа и тело,
Чик-чирик — к чему привык».

Чиви-тав — легко и просто
Дни проходят — чиви-тав,
Ты глядишь на них с помоста
Чиви-тав — не сосчитав.

НИКОЛАЙ САРАФАННИКОВ

р. 1942, Рыбинск Ярославской обл.

Эмигрант третьей волны, автор очаровательных и очень «искусствоведческих» двух сборников стихотворений «Кипрей» (Париж, 1987), «Черствые именины» (Париж, 1991). Поэт с излишне цветистым, наверное, но явно собственным голосом.

ДВОЙНЫЕ ФАМИЛИИ

Удобства ради каждому дано
Пристойное прозвание от рожденья.
Случается, бесплатным приложением,
Как посохом, снабжается оно.

Мне с детства Бялыницкий-Бируля
Был мил не меньше, чем Богданов-Бельский.
Тот — в жанре мэтр, другой —
в пейзаже сельском,
Сплотились в ряд, двоясь и веселя.

Я не искал в отрогах Кетменя
С Семеновым-Тян-Шанским троп удобных;
Зато, Петрову-Водкину подобно,
Купал когда-то красного коня.

Хранило небо, отводя беду
И обходясь куда как по-джентльменски:

Добру учил меня Стеблин-Каменский,
А Маслова-Лашанская — труду.

Каких имен на свете не найдешь!
Здесь речь не о двойничности — о краске.
Конечно, тащит розвальни савраска,
Не кличка, к ней приставшая. И все ж!

Об Ордине-Нащокине читать
Или в тиши музейного отсека
Вдруг набрести на холст Тулуз-Лотрека —
Ни дать ни взять двойная благодать.

Двойных фамилий чудная семья...
Бобрищев-Пушкин, Мендельсон-Бартольди,
Сумбатов-Южин... Козыри в колоде,
В бурьяне жито, во пиру князя.

Апрель 1990

ИГОРЬ БУРИХИН

р. 1943, с. Троицкое Вологодской обл.

Жил в Ленинграде, в СССР не печатался; стихи его появились в «Континенте» в 1976 году. В 1978 году эмигрировал в Германию; живет близ Кельна. В том же году в Париже вышла его первая поэтическая книга — «Мой дом слово». Бурихин — переводчик «Лексикона русской литературы» доктора В. Казака на русский язык.

ПОДСТРОЧНИК ПУШКИНА

С утра садимся мы в транспорт.
И беремся, что то же самое,
за работу. И пусть то наше
лишь желанье, но в перспективах
та же слава, дурная. И так мы пишем
в универсум социальной болезни
дни нашей жизни.

То на крыльях, то пешком, то в животном
о двух спинах — монументе бесстрашья —
симпатическим шпионским чернилом
все с утра до вечера пишем,
что проявится как раз на пожаре,
чтоб сгореть в очередном переходе
из количеств суть в количества, в бунте
бессмысленном и беспощадном, то есть
в коллективном разуме родов,
в продолженьи преждевременном, спорном
всей нашей жизни.

Благословим же бесконечность в этом
совокупленьи без оргазма, но и
дискретном, присмотревшись к поршню
в двигателе внутреннего сгорания —
о перпетуум мобиле коитус!..
Уже глубокой ночью, лежа без сна,
я проникаюсь ненужностью
влачимой по кругу жизни.

Я говорю, что мне она
не нужна. Лучше уж женщина. Но я понимаю
и другое: что это лишь вариант, который
удается мне. И вместе с тем — идеал,
к которому
так стремится тот другой человек, мой же
приятель,
имеющий совсем другие цели, ожидания,
предощущенья
другую память... Так я лежу
и не смею спросить зачем.
И тем меньше утешений
остается мне в моей жизни.

НАТАЛЬЯ ГАЛКИНА

р. 1943, Киров

Живописец, архитектор, автор трех поэтических сборников, из коих лучший — с характерным названием «Горожанка». Живет в Санкт-Петербурге. Такое чувство, что начинается она стихи с иронии, но они сами переходят в городской затравленный романтизм.

ЗАВОДНАЯ ИГРУШКА

Кончается время твое, заводная игрушка.
Кончается время твое, заводская зверушка.
Все задано было: мотор с ноготок, повадка,
раскраска,
поклевка, припрыжка, повтор, железная
пляска.
Железного бытия мир смирен и смирен.
Кончается тайна твоя и ключик потерян.
Еще сверкнет коготок шажка под ступнею,
и глянешь ты на меня с усмешкой стальнойю.
И глянет вдруг на меня игрушка другая
в какой-то новый мирок недвижно шагая.

В том краю первосортных нелепиц,
разукрашенных хной и сурьмой,
домовой мне протягивал хлебец
и подманивал уличной тьмой.

Сургучом запечатывал алым
мой любезный конверты свои,
и его письмецо навевало
первозданные байки сии.

В тех местах запеленутых мумий,
оживающих за полночь свеч
я любила в шагов его шуме
зашифрованный ритм подстеречь.

В той никем не подсмотренной дури
пел по-свойски не чувствуя нот
и сидел в довоенном велюре
совершенно макаберный кот.

В том краю, где бродили черешни,
вишни пьяные льнули ко рту,
были воды классически вешни
и подметки рвались на ходу.

Речь срывалась на: ух, ты! и — ах, ты! —
 что за книги читались, не вем,
 и мой давешний с бухты-барухты
 ревновал меня к будущим всем.

В том краю, в том по-сосенке-с-бору,
 где все твари подобны творцу,
 были ноги босые мне впору
 и соленые слезы к лицу.

ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВ

1943—1992

Был при жизни знаменит «стишками» в духе черного юмора, которые — хотя он и не давал их записывать, опасаясь очередной посадки, а их было много в его жизни, — легко запоминались и становились фольклором. Издал три книжки для детей, — по недоступности «взрослого» Григорьева М. Шемякин со своим предисловием по меньшей мере дважды перепечатывал его детские стихи на Западе. Бездомный и вечно нетрезвый Григорьев был одним из видных поэтов ленинградского андерграунда. Его пришедшие буквально со дна жизни стихи — прямое продолжение традиций Александра Введенского, а смерть на свободе от алкоголизма и беспросветности совкового быта — едва ли намного менее трагична, чем гибель обэриута в тюремной психушке.

Я спросил электрика Петрова:
 — Для чего ты намотал на шею провод? —
 Ничего Петров не отвечает —
 Только тихо ботами качает.

Девочка красивая
 В кустах лежит нагой.
 Другой бы изнасиловал,
 А я так — пнул ногой.

ДУРАКИ

Едим селедку,
 Она орет:

— Вон колбаса по дорожке
 идет!..

Бросили селедку,
 Побежали за колбасой.
 Клоков в колготках,
 Я в трусах, но босой.
 Наступил я на кошку,
 А Клоков на червяка.
 Растянулись мы вдоль
 дорожки,

Два дурака.
 Порвал он колготки,
 А я трусы.
 Остались мы без селедки,
 А главное — без колбасы.

ИГОРЬ КАЛУГИН

р. 1943

Он стал знаменит на весь мир в одночасье: когда через месяц после того, как Литва объявила себя независимой от СССР, в пассажирском самолете, размахивая пестрым полиэтиленовым пакетом, потребовал изменения курса; и угнал самолет в самом деле, заставил приземлиться в Литве, о независимости которой Москва тогда еще и слышать не хотела. Прямо из самолета Калугин попал в одну из знаменитых московских тюрем, а очень скоро был отпущен по малоопытным причинам: думается, у догнившей власти не было желания ввязываться еще в один сомнительный процесс. Ну, а в 1990 году у Калугина вышла книга «Стихотворения», пока единственная.

В СЕЛЕ КУЗЬМИНСКОМ

Стоит старинное село,
 Питья и хлеба в нем довольно.
 А на окраине его —
 Облупленная колокольня.
 И пятиглавый белый храм
 Где службы нет, но есть иконы,
 Где паутина по углам
 И яркий полдень заоконный.
 Темны в окладах дорогих
 Старообрядческие лики,
 И очи грозные святых

Мерцают, словно сердолики.
 Давненько церковь под замком,
 И сторожика тихо плачет.
 Ей каждый камень здесь знаком
 И каждый шорох что-то значит.
 Она показывает мне
 Давно не читанные книги.
 Она живет как бы во сне
 И тело тащит, как вериги.
 И держит в сухонькой руке
 От храма ключ полупудовый.
 И жилка бьется на виске,
 Как будто запертое слово.

ЭДУАРД ЛИМОНОВ

р. 1943, Дзержинск, Украина

Лет двадцать тому назад в Москве мне сказали, что есть один парень с таким редким цитрусовым псевдонимом, который зарабатывает тем, что шьет брюки полудиссидентской богеме, а сам пишет ни на кого непохожие стихи. Когда мы познакомились, он спросил меня: «Скажите, если я уеду на Запад, я сумею жить на заработок от стихов?» Я объяснил ему ситуацию на Западе, где даже самые лучшие книги стихов расходятся маленькими тиражами, где профессиональных поэтов практически не существует, — все они вынуждены для заработка заниматься чем-то другим. Лимонов, вздохнув, сказал: «Но здесь меня вообще не печатают, а там, может быть, будут». Через несколько лет в Нью-Йорке я подъехал к дому моего американского друга Питера Спрэйга на Саттон Плейсе, и двери мне открыл его домоправитель, учтиво приветствовавший меня по-английски. Это был Эдуард Лимонов, впоследствии не слишком благодарно описавший моего друга в своем язвительном гротеске. Комната Лимонова в квартире американского миллионера была увешана плакатами с Че Геварой и Мао Цзедуном, а на столе в интимной ореховой рамке стоял небольшой портрет полковника Кадафи. Поняв, что его стихи на Западе действительно никому не нужны, Лимонов заболел социальной, а заодно сексуальной «левизной» и написал скандальную, рассчитанную на эпатаж и тем не менее сочную метафорическую книгу «Это я — Эдичка». Эта книга была своеобразным русским «Тропиком Рака» — и от нее отказывались некоторые эмигрантские книжные магазины. Но Лимонов добился своего — его стали печатать, переводить, и ему даже удалось издать в «Ардисе» книгу избранной лирики «Русское», откуда взято это стихотворение — редкий в поэзии образец самонезнотности, отчасти родственный раннему Эренбургу. Теперь Лимонов часто ездит в Россию, в Приднестровье, выступает в имперском духе.

* * *

Я в мыслях поддержку другого человека
Чуть-чуть на краткий миг... и снова отпущу
И редко-редко есть такие люди
Чтоб полчаса их в голове держать.
Все остальное время я есть сам
Баюкаю себя-ласкаю-глажу
Для поцелуя подношу
И издали собой люблюсь.

И ведь люблю на себе я досконально рассмотрю
Рубашку
И до шовчиков излажу

И даже на спину пытаюсь заглянуть
Тянусь тянусь
Но зеркало поможет
Взаимодействуя двумя
Увижу родинку искомую на коже
Давно уж гладил я ее любя
Нет положительно другими невозможно
Мне занятому быть
Ну что другой?!

Скользнул своим лицом, взмахнул рукой
И что-то белое куда-то удалилось
И я всегда с собой.

ОЛЬГА ПОСТНИКОВА

р. 1943, Евдаково Воронежской обл.

С ранних лет живет в Москве. Окончила Московский институт тонкой химической технологии, что позволило ей, после нескольких лет работы в промышленности, освоить ремесло реставратора и посвятить свою жизнь спасению церквей и старинных зданий. Интонации молитвы, русских духовных песнопений прорываются в ее стихах, писавшихся еще в 70-е годы, но лишь недавно вышедших к читателю. Это словно бы завет ее деда — православного священника, погубленного в сталинских лагерях еще до рождения поэтессы.

ПОДРАЖАНЬЕ СТАРОВЕРАМ

Вы зачем обмываете меня,
Вы зачем одеваете меня,
Вы зачем укрываете меня,
Вы зачем зарываете меня?

Не дала силы сыну моему,
Не дала счастья мужу моему,
Не дала света дому моему,
Не нужна стала больше никому.

Вы меня провожаете туда,
Где вина неизбывна навсегда,
Где ни сна, ни поденного труда,
Ни огня покаянного стыда.

Но цветет белым кружевом покров,
Но цветет белой сливой край дубров,
Но цветет в синих жилах моя кровь,
Не хочу поминальных я даров.

Не готова родня моя рыдать,
 Не готова к разлуке моя мать,
 Не готова душа моя летать,
 Не готова пред Богом я стоять.

Дайте мне только день один прожить,
 Чтоб сорочку кроеную дошить,
 Чтоб сыночка мне на ночь уложить
 Да у матери прощения просить.

1978

АЛЕКСАНДР РАДКОВСКИЙ

р. 1943, Умань Черкасской обл., Украина

Верный ученик Арсения Тарковского, из той же плеяды, что Л. Миллер, А. Лаврин — впрочем, не так уж много фамилий вспоминается. Книгу стихотворений «Шершавая десть» выпустил в Москве в 1993 году, с предисловием А. Тарковского, датированным 1982 годом. «Учитель» проглядывает и во многих стихах «ученика» — что их не портит.

* * *

С. П. Трубецкому

Благословляйте пешие прогулки,
 землей идите, всех живых жалея...

Я пью вино в Дзержинском переулке
 за складом магазина «Бакалея».

Я пью один, присев на стеклотаре.
 Вдова Клико, уж вы меня простите...
 Я думаю о мужестве, о каре,
 о доброте, о правоте, о быте.

Передо мною княжеского дома
 острожные оструганные доски.

А надо мною шелестят знакомо
 Живучие иркутские березки.

Сибирский воздух нынче не целебен
 от злобы, от мирского безобразья...
 А князь ушел, наверно, на молебен
 и мне сегодня не увидать князя.

Быть может, князь меня бы не услышал.
 Быть может, нас и слушать-то не надо...
 Спасибо, князь, что ты тогда не вышел
 в декабрьский день на площадь у сената.

1976

САША СОКОЛОВ

р. 1943, Оттава, Канада

Русский писатель, родившийся в Канаде, в семье советского дипломата. В СССР служил в армии, учился на факультете журналистики МГУ, позже работал журналистом в провинции. В октябре 1975 года эмигрировал, первый же роман — «Школа для дураков» (1976) — принес ему шумную известность. Второй роман — «Между собакой и волком» (1980) — представляет собой своеобразный гибрид стихов и прозы; из него взяты публикуемые стихи.

* * *

Здесь лежит рыбак хороший,
 Рыбу он скупал,
 А потом себе дороже
 Продавал.

Позавидовали Коле
 Горе-рыбаки,
 Встретили с дрекольем
 У реки.

Спи, Николка, Волга плещет,
 Блещет огонек,
 Пусть тебе приснится лещик
 И линек.

ЗАПИСКА XXXII

Эклога

И вот, не отужинав толком,
 Поношенный пыльник надел,

Сорвал со гвоздя одностволку
 И быстро ее осмотрел.
 И вышел из дому. Собака
 За мной увязалась одна.
 Бездомной считалась, однако,
 Казалась довольно жирна.
 Но это меня не касалось:
 Казалась, считалась — все вздор,
 Мне главное — чтоб не кусалась.
 Я вышел. Вот это простор.
 Из дому я вышел. Дорога
 Под скрежет вилась дергача,
 Вилась и пылила. Эклога
 Слагалась сама. Бормоча,
 Достигнул поленовской риги,
 К саврасовской роще свернул
 И там, как в тургеневской книге,
 Аксаковских уток вспунул.
 Навскидку я выстрелил. Эхо
 Лишь стало добычей моей,
 И дым цвета лешего меха

Витал утешеньем очей.
 Какой-то листок оторвался
 От ветки родимой меж тем.
 Зачем? — я понять все пытался.
 Все было напрасно. Затем,
 Домой возвращаясь деревней,
 Приветствовал группу крестьян,

Плясавших под сенью деревьев
 Под старый и хриплый баян.
 Но месяц был молод и ясен,
 Как волка веселого клык.
 Привет вам, родные свояси,
 Поклон тебе,
 русский язык.

ВАЛЬДЕМАР ВЕБЕР

р. 1944

Родился в Кемеровской области, в семье «мигрировавших» с Волги немцев; вся его жизнь двуязычна, он пишет стихи по-русски и по-немецки, хотя вторые публикуются, а первые лежат в столе десятилетиями. По образованию германист, живет в Австрии и Москве попеременно. Известен как серьезный литературовед, специалист по «маргинальным» немецким литературам: им составлены и изданы в переводе на русский антология поэзии немцев Румынии, антология поэзии Люксембурга и многое другое.

СТАРЫЙ АЛЬБОМ

Одиночество снимков альбомных.
 Фотография Шмидта. Царицын.
 Даже дед мой уже не помнил
 эти лица.
 Тетушки бабушек, тетусhek дети,
 чьи-то снохи, прабабкин брат...
 В выходное во все одеты
 и во взятое напрокат.
 Бутафорская пышность кресел,
 напускная серьезность глаз.

Руку с перстнем мой прадед свесил
 с подлокотника, напоказ.
 Люди, в общем, обыкновенные,
 никакие не нувориши.
 Захотелось хоть на мгновение
 появиться на свет из ниши.
 Позабыв про свои болезни,
 животы подтянув на треть,
 они просто из кожи лезли,
 чтобы внуку очки втереть.

1975

ВИКТОР КРИВУЛИН

р. 1944, пос. Кодиевка Ворошиловградской обл., Украина

Один из поздних учеников Ахматовой, последователь традиций серебряного века, один из первых представителей ленинградской «второй культуры», выпустивший поэтический сборник за границей («Стихи», Париж, 1981), за что был изрядно «зачитан» ленинградским КГБ. Однако — уцелел, и с конца 80-х годов широко печатался в СССР. Самостоятельное, редкое дарование.

ВЫВОД

Краем уха по радио
 (надо ж теперь торопиться!)
 я услышу, что Моцарт серьезно собрался
 жениться,
 что невеста его,
 юнгефрау Констанца, коварна —
 и поэтому, видимо, был арестован Сукарно.
 Я пальто расстегну,
 задержавшись у радиоточки,
 и услышу в таинственном треске
 земной оболочки
 чуть восторженный голос,
 хотя и с оттенком трагизма,
 что жена у Сократа, увы, оказалась капризна —

и поэтому в Перу был выстрелом в спину убит
 адвокат прогрессивный,
 по коем вся Куба скорбит.

Я и шапку сниму
 — бесполезно куда собираться,
 ведь повсюду магнитные бури и протуберанцы,
 и динамик хрипит, и тоскует трудящийся Бах,
 потому что детей у него,
 что в Одессе бродячих собак —
 и грудных, и усатых,
 и всяко, и конных, и пеших...
 И поэтому я окажусь, вероятно, повешен.

КРОТ

Господине мой крот, мы настолько же кротки,
 и земля нарыивает над нами!

Проползти ли на брюхе насквозь, до Чукотки,
все подземное царство с его городами,

там ли выставим морду слепую,
как монах, разорвав головой небеса?...
Господине мой крот,
по-кротовьи так слепо тоскую,
корни чувствую, трубы,— но где же дома
и леса?

Обнимая на ощупь,
споткнувшись о неровности кожи

всеми пальцами нервов — но где же
встречу гладкое зеркало? И на кого мы похожи
в рыхлой шубе земли, в домотканой одежде?

Или там, где суровыми нитками сшиты
край земли и небесный брезент,
нет ни лиц, ни зеркальной луны, лишь
шершавые плиты
да плашмя пограничник лежит,
как ребенком забытый
оловянный солдатик —
зубами впился в горизонт.

ЮРИЙ ЛИННИК

р. 1944, Беломорск, Карелия

Тонкий религиозный философ, собиратель картин и стихов полузабытых биокосмистов. Оказал бесценную помощь при составлении этой антологии.

РАЗРЫВ

Смолчать? Но чувствую опять,
Едва заслышу святотатца,
Что слова мне не удержать
И у черты не удержаться.

Вид у тебя весьма не плох,
О баловень преуспеванья! —
Застигнут совестью врасплох,
Ты высвечен до основанья.

Вот он, разрыв! Вот он, разлом!
Во имя славы суесловной
Границу меж добром и злом
Однажды ты назвал условной.

ВАЛЕРИЙ ЛОБАНОВ

р. 1944

Врач по профессии, собиратель собственной антологии русской поэзии, помог и нашей.

РОМАНС

Когда сиреневая стружка
закружит в небе майский вальс,
вам повстречается старушка,
и что-то встрепенется в вас.

Несет старушка пару пива
в кошелке цвета «изумруд».
Живет она неторопливо —
всю жизнь такие не умрут!

Несет она сквозь дни худые,
не понимая ни аза,

свои такие молодые
незамутненные глаза.

Она поет про птицу-тройку,
от жизни ничего не ждет.
Идет она сквозь перестройку,
сквозь демократию идет.

Идет старушка молодая,
вся устремленная в зенит.
И колокольчик, дар Валдая,
над ней тихонечко звенит.

1993

АЛЕКСАНДР ОЖИГАНОВ

р. 1944

Одессит, пришел в ленинградскую поэзию из Молдавии, да так и остался «одним из» в питерском андерграунде вместе с Кривулиным, Охупкиным, Ширали и еще несколькими «звездами», плохо видимыми со стороны, но на небе Северной Пальмиры достаточно заметными.

* * *

И больше здесь не будет перемен.
И повторенье ежедневной роли
боль обделяет ощущеньем боли,
как обделенных — пением сирен.

А я хотя и слышу и скорблю,
привязан добровольно, но надежно...
Здесь достоверно только то, что ложно:
спасаюсь, то есть — сам себя гублю.

ОЛЕГ ОХУПКИН

р. 1944, Ленинград

С детства был окружен сочиненной по поводу его рождения легендой — о том, что, по предсказанию Иоанна Кронштадтского (в наше время канонизированного), в тяжкий для России час явится дивный отрок — и т. д. Подростком пел в церковном хоре, потом резко порвал с церковью, — по сложившейся легенде — то ли правде? — в 1965 году, когда уже давно писал стихи, на пустой колокольне повстречался с Иосифом Бродским, что в корне изменило его судьбу. Поэтические сборники Охупкина довольно широко расходились в ленинградском самиздате до середины 70-х годов. В 1976 году Охупкин у себя дома впервые в СССР организовал «Гумилевские чтения». Первый поэтический сборник, «Пылающая купина», издал в 1990 году.

* * *

Неужто азиат?
Нет, россиянин ты,
Тому свидетель мат
Отменной чистоты.

Тому свидетель нрав
Смиренный и крутой.
Себя перелистав,
Ты вспомнишь нечто. Стой!

Не европеец ты
За так себя листать.
Мы русичи, просты
Друг друга опростать.

Хитер характер наш.
Росс торговаться рад.
Тысячелетний стаж —
Крестьянский наш уклад.

Европа? То — уклон.
Монголы? Экий срам!
Не к немцу ль на поклон?
В Царьград, в Софию, в Храм!

А то и на Восток
За Обь, в Сибирь, в Сибирь!
Милиции свисток,
Байкал и Анадырь.

Да мало ль этих дыр?
Возьми хоть Сахалин,
А то Алдан, Таймыр
До самых украин.

А то и Колыма...
Оттоль возврата нет.
Вселенская тюрьма,
Привет тебе, привет!

Да кто же ты? бандит?
Бродяга или вор?
Да русский я, пиит,
Не лаю на забор.

По мне закон — закон,
А беззаконье — склад
Характера. Погон
Не выношу, Виват!

Азиец, славянин,
Отчасти финн, варяг,
Олег от имянин,
И от богатства наг.

Так, от природы гол,
Как все вокруг, увы,
По матушке — сокол,
По отчеству с Невы.

СЕРГЕЙ СТРАТАНОВСКИЙ

р. 1944

Еще один представитель ленинградского андерграунда, круга, опекавшегося Верой Пановой и Давидом Даром. С конца 70-х годов стихи Стратановского появлялись в русской печати за рубежом, лишь в 1988 — 1989 годах появились первые публикации в СССР. Он окончил филологический факультет ЛГУ, книги стихотворений, кажется, не издал и до сих пор (1993 г.).

СКОМОРОШЬИ СТИХИ

Ты — Горох, Скоморох, Обезьяныч
Мужичок в обезьяньей избе
Почему обезумевший за ночь
Я пришел за наукой к тебе.
Я живой, но из жизни изъятый
По своей, по чужой ли вине?
И любой человек обезьяний
И полезен и родственен мне.

Скоморошить? Давай скоморошить
В речке воду рубить топором
И седлать бестелесную лошадь
С человеческим горьким лицом.
За избенкой — дорога кривая
Ночь беззвездна. Не сыщешь пути,
И квасок с мужичком попивая
Сладко жить в обезьяньей шерсти.

ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВА

р. 1945, хутор Лысый Ворошиловградской обл.

Окончила филфак Казанского университета. Работала в школе, в редакции газеты «Комсомолец Татарии». Живет в Москве. Искренние «городские» стихи, нет-нет да и проблеснет что-то хуторское, услышанное когда-то на околице...

* * *

Посуху жила —
побелу.
По миру пошла —
пробило.
Било и корежило,
мяло.
Было ли хорошее?
Мало.
Слишком уж корежило,
било.
Было ли хорошее?
Было.

1974

БОРИС КАМЯНОВ

р. 1945, Москва

Работал слесарем, шлифовщиком, лесорубом, грузчиком, редактором. Заочно окончил филфак пединститута. В СССР почти не печатался. Выехал в Израиль в 1976-м. Опубликовал две книги стихов и два сборника юмористических рассказов.

* * *

Живу, как свечка на ветру.
Я раньше времени умру:
Так сильно ветер дует,
Что нету шансов уцелеть,
И преждевременная смерть
Уж надо мной колдует.

С горячей кромки бытия
Семья, рыдая в три ручья,
К подножию стекает.
А ветер дует все сильнее,

И черный прах души моей
Уж надо мной витаает.

— Утихни ветер! — я прошу.
Ведь ты же видишь: я дрожу
У смертного порога!
Не задувай меня, Отец!
Но тот ответил:
Под конец
Потрепещи немного.

1990

ВЛАДИМИР ЛАПИН

р. 1945

Дебютировал для советской эпохи куда как нетипично: когда автору было 16 лет, была издана «Тетрадь Володи Лапина», притом это была тетрадь стихотворений, написанных четырьмя годами раньше. Книжку одобрил Чуковский, похвалил Маршак. И на тридцать лет после этого Лапин из литературы исчез, лишь изредка мелькало его имя среди диссидентов. Лишь в 1993 году вышел сборник Лапина «Сверчок»: только этот сборник убедительно доказал, что ранняя книга Лапина была не просто сочинением вундеркинда, — таковые слишком часто не оправдывают надежд; «Сверчок» — книга зрелая, со своим ритмом, характером.

СНОС

Три дня, с перерывами на ночь,
 машина крушила жилище,
 Поодаль с лотка продавали бананы,
 честили кого-то
 за то, что заморская пища
 в столице редка;
 бранили приезжих колхозников:
 тащат из города мясо да масло;
 и все разбрелись в каком-то угрюмом наркозе,
 когда, будто на зло,

бананы кончались ну прямо под носом,
 совсем у лотка.

Три дня с перерывами к ночи, пылила
 ударная ломка с угрюмством потомка.
 Кирпич и белила, бордюры потолочный;
 все падало клочьями, грузно и громко;
 вставали с утра — и лишь к ночи ложились
 багровыми тенями старые мальчики, девочки,
 дядьки и тетки,
 отцы и мать-мачехи, вовсе не демоны:
 бывшие умницы и идиотки.

1991

НАДЕЖДА МАЛЬЦЕВА

р. 1945, Москва

Дочь известного прозаика Елизара Мальцева, писала стихи с детства. Лев Копелев пишет в воспоминаниях, как пятнадцатилетняя Надя читала стихи Ахматовой — и Ахматова их одобрила. В начале 60-х начала печататься, и почти сразу, вместе с Леонидом Губановым опубликовавшись в журнале «Юность», была удостоена разгрома в журнале «Крокодил», — это возможность печататься ей практически закрыло. Между тем ее стихи ходили по рукам, их высоко ценила великая пианистка Мария Юдина. Иван Елагин писал из США: «Стихи Надежды Елизаровны, думаю, настоящие. Очень мне понравилась «Купина». Лишь в 1989 году Мальцева снова стала печататься.

МУЗА

Но, слава Богу, ты еще жива,
 Ты, что бормочешь странные слова,
 Не спишь ночами,
 Бродишь днем с огнем,
 Ты, в ком поют и тишина, и гром,
 И долгое падение дождя,
 В чьей длани —
 След кровавый от гвоздя,
 И яблоко, и клетка, и свеча,
 Ключ от дверей, где вовсе нет ключа,
 Кольцо и кнут,
 Бессонница и сон,
 Ты, в чьей голове демон заключен!
 Чуть только входишь, юбками шуриша,
 И замирает бедная душа.

Свеча скрестила все лучи в кольце.
 Одни лишь очи на твоём лице
 Намечены рукою божества —
 О, Господи! Ты здесь, и ты жива...

1968

КУПИНА

Ивану Елагину

У какой-то дурацкой столовки,
 Позабыв про дела и семью,
 Вдруг сойдешь не на той остановке
 Где-то между пятью и шестью.

Листья жгут. Что ни сквер — то костерик.
 За деревьями стелется дым,
 Дым отечества... Сладок и горек,
 Щиплет, даже когда не глядим.

Встанешь рядом, и сердце займется
 И услышишь — дорога одна,
 И в огне зацветет, засмеется
 Дым отечества, жизнь, Купина!

И закрось лицо, и ответишь:
 — Вот я, глина, — не царь, не пророк.
 О, зачем ты так яростно светишь?
 Что за страшный твердишь мне урок?

Не умею, не стану, нет мочи!..
 Незаметно костерик потух.

и то, что в дальнейшем случится,
случится без внешних причин.

И я здесь когда-то стояла,
в оленье глядела глаза
у самого края причала,
где видишь в углу образа.

Запомни разводы побелки,
и мертвый мучной потолок,

и трешку на мокрой тарелке,
и впившийся в стену плевков.

Об этом забыли предтечи,
и Тот, Кто придет, умолчал
про эти последние речи,
про этот последний причал.

1984

МИХАИЛ МЕЙЛАХ

р. 1945, Ленинград

Поэт, филолог, специалист по средневековой западной литературе и новой русской поэзии, исследователь творчества обэриутов. В 1983 году был арестован по обвинению в «антисоветской агитации и пропаганде с целью подрыва советской власти, за хранение и распространение антисоветской литературы» и получил 7 лет лагерей, которые отбывал на Урале, и 5 лет ссылки. В феврале 1987 года вместе со 150 политическими заключенными был досрочно освобожден. Отрывок, который печатается ниже, входит в книгу «Камерная музыка», которую он написал в лагерях.

* * *

(фрагмент)

О мифологии порога
я когда-то писал немного.

Знают Иванов и Топоров
что случилось с женою Лота,
об оглядке вполоборота,
и о том, что «К смерти готов»

— слово Осипа Манделштама
отозвалось эхом упрямым

из «Поэмы» звучней стократ
в этом доме, в подъезде этом,
но из уст другого поэта
ровно семьдесят лет назад.

В черную «Волгу» следом за мною
рядом садятся — ничто и двое,
полуодушевленный прах.

Нет — не доблестью той, гремучей...
так — сорокамиллионный случай,
лагерной пыли скрип на зубах.

АЛЕКСАНДР СОРОКИН

р. 1945

Закончил МИИТ и Литинститут. Ученик Александра Межирова. Работает в редакции «Нового мира». Автор единственной книги стихов «Неравновесие покоя», изданной в количестве 700 экземпляров без грифа издательства. Впрочем, сейчас это удел многих поэтов. Не для него одного сейчас характерно отношение к поэзии, выраженное в строках: «Поэзии немощь святая дороже спасения мне».

* * *

Так жить достойней и горчей:
вдруг ощутив в себе и в каждом
кровосмешенье палачей
и убиенных ими граждан.

Достойней — именно теперь,
когда слетают с петель двери,
и ветер будущих потерь
взмывает прошлые потери.

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО

р. 1945, Симферополь

Бывший футболист профессиональной команды второй лиги «Таврия», Симферополь. Часто казался мне человеком чистой души, напрасно втянутым в литературу, в которой гораздо больше подножек, чем на футбольном поле. Всегда покорял меня любовью к чужим стихам больше, чем к своим, но своими окончательно не убеждал: в них было слишком много реминисцентного — особенно от Вознесенского. И вдруг, когда жизненный опыт футболиста соединился с поэзией, стихи заискрились, заиграли, зажили своей и чужой болью. Таковы стихи об Эдуарде Стрельцове, о котором тренер сборной Англии Рамсей сказал: «После Пеле я не встречал никого, так одаренного по технике и атлетизму».

РЕКВИЕМ

ПО ЭДУАРДУ СТРЕЛЬЦОВУ

Тело твое, великая плоть
с остывающими нервными клетками,
с генетической памятью
удара, паса,
с чувством мяча и поляны,
неожиданная пятка,
«кок» пятидесятих,
залысина после отсидки —
вся сумма твоих движений,
точнее, мультипликация —
это вспыхнуло в моем сознании,
Эдик, Эдик...
Это невероятно,
тело твое, великая плоть,
сейчас разгружается
где-то меж небом и землей,
а тень от него, укрывая мяч,
проходит мимо застывших защитников
«волжской защепки», катеначчо Италии
и подкатов киевлян...
Тень укрывает мяч,
тень уходит от опекунов,
прощай, футбол,
песня великих ног, —
и на самого певчего в мире нашлась
своя клетка,
только и футболисты у нас не видели
Великие,
теперь уже было и это,
кто-то всегда найдется,
чтобы подставить клетку.
Тело твое, великая плоть...
Прощай, футбол,
песня великих ног,
пусть стадионы встанут
полупустые,
пусть помолчат —
ты не увидишь больше
их нарастающих слез.
Бутсы твои опустевшие
цокают в раздевалке
перед игрой,
футболка опала флагом,

жена все стирает ее
и гладит черную букву «Т».
Стены, которые рушатся ныне,
ты обошел все равно,
вместо тебя выезжали другие,
ты же играл над границами —
черный твой брат помолчит о тебе,
братья твои во игре
остановились в миг твоей смерти —
в каждом твой нерв...

Прощай, великая игра,
ты без великих исполнителей
игра настольная.
Тело твое, великая плоть...
Помню в центральных банях
тело великого гладиатора
все в синяках —
били с любовью...
Ты позволял им играть,ся,
Гулливер на привязях лилипутов,
одно движение — и свободен
ты,
они все понимали,
так не сыграет никто,
били с любовью,
не уходил от ударов,
слишком великая цель,
врезали по воздуху —
попадали в тебя...
Тело твое, великая плоть,
неужели и оно распадается
на элементы —
великая техника,
великие замыслы,
мяч не слушается тебя...
Сам приползет,
у него есть душа,
с ним так никто не обращался.
Но сейчас великая тень, укрывая собою,
уводит его в тень лужниковских трибун,
растворяясь в тенях вечерних
до встречи с новым Великим,
чтобы отдать ему пас
из темноты.

ЕЛЕНА УШАКОВА

р. 1945

Выпустила книгу «Ночное солнце» (Петербург, 1991). Печаталась в журналах «Новый мир», «Знамя», «Звезда», «Нева», «Синтаксис» и др. Живет в Петербурге. Отлично владеет грацией длинного, казалось бы, неуклюжего ритма.

* * *

И даже если общие ценности — дом Китаева,
Невские набережные, берега Оредежи

и Подмосковьё,

Даже, говорю, если один источник питает вас,
Мнемозина окружила обоих

горько-сладкой любовью,

Какие же вы разные!

Еще молодой, но уже сутулый, и — старый,

Но прямой, знаменитый парчовой прозой,

Потесненной, потухшей, как былые пожары,

Таковы законы искусства,

грустные метаморфозы.

Так и вижу эту сцену

в парижском ресторане роскошном —

Под водочку, закусточку,

музычку на задумчивую беседу

Напрасно рассчитывал,

не на того напал: попался своекоштный

Напарник, орешек

не по зубам премированному сердцеведу.

И холодное,

осложненное неловкостью прощанье.

Набоковский шарф длинный-длинный

баварский

В рукав бунинского пальто забился,—

путаница с вещами

Выглядела

как обряд египетский или дикарский:

«Какое-то разматывание мумии,

И мы тихо вращались друг вокруг друга».

Было, думаю, не до улыбки, и посетило на

лестнице остроумие —

В спину пущенная стрела из лука.

И мы видим над книгой, отводя волос прядки,

Как, заменив хищный глазомер микроскопом,

Молодой старого оттеснил, наступая на пятки

На участке том же, с хвощом и гелиотропом.

СЕРГЕЙ ЧУХИН

1945, д. Бабцино Вологодской обл. — 1984, Вологда

Был младшим другом Николая Рубцова, во многом — его учеником, и, увы, почти так же рано ушел из жизни. След его в поэзии не столь заметен, но забыт быть не может. Слова у Рубцова он не занимал, нашел свои.

* * *

Художнику Михаилу Брагину

Ах, эта жизнь — гори она огнем!

Давай, мой друг, махнем куда попало,

Давай вдвоем немного отдохнем...

Мы столько были под людским судом,

Что вышнего бояться не пристало.

Да только ли в багетах золотых

Возможно счастье? Нет, оно повсюду:

Меж елей, темнотою налитых,

В морозе, что захватывает дых,

В любом цветке, уже подобном чуду.

Поехали! Не все ли нам равно...

Куда-нибудь в деревню, недалеко,

Где не горчит, а радуется вино,

Где не гремят под вечер в домино,

Где умных лиц не делают при встрече.

Осточертели вечные ханжи,

Что взглядами, как банными листьями,

Картины облепили, витражи;

И облепили слово ржавью лжи;

И преуспели в том, и не устали.

А мы от них давай передохнем

Да примемся за старую работу —

Смешаем ночь с быстробегущим днем

И за рога судьбу свою возьмем,

Не погрешив в работе ни на йоту.

Пускай вослед нам слухи заснуют

И каждый будет сплетней приукрашен;

Пускай ханжи нам суд произнесут...

Мы столько раз судимы были тут,

Что божий суд — и то уже не страшен.

* * *

Стоит июль. Стоит жара.

Колодец есть, но нет ведра.

И, значит, воду каждый дом

Здесь достает своим ведром.

А это значит — много лет

Здесь мира не было и нет.

Недаром на дверях замки,
Собак железные клыки.

Недаром дети на привет
Глядят испуганно вослед.
Здесь пахнет все недаром
Поджогом и пожаром!
Недолго до беды...

Не надо нам воды.

* * *

Не сажают в городе цветы.
Говорят, когда-то их сажали,
Говорят, что козы их сожрали —
Мелкие рогатые скоты.

Но зато какие лопухи!
Вы таких, уверен, не видали!
В них не то что козы пропадали,
Пропадали даже пастухи.

А крапива — поглядеть — стена!
Хмурая, могучая, седая!
Ты рукою тронь ее, играя,—
Опалит огнем, как сатана.

В общем, достославный городок!
И уже, свои отбросив шутки,

Я там сутки прожил, но не мог
Протянуть еще хотя бы сутки.

Бросил я гостиничный уют,
На вокзале наспех выпил чаю.
Люди там хорошие живут,
Как живут, вот этого не знаю...

* * *

Силой силу убивают,
От борьбы — невпроворот...
Дураков не убывает,
А совсем наоборот.

По себе не замечаем,
На других глядим сперва.
Головою покачаем,
Коль на месте голова.

Что творится на планете!
Где-то мор, а где-то пир...
Рад бы жить и в худшем свете,
Да торопят в лучший мир.

Поневоле выйдешь в поле,
Поневоле запоешь,—
Матушка, не наша воля,
Не полюбишь, кого хошь...

ДЕТИ ЖЕЛЕЗНОГО ЗАНАВЕСА

Поэты, родившиеся с 1946 по 1953 год

*В поголовно счастливой огромной стране,
Максимально приближенной к раю,
Я отравленной речкой в глухой стороне
Незаметно для всех умираю.*

ОЛЬГА БЕШЕНКОВСКАЯ

*В беспмятстве юном, в безгласной стране
Посмертные лавры мерещились мне.*

ВИКТОР КОРКИЯ

*Спрячу голову в два крыла.
Лебединую песню прокашляю.
Ты, поэзия, довела,
Донесла на руках до Кащенко.*

ЛЕОНИД ГУБАНОВ



ГЕННАДИЙ БЕЗЗУБОВ

р. 1946, Москва

Закончил Киевский институт культуры. Работал в киевских газетах, печатался в «Новом мире», в «Дне поэзии». Эмигрировал в Израиль. Это стихотворение с каждым днем становится все более пророческим.

* * *

Империя по-русски говорит,
Не чувствуя растущего акцента,
И нежная славянская плацента
Многоязыким пламенем горит —
Империя по-русски говорит.

Империя не слышит никого —
Ни разума, ни собственной природы.
Как быстро размывают естество
Могучие подпочвенные воды!
Империя не слышит никого.

Уже у горла подступивший страх,
Уже томит предчувствие угрозы,
Которая клокочет в берегах
Неумолимой деревенской прозы,

Которая усобицы сулит,
Кровавые, глухие перегрузки...
Империя по-русски говорит?
Империя не говорит по-русски.

1989

ЛЕОНИД ГУБАНОВ

1946, Москва — 1983

При его жизни мне удалось напечатать в «Юности» лишь 12 строчек этого поэта, сразу вызвавшие бурю издевательств. Мать этого скандального поэта, попадавшего в отделения милиции и психушки, чаще, чем на печатные страницы, по иронии судьбы была чиновником ОВИРа. От него пахло канавами, забегаловками, мятежом. Он организовал СМОГ — самое молодое общество гениев, или Смелость, Мысль, Образ, Глубина. На одной из афиш СМОГа было написано: «Сегодня в библиотеке такой-то состоится общественные похороны Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулиной, Аксенова, Казакова, Гладиллина». Комсомольские бюрократы хотели использовать смогистов против нашего поколения. Но они не сразу заметили, что дальше следовало мелким шрифтом на афише: «... поскольку все остальные давно похоронены». Начались травля, покупка, провокации. Губанова втягивала хлюпающая воронка пьянок, слезки, доносительства, не исключая самодоносительства. Умер, как пишут его товарищи, «при неясных обстоятельствах». Талант его напоминал управляемый только собственной неуправляемостью горный поток, несущий и мусор, и самородки.

* * *

Спрячу голову в два крыла.
Лебединую песню прокашляю.
Ты, поэзия, довела,
Донесла на руках до Кащенко.

(Впервые процитировано в воспоминаниях Вадима Делоне.)

ХУДОЖНИК

Холст 37 на 37.
Такого же размера рамка.
Мы умираем не от рака
И не от старости совсем.

Когда изжогой мучит дело,
Нас тянут краски теплой плотью.
Уходим в ночь от жен и денег
На полнолуние полотен.

Да, мазать мир! Да, кровью вен!
Забыв болезни, сны, обеты!
И умирать из века в век
На голубых руках мольберта.

1964

* * *

Захотела вера научить Богу молиться.
Это не пройдет, как зимой — радуга.
Кто-нибудь умоется,
чтобы измениться...

Радуйся!

Я живу на рельсах четвертый день.
Поезда не спрашивают моего имени.
И мне с ними тоже разговаривать лень...
Вылинял.
Я найду стакан, разбитый вдребезги,
Выпью водки той, что в четвертой секции.
Люди — лепестки, а я люблю верески,
а я люблю вырезки о собственном сердце.
Мне бы любоваться на свою тень
и носить цветы к своему памятнику.
А я живу на рельсах четвертый день...
Правильно?
Ох, не надо пачкаться о столько морд,
Даже разговор приносит честь.
А если человечество перейти вброд?!
Значит, с человечеством мне не есть?!

ЗОЛОТАЯ ФРЕСКА ВАДИМУ ДЕЛОНЕ
(фрагмент)

... И сквозь зубы имя вора
по небесным коридорам
на коленках проползет.
Словно сахар, спят соборы,
Их без лишних разговоров
дьявол весело грызет.
Кто тебя теперь прославит
и набухшими устами
к новой жизни позовет
там, где истина простая
позолочена крестами,
как Завета переплет?..

ПАЛИТРА СКОРБИ

Я провел свою юность по сумасшедшим
домам,
где меня не смогли разрубить, разделить
пополам,

не смогли задушить, уничтожить ... ну,
а значит, мадам,
я на мертвой бумаге живые слова не продам.

И не вылечит тень на горе, и не высветлит
храм.
На пергамент старушечьих щек оплывает
свеча....
Я не верю цветам, продававшим себя,
ни на грамм,
как не верят в пощаду холодные губы меча!

* * *

...С отвращением налив
в ваши глотки вина,
я — стеклянный нарыв
на ливрее лгуна...

* * *

Потухая,
Вытряхали из избы
Чей-то крик и чье-то сломанное тело.
Всю планету избрюхатить и избить —
То ли дело.
Новоселом было горе и обидчиком,
Шли по селам, как по горенке опричники,
Хохотали, выли песни непристойные,
Животами подымали столики.
Ой-люли, вдова, со печи привстань!
Полюби, вдова, мои уста,
Мои руки, мои губы, буйну кровяцу.
Хватит корчить, потаскуха, Богородицу!
У березок были слезы по очам
Белых баб, святых колодцев и хибарок.
Русь стояла на китах да на иванах,
А в историю плыла — на палачах.

1963

СТИХОТВОРЕНИЕ
О БРОШЕННОЙ ПОЭМЕ

А. Галичу

Эта женщина недописана,
Эта женщина недолатана,
Этой женщине не до бисера,
А до губ моих — ада адова.

Этой женщине — только месяцы,
Да и то совсем непорочные.
Пусть слова ее не меняются,
Не скрипят зубами молочными.

Вот сидит она, непричастная,
Непричесанная, ей без надобности,
И рука ее не при часиках,
И лицо ее не при радости.

Как ей хмурится, как ей горбится,
Непрочитанной, обездоленной,
Вся душа ее в белой горнице,
Ну, а горница недостроена.

Вот и все дела, мама-вишенка,
Вот такие вот, непригожие.
Почему она просто — лишенка,
Не гостиная, не прихожая?

Что мне делать с ней, отлюбившему,
Отходившему к бабам легкого?
Подарить на грудь бусы лишние,
Навести румян неба летного?

Ничего-то в ней не раскается,
Ничего-то в ней не разбудится.
Отвернет лицо, сгонит пальцы,
Незнакомо-страшно напудрится.

Я приеду к ней как-то пьяненьким,
Завалюсь во двор, стану окна бить.
А в моем пальто — кулек пряников,
А потом еще — что жевать и пить.

Выходи, скажу, девка подлая,
Говорить хочу все, что на сердце.
А она в ответ: «Ты не подлинный,
А ты вали к другой, а то хватится!»

И опять закат с витра черного,
И опять рассвет мира нового,
Синий снег да снег — только в чем-то мы
Виноваты все, невиновные.

Я иду домой, словно в озере,
Карасем иду из мошны.
Сколько женщин мы к черту бросили,
Скольким сами мы не нужны!

Эта женщина с кожей тоненькой,
Этой женщине из изгнания
Будет гроб стоять в пятом томике
Неизвестного мне издания.

Я иду домой, не юлю,
Пять лягавых я наколол.
Мир обидели, как юлу,—
Завели, забыв, на кого.
11 ноября 1964.

БЛАГОДАРИЮ

Веронике Лашковой

Благодарю за то, что я сидел в тюрьме,
благодарю за то, что шлялся в желтом доме,
благодарю за то, что жил среди теней

и тени не мечтали о надгробье.
Благодарю за свет за пазухой иглы,
благодарю погост и продавщицу
за то, что я без паюсной икры
смогу еще полвека протащиться.

* * *

Как поминали меня,
я уж не помню, и рад ли?
Пили три ночи и дня
эти беспутные капли.

Как хоронили меня,—
помню, что солнце как льдинка...
Осень, шуршанье кляня,
шла в неподбитых ботинках;

за подбородок взяла
тихо и благословенно,
лоб мой лучом обвила,
алым, как вскрытая вена.

Слезы сбежали с осин
на синяки под глазами —
я никого не спросил,
ангелы все рассказали...

Луч уходящего дня
скрыла морошка сырая.
Как вспоминают меня —
этого я не узнаю!

1977

* * *

Ищите самых умных по пивным,
а самых гениальных по подвалам
и не робщите: «Вся земля есть дым,
а смерть, как пропасть около обвала!»
И в мире не завидуйте красе,
И власти не завидуйте — что проку?
Я умер на нейтральной полосе,
Где Сатана играет в карты с Богом!

* * *

Природа плачет по тебе,
как может плакать лишь природа.
Я потерял тебя теперь,
когда лечу по небосводу
своей поэзии, где врать
уже нельзя, как солнце выкупать,
где звезды камнем не сорвать
и почерк топором не вырубить.
Природа плачет по тебе,
а я-то плачу по народу,
который режет лебедей

и в казнях не находит брода.
 Который ходит не дыша,
 как бы дышать не запретили.
 Которым ни к чему душа,
 как мне мои же запятые.

Природа плачет по тебе,
 Дай мне забыть тебя, иначе —
 о, сколько б смеха ни терпел —
 и я с природою заплачу!

АРКАДИЙ ДРАГОМОЩЕНКО

р. 1946, Винница

С 1969 года живет в Ленинграде, но сам себя относит к «южной школе». В «Антологии Голубой Лагуны» К. Кузьминского его стихи попали в знаменитый полутом 3 В, уничтоженный по приговору суда, что привлекло к поэту дополнительное внимание. Поэзия его близка, пожалуй, к концептуализму в живописи — что-то вроде Ильи Кабакова, но не с кистью, а с авторучкой, или, возможно, с компьютером.

НЕБО СВЯЗУЮЩЕЕ

(фрагмент)

Ветхий завет жел. дор. расписания.
 Живы в листве, по-ночному распутанной,
 словно в стенах
 маятника.

Причины не существует.

Зрения точка
 в бесплотном пространстве, мигающем
 пересечениями: мотыльку под стать
 который мерцает пыльцы очами,
 не мешая предмету исчезнуть,

останавливается,
 нащупывает высказывание
 И не спеша обводит его
 зорким зеркальцем бритвы. На память.
 Наконец решена

проблема
 адресата и наадресата.

Не утверждать и не спрашивать.
 Человеку расскажут, подскажут, покажут,
 как отучить голову от одиночества.
 Человек —
 только повод. Изучение теории лоскутного
 одеяла.
 Книга вчитывается в тебя до истоков незнания.

ЕЛЕНА КАЦЮБА

р. 1946, Каменск Ростовской обл.

Совсем отдельное ото всех дарование, хотя и печаталась в групповых экспериментальных сборниках под щедрым крылом покровителя авангарда — Константина Кедрова.

ОЖИДАНИЕ

Весь вечер летаешь по комнате,
 видно, пол сегодня тяжел,
 вот и ле-
 тает бумажный змей
 с нарисованными глазами,
 и завязали память узелком.
 Ты дергаешься между полом и потолком,
 мечешься — стена-стена-окно,
 а за окном полупогасшие дома
 разложены костяшками домино.
 Ты открываешь раму книгой гаданья,

читаешь по трещинам дождя —
 ничего, кроме ожидания,
 там прочитать нельзя.
 Снова бумажный шелест полета
 миом зеркала, книг, дверей, окон.
 Молчит телефонный кокон,
 нерожденной бабочкой спит звонок.
 Стена — стена.
 пол — потолок,
 стена — стена,
 пол — потолок...

МИХАИЛ СИНЕЛЬНИКОВ

р. 1946, Ленинград

Детство и юность провел в Киргизии, тем не менее давний и безусловный представитель «московской» школы. Первый сборник стихотворений («Облака и птицы») выпустил в 1976 году. Составитель уникальной антологии «Киммерийская сивилла», посвященной Коктебелю. Переводчик восточной поэзии. Первоклассный мастер, подчас подминаемый собственным мастерством.

КОКТЕБЕЛЬ

Так вот он, человек-артист,
Панк, хиппи, любер, металлист,
Токсикоман, разносчик СПИДа...
На дно уходит Атлантида.
Гляди: еще один отплыл!
Он сладко голову склонил,
Он погружается в туманы
Сознания Кришны и нирваны.

Белеет черепа оскал...
Ты, возмужавший в колыбели,
Дошел от кроманьонских скал
До набережной в Коктебеле!
Опять в ночи, роднящей всех
Отчаяньем луны багряной,
Выхватывают свальный грех
Прожектора погранохраны.

А в трапезной монастыря
Иная брезжила заря,
Боролись тайновидцы плоти,
Да Винчи и Буонарроти,
Не ведая, что наугад
В печах Дахау, льдах Востока
Ежов и Гиммлер воплотят
Мечтанье Гамсуна и Блока.

МУЗЕЙНЫЕ ВЕЩИ

В музее — упавший под ношей Атлант,
Сухарь, и декрет, и муаровый бант,
И волны беспамятства льются,
Лишь дети и внуки Инессы Арманд
Остались от всех революций.

Россия истоптана вся сапогом,
Вся в дом превратилась сиротский,
И что из того, что совсем о другом
Кричали и Ленин, и Троцкий!

Но вечно сквозь поле и пасмурный лес,
Что широколиствен и хвоист,
Сквозь шелест истлевших шелков РВС
Тяжелый течет бронепоезд.

Парижских бессмертна бульваров листва,
Дантона отрубленная голова,
Фригийский колпак Демулена,
И старая та заводская Москва
Гудками своими нетленна.

И жаркое медное Крупской кольцо
Во времени вспыхнет безлюбом,
И то ледовитое, злое лицо,
Расколотое ледорубом.

ВИКТОР ТОПОРОВ

р. 1946, Ленинград

Один из искуснейших мастеров не только поэтического перевода, но и литературного скандала. Мать поэта была адвокатом на знаменитом «процессе Бродского»; самого Топорова не принимали в Союз писателей 11 лет. Напечатал огромное количество полемических статей со столь оригинальными концепциями, что в «свои» его зачислили сразу и черносотенцы, и ярые демократы. Собственные стихи принципиально никогда не печатал, — но однажды «оскоромился», опубликовал подборку в альманахе «Петрополь». Между тем его книга стихотворений «Этюды Черни» бродит в самиздате до сих пор. Публикуемое «Общество трезвости» — памятник славному постановлению от 1985-го насчет борьбы с пьянством, которое столь успешно помогло ликвидации советской власти.

ОБЩЕСТВО ТРЕЗВОСТИ

Теперь до двух никто не даст,
С семи и думать позабуду,
Как говорит Екклесиаст,
Пришла пора сдавать посуду.

Не наливают по труду
Ни светским, ни советским людям.
Как в незапамятном году
Заметил Данте, все там будем.

Не стало честного ларька,
И в Елисейском гастрономе
Теперь такая же тоска,
Как в самобраном Эльсиноре.

Не напасть на ресторан,
Не попасть в чухонской бане,
А если Дон Гуан не пьян,
Откуда взяться донне Анне?

Пивали Пушкин и Дантес,
Пивали Рудин и Базаров,
Но говорит КПСС:
Убрать с вокзалов и базаров.

Не щегольнешь в такие дни
Былым разнообразьем вкусов:
Купался Блок с женой в аи,
Курил гашиш непьющий Брюсов.

Брусилов бросился в прорыв
На белорусском направлении,
Как мы, бывало, в перерыв,—
И пропадем без подкрепленья!

Но пили все же все равно,
Пока не потеряли меру:
Шаляпин — водку и вино,
Распутин — водку и мадеру.

Пивал отчаянный Колчак.
Пивала ночью Чрезвычайка.
Стоял отчаянный бардак,
Зато пивали чрезвычайно.

Теперь у нас сухой закон.
Почти — и все же несомненно.
И выпивон, и закусон
Исчезли в бочке Диогена.

Теперь мы пьем, таясь от глаз.
Мы пьем, как загнанные звери.
И каждый раз — последний раз.
И каждый — Тайная Вечеря.

Конечно, временный аврал,
Да кто ж их знает, разгильдяев?

Лежит на дне реки Урал,
Как в вытрезвителе, Чапаев.

Мелеет горький беломор,
Рука бойца колоть устала,
Лишь та, что вечно пишет вздор,
Строчит и дальше, как попало.

А все ж, взгляни иной Рабле,
Очнувшись от похмельной спячки,
На то, что держим на столе,
И то, что спрятано в записке,—

Мы не ударим в грязь лицом!
Явись хоть Бахус, хоть Гамбринус —
По трехе скинемся, пойдем,
Возьмем в такси или на вынос.

Физиология своя
У подданных Страны Советов:
Ведь только пьяный, как свинья,
На гвозди ляжет, как Рахметов.

Давно затверженный урок:
Ползя в грязи на голом пузе,
Быть трудно трезвым, как сурок,
А только в стельку или в зюзю.

Не надо вашего ситра!
Пить пепси-колу нету мочи!
Одеколон дают с утра,
А пьют его до поздней ночи.

Зубная паста, светлый лак,
Денатурат с добавкой мыла,—
И слава Богу, если так,
Чтоб лишь от этого тошнило!

Доброжелательный зоил
По водке бьет прямой наводкой.
Я многое бы упразднил
До водки — или вместе с водкой.

Да сверху, видимо, видней.
Хотя, конечно, друг Гораций,
Такие тайны есть в стране,
Что страшно спяну протрепаться.

МИХАИЛ ЯСНОВ

р. 1946, Ленинград

Поэт петербургской школы. Вчитайтесь в его «Проходные дворы», какие новые возможности у русского стиха: и ритмические, и визуальные, и осязательно-мемуарные.

ПРОХОДНЫЕ ДВОРЫ

Проходными дворами
я к дому бежал от шпаны.
От стены до стены —
два-три метра, булыжник,
набросанный мусор,
кошачьи
тени, запахи...
Если припомнить точнее, — иначе:
проходными дворами
я к дому бежал от шпаны,
сотни метров отчаянья,
лабиринты животного страха,
мусор детства, худые ботинки,
штаны,
разорванные с размаху
о торчащий из дряхлой поленницы гвоздь.
Сквозь
лабиринты проходов, потом напрямик
по дровам,
по древесным уступам,
по толям покрытым горам,
по сараям, по грязи,
в какой-нибудь лаз неприметный,
в узкий угол,
где свален стальной или медный лом,
напрямик, через черный подъезд, напролом,
сквозь могучие заросли запахов кухонь
чадящих,
в полусумрачных чашах подворотен,
в которых врата запирались
на огромный изогнутый крюк,
и опять, в дровяных лабиринтах сплетая,
как хитрый паук,
паутину побега,
взахлеб, напрямик, наудачу
проходными дворами я к дому бежал
от шпаны.

Если вспомнить точнее, — иначе:
проходными дворами я к дому бежал
от войны.
Сквозь неловкое детство —
и кровь ударяла в виски —
проходными дворами я к дому бежал от тоски
одиноких прогулок, бежал проходными
дворами,
дни за днями, как подпасок на звук
колокольчика в чаще заблудшей коровы,
за тревожащим школьным звонком,
чтоб буренку чернильную за рога научиться
хватать...

Проходными дворами опять
прохожу, пробегаю, —
сколько лет пролетело
подобно гремящему на перекрестке трамваю?
Ни войны,
ни шпаны,
и зарос паутиною памяти школьный звонок.
Одноклассник матерый
выводит детей на прогулку
проходными дворами, заученными назубок.
И когда я иду по безмолвному переулку
и выхожу на асфальт проходного двора, —
начинается та же игра:
и опять я бегу по дворам,
по древесным уступам,
по толям покрытым горам,
по сараям, по грязи,
в какой-нибудь лаз неприметный,
в узкий угол,
где свален стальной или медный лом, —
и все дальше и дальше,
все дальше и дальше
мой дом...

1976

СЕРГЕЙ АЛИХАНОВ

р. 1947, Тбилиси

Автор книги «Блаженство бега» (Москва, 1992) и многих эстрадных песен. Сейчас занимается бизнесом, но стихи по-прежнему пишет. Стихотворение о Стрельцове написано с натуры.

* * *

Свой променад я начинаю рано,
В ковбойской шляпе,
в джинсах, черт возьми.
Но все же остаюсь я вне экрана
В великолепном фильме о семи.

О вечной популярности радея,
Свой потный лоб я чувствую в венце,
Когда идет по улицам родео
В моем блатном, единственном лице.

1973

Мне дворник тычет как начальник
 Перстом во втянутый живот.
 Я сыну яблоко на ужин берегу:
 Возьми вот, угостили на работе...
 И дни мои, как видно, на излете,
 И Муза отвернулась — ни гугу.
 Предательство ее всего страшней:
 Всё в жертву ей, пожравшей жизнь и душу...
 «Титанику» не вырулить на сушу.
 Не выплыть мне из этих темных дней.
 В глухой стране, в кругу слепых друзей,
 Которые когда-нибудь в ответе,
 Подпольной бледной гордостью князей
 Свечусь в своем котельном кабинете.
 Два ящика — подобие стола.
 Все поздно — уповать или сердиться.
 И крыса с важностью выходит из угла
 И рядом безбоязненно садится:
 Я тень, я ноль, безлюдное пальто...
 Как цепок взгляд смородинно-кровавый...
 И интервью даю ей я, никто,
 О жизни. Боже правый... Боже правый...

* * *

Чего в ней больше: позы, прозы, Музы? —
 Не ведаю... (И ведомо ль самой...)
 Мне кажется: ей холодно зимой.
 Как балерина — (призрачны рейтузы)
 Жизнь призрачна...

Представить не могу
 Ее, ея ...хоть с тряпкой половиною...
 Вкруг шеи серебристо-меховое
 К лицу, к челу на мраморном снегу.
 И белый лебедь — юный офицер
 (Здесь все некстати, кроме Гумилева).
 А коммуналка? А в пеленках Лева?
 А тот, тогда, окошечка прицел:
 Ну, спрашивай, кто смелый, где родня!..
 А, впрочем, что горюю: и гордыня
 Утолена, да и в Ташкенте — дыня,
 А не петля удушливого дня...
 Не нары, не убийственный хорей
 Из жарких жерл. И прошлое так близко...
 А мне врачи уже не скажут: грей
 Надрывный кашель небом италийским...
 И я несу бурбонский профиль свой
 Туда, где нанимают мыть сортиры,
 Скребу дерьмо, и цокают сатиры
 По скользким плитам с мокрой синевой...
 Ахматова — в распахнутое «Ах»
 Страны, что перестроилась... Ну что же...
 А я припомню, жизнь свою итожа,
 Горшки и самиздатский альманах...

* * *

Обескровит судьба, обесточит,
 Поздно тело и душу спасти.
 Полюбить бы какой-то цветочек
 И впервые его описать...

Изучать бы порхающих тварей
 В стороне от безбожья и лжи.
 Мы и сами в какой-то виварий
 Замурованы — тихо лежи...
 Мы и сами — жуки на булавках,
 Рассуждая с высокого «Я»,
 Однодневка ли, чижик ли, славка —
 Разумя в себе соловья...
 Вздох случаен, и выдох неточен,
 Как на белом фальшивит рука...
 ...Полюбить бы невзрачный цветочек,
 Погрузиться в туннель стебелька...
 Оседают последний титаник,
 Скоро хлынет вода из прорех.
 ...Есть эпохи, в которых ботаник
 И честней, и счастливее всех...

1974

* * *

Не могу отрешиться от горестной нашей
 судьбы...
 Поднял каменный лев волевою угрюмую
 лапу...
 Больно плакать и петь. Бесплезно идти
 к эскулапу.
 Как ты давишь, о Рим...
 Мы — варяги твои и рабы.
 Что нам радости в том,
 что могучи твои колоннады —
 Только злее трещат
 под классической ношей хребты...
 Приходи же, о Рим,
 поскорей в неизбежный упадок —
 В грязь лицом упади с высоты.
 Вот тогда-то и пустим по кругу певучую
 чашу,
 И расслабим запястья в наручниках типа
 «Заря»...
 Здравствуй, нищее время,
 божественно голое, наше!
 Мы явились и жили не зря...

* * *

Жизнь теплится еще
 под кожей восковой.
 Так в мраморе — взглядишь —
 ветвятся капилляры...
 Еще ваять строку, мечтая о живой:
 Пилястры — без сучка,
 а дети — шепелявы...
 Лохмотья напрокат —
 и в нищенский изыск,
 Когда запретный плод —
 на блюдечке
 к обеду?
 ...Не выговорить бы...
 почувствовать язык...
 И к Пушкину прийти —
 как к логопеду.

НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО

Как торжественна музыка в 24 часа!
 Даже можно поверить,
 что наше злосчастное время
 Называют великим... Что были и мне голоса
 И утешно зывали тянуть эту лямку
 со всеми...
 Где еще так пирует, как в нашем раю,
 нищета!
 Полыхает судьба в закопченном подвальном
 камине.
 Мы свое отгорели.
 Нам черные риски считать...
 И котельных котят неприрученной лаской
 кормили.
 Да святится манометра —
 узенькой лиры — изгиб!
 (Чуть пульсирует жизнь
 в незатянутой этой петельке.)
 ...Так Орфей уходил.
 Так огонь высекали — из дыб...
 Так меняют режим социального зла —
 на постельный...
 Что российским поэтам на ярмарке медных
 карьер,
 Где палач и паяц одинаково алы и жалки...
 О, друзья мои, гении, — дворник, охранник,
 курьер,
 О, коллеги по Музе —
 товарищи по кочегарке!
 Что играют по радио?
 Судя по времени — гимн...
 Нас приветствует Кремль в преисподних
 ночных одиночках...
 Мы уснем на постах беспробудным,
 блажным и благим,
 И слетятся к нам ангелы
 в газовых синих веночках...

* * *

Крепостное российское право.
 Котельная. Ночь.
 Так и сдохну однажды
 за несколько дней до получки...
 Или, может, начну
 потихоньку натачивать нож,
 Чтоб вонзить — и забиться в истерике
 сладкой, падучей...
 И когда телекамера въедет с опаской в мою
 (Ибо что ей поэт,
 но убийца всегда интересен),
 Я из пальцев дрожащих
 гнездо для коленки совью.
 Мир просторен теперь, а за воротом —
 тысячи песен...
 Козырнет адвокат, над графином тюльпаном
 горя,
 Беззащитной судьбой подзащитной и давней
 психушкой.
 ...Суицидная жизнь.
 Предпоследний листок ноября.

Неродившейся птицей
 решетчатый свет над подушкой, —
 Это в клетке фонарь.
 И насос подвывает судьбе.
 Ноют мысли о сыне,
 уже и навек обреченном:
 Что оставлю ему?
 Сизый дым в закопченной трубе?
 Сухомятку, огонь,
 Прометей больную печенку?
 Полуночная вахта. Оплавленный набок сырок
 В серебристой обертке. Тетрадка, не важно,
 что в клетку.
 Затянулся урок. Проступает последний порог.
 Шарят по столу пальцы... —
 Оружие? Ручку? Таблетку!

УЛ. РУБИНШТЕЙНА, 36

Дом рождения Мандельштама
 Я топила четыре года
 И не видела там таблички
 «Дом рождения Мандельштама».
 Ох, не зря эта рифма — «яма»...
 Но смягчается и погода
 Даже в Пасмурном Ленинграде.
 Будет, будет у Вас табличка,
 Не горюйте же, Бога ради,
 Потерпите, Осип Эмильевич.

Терпеливей русских поэтов
 Никого, верно, в мире нету,
 Что особенно верно, — к трупам
 Применительно.

К ржавым трубам
 Здесь склонялась я, крыла вентиль,
 Рисовала в блокноте вензель...
 Поколение кочегаров
 Уважало Вас за желёзки,
 Не «Икарусов», а Икаров
 Современника.

Здесь железки
 На помойке. — Остов ракеты?
 Не припомню, моей ли? Вашей?
 Будем рядом висеть, — поэты
 Над кошачьей мерзлой парашей.
 Только мне еще ждать кончины,
 А потом уж — доски на двери...
 Ничего, мы женомужчины
 (Род — советский...) умеем верить.
 Будут, будут наш дом с котельной
 Словно крестик беречь нательный...

А пока он известен тем, что
 Из окна здесь выпал ребенок,
 И родителей не утешить:
 Пьют, как пили... Только спросонок
 Часто спрашивают прохожих
 (И ко мне обращались тоже),
 Кто ж там помер: старшой ли? Вовка?..
 Вот и всё... Продолжать неловко.

ЕВГЕНИЙ БЛАЖЕЕВСКИЙ

р. 1947, Кировабад, Азербайджан

Неровный, иногда спазматический, но всегда воспринимающий жизнь, ее острые углы как человек без кожи. А эта бескожесть и есть первый признак поэта.

* * *

Больная смерть выходит на дорогу,
Тяжелый воздух лапами когтя.
Мы пожили свое, и слава богу,
Но каково тебе, рожденное дитя?..

Но каково нечаянно зеленым
Побегам у вокзалов и дорог...
Давай подышим воздухом казенным,
Поскольку платим за него налог!

Чего стесняться, мы же не в сорочке
Явились в мир кирзового труда,

Где очень поздно набухали почки,
И рано подступали холода.

Где долго принимали за святыни
Усатый бюст и бронзовый парад,
Где молодость, как пленку, засветили
И поломали фотоаппарат.

Такие времена... Но мы пока что дышим,
И пусть в ночи поют не соловьи.

Ты слышишь:
Кошки пронесли по крышам
Сухое электричество любви?..

ЕВГЕНИЙ ВЕНЗЕЛЬ

р. 1947

Художник; свой единственный — пока — сборник «Стихи» (1992) сам иллюстрировал. По профессии, как сам говорит, «ремингтонист» (это мужской род от слова «машинистка»). Кроме книги — участник престижной в Петербурге серии «Поздние петербуржцы», т. е. «книги в газете», регулярно выходившей в газете «Смена», — в той же серии были изданы Глеб Горбовский, Рюрик Иосифов, Алексей Козлов, Олег Мандельштам, Охоткин, Кривулин и т. д.

* * *

С чужой женой, украв ее у мужа,
ночную водку дружно пили мы,
стаканы поднимая как оружие
от подступающей к окошкам нашим тьмы.

Усталость нас обоих затворила.
Но дождь пошел и я глаза открыл.
Она слова ночные говорила,
и я слова ночные говорил.

Но было там одно, одно в предмете
(а дождь все шел, блестя, как чешуя),
что оба мы лишь брошенные дети:
она и я, она и я, она и я.

1981

ОЛЬГА ГРЕЧКО

р. 1947, Пенза

Напечатанный в 1993 году «Новым миром» цикл, несмотря на безвкусное название «Горностан и ласки», стал открытием нового поэта: «Баньки, баньки вдоль реки, серенькие баньки, мы с тобой не дураки — просто ваньки-встаньки. В бок толкают нас, толкут пестиком в аптеке, но куда хотят, текут северные реки». «Это ты добываешь вручную — мою душу лесную, речную». «Ты не любил, пока меня лепил, а Бог любил — и удалось творенье».

* * *

Под горячей кремлевской стеной
в одуванчиках и чистотеле
ощущаю бескрылой спиной,
как две белые птицы взлетели.
Так и быть, та, что выше, — твоя!
А своей, круг за кругом снижая,
говорю: ты ему не чужая,
дай проведать чужие края... —
Даже если гнезда не сошьем —
прикасаясь то грудкой, то спинкой,
мы еще полетаем вдвоем
над Большой и над Малой Ордынкой...

ЛЕВ ДАНОВСКИЙ

р. 1947

По образованию инженер. Печатался мало: несколько публикаций за рубежом, а также стихи в коллективном сборнике «Первая встреча» в 80-е годы, в «Две поэзии» (Ленинград, 1978), в альманахе «Молодой Ленинград». Этот иронический реквием, посвященный бывшему СССР, порой звучит с трагической поминальностью.

ИМПЕРСКИЕ МОТИВЫ

*Когда народы, распри позабыв,
В единую семью соединятся.*
А. Пушкиевич

На глазах, на глазах раскололась...
То ли плох был чертеж.
Эти область, губерния, волость,
Как теперь называть вас?
Ложь вчерашняя ляжет на ложь
Дурнопахнущей свежей листовки.
Изнутри ничего не поймешь.
До свиданья, родные армянки мои и литовки.
До свиданья, таджики, туркмены,
До свиданья, казах.
Крах советской пою Ойкумены.
На моих развалилась глазах.
Нерадивых прости нас, Ермолов,
Усмиривший воинственный край.
Лучше, мастер словесных размоллов,
Рифмы в мельницу счастья ссыпай.
Что тебе до Империи, до расширения
Государственной плоти? Вари

Свой напиток. Имперской мигренью
Пусть другие страдают цари.

Белорусские, до свиданья, местечки,
До свиданья, стрелки-латыши.
Как же я разгляжу вас, косички-узбечки,
В торжестве паранджи?
«Наше все» поддержал вдохновенного ляха,
Заявляют вдвоем:
«Оглянись на эпиграф, боец Карабаха,
Под прицельным огнем».
Эх, в каком хороводе пятнадцать топталось
Разношерстных сестер.
И над тем, что еще от державы осталось,
Всадник руку простер.
До свидания, вишни цветущие Львова,
Прибалтийских кофеен уют.
До свидания, цинковый текст Михалкова,
При котором встают.
Это море знамен утомительно-красных,
Украшавших народов семью...
До свидания, Таллин, где четыре согласных.
Здравствуй, Таллинн с пятью!

ВАДИМ ДЕЛОНЕ

1947, Москва — 1983, Париж

Потомок коменданта Бастилии и внук известного математика Б. Делоне. Первый раз был арестован за участие в правозащитной демонстрации протеста на Пушкинской площади в 1967 году, сидел в следственной тюрьме. 25 августа 1968 года был арестован за участие в демонстрации протеста против советского вторжения в Чехословакию, был осужден, а когда через три года вернулся, — арестовали его жену. Вместе с женой эмигрировал. Судя по воспоминаниям друзей и по стихам, Делоне не «прижился» в Париже, сильно тосковал по дому. Умер совсем молодым. На Западе были опубликованы две его книги: сборник стихов «За колючей проволокой» (Париж, 1983) и автобиографическая проза «Портреты в колючей раме» (Лондон, 1984).

БАЛЛАДА О СУДЬБЕ

М. Шемякину

Горький привкус весеннего неба,
Стаи статуй в саду Люксембург
На утеху тебе и потребу,
Чтобы вновь не настиг Петербург.

Вербный привкус весеннего неба...
Не в серебряном веке живем...
Не спешите, не нужен молебен,
Мы и сами его подберем.

Мы таскаем судьбу на заливке,
Как кровавую тушу мясник.
Наши души пойдут на обивку
Ваших комнат под супером книг.

Как застыла в молчаньи Психея —
Жест с надломом и горькой тоской!
В час, когда мы прощались с Рассеей,
Нам вот так же махнули рукой.

По холсту расползаются краски,
Словно кровь от искусанных губ...
Нам бы в легкой старинной коляске
Пролететь бы в тебе, Петербург!

Солнце сгорбится, крыши обшарив.
Тоже ищет, наверно, приют...
По «Крестам» нас сгноить обещали —
Пусть теперь нашу тень стерегут.

Горький привкус весеннего неба,
Беглый месяц мигнет из-за туч.
Где ты, церковь Бориса и Глеба?
Где на ордере штамп и сургуч?

1979, Париж

* * *

Закат повис, вцепившись в облака,
Вода скрипит по днищу самоходки,
На берегу сгружают лес зека
За черствый хлеб и хвост гнилой селедки.
Нас двое на борту цепляют строп,
Все остальные маются на суше.
Когда-нибудь загонят бревна в гроб
И штабеля завалят наши души.
Пока что мы как будто на ногах,
А страх не держат в лагере за редкость,
Но ветер рвет канаты впопыхах,
И нас несет с размаху на запретку.
На вышке передернут автомат,
И мы скользим по слизи мокрых бревен,
Виновные, что живы, а солдат,
Само собою, в этом не виновен.
Вот он поднялся, разгоняя лень,
Прицелился и взялся за работу.
Тень облаков легла, как смерти тень
Ложится на последних поворотах.
Ему отметят завтра, что побег
Он оборвал своей надежной пулей,
Над головой взметнется серый снег
Как знак для нас, что мы уже загнулись.
И жалко, что лишь год не досидел...
Да что мне все атаки, все дуэли,
Когда б еще назначенный расстрел,
А то стрельба по неподвижной цели.
Но кто-то дал конвойному отбой,
И автомат отбросил он устало,
А тишина звенит над головой,
Как над столом хрустальные бокалы.
Объятями встречают нас зека,
Сегодня спасены мы от забоя,
И только долго снится тот закат,
Махнувший нам прощальной рукою.

1969—1971, Тюмень, лагерь

ИГОРЬ ИРТЕНЬЕВ

р. 1947, Москва

Один из лидеров литературного направления, которое условно можно назвать «пародисты действительности». В какой-то степени это вид реализма, ибо сама действительность брежневского «развитого социализма», а затем коротких появлений на авансцене политики угрюмо карикатурного Андропова и беспомощного асматика Черненко была пародией. Ее нужно было только списать. Инерция сарказма была перенесена пародистами действительности и на перестройку. Они не поддались ее соблазнам, защитились от них иммунным ядом насмешливости, который спас их от плача над разбитыми надеждами, ибо надежд у них не было. Но мне кажется, что некоторые пародисты действительности сами стали собственными сальери. Постоянный привкус яда на губах мешает им помодартниански вкусить сладость жизни и помочь другим насладиться. Иртеньев, к счастью, отличается от них. Он умеет не только издевательски усмехаться и хихикать, но может и по-доброму лукаво улыбнуться.

КАМЕЛИЯ

* * *

Женщина в прозрачном платье белом,
В туфлях на высоком каблуке,
Ты зачем своим торгуешь телом
От большого дела вдалеке?

Ты стоишь, как кукла, разодела,
На ногтях сверкает яркий лак,
Может, кто тебя обидел где-то?
Может, кто сказал чего не так?

Почему пошла ты в проститутки?
Ведь могла геологом ты стать,
Или быть водителем маршрутки,
Или в небе соколом летать.

В этой жизни есть профессий много,
Выбирай любую, не ленись,
Ты пошла неверною дорогой,
Погоди,
Подумай,
Оглянись!

Видишь — в поле трактор что-то пашет?!
Видишь — из завода пар идет?!
День за днем страна живет все краше,
Неустанно двигаясь вперед.

На щеках твоих горит румянец,
Но не от хорошей жизни он,
Вот к тебе подходит иностранец,
Кто их знает — может, и шпион.

Он тебя как личность не оценит,
Что ему души твоей полет,
Ты ему отдашься из-за денег,
А любовь тебя не позовет.

Нет, любовь продажной не бывает,
О деньгах не думают, любя,
Если кто об этом забывает,
Пусть потом пеняет на себя.

Женщина в прозрачном платье белом,
В туфлях на высоком каблуке,
Не торгуй своим ты больше телом
От большого дела вдалеке!

Когда сгорю я без остатка
В огне общественной нужды,
Идущий следом вспомнит кратко
Мои невнятные труды.

И в этот миг сверкнет багрово
Во тьме крошечной и густой
Мое мучительное слово
Своей суровой наготой.

Причинно-следственные связи
Над миром потеряют власть,
И встанут мертвые из грязи,
И упадут живые в грязь.

И торгаши войдут во храмы,
Чтоб приумножить свой барыш,
И воды потекут во краны,
И Пинском явится Париж.

И сдаст противнику без боя
Объект секретный часовой,
И гайка с левою резьбой
Пойдет по стрелке часовой.

И Север сделается Югом,
И будет Западом Восток,
Квадрат предстанет взору кругом,
В лед обратится кипяток.

И гильза ляжет вновь в обойму,
И ярче света станет тень,
И Пиночет за Тейтельбойма
Опустит в урну бюллетень.

И дух мой, гордый и бесплотный,
Над миром, обращенным вспять,
Начнет туда-сюда витать,
Как перехватчик беспилотный.

ПЕСНЬ О ЮНОМ КООПЕРАТОРЕ

Сраженный пулей рэкетира,
Кооператор юных лет
Лежит у платного сортира
С названьем гордым «туалет».

На перестройки пятом годе,
В разгар цветения ея,
Убит при всем честном народе
Он из бандитского ружья.

Мечтал покрыть Страну Советов,
Душевной полон широты,
Он сетью платных туалетов,
Но не сбылись его мечты.

На землю кровь течет из уха,
Застыла мука на лице,

А где-то дома мать-старуха,
Не говоря уж об отце,

Не говоря уже о детях
И о жене не говоря...
Он мало жил на этом свете,
Но прожил честно и не зря.

На смену павшему герою
Придут отважные борцы
И в честь его везде построят
Свои подземные дворцы.

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ

р. 1947, Рыбинск Ярославской обл.

Закончил искусствоведческое отделение МГУ. Почти не печатаясь в СССР, постепенно начал широко печататься в эмигрантской печати. В 1982 году эмигрировал, в 1991-м вернулся на родину. За рубежом вышло несколько книг стихов — одна с предисловием И. Бродского. Гласность запоздало открыла стихи Кублановского советским читателям. Часто выступает в зарубежной и российской печати как квалифицированный эссеист. Стих Кублановского — четкий, отточенный, мавдельштамовской школы, с той добавкой, что у него часто прорывается желчная, мрачно ерничающая ирония по отношению к истории: «Надо б этих комиссариков, шедших с грамотой к крыльцу, растереть бы, как комариков, по усталому лицу» или: «Вот таким выпускали кишки на туманной заре комсомольцы!», «Некрасову утку подруга внесла, как адрес студенчества — из ниоткуда», «Старый мальчик Лермонтов оглушен кокоткою — он пирог с опилками, как с капустой съел». Однако эта густо наперченная ирония вдруг причудливо перемешивается с беззащитной сентиментальностью.

* * *

Россия ты моя!

И дождь сродни потопу,
и ветер, в октябре сжигающий листья...
В завшивленный барак, в распутную Европу
мы унесем мечту о том, какая ты
Чужим не понята. Оболгана своими
в чреде глухих годин.
Как солнце плавкое в закатном смуглом дыме
бурьяна и руин,
вот-вот погаснешь ты.

И кто тогда поверит
слезам твоих кликуш?
Слепые, как кроты, на ощупь выйдут в двери
останки наших душ.
..Россия, это ты
на папертях кричала,
когда из алтарей сынов везли в Кресты.
В края, куда звезда лучом не доставала,
они ушли с мечтой о том, какая ты.

1978

АЛЕКСАНДР ОЧЕРЕТЯНСКИЙ

р. 1947, Киев

Эмигрант третьей волны, автор нескольких очень малотиражных сборников, а также книги стихов и прозы «Из восьмидесятых» (1986). Несмотря на публикуемый образец, преимущественно верлибрист.

* * *

Уж ломали меня ломали
Все ломали кому не лень
Убивали меня печали
И расстреливал черный день

Но сломались мои печали
Застрелился мой черный день
Что ж выходит меня ломали
Все ломали кому не лень

Уж ломали меня ломали
Убивали вчерашний день.

1969

ЛЕВ РУБИНШТЕЙН

р. 1947

Когда-то писал «просто» стихи, даже рифмованные, а позже воспользовался своей профессией библиотекаря и целиком ушел в концептуальный жанр, где вполне нашел себя, да и читатели — своего. Строго говоря, его комбинации из библиотечных карточек, квитанций и бланков можно считать или не считать поэзией, но в своем лице отказать их автору нельзя. По его собственному выражению, пишет он: «Не важно как. Важно, что по-другому».

ВСЕ ДАЛЬШЕ И ДАЛЬШЕ

(фрагмент)

1

Здесь все начинается.
Начало всему — здесь.
Однако пойдем дальше.

2

Здесь вас не спросят,
кто вы и откуда.

И так все понятно.

Место,

где вы избавлены от назойливых расспросов —
именно здесь.

Но пойдем дальше.

3

Здесь дышится легко и свободно,
Лучший отдых — это здесь,
Но надо идти дальше.

4

Здесь, куда взгляд ни упадет —
все прелесть, что ухо
ни уловит — все сладкий напев,
кто что ни скажет —

все истина.

Но пойдем дальше.

5

Здесь уже все совсем по-другому.
Не важно как,
Важно, что по-другому.

АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ

р. 1947, Станислав (ныне Ивано-Франковск), Украина

Вырос в Запорожье, учился на химфаке Одесского университета, затем на истфаке и журфаке МГУ. Напрасно пытался напечатать стихи, работал корреспондентом, корректором, сторожем. Эмигрировал в США, был одним из редакторов газеты «Русская жизнь» (Сан-Франциско). В 1983 году получил докторскую степень в Мичиганском университете за работу «Язык Платонова». Первая книга — «Сборник пьес для жизни соло», 1978. Перевел роман Набокова «Бледный огонь». Гласность перебрала его стихи через океан на страницы отечественных журналов. Высокий профессионализм формы. Ни миллиметра непроработанности. Глубина резкости.

* * *

Оскудевает времени руда.
Приходит смерть, не нанося вреда.
К машине сводят под руки подругу.
Покойник разодет, как атташе.
Знакомые съезжаются в округу
В надеждах выпить по его душе.

Покойник жил — и нет его уже.
Отгружен в музыкальном багаже.
И каждый пьет, имея убежденье,
Что за столом все возрасты равны,
Как будто смерть — такое учреждение,
Где очередь с обратной стороны.

Поет гармонь. На стол несут вино,
А между тем все умерли давно,
Сойдясь в застолье от семейных выгод

Под музыку знакомых развозить.
Поскольку жизнь всегда имеет выход.
И это смерть. А ей не возразить.

Возьми гармонь и пой издалека.
О том, как жизнь тепла и велика.
О женщине, подаренной другому,
О пыльных мальвах по дороге к дому,
О том, как после стольких лет труда
Приходит смерть. И это не беда.

* * *

Меня любила врач-нарколог,
Звала к отбою в кабинет.
И фельдшер, синий от наколок,
Во всем держал со мной совет.
Я был работником таланта
С простой гитарой на ремне.

Моя девятая палата
 Души не чаяла во мне.

Хоть был я вовсе не политик,
 Меня считали головой
 И прогрессивный паралитик,
 И параноик бытовой.
 И самый дохлый кататоник
 Вставал по слову моему,
 Когда, присев на подоконник,
 Я заводил про Колыму.

Мне странный свет оттуда льется.
 Февральский снег на языке:
 Провал московского колодца,
 Халат и двери на замке.
 Студенты, дворники, крестьяне.
 Ребята нашего двора
 Приказывали: «Пой, Бояне!» —
 И я старался на ура.

Мне сестры спирта наливали
 И целовали без стыда.
 Моих соседей обмывали
 И увозили навсегда.
 А звезды осени неблизкой
 Летели с облачных подвод
 Над той больницей люблинской,
 Где я лечился целый год.

* * *

У лавки табачной и винной
 В прозрачном осеннем саду
 Ребенок стоит неповинный,
 Улыбку держа на виду.
 Скажи мне, товарищ ребенок,
 Игрушка природных страстей,
 Зачем среди тонких рябинок
 Стоишь ты с улыбкой своей?
 Умен ты, видать, не по росту,
 Но всеж, ничего не тая,
 Ответь, симпатичный подросток,
 Что значит улыбка твоя?
 И тихо дитя отвечает.
 С признаньем своим не спешу.
 Улыбка моя означает
 Неразвитость детской души.
 Я вырасту жертвой бессонниц.
 С прозрачной ледышкой внутри.

Ступай же домой, незнакомец.
 И слезы свои оботри.

* * *

Припомните случай Колумба,
 Прообраз земного труда.
 Он в Индию плывал, голуба,
 А вышел совсем не туда.

Возьмите историю Брута —
 Он кровью родство искупил,
 Но в целом по-своему круто
 С республикой он поступил.

Случаются в жизни моменты,
 Когда на развилке дорог
 Мы сами себе оппоненты,
 Таланты себе поперек.

Особое место ученым
 Из редкой породы зануд,
 Которые черное черным,
 А белое белым зовут.

Но мы из другого металла,
 Такое загнем иногда,
 Как если бы кошка летала
 И резала камни вода.

* * *

Я «фита» в латинском наборе,
 Меч Аттилы сквозь ребра лет.
 Я трава перекадиморе,
 Выпейветер, запрягисвет.
 Оберну суставы кожей,
 Со зрачков нагар соскребу,
 В средиземной ладони Божьей
 Сверю с подлинником судьбу.
 Память талая переполнит,
 И пойдут берега вразнос.
 Разве озеро долго помнит
 Поцелуи рыб и стрекоз?
 Я не Лот спиной к Содому,
 Что затылочной костью слеп.
 Я трава поверникдому,
 Вспомнидруга, преломихлеб.
 Но слеза размывает берег.
 Я кружу над чужой кормой —
 Алеутская птица Беринг,
 Позабывшая путь домой.

МИХАИЛ АЙЗЕНБЕРГ

р. 1948

Окончил Московский архитектурный институт. На Западе печатается с 1977 года, в СССР — с 1989-го. Работал реставратором. Живет в Москве.

* * *

Как бушлатников, темных лицом,
провожают в пехоту —
распрощался, и дело с концом.

И опять, по второму заходу,
начинается — только держись —
заиграет, спохватится

Или снова, о господи, жизнь
как жестянка покатится —

Только битый кирпич да песок,
да трава — шерсть верблюжья

Только детский дворовый каток,
а на нем полукружья
и широкая вязь
от ножей и снегурок
за углом хоронясь,
зажигаю окурок

Ты прости, что не смог
отойти от Покровки Солянки,
что последней московской шарманке
я до смерти попал на зубок

ВЛАДИМИР БЕРЕЖКОВ

р. 1948

Друг и соратник Леонида Губанова по СМОГУ. Остался верен памяти друга и после его смерти — всячески пропагандируя губановские, оставшиеся сиротами стихи, исполняя под гитару песни о нем.

* * *

Я не люблю, когда меня пытаются,
мне неприятен гвоздик под ногтем.
Производительность труда не возрастает,
а падает, и качество при том.

Когда идешь в Свяжский переулок
туда, где ждет тебя райпытотдел,
так негуманен кажется и гулок
твой персональный маленький расстрел.

Мы знаем, что бюджету не хватает
и что со все сторон одни враги,

но что-то слишком нас порой пытаются
испанские — не надо! — сапоги.

Я стал бояться электрического тока,
увиджу кипяток и весь дрожу,
и отменить я пытки понемногу
со всем гражданским мужеством прошу.

Конечно, может, я чего стущаю —
ведь не отменишь сразу все подряд.
Оставьте дыбу, я по ей скучаю,
но пусть не так хоть яицы болят.

ВЛАДИМИР ГАНДЕЛЬСМАН

р. 1948

Инженер по образованию. Сейчас преподаватель русского языка в американском колледже. Стихи, написанные подчас прозаическими строками, плотной набоковской школы.

* * *

Когда бы нюх звериного чутья мне шупал путь,
блуждая по Европе, то запах отыскался б не
в укрепе, а в комнате для стрижки и бритья —
картавый тип с повадками врача, орудуя машин-
кой по затылку, то выпускает в зеркало ухмыл-
ку, как скользкую рыбешку, то, сплеча прице-
лившись и отведя бутылку, сжимает грушу, дур-
но хохоча, — и вот затылок холоден и странен,

и мальчик освежен и оболванен, —
иль в мастерской, где чинят обувь и на подметку
ставят крест, башмак тем самым обособив, его
отправив под арест, —
там и накинется средь острый спящих игл,
блестящих шил дух кресел кожаных, подстил,
подметок, разрывая ноздри, а люд, чей говор-
непотребник так аппетитен и Бог весть о чем, —
напомнит про учебник, где о ремесленниках
есть...

В нас только прошлое осталось,
ты не со мною целовалась.
Тебе страшной — и ты легка.
Твои слова тебя жалеют.
И не во тьме, во мне белеют
твое лицо, твоя рука.

Мы умираем понемногу,
мы вышли не на ту дорогу,
не тех от мира ждем вестей.
Сквозь эту ночь в порывах плача
мы, больше ничего не знача,
сойдем в костер своих костей.

ЕЛЕНА ИГНАТОВА

р. 1948

Работала сценаристом. С 1990 года живет в Иерусалиме. Стихи — очень петербургские. В предисловии к ее первой книге Василий Бетаки пишет: «Тяжелозвонкое скаканье и поныне слышно в музыке русского стиха. Как существовать, когда гранит стеснил дыханье? И как — без этой тяжести?» Портрет ее петербургской подледной родины страшноват: «Угольного зрачка движенья неживы, и тени на лице на смертные похожи. Блестящий низкий лоб и скул монгольских швы — меж черною водой и ледяною кожей. Восходит нежный пар — дыханья волокно, колеблет волосы подводное движенье. Лежит российская Горгона. Ей темно. И тонкой сетью льда лицо оплетено, и ужаса на нем осталось выраженье». А мне по душе совсем простое-простое, но зато такое человеческое, такое женское четверостишие, которое я и привожу в этой антологии.

* * *

Нет нам друзей на свете. Мы с тобою вдвоем.
Ты-то не помнишь — ангел долго кружил над жильем.
В легких руках — ребенок, губы — земли черней:
«Вот тебе дело в мире до завершения дней».

АНАТОЛИЙ КОБЕНКОВ

р. 1948, Хабаровск

Первая книга Кобенкова «Весна» вышла в поэтической кассете в 1968 году (Восточно-Сибирское книжное издательство). Жил в Биробиджане, Ангарске, позже поселился в Иркутске. Автор девяти поэтических сборников, в последнее время привлек внимание московских журналов и издательств — не темами и не приемами, а неординарным поэтическим дарованием. Чуткий воспитатель молодой сибирской поэтической поросли, он был обозван местными шовинистами «Лейбой Троцким от критики».

* * *

До чего же я жил бестолково!
Захотелось мне жить помудрей...
Вот и еду в музей Кобенкова,
в самый тихий на свете музей.

Открывайте мне дверь поскорее,
и, тихонько ключами звеня,
открывает мне сторож музея —
постаревшая мама моя.

1970

ВИКТОР КОРКИЯ

р. 1948, Москва

Скептический, довольно ядовитый, рациональный склад ума, характерный для многих поэтов его поколения, почти задушенных отсутствием кислорода во время брежневской стагнации. Автор нашумевшей гротесковой пьесы о Сталине, поставленной театром МГУ. Всегда держался в литературе с подчеркнутой самостоятельностью.

СТАНСЫ

В беспамятстве юном, в безгласной стране
посмертные лавры мерещились мне.

Как бес, имитируя зверскую страсть,
я спал с дочерями имеющих власть.

В их сладостном шуме, в их смутной тени
шутя прожигал я ненужные дни.

В безвременье зыбком зубами скрипя,
подпольной любовью я мстил за себя.

Недвижно среди гробовой тишины
застыл я над вечным покоем жены.

В пластмассовой урне твой прах номерной
и фото на паспорт — твой облик земной.

В дали магаданской, хлебнув от людей,
забудет меня плоть от плоти твоей.

Я буду лежать перед ней, недвижим,
отцом не отцом — ни родным, ни чужим.

ИГОРЬ ПОМЕРАНЦЕВ

р. 1948, Саратов

Игорь Померанцев известен тем, кто слушает в России радио «Свобода»: его программа «Поверх барьеров» — одна из самых популярных. Из России уехал в 1978 году, первую — прозаическую — книгу издал в Лондоне (1985), первый поэтический сборник — в Санкт-Петербурге: «Стихи разных лет» (1993). Негромкий лирик, к счастью — со своим лицом.

* * *

А было время, помнишь, на перрон
бесплатно не пускали и за вход
взимали рубль старыми, тогда
еще охотно плакалось, а ныне —
и это уж не первый год —
чешуйки ящеренок не прольет.

Вот ящерица юркнула. Вагон
так узок, словно я виски
руками стиснул.

Мы не увидимся. Ужасен проводник.
Сыреет в тамбуре его постельный лик.
Прижмись к моим губам, и я, как стеклодув,

добуду поцелуй, прозрачный, хрупкий,
сжимая ящеричный хвост подруги.

В закрытом пограничном городке
глаза нуждались в носовом платке
от умиления: все тот же цвет,
все тот же колорит,
что степь и униформы
так роднит.

Мы не увидимся. В уборной на вокзале
на миг в рукопожатии умрем,
я пошатнусь, в лицо дыхнет карболка,
к глазам моим притронется иголка,
чтобы сломаться...

АНДРЕЙ СУЗДАЛЬЦЕВ

р. 1948

Выпускник филологического факультета МГУ, первую книгу стихов — «Настоящее время» — издал в 1988 году. Публикуемое здесь стихотворение — одно из немногих, добавивших в теме распятия свою неповторимую нотку.

«ПРОЩАЛЬНАЯ СИМФОНИЯ» — ГАЙДН

Вячеславу Гайворонскому

Наматываю музыку на струны,
уже и предпоследний музыкант
на свечку замиряющую дунул
и отошел, ссутулившись, за кадр.

Мне кажется, я лиц не вижу ваших,
свеча трепещет музыке под стать,
и музыка над ней крылами машет,
боясь от угасания отстать.

Кому какое дело, что каверна
сгорает в легких, что жена сейчас
уходит из дому и навсегда, наверно, —
я завершу оставшуюся часть.

Я доведу все ноты до предела,
я доведу до йоты шаг земной,

я доведу себя, хоть вам нет дела,
до летних звезд и до снегов зимой.

Я доведу себя до завершения
надежд и нот, надежд и нот, и я,
я отличу звучанья совершенство
от хриплой музыки небытия.

Я кончил. Я кладу на свечку руку,
огонь растёт и прожигает кисть.
Прощайте, не равняйте эту муку
со скорбью петь, со скорбью петь и жить.

Я ухожу и сквозь отверстие это
гляжу на мир, странноприимный гость,
сквозь руку, пропустившую луч света,
хотя в нее и не вбивали гвоздь.

МАРИНА ТЕМКИНА

р. 1948, Ленинград

Изучала средневековую историю Европы и работала в Эрмитаже. В 1978 году эмигрировала в США. Выпустила три книги стихов: «В обратном направлении», «Части часть» (1985) и «Geompesic observatoru» (1990) (на трех языках — русском, английском, французском). Рифмованные стихи Темкиной часто оскальзываются в приблизительные созвучия. Зато ее верлибр мошен, разнообразен, грациозен, иногда нежен, иногда язвитель, но всегда тонок и мудр. Приводимый в антологии поэтический трактат-триптих о русском характере поучителен для тех, кто, по выражению Солженицына, является «карикатурой на патриотов».

ТРИ ВАРИАНТА
ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ

1

Это большое горе, когда все всех жалеют,
ибо помочь никто никому не может,
но зато каждый каждому,

кто ни встретится по дороге,
всем помочь стараются,

со своей дороги круто сворачивая,
о себе забывая и детях,

а чего о них помнить, пускай себе бегают,
сами вырастут и без нашей помощи,

так уж в мире заведено,
чтоб росли дети, да и не шел он никуда

особенно, не направлялся,
вышел так на воздух поглазеть — пошататься,

тоску развеять.
Вот у нас-то, думают, горе-беда,

разве понять чужому,
у них и войн-то почти что не было, с нашими

если сравнить потерями.

Цифры великие называют, вот, мол, как мы
страдать лучше всех в мире умеем,

как замечательно погибать всем скопом
можем,

миллионами целыми ничего не стоит нас
укокошить, как скот бессловесный,

коллективно убивай себе нас на здоровье
и по одиночке,

и при этом хоть бы кто пикнул,
а кто пикал, так того тоже,

разница, в сущности, сокрушенно друг другу
объясняют, небольшая,

это если рассуждать философски, так что мы
сами от себя

очень душевно страдаем, чему отдельно
до глубины души сострадаем.

Нас можно и как класс уничтожать и по частям,
и всех подряд без отбора,

целыми массаами, как им, мучителям нашим,
удобней: богатых, бедных,

этническими группами и с образованием
высшим, и неграмотных вовсе,

в городе и деревне,
конных и безлошадных, солдат и матросов,

с происхождением и безродных,
и по профессиям, вот, поглядите,

мы покажем, братские могилы оптом у нас идут
на сотни тысяч,

уничтоженных в чистках и войнах, инвалидов
и членов семей их,

вот мы как погибать прекрасно на пятерку
с плюсом можем,

по такому поведению мы круглые отличники,
сами в горы трупов укладываемся

большую кровью, нас и уговаривать не надо,
сказано — сделано, без рассуждений

по команде, и чтобы не повторяться, мы и детей
так воспитываем,

чтобы слушались старших беспрекословно,
и вполне обойдемся своими силами

без врагов, а если понадобится, нам их
создать в своей среде что раз плюнуть,

чтобы самим с собою расправиться
великим размахом по-богатырски.

2

Мы все бессребреники, душу положим за други,
ведь он не выбился в люди, не стал богатым,

как все, неудачник,
не добился успеха, его талантом

не наградили, а если и наградили,
то он не воспользовался,

даже и не подумал, очень надо ему колотиться,
пробиваться, заводить знакомства,

все равно ничего не получится,
он лучше на диване приляжет с книжкой,

полежит на обочине или на дне
канавки, мы его пожалеем, купим

опохмелиться, а если это кто осуждает,
книжку про нас пишет, кирпичный

заводик строит, прилавок в киоске
ладит, садит сад-оранжерею-огородик,

мы того не допустим,
чтобы выделялся, это не по-товарищески,

не скромно, будь частью народа
своего, не порть наш образ эпический

былинный молодецкий,
не разрушай суетой такую нашу благодать,

алчности мы выше, духовной пищей
вполне обойдемся, будет день — будет пища

и над головой крыша, подадут нам
с утра добрые люди, да и реактор может

плеснуть из горла ненароком.

3

Милостыню-то мы дадим и с другом машину
чиним, все за бесплатно,

он все равно нас подбрасывает ежедневно до
работы и с работы,

в транспорте чтобы нас не задавили, друг нам
 человек он хороший, мы все хорошие люди,
 эти страсть прямо как сердобольны,
 они-то пожалеть умеют и поперек не лезут,
 права не качают, чай, не заграница,
 сразу схлопочешь, заметил ведь о нас поэт,
 умом нас..., такие мы особенные люди,
 у нас не как у других/у них, не обольщайтесь,
 нас притеснять сколько хочешь можно,
 мы смолчим, не осудим, да не судимы,
 у нас все по-другому. Плохое у нас,
 людей хороших, от чужих/нехороших,
 к нам не прилипает, внутрь души
 не проникнет, эта преступность не наша,
 ее завезли к нам, или там баб насиловать,
 а с малолеткой тем паче,
 или любовь однополая,

вы посмотрите на нас,
 мы ж нормальные люди, нам всё это чуждо,
 неслыханно, чужеродно,
 а у чужаков, у них тоже, не сами придумали,
 у них это от ихних собственных пришлецов
 из других мест, так и кочует по свету
 занесенное издалёка, перекатываясь с места
 на место,
 глобус-то круглый, того и глядишь нанесет
 зловерное, не органическое жителю
 в нашем мире всего мира. Нам-то есть чего
 напоказ выставлять с угрозой,
 чтобы к нам не совались, чтоб не повадно было,
 чтоб поглядели, что с ними может
 случиться, если помогать нам не будут, не купят
 опохмелиться, корочкою занюхать.

апрель, 1993

ЕЛЕНА ШВАРЦ

р. 1948, Ленинград

Ее стихи долго блуждали по ленинградскому самиздату, прежде чем добрались до Нью-Йорка, где вышли в «Руссике» под общим названием «Танцующий Давид». (Это крошечное, но мужественное и с отличным вкусом издательство играло большую собирательскую роль.) Елена, по собственному выражению, давно выстроила ее «внутригрудной Иерусалим». В этом ее внутреннем Иерусалиме она — актриса, играющая множество ролей. Замечательная ее строчка: «может быть, и спасется все тем, что срослось» — есть ключик к пониманию того, как все эти роли срослись в ней самой — полуКинфии, влюбленной в гладиатора, полубабе, которую муж бьет «ногою в брюхо», полужвереполуцветке. И все эти роли она играет так, что сама завораживается своей игрой.

ЗВЕРЬ-ЦВЕТОК

*Иудейское дерево цветет вдоль
 ствола сиреневым цветом*

Предчувствие жизни до смерти живет.
 Холодный огонь вдоль костей обожжет,
 когда светлый дождик пройдет
 в день Петров на изломе лета.
 Вот-вот цветы взойдут, аляя,
 на ребрах, у ключиц, на голове.
 Напишут в травнике «элена орбореа»,
 во льдистой водится она Гиперборее,
 в садах кирпичных, в каменной траве.
 Из глаз повисли темные гвоздики.

Я — куст из роз и незабудок сразу.
 Как будто мне привил садовник дикий
 тяжелую цветочную заразу.
 Я буду фиолетовой и красной,
 багровой, черной, желтой, золотой.
 Я буду в облаке жужжащем и опасном —
 шмелей и ос заветный водопой.
 Когда ж я отцвету, о Боже, Боже, —
 какой останется искусанный комок,
 остывшая и с лопнувшею кожей,
 отцветший полумертвый зверь-цветок.

1976

ТАТЬЯНА БЕК

р. 1949, Москва

Дочь известного прозаика Александра Бека, печататься начала очень рано. Первый сборник стихотворений — «Скворешники» — выпустила в 1974 году. Много времени отдает литературоведению; составила первую учебную антологию акмеистов — стихи и манифесты.

*Я все тот же, все тот же
 огромный подросток
 С перепутанной маньей дела и гнева.*

Е. Рейн

Ты, надевший впотьмах щегольскую рубаху,
 Промотавший до дыр ленинградские зимы, —

Ты, у коего даже помарки с размаху
 Необузданны были и непоправимы, —

Ты, считая стремительные перекосы
 Наилучшим мотором лирической речи,
 Обожая цыганщину, сны, парадоксы
 И глаза округляя, чтоб верили крепче, —

Ты — от имени всех без креста погребенных,
Оскорбленных, униженных и недобитых —
Говоришь, как большой и капризный
ребенок,
У которого вдох набегаёт на выдох.

Ты — дитя аонид и певец коммуналок —
О, не то чтобы врешь, а правдиво лукавишь.
Ты единственный —
здесь невозможен аналог! —
Высекаешь музыку, не трогая клавиш.

И, надвинув на брови нерусское кепи,
По российской дороге уходишь холмами,
И летишь, и почти растворяешься в небе —
Над Москвою с ее угловыми домами!

А вернешься — и все начинается снова:
Смертоносной игры перепады и сдвиги,
И немислимый нрав, и щемящее слово,
И Давидова грусть,
и улыбка расстриги.

ИГОРЬ БЯЛЬСКИЙ

р. 1949, Черновцы

Работал в Ташкенте, последние годы живет в Иерусалиме.

РЕЧИТАТИВ

Сквозь времена, пространства и причитания
Мы бредем, согреваясь придуманными
химерами

(и смущая химерами этими
придорожные ареалы),
пробавляясь у прочих народов пророчеством
и посредничеством.

Посредники при обменах и при обманах,
торговцы насущными бубликами и дырками
необычной формы,
врачеватели всяческих (но зачем-то и
неизлечимых) болезней,
честолюбивые и человеколюбивые козлы
отпущенья.

Сохраняя от сглаза охрипшие
в хрестоматийности храмы

и хромируя новые — ржавые и хромые,
примиряя добро со злом и неправду с истиной,
расщепляем залетные атомы, но более —
свои души.

Советчики при фараонах, кесарях,
губернаторах и халифах,
советчики при робеспьерах, линкольнах,
спартаках и разиных,
импресарио и менеджеры
по обе стороны баррикад,
мы сгораем в кострах,
которые сами
разводим.

Да... такие мы режиссеры и драматурги,
переводчики с чужих языков на чужие,
очевидцы и соратники очередного
неназываемого бога.
И глаза у нас горячи на тысячи лет вперед.

РЕГИНА ДЕРИЕВА

р. 1949, Одесса

Жила и работала в Караганде. Написала множество стихов, хотя напечатать из них удавалось лишь немногие и не лучшие. Много было литературщины. Но стихи Дариевой постепенно набирали силу. С 1991 года — в Израиле. Книга «Отсутствие», вышедшая в нью-йоркском издательстве «Эрмитаж», получила следующую рекомендацию И. Бродского: «Подлинное авторство тут — самой поэзии, самой свободы... Ничего похожего я ни у кого давно не встречал — ни у соотечественников, ни у англоязычных».

* * *

Бабки подбить, и итоги подвести,
больше не ждать огнестрельную весть,
не доверяться почтарке.
Ржавые космы, рябое лицо,
и на обрубке корявом кольцо.
Руки судьба, образ Парки.
Что там несет? Ну, конечно, пакет
синего цвета. Младенческий цвет.
Родины небо и море.

Что в том пакете — неважно теперь.
Важно, когда открывается дверь.
Разве судьба — это горе.
Горе другое, когда ты вдали
от голубой и от синей земли,
от тишины и покоя.
Будь у Елены рябое лицо,
ржавые космы, простое кольцо —
не воспалилась бы Троя.
Все мы желаем того, чего нет.
Бедной почтарке осмьнадцати лет

мнится счастливым колечко.
Стоило грош, присмотрела сама.
Нет никого — довести до ума,
теплое выбрать местечко.
«Хватит! — скажу. А она не поймет,

палец засунет в младенческий рот,
будет стоять у порога.
Не переступит, будто черта,
будто в пакете новость не та.
Будто любви еще много.

НАДЕЖДА КОНДАКОВА

р. 1949, Оренбург

Автор шести поэтических сборников. В стихах последних лет стремится преодолеть форму, чтобы стать «между реализмом и Дали». Ренегат «алярусного» классицизма, однако предала кокошник с очаровательной непредательской естественностью. Получилось рождение совсем другого поэта — без кокошника и сарафана, без знаков препинания, но зато в хламиде европейского постмодернизма. Воистину мужественная женщина. Как общественная деятельница и один из лидеров «Союза российских писателей», вместе с М. Кудимовой, поражает своей неукротимой энергичностью и в отличие от тоже талантливой, но более жесткой Кудимовой — мягкой доброжелательностью к коллегам.

СОН В ГУМЕ

колбаса похожа на крамолу
продавщица на Савонаролу
это может даже реализм
социалистический но все же
на Дали отчаянно похоже
если в изм добавить пару клизм
в сон вхожу как в супермаркет страха
где американская рубаха
ближе к телу чем родной бушлат
клад хочу найти да вышли клады
как солдаты что надели латы
Александра Невского в кино
но ветра классической Эллады
колбасою пахнут все равно
все равно равны пред богом твари
если дух мой плачет в сенбернаре
и до превращения его
не одной совокупляться паре
и свершаться каверзе и каре

карме очищенья моего
в паре мы и я и продавщица
что напрасно тщится взять займы
и стоят за колбасою лица
как калым проклятой Колымы
вор и хор народный вне закона
отрекаюсь каюсь что кляня
я любила родину Горгону
в камень превратившую меня
и повсюду каменные лица
и одета в камень и гранит
Третий Рим последняя столица
в очереди каменной стоит
очередь похожа на удавку
продавщица прячет бородавку
чуть не плачет сидя на мели
после и растраты и утраты
в общем чем богаты тем и рады
между реализмом и Дали

1987

РИНА ЛЕВИНЗОН

р. 1949, Москва

Выросла в Свердловске, уже в 1971 году издала первый сборник стихотворений. В 1976 году уехала в Израиль, живет в Иерусалиме. В Израиле выпустила множество сборников, вышли ее книги в переводе на иврит, арабский, немецкий. Ее лирика наднациональна, религиозна, философична.

За то, что ткань существованья
прозрачна, как небесный дым,
и кратковременней страданье
всей музыки, рожденной им
и сыгранной потом на флейте,
пока не стянут смертью рот.

Жалейте музыку, жалейте
за то, что музыка умрет.

Асе Рожанской

Простая сладость собственного крова,
Вдеванье нитки в легкую иглу.
Не приведи, Господь, есть со стола чужого,
И жить в чужом углу.

Гудит мой век. И этот гул все жестче.
Четыре ветра надо мной сошлись,

В президиумах властвовал графин —
на тушинском параде и в застенке...
И плавал шестиполоый серафим
рожденный полым разумом Лысенки.

Сияли футболистские мослы,
и оставался век — назло Европам —
до посещения герром Риббентропом —
вослед за герром Воландом Москвы.

ЛЕОПОЛЬД ЭПШТЕЙН

р. 1949, Киев

Учился на математическом факультете МГУ. Работал преподавателем, научным сотрудником, инженером, кочегаром, рабочим сцены, дворником, лесорубом. Эмигрировал в США. Живет в Бостоне. Журнал «Вестник», откуда составитель выбрал этот фрагмент, называет Л. Эпштейна лучшим поэтом эмиграции. Не думаю, что с этим согласится И. Бродский, хотя его доброта по отношению к другим поэтам широко известна. Редактор этой антологии может добавить, что учился в МГУ одновременно с Эпштейном и ходил с ним, что называется, «в одну литстудию». Тогда Эпштейн считал себя не лучшим русским поэтом эмиграции, — а лучшим поэтом вообще. Но в одной области действительно не имел равных: импровизатор на любую заданную тему он был бесподобный. В этой традиции его имя может быть поставлено рядом с именами Бориса Зубакина и Виктора Урина.

АБСТРАКЦИЯ номер 715
(фрагмент)

Не то Тюмень, не то Чита.
Теперь тю-тю с концами.
И не увидишь ни черта
На тройке с бубенцами.
Не то февраль, не то апрель.
Переплетенье стилей.
Электровоз слепит метель
Собакой Баскервилей.

...Электровоз, вперед лети.
Иного нет у нас пути.
По льготному закону —
К болотному кордону.
По царскому указу,
По своему заказу,
По смутному резону,
По мутному Гудзону,
Не к знойному Сиону.
А напрямик — на зону...

ВЛАДИМИР АРИСТОВ

р. 1950, Москва

Выпускник Московского физико-технического института. Много печатался в периодике, входил в антологии, в частности в «Антологию русского верлибра» (1991). Автор зрелой книги стихотворений «Отдаляясь от этой зимы» (1992).

* * *

Треугольный пакет молока.
Если угол обрежешь,
То белая хлынет тоска,
Как письмо непрочитанное
Пропадает в ночи.
Тихо. Молчи.

На росе разведенный,
Рассвет, помутившись, растет

За углом, где работа постылая ждет.
Я его позабыла,
Значит, в памяти он никогда не умрет.

На окне на ночном цветных пирамид молока
Громоздятся мучные бока.
Молока струйку зыбкую чувствуя нить,
Эту память уже не прервать, не продлить.

1979

ЕВГЕНИЙ ВИТКОВСКИЙ

р. 1950, Москва

Во время работы над этой антологией оказалось, что первоначальная фамилия редактора этой антологии — Виттковски и он из старого немецкого рода. Если присовокупить к этому, что составитель антологии лишь недавно выяснил, что латвийские корни его дедушки по отцу Рудольфа Вильгельмовича Гангнуса тоже ведут куда-то в средневековую южную Германию, то получается картинка, лакомая для наших шовинистов: какая-то немчура поганая глумится над русской поэзией, как тевтонские псы-рыцари над белоснежным телом полонянки. Про то, что немцем по происхождению был и составитель самого лучшего словаря русского языка, они, конечно, не вспомнят. Странно, что Пушкина они еще до сих пор не догадались окрестить «черномазым». У нас с редактором еще есть кое-что общее: меня

выгнали из Литинститута за то, что я защищал Дудинцева и ругал Грибачева, а Витковского — с искусствоведческого отделения МГУ за то, что шатровые русские церкви он посмел объявить подражанием европейской готике. Поскольку Витковский в 70-е годы свои стихи, по собственному выражению, «мог печатать лишь чуть-чуть», он всерьез ушел в поэтические переводы: Петрарка, Камюэнс, Мильтон, Китс, Рембо, Рильке... Дважды был провален при попытке вступить в Союз писателей и, наконец, был принят лишь в 1983 году. В 1993 году завершил свой поистине героический труд — антологию эмигрантской поэзии в четырех томах под общим заглавием «Мы жили тогда на планете другой» (175 поэтов). Составил и ряд других антологий, переведенных с других языков, — в частности антологию поэзии Люксембурга, подарив ее составителю как материализованный укор в ответ на его непродуманные строки: «Россия без поэзии российской была бы как огромный Люксембург». Написал трехтомный лжеисторический роман «Павел Второй», ждущий печатного станка. Составитель вряд ли мог бы доверить окончательную редактуру антологии кому-нибудь другому, а если честно говорить, то никто и не брался — все испуганно отшатывались при виде гор материала. Витковский внес свой вклад не только в редактирование, но и в составление. Если говорить о стихах Витковского, то их высокая культура несомненна, о чем свидетельствует скромно предложенное автором всего лишь одно стихотворение.

* * *

Эту цепочку ломкою строчкой увековечу:
Шило на мыло, мыло на сало, сало на гречу.

Эта цепочка — точно по схеме, точно по слепку:
Бабка за жучку, жучка за внучку, дедка за репку.

Кружатся годы — белые враны, черные чайки.
Не ошибиться в качестве шила, в сортности швейки.

Цифры да цифры — как конвоиры с фронта и с тыла:
Шило на мыло. Было да сплыло. Сердце остыло.

Только бы тихо, только бы глухо, шито да крыто.
Это не ярость, это не злоба. Это защита.

Это защита от снегопада, от перепада.
Чур: не бороться. Если не дали, значит, не надо.

Можно молиться даже в канаве, даже в борделе.
Чтоб ненароком, в самом бы деле, свиньи не съели.

Чтобы, как надо, шелестом сада кончилось лето.
Боже, спасибо: даже за это, даже за это.

Все остальное — побоку, на фиг. Не было речи.
Снеги да вьюги. Ветер на круги. Вечность, до встречи.

1982

ВАСИЛИЙ ГАЛЮДКИН

р. 1950, Мурманск

Мурманский поэт, автор нескольких книг, член Союза писателей. Народное, доброе к другим дарование.

ОТ ТАНКА ДО БАНКА

Цветы пионеров — у танка.
Милиционером посты — внутри банка.
Танк —
Горькая память последней войны.
Банк —
Скажем — один из придатков казны...
От танка до банка — прогулки,
Центральный район, переулки...
У танка и банка — зеваки.

За танком и банком — бараки.
Тут местной команды верхушка,
Дворец их... А рядом — психушка.
От танка до банка —
Мои «культпоходы»,
Солдатская служба,
Армейские годы...
От танка до банка: кирпич и броня!
Какая «веселая» жизнь у меня:
От танка до банка,
От танка до банка,

От банка до танка,
От банка до танка!

ВОРОБЕЙ ГЕНА

Здравствуй, Гена, битый воробей!
Божие создание, хочешь хлеба?
Вот кусок твой... К радости моей
На окошко сядь, приятель неба!
Гена, милый, сколько было бурь?
Чем-то ты напоминаешь брата:
Словно брат погибший, в эту хмурь
Ты глядишь прощально, виновато...

Это, Генка, деревянный дом.
Вижу, что над крышей вьются тучи...
Слышу речь стихии: «Целься, гром,
Воробья и сторожа разлучим!»
Ноют бабки: «Сумасшедший дом:
Сторож белым хлебом разбросался!
Безобразье: дружит с воробьем,
Пьяный спит, а серый разлетался...»
Мой крылатый брат, ешь аккуратно,
Отгоняй от рамы вредных мух.
И чирикай тонко, деликатно.
Не дразни злопамятных старух!

АЛЕКСАНДР ЕРЕМЕНКО

р. 1950

Приехал учиться в Москву, в Литературный институт, с алтайских гор. Пока издал только одну небольшую книжечку «Добавление к сопромату» в библиотеке журнала «Огонек». Однако его имя оказалось в центре литературных дискуссий еще в середине 80-х. Скептический, ядовито высмеивательный стиль. Один из родоначальников «пародистов действительности».

ДОБАВЛЕНИЕ К СОПРОМАТУ

Чтобы одной пулей
погасить две свечи,
нужно последние расположить так,
чтобы прямая линия,
соединяющая мушку
с прорезью планки прицеливания,
одновременно проходила бы
и через центры обеих мишеней.
В этом случае, произведя выстрел,
можно погасить обе свечи
при условии, что пуля не расплывется
о пламя первой.

* * *

*Иерониму Босху,
изобретателю прожектора.*

Я смотрю на тебя из настолько глубоких
могил,
что мой взгляд, прежде чем до тебя добежать,
раздвоится.
Мы сейчас, как всегда, разыграем комедию
в лицах:
тебя не было вовсе, и, значит, я тоже не был.
Мы не существовали в неслышной возне
хромосом,
в этом солнце большом или в белой большой
протоплазме...
Нас еще до сих пор обвиняют в подобном
маразме,
в первобытном бульоне карауля с поднятым
веслом.
Мы сейчас, как всегда, попытаемся снова
свести
траектории тел. Вот условие первого хода:
если высветишь ты близлежащий участок
пути,

я тебя назову существительным женского
рода.
Я, конечно, найду в этом хламе, летящем
в глаза,
надлежащий конфликт, отвечающий
заданной схеме.
Так, всплывая со дна, треугольник к своей
теореме
прилипают навечно... Тебя надо еще доказать.
Тебя надо увешать каким-то набором морфем
(в ослепительной форме осы заблудившийся
морфий),
чтоб узнали тебя, каждый раз
в соответственной дозе
обладателя тел... Взгляд вернулся
к начальной строфе.
Я смотрю на тебя из настолько глубоких...
Игра
продолжается, ход из меня прорастает, как
бойница —
уберите конвой, мы играем комедию в лицах.
Я сидел на горе, нарисованной там, где гора.
У меня под ногой (когда плюну — на них
попаду)
шли толпой бегуны в непролазном и синем
аду,
и, как тонкие вши, шевелились на них
номера.
У меня за спиной шелестел нарисованный рай
и по краю его, то трубя, то звеня за версту,
это ангел проплыл или новенький чистый
трамвай,
словно мальчик косой с металлической
трубкой во рту.
И пустая рука повернет, как антенну, алтарь,
и внутри побредет сам с собой
совместившийся сын,

заблудившийся в мокром и дряблом строенье
осин,
как развернутый ветром бумажный
хоккейный вратарь.
Кто сейчас расчленил этот сложный язык
и простой,
этот сложенный вдвое и втрое, на винт
теоремы
намотавшийся смысл, всей длиной, шириной,
высотой
этот встроенный в ум и утроенный ужас
системы.

Вот божественный знак — прогрессирует ад,
концентрический холод к тебе подступает
кругами.
Я смотрю на тебя — погибает взгляд
И кусает свой собственный хвост и в затылок
стучит сапогами.
И в пустых небесах небоскреб только небо
скребет.
так же, как волкодав никогда не задавит
пустынного волка,
и когда в это мясо и рубку (я слово забыл)
попадет твой хребет,
пропоет твоя глотка.

БАХЫТ КЕНЖЕЕВ

р. 1950, Москва

Москвич, названный К. Кузьминским «смесью чего-то очень восточного с чем-то очень восточным», а по собственным словам — «казах на треть». Учился в МГУ, довольно широко печатался в СССР — в «Юности» и т. д., — однако его начали печатать и на Западе, что «органам» не понравилось, тогда Кенжеев по семейным обстоятельствам уехал в Канаду, где живет и теперь, навещаясь и лично, и печатно на историческую родину. Первый сборник стихотворений, «Избранная лирика», вышел в 1984 году в Анн Арборе, США. Написал несколько романов. Горько и точно сказал о себе, что живет «в отечестве внутривенном».

* * *

Хорошо на открытии ВСХВ
духовое веселье.
Дирижабли висят в ледяной синеве,
и кружат карусели.
Осыпает салютом и ливнем наград
пастуха и свинарку.
Голубые глаза государства горят
беспокойно и ярко.
Дай-ка водочки выпьем — была не была!
А потом лимонаду.
На комбриге нарядная форма бела,
все готово к параду.
И какой натюрморт — угловой гастроном,
в позолоченной раме!
Замирай, зачарованный с крымским вином,
семгой, сельдью, сырами.
И божественным запахом пряной травы —
и топориком в темя —
чтобы выгрызло мозг из своей головы
комсомольское племя.

* * *

Жизнь людская всего лишь одна.
Я давно это понял, друзья,
И открытия делаю я,
Наблюдая за ней из окна.
Там прохожий под ветром дрожит,
И собака большая бежит,
После вьюги полночной с утра
Белым снегом сияет гора.

Даже в самом начале весны
Человеки бывают грустны,
И в отчаянье приходят они,
Если время проводят одни.
Я совсем не мелю языком —
Этот опыт мне очень знаком,
Чтобы весело жить, не болеть,
Очень важно его одолеть.

И, конечно, поэт Владислав
Ходасевич безумно неправ —
Только мусор, и ужас, и ад
Уловил за окном его взгляд.
И добавлю, что Хармс Даниил
Тоже скептик неправильный был —
Злые дети играли с говном
За его ленинградским окном.

Не горюй, если сердце болит!
Вон в коляске слепой инвалид — —
Если б был он без рук и без ног,
Далеко бы уехать не смог.
Но, имея коляску и пса,
Не снимает руки с колеса
И хорошие разные сны
Наблюдает заместо весны.

Умирает один и другой,
Человек без ноги и с ногой,
Но подумаю это едва —
Распухает моя голова.
И опять за огромным окном
Жизнь куда-то бежит с фонарем,
Жизнь куда-то спешит налегке
С фонарем и тюльпаном в руке...

АЛЕКСАНДР РАДАШКЕВИЧ

р. 1950

Поэт «потерянного поколения», точнее, поэт поколения, почти целиком эмигрировавшего. В СССР не печатался, с 1978 по 1984 год жил в США, позже обосновался в Париже. В 1986 году в нью-йоркском издательстве «Руссика» вышла первая поэтическая книга Радашкевича — «Шпалера». Автор играет самоцветным русским языком с наслаждением, и оно передается читателям.

ПОДВИГ ПУСТОСВЯТСТВА,
ИЛИ ГАВРЮША-СТАРЧИК

«...Как порешил с постели не вставать,
зачал предсказывать, так я за ним ходила —
семь годочков: и облачала, и раздевала,
и раза по три
на день, бывало, обтирала. Да.

Иные говорят,
что он-де вроде кучи был,
живая грязь на тряпочках
в угле-то; иные веруют: мол, подвиг есть
какой.

Ну он, известно, ел в постели
да руками — и щи, и кашку — да обтирал все
об себя; ну тут уж он и оправлялся... А то,
бывало, ручку замазает. Ты подойдешь, так
он тебя-то и перекрестит. Тут барыня
одна спросила про муженька сваго,

куда бежал.
Так он в нее помоями! А раз уж девица
пригожая
к нему нагнулась низко и о покраже — обдал
ей все
глаза вонючей нечистью. Подумай! Ему
и руки
лобызали и воду,

что пальцами он всю перемешал,
ту воду почитали пить за истинное
благо. Больных он пользовал: старухам
рвал платья вклучь, бил яблоком моченым
да слюньками обмазывал, а то и... Да.

А девок молодых вертел все на коленках,
пока не притомится. Ты чай-то что не пьешь?
Медку... Что говорил, то
трудно вразуметь. Сбылося, не сбылося — и
подавно. Вот скажет: «доски». Кто думает о
гробе, кто о заборе у хором, кто о... Ведь я
сама купецкая ведь дочь, ну не понять: темно.
Мудреный. Так со святыми век живи!

А помер —
не пробраться к нам было. Порастащили все
до последней

тряпки. На пятый день лишь хоронили, и то
все ругань: где? куда? что скоро?.. Матюша-
кувырок мне: «Гляди, народу тьмуцщцщца
ведь
тьма!» Дождище, грязь, а барышни, купчихи
все нороят под гроб-то проползти и бух! —
неси давай над ними... Страсть какая! Да.
Все трогают его, трясут и щепочки

от дна-то...
Несли на головах. Была и Машка-пьяница,
пророчица,
Устинья и Фекла Болящая; Кирюша-старчик,
что после по торговой части стал; второй

Кирюша и
Татьяна Босая, да, что ныне, бачат, мадама
в доме непотребном (тьфу!); потом

Данилушка-
на-Кровле и Кузька-бог, который свальный
грех...

(прости мя, Господи!) да кто... а-а! Мандрыга-
угадчик (тот истинно святой) — все поминали
до поздних петухов. А там, чем-свет, всю
насыпь
порасхватили по домам. Устроили пося

плиту
Гаврюше нашему — ту в месяц разломали
сердобольцы...

Теперь уж он юродствует, второй
Гаврюша. Так он почище, знамо... И водочку
берет

и кушает все с ложки, да вот лохань... Ну
страсть как много говорит: его о женихе,
о свахе,

а он тебе про неустройства всё в державах
заграничных.

Народ валит — нет мочи. Да. А ты почто
сама-то?..

Ты, девка, как очнется, не черемонься,
ни-ни-ни (уж
больно так серчает), а делай, не перечая, что
велит».

1820-е. Москва/10. III. 1983

ИРИНА ШАЛАЕВА

р. 1950, Москва

Автор двух поэтических сборников, часто выступает с пением под гитару. Редактировала многие книги стихов, поддерживая поэтов и не боясь делать им замечания.

ПИР

Дым столбом, пир горой —
бьет чума округу.
Пропивай дом родной —
все идет по кругу:

справа лазаря поют,
слева — подпевают,
посредине плюют,
сзади напирают —

те, кому поднесут
рюмку да объедки,

те, кому натрясут
ржавых яблок с ветки,

те, кому не суму —
горы злата прочат,
а на деле — тюрьму
да чуму пророчат.

Выходи — подпирай
столп плечом-спиной.
Разверзается рай
по-над головою.

ЕЛЕНА ШАПОВА

р. 1950

Бывшая жена Эдуарда Лимонова и эротическая героиня его скандального романа «Это я — Эдичка». Выехав на Запад, некоторое время работала манекенщицей, фотомоделью. Сейчас замужем за итальянским аристократом, живет в Риме. Автор тоже скандальной, но несколько менее, чем у Лимонова, автобиографии, в которой с поразительной откровенностью описывает свои сексуальные приключения, называя подлинные фамилии некоторых знаменитостей. Однако, несмотря на весь этот шлейф из скандалов, волочащийся за ней по всему миру, безусловно, одаренная поэтическая натура. Ее стихи ни на кого не похожи. Изданная без указания издательства в Нью-Йорке в 1985 году книга «Стихи» помимо таких заранее ожидаемых от Шаповой строчек, как «Уселась бабочка на влажный женский орган. Пьет бабочка душистый белый сок», содержит и серьезные грустные стихи с особенной неповторимой грацией. Вот одно из них.

ЗАПАХИ

Последнее время
худенький мальчик Веня
все время отгоняет запахи
которые преследуют его
начиная от дедовской папахи
что пропахла молью и потом
тенью убитых
мышами
шумом ветра
ржанием коня
медсестрой Ниной
что заманивала дедушку
в сырой блиндаж
и там поила спиртом
говорила красным ртом
в свою очередь опьяняя
запахом гимнастерки
цвета засохшей поляны в июле
там где пройти чуть дальше
и пахнет хвоей
там где цветет кашка
розовая мягкая нежная
как кожа ларисы
после бани парной

и голубоватых притираний
что живут и качаются
в стеклянных
пузатых
длинных флаконах
всевозможных форм и размеров
вот так в марте
его преследует запах лимонов
а в июле он ловит лимонницу
и сравнивает эти разные
кисловатые запахи
хитрая мать
которая всегда лжет
но ее выдает запах работы
тяжелый мужской запах
резкого тошнотворного одеколona
и еще одно дыхание оттуда
да он с отвращением и жадностью
нюхает ее белье в ванной
а потом плачет
и топает ногами с худыми коленками
коленки которых завернуты внутрь
и смех
простой смех бахвальства и лжи
искренности трусости
гнилья

перегара
ментола...

Лида большая толстая Лида
что ездила в Африку
Индию
Малайзию
и которая волочит шлейф затканый
орхидеями

слонами
обнаженными нищими
щекочущей проказой
публичными домами
душной ночью
москитами
воем гиены
трупом недоеденной лани
нет
никто не может представить
как ему плохо от запаха бензина
пота и раскаленного шлака
от кошмарного хирурга Алика
густые брови которого
поднимаются с восторгом
когда он рассказывает

какую опухоль вырезал в среду
и сколько гноя выкачали в пятницу...

Целый ящик апельсинов
понимаешь ли ты
что значит целый ящик апельсинов
а весь пол устлан сухим лавровым листом
а в ведре магнолии
лилии
и еще самые ядовитые цветы...
Нос!
Проклятый угристый нос
он учуял
учуял запах селедки и лука
но у нее такие огромные голубые глаза
и ресницы как мех
маленькой коричневой норки
но запах
запах
она слишком жадно слушает
и поэтому пухлый рот приоткрылся
уйди!
уйди!
я все это выдумал
и про папаху тоже-е-е!

ЕФИМ БЕРШИН

р. 1951

Серьезно, остро думающий и пишущий публицист, не оставляющий и музыки поэзии. Журнализм в его стихи не проникает.

АВТОПОРТРЕТ В САДУ (картон, уголь)

Уже дымит кирпичная труба,
уже соседи выехали с дачи,
И снова благосклонная судьба
кривляется и воет по-собачьи,
В моем саду цветет металлолом,
гуляет ветер, с сумерками споря,
и бьет калитка крашеным крылом
не в силах оторваться от забора.

ИРИНА ЗНАМЕНСКАЯ

р. 1951, Ленинград

Красивое, классицистическое дарование. Как недораздавленная милицейскими сапогами экзотическая змея, сбегавшая из зоопарка, выползла из-под руин ленинградского самиздата, стряхнула с себя пыль вместе со сброшенной кожей, и вдруг новая кожа ее стихов засветилась таким ослепительным золотом чешуек, что многие спохватились — как ее раньше не замечали. За последние годы превратилась из просто поэтессы в поэта. Выращенное еще до страданий профессиональное мастерство соединилось с пережитыми страданиями, и сразу получилось искусство.

* * *

Эстония. Частная дача.
Четыре оплаченных дня.
Никто ни о чем не судачит,
Поскольку не знают меня.

Черемуха разве встревожит —
Но это под вечер, во тьме...
А солнышко —
Кожей о кожу,

А сторож —
 Себе на уме.
 А лошадь живет в сараюшке,
 И можно потрогать ее.
 Журчат не по-русски старушки,
 Наследникам чинят белье.
 И море хватает за пятки,
 И ландыш озвучил траву...
 И надо бежать без оглядки
 Туда, где я плохо живу.

Да, я бывала молода:
 Меня на праздник запирали,
 И ключ с собою забирали,
 И уходили навсегда.

А в кухонном окне во двор
 Все было скучно, как на даче.
 Ребенок тихо-мирно плачет,
 И подпевает русский хор.

Я долго в дверь ногой стучала,
 Как кошка из окна скучала,
 Потом слезала по трубе
 И в тапочках брела к тебе.

А праздник был одет как надо,
 И посреди всего парада
 Другая шла по мостовой
 И умудрялась быть живой.

При всей своей роскошной плоти
 Она счастливою была,
 Пчелой беспечною в компоте
 Покачивалась и плыла.

«Мне самый лучший будет мужем,
 Я шью, танцую и пою!»
 И как подол, идя по лужам,
 Приподнимала тень свою.

Интересный тип — поэт Барашков:
 Не из тех, кто «призван», «окрылен»,
 Кто в свою заветную компашку
 Входит, как сомнамбула, с рублием...

Небольшой, как цельный гриб в соленье,
 Нос как нос — обычный. Рот как рот...
 Из того шального поколения —
 Из военных бешеных сирот.

Как он жил? А ехал. Ждал момента —
 Если за плечо ухватит «мент»:
 — Ты откуда? — Я, мол, из Ташкента! —
 Отвезут голубчика в Ташкент...

А потом сорвется на ночь глядя,
 Детской дурью радуясь: — Живу! —
 — ...Чей ты будешь? —

Я московский, дядя! —

И везут родимого в Москву.

Под вагоном ли, на крыше сидя...
 Мал, да, как положено, — удал!
 ...Говорит: — Ребята, я Россию
 Из собачьих ящиков видал...

Вслед эвакуированным птицам —
 По чумазым, неживым снегам...
 Возвращалась Родина к границам,
 Точно кровь к отнявшимся ногам.

НИНА ИСКРЕНКО

р. 1951, д. Петровская Саратовской обл.

Окончила физфак МГУ. Ее можно принимать или не принимать, но ее ни с кем не спутаешь. Да, у нее черный юмор, как у многих сегодня, но и черный он по-своему — со светиночками. Сюрреализм ее естествен, а не вымучен, как у многих авангардистов. Форма — своя, а не напрокатная.

ГИМН ПОЛИСТИЛИСТИКЕ

Полистилистика

это когда средневековый рыцарь
 в шортах
 штурмует винный отдел

гастронома № 13

по улице Декабристов
 и куртуазно ругаясь
 роняет на мраморный пол
 «Квантовую механику» Ландау

и Лифшица

Полистилистика

это когда одна часть платья

из голландского полотна
 соединяется с двумя частями
 из пластилина

а остальные части вообще отсутствуют
 или тащатся где-то в хвосте
 пока часы бьют и хрипят
 а мужики смотрят

Полистилистика

это когда все девушки красивы
 как буквы
 в армянском алфавите Месропа

Маштоца

а расколотое яблоко не более других
 планет

и детские ноты
стоят вверх ногами
как будто на небе легче дышать
и что-то все время жужжит и жужжит
над самым ухом.

Полистилистика

это звездная аэробика
наблюдаемая в заднюю дверцу
в разорванном рюкзаке
это закон
космического непостоянства
и простое пижонство
на букву икс

Полистилистика

это когда я хочу петь
а ты хочешь со мной спать
и оба мы хотим жить
вечно
Ведь как все устроено
если задуматься
Как все задумано
если устроится
Если не нравится
значит не пуговица
Если не крутится
зря не крути
Нет на земле неземного и мнимого
Нет пешехода как щепка румяного
Многие спят в телогрейках и менее
тысячи карт говорят о войне
Только любовь любопытная бабушка
бегает в гольфах и Федор Михалыч
Достоевский

и тот

не удержался бы и выпил рюмку
«кинзмараули» на здоровье
толстого семипалатинского мальчика
на скрипучем велосипеде.
В Ленинграде и Самаре 17—19
В Вавилоне полночь
На западном фронте без перемен

БИТЬ ИЛИ НЕ БИТЬ

Яйцо такое круглое снаружи
Яйцо такое круглое внутри

Яйцо такое зимнее снаружи
Яйцо такое летнее внутри

Яйцо такое первое снаружи
И в нем такая курица внутри

И три его косые вертикали
Как три подкладки в старом ридикюле
Как три нимфетки у фонтана
Сон-Микеле
Как кегли нынче здесь
а завтра
снова здесь

Дусь а Дусь
Отцепись
Сказано Не в свои сани не садись
Из чужого яйца не выкатывайся

Яйцо как саркофаг
или копилка
Прекрасное как абсолютный танк
Яйцо такое в клеточку как белка
и в нем такой космический инстинкт

Яйцо такое умное снаружи
Яйцо такое нежное внутри

Яйцо такое битое снаружи
и пенополиуретановое внутри

Яйцо такое пасмурное в профиль
все думает до самого утра

Яйцо такое кашляет спросонок
в потемках бродит и на курицу ворчит

Яйцо такое кооперативное на ощупь
все чем-то шуршит и подсчитывает

Яйцо не раз товарищей спасало
Яйцо мужало крепло и стреляло
будило нас на утренней заре

И так оно ужасно надоело
что я его подумала
и съела

И вот теперь опять не понимаю
снаружи я или внутри

В натуре я в эфире в фонаре
или в метро
у Курского вокзала
1987

* * *

Наркоманка Федя
выглядит прекрасно
давеча и присно
в ситцевых трусах
Красит абрикосом
лысину и стулья
и пасет корову
нежным голоском

Анашистка Шура
курит вполнакала
кошек не гуляет
взяток не берет
Пять кило картошки
стоят три с полтиной
Вот тебе и баня
Вот тебе и вот

Соберутся девки
сядут полюбовно
Изредка заплачут
Изредка всплакнут
То читают «Правду»

То гуся зарежут
То махнут в Одессу
Угонят самолет

1986

СВЕТЛАНА КЕКОВА

р. 1951, Сахалин

Филолог, специалист по раннему Заболоцкому. Преподает в Саратовском пединституте. «Кекова — поэтесса немодная, и это своевременно», — так писал о ней Гандлевский. Кежеев оценил ее еще выше: «будущая классика конца века».

СТРОЙКА

Пейзаж в духе Брейгеля

Запах пыли кирпичной, цемента, песка и щебенки,
экскаватор, как рак, но с оторванной правой клешней,
Вельзевул без хвоста и сатир козлоногий в дубленке
раздают приказанья, пока разбитные бабенки
прячут низ живота с размещенною там малышкой.

Аксолотль, головастик, хвостатый тритон и мышонок
разместились по-разному каждый в своем животе,
их родня копошится внутри волосатых мошонок,
а родятся на свет — и не нужно им шить распашонок:
расползутся по стройке, по теплой ее срамоте.

Что за стройка такая, где рушатся старые стены,
жгут огромные бревна, покрытые липкой смолой?
Словно раненый вепрь, ревет самосвал с авансены,
что на стройке опять подскочили на грешников цены,
а шофер перепуганный держит секач под полой.

Я надену тулуп и сапожки, подбитые мехом,
пусть морщины на коже сечет ледяная крупа, —
над моей головой, коронованной грецким орехом,
кувыркается еж, попугай заливается смехом
и хрустит обреченно костей черепных скорлупа.

Я на стройку пойду, задыхаясь от сладкого чада.
В просмоленных котлах остывает курящийся пар,
и бегут саламандры по легкому пламени ада,
а невольничий рынок извне окружает ограда —
там тела продают, ведь душа ненадежный товар.

Если каждый из нас заключен в ненадежную сферу,
кто в орехе томится, кто прячется в шаре с крестом,
кто глотает ежа, кто в объятиях держит химеру,
то и стук молотка мы старательно примем на веру,
чтоб хотя бы на миг очутиться в пространстве пустом.

ЕВГЕНИЙ КОЛЕСОВ

р. 1951, Кострома

В 1973 году окончил Московский институт иностранных языков, после чего два года жил и работал в Германии. Печатается с 1980-го. Известен как блестящий переводчик греческой поэзии и немецкой прозы. Пишет стихи по-русски и по-немецки. Немецкие стихи опубликованы практически все (Москва, Бухарест, Берлин), из русских до сих пор было напечатано всего четыре стихотворения.

ПОЗЕЛЕНЕВШАЯ МОНЕТА

Позеленевшая монета.
Пустые комнаты. Зима.
Неприлетевшая комета
И переметная сума.

Недорассказанная сказка,
дорога, дети, дом и дым;
полуприподнятая маска —
и ты под именем чужим.

1978

ГЕННАДИЙ КРАСНИКОВ

р. 1951, Новотроицк Оренбургской обл.

Окончил факультет журналистики Московского университета. Автор стихотворных сборников «Птичьих светофоры», «Пока вы любите...», «Крик», «Не убий!..», а также многочисленных статей по проблемам русской культуры. Строка Красникова «Мы не судьи с тобой. Мы — вина» предварила в 1981 году мое предисловие к его первой книге. Это предисловие я написал в стихах: «Вот книга первая поэта. Она не слишком приодета. В ней на коленях — пузыри, и локти светят изнутри. Но сквозь потертость, небогатость вдруг проступает виноватость, а среди всех богатств страны — величие понятой вины...» У Красникова есть драгоценный дар сопереживать чужой беде и бедности.

РЕМОНТ

Давай с тобой нагасим, мама, извести,
добавим синьки,
 стул — верхом на стол!
Останется тряпье на кухню вынести
да выстелить многотиражкой пол.
Да на балкон — от книжек и до валенок —
снесем вещички. Запахнем плащом.
И комната, как человек в предбаннике,
предстанет вдруг неловко нагишом...
И мне покажется, пока хлопочется,
отъезд мой скорый — он из небылиц!
И только знаешь ты, что одиночества —
не забелить ничем,
 не забелить...

* * *

И пока наша совесть больна
(слава Богу — не быть ей здоровой!) —
мы не судьи с тобой. Мы — вина.
Это — наше последнее слово.
За бутылкой вина дотемна
просидим, горячася бестолково...
Мы не судьи с тобой. Мы — вина.
Это наше последнее слово.
И войдут к нам из тьмы на порог —
век, друзья, в черной мантии ворон,
и продрогший добряга щенок —
с беспощадным своим приговором.
Мы не судьи с тобой. Мы — вина.
Слышишь, жизнь! Ты ответить готова?
Но уже не услышит она
это наше последнее слово...

ВЛАДИМИР ПОЛЕТАЕВ

1951—1970

Учился в Литературном институте, собирался стать переводчиком грузинских поэтов, также успел сделать несколько добротных переложений из Рильке и Богдана-Игоря Антонича. Пытался перевестись из Литературного института в МГУ, в чем ему было отказано. В приступе крайней депрессии покончил с собой.

* * *

Свобода, да, о вечная свобода,
свобода жить, свобода умирать.
И белый снег — какая благодать —
с январского повалит небосвода...

А там весна и грохот ледохода,
ручьям и рекам — русла выбирать...

Потом страда — спины не разгибать...
Ржи золото, деревьев позолота —
все позади. Уже ноябрь дохнул.

Пригорки листьев вместо листопада,
пустых кустов колючая ограда,
деревьев голых черный караул
и первый снег. Раскрытая тетрадь
белым-бела, как смертная рубаха...
Свобода жить. Свобода жить без страха.
Без страха жить. Без страха умирать.
1970

* * *

А у нас на Зубовском бульваре
рупора играют во дворах.

А у нас на Зубовском бульваре
дождь вразброд и окна нараспах.

Дождь вразброд и улица — вкосую,
светофор вкосую на углу.
Женщину поющую рисую
осторожно пальцем по стеклу...

Не наказывая, не прощая,
тихо наклоняется ко мне...
молодость моя или чужая —
женщина, поющая в окне.

1970

АЛЕКСАНДР АЛЕЙНИК

р. 1952, Горький

Родители — врачи. Из «бойлерного поколения» — из тех, кто не стал знаменитым политическим диссидентом, но был диссидентом стиля жизни. Перебивался случайными заработками: мебельщик-декоратор в театре, бойлерист ЖЭКа, инженер пожарной профилактики, таксист, редактор Мос-облкинопроката. В 1985-м закончил филфак Горьковского университета. В 1989-м эмигрировал в США. По его собственному ироническому определению, самая его устойчивая черта — социальная неприспособленность. А вот в стихах и сегодняшнюю жизнь России чувствует, словно никуда не уезжал.

* * *

Наташа Шарова целовалась у лифта,
не убирая рук с лифа.
Ее никогда, к сожаленью, не узнает страна.
И когда ее предадут могиле —
Господом будет посрамлен Сатана,
но не загудят по ней заводы и автомобили.

О ней никогда не будет поставлена пьеса,
в которую она выпархивает из леса,
намалеванного на широченном холсте,
прижимая к незапятнанной шейке лесной
букетик:
на ней не скоро женится перспективный медик,
конструктивно и пламенно заявляющий о ее
красоте.

Они не поплывут над сценой в скрипучей лодке,
у него не будет конкурента в пилотке,
отвалившего неизвестно куда,
но явно не возводить над болотами города.

Во втором акте не обнаружится ее
недальновидная мать,
и когда Наташа будет пластично-кротко
стирать
медицинский халат в оцинкованном корыте,
улыбаясь так, чтоб увидел зритель,
как она трогательна и как ранима,
даже когда ее пилит мамаша неутомимо,

не вышагнет из боковой кулисы отец, —
долбануть кулаком по столу и положить конец
недостойной сцене в предыдущей картине,

не вспомнит дедушку, подорвавшегося на mine
еще в 1915 том году
(и, видимо, отродясь моловшего ерунду),
не снимет кепку с прилизанных седин,
не вынет угретую на груди
(с боковой резьбой) многоугольную деталь,
за каковую в третьем акте получит медаль,
а уж по этому поводу не стащит с гвоздя гитару
и что-нибудь не сбцаает из патефонного
репертуару.

А Наташа не шепнет разомлевшему медику:
я — твоя!

Папаня не пересвищет на свадьбе соловья.
Его не обнимет друг-лекальщик Пахомыч,
прикипевший сердцем к этому дому.

Он не будет приговаривать за чаем «мы еще
повоюем».

Не обзовет медика в сердцах «ветродуем».
Не засверлит с папаней в полуночном цеху.
Не пожалуется медику на свербенье в боку
«особливо, ежели, скажем, дождь или сухо».
Отчего медик не приклонит красное ухо
к немодному, но выходному его пиджаку.

И никогда в развязке нашей волнительной
пьесы
не прогремит и не вдарит заупокойная месса,
при звуках которой, двигая стульями, встанет
на сцене народ,
и когда Пахомыча протащат сандалетами
вперед, —
не разведет руками потрясенный папаня,
не подаст ему накапанной валерьянки в стакане

Наташа Шарова, в оттопыренном на животе
 а потом, очень стройная, в очень домашнем
 халате,
 не склонится с медиком и папаней в приятном
 финале
 над плаксивой подушкой, которую втроем
 укачали.

СЕРГЕЙ ГАНДЛЕВСКИЙ

р. 1952, Москва

О собственной биографии, назвав ее «кинолентою шосткинского комбината», сыронизировал: «Отшучусь как-нибудь, как-нибудь отсижусь с Божьей помощью в придурковатых подпасах...» Брежневский Гулаг был теплым — бойлерным. Эпоха загоняла в котельные, в склады всех, от кого пахло даже не политическим диссидентством, а диссидентством поведения. «Что-нибудь о загубленной жизни — у меня невзыскательный вкус», — невесело «пошутил» о своей жизни Гандлевский, называвший себя «недобитком». В те годы невесел был даже частичный ханжеский полуреабилитанс: «И синий, с предисловьем Дымшица выходит томик Мандельштама». С прорвавшимся в литературу поколением «оттепели» расправиться было уже поздно. С бойлерным поколением расправлялись незамечанием, поняв, что процесс Бродского только сделал ему рекламу и в конце концов принес Нобелевскую премию. Бойлерщики оказались молодыми поэтами, только став немолодыми. Муза Гандлевского подытоживает опыт таких разных поэтов, как Евтушенко и Бродский, и опыт напарников по котельным. Поэт горький, но мягкий. Никогда не оскальзывается в сарказм, в издевку. Самым значительным из поэтов бойлерного поколения сам Гандлевский считает товарища по группе «Московское время» Цветкова. В этой «табели о рангах», на мой взгляд, одно из первых мест наряду с вышеназванными поэтами принадлежит О. Бешенковской.

* * *

Дай Бог памяти вспомнить работы мои,
 Дать отчет обстоятельный в очерке сжатом.
 Перво-наперво следует лагерь МЭИ,
 Я работал тогда пионерским вожатым.
 Там стояли два Ленина: бодрый старик
 И угрюмый бутуз серебристого цвета.
 По утрам раздавался воинственный крик
 «Будь готов», отражаясь от стен сельсовета.
 Было много других серебряных химер —
 Знаменосцы, горнисты, скульптура лосихи.
 У забора трудились живой пионер,
 Утоляя вручную любовь к поварихе.

Жизнерадостный труд мой расцвел колесом
 Обозрения с видом от Омска до Оша.
 Хватишь лишку и Симонову в унисон
 Знай бубнишь помаленьку: «Ты помнишь,
 Алеша?»

Гадом буду, в столичный театр загляну,
 Где примерно полгода за скромную плату
 Мы кадили актрисам, роняя слюну,
 И катали на фурке тяжелого Плятта.
 Верный лозунгу молодости «Будь готов»,
 Я готовился к зрелости неутомимо.
 Вот и стал я в неполные тридцать годов
 Очарованным странником с пачки «Памира».

На реке Иртыше говорила резня.
 На реке Сырдарье говорили о чуде.
 Подвозили, кормили, поили меня
 Окаянные ожесточенные люди.
 Научился я древней науке вранья,
 Разучился спросить о погоде без мата.

Мельтешит предо мной одиссея моя
 Кинолентою шосткинского комбината.

Ничего, ничего, ничего не боюсь,
 Разве только ленивых убийц в полумасках.
 Отшучусь как-нибудь, как-нибудь отсижусь
 С Божьей помощью в придурковатых
 подпасах.

В настоящее время я числюсь при Су-206
 под началом Н. В. Соткилава.
 Раз в три дня караульную службу несусь,
 Шельмоватый кавказец содержит ораву
 Очарованных странников. Форменный
 зоомузей посетителям на удивленье:
 Величанский, Сопровский, Гандлевский,
 Шаззо —
 Часовые строительного управления.
 Разговоры опасные, дождь проливной,
 Запрещенные книжки, окурки в жестянке.
 Стало быть, продолжается диспут ночной
 Черно книжников Кракова и Саламанки.

Здесь бы мне и осесть, да шалют тормоза.
 Ближе к лету уйду, и в минуту ухода
 Жизнь моя улыбнется, закроет глаза
 И откроет их медленно снова — свобода.
 Как впервые, когда рассчитался в МЭИ,
 Сдал казенное кладовщику дяде Васе,
 Уложил в чемодан причиндалы свои,
 Встал ни свет ни заря и пошел восвосяи.
 Дети спали. Физорг починал силомер.
 Повариха дремала в объятых завхоза.
 До свидания, лагерь. Прощай, пионер,
 Торопливо глотающий крупные слезы.

* * *

Устроиться на автобазу
 И петь про черный пистолет.
 К старухе матери ни разу

Не заглянуть за десять лет.
 Проездом из Газлей на Юге
 С канистры кислого вина
 Одной подруге из Калуги
 Наделать сдуру пацана.
 В рыгаловке рагу по средам,
 Горох с треской по четвергам.
 Божиться другу за обедом
 Впяять завгару по рогам.
 Преодолеть попутный гребень
 Тридцатилетия. Чем свет
 Вozить «налево» лес и щебень
 И петь про черный пистолет.
 А не обломится халтура —
 Уснуть щекою на руле,
 Спросонья вспоминая хмуро
 Нахаловку в Махачкале.

ЭЛЕГИЯ

Мне холодно. Прозрачная весна...
 О. Мандельштам

Апреля цирковая музыка —
 Трамваи, саксофон, вороны —

Накроет кладбище Миусское
 Запанибрата с похоронной.
 Был или нет я здесь по случаю,
 Рифмуя на живую нитку?
 И вот доселе сердце мучаю,
 Все пригодилось недобитку.
 И разом вспомнишь, как там дышится,
 Какая слышится там гамма.
 И синий с предисловьем Дымщица
 Выходит томик Мандельштама.
 Как раз и молодость кончается,
 Гербарный василек в тетради.
 Кто в США, кто в Коми мается,
 Как некогда сказал Саади.
 А ты живешь свою подробную,
 Теряешь совесть, ждешь трамвая
 И речи слушаешь надгробные,
 Шарф подбородком уминая.
 Когда задаром — тем и дорого —
 С экзальтированным протестом
 Трубит саксофонист из города
 Неаполя. Видать проездом.

ВЛАДИМИР САЛИМОН

р. 1952, Москва

Один из самых умеренных авангардистов, прибегающий скорее к мягкой иронии, чем к абсурдистско-сардоническому стилю. Редактор альманаха «Золотой век», щедро представляющего современную литературу.

ФАБРИКА-КУХНЯ

На фабрике-кухне в кромешном
 чаду, в непроглядном дыму
 под вечер от полчищ крысиных
 спасения нет никому.

Один лишь коренщик Денисов,
 надев нараспашку халат,
 кромсает морковь и редиску,
 киндзу, сельдерей и салат.

Капусту, картошку и свеклу,
 петрушку, чеснок и укроп
 кромсает коренщик Денисов,
 колпак нахлобучив на лоб.

Когда Волгоградским проспектом
 домой я спешу из кино,
 у здания фабрики-кухни
 всегда почему-то темно.

Зато у дверей гастронома
 в неоновом свете витрин
 нет-нет да и вспыхнет рубином
 затоптанный в снег мандарин.

* * *

Кто не теряет время даром,
 а кто, не ведая беды,
 буханку хлеба покупает,
 идя на Чистые Пруды.

Пока мы кормим жадных уток
 и ненасытных лебедей,
 ты ус грызешь под впечатленьем
 марксистско-ленинских идей.

Ты свято веришь в перестройку
 и только жмуришься, когда
 тебе, товарищ, звонкой струйкой
 течет за шиворот вода.

Когда какой-нибудь угрюмый,
 но процветающий завмаг
 тебе упрямо тычет в зубы
 селедкой пахнувший кулак,
 Ты улыбаешься завмагу
 и говоришь ему: — Старик,
 на всякой случай улыбаться
 я всякой сволочи привык!

ВЛАДИМИР ВИШНЕВСКИЙ

р. 1953, Москва

Один из известнейших и ядовитейших «пародистов действительности». Однако в ранних его стихах были и другие интонации помимо сегодняшнего язвительного сарказма, — увы! — становящегося слишком навязчивым.

* * *

Шаг собьет, остановит ли вдох,
На губах обесцветит ли слово, —
Всякий раз посещает врасплох
Вероятность иного.
Что могло бы — не превозмогло.

Что сбывалось, да случай не выпал.
Что себе или миру назло
Не сумел или просто не выбрал.
Но с течением горькой воды,

С убыванием света дневного
Отольется в себя, как во льды,
До зеркальной дойдет густоты
Невозможность иного.

И откроешь как тайну тщеты:
Где царил ты факиром на час,
Ну а где усмехалось в заботе
То, что делает выбор за нас,
Даже чаще за нас, а не против.

БОРИС ГРЕБЕНЩИКОВ

р. 1953

Один из немногих кумиров рока, которого можно назвать поэтом. Выпускник факультета прикладной математики ЛГУ, популярнейший лидер группы «Аквариум». С 1991 года завел собственную «Группу Бориса Гребенщикова». Свидетельство популярности Гребенщикова — то, что ему часто приписывают в народе тексты песен, отнюдь не им написанных. Но публикуемая — уж точно его. Стихи не особенно мастеровитые, но стихи.

ПОЕЗД В ОГНЕ

Полковник Васин приехал на фронт
Со своей молодой женой.
Полковник Васин созвал свой полк
И сказал им: «Пойдем домой».
Мы ведем войну уже семьдесят лет,
Нас учили, что жизнь — это бой,
Но по новым данным разведки
Мы воевали сами с собой.

Я видел генералов,
Они пьют и едят нашу смерть,
Их дети сходят с ума
От того, что им нечего больше хотеть.
А земля лежит в ржавчине,
Церкви смешали с золой.
И если мы хотим, чтобы было куда вернуться,
Время вернуться домой.

Этот поезд в огне,
И нам не на что больше жать.
Этот поезд в огне,

И нам некуда больше бежать.
Эта земля была нашей,
Пока мы не увязли в борьбе,
Она умрет, если будет ничьей.
Пора вернуть эту землю себе.

А кругом горят факелы,
Это сбор всех погибших частей.
И люди, стрелявшие в наших отцов,
Строят планы на наших детей.
Нас рожали под звуки маршей,
Нас пугали тюрьмой.
Но хватит ползать на брюхе —
Мы уже возвратились домой.

Этот поезд в огне,
И нам не на что больше жать.
Этот поезд в огне,
И нам некуда больше бежать.
Эта земля была нашей,
Пока мы не увязли в борьбе,
Она умрет, если будет ничьей.
Пора вернуть эту землю себе.

МАРИНА КУДИМОВА

р. 1953, Тамбов

Самобытный человеческий и литературный талант, сумевший прорваться даже во время брежневской стагнации. Лучшие стихи Кудимовой тем не менее ждали долгие годы в столе. Самое, пожалуй, сильное произведение Кудимовой — «Арысь-поле», где русский либерал после разгрома декабристов удаляется в свое имение и начинает жить с лошадыю, чтобы от их любви родился гибрид, символизирующий связь интеллигенции и народа. Однако сей русский подвид кентавра погибает, затравленный самим народом. Нечто кентаврье есть и в мощной поэзии Кудимовой, в которой тем не менее прорываются всплески крыл царевны-лебеди, скрытой под напускным богатством. После путча 1991 года стала «кентавром» нового союза писателей, заявив: «Мы здесь собрались не из ненависти к Бондареву, но и не из любви к Евтушенко». Составитель этой антологии глубоко страдал, но выжил.

* * *

Еще из почвы вылезая на треть,
Еще в чреде не сроков, а мгновений,
Я в детстве так боялась умереть,
Что избегала соприкосновений.
Упитанна, острижена под ноль,
Я размышляла в дебре огородной:
Тлетворно все, что причиняет боль,
И смертоносно все, что инородно.
На молоке ожегшись поутру,
Я бабушку за фартук теребила,
Чтобы спросить ее: «Я не умру?» —
Настолько мне небезразлично было.
«Не трогай», «не касайся», «положи» —
В мои сомненья вся семья включилась.
(В младенчестве я так боялась лжи,
Что говорить не сразу научилась)
Хватаюсь после за предмет любой,
Чтоб вырваться спорее из неволи,
От смерти я утаивала боль
И никогда не плакала от боли.
И не в одних домашних, но вокруг
Я полное сочувствие встречала:
Мой занятой, но закадычный друг,
Природа осязалась, как звучала:
Трава стрекалась, и огонь трещал,
Предупреждали шершни: покусает!
Мир страховал меня, а не стращал.
Тот целомудрен, кто непроницаем.

* * *

— Неужели вы это едите?
— С преобладающим аппетитом едим!
— Так бегите! Чего ж вы сидите?
— Да куда? Хорошо же сидим!
— Неужели вы носите это?
— Неужели нам это нейдет?
— Но должна быть какая-то мета...
— В смысле — «цель»?
Так вперед и вперед!
— Ну а как же углы, боковины?
— Там одна только рухлядь и грязь...
— А отмаяли хоть половину?
— С ветерком — будь на то наша власть...

* * *

Не знаю, как у чуждей и мерь,
А на святой Руси

Закон бытия троичен:

Не верь,
Не бойся
И не проси.

С первой заповедью не спешу
Я расквитаться, но
Уже не боюсь и не прошу
Никогда ни о чем давно.

И у свободы так мало прав,
Что и в епитрахиль
Въедается лагерный устав
И лагерная пыль.

Располагайся, грянувший хам,
И под себя гребни!
Но точен будь, ибо даже там
Не сказано: не люби!

И будешь сыт и пьян в соплю
Ты за свое фуфло.
И если я кого и люблю,
Так это тебе назло!

* * *

Матушка-загогулина,
Сколько же недогуляно!
Матушка-отчебучина,
Сколько недополучено!

Словом, тайком затверженным,
И языком отдаленным
Плачу, как по отверженным,
Я по твоим отъявленным.

Матушка-червоточина,
Сколько понаворочено!
Матушка-живоглотина...
Родина моя, Родина!

* * *

Никого человечней тебя, человек,
Не встречала под небом целинным.
Так в глазах и стоит жизнерадостный грек
С эротическим апельсином.
Тучный римлянин, к юноше тянущий длань.

Ражий скиф, скотоложец и пахарь,
Мещанин, на окошке растящий герань,
Половчанин, въезжающий в Тмутаракань,
Честный немец, тачающий прахорь.

То в погоне за славою, то за строкой,
Воскликая: «О Матерь-природа!»
То с дорожной клюкой, то с железной киркой
Так и вижу тебя, сумасброда.

Приручаешь особенно крупных зверей,
Копошишься в Божественном лоне...
Никого — симпатичней тебя и мудрей,
Безответней и одушевленной!

И кому ты на свете понятен, как мне!
И кому ты такой еще нужен!
В самодельной могиле, в бумажной тюрьме
Я люблю тебя! Будь моим мужем!

АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ

р. 1953, Москва

Лидер «Машины времени» — одной из первых музыкальных групп, сломавших академические каноны в конце 60-х годов. Помимо песенных текстов всегда писал и самостоятельные от музыки стихи. Выступал с песнями на баррикадах около «Белого дома» в августе 1991 года. Однако в последнее время у него проступают и горькие ноты разочарованности: «Не навести на глину глянца, и я давно уже готов всю жизнь играть себе на танцах в краю взбесившихся рабов...»

НЕГЛИНКА

На Неглинке — поминки.
В рыхлый лед вдоль Неглинки
Я шаги забиваю,
Я тебя забываю.
Шаг — чуть-чуть отрываюсь,
Шаг — почти улыбаюсь.
Шаг — монетка в копилку.
Шаг — цветок на могилку.
Потому, что чем дальше —
Тем труднее держаться,

Потому что так больше
Не должно продолжаться.
Я себя задуваю,
Я надеюсь на чудо.
Я тебя забываю
И никак не забуду.
То слова, то картинка,
То непрошенный запах...
Вниз да вверх по Неглинке,
словно пес на трех лапах.

.....

ЕЛЕНА МУРАВИНА

р. 1953

В 1976 году закончила факультет журналистики МГУ. Первые стихи были опубликованы в «Новом мире». В 1986 году вышла замуж за американца и уехала в США; живет в Лос-Анджелесе, работает адвокатом в крупной фирме.

ИЗ ПОЭМЫ «АНКЕТА»

Я лягу на траву, и землю обниму,
и муравья отправлю на свободу,
и посмотрю, как он не ищет броду,
прет напролом, житейскую заботу
творит свою, по силам и уму.
Когда сожмешь губами стебелек,
язык уколешь и признаешь горечь,
увидишь глину, камешек, песок,
рассмотришь каждый влажный лепесток,

кору кусок, прозрачный мотылек —
о, всякий норовит всучить урок!
Оближешь губы — горько. И не споришь.
Перевернешься. В небе облака.
Все, как положено. Раскрытая рука
поймает пух или пыльцу поймает.
Как объясниться с почвой, если ты
с другим составом крови и черты
твои тебя ей не уподобляют?

МИХАИЛ ПОЗДНЯЕВ

р. 1953, Москва

Сын литературного критика, многолетнего редактора «Литературной России» в те годы, когда название этой газеты еще не стало однозначным. Острый, злой, во многом блестящий публицист. Первый сборник стихотворений — «Белый тополь» (1984). Недооцененный поэт, обладающий редкостным даром: когда сама тема создает для себя ритм.

ВОСПОМИНАНИЕ О ПЯТИ ХЛЕБАХ

В. Ч.

Человек, у которого все позади,
с человеком,
у которого все впереди, на груди,—
он стоит среди булочной с выбитым чеком,
в конце очереди.
Посуди —

каково ему в эту минуту, когда
пред лицом продавщицы по имени Света
все алчбы и обиды его отступили куда-то
туда —
далеко-далеко, где когда еще надобно
будет предстать для ответа.

Это там все зачтется ему и вменится в вину —
человеку,
по счастью или несчастью, в нашем мире,
расчетливом и нелепом,
испытавшему все,
даже атомную, между прочим, войну,
чтобы нынче
пристроиться наконец
к этой очереди за хлебом.

Да, не хлебом единым... и все-таки, знаешь,
моя любовь,
я так часто нас вижу
не в бурных житейских волнах,
но в пустыне, среди тех пяти с лишним тысяч,
насытившихся от пяти хлебов,—
да и то, говорят, еще крошек осталось
двенадцать корзиночек полных.

Да, «дванадцать кошниц исполн избытки
укрух»... и когда
оно было, подумай! а все это брашно не тает.
Знать, воистину:
если уж сели за стол господ —
то и псам кое-что от трапезы их перепадает.
Так и вижу,
как черствые эти крохи над толпою плывут,
как будто круги
по воде расходятся, и, по цепочке передавая,
замыкаются на них пальцы то одной, то другой
руки...
а внизу, как на дне, виднеются
то граница великой империи, то кривая черта
оседлости,
то околица деревенская, то позиция передовая.

...Битый, тертый, пуганый, стреляный,
облученный —
кто отважится оправдать его или простить? —
се стоит человек в конце очереди, обреченный
так стоять до поры,
когда будет не страшно на землю
чадо свое опустить...

И коль вправду одна красота этот мир спасает
иль по крайней мере
способна еще спасти —
человек, у которого все впереди,
ничего не боясь, засыпает
на груди человека,
у которого все позади.

ГОСТЬ

Никогда ничего не рассказывал
о великой проклятой войне.
Все молчал, да мрачнел, да закусывал —
хоть со всеми, а все в стороне,—
припозднившийся, с краю посаженный
на какой-то доске, на весу,
на два стула концами положенной.
«Ничего,— бормотал,— не в лесу...»

Отчего — «не в лесу»? Объяснения
отыскать он и сам не умел:
заикался до посинения
и, как скатерть белел, немел...

Немота — это самое лучшее,
что он нажил, дожив до седин.

Впрочем, два незначительных случая
я со слов его помню.

Один:
в сорок втором, севернее Севастополя,
в середине июля, в адскую жару,
он приказал шоферу остановиться. Во поле —
лейтенант из смерша, расстегивающий кобуру,
пьяный и в разбитых очках,
два бойца, похожие на крестьян,
но с трехлинейками,
и пленный румын...
Он сразу понял, в чем дело.
Он был в звании капитана.
А румын был ранен в бедро.

И когда они шли к машине,
он не знал, чего больше бояться —

что румын потеряет сознание
или выстрела в спину...

Второй:

это — в сорок третьем, в ноябре,
когда наши брали Украину,
Киев — был уже освобожден,
он — уже был в званье лейтенанта,
и ему — опять-таки в степи
или в чистом поле — привелось
ночевать с людьми остановиться.

Был туман, и выдохшийся взвод
(ветра не было, а взвод шатало)
шел в тумане, как шагают вброд,
преодолевая лоно вод...

Так и спать легли — где ночь застала.

Ему пить хотелось. Он пробил
каблуком чистейший, белоснежный
лед на луже или омутке.
Лед был сход с яичной скорлупой —
так же бел и так же захрустел
под ногою. Он упал — и пил,
долго, долго, долго... и вспотел...
и уснул...

Едва лишь рассвело,
поднял взвод — и не было тумана.
Был мороз — и в десяти шагах:
лошадь, ухмылявшаяся странно,
фуры с кашею

и кашевар.
Суток семь его рвало. По счастью,
обошлось — он смог и пить, и есть.

Ну так что же это есть —
участие?
Соболезнованье или честь?
Знак отличия или безличие?
Светлый путь или судная весть?

Я не знаю. И это незнание
и его, и подобных ему,
и слепящее их сияние,
и зияющую их тьму
заслоняет стеной туманною
от меня и подобных мне...

Он, остывшую кашу манную
колупающий в стороне,
по причине болезни язвенной,
в День Победы, в чужом доме,
на войну еще финскую призванный,
он — все знает...

И потому
я — в отличие от кореша ушлого,
на стихах про войну преуспевшего,
ее хлопающего по плечу, —
ни о чем
из проклятого прошлого
не спрошу его.
Промолчу.

1986

СЕРГЕЙ САТИН

р. 1953, Днепропетровск

Выпустил пока что одну книгу стихотворений — «О птичках» (Москва, 1990). Относит себя к литературному направлению «сатинизма», в коем пока что является, видимо, единственным представителем.

ПОПЫТКА ГРАЖДАНСКОЙ ЛИРИКИ

Смола, как слеза, на поленьях;
вечерний загадочен свет.
Есть женщины в русских селеньях,
а в прочих селеньях их нет.

Зайдите в селенья Таити,
селенья ЮАР, Шри-Ланки,
в селенья Канады зайдите —
повсюду одни мужики.

Нет женщин в селеньях Флориды.
Нет женщин в селеньях Мали.
И даже в снегах Антарктиды
пока ни одной не нашли.

...Пылают пожары в Техасе,
но некому с криком: «Ахти!

Там Вася! Там пьяный мой Вася!» —
в горящую избу войти.

...Надрался ямщик из Гаскони —
а кони возьми и «ку-ку».
Кто? Кто остановит вас, кони,
в Гаскони на полном скаку?!

Трясут катаклизмы планету
под радостный вой воронья.
Нет женщин — вы слышите, НЕТУ! —
в селеньях угрюмых ея.

А мы тут, такие-сякие,
все ищем ответ на вопрос:
с чего, мол, на баб из России
такой потрясающий спрос?

АЛЕКСАНДР СОПРОВСКИЙ

1953—1990, Москва

Учился на филфаке и истфаке МГУ. Исключен за печатание в «тамиздате». Работал бойлерщиком, экспедиционным рабочим, церковным сторожем, подрабатывал репетиторством, стихотворными переводами. Один из основателей группы «Московское время», в которую входили Алексей Цветков, Сергей Гандлевский, Бахыт Кенжеев. Сопровский в 1981 году писал: «...отступает издавшее виды искусство в девятнадцатый век, как мятежный отброшенный полк». После трагической смерти сбитого машиной Сопровского, когда свобода слова начала выволакивать поэтов из бойлерных, она вдруг превратилась в свободу от Слова. Мятежный полк опять оказался отброшенным. На сей раз одной из самых страшных цензур — равнодушнем.

* * *

Б. Кенжееву

Записки из мертвого дома,
Где все до смешного знакомо,
Вот только смеяться грешно —
Из дома, где взрослые дети
Едва ли уже на столетье,
Как вены, вскрывают окно.

По-прежнему столпотвореньем
Заверчена с тем же терпеньем
Москва, громоздясь над страной.
В провинции вечером длинным
По-прежнему катится ливнем
Заливистый, полублатной.

Не зря меня стуком колесным —
Манящим, назойливым, косным —
Легко до смешного увлечь.
Милее домашние стены,
Когда под рукой — перемены,
И вчуже — отчетливой речью.

Небось нам и родина снится,
Когда за окном — граница,
И слезы струятся в тетрадь.
И пусть тебе снится, хвороба.
Люби ее, милый, до гроба:
На воле — вольней выбирать...

А мне из-под спуда и гнета
Все снится — лишь рев самолета,
Пространства земное родство.
И это, поверь, лицедейство —
Что будто бы некуда деться,
Сбежать от себя самого.

Да сам-то я кто? И на что нам
Концерты для лая со шмоном —
Наследникам воли земной?
До самой моей сердцевины
Сквозных акведуков руины,
И вересковые равнины,
И — родина, Боже ты мой...

1983

МАРК ФРЕЙДКИН

р. 1953

Поэт, прозаик, композитор, переводчик и еще много кто. В своем издательстве «Carte blanche» выпустил более десятка книг, в основном поэтических, как русских поэтов (О. Седакова, В. Лапин, В. Захаров), так и переводных (здесь впервые вышли по-русски поэтические сборники Эзры Паунда, Поля Клоделя, Георга Гейма, Хорхе Луиса Борхеса). Автор нашумевшей книги мемуаров «Записки еврея-грузчика». Живет в Москве и дальше Петербурга не ездит.

* * *

*Пройтись по Морской
с шатенками...*

И. Северянин

Весной проехать по Яузе
Вдоль набережных, мимо тюрем
И психбольниц, где в каждой паузе
Мы смотрим вбок и каламбури.

Где стекла вспыхивают бликами
Бесприкрытого юродства,
И ветер путается с липами
В садах речного пароходства.

С гражданской скорбью доморощенной
Глядит весна, смущаясь все,
Как над лефортовскою рощицей
Дымок подследственный танцует.

Как тонут в синеве пакгаузы,
Как шлюз листву швыряет за борт,
Как лента полустгнившей Яузы,
Петляя, тянется на запад.

День ярок. Воздух свеж. Куражится
Душа под юношеским гримом.
Мы не пьяны, но все нам кажется
Забавным и непоправимым.

АНДРЕЙ ЧЕРНОВ

р. 1953, Ленинград

Окончил Литинститут. Работает журналистом. Опубликовал стихотворный перевод «Слова о полку Игореве». Прямой потомок декабриста, как он сам себя аттестует.

В СКВЕРЕ

Вот лежит он из-за лишней крошки,
Неудачник. Сорванец. Плебей.
Вор подбитый. Серый воробей.
Перья врозь, — он ждет прихода кошки.

Форма воробья как раз такая,
Чтобы глубже лечь в моей горсти,
Клюв — чтобы потом сказать: «Пусти!»
Крылья — чтоб ударить, улетаю.

1974

ДЕТИ СКУШНЫХ ЛЕТ РОССИИ

Поэты, родившиеся после смерти Сталина

*Флаги подернулись трауром лент.
Умерли Сталин и Готвальд Клемент.
Дрогнули лица стальные.
Когда же умрут остальные?*

Лагерный фольклор

*Цветет в Тбилиси алыча
не для Лаврентий Палыча,
а для Климент Ефремыча
и Вячеслав Михалыча.*

Интеллектуальный фольклор

*Ах, как чудно цвела криптомерия
возле моря, на улице Берия.
А теперь? А теперь криптомерия
превосходно растет и без Берия.*

Студенческий фольклор. Есть догадка, что написано С. Чудаковым.
Читалось им в моем присутствии в МГУ на вечере поэзии на журфаке
в 1953 году

Мы — дети скушных лет России.

НИНА ИСКРЕНКО

*Костью в горле Екатеринбургга
поперхнулся распроклятый век.*

АРСЕНИЙ ЗАМОСТЬЯНОВ



ЮРИЙ АРАБОВ

р. 1954, Москва

Закончил сценарный факультет ВГИКа. Работал над фильмами вместе с Сокуровым и Добровольским. Фильмы «Спаси и сохрани», «Круг второй» получили международные премии. Печатает стихи с 1987 года. Первые книги «Автостоп» (1991) и «Простая». Сам себя называет «метареалистом». Арабов принадлежит к откровенным антиромантическим поэтам, на чьем знамени ирония, сарказм. Но порой кажется, что это все только самооборона внутренней беззащитности.

ИЗ ПОЭМЫ «ШКОЛА»

Однажды Леонид Карякин,
впоследствии рецидивист,
был уличен в утином кряке
в то время, как один артист,
когда скончалось полугодье,
читал нам Блока сквозь невроз,
что в белом венчике из роз,
и далее, и в том же роде...

Карякин крякнул, но не ртом,
а тем, что было много ниже,
но был изобличен потом
и педсоветом был унижен.
Артист же думал в тот момент,
что он сорвал аплодисмент.

* * *

(фрагмент)

Я не был никогда во Франции
и даже в Швеции (уж где бы!),
а был — в чудовищной прострации,
когда я вспомнил, где я не был.

Я не видал Наполеона,
но чтоб не вышел он повторно,
я видел в колбе эмбриона,
закрученного, как валторна.

Я не бывал к тому же в Греции,
где моих предков съел шакал,
и не читал, увы, Гельвеция
и Цицерона не читал.

Но я бывал однажды в Туле,
где задержаться не планировал

и где в музее видел улей
да зайца с ликом Ворошилова.

Но описать ее смогу ли...
И прочь тоску гоню, как флюс:
ведь парижанин не был в Туле.
Пускай завидует француз!

РЕПЛИКА В ДИСКУССИИ О СТАЛИНЕ

Мне Сталин надоел, как ямб картавый.
Добро бы в коммунизм брести оравой,
но только он на время отменен
Поэтому и входишь, как в оправу,
В любой пейзаж с единственным рублем.

Мне Сталин надоел, хоть я рожден,
когда он упустил страну из вида.
Зато моя морока и обида
немыслима любому палачу.
Я ем солянку в ресторане МИДа,
но чувствую, что Сталиным перчу.

Мне он осточертел, как в гастрономе,
где облетела рыба чешуя,
осточертела рыба пристипома,
когда я был совсем еще дитя...
Я клал ее, похожую на кокон,
в пустой мешок, тоскующий о шиле,
но чувствовал, что, соблазнив Востоком,
мне под шумок всучили Джугашвили.

«Но разве я не мерюсь пятилеткой?» —
спросил поэт, откушавши харчо.
Он шаг измерил, думал, что линейкой,
но это был фанерный дядя Джо.

Кто может, не прикинувшись скамейкой,
перенести такое существо?

Стой, гражданин!

В жару и в непогоду
кого шнуруешь, подтянув штаны?
Ты думаешь, ботинок «Скорохода»,
по мне сдастся, что отца страны.
И чтобы он не натянул мозоль,

купи же вату и аэрозоль.

Не верь латунным

тугим усам.

Бесполезно мыкаться

или биться.

Поскольку Сталин —

это ты сам.

И выход единственный — самоубийство.

АЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ

р. 1954

Стихи — из коллективного сборника «Граждане ночи». Стихи страшиноватенькие, но все-таки не страшные, — отречение от империи отменяет царей, но не поэтов.

ОТРЕЧЕНИЕ

На потолке качается старуха,
Ее душа висит на волоске.
Сушеные стихи читает муха,
И Салтычиха шуруется в чулке.

И плещется моча, и кони мчатся,
И Кампучия пучится рачком,
И сумчатые мальчики стучатся
В какой-то опечатанный райком.

А время устремляется на запад
По графику поносов и ветров,

И дочь моя кидается на запах
Урода по фамилии Петров...

И только я ступаю по паркету
В ученых исторических штанах
И делаю вонючую ракету,
Порхающими газами пропах.

Я улечу в заоблачные дали,
Высокого пуская петуха,
Ликуя и навеки покидая
Пучину первородного греха.

МАРИНА БОРОДИЦКАЯ

р. 1954, Москва

Известна как переводчик английской детской поэзии. Стихи — из «Дня поэзии» (Москва, 1989). Трогательные, грустно смешные стихи, а идея-то славная...

* * *

Я раздеваю солдата,
Спящего праведным сном.
Вот кобура уже снята
И гимнастерка с ремнем.

Я раздеваю солдата —
Как же еще поступать?
Легче ведь без автомата,
Да и без обуви спать.

Я раздеваю солдата
Прямо-таки до белья.
Знаю, скандалом чревата
Бесцеремонность моя.

Я поднимаю солдата,
Спать уношу без помех...
Боже, всего и труда-то!
Я их раздела бы всех.

ЕВГЕНИЙ БУНИМОВИЧ

р. 1954, Москва

«Новая московская поэзия вызывает у читателя чувство эстетического беспокойства, утраты ориентира. Раздаются жалобы на зашифрованность, переусложненность... Поэзия перестает быть зеркалом самовлюбленного «эго»... Поэзия структуры приходит на смену поэзии Я», — так пишет в «Дне поэзии», 1988, идеолог этой «новой старой волны», происходящей от обэриутов, от рассказов Зощенко, от Холина, Сапгира, некоторых сатирических песен Высоцкого, от концептуально-издательской живописи. Самозащита от брежневской стагнации неким стилизованным примитивным ерничеством стала стилем и продолжается уже в новых исторических условиях посреди ревущих демонстраций и национальных конфликтов. Евгений Бунимович один из неотъемлемых представителей этого направления, по характеру наиболее мягкий, не самонаслаждающийся негативизмом, но, похоже, развлекающийся им.

МОСКВА. ЛЕТО 86

В духовом шкафу играет духовой оркестр.
На скамейке подсудимых нет свободных мест.
Разве могут быть оркестры, кроме духовых?
Разве могут быть доходы, кроме трудовых?

На Петровке, на Лубянке крутят в основном
марш «Прощание славянки»
с торгом «гастроном»...
Разве может быть в Бутырках хеппинг
нон-стоп?
Разве может быть в бутылках кроме как сироп?

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

я не поэт
да и разве бывают живые поэты

я работаю в школе
преподаю математику
информатику
а также этику и психологию семейной жизни

при этом ежедневно возвращаюсь домой
к жене

как сказал романтически настроенный летчик
любят это не когда смотрят друг на друга
а когда двое смотрят в одну сторону

это про нас

вот уже десять лет мы с женой
смотрим в одну сторону

в телевизор

вот уже восемь лет туда же смотрит сын

я не поэт
да и разве не надежно мое
круглосуточное алиби
приведенное выше

цепь недоразумений и случайностей
изредка приводящая к появлению
в периодической печати

моих стихов
вынуждает к признанию

стихи я пишу ввиду безысходности
во время проведения контрольных работ

незвизая на все реформы
общеобразовательной школы
отдельные учащиеся продолжают списывать
дабы пресечь
я вынужден сидеть вытянув шею
бдительно расширив зрачки
и вперив немигающий взор в околосемное
пространство

таковая поза неизбежно приводит
к стихосложению

желающие могут провести следственный
эксперимент

стихотворения у меня короткие
ибо редкая контрольная работа длится
дольше 45 минут

я не поэт

может
этим и интересен

* * *

Русь! Ты не вся поцелуй на морозе.
Непрограммируем твой позитив.
Все мафиози и официози
вступят в кооператив.

Все, что сказали, но недосказали,
к завтраму договорят.
Группа цыган на Казанском вокзале
вводит бригадный подряд.

Больше не будет счастливых билетов —
всем проездные бесплатно дадут.
Больше не будет в России поэтов —
да и зачем они тут?

АНДРЕЙ ГОЛОВ

р. 1954, Москва

Окончил Государственные курсы иностранных языков, переводит научно-техническую литературу. Автор сборников стихотворений «Прикосновение» (1988), «Водосвятъе» (1990). Искушенная поэзия, но не надоевшая сама себе, а сладостно вкушающая звуки. Это наслаждение передается и читателю.

ЗАБЕЛИН

Забелин. Зяблик зыбкой старины
Сидит на свитке, сны храня от сглаза.
Пустые щи легенд забелены
Беловиком монаршего указа.
Седой монашек распростерся ниц
Пред Иверской с нездешними очами
И череда царевен и цариц
Торит сафьяновыми сапожками
Тропинку в том невиданном саду,
Где на свинцовом золоченом скате
Жасмины обнимают резеду
И льнут левкой к Золотой палате,
А горлицы садятся напрямик
На ерихонке царской, на плече ли,

И к куполам на Троицкий Семик
Взлетают тяжко Софьины качели.
А богомольцы с Соловков пришли
В двойных лучах Савватьевского чуда,
И первые Петровы корабли
К усладе мамок чертят чашу пруда.
Пещное действо к сводам тянет дым,
Гранат растет из виршей Симеона,
И против шерсти гладит Третий Рим
Двух византийских львов, что спят у трона.
Но этот слишком благостно возлег
На горностаев у порога славы,
А тот подставил солнцу левый бог
И отдал зубы за штыки Полтавы.

АЛЕКСЕЙ ПАРЩИКОВ

р. 1954, пос. Ольга Приморского края

Один из вождей авангарда, обладающий бесспорным мужеством сознательного отчуждения от читателя. По его мнению, даже такой поэт, как Еременко, академичен. Парщиков считает развитие авангардного постмодернизма в русском стихе одним из доказательств назревшей в обществе жажды демократии. А в интервью с Джоном Хаем, составителем и переводчиком американской антологии русского авангарда «Пять пальцев», обронил следующее остроумное высказывание: «Официальная литература не принадлежит ни к авангарду, ни к академии, она принадлежит Союзу писателей». Но Парщиков принадлежит к тому авангарду, который сегодня сам становится академией и почти официальной литературой. В кабинетах бывшего Союза писателей уже сидят на зарплате вчерашние его ниспровергатели.

КОТЫ

По заводу, где делают левомецетин,
бродят коты.

Один, словно топляк, обросший ракушками,
коряв,
другой — длинный, с вытянутым языком —
пожарный багор.
А третий — исполинский, как штиль
в Персидском заливе.

Ходят по фармозаводу
и слизывают таблетки
между чумой и холерой,
гриппом и оспой,
виясь между смертями.

Они огибают все, цари потворства,
и только околевая, обретают скелет.

Вот крючится черный, копает землю,
чудится ему, что он в ней зарыт.

А белый — наркотиками изнуренный,
перистый, словно ковыль,
сердечко в султанах.

Коты догадываются, что видят рай,
и становятся его опорными точками,
как если бы они натягивали брезент,
собираясь отряхивать яблоню.

Поймавшие рай.

И они пойдут равномерно,
как механики рядом с крылом самолета,
объятые силой исчезновения.
И выпустят рай из лап.
И выйдут диктаторы им навстречу.

И сокрушат котов сапогами.
 Нерон в битве с котом.
 Аттила в битве с котом.

Корея в битве с котом.
 Котов в битве с котом.
 Кот в битве с котом.

Иван Четвертый в битве с котом.
 Лаврентий в битве с котом.

И ничто каратэ кота в сравнении со статуями диктаторов.

ИРИНА РАТУШИНСКАЯ

р. 1954, Одесса

В 1982 году была арестована и годом позже приговорена к семи годам лагерей за распространение антисоветской пропаганды в стихотворной форме. В США в 1984 году вышла ее первая книга «Стихи» (с предисловием И. Бродского). В октябре 1986 года была освобождена по письму президента Пенклуба США Нормана Майлера, переданного составителем этой антологии М. Горбачеву, и уехала на Запад. Сейчас живет в Лондоне, порой в Чикаго, а печатается везде — в Москве прежде всего.

* * *

Отчего снега голубые?
 Наша кровь на тебе, Россия!
 Белой ризой — на сброд и сор,
 Нашей честью — на твой позор
 Опадаем — светлейший прах.
 Что ж, тепло ль тебе в матерях?

1981

АНДРЕЙ ЧЕРКИЗОВ

р. 1954, Москва

Талантливый прозаик и эссеист. Особенно ему удалось эссе о покойном критике В. Барласе. Во время путча 1991 года прославился своими репортажами для радиостанции «Эхо Москвы».

* * *

Ты — изначален,
 ангел мой,
 ты — недопущенность свободы;
 вороний слышится разбой
 у врат пригашенной природы.
 Ты изначален,
 ангел мой,

и в снах сожительствоуешь с теми,
 кто предусмотрел все потери
 и предан был тобой.
 Ты — изначален,
 ангел мой,
 кричишь во сне и бьешь, ревнуя:
 природа, дань свою почуя,
 берет тобой.
 Ты — изначален, ангел мой.

МИХАИЛ ШЕЛЕХОВ

р. 1954, д. Плотники Брестской обл.

Неровный, неприбранный, многословный, но с необузданным поэтическим темпераментом, которому иногда можно позавидовать.

ПОТОМОК РЕВОЛЬВЕРА

— Ты проживаешь в веке золотом! —
 Мне говорит какой-то заместитель.
 И циники кричат со всех сторон,
 Чтоб жизнь поставил на предохранитель.

А я иду на взводе боевом,
 Я выстрелить готов в подонков первым!

А я живу, как гончая, бегом —
 Недаром я — потомок револьвера.

Шесть пуль моих до истины дойдут.
 Прости мне эти кроткие молитвы...
 И снова гильзы порохом набьют
 Для новой философии и битвы.

Когда повсюду грошевой обман
И правит похоронная команда,
Железный револьверный барабан —
Последнее прибежище таланта.

И пусть до воскресения дойдет
Не музыка или стихов тетрадка,
А сердце, окровавленное влет,
Простреленная черная десятка!

И жизнь мою, железный револьвер,
Пусть возьмут достойнейшие руки
И на иной обычай и манер
Отгрохают свои мечты и звуки!

Пройдет соратник, синеглазый черт,
По мокрому отчаянному снегу,
Прислушиваясь в слякоти погод
К военному пороховому эху.

И бешенствуя в горестном краю,
Отстреливаясь от всемирной корчи,

Он тихо вступит в музыку мою,
Которую я выкричал среди ночи!

И ужаснется страстности моей,
Которая рвала лицо металла...
Я задыхался на земле людей,
А воздуха — лишь пороху хватало!

Когда ему не выжить одному
И жизнь свою, как револьвер, уронит,
Я помогу упавшему ему
На страшном безымянном перегоне!

Я оживу, как двести лет назад, —
В той музыке стрельбы и совершенства!
И пули запоют — и замолчат,
Как будто есть в молчании блаженство.

Но помните! Обманчива мечта.
И тишина таит уловки зверя.
И мир не тот, и музыка не та...
Недаром я — потомок револьвера.

ТАТЬЯНА ЩЕРБИНА

р. 1954

Филолог по образованию; в 1989 году принимала участие в Роттердамском поэтическом фестивале, после этого много работала на радио «Свобода», но живет в Москве. Стиль Щербины — беспредельное расширение поэтического словаря за счет любой лексики, от научных терминов до всех уровней жаргона.

О ПРЕДЕЛАХ

Цикады, мой Рамзес, поют цикады.
Цикуты мне, Сократ, отлей цикуты.
В ЦК, не обратишься ли в ЦК ты?
Нет, брат мой разум, я, душа, не буду.

Постройки, мой кумир, смотри, постройки,
мы разве насекомые, чтоб в ульях
кидаться на незанятые койки
и тряпочки развешивать на стульях?

Открой ее, Колумб, отверзь скорее:
вести земную жизнь упред потомок.
Куда податься бедному еврею,
куда направить этот наш обломок?

Приятель мой, мутант неотверделый,
безумный мой собрат неукротимый!
У рвоты и поноса есть пределы,
и вот они. Да вот они, родимый.

ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВА

р. 1955, Москва

Дочь поэта-фронтовика А. Николаева. Училась в Литературном институте, печататься стала уже в 1972 году; первый поэтический сборник — «На корабле зимы» (1986). Прекрасно работает в поэтическом верлибре и прозе. Из угловатого, неловкого бутона первых стихов мощно распускается ее все расцветающий талант.

ПРОЩАНИЕ С ИМПЕРИЕЙ

И
Разувая глаза и не видя ни лыжника,
ни конькобежца,
ни над прорубью — рыбаля,
ни румяной бабы,
ни Жучки с собачьим смехом,

принимается сетовать и жалуется
от первого фонаря,
перебирая косточки под вытертым
рыбьим мехом.
И, завидя скопление жестикулирующих,
сутулящихся фигур
у каждого перекрестка и полустанка,

ЕВГЕНИЙ ЧЕКАНОВ

р. 1955, Кемерово

Ничего не знаю об этом поэте. Но попавшиеся в антологии молодых его восемь строк покорили меня, напомнили, что когда-то именно краткость звали сестрой таланта.

ХЛЕБ ПРАВДЫ

Ложь отступила мировая
 На шаг иль на два. И опять,
 По зернам правду выдавая,
 Нам предлагает ликовать.
 Но мы хотим иной победы —
 Чтобы взошел из-под земли
 Тот хлеб, который наши деды
 С собой в могилу унесли...

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ

р. 1956, Харьков

Под этим псевдонимом выступает Сергей Горошко, живущий в Харькове, но печатающийся почти исключительно в Москве, чаще как переводчик зарубежной классики XX века — Пессоа, Паунд. В поэзии явно остается в традициях Серебряного века, дополненных изящным обэриутским юмором абсурда.

ОТ — И ДО

От варяга — до опричника,
 От святого — до язычника.
 От единого — до розного,
 И от Мудрого — до Грозного.

От блаженного Василия —
 До босяцкого насилия,
 От высот — до дна до самого,
 От Яфетова — до Хамова...

А от чистого — да в сторону,
 А от голубя — да к ворону:
 Гонит рок лихую братию
 От пророчества — к проклятию.

Как от грабелек — до сабельки, —
 Так от морюшка — до капельки:

От растерзанного барина —
 До симбирского татарина,

От царевы — до Емелино,
 От дозволено — до велено;
 От убранства — до убожества,
 От любви — до скотоложества,

От позора — до побоища,
 От побоища — до гноища...
 В саду ягода смородина!
 От и до вкусила Родина:

От свободного парения —
 До свободного падения.

1990

СЕРГЕЙ БЕЗЛЮДСКИЙ

р. 1956

Тенор, был солистом в тульской филармонии. Стал одним из арбатских поэтов, наезжая из Оренбурга, где живет.

* * *

(фрагмент)

Этот мир, как корявый ствол
 Заслоняет мою звезду.
 С ним я счетов еще не свел,
 И не знаю, когда сведу.

Только знаю — он мой должник,
 И простить ему — свыше сил,
 Потому что он мой цветник
 Как простую траву скосил.

1986

АЛЕКСАНДР ВУЛЫХ

р. 1956

Живет в Москве, занимается журналистикой и довольно широко печатается. Легко, естественно выдыханные стихи.

* * *

На душе, как на вокзале,
Где не ждешь, не провожаешь...
Словно денег перезанял:
Для кого — и сам не знаешь.

Может, и билет купил бы
Да уехал смеха ради,
Но молчит в душе копилка:
Не разбить и не истратить.

На душе, как на вокзале.
Не спеши, не проворонишь.
Не встречаешь из Казани,
Не проводишь на Воронеж...

Но стоишь на Каланчевке
И не знаешь, что случилось.
А в душе по мелочевке
Накопилось, накопилось...

КАРЕН ДЖАНГИРОВ

р. 1956

Уроженец Нагорного Карабаха, живет в Москве и пишет по-русски — только верлибром, первую книгу «Модуль Я» выпустил в 1990 году; составитель трех основных антологий русских верлибристов — «Белый квадрат» (1988), «Время Икс» (1989), «Антология русского верлибра» (1991).

* * *

Толпа — это «за».
Человек — это «против».
Ты против толпы,
ты за человека —
ты есть Толпа.

ВЕРОНИКА ДОЛИНА

р. 1956, Москва

Пожалуй, самая московская и едва ли не самая популярная среди — как бы образовать слово? — женщин-бардов. Ее поэзия неразрывно связана с гитарой.

* * *

Нет, советские сумасшедшие не похожи на остальных!
Пусть в учебники не вошедшие — сумасшедшее всех иных...

Так кошмарно они начитаны, так отталкивающе грустны —
Беззащитные подзащитные безнадежной своей страны.

Да, советские сумасшедшие не похожи на остальных.
Все грядущее, все прошедшее — оседает в глазах у них.

В гардеробе непереборчивы, всюду принятые втычки,
Разговорчивые, несговорчивые, недоверчивые дички...

Что ж «советские сумасшедшие», ежли болтика нет внутри?
Нет, советские сумасшедшие не такие, черт побери.

Им Высоцкий поет на облаке... Им Цветаева дарит свет...
В их почти человеческом облике — ничего такого страшного нет.

ТИМУР КИБИРОВ

р. 1956

Самозащита от прошлого иронией. Осмеяние на всякий случай прошлого, чтобы оно, не дай Бог, не стало настоящим или будущим. Это — лучшее, что есть в Кибирове. Но порой это переходит в презрение к настоящему и, боюсь, в презрение к жизни. Кибиров — своеобразный, но несколько застрявший в собственном ерничестве пародист действительности, преувеличенный и другими, и сам собой. Это преувеличение себя порой происходит и через преуменьшение других — такова была издевательская анкета Кибирова к столетию Маяковского. «Политработники» и «курортницы» не есть особый изыск стиля — это просто-напросто плохая рифма. Пародия превращается в самопародию. Пародисты действительности — это целое направление в постбрежневской поэзии. Исторически это можно понять. Цинизм общества породил цинизм по отношению к обществу. Но во времена жестокой цензуры такое издевательское пересмешничество было протестом. Сейчас, продолжающееся и в бесцензурье, оно походит уже на пустоватое, безопасное зубоскальство. Может быть, я слишком жесток? Но, когда я читаю поэта, мне хочется знать не только что он презирает, но и что он любит. Если, конечно, способен на это... Так я написал о Кибирове до того, как прочел его «Русскую песню» в гранках так и не вышедшего второго выпуска альманаха «Зеркала». И вдруг мне показалось, что я нашел ключик к поэзии Кибирова. Этот ключик — его мучительность, с которой он, казалось бы, насмехается надо всем святым — в том числе и над Родиной. Может быть, такая мучительность — страдальческий вид любви?

РУССКАЯ ПЕСНЯ

Эпиграф

Нелепо ли, братья? — Конечно!
Еще как нелепо, мой свет!
Нет слаще тебя и крошечней,
тебя несуразнее нет!

Твои это песни блатные
сливаются с музыкой сфер,
Россия, Россия, Россия,
Российская СФСР!

И льется под сводом Осанна,
и Шухер в подъезде шмыгнул...
Женой Александр Александрыч
назвал тебя. Ну сказанул!

Тут Фрейду вмешаться бы в пору,
тут бром прописать бы ему!
Получше нашла ухажера,
Россия, и лишь одному

верна наша родная мама,
нам всем Джугашвили отец!
Эдипова комплекса драму
пора доиграть наконец...

А мне пятый пункт не позволит
и сыном назваться твоим.
Нацменская вольная воля!
Развейся, Отечества дым!

Не ты ль мою душу мотала?
Не я ль твою душу мотал?
В трамвае жидом обзывала,
в казарме тюрьмою назвал!

И все ж — от Москвы до окраин —
шагал я, кругом виноват,

и слышал, очки протирая,
великий, могучий твой мат!

И побоку злость и обида,
ведь в этой великой стране
хорошая девочка Лида
дала после танцев и мне!

Ведь вправду страны я не знаю,
где так было б вольно писать,
где слово, в потемках сгорая,
способно еще убивать!..

О Господи, как это просто,
как стыдно тебе угодить,
наколки, и гной, и коросту
лазурью и золотом покрыть!

Хоругви, кресты да шеломы,
да очи твои в пол-лица!
Для этой картинки искомой
ищи побойчее певца!

Позируй Илье Глазунову,
Белову рассказ закажи!
И слушай с улыбкой фартовой,
на нарах казенных лежи!

Пусть ласковый Сахар Медович,
Буй-тур Стоеросов пускай,
трепещущий пусть Рабинович
поют, что не нужен им рай —

дай Русь им! Про это не знаю.
Но, слыша твой оклик — «Айда!»,
манатки свои собираю,
с тобой на этап выходя.

И русский — не русский, не знаю,
но я буду здесь умирать.

Поэтому этому краю
имею я право сказать:

Мессия, стихия... Какие
еще тебе рифмы найти?
В парижских кафе — ностальгия,
в тайге — дистрофия почти,

и, Боже ж ты мой, литургия,
и Дева Мария, и вдруг —
петлицы блестят голубые,
сулят, ухмыляясь, каюк!

Ведь с четырехтомником Даля
в тебе не понять ни хрена!
Ты вправду и ленью, и сталью,
и сталью, и ленью полна!

Ты собственных можешь Платонов,
Ньютонов родить и гноить,
и кровью залитые троны
умеешь ты кровью багрить!

Умеешь последний целковый
отдать, и отнять, и пропить!
И правнуков внука Багрова
в волне черноморской топить!

Ты можешь плясать до упаду,
стихи сочинять до зари
и тут же, из той же тетради,
ты вырвешь листок, и смотри —

ты пишешь донос на соседа,
скандалишь с помойным ведром,
французов катаешь в ракете,
кемаришь в вечернем метро,

дерешься саперной лопаткой,
строптивых эстонцев коришь
и душу, ушедшую в пятки,
высокой духовностью мнишь!

Дотла раскулачена — плачешь,
расхристана — красишь яйцо,
на стройках и трассах ишачишь,
чтоб справиться к зиме пальтецо!

Пусть блохи английские пляшут,
нам их подковать недосуг —
в субботу мы черную пашем,
отбившись от собственных рук!

Последний кабак у заставы,
последний пятак в кулаке,
последний глоток на халяву,
и Ленин последний в башке.

С тоской отвернувшись от петель,
сам Пушкин прикрыл тебе срам,
но что же нам все же ответить
презрительным клеветникам?

Вот этого только не надо,
не надо бубнить про татар,
про немцев-баронов, про НАТО,
про жидомасонский кагал!

Смешно ведь!.. Из Афганистана
вернулись. И времени нет.
Когда ж ты дрожать перестанешь
от крика «На стол партбилет!»?

Когда же, когда же, Россия?!
Вернее всего, никогда...
И падают слезы пустые
без смысла, стыда и следа.

И как наплевать бы, послать бы,
скипнуть бы в Европу свою...
Но лучше сыграем мы свадьбу,
но лучше я снова спою!

Ведь в городе Глупове детство
и юность прошли, и теперь
мне тополь достался в наследство,
асфальт, черепица, фланель,

и фантик от «Раковой шейки»,
и страшный поход в Мавзолей,
снежинки на рыжей цигейке,
герань у хозяйки моей,

и шарик от старой кровати,
и Блок, и Васек Трубачев,
крахмальная тещина скатерть,
убитый тобой Башлачев!

Досталась Борисова Лена
и песня про Ванинский порт,
мешочек от обуви сменной,
антоновка, шпанка, апорт,

закат озаривший каптерку,
за Шильковым синяя даль,
защитна твоя гимнастерка
и темно-вишневая шаль,

и версты твои полосаты,
жена Хаз-Булата в крови,
и зэки твои, и солдаты,
начальнички злые твои!

Поэтому я продолжаю
надеяться — черти на что,
любить черт те что, подыхая,
и верить, и веровать в то,

НАТАЛЬЯ ХАТКИНА

р. 1956, Челябинск

Работала учительницей, библиотекарем. Первая книга вышла в Донецке. Гонко чувствует слово и тех, о ком пишет. Насколько можно догадаться — это стихотворение о поэте, которого, вместо того чтобы возненавидеть за его нечаянно жестокое прикосновение к своей душе, его сестра по поэзии почти по-матерински пожалела.

* * *

Мне кажется, что я тебя прочла.
Как время — разделило нас пространство.
Тебе нельзя ко мне — из невозвратных
странствий.
И мне к тебе — никак — из моего угла.

И кажется, что ты не жил, что в книжке
тебя нашла. И там ты был — поэт,
хромой галчонок, скрипочка под мышкой.
И сам ты — бред, и речи твои — бред.

А если ты и жил — то лишь
в давнопрошедшем.
А если ты и жил — меж нами ряд могил.
Блажной, блажененький, блаженный,
сумасшедший.
Острил, рыдал и черный хлеб делил.

А если я живу — то только этим, бывшим...
Шагнул, не обернувшись, в самолет,
как будто бы нырнул обратно в книжку
и за собой захлопнул переплет.

ОЛЕГ ХЛЕБНИКОВ

р. 1956, Ижевск

Ученик Бориса Слуцкого, он перенял у него суховатую, прозаизированную манеру, лишённую сентиментальности. Над такими стихами не плачут, но могут задуматься. В первых стихах он написал невеселый реалистический портрет провинциального уральского города — Ижевска, где он жил. Как заведующий отделом поэзии журнала «Огонек» немало сделал для поэзии в первые три года гласности, в том числе и для «огоньковского» варианта этой антологии. Сейчас — один из редакторов элитарного журнала «Русская виза». Лучшие его произведения — поэма «Кубик Рубика» и недавнее «Персиянкистан».

* * *

Егор родил Валерьяна.
Валерьян родил Никиту.
Никита родил меня.
А все, что до Егора,
бурьяном шито-крыто —
ни имени, ни пня.

Как будто тот, родивший
Егора, был Иваном,
непомнящим родства...
Тишайшая водица
мой предок безымянный —
нижайшая трава.

А может, не Иваном —
Лукой, Матвеем, Марком
он звался — угадай:
все заросло бурьяном,
райсадом, луна-парком —
и парк, и сад, и рай...

Как мог он беззаветно
купаться в той купели,

чтобы остаться не
в веках, а только в ветре,
в бурьяне, в карусели,
в Никите да во мне!..

Никиту все запомнят —
я сам не дам Никите
в безвестности пропасть.
Меня за то запомнят,
что я не дам Никите
в безвестности пропасть.

Запомнят Валерьяна,
что он родил Никиту,
и вспомнится Егор...
Ах, кем бы без обману
и мне не быть забыту,
все остальное — вздор.

КОММУНАЛКА

Никите

Никто меня не убивал,
не втискивал мой овал
в пятый угол страны —
что же вы мне должны?

Спрашивается, почему,
всё, о чем промычу,
скромным предам словам,
скармливаю вам.

На родине недород?
Нечего сладко есть?..
И дело мое — не мед,
О ненасущном весть.

Не закрывайте вежд,
наставники-учителя!
Опасливых ваших надежд
не оправдаю я.

Пусть до бессильных седин
мой вид утешает вас:
вот и еще один
ни душу, ни мир не спас.

Старуха в комнате жила
и сына моего пугала.
И умерла, когда смогла,
но так еще страшнее стала.

Уже и девять дней прошло —
ночами заявлялась к сыну:
смотрела в темное стекло,
сдвигала плотную гардину,

роняла чашки со стола
и в глотку молодой соседке
вцеплялась... Вот и побыла
хозяйкой в коммунальной клетке.

И всё. Забилась, как в нору,
в колодец мирового духа...
Не бойся, сын: и я умру.
Как эта страшная старуха.

ВЛАДИМИР ДРУК

р. 1957, Москва

Представитель группы «московской новой поэзии». Работает в стилизованном «китче», происходящем прямо из обэриутской поэтики. Некоторые его вполне взрослые стихи детьми могут читаться как детские.

КОММУНАЛЬНЫЙ КРАКОВЯК

Спит животное Паук...

Н. Заболоцкий

Коммуналка. Тук-тук-тук.
По стене ползет паук.
У него шестнадцать ног,
Но он очень одинок.

Он свисает с потолка
И валяет дурака.
Я валяюсь на диване
И смотрю на паука.

Двери хлопают в квартире.
Их у нас семьсот четыре.
Кто-то входит и выходит.
Ничего не происходит.

Коммуналка. Тук-тук-тук.
От меня уполз паук.
С точки зренья паука —
Я свисаю с потолка.

1987

А я не глуп!

Летом я ношу сандалии.
А зимой ношу тулуп.

Кто же скажет, что я глуп?

Я ношу сандалии летом,
Восхищен поэтом-фетом,
И грозу в начале мая
Всей душой воспринимаю.
А зимой ношу тулуп.

Я не глуп!

Знаю правила движенья
И таблицу умноженья.

Я не глуп, не глуп, не глуп!

Просто вкручен от рожденья
В мою голову шуруп.

ЛАПШЕРОН

Я обижен.
Я в печали.
Все считают, что я глуп.

лапша
сами с лапшами они к нам с душой
а мы к ним — с лапшой

надоедает лезть, т. к. кульбит,
когда сползаю со стены, смешит
кота Сократика, т. к. его мираж
сиамский по квартире верещит.

На сон грядущий книжицу Басё
открыл, прочел, но «осень халясё»
не стало. Каталог февральских снов
навяливает мне ни то ни се,
вдобавок нужно тысячу слонов
(такой рецепт снотворного не нов)
пересчитать. Вот, собственно, и все,
что не касается первооснов.

Мне тесен сон мой, и на два мала
размера жизнь. За что ее игла
меня зашила в духоту души,
которая не то чтобы юла,
но медленно сама в своей глуши
вращается? А я карандаши
точку зубами или, добела
бумагу раскалив, строчу стихи:
«Я изумлен: нет правды на земле,—
тот, в бакенбардах, замкнутый в нуле
небытия, бил в точку. Мир хорош,
а правды нет. К невыбритой скуле
прижмешь кулак, щетину поскребешь...»

ЕВГЕНИЙ КАМИНСКИЙ

р. 1957, Колпино Ленинградской обл.

Когда поэзия пытается острить, чаще всего это не от хорошей жизни. Каминский тоже пытается, и у него это получается плохо. Но вот стихи часто выходят грустными и хорошими.

* * *

Там, где фикус раскинул объятия,
обреченный на кадку, и где
разве муха парит без понятия
о хорошей и вкусной еде,

где чудес в решете не бывает,
а из заводи мутной борща
то говядины мощь выплывает,
то безвестной скотины моща,

где квартальным вам планом и встречным
то кондитер грозит, то мясник,
все казалось, что буду я вечным,
как солянка, сосиски и шпиг.

Там я жил на полтинник, тем паче
рук не мыв, в сапогах и пальто,
ибо был гуманизм на раздаче
и любовь, несмотря ни на что!

Там я мог не свирепо и в мыле,
а с куском пирога не спеша,

ибо там, как ни странно, и жили
наши ласточка, тучка, душа...

Я любил себя в этой эпохе,
жил в ней, как за надежной стеной.
Может, люди и были в ней плохи,
но никак не судак заливной!

До свидания, фикус бессмертный,
до свидания, в клетке щегол,
до свидания, век беззаветный,
потому что ты тщетен и гол.

И в пивной с загулявшим матросом
разливанное море, и сон,
и двужильная Клава с подносом
на двенадцать могучих персон.

До свидания, запахи-духи,
клочья пены пивной в бороде...
Но особенно — честные мухи
на хорошей и вкусной еде.

ОЛЬГА КОЛЬЦОВА

р. 1957, Москва

Много лет проработала издательским редактором, публиковала только переводы из западноевропейской поэзии. Лишь когда закончилась не только «стройка», но даже и перестройка, ее довольно сложная лирика стала мелькать на печатных страницах.

«КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ»

Выпито много, и призрак Мореллы
снова катает свои жемчуга.
Розы обуглены, пни обгорелы,
и безысходностью дышат снега.

Пусто в душе от ночных бормотаний;
утра туманного облик седой;
нет, не эмалевы тени латаний,
словно вино обернулось водой.

Впрочем, отведай и этого зелья —
вспомни негромкость осенних озер.
Что же ты просишь чумного веселья,
если Вожатый раскинул шатер.

Если вздымается белая стая,
если от камня — отходят криги, —

мальчика с дудочкой песня простая;
Боже, прости меня и помоги.

С лирой тяжелой пойду по дорогам, —
дай мне в трамвай заблудившийся сесть.
Жить в этом мире, больном и убогом, —
Боже, какая нам выпала честь!

1992

МИХАИЛ ПОПОВ

р. 1957, Харьков

Еще один из «молодых поэтов», которых собрал под единую обложку огромный сборник, вышедший в «Советском писателе» в 1989 году, ничего об авторах не сообщив. Пожалуй, еще никто не называл Ленинград «пьедесталом», на котором неудобно.

ПРОГУЛКА ПО ЛЕНИНГРАДУ

Какой-то скрипичный чертеж
скрыт в замысле этой ограды,
и ты его быстро прочтешь
при помощи палки, и рады
воробышки, севшие вдоль
ограды, им лапки щекочет
едва ощутимый бемоль,
но в воздух поднять их не хочет.
Вот камнем заставленный сад,
не слышны ни шелест, ни гомон
листвы; листья тихо гремят
так, словно бы воздух подкован.

Здесь к камню привитый металл
три века уже плодоносит,
как будто их вместе сплетал
Мичурин, а вовсе не Росси.
Здесь медный и мраморный бунт
от скульпторов и от их пыток,
коней разбежался табун
и замер, воздевши копыта.
Я здесь очень быстро устал
я все изучил здесь подробно:
не город, а пьедестал,
и где б ты ни встал — неудобно.

АЛЕКСЕЙ ПРОКОПЬЕВ

р. 1957, Чебоксары

Уроженец Чувашии, живущий в Москве и пишущий по-русски. Издал пока единственную книгу — «Ночной сторож» (1991). По образованию — искусствовед. Известен также как переводчик и исследователь русского и поволжского фольклора.

* * *

Кругом бело. Всем ясно видно всех.
И только звезд сквозной серьезный смех,
неслыханный. Но я не понаслышке
о нем твержу и лед крошу, в сердцах —
в самом себе, за совесть и за страх,
без отдыха, без сна, без передышки.

Неслышанно приходит время жить.
Нечаянно, негаданно, нежданно
надтреснет лед, и от предсердья нить
морозной веткой голубеет, Анна.
Свет милосердья — тихо, бездыханно.

Тогда я слышу смех. Кругом бело.
Я лед крошу. Весь город замело.
Тем явственнее сторож видит утром
окрест земли пылающий оркестр
и на регистрах сыгранный реестр
неявных жизней в крахе поминутном.

Но мало, мало. Среди прочих всех
морозной веткой голубиный мех
растет, клубится, розовеет, тает.
Света. Что же, не сердись опять
на боль родства, на дорожную пядь.
А жизнь идет. И жизни не хватает.

ЗОЛОТАЯ ОРДА

Воют волки по городу Киеву,
А в Москве погорельцев обвал.
Снова вижу я банду Батыеву —
Тетивою натянут оскал.

Лошадиными их перекличками
Век за веком в огне голосит.
Золотая Орда электричками
По России со свистом летит.

Все сметут! Ничего не оставят!
В кровь точеные губы сгрызут.
Даже Словом себя не прославят.
Даже смертью себя не спасут.

ПРЕДМЕСТЬЕ

За старой цистерной, шестью кустами,
За голубыми крестами звезд
Ночь растянула перед глазами
Предместье, тесное, как погост.

Стынут терраски, сады кемарят,
Ветер — и тот проглотил язык.
Только в сарае Иван да Марья
Ставят кастрюлю под змеевик.

Тут бы и жить! Да настанет утро,
Тучи, натянутые до бровей,
Тихо сползут на ключицы — и мудро
Переключаешь рычаг скоростей.

Мимо продмага (читай: хибары),
Мимо компоста (читай: дерьма),
Мимо Эльвиры (читай: Тамары),
Мимо надежды (читай: ума).

Лечится в бане завклуб Степаныч,
Мечется в клубе индеец Джо,
А на плакате Обман Обманыч
Господу пальцем грозит: ужо!

Вот и околица: дом в три пальца,
С полом целуется потолок,
Дремлет бабуля — а с кем трепаться?
Радио нету, а кот убег.

Белой сиренью забор прополот,
Калитка расшатана, словно зуб.
Уже не деревня. Еще не город.
Уже не ребенок. Еще не труп.

Господи Боже, прости, что всеу
Имя Твое поминаю — и,
Словно чужие, живописую
Слезы свои.

* * *

Когда б и я, как те,
иные, в самом деле
уехал за кордон,
а не читал в постели,
пока поет Кобзон,
и белые метели
в порочной чистоте
бушуют на листе;

так вот, когда бы я,
трепещущий, как «Знамя»
(не тряпка, а журнал,
которого статьями
подъят девятый вал),
скитался бы краями
чужими, и моя
душа, огонь лия...

Короче говоря,
поскольку дело к ночи,
с тоской а ля Назон,
с виденьем Санта Кроче,
обняв глагол времен,
я закрываю очи.
Здесь красная заря
и время октября.

А вы прожить могли б
вне родины и веры,
с тоски не умереть
(тому свежи примеры),
и не убиться, ведь
не в моде «Англетеры»?
(Так Бродский не погиб,
усвоив опыт рыб.)

И мы слышали звон
по имени крамола,
но мы не к рубежу
пришли, а, как монголы,
привыкли к падежу
скота или глагола,
и превратили стон
в подобье рок-н-ролла.

* * *

Поэт умирает некстати,
Нагой, как опившийся Ной...
Ни Господа нет у кровати,
Ни дьявола нет за спиной.

Он бредит, как в детстве, и кто бы
Случайно ни был при конце,
Уже не увидит ни злобы,
Ни счастья на желтом лице.

Поэт! Ты считался богатым
 Но, словно разбойник на храм,
 Все отдал ты рифмам проклятым,
 Хромым и горбатым стихам.

Какую броню не напялишь —
 Ты выжат строкой, как лимон.
 Нас мало. Нас, может быть, я лишь.
 Да Коркия. Да Салимон.

ИРИНА МАШИНСКАЯ

р. 1958, Москва

Родилась в Москве. Закончила географический факультет МГУ. Сменила несколько занятий, в том числе вела детскую литературную студию в Доме пионеров на Пресне. Эмигрировала в США в начале 90-х. Последние пять лет в России — в поселке Ершово под Звенигородом. Первые два с половиной года в Америке — в Нью-Джерси, на окраине Нью-Йорка.

* * *

Не сумев на чужом — не умею сказать на родном
 Эти брызги в окно, эта музыка вся об одном
 Я ныряю, хоть знаю, что там ничего не растет —
 разве дождь просочится,
 да поезд внезапный пройдет

Разве дождик пройдет по карнизам, как в фильме немой
 по музейному миру, где вещи лежат по одной
 Потому что, сказать не сумев, мы уже не сумеем молчать
 Солнце речи родимой зайдет — мы подкидыша станем качать

АЛЕКСАНДР МАКАРОВ

р. 1959, Тюмень

Окончил Московский институт культуры. Работает в библиотеке. Участник антологии верлибристов «Время Икс». Явно не лишенный тонкости ума человек, причем тонкости доброй, а не злой.

* * *

двадцать лет
 я приручал муравья

однажды он заметил:
 а ты
 уже делаешь успехи

ВЛАДИМИР МАЛЬЦЕВ

р. 1959, Тюмень

Выпускник филологического факультета МГУ, житель подмосковного города Подольска. Судя по публикациям — даже не столько верлибрист, сколько сторонник сверхминиатюрной японско-русской поэзии, которую внедрила в русское читательское сознание переводчица великого Басё Вера Маркова.

* * *

Ударил по воде
 рукой
 и потерял лицо

ВИКТОР ПЕЛЕНЯГРЭ

р. 1959

Один из представителей направления, именующего себя «куртуазным маньеризмом». Нет сомнения, что этому направлению, считающему себя прочно вошедшим в историю русской литературы и рассматривающему своего лидера не иначе как кумира толпы, суждена такая же слава и память в сердцах читающих, как биокосмизму, лучизму и фуизму. От собственно «куртуазных» стихов Пеленягрэ хочется дремать, отложив книжку в сторону. А немногие серьезные его стихи покоряют простой и сдержанной силой. Приводимые стихи взяты из его книги «Любовные трофеи» (Москва, 1993).

КЛАССИЧЕСКОЕ

Этот город я знал наизусть:
На холмах цепенели церквушки,
Вдоль дороги брели побирушки,
А у въезда грозились мне пушки,—
Я сюда никогда не вернусь.

Черта с два я слезами зальюсь!
Где вы, девицы, ласточки, душки?
Смолкли громкие наши пирушки,
Но пером от случайной подушки
Я с тобою за все разотчусь.

ВИКТОР САНЧУК

р. 1959

Журналист, политический деятель и поэт, печататься стал лишь в 1990-е годы, и в России, и на Западе. Первую книгу — «Дорога домой» — издал в Москве в 1991 году. Изрядную часть стихов из той же книги два года спустя перепечатал журнал «Знамя». Классный поэт, у которого как будто никогда не было ученических стихов.

О ГЕНЕРАЛЕ ПЕПЕЛЯЕВЕ

Море Охотское, наконец растаяв,
из себя являет как бы свинец или сталь.
Генерал-лейтенант А. Н. Пепеляев
бинокль наставляет и смотрит вдаль.

И конец зиме, а все одно не видно
прогала, и снега белей вода.
Генерал-лейтенанту слегка обидно,
потому что война проиграна навсегда.

Красноватым — из-за Камчатки солнце —
выплывает флагом, что рыбий глаз.
И между пальцев сопок снуют японцы,
плоскодонный налаживая баркас.

И как братики, сопки русоволосы.
Но рассыпался стяг, что из боя — в бой:
сзади красные, спереди — море белесое,
только синее небо над головой.

Ну и правильно, может. Знать, небу надо.
В летний снег канет глупый якутский марш.
Лишь взвоется утром штандарт микадо,
и ночь будет звездной, как знамя САСШ.

А того, что плескалось среди трезвонов,
нет. Тевтон шрапнелями погромсал.
То ли сразу, когда погорел Самсонов,
то ли, когда Брусилов в прорыв бросал,—

или может, когда оставляли Галич...
О былом полагает, припомнить тщась,

генерал-лейтенант Анатолий Николаич,
за восемь лет прошедший шестую часть.

И теперь на краю, в этот полдень летний,
глянув на север ли, на восток ль,
генерал Пепеляев — из всех последний
видит белое, серое и опускает бинокль.

Но постойте, оставьте! На дно каньона
вас не брошу,— вернусь к вам —

и сам покаян.

Да и что мне, с матерью их японы,
или янки — простые будто Аян.

И когда здесь ринется лето — выжечь
жаром севера тело коротких трав,
и когда в сердце речек рванется кижуч,
весь подобием сплавленных бревен став,

и из года в год — положите благом
видеть тридцать дурацкий девятый год
и еще пятьдесят, чтоб под белым флагом
на Москву пройти в победный поход.

Это я вас зову к золотой победе.
Я лелеял вас, словно цветка росток,
разгребал в могилах энциклопедий,
вспоминал сквозь давний Дальний Восток.

Нынче властью мне данной — чутьем поэта,
вас, кто в жизни не выжил,
кто канул за кант.

И кто сопок главнее. Прошу за это,
выпейте стопку, генерал-лейтенант.

Потому как и вы календарей шире
жили, а чтили — один Престол.

И черно-красный враг наш —
Каландаришвили —
нехай тоже садится за этот стол.

1986, 1989

АЛЕКСАНДР БАРАШ

р. 1960, Москва

В 1985—1989 годах вместе с Николаем Байтовым редактировал альманах «Эпсилон-салон». В Израиле с 1989-го.

* * *

В продуктивном, когда ни зайдешь,
рафинад есть, горчица и крупы,
и мясник в глубине точит нож
над каким-то реликтовым крупом,
отвернусь, пощажу свои нервы
и возьму для проформы консервы.

Только в винном всегда есть товар,
там всегда атмосфера премьеры,
наводнение и легкий пожар.
И какие-то красные кхмеры —
клика хилых, но злобных людей —
не сдаются милиционеру
в рукопашном бою у дверей.

1985

ВСТРЕЧА

Он — глядел на нее как библиофил,
который запомнил название тома,
который заиграл у него знакомый,
которого он когда-то любил.

Она — смотрела на него, как сестра,
которая будет верна другому,
который переспал с ее подружкой вчера,
которой она же и дала ключи от дома.

Все они вместе составят квадрат
из треугольников, загнанных в угол,
который окажется порочным кругом,
в котором друг на друга уже не глядят!

АЛЕКСАНДР БАШЛАЧЕВ

1960, Череповец — 1988

Окончив Уральский университет, переехал в Ленинград, где стал завоевывать славу своими песнями, музыкальная основа которых лежала в ритме рока. Однако его сочинения оказались не просто «текстами», положенными на музыку, но сильными, самородно талантливыми стихами, в которых были и поэтические удачи, и судьба, и все, что присуще истинному поэту, — волшебство соединяемых слов и пронзительное чувство трагического. Есть люди, одаренные ограниченно. Талант Башлачева не был ограничен ничем — он мог бы повернуться совсем неожиданными гранями. Не случилось. Трагическая смерть унесла от нас совсем еще молодого поэта, который мог сделать еще многое.

ГРИБОЕДОВСКИЙ ВАЛЬС

В отдаленном совхозе «Победа»
Был потрепанный старенький «ЗИЛ».
А при нем был Степан Грибоедов.
И на «ЗИЛе» он воду возил.

Он справлялся с работой отлично.
Был по обыкновению пьян.
Словом, был человеком обычным
Водовоз Грибоедов Степан.

После бани он бегал на танцы.
Так и щупал бы баб до сих пор.
Но случился в деревне с сеансом
Выдающийся гипнотизер.

На заплеванной маленькой сцене
Он буквально творил чудеса.
Мужики выражали сомненье.
И тарасили бабы глаза.

Он над темным народом смеялся.
И тогда, чтоб проверить обман,
Из последнего ряда поднялся
Водовоз Грибоедов Степан.

Он спокойно вошел на эстраду,
И мгновенно он был поражен
Гипнотическим опытным взглядом,
Словно финским точеным ножом.

И поплыли знакомые лица...
И приснился невиданный сон —
Видит он небо Аустерлица,
Он не Степка, а Наполеон!

Он увидел свои эскадроны.
Он услышал раскаты стрельбы
И заметил чужие знамена
В окуляре подзорной трубы.

Но он легко оценил положение
И движением властной руки
Дал приказ о начале сраженья
И направил в атаку полки.

Опаленный горячим азартом,
Он лупил в полковой барабан.
Был неистовым он Бонапартом.
Водовоз Грибоедов Степан.

Пели ядра и в пламени битвы
Доставалось своим и врагам.
Он плевался словами молитвы
Незнакомым французским богам.

Вот и все. Бой окончен. Победа.
Враг повержен. Гвардейцы, шабаш!
Покачнулся Степан Грибоедов,
И слетела минутная блажь.

На заплеванной сцене райклуба
ОН стоял, как стоял до сих пор.
А над ним скалил желтые зубы
Выдающийся гипнотизер.

Он домой возвращался под вечер.
И глушил самогон до утра.
Всюду чудился запах картечи
И повсюду кричали «Ура».

Спохватились о нем только в среду.
Дверь сломали и в хату вошли.
А на них водовоз Грибоедов,
Улыбаясь, глядел из петли.

ОН смотрел голубыми глазами.
Треуголка упала из рук.
И на нем был залитый слезами
Императорский серый сюртук.

НЕКОМУ БЕРЕЗУ ЗАЛОМАТИ

Уберите медные трубы!
Натяните струны стальные!
А не то сломаете зубы
Об широты наши смурные.

Искры самых искренних песен
Полетят как пепел на плесень.
Вы все между ложкой и ложью,
А мы все между волком и вошью.

Время на другой параллели
Сквозняками рвется сквозь щели.
Ледяные черные дыры
Ставни параллельного мира.

Через пень колоду сдавали
Да окно решеткой крестили.
Вы для нас подковы ковали,
Мы большую цену платили.

Вы снимали с дерева стружку,
Мы пускали корни по-новой,
Вы швыряли медную полушку
Мимо нашей шапки терновой.

А наши беды вам и не снились.
Наши думы вам не икнулись.
Вы б наверняка подавились,
Мы же — ничего, облизнулись.

Лишь печаль-тоска облаками
Над седой лесною страной.
Города цветут синяками
Да деревья — сыпью чумною.

Кругом — бездорожья траншеи.
Что, к реке торопимся, братцы?
Стопудовый камень на шее.
Рановато, парни, купаться!

Хороша студена водица,
Да глубокий омут таится.
Не напиться нам, не умыться.
Не продрать колтун на ресницах.

Вот тебе обратно тропинка,
И петляй в родную землянку.
А крестины там иль поминки —
Все одно там пьянка-гулянка.

Если забредет кто нездешний,
Поразится живности бедной.
Нашей редкой силе сердешной
Да дури нашей, злой-заповедной.

Выкатим кадушку капусты.
Выпечем ватрушку без теста.
Что, снаружи все еще пусто?
А внутри по-прежнему тесно...

Вот тебе медовая брага —
Ягодка-злодейка отравы.
Вот тебе, приятель, и Прага,
Вот тебе, дружок, и Варшава.

Вот и посмеемся простуженно,
А об чем смеяться — неважно.
Если по утрам очень скучно,
То по вечерам очень страшно...

МИХАИЛ ЛАПТЕВ

р. 1960

Закончил в Москве интернат с китайским и английским языками, был отчислен с последнего курса истфака МГУ, потом работал завхозом, грузчиком, курьером, наконец, оказался на инвалидности. Основатель литературно-художественной средиземноморской группы литераторов — «Полуостров», ибо Крым — давняя и главная любовь Лаптева.

Я расстрелял под Карфагеном Мандельштама,
я экзаменовал Платона в МГУ
по поводу постройки БАМа.
О Господи, я больше не могу!

Разъят на водород и кислород
июньский ливень. Расхватали машинисты
по семь, по восемь жен крупнозернистых,
и без жены остался лишь урод.

Всего и делать, что совать пятак
в глухую щель спесивца турникета,

и наслаждаться электронным летом,
и слушать исключительно «Маяк».

Двуличен мед тяжелых пчел.
И век расколотый ушел,
Так и не выдав свою суть
Стрелой, нацеленной мне в грудь.
Цветет картонная сирень,
Мальчишески прохладен день.
И гений вышел на простор,
Сжимая каменный топор.

ВАДИМ СТЕПАНЦОВ

р. 1960, Тула

Учился в Литинституте. И первое же его стихотворение «Металлистка», напечатанное в «Новом мире», привлекло внимание любителей поэзии. Как голос «племени младого незнакомого». В нем была уже совсем новая жесткая действительность, написанная с такой же юношеской жесткостью. Впоследствии, когда с этим «племенем» читатели познакомились поближе, оно оказалось совсем не таким, как выглядело вначале. Степанцов неожиданно спрыгнул с действительности, как с поезда, и поселился в вычурном воображенном павильоне «куртуазного маньеризма», чьим Великим Магистром он сам себя объявил. Среди маньеристов есть некоторые талантливые поэты, в частности Быков, кажется, снова все-таки вскарабкавшийся на подножку жизни.

МЕТАЛЛИСТКА

На металлической тусовке,
где были дансинг и буфет,
ты мне явилась в буйном соке
своих одиннадцати лет.

Твой хайр¹ был платиново-белым,
а губы красными, как мак,
железом курточка блестела,
и медью отливал башмак.

Цедя какую-то фруктозу,
я про себя воскликнул: «Ах!
Ты металлическая роза,
бутон в заклепках и шипах!»

Как бритвой с лезвием опасным,
ты взглядом врезалась в меня.
И я вдруг брякнул: «Ты прекрасна,
и я влюблен в тебя ужасно,
но, бэби, мне не очень ясно,
зачем тебе твоя броня?»
И распахнулся рот багровый,
и голос твой проскрежетал:

«Чувак, мы встретимся по новой,
когда ты врубишься в металл.
Пусть металлическое семя
в твой мозг фригидный упадет
и пусть стальной цветок сквозь темя
в росе кровавой прорастет.

Тогда, мой дорогой товарищ,
ты, раздирая руки в кровь,
цветок сорвешь — и мне подаришь,
и снизойдет на нас любовь.

А счас, покуда ты квадратный,
пока металлом не блестяшь,—
оставь меня, катись обратно,
катись, браток, куда хочишь».

В меня впивались, словно пули,
твои свинцовые слова...
Лишь дома мне моя мамуля
их спицей вынула едва.

И думал я, кусая палец:
«Богат железом Эсэсэр»,—
и плакал, как бессильный старец,
я, шестиклассник, пионер.

¹ От английского hair — волосы.

РАДИСЛАВ ЛАПУШИН

р. 1961

Поэт из числа самых малонизвестных в этой антологии; это чудесное стихотворение взято из второго авторского сборника Лапушина «Между листьями и снегом» (Минск, 1993).

* * *

Несли ребенка. На него январь
Дышал... Ему в глаза — фонарь
Прогнувшийся смотрел спросонок.
Вокруг — непроходимые дома
Стояли глухо, и зима
Наваливалась тяжестью потемок.

Но те, кто нес по улицам его,
Не замечали ничего,
И был их шаг размерен и негромок,
И были безмятежны их черты,
Как будто кто-то с высоты
Следил.
И знал, что в мире есть ребенок.

ОЛЬГА РАБКИНА

р. 1961, Ленинград

Работала радиометристом в геопартии на Кольском полуострове. Приведенное стихотворение предостерегает всех «ставить крест» на женщинах.

* * *

Густой и душный полумрак
Стекает с мокрых крыш.
И я тебе, наверно, враг,
Раз ты меня казнишь.

И подтвердил тяжелый жест
Тяжелые слова:
«Я на тебе поставил крест».
Так и сказал — поставил крест!
А я еще жива.

1978

АЛЕКСАНДР ТРУБИН

р. 1961

Перестройка выплеснула на улицу ту поэзию, которая раньше пряталась в столах, в подъездах, пахнущих кошками, в подвалах, на чердаках, на пустырях. Закрыли для проезда машин одну из древнейших улиц Москвы — старый Арбат, где когда-то жил родоначальник самиздата Николай Глазков: «Живу в своей квартире тем, что пилю дрова. Арбат, 44, квартира 22». Но эту улицу моментально заполнили неофициальные художники, бродячие музыканты и поэты. Поэты читали свои стихи, продавали их по рублевке за штуку. Уровень политического остроумия этих стихов значительно превосходил гражданский радикализм даже самой авангардной поэзии, печатающейся с благословения редактора и Главлита. Именно арбатская поэзия первой начала переводить имена Ленина и Горбачева из апологий в жанр насмешливой частушки. Милиция не раз разгоняла арбатских поэтов, но они появлялись один за другим, как асфальтовые шампиньоны. Среди них начали выделяться свои лидеры: Михаил Резинкин, Сергей Безлюдский, Александр Трубин. Последний мне оказал большую помощь при работе над этой антологией.

* * *

А мы убиваем кровь.
А мы убиваем плоть.
А мы убиваем вновь,
Все то, что принес господь.
Мы верим в четвертый Рай,
Как верили в третий Рим.
О Господи, не прощай.
Мы ведаем, что творим.

1989

ЕВГЕНИЙ ХОРВАТ

1961, Москва — 1993, Германия

Первые стихи опубликовал за границей, в журналах «Континент» и «Синтаксис». Сборники «По черностоупу», «Хореи бега» (1984—1985) и другие выходили в тамиздате. В России опубликован лишь после своего трагического самоубийства в эмиграции: в журнале «Знамя» (№ 5, 1994) с предисловием Алексея Цветкова. Цитирую: «Безвременная кончина неминуемо искажает перспективу; и тем не менее, листая кустарные, фактически самодельные брошюры, я с холодом в сердце понимаю, что мы, не заметив, потеряли одного из лучших русских поэтов современности».

* * *

...Как вспомнишь дни морозов вязких,
их вражеский наскок,
и колкость варежек варяжских
и вязаных носков,
— и весь, составленный из белых
осколков и кусков,
на счастье выпавших тарелок
из рук, калейдоскоп!

И в рифму, в рифму
 шлем Европу
и греческих календ
не ждем, когда по черностоупу,
чтоб снегу до колен,
перебираемся мы прямо в
середину бытия!
— И можно мне там двести граммов,
любимая моя?

1982

АЛЕКСАНДР БЕЛЯКОВ

р. 1962

Живет в Ярославле. В 1962 году выпустил почти самиздатским тиражом в 500 экземпляров свою первую книгу «Ковчег неуют», немедленно разошедшуюся среди читателей, что доказало необходимость правильного определения количества тиража и числа возможных читателей. Книга вполне убедила последних: в поэзию пришел зрелый мастер, от которого можно ждать многого. Если он сам это осознает.

* * *

Никогда мне не быть бизнесменом,
Потакая сердечным изъяснам,
Я хотел бы родиться поленом
Или спящим в траве партизаном.

Исполать земляничным полянам!
В мире пахнет бензином и тленом.
Ангел с черным летит чемоданом:
Чисто выбрит, одет джентльменом.

Поначалу он кажется враном,
А потом сумасшедшим спортсменом.
Целый день он кружит над диваном...
Никогда мне не быть бизнесменом.

* * *

Сними очки прекрасных книг
И ты увидишь: мир — старик.

Корявый, злобный и смешной
Старик с расстегнутой мошной,

Что из поваленного гроба
Под юбку Смерти смотрит в оба.

* * *

Царь природы Борис Бодунов,
Ты крадешься в тигровых трусах
Территорией девственных снов
С вермишелью в дремучих усах.

У тебя вместо кожи — броня.
Ты троллейбусы ловишь рукой.
Что ж так жадно глядишь на меня,
Будто я — цесаревич какой?

* * *

*«Я поверил бы только в такое
божество, которое умело бы танцевать».*
Ницше

Наши боги любят буги.
Наши боги целят в губы.
Их движения упруги.
Нимбы точно хулахупы.

Год за годом в их чертоге
Рассыпается музыка.
Лихо пляшут наши боги,
Улыбаясь безъязыко.

Может быть, они из стали?
 Может, им покой не снится?
 Боже мой! Они устали!
 Им нельзя остановиться!

Сводит судорогой ноги.
 Брызжет с холок пот горячий...
 Погибают наши боги,
 Будто загнанные клячи.

* * *

Ты — матрешка, я — Петрушка.
 У тебя внутри подружка,
 У меня ж рука внутри.
 Распрямлюсь по счету «три»,
 Распотешу, рассмешу,
 И опять на голой стенке
 Мертвой тряпочкой вишу.

* * *

Франц, ускользнувший из лона семьи уродом,
 Ричард, распятый меж тронем и Божьим
 Градом,

Нежный Василий, плененный своим
 исподом, —
 Это приметы места. Я где-то рядом.

* * *

Обнимаю ли женщину, оду ль
 Выдуваю горячным ртом —
 Надвигается сонная одурь
 Исполинским своим животом.

Не желая без боя сдаваться,
 Прошепчу: «Поднимите мне ве...»
 И сомкнется туманная ватца
 В опустелой моей голове.

Так всегда — с полпути, с полукруга
 Я бываю в постель унесен.
 Нет старинней и слаще недуга,
 Чем российский классический сон.

Ощущаю себя отголоском:
 Сколько лет — от темна до темна —
 Спит держава невнятным наброском
 Гениального полотна.

ВИКТОР ЦОЙ

1962—1990

Кореец, рок-музыкант, выпускник ленинградской психушки, — резчик по дереву и поэт. Звезда группы «Кино», записал несколько пластинок, завоевал мало с чем сравнимую в России популярность у фанатиков рок-музыки. Его стихи сильно проигрывают «на бумаге», лишены низкого, гулко-го и хриплого голоса исполнителя. В августе 1990 года Цой погиб в автомобильной катастрофе под Ригой — при не совсем ясных обстоятельствах.

АЛЮМИНИЕВЫЕ ОГУРЦЫ

Здравствуй, девочки,
 Здравствуй, мальчики.
 Смотрите на меня в окно
 И мне кидайте свои пальчики.
 Да!
 Ведь я сажаю алюминиевые огурцы
 На брезентовом поле.
 Я сажаю алюминиевые огурцы
 На брезентовом поле.
 Три чукотских мудреца
 Твердят, твердят мне без конца:
 — Металл не принесет плода,
 Игра не стоит свеч, а результат — труда.
 Но я сажаю алюминиевые огурцы
 На брезентовом поле.
 Я сажаю алюминиевые огурцы
 На брезентовом поле.

Злое бело колено
 Пытается меня достать.
 Колом колено колет вены
 В надежде тайну разгадать,
 зачем

Я сажаю алюминиевые огурцы
 На брезентовом поле.
 Я сажаю алюминиевые огурцы
 На брезентовом поле.

Кнопки, скрепки, клепки,
 Дырки, булки, вилки.
 Здесь тракторы пройдут мои
 И упадут в копилку,
 упадут туда,
 Где я сажаю алюминиевые огурцы
 На брезентовом поле.
 Я сажаю алюминиевые огурцы
 На брезентовом поле.

ИННА КАБЫШ

р. 1963, Москва

Надеюсь, что это стихотворение из антологии молодых 1989 года пророческим не окажется. Но в нем есть горечь небезосновательного предупреждения.

* * *

Настанет время золотое:
демократизмом удивит;
сформировавшийся в застое
раскрепостится индивид:
духовной пищей будет манна,
чтоб каждый мог переварить,
и я пойму, что негуманно
стихами с ближним говорить.

ИЛЬЯ КРИЧЕВСКИЙ

1963—1991, Москва

Посещал семинар молодых поэтов при журнале «Юность», которым руководил Кирилл Ковальджи. В августе 1991 года именно он и еще двое других парней погибли на улицах Москвы во время путча. После его гибели вышла и почтовая марка его памяти, и многое другое, а также была опубликована в Киеве (1992) его единственная книга стихотворений и поэм «Красные бесы».

БЕЖЕНЦЫ

(фрагменты)

Мы идем и идем по степи,
По лесам, по болотам и травам.
Еще долго и много идти,
Еще многим лежать по канавам.
.....
Рок суров: кто дойдет, а кто нет,

И расскажешь ты внукам об этом,
Ты умрешь, как забрезжит рассвет,
Ослепленный огнем пистолета.

.....
Но идем мы, идем, раздирая мозоли,
Нам не есть, нам не спать, нам не пить,
Смерть везде, смерть в лесу, за холмом,
в чистом поле...
Как смертельно нам хочется, хочется жить!

ИГОРЬ СИД

р. 1963, Крым

Псевдоним Игоря Сидоренко. Профессиональный художник-анималист, в этом качестве объехал половину земного шара, сейчас живет в Керчи. В поэзии — ближайший, хотя и запоздалый, родич парижского поэта Бориса Поплавского; все образы Сиды строго расшифровываемы, редчайшая лексика, им используемая, отнюдь не им самим придумана.

* * *

В час коменданта, воздвигнув шатер
чернозема
над саркофагом бесславно почившего дня,
кань на площадку, где рыщет запретная зона,
в гордый каньон переулков, не помнящий дна.

На перевалах чумные кошачьи аулы
празднуют ночь. Хороводы и сухость во рту
будут расти, и карнизов иссохшие скулы
сводит от жажды испить до глотка черноту.

Гулко зияет с твоими глазницами вровень
мертвая боль опустелых присутственных мест,

и сквозняком притворяется в проруби кровель
из путешествий души залетевший норд-вест.

Шар антрацита взойдет отрицанием солнца
здесь и кругом. В эпицентре помашешь
рукой —
и возвратит голубые зрачки кроманьонца
угольный пласт, по надбровьям скользящий
рекой.

Город, оглохнув, — ведь морок в хрусталик
обрушен
и по сетчатке палит абразивная пыль, —

тихо нырнет в краевые, нейтральные лужи
или крылами зажмурится, как нетопырь.

Тот же скиталец, что очи горе приподымет,
шагом последним подаст неискомый ответ:

крыши на ртутной подушке плывут, а под
ними города заново нет. И глядящего нет.

1989

ВАДИМ МЕСЯЦ

р. 1964

Впервые его цикл был опубликован в «Литературной газете» с предисловием Вознесенского. Приводимое стихотворение из цикла «Календарь вспоминальщика».

* * *

Дни — короткие как взгляды.
Только сторонится глаз
жизнь, сменившая наряды
наших судеб сотни раз.

И какие песни пели?
Что ловили на лету?

Я стою в большой шинели,
слушаю капель и жду...

Рыжий водосточный желоб,
те же ставни и крыльцо —
мне во сне печальный голубь
обнял крыльями лицо.

ЮЛИЯ КУНИНА

р. 1966, Москва

Закончила филфак МГУ в 1988-м. Работала переводчиком в иностранных фирмах. Аспирантка Нью-Йоркского университета. Первые стихи были напечатаны в журнале «Континент» в 1990-м. Первая книга вышла в 1992 году в издательстве «Книга» за счет автора с напутствием Анастасии Цветаевой.

* * *

От одиночества оцепенели дни.
В любви так одиноко, как на Марсе.
Кому, ворвавшись, крикнуть: не верни
меня?! осталась я, и ты остался.

Две голых рыбы, бьющихся в сети.
Ах если бы, когда б я пожелала,
ты мог мне, крошечный, на щеку перейти,
как поцелуй иль человек у Шагала.

И мы б стояли молча у дверей
в наш дом прекрасный и печальный.
Как мудрый ворон, маленький еврей
сидел бы на ветле в наш день венчальный.

И я бы говорила: в добрый час,
нелепая и милая ошибка!
Накрыт наш стол, венчает ангел нас,
и целый день над нами плачет скрипка.

1987

ДМИТРИЙ БЫКОВ

р. 1967, Москва

Один из самых талантливых куртуазных маньеристов, возглавляемых Великим Магистром В. Степанцовым. Но мне кажется, что эти ребята могли бы быть не только маньеристами. Быков уже отошел от этой группы, создав прощальный куртуазный политический шедевр — «Курсистка». Его последние стихи все больше наливаются тяжестью серьезности. У него острое журналистское перо, с кончика которого порой срываются и капли многообещающей прозы. Может стать универсальным писателем, работающим во всех жанрах.

* * *

Все не ладится в этой квартире,
В этом городе, в этой стране,
В этом блеклом, развинченном мире,
И печальной всего, что во мне.

Мир ли сбился с орбиты сначала,
Я ли в собственном бьюсь тупике,—
Все, что некогда мне отвечало,
Говорит на чужом языке.

Или это присуще свободе —
Мяться, биться, блуждать наугад?
То ли я во вселенском разброде,
То ли космос в моем виноват.

То ли я у предела земного,
То ли мир переходит черту.
То ли воздух горчит. То ли слово.
То ли попросту — горечь во рту.

ПОХВАЛА БЕЗДЕЙСТВИЮ

Когда кончается эпоха
И пожирает племена, —
Она плоха не тем, что плохо,
А тем, что вся предрешена.

И мы, дрожа над пшенной кашей,
Завидя призрак худобы,
Страшимся предрешенной, нашей,
Не нами избранной судьбы,

Хотя стремимся бесполезно,
По логике дурного сна,
Вперед, — а там маячит бездна,
Назад, — а там опять она,

Доподлинно по «Страшной мести»,
Когда колдун сходил с ума...
А если мы стоим на месте,
То к нам ползет она сама.

Мы подошли к чумному аду,
Где, попирая естество,
Соппротивление распаду
Катализирует его.

Зане вселенской этой лаже —
Распад, безумие, порок —
Любой способствует. И даже —
Любой, кто встанет поперек.

ДЕНИС НОВИКОВ

р. 1967, Москва

Закончил Московский университет. В отличие от поэтов моего поколения период его ученичества остался невидимым для читателей, потому что он начал печатать с двадцатилетнего возраста уже профессионально отшлифованные стихи. Такое впечатление, что у него врожденное, а не приобретенное мастерство, хотя в нем есть и впитывание опыта и Пастернака, и Мандельштама, и поэтики поэтов нашего поколения — особенно Ахмадулиной. Новиков, как и его ровесники, попал в ту пору, когда поэту, чтобы стать национально известным, надо вступать в соревнование и с политическими бурными событиями, и усталостью внимания соотечественников к чему бы то ни было, в том числе и к литературе. Однако мне кажется, что ни Новиков, ни его ровесники вступать в это соревнование не намереваются, довольствуясь ролью неамбициозных профессионалов, сохраняющих достоинство и в атмосфере депрессии после эйфории августовской победы в 1991 году над путчистами, и особенно после безэйфорийной депрессии в октябре 1993 года.

Одесную одну я любовь посажу
и ошую — другую, но тоже любовь.
По глубокому кубку им дам, по ножу.
Виноградное мясо, отрадная кровь.

И начнется наш жертвенный пир со стиха,
благодарного слова за хлеб и за соль,
за стеклянные эти — 0,8 — меха,
и за то, что призрел перекатную голь.

Как мы жили, подумать, и как погодя,
с наступлением времени двигать назад,
мы, плечами от стужи земной поводя,
воротимся в тобой навещаемый ад.

Ну, а если уж так посидеть довелось,
если я раздаю и вино, и ножи,
я гортанное слово скажу на авось,
что-то между «прости меня» и «накажи»,

что-то между «прости нас» и «дай нам ремня».
Только слово, которого нет на земле,
и вот эту любовь, и вот ту, и меня,
и зачатых в любви, и живущих во зле

оправдает. Последнее слово. К суду
обращаются частные лица твои,
по колено в тобой сотворенном аду
и по горло в тобой сотворенной любви.

НИНА ГРАЧЕВА

р. 1971

Еще когда ей было лет пятнадцать, стало ясно, что у нее Божий дар. Ее открыла великая поимательница поэзии — редактор Е. С. Ласкина, когда-то добившаяся напечатания «Мастера и Маргариты» М. Булгакова в реакционном журнале «Москва». В Грачевой смешаны графомания и одновременно профессионализм при вдохновении самой чистой пробы. Может быть, недостаток Грачевой в том, что она воспламеняется слишком легко, но зато горит вся без остатка. На редкость религиозные стихи, когда в понятие веры входят и природа, и родственные чувства, и поэзия.

* * *

На что мне ночи, полные вина,
И звезды над кустом рябины ржавой?
Как проволокой, я обнесена
Российскою огромною державой,—
И средь юродивых ее, и средь шутов,
И средь холопов — все терзаюсь ею,
И не пред властью пушек и кнутов,
А пред тоской земли благоговею.
И эту кару или благодать,
Что называется моей отчизной,
Я по крупице заношу в тетрадь,
Дабы не говорили с укоризной,
Что я не заучила наизусть
Сей ломовой язык, сии наречья,
В которых затаились волчья грусть,
Хмельной угар и мука человечья...

* * *

Любовь моя! Моя горбушка черная!
Твердейшая, как локоть и гранит!
Не заглушить мне лирой золоченою
Разбойничьего топота копыт,
Не заглушить — ни пуль афганских посвиста,
Ни скрипа нар, ни рева Кольмы...
Какое слово этой ночью позднею
С губ соскользнет и вырвет жизнь —
из тьмы?
А, может, тьма — не тьма, а нечто высшее,
Где голубь спит в ладонях сорванца,
Где так отчетливо — до светлой боли —
слышу я
Два голоса: отчизны и отца?
Любовь... Она не ведает усталости.
И развожу я ночью позднею сей —
Огромные костры щенячьей жалости
К себе, к тебе и к родине моей...

ЭЛЛА КРЫЛОВА

р. 1971

Публикуемый фрагмент взят из элитарного журнала «Золотой век», возглавляемого В. Салимоном. Стих Крыловой четкий, профессиональный, может быть, несколько литературный, но если ставка на изощренность, изысканность сменится обнаженной исповедальностью, то поэтическая форма к этому уже готова.

ТРАКТАТ О ДОБРЕ И ЗЛЕ
(фрагмент)

IV

На тусклом небе солнце как бельмо.
Привычек бельма на мозгах прогорклых.
Все тленное разрушится само,
а вечность так нуждается в подпорках,
как в слепке с человеческой ноги —
песчаный берег, даром что воспетый...
Откуда мы узнали, что наги?
В Эдеме был ли кто-нибудь одетый?

ДАНИИЛ ДА

р. 1972

Молодой поэт, живущий в Сочи. Трагик до мозга костей.

**ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ИМЕНИ ДА**

Господи!
Да я ли это, и да это ли я?
Или это я, или да это я?
Это я ли?

Сам отвечаю:

— Да, я это.

— Я — это ли?
Господи — я.
Это я — Господи.
Да — это я ли?
Я ли — это?
Да — я это.
Я — это Да.
Это я — Да.

11 сентября 1990

ЛЕОНИД ШЕВЧЕНКО

р. 1972, Волгоград

Стихи опубликованы впервые в газете «Литературные новости».

* * *

В зимнем городе мерзнет шинель палача,
и сравнительно тихо под каменным небом,
но больничное утро дрожаньем плеча
выдает беглеца перед самым побегом.
На перила мостов снизошла пелена,
оголив облака, извивается, тает,
на Бутырке ворона (а в клюве луна)
с мертвецами старинную басню играет.
Мой прекрасный! Когда и тебя поведут, —
будет тихое утро, на улицах сыро,
в зимнем городе страшно вороны поют
и бросают на головы ломтики сыра.
Я устану бояться, когда-нибудь я
перережу рассвет одноразовой бритвой.
В зимнем городе пусто и дышит броня
никому неизвестной доселе молитвой.
И глядят удивленно в ограду цари,
наступает заря на разбитую банку,

за святую субботу горят фонари,
и шинель палача накрывает Лубянку.
И кому-то зашепчется в дыме жара,
может, пьяной старухе у пьяной коптилки,
в зимнем городе мерзнет чужая жена,
и чужие друзья открывают бутылки —
им не хочется есть, им не хочется пить,
им довольно огня неживого рисунка.
Я еще собираюсь тебя полюбить
в этом городе темном на склоне рассудка.
Я еще собираюсь, но плавит свеча
застекленный, случайный, поспешный

румянец,

в зимнем городе мерзнет шинель палача,
но сильнее всего указательный палец.
Не забудь же, Господь, ты жилище мое,
я совсем не кричу, кое-как заклинаю.
Я надену опять гробовое белье,
погашу фитилек и тебя не узнаю.

АРСЕНИЙ ЗАМОСТЬЯНОВ

р. 1977

Когда эта антология уже была завершена, ко мне во время моего выступления подошел худенький юноша, похожий на героя стихотворения Брюсова «Юноша бледный, со взором горящим...», и протянул мне тоненькую пачку своих стихов. Несмотря на его 17-летний возраст, в нем уже пробрезживает молодое мастерство. Его стихотворение, взятое мною из переданной им подборки, как будто специально написано для этой, слава Богу, наконец выходящей и в России антологии XX века. Юный поэт дебютировал в печати в 13 лет (в газете «Книжное обозрение»). В 1991 году появилась его первая большая публикация в журнале «Юность». В 1992-м он стал победителем конкурса «Интеллект XXI века», а в 1994-м — стипендиатом Международной благотворительной программы «Новые имена». Выпускник московской педагогической гимназии. Летом 1994 года вышла в свет первая книга Замостьянова — сборник стихотворений «Головой в песок».

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК

Смутный мир раскачивался бурно.
Старый мир на карточке поблек.

Костью в горле Екатеринбург
Поперхнулся распроклятый век.

От слюнявых, от губных касаний
Древний образ бесом опален.
Русская поэзия Кассандрой
Молча уходила во полон.

Выросли идеи, как волчата,
Колыбель чудовищу мала.
Восемнадцатый!
Девятнадцатый!
Двадцатый! —
Заварилась красная смола.

В воздухе прокуреном и спертом
Кажется, что ты давно погиб,

Кажется искусством или спортом
Смерти гимнастический изгиб.

От священных птиц летели перья.
Ликом вниз — в бульжники слезой.
Эра зверя, черного безверья,
Чертова эпоха — кайнозой!

Пепелище черного столетья —
Желтый дом в коричневом дыму.
Пепелище черного столетья,
Жгучие огарки подниму.
Только толпы, только клика, свора —
Современный, нынешний герой.
Старый хищник, ты как будто снова
Подавился косточкой гнилой!



АНОНИМ

Как тифозный во вшах, весь пустырь в алкашах.
Не видать ни души, шелестят камыши.
В камышах, как гадюки, шуршат алкаши.

ЮРИЙ БАТЯЙКИН

Книга Ю. Батяйкина «Праздник одиночеств» вышла в 1993 году приложением к альманаху «Петрополь». Книга прикрыта сразу двумя щитами — предисловием Е. Рейна и послесловием Б. Окуджавы. А зачем? Стихи защищены своей профессиональностью, и этого достаточно.

* * *

Е. Рейну

Забегая назад, вижу осень в ордынском раю.
Теплый дождь. Хорошо и безлюдно. Стою
у Скорбященской церкви. От гадин

отряхнувшись, гляжу, как сверкают сады.
Вечер светится в каплях небесной воды,
как внутри виноградин.

Грустный фатум. Наивный природный обман.
Верно, парки напутали что-то. Туман
спряли к новому утру. Им, выдрам,

лишь бы судьбы тряслись на третейских весах.
Что касательно выбора звезд в небесах —
я свою уже выбрал.

Никому во вселенной она не посмеет гореть
потому, что моя. И ее ни узреть,
ни назвать мудрецам. По листочку

я сжигаю во имя ее все прожитые дни.
При церковных свечах и в бесовской тени
я стремлюсь в свою точку.

Будь покоен, Господь. Для бессмертных

стихов

хватит пищи — всех смертных грехов
дурака и мяса кровавого.

Все одно — на Ордынке ль прощаться

с землей,

или в белую ночь затянуться петлей
на углу Дровяного.

СЕРГЕЙ БЕРДНИКОВ

Стихи — из авторского сборника «А меня еще нет...» (СПб, 1993). Чувствуется близость позднему Пастернаку. Но у молодых корь подражательства, если она своевременна, неопасна.

* * *

День все затягивал уход,
и, замирая на пределе,

он обозначил еле-еле
от света к ночи поворот.

И стали все наперечет
видны деревья. И смотрели
в закат. Как будто в самом деле
там велся дням апреля счет.
И в этой полумгле нерезкой

был из пустого перелеска
так высвечен березы ствол,
как будто бы на целом свете
он был один за все в ответе,
за всех слезами изошел.

ВАЛЕРИЙ БРАЙНИН-ПАССЕК

Музыкант, эмигрант третьей или даже четвертой волны — да и вообще какая разница, — в «Огоньке», из которого взяты стихи, вспомнили только, что автор живет в ФРГ, в Ганновере... Крепкие, прочные выстраданные стихи.

* * *

Как за доски гвоздатые пальцы хватаются
в бурю,
так за русские суффиксы утром цепляется
речь —
запоздалого хмеля усы в непогоду любую
ощущение милой неволи стремятся сберечь.
Где слепые ладони на занозы и ржавь
напоролись —
от вьюнков и плюща, от капусты морской, от
соленых слюней
в исцарапанном горле оставляет спортивный
морозец
полумертвые колья церковнославянских
корней.

О крещенье в Днепре, о кровавой
петропольской бане
господин сочинитель развозит чернильную
слизь:
это мы, а не ты, разлюбезный, лаптями
окрошку хлебали,
тараканили мамок крестьянских, в обозах
тряслись.
Разве горлу прикажешь другие выхрипывать
звуки?
Знаменитое белое утро с трудом узнавая в лицо,
сонный снег разгробашь и, после недолгой
разлуки,
к нежной варварской речи спешишь
на родное крыльцо.

ЕКАТЕРИНА ГОРБОВСКАЯ

Легкая, гибкая, но одновременно умная, самоироничная поэзия. Одно время часто печаталась в «Юности» — потом словно исчезла. Куда? В семейную жизнь?

* * *

Часы прабабки кукуют глухо.
В воздушных замках тепло и сухо.
А город полон сплошных дождей,
Ничейных кошек, чужих людей.

...Был город пасмурен, зол и сир,
И было в городе все не так...
А я мечтала исправить мир,
Но, слава Богу, не знала, как.

БОРИС ГРИГОРИИ

Стихи взяты из невышедшего в издательстве «Московский рабочий» альманаха «Зеркала». Жутковаты строки: «А человек — он просто хочет жить, интеллигентным быть уже не хочет». Неужели это будущая пословица?

* * *

Бывало стыдно мне перед цветком
и человеком и перед собакой,
как будто я участвовал в таком!
Иль не участвовал... Ну, не ввязался в драку,
не защитил, не впутался в игру,
не целовал, к суду не привлекался,
как будто я всю жизнь стоял в углу,
приглядывался и не улыбался!

Пред зеркалом особенно... Бог мой,
как можно выглядеть невинно!
Представить трудно. Кто-нибудь другой,
не я... И хорошо, теперь не видно.
Но совесть колется. А всем не удружить.
Собаку жаль. Особенно — цветочек...
А человек — он просто хочет жить,
интеллигентом быть уже не хочет.

ТАТЬЯНА ГУТИНА

В конце 1980-х годов издательство «Советский писатель» по меньшей мере дважды выпускало огромные сборники молодых поэтов — наверное, это было тогда дешевле, чем «заворачивать» сотню талантливых рукописей. В этих книгах об авторах — ни слова. Вот из такого сборника и эти стихи.

АКТЕР

И все же дикая судьба
У баловня судьбы — актера:
Путь легендарного раба,
Триумф непойманного вора.

Примерь попробуй на себя,
Сам этот замысел безумен,
Власть целоваться не любя
И выть, когда никто не умер.

А. ЗАХАРЕНКОВ

Поэт явно «нынешний», а больше ничего узнать не удалось. Лихой парень.

* * *

Ку-клукс-клан-и-санта-клаус
ексель мопсель райсобес
не бери меня на жалость
не хватайся за обрез
я тебе не чудо-юдо
у меня свои дела
и ваще вали отсюда
куды мама родила.

ЕЛЕНА КАЗАНЦЕВА

Стихи взяты из сборника, вышедшего в Риге в 1992 году. На редкость изящное дарование.

* * *

Люблю итальянцев — они как грузины:
горячая кровь и сухое вино.
Люблю итальянские апельсины
и неитальянские — все равно.

Люблю макароны с названием «спагетти»,
и южное солнце, и солнечный юг.

Мне снятся мои итальянские дети,
и муж-итальянец,
и море вокруг...
Мне снятся Венеция и гондолы,
и яхта моя на приколе стоит,
и дети идут в итальянские школы,
и муж-итальянец, как море, шумит.

ВЛАДИМИР КРУГЛИКОВ

В «Независимой газете» (30.1.1992) появилась подборка стихотворений поэтов — участников первого Всесоюзного фестиваля молодой поэзии, организованного Товариществом молодых литераторов «Вавилон». Из этой подборки и взяты стихотворения Кругликова. Оно сразу запоминается, стало почти паролем нового поколения.

* * *

Умножь меня на ноль.
Умножь меня на ноль,
Чтоб мне легко пройти
Таможенный контроль,
Чтоб в униформе хам,
Храня покой границ,
Нашел бы только хлам
Истерзанных страниц.
Но чтоб не разгадал
Таинственный пароль —
Умножь меня на ноль.

Умножь меня на ноль.
Умножь меня на ноль,
Пошли меня домой,
Как будто бандероль,
Чтоб на почтамте мать,

Одолевая страх,
Сургучную печать
Срывала второпях,
Чтоб ожила в душе
Хроническая боль —
Умножь меня на ноль.

Умножь меня на ноль.
Умножь меня на ноль,
Отдай другому мной
Несыгранную роль,
Я даже не хочу
Смотреть его игру,
Оставь мою свечу
На бешеном ветру,
Оставь меня, оставь
И все забыть позволь —
Умножь меня на ноль.

ТАТЬЯНА МАКСИМЕНКО

Выпускница Московского кооперативного института, Максименко работала и проводником на железной дороге, и экономистом в научно-исследовательском институте, и редактором радиогазеты. Но главным для нее оставались стихи.

* * *

Российские вороны сгорают от стыда:
Сыр выпал... Птичьи стоны и тощие стада,
И дети человечьи, и сукины сыны —
Им расплатиться нечем, они должны,
должны...
Ох, эти кредиторы, неумолимый суд!
Истории повторы — Змей прежде, нынче —
Спрут,

В трущобах, в райских кущах свивается
кольцом,
В паноптикум имущих власть — и с восковым
лицом —
Проламывая двери, как в этот век, и в тот,
В народе будит зверя, задев его живот.
Народ похлебку варит, частушку сочиня,
Расслабившись, кемарит под боком у меня.
Народ, чем голоднее, тем лучше видит он:
Народ, ангелов над нею, детей, собак, ворон...

ОЛЬГА МАРТОВА

Родилась в Иркутске. Окончила Иркутский университет. Журналистка. С 1982-го работает на радио в Мурманске. Стихи взяты в антологию из ее первой книги «Нить», изданной Мурманским книжным издательством в 1988 году. Нить получилась то золотая, то серебряная: «и колышется рядом с нею тоска тяжелей и белей молока», «вечерами твоё зеркало на меня угрюмо зыркало. Молча осуждал рояль, и вполголоса мораль мне читали ходики — старые уродики». «На шее чувствую ошейник. Какой провел меня мошенник! И половицами с утра поскрипывает конура», «две чайки — две царяпинки Пирке вспухают на заломленной руке». Правда, временами нить рвется. Но с кем не бывает... Искромётный, очень русский талант.

* * *

Распугали нынче фей-то.
Нет на свете фей.
Ты одна осталась, флейта,
В сказочке моей.

Худ флейтист и мал, как птица,
Не пригрет судьбой.
Он почти тебя стыдится,
Но грешит с тобой.

Эх, десятку налабать бы!
Пригласи, народ.
Плакать на чужие свадьбы
Он тебя берет.

Дешевая работенка,
По «колу», друзья!
Флейта, горлышко ребенка,
Доченька моя..

* * *

Обернулся молодцом
С желтой фиксой воровской.
Покатился колесом
Вдоль по матушке-Морской.

— Дети, жизнь есть жирный сыр,
В этом сыре много дыр!
Тары-бары-растобары,
Темны оборотня чары.

Каждый глаз — как жадный рот.
Полуповар, полукот
Из веселой детской басни.

Я смотрела без боязни,
Как в шашлычной ты, косой,
Обернулся колбасой.
Но, трезвея с каждым вздохом,
Стал под утро скоморохом,
Стал под вечер серафимом,
Нежным мальчиком, любимым!

Но — рванула нитку бус.
Но — сказала:
«Не боюсь!
Как на опытного — дура,
Есть на оборотня — дуля».

* * *

Привиденье начлага
Бродит в саду городском.
По аллее три шага —
Кру-гом!

Глядь, а там, на поляне
Бабы стоят, как в бане.

Ни те рубашки — голые.
Видно вольняшки — гожие.

— Кто это тут? Аврора?
Неча красное имя трепать.
Будешь зваться Федора.
Мал-чать!

Нюкта? Глазки не строй.
Ну-ка, встань в строй.

Стыд лопухом прикрой.
ТЬфу на тебя! В строй!

А это кто? Мнемо-зина?
Тоже мне, образина.
Дюжая, с мужика.
Чистый камень — бока.
Дам тебе, Зина, кайло,
Будешь жить весело.

Ничего, не робей, бабец,
Я вам всем как родной отец.

Завтра выпишу ватники,
Шаровары и валенки.

Сразу после подъема
Начинаем строить барак.

Что расселась? Не дома.
Тут тебе не бардак.

Крылья вместо сидора,
А зад-то, зад — как у пидера.
Да ты не психуй, Психея,
Я сам психовать умею.

А эту как звать? Эрато?
Тебя мне, Эрата, и надо.
Ишь ты, какое тело.
Будешь ко мне ходить.
Считай, тебе подфартило,
Не придется худеть.

Ты, Аврора-Федора,
С утра замесишь раствора.
В помощь тебе Терпсихора
И та, поздоровше, Флора.

Это вот для Гекубы
Водопроводные трубы.

А Талии и Психее —
Наряд на рытье траншеи.

Вдруг видит он, сквозь листву
Целится кто-то из лука.
Во, изловчился, сука,
Натянул тетиву.
И вопя: не стреляй! —
Повалился в траву вертухай.

Голову поднял: опять
Целится, братцы, целится!
Как же он мог осмелиться —
В вертухая стрелять?

Глядь: бабцы усмеваются,
Нету страха в глазах.

Аж сердце в нем вертухается:
Что ж это! Швах!

Мраморная стрела
Пущена не была,
Но до костей прожгла.

И, шатаясь, как доходяга,
По аллее бредет начлага.

На ремешке как овчарку
Злую ведет беду.
И повторяет в бреду:
Все насмарку, насмарку...

А. МЫШКИН

В 1949 году попались мне стихотворения этого поэта на страницах журнала «Октябрь», поразившие меня отточенностью формы, музыкальной игрой. С той поры я больше никогда не встречал этого имени, только слышал, что автор умер. Но может быть, это неправда?

РЕЖИЦА

Из перламутровой синевы дымка
просвечивает как фриз в окне,
мой город — утро,
мой город — выдумка
по карте Режица — Резекне.
Витые ветви листвой мерещатся,
парчою трав
оторочен вал,
мой город — дар и мираж мой —
Режица,
где никогда я не побывал.
В росе рассвета листва светла твоя,
трава становится голубой.
Я вспоминаю, родная Латвия,
нас породнивший последний бой.
...Моя озерная и узорная,
миганьем зарев озарена.
Стада бредущие безнадзорные,
поля несобранного зерна.

Пять километров, пока не прорванных,
до Режицы посчитали мы.
С холмов, пожарами пережеванных,
сползали медленные дымы.
Горбом, колючками перемотанным,
на наши линии город плыл.
По ржи прожженной, под пулеметами,
раскинув косы, металась пыль.
На этом точка.
И стих отрежется.
Ведь не рассказывать же о том,
как я в пыли, не дойдя до Режицы,
лежал с разорванным животом,
как на носилках терял сознание,
как санитар не давал воды,
как без меня за дворы, за здания
гвардейцы дрались до темноты.
И очень хочется мне, товарищи,
без пистолета и «ППШ»
теперь на площадь и на бульвар еще
пройти по Режице не спеша.

АРКАДИЙ ПРЕСМАН

Воронежский поэт, филолог, очень мало печатающийся. Публикуемое стихотворение приводится по рукописи.

* * *

Чье презренье глаза мне выест?
Велики ли мои грехи?
Я не раб, не манкурт, не выкрест,
хоть по-русски пишу стихи.

И сегодня я вижу йначе
сквозь орущий вороний грай
черноземный мой, чернорыночный,
черносотенный чудо-край.

Нет заманчивее обряда,
чем ломиться в чужие сны,

и не гирьки с мясного ряда —
самопалы припасены.

Быть растоптанным неохота.
Иудей — вот и вся вина.
Убережь бы, спасти хоть что-то
в предпогромные времена.

Пахнет пеплом горбушка хлеба.
Пыль на форточке, как зола.
Выпускаю с ладони в небо
мандельштамовского щегла.

ВИТАЛИЙ ПУХАНОВ

Еще один из «молодых» «Советского писателя» от 1989 года. Точно угадал, что и прошлые, и настоящие, и будущие беды наши «от варварства в крови»...

* * *

Им нет числа, у них другое небо,
У них земля до вересня бела,
Геракла тень, бессонные эфобы
Что варварам их мудрые тела?!
Так оседали варваров телеги.
Хлеб Херсонеса, золото Микен,

И греков бесполезные калеки
За ними шли, не зримые никем...
И греки будут в битве бесконечны,
Но позабудут подвиги свои.
Плоть обживает время и увечье,
Но остается варварство в крови.

МИХАИЛ РЕЗИНКИН

«Поэт Арбата» — то есть из тех, кто читает свои стихи на старом, но давно уже «офонаревшем» Арбате — совсем не на том, где провел свое детство Булат Окуджава... А Резинкин «в основном» живет в Оренбурге.

* * *

Я снял трех баб. Куда вести?
Повел их к Лёне.
На пару двух, коль третья б не дала.
Но вот когда заговорили о Вийоне,
Та, что мне больше всех понравилась, ушла.
Меня с утра манила сутра кама,
Душа рвалась, как россыпь с бубенца.
Но Лёня... он не бросит Мандельштама,
Пока не дочитает до конца.
О чем я думал, слезы вытирая?

Не от стихов, как то подумал он.
Уже с позором выгнана вторая
За то, что не читала «Тихий Дон».
Стихи мелькают, как тысячетелья.
Да сколько ж их и каждый со стилем.
А я так долго уповал на третью,
Которая уснула за столом.
Ты вместо мыслей и стихов глубоких
Скажи мне попросту и Уткина скости:
Где взять еще таких голубооких???
И главное — куда потом вести?!

СВЕТЛАНА РОЗЕНФЕЛЬД

Негромкое, несколько литературное, но искреннее, чистое дарование, как бы за рамками «ленинградской школы», но все-таки неотрывное от нее.

* * *

Я помню дурачка в соседнем доме,
Как он стоял часами в подворотне,
Прижав к плечу полено из березы,
Обмотанное проволокой медной,
И медленно рука его скользила
Над деревом сухим, изображая
Движение смычка, и плавно тело
Качалось в такт мелодии беззвучной.
Он никого не обижал, но люди
Боялись глаз его потусторонних,
И ломкой, неустойчивой улыбкой,
И слез, бежавших по его щекам.
Мне кажется, он вечно там стоял,
И по его лицу бродили годы
И оставляли узкие тропинки,
Которые потом переплетались.
Он медленно, но верно вырастал
Из детских брюк, подвязанных бечевкой,
И старческие щиколотки зябко

Белели над баретками в галошах.
Я помню, как однажды снег упал
На волосы его — и не растаял,
А он был занят музыкой своей
И не заметил знак предупреждения.

Он вечно там стоял. И вдруг исчез.
Не месяц и не день исчезновенья
Я помню, а момент, когда случайно,
Остановившись возле подворотни,
Почувствовала: в ней гуляет ветер,
Не натываясь на преграду тела.

Но музыка, которую он слышал,
А мы не слышим, не подвластна тленью,
Она осталась в гулкой подворотне,
А может быть, оттуда улетела
И, не найдя приюта в жизни умных,
В другого дурачка переселилась.

* * *

На Мойке застывшей, у мертвой воды,
Вдоль зданий, где время со стен шелушится,
Качается предошущенье беды,
Которая скоро должна совершиться.
Над Мойкой, где снежная вьется крупа
И туча на солнце легла, словно веко,
Стотысячеликая стонет толпа,

Длиною чуть больше полутора века.
Крылатки, и шубы, и дождевики,
Цилиндры, папахи, береты из шерсти:
Дворяне, чиновники, большевики —
Поборники правды, невольники чести.
На каменных плитах, у черных перил
Толпа ожидает небесную милость:
Никто не стрелял и никто не убил, —
Все это безумной России приснилось...

СЕРГЕЙ РЫЖЕНКОВ

Еще один из плеяды рок-поэтов. Прелестные стихи в стиле староянглийской баллады на русский манер.

ВОЛШЕБСТВО

Знаешь ты как делают детей?
Очень-очень просто
Ты возьми две пригоршни мышей
Маленького роста.

Тех мышей ты положи в мешок
Лучше в полотняный
Через час брось розы лепесток
И прикинься пьяный.

А мешок тот положи на стол
Стол под синей лампой
В это время пей один рассол
С прошлогодней мятой.

Тут уйди прикрыв плотнее дверь
На этом вот куплете
И случится верь или не верь
Из мешка вдруг выйдут дети.

Ты услышишь как они поют
Голосом прозрачным
К ним придешь в их маленький уют
И не будешь мрачным.

Да вот так вот делают людей
Видишь — очень просто
А теперь иди лови мышей
Маленького роста.

ГЛЕБ СКВОРЦОВ

Зыбкие видения в замеченном мною стихотворении Глеба Скворцова словно бы нарочито размыывают возраст героя и самого «бездатого» автора, для которого важнее всего не фиксация ускользающего времени, а запечатленность остающегося в нас ощущения молодости и ее порой непрехотливого счастья.

ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ

Уж мне не встать.
А Смерть неторопливо,
Как под конвоем, шлепает ко мне.
Я пить хочу, и так охота пива,
Как не хотелось бабы на войне.

А есть ларек, направо от больницы.
Туда смотаться — проще ерунды,
Но медсестра...

ей легче удавиться,
Чем принести стакан сырой воды.

Вот и лежу, беззвучно волком вою.
И рад подохнуть, только не дает,
Огнем горя,
пробитый под Москвою,
В Москве же и пропитый пищевод.

Что говорить!

Мы повидали виды,
Того и этого, и всякого всего...
Жаль, что из жизни ухожу с обидой,
Не разобравшись толком — на кого.

Не нужно похорон мне с выкрутасами,
И пусть мой холмик ниже всех могил,
Я не хочу шампанских с ананасами,
Но кружку пива

все ж я заслужил.

Мне зыбится — пылит по гари рота,
Ствол «дегтяря» ломает мне плечо,
Горит нутро, до боли пить охота,
И молод я, и счастлив я еще.

А. ХУСАИНОВ

Стихи взяты из газеты «Гуманитарный фонд». 1991, № 46 (97). В публикации сообщено местожительство автора: г. Салават, Республика Башкыртыстан. Больше ничегошеньки.

* * *

Смешно любить в 17 лет,
хотя тогда мне было двадцать,
когда от женских сигарет
хотелось мне, должно быть, плакать.

Как мало жизни половой,
как много жизни бестолковой,
хотя свою головой
мечтал и жил мечтою новой.

А как не хочешь — жизнь пройдет
не так, как хочется, должно быть,
и теща в руки упадет,
сломает спину или ноготь,

а все равно, теперь одна
есть разновидность жизни духа —
что «денег нет!» кричит жена.
— Ну, будут... — отвечаешь глухо.

1991

НИКОЛАЙ ШТРОМИЛО

Эти стихи из «Комсомольской правды» от 10 августа 1993 года. В них и Москва, которой «не до влюбленных», и искренняя убежденность автора в том, что «сбудется, простится, улыбнется».

ВОСЬМОЙ СЕНТЯБРЬ

Москва. Морока. Воздух пахнет мясом.
Светило меж двенадцатью и часом
остановило мутное бельмо.
Москва не мстит —
Москве не до влюбленных,
ревут ряды авто, и на балконах
застиранное мается белье,
в толпе малец втолковывает греку,
больной еврей торопится в аптеку,
простукав тротуарную плиту;
плывут ручьи зловонные по Бронной,
по ним — старик
с коробкой патефонной;
перехватив окурочек на лету,
стыдливый нищий цвиркает сквозь зубы,
оркестрик жмет, фотограф ждет — кому бы
всучить лицо, чумою тянет от
торговцев уличных, любимец карнавала,
острая усы буденого... Эй, малый,
подай-ка счет.

Москва, не смей! Мы выстэпим стаккато
к Никитским, под уклон — и до Арбата,
прочтем с листа Пречистенки кусок.
Темнеет, мать — прозрачно и прохладно.
Кусай, Москва! Не до смерти — и ладно.
Подтягивая съехавший носок,
нам скажет приметленная матрена,
почем звезда, сорвавшаяся с клена,
и пара па грассирующих крыш.

Дуришь, Париж? Дождем долдонишь,
Лондон?!

А нам всего лишь тур по крышам продан,
печать на лоб да забубенный шиш.
Но — сбудется, простится, улыбнется.
Еврей поправится, фотограф провернется.
Звони, Иван, разбей меня — не жаль!
Она войдет, и эхом ей — парадный,
откинет плащ — ладонь в ладонь: —
Пора бы и — за рояль.

ЧАСТУШКИ

У каждого времени есть свои частушки, и жаль, что еще никто не составил такую книгу — «История России в частушках». Эти частушки — продукт посткоммунистической России, и, как мы видим, в них нет особенного восторга от нашей еще полуфеодальной демократии. Да разве она, эта демократия, могла быть другой — после монархического феодализма, после феодализма социалистического? Любая система навязывает свою идеологию: или «самодержавие, православие, народность», или «коммунизм — это советская власть плюс электрификация». Частушки выше всех идеологий, ибо они никем не навязаны и не повязаны ни с каким режимом. Посткоммунизм еще не породил ни крупных романов о себе, ни эпических поэм, а вот частушки о нем уже сложены.

* * *

Ах, Зураб ты мой, тетеря,
Отделился — дьявол с ним!
Отдаюсь ему теперь
Я по ценам мировым.

* * *

Не поладил братец с братом,
Запустил в него домкратом.
Улыбнулся старший брат:
«Подрастает демократ!»

* * *

Депутат глядит в глаза —
На ночь задержался!
Я бы всей душою «за»,
А он воздержался.

* * *

Ты играй, играй, гармонь —
Золотые кнопочки.
Засверкали на ТВ
Голенькие попочки!

* * *

Я шепнула Митеньке:
— Не ходи на митинги,
В судьбоносные моменты
Отобьют все аргументы.

* * *

Полюбила депутата,
Но на сессии все он.
Я лишу его мандата
И отрежу... микрофон.

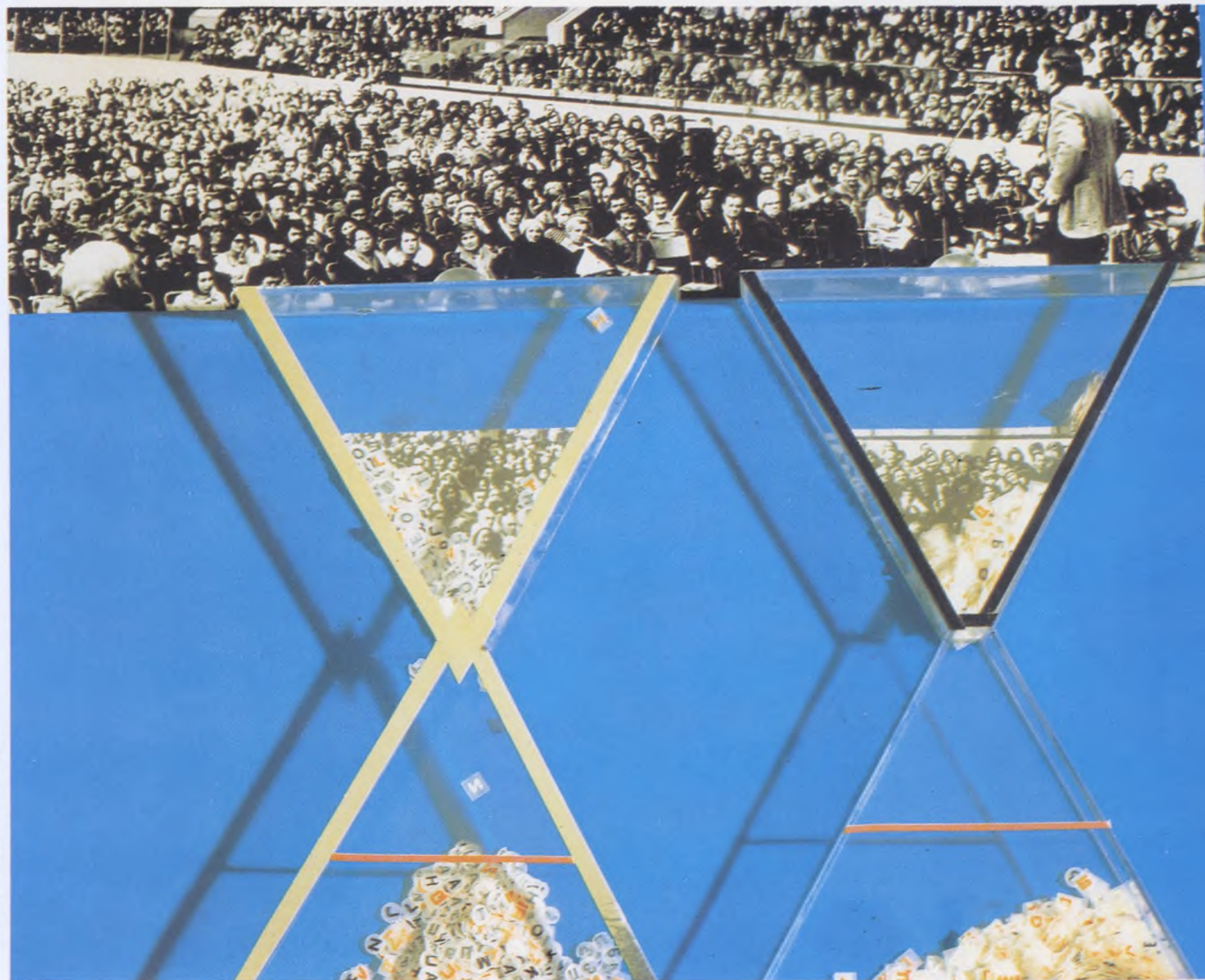
* * *

К девке я вчера в трамвае
Был прижатый временно.
А она теперь рыдает,
Говорит — беременна.

* * *

Она — зонт, я — брюки в клетку,
Она — шляпку, я — беретку.
Я ее, такую вшу,
Все равно перефоршу.

Андрей Вознесенский



автопортрет поэта в XX веке

Имена поэтов, в особенности российских,
таят в себе закодированную судьбу и,
стало быть, поэтику.
В звукописи Пушкина

*И в час пирушки холостой
Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой, —*

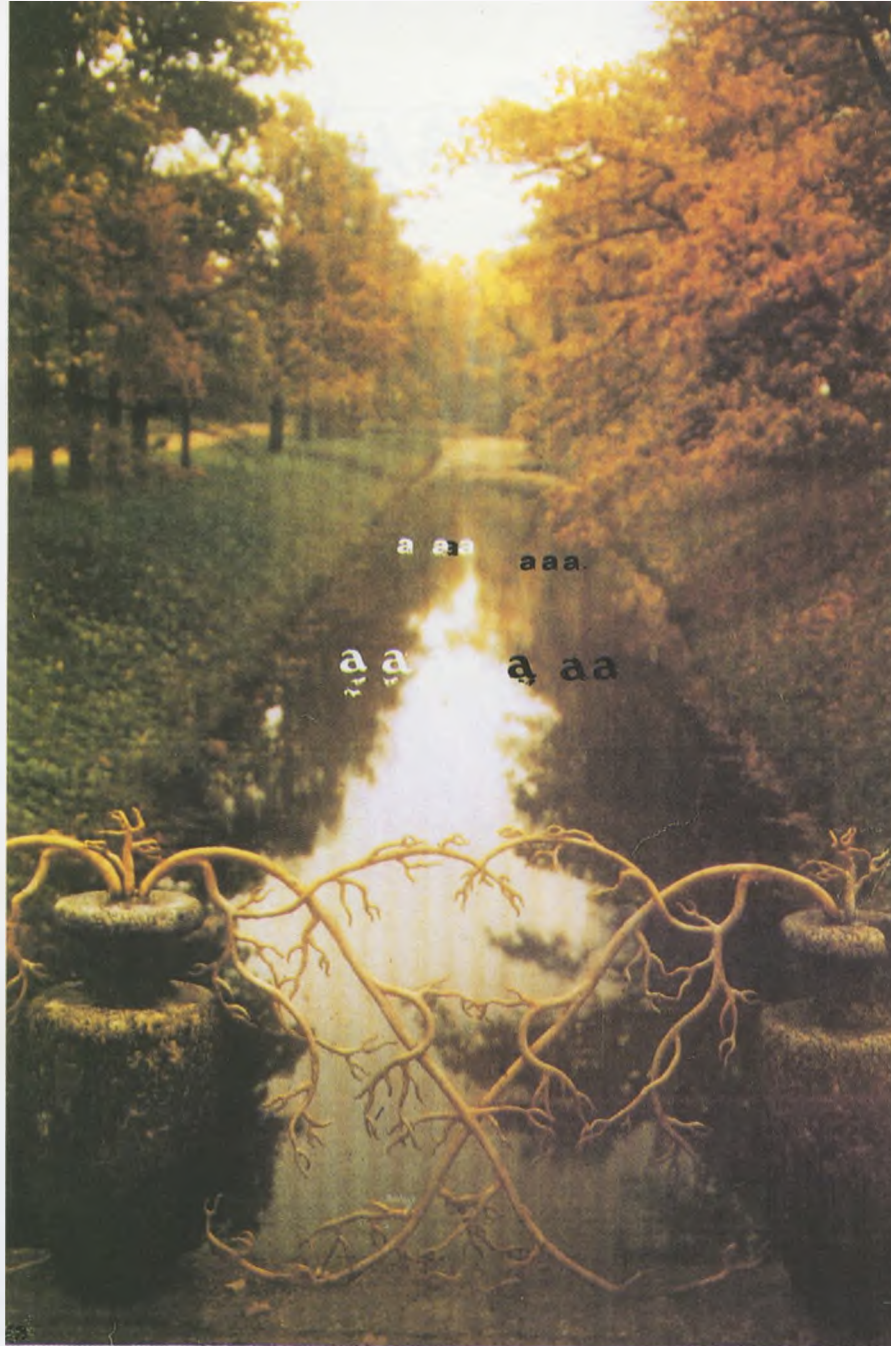
слышится веселое имя «Пушкин».

Особенно это чувствуется в XX веке. Цветаева — Ева цвета. Инициалы В. Хлебникова, мыслителя перевертней, можно прочесть перевернутыми на глазуриных пасхальных яйцах. Символично, что метафора стала метой ведущих поэтов нашего века.

Предлагаю читателям несколько моих случайных видеом (жанр визуальной поэзии, родившийся в конце столетия, пока что самого чудовищного из веков, одновременно и самого визуального, давшего невиданный взлет поэзии), посвященных любимым именам.

Как в песочных часах из букв языка слагаются людские судьбы, так и наоборот — судьбы людей, покидая этот мир, переходят в гул языка.

АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ



а. а. ахматова

Анна Ахматова

ПРОГУЛКА

Перо задело о верх экипажа.
Я поглядела в глаза его.
Томилось сердце, не зная даже
Причины горя своего.

Безветрен вечер и грустью скован
Под сводом облачных небес,
И словно тушью нарисован
В альбоме старом Булонский лес.

Бензина запах и сирени,
Насторожившийся покой...
Он снова тронул мои колени
Почти не дрогнувшей рукой.

Май 1913

* * *

Я сошла с ума, о мальчик странный,
В среду, в три часа!
Уколола палец безымянный
Мне звенящая оса.

Я ее нечаянно прижала,
И, казалось, умерла она,
Но конец отравленного жала
Был острее веретена.

О тебе ли я заплачу, странном,
Улыбнется ль мне твое лицо?
Посмотри! На пальце безымянном
Так красиво гладкое кольцо.

18—19 марта 1911
Царское Село



рисунки М. С.

Осип Мандельштам

Вооруженный зрением узких ос,
Сосущих ось земную, ось земную,
Я чую все, с чем свидеться пришлось,
И вспоминаю наизусть и всуе.

И не рисую я, и не пою,
И не вожу смычком черногосым:
Я только в жизнь вливаюсь и люблю
Завидовать могучим хитрым осам.

О, если б и меня когда-нибудь могло
Заставить, сон и смерть минуя,
Стрекало воздуха и летнее тепло
Услышать ось земную, ось земную...

8 февраля 1937. Воронеж

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладюю когда-то поднялся.

Как журавлиный клин в чужие рубежи —
На головах царей божественная пена —
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?

И море, и Гомер — всё движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

1915

* * *

Я не прожил, я протомился
Половину жизни земной,
И, Господь, вот Ты мне явился
Невозможной такой мечтой.

Вижу свет на горе Фаворе
И безумно тоскую я,
Что влюбил и сушу и море,
Весь дремучий сон бытия;

Что моя молодая сила
Не смирилась перед Твоей,
Что так больно сердце томила
Красота Твоих дочерей,

Но любовь разве цветик алый,
Чтобы ей лишь мгновенье жить,
Но любовь разве пламень малый,
Что ее легко погасить?

С этой тихой и грустной думой
Как-нибудь я жизнь дотяну,
А о будущей Ты подумай,
Я и так погубил одну.

ГУМИЛЁВ

МОИ ЧИТАТЕЛИ

Старый бродяга в Аддис-Абебе,
Покоривший многие племена,
Прислал ко мне черного копыеносца
С приветом, составленным из моих стихов.
Лейтенант, водивший канонерки
Под огнем неприятельских батарей,
Целую ночь над южным морем
Читал мне на память мои стихи.
Человек, среди толпы народа
Застреливший императорского посла,
Подожел пожать мне руку,
Поблагодарить за мои стихи.
Много их, сильных, злых и веселых,
Убивавших слонов и людей,
Умиравших от жажды в пустыне,
Замерзавших на кромке вечного льда,
Верных нашей планете,
Сильной, веселой и злой,
Возят мои книги в седельной сумке,
Читают их в пальмовой роще,
Забывают на тонущем корабле.

Я не оскорбляю их неврастением,
Не унижаю душевной теплотой,
Не надоедаю многозначительными намеками
На содержимое выеденного яйца,
Но когда вокруг свищут пули
Когда волны ломают борта,
Я учу их, как не бояться,
Не бояться и делать что надо.
И когда женщина с прекрасным лицом,
Единственно дорогим во вселенной,
Скажет: я не люблю вас,
Я учу их, как улыбнуться,
И уйти и не возвращаться больше.
А когда придет их последний час,
Ровный, красный туман застелит взоры,
Я научу их сразу припомнить
Всю жестокую, милую жизнь,
Всю родную, странную землю,
И, представ перед ликом Бога
С простыми и мудрыми словами,
Ждать спокойно Его суда.



сирень северянина

Игорь Северянин

ШАМПАНСКИЙ ПОЛОНЕЗ

**Шампанского в лилию! Шампанского в лилию! —
Ее целомудрием святеет оно.
Mignon s Escamilio! Mignon s Escamilio!
Шампанское в лилии — святое вино.**

**Шампанское, в лилии журчащее искристо, —
Вино, упоенное бокалом цветка.
Я славлю восторженно Христа и Антихриста
Душой, обожженною восторгом глотка!**

**Голубку и ястреба! Ригсдаг и Бастилию!
Кокотку и схимника! Порывность и сон!
В шампанское лилию! Шампанского в лилию!
В морях Дисгармонии — маяк Унисон!**

Октябрь 1912

бабочка набоква



Учитель
и ученик

Владимир Набоков

* * *

Нет, бытие — не зыбкая загадка!
Подлунный дол и ясен, и росист.
Мы — гусеницы ангелов; и сладко
въедаться с краю в нежный лист.

Рядись в шипы, ползи, сгибайся, крепни,
и чем жадней твой ход зеленый был,
тем бархатистей и великолепней
хвосты освобожденных крыл.

6.5.23.

есенин и айсидора





БОЖИНА

ВЕСЕННИЙ ВЕНЩИК
ПО
ОВЕНЦЕ

SADORA ЖЕРТВА АВТОДОРА



Сергей Есенин

Снежная равнина, белая луна,
Саваном покрыта наша сторона.
И березы в белом плачут по лесам.
Кто погиб здесь? Умер? Уж не я ли сам?



Велимир Хлебников

Крыльшкуча золотописьмом
Тончайших жил
Кузнечик в кузов пуза уложил
Прибрежных много трав и вер
Пинь, пинь, пинь! тарарахнул зинзивер.
О лебедино.
О озари!

ИЗ «ЗАГЕЗИ»

*Белая Юнона, одетая лозой зеленого хмеля, прилежным напилком
скоблит свое белоснежное плечо, очищая белый камень от накипи.
Ункулункулу прислушивается к шуму жука, проточившего ходы через
бревно деревянного тела бога.*

Эрот: Мара-рома,
Биба-буль:
Укс, кукс, эль!
Редэиди дидиди!
Пири-пэпи, па-па-пи!
чоги гуна, гени-ган!
Аль, Эль, Иль!
Али, Эли, Или!
Эк, ак, ук!
Гамчь, Гэмчь, ю!
— Рпи! Рпи!

Ответ (боги) На-но-на!
Эчи, учи, очи!
Кези, нези, дзигага!
Низаризи озире.
мэмура зиморо!
Пипс!

Велес: Бруву руру руру ру!
Пице цане сэ сэ сэ!
Бруву руру ру-ру-ру!
Сици, лица ци-ци-ци
Пеньч, панчь, пеньчь!

Эрот: Эмчь, Амчь, Умчь!
Думчи, дамьчи, домчи,
Макарако кючерк!
Цицилици цицици!
Кукарики кикику.
Ричи чичи ци-ци-ци.
Ольга, Эльга, Альга!
Пиц, Пачь, почь! Эхамчи

Юнона: — Пирарара-Пируруру!
Лео лоло буароо!
Вичеоло сесесэ!
Вичи! Вичи! иби би!
З Изазиза изазо!
Эпсь, Апс, Эпс!
Мури-гури рикоко!
Мио, Мао, мум!
Эп!

Ункулункулу: — Рапр, грапр, апр! жай!
Каф! Бзуй! Каф!
Жраб, габ, бокв — кук
ртупт! тупт.
(носятся в воздухе боги)
Опять темнеет мгла синяя над камнями. Люди.

Николай Заболоцкий

ОФОРТ

И грянул на весь оглушительный зал:
«Покойник из царского дома бежал!»

Покойник по улицам гордо идет,
Его постояльцы ведут под уздцы,
Он голосом трубным молитву поет
И руки вздымает наверх.
Он в медных очках, перепончатых рамах,
Переполнен до горла подземной водой.
Над ним деревянные птицы со стуком
Смыкают на створках крыла.
А кругом громобой, цилиндров бряцанье
И курчавое небо, а тут —
Городская коробка с расстегнутой дверью
И за стеклышком — розмарин.

1927



Николай Заболоцкий

Николай Олейников

ГЕНРИХУ ЛЕВИНУ

по поводу влюбленности его в Шурочку Любарскую
(фрагмент)

Если ты посмотришь в сад,
Там почти на каждой ветке
Невеселые сидят,
Будто запертые в клетки,
Наши старые знакомые
Небольшие насекомые:

То есть пчелы, то есть мухи,
То есть те, кто в нашем ухе
Букву Ж изготавливали,
Кто летали и кусали
И тебя, и твою Шуру
За роскошную фигуру.

И бледна и нездорова,
Там одна блоха сидит,
По фамилии Петрова,
Некрасивая на вид.

Она бешено влюбилась
В кавалера одного!
Помню, как она резвилась
В предвкушении его.
И глаза ее блестели,
И рука ее звала,
И близка к заветной цели
Эта дамочка была.

Оказалось, однако,

Что прославленный милашка
Не котенок, а хам!
В его органах кондрашка,
А в головке тарарам.

Он ее сменил на деву —
Обольстительную мразь —
И в ответ на все напевы
Затоптал ногами в грязь.

Игорь Холин

Умерла в бараке. 47 лет.
Детей нет.
Работала в мужском туалете.
Зачем жила на свете?

САМОВАР

Самовар, владыка брюха,
Драгоценный комнат поп!
В твоей грудке вижу ухо,
В твоей ножке вижу лоб.

Император белых чашек,
Чайников архимандрит,
Твой глубокий ропот тяжек
Тем, кто миру зло дарит.

Я же — дева невинна,
Как нетронутый цветок.
Льется в чашку длинный-длинный,
Тонкий, стройный кипяток.

И вся комнатка-малютка
Расцветает вдалеке,
Словно цветик-незабудка
На высоком стебельке.

1930

ИЗ ЗАПИСОК АПТЕКАРЯ

Как хорошо, что дырочки для клизмы
Имеют все живые организмы

Генрих Сагир

ПАРАД ИДИОТОВ

(отрывок)

Иду. А навстречу
Идут идиоты
Идиот бородатый
Идиот безбородый
Идиот ноздреватый
Идиот большеротый
Идиот угловатый
Идиот головатый
Идиот — из ушей пучки ваты

Идет идиот веселый
Идет идиот тяжелый
Идет идиот симпатичный
Идет идиот аппатичный
Идет идиот нормальный
Идет идиот нахальный
Идет идиот гениальный
Идет идиот эпохальный

Идут идиоты — несут комбинаты
Заводы научные институты
Какие-то колбы колеса ракеты
Какие-то книги скульптуры этюды
Несут фотографии мертвой планеты
И вовсе невиданные предметы

Идут идиоты идут идиоты
Вот двое из них избивают кого-то
А двое других украшают кого-то
Какого-то карлика и идиота
Так пусть же умру за мечту идиота
С блаженной улыбкою идиота





Алексей Крученых

В полночь я заметил на своей простыне черного и твердого, величиной с клопа в красной бахrome ножек. Прижег его спичкой. А он, потолстел без ожога, как повернутая дном железная бутылка...

Я подумал: мало было огня?.. Но ведь для такого — спичка как бревно!...

Пришедшие мои друзья набросали на него щепок, бумаги с керосином — и подожгли...

Когда дым рассеялся — мы заметили зверька, сидящего в углу кровати в позе Будды (ростом с ¼ аршина)

И, как би-ба-бо ехидно улыбающегося.

Поняв, что это ОСОБОЕ существо,

я отправился за спиртом в аптеку

а тем временем приятели ввертели ему окурками в живот пепельницу.

Топтали каблуками, били по щекам, поджаривали уши, а кто то накаливал спинку кровати на свечке

Вернувшись, я спросил:

— Ну как?

ПОЭТ

ПУЛЯ

ПОПУЛЯРНОС

Владимир Маяковский

НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮТ

Вошел к парикмахеру, сказал — спокойный:
«Будьте добры, причешите мне уши».

Гладкий парикмахер сразу стал хвойный,
лицо вытянулось, как у груши.

«Сумасшедший!

Рыжий!» —
запрыгали слова.

Ругань металась от писка до писка,

И до-о-о-о-лго

хихикала чья-то голова,

выдергиваясь из толпы, как старая редиска.



Юнна Мориц

СНЕГОПАД

(отрывок)

Над Ригой шумят, шелестят снегопады,
Утопли дороги, недвижны трамваи.
Сидят на перилах чугунной ограды
Я, черная птица, и ты, голубая.

.....
Согласно прогнозу последних известий,
Неделю нам жить, во снегах утопая.
А в городе вести: скитаются вместе
Та, черная птица, и та, голубая.

Две птицы скитаются в зарослях белых,
Высокие горла в снегу выгибая.
Две птицы молчащих. Наверное, беглых!
Я — черная птица, а ты — голубая.

Евгений Евтушенко

ДОЛГИЕ КРИКИ

Ю. Казакову

Дремлет избушка на том берегу.
Лошадь белеет на темном лугу.
Криком кричу и стреляю, стреляю,
а разбудить никого не могу.

Хоть бы им выстрелы ветер донес,
хоть бы услышал какой-нибудь пес!
Спят как убитые... «Долгие крики» —
так называется перевоз.

Голос мой в залах гремел, как набат,
площади тряс его мощный раскат,
а дотянуться до этой избушки
и пробудить ее — он слабават.

И для крестьян, что устало дыша,
спят, словно пашут, спят не спеша,
так же неслышен мой голос, как будто
шелесты сосен и шум камыша.

Что ж ты, оратор, что ж ты, пророк?
Ты растерялся, промок и продрог.
Кончились пули. Сорван твой голос.
Дождь заливает твой костерок.

Но не тужи, что обидно до слез.
Можно о стольком подумать всерьез.
Времени много... «Долгие крики» —
так называется перевоз.

1963

Белла Ахмадулина

РИСУНОК

Борису Мессереру

Рисую женщину в лиловом.
Какое благо — рисовать
и не умереть! А ту тетрадь
с полузабытым полусловом
я выброшу! Рука вольна
томиться нетерпением новым.
Но эта женщина в лиловом
откуда? И зачем она
ступает по корням словым
в прекрасном парке давних лет?
И там, где парк впадает в лес,
лесничий ею очарован.
Развязевый! Как он смел взглянуть
прилежным взором благосклонным?
Та, в платье нежном и лиловом,
строга и продолжает путь.
Что мне до женщины в лиловом?
Зачем меня тоска берет,
что будет этот детский рот
ничтожным кем-то поцелован?
Зачем мне жизнь ее грустна?
В дому, ей чуждом и суровом,
родимая и вся в лиловом,
столь не желавшей умирать, —
все ж умереть?

А где тетрадь,
чтоб грусть мою упрочить словом?

1963



Борис Пастернак

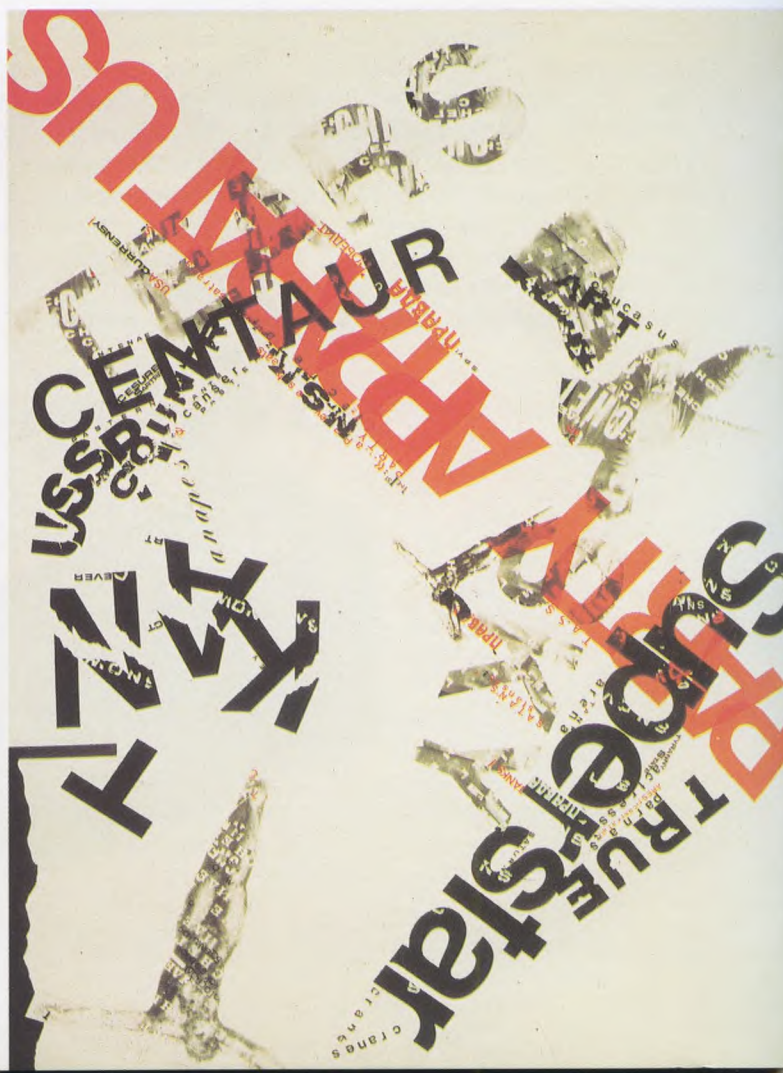
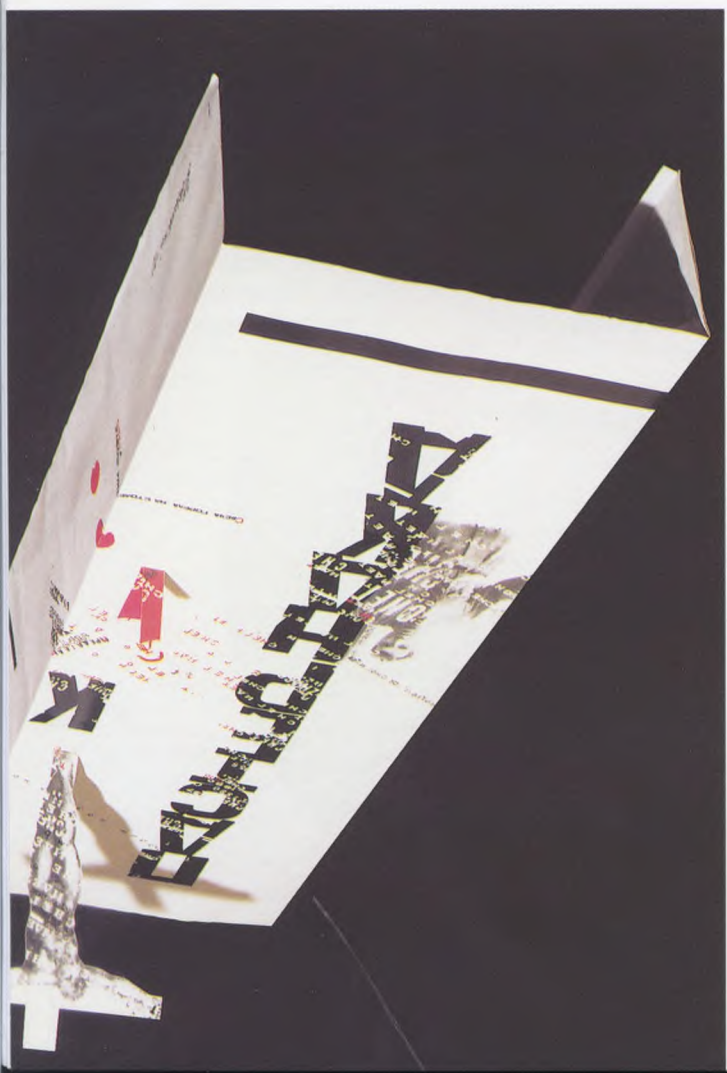
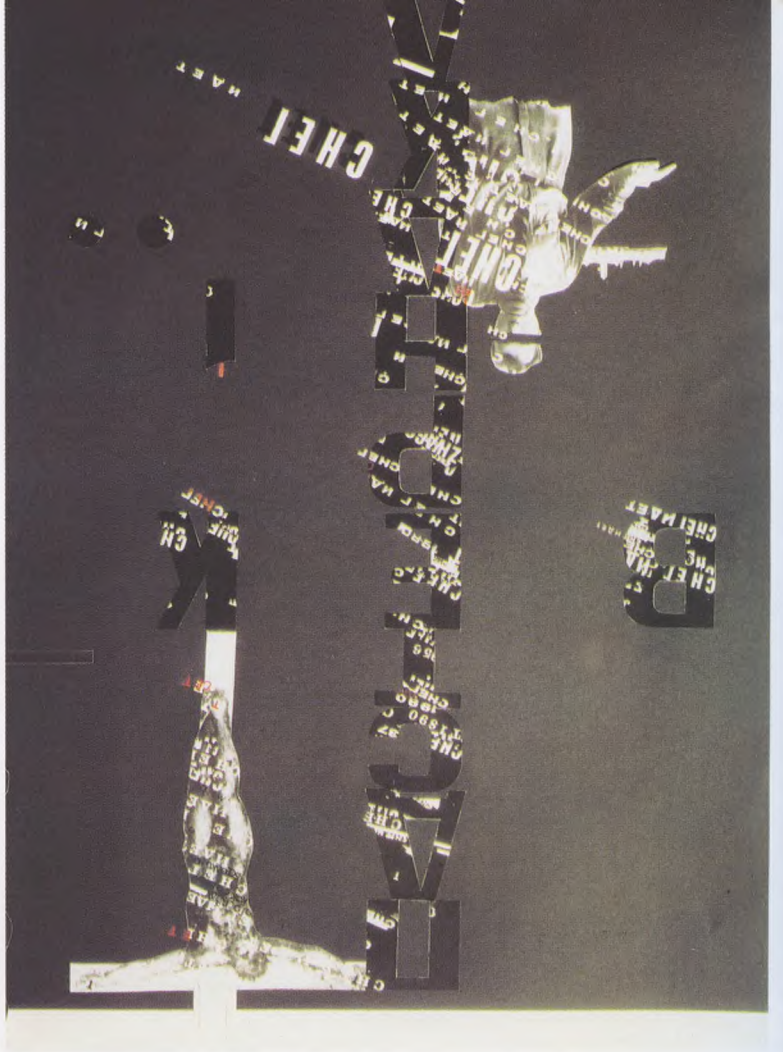
ИМПРОВИЗАЦИЯ

Я клавишей стаю кормил с руки
Под хлопанье крыльев, плеск и клекот.
Я вытянул руки, я встал на носки,
Рукав завернулся, ночь терлась о локоть.

И было темно. И это был пруд
И волны.— И птиц из породы люблю вас,
Казалось, скорей умертвят, чем умрут
Крикливые, черные, крепкие клювы.

И это был пруд. И было темно.
Пылали кубышки с полуночным дегтем.
И было волною обглодано дно
У лодки. И грызлись птицы у локтя.

И ночь полоскалась в гортанях запруд.
Казалось, покамест птенец не накормлен,
И самки скорей умертвят, чем умрут,
Рулады в крикливом, искривленном горле.





Нина Искренко

Но мало Искусства в игре выхлопных
труб
Но мало Искусства и это дурной
знак

К ЛИКУ СТРЕМИТСЯ ИСКУССТВО

«У художников глаза зоркие, как у голодных», — заметил однажды В. Хлебников. Да, хороший портрет — всегда знак и символ, всегда биография личности и характеристика времени. И потому создание галереи поэтического портрета XX века внутри антологии русской поэзии как некое расширение ее художественного пространства казалось идеей не просто заманчивой — убедительной, увлекающей, создающей необходимую стереоскопию видения.

Этот труд перед вами: поэт как «портретная личность» XX века — лицо и маска, облик и образ, творчество и судьба.

Портретист, как известно, не только изображает свою модель, но и включает собственное «я» в это исследование. Иногда мы узнаем в портрете его автора раньше, чем его оригинал. Портрет это всегда контакт, общение, в каждом случае имеющее свою дистанцию. Для художника умение выбрать и выдержать эту дистанцию — дело труднейшее и способность редчайшая. Поэтому и в портретах помимо сходства, правдивого изображения наружности важен и этот диалог модели и художника в общем контексте времени, культуры. В одних случаях этот контекст вполне восстановим, ибо конкретен — если речь идет о современниках, единомышленниках, людях одной культурной среды. В других, когда дистанция измеряется годами, поколениями, более откровенно и ярко проявляется в портрете то, что прежде так любили называть социальным заказом эпохи.

И те, и другие портреты включены в нашу галерею, но, конечно, предпочтение отдавалось портрету «с историей» взаимоотношений автора и его модели, автопортрету, дружеской зарисовке, шаржу. Естественно, что графический портрет, как более непосредственный и подвижный, оказался преобладающим. И все же лакун обнаружилось предостаточно.

И тогда необходимым и существенным дополнением изоряда стала фотография. Это и ху-

дожественный фотопортрет работы известных мастеров, и уникальное своей единичностью и документальностью фото, и даже выразительный любительский снимок при отсутствии изображений иного качества...

Начало столетия отмечено расцветом портретного искусства, во многом обусловленного самой атмосферой «серебряного века», когда художники и их модели были связаны глубоко — общим мироощущением, общей причастностью к переломной эпохе истории и культуры. Мечту художников объединения «Мир искусства» о жизни, пронизанной красотой, их портретируемые — поэты, литераторы, актеры, люди символистского круга — часто пытались осуществить в реалиях собственных судеб, стремясь преодолеть традиционную раздвоенность искусства и жизни. В эту эпоху «зрелищных» биографий, совмещавших реальность и миф, роль портрета, как образа-символа, была чрезвычайно велика. Созданный «заранее», он мог определить, даже диктовать восприятие поэтического текста.

В 1907 году по заказу издателя «Золотого Руна» Рябушинского К. Сомов делает портрет А. Блока. Уже тогда «трагический тенор эпохи», как назвала Блока А. Ахматова, воспринимался современниками не просто великим поэтом, но и личностью мифологизированной, пророком, сказавшим горькие и точные слова о своем времени. Таков он и на портрете Сомова — отрешенное лицо и «взгляд бесцветный... очей божественно-пустых» (Вяч. Иванов). «В глазах Блока, таких светлых и как будто красивых, было что-то неживое, — отмечал Г. Чулков, — вот это, должно быть, и поразило Сомова». Кажется, будто в трагической маске поэта сфокусировано все содержание эпохи — с утонченностью и скепсисом, иронией и надрывом, неудовлетворенностью и бессилием...

В тех же правилах «миriskуснического портрета», где модель как бы демонстрирует себя

миру, выполнены портреты Серова, Бакста, Бенуа, Добужинского, прочно установившие образ того или иного поэта в сознании читателей. Поэтому столь велик был соблазн наряду с классикой, как бы для сравнения, поместить в портретном ряду поэтов начала века и менее известные их изображения, например портретные зарисовки Т. Гиппиус, ее сестры З. Гиппиус и Д. Мережковского, офортный портрет А. Белого работы его жены А. Тургеновой и другие.

В 1913 году С. Малютин, начинавший когда-то с кустарной талашкинской мебели и майолики, получил звание академика художеств. К этому времени он овладел многими жанрами — пейзажем, книжной иллюстрацией, театральной декорацией — и увлекся портретами, задумав «вести галерею выдающихся современников». В. Брюсов, бесспорно, принадлежал к их числу. «Не будете ли Вы добры пожаловать для писания портрета ко мне во вторник 12 сего февраля», — писал художник Валерию Яковлевичу 8 февраля 1913 года.

Портрет был представлен на выставку «Союза русских художников», а для Брюсова Малютин сделал фрагментарную копию — с головы. «Меня глубоко тронуло, что Вы после нашего краткого знакомства не только не забыли меня, но сохранили обо мне память и как художник, и как человек, — благодарил Брюсов за картину. — Потому-то и вторично написали мой портрет и захотели его подарить именно мне. Еще раз большое Вам спасибо и за эту память, и за то, что Вы захотели дать мне радость дважды видеть самого себя на полотне».

Молодому «поколению поэтов «серебряного века» была свойственна общехудожественная одаренность, с перевесом живописных и музыкальных начал», — писал Б. Пастернак. Никогда еще поэзия и искусство не сходились так близко. При этом слово явно следовало за живописью, поскольку именно от нее исходил мощный импульс, меняющий эстетическое сознание века. Поэты занимались живописью, художники писали стихи. И тогда рифмы, интонации стиха преломлялись в линиях и красках, творились «картины из слов» и «стихокартины», «взлетали» литографированные книжки, наряженные в футуристические одежды — на обоях, сатине, с яркими цветными наклейками и текстом, написанным самим автором или художником («самописьмо»). Естественно, что личность, вырывавшаяся из своих границ, вглядывающаяся в себя как в целый мир, сама просилась на портрет. В нем стихия слова и страсть к изображению мысли как бы успокаивались, приходили к гармонии и, просвечивая друг сквозь друга, выражали самое главное — духовную сущность человеческого образа. Лица превращались в лики.

«К лику стремится искусство... Ликом познается безликое», — считал поэт и художник М. Волошин. «Человек — та мгновенная точка, через которую одна вечность перетекает в другую, мгновение становится вечностью и вечность мгновением». Так возникает в его творчестве большой цикл стихотворных портретов «Облики», а в графике наряду с пейзажем — серия портретов и автопортретов.

Автопортрет или приправленный самоиронией шарж есть некое самопрочтение: серьезное познание «высшей тайны» собственного лика или только его знак, отмеченный шуточным росчерком. Притягательные возможности автопортрета настолько велики, что трудно назвать рисующего поэта, не оставившего своего автоизображения. У Волошина их около пятидесяти, у Хлебникова — два. Один из них — «вечный образ», необычный, предельно наполненный поэтическим словом. В нем все реально и символично: внешнее сходство, представление о себе как о поэте и даже сопровождающая надпись — «Заседания общества изучения моей жизни...».

С автопортретом Хлебникова в чем-то неуловимо схож автопортрет Н. Заболоцкого. Поэт необычайной, почти наглядной осязаемости вещей, предельной изобразительной живописности образа, Заболоцкий увлекался искусством П. Филонова и сам пробовал рисовать в его стиле. Идеи Филонова в живописи были близки поэтическим идеям Хлебникова, на творчество которого опирался в своей «сюрреалистической» странности образов Заболоцкий. Импульс, идущий от Хлебникова и Филонова, явно проявился и в его ранних стихах, и в автопортрете, дающим скорее анализ лица, чертеж натуры, ее метафорическую формулу.

Маяковский, растворивший полосатую кофту и цилиндр футуриста в давящем нагромождении плоскостей города, уже не лик — маска, миф, живописная декорация, играющая подчиненную роль по отношению к стихам, в которых «я» поэта выплескивалось вызывающе и дерзко. Иначе увидел Маяковского его друг и соратник поры футуризма М. Ларионов. Они встретились в 1922 году в Берлине, провели несколько вечеров в спорах об искусстве, и тот плывущий, слегка расслабленный образ поэта, который открыл в своем наброске Ларионов, принципиально отличался от облика «глашатая и главаря» революции, классически известного по фотопортретам Родченко.

К сожалению, рисунок Ларионова из нашей подборки выпал: один-единственный раз Евгений Евтушенко воспользовался правом вето составителя и попросил показать поэта «красивым, двадцатидвухлетним», каким он ему всего дороже и ближе... Тогда мы выбрали портрет Маяковского работы Л. Жегина, выполненный для первой книги поэта «Я». «Автопортрет

в желтой кофте» — живописная параллель к сборнику «Кофта фата», подготовленного к изданию в 1918 году. Известно, что, прежде чем стать поэтом, Маяковский учился на живописца. Уйдя в стихи, обретенных навыков не бросал. Просто так, из любви к искусству, охотно рисовал портреты своих друзей и знакомых — пером, карандашом, окурком, а для заработка — карикатуры в юмористических журналах. «У него были большие способности к рисунку. Он хорошо схватывал характер. Прекрасно делал шаржи», — так оценивал художнический талант своего младшего друга поэт и художник Д. Бурлюк.

О роли и месте фотопортрета в XX веке следует сказать особо. Его популярность началась едва ли не с первых дагерротипов прошлого столетия и удерживалась долго, успешно конкурируя с портретной графикой. Заметим, что почти все известные фотомастера, такие, как Бергамаско, Здобнов, Пазетти и другие, имевшие собственные фотоателье и помещавшие фотоизображения своих клиентов на бланках с золотым обрезом и тиснением, в свое время заканчивали или Императорскую Академию художеств в Петербурге, или Училище живописи, ваяния и зодчества в Москве.

В 20-е годы писательская иконография значительно пополнилась новыми фотопортретами, буквально «впечатавшими» в читательское восприятие зрительные образы любимых авторов. Галерея портретов поэтов и писателей, созданная, например, М. Наппельбаумом, не менее своеобразна и выразительна, чем альбом блестящих, метких, темпераментных рисунков Ю. Анненкова. И в том и другом случае мы имеем дело с творческой индивидуальностью, состоявшейся внутри мощного культурного слоя времени и потому умевшей видеть больше, чем предполагала профессия.

М. Наппельбаум выпускал фотоприложение к журналу «Солнце России», работал в театре, а в его мансарде на Невском проспекте собирался кружок «Звучащая раковина», где молодые поэты восторженно внимали Н. Гумилеву. Снимая лица, Наппельбаум создавал образы порой почти абсолютные по невероятной точности поэтического восприятия или привносил неповторимый эстетический шарм в изображение модели.

Шутника и насмешника Ю. Анненкова с первых шагов привыкли считать футуристом. Человек синтетического таланта, он, безусловно, пропитан духом времени, авангардистскими идеями века. Особый секрет анненковских портретов верно подметил М. Кузмин: «Не будучи натуралистичными, они в высшей степени реальны, в большинстве случаев похожи, всегда необыкновенно живы». На этих портретах вся культурная Россия 10 — 20-х годов. В них в полной мере проявилось воображение и остроумие

Анненкова, легкость и меткость характеристик, наконец, щедро отпущенная ему судьбой «роскошь человеческого общения». И почти с каждым из известных, знаменитых, великих своих современников художник был не просто знаком — дружил, сотрудничал, имел общие воспоминания, которыми позднее поделился в мемуарах. И теперь трудно сказать, являются ли портреты иллюстрациями к ним, или сами воспоминания — литературный комментарий к ряду великолепных характеров, запечатленных графически.

Заметим также, что в нашей антологии лаконичный автопортрет художника и его поэтические строки соединены впервые.

Изначальная левизна и творческая «полигамия» были свойственны и другому художнику, следовавшему по одной орбите с поэтами века. «Жорж великолепный» называли Г. Якулова современники. Со всей страстностью и азартом, присущими его натуре, он был сначала футуристом, потом имажинистом, но всегда оставался самим собой. «Я стремился добиться в живописи умения выразить, прежде всего, свои эмоции», — писал в автобиографии Якулов. Широкую популярность принесло художнику его оформление кафе «Питтореск», о котором после революции Якулов говорил как о «мировом вокзале искусства», откуда будут провозглашаться «приказы по армии мастерам новой эры».

В этом кафе в 1918 году состоялось знакомство художника с С. Есениным, которое послужило началом их дружеских отношений. Поэт часто бывал в мастерской у Якулова, писал за его столом — «саркофагом», сделанным по собственным чертежам, читал стихи. Здесь осенью 1921 года он познакомился с Айседорой Дункан. Увлеченный работой Георгия Богдановича над проектом памятника бакинским комиссарам, Есенин, приехав в сентябре 1924 года в Баку, в одну ночь пишет свою «Балладу о двадцати шести», посвящая ее «с любовью — прекрасно-му художнику Г. Якулову».

«Я его любил, и у нас было очень много общих интересов. Он был для меня настоящим другом», — сокрушаясь о смерти Есенина, писал Якулов в одном из писем. Художник вошел в Комитет по увековечению памяти поэта, принявший решение об организации музея Есенина. Очевидно, тогда же хранительнице есенинских материалов С. А. Толстой и был подарен Якуловым ранний портрет поэта с такой надписью: «Жене друга своего Есенина подносит Георгий». Эта небольшая акварель, на которой поэт изображен крестьянским юношей с нимбом над головой, облаком в виде крыла за плечами и теленком на руках — портрет-впечатление, совмещающий образ Есенина с образом его лирического героя. Не случайно сам поэт, подписывая рисунок на обороте, зачеркнул слово

«портрет», заменив его на «лик Сергея Есенина».

Два других портрета — Мариенгофа и Ивнева — выполнены в иной манере. Это удивительно красивые вещи, напоминающие витражи, в которых реальность сочетается с вымыслом и легкой иронией... В своем «Романе с друзьями» А. Мариенгоф вспоминал, как однажды, присев возле жаркой «буржуйки», они с Есениным размышляли о золотом веке поэзии и, приближая его наступление, решили выпустить сборник «Эпоха Есенина и Мариенгофа». Неполная верстка этого невышедшего сборника сохранилась. На следующей после титульного листа странице карандашом от руки вписаны строки: «Верховному мастеру Ордена имагинистов создателю декоративной эпохи Георгию Якулову посвящают поэтическую <...> Есенин и Мариенгоф».

Рядом с «верховными мастерами» имагинистского объединения — Есениным, Мариенгофом, Якуловым, Кусиковым, Шершеневичем — братья Эрдманы были подающими надежды начинающими. В будущем они станут людьми, хорошо известными на театре. Старший, Борис, — как театральный художник, Николай — как драматург и сценарист, автор знаменитых пьес «Мандат» и «Самоубийца». А тогда, в девятнадцатом, «краса и гордость имагинистов» Н. Эрдман писал вполне имагинистские стихи, а его брат оформлял поэтические сборники.

Одной из первых его работ стала серия рисованных портретов, композиционно построенных так, чтобы они могли служить своеобразной маркой, эмблемой издательства «Имагинисты» на авторских и коллективных сборниках. Портреты достаточно условны, хотя и вполне узнаваемы. Интересно, что их фон в каждом случае играет роль выразительной декорации, иллюстрируя образный строй поэзии того или иного автора. Телец, корова, однорогий месяц — любимейшие образы Есенина той поры. Тема цирка использована в эмблеме Шершеневича — он слыл признанным мастером острот и каламбуров, жонглирующим целыми фразами на уровне циркового трюка. Поэт, «распяты в зеркальных озерах витрин, — А. Мариенгоф, эмблема выполнена по мотивам его поэмы «Магдалина».

А вот и Николай Эрдман... С его портретом связана целая история. Долго считалось, что это Рюрик Ивнев. Но оставались сомнения, и в поисках ответа на свои вопросы я отправилась к Михаилу Давыдовичу Вольпину, который в свои весьма преклонные годы сохранил живую память о тех годах и о своих друзьях... Михаил Давыдович долго разглядывал «одноглазый» портрет, а потом произнес:

— Я бы сказал, что это Колин глаз...

Так в «подозреваемые» попал Николай Эрдман. В собрании нашего музея его фотографии не оказалось. На том фото, которое в конце

концов нашлось, ему около двадцати пяти, а на рисунке, сделанном в 1919 году, — восемнадцать. Сходство вроде было, но уверенности не добавилось.

И тогда пришла мысль расшифровать фон рисунка. В Российском государственном архиве литературы и искусства хранятся ранние стихи Николая Эрдмана. И вот — удача:

«Кому же кому же в петлицу окна
Фонаря керосиновый ландыш».

На рисунке этот ландыш под стеклом керосинового фонаря прекрасно различим. И все сомнения отпали.

Если говорить о портретах, возникавших внутри одной среды общения, литературно-художественной группы, объединения, то наиболее яркий пример здесь — футуристы, рисовавшие друг друга постоянно и помещавшие свои изображения в собственных изданиях. Однако не менее интересны портреты с неожиданной историей, появившиеся как бы «в обход» групповых признаков, игрой случая.

Эстетика бунтующего футуризма, ставшего стилем современности, не могла быть приемлемой для З. Серебряковой. С детства впитавшая традиции высокой художественной культуры она росла и воспитывалась в породнившихся семьях художников Лансере и Бенуа, — постоянная участница выставок «Мира искусства», Серебрякова была далека от энтузиазма революционного обновления и кипучей деятельности по этому поводу. Но, как каждому художнику, ей необходим был зритель, творческая среда. Оказавшись в 1919 году в Харькове, Серебрякова приняла участие в первой пролетарской выставке. Обзор о ней и репродукцию с картины художницы «Беление холста» поместил на своих страницах журнал «Пути творчества», который редактировал Г. Петников. Один из «патриархов» футуризма, Петников был заметной фигурой в культурной жизни Харькова, но, думается, не положение привлекло внимание Серебряковой, выполнившей тогда его прекрасный портрет сангиной. Зная о весьма ограниченном круге общения Зинаиды Евгеньевны, можно предположить, что Петников явился для нее привлекательной моделью благодаря каким-то внутренним качествам, совпадением в творческом проявлении, не исключено — и конкретной помощи в трудных жизненных обстоятельствах. Во всем облике портретируемого ощутимо то естественное чувство красоты и гармонии, которое так умела выразить художница и которое в глубине соответствовало мироощущению Петникова, чья «футуристичность» определялась не только поисками словесных форм, но и лирическим складом души, отраженным в поэзии.

Это скрещение нитей жизни, пересечение «путей творчества» было коротким. З. Серебрякова вскоре уезжает за границу, журнал прекращает свое существование, а сам Петников с годами оказывается на периферии литературы,

занимается в основном переводами, живет в Крыму, где в 60-е годы издает несколько небольших сборников стихов...

Нам еще предстоит познакомиться — и настоящее издание тому способствует — с поколением талантливых молодых людей начала века, которые жадно искали свои, новые пути в искусстве и преуспели бы в этом, если бы не наступивший «ледниковый» период в культуре, отторгнувший, уничтоживший, снівелировавший все многообразие творческих поисков и индивидуальностей. Они не погибли, не уехали, не стали мутантами — просто рассеялись, затихли, просуществовали карликовыми особями, сохраняя при этом живую душу, зерно породы.

Судьба М. Синяковой — из этого ряда. «Синие оковы» сестер Синяковых воспеты многократно Хлебниковым, Пастернаком, Асеевым, — их дом всегда привлекал своей открытостью, приверженностью идеям литературного и художественного авангарда, эксцентричностью и независимостью. Здесь складывался кружок «Лирика», выросший в литературное объединение «Центрифуга» во главе с Г. Петниковым и С. Бобровым, к которым затем примкнули Б. Пастернак, К. Большаков, у сестер бывали В. Маяковский, В. Каменский, Д. Петровский и многие другие поэты, художники. «Синяковых пять сестер. Каждая из них по-своему красива. Жили они раньше в Харькове... В их доме родился футуризм. Во всех них был поочередно влюблен Хлебников, в Надю — Пастернак, в Марию — Бурлюк, в Веру — Петников, на Оксане женился Асеев», — вспоминала Л. Брик. В начале пути столь многообещающая, одаренная самобытным талантом художница, Мария Синякова затем почти исчезает из художественного круга современников, на многие годы лишается зрителей, творческих контактов... Малоизвестны ее ранние работы, среди которых есть и писательские портреты. В нашем музее хранится альбом, который бережно собрал знаменитый футурист, один из персонажей синяковской галереи — А. Крученых. Десять портретов под номерами. Что означают эти цифры? Подсказкой послужила вклеенная в альбом вырезка из какого-то журнала, на которой все десять работ сфотографированы вместе. Удалось определить — это была организованная ГАХНом (Государственной академией художественных наук) выставка к 20-летию революции 1905 года. В выставке приняли участие и пролетарские поэты, и «попутчики», был и ЛЕФ.

С Марией Синяковой жизнь обошлась круто. Исключили из Союза художников. Рисовала для атласа лекарственные растения, раскрашивала игрушки... Когда восстанавливали в Союзе после 1956 года, о своих «портретных увлечениях» Мария Михайловна не упомянула. Ее можно понять — не те имена: Северянин, Гумилев, Ахматова, Есенин, Брюсов, Брик...

...Шумные пестрые 20-е годы. Уходил в прошлое «серебряный век» — уплывал на кораблях из Новороссийска, уезжал в Берлин, Прагу, Париж, с тем чтобы, обосновавшись там, стать истоком, исходом новой культуры — культуры русского зарубежья. А здесь, в России, еще не затихли дебаты и споры о месте поэта и поэзии в обществе, еще собирались студенческие и литературные кружки, гудел стихами Политехнический, еще сочинялись экспромты и пародии и к ним шаржи, карикатуры, вносящие юмор и шутку в литературный быт, но смена эпох в культуре уже произошла. Это заметно и по писательскому портрету. Время изменило сам стиль рисунка. «Это был уже другой рисунок, чем у объективных и точных «гурманов» архитектуры — петербургских мирискусников, — писал В. Милашевский. — Принципиально другой, вырастающий из других участков мозга нашей психики». Несрепетированный, импровизационный рисунок, набросок, эскиз, в котором темп исполнения задавала быстрота реакции рисовальщика на перемены в лицах, изменчивость поз, эмоций — отличительная примета графики 20-х годов. Всякая выделанность, выточенность, отсутствие «порыва» воспринимались новым поколением художников как ремесленничество. Свободный жест, свободное нанесение штриха на бумагу как отражение темперамента художника — таковы портреты В. Милашевского, изорепортажи В. Беляева. В них воздух тех лет, художественная стенограмма времени.

Если вначале почти все представители литературно-художественного авангарда выступили в поддержку революционных преобразований, то последующее размежевание сил завершилось утверждением официального искусства в качестве «искусства социалистического реализма». Это уже постистория — история изолированного существования поэта и художника, разобщения бывших друзей, соратников, время уничтожения надежд, злобной критики и репрессий.

Последнее творческое объединение поэтов — ОБЭРИУ закончило свое существование в 1931 году. Некоторое время они еще продолжали видеться — шаржированные портреты участников встреч оставил Д. Хармс в своих записках «об одной компании». К ним как нельзя более подходит самоназвание К. Вагинова: «поэты трагической забавы». Что же до судеб, то слово «забава» придется и вовсе опустить. Культуру государство кроило по своему вкусу, предпочитая заказывать все, что нужно, по установленным идеологическим образцам. Дистанция между художником и его моделью также устанавливалась сверху. Так формировался официальный портрет «передового человека эпохи» — политического деятеля, стахановца,

метростроевца, писателя. «Инженеры человеческих душ» в исполнении даже очень талантливых художников имели какое-то общегражданское выражение лица. Образ одноликого времени в этих портретах явно возобладал над образом личности.

Но искусство неистребимо, в нем нет ничего абсолютно мертвого. Что же касается портрета, то именно он, как справедливо отмечал Л. Пастернак, «даже в периоды радикальных изменений и во времена упадка всегда возвращал искусство на здоровый путь наблюдения, поисков, искреннего изучения природы и правдивой передачи ее». Чувство природы и чувство правды всегда присутствовали в портретах Корина и Лентулова, Осмеркина и Фалька...

Сегодня трудно представить, что портрет мог быть объектом идеологической цензуры или политической борьбы, но тому есть примеры.

«Этот мистический портрет Горького, изображающий его идущим по какой-то пустыне, отдаленным от человечества, мне кажется интересным только тем, что в нем изображены величайшая боязнь и страх умирающих классов перед великим глашатаем пролетарской художественной литературы», — писал в 1938 году в Главлит директор Гослитмузея В. Бонч-Бруевич. Речь идет об известном портрете кисти П. Корина. Этим портретом было решено заменить другой портрет писателя — работы В. Яковлева, — предполагавшийся к публикации в одном из томов «Литературного наследства». Реакция на запрет, на однозначное решение, «какой Горький нам нужен», была высказана в соответствующей форме. Настаивая на публикации портрета Яковлева, Бонч-Бруевич был пристрастен и категоричен: «Мы привыкли к портретам Горького, лицо которого почти ничего не выражает, если не сказать больше, что некоторые рисуют лицо Горького прямо бессмысленным... И мне было бы ужасно больно, если бы вместо этого действительного Горького подменили бы его портрет той отвратительной иконописью, которую изобразил художник Корин... Все это заставляет меня просить Вас пересмотреть Ваше решение и разрешить дать этот портрет широким трудящимся массам, которые увидят незабвенного Алексея Максимовича таким, каким он был на самом деле».

Наш выбор и здесь оказался нейтральным, хотя и не без некоторого подтекста, подсказанного реалиями жизни. Большому портрету из Третьяковки мы предпочли другую коринскую работу из собрания ГЛМ — первый посмертный портрет писателя, выполненный на основе натурального рисунка на даче в Тессели, в Крыму. Заканчивая портрет, Корин поместил Горького в его кабинет в подмосковных Горках, где для фигуры писателя позировал его старый приятель Иван Павлович Лодыжников, одетый в серый костюм Алексея Максимовича.

А. Ахматову охотно писали, лепили, рисовали многие мастера и среди них такие известные, как Н. Альтман, К. Петров-Водкин, Ю. Анненков, Л. Бруни, И. Тырса, А. Тышлер, и каждый из этих портретов по-своему выразителен и своеобразен. Ахматова была увлекательной, эффектной моделью — ее внешний облик так отчетливо и красноречиво передавал личность, ее богатство и духовность, что рядом с этим лицом другие казались неопределенными, смазанными.

О встрече с художником, «нищим», «без тени признания», «окруженным кольцом одиночества», Ахматова позже рассказала в мемуарном очерке «Амадео Модильяни». Они познакомились в 1910 году в Париже, часто встречались, читали друг другу стихи на скамье в Люксембургском саду, радуясь, что помнят и любят одни и те же строки. Это было начало истории, которую И. Бродский шутливо назвал: «Ромео и Джульетта в исполнении особ царствующего дома». При новой встрече в 1911 году Модильяни много рисовал Ахматову и рисунки дарил ей. «Их было шестнадцать, — пишет Ахматова. — Он просил, чтобы я их окантовала и повесила в моей комнате. Они погибли в первые годы революции. Уцелел тот, в котором меньше, чем в остальных, предчувствуются его будущие «ню»...».

Недавно «одиночество» этого листа было нарушено сенсационной находкой — десятью альбомными рисунками Модильяни того же цикла, обнаруженными в Венеции генуэзским славистом Августой Бобель. Два из них мы перепечатаем из парижской газеты «Русская мысль».

И еще об одном портрете А. Ахматовой, помещенном в нашей антологии. В 1940 году, закончив портрет, А. Осмеркин написал на обороте холста: «Белая ночь. Ленинград». Несколько отойдя от общей традиции, художник создал портрет-картину, подчеркнув особенность, значительность личности «внутренними эффектами, глубиной «подтекста»: самой атмосферой Шереметьевского дворца, в котором, по преданию, Кипренский писал свой знаменитый портрет Пушкина, таинственностью старинного сада, зыбким светом белой ночи, поэтической и тревожной. Для Ахматовой Фонтанный Дом и сад — это не только и не столько домашний кров (она не умела вить гнезд), сколько место свиданий с Музой — «милой гостьей с дудочкой в руке». В дальнейшем существовании портрета время и место его создания стали играть особую роль, наполняясь новыми смыслами, вызывая ассоциации, обусловленные и зрительским, и читательским восприятием — стихами «Реквиема», «Поэмы без героя»... Портрет словно обрел черты документальности, также обозначив собой время, трагический образ тех, кто хранил память, и какую бы боль она ни причиняла, противостоял «ужасу забвения».

Портреты 40—50-х годов немногочисленны

и более чем скромны по своим художественным достоинствам. И это тоже знак — нанесенной пробоины, почти пустоты, сопровождавшей смену поколений и эпох.

Недописанные стихи ушедших на фронт поэтов невосполнимы. Так же невосполнимы и ненаписанные с них портреты. Их лица остались лишь на нескольких фотографиях — школьных, студенческих и военных.

Среди многих друзей, учеников, бесчисленных знакомых А. Штейнберга Б. Свешникова не назовешь человеком случайным. Хотя познакомил их действительно случай — в лагере на Ухте, где девятнадцатилетний юноша вряд ли бы выжил на общих работах, когда б не высокий человек в офицерской шинели — недавний фронтовик, «опытный» ЗК (сидел второй раз) и лагерный фельдшер, оставшийся поэтом и художником, — Аркадий Акимович Штейнберг. Выяснив, что в зоне находится талантливый молодой художник, он помог ему перейти в ночные сторожа, а значит, выжить, заниматься своим делом — писать и рисовать в «ночную смену». После семи лет лагеря и хрущевской амнистии, освободившей обоих, Свешников, по совету Штейнберга, поселился в Тарусе. Здесь, по-видимому, и был сделан публикуемый нами портрет Акимыча, как называли Штейнберга в этом городе поэтов, художников и бывших политзаключенных, находящемся за 101-м километром от Москвы.

Художественный портрет поэтов русского зарубежья пока недостаточно ясен, поскольку малодоступен, подобен неоткрытому материку или пустующей клетке в таблице Менделеева. Редкости, вроде портрета В. Парнаха работы П. Пикассо, ценны своей неожиданностью, почти случайностью. Слабая любительская фотография или снимок из авторского сборника — порой единственное доступное на сегодня изображение того или иного поэта.

Прерывание традиции — всегда беда. Риском отметить, что в «оттепельные» и последующие за ними годы нового расцвета в жанре поэтического портрета не произошло. Опять загудел стихами Политехнический. Голоса поэтов зазвучали на днях поэзии, у памятников их великим предшественникам. Полулегальные выставки художников привлекали толпы поклонников. Самиздат — чем не рукотворная книга другой половины века — восполнял вымаранные из литературы имена и тексты, но идеологический «бульдозер» при этом работал исправно, не только срывая абстракционистов и «прочих формалистов», но заодно и уничтожая тот плодоносный слой культуры, на котором, как кажется, могли бы возродиться традиции литературно-художественного авангарда начала века.

Конечно, новые поэтические портреты появились, но не они стали художественным выра-

жением времени и его поэзии. То ли слишком важна — «чтоб не пропасть поодиночке» — была круговая порука, это объединительное «мы», сдерживающее свободу проявления индивидуального в современниках, что для портрета не слишком благоприятно, то ли технический прогресс с его мощным каналом визуальной информации — кино, телевидение, вездесущий фотообъектив — заполнил вакуум. Так или иначе, фотография, даже фотопортрет — репортаж, мгновение, случайно схваченное аппаратом, — оказались точнее, емче, правдивее многих иных изображений, а живой голос барда, записанный на магнитофонную ленту, «портретнее» всего прочего. Согласимся, что все это явления массовой культуры, а отнюдь не «высокого» искусства, но в ней — тот же знак времени и его портретный отпечаток.

Еще одной приметой стало и то, что над портретами поэтов-современников возобладали «ретро» портреты. Прорывавшиеся сквозь заслоны и тернии имена, строфы и строки открывались новыми поколениями заново и потрясали именно свободой и независимостью личности. Отсюда — ряд новых портретов Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама, Маяковского, Есенина, Гумилева, что называется, «в современном прочтении».

Таков, например, выбранный нами для книги ромадинский портрет А. Платонова. Портрет-легенда, портрет-притча, который строится по тем же законам художественного стиля, что и платоновская проза, — от иносказания до бытового эпизода, от философского раздумья до лирического переживания. На выбор этого портрета повлияло, разумеется, и то обстоятельство, что прижизненных портретов Платонова просто нет. Фотографий-то одна-две...

И все же, пытаюсь представить портрет конца века, мы старались sobлюсти «кольцевую рифму»: найти автопортрет, писательский шарж или набросок, портрет поэта, выполненный другим поэтом или возникший в дружеском семейном кругу.

Один из самых интересных — портрет Арсения Тарковского, выполненный писателем Юрием Ковалем. Тарковский собственноручно написал на холсте свои стихи:

«Хвала измерившим высоты
Небесных звезд и гор земных
Глазам за свет и слезы их...»

Конечно, нельзя не вспомнить рисунки И. Бродского, работы Л. Кропивницкого, портрет Д. Андреева, выполненный его женой — А. Андреевой, и самый стремительный по душевному отклику — портрет Г. Шпаликова работы того же Ромадина.

Когда-то Михаил Николаевич выполнил графический портрет Геннадия Шпаликова для оборота титульного листа его книжки. С книги переснимать не хотелось. Решили обратиться

к художнику, к счастью, застав его в России. Михаил Николаевич на просьбу откликнулся без раздумий («О чем речь, Гена был моим другом») — за ночь повторил портрет — да в цвете! — а утром улетел в Париж... Так что в нашей антологии — первая и пока единственная публикация этой работы, сделанной за несколько месяцев до выхода книги...

Мы благодарим всех, кто принял участие в подготовке портретной галереи тома, — Государственный литературный музей, чья коллек-

ция представлена здесь лучшими своими вещами и наиболее полно, а также художников, поэтов, коллекционеров и собирателей, предоставивших свои материалы для работы, — А. Андрееву, Е. Витковского, Б. Жутовского, Л. Кропивницкого, В. Леонидова, А. Наумова, А. Парниса, В. Перельмутера, Л. Турчинского.

Лариса АЛЕКСЕЕВА,
сотрудник Государственного литературного
музея

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

I

1. **К. РОМАНОВ.** 1900-е.
2. **Д. РАТГАУЗ.** 1910.
3. **Вл. СОЛОВЬЕВ.** 1890-е.
4. **К. СЛУЧЕВСКИЙ.** 1900.
5. **К. БАЛЬМОНТ.** 1905.
Художник В. СЕРОВ
6. **Вяч. ИВАНОВ.** 1906.
Художник К. СОМОВ
7. **В. БРЮСОВ.** 1913.
Художник С. МАЛЮТИН
8. **А. БЛОК.** 1907.
Художник К. СОМОВ
9. **В. НАРБУТ.** 1912.
Художник М. ЧЕМБЕРС-БИЛИБИН
10. **З. ГИППИУС** (1912).
Художник Т. ГИППИУС
11. **Д. МЕРЕЖКОВСКИЙ.** 1910.
Художник Т. ГИППИУС
12. **И. АННЕНСКИЙ.** 1909.
Художник А. БЕНУА
13. **К. ФОФАНОВ.** 1890-е.
Рисунок А. ФОФАНОВА
14. **А. БЕЛЫЙ.** 1910-е.
Художник А. ТУРГЕНЕВА
15. **Н. ГУМИЛЕВ.** 1911—1912.
16. **С. ПАРНОК.** 1890-е.
17. **М. ЛОХВИЦКАЯ.** 1890-е.
18. **Н. МИНСКИЙ.** 1890-е.
19. **В. КОМАРОВСКИЙ.** 1890-е.
20. **Е. ДМИТРИЕВА.** 1910-е.
21. **Г. АДАМОВИЧ.** 1915—1916.
22. **Н. БУЧИНСКАЯ (ТЭФФИ).** 1890-е
23. **И. СЕВЕРЯНИН.** 1910-е.
Художник Е. ГОЛЬДИНГЕР
24. **В. ШИЛЕЙКО.** 1923.
Художник М. ФАРМАКОВСКИЙ
25. **М. ВОЛОШИН.** 1919.
Автопортрет
26. **П. СОЛОВЬЕВА.** 1910-е.
Рисунок М. ВОЛОШИНА
27. **САША ЧЕРНЫЙ.** 1910-е.
Художник В. ФАЛИЛЕЕВ
28. **О. МАНДЕЛЬШТАМ** (1913).
Художник А. ЗЕЛЬМАНОВА
- 29—30. **А. АХМАТОВА** (1911).
Художник А. МОДИЛЬЯНИ
31. **Г. ПЕТНИКОВ.** 1920.
Художник Г. СЕРЕБРЯКОВА
32. **Г. ЧУЛКОВ.** 1910.
Художник Е. ЛАНСЕРЕ
33. **Ю. БАЛТРУШАЙТИС.** 1912.
Художник Л. ПАСТЕРНАК
34. **Д. БЕДНЫЙ.** 1919.
Художник Л. ПАСТЕРНАК
35. **А. КРУЧЕНЫХ** 1910-е.
Художник Н. КУЛЬБИН
36. **Б. ЛИВШИЦ.** 1914.
Художник Н. КУЛЬБИН
37. **Е. ГУРО.** 1910.
Художник В. БУРЛЮК
38. **В. ХЛЕБНИКОВ.** 1916.
Художник В. МАЯКОВСКИЙ
39. **В. ХЛЕБНИКОВ.** 1909.
Автопортрет
40. **В. КАМЕНСКИЙ.** 1917.
Художник Д. БУРЛЮК
41. **В. МАЯКОВСКИЙ.** 1918.
Автопортрет
42. **Н. БУРЛЮК.** 1913.
Художник В. БУРЛЮК
43. **Д. БУРЛЮК.** 1915.
Художник В. МАЯКОВСКИЙ
44. **В. МАЯКОВСКИЙ.** 1913.
Художник Л. ЖЕГИН
45. **И. ОДОЕВЦЕВА.** 1910-е.
Художник Е. КРУГЛИКОВА

46. **Н. ГУМИЛЕВ.** 1910-е.
Художник *Е. КРУГЛИКОВА*

47. **С. БОБРОВ.** 1910-е.
Художник *Е. КРУГЛИКОВА*

48. **А. РАДЛОВА.** 1910-е.
Художник *Е. КРУГЛИКОВА*

II

1. **Б. ПАСТЕРНАК.** 1930.
Художник *Н. ВЫШЕСЛАВЦЕВ*

2. **Ф. СОЛОГУБ.** 1927.
Художник *Н. ВЫШЕСЛАВЦЕВ*

3. **И. ЗДАНЕВИЧ.** 1913.
Художник *Н. ГОНЧАРОВА*

4. **В. ПАРНАХ.**
Художник *П. ПИКАССО*

5. **Ю. АННЕНКОВ.** 1922.
Автопортрет

6. **В. ПЯСТ.** 1921.
Художник *Ю. АННЕНКОВ*

7. **К. ЧУКОВСКИЙ.** 1921.
Художник *Ю. АННЕНКОВ*

8. **Г. ИВАНОВ.** 1921.
Художник *Ю. АННЕНКОВ*

9. **Вл. ХОДАСЕВИЧ.** 1915.
Художник *В. ХОДАСЕВИЧ*

10. **К. ЛИПСКЕРОВ.** 1918.
Художник *В. ХОДАСЕВИЧ*

11. **М. ВОЛОШИН.** 1915.
Художник *Б. КУСТОДИЕВ*

12. **М. ЦВЕТАЕВА** (1915).
Художник *М. НАХМАН*

13. **С. ЕСЕНИН** (1919).
Художник *Г. ЯКУЛОВ*

14. **А. МАРИЕНГОФ** (1920).
Художник *Г. ЯКУЛОВ*

15. **Р. ИВНЕВ** (1920).
Художник *Г. ЯКУЛОВ*

16. **С. ЕСЕНИН.** 1919.
Художник *Б. ЭРДМАН*

17. **А. МАРИЕНГОФ.** 1919.
Художник *Б. ЭРДМАН*

18. **Н. ЭРДМАН.** 1919.
Художник *Б. ЭРДМАН*

19. **В. ШЕРШЕНЕВИЧ.** 1919.
Художник *Б. ЭРДМАН*

20. **В. ЭРЛИХ.** 1924.
Фото *М. НАППЕЛЬБАУМА.*

21. **И. ЭРЕНБУРГ.** 1920-е.
Фото *М. НАППЕЛЬБАУМА.*

22. **М. ШАГИНЯН.** 1927.
Фото *М. НАППЕЛЬБАУМА.*

23. **М. ШКАПСКАЯ.** 1925.
Фото *М. НАППЕЛЬБАУМА.*

24. **С. КЛЫЧКОВ.** 1928.
Фото *М. НАППЕЛЬБАУМА.*

25. **Г. ШЕНГЕЛИ.** 1920-е.
Фото *М. НАППЕЛЬБАУМА.*

26. **И. ГРУЗИНОВ.** 1924.
Фото *М. НАППЕЛЬБАУМА.*

27. **И. СЕЛЬВИНСКИЙ.** 1927.
Фото *М. НАППЕЛЬБАУМА.*

28. **А. ГРИН.** 1925.
Художник *В. МИЛАШЕВСКИЙ*

29. **М. КУЗМИН.** 1920.
Художник *В. МИЛАШЕВСКИЙ*

30. **О. САВИЧ.** 1920-е.
Художник *А. КУРЕННОЙ*

31. **Б. САДОВСКОЙ.** 1920-е.
Художник *Б. КУСТОДИЕВ*

32. **М. ЗЕНКЕВИЧ.** 1920-е.
Художник *А. КРАВЧЕНКО*

33. **В. ЗВЯГИНЦЕВА.** 1930.
Художник *К. ЮОН*

34. **Д. ПЕТРОВСКИЙ.** 1920-е.
Художник *М. СИНЯКОВА*

35. **А. КРУЧЕНЫХ.** 1924.
Художник *М. СИНЯКОВА*

36. **С. ТРЕТЬЯКОВ.** 1924.
Художник *М. СИНЯКОВА*

37. **Н. АСЕЕВ.** 1924.
Художник *М. СИНЯКОВА*

38. **С. ГОРОДЕЦКИЙ.** 1926.
Художник *В. БЕЛЯЕВ*

39. **А. АДАЛИС.** 1928.
Художник *В. БЕЛЯЕВ*

40. **Ю. ВЕРХОВСКИЙ.** 1928.
Художник *В. БЕЛЯЕВ*

41. **Б. КОРНИЛОВ.** 1926.

42. **М. СВЕТЛОВ.** 1920-е.

43. **А. БЕЗЫМЕНСКИЙ и И. УТКИН.** 1927.

44. **М. ГОЛОДНЫЙ и А. ЖАРОВ.** 1922.

45. **И. САВИН.** 1920-е.

46. **И. БУНИН.** 1928.
47. **А. ВЕРТИНСКИЙ.** 1930-е.
48. **В. НАБОКОВ.** 1930-е.
49. **М. ГОРЬКИЙ.** 1937.
Художник П. КОРИН
50. **А. ТОЛСТОЙ.** 1940.
Художник П. КОРИН

III

1. **М. КУЗМИН.** 1934.
Художник Н. РАДЛОВ
2. **Э. БАГРИЦКИЙ.** 1933.
Художник П. МИТУРИЧ
3. **Вс. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.** 1932.
Художник Н. РАДЛОВ
4. **В. ИНБЕР.** 1920-е.
Неизв. художник
5. **И. УТКИН.** 1932.
Художник А. ЛЕНТУЛОВ
6. **Н. КЛЮЕВ.** 1931.
Художник А. ЯР-КРАВЧЕНКО
7. **Н. ЗАБОЛОЦКИЙ.** 1925.
Рисунок Д. ХАРМСА
8. **Д. ХАРМС.** 1933.
Автопортрет
9. **А. ВВЕДЕНСКИЙ (?)**. 1920-е.
Рисунок Д. ХАРМСА
10. **К. ВАГИНОВ.** 1930-е.
Художник Н. РАДЛОВ
11. **Н. ЗАБОЛОЦКИЙ.** 1930-е.
Автопортрет
12. **Ю. ОЛЕША.** 1940-е.
Автопортрет
13. **Р. БЛОХ.**
Художник Н. БРОДСКАЯ
14. **Б. ПОПЛАВСКИЙ.**
Художник М. БЛОНД
15. **М. ГОРЛИН.**
Художник Н. БРОДСКАЯ
16. **Н. ТИХОНОВ.** 1928.
Художник Г. ВЕРЕЙСКИЙ
17. **Я. СМЕЛЯКОВ.** 1933.
Художник В. ГОРОБЕЦ
18. **В. ЛУГОВСКОЙ.** 1933.
Художник В. ГОРОБЕЦ
19. **С. ОРЛОВ.** 1943.
20. **С. ГУДЗЕНКО.** 1940.
21. **Вс. БАГРИЦКИЙ.** 1930-е.
22. **П. КОГАН.** 1936—1937.
23. **В. ЩИРОВСКИЙ.** 1930-е.
24. **А. АХМАТОВА.** 1939—1940.
Художник А. ОСМЕРКИН
25. **Кс. НЕКРАСОВА.** 1947.
Художник Р. ФАЛЬК
26. **К. СИМОНОВ.** 1949.
Художник М. САРЬЯН
27. **О. БЕРГГОЛЬЦ.** 1945.
Художник Л. ФЕЙНБЕРГ
28. **А. ТВАРДОВСКИЙ.** 1948.
Художник С. ШОР
29. **Д. КЕДРИН.** 1957.
Художник К. РАДИМОВ
30. **А. ПРИСМАНОВА** 1960-е.
31. **И. КНОРРИНГ.** 1925.
32. **Л. ЧЕРВИНСКАЯ.** 1930-е.
33. **А. ПЕРФИЛЬЕВ.** 1960.
34. **А. ГОЛОВИНА.** 1930-е.
35. **А. ШТЕЙГЕР.** 1935.
36. **С. МАКОВСКИЙ.** 1950-е.
37. **Д. КЛЕНОВСКИЙ.** 1960-е.
38. **З. ШАХОВСКАЯ.** 1960-е.
39. **В. КОРВИН-ПИОТРОВСКИЙ.** 1960-е.
40. **А. ГИНГЕР** 1960.
41. **Г. РАЕВСКИЙ и Ю. ОДАРЧЕНКО.** 1954.
42. **И. ЧИННОВ.** 1970-е.
43. **А. ЛАДИНСКИЙ.** 1930-е.
44. **И. ЕЛАГИН.** 1950-е.
45. **Д. АНДРЕЕВ.** 1958.
Рисунок А. АНДРЕЕВОЙ
46. **Ю. ДОМБРОВСКИЙ.** 1968.
Художник Л. ФЕЙНБЕРГ
47. **А. ШТЕЙНБЕРГ.** 1950-е.
Художник Б. СВЕШНИКОВ

48. **В. ПЕРЕЛЕШИН.** 1982.
Художник У. ПАССОС МАРКЕС

49. **Г. ГОЛОХВАСТОВ.**
Художник Н. ФЕШИН

50. **М. ЛУКОНИН.** 1957.
Рисунок П. АНТОКОЛЬСКОГО

51. **С. НАРОВЧАТОВ.** 1965.
Художник Е. АФАНАСЬЕВА

52. **А. ЯШИН.** 1945.
Художник А. КРУЧЕНЫХ

53. **М. ИСАКОВСКИЙ.** 1957.
Рисунок П. АНТОКОЛЬСКОГО

IV

1. **Р. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.** Нач. 1960-х.

2. **Б. АХМАДУЛИНА.** 1961.
Фото Л. ШИЛОВА

3. **Е. ЕВТУШЕНКО.** Нач. 1960-х.
Фото Л. ШИЛОВА

4. **А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ.** 1961.

5. **А. ТАРКОВСКИЙ.** 1981.
Художник Ю. КОВАЛЬ

6. **П. АНТОКОЛЬСКИЙ.** 1976.
Художник А. КИРИЛЛОВ

7. **А. ПЛАТОНОВ.** 1967—1968.
Художник М. РОМАДИН

8. **Г. ШПАЛИКОВ.** 1994.
Художник М. РОМАДИН

9. **А. ПРОКОФЬЕВ.** 1976.
Рисунок М. ДУДИНА

10. **М. ДУДИН.** 1976.
Автопортрет

11. **Н. ТИХОНОВ.** 1976.
Рисунок М. ДУДИНА

12. **Н. РУБЦОВ.** Эскиз памятника в Вологде. 1985.
Художник В. КЛЫКОВ

13. **Н. ГЛАЗКОВ.**
Художник В. АЛЕКСЕЕВ

14. **Е. ЕВТУШЕНКО.** 1961.
Художник Ю. МОГИЛЕВСКИЙ

15. **Ю. ЛЕВИТАНСКИЙ.** 1980.

16. **А. МЕЖИРОВ.** 1960-е.

17. **Ю. МОРИЦ.** 1986.
Фотография М. ПАЗИЯ

18. **Р. КАЗАКОВА.** 1970-е.
Фотография В. КРОХИНА

19. **Б. ЧИЧИБАБИН.** 1950-е.

20. **Д. САМОЙЛОВ.** 1974.

21. **О. ЧУХОНЦЕВ.** 1960-е.

22. **Л. МАРТЫНОВ.** 1970-е.

23. **Б. СЛУЦКИЙ.** 1974.
Художник Б. ЖУТОВСКИЙ

24. **И. ГУБЕРМАН.** 1988.
Художник Б. ЖУТОВСКИЙ

25. **С. ГОРОДНИЦКИЙ.** 1983.
Художник Б. ЖУТОВСКИЙ

26. **Вл. КОРНИЛОВ.** 1974.
Художник Б. ЖУТОВСКИЙ

27. **Н. КОРЖАВИН.** 1990.
Художник Б. ЖУТОВСКИЙ

28. **Ю. ВИЗБОР.** 1980.
Художник Б. ЖУТОВСКИЙ

29. **А. ГАЛИЧ.** 1970-е

30. **Н. МАТВЕЕВА.** 1960-е.

31. **Б. ОКУДЖАВА.** 1962.
Фотография Л. ШИЛОВА

32. **Вл. ВЫСОЦКИЙ.** 1970-е.

33. **И. ХОЛИН** и **Г. САПГИР.** 1959.
Художник Л. КРОПИВНИЦКИЙ

34. **В. КОВЕНАЦКИЙ.** 1963.
Художник Л. КРОПИВНИЦКИЙ

35. **Л. КРОПИВНИЦКИЙ.** 1978.
Автопортрет

36. **Е. КРОПИВНИЦКИЙ.**
Художник Л. КРОПИВНИЦКИЙ

37. **А. ВОЛОХОНСКИЙ.** 1970-е.

38. **К. КУЗМИНСКИЙ.** 1970-е.

39. **Б. КЕНЖЕЕВ.** 1970-е.

40. **С. СОКОЛОВ.** 1989.
Фотография М. ПАЗИЯ

41. **Т. КИБИРОВ.** 1993.

42. **И. БРОДСКИЙ.** 1970-е.
Фотография М. ВОЛКОВОЙ

43. **Л. ЛОСЕВ.** 1975.
Рисунок И. БРОДСКОГО

44. **И. БРОДСКИЙ.**
Фрагмент рукописи с автопортретом.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- АВАЛИАНИ Дмитрий 833
 АВВАКУМОВА Мария Николаевна 880
 АВЕРЧЕНКО Аркадий Тимофеевич 98
 АВИЛОВ Всеволод 167
 АГАТОВ Владимир Исидорович 362
 АГНИВЦЕВ Николай Яковлевич 158
 АДАЛИС (псевд.; наст. фам. — Ефрон) Аделина Ефимовна 351
 АДАМОВИЧ Георгий Викторович 225
 АДМОНИ Владимир Григорьевич 490
 АЙЗЕНБЕРГ Михаил 914
 АКСЕЛЬРОД Елена Марковна (Мееровна) 743
 АЛЕЙНИК Александр 935
 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Василий Дмитриевич 311
 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ (псевд.; наст. фам. — Горошко) Сергей Анатольевич 954
 АЛЕКСЕЕВ Геннадий 744
 АЛЕКСЕЕВ Никандр Алексеевич 205
 АЛЕКСЕЕВА (псевд.; урожд. — Девель, в замужестве — Иванникова) Лидия Алексеевна 490
 АЛЕШКОВСКИЙ Юз (наст. имя — Иосиф Ефимович) 727
 АЛИГЕР Маргарита Иосифовна 580
 АЛИХАНОВ Сергей Иванович 903
 АЛТАУЗЕН Джек (наст. имя — Яков Моисеевич) 461
 АЛЬВИНГ (псевд.; наст. фам. — Смирнов) Арсений Алексеевич 117
 АМАРИ (псевд.; наст. имя Михаил Осипович Цетлин) 101
 АМИНАДО ДОН (псевд.; наст. имя — Аминад Петрович Шполянский) 159
 АМФИТЕАТРОВ Александр Валентинович 31
 АНДЕРСЕН (урожд. Андерсон) Лариса Николаевна 508
 АНДРЕЕВ Вадим Леонидович 383
 АНДРЕЕВ Даниил Леонидович 444
 АНДРЕЕВСКАЯ Мария 799
 АННЕНКОВ Юрий Павлович 168
 АННЕНСКИЙ Иннокентий Федорович 25
 АНСТЕЙ (урожд. Штейнберг) Ольга Николаевна 543
 АНТОКОЛЬСКИЙ Павел Григорьевич 296
 АНТОНОВ Вадим 877
 АНЦИФЕРОВ Николай Степанович 731
 АРАБОВ Юрий Николаевич 947
 АРГУС (псевд.; наст. фам. — Эйзенштадт) 447
 АРИСТОВ Владимир Владимирович 924
 АРОНЗОН Леонид 846
 АРОНОВ Александр Яковлевич 780
 АРТАМОНОВ Михаил Дмитриевич 162
 АСЕЕВ Николай Николаевич 169
 АХМАДУЛИНА Белла (Изабелла) Ахатовна 815
 АХМАТОВА Анна (псевд.; наст. имя — Анна Андреевна Горенко) 173
 АЧАИР Алексей (псевд.; наст. имя — Алексей Алексеевич Грызлов) 301
 АШУКИН Николай Сергеевич 188
 БАБИЧ Павел 754
 БАГРИЦКИЙ Всеволод Эдуардович 659
 БАГРИЦКИЙ (псевд.; наст. фам. — Дзюбин) Эдуард Георгиевич 272
 БАЛИН Александр (наст. имя — Альфред) Иванович 692
 БАЛТРУШАЙТИС Юргис Казимирович 55
 БАЛЬМОНТ Константин Дмитриевич 39
 БАРАШ Александр 968
 БАРКОВА Анна Александровна 362
 БАТЯЙКИН Юрий 983
 БАУКОВ Иван Петрович 491
 БАХТЕРЕВ Игорь Владимирович 483
 БАШЛАЧЕВ Александр 968
 БЕДНЫЙ Демьян (псевд.; наст. имя — Ефим Алексеевич Придворов) 108
 БЕЗЗУБОВ Геннадий 897
 БЕЗЛЮДСКИЙ Сергей 954
 БЕЗЫМЕНСКИЙ Александр Ильич 319
 БЕК Татьяна Александровна 919
 БЕЛАШ Юрий Семенович 645
 БЕЛКИН Федор Парфенович 532
 БЕЛЫЙ АНДРЕЙ (псевд.; наст. имя — Борис Николаевич Бугаев) 78
 БЕЛЯЕВ Александр 948
 БЕЛЯКОВ Александр 973
 БЕНАР Наталия 375
 БЕРБЕРОВА Нина Николаевна 363
 БЕРГЕР Анатолий 833
 БЕРГГОЛЬЦ Ольга Федоровна 509
 БЕРДНИКОВ Сергей 983
 БЕРЕЖКОВ Владимир 914
 БЕРМАН Лазарь Васильевич (Вульфович) 261
 БЕРШАДСКИЙ Рудольф Юльевич 491
 БЕРШИН Ефим (псевд.; наст. имя — Ефим Львович Бернштейн) 930
 БЕТАКИ Василий Павлович 731
 БЕШЕНКОВСКАЯ (Кузнецова) Ольга Юрьевна 904
 БИСК Александр Акимович 109
 БЛАГИНИНА Елена Александровна 384
 БЛАЖЕЕВСКИЙ Евгений Иванович 907
 БЛАЖЕННЫХ (псевд.; наст. фам. — Айзенштат) Вениамин 653
 БЛОК Александр Александрович 82
 БЛОХ Раиса Ноевна 329
 БЛЫНСКИЙ Дмитрий Иванович 744
 БОБРОВ Сергей Павлович 181
 БОБЫШЕВ Дмитрий Васильевич 800
 БОГАТЫРЕВ Константин Петрович 693
 БОЖНЕВ Борис Борисович 319
 БОКОВ Виктор Федорович 571
 БОЛЫЧЕВ Василий 188
 БОРИН Борис 668
 БОРОДИЦКАЯ Марина 948
 БРАЙНИН-ПАССЕК Валерий 984
 БРАЖНЕВ Евгений (псевд.; наст. имя — Евгений Андреевич Трифонов) 117
 БРАУН Николай Леопольдович 375
 БРИТАНИШСКИЙ Владимир Львович 754
 БРИХНИЧЕВ Иона Пантелеймонович 76
 БРОДСКАЯ Нина 411
 БРОДСКИЙ Иосиф Александрович 850
 БРЮСОВ Валерий Яковлевич 55
 БУНИМОВИЧ Евгений Абрамович 949
 БУНИН Иван Алексеевич 46
 БУРИХИН Игорь Николаевич 881

- БУРИЧ Владимир Петрович 745
 БУРКИН Иван Афанасьевич 620
 БУРЛЮК Давид Давидович 101
 БУРЛЮК Николай Давидович 189
 БУРОВА Наталья Павловна 601
 БУХОВ Аркадий Сергеевич 182
 БУШМАН Ирина Николаевна 653
 БЫКОВ Дмитрий Львович 976
 БЫКОВ Ролан (Роланд) Антонович 727
 БЯЛЬСКИЙ Игорь 920
 ВАГИНОВ Константин Константинович 330
 ВАЛЕНТИНОВ Валентин 48
 ВАЛИКОВ Герман Георгиевич 710
 ВАНШЕНКИН Константин Яковлевич 693
 ВАСИЛЕВСКИЙ Лев Маркович (псевд. — Авель; наст. имя — Янкель-Лейба Мордкович) 58
 ВАСИЛЕНКО Виктор Михайлович 423
 ВАСИЛЬЕВ Павел Николаевич 515
 ВАСИЛЬЕВ Сергей Александрович 532
 ВАСИЛЬЕВ Юрий 695
 ВАСИЛЬЕВА Лариса Николаевна 788
 ВВЕДЕНСКИЙ Александр Иванович 412
 ВЕБЕР Вальдемар Вениаминович 885
 ВЕГА (псевд.; наст. фам. — Вольтцева, по мужу Ланг) Мария Николаевна 320
 ВЕНЗЕЛЬ Евгений 907
 ВЕНСКИЙ Евгений (псевд.; наст. имя — Евгений Осипович Пяткин) 118
 ВЕРТИНСКИЙ Александр Николаевич 183
 ВЕРХОВСКИЙ Юрий Никандрович 74
 ВЕТЛУГИН (псевд.; наст. фам. — Салатко-Петрище) Виктор Францевич 582
 ВИЗБОР Юрий Иосифович 780
 ВИЛКОМИР Леонид Вульфвич 544
 ВИНОГРАДОВ Леонид 801
 ВИНОКУРОВ Евгений Михайлович 695
 ВИТКОВСКИЙ Евгений Владимирович 924
 ВИШНЕВСКИЙ Владимир Петрович 938
 ВОЗНЕСЕНСКАЯ Юлия Николаевна 861
 ВОЗНЕСЕНСКИЙ (псевд.; наст. фам. — Бродский) Александр Сергеевич 93
 ВОЗНЕСЕНСКИЙ Андрей Андреевич 755
 ВОИНОВ Владимир Васильевич 102
 ВОИНОВ Григорий 188
 ВОЛКОВА Мария Вячеславовна 376
 ВОЛОДИН (псевд.; наст. фам. — Лифшиц) Александр Моисеевич 621
 ВОЛОХОНСКИЙ Анри Гинионович 801
 ВОЛОШИН Максимилиан Александрович (наст. фам. Кириенко-Волошин) 60
 ВОЛЬПИН Александр Сергеевич 679
 ВОРОНИН Леонид Борисович 823
 ВОРОНОВ Юрий Петрович 728
 ВОРОБЬЕВ Николай (псевд.; наст. имя — Николай Николаевич Богаевский) 484
 ВУЛЫХ Александр 955
 ВЫСОЦКИЙ Владимир Семенович 833
 ВЫШЕСЛАВЦЕВ Г. П. 93
 ВЯТКИН Георгий Андреевич 118
 ГАБАЙ Илья Янкелевич 789
 ГАГЕН-ТОРН Нина Ивановна 353
 ГАЛАНСКОВ Юрий Тимофеевич 847
 ГАЛИЧ Александр Аркадьевич 601
 ГАЛКИНА Наталья Всеволодовна 881
 ГАЛЮДКИН Василий Иванович 925
 ГАМПЕР Галина Сергеевна 835
 ГАНГНУС Александр Рудольфович 519
 ГАНДЛЕВСКИЙ Сергей Маркович 936
 ГАНДЕЛЬСМАН Владимир 914
 ГАТОВ Александр Борисович 332
 ГИЛЯРОВСКИЙ Владимир Алексеевич 25
 ГИНГЕР Александр Самсонович 312
 ГИНЦБУРГ Раиса Моисеевна 463
 ГИППИУС Зинаида Николаевна 42
 ГИТОВИЧ Александр Ильич 491
 ГЛАДКОВ Александр Константинович 544
 ГЛАЗКОВ Николай Иванович 621
 ГЛЕЗЕР Александр 781
 ГЛИНКА Глеб Александрович 385
 ГНЕУШЕВ Владимир Григорьевич 711
 ГОВОРОВ Александр Александрович 836
 ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ Илья Николаевич 415
 ГОЛОВ Андрей 950
 ГОЛОВИНА (урожд. баронесса Штейгер) Алла Сергеевна 492
 ГОЛОДНЫЙ Михаил (псевд.; наст. имя — Михаил Семенович Эпштейн) 385
 ГОЛОХВАСТОВ Георгий Владимирович 103
 ГОЛУБКОВ Дмитрий Николаевич 732
 ГОМОЛИЦКИЙ Александр Иванович 119
 ГОНЧАРОВ Юрий 376
 ГОРБАНЕВСКАЯ Наталья Евгеньевна 802
 ГОРБОВСКАЯ Екатерина 984
 ГОРБОВСКИЙ Глеб Яковлевич 737
 ГОРДИЕНКО Юрий Петрович 660
 ГОРЛИН Михаил Генрихович 492
 ГОРНОСТАЕВ Георгий Васильевич 595
 ГОРНУНГ Анастасия 313
 ГОРОДЕЦКИЙ Сергей Митрофанович 111
 ГОРОДНИЦКИЙ Александр Моисеевич 765
 ГОРЬКИЙ Максим (псевд.; наст. имя — Алексей Максимович Пешков) 40
 ГРАЧЕВА Нина 978
 ГРЕБЕНЩИКОВ Борис 938
 ГРЕЧКО Ольга Павловна 908
 ГРИГОРИН Борис 985
 ГРИГОРЬЕВ Олег Евгеньевич 882
 ГРИГОРЬЕВА Лидия Николаевна 888
 ГРИГОРЬЕВА Надежда Адольфовна 711
 ГРИН Александр (псевд.; наст. имя — Александр Степанович Гриневский) 94
 ГРИНБЕРГ Савелий 573
 ГРОБМАН Михаил 848
 ГРУЗИНОВ Иван 240
 ГРУНИН Юрий Васильевич 660
 ГУБАНОВ Леонид Георгиевич 897
 ГУБЕРМАН Игорь Миронович 803
 ГУДЗЕНКО Семен Петрович 661
 ГУМИЛЕВ Лев Николаевич 545
 ГУМИЛЕВ Николай Степанович 129
 ГУРО Елена (Элеонора) Генриховна 71
 ГУСЕВ Виктор Михайлович 493
 ГУТИНА Татьяна 985
 ДА Даниил 979
 ДАГУРОВ Владимир Геннадьевич 862
 ДАНИЛОВ Виктор 862
 ДАНИЭЛЬ Юлий Маркович 699
 ДАНОВСКИЙ Лев 908
 ДЕГЕН Иона (наст. имя — Иосиф Лазаревич) 701
 ДЕЛОНЕ Вадим Николаевич 909
 ДЕМЕНТЬЕВ Андрей Дмитриевич 713
 ДЕМЕНТЬЕВ Николай Иванович 463
 ДЕРЖАВИН Владимир Васильевич 484
 ДЕРИЕВА Регина Иосифовна 920
 ДЖАНГИРОВ Карен 955

- ДИДУРОВ Алексей Алексеевич 915
 ДИЖУР Белла Абрамовна 390
 ДМИТРИЕВ Олег Михайлович 824
 ДОБРОЛЮБОВ Александр Михайлович 59
 ДОЛИНА Вероника Аркадьевна 955
 ДОЛМАТОВСКИЙ Евгений Аронович 582
 ДОМБРОВСКИЙ Юрий Осипович 494
 ДОМОВИТОВ Николай Федорович 605
 ДОРИЗО Николай Константинович 668
 ДОСТАЛЬ Андрей Евгеньевич 701
 ДРАВЕРТ Петр Людовикович 76
 ДРАГОМОЩЕНКО Аркадий Трофимович 900
 ДРОФЕНКО Сергей Петрович 766
 ДРУЖИНИН Павел Давыдович 189
 ДРУК Владимир Яковлевич 960
 ДРУНИНА Юлия Владимировна 679
 ДРУСКИН Лев 654
 ДУБНОВА-ЭРЛИХ София Семеновна (Соломоновна) 119
 ДУДИН Михаил Александрович 593
 ДУКЕЛЬСКИЙ Владимир Александрович 390
 ЕВТУШЕНКО Евгений Александрович 767
 ЕЛАГИН Иван (псевд.; наст. имя — Иван Венедиктович Матвеев) 605
 ЕМЕЛЬЯНОВ-КОХАНСКИЙ (наст. фам. Емельянов) Александр Николаевич 49
 ЕРАНЦЕВ Алексей Никитович 803
 ЕРЕМЕНКО Александр Викторович 926
 ЕСЕНИН Сергей Александрович 282
 ЕФИМЕНКО Татьяна Петровна 190
 ЖАРОВ Александр Алексеевич 416
 ЖДАНОВ Иван Федорович 915
 ЖДАНОВ Игорь Николаевич 824
 ЖИГУЛИН Анатолий Владимирович 732
 ЖИРМУНСКАЯ Тамара Александровна 804
 ЖУКОВ Виктор Васильевич 28
 ЗАБОЛОЦКИЙ Николай Алексеевич 391
 ЗАВАЛЬНЮК Леонид Андреевич 740
 ЗАМОСТЬЯНОВ Арсений 979
 ЗАМЯТИН Владимир Дмитриевич 583
 ЗАНАДВОРОВ Владислав Леонидович 573
 ЗАРУДИН Николай Николаевич 333
 ЗАХАРЕНКОВ А. 985
 ЗАХАРОВ Владимир Евгеньевич 848
 ЗВЯГИНЦЕВА Вера Клавдиевна 262
 ЗЕНКЕВИЧ Михаил Александрович 205
 ЗЛОБИН Владимир Ананьевич 262
 ЗЛОТНИКОВ Натан Маркович 781
 ЗНАМЕНСКАЯ Ирина Владимировна 930
 ЗОРГЕНФРЕЙ Вильгельм Александрович 103
 ЗОРИН Александр Иванович 873
 ЗУБАКИН Борис 263
 ИВАНОВ Вячеслав Иванович 37
 ИВАНОВ Георгий Владимирович 263
 ИВАСК Юрий Петрович 465
 ИВАЩЕНКО Мара 498
 ИВЕРНИ (псевд.; в замужестве Бетаки) Виолетта 825
 ИВНЕВ Рюрик (псевд.; наст. имя — Михаил Александрович Ковалев) 207
 ИГНАТОВА Елена Алексеевна 916
 ИЗМАЙЛОВ Александр Алексеевич 57
 ИЛЬИНА Вера Васильевна 266
 ИЛЬИНСКИЙ Олег Павлович 745
 ИЛЬЯЗД (псевд., наст. имя — Илья Михайлович Зданевич) 267
 ИНБЕР Вера Михайловна 190
 ИНГЕ Юрий Алексеевич 424
 ИОФФЕ Сергей Айзикович 789
 ИРТЕНЬЕВ Игорь Моисеевич 910
 ИСАКОВСКИЙ Михаил Васильевич 353
 ИСКАНДЕР Фазиль Абдулович 728
 ИСКРЕНКО Нина Юрьевна 931
 КАБЫШ Инна Александровна 975
 КАГАНОВА Полина 534
 КАЗАКОВА Римма Федоровна 746
 КАЗАНЦЕВ Александр Петрович 448
 КАЗАНЦЕВ Василий Иванович 790
 КАЗАНЦЕВА Елена 985
 КАЗАРНОВСКИЙ Юрий 416
 КАЗИН Василий Васильевич 321
 КАЗМИЧЕВ Михаил 313
 КАЛУГИН Игорь Алексеевич 882
 КАЛЬПИДИ Виталий Олегович 961
 КАМЕНСКИЙ Василий Васильевич 112
 КАМИНСКИЙ Евгений 962
 КАМИНСКИЙ Юрий 836
 КАМЯНОВ Борис Исаакович (Барух Авни) 888
 КАНДИНСКИЙ Василий Васильевич 38
 КАННЕГИСЕР Леонид Иоакимович 301
 КАПРАНОВ Геннадий Николаевич 836
 КАРАБЧИЕВСКИЙ Юрий Аркадьевич 837
 КАРПЕКО Владимир Кириллович 663
 КАРПОВ Пимен Иванович 146
 КАТАЕВ Валентин Петрович 314
 КАЦЮБА Елена Александровна 900
 КАШИН Николай 355
 КАШКАРОВ Юрий Данилович 862
 КЕДРИН Дмитрий Борисович 466
 КЕДРОВ Константин Александрович 878
 КЕКОВА Светлана 933
 КЕНЖЕЕВ Бахыт 927
 КИБИРОВ Тимур 956
 КИМ Юлий 804
 КИРСАНОВ Семён Исаакович 448
 КИСИН Вениамин 315
 КЛЕНОВИЧ Стефан 632
 КЛЕНОВСКИЙ Дмитрий (псевд.; наст. имя — Дмитрий Иосифович Крачковский) 240
 КЛЕЩЕНКО Анатолий Дмитриевич 654
 КЛЫЧКОВ Сергей Антонович 184
 КЛЮЕВ Николай Алексеевич 113
 КНОРРИНГ Ирина Николаевна 452
 КНУТ Довид (псевд.; наст. имя — Давид Миронович Фиксман) 355
 КНЯЗЕВ Василий Васильевич 147
 КОБЕНКОВ Анатолий Иванович 916
 КОБЗЕВ Игорь Иванович 680
 КОВАЛЕНКОВ Александр Александрович 534
 КОВАЛЬДЖИ Кирилл Владимирович 733
 КОВЕНАЦКИЙ Владимир 838
 КОВЫНЕН Борис Константинович 398
 КОГАН Павел Давидович 609
 КОЗЛОВСКИЙ Яков Абрамович 656
 КОЛЕСОВ Евгений Николаевич 934
 КОЛОДИЙ Олег 398
 КОЛОСОВА Марианна (наст. имя Римма Ивановна) 398
 КОЛЫЧЕВ Осип Яковлевич 418
 КОЛЫЦОВА Ольга Петровна 962
 КОМАРОВ Петр Степанович 535
 КОМАРОВСКИЙ Василий Алексеевич 98
 КОМИССАРОВА Мария Ивановна 420
 КОНДАКОВА Надежда Васильевна 921
 КОНДРАТЬЕВ Александр Алексеевич 59
 КОНЕВСКОЙ (псевд.; наст. фам. — Ореус) Иван Иванович 72
 КОРВИН-ПИОТРОВСКИЙ Владимир Львович 207
 КОРЕНЕВ Александр Кириллович 646
 КОРЖАВИН Наум (псевд.; наст. имя — Наум Моисеевич Мандель) 702

- КОРИН Григорий Александрович (псевд.; наст. имя — Гodelь Шабеевич Коренберг) 705
 КОРКИЯ Виктор Платонович 916
 КОРНИЛОВ Борис Петрович 470
 КОРНИЛОВ Владимир Николаевич 714
 КОРОЛЕВА Нина Валериановна 776
 КОРОТАЕВ Виктор Вениаминович 849
 КОСТРОВ Владимир Андреевич 790
 КОЧЕТКОВ Александр 356
 К. Р. (псевд.; наст. имя — Вел. кн. Константин Константинович Романов) 29
 КРАЙСКИЙ (псевд.; наст. фам. — Кузьмин) Алексей Петрович 209
 КРАНДИЕВСКАЯ (Крандиевская-Толстая) Наталья Васильевна 162
 КРАНЦФЕЛЬД Александр 192
 КРАСКО Валерий Львович 873
 КРАСНИКОВ Геннадий Николаевич 934
 КРАСОВИЦКИЙ Станислав 790
 КРЕЙД (Крейденков) Вадим Прокопьевич 805
 КРЕПС Михаил Борисович 863
 КРЖИЖАНОВСКИЙ Сигизмунд Доминикович 149
 КРИВУЛИН Виктор Борисович 885
 КРИЧЕВСКИЙ Илья Маратович 975
 КРОНГАУЗ Анисим Максимович 646
 КРОПИВНИЦКИЙ Евгений Леонидович 241
 КРОПИВНИЦКИЙ Лев Евгеньевич 664
 КРОТКИЙ Эмиль (псевд.; наст. имя — Эммануил Яковлевич Герман) 227
 КРУГЛИКОВ Владимир 986
 КРУГЛОВ И. 584
 КРУЗЕНШТЕРН-ПЕТЕРЕЦ Юстина Владимировна 399
 КРУЧЕНЫХ Алексей Елисеевич 134
 КРЫЛОВА Элла 978
 КРЮКОВА Елена Николаевна 958
 КУБАНЕВ Василий Михайлович 656
 КУБЛАНОВСКИЙ Юрий Михайлович 911
 КУГУШЕВА Наталия 333
 КУДИМОВА Марина Владимировна 939
 КУДРЕЙКО (Зеленяк-Кудрейко) Анатолий Алексеевич 474
 КУЗМИН Михаил Алексеевич 49
 КУЗНЕЦОВ Валентин Иванович 734
 КУЗНЕЦОВ Николай Андрианович 420
 КУЗНЕЦОВ Юрий Поликарпович 874
 КУЗНЕЦОВА Светлана Александровна 782
 КУЗЬМИНСКИЙ Константин Константинович 863
 КУЛИШ Савва 806
 КУЛЬЧИЦКИЙ Михаил Валентинович 632
 КУНИНА Юлия 976
 КУНЯЕВ Станислав Юрьевич 747
 КУПРИЯНОВ Вячеслав Глебович 849
 КУСИКОВ (псевд.; наст. фам. — Кусян) Александр Борисович 303
 КУСТОВ Павел Петрович 453
 КУТИЛОВ Аркадий Павлович 864
 КУШНЕР Александр Семенович 806
 ЛАВРИН Александр Павлович 964
 ЛАВРОВ Леонид Алексеевич 453
 ЛАВРОВ Николай 150
 ЛАДИНСКИЙ Антонин Петрович 303
 ЛАДЫГИН Николай Иванович 400
 ЛАДЫЖЕНСКИЙ Владимир Николаевич 31
 ЛАЗАРЕВ-ГРУЗИНСКИЙ Александр Семенович 31
 ЛАПИН Борис Матвеевич 425
 ЛАПИН Владимир 889
 ЛАПТЕВ Михаил 971
 ЛАПУШИН Радислав Ефимович 972
 ЛАТЫНИН Леонид Александрович 839
 ЛЕБЕДЕВ Борис Петрович 536
 ЛЕБЕДЕВ Вячеслав Михайлович 304
 ЛЕБЕДЕВ Яков 192
 ЛЕВИН Григорий Михайлович 596
 ЛЕВИН Константин Яковлевич 681
 ЛЕВИН Мирон 545
 ЛЕВИНЗОН Рина Семеновна 921
 ЛЕВИТАНСКИЙ Юрий Давыдович 664
 ЛЕЙКИН Вячеслав 825
 ЛЕЛЕВИЧ Г. (псевд.; наст. имя — Лабори Гилелевич Калмансон) 365
 ЛЕН Слава 826
 ЛЕНЧИК Лев 827
 ЛЕОНОВИЧ Владимир Николаевич 776
 ЛИВШИЦ Бенедикт Константинович (Наумович) 136
 ЛИМОНОВ (псевд.; наст. фам. — Савенко) Эдуард Вениаминович 883
 ЛИННИК Юрий Владимирович 886
 ЛИПСКЕРОВ Константин Абрамович 185
 ЛИПКИН Семен Израилевич 536
 ЛИСНЯНСКАЯ Инна Львовна 716
 ЛИСЯНСКИЙ Марк Самойлович 550
 ЛИФШИЦ Владимир Александрович 550
 ЛИХАРЕВ Борис Михайлович 454
 ЛИХАЧЕВ Леонид 420
 ЛОБАНОВ Валерий 886
 ЛОЗИНА-ЛОЗИНСКИЙ (наст. фам. — Любич-Ярмолович-Лазина-Лазинский; псевд. — Я. Любяр) Алексей Константинович 137
 ЛОМИНАДЗЕ Серго (Сергей) Виссаронович 706
 ЛОСЕВ (псевд.; наст. фам. — Лифшиц) Лев Владимирович 827
 ЛОХВИЦКАЯ Мирра (Мария) Александровна 45
 ЛУГОВСКАЯ Майя (псевд.; наст. имя — Елена Леонидовна Быкова) 574
 ЛУГОВСКОЙ Владимир Александрович 366
 ЛУКНИЦКИЙ Павел Николаевич 357
 ЛУКОНИН Михаил Кузьмич 611
 ЛУРЬЕ Вера Осиповна 370
 ЛЬВОВ Владимир Юльевич 707
 ЛЬВОВ Михаил (псевд.; наст. имя — Рифкат Михаил Давыдович Львов-Маликов) 596
 ЛЮКИН Александр Иванович 634
 ЛЯДОВ Андрей 665
 МАЗУРИН В. 46
 МАЗУРИН Георгий 734
 МАЙОРОВ Николай Петрович 634
 МАКАРЕВИЧ Андрей 940
 МАКАРОВ (Макаров-Кротков) Александр 966
 МАКАРОВА Татьяна 866
 МАКОВСКИЙ Сергей Константинович 73
 МАКСИМЕНКО Татьяна Дмитриевна 986
 МАКСИМОВ Виктор Григорьевич 875
 МАКСИМОВ (псевд.; наст. фам. — Липович) Марк Давыдович 614
 МАЛАХИЕВА-МИРОВИЧ Варвара Григорьевна 75
 МАЛЫЦЕВ Владимир 966
 МАЛЫЦЕВА (Пупко) Надежда Елизаровна 889
 МАМЧЕНКО Виктор Андреевич 371
 МАНДЕЛЬШТАМ Осип Эмильевич 210
 МАНДЕЛЬШТАМ Роальд Чарльзович 748
 МАНДЕЛЬШТАМ Юрий Владимирович 485
 МАНСВЕТОВ Владимир Федорович 499
 МАР (псевд.; наст. фамилия — Чалхушьян) Сусанна Георгиевна 357
 МАРИЕНГОФ Анатолий Борисович 316
 МАРИЯ, мать Мария (мирское имя Елизавета Юрьевна Скоб-

- цова, урожд. Пиленко, в первом браке Кузьмина-Каравасва) 216
 МАРКИН Евгений Федорович 840
 МАРКОВ Алексей Яковлевич 647
 МАРКОВ Сергей Николаевич 454
 МАРКОВА Вера Николаевна 474
 МАРТОВА Ольга 986
 МАРТЫНОВ Леонид Николаевич 426
 МАРЬЯНОВА Мальвина 304
 МАТВЕЕВА Новелла Николаевна 782
 МАТУСОВСКИЙ Михаил Львович 584
 МАШИНСКАЯ Ирина 966
 МАЯКОВСКИЙ Владимир Владимирович 243
 МЕЖИРОВ Александр Петрович 668
 МЕЙЛАХ Михаил Борисович 891
 МЕКШЕН Светлана Васильевна 876
 МЕЛЕХИН Павел Леонович 867
 МЕРЕЖКОВСКИЙ Дмитрий Сергеевич 36
 МЕРКУРЬЕВА Вера Александровна 60
 МЕСЯЦ Вадим Геннадьевич 976
 МИКУШЕВИЧ Владимир Борисович 808
 МИЛЛЕР Лариса Емельяновна 867
 МИНАЕВ Николай Николаевич 255
 МИНСКИЙ (псевд.; наст. фам. — Виленкин) Николай Максимович 28
 МИТРЕЙКИН Константин Никитич 434
 МОРГУНОВА Наталья 656
 МОРЕВ (псевд.; наст. фам. — Пономарев) Александр 785
 МОРИЦ Юнна Петровна (Пинхусовна) 828
 МОРОЗОВ Владимир 748
 МОРОЗОВ Михаил Михайлович 317
 МОРШЕН Николай (псевд.; наст. имя — Николай Николаевич Марченко) 597
 МУНИ (псевд.; наст. имя — Самуил Викторович Киссин) 120
 МУРАВИНА Елена 940
 МУРЗИДИ Константин Гаврилович 574
 МЫШКИН А. 988
 НАБОКОВ Владимир Владимирович (до 1940 г. — псевд. Владимир Сирин) 333
 НАЙМАН Анатолий Генрихович 809
 НАДЕЖДИНА Надежда Августиновна 435
 НАРБУТ Владимир Иванович 165
 НАРОВЧАТОВ Сергей Сергеевич 635
 НАРЦИССОВ Борис Анатольевич 460
 НАСЕДКИН Василий Федорович 293
 НЕДОГОНОВ Алексей Иванович 575
 НЕЖИНЦЕВ Евгений Саввич 421
 НЕЗЛОБИН Николай 219
 НЕИЗВЕСТНЫЙ Эрнст 717
 НЕЙМИРОК Александр Николаевич 537
 НЕКИПЕЛОВ Виктор Александрович 718
 НЕКРАСОВ Всеволод Николаевич 786
 НЕКРАСОВА Ксения Александровна 546
 НЕСМЕЛОВ Арсений (псевд.; наст. имя — Арсений Иванович Митропольский) 185
 НИКОЛАЕВА (псевд.; наст. фам. — Волянская) Галина Евгеньевна 538
 НИКОЛАЕВА Олеся (Ольга) Александровна 952
 НИКОНОВ Илья 436
 НИКУЛИН Лев Вениаминович 219
 НИКУЛИНА Майя Петровна 830
 НОВИКОВ Денис Геннадиевич 977
 НОЗДРИН Авенир Евстигнеевич 32
 ОБОЛДУЕВ Георгий Николаевич 322
 ОВЧИННИКОВ В. Ф. 357
 ОГУРЦОВ Серафим 421
 ОДАРЧЕНКО Юрий Павлович 400
 ОДОЕВЦЕВА Ирина Владимировна (наст. имя — Ираида Густавовна Гейние) 371
 ОЖИГАНОВ Александр 887
 ОЗЕРОВ Лев Адольфович 576
 ОЗЕРОВА Ирина Николаевна 786
 ОЙСЛЕНЦЕР Александр Ефимович 485
 ОКУДЖАВА Булат Шалвович 684
 ОКУНЕВ Юрий (псевд.; наст. имя — Израиль Абрамович Израилев) 638
 ОЛЕЙНИКОВ Николай Макарович (псевд. — Макар Свириный) 326
 ОЛЕНЦЕР Семен Юльевич 474
 ОЛЕША Юрий Карлович 335
 ОЛЬХОН (псевд., наст. фам. — Пестюхин) Анатолий Сергеевич 402
 ОРЕШИН Петр Васильевич 150
 ОРЛОВ Владимир Николаевич 486
 ОРЛОВ Сергей 657
 ОТРАДА (псевд., наст. фам. Турочкин) Николай Карпович 615
 ОХАПКИН Олег Александрович 887
 ОЦУП Николай Авдеевич 267
 ОЧЕРЕТЯНСКИЙ Александр 911
 ОШАНИН Лев Иванович 547
 ПАВЛОВИЧ Надежда Александровна 293
 ПАНКРАТОВ Юрий Иванович 791
 ПАНЧЕНКО Николай Васильевич 687
 ПАРНАХ Валентин Яковлевич 220
 ПАРНОК София Яковлевна (наст. фам. — Парнах) 120
 ПАРЩИКОВ Алексей Максимович 950
 ПАСТЕРНАК Борис Леонидович 193
 ПАСЫНОК Макар (псевд., наст. имя Исаак Иосифович Коган-Ласкин) 255
 ПЕЛЕНЯГРЭ Виктор 967
 ПЕРЕДРЕЕВ Анатолий Константинович 787
 ПЕРЕЛЕШИН (псевд.; наст. фам. — Салатко-Петрище) Валерий Францевич 552
 ПЕРФИЛЬЕВ Александр Михайлович (псевд., — Александр Ли) 294
 ПЕТНИКОВ Григорий Николаевич 268
 ПЕТРОВ Сергей Владимирович 539
 ПЕТРОВСКИЙ Дмитрий Васильевич 227
 ПЕТРОВЫХ Мария Сергеевна 486
 ПЕТРОЧЕНКОВ Валерий Васильевич 868
 ПИВОВАРОВА Ирина Михайловна 849
 ПЛАТОНОВ Андрей Платонович 336
 ПЛИСЕЦКИЙ Герман Борисович 740
 ПОДЕЛКОВ Сергей Александрович 548
 ПОЖЕНЯН Григорий Михайлович 666
 ПОЗДНЯЕВ Михаил Константинович 941
 ПОЛАК Петр 105
 ПОЛЕТАЕВ Владимир 934
 ПОЛЕТАЕВ Николай Гаврилович 187
 ПОЛИКАРПОВ Сергей Иванович 749
 ПОЛОНСКАЯ Елизавета Григорьевна 204
 ПОЛЯКОВ Виктор 99
 ПОМЕРАНЦЕВ Игорь 917
 ПОМЕРАНЦЕВ Кирилл Дмитриевич 475
 ПОПЛАВСКИЙ Борис Юлианович 402
 ПОПОВ Вадим Гаврилович 704
 ПОПОВ Михаил Михайлович 963
 ПОРТНЯГИН Эрнст Александрович 791
 ПОСТНИКОВА Ольга Николаевна 883
 ПОТЕМКИН Петр Петрович 137
 ПРАСОЛОВ Алексей Тимофеевич 735
 ПРЕГЕЛЬ Софья Юльевна 422
 ПРЕЛОВСКИЙ Анатолий Васильевич 787
 ПРЕСМАН Аркадий 988
 ПРИБЛУДНЫЙ Иван (псевд., наст. имя — Яков Петрович

- Овчаренко) 436
 ПРИГОВ Дмитрий Александрович 868
 ПРИСМАНОВА Анна Семеновна 228
 ПРОКОПЬЕВ Алексей 963
 ПРОКОФЬЕВ Александр Андреевич 358
 ПУСТЫНИН Михаил Яковлевич 116
 ПУХАНОВ Виталий 989
 ПЯСТ (псевд., наст. фам.— Омелянович-Павленко-Пестовский) Владимир Алексеевич 139
 РАБИНОВИЧ Вадим Львович 792
 РАБКИНА Ольга Абрамовна 972
 РАДАШКЕВИЧ Александр 928
 РАДИМОВ Павел Александрович 151
 РАДКОВСКИЙ Александр Николаевич 884
 РАДЛОВА Анна Дмитриевна 220
 РАЕВСКИЙ Георгий (псевд., наст. имя — Георгий Авдеевич Оцул) 317
 РАИЧ (псевд., наст. фам.— Рабинович) Евгений 487
 РАТГАУЗ Даниил Максимович 42
 РАТУШИНСКАЯ Ирина 951
 РАФАЛЬСКИЙ Сергей Милич 305
 РЕЗИНКИН Михаил 989
 РЕЙН Евгений Борисович 792
 РЕРИХ Николай Константинович 58
 РЕШЕТОВ Алексей Леонидович 831
 РИВИН Александр 578
 РИНК Игорь Августович 687
 РИХТЕРМАН Марк 879
 РОГОВ Иван 554
 РОДОВ Семен Абрамович 256
 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Всеволод Александрович 295
 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Роберт Иванович 749
 РОЗЕНФЕЛЬД Светлана 989
 РОК Рюрик 336
 РОПШИН В. (псевд., наст. имя — Борис Викторович Савинков) 76
 РОСЛАВЛЕВ Александр Степанович 110
 РУБИНШТЕЙН Лев 912
 РУБИСОВА Елена Федоровна 318
 РУБЦОВ Николай Михайлович 810
 РУДИК О. 841
 РУДЯКОВ Генрих 675
 РУСАКОВ Геннадий Александрович 842
 РУЧЬЕВ (наст. фам.— Кривошеков) Борис Александрович 554
 РЫЖЕНКОВ Сергей 990
 РЫЛЕНКОВ Николай Иванович 499
 РЭМ Н. 359
 РЯЗАНОВ Эльдар Александрович 712
 РЯШЕНЦЕВ Юрий Евгеньевич 743
 САВИН Иван (псевд., наст. имя — Иван Иванович Саволайнен) 337
 САВИЧ Овадий Герцович 305
 САГАЛОВСКИЙ Наум 797
 САДОВСКОЙ (псевд., наст. фам.— Садовский) Борис Александрович 99
 САЛИМОН Владимир Иванович 937
 САМАЕВ (псевд., наст. фам.— Саперштейн) Марк Евсеевич 735
 САМОЙЛОВ (псевд., наст. фам.— Кауфман) Давид Самуилович 647
 САМЧЕНКО Егор (Георгий) Дмитриевич 868
 САНЧУК Виктор 967
 САПГИР Генрих Вениаминович 719
 САРАФАННИКОВ Николай Иванович 879
 САТИН Сергей 942
 САТУНОВСКИЙ Ян Абрамович 556
 САЯНОВ (наст. фам.— Махнин) Виссарион Михайлович 404
 СВЕТЛОВ Михаил Аркадьевич 405
 СВОБОДА Михаил 520
 СВЯТОГОР Александр 360
 СЕВЕРЯНИН Игорь (псевд., наст. имя — Игорь Васильевич Лотарев) 151
 СЕДАКОВА Ольга Александровна 922
 СЕДЫХ Константин Федорович 487
 СЕЛЬВИНСКИЙ Илья (наст. имя — Карл) Львович 337
 СЕМЕНОВ Глеб Сергеевич 615
 СЕМЕНОВ Леонид 94
 СЕМЕНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ М. Д. 105
 СЕМЕНОВСКИЙ Дмитрий Николаевич 269
 СЕМЫНИН Петр Андреевич 500
 СЕРГЕЕВ Андрей Яковлевич 778
 СЕРГЕЕВ Марк (псевд., наст. имя — Марк Давидович Гантваргер) 709
 СИД (псевд., наст. фам.— Сидоренко) Игорь Олегович 975
 СИДОРЕНКО Николай Николаевич 437
 СИДУР Вадим 688
 СИКОРСКИЙ Вадим Витальевич 667
 СИМОН Константин Романович 156
 СИМОНОВ Константин (наст. имя — Кирилл) Михайлович 585
 СИНЕЛЬНИКОВ Михаил Исаакович 901
 СИНКЕВИЧ Валентина Алексеевна 709
 СИТКО Леонид 704
 СКВОРЦОВ Глеб 990
 СЛЕПАКОВА Нонна Менделевна 812
 СЛУЦКИЙ Борис Абрамович 639
 СЛУЧЕВСКИЙ Константин Константинович 21
 СМЕЛЯКОВ Ярослав Васильевич 557
 СМЕРНОВ Василий 73
 СМЕРНОВ Сергей Васильевич 569
 СМЕРНОВ Юрий Васильевич 778
 СМОЛЕНСКИЙ Борис Моисеевич 657
 СМОЛЕНСКИЙ Владимир Алексеевич 374
 СНЕГОВА Ирина Анатольевна 667
 СНЕСАРЕВА-КАЗАКОВА Нина 360
 СНО Евгений 95
 СОБОЛЬ Марк Андреевич 616
 СОКОЛОВ Валентин 712
 СОКОЛОВ Владимир Николаевич 721
 СОКОЛОВ Саша (псевд.; полное имя — Александр Всеволодович) 884
 СОЛНЦЕВ Роман Харисович 850
 СОЛОВЬЕВ Владимир Сергеевич 24
 СОЛОВЬЕВ Сергей Михайлович 121
 СОЛОВЬЕВА (псевд.— Allegro) Поликсена Сергеевна 38
 СОЛОГУБ (псевд., наст. фам.— Тетерников) Федор Кузьмич 33
 СОЛОДОВНИКОВ Александр 257
 СОЛОУХИН Владимир Алексеевич 688
 СОПРОВСКИЙ Александр 943
 СОРИН Семен Григорьевич 658
 СОРОКИН Александр 891
 СОСНОРА Виктор Александрович 812
 СПАССКИЙ Сергей Дмитриевич 329
 СТАРШИНОВ Николай Константинович 690
 СТЕМПКОВСКИЙ Арсений Михайлович 360
 СТЕПАНЦОВ Вадим Юрьевич 971
 СТЕФАНОВИЧ Николай Владимирович 548
 СТРАННИК (псевд., наст. имя — Дмитрий Алексеевич Шаховской — архиепископ Иоанн Сан-Францисский) 377
 СТРАТАНОВСКИЙ Сергей Георгиевич 888
 СТРЕЛЬЧЕНКО Вадим Константинович 549
 СТРОЙЛО Алла Ивановна 725
 СУББОТИН Василий Ефимович 658
 СУВОРОВ Георгий Кузьмич 644
 СУЗДАЛЬЦЕВ Андрей Михайлович 917
 СУМБАТОВ Василий Александрович 258

- СУРКОВ Алексей Александрович 341
 СУХАРЕВ Дмитрий (псевд., наст. имя — Дмитрий Антонович Сахаров) 736
 СУХОВ Федор Григорьевич 676
 СЫРЫЩЕВА Татьяна Яковлевна 591
 ТАГЕР Елена Ефимовна 296
 ТАРАСОВ Марат Васильевич 736
 ТАРАСОВ Николай Александрович 617
 ТАРКОВСКИЙ Арсений Александрович 475
 ТАРЛОВСКИЙ Марк Ариевич 377
 ТАРУТИН Олег Аркадьевич 797
 ТВАРДОВСКИЙ Александр Трифонович 521
 ТЕМИН Геннадий 713
 ТЕМИН Леонид Самойлович 779
 ТЕМКИНА Марина 918
 ТЕРАПИАНО Юрий Константинович 229
 ТИНЯКОВ Александр Иванович 140
 ТИХОМИРОВ Александр Борисович 876
 ТИХОНОВ Николай Семенович 306
 ТИХОНОВ Семен 204
 ТКАЧЕНКО Александр Петрович 892
 ТОЛСТОЙ Алексей Николаевич 110
 ТООМ Леон Валентинович 658
 ТОПОРОВ Виктор Леонидович 901
 ТОПЧИЙ Леонид Иванович 570
 ТОРОПЫГИН Владимир Васильевич 725
 ТРЕТЬЯКОВ Сергей Михайлович 229
 ТРУБИН Александр 972
 ТРЯПКИН Николай Иванович 617
 ТУЛИН Эрик 798
 ТУМАННЫЙ Дир (псевд., наст. имя — Николай Николаевич Панов) 408
 ТУРИНЦЕВ Александр 311
 ТУРОВЕРОВ Николай Николаевич 342
 ТУШНОВА Вероника Михайловна 591
 ТЭФФИ (псевд., наст. имя — Надежда Александровна Бучинская, урожд. Лохвицкая) 53
 УГРЕНИНОВ Геннадий 869
 УКШЕ Сусанна 121
 УМАНОВ-КАПЛУНОВСКИЙ Владимир Васильевич 37
 УМОВ Иван 111
 УРИН Виктор Аркадьевич 690
 УТКИН Иосиф Павлович 408
 УФЛЯНД Владимир 831
 УШАКОВ Николай Николаевич 343
 УШАКОВА Елена 893
 ФАДЕЕВ Юрий Владимирович 870
 ФАТЬЯНОВ Алексей Иванович 644
 ФЕДОРОВ Василий Дмитриевич 619
 ФЕЙЕРАБЕНД Евгений Витальевич 709
 ФИЛИППОВ (псевд., наст. фам. — Филистинский) Борис Андреевич 438
 ФИЛИППОВ Борис 541
 ФИШ Геннадий Семенович 411
 ФЛОРЕНСКИЙ Павел Александрович 106
 ФОЛОМИН Федор Петрович 488
 ФОНЯКОВ Илья Олегович 798
 ФОРШТЕТЕР Михаил Адольфович 258
 ФОФАНОВ Константин Михайлович 33
 ФРЕЙДКИН Марк 943
 ХАРМС (псевд., наст. фам. — Ювачев) Даниил Иванович 438
 ХАТКИНА Наталья Викторовна 959
 ХАУСТОВ Леонид Иванович 651
 ХАЦРЕВИН Захар Львович 425
 ХЛЕБНИКОВ Велимир (наст. имя — Виктор Владимирович) 122
 ХЛЕБНИКОВ Олег Никитович 959
 ХОДАСЕВИЧ Владислав Фелицианович 141
 ХОЛИН Игорь Сергеевич 651
 ХОРВАТ Евгений Анатольевич 973
 ХРАМОВ Евгений Львович 752
 ХРОМЧЕНКО Яков 692
 ХУСАИНОВ А. 991
 ЦВЕТАЕВА Марина Ивановна 230
 ЦВЕТКОВ Алексей Петрович 912
 ЦЕЛКОВ Олег Николаевич 788
 ЦОЙ Виктор Робертович 974
 ЦЫБУЛЕВСКИЙ Александр 726
 ЦЫБИН Владимир Дмитриевич 753
 ЧЕКАНОВ Евгений Феликсович 954
 ЧЕКМАРЕВ Сергей Иванович 530
 ЧЕРВИНСКАЯ Лидия Давыдовна 478
 ЧЕРКИЗОВ (псевд., наст. фам. — Семнов) Андрей Александрович 951
 ЧЕРНОВ Андрей Юрьевич 944
 ЧЕРНЫЙ Саша (псевд., наст. имя — Александр Михайлович Гликберг) 95
 ЧЕРТКОВ Леонид 779
 ЧЕРУБИНА ДЕ ГАБРИАК (псевд., наст. имя — Елизавета Ивановна Васильева, урожд. Дмитриева) 146
 ЧЕХОНИН Михаил Георгиевич 478
 ЧИВИЛИХИН Анатолий Тимофеевич 592
 ЧИЖЕВСКИЙ Александр Леонидович 318
 ЧИКОВ Анатолий (наст. имя — Адольф) Филиппович 726
 ЧИННОВ Игорь Владимирович 500
 ЧИЧИБАБИН Борис Алексеевич 676
 ЧУДАКОВ Сергей 813
 ЧУКОВСКАЯ Лидия Корнеевна 478
 ЧУКОВСКИЙ Корней Иванович (наст. имя — Николай Васильевич Корнейчуков) 107
 ЧУКОВСКИЙ Николай Корнеевич 423
 ЧУЛКОВ Георгий Иванович 77
 ЧУРИЛИН Тихон Васильевич 128
 ЧУХИН Сергей Валентинович 893
 ЧУХОНЦЕВ Олег Григорьевич 842
 ЧЮМИНА Ольга Николаевна 30
 ШАГИНЯН Мариэтта Сергеевна 166
 ШАЛАЕВА Ирина Дмитриевна 929
 ШАЛАМОВ Варлам Тихонович 479
 ШАРАПОВА Алла Всеволодовна 922
 ШАТАЛОВ Александр Николаевич 964
 ШАТРОВ Николай 729
 ШАХОВСКАЯ Зинаида Алексеевна 461
 ШАШКОВА Ирина 620
 ШВАРЦ Елена Андреевна 919
 ШВЕДОВ Яков Захарович 441
 ШЕВЕЛЕВА Екатерина Васильевна 595
 ШЕВЦОВ Александр 578
 ШЕВЧЕНКО Леонид 979
 ШЕЛЕХОВ Михаил Михайлович 951
 ШЕНГЕЛИ Георгий Аркадьевич 269
 ШЕРВИНСКИЙ Сергей Васильевич 239
 ШЕРЕШЕВСКИЙ Лазарь Вениаминович 710
 ШЕРШЕНЕВИЧ Вадим Габриэлевич 259
 ШЕФНЕР Вадим Сергеевич 593
 ШЕХТЕР Марк Ананьевич 541
 ШИЛЕЙКО Владимир (Вольдемар) Казимирович 221
 ШИЛОВА Светлана Ивановна 730
 ШИРМАН Григорий Яковлевич 166
 ШИРМАН Елена Михайловна 489
 ШИРЯВЕЦ (псевд., наст. фам. — Абрамов) Александр Васильевич 157
 ШИШОВА Зинаида Константиновна 329
 ШКАПСКАЯ Мария Михайловна 221
 ШКЛЯРЕВСКИЙ Игорь Иванович 845

ШПАЛИКОВ Геннадий Федорович 832
ШТЕЙГЕР Анатолий Сергеевич 481
ШТЕЙНБЕРГ Аркадий Акимович 481
ШТЕРН Георгий 442
ШТРОМИЛО Николай 991
ШУБИН Павел Николаевич 579
ШУЛЬЧЕВ В. 580
ШУРМАК Григорий Михайлович 705
ЩАПОВА Елена 929
ЩЕГОЛЕВ Николай Александрович 530
ЩЕРБИНА Татьяна 952
ЩИПАЧЕВ Степан Петрович 346
ЩИРОВСКИЙ Владимир 501
ЩУПЛОВ Александр Николаевич 923

ЭЙСНЕР Алексей Владимирович 442
ЭПШТЕЙН Леопольд 924
ЭРДМАН Николай Робертович 379
ЭРЕНБУРГ Илья Григорьевич 222
ЭРЛИХ Вольф Иосифович 380
ЭСКОВИЧ Нина Леонтьевна 542
ЮДАХИН Александр Владимирович 880
ЮПП Михаил Евсеевич 846
ЮРКОВ Игорь 382
ЮРСКИЙ Сергей Юрьевич 798
ЯРОСЛАВСКИЙ Александр 361
ЯСНОВ Михаил Давыдович 903
ЯШИН (псевд., наст. фам. — Попов) Александр Яковлевич 570

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 7

ГРЕХИ НАШИ ТЯЖКИЕ...
От научного редактора 16

ДЕТИ ЗОЛОТОГО ВЕКА

Поэты, родившиеся до 1900 года

КОНСТАНТИН СЛУЧЕВСКИЙ 21

«Ты не гонись за рифмой своенравной...»
«Твоя слеза меня смутила...»
«Да, трудно избежать для множества людей...»
«Какое дело им до горя моего...»
«Что тут писано, писал совсем не я...»
«Кому же хочется в потомство перейти...»
«Упала молния в ручей...»
«В час смерти я имел немало превращений...»
Рецепт Мефистофеля
«Я видел свое погребенье...»
«Каких-нибудь пять-шесть дежурных фраз...»
В Заонежье
«Я сказал ей: тротуары грязны...»
«Все юбилеи, юбилеи...»

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ 24

«Природа с красоты своей...»
EX ORIENTE LUX
Эпитафия
Панмонголизм
«Некогда некто изрек...»

ВЛАДИМИР ГИЛЯРОВСКИЙ 25

«В России две напасти...»

ИННОКЕНТИЙ АННЕНСКИЙ 25

Старые эстонки
Кулачишка
Смычок и струны
Снег
То было на Валлен-Коски
Среди миров
Петербург
Гармонные вздохи

ВИКТОР ЖУКОВ 28

Свобода

НИКОЛАЙ МИНСКИЙ 28

Два пути
Сила
«Мне кажется порой, что жизни драма...»

К. Р. 29

«Растворил я окно — стало грустно невмочь...»

ОЛЬГА ЧЮМИНА 30

«Кто-то мне сказал...»
Песнь торжествующей невинности
Прежде всего

ВЛАДИМИР ЛАДЫЖЕНСКИЙ 31

На Невском

АЛЕКСАНДР ЛАЗАРЕВ-ГРУЗИНСКИЙ 31

Вздых современника

АЛЕКСАНДР АМФИТЕАТРОВ 31

Благодарю!

АВЕНИР НОЗДРИН 32

«Я хотел перекреститься...»
Летом

КОНСТАНТИН ФОФАНОВ 33

Чудище

ФЕДОР СОЛОГУБ 33

Лихо
«Словно бусы, сказки нижут...»
«Побеждайте радость...»
«В поле не видно ни зги...»
«Порой повеет запах странный...»
«Не трогай в темноте...»
Чертовы качели
«Коля, Коля, ты за что ж...»
«Хнык, хнык, хнык...»

ДМИТРИЙ МЕРЕЖКОВСКИЙ 36

«Люблю иль нет...»
«Ты ушла, но поздно...»
«Доброе, злое, ничтожное, славное...»

ВЛАДИМИР УМАНОВ-КАПЛУНОВСКИЙ	37	ИВАН БУНИН	46
Шпик		Родине	
ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ	37	«Я к ней вошел в полночный час...»	
Русский ум		Одиночество	
«Великое бессмертья хочет...»		Песня	
«Так, вся на полосе подвижной...»		Каменная баба	
ВАСИЛИЙ КАНДИНСКИЙ	38	Мужичок	
Почему?		«Льет без конца. В лесу туман...»	
ПОЛИКСЕНА СОЛОВЬЕВА (Allegro)	38	Последний шмель	
Власть дождя		«У ворот Сиона, над Кедром...»	
Краткие мысли		ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВ	48
Тайна двенадцати		«Что француз нам ни сболтнет...»	
КОНСТАНТИН БАЛЬМОНТ	39	АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНОВ-КОХАНСКИЙ	49
«Я мечтою ловил уходящие тени...»		«Я декадент. Во мне струится сила...»	
Безглагольность		МИХАИЛ КУЗМИН	49
Я не знаю мудрости...		Мои предки	
Меж подводных стеблей...		Из цикла «Александрйские песни»	
«Я с ужасом теперь читаю сказки...»		Лермонтову	
Дурной сон		Из цикла «Для августа»	
МАКСИМ ГОРЬКИЙ	40	Ты (2-е)	
Песня о Буревестнике		Луна	
Из цикла «Стихи поэта Смертяшкина»		Из книги «Форель разбивает лед»	
Солнце всходит и заходит...		Первый удар	
ДАНИИЛ РАТГАУЗ	42	Второй удар	
«Сократ, Платон иль Марк Аврелий...»		Пятый удар	
ЗИНАИДА ГИППИУС	42	Десятый удар	
Дьяволенок		Заключение	
Мудрость		ТЭФФИ	53
Все она		Бедный Азра	
Молодому веку		Перед картой России	
Сейчас		Тоска	
У. С.		«А еще посмотрела бы я на русского мужика...»	
Если		«Когда я была ребенком...»	
14 декабря 1918 г.		ЮРГИС БАЛТРУШАЙТИС	55
Идущий мимо		Два стихотворения	
Мера		ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ	55
Грех		«О, закрой свои бледные ноги...»	
Стихотворный вечер в «Зеленой лампе»		Сонет к форме	
МИРРА ЛОХВИЦКАЯ	45	Юному поэту	
Вещи		В неконченом здании	
В. МАЗУРИН	46	Каменщик	
«Есть злая книга...»		Грядущие гунны	
Рождение ребенка		Товарищам интеллигентам	
		АЛЕКСАНДР ИЗМАЙЛОВ	57
		Проект всероссийской выставки	

НИКОЛАЙ РЕРИХ	58	ЮРИЙ ВЕРХОВСКИЙ	74
Из цикла «Мальчику» Украшай (фрагмент)		«Будет все так же, как было...» Признак поэта Русский абсолют Из памятной книжки Отрывок	
ЛЕВ ВАСИЛЕВСКИЙ	58	ВАРВАРА МАЛАХИЕВА-МИРОВИЧ	75
Предельное и беспредельное		«Кудрявый плотничек Гриша...» «Звонко плещется ведро...» «Вчера полунощное бдение...» «В третьем годе...»	
АЛЕКСАНДР ДОБРОЛЮБОВ	59	ИОНА БРИХНИЧЕВ	76
Телом сцепленный		Правителю «Все положил ты на весы...»	
АЛЕКСАНДР КОНДРАТЬЕВ	59	ПЕТР ДРАВЕРТ	76
Ведьма Коровья смерть Лешачиха		Четыре	
ВЕРА МЕРКУРЬЕВА	60	В. РОПШИН	76
Пробоина Из «Стансов» (отрывок)		«Я шел, шатался...» «Гильотина острый нож...» «Сегодня он ко мне пришел...»	
МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН	60	ГЕОРГИЙ ЧУЛКОВ	77
Стихи о войне и революции Святая Русь Деметриус — император Стенькин суд Из цикла «Личины» Красногвардеец Из цикла «Пути России» На вокзале Спекулянт Буржуй Феодосия Усобица Северовосток Гражданская война На дне преисподней Голод Путями каина Мятеж Возношения Россия Доблесть поэта Дом поэта		Живая фотография «В твоих устах жестокие слова...»	
ЕЛЕНА ГУРО	71	АНДРЕЙ БЕЛЫЙ	78
«Сильный, красивый, богатый...» «Говорил испуганный человек...»		Пепел Россия Отчаянье Телеграфист Горе Вечерком Русь Родина Из поэмы «Христос воскрес»	
ИВАН КОНЕВСКОЙ	72	АЛЕКСАНДР БЛОК	82
В небывалое		«Девушка пела в церковном хоре...» Незнакомка В дюнах «О, весна без конца и без краю...» «По улицам метель метет...» Поэты «О доблестях, о подвигах, о славе...» На островах В ресторане На железной дороге Из поэмы «Возмездие» Вторая глава (отрывок) «Ночь, улица, фонарь, аптека...» Седое утро «О, я хочу безумно жить...» «Земное сердце стынет вновь...» «Рожденные в года глухие...» Перед судом «Превратила все в шутку сначала...» Коршун Скифы Двенадцать	
СЕРГЕЙ МАКОВСКИЙ	73		
«Есть на пути земном рубеж...» «Бессонной тишины немые звуки...» «Судить не нам, когда — как Божий суд...»			
ВАСИЛИЙ СМЕРНОВ	73		
«Громоздили ложь на ложь...»			

АЛЕКСАНДР ВОЗНЕСЕНСКИЙ	93	ВИЛЬГЕЛЬМ ЗОРГЕНФРЕЙ	103
Nihil		«Был как все другие...»	
Г. ВЫШЕСЛАВЦЕВ	93	Над Невою	
Поэты		«Еще скрежещет старый мир...»	
АЛЕКСАНДР ГРИН	94	«Вот и все...»	
Работа		ПЕТР ПОЛАК	105
ЛЕОНИД СЕМЕНОВ	94	«И вот один блуждаю среди могил...»	
Сказка про белого бычка		«Поздний час недоверчив и лжив...»	
ЕВГЕНИЙ СНО	95	М. СЕМЕНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ	105
Апельсины		«Когда судьбы разящий молот...»	
САША ЧЕРНЫЙ	95	«За волю гибнет вольный зверь...»	
Обстановочка		«Родимая, в суровую годину...»	
Пасхальный перезвон		ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ	106
Крейцера соната		«Свидание «там»...»	
Стилизованный осел		КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ	107
Жизнь		Телефон	
Мой роман		ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ	108
АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО	98	Никто не знал	
История одной истории		Снежинки	
ВАСИЛИЙ КОМАРОВСКИЙ	98	АЛЕКСАНДР БИСК	109
«Где лики медные Тиверия и Суллы...»		Русь	
ВЛАДИМИР ПОЛЯКОВ	99	АЛЕКСАНДР РОСЛАВЛЕВ	110
«Песни спеты, перепеты...»		Часовщик	
БОРИС САДОВСКОЙ	99	«Смехом каменным, мглою железной...»	
Студенческий самовар		АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ	110
Родительский самовар		Беда	
Из поэмы «Федя Косопуз»		Суд	
«Кровь» (фрагмент)		ИВАН УМОВ	111
АМАРИ	101	«Но тяготит неотвратимый рок...» (фрагмент)	
Из поэмы «Декабристы»		СЕРГЕЙ ГОРОДЕЦКИЙ	111
Николай I		Весна (монастырская)	
ДАВИД БУРЛЮК	101	ВАСИЛИЙ КАМЕНСКИЙ	112
«Пускай судьба лишь горькая издевка...»		Сарынь на кичку!	
«Каждый молод молод молод...»		НИКОЛАЙ КЛЮЕВ	113
ВЛАДИМИР ВОИНОВ	102	«Темным зовам не верит душа...»	
Обыкновенная история		<Из цикла «Ленин»>	
На могиле (отрывок)		Из поэмы «Погорельщина»	
ГЕОРГИЙ ГОЛОХВАСТОВ	103	«Се предреченная звезда...»	
«В угаре жизни, год за годом...»		«Так погибал Великий Сиг...»	

«Кто за что, а я за двоперстье...»		Из поэмы «Война в мышеловке» (фрагменты)	
«Мне революция не мать...»		Воззвание председателей земного шара	
«Стариком, в лохмотья одетым...»		Предложения	
Из цикла «Разруха»			
Песня Гамаюна			
«Есть две страны; одна — Больница...»			
МИХАИЛ ПУСТЫНИН	116	ТИХОН ЧУРИЛИН	128
Прежде и теперь		Один («Весна после смерти»)	
АРСЕНИЙ АЛЬВИНГ	117	Во мнения	
Бессонница		Последний путь	
ЕВГЕНИЙ БРАЖНЕВ	117	Конец кикапу	
Сентиментальная		Пьяный	
ЕВГЕНИЙ ВЕНСКИЙ	118	Жар	
Арест... тьфу академическая		Смерть часового	
ГЕОРГИЙ ВЯТКИН	118	НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ	129
Пятый		Шестое чувство	
АЛЕКСАНДР ГОМОЛИЦКИЙ	119	Слово	
Пантелей		Память	
СОФИЯ ДУБНОВА-ЭРЛИХ	119	Слоненок	
Спор с поэтом		«Я, что мог быть лучшей из поэм...»	
МУНИ	120	Основатели	
«Пусть дни идут...»		У камина	
СОФИЯ ПАРНОК	120	Я и вы	
«Да, я одна...»		Зараза	
«Об одной лошаденке чалой...»		Жираф	
«Не хочу тебя сегодня...»		Потомки Каина	
СЕРГЕЙ СОЛОВЬЕВ	121	«У меня не живут цветы...»	
На развалинах		Хокку	
СУСАННА УКШЕ	121	Рабочий	
«Жестокий век! Великий и кровавый...»		Заблудившийся трамвай	
ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ	122	Капитаны (отрывок)	
«Бобэоби пелись губы...»		Индюк	
«Мне мало надо...»		АЛЕКСЕЙ КРУЧЕНЫХ	134
«Годы, люди и народы...»		«Дыр бул щил...»	
Кормление голубя		Уехала!	
Одинокий лицедей		Мышь, родившая гору (фрагмент)	
Не шалить!		«В полночь я заметил...»	
«Еще раз, еще раз...»		БЕНЕДИКТ ЛИВШИЦ	136
Из поэмы «Ночь в окопе»		«Насущный хлеб и сух и горек...» (фрагмент)	
Из поэмы «Ладомир»		Из-под стола	
Ночь перед Советами (отрывок)		Нева	
		«Самих себя мы измеряем снами...»	
		АЛЕКСЕЙ ЛОЗИНА-ЛОЗИНСКИЙ	137
		Санкт-Петербург (отрывок)	
		ПЕТР ПОТЕМКИН	137
		У дворца	
		Увеселительный сад	
		Ларечник	
		Петербургский мороженщик	
		Яр	
		Эйфелева башня	
		ВЛАДИМИР ПЯСТ	139
		Дома	

АЛЕКСАНДР ТИНЯКОВ	140	Все по-старому Русская Мороженое из сирени Эпилог Пролог Весенний день Нелли Увертюра Поэза упадка Поэза правительству Классические розы Что нужно знать Десять лет Тишь двоякая Бывают дни... На необитаемом острове
Плевочек Проститутка Собаки		
ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ	141	
В Петровском парке «Не матерью, но тульской крестьянкой...» Обезьяна «Перешагни, перескочи...» Гостю Из окна Сумерки «Ни жить, ни петь почти не стоит...» «Сквозь облака фабричной гари...» Ап Magischen «Было на улице полутемно...» Окна во двор Перед зеркалом Баллада Бедные рифмы Памятник «Не ямбом ли четырехстопным...»		
ЧЕРУБИНА ДЕ ГАБРИАК	146	
«Лишь раз один...»		
ПИМЕН КАРПОВ	146	
«Но на костре кровавых язв сгорая...» История дурака (фрагмент)		
ВАСИЛИЙ КНЯЗЕВ	147	
«Жизнь хороша, как скумбрия в томате...» Вторая песня проститутки Дворник «Их торговый балаган...» Зимний пейзаж Пуговица от брюк		
СИГИЗМУНД КРЖИЖАНОВСКИЙ	149	
Беатриче		
НИКОЛАЙ ЛАВРОВ	150	
Россия (фрагмент)		
ПЕТР ОРЕШИН	150	
Сергей Есенин		
ПАВЕЛ РАДИМОВ	151	
Пойло Блины		
ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН	151	
Маленькая элегия		
КОНСТАНТИН СИМОН	156	
«Воспоминания — ласковая плесень...» «Был первый Рим...» (фрагмент) «Я жизнь влачу во власти книг...» «На плечи наши сумрачно легли...» «У перекрестка, в выщербленной яме...»		
АЛЕКСАНДР ШИРЯЕВЦ	157	
Поминальник Уши Дунька Шляхова Складень Нил Сорский		
НИКОЛАЙ АГНИВЦЕВ	158	
Бильбоксэ Вот и все! Пара калош Беспризорный Когда голодает гранит		
ДОН АМИНАДО	159	
Честность с собой Жиронда Свершители Вселенские хлопоты Писаная торба Любители бескровной и святой Дни нашей жизни		
МИХАИЛ АРТАМОНОВ	162	
«Трясти, трясти...» (фрагмент)		
НАТАЛЬЯ КРАНДИЕВСКАЯ-ТОЛСТАЯ	162	
«Проходят мимо неприявшие...» «Родинка у сына на спине...» «Я твое не трону логово...» «А беженцы на самолетах...» На улице «Смерти злой бубенец...» В кухне «На стене объявление...» «Стрела упала, не достигнув цели...»		

ВЛАДИМИР НАРБУТ	165	Учитель	
Октябрь		«Все, кого и не звали, в Италии...»	
На Тверской		«Оставь, и я была как все...»	
МАРИЭТТА ШАГИНЯН	166	«Это и не старо и не ново...»	
«Где тот счастливец, кто б воскликнуть мог...»		«Жить — так на воле...»	
«Мы кого-то потеряли...»		Из цикла «Вереница четверостиший»	
ГРИГОРИЙ ШИРМАН	166	«Что войны, что чума...»	
Н. М.		«И было сердцу ничего не надо...»	
Из книги «Карусель Зодиака»		Защитникам Сталина	
«Кто разрежет хлеб земной на ломти...»		Из цикла «Полночные стихи»	
«Была больная и рябая...»		В Зазеркалье	
«Как накрахмаленному негру...»		Реквием	
ВСЕВОЛОД АВИЛОВ	167	Вместо предисловия	
«Мороз. Веселый скрип саней...»		Посвящение	
ЮРИЙ АННЕНКОВ	168	Вступление	
¼ девятого		Приговор	
НИКОЛАЙ АСЕЕВ	169	К смерти	
Синие гусары		Распятие	
Из цикла «Чужая»		Эпилог	
Из поэмы «Маяковский начинается»		Поэма без героя (отрывок)	
Отцы и дети		СЕРГЕЙ БОБРОВ	181
АННА АХМАТОВА	173	«Но оксюморон небывалый...»	
Любовь		АРКАДИЙ БУХОВ	182
«Сжала руки под темной вуалью...»		Два Наполеона	
«Все мы бражники здесь, блудницы...»		Вспомните!	
«Настоящую нежность не спутаешь...»		АЛЕКСАНДР ВЕРТИНСКИЙ	183
Вечером		Лиловый негр	
«Ты знаешь — я томлюсь в неволе...»		То, что я должен сказать	
«На шее мелких четок ряд...»		В степи молдаванской	
Гость		СЕРГЕЙ КЛЫЧКОВ	184
«Мне голос был. Он звал утешно...»		«Должно быть, я калека...»	
Призрак		«Любовь — неразумный ребенок...»	
«Не бывать тебе в живых...»		«За ясную улыбку...»	
«Все расхищено, предано, продано...»		КОНСТАНТИН ЛИПСКЕРОВ	185
«Чугунная ограда...»		Над розами	
Клевета		АРСЕНИЙ НЕСМЕЛОВ	185
«Не с теми я, кто бросил землю...»		Голод	
Муза		Пять рукопожатий	
Поэт		Встреча первая	
«За такую скоморошину...»		Встреча вторая	
«Здесь девушки прелестнейшие спорят...»		«Пустой начинаю строчкой...»	
Стансы		НИКОЛАЙ ПОЛЕТАЕВ	187
«Один идет прямым путем...»		«Портретов Ленина не видно...»	
«Я знаю, с места не сдвинуться...»		НИКОЛАЙ АШУКИН	188
«Когда человек умирает...»		«Пусть ты была лишь вымысел прекрасный...»	
Из цикла «Венок мертвым»		ВАСИЛИЙ БОЛЫЧЕВ	188
Поздний ответ		Тужик	
«То, что я делаю, способен делать каждый...»		ГРИГОРИЙ ВОИНОВ	188
Мужество		Воспоминание о Польше	
Из цикла «Тайны ремесла»		НИКОЛАЙ БУРЛЮК	189
Эпиграмма		Предвестия	
Пушкин			
Из цикла «Венок мертвым»			

ПАВЕЛ ДРУЖИНИН	189	МИХАИЛ ЗЕНКЕВИЧ	205
С галерки		Морошка (фрагмент)	
ТАТЬЯНА ЕФИМЕНКО	190	Найденыш	
«Родные мертвецы из гроба говорят...»		РЮРИК ИВНЕВ	207
ВЕРА ИНБЕР	190	«Ах, с судьбою мы вечно спорим...»	
Васька Свист в переплете		«Опуская веки, как шторы...»	
АЛЕКСАНДР КРАНЦФЕЛЬД	192	«Мне страшно, я кидаю это слово...»	
«Купил десятку на двенадцать...»		«Слова — ведь это груз в пути...»	
ЯКОВ ЛЕБЕДЕВ	192	ВЛАДИМИР КОРВИН-ПИОТРОВСКИЙ	207
Сон		Из поэмы «Золотой песок»	
14-й год		«Зверь обрастает шерстью для тепла...»	
Собачья элегия		«Не от свинца, не от огня...»	
БОРИС ПАСТЕРНАК	193	Поздний гость	
«Февраль. Достать чернил и плакать...»		«Чиновник на казенном стуле...»	
Пиры		Карусель	
Марбург		АЛЕКСЕЙ КРАЙСКИЙ	209
Разрыв		Завертешники (фрагмент)	
«Душистою веткою машучи...»		ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ	210
«Так начинают. Года в два...»		«Только детские книги читать...»	
Из суеверья		«Дано мне тело — что мне делать с ним...»	
Брюсову		Silentium	
Из поэмы		«Образ твой, мучительный и зыбкий...»	
Высокая болезнь (в отрывках)		Петербургские строфы	
Из поэмы «Лейтенант Шмидт»		«Отравлен хлеб и воздух выпит...»	
Мейерхольдам		Нашедший подкову	
Смерть поэта		«Из табора улицы темной...»	
«Годами когда-нибудь в зале концертной...»		«Сегодня ночью, не солгу...»	
Борису Пильняку		«Я вернулся в мой город...»	
Из поэмы «Спекторский»		«Я скажу тебе с последней прямою...»	
Из цикла «Волны»		«За гремучую доблесть грядущих веков...»	
«Красавица моя, вся статья...»		«Я пью за военные астры...»	
«О, знал бы я, что так бывает...»		«Сохрани мою речь навсегда...»	
На ранних поездах		«Еще далеко мне до патриарха...»	
Гамлет		«Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем...»	
Зимняя ночь		«Мы живем, под собою не чуя страны...»	
Рождественская звезда		Восьмистишья	
Осень		«Мастерица виноватых взоров...»	
Ветер		«Это какая улица...»	
Ночь		Кама	
«Быть знаменитым некрасиво...»		Из «Стансов» (отрывок)	
ЕЛИЗАВЕТА ПОЛОНСКАЯ	204	«Лишив меня морей, разбега и разлета...»	
Мои слова		«За Паганини длиннопалым...»	
СЕМЕН ТИХОНОВ	204	МАТЬ МАРИЯ	216
Лавочка бессмертья		«Не попутным, видно, ветром...»	
НИКАНДР АЛЕКСЕЕВ	205	«Наконец-то. Дверь скорей на ключ...»	
На Иртыше		«Устало дышит паровоз...»	
		«Все пересмотрено. Готов мой инвентарь...»	
		«А медный и стертый мой грошник...»	
		«Парижские приму я Соловки...»	
		«Кто я, Господи...» (отрывок)	
		«Отменили мое отчество...»	

«И в покаянье есть веселье...»		ЭМИЛЬ КРОТКИЙ	227
«Мне надоела я. К чему забота...»		Африканец на Севере	
«Все еще думала я, что богата...» (фрагмент)		Петергоф	
Из поэмы «Духов день»		«Мелькали крыши мокрых станций...»	
		«На опрокинувшемся троне...»	
НИКОЛАЙ НЕЗЛОБИИ	219	ДМИТРИЙ ПЕТРОВСКИЙ	227
Из поэмы «Еремин клад»		«Что матросик,—то и люб...»	
		Установка	
ЛЕВ НИКУЛИН	219	АННА ПРИСМАНОВА	228
В кабинете		Сирена	
		Бабушка	
ВАЛЕНТИН ПАРНАХ	220	«Так уходят в сумрак поезда...»	
Высланные		Кровь и кость	
		ЮРИЙ ТЕРАПИАНО	229
АННА РАДЛОВА	220	«Сияющий огнями над Невой...»	
Потомки		«Под музыку шла бы пехота...»	
		Отплывающие корабли	
ВЛАДИМИР ШИЛЕЙКО	221	СЕРГЕЙ ТРЕТЬЯКОВ	229
«Здесь мне миров наобещают...»		Атака	
		МАРИНА ЦВЕТАЕВА	230
МАРИЯ ШКАПСКАЯ	221	«Моим стихам, написанным так рано...»	
«Однажды лишь меру кровную...»		«Красною кистью...»	
«Когда стану я старой и скучной...»		Стихи к Блоку	
«Я верю, господи, но помоги неверью...»		Из цикла «Стихи к Ахматовой»	
«Петербургжанке и северянке...»		«Из строгого, стройного храма...»	
«Что ты там делаешь, старая мать...»		Москве («Когда рыжеволосый Самозванец»)	
«Было тело мое без входа...»		Из цикла «Дон»	
«Простится ненависть...»		«Не стыдись, страна Россия...»	
Из цикла «Людовик XVII»		«Править тройкой и гитарой...»	
		«Вчера еще в глаза глядел...»	
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ	222	«С такою силой в подбородок руку...»	
«Мне никто не скажет за уроком «слушай...»		«Проста моя осанка...»	
«Как скучно в «одиночке»...»		«Ох, грибок ты мой, грибочек...»	
О Москве		Пожалей...	
Возмездие		«Со мной не надо говорить...»	
«Я не трубоч — труба. Дуй, Время!...»		Маяковскому	
Гончар в Хаэне		Хвала богатым	
В январе 1939		Из цикла «Поэты»	
««Разведка боем» — два коротких слова...»		Попытка ревности	
«В кастильском нищенском селенье...»		Из «Поэмы конца»	
Бабий Яр		Полотерская	
«Я смутно жил и неуверенно...»		«Рас-стояние: версты, мили...»	
«Во Францию два гренадера...»		Страна	
		Стихи к Пушкину	
ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ	225	Стол	
«Когда мы в Россию вернемся...»		«Тоска по родине...»	
«Что там было? Ширь закатов блеклых...»		«Вскрыла жилы...»	
«Один сказал...»		Читатели газет	
«Осенним вечером, в гостинице, вдвоем...»		Стихи к Чехии	
1801		Март	
«За все, за все спасибо...»		б. Взяли...	
Памяти М. Ц.		СЕРГЕЙ ШЕРВИНСКИЙ	239
«Там, где-нибудь, когда-нибудь...»		Память	

ИВАН ГРУЗИНОВ	240	ВАСИЛИЙ СУМБАТОВ	258
«В деревянном городе...»		Два сувенира	
ДМИТРИЙ КЛЕНОВСКИЙ	240	МИХАИЛ ФОРШТЕТЕР	258
«Нас было двое...»		Октябрь	
«Я много молчал и ждал...»		ВАДИМ ШЕРШЕНЕВИЧ	259
ЕВГЕНИЙ КРОПИВНИЦКИЙ	241	Содержание плюс горечь	
Месть		Н. Гумилеву посвящается	
«Смотрит старая старушка...»		Ритмическая образность	
«Мне очень нравится, когда...»		Принцип звука минус образ	
«У забора проститутка...»		Эстрадная архитектура	
«Его поймали и лупили...»		Квартет тем	
Секстины		Лирический динамизм	
Девочка		Ритмический ландшафт	
Развод		ЛАЗАРЬ БЕРМАН	261
Тело и душа		«Сошлась домов огромных группа...»	
ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ	243	ВЕРА ЗВЯГИНЦЕВА	262
Ночь		«Порою спросит кто-нибудь...»	
А вы могли бы?		ВЛАДИМИР ЗЛОБИН	262
Ничего не понимают		«Часы Публичной библиотеки...»	
Послушайте!		Ночью	
Скрипка и немножко нервно		Самозванка	
Флейта-позвоночник		БОРИС ЗУБАКИН	263
Вот так я сделался собакой		Старуха-нищенка	
Вам!		ГЕОРГИЙ ИВАНОВ	263
Надоело		«Овеянный тускнеющей славой...»	
Хорошее отношение к лошадям		«Я научился понемногу...»	
Из поэмы «Облако в штанах»		«Рассказать обо всех мировых дураках...»	
Из поэмы «Про это»		«А люди? Ну на что мне люди...»	
Прощение на имя...		«Если бы жить... Только бы жить...»	
Вера		«Все чаще эти объявления...»	
Надежда		«Мелодия становится цветком...»	
Любовь		«Нет в России даже дорогих могил...»	
Во весь голос (фрагменты)		«Иду — и думаю о разном...»	
«Любит? не любит...»		«Свободен путь под Фермопилами...»	
«Уже второй, должно быть, ты легла...»		«Мне весна ничего не сказала...»	
«море уходит вспять...»		«Распыленный миллионом мельчайших ча-	
«Уже второй, должно быть, ты легла...»		стиц...»	
«Я знаю силу слов, я знаю слов набат...»		«Портной обновочку утюжит...»	
НИКОЛАЙ МИНАЕВ	255	«Зима идет своим порядком...»	
«Когда простую жизнь я скукой рассеку...»		«Эмалевый крестик в петлице...»	
«За могилу твою, что засыпана снегом сыпучим...»		«Хорошо, что нет Царя...»	
МАКАР ПАСЫНОК	255	«Над розовым морем вставала луна...»	
Портрет		«Было все — и тюрьма, и сума...»	
СЕМЕН РОДОВ	256	ВЕРА ИЛЬИНА	266
Здравствуй, смерть		«Идти на Смоленский...»	
Из поэмы «Октябрь»			
АЛЕКСАНДР СОЛОДОВНИКОВ	257		
Из цикла «Тюрьма»			
Вербная всенощная			

ИЛЬЯЗД	267	«Цветы мне говорят — прощай...» «Ты меня не любишь, не жалеешь...» «Клен ты мой опавший...» «До свиданья, друг мой, до свиданья...» «Сумасшедшая, бешеная кровавая мать...» (Монолог Хлопуши из драматической поэмы «Емельян Пугачев») «Иду я разросшимся садом...» (фрагмент из поэмы «Анна Снегина»)
Из цикла «Сонеты времен войны»		
НИКОЛАЙ ОЦУП	267	
«О кто, мелькнув над лунной кручей...» «Всю комнату в два окна...» Война		
ГРИГОРИЙ ПЕТНИКОВ	268	
Каменный двор		ВАСИЛИЙ НАСЕДКИН 293
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВСКИЙ	269	Обоз
«Снег и грязь. Полоумный Сережа...»		НАДЕЖДА ПАВЛОВИЧ 293
ГЕОРГИЙ ШЕНГЕЛИ	269	У памятника Гоголя
27 июля 1830 г. Державин Своя нужда Самосуд Мать «Я не знаю почему...» «Это все еще «только так»...» «Вот взяли, Пушкин, вас и переставили...» Педагогика		АЛЕКСАНДР ПЕРФИЛЬЕВ 294
ЭДУАРД БАГРИЦКИЙ	272	Точка «Все предадут, все отвернутся...» Пастораль «Простая жизнь, как черствый ломоть хлеба...»
Суворов Тиль Уленшпигель Голуби Встреча Стихи о соловье и поэте «От черного хлеба и верной жены...» Дума про Опанаса (фрагмент) Контрабандисты Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым Происхождение Последняя ночь		ВСЕВОЛОД РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 295
СЕРГЕЙ ЕСЕНИН	282	Баллада будней Корсар
Песнь о собаке «Я последний поэт деревни...» «Не жалею, не зову, не плачу...» «Все живое особой метой...» «Мне осталась одна забава...» «Пускай ты вышита другим...» «Годы молодые с забубенной славой...» «Я спросил сегодня у менялы...» «Шаганэ ты моя, Шаганэ...» Письмо матери Возвращение на родину «Мы теперь уходим понемногу...» «Отговорила роща золотая...» Русь советская Письмо к женщине Собаке Качалова Черный человек		ЕЛЕНА ТАГЕР 296
		«Велегласно блаженствуют утки в канаве...»
		ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ 296
		Последний Павел Первый Санкюлот Из поэмы «Сын» Баллада о чудном мгновении Сны возвращаются Иероним Босх Из цикла «Грозная тризна» «Я не хочу судиться с мертвецом...» «Нечем дышать, оттого что я девушку встретил...»
		АЛЕКСЕЙ АЧАИР 301
		«Мне кто-то бесконечно дорог...»
		ЛЕОНИД КАННЕГИСЕР 301
		«Я чехлы надела...» Смотр «О, кровь семнадцатого года...» Запустенья Снежная церковь
		АЛЕКСАНДР КУСИКОВ 303
		Лес нагорный

АНТОНИН ЛАДИНСКИЙ	303	Колосс	
Эпилог		«Уже давно, не год, не два...»	
		«Когда я буду умирать...»	
ВЯЧЕСЛАВ ЛЕБЕДЕВ	304	Поезд	
Крым		«Величью Цезаря не верь...»	
МАЛЬВИНА МАРЬЯНОВА	304	ВЕНИАМИН КИСИН	315
Живая и мертвая		«В горницах половички, лампы, горки...»	
СЕРГЕЙ РАФАЛЬСКИЙ	305	АНАТОЛИЙ МАРИЕНГОФ	316
Ярмарка		Октябрь	
		«Мы катим жизнь...»	
ОВАДИЙ САВИЧ	305	«Архангелы гневно трубы пригубили...»	
«Я — старая птица и больше уже не пою...»		Воспоминания	
НИКОЛАЙ ТИХОНОВ	306	МИХАИЛ МОРОЗОВ	317
«Котелок меня по боку хлопал...»		Ванна	
«Праздничный, веселый, бесноватый...»		Игрок	
«Полюбила меня не любовью...»		ГЕОРГИЙ РАЕВСКИЙ	317
«Огонь, веревка, пуля и топор...»		«Ты думаешь — в твое жилище...»	
«Мы разучились нищим подавать...»		ЕЛЕНА РУБИСОВА	318
Дезертир		«Смирение — игольное ушко...»	
«Посмотри на ненужные доски...»		АЛЕКСАНДР ЧИЖЕВСКИЙ	318
«Когда уйду — совсем согнется мать...»		«Как странно лист шуршит...»	
Баллада о гвоздях		АЛЕКСАНДР БЕЗЫМЕНСКИЙ	319
Баллада о синем пакете		О шапке	
Гулливвер играет в карты		БОРИС БОЖНЕВ	319
Цинандалы		«Не трогайте мои весы...»	
Ночной праздник в Алла-Верды		«А если Муза станет проституткой...»	
АЛЕКСАНДР ТУРИНЦЕВ	311	Из поэмы «Чтоб дольше сна продлилось пробуждение...» (отрывок)	
«Он никогда не будет позабыт...»		МАРИЯ ВЕГА	320
ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ	311	Все, может быть, только приснилось... Петербургские мыши	
«Эй, Пахом! Осторожней, Пахом...»		ВАСИЛИЙ КАЗИН	321
АЛЕКСАНДР ГИНГЕР	312	Гармонист	
Имя		На могиле матери	
Весть		ГЕОРГИЙ ОБОЛДУЕВ	322
Тибетская песня		Сени	
АНАСТАСИЯ ГОРНУНГ	313	Фотография	
«Судить не нам, карать еще не нам...»		Все к лучшему	
МИХАИЛ КАЗМИЧЕВ	313	Жезл	
«В столетних листьях вдруг заговорило...»		Язык	
Старый Петербург		Кукареку	
«Серая пыль по займищу бежит...»		«Memento mori»	
ВАЛЕНТИН КАТАЕВ	314		
«Болезненной разлукой и печалью...»			
«Небо мое звездное...»			
Гостиница «Россия»			

«Вот так октябрята, брята...»

Свидетелю
Проходимцам
Муза
Сюркуп

НИКОЛАЙ ОЛЕЙНИКОВ 326

Таракан
Перемена фамилии
Неблагодарный пайщик
Супруге начальника
Чарльз Дарвин
Карась
О нулях

СЕРГЕЙ СПАССКИЙ 329

«Толпятся густо завтрашние трупы...»

ЗИНАИДА ШИШОВА 329

«Длинною окольною дорогою...»

РАИСА БЛОХ 329

«В гулкой час предутренних молений...»
«Принесла случайная молва...»

КОНСТАНТИН ВАГИНОВ 330

«Я стал просвечивающей формой...»
«В пернатых облаках все те же струны...»
«Я полюбил широкие каменья...»
«Не человек: все отошло и ясно...»
«Один средь мглы, среди домов ветвистых...»
«Над миром рысцей торопливой...»
«Дрожал проспект, стреляя светом...»
Песня слов
«Слова из пепла слепок...»

АЛЕКСАНДР ГАТОВ 332

Клуб «Грядущее» (фрагмент)

НИКОЛАЙ ЗАРУДИН 333

«Весна пронеслась мимо жизни, как поезд...»

НАТАЛИЯ КУГУШЕВА 333

«В переполненных теплушках...»

ВЛАДИМИР НАБОКОВ 333

Билет
Расстрел
Безумец
К России
Какое сделал я дурное дело

ЮРИЙ ОЛЕША 335

Страшная ночь

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ 336

Странник
Во сне

РЮРИК РОК 336

Ага...

ИВАН САВИН 337

У последней черты

ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ 337

Из поэмы «Улялаевщина» (фрагмент)
Баллада о барабанщике
Читатель стиха (фрагменты)
Я это видел!
Тамань

АЛЕКСЕЙ СУРКОВ 341

О нежности
«В смертном ознобе под ветром трепещет осина...»
«Бьется в тесной печурке огонь...»

НИКОЛАЙ ТУРОВЕРОВ 342

Крым
Последние бои
Степной поход
«Сотни лет! Какой недолгий срок...»

НИКОЛАЙ УШАКОВ 343

Вино
Фруктовая весна предместий
Дезертир
Леди Макбет
Московская транжирочка
Мастерство
«От всего могу я отказаться...»

СТЕПАН ШИПАЧЕВ 346

Березка
«Любовью дорожить умеете...»
«Себя не видят синие просторы...»

НЕИЗВЕСТНЫЕ АВТОРЫ 347

«Как ужасно никому не верить...»
Хор осмелевших дворянжек
Утюги
«Печатай книги и брошюры...»
По поводу двух палат в России
Мужичья записка

ЧАСТУШКИ 347

ДЕТИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

Поэты, родившиеся после 1900-го до революции 1917 года

АДЕЛИНА АДАЛИС	351	НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР	361
Полуночный разговор		«Взгляни на пропасть перейденный...»	
НИНА ГАГЕН-ТОРН	353	«О, женщина! Она погубит многих...»	
«Горькой ягоды рябины...»		«Если хочешь сил моральных...»	
МИХАИЛ ИСАКОВСКИЙ	353	ВЛАДИМИР АГАТОВ	362
Прощание		«Шаланды, полные кефали...»	
Враги сожгли родную хату...		АННА БАРКОВА	362
НИКОЛАЙ КАШИН	355	Старуха	
«Только в тюрьме дорога нам свобода...»		Благополучие раба	
ДОВИД КНУТ	355	Тоска татарская	
Кишиневские похороны		«Загон для человеческой скотины...»	
АЛЕКСАНДР КОЧЕТКОВ	356	«Опять казарменное платье...»	
Баллада о прокуренном вагоне		НИНА БЕРБЕРОВА	363
ПАВЕЛ ЛУКНИЦКИЙ	357	Я остаюсь	
«Кнопка. И пальца прикосновенье...»		«Раздался вдруг голодный клеткот...»	
СУСАННА МАР	357	«Как лицо без носа...»	
«Осушить бы всю жизнь, Анатолий...»		«В зоологическом трагическом саду...»	
В. ОВЧИННИКОВ	357	«Орлы и бабочки (и кое-что другое)...»	
Улица		Г. ЛЕЛЕВИЧ	365
АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВ	358	Повесть о комбриге Иванове (фрагменты)	
«Развернись, гармоника...»		ВЛАДИМИР ЛУГОВСКОЙ	366
Парни		Песня о ветре (фрагменты)	
Невеста		Курсантская венгерка	
Н. РЭМ	359	Алайский рынок	
Блевков		Та, которую я знал	
АЛЕКСАНДР СВЯТОГОР	360	ВЕРА ЛУРЬЕ	370
«В какую дудку?»		Память	
НИНА СНЕСАРЕВА-КАЗАКОВА	360	ВИКТОР МАМЧЕНКО	371
«Б умные юродством во Христе...»		«Я болен, кажется. Уроды...»	
АРСЕНИЙ СТЕМПКОВСКИЙ	360	ИРИНА ОДОЕВЦЕВА	371
Фон		Толченное стекло	
АЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВСКИЙ	361	Баллада об извозчике	
Поэма анабиоза (фрагменты)		Баллада о Гумилеве	
		«Нет, я не буду знаменита...»	
		ВЛАДИМИР СМОЛЕНСКИЙ	374
		«Если дважды два четыре...»	
		«Кричи не кричи, — нет ответа...»	
		«Любимая моя живет в Китае...»	
		«Над Черным морем, над белым Крымом...»	
		«Закрой глаза, в виденье сонном...»	
		«Никакими словами, никакими стихами...»	

НАТАЛИЯ БЕНАР	375	Облава	
«Лишь одно из груди недомолвок...»		Судья Горба	
НИКОЛАЙ БРАУН	375	Верка Вольная	
На другой день		БЕЛЛА ДИЖУР	390
МАРИЯ ВОЛКОВА	376	«Истончается время, дыхание, движение...»	
Прабабка		ВЛАДИМИР ДУКЕЛЬСКИЙ	390
Следы		Памяти Поплавского	
«Не страшно то, что нет продленья срокам...»		НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ	391
ЮРИЙ ГОНЧАРОВ	376	Лицо коня	
«Сквозь окно прокрался холод снова...»		Футбол	
СТРАННИК	377	Движение	
Стихи о времени		Бродячие музыканты	
«Вот киоски среди Парижа...»		Цирк	
«Вздыхая, но не задыхаясь...» (фрагмент)		Ивановы	
МАРК ТАРЛОВСКИЙ	377	Свадьба	
Печаль		Народный дом	
Лето		Меркнут знаки Зодиака	
Проезжая		Некрасивая девочка	
Ираклийский треугольник		Где-то в поле возле Магадана	
«Но поговорим по существу...»		Последняя любовь	
НИКОЛАЙ ЭРДМАН	379	БОРИС КОВЫНЕВ	398
«Пусть время бьет часы усердным старожил...»		Часы	
ВОЛЬФ ЭРЛИХ	380	ОЛЕГ КОЛОДИЙ	398
Шпион с Марса		«Это для меня ковыли пушисто серые...»	
Вошь		МАРИАННА КОЛОСОВА	398
Между прочим		«Среди ночных, чуть слышных шорохов...»	
Последний купец		Неожиданная Русь	
Эпос		Медный грош	
ИГОРЬ ЮРКОВ	382	ЮСТИНА КРУЗЕНШТЕРН-ПЕТЕРЕЦ	399
Арабески		Россия	
ВАДИМ АНДРЕЕВ	383	НИКОЛАЙ ЛАДЫГИН	400
Ревекка (фрагменты)		Владимир Маяковский (фрагмент)	
ЕЛЕНА БЛАГИНИНА	384	ЮРИЙ ОДАРЧЕНКО	400
Дурочка		Песнь о северном судаче	
Суздаль		«В перетопленных залах больницы...»	
Молитва		«Мальчик катит по дорожке...»	
ГЛЕБ ГЛИНКА	385	«Медведи стали огурцами...» (фрагмент)	
Бумажный змей		«А ты, Ванюша...»	
Идейное		«На красной площади, на плахе...»	
МИХАИЛ ГОЛОДНЫЙ	385	«Есть совершенные картинки...»	
Жеребец		АНАТОЛИЙ ОЛЬХОН	402
		Песня сибирского тракта	
		БОРИС ПОПЛАВСКИЙ	402
		Жалость к Европе	

Другая планета Белое сияние		НИКОЛАЙ КУЗНЕЦОВ	420
		Рабочие поэты (фрагмент)	
ВИССАРИОН САЯНОВ	404	ЛЕОНИД ЛИХАЧЕВ	420
Золотая Олёкма		«И я когда-нибудь уеду за границу...»	
МИХАИЛ СВЕТЛОВ	405	ЕВГЕНИЙ НЕЖИНЦЕВ	421
Двое Рабфаковке Гренада В разведке Старушка Итальянец		Пусть буду я убит в проклятый день войны...	
ДИР ТУМАННЫЙ	408	СЕРАФИМ ОГУРЦОВ	421
Московская Америка		Обнова Пожарная кишка	
ИОСИФ УТКИН	408	СОФЬЯ ПРЕГЕЛЬ	422
Комсомольская песня Письмо Повесть о рыжем Мотэле, господине инспекторе, раввине Исайте и комиссаре Блох (фрагменты)		Война «Он дарил мне кота безусого...» «Из камня родник не брызнет...» Больница	
ГЕННАДИЙ ФИШ	411	НИКОЛАЙ ЧУКОВСКИЙ	423
Политкаторжанин		«Она — телеграфистка...»	
НИНА БРОДСКАЯ	411	ВИКТОР ВАСИЛЕНКО	423
«Быть вновь собой. Ветшая, отпадает...»		«Я вспоминаю елку...» «Я вычерпываю ложкой...»	
АЛЕКСАНДР ВВЕДЕНСКИЙ	412	ЮРИЙ ИНГЕ	424
Кругом возможно Бог (отрывок) «Мне жалко что я не зверь...» Элегия		«Гранитный дом снарядами пронизан...»	
ИЛЬЯ ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ	415	БОРИС ЛАПИН, ЗАХАР ХАЦРЕВИН	425
«Бежит ковыль, трепещут травы...»		«Мне выбили передние зубы...» «Они меня бросили в мусор...» «— У кого найду заступ — тот будет убит...» «Мертвый, продай свои муки...» 25 лет спустя «Опять земля уходит с востока на закат...» Поле боя	
АЛЕКСАНДР ЖАРОВ	416	ЛЕОНИД МАРТЫНОВ	426
Из поэмы «Гармонь»		Сахар был сладок... Зеваки Река Тишина Подсолнух «Замечали — по городу ходит прохожий...» «Мне кажется, что я воскрес...» Царь природы Путешественник След Вода Богатый нищий «И вскользь мне бросила змея...» Эхо Дедал Итоги дня «— Будьте любезны, будьте железны...»	
ЮРИЙ КАЗАРНОВСКИЙ	416		
Зверинец Китайская прачечная			
ОСИП КОЛЫЧЕВ	418		
Фруктовые сады под Тирасполем Яблоко Шарлотта Гершуненко			
МАРИЯ КОМИССАРОВА	420		
Конокрад			

КОНСТАНТИН МИТРЕЙКИН	434	АРГУС	447
Элькины иллюзии (отрывок)		«Я притворяться даже не умею» В Петрограде В Лондоне	
НАДЕЖДА НАДЕЖДИНА	435		
Из цикла «Стихи без бумаги» (отрывок) Ветер «Кажется мне, кажется...» «Не ходи ты ко мне, не ходи...»		АЛЕКСАНДР КАЗАНЦЕВ	448
ИЛЬЯ НИКОНОВ	436	Посев и жатва	
«Станет жизнь — исполнятся сроки...»		СЕМЕН КИРСАНОВ	448
ИВАН ПРИБЛУДНЫЙ	436	«Скоро в снег побегут струйки...» Бой быков Сон во сне Твоя поэма (фрагмент)	
Про бороду Размышления у чужого парадного подъезда		ИРИНА КНОРРИНГ	452
НИКОЛАЙ СИДОРЕНКО	437	Мыши	
Белым-бело		ПАВЕЛ КУСТОВ	453
БОРИС ФИЛИППОВ	438	Половодье	
«Да, одиночество. Удавленное слово...»		ЛЕОНИД ЛАВРОВ	453
ДАНИИЛ ХАРМС	438	Записи о невозможном (фрагмент)	
«Купался грозный Петр Палыч...» Фокусы «По вторникам над мостовой...» «Я сидел на одной ноге...» «Фадеев, Калдеев и Пепермалдеев...» Нетеперь Страсть Сладострастная торговка Из «Голубой тетради» № 12		БОРИС ЛИХАРЕВ	454
ЯКОВ ШВЕДОВ	441	«Человечеством правит врач...»	
Орленок		СЕРГЕЙ МАРКОВ	454
ГЕОРГИЙ ШТЕРН	442	Юрод Иван Горбуны «Где-то падают метеориты...» Кулисы Баллада о гостинице «Селект» Стендаль Переименование отбитого броневика Госпиталь, размещенный в веселом доме Кропоткин в Дмитрове Живешь, поешь в Голутвине... Александр Грин Знаю я — малиновою ранью... «Оставила тонкое жало...»	
Гумилеву		БОРИС НАРЦИССОВ	460
АЛЕКСЕЙ ЭЙСНЕР	442	Усышкин Южас	
Конница «Надвигается осень. Желтеют кусты...»		ЗИНАИДА ШАХОВСКАЯ	461
ДАНИИЛ АНДРЕЕВ	444	«Нету скучных, ни тяжелых дней...»	
Тюрьма на Лубянке Эвакуация вождя из мавзолея в 1941 году Художественному театру «Русские зодчие строили прежде...» К открытию памятника Из поэмы «Гибель Грозного»		ДЖЕК АЛТАУЗЕН	461
		Баллада о четырех братьях	
		РАИСА ГИНЦБУРГ	463
		«И жизнь окончится. Но если будет...»	

НИКОЛАЙ ДЕМЕНТЬЕВ	463	ВАРЛАМ ШАЛАМОВ	479
Смерть бабушки Мать (фрагмент из «Рассказа в стихах»)		«Меня застрелят на границе...» «Говорят, мы мелко пашем...» Суриков. «Боярыня Морозова» «На этой горной высоте...»	
ЮРИЙ ИВАСК	465	НЕИЗВЕСТНЫЕ АВТОРЫ	480
Бесприданница		«Колыма ты, Колыма...» «Я помню тот ванинский порт...»	
ДМИТРИЙ КЕДРИН	466	АНАТОЛИЙ ШТЕЙГЕР	481
Поединок Кофейня Зодчие Песня про Алену-старницу		«Никто как в детстве нас не ждет внизу...»	
БОРИС КОРНИЛОВ	470	АРКАДИЙ ШТЕЙНБЕРГ	481
Качка на Каспийском море Интернациональная Ящик моего письменного стола Соловьяха Из поэмы «Моя Африка»		День победы Отходная Вторая дорога	
АНАТОЛИЙ КУДРЕЙКО	474	ИГОРЬ БАХТЕРЕВ	483
«Мне от пастушьего рожка...»		Знакомый художник	
ВЕРА МАРКОВА	474	НИКОЛАЙ ВОРОБЬЕВ	484
В день годовщины		Пролог к поэме «Кондратий Булавин» «Я никогда не умирал...»	
СЕМЕН ОЛЕНДЕР	474	ВЛАДИМИР ДЕРЖАВИН	484
Поэма о часовщике для пионеров и больших октябрят (фрагмент)		Чернильница (фрагмент)	
КИРИЛЛ ПОМЕРАНЦЕВ	475	ЮРИЙ МАНДЕЛЬШТАМ	485
«Что, если все-о все, без исключения...» «В каком-то полуобалдении...» «Все это было, было, было...» «Не Горбачев странною правит...» «Я так скучно, так мелко старею...»		«Ну что мне в том, что ветряная мельница...»	
АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ	475	АЛЕКСАНДР ОЙСЛЕНДЕР	485
Портной из Львова, перелицовка и починка Елена Молоховец Первые свидания Поэт «Как сорок лет тому назад...» «Я, как мальчишка, убежал в кино...» «Меркнет зрение — сила моя...»		«Не — с вечерующего рейда...»	
ЛИДИЯ ЧЕРВИНСКАЯ	478	ВЛАДИМИР ОРЛОВ	486
«Жить в трезвости и в созерцаньи...»		Письмо из Магадана	
МИХАИЛ ЧЕХОНИН	478	МАРИЯ ПЕТРОВЫХ	486
Мать		«Судьба за мной присматривала в оба...» «У человечества одышка...» «Развратник, лицемер, ханжа...»	
ЛИДИЯ ЧУКОВСКАЯ	478	ЕВГЕНИЙ РАИЧ	487
Сверстнику		«Прав анархист. В кармане кулаки...»	
		КОНСТАНТИН СЕДЫХ	487
		Прадед	
		ФЕДОР ФОЛОМИН	488
		«Бросишь в море свою копейку...»	

ЕЛЕНА ШИРМАН	489	ИГОРЬ ЧИННОВ	500
Поэзия		«Бывает, поддашься болезни...»	
Последние стихи		«Я недавно коробку сардинок открыл...»	
ВЛАДИМИР АДМОНИ	490	«О продолжительности жизни...»	
«Вновь поднимается Нева...»		«Надо ли было сказать в крематории...»	
«Здесь лики так удлинены...»		ВЛАДИМИР ЩИРОВСКИЙ	501
ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВА	490	«Убийства, обыски, кочевья...»	
«Так трудится над тайной кулака...»		«Нет, мне ничто не надоело...»	
ИВАН БАУКОВ	491	«Вчера я умер и меня...»	
«Сорок третий год. Зима...»		Счастье	
РУДОЛЬФ БЕРШАДСКИЙ	491	Дуализм	
«Сегодня ко мне опустился с воли...»		«Молодую, беспутную гостью...»	
АЛЕКСАНДР ГИТОВИЧ	491	«Слежу тяжелый пульс в приливах и отливах...»	
Вода		На отлет лебедей	
АЛЛА ГОЛОВИНА	492	Из поэмы «Ничто» (фрагменты)	
«Сумасшедший дом. Аккуратный парк...»		Конец века	
МИХАИЛ ГОРЛИН	492	«Быть может, это так и надо...»	
Мексика моего детства		«Город блуждающих душ, кладезь напрасных слов...»	
ВИКТОР ГУСЕВ	493	«Или око хочет, кои веки...»	
Звезда моего деда (фрагмент)		«Совсем не хочу умирать я...»	
ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ	494	Донна Анна	
Мыши		«На блюдах почивают пирожные...»	
«Когда нам принесли бушлат...»		«Вселенную я не облаплю...»	
Амнистия (Апокриф)		Бес	
«Я не соблюдал родительский обычай...»		Танец души	
«Я вновь на дне. И есть барон...»		ЛАРИСА АНДЕРСЕН	508
Мария Рильке		Пустыня	
Убит при попытке к бегству		ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ	509
Утильсырье		Охотнику	
Солдат-заключенный		Сиделка	
«Пока это жизнь, и считается...»		«Ты у жизни мною добыт...»	
Кампанелла — палачу		Прятелям	
МАРА ИВАЩЕНКО	498	Борису Корнилову	
Экспромт		На воле	
ВЛАДИМИР МАНСВЕТОВ	499	Дальним друзьям	
«Может быть, одолеет...»		Из цикла «Европа. Война 1940 года»	
НИКОЛАЙ РЫЛЕНКОВ	499	Разговор с соседкой	
Встреча на пути в Арзрум		«Я никогда не напишу такого...»	
ПЕТР СЕМЬНИН	500	Измена	
И дерево в цвету, и облако, и птица...»		«О, не оглядывайтесь назад...»	
		Из цикла «Стихи о любви»	
		«Взял неласковую, угрюмую...»	
		«Ни до серебряной и ни до золотой...»	
		К песне	
		В Сталинграде	
		Бабье лето	
		Ответ	
		Из цикла «Анне Ахматовой»	
		Анна Ахматова в 1941 году в Ленинграде	
		Из цикла «Родине»	
		«Гнала меня и клеветала...»	
		«Нет, судьба меня не обижала...»	
		Надпись на книге	

«Нет, не из книжек наших скудных...»
 «А уж путь поколения...»
 «По вершинам, вечно обнаженным...»
 «Подбирают фомки и отмычки...»
 «Рассыпали набор — тягчайших дней...»
 «Знаю, знаю в доме каменном...»
 «И скажу, узнав воочью...»
 Малолетки на прогулке
 «За облик призрачный, любимый...»
 И все неодолимее усталость

ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ 515

Соляной бунт (отрывок)
 Свадьба
 Стихи в честь Натальи
 «Родительница степь, прими мою...»
 Принц Фома

АЛЕКСАНДР ГАНГУС 519

«Отстреливаясь от тоски...»
 На запад от мыса Горн
 Баллада о городах
 Из поэмы «Принц Оранский» (фрагмент)
 «Она бежит, сороконожка...»
 «Тяжело быть изыскателем...»

МИХАИЛ СВОБОДА 520

Договор

АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ 521

Из поэмы «Василий Теркин»
 Переправа
 Две строчки
 Я убит подо Ржевом
 «Ты откуда эту песню...»
 Из поэмы «Теркин на том свете» (отрывок)
 Из поэмы «За далью — даль»
 Литературный разговор
 «Нет, жизнь меня не обделила...»
 «Я знаю — никакой моей вины...»

СЕРГЕЙ ЧЕКМАРЕВ 530

«Еще и день не начался...»

НИКОЛАЙ ЩЕГОЛЕВ 530

Опыт
 «Одно ужасное усилье...»
 Покушавшемуся
 Отупение
 Сирена

ФЕДОР БЕЛКИН 532

Петух

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ 532

Голубь моего детства

ПОЛИНА КАГАНОВА 534

«О тебе уже не плачу...»
 Корова

АЛЕКСАНДР КОВАЛЕНКОВ 534

«Случалось ли вам собирать грибы...»

ПЕТР КОМАРОВ 535

Санчагоу

БОРИС ЛЕБЕДЕВ 536

Сердце

СЕМЕН ЛИПКИН 536

Истоки

Союз

«Тот, кто ветру назначил вес...»
 Отстроенный город

АЛЕКСАНДР НЕЙМИРОК 537

Собор

Ди Пи

Берлин

Из поэмы «Октавы»

ГАЛИНА НИКОЛАЕВА 538

Дым на заре

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ 539

«Хожу я ужинать в столовую...»
 Госпоже душе
 «Приходит гость из Гатчины...»
 Жизнь званская
 Аввакум в Пустозерске

БОРИС ФИЛИППОВ 541

Просьба

Эпитафия

МАРК ШЕХТЕР 541

«Зачем глаза и губы мне...»

НИНА ЭСКОВИЧ 542

Квартирантка

ОЛЬГА АНСТЕЙ 543

Кирилловские яры

«Я человека в подарок получила...»

«Я примирилась, в сущности, с судьбой...»

ЛЕОНИД ВИЛКОМИР 544

Вдохновение

<u>АЛЕКСАНДР ГЛАДКОВ</u>	<u>544</u>	Глебу Глинке	
«Мне снился сон. Уже прошли века...»			<u>ИВАН РОГОВ</u> 554
<u>ЛЕВ ГУМИЛЕВ</u>	<u>545</u>	Жданка	
«Дар слов, неведомых уму...»			<u>БОРИС РУЧЬЕВ</u> 554
<u>МИРОН ЛЕВИН</u>	<u>545</u>	Стихи о первой любви	
«На дороге столбовой...»			<u>ЯН САТУНОВСКИЙ</u> 556
<u>КСЕНИЯ НЕКРАСОВА</u>	<u>546</u>	«Друзья мои, я отоварился!»	
Слепой		«И хоть слушаешь их в пол-уха...»	
Готика		«Я хорошо, я плохо жил...»	
Мое пальто		«У меня — отличное здоровье...»	
«Я полоскала небо в речке...»		«Ел филе...»	
Улица		«Может быть, в каком-нибудь Энске...»	
Рублев. XV век		«В апреле земля прееет...»	
<u>ЛЕВ ОШАНИН</u>	<u>547</u>	День рождения	
Дороги		«Опять понедельник...»	
<u>СЕРГЕЙ ПОДЕЛКОВ</u>	<u>548</u>	<u>ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ</u> 557	
«Лик Пантократора на старом древке...»		Точка зрения	
<u>НИКОЛАЙ СТЕФАНОВИЧ</u>	<u>548</u>	Про товарища (фрагмент)	
«У всех у нас единый жребий...»		Любка	
«До чего ж характер...»		«Если я заболею...»	
«Весть страшная, меня испепелив...»		Хорошая девочка Лида	
«Тот угрюмый дом через улицу...»		Петр и Алексей	
«Зачем от замурованной золы...»		Портрет	
«Мы прятались, в саду желтела осень...»		Земля	
«Когда-то за розовым дымом...»		Манон Леско	
«Мой внезапный порыв безотчетен...»		Кладбище паровозов	
<u>ВАДИМ СТРЕЛЬЧЕНКО</u>	<u>549</u>	Памятник	
Моя фотография		Опять начинается сказка	
Родине		Письмо домой	
<u>МАРК ЛИСЯНСКИЙ</u>	<u>550</u>	Шинель	
Моя Москва		Жидовка	
<u>ВЛАДИМИР ЛИФШИЦ</u>	<u>550</u>	Земляки	
Стол		Голубой Дунай	
Бокс		Меншиков	
«Я вас хочу предостеречь...»		Слепец	
Со		Послание Павловскому	
Из стихов Донејмса Клиффорда		Три витязя	
Отступление в Арденнах		<u>СЕРГЕЙ СМИРНОВ</u> 569	
<u>ВАЛЕРИЙ ПЕРЕЛЕШИН</u>	<u>552</u>	В теплушке	
«В час последний, догорая...»		<u>ЛЕОНИД ТОПЧИЙ</u> 570	
Заблудившийся аргонавт		Гармонь	
«За свечой — в тени — Засвечье...»		<u>АЛЕКСАНДР ЯШИН</u> 570	
Путь		Вологодское новогоднее	
Гражданин мира?		Орел	
		«Я обречен на подвиг...»	
		<u>ВИКТОР БОКОВ</u> 571	
		Память	

- «Я себя называю скитальцем!»
Соль
- САВЕЛИЙ ГРИНБЕРГ** 573
- Здесь бронтозавры бронтозавтракали (фрагмент)
- ВЛАДИСЛАВ ЗАНАДВОРОВ** 573
- В охотничьей избушке
- МАЙЯ ЛУГОВСКАЯ** 574
- Разбойники
- КОНСТАНТИН МУРЗИДИ** 574
- Письмо
- АЛЕКСЕЙ НЕДОГОНОВ** 575
- Флаг над сельсоветом (фрагмент)
Ковры
- ЛЕВ ОЗЕРОВ** 576
- Бабий Яр
- АЛЕКСАНДР РИВИН** 578
- «Вот придет война большая...»
- АЛЕКСАНДР ШЕВЦОВ** 578
- Фрунзенский район
- ПАВЕЛ ШУБИН** 579
- Полмига
- В. ШУЛЬЧЕВ** 580
- В июне
- МАРГАРИТА АЛИГЕР** 580
- «С пульей в сердце я живу на свете...»
«Люди мне ошибок не прощают...»
К портрету Лермонтова
«И все-таки настаиваю я...»
«Подживает рана ножевая...»
- ВИКТОР ВЕТЛУГИН** 582
- Россия
- ЕВГЕНИЙ ДОЛМАТОВСКИЙ** 582
- Сказка о звезде
Герой
- ВЛАДИМИР ЗАМЯТИН** 583
- Петухи
- И. КРУГЛОВ** 584
- «Я не видел России и мне незнаком...» (фрагменты)
- МИХАИЛ МАТУСОВСКИЙ** 584
- Подмосковные вечера
- КОНСТАНТИН СИМОНОВ** 585
- Поручик
Из поэмы «Несколько дней» (фрагмент)
Сверчок
«Тринадцать лет. Кино в Рязани...»
«Жди меня, и я вернусь...»
«Над черным носом нашей субмарины...»
«Не сердитесь — к лучшему...»
«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»
Родина
Через двадцать лет
У огня
Слепец
- ТАТЬЯНА СЫРЫЩЕВА** 591
- «На высокую насыпь положены шпалы...»
- ВЕРОНИКА ТУШНОВА** 591
- Капитаны
«Надо верными оставаться...»
- АНАТОЛИЙ ЧИВИЛИХИН** 592
- Гордость
- ВАДИМ ШЕФНЕР** 593
- Лесной пожар
«Я мохом серым нарасту на камень...»
- МИХАИЛ ДУДИН** 593
- Соловьи
- ЕКАТЕРИНА ШЕВЕЛЕВА** 595
- Эпитафия
- ГЕОРГИЙ ГОРНОСТАЕВ** 595
- Из поэмы «Кремлевские звезды» (фрагмент)
- ГРИГОРИЙ ЛЕВИН** 596
- Ландыши продают
- МИХАИЛ ЛЬВОВ** 596
- Дорога на юге
Степь
«Чтоб стать мужчиной, мало им родиться...»
«Есть мужество, доступное немногим...»
У входа в Скалат
Встреча
«Художник не прощает никому...»

НИКОЛАЙ МОРШЕН	597	Иванушка 1943 Азбука коммунизма
«Он прожил мало: только сорок лет...» Волчья верность		

ДЕТИ ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА

Поэты, родившиеся с 1918 по 1940 год

НАТАЛЬЯ БУРОВА	601	ГЛЕБ СЕМЕНОВ	615
«Однажды, привалившись к шалашу...»		«Край отчий. Век трудный. Час легкий...» Дезертир «По памяти рисую: вот изба...» Родине	
АЛЕКСАНДР ГАЛИЧ	601	МАРК СОБОЛЬ	616
Леночка Облака Ошибка Вальс-баллада про тещу из Иванова Городской романс Моей матери		«Не верю я. Мне не семнадцать лет...» «Семинарист, приученный к поклонам...»	
НИКОЛАЙ ДОМОВИТОВ	605	НИКОЛАЙ ТАРАСОВ	617
Стихи о Есенине		«Я удивляюсь сверстницам мальчишек...»	
ИВАН ЕЛАГИН	605	НИКОЛАЙ ТРЯПКИН	617
«Послушай, я все скажу без утайки...» «Хлопочет сердце где-то в глубине...» «Мне незнакома горечь ностальгии...» В Гринвич Вилидж Амнистия Звезды (фрагмент — финал) «Не надо слов о смерти роковых...» «Спят на фасаде даты...» «Знаю, не убьет меня злодей...» Льдина (фрагменты)		Вечером «Прогнали иродов-царей...» Сколько было всего... Извечная песня «Как научились воровать...» Из цикла «Стихи о собачьем наследии» «Процветает человек...»	
ПАВЕЛ КОГАН	609	ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВ	619
Гроза Письмо (отрывок) Первая треть (отрывки) Лирическое отступление		Рабская кровь	
МИХАИЛ ЛУКОНИН	611	ИРИНА ШАШКОВА	620
Коле Отраде Приду к тебе Сталинградский театр Мои друзья		Яблоко	
МАРК МАКСИМОВ	614	ИВАН БУРКИН	620
Баллада о часах В краю молчания (фрагмент) «Жен вспоминали...»		Симфонический скандал (фрагменты) Весна	
НИКОЛАЙ ОТРАДА	615	АЛЕКСАНДР ВОЛОДИН	621
Футбол		«Нас времена три раза били...»	
		НИКОЛАЙ ГЛАЗКОВ	621
		Ворон Баллада «Я сам себе корежу жизнь...» «Существует четыре пути...» Лапоть «За неведомым бредущие...» «Все происходит по ступеням...» Хихимора (фрагменты) «Не знаю, в каком я раю очучусь...»	

«Куда спешим? Чего мы ищем...» «На Тишинском океане...» Вступление в поэму Моя жена Небывализм меня «Мне нужен мир второй...» Боярыня Морозова «Пусть будет эта повесть...» Памяти Миши Кульчицкого Послание Мише Луконину Примитив «На земле исчезнут расы...» Поэтоград (фрагменты) «Хочу, чтоб людям повезло...» «С чудным именем Глазкова...» Глухонемые «Вы, которые не взяли...» «Когда грузил баржу, немало...» «Вот идет состав товарный...» Молитва Разговор бойца с богородицей «Что было, то было, а было эдак...» «У меня квартира умерла...» «Лез всю жизнь в богатыри да в гении...» «В силу установленных привычек...» Из поэмы «Дорога далека» «Пьяный ушел от зимнего холода...»	
СТЕФАН КЛЕНОВИЧ	632
«Я хотел быть свободным зверем...»	
МИХАИЛ КУЛЬЧИЦКИЙ	632
Самое такое. Из поэмы о России «Но если я прекращусь в бою...» Хлебников в 1921 году (из цикла «Учителя») «Я раньше думал: лейтенант...»	
АЛЕКСАНДР ЛЮКИН	634
Дорога	
НИКОЛАЙ МАЙОРОВ	634
Смерть революционера «Тогда была весна...» «Когда умру, ты отошли...» «Я не знаю, у какой заставы...»	
СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ	635
На рубеже В те годы Предпоследнее письмо Ночь в сельсовете Фронтная ночь Волчонок Вариации из притч	
ЮРИЙ ОКУНЕВ	638
Не лгите дневникам!	

БОРИС СЛУЦКИЙ	639
Кельнская яма Госпиталь «Последнюю усталостью устав...» Писаря Баня Бог Прозаики Хозяин Лошади в океане «Я судил людей и знаю точно...» «Всем лозунгам я верил до конца...» Про евреев Немка Бесплатная снежная баба	
ГЕОРГИЙ СУВОРОВ	644
«Еще утрами черный дым клубится...»	
АЛЕКСЕЙ ФАТЬЯНОВ	644
Соловьи	
ЧАСТУШКИ	645
ЮРИЙ БЕЛАШ	645
Перекур	
АЛЕКСАНДР КОРЕНЕВ	646
Иду на вы!	
АНИСИМ КРОНГАУЗ	646
Госпитальная песня Носилки	
АЛЕКСЕЙ МАРКОВ	647
«В неудачливого, брат...» «Много-много лошадей...»	
ДАВИД САМОЙЛОВ	647
Из детства Старик Державин Сороковые Зрелость Пестель, поэт и Анна «Мне снился сон. И в этом трудном сне...» «Вот и все. Смежили очи гении...» Из стихов о царе Иване 1. Иван и холоп 2. Смерть Ивана	
ЛЕОНИД ХАУСТОВ	651
В школе	
ИГОРЬ ХОЛИН	651
«На днях у Сокола...»	

«Повесился. Все было просто...»		ВАСИЛИЙ СУББОТИН	658
«Пейзаж прост...»		Эпилог	
«Пивная, как кабак...»		ЛЕОН ТООМ	658
«На Марсе...»		Соратникам	
«Магазин грампластинок...»		«Освобождают...»	
«Люди, поверьте...»		ВСЕВОЛОД БАГРИЦКИЙ	659
«Да здоровствует солнце...»		«Бывает так, что в тишине...»	
«Странно...»		«Мне противно жить не раздеваясь...»	
«Он говорил ей пошлости...»		ЮРИЙ ГОРДИЕНКО	660
НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР	652	Рикша	
«Как ужасно никому не верить...»		«Любовь она как треснувшая рельса...»	
ВЕНИАМИН БЛАЖЕННЫХ	653	ЮРИЙ ГРУНИН	660
«Разыщите меня, как иголку, пропавшую в сене...»		Однонарнику	
ИРИНА БУШМАН	653	СЕМЕН ГУДЗЕНКО	661
«С недоеденным яблоком, крепко зажатым в кулак...»		Баллада о дружбе	
ЛЕВ ДРУСКИН	654	Перед атакой	
«А как вещи мои выносили...»		Мое поколение	
«Судите и да будете судимы...»		«На снегу белизны госпитальной...»	
АНАТОЛИЙ КЛЕЩЕНКО	654	«Я был пехотой в поле чистом...»	
За что?		«Мы не от старости умрем...»	
Тренировка		ВЛАДИМИР КАРПЕКО	663
«Становятся космической пылью...»		«Замани меня, степь, замани...»	
Начальник конвоя		ЛЕВ КРОПИВНИЦКИЙ	664
Канал имени Сталина		Вопросов нет	
Вызов		ЮРИЙ ЛЕВИТАНСКИЙ	664
ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ	656	Сон о рояле	
«В песчаный берег врылась рота...»		АНДРЕЙ ЛЯДОВ	665
ВАСИЛИЙ КУБАНЕВ	656	Гоша Федосов	
«...Когда заносчивость Британий...»		ГРИГОРИЙ ПОЖЕНЯН	666
НАТАЛЬЯ МОРГУНОВА	656	Поэт и царь	
«Ты — танк. Ты все сметаешь на пути...»		«Что поздних радостей печаль...»	
«Какая боль, и стыд, и жалость...»		Города	
«— О, с Вами я еще намаюсь...»		ВАДИМ СИКОРСКИЙ	667
СЕРГЕЙ ОРЛОВ	657	Сосед	
«Его зарыли в шар земной...»		ИРИНА СНЕГОВА	667
БОРИС СМОЛЕНСКИЙ	657	Нежность	
«Я сегодня весь вечер буду...»		БОРИС БОРИН	668
Ремесло		«Входили в мир...»	
СЕМЕН СОРИН	658		

НИКОЛАЙ ДОРИЗО	668	БУЛАТ ОКУДЖАВА	684
Его я видеть не должна		Полночный троллейбус «Мне нужно на кого-нибудь молиться...» «Тьмою здесь все занавешено...» Размышления возле дома, где жил Тициан Та- бидзе «Я никогда не витал, не витал...» Как я сидел в кресле царя В городском саду Молитва «Не верю в бога и судьбу...» Песенка солдата	
АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ	668	НИКОЛАЙ ПАНЧЕНКО	687
Ладожский лед «Человек живет на белом свете...» Стихи о мальчике Утром С войны Баллада о цирке Серпухов Воспоминание о пехоте «Мы под Колпином скопом стоим...» «Одиночество гонит меня...» «Ах, этот старый анекдот...» «Строим, строим города...»		«Страна лесов...»	
ГЕНРИХ РУДЯКОВ	675	ИГОРЬ РИНК	687
«Когда мой взвод несет потери...»		Новогодняя ночь	
ФЕДОР СУХОВ	676	ВАДИМ СИДУР	688
«Я вчера была у кума...» (фрагмент)		«Четверть века...»	
БОРИС ЧИЧИБАБИН	676	ВЛАДИМИР СОЛОУХИН	688
Проклятие Петру Печальная баллада о великом городе над Невой «Сними с меня усталость, мать Смeрть...» Верблюды «Кончусь, останусь жив ли...» Сожаление «Меня одолевает острое...»		Погибшие песни «Дуют метели, дуют...» Волки	
АЛЕКСАНДР ВОЛЬПИН	679	НИКОЛАЙ СТАРШИНОВ	690
В Зоопарке		«Ракет зеленые огни...»	
ЮЛИЯ ДРУНИНА	679	ВИКТОР УРИН	690
«Я только раз видала рукопашный...» Зинка		«Ах, Майка в майке...» Мед Лидка	
ИГОРЬ КОБЗЕВ	680	ЯКОВ ХРОМЧЕНКО	692
Максим		Наваждение	
КОНСТАНТИН ЛЕВИН	681	АЛЕКСАНДР БАЛИН	692
«Нас хоронила артиллерия...» «Сейчас мои товарищи в Берлине пляшут лин- ду...» Любовь как самолюбие «Был я хмур и зашел в ресторан «Кама...» «Обмылок, обсевок, огарок...» «Полуувядшие кокетки...» «Чему и выучит Толстой...» «Как ни обкладывали медицину...» Памяти Мандельштама		Первое свидание	
		КОНСТАНТИН БОГАТЫРЕВ	693
		Памяти Пастернака	
		КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН	693
		Мальчишка Женька За окошком свету мало	
		ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ	695
		«Мы шли под дождем осколков...»	
		ЕВГЕНИЙ ВИНОКУРОВ	695
		«Мы из столбов и толстых перекладин...»	

«Про смерть поэты с болью говорили...»		«Так бывало не однажды...»	
Скатка		«Читал я следственное дело...»	
«Теплым, настезь распахнутым вечером, летом...»		ВЛАДИМИР ЛЬВОВ	707
«В полях за Вислой сонной...»		Перед поиском	
«На вешалке в передней...»		«Распятие с желтым телом божьим...»	
Синева		«Одна девчонка нас любила...»	
Незабудки		Ночная смена	
Моя любимая стирала		Пробный стежок	
Балы		«Где б я ни был, что б со мной ни стало...»	
Заведующий поэзией		МАРК СЕРГЕЕВ	709
Она		«Постареют наши лидеры...»	
Пророк		ВАЛЕНТИНА СИНКЕВИЧ	709
Ложь		Единожды	
ЮЛИЙ ДАНИЭЛЬ	699	ЕВГЕНИЙ ФЕЙЕРАБЕНД	709
«Ты здесь, со мной, вседневно, ежечасно...»		Муравей	
Приговор		ЛАЗАРЬ ШЕРЕШЕВСКИЙ	710
Последнее		Век великого перелома	
На библейские темы		ГЕРМАН ВАЛИКОВ	710
Из цикла «Часовой»		Памятка	
Либералам		ВЛАДИМИР ГНЕУШЕВ	711
ИОНА ДЕГЕН	701	«Все давним и путаным станет...»	
«Мой товарищ в предсмертной агонии...»		НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВА	711
АНДРЕЙ ДОСТАЛЬ	701	«У нижней Нинки снова пьянка...»	
«Река проходила...»		ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ	712
НАУМ КОРЖАВИН	702	«Господи, ни охнуть, ни вздохнуть...»	
Зависть		ВАЛЕНТИН СОКОЛОВ	712
Стихи о детстве и романтике		«Я ослеп от синих ламп...»	
16 октября		Из поэмы «Гротески»	
Вариации из Некрасова		«Там на вахте мерзнут трупы...»	
Ленинград		«Я у времени привратник...»	
Памяти Герцена		ГЕННАДИЙ ТЕМИН	713
ВАДИМ ПОПОВ	704	«Балайды бери хоть три миски...»	
Подпоручик		АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ	713
НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР	704	«Поэзия жива своим уставом...»	
Эпитафия на могиле блатного		ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ	714
ГРИГОРИЙ ШУРМАК	705	Диктор	
Воркута — Ленинград		Небо	
ГРИГОРИЙ КОРИН	705	Гумилев	
«Я видел дважды, как со дна...»		Екатерининский канал	
СЕРГО ЛОМИНАДЗЕ	706		
«Я шел по городу, в котором...»			
«Нарядчик Пашура толкует так...»			
«Когда спустя века произведут раскопки...»			
«Прощайте, никто не виновен...»			
«Пол-отечества нет и в помине...»			

Тяжба Свобода Иннокентий Анненский		РОЛАН БЫКОВ	727
		«Оковы тяжкие падут...» «Я с детства видел свой портрет в оконной раме...»	
ИННА ЛИСНЯНСКАЯ	716	ЮРИЙ ВОРОНОВ	728
«Вам, друзья мои, вам, дорогие...» Я затягиваю петельку Время каждой ягоде Переделкинское кладбище		«В блокадных днях...»	
ЭРНСТ НЕИЗВЕСТНЫЙ	717	ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР	728
Буда и Пешт		Молитва за Гретхен Язык Народ Памяти Высоцкого «Я не знал лубянского кровососов...»	
ВИКТОР НЕКИПЕЛОВ	718	НИКОЛАЙ ШАТРОВ	729
Алабушево Баллада о первом обыске		Каракульча «Я не стихотворец. Я поэт...»	
ГЕНРИХ САПГИР	719	СВЕТЛАНА ШИЛОВА	730
Смерть дезертира Икар Боров		Песня про старушку	
ВЛАДИМИР СОКОЛОВ	721	НИКОЛАЙ АНЦИФЕРОВ	731
Начало Первый снег «Машук оплыл...» «Когда стреляют в воздух на дуэли...» «Снега белый карандаш...» «Все, как в добром старинном романе...» Воспоминания о кресте «Художник должен быть закрепощен...» Венок «Я устал от двадцатого века...» Из поэмы «Пришелец»		Вельможа	
АЛЛА СТРОЙЛО	725	ВАСИЛИЙ БЕТАКИ	731
«Что такое глухомань...»		Мы — из Китежа	
ВЛАДИМИР ТОРОПЫГИН	725	ДМИТРИЙ ГОЛУБКОВ	732
«Весь вечер эта женщина была...»		«Молоденькая карлица в болонье...» «И над могилой сосны стыли...»	
АЛЕКСАНДР ЦЫБУЛЕВСКИЙ	726	АНАТОЛИЙ ЖИГУЛИН	732
«Когда рассвет — сквозь ставни — тощий...» «Шар земной и Хлебников бездомный...» «Как эти линии покаты...» «Опавших листьев ворох прелый...»		Кострожоги	
АНАТОЛИЙ ЧИКОВ	726	КИРИЛЛ КОВАЛЬДЖИ	733
Ответ Емели...		«Совсем закружили дела...» «— О, Русь моя, жена моя, зачем...» «С детства, словно ежа под череп...» «В родной уборной...»	
ЮЗ АЛЕШКОВСКИЙ	727	ВАЛЕНТИН КУЗНЕЦОВ	734
Песня о Сталине		Заклученные	
		ГЕОРГИЙ МАЗУРИН	734
		Царь-колокол	
		АЛЕКСЕЙ ПРАСОЛОВ	735
		«Тревога военного лета...»	
		МАРК САМАЕВ	735
		«Я — выплеск очереди и трамвайной давки...»	

ДМИТРИЙ СУХАРЕВ	736	СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ	747
Спасибо отцу		Очень давнее воспоминание	
МАРАТ ТАРАСОВ	736	РОАЛЬД МАНДЕЛЬШТАМ	748
«Ста оттенков суматоха...»		«Когда-то в утренней земле...»	
ГЛЕБ ГОРБОВСКИЙ	737	ВЛАДИМИР МОРОЗОВ	748
Фонарики		Отец	
Проклятие скуке		СЕРГЕЙ ПОЛИКАРПОВ	749
Песенка про постового		«У Аксиньи брови сини...»	
Из цикла «Квартира № 6»		РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ	749
Стихи о квартирной соседке		Нелетная погода	
Яма		На дрейфующем проспекте ты живешь	
На лесоповале		Дочке	
Из семистиший		Голос	
«Я тихий карлик из дупла...»		«Тихо летят паутинные нити...»	
«Здравствуй, бабушка-старушка...»		«В поисках счастья, работы, гражданства...»	
«И вдруг улыбнулся старик на углу...»		Прогноз погоды	
«Был обвал. Сломало ногу...»		ЕВГЕНИЙ ХРАМОВ	752
«Ты танцуешь, и юбка летает...»		Камер-фрейлина Загряжская	
ЛЕОНИД ЗАВАЛЬНЮК	740	ВЛАДИМИР ЦЫБИН	753
Мочка уха		Глаза	
ГЕРМАН ПЛИСЕЦКИЙ	740	ПАВЕЛ БАБИЧ	754
Труба		Корнет Оболенский...	
Памяти Джона Кеннеди		ВЛАДИМИР БРИТАНИШСКИЙ	754
ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ	743	«Били в армии, в школе, в столице, в селе...»	
Апрель в городе		Смерть поэта	
ЕЛЕНА АКСЕЛЬРОД	743	АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ	755
«Жизнь после смерти есть. Я умерла...»		Гойя	
ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВ	744	Пожар в архитектурном институте	
«Эта женщина и эта крепость...»		«Сидишь беременная, бледная...»	
ДМИТРИЙ БЛЫНСКИЙ	744	Осень	
Моя родословная		Бьют женщину	
ВЛАДИМИР БУРИЧ	745	Лобная баллада	
«Чего я жду...»		Антимиры	
«Дуешь в волосы своего ребенка...»		Осень в Сигулде	
Путь гражданина		Поют негры	
ОЛЕГ ИЛЬИНСКИЙ	745	Ночной аэропорт в Нью-Йорке	
Сентиментальная прогулка		Монолог Мерлин Монро	
РИММА КАЗАКОВА	746	Охота на зайца	
«Мне знакомо это чувство: на коне...»		Тишины!	
Дон Жуан		Бьет женщина	
		Плач по двум нерожденным поэмам	
		Роцца	
		Правила поведения за столом	
		Муравей	
		Оза (фрагмент)	
		Сага	

АЛЕКСАНДР ГОРОДНИЦКИЙ	765	НАТАН ЗЛОТНИКОВ	781
Чаадаев		Дикий гусь	
СЕРГЕЙ ДРОФЕНКО	766	СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА	782
Эскизы из истории Праздники «Под сень михайловского леса...»		«Третьи сутки бред, третьи сутки жар...»	
ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО	767	НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА	782
«Окно выходит в белые деревья...» Свадьбы «Со мною вот что происходит...» Одиночество «Когда взошло твое лицо...» Бабий Яр Наследники Сталина Два города Карликовые березы «Граждане, послушайте меня...» Казнь Стеньки Разина «Идут белые снега...» Последняя попытка		Древесина «Я, говорит, не воин...» Сводники Гимн перцу Роберт Фрост Маяк Смех фавна	
НИНА КОРОЛЕВА	776	АЛЕКСАНДР МОРЕВ	785
«И я бы зашила брильянты в корсет...» «Оттаяла или очнулась? — спасибо, любимый...»		«Он пришел с войны...» Россия «Та, другая, не придет ко мне...»	
ВЛАДИМИР ЛЕОНОВИЧ	776	ВСЕВОЛОД НЕКРАСОВ	786
Мгновенье слабое Анна Ходасевич		«Дзержинский был...» Стихи на иностранном языке	
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ	778	ИРИНА ОЗЕРОВА	786
Из поэмы «Россия для приезжего — орех»		Емеля	
ЮРИЙ СМИРНОВ	778	АНАТОЛИЙ ПЕРЕДРЕЕВ	787
«Что выдeldывают голуби...» «Я изучаю микромир...»		Окраина	
ЛЕОНИД ТЕМИН	779	АНАТОЛИЙ ПРЕЛОВСКИЙ	787
Перелицовка		Молитва	
ЛЕОНИД ЧЕРТКОВ	779	ОЛЕГ ЦЕЛКОВ	788
«Я на вокзале был задержан за рукав...» «Как павший ангел, воплощенный...»		Антонине	
АЛЕКСАНДР АРОНОВ	780	ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВА	788
1956-й		Песня хиппи	
ЮРИЙ ВИЗБОР	780	ИЛЬЯ ГАБАЙ	789
Волейбол на Сретенке		В последний раз в именье родовом (фрагмент) «Вот мы и с тобой в шестидесятых...»	
АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР	781	СЕРГЕЙ ИОФФЕ	789
«Опять явилась ностальгия...»		«Боюсь остаться в памяти твоей...»	
		ВАСИЛИЙ КАЗАНЦЕВ	790
		«А государство правовое...»	
		ВЛАДИМИР КОСТРОВ	790
		«Все болтали и снова болтаем...»	

СТАНИСЛАВ КРАСОВИЦКИЙ	790	НАТАЛЬЯ ГОРБАНЕВСКАЯ	802
Цех		«А я откуда? Из анекдота...»	
ЮРИЙ ПАНКРАТОВ	791	«Как андерсовской армии солдат...»	
«Я из березы месяц вырезал...»		«Шел год недобрых предсказаний...»	
ЭРНСТ ПОРТНЯГИН	791	ИГОРЬ ГУБЕРМАН	803
Возвращение		«Смакуя азиатский наш кулич...»	
ВАДИМ РАБИНОВИЧ	792	«Возглавляя партии и классы...»	
«Что есть сюжет...»		«Во благо классу-гегемону...»	
ЕВГЕНИЙ РЕЙН	792	«Когда идет пора...»	
Черная музыка		«Я живу, в суете мельтеша...»	
Воздушный календарь		АЛЕКСЕЙ ЕРАНЦЕВ	803
Галя, мама и дочь моя Анна		«Зайчиха себя ушами...»	
Взор через окуляр		«Поэт над братьями не княжит...»	
Монастырь		Тень	
Сосед Котов		«Вот была у нас корова...»	
Авангард		ТАМАРА ЖИРМУНСКАЯ	804
НАУМ САГАЛОВСКИЙ	797	«Устала я... Поверь и не кори...»	
Лондонская баллада		ЮЛИЙ КИМ	804
ОЛЕГ ТАРУТИН	797	Волшебная сила искусства	
«У старушки Медичи...»		ВАДИМ КРЕЙД	805
ЭРИК ТУЛИН	798	В сорок седьмом году	
Ты и я (фрагмент)		САВВА КУЛИШ	806
ИЛЬЯ ФОНЯКОВ	798	Мальчик и мышь	
Портрет в пути		АЛЕКСАНДР КУШНЕР	806
СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ	798	«Чего действительно хотелось...»	
Утро		«Танцует тот, кто не танцует...»	
МАРИЯ АНДРЕЕВСКАЯ	799	«Все эти страшные слова: сноха, свекровь...»	
«Дождь не поможет нам оплакивать друг друга...»		1974 год	
ДМИТРИЙ БОБЫШЕВ	800	«Слово «нервный» сравнительно поздно...»	
«Увижу ли народ освобожденный...»		ВЛАДИМИР МИКУШЕВИЧ	808
Троцкий в Мексике		Острога	
Из «Русских терцин»		АНАТОЛИЙ НАЙМАН	809
ЛЕОНИД ВИНОГРАДОВ	801	На смерть Юрия Галанскова	
«Мы фанатики. Мы фонетики...»		«Подождите, я здесь занял очередь...»	
«Марусь! Ты любишь Русь?»		НИКОЛАЙ РУБЦОВ	810
АНРИ ВОЛОХОНСКИЙ	801	Добрый Филя	
Чайник — чаю		Хлеб	
		В горнице	
		Грани	
		«Я уплыву на пароходе...»	
		Репортаж	

Звезда полей Тихая моя Родина Прощальная песня		ЛЕВ ЛОСЕВ	827
	НОННА СЛЕПАКОВА	Истолкование Целкова Читая Милоша Местоимения	
	812		
Жеребенок		ЮННА МОРИЦ	828
	ВИКТОР СОСНОРА	Памяти Тициана Табидзе Осень Из стихов о болезни матери «Страна вагонная...»	
	812		
Слепые		МАЙЯ НИКУЛИНА	830
	СЕРГЕЙ ЧУДАКОВ	«Судьбу не пытаю. Любви не прошу...»	
	813		
«Приятеля сажают за подлог...» «Ипполит, в твоём имени камень и конь...» «Переводы из Ружевича и Сэндберга ты уже прочитала...» «Ничего не выходит наружу...» «Самоубийство есть дуэль с собой...»		АЛЕКСЕЙ РЕШЕТОВ	831
	БЕЛЛА АХМАДУЛИНА	Михайловское	
	815	ВЛАДИМИР УФЛЯНД	831
Невеста «Я думала, что ты мой враг...» «Жилось мне весело и шибко...» Сон Товарищи Бог «Вот звук дождя как будто звук домбры...» Заклинание Клянусь Озноб Сказка о Дожде Варфоломеевская ночь		«Уже давным-давно замечено...» Рассказ женщины «Вот и Никифор, наконец, жених...»	
	ЛЕОНИД ВОРОНИН	ГЕННАДИЙ ШПАЛИКОВ	832
	823	«У лошади была грудная жаба...» Песня из пьесы «Ах, утону я в Западной Двине...»	
А. Д. Синявскому		ДМИТРИЙ АВАЛИАНИ	833
	ОЛЕГ ДМИТРИЕВ	«А может быть, вся жизнь...»	
	824	АНАТОЛИЙ БЕРГЕР	833
Послевоенная сказка		«Народовольческую дурь...»	
	ИГОРЬ ЖДАНОВ	ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ	833
	824	«И снизу лед, и сверху — маюсь между...» Банька по-белому Охота на волков Кони привередливые	
«Проворонило время меня...»		ГАЛИНА ГАМПЕР	835
	ВИОЛЕТТА ИВЕРНИ	Медея «Теперь и в похвалах, и в брани...»	
	825	АЛЕКСАНДР ГОВОРОВ	836
«Незрячим пальцем по стеклу...»		В деревне	
	ВЯЧЕСЛАВ ЛЕЙКИН	ЮРИЙ КАМИНСКИЙ	836
	825	«Во тьме веков теряется тот век...»	
«Он был цирюльником...»		ГЕННАДИЙ КАПРАНОВ	836
	СЛАВА ЛЕН	«Не удивляйтесь, кто мне мил...» Глаза «Какою-то пугливой узостью...»	
	826		
«Дождик-мжичка...»			
	ЛЕВ ЛЕНЧИК		
	827		
Смысл ореха (фрагмент)			

ЮРИЙ КАРАБЧИЕВСКИЙ	837	МИХАИЛ ГРОБМАН	848
«Я приеду-пройду по Сущевскому валу...»		«В тот год советские дивизии...»	
«Ах, как холодно, ветрено, муторно...»		ВЛАДИМИР ЗАХАРОВ	848
ВЛАДИМИР КОВЕНАЦКИЙ	838	Русская сказка	
Лихоборское детство		ВИКТОР КОРОТАЕВ	849
Баллада о сборщиках утиля		Волки	
Солдат		ВЯЧЕСЛАВ КУПРИЯНОВ	849
«Вот пришла весна опять...»		Сумерки тщеславия	
«Мне нравятся приемщики посуды...»		ИРИНА ПИВОВАРОВА	849
Сумасшедший		«простите, что-то не пойму...»	
«Как золотые липы хороши...»		РОМАН СОЛНЦЕВ	850
Дядя		«Тяжела ты, шапка Мономаха...»	
Про дядю Кешу		ИОСИФ БРОДСКИЙ	850
ЛЕОНИД ЛАТЫНИН	839	ВЫБОР БРОДСКОГО:	
Долг		Письма династии Минь	
ЕВГЕНИЙ МАРКИН	840	Осенний крик ястреба	
Белый бакен		Эклога 4-я (зимняя)	
О. РУДИК	841	Натюрморт	
Новогодняя ночь		Шесть лет спустя	
ГЕННАДИЙ РУСАКОВ	842	ВЫБОР ЕВТУШЕНКО:	
«У, как я лгал, когда меня, бывало...»		Стансы	
ОЛЕГ ЧУХОНЦЕВ	842	Пилигримы	
Попугай		Зимним вечером в Ялте	
Дельвиг		Письмо генералу Z	
В зверинце		«В деревне Бог живет не по углам...»	
Прощание с осенью		Одной поэтессе	
«Когда в поселке свет потух...»		Рождественский романс	
Чаадаев на Басманной		На смерть друга	
Двойник		На смерть Жукова	
ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ	845	Портрет трагедии	
Мой младший брат		ЮЛИЯ ВОЗНЕСЕНСКАЯ	861
«Глаза рабочего Семенова...»		К. Кузьминскому на 16 апреля 1974 года	
МИХАИЛ ЮПП	846	ВЛАДИМИР ДАГУРОВ	862
Перечитывая «Тарантас» графа Соллогуба		Комиссар	
ЛЕОНИД АРОНЗОН	846	ВИКТОР ДАНИЛОВ	862
«Невысокое солнце над Биржей...»		«Когда не будет в мире армий...»	
ЮРИЙ ГАЛАНСКОВ	847	ЮРИЙ КАШКАРОВ	862
Конструкция		«Блаженству нищих чуждо естество...»	
«Казалось, все те же уставшие лица...»		МИХАИЛ КРЕПС	863
«Пройду сквозь запутанность лабиринтов...»		Возвращение	
«Ночь темна...»		В преддверье сентября	
Утро			

КОНСТАНТИН КУЗЬМИНСКИЙ	863	ЛАРИСА МИЛЛЕР	867
На мотив русских песен		«Вот какая здесь кормежка...»	
АРКАДИЙ КУТИЛОВ	864	«Мы у вечности в гостях...»	
Рецепт бессмертия		«Перебрав столетий груды...»	
Ты		ВАЛЕРИЙ ПЕТРОЧЕНКОВ	868
Случай		«Отечество вдов, побирушек...»	
Время		ДМИТРИЙ ПРИГОВ	868
«Деревня Н. не знала гроз...»		«Народ с одной понятен стороны...»	
«Человек! Дорожи теплом...»		«Когда бы жил я, как герои...»	
У Гуляй-ручья		ЕГОР САМЧЕНКО	868
О ромашке		Маленькое послесловие	
«...Пацан, кусок сибирской плоти...»		«Я славлю сон Обломова...»	
«...Пусть во мне мороженое тает...»		ГЕННАДИЙ УГРЕНИНОВ	869
Дезертир		«Это что за скрежет...»	
«Петух красиво лег на плаху...»		«Земля здесь не очень рожала...» (отрывок)	
Слово		ЮРИЙ ФАДЕЕВ	870
ТАТЬЯНА МАКАРОВА	866	«Вот книжка без начала и конца...»	
Сказка о листьях			
«О, радуйтесь значительным победам...»			
ПАВЕЛ МЕЛЕХИН	867		

ДЕТИ ВОЙНЫ

Поэты, родившиеся с 1941 по 1945 год

АЛЕКСАНДР ЗОРИН	873	Фольклор	
В яслях		«Мы часть всего, как рожь, как васильки...»	
ВАЛЕРИЙ КРАСКО	873	ВАДИМ АНТОНОВ	877
«Из детских грез — в гипноз тоски и страха...»		Помиловка (фрагменты)	
ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ	874	КОНСТАНТИН КЕДРОВ	878
Грибы		Коза	
«Завижу ли облако в небе высоком...»		МАРК РИХТЕРМАН	879
Поэт		«Хороши мои дела...»	
Отцу		НИКОЛАЙ САРАФАННИКОВ	879
Атомная сказка		Двойные фамилии	
Возвращение		АЛЕКСАНДР ЮДАХИН	880
«Обезумело слово «вперед»...»		Харьковчанин	
ВИКТОР МАКСИМОВ	875	«Поэты на земле подолгу не живут...»	
Наяда		МАРИЯ АВВАКУМОВА	880
СВЕТЛАНА МЕКШЕН	876	«Умом Россию не понять...»	
Когда смеются все		«Мертвый человек прикоснулся ко мне рукой...»	
АЛЕКСАНДР ТИХОМИРОВ	876		
Теща			
Гроза			

ИГОРЬ БУРИХИН	881	АЛЕКСАНДР ОЖИГАНОВ	887
Подстрочник Пушкина		«И больше здесь не будет перемен...»	
НАТАЛЬЯ ГАЛКИНА	881	ОЛЕГ ОХАПКИН	887
Заводная игрушка		«Неужто азиат...»	
«В том краю первосортных нелепиц...»		СЕРГЕЙ СТРАТАНОВСКИЙ	888
ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВ	882	Скоморошья стихи	
«Я спросил электрика Петрова...»		ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВА	888
«Девочка красивая...»		«Посуху жила...»	
Дураки		БОРИС КАМЯНОВ	888
ИГОРЬ КАЛУГИН	882	«Живу, как свечка на ветру...»	
В селе Кузьминском		ВЛАДИМИР ЛАПИН	889
ЭДУАРД ЛИМОНОВ	883	Снос	
«Я в мыслях поддержку другого человека...»		НАДЕЖДА МАЛЬЦЕВА	889
ОЛЬГА ПОСТНИКОВА	883	Муза	
Подражанье староверам		Купина	
АЛЕКСАНДР РАДКОВСКИЙ	884	«Лет тридцать, не меньше...»	
«Благословляйте пешие прогулки...»		Перекресток	
САША СОКОЛОВ	884	Последний причал	
«Здесь лежит рыбак хороший...»		МИХАИЛ МЕЙЛАХ	891
Записка XXXII		«О мифологии порога...» (фрагмент)	
ВАЛЬДЕМАР ВЕБЕР	885	АЛЕКСАНДР СОРОКИН	891
Старый альбом		«Так жить достойней и горчей...»	
ВИКТОР КРИВУЛИН	885	АЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО	892
Вывод		Реквием по Эдуарду Стрельцову	
Крот		ЕЛЕНА УШАКОВА	893
ЮРИЙ ЛИННИК	886	«И даже если общие ценности...»	
Разрыв		СЕРГЕЙ ЧУХИН	893
ВАЛЕРИЙ ЛОБАНОВ	886	«Ах, эта жизнь — гори она огнем...»	
Романс		«Стоит июль. Стоит жара...»	
		«Не сажают в городе цветы...»	
		«Силой силу убивают...»	

ДЕТИ ЖЕЛЕЗНОГО ЗАНАВЕСА

Поэты, родившиеся с 1946 по 1953 год

ГЕННАДИЙ БЕЗЗУБОВ	897	ЛЕОНИД ГУБАНОВ	897
«Империя по-русски говорит...»		«Спрячу голову в два крыла...»	
		Художник	
		«Захотела вера научить Богу молиться...»	

Золотая фреска Вадиму Делоне (фрагмент)
Палитра скорби
«С отвращением налив...»
«Потухая, вытряхали из избы...»
Стихотворение о брошенной поэме
Благодарю
«Как поминали меня...»
«Ищите самых умных по пивным...»
«Природа плачет по тебе...»

АРКАДИЙ ДРАГОМОЩЕНКО 900

Небо связующее (фрагмент)

ЕЛЕНА КАЦЮБА 900

Ожидание

МИХАИЛ СИНЕЛЬНИКОВ 901

Коктебель
Музейные вещи

ВИКТОР ТОПОРОВ 901

Общество трезвости

МИХАИЛ ЯСНОВ 903

Проходные дворы

СЕРГЕЙ АЛИХАНОВ 903

«Свой променад я начинаю рано...»
«По дороге на Ржев...»

ОЛЬГА БЕШЕНКОВСКАЯ 904

«В поголовно счастливой огромной стране...»
«Для кого ты поешь-говоришь...»
«Никто, наверное, страшнее не живет...»
«Чего в ней больше: позы, прозы, Музы...»
«Обескровит судьба, обесточит...»
«Не могу отрешиться от горестной нашей судьбы...»
«Жизнь теплится еще под кожей восковой...»
Ночное дежурство
«Крепостное российское право...»
Ул. Рубинштейна, 36

ЕВГЕНИЙ БЛАЖЕЕВСКИЙ 907

«Больная смерть выходит на дорогу...»

ЕВГЕНИЙ ВЕНЗЕЛЬ 907

«С чужой женой, украв ее у мужа...»

ОЛЬГА ГРЕЧКО 908

«Под горячей кремлевской стеной...»

ЛЕВ ДАНОВСКИЙ 908

Имперские мотивы

ВАДИМ ДЕЛОНЕ 909

Баллада о судьбе
«Закат повис, вцепившись в облака...»

ИГОРЬ ИРТЕНЬЕВ 910

Камелия
«Когда сгорю я без остатка...»
Песнь о юном кооператоре

ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ 911

«Россия ты моя! И дождь сродни потопу...»

АЛЕКСАНДР ОЧЕРЕТЯНСКИЙ 911

«Уж ломали меня ломали...»

ЛЕВ РУБИНШТЕЙН 912

Все дальше и дальше (фрагмент)

АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ 912

«Оскудевает времени руда...»
«Меня любила врач-нарколог...»
«У лавки табачной и винной...»
«Припомните случай Колумба...»
«Я «фита» в латинском наборе...»

МИХАИЛ АЙЗЕНБЕРГ 914

«Как бушлатников, темных лицом...»

ВЛАДИМИР БЕРЕЖКОВ 914

«Я не люблю, когда меня пытаются...»

ВЛАДИМИР ГАНДЕЛЬСМАН 914

«Когда бы нюх звериного чутья...»
«Я говорю с тобой, милый...»
«О вечереет, чернеет, звереет река...»

АЛЕКСЕЙ ДИДУРОВ 915

Песенка о вечном городе

ИВАН ЖДАНОВ 915

«Такую ночь не выбирают...»

ЕЛЕНА ИГНАТОВА 916

«Нет нам друзей на свете...»

АНАТОЛИЙ КОБЕНКОВ 916

«До чего же я жил бестолково...»

ВИКТОР КОРКИЯ 916

Стансы

ИГОРЬ ПОМЕРАНЦЕВ 917

«А было время, помнишь, на перрон...»

АНДРЕЙ СУЗДАЛЬЦЕВ	917	АЛЕКСАНДР ЕРЕМЕНКО	926
«Прощальная симфония» — Гайдн		Добавление к сопромату «Я смотрю на тебя из настолько глубоких мо- гил...»	
МАРИНА ТЕМКИНА	918	БАХЫТ КЕНЖЕЕВ	927
Три варианта одного стихотворения		«Хорошо на открытии ВСХВ...» «Жизнь людская всего лишь одна...»	
ЕЛЕНА ШВАРЦ	919	АЛЕКСАНДР РАДАШКЕВИЧ	928
Зверь-цветок		Подвиг пустосвятства. или Гаврюша-старчик	
ТАТЬЯНА БЕК	919	ИРИНА ШАЛАЕВА	929
«Ты, надевший впотьмах щегольскую рубаху...»		Пир	
ИГОРЬ БЯЛЬСКИЙ	920	ЕЛЕНА ШАПОВА	929
Речитатив		Запахи	
РЕГИНА ДЕРИЕВА	920	ЕФИМ БЕРШИН	930
«Бабки подбить, и итоги подвесьте...»		Автопортрет в саду	
НАДЕЖДА КОНДАКОВА	921	ИРИНА ЗНАМЕНСКАЯ	930
Сон в ГУМе		«Эстония. Частная дача...» «Да, я бывала молода...» «Интересный тип — поэт Барашков...»	
РИНА ЛЕВИНЗОН	921	НИНА ИСКРЕНКО	931
«За то, что ткань существованья...» «Простая сладость собственного крова...» «Дорога моя не из дома, а к дому...»		Гимн полистилистике Бить или не бить «Наркоманка Федя...»	
ОЛЬГА СЕДАКОВА	922	СВЕТЛАНА КЕКОВА	933
Походная песня		Стройка	
АЛЛА ШАРАПОВА	922	ЕВГЕНИЙ КОЛЕСОВ	934
«Отхлынула от нас со вздохом Колыма...»		Позеленевшая монета	
АЛЕКСАНДР ЩУПЛОВ	923	ГЕННАДИЙ КРАСНИКОВ	934
Как послы приехали в Лондон (Отрывок из поэмы «Серебряная изнанка») «В год посещения Воландом Москвы...»		Ремонт «И пока наша совесть больна...»	
ЛЕОПОЛЬД ЭПШТЕЙН	924	ВЛАДИМИР ПОЛЕТАЕВ	934
Абстракция номер 715 (фрагмент)		«Свобода, да, о вечная свобода...» «А у нас на Зубовском бульваре...»	
ВЛАДИМИР АРИСТОВ	924	АЛЕКСАНДР АЛЕЙНИК	935
«Треугольный пакет молока...»		«Наташа Шарова целовалась у лифта...»	
ЕВГЕНИЙ ВИТКОВСКИЙ	924	СЕРГЕЙ ГАНДЛЕВСКИЙ	936
«Эту цепочку ломкою строчкой увековечу...»		«Дай Бог памяти вспомнить работы мои...» «Устроиться на автобазу...» Элегия	
ВАСИЛИЙ ГАЛЮДКИН	925		
От танка до банка Воробей Гена			

ВЛАДИМИР САЛИМОН 937	ЕЛЕНА МУРАВИНА 940
Фабрика-кухня «Кто не теряет время даром...»	«Я лягу на траву, и землю обниму...» (из поэмы «Анкета»)
ВЛАДИМИР ВИШНЕВСКИЙ 938	МИХАИЛ ПОЗДНЯЕВ 941
«Шаг собьет, остановит ли вдох...»	Воспоминание о пяти хлебах Гость
БОРИС ГРЕБЕНЩИКОВ 938	СЕРГЕЙ САТИН 942
Поезд в огне	Попытка гражданской лирики
МАРИНА КУДИМОВА 939	АЛЕКСАНДР СОПРОВСКИЙ 943
«Еще из почвы вылезая на треть...» «Неужели вы это едите...» «Не знаю, как у чуждей и мерь...» «Матушка-загогулина...» «Никого человечней тебя, человек...»	«Записки из мертвого дома...»
АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ 940	МАРК ФРЕЙДКИН 943
Неглинка	«Весной проехаться по Яузе...»
	АНДРЕЙ ЧЕРНОВ 944
	В сквере

ДЕТИ СКУШНЫХ ЛЕТ РОССИИ

Поэты, родившиеся после смерти Сталина

ЮРИЙ АРАБОВ 947	АНДРЕЙ ЧЕРКИЗОВ 951
Из поэмы «Школа» «Я не был никогда во Франции...» Реплика в дискуссии о Сталине	«Ты — изначален...»
АЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ 948	МИХАИЛ ШЕЛЕХОВ 951
Отречение	Потомок револьвера
МАРИНА БОРОДИЦКАЯ 948	ТАТЬЯНА ЩЕРБИНА 952
«Я раздеваю солдата...»	О пределах
ЕВГЕНИЙ БУНИМОВИЧ 949	ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВА 952
Москва. Лето 86 Объяснительная записка «Русь! Ты не вся поцелуй на морозе...»	Прощанье с империей
АНДРЕЙ ГОЛОВ 950	ЕВГЕНИЙ ЧЕКАНОВ 954
Забелин	Хлеб правды
АЛЕКСЕЙ ПАРЩИКОВ 950	СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 954
Коты	От — и до
ИРИНА РАТУШИНСКАЯ 951	СЕРГЕЙ БЕЗЛЮДСКИЙ 954
«Отчего снега голубые...»	«Этот мир, как корявый ствол...» (фрагмент)
	АЛЕКСАНДР ВУЛЫХ 955
	«На душе, как на вокзале...»
	КАРЕН ДЖАНГИРОВ 955
	«Толпа — это «за»...»

ВЕРОНИКА ДОЛИНА	955	АЛЕКСАНДР МАКАРОВ	966
«Нет, советские сумасшедшие...»		«двадцать лет...»	
ТИМУР КИБИРОВ	956	ВЛАДИМИР МАЛЬЦЕВ	966
Русская песня		«Ударил по воде...»	
ЕЛЕНА КРЮКОВА	958	ВИКТОР ПЕЛЕНЯГРЭ	967
Песнь песней		Классическое	
НАТАЛЬЯ ХАТКИНА	959	ВИКТОР САНЧУК	967
«Мне кажется, что я тебя прочла...»		О генерале Пепеляеве	
ОЛЕГ ХЛЕБНИКОВ	959	АЛЕКСАНДР БАРАШ	968
«Егор родил Валерьяна...»		«В продуктовом, когда ни зайдешь...»	
«Никто меня не убивал...»		Встреча	
Коммуналка		АЛЕКСАНДР БАШЛАЧЕВ	968
ВЛАДИМИР ДРУК	960	Грибоедовский вальс	
Коммунальный краковяк		Некому березу заломати	
«Я обижен...»		Ржавая вода	
Лапшерон		Абсолютный вахтер	
ВИТАЛИЙ КАЛЬПИДИ	961	МИХАИЛ ЛАПТЕВ	971
«Я изумлен: нет правды на земле...»		«Я расстрелял под Карфагеном Мандельштама...»	
ЕВГЕНИЙ КАМИНСКИЙ	962	«Двуличен мед тяжелых пчел...»	
«Там, где фикус раскинул объятия...»		ВАДИМ СТЕПАНЦОВ	971
ОЛЬГА КОЛЬЦОВА	962	Металлистка	
«Конец прекрасной эпохи»		РАДИСЛАВ ЛАПУШИН	972
МИХАИЛ ПОПОВ	963	«Несли ребенка...»	
Прогулка по Ленинграду		ОЛЬГА РАБКИНА	972
АЛЕКСЕЙ ПРОКОПЬЕВ	963	«Густой и душный полумрак...»	
«Кругом бело. Всем ясно видно всех...»		АЛЕКСАНДР ТРУБИН	972
АЛЕКСАНДР ШАТАЛОВ	964	«А мы убиваем кровь...»	
«В коммуналке у нас дядя Женя всегда выпивал...»		ЕВГЕНИЙ ХОРВАТ	973
АЛЕКСАНДР ЛАВРИН	964	«Как вспомнишь дни морозов вязких...»	
Прощание с цензурой		АЛЕКСАНДР БЕЛЯКОВ	973
Золотая орда		«Никогда мне не быть бизнесменом...»	
Предместье		«Сними очки прекрасных книг...»	
«Когда б и я, как те...»		«Царь природы Борис Бодунов...»	
«Поэт умирает некстати...»		«Наши боги любят буги...»	
ИРИНА МАШИНСКАЯ	966	«Ты — матрешка, я — Петрушка...»	
«Не сумев на чужом — не умею сказать на родном...»		«Франц, ускользнувший из лона семьи уродом...»	
		«Обнимаю ли женщину, оду ль...»	

ВИКТОР ЦОЙ 974	ДЕНИС НОВИКОВ 977
Алюминиевые огурцы	«Одесную одну я любовь посажу...»
ИННА КАБЫШ 975	НИНА ГРАЧЕВА 978
«Настанет время золотое...»	«На что мне ночи, полные вина...»
ИЛЬЯ КРИЧЕВСКИЙ 975	«Любовь моя! Моя горбушка черная...»
Беженцы (фрагменты)	ЭЛЛА КРЫЛОВА 978
ИГОРЬ СИД 975	Трактат о добре и зле (фрагмент)
«В час коменданта...»	ДАНИИЛ ДА 979
ВАДИМ МЕСЯЦ 976	История происхождения имени Да
«Дни — короткие как взгляды...»	ЛЕОНИД ШЕВЧЕНКО 979
ЮЛИЯ КУНИНА 976	«В зимнем городе мерзнет шинель палача...»
«От одиночества оцепенели дни...»	АРСЕНИЙ ЗАМОСТЬЯНОВ 979
ДМИТРИЙ БЫКОВ 976	Двадцатый век
«Все не ладится в этой квартире...»	
Похвала бездействию	

РАЗДЕЛ ПОСЛЕДНИЙ

«Бездатые», они же «Рлунг»

АНОНИМ 983	ВЛАДИМИР КРУГЛИКОВ 986
ЮРИЙ БАТЯЙКИН 983	«Умножь меня на ноль...»
«Забегая назад, вижу осень в ордынском раю...»	ТАТЬЯНА МАКСИМЕНКО 986
СЕРГЕЙ БЕРДНИКОВ 983	«Российские вороны сгорают от стыда...»
«День все затягивал уход...»	ОЛЬГА МАРТОВА 986
ВАЛЕРИЙ БРАЙНИН-ПАССЕК 984	«Распугали нынче фей-то...»
«Как за доски гвоздатые...»	«Обернулся молодцом...»
ЕКАТЕРИНА ГОРБОВСКАЯ 984	«Привиденье начлага...»
«Часы прабабки кукуют глухо...»	А. МЫШКИН 988
БОРИС ГРИГОРИН 985	Режица
«Бывало стыдно мне перед цветком...»	АРКАДИЙ ПРЕСМАН 988
ТАТЬЯНА ГУТИНА 985	«Чье презренье глаза мне выест...»
Актер	ВИТАЛИЙ ПУХАНОВ 989
А. ЗАХАРЕНКОВ 985	«Им нет числа, у них другое небо...»
Ку-клукс-клан-и-санта-клаус	МИХАИЛ РЕЗИНКИН 989
ЕЛЕНА КАЗАНЦЕВА 985	«Я снял трех баб...»
«Люблю итальянцев — они как грузины...»	СВЕТЛАНА РОЗЕНФЕЛЬД 989
	«Я помню дурачка в соседнем доме...»
	«На Мойке застывшей, у мертвой воды...»

<u>СЕРГЕЙ РЫЖЕНКОВ</u>	<u>990</u>	<u>ЧАСТУШКИ</u>	<u>991</u>
Волшебство		<u>К ЛИКУ СТРЕМИТСЯ ИСКУССТВО</u>	<u>993</u>
<u>ГЛЕБ СКВОРЦОВ</u>	<u>990</u>	<u>СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ</u>	<u>1001</u>
Последнее желание		<u>УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН</u>	<u>1005</u>
<u>А. ХУСАИНОВ</u>	<u>991</u>		
«Смешно любить в 17 лет...»			
<u>НИКОЛАЙ ШТРОМИЛО</u>	<u>991</u>		
Восьмой сентябрь			

Многотомная подписная серия «Итоги века. Взгляд из России»
основана в 1994 году
издательством «Полифакт»



Вышли в свет

СКАЗКИ ВЕКА

для самых маленьких
Составитель **Виктор Лунин**

ФАНТАСТИКА ВЕКА

Составитель **Владимир Гаков**

САМИЗДАТ ВЕКА

Составители **Анатолий Стреляный,**
Владимир Бахтин, Генрих Сапгир,
Никита Ордынский

СТРОФЫ ВЕКА – 2

антология мировой поэзии
в русских переводах XX века
Составитель **Евгений Витковский**

ПОЛИФАКТ

Многотомная подписная серия «Итоги века. Взгляд из России»
основана в 1994 году
издательством «Полифакт»



**ИТОГИ
ВЕКА**
ВЗГЛЯД
ИЗ РОССИИ

Готовятся к выпуску

СКАЗКИ ВЕКА – 2

для старших

Составитель *Ролан Быков*

ДЕТЕКТИВЫ ВЕКА

Составитель *Георгий Анджапаридзе*

ЮМОР ВЕКА

Составитель *Григорий Горин*

КУЛИНАРНОЕ ИСКУССТВО ВЕКА

Составитель *Вильям Похлебкин*

ФОТОГРАФИИ ВЕКА

Составитель *Ольга Свиблова*

ПОЛИФАКТ

Фото на суперобложке
Вадим Гиппенрейтер

Плакат
Владимир Цеслер, Сергей Войченко

Медаль
Николай Байрачный

Административная группа программы «Итоги века. Взгляд из России»
Артур Борисяко, Олег Барышников, Марина Макарова, Ольга Мелентьева, Владимир Сызранцев

Книги серии «Итоги века. Взгляд из России»
изготавливаются с использованием
полиграфических технологий, материалов и оборудования,
поставляемых группой компаний HGS

HGS
G R O U P

Книга издана при содействии издательства HGS



**ИТОГИ
ВЕКА**
ВЗГЛЯД
ИЗ РОССИИ

*Литературно-художественное издание
Серия «Итоги века. Взгляд из России»*

Составитель Евгений Александрович Евтушенко

СТРОФЫ ВЕКА

Антология русской поэзии

Том «Строфы века» подготовлен к печати
издательством «Знаменитая книга» (ЗнаК)

Директор издательства
Валерий Шашин

Редакторы

Виктор Фогельсон, Наталья Комарова, Леонид Воронин

Художественный редактор

Дмитрий Орлов

Технический редактор

Елена Сокова

Корректоры

Людмила Орлова, Нина Задорнова

Подписано в печать 27.01.99. Формат 60x84 $\frac{1}{4}$. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Усл. печ. л. 132,5. Уч.-изд. л. 128. Тираж 5000 экз. Заказ № 8608.

Издательство «Полифакт. Итоги века». Лицензия № 090211 от 29.06.98.
107078, Москва, Хоромный тупик, д. 4—6, стр. 8.

Открытое акционерное общество «Иван Федоров».
191119, Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, 11.